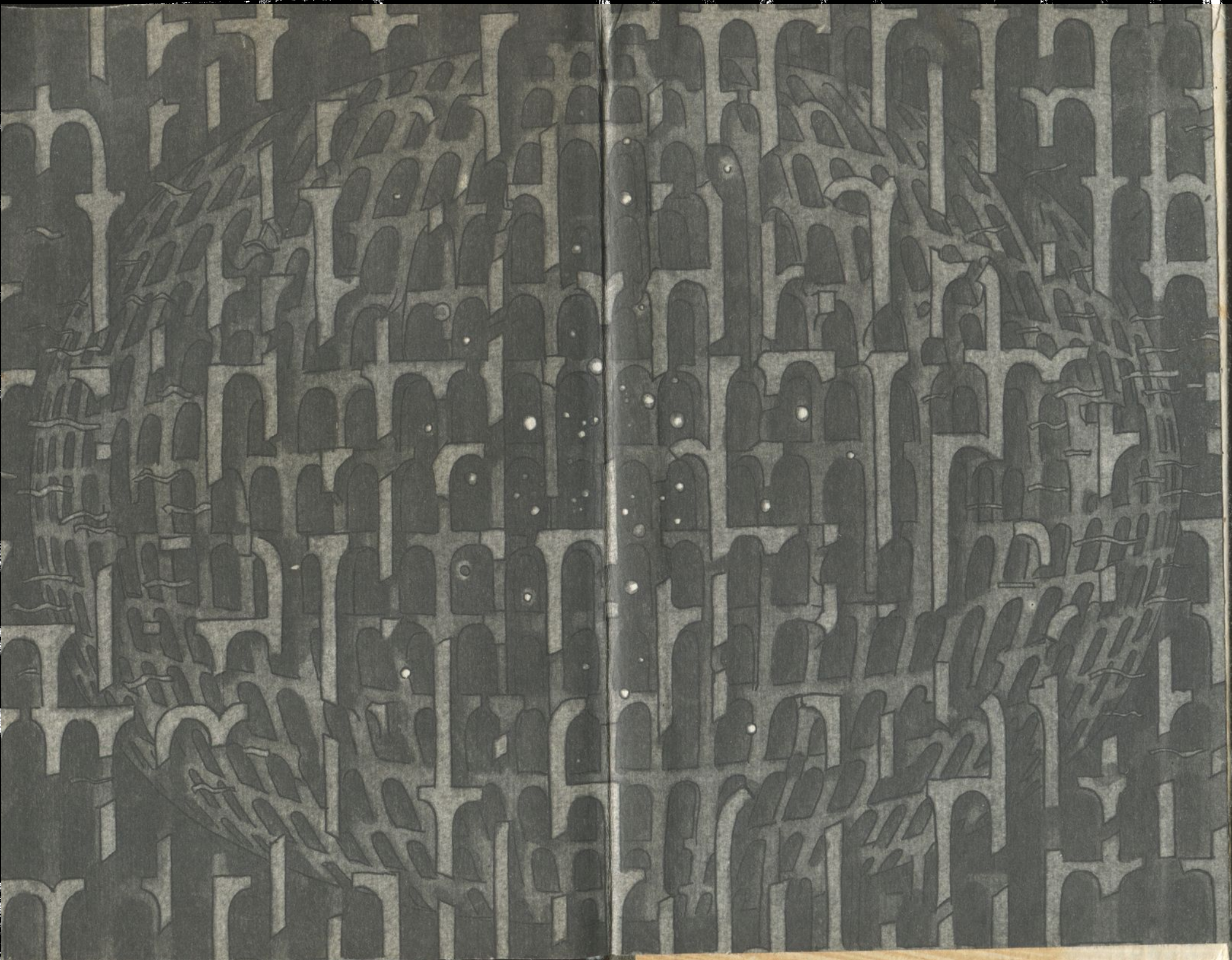
В КРУГЕ СВЕТА



Серия научной фантастики

«ИКАР»

— Я Сизиф, сын Эола... Я много грешил... Зевс наказал меня... Р-р-рад ворочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло ...

... Пусть каждый обеспечивает свой очаг сопротивления, свой участок. Если все или хотя бы немногие сделают так, бой за человечество... не приведет к бесповоротному поражению и всеобщей духовной гибели. Мир можно спасти не мифическими «совместными усилиями», ... а чувством личной ответственности за свое конкретное дело ...

...И до сих пор... не могут понять, что свобода может быть лишь от великого понимания и ответственности. Никакой другой свободы во всей вселенной нет...

... Я говорю о счастье для всех людей ... счастье — в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других ...

В КРУГЕ СВЕТА

СБОРНИК
научно-фантастических
произведений

Кишинев
«Штиинца» 1989

ББК 84Р7-44
В 11

Текст печатается по изданиям:

Иванов Вс. Сизиф, сын Эола.
— М.: Молодая гвардия, 1970.— Т. 19.— (Б-ка совр. фантастики).

Днепров А. Глиняный бог.
— М.: Молодая гвардия, 1972.—(Б-ка совр. фантастики).

Громова А. В круге света.
— М.: Молодая гвардия, 1968.— Т. 15.— (Б-ка совр. фантастики).

Ларионова О. Леопард с вершины Килиманджаро.
— М.: Знание, 1965.— Вып. 3.—(Альм. науч. фантастики).

Ефремов И. Час Быка.
— М.: Молодая гвардия, 1970.

Стругацкий А., Стругацкий Б.
Понедельник начинается в субботу.
— Минск: Юнацтва, 1986.— (Б-ка приключений и фантастики).

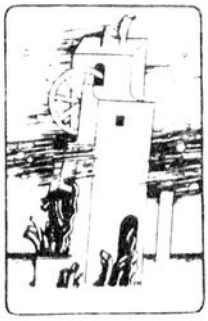
Художник
М. Ю. Шевелькин

Составитель
А. И. Степин

В $\frac{4702010000-32}{M755(10)-89}$ Без объявл.
ISBN 5—376—00430—9 (4-й завод)

© Составление и художественное оформление Издательство «Штиинца», 1989

ВС.ИВАНОВ
1

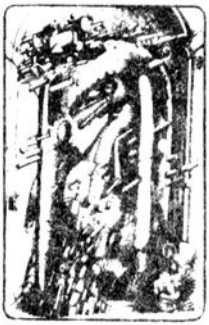


А.ДНЕПРОВ
2

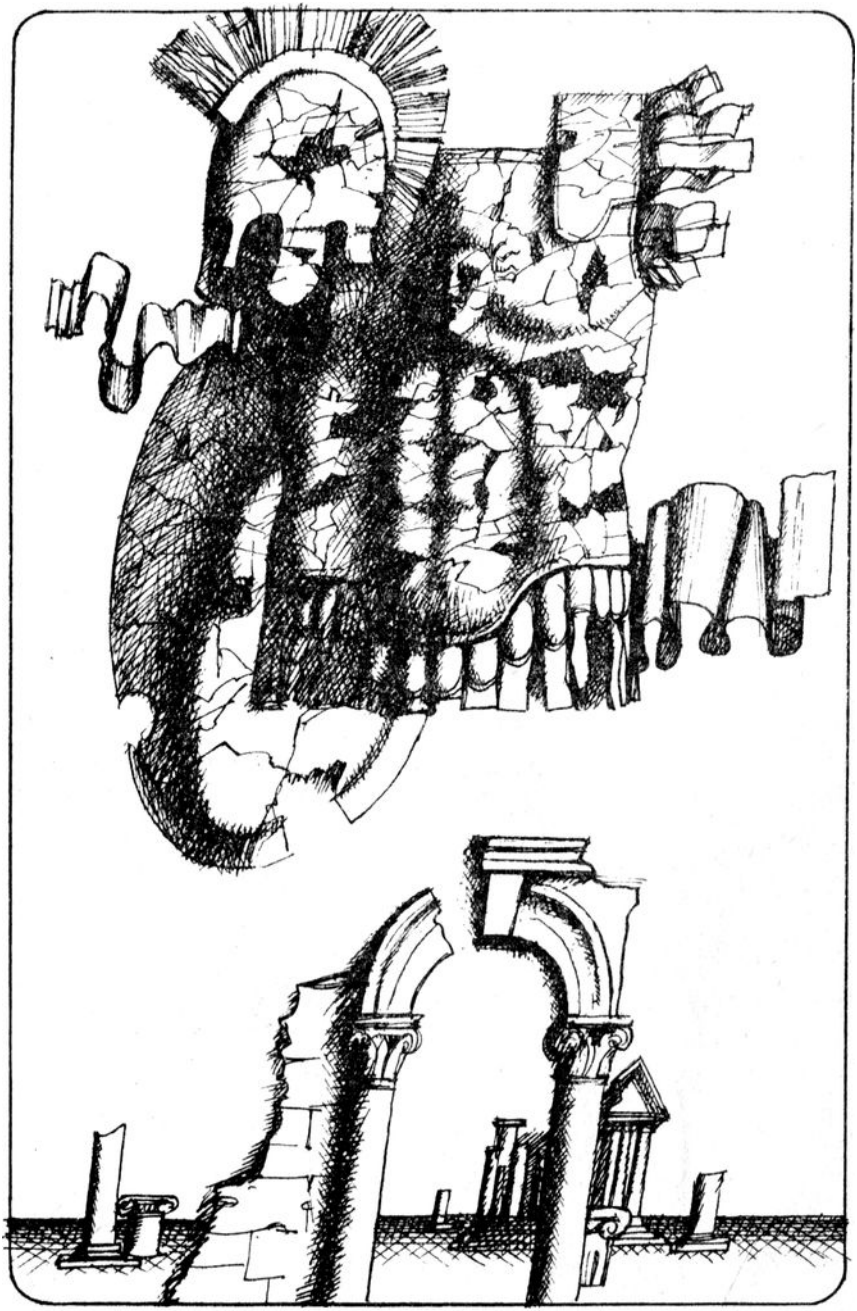
А.ГРОМОВА
3

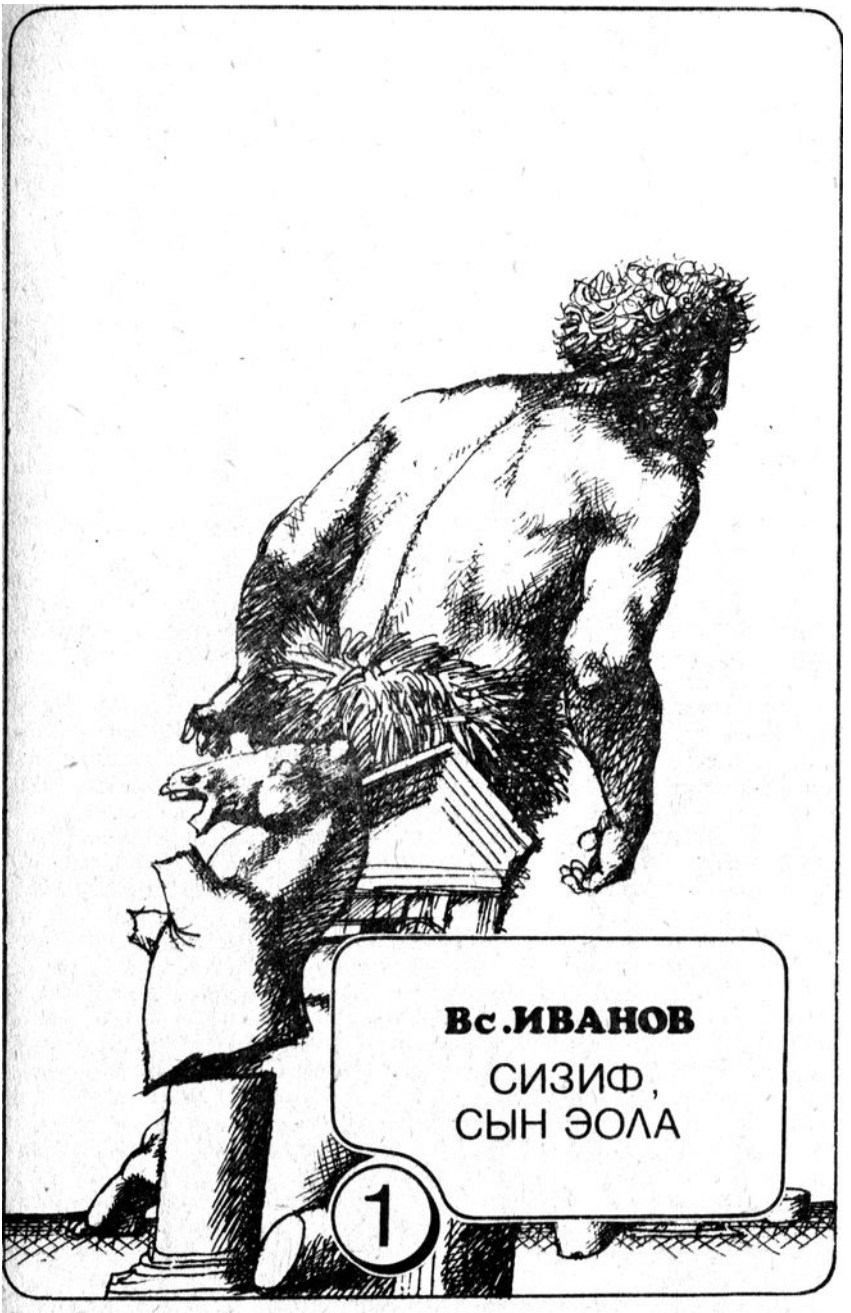
О.ЛАРИОНОВА
4

И.ЕФРЕМОВ
5



А.СТРУГАЦКИЙ
Б.СТРУГАЦКИЙ
6





Вс.ИВАНОВ

СИЗИФ, СЫН ЭОЛА

1

Солдат сразу узнал их, родные горы!

В полдень горы угрюмы, щербато-серы, а глубокие ущелья, разрезающие их,— оранжевы. Сразу узнал он и Скиронскую дорогу, что виднелась у крутой южной стороны гор. Дорога схожа с пастушьим бичом, свернутым в круг. Такой видел ее солдат Полиандр в детстве, такой она осталась и поныне. Дорога пользуется дурной славой. Путешественник может внезапно увидеть на ней выступившую кровь или иные знаки грядущих несчастий.

Но что Полиандру несчастья? Они отмерены ему полною мерою, и он выпил их полною чашею. Преждевременно он увял и пожелтел, словно от порчи.

Он давал клятву служить Александру, царю Македонскому, прозванному Великим,— и служил. Позже он служил царю Кассандру, соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие. Царь Кассандр заточил в темницу жену и сына Великого, вскоре после смерти того, перед которым преклонялись боги всех земель и оружие всех земель. А солдат Полиандр продолжал устремлять свой покрытый серебром щит против врагов Кассандра. Он хотел, глупый, чтобы Кассандр думал о нем хорошо! Говорят, вера и гору с места сдвинет. Царь Кассандр оказался неповоротливее самой большой горы. Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам — он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие солдаты. Солдату не исполнилось и сорока лет, как царь Кассандр признал его больным пелтастом, слабым для службы в легкой пехоте, и без денег отпустил на родину.

И вот перед ним горы, за которыми находится его родина — богатый город Коринф. Солдат глядел на гору и думал: как-то его встретит родной город и кто цел из его родственников? Прошло много лет с тех пор, когда он последний раз видел родину. Тогда он был силен, а теперь раны его признаны опасными, и он отпущен из армии царя Кассандра. Слаб, слаб!

«Для кого опасны мои раны, клянусь собакой и гусем? Не для тебя ли, о царь? Не тебя ли страшит мое уверенное ожидание, что сын Великого, ныне крошечный и малолетний Александр Эг, подрастя, будет таким же воинственным, как и его отец? Ему-то и буду нужен! Ему-то нужны походы! А тебе, о царь, хватит ума лишь на то, чтобы сохранить приобретенное Великим. Да и сохранишь ли ты его, о царь Кассандр?»

Так бормотал он, опасливо поглядывая на Скиронскую дорогу. Ему не хотелось подниматься по ней. Хватит ему и солдатских несчастий!

Хватит предзнаменований! Он хочет жить спокойной жизнью честного человека, например окрашивателя шерстяных тканей.

И он вспомнил о тропе, которая некогда сокращала путь к Коринфу. Правда, тропа трудна, зато без знаков несчастий.

— Гей, вы!

Крестьяне из придорожного селения, убиравшие нивы, смотрели на него с уважением. Спасаясь от жары, он снял латы, но грудь его была так широка, что казалось, он и не снимал лат. Руки его были растопырены — и от привычки держать щит и копье, и от того, что латы не позволяли им прилегать к бокам. Он и спал-то всегда на спине, широко раскрыв свой большой, чувственный рот. Глаза, как у всех много странствовавших, были удивленные и того зеленоватого цвета скошенной травы, которая вот-вот превратится в сено, но еще хранит цвет и запах молодости, обладая в то же время суховатой зрелостью.

Он стоял в картинной и величественной позе, подобающей солдату Александра Великого, который прошел вместе с царем от границ Фракии до студеного Местийского озера, где уже господствуют вечные зимы; который видел Кавказские горы, крайний предел земли, откуда уже начинается Царство Мрака; который видел и Мемфис, и Дамаск, и Сузу, и Эктабан, и все скалистые крепости Ирана и берега Гидаспа, и топкие берега Инда, вдоль которых шли против него узкоглазые, с крепкими желтыми клыками слоны индийского царя Пора.

Он пожелал крестьянам успехов в жатве, добавив, что Зевс и Афина им помогут, и после того попросил воды. Девочка лет четырнадцати с бойкими глазками и плотными русыми волосами, плохо подстриженными, принесла ему кувшин теплой воды. Из гумна пахло зерном. Мул, сопя, чесал себе бок. Поселянка с крутыми сытыми бедрами, указывающими на близость богатого Коринфа, который умеет покупать и продавать, наклонилась и опять начала ловко и быстро срезать толстые, лоснящиеся колосья пшеницы и складывать их в корзины. Девочка укладывала их — надрезом к югу — на утрамбованную, черно-фиолетовую землю гумна. Легкая пыль поднималась от гумна: к нему шли вьючные мулы, и волы везли молотильные телеги с тяжелыми сплошными колесами.

Полиандр сказал, возвращая кувшин:

— Клянусь собакой и гусем, девушки в Коринфе по-прежнему гостеприимны и прекрасны! И мастера по-прежнему помещают их на вазы, в бронзу и на колонны, украшенные листьями акинфа.

Поселяне улыбнулись его мудрым словам, а девочка, подававшая воду, засунула от удивления палец в рот.

— Я спешу в Коринф,— сказал он.— Я устал от славы и хочу мирной жизни! У меня есть настоящий красный сок из пурпуровых раковин, которые я видел, как ловят, клянусь собакой и гусем. Я научился красить ткани в пурпур у финикиян и делал это у лучших мастеров в Тире, Косе, Тизенте.

И он показал свои жилистые пальцы, длинные волосы на которых были окрашены в цвет крови. Поселяне испуганно содрогнулись, и старик с выпуклым и толстым носом сказал ему:

— Ты спрашивал про Скиронскую дорогу? Она перед тобой.

Тогда солдат Полиандр спросил:

— Благополучна ли Скиронская дорога?

— Она благополучна более, чем какая-либо другая.

— В мое время,— сдержанно сказал солдат,— сильные и спешащие путники сокращали путь. Они сворачивали на тропу, которая называлась Альмийской. Мулы и быки там не проходили, но мои ноги хорошо помнят эту тропу.

Крестьяне переглянулись. Солдат прочитал испуг на их лицах.

— Или на тропу обрушилась скала? — спросил солдат.— Или открылась новая пропасть? Или боги пустили водопад?

Старик с выпуклым и толстым носом сказал:

— Плохое место.

— Разбойники? — спросил, смеясь, солдат и показал крестьянам свое короткое метательное копье и меч, прямой и тонкий, с рукояткой, украшенной серебряными гвоздями и слоновой костью.— Ха-ха! Много их? Ха-ха!

Старик, почесывая крючковатой палкой у себя между плечами, повторил неохотно:

— Плохое место. Иди по Скиронской дороге. Лучше. Тропу Альми много-много лет никто не топчет.

— Где же больше предзнаменований? — спросил солдат решительно.

— На Скиронской.

— Так кого ж мне бояться?

— Сына Эола,— ответил старик, боязливо оглядываясь.

Солдат захохотал.

— Сына Эола? Сына бога ветров? Кто он такой? Ветерок?

— Увидишь,— ответил старик, отходя. Другие крестьяне уже давно покинули беседовавших на такую опасную тему.

Солдат Полиандр, намеренно громко смеясь, поднял свой шлем с султаном из секущихся конских волос, грубые наспинные и нагрудные латы, соединенные наверху посредством измятых металлических наплечников. Он с грустью увидел, что войлок, которым был подбит панцирь, изъеден молью. «А я еще собирался выгодно продать свое вооружение в Коринфе. Придется покупать кусок греческого войлока, исправлять панцирь... Не трудна работа, но дело в том, что греческий войлок не ценится, а прекрасный персидский войлок пропал! Неужели и моль — предзнаменование?»

Ворча, взвалил он свое нагретое солнцем оружие на плечи и, широко шагая, как бы стараясь приблизить опасность, пошел к тропе Альми.

Он шел, шлепая подошвами башмаков, кожа которых была проложена пробкой. Умело связанное вооружение отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей.

Выйдя за селение, он увидел пересохший ручей, скрытый кустарниками. Несколько коз, встав на тонкие задние ножки, объедали листья. Ложе ручья было засыпано серовато-синими камнями, и злая безжизненность в виде тонкого, еле уловимого пара поднималась над ним. С высоких стенок ручья струился песок, создавая такой звук, словно кто-то строгал ножом мягкое дерево. Солдату стало не по себе. Он остановился и долго смотрел на коз, пока ему не захотелось есть.

Тогда он достал из коврового мешка лепешку и, кусая ее передними зубами, как козы, чтобы продлить удовольствие и чтобы обдумать положение, перевел свой взор на обнаженные и сверкающие скалы, куда ему следует подняться. «А не пойти ли мне по Скиронской дороге? — подумал он.— Значит, вернуться? Но разве может вернуться солдат, только что хвастави́ший, как он влезал на скалистые крепости Ирана? Стыдно будет солдату Великого!».

И он начал припоминать Альмийскую тропу, по которой впервые поднимался лет тридцать назад, а то и более. Он сидел на плече у дяди.

Дядя был молод, могуч. Пахло маслом от его длинных, плотных волос, хитон его был мокрый, и ребенок осторожно дотрагивался до покатого его плеча. Дядя с шутливой строгостью глядел на ребенка и совал ему кусок лепешки, от которой пахло дымом и оливковым маслом. Ни одного дурного слова не слышно было тогда об Альмийской тропе, а того менее о нещадном сыне Эола.

«Почему — нещадном? Откуда — нещадном? Кто надел на него это слово — карательное, причиняющее сильную боль и заставляющее повиноваться, как строгий собачий ошейник? Кто, клянусь собакой и гусем?!»

Он остановился, положил вооружение на камень и нетерпеливо поглядел вниз.

Он уже достаточно много прошел по тропе Альми. Он узнавал ее, несмотря на то, что она заросла и след ее отыскивался с напряженной чуткостью.

Селение внизу слилось с оливковыми деревьями и виноградниками. Долина приобрела цвет дикого, неотесанного камня. Непомерно сильное желание — уйти возможно выше — осуществилось. Он был один среди камней — несокрушимых, негибнущих, вечных. И нетленная, вечная тишина была вокруг него.

Но — не в нем! В нем по-прежнему торопливо росло чувство грядущего зла, которого избежать невозможно, как и невозможно терпеть.

Солдат, словно конь, что от нетерпения бьет копытом, ударил ногой несколько раз о землю. Он задел камень, на который положил оружие. Звякнул меч. Он привязал меч к поясу, а остальное вооружение сложил в мешок и мешок этот плотно укрепил на спине.

Идти легче. Он шагал и думал, что нетерпение, как правильно говорят мудрые, сродни опрометчивости. Идти бы ему по Скиронской дороге! Пристал бы к какому-нибудь каравану и рассказывал бы купцам о способах, которыми он красил восточным властителям тонкие и запашистые одежды. Купцы смотрели бы на него с волнением, радовались бы, что у них такой защитник и попутчик, а вечером угостили бы его жирным и большим куском баранины. И в ночном мраке, у пламени костра, он бы чувствовал себя словно днем на площади.

А здесь и днем он чувствует тревогу, словно над ним повисла ночная дуга. Вот он вспоминает о красках, и ему приходит в голову: «Ну какой же ты окрашиватель в пурпур?» Подходя к Коринфу, он не пожалел щепоточку драгоценного пурпура, три порошка которого купил на последние деньги. Он развел эту щепоточку и окрасил крошечный кусок ткани, оторванный от четырехугольного наплечника, который носил на левом плече. Волосы на руках окрасились в кроваво-красный цвет, а ткань неожиданно превратилась в пемзово-серую. «Что же, не тот рецепт окраски дали ему мастера в Тире? Напрасно заплатил он им драхмы?..»

И перед ним встал подвал, где в широких и низких чанах прел пурпур, а вокруг чанов кружились веселые мастера с гладкими глазами и разгульными лицами. Возле дверей два раба, мерно раскачиваясь, месили ногами валяльную глину, и глина верещала у них между пальцами.... Ах, обманули его тирские красители! Обман был в этом подвале — тот самый, что был и при дворе царя Кассандра, и всюду!

И вот идет он в Коринф, в Коринф, коварный и беспощадный город торгашей и мореплавателей, который лежит так близко — и так далеко! Что ждет его в Коринфе?

Дабы не меркли надежды и дабы скорее одолеть этот непонятный страх, он прибавил шагу. Ему казалось, что путь в конце концов все покроет забвением, и он с радостью глядел на большую скалу в виде обрубка

дерева, громоздящуюся над ним, на серую скалу с фиолетовым подножием. Он быстро обогнул ее.

Открылась лощина, заросшая дубами. Глубоко внизу, там, где кончались дубы, начиналась россыпь, а под ней, в камнях, ревел зеленый поток, бросая вверх снизки белой пены. Пепел жгучего солнца покрывал и дубы, и россыпи, и камни у зеленых вод.

Тропинка исчезла окончательно. Дубы проглотили ее.

Солдат вошел в их тень. Дубы стояли тесно, тень была густая, но чувствовал он себя в ней по-прежнему плохо, будто на дне узкого и гнилого оврага. Ревел безжалостно и глухо поток. Во всю ширь неба лежали недвижно дубы, и нижняя часть их стволов была заполнена короткими, высохшими сучьями, которые хватали солдата за плащ, за меч, за ковровый мешок и флягу.

Торопливо шепча молитвы богам, солдат выбежал из дубовой рощи и, сутулясь, так как мешок сползал с плеч, а не было ни времени, ни желания поправить его, побежал на россыпь, за которой виднелась еще скала.

Тропинку он уже и не высматривал.

Он прыгал по камням, срывался, падал. Камни срывались и мчались вниз. Он ставил ногу в лунку, где только что покоились камни, а лунка плыла, и он отчаянно прыгал от нее. Руки он исцарапал. Ноги его были изранены. Подошвы, те подошвы, что переходили Евфрат в Зевгме, что выдержали путь от Эвксинского моря до крайних пределов Фиванды, отскочили, и одну вскорости он потерял совсем.

Едкий, жгучий и кислый пот обузил кругозор. Обычная его наблюдательность исчезла, и он видел вперед не далее как на длину десяти копий. Он двигался лишь благодаря привычному дарованию воина, которого Великий приучил идти вперед при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования и стремления богов.

Солнце, налюбовавшись покорностью скал, россыпей и дубов, а также редкой духовной красотой и настойчивостью солдата, убрало серый и злой жар, что подтачивает силы, как вода стены, и впустило мягкие, влажные, фиолетовые тени. Солдат отпил глоток воды и воскликнул, ободряясь:

— Клянусь собакой и гусем, я найду эту исчезнувшую тропу!

И тут за скалой, которую ему как раз надо было обходить, он услышал звук, очень необычный и странный для этих горных мест. Он услышал свистящий и жужжащий шум, испускаемый диском при его метании. Солдат превосходно знал этот шум. Диск его учили метать не только для игры, но и для создания уверенности при метании камней в неприятеля.

Он прислонился к скале и прислушался.

Звук рос, ширился и вдруг, точно пробившись куда-то, замолк, исчез.

Дразнящая тишина воцарилась над скалами. Надо опять что-то угадывать в этой едкой, как кислота, тишине...

И солдату захотелось ухать, кричать мерным голосом с другими солдатами, как кричали они мерно для дружной тяги осадного орудия или в бою.

Он, набравшись решимости, обошел-таки скалу и увидел россыпь, такую же, каких он прошел много. Почудилось: ветер наскочил. Он вспомнил слова старика о сыне Эола и содрогнулся. Мысль эта прогремела

над ним, будто огромная труба. Он присел на камни и долго и хрипло дышал.

Затем он обошел еще одну скалу и пересек еще одну россыпь. К скалам, которыми кончались россыпи, он уже подходил с опаской, держась за меч и взывая к богам и к Эолу в том числе. Выглядывал он из-за скал осторожно и однажды, перед тем как выглянуть, несколько подострил о камень свой меч.

И внезапно опять возник шум. Только теперь он уже не походил на шум бросаемого металлического диска, а его можно было бы сравнить с шумом морских волн, что, отлежавшись в глубине вод, идут, играя прибрежной галькой. Шум летел откуда-то сверху, хотя небо было по-прежнему безоблачно. Шум нарастал с такой быстротой и силой, что солдат отскочил от скалы. Шум пронесся за скалой, и от скалы отлетело несколько камней, как черенок отлетает от ножа, которым яростно взмахнули.

Солдат Полиандр боялся. Но он был солдат, и у него отлегло от сердца, когда он решил увидать врага лицом к лицу. Качаясь от страха, еле двигая ослабевшими ногами, он обошел скалу.

Россыпи за скалой уже не было. Открылась небольшая долина. От гор отступал, поспешно пятясь в эту долину, веселый ручеек. Дубы и плодовые деревья росли по его берегам. Подальше ручеек круто обрывался к реке, шум которой слабо доходил в эту долину.

Вдоль ручейка, в тени дубов, образующих здесь аллею, Полиандр увидал дорогу очень странной формы, какой он не видел никогда. Дорога эта, пробитая в камнях, цвета мокрой пробки, была в одну колею и скорее всего походила на желоб или на бесконечно длинное ложе, начинавшееся где-то высоко на горе и заканчивавшееся внизу, у края лощинки, в небольшом болотце, как будто истоптанном копытом огромного коня.

По этому ложу, мелькая среди дубов, тени которых ложились на широкую, мускулистую спину, волосатый, плечистый, перепоясанный шкурами великан катил вверх черную, отполированную до блеска морской гальки круглую глыбу камня величиной в добрых три человеческих роста. Великан медленно и тяжело дышал. Отвислый живот его, похожий на винную бочку, то падал на камень, то отрывался от него. Пальцы его ног впивались в ложе потока, и с изумлением увидел Палиандр, что они выбили здесь себе ступени.

«Клянусь собакой и гусем! — дивясь на великана, воскликнул про себя Полиандр.— Много я видел чудес, но такое встречаю впервые. Кто бы мог быть этот могучий, что катит камень с силою морской бури?»

Между тем великан, услышав приближение Полиандра, повернул к нему огромную голову с рыжими усами и бородой и с усилием сказал:

— Слава богам, прохожий. Р-р-рад! Иди в хижину. Р-р-рад! Разведи огонь. Поставь бобы. И смешай вино. Р-р-рад! — Он говорил слово «рад» каждый раз, когда ставил ногу в углубление в камнях, пробитое его пальцами, в такт слову, толкая вперед камень.

— Кто ты, о диво? — спросил солдат Полиандр.

И великан ответил:

— Я сейчас вернусь.— И он прорычал: — Р-р-рад! За хижиной — колодец. Спустись. Сбоку — яма. Р-р-рад! В яме — снег. Примешай к вину. О, р-р-рад!

И он еще раз оглянулся на Полиандра. Теперь солдат смог рассмотреть его лицо. Оно было морщинистое, старое, но наполненное тем победным избытком дней, который встречается крайне редко и прежде всего указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы.

Полиандр, пятясь, двинулся к хижине. Великан толкал камень, и камень, словно на стержне, быстро катился вверх, все уменьшаясь в величине и все увеличиваясь в блеске, так что потом казалось — великан несет к ярко-голубому небу отливку раскаленного оранжево-желтого металла.

Полиандр вошел в хижину, раздул в очаге дубовые угли под большим котлом, где уже лежали разопревшие бобы. Он подбросил дров в очаг, нашел возле хижины колодец и спустился туда, осторожно шагая по холодным и мокрым ступенькам.

Не доходя до воды, он увидал две ниши. В первой стояли глиняные кувшины с вином, вторая до краев была забита плотно слежавшимся снегом. Полиандр попробовал плечом ближайший кувшин. Кувшин тяжело отстал от пола и покачнулся вбок. Болтнулось. Пахну́ло вином.

— Клянусь собакой и гусем, я от него не скоро отклеюсь! — воскликнул Полиандр, подразумевая добродушного великана.

С трудом он донес до хижины самый малый кувшин с вином, а затем уже обратился к снегу, в котором нашел завернутое в целебные травы мясо дикой козы. Он положил это мясо в бобы, а при смешении вина с водой и снегом добавил немного пряностей, драгоценную горсть которых нес с Востока.

Едва лишь он смешал вино, как опять возле раздался ужасный шум, свистящий и жужжащий одновременно, подобно металлическому диску, брошенному гигантом. Полиандр выскочил из хижины. Ветви дуба бросали дрожащие тени у порога. Далеко внизу несся, подпрыгивая, по своему ложу круглый камень. Легкая радужная пыль дрожала над ложем — дорогой вдоль потока. Каменный шар добежал до предназначенного ему конца и застрял в трясине, брызнув во все стороны травянисто-зеленой грязью.

Великан, посматривая из-под большой руки на солнце, вразвалку спускался с горы. Приблизившись к хижине, он вытер руки о козьи шкуры, опоясывавшие его бедра, и неловко улыбнулся.

— Рад, путник?..— спросил он хриплым басом.— Я р-р-рад! Р-рад. Откуда? Куда?

В хижине стало тесно и на сердце у Полиандра — тоже. Он ответил сдавленным голосом:

— Клянусь собакой и гусем, разве эта тропа не в Коринф?

— В Коринф?..— с усилием спросил хозяин.— Р-рад! В Коринф.

Великан подал гостю воду для омовения. Он глядел, как солдат моет ноги, а затем руки, и большое, квадратное, как стол, лицо его, испещренное глубокими морщинами крестьянских забот и трудов, было наполнено мыслью. Казалось, он думал — что такое Коринф. И солдату пришло в голову, что снискать у этого великана доброжелательное понимание будет не так-то легко.

— В Коринф! Иду на родину! — воскликнул громко, как глухому, солдат.

— В Коринф? Р-рад! Садись. Ешь.

Они молча ели бобы. Затем хозяин руками, видимо, привыкшими к жару, достал из котла мясо дикой козы и положил его на доску. Он густо посыпал мясо солью, указал на вино.

— Соль? Р-рад!.. Будем много пить.— И он захохотал, держась руками за живот. Видно было, что он с трудом подбирал слова, и добытые эти слова доставляли ему большое удовольствие, и он пьянел от них, как от крепкого вина.

Они вычистили руки скатанным хлебным мякишем, и хозяин при-

двинул к себе сосуд с вином и снежной водой. Запах пряностей чрезвычайно был приятен ему, и это тоже указывало на то, что он давно не видал людей. Солдат ел жадно мясо, с хрустом раздробляя здоровенными своими зубами кости, и гордость, что великан увидал после долгого одиночества именно его, Полиандра, гордость укрепляла сердце солдата. Он воскликнул:

— Рад, клянусь собакой и гусем! Будем наслаждаться!

И он поднял деревянную чашу с вином. Некогда он пивал физасское, лесбосское, наксосское и славнейшее хиосское вино. Он-то знал толк в винах. Но это вино было лучше всех. И он выразил красивыми словами свое удовольствие хозяину.

— Р-рад!..— пророкотал тот.— Р-рад. Пей. Р-рад!

И он добавил ему вина из кувшина.

Сам он пил мало, для него достаточно было наслаждения, что он видит человека. Солдат же желал за вином состязаться в споре, желал рассказать про то, что он приобрел, нажил и — разбросал. Он спросил:

— Разве здесь давно не проходил путник?

— Давно,— ответил, широко улыбаясь, хозяин.— Рад.

— А сам давно ли ты здесь?

— Давно,— ответил хозяин.— Сегодня — последний, последний день, да!

— Как последний? — спросил солдат.— Разве ты продал свою хижину, сад и ниву? Где же твой покупатель? И за дорого ли ты продал?

— Зевс, слава ему, освободил меня,— сказал хозяин, сияя темно-голубыми, небесного цвета, глазами.— Рад! Последний день.

— Слава Зевсу,— сказал привычным голосом солдат.— Но не Зевс же купил твою хижину, и сад, и ниву?

Тогда хозяин, сильно жестикулируя и стараясь, чтоб солдат понял его, сказал раздельно:

— Зевс поставил меня здесь. Зевс и освободил.

— А жрецы? — сказал солдат, прихлебывая вино.— Они хотят поставить здесь храм? Место красивое.

— Не жрецы! Зевс,— настойчиво повторил хозяин.— Меня поставил здесь Зевс! Сам!

— Зевс? Кто же ты такой, если тебя поставил сюда сам Зевс? — спросил несколько насмешливо солдат.

— Я Сизиф, сын Эола.

Солдат захлопал глазами, и вино полилось ему густой струей на холодные колени.

— Клянусь собакой и гусем,— проговорил, заикаясь, солдат.— Ты — Сизиф?

И так как хозяин утвердительно закивал лохматой головой, прихлебывая вино из чаши, солдат спросил:

— Я слышал о Сизифе, сыне Эола, бога ветров. Я знаю, что он правил Коринфом, и это было давно, еще далеко до времен Гомера.

— Это я,— ответил хозяин с такой величественной простотой, что солдат совсем выпустил чашу и почувствовал, как толстые дубовые балки, на которых покоилась крыша хижины, пошатнулись перед его глазами.

— Клянусь собакой и гусем, это ты.

— Это я, Сизиф,— ответил хозяин и опять прихлебнул из чаши.— Пей!

Солдат не мог пить, и хозяину пришлось пуститься в объяснения, как это ни трудно ему было.

— Я много грешил. Я убивал безвинных. Грабил. Зевс наказал меня.

Мне — вечно вкатывать в гору обломок скалы. Обломок достигает вершины, и неведомая сила снова сбрасывает его вниз. Ты видел. И сегодня ты видел последний день. Я был послушен. Зевс вчера явился ко мне и сказал: «Последний день». Р-рад!

И хозяин захохотал.

Солдат вздрогнул от страшной мысли и спросил:

— Скажи мне, о почтенный Сизиф, сын Эола. Ты ведь наказан был уже тогда, когда попал в подземное царство мертвых, в царство Гадеса. Неужели и я тоже уже нахожусь в нем?

Сизиф ответил:

— Бесчисленное количество дней вкатывал я камень в гору в подземном царстве Гадеса. Повторяю, я был послушен и не гневал богов ропотом. Прощение Зевса в том именно и заключалось, что незаметно для себя я перешел из подземного царства сюда, к солнцу. Вот почему я рад, что вижу тебя, о путник!

Солдат спросил:

— Скажи мне, о Сизиф, сын Эола, каково собою подземное царство Гадеса? Ты умеешь кратко и сильно изображать свои мысли.

Сизиф ответил:

— Слякоть. Дождь. Сырость. Всегда.

— Клянусь собакой и гусем,— воскликнул солдат,— нельзя сильнее выразить свою благодарность богам за солнце и за вино!

— Пей,— сказал, смеясь, Сизиф.— Р-рад!

— Хвала мудрому Зевсу,— принимая чашу, полную мутного красного вина, проговорил солдат.— И долго ты был здесь, на вершине гор, один?

Хозяин ответил:

— Долго. Я вкатывал камень от восхода до заката. Я был послушен.

— А после заката ты копал огород, ловил зверей, собирал плоды.— Хозяин кивнул головой, и солдат продолжал перечислять трудности его жизни.— Тяжело в жару. А еще тяжелей в дожди, когда подходит зима. Тебе, наверное, мешала вода...

— О, целые потоки! — вскричал хозяин.— Навстречу — река! В грудь. Камень в воде. Руки скользят. Мокро. Иду против потока... Но я покóрен богам. И вот Зевс простил меня!

— Хвала мудрому Зевсу,— сказал солдат.— Прошу тебя, налей мне еще вина. Прекрасное вино. Последний раз я пил нечто подобное в Иране.

— Ты был в плену?

— Я — в плену? У гнусных и трусливых персов? — сказал с презрением солдат.— Да ты разве не знаешь, что Александр Великий прошел Персию от начала до конца?

— Не знаю,— ответил Сизиф.— Я катал камень. Кто такой Александр?

— О боги! — воскликнул солдат Полиандр.— Он не знает, кто такой Александр, царь Македонский! Ты, значит, не знаешь о сражениях, им выигранных, о том,как он разбил царя Дария и разрушил индийское царство Пора, и как женился на прекрасной царевне Роксане, и как собрал множество других сокровищ?

— Ничего не знаю,— ответил Сизиф.— Камень был тяжелый, и мне было трудно оглядываться.

— Клянусь собакой и гусем! — вскричал солдат.— Я расскажу тебе все от начала до конца. Налей мне вина!

Хозяин наполнил ему снова чашу, и солдат стал говорить.

Спустилась ночь. Сквозь ветви дубов глядели звезды. Ветви были неподвижны, неподвижны были и горы за ним, и едва доносился сюда в

хижину лепет ручья. Сизиф сидел, обхватив большими руками колени, и медно-красные лучи света их очага освещали его лицо и глаза, ставшие подлинно синими.

Солдат рассказывал о городах Востока. Города эти построены из кирпича, высушенного на солнце и крепко связанного между собой черной и липкой смолой, оригинальным и натуральным продуктом вавилонской почвы. Он говорил об оазисах, где растут высокие пальмовые деревья, дающие столько же полезных употреблений из ствола, ветвей, листьев, сока и плодов, сколько дней в году. Он говорил о плавучих плотах на пузырях из кожи, которые везут по многоводным рекам с высокими искусственными плотинами прекрасные дары земли — коней, пряности и женщин. Таковы Персия, Египет, Индия...

— А что с ними сталось? — спросил хозяин.

Солдат встал и поднял вверх чашу с вином.

— Хвала богам! — воскликнул он.— Мы переправились через Геллеспонт, принесли на развалинах, наверное, тебе известного Илиона, жертву предку нашему Ахиллесу, и направились к реке Гранику, где и победили персов. И мы пошли по их стране, зажигая города, разрушая плотины и рубя оазисы. Дороги, по которым мы проходили, были вымощены целыми рощами пальмовых деревьев. Мы все уничтожали и жгли! И мы дошли до того жаркого пояса, куда не могут доходить люди.— И, распаляясь от рассказа и вина, Полиандр пылко продолжал: — В этом пустом пространстве мы встретили только сатиров с пурпуровыми рогами и золотистыми раздвоенными копытами. Волосы их взъерошены, носы сплюснуты, на щеке желваки, ибо они постоянно предаются любви, музыке и вину. Мы убивали их. Мы убивали и сирен. Эти горячие, иссушающие существа сидят на лугах, покрытых цветами, а вокруг них лежат кости людей, погибших от любви к ним. Мы убивали центавров и пигмеев, индийских и эфиопских. Одним своим мечом — ты видишь его, о Сизиф,— я уничтожил фалангу пигмеев, кавалерию их. Они каждую весну верхом на козлах и баранах, в боевом порядке идут на добывание журавлиных яиц... Ха-ха-ха!

— Р-р-рад! — закричал, поднимая чашу, хозяин, и рокотом отозвались на тяжелый голос его невидимые и тяжелые горы.

Солдат продолжал:

— Мы все это разрушали и предавали огню во имя Ахиллеса и славы его потомка — Александра, царя Македонского! Отсюда и разбогател Коринф. Отсюда и разбогател царь Кассандр, который со мной поступил неблагородно...

Солдат пошатнулся от злобы, хмеля и внезапно посетившей его мысли. Он посмотрел на великана, недвижно сидевшего у очага, и сказал:

— Сизиф, сын Эола! Ты — царь Коринфа?

— Я был царем Коринфа,— ответил Сизиф.

— А ты будешь опять царем Коринфа! — воскликнул солдат.— И будешь царем всей Греции. Ты уничтожишь корыстного, жадного и падкого на стяжание, неблагодарного царя Кассандра. И ты воцаришься!

Солдату хотелось сказать, что воцарится малолетний сын Великого Александр Эг... Но как сказать это? Глаза у Сизифа блестят, ему самому, видно, хочется приобретать, и неизвестно, посадит ли он к себе на плечи малолетнего Александра Эга. Солдат, чтоб окончательно подчинить себе Сизифа, вскричал:

— Ты наденешь пурпур и воцаришься! Ты — знаешь... Знаешь ли ты, о Сизиф, что я послан к тебе богами?

— Р-р-рад!

— И ты покинешь эти места и уйдешь со мной, знаешь?

— Р-р-рад!

— Мы будем грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища!

— Р-р-рад!..— рыкал хозяин, и рыкали, поддакивая ему, горы за дубами в глубине ультрамариновой ночи.

Хозяин хохотал и покачивался от восторга. Огонь играл то на его широчайших плечах, то переходил на его круглые, как стог сена, колени. Солдат кричал и врал. Нет ничего прекраснее, когда горит подожженный город... Но на самом деле в подожженном городе страшно. Персы и индийцы стреляют из-за каждого угла, сокровища гибнут под пламенем, гарь и едкий дым режет глаза, молодые женщины бросаются в огонь, и в добычу попадают лишь одни старухи, убивать которых очень неприятно: о сухожилия и кости их тупится меч. Вранье и самому ему не казалось очень убедительным, и, глядя на пунцовый пламень очага, он вспомнил о царственном пурпуре, в который обещал одеть Сизифа.

Солдат Полиандр сказал:

— Твои козьи шкуры, в которые ты облачен, о Сизиф, грязного бурого цвета. Давай мне их сюда...

— Зачем? — спросил Сизиф.

— Давай мне их сюда, и немедленно я превращу их в пурпур!

Он нашел еще один котел, наполнил его водой, быстро вскипятил ее и высыпал туда все свои порошки пурпура. Вода закружилась багровыми пятнами. Полиандр обмакнул в нее длинную козью шерсть, стараясь, чтобы влага не задела кожу, а затем на палках развесил шкуры возле очага. Он любовался алой шерстью, и ему грезился шумный Коринф, чествующий царя Сизифа, мертвая голова Кассандра у его ног, и сам он, Полиандр,— военачальник, стоящий рядом с Сизифом.

— Мы идем, о Сизиф! Идем к славе! — кричал он. — Что тебе эта жалкая долина? Спать тебе в ней не удавалось, так как ночью ты возделывал огород, полол, поливал, ловил в сети рыб, а в капканы — диких зверей. Ты будешь спать на пуху, под песнопения красавиц, спать долго, до полудня.

— Я р-р-рад... Спать...— рыкал, разевая твердый, прямой рот Сизиф.— Р-р-рад...

— Ты — царь Греции, а я — твой соправитель...— И с этими словами солдат Полиандр лег на ложе и по привычке сунул под голову нагрудник и наспинник, а ноги прикрыл овальным своим щитом так, чтобы крючки и пряжки для прикрепления торчали наружу. Вдоль тела он положил свой короткий аргосский меч и, сделав все это, немедленно заснул.

Проснулся солдат от громкого шума сражения. Как всегда, он почувствовал холодный дрожащий страх в плюсне ноги, охвативший затем и лодыжки. Но, как и подобает солдату Великого, он немедленно поборол страх и вскочил, держа меч наклонно.

Было раннее свежее утро. Шум сражения утих. Солдат пошел на узкую полосу света, щурясь. Открылась дверь.

И с порога хижины солдат Полиандр увидал, что поднимается над алыми горами изжелта-красная заря, и внизу лощины, освещенной лучами этой зари, катится вверх, в гору, по своему ложу, огромный базальтовый черный шар.

И катит его Сизиф.

И тогда воскликнул Полиандр дрожащим с похмелья и от изумления голосом:

— Клянусь собакой и гусем, я не верю своим глазам! Ты ли это, о Сизиф?! Разве мудрый Зевс не простил тебя? И разве ты не дал мне со-

гласия идти вместе со мною в Коринф и далее, куда поведет нас судьба?

И тогда ответил Сизиф, толкая камень плечом:

— Бедра, голени и ступни мои стары. Молодое поколение греков идет слишком быстро. Я могу отстать и тогда зачахну где-нибудь на Востоке, в жарком песке пустыни... А здесь... Здесь я привык. У меня имеются бобы, капканы для диких коз, вино изредка и к нему — сыр. Что мне еще надо? Я привык. Иди, путник, в свой Коринф, а я пойду в свою гору.

И он, тяжело и с напряжением шагая, покатил камень.

И перед тем как исчезнуть из глаз солдата, Сизиф прорычал про себя:

— Р-р-рад вор-рочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...

Он отвык говорить такие длинные фразы и потому сказал невнятно, и солдат не расслышал, а если б и расслышал, то вряд ли понял бы.

Из дородного и могучего Сизиф, уходя, превращался в поджарого, а его камень — опять в раскаленный отливок металла. Оба они быстро приближались к верху горы, откуда невидимая сила должна была сбросить камень обратно. Солдату не хотелось услышать снова отвратительный визжащий и дрожащий поток камня, и, поспешно схватив свои доспехи, он выбежал на тропу, явно обозначившуюся перед ним.

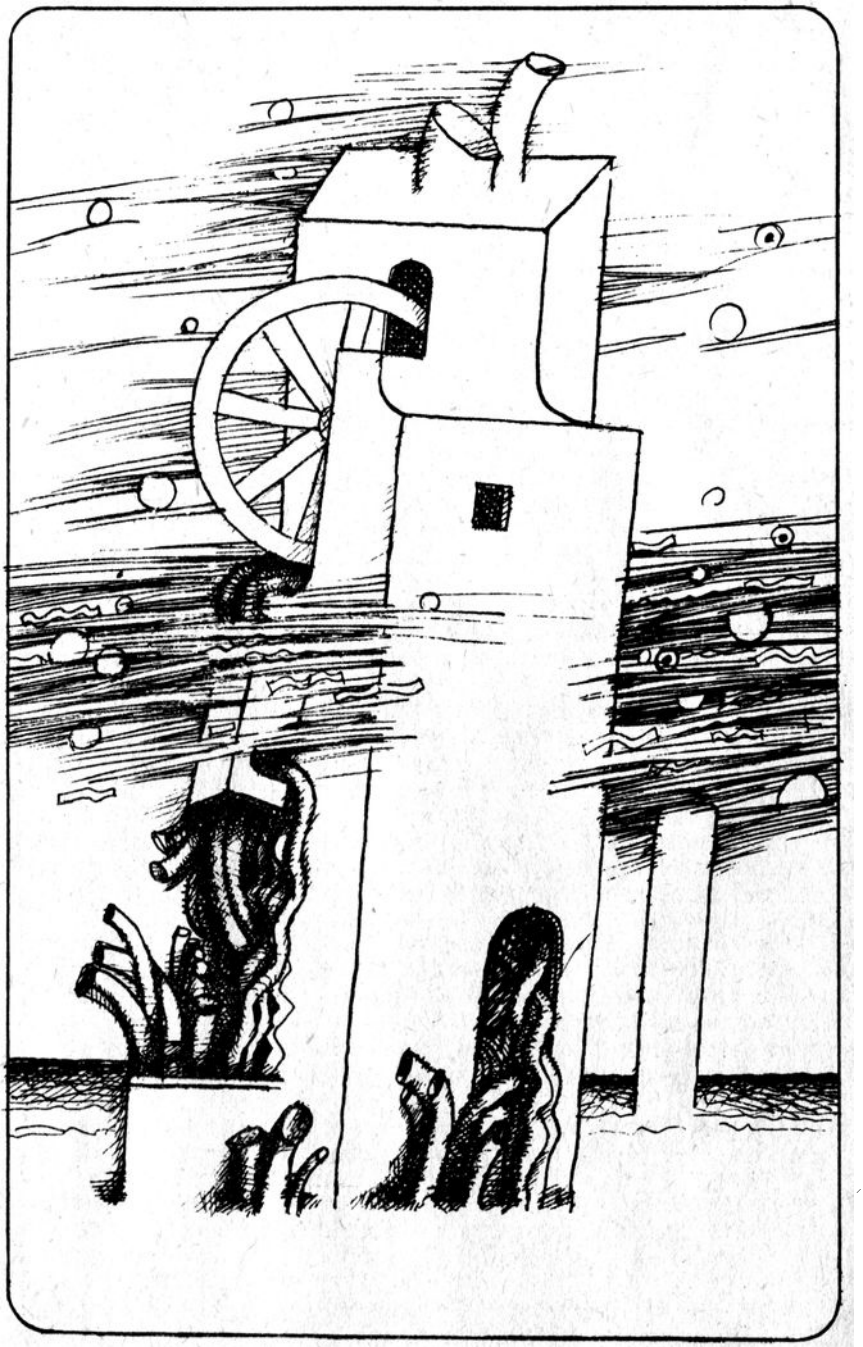
Он шагал по тропе, чувствуя в сердце жестокое колотье. Он предчувствовал, что Коринф встретит его не по-родственному, а сильно почерствевшим с исподу. Пожалуй, лучше совсем не показываться туда? Ну, а где же тогда его родное место? Он — выпущенная стрела, и нет счастливого ветра, который бы отнес его в сторону. Кто будет рубище, отрепье и ветошь красить в пурпур?

И он еще раз оглянулся на Сизифа.

Сизиф был высоко, на острой вершине кряжа. Пурпуром отливали на раменах его козьи шкуры, которые вчера, сглупа, окрасил ему Полиандр. Истратил последний драгоценный пурпур, ах...

И воспаленным голосом проговорил Полиандр:

— Клянусь собакой и гусем, о Сизиф! Недаром Гомер называл тебя корыстолюбивым, дурным и лукавым, о коварный сын Эола,— ты обманул меня. И неужели это предзнаменование, что я всегда буду обманутым?..



А.ДНЕПРОВ

ГЛИНЯНЫЙ БОГ

2

1. ПУСТЫНЯ

Здесь я впервые увидел мираж.

Линия горизонта трепетала и извивалась в потоках раскаленного воздуха. Иногда от песчаного моря вдруг отрывался огромный ком светло-желтой земли и повисал на некоторое время в небе. Затем фантастический небесный остров опускался, расплывался и снова сливался с пустыней.

С каждым часом жара становилась сильнее, и все более причудливо выглядели бескрайние пески. Сквозь колышущийся горячий воздух, как сквозь кривое стекло, мир выглядел уродливым. В песчаный океан глубоко врезались клочья голубого неба, высоко вверх всплывали песчаные дюны. Иногда я терял из виду едва заметные контуры дороги и с опаской поглядывал на шофера.

Высокий молчаливый араб напряженно всматривался воспаленными глазами в раскаленную даль. Густые черные волосы его покрыла серая пыль, пыль была на смуглом лице, на бровях, на потрескавшихся от жары губах. Он, казалось, отрешился от всего земного и слился воедино с автомобилем. Это придавало мне уверенность, что мы едем по правильному пути, что мы не потерялись в безумном хороводе желтых и голубых пятен, которые обступили нас со всех сторон.

Я посмотрел на пересохшие губы шофера, и мне захотелось пить. Я вдруг почувствовал, что мои губы тоже пересохли, язык стал жестким и неповоротливым, на зубах трещал песок. Из кузова машины я перетащил на переднее сиденье свой дорожный саквояж, достал термос. Я выпил залпом две кружки холодной воды, которая здесь, в пустыне, имела необычайный вкус. Затем я налил еще кружку и протянул ее шоферу.

— Пей...

Он не отвел глаз от дороги, а только еще более плотно сжал губы.

— Пей,— повторил я, думая, что он не слышит.

Тогда шофер повернул ко мне лицо и холодно взглянул на меня.

— Пей,— я протянул ему воду.

Он изо всех сил нажал на педаль. Машина резко рванулась, и от толчка вода выплеснулась мне на колено. В недоумении я несколько секунд продолжал держать пустую кружку. Больше я не рискнул предложить шоферу воды.

Прошло мучительно много времени. Дорожная колея совсем исчезла. Шофер ловко объезжал высокие дюны, чутьем находя твердый грунт, то и дело переключая передачу на переднюю ось, чтобы машина не

увязла в глубоком песке. Очевидно, этот путь ему приходилось преодолевать много раз.

Было почти четыре часа дня, и до места назначения оставалось ехать не более часа.

Когда в Париже в маленьком особняке на улице Шантийон мне рассказывали про эту дорогу, я решил, что меня просто пугают, не желая взять на работу. Высокий тощий американец Вильям Бар говорил мне тогда:

— Не воображайте, что вам предлагают рай земной. Худшего ада не придумаешь. Вам придется жить и работать в настоящем пекле, вдали от всего того, что мы привыкли называть человеческой жизнью. Я не знаю точно, где это находится, но мне известно, что где-нибудь на краю света, в самой пустынной пустыне, которую только можно себе вообразить.

— Может быть, вы мне все же скажете хотя бы приблизительно?

— Приблизительно? Пожалуйста. Где-то в Сахаре. Впрочем, в Агадире вас встретят и повезут куда нужно. Больше я ничего не знаю. Хотите — соглашайтесь, хотите — нет. Ваша воля.

Я вспомнил объявление, которое накануне прочитал на улице Дюбак: «Молодой, не боящийся трудностей химик-лаборант требуется для работы вне Франции. Выдающиеся возможности в будущем после завершения исследований. Возможны денежные и другие награды. Уникальная специализация. Рекомендация не обязательна. Желательно знание немецкого языка. Обращаться: улица Шантийон, 13».

Я согласился, и за этим последовал аванс в размере двух тысяч франков, затем короткое прощание с матерью, документы, которые мне почему-то выдали в американском консульстве, дальше марсельский порт, Гибралтар, шторм в Атлантике, Агадир, и вот я здесь, в этом бескрайнем песчаном море.

Солнце горело оранжево-красным светом, когда вдруг из-за неровной линии горизонта появилось что-то, что не было миражем.

Автомобиль наезжал на свою быстро вытягивающуюся тень. Проваливаясь в глубоком песке, он приближался к ярко-красной полосе, которая постепенно вырастала над землей, превращаясь в бесконечную ограду. Она убегала на север и на юг, и ее границы терялись за песчаными холмами. Казалось, вся пустыня была перегорожена глиняной стеной пополам, а в центре стены виднелся темный квадрат, который, по мере того как мы приближались, принимал очертания огромных ворот. Ограда была очень высока, по ее гребню в четыре ряда была протянута колючая проволока. Через равные интервалы над проволокой возвышались высокие шесты с электрическими лампами. Лампы блестели кроваво-красными каплями в лучах заходящего солнца. У ворот, справа и слева, можно было различить два окошка. Мы подъехали к стене вплотную, и я вспомнил слова Вильяма Бара: «На краю света божьего...» Может быть, это и есть край света?

— Это здесь,— хрипло произнес шофер, медленно выползая из кабины. Несколько секунд он стоял скрючившись, потирая колени затекших ног.

Я достал из автомобиля свои немногочисленные пожитки — чемодан с бельем, саквояж и стопку перевязанных бечевкой книг и пошел к воротам. Они походили на гигантский конверт, по углам запечатанный стальными печатями-болтами.

Шофер подошел к правому окошку и постучал. В нем на мгновение показалось темно-коричневое лицо. Последовал негромкий разговор на непонятном мне языке. Затем послышалось слабое гудение, и ворота медленно раскрылись.

За стеной я ожидал увидеть что-нибудь вроде города или поселка. Но, к моему изумлению, там оказалась вторая стена, такая же высокая, как и первая. Шофер вернулся к машине, включил мотор и медленно въехал в ворота. Я пошел следом. Машина свернула направо и поехала по коридору, образованному двумя стенами. Здесь было уже совсем темно. Возле ворот находилась большая глиняная пристройка, у которой стояли часовые в военной форме с карабинами наперевес. Тот, мимо которого я проходил, вытянул шею, приглядываясь к моему багажу.

Так я шел за машиной минут пять, пока мы не остановились у небольшой двери во второй стене.

Шофер снова вышел из машины и постучал. Дверь сразу же открылась, на пороге появился человек.

— Входите, господин Мюрдаль,— произнес он на чистейшем французском языке и протянул мне руку.— Давайте познакомимся. Мое имя Шварц.

Я вошел в калитку. Позади заревел автомобиль. Араб шофер остался за оградой.

— У нас формальностей немного,— объявил Шварц, когда мы подошли к небольшой брезентовой палатке.— Будьте добры, ваш диплом, письмо от мистера Бара и вашу воду.

— И что? — переспросил я.

— Воду. У вас, наверное, есть с собой вода в термосе или в бутылке?

— Есть...

— Вот ее-то вы и должны сдать.

Я открыл саквояж и передал ему документы.

— А зачем вам моя вода?

— Мера предосторожности,— ответил он.— Мы боимся, чтобы с водой к нам сюда не попала какая-нибудь инфекция. Вы ведь знаете, здесь в Африке...

— Ах, понимаю!

Он скрылся с моими документами и термосом, а я огляделся вокруг. Прямо передо мной вытянулись три длинные постройки барачного типа. Дальше, направо, виднелся трехэтажный дом и рядом с ним здание, похожее на башню. Позади построек виднелась светлая полоска изгороди, а за нею я увидел нечто поразившее и даже испугавшее меня: верхушки необыкновенных пальм. Они казались ярко-алыми на фоне пурпурного, почти фиолетового вечернего неба. Я бы никогда не поверил, что это пальмы. Но слишком характерными были их кроны, их резные широкие листья, их гофрированные стволы. И все же цвет их листьев был слишком алым. Таким же, как цвет освещенных солнцем бараков. «Оазис алых пальм»,— подумал я.

Солнце зашло, быстро сгущались сумерки. Здесь, в пустыне, вечер длится всего несколько минут. Затем внезапно наступает кромешная тьма.

Потускнели бараки, исчезли алые пальмы, и все погрузилось во мрак. Сразу стало прохладно. Вспыхнуло электричество — бесконечный ряд электрических ламп вдоль изгороди.

Из палатки вышел Шварц. В руке у него был электрический фонарик.

— Ну, вот и все. Теперь я провожу вас в вашу комнату. Извините, что вам пришлось немного подождать. Это не очень приятно после утомительной дороги.

Он взял мой чемодан, и мы медленно зашагали по глубокому песку к длинным постройкам.

2. МОРИС ПУАССОН

— К сожалению, после окончания университета все мы такие,— лениво произнес Морис Пуассон.— Требуется много времени, прежде чем мы поймем, что сейчас границ между различными научными дисциплинами нет. Получается так: университетский курс существует сам по себе, а практика — сама по себе. И все из-за того, что в университете засилие старых консерваторов, вроде профессоров Перени, Вейса и прочих наших корифеев.

— Они не только наши. Это корифеи мировой науки. Ими гордится Франция,— возразил я, рассматривая инструкцию к кварцевому спектрографу.

Сегодня Пуассон пришел рано. По расписанию наша работа начиналась в одиннадцать утра. Он же пришел в девять, едва я сел завтракать.

Я отложил инструкцию и посмотрел ему в лицо.

— Скажите мне, пожалуйста, что мы здесь делаем? Вот уже неделя, как я живу за этими двумя глиняными стенами, и все еще не понимаю, что здесь происходит. Меня волнует неизвестность. Еще никто толком мне не сказал, зачем я сюда приехал.

Морис грустно улыбнулся и подошел к окну. Он посмотрел куда-то вдаль и как бы про себя заговорил:

— Вы здесь неделю, а я уже скоро три месяца. Если вы думаете, что я могу ответить на все ваши вопросы, то вы глубоко ошибаетесь. Я не задаю их и себе. К чему?

Он повернулся ко мне.

— Впрочем, могу дать вам один совет: берегите нервы. Не думайте ни о чем, что выходит за пределы ваших обязанностей. Вы лаборант — хорошо. Сейчас вам необходимо изучить спектрофотометрию и научиться делать химические анализы средствами физической оптики.

— Да, но я ведь химик, понимаете, химик!

Он пожал плечами и снова подошел к окну. Затем ни с того ни с сего спросил:

— А вы обратили внимание, что все оптические приборы здесь фирмы Карла Цейсса?..

— Да.

— Цейсс — хорошая немецкая оптическая фирма. Помните, как в университете мы дрались за право сделать практическую работу на цейссовском микроскопе?

Пуассон, как и я, окончил Сорбоннский университет, только годом раньше. Он специализировался по физической химии. До встречи здесь я его не знал. Его представили мне на третий день после моего приезда. Родом он был из Руана. О Париже он меня не расспрашивал. Сначала он держался со мной сухо, с подчеркнутой важностью. В перерывах между занятиями мы рассуждали о науке вообще.

— Итак, теперь вы знаете, как устроен этот прибор. Прошу вас рассказать по порядку методику спектрального анализа.

Я закрыл инструкцию и, как когда-то перед профессором на экзамене, выпалил:

— Вначале нужно включить водородную лампу и с помощью конденсорной линзы изображение кварцевого окошка спроецировать на входную щель спектрографа. Затем закрыть диафрагму, между щелью и кон-

денсором поместить кювету с исследуемой жидкостью, вставить кассету в камеру спектрографа, открыть ее, открыть диафрагму и сделать экспозицию. Потом закрыть диафрагму, отодвинуть водородную лампу, поставить на ее место вольтову дугу с железными электродами, передвинуть пластинку в кассете на одно деление и проэкспонировать свет железной дуги. После этого проявить пластинку, высушить ее и профотометрировать.

— Зачем необходимо экспонировать железную дугу? — спросил он, развалившись в кресле и закрыв глаза.

— Чтобы сопоставить всем участкам спектра линии железа, частоты которых известны.

— Кому они известны? Вам они известны?

— Мне? Пока нет. Они вот здесь, в этом каталоге.

— Правильно,— произнес он, вставая.— Научитесь читать спектр железной дуги по памяти. Это не очень трудно. Нужно запомнить всего каких-нибудь двести цифр. Говорят, Грабер не любит, когда заглядывают в справочники.

Я кивнул и через минуту спросил:

— А кто он такой, этот Грабер?

Морис несколько раз прошелся по комнате, затем почему-то открыл стоявшие на столе аналитические весы и легонько тронул пальцем позолоченную чашку. Вместо ответа на мой вопрос он вдруг спросил:

— Вы спирт пьете?

Я ничего не ответил. Положив инструкцию на стол, где стоял спектрограф, я вышел в соседнюю комнату. Здесь в десяти шкафах, расположенных вдоль стен, находились химические реактивы. Когда впервые меня провели в лабораторию, меня больше всего поразило обилие реактивов. Это были лучшие реактивы, о которых я когда-либо слышал, огромное количество неорганических и органических соединений фирмы Кольбаума, Ширинга, «Фарбен-индустри». По моим подсчетам, здесь было около пяти тысяч банок и пузырьков всех размеров и цветов, аккуратно расставленных в соответствии с принятой химической номенклатурой. В отдельном металлическом шкафу, из которого поднималась широкая вытяжная труба, хранились растворители — органические жидкости всевозможных классов. Я открыл этот шкаф и быстро отыскал спирт.

— Вы пьете разбавленный или так? — спросил я и протянул ему спирт в мензурке объемом в четверть литра.

— А вы? Впрочем, вам еще рано. Дайте стакан воды.

Пуассон выпил спирт большими глотками и, не переводя дыхания, прильнул к воде. Лицо его сделалось красным, из глаз потекли слезы. Он сделал несколько глубоких вздохов и снова подошел к окну.

— Так вы спрашиваете, кто такой Грабер? Гм. Это сложный вопрос. По-моему, Грабер — талантливый химик. И не только химик. Он, должно быть, разбирается и в физике, и в биологии. Говорят, этот человек, глядя на вас вот так, как я сейчас смотрю,— Морис уставил на меня быстро мутнеющие глаза,— сразу же скажет, какая концентрация хлористого натрия в вашей крови, сколько пепсина выделилось в вашем желудке от того, что вы пошевелили пальцем, насколько повысилась концентрация адреналина у вас в крови, потому что вы его, Грабера, испугались, какие железы внутренней секреции у вас заработали, когда он вам задал вопрос, насколько ускорился в вашем мозгу окислительный процесс, когда вы стали думать над ответом, и так далее и тому подобное. Грабер назубок знает всю сложную химическую лабораторию человеческого организма.

— Это очень интересно,— произнес я.

Мне стало немного жалко Мориса. После выпитого спирта он потускнел, сжался, превратился в жалкого потерянного человека. Я хотел было предложить ему идти домой, но вдруг подумал, что пьяный он более охотно ответит на волновавшие меня вопросы.

— Это очень интересно. Однако имеют ли его научные таланты какое-либо отношение к тому, что мне придется делать?

— Ха-ха-ха,— засмеялся Морис и покачал головой. Подойдя ко мне совсем близко, он в самое ухо прошептал: — В том-то и дело, что Грабер, наверное, хочет сделать одну злую шутку. Ха-ха! Я догадываюсь, что он хочет сделать... Впрочем, ш-ш-ша... Я ничего не знаю. Никто ничего не знает. И вообще к чему этот дурацкий разговор? Слышите? Никаких вопросов. Я иду отдыхать. А вы потрудитесь снять спектры поглощения пяти растворов органических веществ. Любых, какие вам вздумается. Завтра я приду и проверю...

С этими словами Пуассон, покачиваясь и задевая за углы столов, нетвердой походкой вышел из лаборатории. Я долго смотрел ему вслед.

На следующий день Шварц изложил мне то, что он называл «распорядком дня». Жить я должен был тут же, при лаборатории. Покидать помещения большой необходимости у меня не было. Прогулку разрешалось совершать три раза в день, да и то только вдоль барака, где я жил. Час утром, два часа в полдень и час вечером.

Это был почти арестантский режим. Завтрак, обед и ужин мне приносил в термосах закутанный с ног до головы в белый бурнус араб. Я был совершенно уверен, что он был либо глухонемым, либо ровным счетом ни слова не понимал ни на одном языке, кроме своего, либо имел строгие инструкции со мной не разговаривать. Все вопросы, которые могли у меня возникнуть, я должен был решать со Шварцем. Он регулярно навещал меня два раза в день, а иногда и чаще. Всегда очень любезный, веселый, он справлялся о моем здоровье, спрашивал, не написал ли я письма своим родителям и знакомым.

— Добрый день, господин Мюрдаль,— вдруг услышал я его голос.

— Добрый день,— ответил я сухо.

— Итак, вы, говорят, освоили спектральный анализ, не правда ли? — спросил он добродушно, усаживаясь в кресло и закуривая сигарету.

— Н-не знаю. Я еще не пробовал.

— Во всяком случае, с теорией у вас все в порядке.

Я пожал плечами. Наверное, Пуассон доложил ему о моих успехах.

— Я хотел бы, чтобы вы продемонстрировали мне, как вы собираетесь выполнять спектрофотометрирование растворов.

Ни слова не говоря, я извлек из ящика стола цилиндрическую кварцевую кювету. Войдя в препараторскую, я взял из шкафа первый попавшийся пузырек, высыпал на ладонь немного вещества и бросил его в плоскодонную колбу. Затем налил из крана воды. Когда раствор был готов, я стал заполнять кювету. В этот момент Шварц тихонько засмеялся и сказал:

— Достаточно, Мюрдаль. Все очень плохо. Можете не продолжать.

— Но еще ничего не сделано! — возразил я.

— Мой дорогой химик,— ответил он все с той же бесконечно любезной улыбкой,— вы уже сделали все, чтобы ваш анализ никуда не годился.

Я зло на него взглянул.

— Н-да,— протянул он задумчиво.— Пуассон, видимо, неважный инструктор. Очень неважный.— Он потрогал нижнюю губу.— Вы хотите знать, почему ваш анализ никуда не годится? Во-первых, вы насыпали

реактив на руку. Но ваши руки грязные. Не обижайтесь, они грязные в химическом смысле. Малейшие следы пота, закристаллизовавшихся в клетках солей, осевшая на руках пыль — все это вместе с реактивом попало в раствор. Далее, вы не взвесили реактив. Вы не знаете, какое количество его вы взяли. А не зная концентрации раствора, нельзя судить о спектрах поглощения. Далее, вы растворили реактив в воде из-под крана, а она в химическом отношении тоже грязная. Вы не вымыли кювету. Вы понимаете, сколько ошибок вы наделали за одну минуту?

Он засмеялся и добродушно похлопал меня по плечу, а я, совершенно уничтоженный, чувствовал, как краска заливает лицо.

— Ну, ничего. Вначале это бывает. Только я вас очень прошу, не поступайте так впредь. Ведь вам в будущем предстоит очень ответственная работа, и уж если вы будете выполнять анализы, доктор Грабер должен в них верить. Понимаете?

— Да.

— А теперь давайте знакомиться по-настоящему,— продолжал он все тем же веселым тоном.— Мое имя Шварц, Фридрих Шварц, доктор химии из Боннского университета. Я руковожу этой лабораторией, а вы — мой лаборант. Вы будете работать под моим руководством и, я надеюсь, будете работать хорошо. Теперь отработайте то, что вам сказал Пуассон, но только чисто. На каждой спектрофотограмме поставьте название вещества, растворитель, концентрацию раствора, время экспозиции, время проявления пластинки. Вечером я проверю. Пока до свидания.

Доктор Шварц, улыбаясь, направился к выходу.

Вдруг он остановился и сказал:

— Кстати, я вам запрещаю поить Пуассона спиртом. Запрещаю пить и вам. Если у вас появится желание выпить, скажите мне. Здесь у нас есть чудесные коньяки. «Мартель», «Наполеон», что хотите.

3. «НАУКА ТРЕБУЕТ УЕДИНЕНИЯ»

Мир, в который я попал, оказался не таким бескрайним, как мне показалось вначале. На расстоянии километра к северу от моего барака возвышалась ограда, отделявшая от территории института то, что я про себя окрестил «оазисом алых пальм». В действительности пальмы не были алыми, но не были и зелеными. Днем цвет их листьев казался оранжевым, почти под цвет песка.

Из разговоров с Пуассоном я узнал, что главный въезд на территорию института расположен в северной стене, у ее северо-восточного угла. Через эти ворота к Граберу прибывали различные грузы, материалы, горючее для электростанции и цистерны с водой.

По крайней мере в четырех постройках располагались химические лаборатории. В двух одноэтажных бараках прямо перед центральным въездом размещались лаборатории Шварца, несколько дальше к северу находилась еще одна лаборатория и еще одна — у стены оазиса алых пальм. Там работал Пуассон. Над крышами бараков торчали характерные жестяные трубы-вытяжки из помещений, где проводились исследования.

Трехэтажное кирпичное здание в юго-восточном углу являлось резиденцией самого Грабера. Справа от здания поднималась водонапорная башня.

Прошло более трех месяцев с тех пор, как я приехал, но мое знакомство с территорией по-прежнему ограничивалось двумя бараками, где хозяйничал доктор Шварц. Кроме меня, в его распоряжении были еще только два сотрудника: немец по имени Ганс и итальянец Джованни Сакко. Оба они работали в северном бараке и ко мне никогда не заходили. Весь северный барак представлял собой синтетическую лабораторию. Там вместе с доктором Шварцем жили Ганс и Сакко. Я жил один.

По территории днем и ночью медленно шагали часовые, вооруженные карабинами. Они несли службу по двое и обходили территорию по какому-то очень сложному маршруту.

Мне редко приходилось видеть кого-нибудь на территории. Особенно безлюдным был юг, хотя днем из труб валил дым, а ночью иногда светились окна. Вдоль восточной ограды проходила асфальтовая дорога, и по ней довольно часто к водокачке или к электростанции подъезжали грузовики. На этой же дороге иногда появлялись люди, закутанные в белые бурнусы. Это были рабочие из местных жителей.

Кроме Шварца и Пуассона, я долгое время не общался ни с кем. Ганса и Сакко я встречал, когда приходил с результатами анализа в северный барак, однако всякий раз они немедленно удалялись, оставляя меня наедине с доктором. Пуассон приходил ко мне сам, причем после случая со спиртом очень редко. Заходил главным образом для того, чтобы взять какой-нибудь реактив или передать мне препарат для анализа. Он всегда был молчалив, задумчив и, как мне казалось, немного пьян. У меня создалось впечатление, будто он чем-то расстроен, но чем — он не хотел или не мог сказать.

Впрочем, вскоре после приезда у меня появился еще один знакомый, вернее знакомая. Правда, я ни разу не видел ее в лицо. Это знакомство состоялось так. Однажды, когда я почему-то залежался в постели, вдруг зазвонил телефон. Так как до этого мне никто и никогда не звонил, я вскочил как ошпаренный и схватил трубку. Не успел я признести и слова, как послышался женский голос:

— Господин Мюрдаль, пора на работу.— Женщина говорила по-французски, с очень сильным немецким акцентом.— Вы опаздываете на работу, господин Мюрдаль. Уже десять минут девятого.

Я посмотрел на часы. Мои часы показывали только семь.

— На моих только семь...— произнес я растерянно.

— Вы не проверяли свои часы. Звоните мне всегда после восьми вечера. Я буду говорить вам точное время.

— А как мне вам звонить?

— Просто снимите трубку.

— Хорошо, спасибо. Кстати, как ваше имя?

— Айнциг.

Впоследствии мне приходилось часто пользоваться телефоном, чтобы лишний раз не бегать к доктору Шварцу, а также в тех случаях, когда нужно было справиться о судьбе анализов у Пуассона, посещать которого мне не разрешалось.

Я поднимал трубку и называл, кого мне нужно. «Пожалуйста»,— говорила Айнциг, и меня соединяли. Однажды вместо доктора Шварца трубку взял итальянец. На очень ломаном немецком языке он стал говорить мне, что количество кремния, которое я обнаружил в препарате, слишком мало, и что анализ необходимо повторить, и чтобы я...

Тут нас разъединили. Я стал кричать в трубку, чтобы меня соединили вновь, но голос Айнциг с подчеркнутой вежливостью произнес:

— По этим вопросам вам надлежит разговаривать только с доктором Шварцем. Его сейчас нет.

После этого я почему-то заинтересовался, куда идет провод от моего телефона. Оказалось, что вниз, под пол. Электропроводка также была подземной. Я попробовал угадать, где находится телефонный коммутатор. Наверное, в трехэтажном здании, где обитал доктор Грабер.

За время пребывания в институте Грабера я научился многому. Теперь я мог очень профессионально выполнять качественный и количественный химические анализы, причем со значительно большей точностью, чем в университете. Кроме обычных реактивов для обнаружения химических элементов, я применял чувствительные органические индикаторы. Я освоил многие физические методы анализа, о которых раньше знал либо только по книжкам, либо по одному-двум практическим опытам на устаревшем оборудовании. Я овладел колориметрическим, спектрофотометрическим, спектральным, рентгеноструктурным и потенциометрическим анализами. Доктор Шварц настаивал на том, чтобы последний я выполнял особенно тщательно.

— Концентрацию водородных ионов в растворах вы должны определять с высокой степенью точности. В конце концов вы должны ее просто чувствовать с точностью до третьего знака,— поучал он.

Я долго не мог понять, почему это так важно. Только впоследствии, когда здесь, в пустыне, разыгрались трагические события, я понял смысл всего этого...

Из лаборатории, где жил Шварц, мне передавали для анализа либо растворы, либо кристаллические вещества. Пуассон, как правило, приносил мне золу. Он что-то сжигал у себя в лаборатории, и мне предстояло определить состав того, что оставалось. Иногда он приносил растворы. Но это были не те кристально чистые растворы, которые поступали от Шварца. Растворы Пуассона почти всегда были очень мутными, с осадками, иногда неприятно пахли. Передавая их мне, он настаивал, чтобы, прежде чем я помещу их в потенциометрическую кювету или в кювету нефелометра, я их тщательно взбалтывал.

Однажды я не выдержал.

— Послушайте, Пауссон! — сказал я.— Как-то доктор Шварц забраковал мой анализ только потому, что я высыпал реактив на руку. А вы мне приносите какие-то помои. Вот, например, глядите, в пробирке плавает какое-то бревно, или кусок какой-то ткани, или черт знает что! Как ни болтай, а эта грязь либо попадет, либо не попадет в анализ. И я уверен, что при той точности, которая требуется, у вас могут получиться разные результаты.

— Сделайте так, чтобы эта ткань попала в анализ, особенно в качественный,— произнес он и ушел.

Результаты каждого анализа я выписывал на специальном бланке, указывая все данные: какие химические элементы входят в состав препарата, их процентный состав, полосы поглощения вещества в ультрафиолетовой и инфракрасной частях спектра, концентрацию для растворов, тип кристаллической структуры для твердых и кристаллических веществ, концентрацию водородных ионов и так далее.

Вначале я выполнял всю работу автоматически, не думая, каков ее смысл и для чего она необходима. Меня просто увлекало огромное многообразие сведений о веществе, получаемых современными методами исследования. Было приятно узнать о каком-нибудь розоватом порошке, что молекулы вещества в нем расположены в строго кубическом порядке. Об этом говорил рентгеноструктурный анализ. О том, что это органичес-

кое вещество, в котором есть метильная, гидроксильная, карбоксильная и ароматическая группы, что имеются двойные и тройные связи, свидетельствовал спектрофотометрический анализ. О том, что вещество имеет кислую реакцию, говорил потенциометрический анализ.

Из результатов эмиссионного спектрального анализа я узнавал, что в состав молекул вещества входят атомы кремния, алюминия, железа и т. д. Иногда данных оказывалось достаточно, чтобы я свободно мог написать химические формулы соединений.

Закончить химический анализ написанием формулы вещества мне удавалось только для препаратов, которые поступали от Шварца. Что касается анализов Пуассона, то они были такими же мутными, как и его растворы. Это было огромное нагромождение всяких химических элементов, групп, радикалов, ионов. В них было все что угодно. Спектральный эмиссионный анализ золы давал такое огромное количество линий, что только после многочасового изучения спектрограмм можно было выписать все те элементы, которые там обнаруживались.

Но, проделав несколько сотен анализов, я вдруг пришел к выводу: получал ли я чистые вещества от Шварца или «грязь» от Пуассона, я почти всегда обнаруживал в них кремний. Кремний в сочетании с другими элементами назойливо фигурировал почти во всех случаях. То он входил в кислотный остаток, то в радикал органического соединения, то встречался в качестве комплексного иона в сочетании с другими элементами. Я сказал «почти», потому что было несколько анализов, в которых кремний не обнаруживался, но зато там обнаруживался другой элемент четвертой группы периодической системы Менделеева — германий.

Это было важное открытие, и я сделал его совершенно самостоятельно. Но оно ни на шаг не приблизило меня к ответу на занимавший меня вопрос: что здесь делают немцы? Как химик, я знал свойства кремния и его соединений. Я мысленно перебирал в своей памяти многие из них, и они, я был почти уверен, не могли представлять большого интереса. Соединения кремния — это песок, это различные твердые минералы: кварцы, граниты, шпаты, это стекло, жидкое и твердое, это материалы для режущих инструментов вроде карборунда. Кремний — это различные силикатные изделия: кирпич, фарфор, фаянс... Все это давным давно известные вещи. Стоило ли забираться в пустыню, чтобы тайком от всего мира исследовать соединения кремния?

В конце концов я решил поговорить об этом вначале с Пуассоном, а потом со Шварцем.

Разговор с Пуассоном просто не состоялся. На вопрос, почему в его анализах почти всегда присутствует кремний, он вдруг нахмурил брови, затем, как бы боясь, что его могут подслушать, шепотом сказал:

— Взгляните вокруг. Кругом песок. Песчаная пыль всегда может попасть в препарат. А известно, что даже ничтожные следы кремния обнаруживаются легко.

Это было сказано с таким видом и так выразительно, что, несомненно, означало: «Не будьте идиотом и не задавайте неуместных вопросов».

Я его об этом больше спрашивать не стал. В его препаратах кремния всегда было очень много. Не сыпал же он в пробирки песок специально!

Разговор с доктором Шварцем оказался более интересным. Как-то я принес ему стопку анализов. Когда он стал рассматривать один из них, я сказал:

— В отношении этого я не совсем уверен.

— Почему? — поднял он на меня свои светло-голубые глаза.

Он всегда имел привычку, рассматривая что-нибудь, жевать кончик спички. Это он делал и сейчас. Но после моего замечания мне показалось, что его лицо, всегда спокойное и самоуверенное, вдруг стало настороженным.

— Здесь я не обнаружил кремния,— ответил я, не спуская с него глаз.

— Кремния? А почему вы думаете, что он обязательно здесь должен присутствовать?

— Я его нахожу, как правило, во всех препаратах, которые вы мне передаете. Мы ведь работаем с соединениями кремния?

Последний вопрос я задал, стараясь казаться как можно более безразличным и спокойным, хотя по совершенно непонятной причине сердце у меня сильно колотилось. Какое-то сверхчутье подсказало мне, что сейчас я коснулся чего-то такого, что является страшной тайной.

Вдруг Шварц громко расхохотался.

— Боже, какой же я идиот! И все это время я заставил вас мучиться над вопросом, с какими соединениями мы имеем дело! А ведь мне нужно было об этом вам сказать с самого начала. Ваша работа приобрела бы совершенно иной смысл.

Насмеявшись вдоволь, он вытер платком слезящиеся глаза и спокойно, но весело произнес:

— Ну, конечно, конечно, мы занимаемся изучением и синтезом кремнийорганических соединений. Мы занимаемся органическими соединениями кремния. Вот и все.

Я продолжал смотреть на него удивленными глазами.

Подумав, он продолжал свои объяснения:

— Знаете ли, кремнийорганические соединения очень мало изучены. Те, которые до сих пор были синтезированы, пока не имеют никакого практического значения. Однако им, по-видимому, принадлежит будущее.

Доктор Шварц встал и подошел к большому книжному шкафу. Он извлек немецкий химический журнал и передал мне.

— Вот возьмите и прочтите здесь статью доктора Грабера о кремнийорганических соединениях. Этими соединениями профессор занимался еще до войны. Сейчас он продолжает свои исследования в том же направлении. Почему здесь, а не в Германии? Это совершенно ясно. Истинная наука требует уединения.

4. УРАГАН

Через полгода моя жизнь вошла в монотонную колею. Наступила зима. Теперь после захода солнца становилось так холодно, что выходить на дозволенную вечернюю прогулку совершенно не хотелось. Электрическая печь не согревала моей комнаты, и поэтому с наступлением темноты я сразу же забирался под одеяло и читал.

Как раз в этот период я заметил, что в южной лаборатории закипела работа. Из труб барака круглые сутки валил дым, окна светились ночи напролет. И вот однажды, когда мой рабочий день окончился, в лабораторию вдруг вбежал высокий белокурый человек в роговых очках с фарфоровой банкой в руках. На мгновение он остановился в двери как вкопанный.

— Простите меня, пожалуйста, мне необходимо видеть господина

Шварца,— наконец пролепетал он по-немецки, растерянно улыбаясь.

— Господин Шварц куда-то ушел. Наверное, в свою лабораторию,— тоже по-немецки ответил я.

— Увы, его там нет. Я там был. А это так срочно, так срочно.

— Может быть, я смогу вам помочь? — спросил я.

— Не знаю, не знаю...— он прижал банку к груди.— Меня послал доктор Грабер... Нужно немедленно произвести полный анализ вот этого.

— Это как раз по моей части,— сказал я и протянул к нему руку.

Немец отскочил от меня и попятился к двери.

— А вы допущены к работам «Изольда-два?» — прошептал он, прикрывая ладонями свою драгоценную банку.

— Конечно! — нагло соврал я, решив, что сейчас мне представляется исключительный случай узнать нечто очень важное.— Конечно. Я допущен к работам «Изольда-два», «Зигфрид-ноль», «Свобода», вообще ко всем работам цикла «Глиняный бог».

На меня нашло какое-то безрассудное вдохновение, и я придумывал шифры неизвестных мне работ с быстротой молнии. Он заколебался и робко спросил:

— А вы немец?

— Господи, конечно! Разве может иностранец быть допущен к этим исследованиям! Я родом из Саара,— продолжал я лгать, а мозг сверлила лишь одна мысль: «Скорее, скорее же давай твою проклятую банку, иначе будет поздно, иначе придет Шварц».

— Тогда берите. Только я должен здесь присутствовать. Так мне приказали...

— Хорошо. Я-то ведь порядок знаю!

Он протянул мне белую фарфоровую банку, закрытую крышкой.

— Что нужно определить? — спросил я.

— Концентрацию водородных ионов, количество кремния, натрия и железа.

— И все? — спросил я весело.

— Все. Только, пожалуйста, скорее...

В моей лаборатории под потолком горела яркая электрическая лампа. Кроме нее, еще одна, без абажура, стояла на рабочем столе. Я подошел к ней и открыл банку.

Меня поразил запах находившейся там жидкости. Я слегка качнул банку и застыл, потрясенный, глядя, как по белоснежным стенкам стекает густая красная масса.

Это была кровь.

— Боже мой, что вы так медлите? Это же образец 17-42... От вчерашнего он отличается только концентрацией водородных ионов... Если анализ не сделать быстро, она скоагулирует!

Я поднял на немца вытаращенные глаза, продолжая сжимать банку. Я вдруг почувствовал, что она теплая, совсем теплая...

— А вы уверены... что она свернется? — проговорил я наконец хриплым голосом, медленно подходя к немцу.

Он попятился, уставившись на меня своими огромными голубыми глазами. Так мы шли очень медленно — он, пятясь к двери, а в двух шагах от него — я, судорожно сжимая фарфоровую банку.

— А теперь вы мне скажите,— проговорил я сквозь стиснутые зубы,— чья это кровь?

— Вы сумасшедший,— завизжал он.— Вы разве забыли? Серия «Изольда-два» — это кролики, крысы и голуби! Скорее же, вы...

И я захохотал. Я не знаю, почему я так испугался этой крови, почему

она произвела на меня такое страшное впечатление. Кроличья кровь! Ха-ха-ха! Вот чудо! А я-то думал...

— Ах, да, конечно! — воскликнул я, смеясь, и ударил себя по лбу ладонью.— А я-то думал, это по серии...

— А разве есть серия, в которой?..— вдруг прервал меня немец и, в свою очередь, пошел на меня...

Его лицо исказили ненависть и презрение. Симпатичное молодое лицо мгновенно стало страшным...

Трудно представить, чем бы кончилась эта неожиданная встреча, если бы в лабораторию не ворвался доктор Шварц. Он влетел как вихрь, разъяренный и взбешенный. Таким я его никогда не видел. Все его добродушие, любезность и обходительность исчезли. Еще на пороге он не своим голосом заорал:

— Вон! Вон отсюда! Как ты смел лезть сюда без разрешения?

Я думал, что все это относится ко мне, и уже приготовился ответить, как вдруг доктор Шварц подбежал к немцу и ударил его кулаком по лицу. Тот, закрыв рукой глаза, отскочил к окну, а Шварц догнал его и ударил еще раз.

— Проклятая свинья, где препарат?

Немец не ответил. Лицо его блестело от пота.

— Где препарат, я спрашиваю тебя, подлец?

— Он у меня, господин доктор,— негромко произнес я по-немецки, протягивая фарфоровую банку Шварцу.

Шварц круто повернулся ко мне. До этого, казалось, он не замечал моего присутствия, но тут уставился на меня вытаращенными глазами.

— Какое право ты имел брать этот препарат? — заревел он.— Ах ты, французская свинья...

Он замахнулся, но я успел прикрыться рукой, и удар пришелся прямо по фарфоровой банке. Удар был сильный, банка вылетела у меня из руки, ударилась о стену над моим рабочим столом и разлетелась вдребезги. На стене расплылось огромное красное пятно, темные струйки, быстро набухая, побежали вниз. Кровь забрызгала весь стол, все мои бумаги. Несколько капель попало на электрическую лампочку, и алые брызги пузырились на раскаленном стекле.

На мгновение водворилась мертвая тишина. Наши глаза были прикованы к пятну на стене. Первым оправился я:

— Простите, что я взялся за это дело, но анализ, как заявил этот господин, был очень срочным...

— Срочным? — произнес Шварц, как бы проснувшись.— Ах да,срочным...

— Кролика только что убили, господин Шварц...— пролепетал белокурый немец.

— Да, только что. Кровь была еще теплой, и нужно было срочно определить концентрацию водородных ионов...

— Да, да. Черт возьми. А я-то думал... Этот негодяй Ганс мне сказал... Фу ты, какая глупость...

Шварц подошел к столу и стал носовым платком обтирать электрическую лампочку. Затем, совсем успокоившись, он улыбнулся и, как всегда,добродушно и весело глянул сначала на меня, потом на немца.

— Черт бы меня побрал! А ведь я, кажется, погорячился. Это все негодяй Ганс. Это ему следует задать трепку. Впрочем, не сердитесь на меня, Мюрдаль. И вы, Фрелих. Ведь вам, наверное, в детстве влетало ни за что ни про что от отца, который приходил домой не в духе. Поверьте, я хочу для вас хорошего. Пойдемте, Фрелих... Я сам извинюсь перед док-

тором Грабером за испорченный образец. Мы его повторим завтра. Простите меня, Мюрдаль, еще раз. Ложитесь отдыхать. Уже поздно. Спокойной ночи.

Шварц приветственно помахал рукой и вместе с Фрелихом, с которым я так и не познакомился, вышел из лаборатории. Фрелих продолжал прижимать ладонь к разбитым губам. Мне показалось, что он посмотрел на меня с удивлением.

Когда они вышли, я еще несколько минут стоял перед столом, залитым кровью. В голове все перемешалось. Я слышал дикую брань доктора Шварца, робкий и удивленный голос Фрелиха, автоматически повторял про себя: «Изольда-два, Изольда-два...» Затем я погасил свет и ушел в спальню. Мне совершенно не хотелось спать. Лежа на спине, я уставился в темноту и продолжал думать обо всем случившемся. Неужели виной всему плохое настроение Шварца? Или, может быть, что-нибудь другое? Почему он так яростно набросился на Фрелиха? Почему он вдруг так внезапно остыл? Что ему наговорил Ганс?

Я повернулся на другой бок. В пустыне поднимался ветер, и песчинки яростно ударяли в окно. В соседней комнате, в трубе вытяжного шкафа, завывал порывистый ветер...

Ветер крепчал с каждой минутой, и вскоре окна в лаборатории задрожали и зазвенели. Песок шипел на все лады, стараясь, казалось, процарапать себе щель в стенах, ворваться в дом и засыпать все. Я приподнялся на локтях и посмотрел в окно. Тьма была кромешная. Песчаная пыль плотной пеленой заволокла небо. Начинался ураган, песчаная буря. Во время таких бурь в воздух взвиваются тысячи тонн песка. Песчаные смерчи носятся по пустыне, вовлекают в движение новые горы песка, превращая день в ночь, ночь в ад...

Вдруг среди свиста и шипения до моего слуха донеслись какие-то странные звуки... Это было какое-то царапанье, скрежет, потрескивание... С каждой секундой они становились все более и более отчетливыми. Я встал с постели и подошел к окну. Царапанье звучало теперь совсем близко. Я приник к стеклу, вглядываясь в беспросветную темноту, ожидая увидеть нечто непонятное и таинственное, что вызывало у меня одновременно и страх и любопытство. Я ждал, что вот-вот из потоков бешено несущегося песка вынырнет и прильнет к стеклу с той стороны чье-то страшное лицо... И вдруг я понял, что скрипение и царапанье идут не снаружи, а изнутри, что звук рождается здесь, в лаборатории, в соседней комнате!

Я бросился к двери и широко ее распахнул. В этот момент скрежет был особенно громким. Как будто кто-то пытался в темноте вставить ключ в замочную скважину!

Я пошарил по стене и повернул выключатель. Спектрофотометрическая сразу наполнилась светом. Здесь все было так же, как час назад. Но странный звук слышался совершенно отчетливо. Откуда он шел? Я медленно пошел между столами и приборами, приблизился к вытяжному шкафу и наконец оказался перед большой металлической дверью, которая закрывала понижающий трансформатор. На серой чугунной двери был нарисован белый череп и две кости, перечеркнутые красной молнией. По-немецки было написано: «Внимание! Высокое напряжение!»

Да, это было здесь! Кто-то пытался открыть ее с противоположной стороны. Но кто? Разве там не трансформатор?

Так я стоял довольно долго, растерянно глядя на изображение черепа, пока скрежет металла внезапно не прекратился. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась.

Вначале я увидел только темную щель. А затем в щель просунулась

голова человека. Я чуть было не вскрикнул, узнав Мориса Пуассона.

Наши глаза встретились, и он сделал мне знак, чтобы я погасил свет. Я щелкнул выключателем и на ощупь вернулся к двери. Я не видел Мориса, но слышал, как тяжело он дышал. Затем он прошептал:

— У вас никого нет?

— Нет.

— Поверьте мне, я честный человек, и я не могу здесь больше оставаться.

— Что вы хотите делать?

— Бежать.

— Куда?

— Бежать отсюда. Во Францию. Рассказать всем все...

— А разве отсюда нельзя уйти просто так?

— Нет.

— Как же вы собираетесь бежать?

— Это мое дело. У меня нет времени на объяснения. Который час?

Я глянул на светящийся циферблат ручных часов.

— Без четверти два.

— Через семь минут они будут далеко...

— Кто?

— Часовые. Вот что. Возьмите этот ключ. Он позволит вам кое-что узнать. Только не ходите по правой галерее. Идите прямо. Поднимитесь по ступенькам вверх и откройте такую же дверь, как эта. Я думаю, что на мое место они найдут человека не раньше, чем через месяц. За это время вы успеете все узнать.

— Чем я могу вам помочь?

— Три вещи: очки, бутылку воды и стакан спирта. Спирт я выпью сейчас.

— У меня нет очков против пыли. У меня рабочие очки. Кстати, почему вы не входите в комнату?

— Подождите. Так просто войти к вам нельзя. Давайте очки. Сейчас мне без них не обойтись. Песок.

Я вернулся в свою комнату и взял со стола свои очки. Затем ощупью нашел бутылку с завинчивающейся крышкой и наполнил ее водой. Пуассон выпил стакан спирта и запил водой из бутылки.

— Так, кажется, все. А сейчас берите меня на спину и несите до наружной двери. Если там все спокойно, я выйду.

— На спину? Вас? — изумился я.

— Да. Вы понесите меня. Иначе они узнают, что я у вас. Поворачивайтесь.

Он обхватил меня за шею, я взвалил его на спину и понес к выходу.

Когда я открыл наружную дверь, облако песка яростно набросилось на нас. Несколько секунд мы вслушивались в воющий ветер. Морис тронул меня за плечо.

— Пора. Прощайте. Не забывайте, что вы француз и человек. Заприте дверь в трансформаторный ящик. Прощайте. Скоро и вам все станет понятно...

Он наклонился и нырнул в стонущую темноту.

Я возвратился в лабораторию, зажег свет и запер дверь трансформаторного ящика.

В эту страшную ночь я уже не смог уснуть. Только под утро я забылся тяжелым сном. Меня разбудил яростный телефонный звонок.

— Мюрдаль, вы спите, как мертвец! — услышал я резкий голос фрау Айнциг.— Почему вы еще не на работе? Вы не спите по ночам и, как

лунатик, бродите по лаборатории, но это ваше дело. А на работу извольте подниматься вовремя.

— Боже, а сколько сейчас времени?

— Сейчас две минуты десятого.

— Да, но ведь такая темень...

— Хотя это в мои обязанности и не входит, могу вам сообщить, что на дворе ураган,— ответила она язвительным тоном и повесила трубку.

Я быстро оделся и пошел умываться.

5. КРЫСА

Странное появление Пуассона в моей лаборатории и его бегство вызвали в моей душе смятение. Все произошло так неожиданно, что в течение нескольких дней я не мог прийти в себя, постоянно вспоминая все детали этого события.

С его бегством в институте ничего не изменилось. Ни доктор Шварц, ни фрау Айнциг, ни часовые не показывали виду, что произошло что-то необычайное. Все было как всегда.

Я по-прежнему получал на анализ большое количество органических и неорганических веществ у Шварца. Исчезли только «грязные» препараты, которые мне приносил Морис.

С его исчезновением я потерял единственного собеседника, с которым мог вести неофициальные разговоры.

Не видел я больше и Фрелиха, а доктор Шварц стал обращаться со мной более сухо. Теперь он не разговаривал со мной о вещах, не имевших отношения к работе. Часто, изучая результаты моих анализов, он становился раздражительным и придирчивым, заставлял меня переделывать или повторять анализы. Я заметил, что во всех этих случаях анализируемые вещества представляли собой густые, несколько мутноватые смолообразные жидкости. Эти вещества имели огромный молекулярный вес, иногда более миллиона, и сложную молекулярную структуру, в которой я обнаруживал при помощи инфракрасного спектрофотометра сахаридные и фосфатные группы и азотистые основания. В этих веществах я не обнаруживал кремния, и именно это обстоятельство, как мне казалось, делало доктора Шварца раздражительным и нервозным. Однажды я осмелился спросить Шварца, что это за странные вещества. Не поворачивая головы в мою сторону и пристально всматриваясь в выписанные в столбик данные, он ответил:

— РНК.

После этого я принялся припоминать все, что мне было известно о рибонуклеиновых кислотах из курса органической химии. К сожалению, известно мне было немногое. Эти кислоты являются особым биологическим продуктом, и о них в обычных учебниках органической химии говорится лишь вскользь. Я почти ничего не нашел о них и в той небольшой справочной литературе и в журнальных статьях, которые были в моем распоряжении. Рибонуклеиновые кислоты — основные химические вещества, входящие в состав ядер живых клеток. Их особенно много в быстро размножающихся клетках и в клетках головного мозга. Вот и все, что я вспомнил. Однако мне было точно известно, что в состав рибонуклеиновых кислот кремний не входит...

К концу зимы работы у меня прибавилось. Теперь почти все анализы касались либо рибонуклеиновых кислот, либо веществ, им аналогичных.

Кремний полностью исчез из списков элементов. Шварц из самодовольного и добродушного ученого превратился в злобного следователя. Он не разговаривал, а рычал. Просматривая мои записи, он яростно бросал листки в сторону и бормотал непристойные ругательства. Совершенно меня не стесняясь, он вскакивал, выбегал в соседнюю комнату, где работал итальянец Джованни, и, путая немецкие, итальянские и французские слова, обрушивался на него с проклятиями. Мне стало ясно, что итальянец — химик-синтетик — должен был во что бы то ни стало втолкнуть в рибонуклеиновую кислоту кремний. Он делал огромное количество синтезов, всякий раз меняя температуру, давление в автоклавах и колбах, соотношение реагирующих веществ. Сакко кричал, что он в точности выполнял все указания синьора профессора, но он не виноват, что кремний не присоединяется к молекуле рибонуклеиновой кислоты.

Однажды, когда Шварц обрушился на Джованни с очередным потоком ругани, я не выдержал и вмешался.

— Вы не смеете так обращаться с человеком! Вы обвиняете его в том, что он не может по вашей прихоти переделать законы природы! — закричал я, когда Шварц замахнулся на синтетика кулаком.

Шварц на мгновение остолбенел, а затем прыгнул ко мне.

— Ах, и ты здесь, французская свинья? Вон!

У меня потемнело в глазах от ярости, но я сдержался и не двинулся с места. Сквозь зубы я процедил:

— Вы не химик, а дрянь безмозглая, если проведенный под вашим руководством синтез не дает желаемых результатов.

Доктор Шварц побледнел, как полотно, глаза его почти вылезли из орбит. Задыхающийся от ярости, он готов был разорвать меня в клочья. В это время Джованни подошел к доктору сзади. Глаза итальянца блеснули ненавистью. Шварц, высокий, широкоплечий, был сильнее каждого из нас, но против двоих он вряд ли посмел бы выступить. Он замахнулся, чтобы ударить меня, но итальянец схватил его за руку.

— Одну секунду, синьор,— произнес он.

Некоторое время Шварц молча стоял между нами, оглядывая то одного, то другого. Затем он проговорил сквозь зубы:

— Запомните хорошенько этот день. Запомните навсегда. А сейчас убирайтесь вон.

После этой бурной сцены я медленно возвращался в свою лабораторию. Во мне все кипело от злости. Я проклинал то себя, то Шварца, то весь мир главным образом потому, что я ничего не понимал. Я не понимал до сих пор смысла работ института Грабера. Я не понимал, почему бесится Шварц, не находя кремний в рибонуклеиновой кислоте. Я не понимал, почему отсюда бежал Пуассон. Я не понимал, почему лаборатория прячется в пустыне. В общем, я ничего не понимал, и это приводило меня в отчаяние.

«Кремний, кремний, кремний»,— сверлило в голове, пока я медленно шел к своему бараку, ступая по раскаленному песку. Вот он, кремний. Окись кремния в огромном количестве, разбросанная по необъятным пустыням Африки. Его здесь сколько угодно. Но он живет своей, самостоятельной жизнью. Есть строгие законы, где он может быть, а где его быть не должно. Это элемент со своим характером, как и всякий химический элемент. В соответствии со структурой своей электронной оболочки он определенным образом ведет себя в химических реакциях. Он охотно присоединяется к одним веществам и не присоединяется к другим. И разве в этом виноват Джованни? Но почему кремний? Если Грабера интересуют органические соединения кремния вообще, то почему ему так необходимо втиснуть атомы кремния в молекулу биохимического продукта?..

Подойдя к двери лаборатории, я вдруг остановился как вкопанный. За время жизни в пустыне я не раз совершал прогулки по песчаному морю. Я привык к монотонному пейзажу. Я знал здесь все до мелочи. С первого дня пребывания в институте все здесь было неизменным и застывшим, и только черный дым валил из трубы южной лаборатории то сильнее, то слабее, а поверхность песка в зависимости от ветра то покрывалась мелкой рябью, то морщилась рядами застывших волн. Песок в лучах солнца был кремового цвета, а в особенно жаркие дни приобретал слегка голубоватый оттенок, как будто покрывался тончайшей блестящей пленкой, в которой отражалось небо. И все кругом было засыпано песком, на котором кое-где виднелись редкие следы, которые быстро исчезали.

И вот я стоял перед дверью в свой барак и с удивлением смотрел на предмет, валявшийся возле каменных ступенек. Это была дохлая крыса.

Появление ее было столь неожиданным, что я не поверил своим глазам и легонько ударил серый комок носком ботинка. Каково же было мое изумление, когда я почувствовал, что коснулся чего-то твердого, как камень.

Я огляделся вокруг. Одна пара часовых стояла далеко, с северной стороны, а вторая была почти рядом со мной. В соответствии с принятым порядком они стояли неподвижно и смотрели в мою сторону.

С минуту поколебавшись, я наклонился над крысой и стал тщательно завязывать шнурок на ботинке. Когда я выпрямился, крыса была у меня в руке. Я вошел в лабораторию.

Вначале я подумал, что животное высохло на солнце. Такая мысль пришла мне в голову потому, что едва я тронул ее длинный хвост, он легко сломался, словно тонкая сухая ветка. Однако тело ее не имело того сморщенного вида, какой бывает у высушенных животных. Труп больше напоминал чучело, набитое чем-то очень твердым. Шерсть крысы была жесткая, как щетина.

«Кто мог подбросить к моей двери такое чучело?» — подумал я.

Я не мог не заметить крысу во время прежних прогулок. Она появилась именно сегодня утром, пока я находился у Шварца. Может быть, в течение этого часа кто-нибудь подходил к моей двери? Но тогда на песке были бы видны следы. Значит... Но не могло же чучело крысы появиться здесь само собой? Я взял скальпель и попробовал воткнуть острие в брюшко крысы. Но это оказалось так же невозможно, как если бы я пожелал проткнуть камень. Кончик ножа беспомощно царапал по поверхности, сдирая тонкий слой шерсти. Попытка отрезать лапку окончилась тем, что под нажимом скальпеля она отломилась, как сухой сучок.

Убедившись, что разрезать это чучело или труп мне не удастся, я положил его на тяжелую плиту, на которой обычно сжигал препараты для анализа золы, взял молоток и ударил изо всех сил. Труп раскололся на несколько крупных кусков. Поверхности раскола имели блестящий стеклообразный вид, с узорами, в которых нетрудно было угадать сечения внутренних органов животного. В недоумении я вертел обломки в руках. Если даже предположить, что эту крысу специально сделали из камня и натянули на шее шкуру, то зачем было так тщательно воспроизводить ее внутреннюю структуру.

Нет, это не каменная модель крысы. Это настоящая крыса, которая по какой-то непонятной причине превратилась в каменную. И мне было не ясно только одно: окаменела она после того, как подбежала к двери моей лаборатории, или же...

После недолгих размышлений я выбрал из обломков небольшой кусок и побежал к спектрографу. Вспыхнуло яркое пламя дуги. На спектро-

грамме я увидел то, что ожидал,— среди огромного множества различных линий, принадлежавших главным образом железу, выделялись жирные черные линии, по которым нетрудно было узнать кремний.

Крыса действительно была каменной.

Это открытие вдруг совершенно по-новому осветило смысл всей моей работы. Я понял, почему кремний так назойливо выявлялся в моих анализах. Я смутно догадывался, что грязь, которую мне приносил Пуассон, по-видимому, являлась результатом сжигания или измельчения таких же каменных животных, как и найденная мною крыса. По-новому выглядел намек Мориса на то, что доктор Грабер собирается сыграть с биохимией какую-то шутку. Мне стало ясно, что кремний немцы пытаются втолкнуть в живой организм. Но зачем? Ведь не для того же, чтобы изготавливать каменные чучела? А для чего?

Наступили сумерки, а я продолжал сидеть, погруженный в размышления. Чем больше я думал, тем больше терялся в догадках.

От напряжения мутилось сознание. Я чувствовал, что если в ближайшее время не пойму смысла всего этого, то сойду с ума. Теперь я не мог обратиться с прямым вопросом к Шварцу. Свою находку я должен держать в тайне. Нужно было искать какие-то другие пути для решения загадки. И тогда я вспомнил. Ключ!

Где ключ, который мне передал Пуассон в ночь побега?

Да, он спрятан под тяжелым рельсом, на котором стоит спектрограф. Я нашел его и как величайшую драгоценность сжал в руке... Я решительно подошел к двери серого ящика, на котором был изображен человеческий череп между двумя костями, перечеркнутый красной молнией.

Нет, так нельзя. Это не простая прогулка. Это опасная экспедиция, к которой нужно долго и тщательно готовиться. За каждым моим движением следят там, у Грабера. Фрау Айнциг знает все о каждом моем шаге. Прежде чем отправиться в путешествие, я должен многое выяснить.

Я отошел от серой двери и снова положил ключ под рельс. Я убрал осколки крысы в банку и спрятал в шкаф с химической посудой. Затем я лег спать.

В эту ночь мне снились неподвижные каменные идолы со сложенными на груди руками.

6. ОАЗИС АЛЫХ ПАЛЬМ

То, что фрау Айнциг с телефонной станции следила за каждым моим шагом, стало мне ясно вскоре после прибытия в институт. Дело было не только в том, что она будила меня, когда по той или иной причине я просыпал на работу. Были и другие, более очевидные доказательства. Однажды, когда рабочий день кончился и я ушел к себе в комнату, она позвонила и напомнила мне, что я забыл выключить в фотолаборатории воду. Как всегда, с подчеркнутой вежливостью и ехидством она сказала: «Господин Мюрдаль, вы, по-видимому, думаете, что находитесь в Париже и что за окном вашей квартиры протекает Сена». В следующий раз она спросила меня, кто ко мне заходил, хотя у меня никого не было.

— Тогда скажите, пожалуйста, что вы только что делали?

— Я переставил сушильный шкаф на новое место, поближе к раковине,— ответил я удивленно.— А в чем дело?

— Понятно,— проквакала она и повесила трубку.

Итак, каким-то непонятным образом она имела возможность следить за тем, что происходило в лаборатории. Я долго размышлял по этому поводу и пришел к выводу, что у фрау Айнциг перед глазами висит доска с планом моей лаборатории, на которой, как у железнодорожного диспетчера, загораются сигнальные лампочки, показывающие, где я нахожусь и что я делаю. Нужно было разобраться в системе сигнализации.

Все тяжелые приборы и шкафы в лаборатории стояли на каменном фундаменте, не связанном с коричневым линолеумом, который покрывал полы. Когда ходишь по этому линолеуму, возникает такое ощущение, будто ступаешь по мягкому ковру. Несомненно, пол был устроен таким образом, что он слегка прогибался всякий раз, когда на него становился человек, и где-то замыкались электрические контакты. Контактов, вероятно, было несколько, потому что площадь всех комнат, и особенно спектрофотометрической, была велика, и вряд ли давление на пол в одном месте могло передаваться на всю поверхность.

Однажды я вооружился отверткой и стал ползать вдоль стен, приподнимая край линолеума. Скоро поиски увенчались успехом. Приподняв линолеум прямо у окна, я обнаружил, что к его обратной стороне прикреплена мелкая медная сетка, которая, наверное, представляла собой один общий электрод. Эта сетка свободно лежала на низких пружинистых скобках, между которыми к деревянным доскам были прикреплены небольшие медные пластинки. Стоило нажать на поверхность линолеума, как пружинистые скобки прогибались и сетка касалась одного или нескольких медных электродов. На диспетчерской доске телефонистки план моей лаборатории был утыкан электрическими лампочками. Она имела возможность постоянно следить за мной и за теми, кто заходит ко мне. Я понял, почему Пуассон просил, чтобы я пронес его через лабораторию. Ведь в противном случае телефонистка подняла бы тревогу!

Во всех комнатах лаборатории сигнализация была устроена по одному и тому же образцу. Однако то, что я разобрался в этой нехитрой электрической схеме, еще не решало вопрос о том, как я могу уйти из лаборатории незамеченным. Я, конечно, мог замкнуть где-нибудь несколько электродов и таким образом создать у надзирательницы впечатление, что сижу на месте. Но ведь она увидит, как я перемещаюсь по комнате, и сразу заинтересуется, откуда взялся второй человек. Ведь экран ей покажет, что в помещении не один, а два человека! И тут меня осенила мысль. Недолго думая, я растянулся на середине комнаты и медленно пополз на животе. Затем я несколько минут лежал неподвижно, ожидая, что из этого получится. И получилось именно то, чего я ожидал. Резко зазвонил телефон. Я ухмыльнулся про себя и продолжал лежать. Телефон позвонил еще несколько раз, а затем затрещал непрерывно. Я был уверен, что если бы я пролежал еще несколько минут, весь институт был бы поднят на ноги. Я резко поднялся и снял трубку.

— Куда вы девались?— услышал я знакомый голос.

— Девался? Никуда я не девался,— ответил я.

— Тогда скажите, какие трюки вы там у себя выделываете?

Помолчав секунду, я с напускным восхищением произнес:

— Знаете, мадам, ваша наблюдательность меня поражает. Я действительно сейчас выделывал трюки. Я влез на лабораторный стол и пытался снять с окна занавесь, на которой наросло несколько килограммов пыли. Если бы стол не был прикреплен к полу, я бы это сделал очень просто. А так мне пришлось...

— Довольно!— резко прервала меня она.— Завтра я пришлю к вам человека, который заменит вам занавеси.

Ну вот, теперь я мог передвигаться по лаборатории незаметно. Для этого нужно было не ходить, а ползать на животе. Это меня вполне устраивало.

Оставалось немногое. Нужно сделать так, чтобы фрау Айнциг думала, что я в лаборатории, в то время как меня здесь не будет.

Исследовав свою кровать, я обнаружил электрический контакт в пружинной сетке. Когда я ложился, сетка прогибалась и касалась продольной металлической планки, изолированной от остального корпуса фарфоровыми перекладинами. Достаточно было соединить сетку и перекладину проволокой, и фрау Айнциг будет думать, что я сплю. Теперь, когда система сигнализации была разгадана, оставалось продумать детали будущего путешествия по тому пути, по которому когда-то пришел Пуассон.

Лежа в кровати, я должен буду замкнуть контакт под собой. Затем я должен буду перебраться на пол и проползти около десяти метров до трансформаторного ящика. Здесь мне придется выполнить сложное гимнастическое упражнение: вползти в ящик, не вставая на ноги.

Дверь ящика находилась на высоте около полуметра над полом, и дотянуться до нее из положения лежа было невозможно. Я долго думал над тем, как это сделать. Это был самый ответственный этап моего путешествия по комнате.

В течение нескольких дней я тщательно готовился к предстоящему походу. Замкнув проволокой сетку кровати с металлической планкой, я по ночам ползал по лаборатории, чтобы убедиться в надежности такого метода передвижения. И метод был надежным, потому что ни разу никаких сигналов тревоги не было. За это время я придумал, как незамеченным вползти в мнимую трансформаторную будку. Для этого нужно будет предварительно открыть дверь и перекинуть через нее веревочную петлю. Если ухватиться за петлю руками и упираться ногами в стоявший рядом массивный шкаф с химической посудой, то можно будет вползти в дверь, не вставая на ноги. В одну из ночей я проделал и это упражнение. Я с большим трудом оторвался от пола и влез в узкий проход. Оттуда пахнуло затхлым теплым воздухом, и ноги мои коснулись каменных ступенек. Затем я проделал обратную операцию: при помощи той же веревки и шкафа я снова опустился плашмя на линолеум и возвратился к своей кровати.

Итак, можно было отправляться.

Для похода я выбрал тихую безветренную ночь, когда луна была полной и освещала пустыню прозрачным спокойным светом. Я долго сидел у окна, вглядываясь в царившее вокруг лунное безмолвие. Серебристые песчаные дюны казались гладкими морскими волнами, застывшими на фотографическом снимке. В окнах южной лаборатории горел свет, светились окна в здании, где обитал Грабер. Точно в десять часов вечера все будет темно и там. Свет будет гореть только в одном окне, там, где дежурит фрау Айнциг. Я не знал, что даст мне это путешествие под землей, но желание раскрыть тайну было очень велико, и я решил не отступать от своего плана.

Наконец огни стали гаснуть, и в десять вечера все погрузилось во мрак.

Тогда я снял телефонную трубку. Через секунду послышался голос фрау Айнциг:

— В чем дело, Мюрдаль?

— У меня к вам просьба. Меня что-то одолевает сон, и я не в состоянии закончить срочную работу. Я прошу вас разбудить меня завтра часов в шесть-семь.

— Хорошо, я вас разбужу,— ответила она.

— Спокойной ночи, фрау Айнциг.

— Спокойной ночи.

Через несколько секунд я лег в кровать. Я лежал, стараясь не двигаться, как бы боясь кого-то спугнуть.

«Пора»,— прошептал я сам себе через полчаса.

Я пошарил у себя в карманах, проверяя, все ли на месте. Ключ от двери, электрический фонарь, коробка спичек... В другом кармане нож. В карман халата я спрятал кусок веревки на тот случай, если там, на противоположном конце подземного пути, мне придется проделывать такие же упражнения, как и здесь.

Просунув руку под матрац, я плотно привязал сетку к металлической перекладине.

Мне показалось, что путь от кровати до трансформаторного ящика я проделал очень быстро. Однако взгляд на светящийся циферблат моих часов показал, что лабораторию я прополз за двадцать минут. Было начало двенадцатого.

Когда я оказался внутри тесного тамбура, с меня градом катил пот. У двери я несколько секунд подождал, чтобы убедиться, прошел ли первый этап путешествия благополучно. Затем я опустился на несколько ступенек, прикрыл за собой дверь и включил фонарик.

Каменная лестница вела по наклонной галерее с бетонированными стенами и кончалась небольшой площадкой, откуда начиналась узкая горизонтальная труба. Я просунул в нее голову и осветил фонариком. Она казалась бесконечной. На расстоянии около пяти метров начинался ряд железных крючков, на которых лежали кабели и провода. По ним в лабораторию поступала электроэнергия, а также осуществлялась телефонная связь и сигнализация. Приглядевшись, я сразу отличил электрический кабель от телефонного. Телефонный был в голубой изоляции. А в толстом свинцовом кабеле, по-видимому, было множество тонких жил, которые под полом разветвлялись и присоединялись к медным контактам... Какая-то пара проводничков сейчас уносила в диспетчерскую ложный электрический сигнал о том, что я сплю. При этой мысли я улыбнулся.

Ползти было трудно, потому что железные крючки то и дело цеплялись за одежду. Приходилось останавливаться и проделывать сложные движения руками, чтобы отцепиться. Труба не была предназначена для того, чтобы совершать по ней путешествия.

Чем дальше я полз, тем все более спертым становился воздух, и, наконец, мне показалось, что он совсем исчез. Я остановился и несколько секунд лежал неподвижно, глотая широко раскрытым ртом горячую духоту. Затем я пополз дальше, делая остановки через каждые пять-десять метров.

По моим расчетам, труба шла прямо на восток. Если так, то мне предстояло проползти не менее одного километра — путь немалый. Но я не преодолел и половины пути, когда почувствовал, что силы меня оставляют. Перед глазами плыли разноцветные пятна, в ушах звенело, сердце стучало неравномерно: то как в лихорадке, то, казалось, останавливалось совсем.

«Не доползу. Нужно возвращаться...»

Вползая в трубу, я почему-то не подумал о том, что может возникнуть необходимость вернуться. Только теперь я понял, что сделать этого не смогу. Труба была узкой, и развернуться в ней было невозможно. Можно было пятиться назад. Я попробовал проползти так несколько метров и

остановился. Сорочка задралась мне на голову, а металлические крючья прочно вцепились в брюки. Чтобы освободиться от них, пришлось снова ползти вперед.

Наконец я выбился из сил и замер в абсолютной темноте где-то в середине узкой и душной бетонной трубы, под толстым слоем песка. «Но ведь Пуассон как-то прошел этот путь! Так в чем же дело? Вперед, только вперед».

Я зажег свет и опять пополз, останавливаясь только затем, чтобы отцепиться от очередного крючка.

От удушья и страшного напряжения я почти терял сознание, как вдруг на меня пахнуло, как мне показалось, свежим воздухом. Я остановился и, осветив стенки, увидел, что здесь от трубы ответвляется еще один канал. Это ответвление было несколько шире, и в него уходили все провода и кабели. Я догадался, что они ведут к Граберу.

«Ползти только прямо»,— вспомнил я слова Пуассона.

Здесь я пролежал несколько минут и отдышался. Затем я посмотрел на часы, и у меня в груди похолодело: было два часа ночи. Если и дальше я буду двигаться с такой же скоростью, я не смогу вовремя вернуться обратно. Я выключил свет и, работая обеими руками, стал двигаться дальше.

Наконец моя голова уткнулась во что-то твердое. Я зажег фонарик и увидел, что нахожусь на дне колодца, подобного тому, какой был под моей лабораторией. Вверх поднималась крутая каменная лестница...

Когда я вставлял ключ в замочную скважину, у меня было такое чувство, будто там, за дверью, уже стоят охранники Грабера, готовые меня схватить. Мне казалось, будто мое отсутствие обнаружено давным-давно и поднялась тревога. Но я делал все так, как задумал. Пусть будет, что будет. Я тихонько повернул ключ и открыл дверь.

Это было большое продолговатое помещение с широкими и низкими окнами. Лунный свет в них не попадал, и я сообразил, что они обращены на восток. Посреди комнаты возвышался силуэт сооружения, напоминающего печь древних алхимиков: на четырех тонких опорах коническая крыша с трубой, уходящей в потолок. У окон — широкие столбы, и на них я увидел горшки с растениями. Их листья и стебли четко выделялись на фоне серебристых окон.

Я долго стоял неподвижно у открытой двери и прислушивался. Ни единого шороха, ни единого вздоха или шелеста. Воздух был затхлым. Казалось, в этом помещении давно не было людей...

При свете фонаря я обнаружил, что пол был дощатым.

«Эту комнату не контролируют»,— решил я.

Помещение походило на оранжерею. То, что возвышалось посредине, оказалось обыкновенной печкой, на которой стояли металлические чаны. Горшки на столах действительно были с растениями. Но даже в полутьме я понял, что это были не обыкновенные растения. Их листья не были зелеными. При свете электрического фонаря они казались желтыми.

Я не удержался и, подойдя к одному из горшков, тронул растение рукой. Стебли и листья оказались жесткими, как грубая кожа. Они легко ломались. Под листьями одного из растений я заметил какие-то плоды, твердые и плотные, хотя по виду они напоминали помидоры. Я вытащил из кармана нож, перерезал стебель и спрятал трофей в карман.

Часы показывали пятнадцать минут четвертого, когда я подошел к двери в правом углу оранжереи. Она оказалась приоткрытой. Я не сразу сообразил, где нахожусь, когда вышел наружу. Здание стояло в углу обширного сада, огороженного высокими стенами. Они расходились под

прямым углом и скрывались за стволами деревьев. Я узнал эти деревья: пальмы, те самые, которые я всегда видел, выходя из лаборатории.

Никаких сомнений, это был оазис алых пальм. Однако теперь он больше походил на огромное кладбище. На высоких, обнесенных камнем грядках росли какие-то кустарники. Начался предутренний ветерок, он крепчал с каждой минутой, но листья растений были совершенно неподвижны.

Это безмолвное песчаное поле с безжизненной растительностью казалось в лунном свете призрачным и неестественным. Здесь не было ощущения свежести, не было запаха зелени и цветов. Я несколько раз касался руками листьев и стеблей и всегда отдергивал руку, потому что они, жесткие и твердые, создавали ощущение высохших трупов.

Я шел по этому удивительному саду как зачарованный, забыв о трудном пути, который я проделал, не думая, как я буду возвращаться обратно. Я терялся в догадках, пытаясь понять, как и для чего был создан этот страшный, противоестественный растительный мир. Меня вдруг охватило гнетущее чувство. Мертвый сад в пустыне, высокие, могилоподобные грядки, далекие силуэты пальм, глубокий песок и легкий шорох в неподвижной листве создавали впечатление, как будто я попал в потусторонний мир, в загробный мир растений...

Луна спустилась над горизонтом и почти касалась ограды, отделявшей оазис от остального мира. Я решил, что пора возвращаться. Когда я вошел в глубокую тень, отбрасываемую оградой, послышались звуки, напоминавшие далекие выстрелы. Они доносились откуда-то слева. Я прислушался. Действительно, несколько одиночных далеких выстрелов, а затем — «та-та-та-та-та», как будто пулеметная очередь...

Держась все время в тени, я почти вплотную подошел к тому месту, где стена под прямым углом уходила на восток. Выстрелы и пулеметные очереди теперь стали явственно слышны, и я остановился, раздумывая над тем, что происходит там, за стеной. Я медленно побрел вдоль нее, мучимый любопытством, и вдруг натолкнулся на калитку. Она оказалась запертой. Снова в ночной тишине я услышал «та-та-та-та-та» и вслед за этим далекий, напоминающий плач ребенка голос... «Неужели за стеной расстреливают?» — подумал я. Выстрелы умолкли и, сколько я ни ждал, больше не повторялись.

Не знаю, как долго я простоял возле калитки, как вдруг она заскрипела, и я инстинктивно сделал огромный прыжок в сторону и спрятался за низеньким ветвистым деревом.

Я не видел, как отворилась дверь, потому что тень в углу была очень глубокой, а луна еще ниже опустилась над горизонтом. Я напряженно всматривался в темноту и долго ничего не мог увидеть. Только через несколько томительных минут я заметил, как вдоль стены по направлению к оранжерее очень медленно двигалось что-то серое. Это был человек. Вернее, я догадывался, что это человек. Серый силуэт двигался странными рывками, тяжело ступая по глубокому песку.

Я стоял в своем укрытии, боясь пошевелиться, провожая глазами серую тень. Кто это такой? Что он делал там за стеной в этот час? Почему так медленно идет? Затем в моей голове, как молния, пронеслась мысль: «Он идет к оранжерее! Все пути возвращения сейчас окажутся отрезанными!»

Спотыкаясь о какие-то тяжелые и твердые, как камень, плоды, я быстро пошел через грядки, двигаясь параллельно каменной ограде. Вскоре серая тень оказалась далеко позади, а я стоял у двери оранжереи.

Отсюда я разглядел, что медлительный человек толкал перед собой

огромную садовую тачку. Был слышен едва заметный скрип ее единственного колеса.

Я решительно вошел в оранжерею и направился к двери. Здесь стало совершенно темно, и я вынужден был несколько раз включать электрический фонарик. В тот момент, когда я опускался вниз, стало слышно, как под тяжестью грузных шагов зашуршал песок за окнами. Тогда я закрыл за собой дверь и бесшумно повернул ключ.

Обратный путь по трубе показался мне гораздо короче.

7. РОБЕРТ ФЕРНАН

Однажды рано утром доктор Шварц привел ко мне человека, которого я раньше никогда не видел. Это был уже немолодой широкоплечий мужчина с копной черных курчавых волос на голове.

— Знакомьтесь. Это господин Фернан, наш биохимик,— объявил Шварц.

Фернан глядел на меня сощуренными глазами и слегка улыбался.

— Добрый день,— сказал я.

— Добрый день,— ответил он по-французски с едва уловимым иностранным акцентом.

— Доктор Фернан будет выпонять функции, которые раньше выполнял Морис Пуассон,— сказал Шварц.— Я надеюсь, что вы подружитесь.

Он кивнул мне и вышел. Фернан поставил на мой рабочий стол штатив с пробирками, наполненными знакомыми мне мутными растворами, и начал молча обходить лабораторию. Он остановился у приборов, низко наклоняясь над ними. Я следил за его движениями, стараясь угадать, кто он и что собой представляет. Мне почему-то казалось, что он не француз. Чтобы не выдать любопытства, я принялся сортировать пробирки, а он все расхаживал по комнате, заложив руки за спину и ни к чему не прикасаясь. Он только смотрел.

— Анализы нужны полные или только спектральный?— спросил я безразличным тоном.

— А как у вас положено?— спросил он и подошел к моему столу.

— В зависимости от того, что требуется. Я не знаю, что вам нужно.

Он задумался, затем ответил:

— Сделайте для начала полный анализ.

Я кивнул и принялся за препарат номер один.

— Вы не возражаете, если я понаблюдаю, как вы работаете?— спросил он.

— Если вам нравится, пожалуйста,— ответил я без всякого энтузиазма. Про себя я решил, что этого Фернана приставили ко мне соглядатаем.

Я прошел в препараторскую, отфильтровал раствор и положил листок бумаги с осадком сушиться на электрическую печку. Раствор я перелил в кварцевую кювету и вернулся к спектрографу. Фернан неотступно следовал за мной. Это начало меня раздражать.

— Сейчас я буду экспонировать спектр, и вы можете отдохнуть, — сказал я по-немецки, стараясь произнести фразу как можно более едко.

— Спасибо, — ответил он мне на чистейшем немецком языке.

«Так и есть. Немец», — решил я.

Загудел трансформатор водородной лампы. Я установил кювету в дер-

жатель и сел рядом со спектрографом. Фернан уселся за стол. Несколько минут мы молчали.

— А вы не боитесь обжечь лицо ультрафиолетом? — спросил я.

Он покачал головой.

— Я уже привык. На мое лицо ультрафиолетовые лучи не действуют.

Я смотрел на его лицо. Для немца оно было слишком смуглым. Это меня немного смутило.

— А вы здесь уже давно? — осведомился он.

— Да, давно, — ответил я и отвернулся.

— Вы из Франции?

— Да.

— Вам здесь нравится?

— Я поднял на него удивленные глаза.

— А это имеет какое-нибудь отношение к делу?

— Извините, — засмеялся Фернан. — Это, конечно, праздное любопытство... Извините, — повторил он.

После этого он больше не ходил за мной по пятам. Он облокотился о стол, закрыл глаза и, казалось, погрузился в свои мысли. Когда я принялся за третью пробирку, он вдруг встал и, ни слова не говоря, вышел из помещения. Через окно я видел, как он обогнул мой барак и, широко шагая по песку, отправился в южную лабораторию. На полпути его остановил часовой, и он предъявил ему пропуск. Часовой козырнул и отошел в сторону.

«Важная птица. Разгуливает, где ему вздумается».

Вернулся он только к вечеру. Вид у него был немного встревоженный и усталый.

— У вас все готово? — спросил он.

— Давно. Вот здесь, на банках, все написано.

Несколько секунд он молча рассматривал мои записи, а затем поднял на меня свои близорукие глаза.

— По-моему, бессмысленная работа, — сказал он как-то неопределенно.

— Не знаю. Доктору Граберу и доктору Шварцу виднее.

Фернан пожал плечами.

— Я совершенно не понимаю, для чего нужно вполне благопристойных кроликов превращать в каменных, кому вместо хороших сочных помидоров и бананов нужны каменные помидоры и бананы?

Я насторожился и пристально взглянул на него. За все время моего пребывания здесь со мной никто так откровенно не говорил о делах, происходящих в институте Грабера. Может быть, это провокация? Может быть, немцы заподозрили, что я уже слишком много знаю, и просто хотят выяснить, как много мне известно? Я плотно сжал губы и ничего не ответил.

— Ну, хорошо. Спокойной ночи, — сказал Фернан и ушел.

В течение нескольких дней он не появлялся. За это время произошло событие, которому суждено было стать решающим во всей этой истории.

Как-то вечером после работы я позвонил фрау Айнциг, чтобы сверить часы. Она сняла трубку и, произнеся знакомое мне «алло», вдруг перестала со мной говорить. Вместо ее голоса я вдруг услышал сразу несколько голосов. Разговор был не очень внятный, торопливый, но очень скоро смысл его дошел до моего сознания. Кто-то сообщал фрау Айнциг, что получена радиограмма о прибытии в институт крупного начальства. В связи с этим что-то нужно было сделать, с чем-то поторопиться, за кем-то послать. Дата прибытия точно не установлена. Айнциг повесила трубку, и я больше ничего не услышал.

На следующее утро на территории института началась беготня. Я видел, как Шварц несколько раз торопливо прошел из своей лаборатории в южную и обратно, как из южной лаборатории пробежали трусцой в здание Грабера несколько человек в белых халатах, как вдоль восточной ограды взад и вперед метались местные рабочие.

В этот день обо мне забыли.

Однако вскоре после обеда в моем помещении появился Фернан. С первого взгляда было ясно, что он очень взволнован, и я даже не удивился тому, что он не принес никаких препаратов для анализа.

— Чем могу служить? — спросил я насмешливо, понимая, что немцы переполошились из-за приезда начальства.

Фернан виновато улыбнулся и как-то очень просто сказал:

— Ух, забегался. Решил у вас отдохнуть...

— Отдохнуть?

— Да. Вы не возражаете, если я у вас посижу несколько минут?

Я пожал плечами и показал на стул. Он сел и проговорил:

— Прошу вас, если придет доктор Шварц, рассказывайте мне что-нибудь о своей работе. Это будет выглядеть так, будто я пришел к вам по делу.

Я внимательно посмотрел ему в глаза. Все это начинало меня злить. Я спросил:

— Вы, наверное, думаете, что я безнадежный идиот и не понимаю, что значит вся эта комедия?

— Комедия? — он даже привстал.— По-моему, это не комедия. Может быть, для вас, но не для меня...

— Господин Фернан. Давайте договоримся: если вам поручили за мной следить, то делайте это как-нибудь поумнее...

Он опустил голову, потер рукой лоб и тихонько засмеялся.

— Черт возьми! А ведь верно, какое право я имею на ваше доверие? Никакого...

Мне показалось странным, что он так говорит. Вел он себя очень непосредственно.

Подумав, он вдруг заговорил снова:

— Хорошо. Давайте будем откровенны. Другого выхода у меня нет. Только ответьте мне на один-единственный вопрос. Он может вам показаться странным. Но для меня это важно... Согласны?

— Смотря какой вопрос, — настороженно сказал я.

— Вы любите Францию?

Пока я думал, он смотрел на меня широко раскрытыми черными глазами. Я внезапно почувствовал, что передо мной не тот человек, за которого я его принимал.

— Если это так важно, я могу ответить. Да.

— Я вам верю. Слушайте, — он перешел на шепот.— Я не Фернан, и мне грозит опасность...

— Кто же вы тогда? — прошептал я.

— **Вы это узнаете в свое время. Но я не немец. И не француз.**

— Пойдемте в рентгеновский кабинет. Там можно запереться и поговорить, чтобы нас никто не услышал, — прервал я его.

Мы прошли в рентгеновскую лабораторию, и я включил установку. В комнате стало шумно. Фернан наклонился ко мне и сказал:

— Я приехал сюда по документам некоего Роберта Фернана из Мюнхенского исследовательского центра. После войны этого Фернана приговорили к пожизненной каторге за медицинские и биологические опыты над военнопленными. Однако с помощью своих западных коллег он вскоре

оказался на свободе и занял важное положение медицинского советника при нынешнем правительстве...

— Да, ну, а вы...

— Я недаром спросил, любите ли вы свою родину. Дело в том, что моя родина здесь...

— Здесь? В Африке?

— Да, здесь, на этой самой земле. Нас давно уже тревожит то, что тут окопались немцы. С этим пора кончать.

Последние слова Фернан произнес решительно, как призыв. Мне вдруг стало стыдно за то, что я европеец.

— Постойте, одну секунду, Фернан, или как вас... Но ведь, насколько я знаю, Грабер ведет лишь научные исследования.

— Научные? — Он резко наклонился к самому моему лицу.— Роберт Фернан проводил над людьми тоже так называемые научные исследования. Он замораживал их живыми, он вливал им в вены растворы солей свинца, чтобы получить уникальные рентгеновские снимки, он...

— Неужели и Грабер? — в ужасе воскликнул я.

— Н-не знаю, не знаю... Собственно, я здесь для того, чтобы все узнать. В нашем народе ходят кое-какие слухи...

— Какие?

— Не буду их повторять. Нужно точно проверить.

— Чем я могу вам помочь? — спросил я, взяв его за руку.

Мысль об античеловеческом характере работы института Грабера приходила мне в голову очень часто, но я гнал ее от себя, не веря, что в наше время наука может заниматься чем-то мерзким и преступным. Теперь, когда эту мысль Фернан выразил четко и ясно, я вдруг понял, что обязательно стану его помощником, если не хочу стать соучастником преступления.

— Чем я могу быть для вас полезным? — снова спросил я.

— Хорошо, слушайте. — прошептал он.— Скоро для инспектирования института Грабера приедет группа военных. Кроме военных, там будут представители двух исследовательских фирм: американской «Уестерн биокемикал сервис» и немецкой «Хемише Централь». Собственно, это одна и та же фирма. Свою деятельность у нас они начали с того, что стали ввозить мыло и леденцы. И то и другое появлялось в одной и той же упаковке, но с надписями то на английском, то на немецком языках. Так вот, представители этих двух фирм приедут осматривать и одновременно показывать генералам свое, так сказать, африканское хозяйство, знакомиться с успехами и достижениями доктора Грабера. Нужно попасть на испытания.

— Какие испытания?

— Грабер будет демонстрировать результаты своей работы.

— Где?

— Наверное, в парке, за стеной.

— Так что же нужно сделать?

— Нужно, чтобы на испытания попали вы.

— Я?? Вы смеетесь! Они меня из этого барака выпускают три раза в день на прогулку: пятьдесят шагов вправо от двери и пятьдесят влево. Вы же знаете, что территория просматривается часовыми.

— Да, — он тяжело вздохнул, — я знаю. И тем не менее это нужно сделать.

Я вспомнил о своем путешествии под землей в оазис алых пальм, и у меня шевельнулась смутная надежда.

— Ну, допустим, я что-нибудь придумаю. Может быть, свершится чу-

до, и мне удастся попасть на эти испытания, хотя я даже не знаю, где они будут. Ну, а вы? Ведь вам нужно скрыться. Вам нужно бежать. Если приедут представители фирмы и увидят, что вы не Фернан...

Он медленно покачал головой.

— Я не могу бежать. Я должен не попадаться им на глаза. Даже если меня и потребуют, хотя я надеюсь, что во мне никакой нужды не будет.

Мы долго молчали. Затем я спросил:

— Вы, кажется, довольно свободно перемещаетесь по территории?

— Да. Относительно.

— Куда вам разрешается ходить?

— Всюду, за исключением резиденции Грабера и этого странного парка за стеной.

— Вы имеете в виду оазис алых пальм?

— Алых? Почему алых? Эти пальмы грязно-песочного цвета.

Я засмеялся.

— Это я придумал название. В день моего приезда они были окрашены лучами заходящего солнца в ярко-красный цвет.

— За ограду я доступа не имею, хотя моя лаборатория примыкает к стене, за которой находится оазис.

Я удивился. Неужели Пуассон не имел прямого доступа в оранжерею, в которой я побывал? Впрочем...

— Слушайте, — сказал я.— Есть план. Вы можете попасть в сад. Но учтите, постройка за стеной обитаема, и я не знаю, кто там живет. За время, оставшееся до приезда военных, вы должны хорошенько все разведать. Если вам удастся выяснить, где будут демонстрироваться достижения Грабера, я попытаюсь что-нибудь сделать.

— А как я смогу попасть в оазис?

Я выключил рентгеновский аппарат, и мы вышли в лабораторию.

— Кстати, как ваше настоящее имя? — спросил я.

— Называйте меня пока Фернаном, — ответил он, улыбаясь.

Я устыдился своей наивности.

Мы подошли к висевшему на стене ящику, на крышке которого был изображен череп и две кости, перечеркнутые красной молнией.

— У вас в лаборатории это есть? — спросил я.

— Он кивнул головой.

Я подошел к спектрографу, вытащил из-под рельса ключ, открыл ящик. Фернан заглянул внутрь и легонько свистнул.

— Ясно? — спросил я.

Он кивнул головой.

— Только учтите вот что.

Я запер дверь, подвел его к стене и поднял край линолеума. И показал ему металлические контакты.

— Это я знаю, — прошептал он.— Это во всех помещениях, где работают иностранцы.

— Но ведь Пуассон...

— Когда Пуассон бежал, он где-то повредил сигнализацию. С моим приездом ее решили не восстанавливать.

— Откуда вы все это знаете? — удивился я.

— У нас здесь есть еще один друг...

— Кто?

— После. А сейчас дайте мне ключ.

Я передал ему ключ, и он крепко пожал мою руку.

— Итак, если вы хотите, чтобы я вам помог, узнайте обо всем как можно больше. Окончательный план действий мы разработаем накануне испытаний.

— До свидания.

— До свидания, господин Фернан.

Через день после моего разговора с Фернаном мне перестали приносить пищу. Ни утром, ни днем, ни вечером не появился араб с термосами, и я, совершенно изголодавшийся, позвонил фрау Айнциг. Ответа долго не было, а когда она взяла трубку, то заговорила со мной резким раздражительным тоном. Она опередила мой вопрос.

— Не умрете, Мюрдаль! Мы все в таком положении. Мне есть хочется не меньше, чем вам. Ждите.

Вместо ужина я вышел на свою «прогулку», раздумывая над тем, почему вдруг институт Грабера оказался без еды. Я хотел было войти в барак Шварца, чтобы поговорить с доктором о таком неожиданном повороте дел, как вдруг дверь открылась и из дома выбежал Джованни Сакко, итальянец-синтетик.

— Синьор! — окликнул я его.— Вы тоже голодаете?

Сакко оглянулся по сторонам и сделал мне едва заметный знак подойти поближе.

— Голод это еще полбеды. Скоро нам придется умирать от жажды...

— Почему? Разве перестали возить воду?

Он криво улыбнулся.

— В том-то и дело, что нет. С водой все в порядке. Но только пить ее...

— Что?

Джованни пожал плечами. Затем он заговорил быстро-быстро, путая французские и итальянские слова.

— Все дело в воде... Мне так кажется... Эти арабы давно ее не пьют... Иначе зачем бы они отсюда бежали... А теперь здесь нет ни одного туземца... Все проклинают воду... Все дело в ней...

Я в недоумении смотрел на итальянца. Вдруг его лицо перекосилось, и он, круто повернувшись, скрылся за дверью. Я повернулся на звук шагов. Ко мне шел доктор Шварц.

— Разве вам не сообщили, что прогулки отменены? — бросил он мне.

— Нет. А почему?

— Не задавайте вопросов и марш к себе,— скомандовал он.

Я возмутился.

— Послушайте, доктор! Я, кажется, не ваш соотечественник и не солдат, и вы не имеете права отдавать мне приказания.

Шварц презрительно улыбнулся.

— У меня, к сожалению, нет времени сейчас объяснять вам, каким правом вы пользуетесь. Делайте то, что вам приказано. Пока что мы здесь командуем.

На слове «мы» он сделал выразительное ударение.

— Надолго ли? — не выдержав, съязвил я.

— Об этом как-нибудь в другой раз. Марш в свой барак.

В лаборатории я много думал о том, что мне успел сказать Джованни. Часов в десять вечера открылась дверь, и в ней появился Фернан, улыбающийся, с большим пакетом в руках.

— Еще живы?— спросил он весело и подмигнул мне.

— Еле-еле. Съел последнюю корку хлеба.

— Вот, насыщайтесь. Мне поручили принести вам сухой паек. Горячая пища будет не скоро.

Он положил сверток на стол, а сам зашагал по лаборатории, тихонько насвистывая популярную песенку.

Я с жадностью накинулся на сухие галеты и копченую колбасу. Проглотив несколько кусков, я спросил:

— Чему вы так радуетесь?

— Как чему? Тому, что н а ч а л о с ь!

— Что н а ч а л о с ь?

— То, что рано или поздно должно было начаться. Рабочие Грабера разбежались. Нет ни поваров, ни прислуги, ни носильщиков, ни истопников. Ушли все шоферы, кроме немца-водовоза. Хозяйству профессора местные жители объявили бойкот. Началась забастовка!

— С чего это вдруг?

Фернан подошел ко мне совсем близко и, сощурив глаза, сказал:

— Шварц уверял меня, что все дело в суеверии. Но я знаю, что это не так.

Я перестал жевать и уставился на него. Он присел на краешек стула и закурил.

— Говорят, среди местных арабов разнесся слух, что живущие за этой стеной европейцы ниспосланы на землю самим дьяволом! Жить и работать вместе с белыми людьми за стеной все равно, что поносить аллаха. Вот они и ушли.

— Это вам рассказал Шварц?

Фернан кивнул головой.

— Врет. Не верьте ни единому слову.

— А я и не верю.

— Между прочим, только что итальянец Сакко из барака доктора Шварца намекнул мне что-то насчет воды. Знаете, был такой случай. Когда я ехал сюда через пустыню, я предложил своему шоферу стакан воды. Он отказался, да еще с таким темпераментом!

Фернан задумался.

— Вода или не вода, а здесь что-то неладное. Все выяснится тогда, когда вы побываете на испытаниях.

— Вы не отказались от этой идеи?

— Наоборот. Я пришел к вам, чтобы уточнить наш план. Давайте думать, как вам пробраться на испытания.

Я улыбнулся. Этот человек говорил со мной так, как будто находился в этом институте по крайней мере столько же времени, сколько и я. А ведь он жил здесь всего несколько дней!

— Я вас слушаю.

— Так вот, я вчера днем побывал в вашем оазисе алых пальм. Вы знаете, что это такое?

Я кивнул головой.

— Вы там тоже были?

— Был.

— Прекрасно. Тогда вам легче будет объяснить. Вход в оазис лежит через кухню...

— Какую кухню?

— Ту, посреди которой стоит печь, огромная печь, — удивленно пояснил Фернан.

— А почему вы думаете, что это кухня?

— Потому что я сам видел, как какой-то неуклюжий, широкоплечий верзила варил в котлах еду и затем увозил котлы за изгородь справа. Это шагов пятьдесят от кухни.

— А я кухню принял за оранжерею! — признался я смущенно.

— Она немного напоминает оранжерею. Там действительно расставлены кадки и горшки с окаменевшими растениями, но основное назначение этого помещения — кухня.

— И вы видели, как там варится и жарится пища? — засмеялся я.

— Представьте себе, да. Повар, или, как его, какое-то неуклюжее глухое и немое существо. Мне было не очень трудно, приоткрыв дверь трансформаторного ящика, следить, как и что он делает. Я видел, как он готовил мясное блюдо. Он рубил кривым стальным палашом тушу не то свиньи, не то барана, вымоченного в чане с густой черной жидкостью. Когда его варево закипело, помещение наполнилось таким смрадом, что мне пришлось закрыть дверь и спуститься на несколько ступеней вниз...

Мы замолчали. Фернан прочитал в моих глазах вопрос и ответил на него легким пожатием плеч. Действительно, разве можно было сказать, для кого готовилась еда?

— Когда повар, нагруженный котлами, покинул помещение, я вышел из своего укрытия. Теперь мне ясно, как проникнуть на испытательный полигон, туда, где находятся главные объекты опытов Грабера.

— Как?

— Шагах в тридцати от ворот растет пальма, прямо у стены. Ее крона поднимается высоко над проволочными заграждениями, а ветки простираются на запретную территорию. Нужно влезть на эту пальму и спрыгнуть вниз...

— Ограда имеет высоту около семи метров. Крона достигает высоты около десяти метров. Не кажется ли вам такой метод проникновения несколько рискованным?

Фернан улыбнулся.

— Нет, не кажется, если учесть, что песок здесь глубокий и мягкий. Нужно только суметь спружинить ногами и сразу упасть на бок. Вы когда-нибудь прыгали с парашютом?

Я покачал головой.

— Нет. Но это неважно. Я сделаю так, как вы предлагаете.

— Другого пути нет.

— Значит, будем действовать по-вашему.

— Теперь самое главное. Я уверен, что в день приезда военных вас никто тревожить не будет. Не думаю, чтобы эти солдафоны интересовались, как вы выполняете свои спектральные и рентгеновские анализы. Их, конечно, будет интересовать г л а в н ы й р е з у л ь т а т исследований Грабера.

— Какой?

— Не знаю. Это вы должны увидеть собственными глазами. Так вот, в день приезда начальника Грабера вы должны сидеть возле окна и смотреть в сторону моей лаборатории.

Фернан взял меня за руку и подвел к окну.

— Там, на самом крайнем окне, я поставлю тигель и зажгу в нем кусок бумаги. Как только вы увидите пламя, спускайтесь в ящик и что есть мочи ползите по трубе к алым пальмам. Я вас встречу в тамбуре под кухней.

Я спросил:

— А откуда вам будет известно, что мне пора?

— Из моей лаборатории лучше видно, что будет делать Грабер. Я буду знать, когда он начнет приготовления на испытательном участке для приема высоких гостей.

На другой день рано утром мне позвонила Айнциг.

— Прошу вас, Мюрдаль, сегодня никого звонками не тревожить.

— Почему? — удивленно спросил я.— Разве сегодня воскресенье?

— Не задавайте глупых вопросов. Таково распоряжение.

Она повесила трубку.

Значит, время действовать наступило. Только бы не проглядеть сигнала.

Около десяти часов я увидел в окне Фернана ярко-оранжевое пламя. Оно появилось на несколько секунд и тут же исчезло. Я решительно пересек комнату. Возле бетонной трубы спектрографа я поднял линолеум и положил под него кусок жести. После этого я лег плашмя на пол и стал ждать. Это продолжалось минут пять. Звонка не было. Значит, сигнализация замкнута надежно.

Как и прежде, я подполз к металлическому ящику с изображением черепа и влез в подземелье. На этот раз я проделал весь путь до оазиса значительно быстрее, чем раньше. Теперь я хорошо знал, как нужно ползти, чтобы одежда не цеплялась за кабельные крючки. Я дышал глубоко и ритмично. Вскоре впереди заблестел огонек. В конце пути меня ждал Фернан.

— Поднимайтесь. Здесь можно встать на ноги, — тихо сказал он.

Он помог мне, и мы несколько секунд молчали.

— Пока все идет хорошо, — прошептал он.— Минут десять назад вся компания во главе с доктором Грабером отправилась на испытательный участок. В оранжерее никого нет. Так что идите туда. Когда вы окажетесь в саду, старайтесь идти за первым рядом грядок. Там растут какие-то кустарники, и в случае необходимости за ними можно будет спрятаться. Ну, а что касается ваших действий на испытательном участке, то это зависит от вас. Что и как там расположено, я не знаю...

— Хорошо. Что я должен делать?

— Смотреть. Только смотреть. Если вам все станет ясно, ищите путь к отступлению.

Он крепко пожал мне руку и легонько толкнул в плечо.

— Пора, — сказал он.— Плохо, что осмотр они затеяли днем.

— Да. Ночью было бы проще.

— Кстати, имейте в виду, что сегодня должно произойти еще одно важное событие. Оно вам на пользу...

— Событие? Какое?

— Об этом потом. Итак, вперед.

Фернан осветил крутую лестницу в оранжерею, а когда я приоткрыл дверь, он выключил свет и, пригнувшись, скользнул в углубление справа.

В оранжерее я несколько минут стоял ослепленный. Затем, когда глаза привыкли к яркому свету, я увидел, что на стволах, и вдоль окон, и рядом с огромной печкой стояли кадки с растениями, листья которых имели бледно-желтый цвет. По форме листьев я сразу узнал лимоны, банановую пальму, кусты помидоров. Плоды имели грязно-серый оттенок. Солнце стояло высоко, и эта фантастическая оранжерея была залита пыльным светом. В дальнем углу находились баки с отвратительной бурой жидкостью. Песок в кадках был влажным, по краям виднелись пятна какого-то белого налета. Очевидно, растения поливали не обычной водой, а каким-то раствором.

Я вышел в сад и перебежал за первый ряд прямоугольных «могил».

Оазис был огорожен, как и вся территория института, высокой глиняной стеной. Справа от кухни стена была много выше, и в углу, где она упиралась в западную ограду, виднелись небольшие ворота.

Я направился к этим воротам, временами оглядываясь по сторонам. Кругом царило безмолвие, такое, какого никогда не бывает в настоящем саду с зелеными растениями и деревьями. Солнце пекло беспощадно.

Обходя одну из песчаных «могил», усаженных бледно-желтыми кустами, я заметил, что над грядками торчат металлические трубы, изъеденные ржавчиной. Видимо, с их помощью поливали всю эту странную растительность.

Чем?

Я просунул палец в трубу, извлек каплю мутной жидкости и осторожно попробовал на язык. Рот обожгло чем-то горьким и жгучим.

«Щелочь! Концентрированная щелочь! Наверное, едкий калий», — подумал я, сплевывая горько-соленую слюну.

Я уже приготовился перебежать следующий промежуток между грядками, когда из-за ворот послышались голоса. Кто-то громко разговаривал, и разговор иногда прерывался взрывами смеха. Я устремился к пальме у стены и спрятался за ее ствол. Через минуту калитка отворилась, и в сад вошли семь человек.

Во главе компании выступал небольшого роста мужчина с непокрытой головой, в белых брюках и легкой рубашке с широко распахнутым воротом. Рядом с ним шагал высокий человек в офицерской форме, в котором я сразу узнал доктора Шварца. Затем я увидел женщину в очках, в широкополой шляпе и еще четверых: двое из них были в американской военной форме и двое в штатском.

Мужчина с непокрытой головой был, несомненно, доктор Грабер. Я об этом сразу догадался. Он уверенно шагал между грядок и по-английски давал объяснения своим спутникам.

— Вот этим мы их и кормим. Ситуация получается сложная. Оказывается, мало переделать их. Нужно переделать всю природу: растения, животных, все! Для их питания! Диета должна соответствовать новой биохимической организации.

Один из офицеров нагнулся над грядкой, сорвал огурец и попытался откусить.

— Черт возьми, ведь он горький! И твердый, как подметка! — закричал он, отплевываясь.

Снова взрыв смеха.

— Конечно. Но это как раз то, что им нужно. Если их посадить на обычную диету, их сразу придется отправить в музей.

— И долго вам пришлось разводить это хозяйство? — спросил американский полковник.

— Да. Почти пять лет. К моему удивлению, после введения катализатора в корневую систему пальмы превратились в кремнийорганические всего за два года. Нам пришлось повозиться с их подкормкой. Теперь они дают очень хорошие кокосовые орехи и бананы. Мы сервируем их на десерт.

Все опять засмеялись.

— Вот там помещается кухня. Одного из них мы сделали поваром, и он справляется со своей задачей блестяще. По совместительству он исполняет обязанности еще и садовника и огородника.

— Они что же — все вегетарианцы? Или вы иногда кормите их и каменным мясом, или как оно там, по-вашему, называется?..

— Да, они получают силикатные белки. Для этого мы держим кроликов, овец, кое-какую птицу... Правда, с этим материалом возни очень много. Каждую особь приходится переделывать отдельно... Если мне удастся решить проблему кремнийнуклеиновых кислот...

— Ну что ж, ясно, господин Грабер,— сказал американский полковник.— Пойдемте обратно. Там, видимо, все уже готово. Значит, решение проблемы наследственности упирается в кремнийнуклеиновые кислоты, которые пока что не получаются, так?

Все скрылись за стеной, и я не расслышал продолжения разговора. Я был основательно встревожен, но еще не очень хорошо себе представлял, что меня встревожило.

Когда голоса стихли, я обхватил ствол пальмы руками и стал медлен-

но карабкаться вверх. Дерево было покрыто толстым слоем каменистой коры, о которую было легко опираться ногами. С каждой секундой я поднимался все выше и выше, пока не оказался на уровне стены. По стене проходили два ряда колючей проволоки. Наконец я добрался до кроны. Жесткие листья царапали лицо.

За стеной стояли два строения, похожие не то на гаражи, не то на ангары. В большой ангар вошли все, кроме Грабера. Он повернул назад и скрылся в малом ангаре. Вскоре оттуда медленной, грузной походкой потянулись какие-то люди. Они шли гуськом, друг за другом, едва передвигая ноги. У них был очень странный вид. Их плечи были непомерно широкими, шли они с низко опущенными головами. Создавалось такое впечатление, будто эти люди высечены из тяжелого камня. Сбоку шеренги шагал Грабер с длинной тростью и попеременно тыкал ею то в одного, то в другого. Иногда он выкрикивал какие-то гортанные слова, но странные люди не обращали на него внимания. Они шли и шли, скрываясь за широкой дверью большого ангара. Их было человек пятнадцать, все в светлых штанах, без рубах, оголенные до пояса.

Увидев это шествие, я вдруг все понял. У меня дыхание захватило от ярости. Забыв об опасности, по жесткой, как металл, пальмовой ветке я прополз над стеной и спрыгнул вниз на глубокий мягкий песок.

Несколько секунд я лежал неподвижно, затем ползком пробрался к входу в большой ангар. Помещение было освещено только небольшими окнами под самой крышей, и после яркого солнечного света я в первую минуту ничего не видел. Были слышны гулкие голоса, затем я разглядел кучу каких-то ящиков и спрятался за ними.

— Первое испытание не такое уж и показательное,— громко говорил Грабер.— Прошу вас, мистер Улбри, возьмите этот металлический прут и изо всех сил бейте любого из них.

Странные люди стояли в одну шеренгу перед небольшим бассейном посредине ангара. Их лица были бесцветны, бессмысленны. Это были не люди, а грузные мумии, созданные бесчеловечным гением доктора Грабера. Но я еще не понимал, для чего был поставлен этот чудовищный по жестокости эксперимент.

— Прямо так и бить? — удивился Улбри, взвешивая в руке тяжелую металлическую палку.

— Конечно. Представьте себе, что перед вами обыкновенное деревянное бревно. Давайте, я вам покажу.

Грабер взял у мистера Улбри прут, подошел к шеренге, замахнулся и ударил одного из людей по плечу. До боли в глазах я сжал веки. Послышался сухой стук, как будто бы удар пришелся не по человеческому телу, а по чему-то очень тяжелому...

— Теперь дайте попробую я.

Послышалось несколько ударов. Я приоткрыл глаза и увидел, как гости по очереди брали железный прут и били по неподвижно стоявшим людям-статуям.

— А вот этот застонал! — воскликнул один штатский.

— У него еще не полностью произошло замещение углерода на кремний,— объяснил Грабер.— Через неделю он будет, как все.

Когда избиение окончилось и гости вволю наговорились, выражая свое восхищение достижениями доктора Грабера, началась вторая серия испытаний.

— Физиологические процессы в их организме крайне замедленны,— объяснял Грабер.— Для них нормальная температура окружающей среды — это что-нибудь около шестидесяти градусов выше нуля. Если тем-

пература ниже, им холодно. Жару они начинают чувствовать при трехстах пятидесяти градусах. Здесь у нас бассейн с нагретым раствором едкого калия. Какая сейчас температура, фрау Айнциг?

— Двести семнадцать градусов,— ответила женщина в шляпе.

«Так вот она, фрау Айнциг»,— подумал я.

— Во время действительных военных операций с применением радиоактивного оружия это незаменимые солдаты,— продолжал комментировать доктор Грабер.— Мы проверили их на выносливость в поле мощного радиоактивного излучения и обнаружили, что они совершенно не чувствительны к дозе облучения свыше тысячи рентген в час. Представляете, что это значит! После атомной бомбардировки кто-то должен занимать территорию противника. Иначе война лишена всякого смысла. Вот они-то, пулеустойчивые, не боящиеся высоких температур и высокого уровня радиации, и будут идеальными солдатами для заключительной фазы боевых действий.

Один американец многозначительно присвистнул, вытащил записную книжку и что-то торопливо в ней нацарапал.

Грабер зашел за спину одного из людей и стал тыкать ему между лопаток своей палицей.

— А чем вы их шевелите? — спросил немецкий генерал.

— Электрический разряд высокого напряжения. Ток при напряжении более семисот вольт им не нравится. Здесь у меня в кармане батарейка и небольшой трансформатор.

Человек, которого он подгонял, медленно подошел к дымящемуся бассейну и грузно прыгнул в жидкость. Вслед за этим послышалось отвратительное, нечленораздельное уханье. В жидкости он делал неуклюжие движения, как толстые люди, не умеющие плавать.

— Купаться в этом бассейне им очень нравится,— пояснил Грабер.— Сейчас мы загоним их всех в «воду», кроме этого. Он еще не совсем отвердел.

Один за другим в бассейн прыгнули все. Ангар наполнился гулом нечеловеческих голосов. Густая раскаленная жидкость пенилась, и в ней неуклюже ныряли и плавали кремниевые существа.

— Им так понравилось, что вы их ничем отсюда не выгоните!

— Это делается очень просто. Сейчас мы наполним бассейн холодным раствором, и они вылезут сами. Фрау Айнциг, откройте кран.

Через минуту, тяжело переваливаясь через край бассейна, каменные люди начали выползать из охлажденной жижи. От их тел поднимался едкий пар. Кто-то из присутствующих закашлялся. Американец попятился в сторону и перешел на противоположную сторону бассейна.

Мне казалось, что кремниевые существа совершенно безразличны к тому, что над ними проделывают их мучители. Но вот в ангар втащили ручной пулемет, установили его прямо против шеренги кремниевых людей. И безразличия как не бывало: едва появился пулемет, как строй зашевелился, распался, некоторые стали медленно пятиться назад, послышалось глухое мычание...

— Они боятся! — воскликнул Улбри.

— Да. Это больно. Но, конечно, терпимо. Вот. Теперь можно начинать.

Я почти совсем высунулся из своего укрытия и широко раскрытыми глазами смотрел на страшный расстрел. Вначале Шварц сделал несколько одиночных выстрелов. Те, кто стоял у стены, резко вздрагивали... Один из них поднял руку и прикрыл свою грудь. Другой сделал несколько шагов в сторону.

— Теперь дайте очередь,— скомандовал Грабер.

Шварц нажал на курок. Дробно прогрохотали выстрелы. Люди у стены встрепенулись и застонали. Я зажмурил глаза. В это время послышался членораздельный голос. Кто-то в шеренге медленно, словно с огромным усилием, произнес по-немецки:

— Проклятые...

Стрельба прекратилась. И тогда голос стал еще более явственным:

— Проклятые звери... Изверги... Будьте вы прокляты...

— Это кто? — громко спросил немецкий генерал.

— Это новенький экземпляр,— объявил Грабер.— Один наш бывший биолог, Пуассон. Помните, я вам докладывал. Он пытался бежать.

Пуассон! Пуассон! Вот что они теперь с ним сделали.

— Будьте вы прокляты... — простонал Пуассон.

К нему подошел генерал и изо всех сил ударил по его лицу железной палкой.

— Будьте вы прокляты...

От ярости я заскрежетал зубами. Это было страшно. Немецкий генерал избивал изуродованного Пуассона. А тот с нечеловеческим упорством продолжал повторять слова проклятья.

В это время послышался громкий хохот Грабера.

— Вот видите! Вы его лупите, а ему все нипочем! Каков, а? Ведь такие устоят против чего угодно!

— А ну-ка, поставьте его к стенке,— скомандовал, озверев, немец.— Дайте по нему хорошую очередь, чтобы знал!

— Не стоит. Он еще не полностью отвердел. Его тело еще недостаточно плотное.

— Черт с ним. Ставьте,— приказал генерал, вытирая платком потное лицо.

— Будьте вы прокляты... — стонал Пуассон.

— К стенке! Нечего церемониться!

— Может быть, не стоит, господин генерал,— заметил американский полковник.

— К стенке!

— Через неделю он будет, как и все,— пояснял Грабер.

— Будьте вы прокляты...

— К стенке!— настаивал немец.

Грабер с сожалением пожал плечами и, подойдя к Пуассону, стал подталкивать его прутом. Тот медленно пошел к стенке. Я заметил, что в его осанке еще осталось что-то человеческое, живое. Он шел, подняв тяжелую голову так высоко, как мог, а его неподвижные глаза горели ненавистью.

От ярости и возмущения у меня потемнело в глазах, тело покрылось холодным потом, сердце, как тяжелый молот, колотилось в груди. Сам того не замечая, сжав кулаки, я выступил из укрытия.

— Огонь! — крикнул немецкий генерал доктору Шварцу...

— Будьте вы прокляты... — простонал Пуассон.

Я сорвался со своего места и бросился на Шварца.

Дальше я не помню, что было. Послышались выстрелы. Ко мне подбежали, ударили по голове.

8. НЕУДАВШЕЕСЯ ВОССТАНИЕ

Я очнулся от острой боли в правой руке. Открыв отяжелевшие веки, я увидел прямо перед собой чьи-то пальцы, державшие огромный шприц, который медленно наполнялся кровью. Вторая рука сжимала мой локоть. Я поднял голову и увидел, что на краю кровати сидит фрау Айнциг.

Заметив, что я очнулся, она резко проговорила:

— Не шевелитесь, Мюрдаль, не то сломается игла.

— Игла? — ничего не соображая, спросил я.

— Да, игла. Видите, я беру из вены кровь.

Я уставился на цилиндрический сосуд в ее руках. Айнциг ловко выдернула иглу из вены и положила на ранку кусок ваты, смоченной йодом.

— Теперь сожмите руку в локте, плотнее.

Она поднесла шприц к глазам. Я следил за ее движениями и постепенно в памяти начали восстанавливаться картины недавно пережитого кошмара.

— Что вы хотите со мной делать? — спросил я.

— Ничего особенного. Беру вашу кровь на исследование.

— Для чего?

Она повернула ко мне свое тонкое, бескровное, заостренное лицо и ответила с усмешкой:

— Чтобы знать, с чего начинать.

Комната, где я лежал, небольшая, светлая, со стенами, выложенными белым кафелем, напоминала операционную. Сквозь широкое окно виднелось голубое небо и справа — край серой бетонной стены. Айнциг подошла к окну и уселась за небольшой столик со стеклянной крышкой, на котором стояли пузырьки с растворами, пробирки в штативах, никелированные коробки с инструментами. Мою кровь она разлила по нескольким пробиркам, а оставшуюся часть выплеснула в стеклянную кювету. В нее она опустила два электрода, от которых провода тянулись к черному эбонитовому ящику.

— Вы измеряете концентрацию водородных ионов? — спросил я.

— Вы догадливы! — едко ответила она.— Хотя я терпеть не могу возиться с поганой кровью разных французов и арабов.

Я тихонько засмеялся.

— Вам больше нравилось бы возиться с кровью соотечественников?

Фрау Айнциг вскочила со своего места и, нагнувшись надо мной, зашипела:

— Только французы, арабы, негры, русские и прочие... красные подходят для наших экспериментов! Бесхребетные хлюпики!.. Вот и ваш Пуассон не выдержал из-за этого окаменевшего черномазого кретина — все вы одним миром мазаны.

Я не понимал, чего здесь было больше — фанатизма или патологической жестокости. Передо мной стояла женщина-зверь, участница самого подлого и грязного из всех возможных преступлений.

— Когда-нибудь, фрау Айнциг, вам будет плохо, ох, и плохо... — простонал я и отвернулся к стенке.

Мне вдруг стало противно смотреть на эту гадину с завитыми бесцветными волосами, с тощей плоской фигурой, с остроносой маской вместо лица.

Айнциг хихикнула и вышла из комнаты. Я слышал, как она покатила впереди себя столик со склянками и инструментами.

Через некоторое время я встал с кровати и подошел к окну. Это был последний этаж здания, которое я раньше называл «резиденцией Грабера». Справа возвышалась водокачка, а прямо виднелась ограда, за которой стояли два ангара, малый и большой. Там Грабер демонстрировал своих каменных чудовищ.

Голова еще сильно болела от удара, и я вернулся на свою койку. Нужно было о многом подумать. Нужно было решить, что делать дальше. Нужно было, наконец, приготовиться к неизбежной участи.

Смысл работы института Грабера стал предельно ясным. Я вспомнил, как однажды сказал Пуассон: «Мне кажется, Грабер хочет проделать в биологии какую-то шутку...» В биологии? Нет. В самой жизни Грабер создает совершенно новый органический мир, животный и растительный, в котором роль углерода выполняет кремний. Он научился создавать кремнийорганические растения. Он создает кремнийорганических животных. Он добрался и до человека. Ему удалось создать каменных уродов, которые по его замыслу должны стать идеальными солдатами для будущей войны.

Так вот зачем лаборатория создана в пустыне! Здесь море песка, необъятные океаны окиси кремния, аналога окиси углерода. Как углекислый газ необходим для питания травы, цветов, деревьев, так окись кремния необходима для питания кремниевых растений. Каменные растения нужны для питания каменных животных. Животные и растения вместе служат пищей для каменных роботов...

Здесь, в пустыне, вдали и втайне от людей создавался безмолвный каменный мир.

Трудно было представить более страшное и более преступное применение научного открытия. Но еще труднее было себе представить, как против всего этого бороться.

Почему найденная мною крыса окаменела? Она была мертва, где-то в процессе эксперимента была допущена ошибка. Что значат слова Айнциг о том, что Пуассону стало жаль «окаменевшего черномазого»? Не окаменел ли один из подопытных людей Грабера? Не превратился ли он в твердую, как гранит, статую?

Вспоминая дикую демонстрацию в ангаре, я вдруг подумал, что меня ждет такая же участь, как и Пуассона, как и всех других. От этой мысли мне стало жутко. Как он это делает? Зачем фрау Айнциг взяла на исследование мою кровь? С чего все начинается?

Я беспокойно ворочался с боку на бок, с ужасом думая о том, что меня ждет, пока не услышал, как в двери щелкнул ключ. Я вскочил на ноги в тот момент, когда дверь отворилась и на пороге появился сам доктор Грабер.

Он широко улыбнулся, подошел к окну, взял табуретку и уселся против меня.

Я думал, что именно сейчас все и начнется. Я превратился в комок до предела напряженных мускулов.

— Не бойтесь. Ваше время еще не пришло, Мюрдаль,— сказал Грабер.

— Я вас не боюсь. Я вас ненавижу,— прохрипел я.

— Это не имеет никакого значения, мой дорогой коллега. Когда вы будете, как все, у вас появятся совсем другие чувства.

Он расхохотался. Я встал.

— Не делайте глупостей, Мюрдаль. Вы же знаете, что я с вами легко справлюсь. Лучше сядьте и давайте поговорим, как ученый с ученым. Признаться, большинство тех, кто у меня работает, не такие уж умные

люди, как кажется. Например, ваш руководитель, доктор Шварц, типичный представитель догматической школы. У вас, должно быть, ум более живой.

— С чего это вы вдруг решили говорить мне комплименты? — спросил я.

— Я это говорю потому, что вы действительно любознательный человек. С риском для жизни вы пробрались в самую сокровенную часть моего хозяйства. Вы проделали долгий и утомительный путь. Вы не побоялись проникнуть в испытательный павильон. И все ради чего? Ради удовлетворения своей любознательности, не правда ли?

Я молча смотрел на Грабера, усиленно соображая, к чему он все это клонит.

— Вы напоминаете мне мою молодость. Когда я серьезно задумался над проблемой создания кремнийорганического мира, мне понадобились точные сведения о химическом составе крови различных животных. К своему удивлению, я мало что нашел в книгах. А то, что я находил, для меня не представляло никакого интереса. И тогда я начал делать анализы сам. Если бы вы знали, сколько кошек, собак, кроликов, свиней, баранов и других домашних животных я истребил! Мне нужно было точно знать, каков химический состав крови у этих животных во время сна, в то время, когда их бьют, когда их ласкают, когда их злят... Но вот с домашними животными было покончено. Казалось бы, все. Так нет. Я принялся за диких зверей! Ведь в моем искусственном мире должно быть все! Но где взять диких зверей? Как с ними обращаться? И знаете, я отправился в зоологический парк. Я рисковал жизнью. Ночью я проникал в парк и, вооружившись флаконом сильного снотворного и шприцем, залезал в клетки хищников — ко львам, тиграм, пантерам. Я набрасывал на их морды тряпку, смоченную снотворным, и, когда они засыпали, всаживал иглу в их тела и высасывал из них нужное мне количество крови. После я бежал в лабораторию и проводил анализ. И так почти год, до тех пор, пока меня чуть было не раздавила своей лапой слониха, когда я брал кровь у ее спящего детеныша!

Грабер захохотал. Его лицо было розовым, лоснящимся, губы кроваво-красными.

— И все из-за любознательности. Да. Только она одна движет науку и прогресс человечества вперед.

— Прогресс? У вас патологическое представление о прогрессе человечества. Ваши каменные солдаты — тоже прогресс?

— Конечно, Мюрдаль, конечно! — воскликнул он.— Раса каменных людей будет очень полезной. Они будут более полезными, чем, скажем, лошади, или верблюды, или слоны. Как-никак, а это мыслящие существа.

— Мыслящие?

— Конечно. Мыслящие и покорные. У них отлично развито чувство страха. А это главное.

— А чего они боятся? Ударов? Огня? Пуль?

— Нет. Ничего такого они не боятся. Это как раз то чудесное их качество, которым мы должны воспользоваться. Но, обладая инстинктом самосохранения, они очень боятся того, что может их умертвить.

— Что же их может умертвить? — спросил я.

Грабер посмотрел на меня насмешливо.

— Вы очень, повторяю, очень любознательны. Но я не боюсь открыть вам секрет. Их может умертвить вода.

— Вода?

— Именно. Как и всякий живой организм, они потребляют воду.

— Ну и что же?

— Так вот, они должны пить не обычную воду. Как вам из химии известно, большинство соединений кремния в жидком виде может существовать только в сильно щелочных средах. Мои солдаты также могут жить только до тех пор, пока в их организме господствует щелочная среда. Они пьют воду, насыщенную едким калием.

— Ах, вот оно что! — воскликнул я.— Именно поэтому в ваших анализах потенциометрия занимает такое важное место!

— Совершенно верно, Мюрдаль, совершенно верно. И щелочность воды должна оставаться строго определенной. От... Впрочем, вам это знать не обязательно.

— Так почему же ваши, как вы их называете, солдаты боятся воды?

— А потому, мой дорогой, что если им дать не щелочную, а обыкновенную воду, они... превращаются в каменных истуканов.

— И вы их держите в постоянном страхе?

— Это могучее средство, при помощи которого ими можно повелевать. Но вернемся к вашему любознательному уму, Мюрдаль. Как вы думаете, можно ли создать кремнийорганический аналог рибонуклеиновой и дезоксирибонуклеиновой кислот?

Я вспомнил, как итальянец Джованни в лаборатории Шварца безуспешно пытался синтезировать эти кислоты с кремнием вместо углерода.

Я недоуменно пожал плечами и с любопытством взглянул на Грабера. Он встал и несколько раз прошелся по комнате.

— Ах, если бы это удалось. Если бы живая клетка вся, до конца могла стать кремнийорганической!

— Разве у ваших жертв она не полностью кремнийорганическая?

— Полностью, за исключением ядра. Понимаете, ядра! В этом вся трагедия...

— Трагедия?

— Да. Из-за этого мои кремнийорганические организмы не могут размножаться. Для того чтобы их создавать, нужно брать уже готовый материал, нужно брать готовые углеродистые организмы...

До меня сначала не дошел кошмарный смысл идеи Грабера. Помолчав немного, он продолжал:

— Понимаете, если бы были созданы кремнийорганические аналоги нуклеиновых кислот, то ядро новой клетки обрело бы возможность размножаться. И тогда не нужно было бы заниматься перестройкой каждого индивидуума в отдельности. Достаточно было бы создать несколько разнополых экземпляров, и они давали бы кремнийорганическое потомство. Тогда все решалось бы предельно просто. Кремнийорганические семена растений прорастали бы в кремнийорганические растения, животные давали бы стада кремнийорганических животных, кремниевые люди...

В этот момент окно комнаты с дребезгом разбилось, и в него влетел огромный булыжник. Затрещали выстрелы. Грабер съежился, быстро проскочил комнату и захлопнул за собой дверь. Я подбежал к окну и выглянул наружу. Там, возле стены здания, метались какие-то люди с карабинами в руках. Несколько человек в белом рвались к двери. Я высунулся в окно и закричал:

— Эй, сюда! Грабер здесь!

Мимо моего уха просвистела пуля. Я заметил, что из ворот, ведущих на испытательный полигон, выскочило несколько солдат с автоматами. Один из них стрелял по моему окну. Я отбежал в сторону. Автоматная очередь оставила на потолке пунктирную линию.

«Восстание? Неужели восстание? Но кто это, кто? Местные жители?»

Выстрелы продолжались. Внизу кричали. Слышались какие-то команды. Затем последовал взрыв, еще два, и все стихло.

Я медленно подошел к окну, но не успел высунуться, как снова раздался выстрел. Я вернулся в угол и стал прислушиваться. Перестрелка теперь доносилась издалека, откуда-то слева. Затем все смолкло. Стало быстро темнеть.

«Неужели неудача? — думал я, усаживаясь на койку.— Неужели попытка раздавить это гнусное гнездо не удалась? И кто бы мог все это затеять?»

9. ВОЙНА

Всю эту ночь я почти не спал, думая о том, что произошло. Вокруг царило глухое безмолвие, и только сердце стучало так сильно, что, казалось, его стук сотрясал стены комнаты. Света не было. Кругом царила беспросветная тьма. Может, бежать? Спрыгнуть с третьего этажа и бежать? Но куда? Не было никакой гарантии, что внизу меня не схватят или не пристрелят на месте.

Что толку в том, что я до конца раскрыл тайну института Грабера? Он все равно будет продолжать делать свое дело. Уже теперь он мог каким-то дьявольским катализатором замещать в живом организме углерод на кремний и создавать противоестественный живой мир. А что будет, когда он добьется, чтобы кремнийорганические свойства передавались по наследству от организма к организму?

Моя фантазия рисовала мне страшные картины. Селения в пустыне, окруженные безмолвной грязно-желтой растительностью. Вокруг огороды, похожие на кладбища, на которых произрастают жесткие и едкие овощи. Дальше — поле кремниевых злаков. Твердые колосья едва колышутся на хрупких стеблях. Луга жесткой бледно-оранжевой травы, на них пасутся грязные неуклюжие животные... А по улицам селений медленно бродят каменные мужчины и женщины, уродливые детишки нелепо ступают по глубокому песку... И над всем этим — палящее солнце...

Где-то в центре селения, на его площади, стоит цистерна с едкой жидкостью, которую пьют люди. В цистерне их жизнь и смерть. Раз в неделю сюда подъезжает грузовик и заполняет ее жгучей влагой. Горе непокорным! Те, кто не подчинился быстроногим и гибким владыкам, получат другую воду и превратятся в безмолвных каменных идолов. Как символ могущества Грабера, вокруг цистерны возвышаются статуи окаменевших людей.

Все это было каким-то бредом, и сознание того, что этот бред близок к реальности, приводило меня в нестерпимый ужас.

На мгновение я засыпал, и мне начинало казаться, что мои руки и ноги отяжелели, что я не могу ими пошевелить, что я превращаюсь в каменное существо, лишенное человеческих чувств. Тогда я вскакивал со своей постели и всматривался в кромешную тьму.

Это была страшная ночь. Я забылся только тогда, когда зарделся восток.

Однако спать пришлось недолго. Кто-то бесцеремонно тряхнул меня за плечо. Я открыл глаза и увидел перед собою Ганса, лаборанта доктора Шварца, но не в белом халате, как там, в лаборатории, а в офицерской форме. Он стоял посреди комнаты, широко расставив ноги. Фуражка была

надвинута на лоб, и из-под козырька злобно светились маленькие колючие глазки.

— Ну-ка, мосье, хватит дрыхнуть! — нагло произнес он.

Ни слова не говоря, я начал одеваться. Несколько минут мы молчали.

— Ну и денек же был вчера,— хихикнув, сказал Ганс.— Просто прелесть! А то в этой дыре можно было от тоски сойти с ума.

Чувствовалось, что ему не терпелось чем-то похвастать. Но я продолжал молчать, соображая, что будет дальше.

— Черномазые кретины хотели перехитрить доктора Грабера! Как бы не так!

«Кого это он имеет в виду?»

— Но мы им задали перцу. Хотели всех перестрелять, как кроликов. Но старик оказался умнее всех нас!

— Почему же вы их не перестреляли?

— Их почти в три раза больше, чем нас, и они тоже вооружены. Успеем,— добавил он.— А пока они пригодятся нам для опытов.

— Мало вы поставили здесь всяких гнусных опытов,— пробормотал я.— Что я должен сейчас делать?

— Старик приказал притащить тебя к нему!

«Наверное, сейчас все начнется,— решил я.— Но я так просто не сдамся!»

На этот раз лицо Грабера не казалось таким самодовольным, как раньше. Наоборот, оно выглядело озабоченным и встревоженным. Губы были плотно сжаты, брови нахмурены. Он деловито сел за стол и положил перед собой лист бумаги. Затем он обратился ко мне бесцветным голосом:

— Мюрдаль, у вас есть шанс встретиться со своими друзьями.

От неожиданности я вздрогнул.

— Вы снесете их командиру вот это.

Он протянул мне бумагу.

«Мы покидаем эту территорию,— читал я послание Грабера.— Мы навсегда покинем вашу страну. Для этого нам нужна помощь. Нужно погрузить на машины имущество и оборудование института. Потребуются десять носильщиков. Мы гарантируем свободу и безопасность всем вашим людям, если вы сложите оружие и поможете эвакуировать институт».

Я лихорадочно соображал, что заставило Грабера так внезапно переменить тактику. Что он задумал?

— Значит, вам здесь не нравится?— усмехнулся я.

— Не нравится.

Он подошел к окну и посмотрел наружу. Его лицо выражало неподдельную тревогу. Чувствовалось, что он чего-то ждал, чего-то смертельно боялся.

— Нам здесь не нравится. Да и вы сами догадываетесь, в чем дело. Сейчас приходится воевать не с десятью и не с двадцатью человеками, а со всей этой проклятой страной.

Мне вдруг все стало ясно. Так вот на что намекал Фернан, говоря о каких-то надвигающихся событиях!

— Значит, туземцы гонят вас в шею, герр доктор! Торопитесь, они очень умело орудуют своими ножами.

Грабер бросил на меня полный ненависти взгляд.

— Если речь идет о тех, кого мои ребята загнали в огород, то я с ними могу справиться в два счета!

Я едва сдержал улыбку. Бессильное хвастовство! Конечно, Грабер боялся не тех, кого он сумел загнать в каменный сад. Он панически боялся,

что вот-вот распахнутся другие ворота, те, что были в северной ограде, и сквозь них неудержимым потоком ринутся сотни, может быть, тысячи разъяренных людей, от ненависти которых уйти невозможно.

— Итак, идите. И торопитесь. Ни вы, ни я не заинтересованы в промедлении.

— Доктор Грабер, я, конечно, пойду. Но я не вполне уверен, что мои товарищи пожелают отпустить вас вот так, не воздав должное за ваши преступления.

Грабер весь съежился, его лицо исказилось от ярости и страха.

— Мюрдаль! Не испытывайте моего терпения. Вы ведь знаете, что я и те, кто здесь со мной остался, люди отчаянные.

Он снова тревожно посмотрел в окно.

— А почему вы не пошлете к моим товарищам своего человека?

— Потому что вы лучше сумеете убедить их принять мои условия. Вы лучше знаете, что их ждет, если они не согласятся. Вы об этом им расскажете. Вы очень убедительно об этом расскажете! Идите!

К воротам, ведущим на испытательный полигон, и дальше, к двери в оазис алых пальм, меня отвел Ганс.

Вокруг не было ни одного человека. Даже часовых нигде не было видно. У водокачки стояли три грузовика и цистерна для воды. И все.

— Передай им, что там две тысячи вольт,— Ганс кивнул на проволоку над стеной.— Выходить они будут через эту дверь. Здесь я приму оружие,— добавил он угрюмо.

В саду никого не оказалось, я и пошел наобум, обходя грядки с каменной растительностью. Солнце сияло в самом зените, почти не давая тени. Только под пальмами лежали небольшие темные круги теней.

Обходя одну из пальм, я вдруг почувствовал, как чьи-то крепкие руки обхватили меня за плечи и повалили на землю. Через мгновение я увидел над собой черное лицо со свирепыми глазами. Поваливший меня человек что-то негромко крикнул на непонятном языке. Через несколько секунд надо мной склонилось еще несколько чернокожих людей, и вдруг среди них появилось знакомое мне лицо!

— Мюрдаль! Пьер!

— Фернан!

Меня отпустили, и я встал на ноги, отряхивая песок.

— У вас это хорошо организовано,— сказал я смущенно, глядя на чернокожих людей.— Молодцы, ребята...

— Как вы сюда попали?

Вокруг меня стали собираться темнокожие люди в коротких брюках цвета хаки, в куртках, с карабинами в руках.

— Да не стойте вы во весь рост, как на параде!— закричал Фернан.— А то вас перестреляют, как кроликов.

Все мигом присели.

— Не перестреляют,— сказал я.— Грабер капитулирует.

— Что-о?— удивился Фернан.— Как это капитулирует?

— А вот так.

Я протянул послание. Он прочитал записку, нахмурился и затем еще раз прочитал ее вслух.

— Понятно. Так и должно было быть. Но мы их не выпустим!

Ничего не понимая, я уставился на Фернана. Значит, он знал, что Грабер должен капитулировать!

— Тебе обо всем расскажет мой помощник Али Мохаммед. А я сейчас вернусь.

Али Мохаммед, высокий, совсем черный парень, дружелюбно улы-

бнулся. Он сделал мне знак присесть, и когда я сел, гордо произнес:

— Теперь мы — свободное государство. Никаких американцев.— Никаких немцев. Мы сами по себе.

— Вы их прогнали?— улыбаясь, спросил я.

— Гоним. По всей стране гонят. Вот как здесь. Теперь тех, кто за стеной, нужно задержать.

— Зачем?— удивился я.

Али прижал руки к груди. Затем он заговорил быстро-быстро. Он рассказал страшную историю, как в пустыне, недалеко от селения, где он живет, был обнаружен каменный труп его отца.

— Он был твердый-твердый, как камень, а глаза блестели, как стеклянные,— закончил он свой рассказ.

Сжав кулаки, Али посмотрел в сторону лаборатории Грабера.

Вернулся Фернан.

— Прежде всего нужно убрать негодяя с пулеметом, который засел на кухне,— сказал он.

— Там Шварц.

— Неважно. Он простреливает весь сектор перед выходом из оазиса. Второй пулеметчик на водокачке.

Я выглянул из-за ствола пальмы. Небольшие оконца на самом верху водокачки были открыты.

— Друзья,— сказал Фернан,— нужно еще раз попытаться прорваться к кухне и убрать пулеметчика. Иначе мы не сможем штурмовать дверь в южной стене. У западной ограды пулемет на водокачке будет для нас не страшен.

Между грядок началось движение.

Когда до ограды оставалось не более ста метров, затрещал пулемет. Это стрелял Шварц из кухни.

— Держитесь левее. Ползите в сторону ворот,— командовал Фернан.— Али, обходи с товарищами кухню справа.

Теперь пулемет стучал беспрерывно. Казалось, Шварц не очень заботился о боеприпасах. По секундным перерывам в стрельбе можно было определить моменты, когда он менял «магазин».

Кухня немного возвышалась над садом, и, для того чтобы по ней стрелять, нужно было приподниматься над грядками. Если кто-нибудь делал такую попытку, на него сразу же обрушивался пулеметный огонь со стороны водокачки.

Через несколько минут раздался взрыв гранаты. У кухни завязался бой. Пулемет на мгновение умолк. Снова взорвалась граната, и я увидел, как Али и три араба вскочили на ноги и побежали вперед. Вначале они рванулись к двери, а потом к окну. Послышался звон бьющегося стекла.

— Вперед!— закричал Фернан. Отряд кинулся к кухне.

Навстречу выбежал Али и что-то крикнул.

— В чем дело?

— Там какой-то штатский,— перевел Фернан.

Я вскочил в помещение. Среди разбитых цветочных горшков, обхватив пулемет обеими руками, лежал доктор Шварц.

— Он любил расстреливать людей,— сказал я.

Мы собрались вокруг Фернана и стали совещаться, что делать дальше.

— Отсюда есть выход через подземную кабельную трубу,— подсказал я.

— Грабер только и ждет, чтобы мы сами влезли в мышеловку. Так не пойдет.

— Что же делать?

— Нужно подождать темноты и попытаться перелезть через ограду.

Али тяжело вздохнул.

— Выдержим ли? Люди хотят пить и есть.

— Нужно выдержать. Иного выхода нет.

— А если попытаться проникнуть на испытательный полигон?— спросил я.— Это легко сделать, взобравшись на пальму над оградой...

Внезапно один из арабов пронзительно закричал, указывая пальцем в сторону испытательного полигона.

Ворота были распахнуты, и из них медленно, один за другим, выходили каменные люди, солдаты Грабера.

Не торопясь, бесстрашно, они двигались на нас. Человек пять из нашего отряда стремглав побежали в глубь оазиса.

— Назад!— скомандовал Фернан.

Кто-то выстрелил по наступающим.

— Стрелять бессмысленно,— крикнул я.— Они неуязвимы!

— Не стрелять. Давайте посмотрим, что они собираются делать.

Как и тогда, когда я впервые увидел их, кремниевые люди были в светлых холщовых шароварах, с оголенной грудью. Сейчас у каждого в руке был кривой арабский нож. Они двигались на нас очень медленно, почти торжественно. Шагах в пятидесяти от оранжереи по какой-то бессвязной команде одного из них они стали разворачиваться полукругом, пытаясь захватить наш отряд в кольцо.

Их было человек пятнадцать против наших двадцати трех.

— Давайте отходить. Нужно рассредоточиться,— приказал Фернан.— Держитесь западной стены, чтобы вас не было видно с водокачки.

Наш отряд разбрелся во все стороны. Рабы Грабера на мгновение остановились. Затем их строй тоже расчленился, и теперь они уже не пытались окружать нас, а каждый солдат выбрал себе жертву и побрел за ней. За мной пошел огромный верзила с бледно-серым лицом. Шел он медленно и безразлично, и в его тупом стремлении во что бы то ни стало добраться до меня было что-то жуткое, неизбежное, как сама судьба. Хотя расстояние между мной и им не сокращалось и все время составляло не менее двадцати шагов, он все шел и шел, лениво помахивая ножом.

— Смотрите не только на своего преследователя, но и на других!— крикнул мне Фернан.— Вы можете случайно оказаться вблизи другого.

Они были очень медлительны, эти каменные солдаты, и удрать от них ничего не стоило. В конце концов люди из нашего отряда и их преследователи по парам разошлись на участке, скрытом от водокачки стеной. С ее вершины время от времени раздавались выстрелы.

Эта странная война походила на детскую игру, в которой нужно перебегать с одного места на другое так, чтобы тебя никто не тронул рукой. Перебежав, мы останавливались и наблюдали, как на поле перераспределялись пары...

Фернан командовал этой удивительной войной, зорко наблюдая за движением противника.

Вскоре солнце коснулось западной изгороди, и оазис стал погружаться в вечернюю мглу. Мы очень утомились, во рту пересохло. Было мучительно смотреть, как солдаты Грабера иногда наклонялись над трубами у грядок и жадно пили щелочную воду.

Перебежки нас изрядно измотали. А каменные люди казались совершенно неутомимыми и с дьявольским упорством продолжали бродить за нами по пятам.

— Может быть, попытаться все же перелезть через ограду?— спросил я Фернана, когда мы случайно оказались рядом.

Маневрируя между каменными солдатами, он подошел к той самой пальме, по которой я пробрался на полигон. Когда он почти дополз до уровня ограды, на вершине водокачки затрещал пулемет. Фернан успел спрыгнуть с дерева в тот момент, когда его преследователь был почти в пяти шагах от него.

Я заметил, что наши бойцы стали передвигаться медленнее и расстояние между ними и каменными солдатами начало сокращаться.

Трудно сказать, чем бы кончилась эта бесшумная и замедленная война, если бы ворота полигона не отворились и из них не показался каменный истукан, толкавший перед собой огромную тележку. Послышался нечленораздельный клич, и солдаты Грабера поодиночке стали возвращаться к западной стене. Становилось совсем темно. Кремниевые люди собрались у тележки и принялись за еду. Иногда то один, то другой наклонялся к крану в песке и запивал пищу водой.

— У нас есть время отдохнуть и подумать, что делать дальше,— сказал Фернан, когда мы собрались все вместе.

— Без пищи и без воды мы долго не протянем.

— Может быть, когда наступит темнота, следует попытаться выбраться из этой мышеловки через ограду. Легче всего это сделать через восточную стену.

— А ток высокого напряжения в проводах?— возразил я.

— Нужно перерезать провода...

— Они здесь в четыре ряда. Кроме того, ограда двойная.

— Все же, пока они едят, нужно попытаться.

Фернан посоветовался с Али. Тот крикнул, и четверо наших товарищей подошли к восточной стене.

Фернан предложил выломать ствол небольшого дерева и с его помощью перебить провода.

Деревце было твердым, как камень, и с ним пришлось долго повозиться, прежде чем его удалось вытащить из песка. С него сбили ветки, и каменную дубинку вручили Али. Двое прислонились к стене, на их плечи влез третий, и уже ему на плечи взобрался Али. Он размахнулся и изо всех сил ударил по проволоке. Вырвался сноп голубых искр. С пронзительным криком живая пирамида распалась.

— Безнадежное дело,— сказал Фернан.

Действительно, мы едва различали друг друга.

— Интересно, видят ли эти идолы ночью?

— А мы это скоро узнаем. Может быть, они в темноте видят, как кошки.

— Нам ничего не остается, как ждать рассвета.

— Если только нас всех не перережут.

Мы прислушивались к каждому шороху, напряженно вглядываясь в темноту. Проходили минуты, часы... Никаких признаков жизни.

— Я хочу с тобой поговорить,— обратился я к Фернану.

Мы отошли в сторону и уселись на песчаной грядке.

— Я имею полное представление о дьявольской кухне доктора Грабера. Тут все дело в воде...

— Не понимаю, Мюрдаль.

— Мне нужно пробраться на водокачку. Если то, что я думаю, справедливо, то можно в два счета покончить с Грабером и с его армией.

Я торопливо рассказал Фернану все, что мне было известно о роли воды в исследованиях немцев.

Помолчав немного, Фернан крепко сжал мою руку.

— Ты прав. Пора действовать решительно. Люди устали. Они голодны

и умирают от жажды. Боюсь, они не протянут и дня...

Фернан отдал приказание Али оставаться у восточной ограды, и мы двинулись через оазис к тому месту, где над территорией полигона возвышалась пальма. Когда мы ее разыскали, Фернан дал мне свой пистолет. Он пожал мне руку и сказал:

— Что бы с тобой ни случилось, не забывай, что здесь остались твои товарищи.

Я попрощался и стал карабкаться по дереву.

10. ДВЕ ВОДЫ

Ночь. Только редкие звезды сверкают в бездонном небе.

Я прополз по ветке над проволочным заграждением, и внизу засерела полоса песка. Ничего не было видно, кроме контуров малого ангара, в окнах которого вспыхивали кроваво-красные пятна. Красные блики беспокойно трепетали на песке. В воздухе чувствовался едкий запах гари.

Я спрыгнул вниз и, убедившись, что вокруг никого нет, стал осторожно обходить ангар, направляясь к воротам, которые вели к институту.

На мгновение я остановился у окна в малый ангар и заглянул внутрь. Там, перед огромным чаном с пылающей смолой, сидели люди. Они теснились вокруг огня, как теснятся вокруг костра в холодную ночь, и грелись. Они поворачивались к огню то одним, то другим боком, потирая тело руками. Изредка из помещения доносились глухие возгласы...

Ворота были заперты. Тогда, ухватившись за металлические перекладины, я стал карабкаться вверх.

Кругом все, казалось, вымерло. Может быть, Грабер бежал? А как же каменные солдаты? Неужели Грабер так просто решил с ними расстаться?

Вскоре я заметил, что сквозь штору одного из окон на втором этаже пробивалась узкая полоска света. Значит, там кто-то есть.

Водокачка соединялась с главным зданием длинной галереей. Я подошел вплотную к круглому бетонному сооружению и обнаружил, что дотянуться до окон невозможно. Рядом стоял грузовик с цистерной. В ней привозили воду, которую затем перекачивали наверх. Как ее перекачивали? Я стал шарить вокруг цистерны.

По-видимому, она должна иметь слив в нижнем днище. Когда я забрался под грузовик, то чуть не полетел в яму: прямо под кузовом машины в бетонной площадке находился сливной люк.

У меня не было ни спичек, ни фонаря, и поэтому пришлось действовать ощупью. Держась рукой за ось автомобиля, я осторожно спустился в люк, и вскоре мои ноги коснулись дна.

Бетонированный сток круто уходил вниз. Я буквально съехал по скользкой поверхности и уперся ногами во что-то металлическое. Здесь я смог выпрямиться во весь рост. Без сомнения, я попал во внутреннее помещение.

Я хватался за какие-то предметы, переступал через трубы, чуть не свалился в какую-то яму и наконец примостился на небольшой площадке. Нужно было ждать рассвета; в темноте я ничего не мог сделать.

Усевшись поудобнее, я приготовился ждать. Но вдруг наверху на мгновенье приоткрылась дверь, и в вырвавшемся потоке я увидел, что сижу на ступеньке спиральной лестницы над краем железного чана. Дверь

снова закрылась, но я уже знал, что делать. Держась за трубу, я стал медленно подниматься по лестнице. Через минуту я уже стоял у двери, сжимая в руке пистолет.

Несколько секунд я прислушивался, затем сильным толчком отворил дверь и ворвался в просторный, ярко освещенный зал. Я увидел женщину, которая в это мгновение поворачивала на громадном баке никелированную ручку. Она обернулась и хрипло вскрикнула. Это была фрау Айнциг.

— Извините, мадам, за беспокойство,— процедил я сквозь зубы.— Советую вам вести себя благоразумно.

Она таращила на меня обезумевшие от ужаса глаза. Я заметил, что ее рука медленно шарила по стене.

— Отойдите от стены и не пытайтесь звать на помощь. Вы знаете, что пострадаем мы в одинаковой мере...

— Как вы сюда попали?— спросила она, едва шевеля губами.

— Это не так уж и важно, мадам. Меня больше интересует, что вы здесь делаете?

— Я... я...

— Прошу вас, садитесь,— приказал я, указав дулом пистолета на небольшую металлическую табуретку.

Она покорно села, не сводя с меня бесцветных вытаращенных глаз.

— Вы мне расскажете все по порядку или я должен задавать наводящие вопросы, мадам?

— Что вам нужно?

— Откуда в водопровод, снабжающий ваш отряд водой, поступает щелочь?

Она бросила короткий взгляд вправо. Я увидел вделанный в стену металлический бак, на котором большими красными буквами было написано «КОН».

— Ага, едкий калий? И много нужно добавлять его в воду, чтобы ваши жертвы не окаменели?

— Пэ-аш должно быть четыре и пять десятых,— хрипло ответила она.

— Ну, а что будет, если мы выключим щелочь?

Она ничего не сказала, а только злобно зашипела.

— Вот это мы сейчас и сделаем,— сказал я.— Ну-ка, закройте кран!

Айнциг боком пошла к баку со щелочью и стала медленно заворачивать кран.

— Сильнее, сильнее! Нужно, чтобы в воду не попало ни капли щелочи!— приказал я.

Она завернула кран изо всех сил.

— Все?

— Нет, не все,— сказал я, пристально вглядываясь в ее посеревшее лицо.

— Что еще?

— А где сосуд с катализатором, который вы добавляете в питьевую воду, чтобы в организме происходило замещение углерода на кремний?

Она молчала.

— Фрау Айнциг. У вас есть единственный шанс несколько смягчить свою судьбу. Вы понимаете, сейчас вам ни «Уестерн биокемикал», ни «Хемише Централь» не помогут. Судить вас будут новые, местные власти. Где катализатор и как он вводится в питьевую воду?

Ее лицо от злости и страха стало синим. Она медленно пятилась вдоль стены, не сводя глаз с пистолета. Мы обошли все круглое помещение и остановились у продолговатой полки, закрытой металлическим щитом.

— Это здесь? Открывайте.

— У меня нет ключа.

— Мадам, не заставляйте меня прибегать к силе. Я не люблю грубо обращаться с женщинами, даже с такими, как вы.

— Дегенерат,— прошептала она.

— Для вас тоже есть название.

Айнциг вытащила из нагрудного кармана халата ключ и открыла полку. Здесь в один ряд выстроились двенадцать небольших бачков из темно-желтого стекла, от которых тонкие стеклянные трубки отходили к водопроводным кранам.

— Ого. Целых двенадцать! Зачем так много? Ага, понимаю. В зависимости от того, над кем вы собирались произвести свой дьявольский эксперимент, тот бачок и наполнялся катализатором. При помощи воды вы распространили свою власть на всех сотрудников института?

— Вы очень сообразительны, Мюрдаль,— процедила она, оправившись от первого приступа страха.— Что я теперь должна делать?

— Теперь расскажите, кому какой бачок предназначен.

— Этого я не знаю.

— Жаль. Впрочем, нетрудно догадаться. Все они наполнены раствором, кроме одного. Кому же это повезло, кого вы пощадили?

— Я не знаю. Я не наполняла.

— Вот как! А я думал, что эта ваша обязанность. Итак, куда идет труба от пустого бачка?

— Говорю вам, не знаю.

— Ну, так я знаю, мадам Айнциг. Она идет в апартаменты доктора Грабера и, по-видимому, в ваши.

Айнциг оскалила зубы и хотела изобразить что-то вроде улыбки.

— Вы ошибаетесь, мистер Мюрдаль...

— Посмотрим. Отсоедините крайний бачок и перелейте жидкость в пустой.

Ее лицо снова исказил ужас.

— Я этого не сделаю,— прошипела она.

— Значит, я угадал. Выполняйте то, что я вам приказал.

— Нет!— взвизгнула она.

— Тогда я это сделаю сам.

— Я не позволю! Я... я...

Она сорвалась с места, молнией пересекла зал и скрылась за дверью.

— Стойте, стойте!— кричал я.

Но было поздно. Я услышал, как она споткнулась и пронзительно вскрикнула, сорвавшись с огромной высоты.

Стрелять не было необходимости. Снизу донесся глухой удар, и воцарилась мертвая тишина. Я понял, что с фрау Айнциг покончено.

Я вернулся к полке с темно-желтыми сосудами, отсоединил один от крана и перелил содержимое в пустой бачок. Рукояткой пистолета я разбил остальные сосуды, и жидкость с ядовитым эликсиром вылилась на пол.

Теперь оставалось только ждать.

11. «ГЛИНЯНЫЙ БОГ»

Когда наступило утро, я обнаружил, что водокачка была прекрасным наблюдательным пунктом. Через три окна хорошо просматривалась окрестность. Были видны бараки, в которых находились лаборатории, как на ладони лежал испытательный полигон, и слева от него раскинулся

оазис алых пальм. Мне не нужно было возвращаться в оазис, потому что я знал, что очень скоро армия Грабера окаменеет окончательно. Оставалось только ждать.

Пока что только я один знал, что армия Грабера обречена. Странно, я не чувствовал угрызений совести. Они уже давно погибли. Они стали бездумными, несчастными автоматами, обреченными влачить бремя противоестественного существования. Они были духовно и физически убиты Грабером, и только их окаменевшая оболочка напоминала о былом человеческом достоинстве.

Солнце поднялось над пальмами, и кремниевая пехота снова вышла на поле боя. Отряд Фернана рассыпался среди грядок. Каменные истуканы возобновили неутомимое преследование.

Сверху было хорошо видно, как то один, то другой каменный человек наклонялся и пил воду. По мере того как солнце поднималось выше, они все чаще и чаще обращались к воде.

В конце второго часа «шахматной» войны я увидел, как один солдат Грабера вдруг остановился. Он застыл в необычной позе, подняв одну ногу и руку. Араб, которого он преследовал, что-то крикнул. В это мгновение застыл еще один, затем еще и еще. Все это произошло молниеносно. Пространство, где только что шла сложная комбинационная война на измор, стало походить на кладбище с каменными статуями или на музейный двор, куда свезли и поставили скульптуры эпохи палеолита.

Вначале нерешительно, а затем все смелее к окаменевшим людям стали подходить мои товарищи.

Я сбежал вниз по спиральной лестнице.

Фернан быстро отдавал распоряжения своим бойцам. Одни должны были залечь вдоль асфальтовой дороги, ведущей к выходу, другие осмотреть бараки. Несколько человек остановились у входа в трехэтажное здание, где находился штаб Грабера.

— Такое впечатление, будто внутри никого нет,— сказал Али.

Я посмотрел на грузовики, стоявшие справа. Теперь их было не три, а два.

— Наверное, кое-кто уехал. Нужно быстрее кончать. Неужели Граберу удалось бежать?

Фернан подошел к двери и изо всех сил толкнул ее ногой. Она чуть-чуть приоткрылась и затем снова захлопнулась, как будто с противоположной стороны на нее навалили мешки с песком.

— Ну-ка, помогите мне.

Мы все нажали на дверь, и она с трудом подалась. В темной узкой прихожей мы увидели двух мертвых солдат, в нелепой позе валявшихся на полу. У одного из них рот был забит песком. У второго песок был зажат в руке.

— Что это?— удивленно воскликнул Фернан.— Кто втолкнул им в глотку песок?

Справа, на уровне первой ступеньки лестницы, ведущей в подвал, к стене была прикреплена раковина и кран.

Я указал на кран.

— Все дело в этом. В воде.

И я рассказал обо всем, что случилось на водокачке.

— Может быть, и Грабер в таком же состоянии?

В это время со второго этажа в сопровождении нескольких людей сбежал Али. Лицо его выражало ужас.

— Что с Грабером?— спросил я.

Он хрипло пробормотал:

— То же, что и с его телохранителями. Вот, смотрите.

Он протянул мне руку, но не свою, а ту, которую он держал как палку...

Глина. Обыкновенная глина. Это была рука, сделанная из глины, она ломалась и крошилась...

— Кусок глиняного бога,— с презрением произнес Фернан и, выпрямившись, пошел к товарищам.

Я с отвращением отбросил кусок глины в сторону...

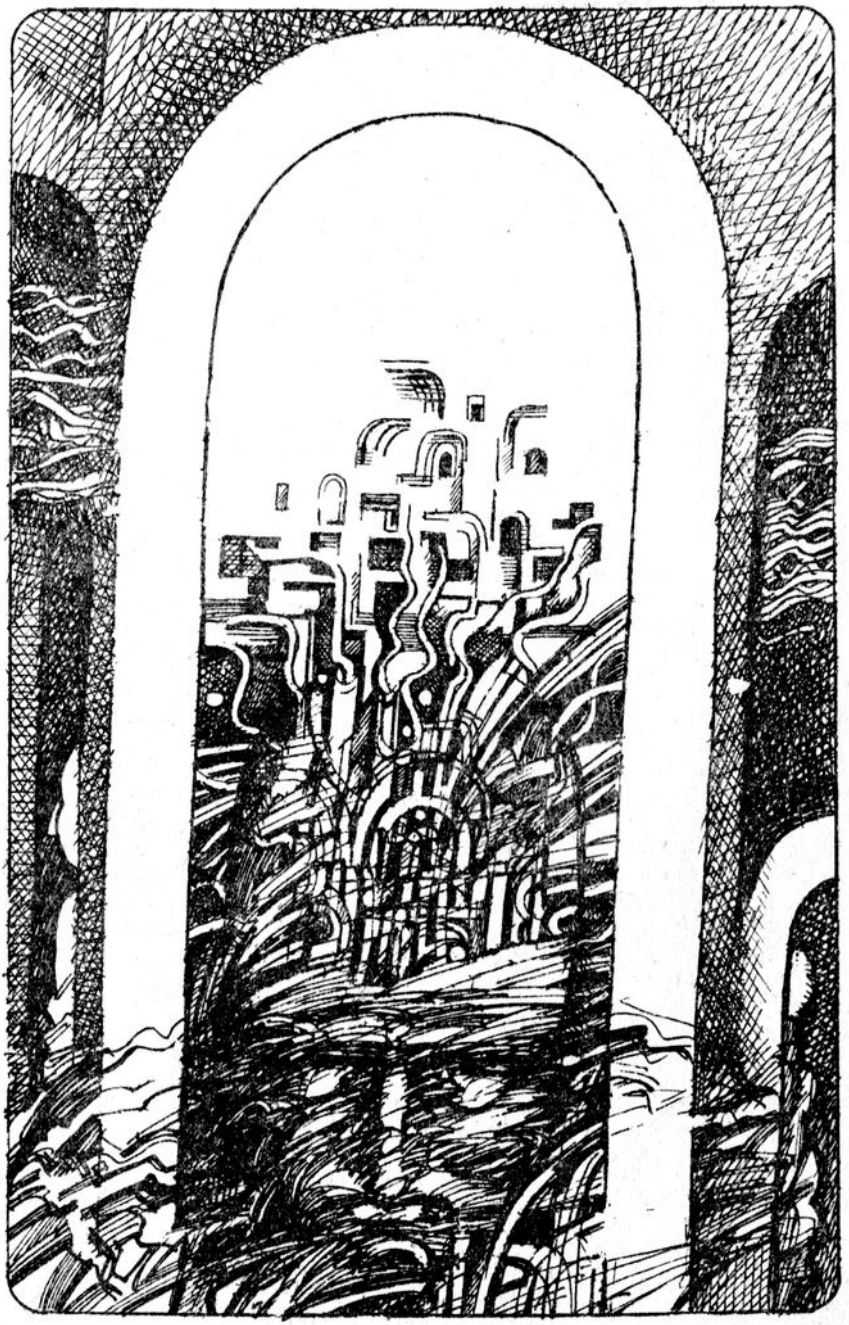
Пустыня... Неужели кошмар кончился? По черной асфальтовой полосе шел наш отряд. Двадцать миль — это не так уж много. Вдруг воздух задрожал от гула приближающихся самолетов. Вот они пролетели над нами, один, второй, третий. Металлические птицы без опознавательных знаков. Они шли совсем низко и, не долетая до института Грабера, ложились на правое крыло и разворачивались. Через минуту послышались взрывы. Их было много, на горизонте поднималось бурое облако. Самолеты кружили над местом, которое мы покинули час тому назад. Они с тупым упорством сбрасывали бомбы, заметая следы преступления.

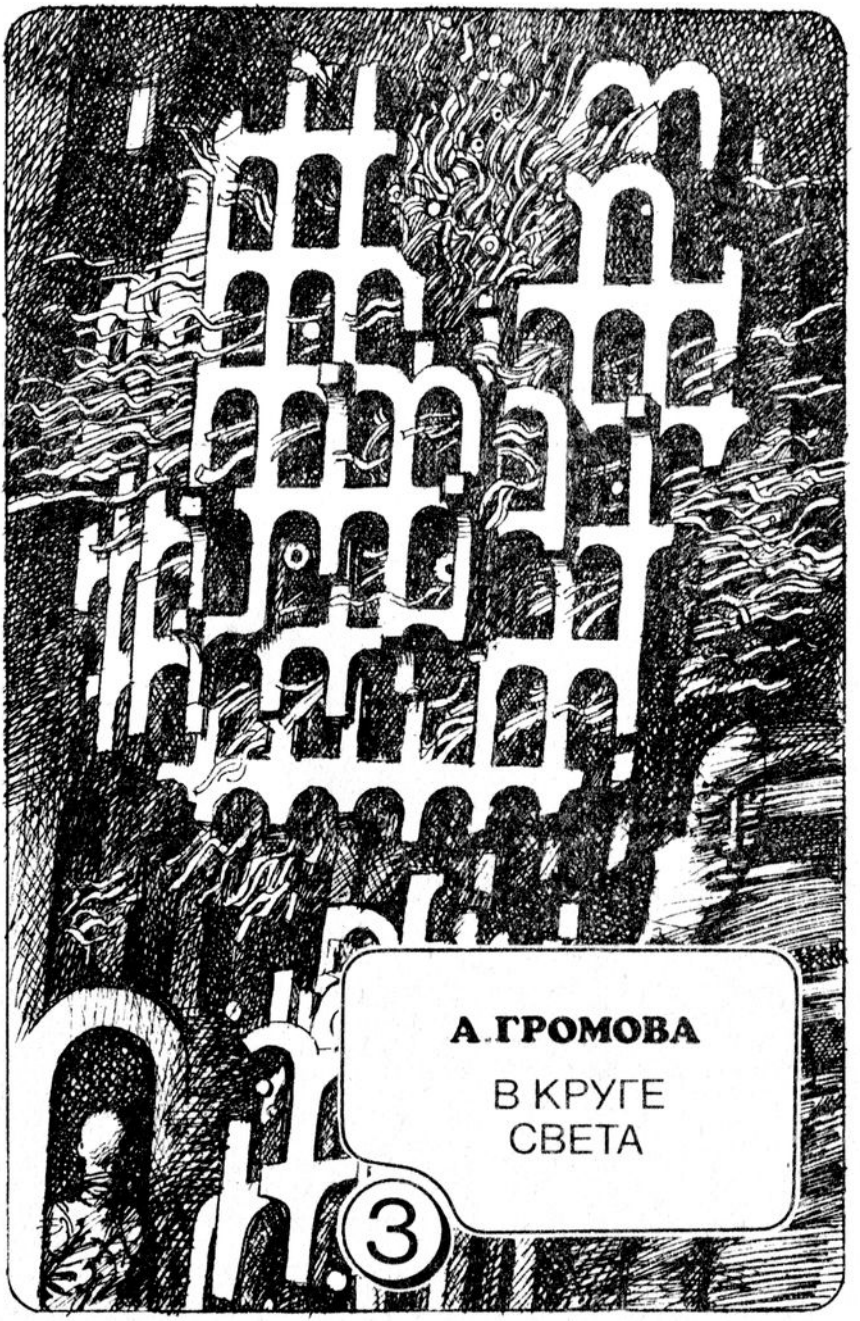
Взрывы. Много глухих взрывов в пустыне. Услышит ли о них мир? Узнает ли он, как извращенная наука издевается над людьми? Неужели люди разрешат граберам существовать на нашей планете?

— Между прочим, Фернан, куда вы и ваши товарищи направитесь сейчас?— спросил я.

Он улыбнулся.

— Домой. У нас так много дел дома! Кто знает, что нам еще предстоит.




А. ГРОМОВА
В КРУГЕ СВЕТА
3

Все началось неожиданно... Впрочем, я ведь знал и все знали, что так это и будет — неожиданно. Наступит какое-то последнее утро... или день, или вечер, все равно, а потом.. потом — это можно было тысячу раз представлять себе по-разному. Но своего, этого варианта я не предвидел. Мне он и сейчас кажется самым невероятным из всего, что могло случиться. Со мной или с кем угодно другим, неважно. Иногда мне кажется, что я схожу с ума... Да это, наверное, так и есть! Но тогда... что же будет тогда с ними? Они ведь теперь целиком зависят от меня, от моего сознания, от моей воли, от моей любви...

По-видимому, я должен торжествовать — моя теория, моя вера победили. Но какая странная, горькая победа! Зачем теперь все это? Кому я расскажу? Им? Но им-то как раз и нельзя ничего рассказывать. Если б я мог, я бы скрыл от них вообще все. Но этого не скроешь.

Я даже не могу представить себе, что сейчас творится в Париже. Радио умолкло сразу. Кругом все мертво. По ночам на востоке над холмами встает тусклое багровое зарево. Что это? Отсвет пожаров, свечение радиации или просто продолжают пылать пережившие людей знаменитые огни ночного Парижа?

Недавно мы с Робером видели фильм... Странный, очень грустный фильм. Я долго не мог отделаться от глубокой печали, которую навеяли кадры этого фильма... Впрочем, там были не кадры в обычном смысле слова, а чередование статических фотоснимков — будто подлинные документы. Третья мировая война там изображалась так. На Париж (он снят с птичьего полета) ложится тень. Потом тень исчезает — и половина Парижа лежит в развалинах. Трижды падает эта трагическая тень на Париж. Под конец — города нет. Торчат обломки Триумфальной арки, оплавленные, изуродованные конструкции Эйфелевой башни; тени домов, тени улиц. «Немногие уцелевшие укрылись в подвалах дворца Шайо»,— говорит печальный голос диктора.

Что ж, может, так оно и есть на деле и где-то укрываются уцелевшие. А может, это пустая надежда... Мы с Робером за последнее время почему-то смотрели много фильмов о грядущей войне. Были очень страшные. Но на меня сильно подействовал этот, американский, не помню, как он назывался. Где от всей Америки уцелел экипаж одной подводной лодки, а от всего человечества — население Австралии. И то на время, все они обречены, незримая волна радиации неотвратимо движется на них. Да... интересно, жив сейчас режиссер, что делал этот фильм? Вряд ли... на таких фильмах капитала не сколотишь, так что атомного убежища у него нет...

Там, в этом фильме, американские моряки долго не могут поверить, что все, вот так сразу, кончено, что нет их семей, нет Америки. Они слышат таинственные беспорядочные радиосигналы откуда-то из Сан-Диего и все надеются: может, кто-то все же остался в живых и вот подает сигналы. Потом оказывается, что по ключу рации стучала бутылочка из-под кока-колы: она зацепилась за кольцо шторы, колеблемой ветром.

У меня тоже была своя бутылочка... Впрочем, кто знает, что это было,— может, и вправду живая душа. Вон в том доме на склоне холма по вечерам загорался свет. В одном только окне. Раньше — всего неделю назад! — там жила большая семья. Я часто видел детей, носившихся по берегу Сены вперегонки с великолепным серым догом; видел юношу, ездившего на мотоцикле; иногда вывозили на кресле старика. Воспоминание об этом старике меня ужасает: а что, если он остался в живых и зажигал свет в своей комнате, чтобы дать о себе знать? Уже два вечера света нет...

Нас семеро тут, в вилле у подножия холма. И это все, что осталось от человечества? Возможно... Вот она, третья мировая война! Год от рождества христова 19..., июль, солнечный французский июль... До самой последней минуты все верили, что как-то обойдется. Ведь и раньше бывали такие ситуации, что казалось, еще секунда — и все полетит к чертям. Вот и полетело в конце концов. Интересно, кто первым нажал ту знаменитую кнопку? Хотя какая разница теперь...

Снова и снова я думаю: а если еще кто-нибудь уцелел? Не таким странным образом, как мы, а более естественно? Ну, в противоатомных убежищах, например, или на подводных лодках, как в том фильме... Или в горах, где-нибудь в Тибете. Хотя кто знает, где и как это началось... Ну, все равно — не может быть, чтобы всюду так уж одновременно... Где-нибудь подальше от главных очагов пожара, возможно, успели принять меры. Тогда... Впрочем, что тогда? Медленное угасание? Нет, если спаслось много людей и среди них ученые, кто знает, может, у человечества и есть надежда на спасение, на медленный, трудный путь — куда? Неужели опять в прошлое, по замкнутому кругу? Неужели?..

Странно, что я многого не могу вспомнить уже сейчас, через неделю. Помню мирное, очень ясное и теплое утро. Я собирался ехать в Париж, к Роберу Мерсеро, мы с ним договорились... О чем? Ах да, его опыты с электродами. Он обещал продемонстрировать мне, как это делается. Да, Робер... Я его почему-то теперь боюсь. Впрочем, сейчас я всего боюсь, и самого себя в особенности... Итак, я собирался поехать в Париж... Я помню даже, что вывел машину из гаража... Вот сейчас мне почему-то кажется, что я был в Париже, в кабинете Робера... Нет, это, конечно, чушь, я не мог там быть. Да, это он ко мне приехал, а не я к нему. Он был уже на полпути к нашей вилле, его машина подпрыгнула на шоссе от страшного подземного толчка, он обернулся, увидел вдалеке над холмами сияние яркой вспышки и погнал машину изо всех сил... А мы... да, мы тоже все увидели и поняли. Мы ждали неминуемой гибели, но все же наглухо закрыли окна и двери и сели внизу, в большом сумрачном холле. А потом появился Робер. И вместе с ним — отец и Валери.

Вот это самое странное! Почему они именно в эту минуту решили отправиться ко мне? Отца я не видел три года, а Валери... если не считать случайных встреч на улицах и в театрах, мы с ней не виделись уже девятнадцать лет. Почему она... Ну, я понимаю, Шарль умер, а она ведь тоже всегда боялась одиночества... Поэтому так все и вышло тогда, во время войны...

Нет, все это не поддается логическому объяснению. Робер смеётся

надо мной, он говорит, что моя теория вообще построена не на логике, а на вере. Пусть так, но я не во все могу поверить. Почему именно в этот день отец решил навестить меня? Он говорит — старость, одиночество. Да, конечно. Одиночество! Они словно сговорились с Валери! Впрочем, оба они хорошо знают, как я всегда боялся одиночества, и понимают, что это объяснение я приму охотней, чем всякое другое. Но ведь Женевьева умерла три года назад — почему же он только сейчас решил приехать? Тогда, на похоронах Женевьевы, я уговаривал его переехать к нам — он наотрез отказался.

Ну, допустим, он все же передумал. Как-никак ему семьдесят три года, хоть он и выглядит намного моложе. Но Валери! Пускай тысячу раз одиночество — но искать спасения от одиночества в доме своего бывшего мужа, в его семье? И я должен в это верить? Впрочем, Робер прав: она действовала не рассуждая. Как только первый приступ горя миновал, она почувствовала себя бесконечно одинокой и кинулась ко мне, потому что больше некуда. И потом Констанс — она ведь такая спокойная, мягкая, рассудительная, Валери это знает... Вообще прошло девятнадцать лет, все изменилось и вне и внутри нас... А все же... если это моя любовь удерживает их всех в жизни, то, может быть, моя любовь и собрала их всех здесь в минуту опасности? Это, правда, уж совсем похоже на мистику, но они появились именно в этот момент, все трое... И Робер... А ведь я должен был ехать к нему в Париж... Странно, теперь я уже не могу понять, как мы с ним уговорились, все путается... да, да, лучше не думать об этом, ведь это в конце концов несущественно.

Итак, на исходе первая неделя третьей мировой войны. Мы — возможно, последние остатки человечества — сидим в наглухо замкнутой вилле среди отравленной пустыни. Чего мы ждем, на что надеемся? Конечно, на то, что погибла не вся Земля, что где-то есть люди. Будем держаться до последнего... До последнего — чего? Что нас держит?

Не могу понять, откуда у меня эта глубокая, подсознательная уверенность, что надо выдержать, что все держится на мне, все зависит от меня. Я не могу объяснить, что это. Просто свойство человека — надеяться вопреки всему? И Робер... Он верит тоже. Почему? Иногда мне кажется: он знает что-то неизвестное мне. Но что? Что можно знать теперь о мире? А вдруг он поймал сигналы? Но как же он может молчать об этом?

Ну, вот, контакт налажен... отчетливость поразительная, я бы не поверил заранее... хотя что удивительного после такой подготовки... Но сколько сможем выдержать мы оба?... Теперь попробуем включить ток... Это даст передышку... если только... Ну, тут уж приходится действовать наудачу... Будем искать...

Боже, почему я вдруг вспомнил эту встречу с отцом? Я ее даже и не помнил в общем. А теперь вижу все так ясно, будто мне снова шесть лет и мы сидим с отцом на скамейке в парке Монсо. Вот странно, я впервые вижу, что отец сидит, неловко вытянув правую ногу, и опирается на тросточку,— а ведь верно, он после войны не сразу вернулся домой, долго лежал в лазарете. С ногой было неладно и с легкими, кровохарканье не унималось. Я все это знал со слов матери. А сейчас вижу.

Яркое весеннее солнце, удивительно яркое, даже глаза слепит, но от него весело. Деревья и кусты в легкой желтоватой дымке. Над нашей скамейкой — старый каштан; я оборачиваюсь и вижу, что почки уже лопнули, от них остались клейкие коричневые чешуйки, а листья, очень яркие, глянцевитые, еще не развернулись и похожи на маленькие смор-

щенные лапки. Я все время верчусь и болтаю ногами. Башмаки у меня стоптанные, на правом — аккуратная маленькая заплатка, закрашенная чернилами. Это мама красила вчера вечером. Отец тоже смотрит на мои башмаки и не то вздыхает, не то кашляет. Лицо у него землистое, усталое. Странно, я даже не помнил, что он носил усы. Ах да, на свадебной фотографии, но там — маленькие, аккуратные, а эти — большие, некрасивые и вниз свисают. Но я сейчас же перевожу взгляд на аллею. Там движется что-то непонятное: половина человека. Это страшно. Я, наверное, не хотел этого помнить, а сейчас я чувствую, как мне было жутко тогда. Бледное, измученное лицо запрокинуто, глаза жмурятся от ярких лучей, рот растянут в гримасе усталости, и кажется, что он беззвучно хохочет.

— Папа, почему он смеется? — с трудом выговариваю я.

— Он не смеется, что ты...— Отец тяжело встает со скамьи, опираясь на палку, и подходит к калеке.— Закуривай,— говорит он и протягивает пачку сигарет.— Где это тебя?

— На Сомме, летом шестнадцатого года. Высота восемьдесят, не слыхал? — хрипло отвечает тот.— Снаряд. Я один в живых остался из всего взвода, а уж лучше бы...

Мне страшно, что отец с ним разговаривает. Я осторожно сзади подбираюсь к отцу и тяну его за рукав.

— Идем! — шепчу я.

— Твой? — равнодушно спрашивает человек.— А меня, конечно, жена вытурила: на что я ей такой! С другим снюхалась, пока я по лазаретам валялся. Тебя, ясное дело, не выгонят: ноги при тебе, а что хромаешь чуть...— Он затягивается глубже и болезненно морщится.— Везет людям! Мне вот никогда не везло!

— Мы с женой тоже разошлись,— тихо говорит отец.

Я этого разговора не помнил, могу поклясться. Надо будет спросить отца. И того, что мне говорил отец немного позже, в маленьком полутемном кафе на площади Терн, где он угощал меня кофе с ванильной булочкой, я тоже не помнил. Наверно, я был занят лакомой едой — я и сейчас чувствую, какой вкусной мне казалась эта разнесчастная булочка, да оно и не удивительно, жили мы тогда почти впроголодь.

Отец сидит, слегка откинувшись на спинку стула и вытянув ноги. Он говорит тихо, почти бормочет — не мудрено, что я его не слушал тогда.

— Клод, мой мальчик, война — это такая штука... Тебе этого не объяснишь. Но она человека всего переворачивает. Она тебя убивает. А если ты все-таки остался в живых, приходится вроде как заново на свет рождаться. И все по-другому. А твоя мама, она этого не понимает. В тылу никто этого не понимает. Но твоя мама, она хорошая женщина, ничего не скажешь, ты ее слушайся, ладно?

Я киваю головой, продолжая уплетать булку. Отец вздыхает и морщится.

— С деньгами вот плохо,— говорит он доверительно, как взрослому.— Работать я пока не могу, сам видишь...

Да, понятно, почему его не принимали ни в один магазин, хоть он был хорошим продавцом. Он хромой, лицо у него истощенное, серое. Мать мне говорила, что он хватался за любую работу, но отовсюду его выгоняли, как только появлялся здоровый и сильный конкурент. Мать была уверена, что, если б не это его увечье, все сложилось бы иначе и мы жили бы по-прежнему вместе.

— Они все вернулись из окопов какие-то чудные,— говорила она,— но у других это прошло понемногу, а ему, видишь, с работой не повезло, вот он и озлился. А тут еще эта гадина появилась, купила его задешево...

Подумаешь, счастье какое — бистро в Бельвилле! Грязная дыра на вонючей улице...

Эти разговоры я хорошо помню, они часто повторялись.

— Мы с тобой будем часто видеться, да, сынок? — бормочет отец и, протянув руку через стол, треплет меня по голове — рука у него большая и горячая.— И ты на меня никогда не сердись, ладно? Я ведь не виноват, что война была. И никто не виноват. Только — или бы уж всем воевать, чтобы все друг друга понимали, или никому. Никому-то — оно, конечно, лучше...

Он долго молчит. Я смотрю на его длинные смуглые пальцы, отбивающие военный марш на грязном столике, потом перевожу взгляд на темный, в полоску пиджак, на галстук бабочкой. Хозяин кафе оглушительно зевает, я с интересом присматриваюсь к нему: какой он толстый, и вот уж усы так усы! В кафе душно, пахнет ванилью и жженным кофе, с улицы ложится широкий сноп света, надвое разрезая узкий темный зал. Ослепительно сверкают в луче бутылки на стойке. На одной из них — яркая этикетка, изображен негр.

— ...А нам с ней все равно не жить вместе,— бубнит отец.— Ты уж не сердись, малыш. Это все война. А Сесиль не понимает... Только это чистая правда, и ничего уж тут не поделаешь... Если б не эта проклятая война... Может, это и потому, что мы с ней четыре года не виделись...

Вот как это было, значит. Кто знал, что через четверть века я буду опять слышать эти слова: «Война... ничего уже не поделаешь... почти шесть лет, Клод! Если б не эта война... Я думала, что ты не вернешься. Мне ведь сказали, что ты убит... Я ждала... а потом...» Она ждала год. «Всего год»,— думаю я. «Целый год одиночества!» — говорит она.

Да, уж этот-то разговор я помню и никогда не забывал. Помню голос Валери, ее лицо — я все время глядел ей в лицо, стараясь понять, что произошло. Очень хорошо помню, как надсадно жужжала большая муха, колотясь о стекло. Помню запах табака в комнате, в нашей комнате. «Ты куришь?» — удивился я. «Нет, нет!» — поспешно ответила Валери. И запнулась. Я увидел белую мужскую сорочку на спинке стула и опять ничего не понял. Я даже обрадовался: мне показалось, что Валери ждала меня и начала готовить одежду. Я шагнул к стулу, взял сорочку, она почему-то была очень большая. И тогда Валери сказала за моей спиной совсем чужим, сдавленным голосом: «Я... прости меня, Клод... я замужем...» Я круто повернулся, словно меня поленом хватили, и уставился на нее.

Можно тысячу раз все себе представить заранее, и не поверить, и надеяться на лучшее. Мы в лагере узнавали многое — большей частью случайно. У одного всю семью отправили в лагерь, у другого умерла мать, третьего жена бросила. Все это дела обычные, в лагере то и дело слышишь такие истории. Но все равно думаешь — нет, со мной этого не будет! Не то что думаешь, а веришь, и все тут. Иначе не выжить. И потом — разные бывают браки. Но мы-то с Валери были созданы друг для друга. Поэтому Валери и оказалась тут, в круге света, через столько лет. Мы просто не переставали любить друг друга никогда. Мы могли годами не видеть друг друга, но если с Валери случалось несчастье, я об этом узнавал. Когда она упала и сломала руку, я увидел это, увидел крутую улочку на Монмартре, увидел, как Валери падает, и ощутил толчок падения и на миг — резкую боль в левой руке. И так было всегда.

А Констанс... Впрочем, что ж! Значит, мне так суждено — любить всю жизнь двух этих женщин, любить по-разному, но одинаково сильно. И теперь обеих одинаково удерживать в жизни своей волей и любовью...

И если я не удержу... Нет, я не вынесу этой ответственности, я всего лишь человек, я не могу, чтобы жизнь других людей зависела от того, достаточно ли сильно я люблю... от того, достаточно ли я уверен в своей любви... Этого никто не сможет выдержать, даже самый сильный!..

Что со мной делается? Я немедленно ухожу от размышлений и опасных сомнений, переключаюсь на что-то другое, на воспоминания. Наверное, психика автоматически экранирует очаги слишком сильных переживаний, предохраняясь от перегрузки...

А, браво! Это ведь он сам придумал! Хорошая мысль, надо ее подкрепить. Но почему он опять волнуется? Что он видит? Фронт... Нет, это ни к чему...

Не понимаю, что со мной творится... Только что я вспомнил войну... Да нет, даже не вспомнил, не то слово: просто мне показалось, будто я снова сижу на бревне у блиндажа и слушаю, как Селестен Нуаре поет какую-то развеселую песенку. Это линия Мажино в Арденнах, неподалеку от Живе. Ноябрь тридцать девятого года, «странная война», мы, собственно, и не воюем, а стоим на бельгийской границе, мерзнем, мокнем и проклинаем все на свете. Я слушаю песню и ощущаю привычную глухую боль в сердце — это тревога за Валери, тоска по Валери. Вечер после дождя — багровый закат с темно-фиолетовыми рваными тучами, и лужи красные, словно в них кровь, а не вода, и вся холмистая равнина вокруг блестит мрачным, резким блеском. Я смотрю на широкое смуглое лицо Селестена, на его блаженно прижмуренные глаза. Он сидит рядом со мной, я вижу каждую складку на его шинели...

И вдруг все исчезло: и песня, и мрачный резкий свет, и сырой ветер... Надо мной сияет летнее солнце, такое ясное, мирное, безмятежное, а войны и в помине нет. Я выхожу из реки на берег, поросший травой, чувствую под босыми ступнями эту примятую шелковистую траву и прохладную, чуть влажную упругую землю, дышу свежестью воды и зелени. Капельки воды высыхают на теле, я чувствую, как приятно они щекочут кожу. Молодость, счастье, ощущение полета! Кажется, касаешься земли только потому, что тебе хочется чувствовать ее прикосновение.

Валери сидит на траве и смеется. Смуглая, кареглазая семнадцатилетняя девчонка. Все исходит от нее: и солнце, и трава, и река, и счастье. Как она красива! А может, и не очень красива, это ведь неважно. Просто — в ней для меня все. Как я жил раньше, не понимаю. Мне уже двадцать два года. Я мог встретить ее раньше, хотя бы на год! Ну, ничего, у нас все впереди.

Валери — в легком платьице, белом, в синих цветах. На загорелых ногах — белые туфельки с пряжками. Темные пушистые кудри коротко подстрижены в кружок — странные прически тогда носили... Впрочем, Валери все к лицу. Даже серьги. Маленькие золотые, с бирюзой сережки. Я и забыл, что она носила серьги тогда.

Сверкающая река и смеющееся девическое лицо исчезают... Почему я сижу здесь один? Надо пойти посмотреть, что с другими.

Так, Констанс на кухне. Ее светлые волосы светятся в солнечном луче, как корона. В ней и вправду есть что-то царственное: осанка, походка, это лицо, спокойное, ласковое и строгое, редко меняющее выражение... Я прожил с Констанс девятнадцать лет, но до сих пор она мне кажется иногда загадочной. Валери, со всеми ее бесконечными переменами настроения, с ее лицом, на котором отражалось все, даже тень облачка, проплывшего в небе, казалось, оставляла след на этом смуглом подвижном лице,—

Валери я знал и понимал всегда. Пока мы не расстались на шесть лет... А Констанс...

Констанс поворачивается ко мне, лицо ее спокойно и светло.

— Ты ошибаешься,— говорит она низким звучным голосом.— Ты не видел в Валери очень важного: ее слабости, ее постоянной потребности в защите. А во мне ты видишь и понимаешь все самое важное. Но тебе все еще хочется видеть во мне черты Валери, и ты не можешь поверить, что мы с ней совсем разные. Не можешь поверить потому, что любишь нас обеих...

Неужели она это сказала? Нет, мне почудилось, должно быть. Констанс опять стоит вполоборота ко мне и помешивает ложкой в кастрюле. Да, теперь, когда нет нашей Софи...

— Ты не должен об этом думать,— быстрее обычного произносит Констанс.— Это от тебя не зависело, ты же сам понимаешь.

Я смотрю на нее, похолодев. Такой совершенной связи у нас никогда еще не было. Что ж, она прямо читает мои мысли? Нет, невозможно. Наверно, она увидела рядом свой образ и образ Валери, уловила мои сомнения. Потом увидела Софи, поняла, что меня терзают угрызения совести.

Да, Софи — такой, какой я ее видел в последний раз... Она проработала у нас восемнадцать лет, заменила нам мать. Я был уверен, что она в Светлом Круге... И вдруг я понял — нет! Что́ она поняла, что́ почувствовала — не знаю. Она стояла у двери и смотрела на меня своими узкими карими глазами в темных набрякших веках, ее лицо выражало лишь бесконечную усталость. Она медленно развязала передник, положила его на стул у двери, медленно покачала головой. Я молча глядел на ее высокую худую фигуру в синем платье — она так четко вырисовывалась на белом фоне двери. Потом дверь открылась, снова закрылась... Софи уже не было, и я знал, что это значит: ее нет вообще, и я тут виной, моя эгоистическая любовь. Софи была очень нужна мне и всем нам, но, значит, я не любил ее по-настоящему... Еле переступая, я побрел по дому; мне казалось, что уже никого нет: почем я знаю, кого люблю по-настоящему! И сейчас не знаю. Вспоминать о Софи — все равно что поворачивать нож, торчащий в теле; и я знаю, что тут не только угрызения совести, но и тоска и любовь... Почему же я не смог ее удержать?

— Ты понял, что любишь ее лишь после того, как ее уже не стало,— не поворачиваясь ко мне, тихо говорит Констанс.

Нет, это слишком много, даже для нас с ней! А впрочем — почему бы и нет, в таких условиях? Ведь телепатические способности обостряются в час смерти или смертельной опасности. Правда, обычно в таких случаях речь шла о минутах; сейчас это состояние растянулось на часы и дни... Да, и вот лагерь, там тоже...

И вообще — о чем я думаю? Разве это обычный случай телепатической связи? Разве это не мы с Констанс, не самые близкие друг другу люди, связанные этой странной, загадочной связью уже долгие годы... почти девятнадцать лет? Разве эта способность не могла как угодно обостриться и трансформироваться в таких чудовищных, невероятных условиях? И что я знаю о природе той связи, которая сейчас удерживает всех нас в живых? Робер все-таки прав — то, что я делал, всегда относилось больше к интуиции, чем к логике, больше к вере, чем к познанию. Но разве это моя вина? Да, я слишком мало знал, я шел на ощупь, добивался случайных результатов и довольствовался ими. Но разве кто-нибудь знает об этом и вправду больше? Больше того, что я постиг путем опыта? Я ведь не ученый — то есть в этой области я не был экспериментатором, не вел продуманных, планомерных исследований, вроде тех, какими занимался по-

следние лет десять «по долгу службы», изучая физиологию ретикулярной формации. Или тех, какие вел Робер со своими пациентами.

Да, странно, что именно Робер после войны начал заниматься парапсихологией, гипнозом, а я — я этого боялся как огня. Единственное, на что я согласился — и то из-за Робера, чтоб быть поближе к нему, чтоб работать в одном институте с ним,— это переключиться на нейрофизиологию: я ведь до войны ею даже не интересовался. Но все равно я занялся вещами, не имеющими прямого отношения к тому, что мне довелось пережить и во время войны и потом... К тому, что определило нашу судьбу сейчас. Вся теория Светлого Круга — если эту отчаянную попытку самозащиты можно назвать теорией! — вся она возникла вне того, чем я занимался как ученый. Да и какая это действительно теория? Просто я всегда боялся одиночества. Два раза после войны было так, что я оставался одиноким среди людей. В третий раз я бы этого не вынес — так мне казалось. А если б я знал, что́ мне придется выносить взамен одиночества? Если б я мог предвидеть эту утонченную пытку, от которой не может избавить даже самоубийство? Боже, как я был слеп и наивен!

Нет, нет, я ни за что не стал бы заниматься опытами в этом направлении! Мои способности всегда внушали мне ужас, но в лагере они были хоть полезны людям; а после войны на что они могли пригодиться? Я даже не огорчился, когда чуть не на год вообще утратил этот зловещий дар. Правда, с Констанс эта связь мне была необходима... Впрочем, так ли уж необходима, кто знает? Просто мне казалось так... А если подумать... Но к чему теперь об этом думать, когда все уже случилось так, а не иначе и ничего не исправишь, ничего не вернешь...

Мои способности за этот долгий, чуть ли не двадцатилетний перерыв между войнами ничуть не развились, скорее несколько атрофировались от бездействия, а может, дремали, ожидая этого нового потрясения, чтоб опять проявиться, совсем по-новому, неожиданно, непонятно... Если вдуматься, так оно и было: нужна страшная, неестественная обстановка, нужно предельное напряжение всего организма, чтобы эти странные способности проявились во всю силу. Вероятно, в лагере этому способствовало и крайнее физическое истощение... Ведь недаром йоги и факиры умерщвляют плоть, как и наши христианские святые и пророки... Разве можно себе представить румяного упитанного пророка?

А после войны это было ни к чему... Наверное, даже с Констанс можно было обойтись без этого, если б я так панически не боялся одиночества, если б не стремился проникнуть в душу Констанс, связать ее со своей душой той странной связью, которая тогда представлялась мне единственно надежной и прочной в ненадежном и изменчивом мире. Любовь, семья, дети — о, я на личном опыте убедился, как все это зыбко и непрочно! Уходит любовь, распадаются семьи, и дети никого не удерживают. Связь с душой Констанс, власть над ее душой казалась мне тогда последней надеждой, единственной защитой от одиночества, перед которым я испытывал панический, заново обострившийся ужас. Никого, кроме Констанс, у меня тогда не было — или так мне казалось. Робер женился, и мне это показалось чуть ли не изменой — ну, глупо, конечно, да что поделаешь, это все из страха перед одиночеством, из-за того, что я уже не мог просиживать целые вечера с Робером, не мог вообще жить с ним в одной квартире, а я боялся уходить от него, боялся до смерти, как пытки, как работы в каменоломне. И Робер это понимал. «Но, видишь ли, я просто не могу не жениться на ней, раз она все эти годы ждала меня»,— смущенно сказал он. И это была правда. А впрочем, если бы даже речь шла не о Франсуазе, а о другой: что ж, ему оставаться холостяком во имя ла-

герной дружбы? Все это было неизбежно. И наша с ним связь была в этих условиях тоже слишком тесной; она выглядела теперь бессмысленной и даже неделикатной. Робер об этом и не заикнулся, но я сам понимал все и приложил немало усилий, чтобы потом, когда мои телепатические способности снова пробудились, обрывать все спонтанные контакты с Робером; я запрещал себе в и д е т ь его.

Светлый Круг — собственно, это очень давний термин, но тогда он не имел такого глубокого и страшного смысла, как сейчас. Я, кажется, впервые применил его, когда в начале нашей совместной жизни рассказывал Констанс о своем прошлом — и о своем страхе перед войной и одиночеством. Я тогда сказал, помнится, что война всегда приносила мне в конечном счете одиночество. «Оба раза было так,— сказал я.— Война разрушала светлый круг любви и счастья, который защищал меня от ударов. И для себя я боюсь войны прежде всего поэтому». Констанс тогда нашла, что «Светлый Круг» — это звучит очень хорошо, и как-то у нас с ней это определение удержалось в обиходе. А я даже не знаю толком, откуда оно взялось. Возможно, из стихов Верлена, где говорится о световом круге под лампой — символе семейного счастья и уюта. И кто мог тогда знать, какой жуткой реальностью обернется этот мирный символ!

Нет, недаром я после войны чурался телепатии, не хотел работать в этой области! Я, правда, следил за тем, что публиковалось во Франции по этому вопросу, читал «Revue Metapsychipue», работы Херумьяна, Варколлье, Дюфура, кое-что из американских и русских исследований, но в клинику Робера боялся даже заглядывать. Один раз он меня все-таки затащил к себе, попросил загипнотизировать и вылечить больную, страдающую истерическим параличом,— он никак не мог наладить с ней контакта. Я согласился очень неохотно; к тому же я вовсе не был уверен, что мне удастся проделать такой опыт в обычных, не лагерных условиях. Однако опыт удался превосходно, и я сразу понял, почему она так упорно не поддавалась воздействию Робера: эта некрасивая старая дева была в него влюблена. Я увидел, как она представляет себе его поцелуи и объятия, мне стало смешно и противно, я еле смог закончить внушение и больше ни разу не появлялся в клинике... до этого утра, последнего утра перед войной... Все-таки почему мне кажется, что я был у Робера? Ведь я же не ездил в Париж...

Поищем какой-нибудь участок. Надо бы отдохнуть, так нельзя, все может плохо кончиться...

Что это? Как причудливо перескакивают мои мысли! И опять — какое яркое воспоминание...

Узкая, крутая уличка Лозена в Бельвилле, серый, пасмурный день, холодно — мне холодно, я в изношенной куртке, слишком короткой, синие руки нелепо торчат из рукавов. Я стучу зубами, но не от холода, я его почти не замечаю, а от волнения, от горя и недетской тоски. Я стою на пороге бистро «Под золотым орлом», а вокруг, напирая на меня, толпятся какие-то люди, я их совсем не знаю, да и почти не вижу, мне не до них. Я вижу одного отца, и то сквозь туман слез, его лицо расплывается и дробится, я отчаянно кричу, обращаясь к этому далекому, смутно видимому лицу: «Папа, ну я тебя прошу, идем домой! Я тебя очень прошу! Я без тебя не могу вернуться!» Кто-то сочувственно и насмешливо басит: «Вот разоряется малец, даже сопли пустил!» Я машинально вытираю нос рукавом куртки и снова кричу: «Папа, ну, папа!» Мое плечо упирается в чей-то мягкий дряблый живот; вдруг этот живот начинает бурно ко-

лыхаться, и над моей головой раздается визгливый крик: «Негодяй, иди домой, что ты ребенка мучаешь!» Я запрокидываю голову и вижу отвисший прыгающий подбородок, широко разинутый щербатый рот, обмазанный по краям ярко-красной помадой, соломенно-желтые пряди волос, торчащие из-под залихватской сиреневой шляпки, и мне становится страшно и противно. «Папа,— говорю я совсем тихо, и он, конечно, не слышит меня в этом шуме и гаме,— папа... я... тогда я лучше умру...» И мне вправду хочется умереть — так все тяжело, и я даже не успел сказать, что мама заболела, очень заболела, и я с ней один и не знаю, что делать, и теперь этого уже не скажешь, все шумят и кричат, а ведь я совсем не хотел устраивать скандала, я только хотел, чтобы отец пошел со мной и помог маме, но когда я увидел его лицо, то потерял голову от страха и горя и начал кричать. Еще с порога я увидел отца рядом с Женевьевой за стойкой и вдруг понял: он совсем чужой. Он не сердился ничуть, он приветливо улыбнулся мне, но я понял, что ему совсем не до меня, а так никогда еще не было, и до этой минуты я никак не мог понять, что отец бросил нас с мамой, что он совсем ушел от нас, а теперь я все понял и ничего не мог с собой поделать, так мне стало больно...

Эту сцену я не любил вспоминать, но всегда помнил — конечно, в общих чертах, довольно смутно, мне ведь тогда и семи не было. Я, например, почти сразу потерял из виду Женевьеву и вообще толком не разглядел ее: высокая, худая, волосы рыжие, а лицо... Мне было не до ее лица, я на отца глядел: какой он ласковый, молодой, веселый — и совсем чужой мне. А теперь я вижу, что Женевьева все время так и стояла за стойкой, не шевелясь, и лицо у нее было хорошее и грустное, и она смотрела то на отца, то на меня... Как странно перемешиваются у меня чувства: тогдашняя детская обида, боль, гнев — и теперешняя спокойная печаль...

Когда я сказал, что умру, и убежал, отец догнал меня внизу улицы Лозена, сунул мне в карман деньги, дал шоколадку. Я так плакал, что ничего не соображал. Я и не заметил, как он дал мне деньги, только дома их нашел, и шоколадку тоже. И что мама заболела, так и не смог сказать, слезы не давали. Насколько помню, я очень редко плакал в детстве, но в этот день и еще три года спустя, когда умерла мать, слезы у меня сами лились, и я не мог их удержать.

Я не слышал, что говорил отец. Мама спрашивала, я сказал: «Ничего не говорил!» А сейчас я вижу, что он проводил меня до площади, которая теперь названа именем полковника Фабьена, купил билет в метро — оттуда шла линия к площади Терн, мы с мамой жили на улице Понселе. И он все время говорил, очень тихо и печально:

— Малыш, не надо так плакать, право, не надо. Вот вырастешь — поймешь, почему так получилось. А мне сейчас домой идти, ну, просто ни к чему, уж ты поверь. Мы с твоей матерью обо всем уже поговорили, что ж заново-то волынку начинать. Она не понимает, я ж тебе говорю, ей хоть неделю подряд толкуй — не понимает, и все тут. И про Женевьеву тоже неправильно совсем говорит — будто я на ее кабачок польстился. Ты этому не верь, сынок, слышишь? Женевьева — баба душевная и горя хлебнула вдоволь. Мужа у нее на фронте убили в пятнадцатом году. Женевьева, знаешь, две недели не отходила от него, когда он умирал в лазарете.— Это ведь подумать только, чего ей стоило пробиться туда, почти к самой передовой... А потом, когда он умер, Женевьева там осталась до самого конца войны, сиделкой работала... Она все понимает, вот в чем дело... Я уж лучше с ней буду, сынок. А тебя я никогда не оставлю, мы помогать тебе будем... Женевьева, она ведь добрая, очень добрая, право...

Что он видит? Почему так волнуется?.. Нет, я что-то ничего не могу уловить... Попробуем сделать перерыв...

Я спал? Который час? Впрочем, это неважно. Который час, который день... будто не все равно... Где отец? Мне кажется, что я его давно не видел...

Они все в гостиной — и отец, и Натали, и Марк. Я молча стою на пороге. Они меня не замечают. Отец читает журнал, то и дело поправляя сползающие очки. Марк, полулежа в кресле, уткнулся в какую-то толстую книгу. Натали облокотилась на подоконник и смотрит в окно... Как ей не страшно смотреть вот так, прямо в это пыльное стекло? Или она не понимает, что пыль на стекле радиоактивная, что там, за стеклом, смерть, невидимая и неумолимая? Что только моя воля, моя любовь мешают ей проникнуть внутрь дома и убить всех нас?

Я смотрю на Натали, и сердце у меня сжимается. Какая она худая, хрупкая, бледная, какое у нее бесконечно усталое лицо... и эти короткие густые волосы, только начавшие отрастать после того... после апреля... Если б все шло нормально, Натали выздоровела бы, а теперь... Она и всегда была тоненькой, как хлыстик, но сколько в ней было жизни, веселья, энергии, пока не появился этот проклятый Жиль!.. Думает она сейчас о нем или забыла?

Марк — тот куда крепче и спокойней. Он пошел в Констанс: светловолосый, сероглазый, высокий — на вид ему все двадцать, а не шестнадцать лет. Он уже сейчас чуть ли не на голову выше меня. Лицо у него хмурое... И вдруг я понимаю, что оно давно такое, что я не видел улыбки на лице моего сына уже много дней, может быть, недель. Почему я именно сейчас, только сейчас это сообразил? И Констанс... Она ничего не говорила...

Отец смотрит на меня поверх очков. Я не привык видеть его в очках, он завел их перед самой войной, но я как-то не заставал его за чтением и об очках только слышал. Очки в светлой металлической оправе резко выделяются на его темном худом лице. Теперь я замечаю маленький беловатый шрам над верхней губой... почему я его раньше не видел? Или видел, но не замечал, не запоминал?

Отец снимает очки, встает и подходит ко мне.

— Это ты тогда, во время войны, был ранен? — спрашиваю я, показывая на верхнюю губу.

Отец инстинктивно подносит руку к шраму.

— Да, осколок на излете. Разворотил губу, я ведь даже усы тогда отрастил побольше, чтоб незаметно было. Ты маленький еще был, не помнишь.

Да, да, конечно, я был маленький, а вот помню, оказывается. Как жаль, что теперь уже не удастся поработать над этой проблемой — памяти активной и памяти пассивной, странных, неизвестно для чего существующих, резервов мозга, заброшенных, недоступных кладовых, чердаков, подвалов нашего сознания, где вперемежку с кучами мусора и хлама, вероятно, лежат несметные сокровища, а мы об этом и не подозреваем...

— Ты выглядишь очень усталым, Клод,— озабоченно говорит отец.— Из-за этого?

Он показывает на окна, и мне становится смешно и грустно.

— Да, из-за этого, еще бы!

«Нет, это все же немыслимо,— опять думаю я,— такое буквальное

исполнение пророчества... мрачного пророчества Робера тогда, после истории с Натали. «Если ты всех их поставишь в такую зависимость от своей любви, ты взвалишь на плечи непосильный груз и переломишь себе хребет... А что тогда будет с ними? Ты потащишь их за собой в могилу, как древний воин, которого хоронили вместе с женами и слугами? Ты думал об этом?»

Конечно, я думал. Но тогда, в обычной мирной жизни, это не выглядело опасным. Разве это плохо, что очень близкие, любящие люди связаны между собой более тесно, более прочно и глубоко, чем все остальные? Разве плохо, что существует Светлый Круг любви и взаимопонимания среди нашего страшного, жестокого, разобщенного мира? Неужели это ошибка, даже преступление — вырваться из дьявольского хоровода замкнутых, непроницаемых, лживых лиц-масок, лиц-личин? Создать для себя хоть маленький светлый мир, где лица и глаза — живое зеркало души, где нет ни лжи, ни лицемерия, ни страха, ни злобы? Ведь должен же быть какой-то отдых, просвет во мгле, надежда на счастье? Разве не этим жив человек? Так пускай каждый идет своим путем к этой цели! Мой путь для большинства не годится — что ж! Это не причина, чтоб я им не воспользовался.

«Твой путь! — говорил Робер.— Ты идешь по доске, перекинутой через пропасть, а воображаешь, что это половица в уютной комнате. Как только ты поймешь свое заблуждение, ты сорвешься». Да. Сейчас я действительно балансирую на доске над пропастью. Но тогда?..

Тогда... Что поделать, если я больше всего на свете боялся одиночества? Возможно, это болезнь. Фобия. Бывает ведь агорафобия — страх перед открытым пространством, и для человека, который заболеет этим, невыносимо трудно даже переходить через улицу, а тем более идти по полю. Мало ли какие навязчивые, непреодолимые страхи преследуют иногда людей! Есть люди, которые боятся воды, темноты, кошек, лифтов — чего угодно. Я знал в лагере одного человека, который больше всего боялся, что его похоронят заживо,— в детстве он наслушался страшных рассказов о летаргии... Да... Жан Ламарден, высокий, долговязый, с бугристым черепом. Я помню, как он повернулся ко мне, проходя по бараку вместе с другими, чьи номера только что были названы по лагерному радио, и прошептал: «Ну, из газовой камеры живым не выйдешь, это уж наверняка!» Я только минуту спустя понял, что означали эти последние слова: его не похоронят живым. Меня даже озноб прохватил — радоваться газовой камере... о боже!

Так вот — я боялся одиночества, и тогда, в 1945 году, это, пожалуй, уже приобрело характер фобии. Наверное, этот страх нарастал постепенно. Уход отца, а потом смерть матери впервые заставили меня ощутить одиночество. Я ненавидел Женевьеву, потому что мать говорила о ней плохо, но мне было так тяжело одному, что я перебрался жить к отцу. Конечно, это дело другое. Когда мать умерла, мне еле исполнилось десять лет. Но и то правда, что за время болезни матери — а она болела долго — я стал очень самостоятельным, научился и наше несложное хозяйство вести и подрабатывать при случае. Я мог бы, вероятно, и сам прожить, но не решился. И конечно, все это было к лучшему. Отец и Женевьева очень обо мне заботились, и, если б не они, я бы не получил настоящего образования. Разве я мог бы мечтать о медицинском факультете, если б не помощь Женевьевы? Правда, к этому времени и отец начал неплохо зарабатывать, открыл маленькую шляпную мастерскую... Но главное — Женевьева. Мне было стыдно вспоминать, как я плохо думал о ней раньше. Впрочем, она все понимала, отец был прав, и это она тоже поняла.

После второй войны одиночество было страшнее. Правда, и оно скоро кончилось, но я с ужасом вспоминаю те летние месяцы 1945 года, когда я ходил по Парижу один, без Валери, все время думая о ней, зная, что она тут, рядом, в нашей комнате на улице Сольферино, а я даже постучать к ней в дверь не имею права: она там с другим... Странно, меня почти не мучила ревность, я слишком страдал от одиночества. Не было ни Валери, ни Робера, они отошли от меня, у нее был Шарль, у него — Франсуаза, а я остался один, совсем один. И это было невыносимо страшно и тяжело, я не мог один.

Да, в лагере не было одиночества, потому что там был Робер. Если б я не встретился с Робером, все пошло бы иначе в моей жизни, совсем иначе. Вероятней всего, я еще тогда, в первые месяцы плена, сошел бы с ума или покончил самоубийством — так терзала меня разлука с Валери, так тревожило ее непонятное молчание. А если б я и остался в живых, то мои телепатические способности не проявились бы так ярко. Самое большее — мне иногда удавалось бы видеть Валери: с этого ведь началось, этим бы и кончилось.

У меня эти способности были с детства, только проявлялись очень редко. Я, например, сразу узнал, когда умерла мать в больнице. Это было утром, я стоял у стола и жевал холодную картофелину, оставшуюся от ужина: лень было готовить завтрак. И вдруг меня будто ледяным ветром обдало, и я понял, что мать умерла,— не знаю почему, но понял сразу и не ошибся. Года через четыре я напугал Женевьеву — готовил уроки и вдруг вскочил и крикнул: «Боже! Отца машина задавила!» Я даже видел вывеску бакалейщика на углу улицы, где это произошло, видел усатого шофера грузовика. Отец тогда долго лежал в больнице...

А с Робером у меня все началось чуть ли не с первого взгляда. Я стоял у дверей барака. Высокий смуглый юноша в форме пехотинца почти пробежал мимо, перепрыгивая через свинцовые, рябые от ветра лужи. И вдруг он резко остановился, повернулся ко мне. С минуту мы молча глядели друг на друга.

— Как тебя зовут? — спросил он наконец.— Я Робер Мерсеро.

— Я Клод Лефевр,— сказал я, не сводя с него глаз.

Мы, конечно, могли и раньше встретиться. Оба коренные парижане, оба медики. И возможно, все было бы примерно так же: ощущение прочной духовной связи, родства душ... Но в условиях лагеря все это приобрело обостренную и странную форму. Робер уверял меня, что тогда, при первой встрече, он остановился лишь потому, что его поразил мой напряженный взгляд, мои глаза. Кто знает, может, это так и есть. Активной стороной в нашей лагерной дружбе действительно был я. Активной или пассивной — это уж с какой точки зрения смотреть. Просто мне эта дружба была необходима, а Робера она поначалу тяготила, хоть он и любил меня. Потом, в гестапо и в концлагере, он иначе относился к нашей мысленной связи и даже научился извлекать практическую пользу из моих способностей, но вначале... Ну, это понятно: разве легко ощущать, что в любую минуту кто-то, пусть и очень дорогой тебе человек, может узнать, о чем ты думаешь, или увидеть тебя, когда ты не подозреваешь об этом. В лагере это не так неприятно, как в обычной жизни, ведь в лагере ты никогда не бываешь наедине с собой, и мысли как-то проще, конкретней, приземленней, но все же... Робер о телепатии кое-что слыхал раньше, но, как и большинство людей, не придавал этим разговорам никакого значения. Я для него был поразительным открытием. Дикарь на его месте объявил бы меня богом; средневековый человек сказал бы, что я одержим дьяволом; Робер Мерсеро, дитя XX века, посмеивался и под-

дразнивал меня, уверяя, что мне было бы полезней установить постоянную телепатическую связь с начальником лагеря, чтоб всегда быть в курсе его затей; на деле, однако, Робер хоть и любил меня, но слегка побаивался. Даже не то что побаивался, но...

Да, с ним это было уже настоящей телепатической связью. Я в любую минуту мог увидеть его, прочесть его мысли. Он — нет. Вначале. Потом и у него стала проявляться эта способность. Особенно в концлагере.

Воспоминания, нескончаемой чередой идущие воспоминания. Они начинают уже мучить меня, слишком они навязчивы — и те, яркие и неожиданные, вдруг всплывшие из неведомых провалов сознания, и те, что неотступно следуют за мной всю жизнь. Память — страшный дар, я это знаю по всей своей прежней жизни. Мне не надо было помнить в лагере о счастье и уж тем более не следовало так много помнить о лагере потом. Другие не все запомнили и редко вспоминали. Я запомнил слишком многое, я вспоминал слишком часто, и это сломало мне жизнь, отравило душу. Будь ты проклята, память, оставь меня в покое хоть сейчас, перед смертью, пожалей! Память о лагере, память о смертях и муках, унижении и позоре, память о страхе, непрестанном страхе, увечащем душу! Разве ты, сама по себе, не новый, изощренный вид пытки? Пытки, сконструированной как бомба замедленного действия? Чем дальше, тем сильнее терзает меня эта жестокая лагерная память, наследство страшных лет, тем больше отравляет и глушит она другую, светлую, благодарную память о счастье, о юности, о красоте, о любви, о свободе. Все обесценивается, обесцвечивается под ее разъедающим пристальным взглядом, и я снова, все чаще, чувствую себя узником № 19732, вечным лагерником, у которого один путь к свободе — через трубу крематория.

Отец бормочет что-то успокаивающее и медленными, старческими, совсем уже старческими шагами отходит к своему креслу. И спина у него уже согнулась, и голова слегка трясется — боже, как он сразу постарел после смерти Женевьевы, да и что удивительного, какая это была верная подруга, и прожили они вместе целую жизнь... в самом деле, 42 года! Как я жалею его, как люблю... «Люблю? — спрашиваю я вдруг себя и вздрагиваю, словно от удара плетки.— А если — нет? А если — недостаточно?»

Нет, это тоже дьявольски хитрая пытка! Подлая, отвратительная пытка, бесчеловечная, унизительная! Поставить все в зависимость от моих чувств! Да какое же чувство, какая воля выдержит такой противоестественный груз и не надломится? Почему от меня можно ожидать того, чего не могли бы ждать от самых сильных?

«Кому ты жалуешься? — спрашиваю я себя.— Ведь некому жаловаться. Никто не в силах помочь тебе. Как на допросе. Как в лагере. Как на страшной крутой лестнице из каменоломни. Камень, который ты несешь на согнутой спине, непосильно тяжел, но, если ты упадешь под этой тяжестью, ты погибнешь сам и вдобавок столкнешь в пропасть других — тех, кто идет следом за тобой. Держись, тебе нельзя падать... Еще шаг, и еще шаг, и еще, и так без конца, под неумолимо палящим солнцем или под ледяным ветром...»

И все же это не то. Мускулы могут в конечном счете подчиниться воле. А любовь? Разве она зависит от воли, от добрых, от самых прекрасных намерений?

Любовь... В спорах с Робером — а мы часто спорили за последний месяц, когда Робер вернулся из Америки,— я всегда утверждал, что это и есть самая прочная и надежная защита, что разум не может спасти мир, разум сейчас поставил мир перед угрозой гибели и не в силах отвести эту угрозу. Только любовь, дружба, извечные, простые чувства, которые естественно и крепко соединяют людей и дают им силу жить,— только они могут противостоять гибели и хаосу.

— Всеобщая дружба? Всеобщая любовь? — сардонически улыбаясь, спрашивал Робер.— Оно бы, может, и неплохо, но ведь ты не об этом думаешь. Ты просто маскируешь словами свое дезертирство с поля боя. Пускай, мол, человечество устраивается, как знает, а мне — лишь бы семья хорошая была. Поразительно, как ты с твоим талантом и с твоей душой после всего, что пережито нами, мог скатиться в мещанское болото, стать шкурником, эгоистом, самодовольным обывателем!

Робер знал, что не прав, когда говорил мне все это. Он хорошо понимал, что я ненавижу мещан не меньше, чем он сам. А уж что касается самодовольства... Но он опять, как всегда, как в лагере, добивался, чтоб я шел его путем, а не каким-либо иным... А я и сейчас не знаю, правильно ли я поступал, когда вопреки самому себе делал то, чего хотел он. Может быть, я должен был искать свое... Впрочем, что я тогда знал! Когда мы встретились, мне было двадцать семь лет, а Роберу — двадцать три, но в нашем союзе старшим и более сильным был он. Это Робер организовал побег из эшелона; это он был одним из самых смелых, находчивых, энергичных работников подпольной организации там, в филиале Маутхаузена, куда мы попали после гестапо. Из-за него и я стал смелее, активней — вероятно, лучше и честней. Но все, что я делал в лагерях, было из-за Робера и для Робера. А теперь он и это считает моим недостатком... Конечно, со своей точки зрения он прав, я его понимаю.

Пожалуй, напрасно он так много об этом думает... И главное, так волнуется... Все, оказывается, гораздо сложней, чем я думал... А впрочем, чего же можно было ждать?

Воспоминания... Опять воспоминания... Как странно-ярко светит солнце — такой праздничный, щедрый веселый свет! Где это я! Ну да, все ясно. Мы жили тогда в XIV округе, на шумной улице Алезиа. А маленькая Роз, дочь бакалейщика, жила рядом, на улице Саррет. Нам с ней было по тринадцати лет, и это была моя первая любовь. Я хорошо помнил всегда, что я испытывал, увидев Роз хоть издали. Я помнил ее звонкий, резковатый, но мелодичный голос — голос взрослой девушки; ее выразительные зеленоватые глаза, ее странную улыбку — когда Роз улыбалась, мне казалось, что она сердится. Но я многого о ней не помнил, а может, и не знал. Сейчас я вижу, как она идет ко мне под ярким солнцем, кокетливо склонив голову набок, и испытываю то детское чувство, смесь восторга и страха, счастья и жгучего стыда, которое запомнилось мне на всю жизнь, и одновременно странное, горькое и грустное чувство переоценки, гибели прежних бесспорных ценностей.

Прежде всего я с изумлением вижу, что Роз некрасива. Глаза у нее действительно живые и выразительные, но детской прелести в них нет — это глаза маленькой женщины, порочные, жадные, насмешливые. Рот у нее большой и бледный, лицо землистое, шея длинная, худая, голова кажется слишком крупной для ее маленького, тщедушного тела. Это дитя парижской улицы, рахитичное, малокровное, чуть ли не от рожденья посвященное во все тайны жизни. Теперь я понимаю, почему Женевьева была недовольна, когда видела меня в обществе Роз.

Роз — в немыслимо коротком зеленом платье, с поясом на бедрах и с короткой складчатой оборкой вместо юбки, почти ничего не прикрывающей. Платье вдобавок так вырезано и спереди, и сзади, и под мышками, что Роз шагает почти голая, но это ее ничуть не смущает — такова мода, даже пожилые дамы до предела укоротили юбки и увеличили вырез декольте. Вот идет одна, толстая, как мопс, раскрашенная, увешанная побрякушками. Я и Роз провожаем ее взглядом и фыркаем — как смешно, какие толстые ноги, какая жирная, дряблая шея и грудь, и что ей гнаться за модой, ведь старуха, ей уже тридцать, наверно, а может, даже и сорок. Почти все женщины острижены, как мальчишки, затылки «под нуль», небольшие чубики надо лбом. «Боже, что за нелепая мода!» — думаю я, а мой тринадцатилетний двойник и не смотрит ни на кого, кроме Роз, и она ему кажется самой прекрасной на свете. Он с замирающим сердцем касается ее руки, и меня вдруг пронизывает такое острое чувство — смесь ужаса и наслаждения,— что я вздрагиваю. В то же время я — теперешний — ощущаю, какая сухая, загрубевшая кожа у Роз, как выступают узловатые суставы на ее руках, слышу, что от нее пахнет смесью перца, корицы и дешевых приторных духов... Я морщусь от этого странного букета — и в то же время замираю от восхищения.

Все-таки очень странно... У меня всегда была хорошая память, даже очень хорошая, с самого раннего детства. Я поражал отца и Женевьеву тем, что помнил самые неожиданные и для меня даже не вполне понятные сцены и разговоры, о которых они, взрослые, давно забыли. Иногда бывало, что мотив какой-нибудь старой песенки или повеявший внезапно запах — особенно запах, у него наибольшая власть воскрешать прошлое! — вызывал в памяти целые картины, будто забытые. Но никогда не было таких странных воспоминаний, в которых я действительно помню или, вернее, ясно вижу то, чего никогда не помнил и даже толком не видел, хоть и смотрел. Вот и это, с маленькой Роз. Ведь я будто из зрительного зала смотрю фильм, героя которого играю я сам. И его ощущения соседствуют с моими. На что это похоже? Ведь это... да, больше всего это напоминает опыты с электродами, вживленными в мозг... или не обязательно вживленными, а только наложенными на череп... Но просто так, ни с того ни с сего... или все же эта проклятая радиация проникает сюда, хоть и в меньшей дозе, и мы по-разному испытываем на себе ее воздействие? Да и как она может не проникать, ведь это обычная вилла, ничуть не похожая на атомное убежище.

Боже, как это трудно! Его психика целиком настроена на трагический лад. А кроме того, он, как и положено ученому, старается докапываться до сущности явлений... А я устал до того, что... Нет, ничего не поделаешь, надо тянуть дальше...

Откуда, откуда эта странная уверенность, что твоя воля, влияние твоей любви может противостоять всемирной гибели? Какая нелепость, если вдуматься! Ведь когда я спорил с Робером, речь шла совсем не об этом. Мы часто спорили в последнее время, и больше все об одном. О том...— ну, как бы это поточнее выразить? — о том, что должен делать человек, каждый отдельный человек, видя, что мир стоит на краю гибели. А в том, что мир стоит перед катастрофой, я убеждался с каждым днем все прочнее. Начиная с Хиросимы. Испытания в Бикини и трагедия японского рыболовного судна, Корея и Алжир, пластики наших «ультра», Вьетнам и расправы с неграми в Америке — все это были звенья одной цепи, симптомы одной и той же смертельно опасной болезни, поразившей человечество: разобщенности, взаимного непонимания и недоверия. Мир гибнет

от этой разобщенности, и его не спасти никакими, пусть тысячу раз правильными призывами. Только внутри человека может родиться сопротивление, только любовь и дружба помогут преодолеть недоверие и бессмысленную вражду.

Робер высказывался в том же духе, что и всегда: совместные усилия... если парни всего мира... и так далее. Я от него это еще в лагере слышал. Он называл меня индивидуалистом, эгоцентриком, эгоистом — ну, словом выдавал весь набор интеллектуальной ругани по адресу таких, как я. А я говорил, что нет ничего более ненадежного, чем все эти мифические общие цели в нашем разобщенном и враждующем мире. Людей труднее всего заставить действовать во имя общего блага, это давно было известно. А сейчас тем более: ведь сейчас понятия о добре и зле так противоречивы и опасно запутаны, как никогда еще не бывало в истории человечества. Я не философ и не политик — не в том смысле, что я не интересуюсь философией и политикой, а в том, что не претендую ни на какую самостоятельность в решении мировых проблем. У меня для этого не хватает и теоретических познаний и практического опыта. Я много читал и много пережил, это верно, но не изучал этих предметов специально... ну, в общем об этом не стоит даже распространяться. Просто я не гений, я обычный, рядовой житель планеты Земля. И я вижу, что эта моя любимая прекрасная Земля вот-вот превратится в радиоактивную пустыню.

Я, Клод Лефевр, рожденный накануне первой мировой войны и участвовавший во второй, песчинка, былинка, муравей,— что я должен делать, чтоб помешать чудовищной и бессмысленной катастрофе? Я вижу, что политики никак не могут договориться друг с другом, а опасность все растет, и в любую минуту можно ждать катастрофы. Что мне делать? Я не могу спасти мир, я не бог. Но я думаю, что можно спасти хотя бы часть человечества от гибели...

— И ты это можешь сделать один? — спрашивает Робер; я отчетливо слышу его голос.

— Да, на своем участке я один. Пусть каждый обеспечивает свой очаг сопротивления, свой участок. Если все или хотя бы многие сделают так, бой за человечество пусть не будет полностью выигран, но и не приведет к бесповоротному поражению и всеобщей духовной гибели. Мир можно спасти не мифическими «совместными усилиями», этим бумажным копьем, нацеленным в пустоту, а чувством личной ответственности за свое конкретное дело. Я здесь стою, я отстаиваю этот пункт, этих людей, за которых отвечаю и с которыми связан.

— Нелепость! — восклицает Робер.— Психология рядового, который убежден, что в штабах ничего не смыслят.

— А ты уверен, что там смыслят?

— Не очень уверен. Но одни рядовые никогда не выигрывали войну, даже если каждый из них до конца отстаивал свой участок фронта. Они отступали или погибали. Но не побеждали.

— Я не хочу сдаваться без боя. А вести бой в масштабах фронта не могу. Я отвечаю только за свою огневую точку.

— Да это у тебя не бой! Это уход от боя! Какая там огневая точка — просто ты рекомендуешь всем спрятаться в свои дома и носа не высовывать. И вдвойне лицемеришь: ну, у тебя есть телепатическая связь с близкими, но ведь ты же знаешь, что у других такой связи нет. Допустим, ты спасаешься, и Констанс, и дети, ну, а другие?

Воспоминание это — или разговор продолжается сейчас? Ну, конечно, что это со мной? Робер сидит тут, рядом со мной, в библиотеке, и на его лицо падает тот же мутный, зловещий свет сквозь пыльные стекла.

— А я и не заметил, как ты вошел, — неуверенно говорю я и вдруг чувствую странную усталость.— Может, я спал?

— Да, ты спал. И говорил во сне, — подтверждает Робер.— Ты и во сне продолжаешь спор со мной.

— Я все время об этом думаю. Да и что удивительного!

— Как ты считаешь теперь: ты победил в этом споре? — глядя в упор, спрашивает Робер.

У меня такое ощущение, будто громадная тяжесть навалилась мне на грудь и на голову. Я с трудом выговариваю:

— Я не знаю, можно ли назвать это победой. Я не того ждал. Я и сейчас не понимаю, почему мы все живы.

— Ты перестал верить в свой дар?

— Не в этом дело... То, что сейчас происходит с нами, не имеет ничего общего с телепатией...

— Имеет. Другого объяснения ведь нет. Значит, ты сам не понимаешь границ своих возможностей. Ты же не захотел заниматься теорией и знаешь лишь то, что дал тебе личный опыт. А личный опыт всегда ограничен, даже у тебя.

«В самом деле, — опять думаю я, — что мы знаем о телепатии, тем более в таких необычных условиях? Кто мог бы заранее предсказать, как очень прочная и глубокая телепатическая связь, возникшая в нормальных условиях, будет проявляться в условиях совершенно исключительных, небывалых, в абсолютно изменившейся среде, свойства которой, в свою очередь, не изучены (да и будут ли когда-либо изучены?)? Да, необычные, чудовищные, невообразимые условия! Дело даже не в том, как влияет на нас радиация (хотя она не может не влиять, я в этом убежден), а прежде всего в нашем безграничном, безнадежном одиночестве, в том, что мы — крохотный островок жизни, чудом уцелевший среди океана тьмы и смерти... Надолго ли, кто знает?»

— Но рассуждай же спокойней и логичней! — снова вмешивается Робер.— Почему бы не быть другим «островкам»? Хотя бы и на телепатической основе? Разве мало на свете людей, которые занимались телепатическими опытами и в то же время были глубоко связаны любовью или дружбой с другими? Наконец, в Индии — там ведь йоги проделывали поразительные опыты: обходились подолгу не только без пищи и воды, но и без кислорода. Почему бы им не научиться противостоять радиации?

— Йоги... возможно...— неохотно отвечаю я.— Но Индия так далеко...

— А может, рядом с тобой, во Франции, есть люди, которые успели достичь того же, что и ты?

Все так же льется пыльный, мутный свет из высокого окна библиотеки. Я вижу перед собой смуглое, резко очерченное лицо Робера, его блестящие карие глаза. Но мне трудно шевельнуться, я лежу в кресле, словно скованный невидимыми цепями. Я пытаюсь встать и не могу. Что со мной?

— Вспомни еще, — говорит Робер, пристально глядя на меня, — недавно мы с тобой читали об этом загадочном острове Ниуэ, где люди издавна, а может, извечно живут и благоденствуют при убийственно высокой степени радиоактивности. Они высокие, сильные, красивые, у них рождаются здоровые, полноценные дети. Кто знает, может быть, есть люди, от природы способные переносить радиацию. Наверное, их немного, — но, может быть, больше, чем можно предположить a priori? Достаточно для того, чтобы не дать человечеству исчезнуть с лица земли?

— Возможно...— бормочу я.— И что же? Ждать? Терпеть? Надеяться?

— Твоя задача, — Робер не спускает с меня глаз, и мне кажется тяже-

лым, материально весомым этот неподвижный пристальный взгляд, — твоя задача состоит именно в том, что ты раньше наметил для себя: отвечать за свой участок. Если ты сможешь уберечь всех нас, отстоять этот опорный пункт, бой будет выигран.

— Но почему? — вяло протестую я.— Откуда у тебя уверенность в том, что есть другие, есть надежда для человечества?

— А ты сам? — не отводя от меня своих тяжелых глаз, спрашивает Робер.— Разве ты сам в это не веришь?

На минуту я совершенно отчетливо ощущаю, почти вижу: Робер знает нечто крайне важное, скрытое от меня. Я вздрагиваю, пораженный этим ясным, безошибочным ощущением, мне хочется спросить: «Что же это?» Но Робер вдруг ласково улыбается, проводит рукой по моему лбу, говорит:

— Ну что ты? Что с тобой? Успокойся! Тебе надо заснуть!

Я все еще ощущаю это его загадочное знание. Я успеваю даже подумать: «А вдруг эта занавеска там, в доме на холме...» Но потом все мысли смывает сладкая, блаженная усталость. Я засыпаю мгновенно. Я слишком устал.

Когда я просыпаюсь, передо мной сидит Валери. Должно быть, я спал недолго — солнце стоит так же высоко, и тот же мутный желтоватый свет заполняет комнату, — но чувствую я себя отдохнувшим и свежим. Я легко встаю с кресла.

— Валери, — говорю я, — как хорошо, что ты пришла! Я уж беспокоился, что так долго тебя не вижу.

Валери поднимает на меня свои продолговатые блестящие глаза. Она очень бледна.

— Клод, — говорит она и слегка откашливается, будто в горле у нее что-то застряло, — Клод, я поняла, что сделала ошибку. Я не должна была...

Мы с Валери всегда понимали друг друга с полуслова. Настоящей телепатической связи у нас не было, но мы знали друг о друге все, как знают очень любящие, очень близкие люди. Мы наперебой высказывали одну и ту же мысль одинаковыми словами, и это нас всегда смешило и трогало. Мы безошибочно угадывали все оттенки настроения друг у друга. Ни со мной, ни с Валери не случалось несчастий за те четыре года, что мы прожили вместе, но думаю, что, если б с одним из нас случилось что-либо плохое, другой немедленно почувствовал бы это.

Долгая разлука оборвала эту связь, казавшуюся нерасторжимой. Вначале, в армии, были хоть письма... письма моей Валери, такие отчаянные и нежные, что я потихоньку плакал по ночам — от любви, от тоски, от мучительной тревоги за нее, такую одинокую, такую беззащитную и хрупкую... Я думаю, что способности к телепатии пробудились у меня прежде всего под воздействием этой непрестанной тревоги, тоски, страха за Валери. Когда я попал в плен, наша переписка оборвалась... Я тогда не понимал почему — ведь других разыскивали через Красный Крест, слали письма, посылки. Потом, после войны, я узнал: Валери была убеждена, что я погиб, ведь ей это рассказывал Анри Дювернуа, который видел своими глазами, как снаряд разорвался на том месте, где я стоял. Это было почти правдой — только я за секунду до разрыва успел нырнуть в индивидуальный окопчик, очень аккуратно отрытый; меня, правда, оглушило и присыпало немного землей, но я даже не терял сознания, хоть долго не мог выбраться из окопчика — так меня трясло. Ну, а потом сразу немцы зашли с тыла, мы начали поспешно отступать на север; еще полторы недели боев — и 23 мая я уже оказался в плену.

И вот тогда, не получая вестей от Валери, терзаясь горем и сомнениями, я начал в и д е т ь. Помню, что меня это даже не особенно поразило — должен же я был каким-то образом знать, что с Валери, не мог же совсем оборваться контакт с ней, которая была частью меня самого! Значит, любым путем... Меня огорчало лишь одно — что я вижу Валери редко, мало, не успеваю узнать о ней ничего, не могу спросить ее ни о чем.

Началось с того, что в сентябре 1940 года я сидел у окна барака. Сеялся мелкий серый дождик, быстро смеркалось. Я неподвижно глядел на маленькую продолговатую лужицу под окном — она слегка рябила от дождя, в ней отражался неяркий свет фонарей над воротами лагеря, — и вдруг все отодвинулось, я увидел Париж и Валери.

Вначале мне это было необходимо — сидеть и глядеть на что-то блестящее либо лечь и скрестить руки на груди, плотно переплетя пальцы. Потом я научился сосредоточиваться почти мгновенно, одним усилием воли, не прибегая ни к каким дополнительным средствам.

Итак, я увидел Валери, освещенную ясным вечерним светом. Она медленно шла по набережной Анатоля Франса. Мы с ней часто там ходили — дом наш был неподалеку, на улице Сольферино. Я хорошо видел ее лицо, она шла прямо на меня. Валери похудела, побледнела, в глазах у нее было незнакомое мне отрешенное выражение, будто она стояла на краю пропасти и уже решилась прыгнуть вниз. У меня сердце сжалось, я крикнул: «Валери! Валери!» Видение сейчас же исчезло. И вдобавок мне влетело от часового-немца за то, что я ору как сумасшедший.

Снова мне удалось увидеть Валери очень не скоро, лишь весной. Она тогда, вероятно, уже была замужем, но я этого не понял из минутного видения. Валери сидела в нашей комнате и тревожно глядела в окно. Меня удивило, что она хорошо причесана, что на ней красивый синий свитер, незнакомый мне. Удивило и огорчило, хотя я тут же обругал себя за эгоизм.

Прошли долгие годы, целая жизнь, а наша душевная связь с Валери не порвалась. Да иначе Валери и не оказалась бы здесь, в Светлом Круге... Я вдруг вспоминаю, как мы — все четверо — увидели Валери. Удивительный это был случай.

Мы вчетвером — я, Констанс и дети — отправились в автомобильное путешествие по югу Франции. Однажды мы заночевали у небольшой рощицы на берегу реки. У нас были надувные матрацы и подушки, так что устроились мы превосходно, и ночь была тихая, такая ясная. Полная луна стояла почти в зените, когда я открыл глаза и в призрачном белом сиянии увидел перед собой Валери. Вид ее поразил меня. Она была в пестром халатике, надетом поверх ночной рубашки, и в домашних туфлях на босу ногу. Лицо ее осунулось, глаза опухли от слез.

— Клод, — сказала она, и голос ее дрожал, — Клод, у меня такое горе, я так одинока! Клод, милый Клод... Шарль умер, только что. Мне позвонили, сказали. Он умер на операционном столе. Клод, я просто не могу одна.

Она смотрела не на меня, а куда-то прямо перед собой. Руки ее конвульсивно сжимались и разжимались. Это продолжалось минуту-две, потом Валери исчезла.

Я повернулся и увидел, что Констанс не спит. И что она тоже видела.

Натали и Марк спали поодаль, у машины. Они встали и подошли к нам.

— Кто это был? — спрашивали они с испугом.— И куда она ушла?

Они никогда не видели раньше Валери. Но точно описали ее одежду, лицо — насколько они могли разглядеть издалека. Мы с Констанс молча

переглядывались, не зная, что сказать. В конце концов Констанс своим обычным спокойным голосом заявила, что мы выясним все утром.

На утро я позвонил Валери из Тулузы. Все подтвердилось. Я спросил, не приехать ли мне. Валери помолчала, потом сказала, что не надо.

— Нет, действительно, не надо, — подтвердила она.— Я сначала подумала... но мне будет еще тяжелей, если ты... Нет, не приезжай, спасибо, Клод.

Это было год назад. Как она прожила этот год? Она не звонила мне, я ее не пытался видеть ни обычным путем, ни телепатическим. И вот она оказалась тут, в Светлом Круге. Это, конечно, не случайно.

Однако я сразу понимаю, что кроется за ее словами. «Я совершила ошибку», — понимаю и холодею от ужаса, ибо тут же ощущаю, что Валери права. И что мне не удастся ее удержать.

Валери говорит очень спокойно и тихо, а мне кажется, что каждое ее слово мне молотками вколачивают в сердце — так оно болит и сжимается от горя и страха.

— Тебе не стоит тратить на меня силы, Клод. Я ведь чувствую, что ты силой принуждаешь себя любить меня. Я знаю, что это означает для меня, — если ты не сможешь дальше любить. Но ты не должен из-за этого огорчаться. Я устала, Клод, очень устала. И ведь никто ни в чем не виноват, кроме меня самой.

— В чем ты виновата, бога ради, Валери! — восклицаю я.— Ты была так молода, шла война, ты осталась совсем одинокой. Я ведь все понимаю... Теперь-то, во всяком случае, понимаю... Тогда мне было слишком больно...

Валери качает головой. Лицо у нее действительно очень усталое, но молодое. Я плохо рассмотрел ее в первый день, не до того было. А потом она казалась мне по-прежнему молодой и красивой. И сейчас не скажешь, что через месяц ей будет сорок шесть лет. Будет?.. Мне опять становится страшно. Ощущение такое, будто ты альпинист и изо всех сил тянешь за веревку, пытаясь удержать повисшего над пропастью товарища, а веревка скользит, скользит... И вдобавок тебе понятно, что это ты сам, от равнодушия, от подлости не можешь держать веревку как следует. Даже не от страха — тебе самому смерть не угрожает, ты не соскользнешь в пропасть...

Впрочем... я ведь не знаю, что будет со мной, если все... О чем ты думаешь, боже! Если все уйдут, зачем тогда ты? И разве ты выдержишь такую пытку?

Валери встает и бесконечно знакомым мне движением скрещивает руки на груди, охватив ладонями плечи. Руки у нее все такие же — гладкие, смуглые, узкие, с длинными, слегка заостренными пальцами. И белый тонкий шрам на правом мизинце — след глубокого пореза еще в детстве... Я вижу на ушах у нее еле заметные точки проколов и вспоминаю то утро на реке и серьги с бирюзой.

— Клод, дорогой! — говорит она, глядя мне прямо в лицо.

Я вижу мелкие золотые искорки в ее карих зрачках, голубизну белков, легкую темную тень в наружных уголках век, удлиняющую рисунок глаз... Такие знакомые, так часто видевшиеся мне во сне и наяву глаза моей Валери. И вдруг мне становится легче. То, что хочет сказать Валери, — бессмыслица, явная бессмыслица. Я любил ее всю жизнь и люблю сейчас. Констанс права: я люблю их обеих. Но с Констанс было иначе, совсем иначе. Был мучительный страх одиночества, был расчет — не корыстный, не денежный, а более сложный, психологический расчет человека, который слишком много всего навидался и натерпелся и не может действовать

очертя голову, не взвешивая всех обстоятельств. С Валери я не рассчитывал — я был счастлив, молод, силен, и это были самые прекрасные годы жизни.

И если б не война... Да, вот так говорила и мать, незадолго до смерти, в больнице: «Это все война виновата, сынок. Фернан, он ведь был такой хороший, веселый, заботливый. Родился ты, и все было так хорошо. Мы решили, что потом будет еще девочка. И тут началась война... Война все испортила, все поломала... Если б не война...»

Да, если б не война... Мы были бы счастливы с Валери, я работал бы по-прежнему в лаборатории профессора Арминьи... Правда, не было бы многого другого. Опытов с телепатией... а может, меня что-нибудь натолкнуло бы на это? Не было бы Натали и Марка... Констанс вышла бы замуж за кого-нибудь совсем другого... Мне вдруг становится больно от этой мысли...

Валери кладет мне руку на плечо.

— В том-то и дело, Клод,— говорит она.— Обеих нас ты не удержишь. И перевес не на моей стороне. Ты и сам понимаешь: я — прошлое, Констанс — настоящее. Со мной ты был всего четыре года...

— И шесть лет войны, плена, лагерей!

— Это не то... Это уже воспоминания... А с ней — девятнадцать лет. Половину сознательной жизни.

Я встряхиваю головой, стараясь отделаться от тягостного ощущения кошмара. Мне кажется, что это не Валери говорит — я сам внутри себя веду этот опасный и бесчестный спор со своей совестью. Но Валери стоит передо мной, и от исхода этого спора зависит ее жизнь. Веревка скользит, скользит...

— Впрочем, дело не в Констанс, — продолжает Валери.— Я знаю, что она все понимает и мое пребывание здесь мало ее тревожит. Но сам подумай: зачем мне оставаться?

Я смотрю на нее, недоумевая: ведь она сама сказала, что з н а е т.

— Да, я знаю, конечно, — говорит Валери.

Значит, связь стала теперь всеобщей? Но почему же я не могу по произволу видеть других? Вот и сейчас — где отец, я не знаю. И о чем думает Валери, тоже не знаю. Значит, действует только обратная связь? Они для меня закрыты, а я для них насквозь прозрачен? Самое плохое, что может случиться при такой ситуации.

— Клод, я так не могу, — мягко и настойчиво говорит Валери.— Ты знаешь, какая я. За эти годы я не так уж изменилась. Что для меня — такой, как я есть, — осталось ценного в этом мире? Твоя любовь? Боже, Клод, я не упрекаю тебя, пойми, но ведь ты же знаешь, что это любовь-фантом, любовь-воспоминание. Мне этого мало. Было бы мало даже в нормальном мире. А здесь... Клод, дорогой, здесь я задыхаюсь. О любви я сказала, потому что для тебя это очень важно. Но ведь здесь вообще ничего нет, кроме запертых наглухо дверей и этих зловещих пыльных стекол. Нет дорог, вьющихся по холмам, нет свежего ветра, нет реки — все это там, за стеклами, и нереально, как декорация. А мы сами — мы разве реальны? Мы, запертые здесь, неизвестно как и для чего?

— Валери, умоляю тебя, успокойся! — с трудом произношу я.— Наше спасение в том, чтоб терпеть и надеяться...

— Терпеть — во имя чего? — страстно спрашивает Валери, и лицо ее совсем молодо, как в давние годы.— Надеяться — на что? Клод, не обманывай себя! Мир погиб, а мы случайно уцелели. Если и остались на Земле еще живые, до них добраться так же трудно, как до жителей других планет. Да и к чему? Ну, будет нас тогда не семеро, а вдвое, втрое, вчетверо

больше — что из того? Кругом смерть. Выйти за пределы узко очерченного, тесного, страшного, бессмысленного мира нельзя. Если даже объединится две-три разрозненные группы, к чему это приведет? Исчезли все перспективы.

Это говорит Валери? Нет, не может быть, это не ее слова, она другая. Это голос внутри меня. Холодный, вкрадчивый, неотвязный. Ведь это правда. На что я надеюсь?

— Но я люблю тебя, Валери! — с отчаянием говорю я.— Я не могу отпустить тебя... не могу согласиться, чтоб ты ушла... совсем...

Валери улыбается, и мне становится не по себе от этой незнакомой, холодной, какой-то отрешенной улыбки.

— Любишь? — говорит она.— И ты уверен, что это любовь? А не страх одиночества? Не страх гибели? Ведь не только наша жизнь зависит от того, действительно ли ты любишь нас, — твоя тоже. Что ты будешь делать, если мы все уйдем?

Веревка скользит и тянет меня в пропасть. Выпущу я веревку или буду отчаянно сжимать ее до конца, все равно я погибну вместе со всеми. И никого мне не спасти...

— Ты сам понял, видишь, — сочувственно говорит Валери и делает шаг к двери.— Прощай, Клод. Ничего тут не поделаешь. Я больше не выдержу.

Валери медленно отодвигается к двери, будто плывет над полом. Я не в силах шевельнуться, не в силах крикнуть, но мысль работает с небывалым напряжением. «Как это будет? — думаю я.— Если она откроет дверь на веранду, то... Впрочем, неужели обычная дверь способна защитить от радиации, не будь Светлого Круга? Но тогда... тогда логично предположить, что мы можем выйти из дома... свободно ходить... Тогда уход Валери ничего не означает, я ее люблю и буду любить...»

— Нет, ты не прав, — я вижу, что это говорит Валери, ее губы шевелятся, но голос звучит внутри меня.— Я ухожу совсем... навсегда... И другим выходить нельзя. Светлый Круг не движется. Тот, кто уходит, выключает себя из защиты круга... Прощай, Клод!

Все происходит, как в кошмаре. Я по-прежнему скован, а Валери все движется к двери, медленно, будто скользя. Потом легко, неожиданно легко раскрывается застекленная дверь, силуэт Валери на миг очень четко проступает на фоне дальних зеленых холмов и светлого праздничного неба. И сейчас же дверь захлопывается. Я вижу, как Валери, высоко вскинув голову, проходит по веранде, сбегает вниз по ступенькам — и исчезает.

Мое оцепенение сразу проходит от невыносимой, острой, отчаянной боли в сердце. Такую же боль я испытал много лет назад, в нашей комнате на Сольферино, когда понял... Я бросаюсь к двери. Валери уже не видно. Я хочу распахнуть дверь. И резко оборачиваюсь, услышав голос Констанс.

— Клод, не надо, — спокойно и печально говорит она.— Валери уже не вернешь. И не надо так горевать. Она права: прошлое есть прошлое.

— Ты... ты слышала? — с трудом бормочу я, кусая губы, чтоб не кричать.

— Я теперь все слышу, — так же печально и медленно отвечает Констанс.— Клод, ты должен успокоиться. Я знаю, как тебе тяжело. Но... думай о других. О нас.

— А ты уверена, что есть зачем думать? — почти кричу я.— Ведь ты слышала! Валери права! Я уже сам не знаю, люблю ли вас или только боюсь потерять. Я сам не знаю, есть надежда или нет. Я не могу выдержать... Я теряю силы... Прости меня, Констанс, если можешь!

Констанс обняла меня и гладит по волосам. Ее ласковые, сильные, теп-

лые руки. Но сейчас и они не в силах избавить меня от боли, от страха, от острого чувства вины и бессилия.

— Констанс, — бормочу я, уткнувшись лицом ей в плечо, — Констанс, дорогая, наверное, это уже конец! Я больше не вытяну, да и к чему?

Констанс ласково отстраняется, охватывает ладонями мою горящую тяжелую голову, заглядывает мне в глаза своими большими, ясными серыми глазами.

— Ты устал, ты так устал, — говорит она.— Тебе нужно уснуть.

— Я не могу спать! — сопротивляюсь я.— Как я смог бы заснуть сейчас!

И ловлю себя на том, что мне хочется заснуть. И уже не просыпаться. Констанс озабоченно сдвигает свои прямые брови.

— Я позову Робера, — говорит она.

Да, конечно, Робера. Как странно, в сущности, что именно я оказался средоточием Светлого Круга. Я, а не Робер или Констанс. Конечно, способности были развиты больше у меня. По крайней мере до этих дней: сейчас все изменилось. Но зато Робер и Констанс гораздо сильнее меня, спокойней, уверенней. Они бы удержали в своем Круге всех, кого захотели удержать. Они не ошиблись бы в своих чувствах, не начали бы позорно и преступно колебаться, обрекая других на смерть своей трусостью и нерешительностью. Мне этого не вынести. Ну ладно, я получил от бога или от кого там еще странный дар. Но я ведь не стал от этого ни лучше, ни сильнее. Мне было бы легче, если б я обладал, скажем, властью над числами, умел бы молниеносно считать. Это ни к чему не обязывает. А мой дар обязывает ко многому. Это свойство, достойное гения. И я не соответствую — я, такой, как есть, — своему дару. В чем же дело? Только в том, что я придумал эту теорию Круга? Да полно, я ли? Ведь я совсем не то имел в виду, Робер, ты же знаешь...

Это я говорю, обращаясь уже прямо к Роберу. Констанс ушла, а Робер стоит передо мной, очень бледный и измученный.

— Я знаю все, — тихо говорит он.— Мы с тобой потом поговорим, посоветуемся, как быть. Сейчас ты должен поспать. Обязательно. Ложись вот тут, на диван.

Я покорно ложусь. Робер задергивает плотные желтоватые шторы, и в комнате становится почти темно.

— Спи, — говорит Робер, наклоняясь надо мной.— Ни о чем не думай. За время твоего сна ничего плохого не произойдет. Ты выспишься и будешь чувствовать себя хорошо.

«Странно, ведь это очень похоже на гипноз, — думаю я, погружаясь в сон.— Раньше Робер не мог меня гипнотизировать...» Потом я засыпаю.

Он слишком возбужден. Нервы у него хуже, чем я думал. Сделать вливание аминазина? Но это может все испортить... Нет, пускай отоспится... Боже, как я устал! Я не думал, что будет так тяжело... Который час? Половина четвертого... Иногда мне кажется, что я не вытяну... мне больно глядеть на него. Какое у него страшное бывает лицо! Но что же делать? Что?

Я просыпаюсь. В библиотеке совсем темно. Я сразу все вспоминаю и сажусь на диване. Но воспоминание о Валери уже не причиняет такой нестерпимой боли. Я чувствую себя крепче и думаю, что есть еще смысл бороться. Надо только обдумать, как поступать дальше. Поговорить с Констанс и Робером. Посоветоваться. Мне стыдно перед Констанс за этот недавний приступ отчаяния и бессилия, но Констанс, она ведь все понимает, она такая мудрая и спокойная...

Я сижу в темноте и думаю о Констанс. Мне хорошо думать о ней, это защита и отдых. С первых дней нашего знакомства Констанс была для меня защитой от боли и холода одиночества, и я искал у нее этой защиты, еще не понимая, что привлекает меня к этой высокой светловолосой девушке, всегда такой спокойной, доброй, ласковой. Наверное, это нелепо и некрасиво, когда тридцатидвухлетний мужчина, проживший такую трудную, сложную, напряженную жизнь, ищет опоры и защиты у девушки, которой едва исполнилось девятнадцать лет и которая сама пережила бог знает какие ужасы. Но в том-то и дело, что жизнь, которой я жил всю войну, была мне не по силам. Если б не Робер, я бы не выдержал всего этого. Сошел бы с ума, бросился бы на проволоку под током — не знаю что. Пять лет лагерей! Тот, кто не попробовал, что это такое, не поймет меня. Да и лагерники, пожалуй, не все поймут, многие вышли оттуда даже более сильными, готовыми снова драться... ну, хотя бы Робер. А я... я для этого не годился. И мне не стыдно признаться, черт возьми, что я не гожусь для такой нечеловеческой, страшной, невообразимой жизни. Другие выдерживали — ну что ж, честь им и слава! А меня и сейчас, даже сейчас охватывает панический страх, когда я вспоминаю о лагере.

Не надо об этом думать. Сейчас это позади; сейчас люди устроили себе такую надежную и прочную могилу, что даже миллионы сожженных в крематориях кажутся чем-то не таким уже страшным, если поразмыслить... Нет, нет и тысячу раз нет! Это крематории второй мировой войны, это пепел сожженных, который сыпался на поля и дома мирных обывателей, живших по соседству с лагерями, но не стучал в их сердца, это проклятое, невозмутимое, непробиваемое, позорное преступное равнодушие большинства — вот что привело к сегодняшней трагедии! Вы все отмахивались от «политики», вы думали, что гроза опять минует вас, прогремит, просверкает над вашими драгоценными тупыми головами да и уйдет! Ну, погибнут еще миллионы — евреев, русских, поляков, японцев, американцев, кого там еще, пусть и французов, разве мало кругом всякой красной сволочи, смутьянов, вот им и достанется, а мы-то, мы будем жить, уж как-нибудь да останемся живы, не пугайте, нас не убьешь... Да, да, вы были живы, пока оставалось в живых человечество, вы были его неотъемлемой частью, и из-за того, что вы были внутри и повсюду, человечество с таким трудом продвигалось вперед и так часто отступало назад. Торжествуйте, проклятые свиньи с самодовольно задранными пятачками, вы победили! Жаль, что вы не видите солнца своей победы! Оно так затуманено ядовитой пылью, что вы смогли бы смотреть на него, не щуря своих бесцветных самоуверенных глаз. Вот оно, ваше мертвое солнце, проклятые мещане!

Почему он проснулся так рано? Что с ним? Нет, так нельзя, я не должен спать, он один не справится... Надо быть всегда начеку, это может кончиться катастрофой. Ах, черт, что это? Зачем ему вспоминать о лагере? Не надо...

Минуту назад я думал, что сойду с ума. Но, видимо, моя психика теперь включает воспоминания, как защитное устройство. Это страховка. Очень остроумно устроила природа: подсовывает мне прошлое, любое прошлое, чтоб я мог позабыть о настоящем... Но как быстро, лихорадочно быстро сменяются самые разные картины! Сначала мелькнуло лицо Констанс, юное, светлое, задумчивое. Потом вдруг передо мной возникла ржавая колючая проволока, а на ее фоне — черное от щетины, грязи и усталости лицо с провалившимися сумасшедшими глазами. Это лагерь военнопленных поблизости от Арраса, и парня я знаю — это бельгиец Леклерк, он потом погиб во время нашего неудачного побега. Я не помню, почему

он вначале не получал посылок Красного Креста, но голодал он очень. Я сую ему краюшку хлеба и кусок сыра. Он прерывисто вздыхает, и на глазах его проступают слезы. «Спасибо, дружище», — хриплым шепотом говорит он и отходит, волоча по сырой земле ногу, обмотанную почерневшим бинтом.

Ну, вот и лагерь исчез. Светлое, ясное солнце детства светит над парком Бютт-Шомон, отражается в тихой зеленой воде озера. Мы, ватага мальчишек, сидим на теплых белых камнях и блаженно жмуримся от весеннего солнца. Отсюда, с высот Бельвилля, нам виден чуть ли не весь Париж в голубой апрельской дымке. Невдалеке блестит широкая полоса канала Сен-Мартен, а за ним дымят и грохочут вокзалы — Северный и Восточный; дальше уходят в гору улички Монмартра, такие же крутые и узкие, как здесь, в нашем Бельвилле; на самой вершине холма сияет белоснежный храм Сакр-Кер. Видны и Сена, и Эйфелева башня, и Триумфальная арка. Нам по одиннадцати-двенадцати лет, мы наслаждаемся весной и свободой и лениво спорим о том, кто толще — мясник Жерар с улицы Лозена или дядюшка Сиприен, владелец бистро на улице Симона Боливара. Большинство держится того мнения, что дядюшка Сиприен потолще за счет брюха; некоторые говорят, что нельзя учитывать одно брюхо, а загривок, руки и ноги у мясника куда внушительней. Мне спорить об этом уже надоело, и я растягиваюсь навзничь на разогретых солнцем камнях... Безмятежное счастье, кусочек светлого и доброго, безвозвратно исчезнувшего мира!

И мне становится очень грустно, когда гаснет ясное солнце далекой весны 1925 года и откуда-то наплывает пестрая хаотическая масса лиц, вывесок, деревьев, дорожных знаков, книг, птиц, лестниц — да, какая-то полутемная, выщербленная, остро пахнущая луком и кошачьей мочой лестница, ведущая кто знает куда, я не могу вспомнить, да и вспоминать некогда, я уже на улице, в каком-то тихом тупичке, там старые ветвистые деревья и густые шапки зеленого плюща на серых каменных оградах, и дети играют в «классы» на тротуаре, а я опять в другом месте, на шумной пыльной улице, кажется, эта Пасси, только давнишняя, лет тридцать назад, вывеска «Франсуа Мишодо — король подметки» с лихо нарисованной туфлей роскошно-алого цвета, и еще вывеска «Специальность — обеды за семь франков»... И опять мельканье картин, будто смотришь из окна стремительно несущегося поезда...

Мелькающий мир внезапно замедляет свой бег, я лежу на соломенном тюфяке, а рядом сидит Робер, обхватив руками колени. В тусклом красноватом свете, еле сочащемся сквозь пыльное зарешеченное окно, я вижу, что у Робера громадный кровоподтек на левой скуле, что губы у него разбиты и опухли. Я пробую протянуть к нему руку и чувствую, что рука не слушается, что все тело нестерпимо болит, я прикусываю губу, чтоб не стонать, но губы тоже рассечены и болят, и зубы слегка шатаются. Это камера полиции, но мы с Робером и другими участниками побега находимся в ведении гестапо, и допрашивали нас гестаповцы, и завтра нас перевезут в Париж, чтоб допрашивать дальше.

— Клод, дорогой, ты очнулся? — обрадованно говорит Робер.— Ну, как ты, ничего? Пить хочешь?

— Хочу, — с трудом выговариваю я.

Я пью воду из алюминиевой кружки, Робер поддерживает мою голову и тихо говорит:

— Нас поместили в одну камеру, это удача — наверное, думали, что ты не придешь в себя. Нам надо сейчас условиться, Клод, все отрицать не удастся, Фелисьена они заставили проговориться, он сказал, что о списке

узнал от нас с тобой. Придется сказать, что список увидел я, случайно зашел в канцелярию, — пускай они с коменданта взыскивают за неосторожность, черт с ним. А насчет бланков и печатей — можно сваливать на тех, кто погиб, на этого Леклерка и на Жана Вермейля. Леклерк тем более знал немецкий язык; скажем, что он и заполнял бланки.

— Они не поверят, — бормочу я.— Ты в канцелярии не мог быть, и я тоже, ведь Геллер им объяснил.

Робер молчит с минуту.

— Придется все же стоять на этом, — он наклоняется ко мне.— Клод, прости, что я втянул тебя в эту историю. Но сейчас уж надо держаться. Нам все равно отсюда не выбраться, а других подводить нельзя. Ладно, Клод?

Я так измучен, что мне почти все равно. Я говорю: «Да, ясно». Мы еще плохо представляли себе, что нас ждет. Если б я знал... а впрочем, что я мог бы сделать, ведь даже самоубийством нельзя было покончить...

— Но подумать только, на какой чепухе попались! — говорит Робер.— На том, что Леклерк не вовремя достал зажигалку.

Да, на следующей станции мы должны были бежать, у нас в заплечных мешках была кое-какая штатская одежда, и всем участникам побега уже выдали на руки справки об освобождении из лагеря по болезни... Я у в и д е л в лагерной канцелярии список тех, кого включили в очередной эшелон, я видел его ясно и продиктовал Роберу имена, и тогда Робер и другие решили, что из эшелона бежать удобней. Никого не подведешь, да и путь лежит куда-то на юг, ближе к Парижу. А бланки для справок нам достали писаря из лагерной канцелярии, датчанин Йоханнес и бельгиец Сегюр, и этих ребят выдавать мы не могли, а насчет моих телепатических способностей и заикаться не стоило, теперь оставалось только терпеть и молчать, что бы с нами ни делали. А если б Леклерк не начал закуривать, стоя рядом с конвоиром, и не выронил при этом справку об освобождении, мы были бы теперь далеко, кто знает где...

— Знаешь, мы могли бы попасться и потом. Эти справки тоже...— говорит Робер.

И на этом воспоминания обрываются, и боль уходит из тела, и надо мной загорается мертвый, тусклый свет вверху, под потолком библиотеки. В дверях стоит Робер.

— Ну как, отдохнул? — заботливо спрашивает он.

— Отдохнул...— неуверенно отвечаю я.— Ты прав, мне полезно было выспаться.

— Но вид у тебя не слишком-то...— замечает Робер, пристально глядя на меня.— Мне кажется, ты слишком много думаешь...

— То есть? — Меня поражает это замечание.— Как это слишком? Что ты считаешь нормой в нашем с тобой положении?

Робер слегка усмехается.

— Ты, конечно, прав. Но я хотел сказать, что нельзя слишком сосредоточиваться на... ну, на этом самом нашем положении. Мы не в силах ничего изменить, и надо принимать это как факт, не рассуждая.

Мне становится холодно, словно на сквозняке.

— Робер, зачем ты это говоришь? Я думал... Я почему-то надеялся, что ты знаешь...

— Что знаю?

— Ну, какой-то выход из положения...— Я невольно с надеждой смотрю ему в глаза.

— Какой же выход? — Робер отводит глаза.— Я не бог.

— Значит, нет надежды? — допытываюсь я.

— Надежда всегда остается. Мы не знаем, что происходит сейчас на всей Земле. Но надо надеяться и ждать.

— Надеяться и терпеть... Я сказал это сегодня ей, Валери...

— Не думай о Валери! — поспешно говорит Робер.— Ее нет. Думай о тех, кто остался. О Констанс и о детях в первую очередь. Ты ведь их хотел сохранить, вот и старайся добиться этого.

Робер говорит очень серьезно, почти хмуро, и я стараюсь понять, почему мне мерещится, что он в душе подсмеивается надо мной. Здесь, в таких обстоятельствах? Невероятно! Сколько бы мы ни спорили об этом раньше...

— В Констанс и детях я уверен! — почти с вызовом говорю я.— Это прочная связь, нерасторжимая.

Робер долго молчит.

— Разве есть нерасторжимые связи? — печально и мягко говорит он.— Разве в лагере ты не думал того же о Валери? И разве эти условия не страшнее той войны?

Я прикусываю губу, чтоб не вскрикнуть. Что он, нарочно? Я исподтишка гляжу на это лицо, такое волевое, гордое. Робер Мерсеро, мой Робер говорит это? Я молчу, но он понимает меня и без слов.

— Что я сказал, я с ума сошел, должно быть! — Я вижу, что он сильно взволнован.— И на меня, видно, действует эта страшная обстановка. Прости меня, Клод!

Он встает и уходит, а я никак не могу понять, что произошло. Слова Робера не оговорка, он к этому вел, да и последнюю фразу долго обдумывал, не сгоряча ляпнул. Но что это значит? Желать смерти Констанс, Натали, Марку? Даже если он ревнует меня к ним (хотя я этого никогда не замечал), то ведь сейчас не время сводить личные счеты! Нас осталось всего шестеро. Может быть, на всей земле. И хотеть, чтобы трое из нас погибли? Немыслимо! Даже если бы это был не Робер Мерсеро, а кто угодно другой... разве что опасный маньяк... И вдруг я чуть не вскрикиваю от ужаса: а что, если Робер сходит с ума?

Я сам не в порядке. Не стоило начинать в таком состоянии... Но кто знал? Как нелепо вышло! Как он волнуется, бедняга! Что же делать? Нет, с Натали ему говорить сейчас нельзя.

Я спал? Опять спал? Как странно! По-прежнему горит лампа вверху, кругом тихо, я один в библиотеке. Который час? Сколько я проспал? И где все остальные? Почему все-таки я потерял способность видеть их? От непрерывного напряжения и страха? Возможно. Я на время терял уже эту способность — сразу после выхода из лагеря и разрыва с Валери. Почти на год. Констанс сначала и не подозревала об этом. Только когда я узнал, что она беременна, и стал все время думать о том, где она и не случилось ли с ней что плохое, способность видеть вернулась. О Констанс я знал все в любую минуту. Ее это сначала очень пугало, и я стал скрывать свое знание, но мне это плохо удавалось. Потом она привыкла. Потом сама стала... постепенно.

В первый раз она позвала меня на расстоянии, когда мне было нестерпимо тяжело. Я медленно шел по улице Мира, невдалеке от Вандомской площади, и толстая консьержка, стоявшая у дверей, прокричала мне в самое ухо: «Вот счастливая парочка, не правда ли?» Я поднял глаза — и застыл на месте. Валери с мужем. Они шли счастливые, нарядные, красивые, им ни до кого не было дела. Мне было так больно, что я не мог двинуться с места и все стоял, а консьержка трубила мне что-то в ухо, и я думал, что хорошо бы сейчас умереть или хотя на время потерять сознание,

сойти с ума, — что угодно, лишь бы не эта боль. Совсем так же, как тогда, в лагере после побега. Нас подвесили вниз головой, язык распух и душил меня, голова разрывалась от боли и казалась горячей и громадной, втрое больше всего тела, и я хотел умереть или потерять сознание, но мне не удавалось ни то, ни другое. И тогда, на улице Мира, я не упал в обморок и не умер от боли, а неподвижно стоял и вдруг услышал далекий, но ясный голос Констанс: «Клод! Клод! Где ты, отзовись, отзовись!» Тогда меня это не удивило и не обрадовало, но боль немного утихла, я прошел дальше, к Вандомской площади, и попробовал ответить Констанс. Она уловила мой ответ и немного успокоилась. Я подозвал такси и поехал домой. Только по дороге я сообразил, что произошло, — и так обрадовался, что забыл о недавних мучениях...

Да, Констанс... Что было бы со мной, если б я не встретил ее? Она не права, я вовсе не искал в ней черт Валери, меня привлекали ее цельность, ее спокойная сила и ясность... Впрочем, кто знает... Констанс понимает, возможно, больше меня самого. Ведь были такие дни, когда ее спокойствие казалось мне слишком невозмутимым, почти мистическим, лишенным человеческого обаяния. В самой сильной и верной любви есть свои черные дни, есть полосы кризисов, и я не раз уже думал, что Констанс рассудочна, равнодушна, что ее спокойствие опирается не на силу, а на отсутствие эмоций, что нет в ней истинной доброты, нет живого огня. Было и такое, и она это знала. Не путем телепатии; ведь она раньше, до катастрофы, могла воспринимать мои мысли и чувства либо в момент какого-то очень высокого их напряжения — как при встрече с Валери, — либо когда я сам сознательно передавал ей что-то на расстоянии. Просто она всегда была внимательней, проницательней, тоньше...

Робер часто подсмеивался надо мной, уверяя, что в моем организме явный избыток женских гормонов и психика у меня скорее женская, чем мужская. Может быть, это и так; ведь принято считать, что повышенная чувствительность, острая потребность в любви и дружбе, в опоре и защите — это чисто женские черты. У меня они, видимо, существуют от рождения; то, как сложилась моя жизнь, в одинаковой мере определяется и внешними обстоятельствами и особенностями моей психики.

Да, война дважды разрушала все вокруг меня; но будь у меня другой характер, я вел бы себя по-другому. Прежде всего я мог не реагировать на все так резко и бурно. Мало ли у кого распадалась семья в наше время, и далеко не все делают из этого трагедию. Тем более что у меня все складывалось не так уж плохо. Отец всегда старался помогать мне — это мать отказывалась от помощи, потому мы с ней так и бедствовали, — а потом Женевьева сразу приняла меня, как родного сына. Потеряв Валери, я тут же встретил Констанс, идеальную жену и подругу.

Выходило внешне так, что я даже выигрывал от этих перемен. Если б отец остался с моей матерью, я вряд ли получил бы образование; если б мы продолжали жить с Валери, я не смог бы так много и хорошо работать, как с Констанс, которая сняла с меня все житейские заботы, никогда не жаловалась на нехватку денег, даже если их было явно недостаточно, и обеспечила мне то душевное равновесие, которого мне всегда не хватало. И все же... все же я не мог ничего забыть, я не умел приказать себе — хватит, брось самокопание, не будь слюнтяем.

Робер еще потому так говорит, что наши с ним взаимоотношения с самого начала строились по принципу: слабый ищет защиту у сильного, а тот милостиво снисходит. Ну, может, и не совсем так, ведь Робер искренне любил меня, а в лагере дружба и любовь ценятся куда выше, чем в обычных условиях. Но о Робере-то уж не скажешь, что у него есть женские чер-

ты в психике! Он воплощение мужественности и внешне и по характеру. А я...

К сожалению, я не наделен другими чертами, тоже причисленными к женским: у меня нет той чуткой внимательности, которая действительно присуща большинству женщин. Или, вернее, она есть, но не всегда включается. Иногда я вообще ничего не замечаю вокруг себя — и не по недостатку интереса, вовсе нет! Констанс всегда уверяла, что это от занятости, от увлеченности работой, и я принимал это объяснение — лестно и удобно. А на самом деле — кто знает?

Во всяком случае, в истории с Натали эта моя ненаблюдательность едва не привела к трагедии. Едва не привела? Или трагедия все же произошла? Я так и не знаю, как об этом судить. Констанс и Робер — каждый со своей точки зрения — считают, что я не имел права так поступать. Возможно, они правы... Если б я мог с ними посоветоваться... Но Констанс тогда была в Лионе у родственников. Робер улетел в Америку на конгресс нейрофизиологов. И тут появился этот проклятый Жиль.

Сначала я услышал, как Натали говорит с кем-то по телефону, и впервые понял, что моя дочь — взрослая. И что она влюблена. Этот тихий, с нежным придыханием, смешок: «Ах, Жиль...» Я молча отошел от двери кабинета. Потом, за чаем, спросил: «С кем это ты говорила?» Натали ничуть не смутилась, только перестала улыбаться: «С одним знакомым». Я не решился больше спрашивать, но, конечно, встревожился. Натали своенравная, скрытная, самолюбивая. Впервые я пожалел о том, что побоялся проводить опыты с детьми. Психика Натали была для меня подлинным «черным ящиком». Я рассеянно глотал чай и, делая вид, что читаю газету, исподтишка наблюдал за Натали. Да, она взрослая и, пожалуй, красивая девушка. Во всяком случае, «стильная», как говорится. Сейчас в моде именно такие — длинноногие, с тонкой талией, с пышной шапкой взлохмаченных волос, с лицом, которое будто состоит лишь из глаз да губ.

Поймав мой взгляд, Натали выпрямилась, как пружинка. Тонкий алый свитер обтягивал ее прямые плечи.

— Ты хочешь знать, кто такой Жиль? — слегка заносчиво спросила она.— Он работает в автомобильной фирме, рекламирует машины.

Я не очень понимал, что это значит, — нечто вроде коммивояжера, что ли? Но в ту минуту меня занимало другое: почему Натали это сказала чуть ли не через полчаса? Я ведь ничего больше не спрашивал. Мое молчание вряд ли могло ее смутить — я за завтраком всегда читаю газету, тем более в воскресенье. Желание пооткровенничать? Я этого за Натали даже в детстве не замечал. Интуиция? Возможно. Но что, если она ответила на мой внутренний вопрос? Я ведь все время думал об этом Жиле и даже разглядывал Натали с точки зрения постороннего мужчины — какое она должна производить впечатление?

Я безразлично пожал плечами и уткнулся в газету. Но мысленно спросил: «Ты давно с ним знакома?» Я повторил этот вопрос три раза и услышал запинающийся ответ Натали: «Недавно. Я с ним знакома всего неделю».

И вдруг Натали закричала:

— Я не хочу, слышишь, не хочу!

Я отложил газету и стал глядеть в глаза Натали. Она прикусила губу.

— Чего именно ты не хочешь? — спросил я.— И почему?

В общем на меня это мало похоже — такое поведение. А тем более с Натали — она всегда была такой нервной, излишне чувствительной, я-то ее понимал лучше других и не хотел бы мучить. Но тут у меня появилась какая-то не очень ясная идея — вдруг удастся избавиться от этого Жиля

хотя бы до приезда Констанс, а потом пускай она рассудит, как быть. Ну, а к тому же я поддался импульсу исследования, хоть и знал, что все эти занятия — палка о двух концах.

— Ты не должен читать мои мысли! — выпалила Натали.— Это... некрасиво!

Я усмехнулся: меня позабавило, как все перепуталось в ее восприятии.

— Но я вовсе не читаю твои мысли, девочка. Ты все говоришь вслух.

— Да... Это верно! — растерянно согласилась Натали.— Но ты... ты приказываешь мне. Я же чувствую. Это гипноз! Ты не должен этого делать! Ты... ты не имеешь права, нет, серьезно. Ты даже не знаешь Жиля, а уже ненавидишь его.

— С чего ты взяла? — сказал я, понимая, что она в общем правильно все воспринимает, хоть и преувеличивает: я не мог ненавидеть неизвестного мне Жиля, но хотел бы от него избавиться; впрочем, для Натали тут существенной разницы нет.

Натали замолчала и долго глядела на меня. Я потом думал: почему эта внутренняя связь между нами возникла так внезапно? Ведь я боялся посвящать детей в нашу связь с Констанс и никаких опытов с ними не проводил. Правда, я знал, что, если они будут в опасности, я это увижу на каком угодно расстоянии, — знал и проверил на фактах. Но что создало наш контакт с Натали? С ее стороны была влюбленность, сразу резко изменившая ее внутренний мир. С моей — крайняя усталость (я заканчивал серию очень сложных опытов с животными, один лаборант к тому же срочно уехал к больной матери, и вслед за этим заболел другой, так что у меня остался всего один помощник) и тоска по Констанс — мне всегда было тяжело расставаться с ней, я чувствовал себя словно черепаха, лишенная панциря. В ночь под воскресенье я рассчитывал отоспаться по крайней мере, но почему-то напала бессонница, я проворочался до рассвета, потом глотнул снотворного, а Софи меня разбудила, как мы уговорились с вечера, в десять часов. Я вышел к завтраку с тяжелой головой и по дороге услышал этот самый телефонный разговор. В общем какие-то сдвиги в психике были и у меня и у Натали.

Я понимал: эта мысленная связь именно потому так испугала и раздосадовала Натали, что совпала с ее первой «взрослой» влюбленностью, с таким периодом, когда потребность в тайне особенно возрастает. Она боялась, что я читаю ее мысли. Но это было не совсем так. В ту минуту, во всяком случае, я примерно догадывался, что она сейчас чувствует, просто на основании собственного опыта. Потом я стал добиваться большего уже сознательно.

Жиль вскоре появился в нашем доме, и я решил, что мои инстинктивные опасения оказались справедливыми. Это был высокий черноволосый парень, очень элегантный по теперешним понятиям, с уверенными, чуть небрежными манерами опытного соблазнителя. Я таких всегда ненавидел. Может быть, из зависти, уж не знаю. Хотя меня никогда не прельщала слава покорителя женских сердец. Думаю, что, если б какая-нибудь фея одарила меня этим свойством, я скорее счел бы себя несчастным. Но рядом с этими уверенными, элегантными, неотразимыми парнями я все-таки чувствовал себя ничтожеством. Валери расхохоталась, когда я признался ей в этом: «Да зачем тебе?.. Разве ты донжуан?» Даже ей я не мог объяснить, в чем тут дело. Да и сам не до конца понял.

Так или иначе, Жиля я действительно возненавидел с первого взгляда. Но прежде всего потому, что понял, какой властью он пользуется над Натали. Он был старше ее всего на семь лет, а выглядел зрелым, опытным мужчиной, и Натали беспрекословно подчинялась его молчаливому взгля-

ду, легкой улыбке, движению руки. Мне стало по-настоящему страшно, когда я увидел из окна, как они идут по улице и как Жиль целует ее. В эту минуту я решился.

Писать Констанс, советоваться с ней было невозможно, да и медлить не следовало. Я подсыпал Натали в вечерний чай дозу снотворного и ночью провел с ней сеанс гипнотического внушения. Утром она сидела молчаливая, тихая, глаза у нее были испуганные, и у меня сжалось сердце. Вечером пришел Жиль, и я, страдая, наблюдал, как мечется бедная девочка между его и моей волей. Под конец она разрыдалась и выбежала из комнаты. Тогда Жиль подошел ко мне.

— Вы думаете, это хорошо — так поступать? — спросил он.

Я пожал плечами. Он продолжал:

— Я вообще не понимаю, что вы имеете против меня. Я вас чем-нибудь обидел? По-моему, нет.

— Зачем вам Натали? — резко спросил я.

Он снисходительно усмехнулся.

— Вы, старшее поколение, вечно задаете какие-то дикие вопросы. Зачем это действительно парню в моем возрасте может понадобиться девушка?

— Вы хотите на ней жениться? — не обращая внимания на его тон, спросил я.

— Не знаю еще. Возможно. Я не знал, что вы торопитесь выдать ее замуж. Она ведь так молода.

Меня разозлили не столько слова, сколько снисходительная, поучающая интонация, ленивая наглость, с которой он это произнес. Я встал и довольно нелепо выкрикнул:

— Убирайтесь вон из моего дома!

«Господи боже мой! — подумал я тут же.— Что за идиотская ситуация! Благородный отец и коварный соблазнитель — прямо из старинной мелодрамы!» Если б Жиль реагировал как-нибудь иначе, я, наверное, просто сдался бы. Но он возразил тоже повышенным тоном, что привлечет меня к ответу «за все эти штучки с гипнозом», и тут я совсем разъярился — вероятно, оттого, что чувствовал себя виноватым.

Вспышки такой бешеной ярости у меня бывают крайне редко, и я сам их побаиваюсь, потому что теряю власть над собой. Силы у меня тогда удесятеряются. В двенадцать лет я чуть не убил человека. Я был худеньким невысоким парнишкой, а мой противник, шестнадцатилетний силач Жан, слыл опытным драчуном. Но он грязно обругал Женевьеву, и вдруг у меня перед глазами пошли красные круги. Я даже не помню толком, как все случилось. Я поднял его на воздух и швырнул с такой силой, что он скатился вниз по крутым ступеням бельвилльской улички и два месяца провалялся в больнице с переломанными ребрами и пробитым черепом. Отчасти из-за этого отец и Женевьева продали бистро и перебрались в XIV округ, на улицу Алезиа, распустив слух, что мы вообще уезжаем из Парижа: они боялись, что Жан со своей компанией убьет меня, как только выйдет из больницы...

Я поднял тяжелый дубовый стул и взмахнул им над головой.

— Убирайся немедленно, подонок! — крикнул я.

Жиль понял, что дело нешуточное, и попятился к двери. На пороге стояла Натали. Я еле различал белые пятна их лиц — перед глазами плясали красные круги, застилая все. Но я услышал, как Жиль властно сказал:

— Натали, ты идешь со мной!

— Нет! — крикнул я.— Нет! Натали, не смей!

Я увидел, что Натали застыла на пороге. Потом она зашаталась и упала. Красные круги прекратили свою бешеную пляску. Я тяжело опустил стул.

— Видите, что вы наделали! — неожиданно мягко и растерянно сказал Жиль.

Стоя на коленях, он поддерживал Натали — она лежала с закрытыми глазами, белая как мел.

— Ладно, вы все-таки уходите,— пробормотал я.— Дайте ей успокоиться.

— Я-то уйду, раз вы настаиваете.— Он поднял Натали, уложил ее на диван.— Но разве так можно поступать, если вы ее любите? О ней нужно думать, а не о себе, ведь верно?

— Ладно, ладно, идите,— повторил я, и он ушел, а я позвал Софи.

Может, он вправду был совсем неплохой парень. По крайней мере так уверяла Констанс. Но уж очень все неудачно сложилось.

Натали вскоре пришла в себя, но весь день пролежала молча, отвернувшись к стенке. Я решил было ночью внушить ей, чтоб она немедленно уехала в Лион к Констанс, но вечером у нее было уже около сорока градусов, она бредила. Врач сказал, что это вирусный грипп. В девятнадцатом веке это назвали бы нервной горячкой, тем более что болезнь дала осложнение — менингит.

Констанс немедленно приехала, не успев даже получить моей телеграммы,— она почувствовала беду. И начала распутывать все, что я так безнадежно и опасно запутал.

Мало что можно было сделать в таких обстоятельствах. Констанс подолгу беседовала и с Жилем и с Натали, когда той стало получше. Я уж готов был примириться с этим парнем, но Констанс объяснила мне, что Жиль из-за всей этой истории охладел к Натали.

— У них ведь все только начиналось — во всяком случае, у него. А тут какие-то нелепые трагедии, гипноз...— говорила она, не глядя на меня.— Ну, поставь себя на его место... даже себя. А он парень трезвый и бестолковых трагедий инстинктивно избегает. Да и Натали сейчас очень подурнела.

Действительно, Натали, бледная, осунувшаяся, с обритой головой, ничуть не была похожа на ту «стильную» девушку, которую я недавно рассматривал через стол поверх развернутой газеты. У меня сердце болело, когда я входил в палату и видел ее большие, неподвижные, равнодушные глаза. Она по-прежнему не сказала мне ни слова, а с Констанс говорила только наедине, и то неохотно.

— Что же делать с Натали?— спросил я.— Я понимаю, что во всем виноват... Но ведь тебя не было! И что теперь? Как нам быть?

Констанс долго обдумывала ответ. Он оказался совсем неожиданным для меня. Она считала, что дня через три-четыре, когда Натали немного окрепнет, надо будет проделать во сне сеанс гипноза и внушить ей, чтоб она разлюбила Жиля и не думала об этой истории вообще. Может, понадобится и не один сеанс, но это необходимо, иначе она будет очень страдать и возненавидит меня.

— А ты не думаешь, что это опасно?— спросил я.

— Из двух зол приходится выбирать меньшее,— вздохнув, ответила Констанс.

Он волнуется... очень волнуется... Но ведь об этом надо помнить, иначе... Или, может, не стоит так долго?.. Слишком уж много у него болезненных наслоений.

Конечно, все мы люди искалеченные, и Робер тоже, хоть он и держится лучше. Я так и не понимаю, как могла Констанс полюбить меня, особенно тогда, в сорок пятом году. Я ведь был совсем сумасшедший после лагеря и после разрыва с Валери. Правда, в присутствии Констанс я становился спокойней, мягче, даже смеялся, но это было так внешне, так ненадежно! Она не могла этого не чувствовать, да и не только она. Стоило мне улыбнуться, как губы начинали непроизвольно дергаться, улыбка походила на судорогу, и я отворачивался смущаясь.

Я долго не понимал, не решался понять, что Констанс меня любит. Это было невозможно, невероятно. Я и сам не мечтал об этом: просто ходил к ней по вечерам, сидел, и мне всегда было очень трудно уходить. Да и куда уходить? Робер женился на женщине, которая ждала его все шесть лет: он сам был несколько смущен этой верностью и объяснял, что от Франсуазы он этого никак не ожидал. «Все у нас было, понимаешь, как-то наспех. Не успели толком переспать, а тут война... Правда, она заявила, что будет меня ждать, но мало ли что говорят в таких случаях...» Оставаться с молодоженами в одной квартире не годилось, а мне — тем более. Я снял комнату в паршивенькой гостинице на улице Бернардинцев, потому что это было рядом с домом, где жила Констанс, и мы начали проводить вместе все вечера.

Она неохотно рассказывала о себе; я знал только, что она круглая сирота, работает в министерстве юстиции стенографисткой.

Собственно, насчет министерства юстиции я знал с самого начала; там я с ней и познакомился. Пришел проведать Марселя Рише, моего лагерного дружка, и увидел Констанс: она шла навстречу мне по длинному коридору, и волосы ее светились, как ореол, каждый раз, когда она проходила мимо окна. Когда она прошла, я молча повернулся и пошел за ней — почему, сам не знал. Я никогда не умел знакомиться с девушками вот так, на ходу, а уж после лагеря и вовсе разучился разговаривать как следует, ухаживать... Впрочем, это не то слово, я не собирался тогда ухаживать за Констанс и вообще не знал, что я собираюсь делать. Просто вошел в комнату вслед за ней и самым дурацким образом уставился на нее. Она сначала пыталась выяснить, что мне угодно, потом мило улыбнулась и сказала: «Простите, у меня срочная работа»,— и принялась очень быстро стучать на машинке.

Наконец я собрался с силами и встал. Молча постоял с минуту — мне казалось, что уходить нельзя, что потом я вернусь и, как в сказке, не будет уже ни этой комнаты, ни светловолосой девушки за машинкой. Но Констанс все так же приветливо и безлично улыбнулась мне, и я вышел, хотя каждый шаг давался мне с трудом.

Я говорил с Марселем, смотрел на страшный багровый шрам, наискось рассекавший его лицо, и вспоминал, как он лежал в ревире, до полусмерти избитый в каменоломне, и еле слышно хрипел: «Париж, я еще увижу Париж, я увижу Париж, я не умру!» А лицо у него было залито кровью, и глаз затек и распух, и все тело было исполосовано плетью, перевитой проволокой,— плетью капо Гейнца Рупперта, истоптано тяжелыми подкованными сапогами, и мы не знали, доживет ли он до утра. А он дожил, и я дожил, и Робер, и мы все унесли с собой эту страшную память, и можно ли человеку, на чьей душе неизгладимая печать лагеря смерти, тянуться к молодому, здоровому, спокойному существу? Зачем? Чтоб душевно омолодиться за чужой счет, ценой чужого спокойствия? Престарелый царь Давид клал себе в постель молоденьких девочек, чтоб они согревали его кровь,— ну что ж, на то он и царь, да и власть его простира-

лась лишь на тело, а не на душу. Девушки уходили и с насмешливой улыбкой вспоминали о старике, которого уже собственная кровь не греет, а он все цепляется за жизнь...

И все равно я спросил:

— Послушай, Марсель, а кто эта высокая блондинка? Которая работает в четыреста тридцать шестой комнате?

Я старался говорить небрежно, и все же Марсель сразу понял.

— Вот не знал, что ты интересуешься девушками! Ты какой-то, знаешь ли, не от мира сего... Или это в лагере так казалось, черт его знает... Ну, объект ты выбрал не очень-то удачный. Констанс — девушка серьезная, ей не до флирта... — Он поглядел на меня.— Да ты что, Клод? Ты всерьез, что ли?

Я молчал и глядел на него. Он встал.

— Ну, пойдем, я тебя познакомлю. А там уж смотри... — он сделал неопределенный жест.

Мы пошли к Констанс, Марсель меня официально представил. Я неловко пробормотал слова извинения, Констанс опять улыбнулась, мило и безлично. Она и сейчас умеет так улыбаться, если хочет поскорее отделаться от собеседника. В принципе это хорошо действует, я наблюдал; но на меня тогда ничто не могло подействовать.

Это не было ощущением яркого счастья, праздника, пылкой влюбленности, как с Валери. Просто я боялся уходить от Констанс, боялся, что больше ее не увижу,— и тогда конец мне, я не вытяну. Чего я от нее хотел, от этой чистенькой, беленькой, ласковой и замкнутой девочки, я и сам не понимал. Вначале я вовсе не думал на ней жениться — может потому, что никак не рассчитывал на ее согласие. Соблазнять ее я тем более не собирался. Мне даже не приходило в голову поцеловать Констанс. Вообще я вначале относился к ней не как к женщине, а как к источнику света, тепла, спокойствия — всего этого так не хватало мне тогда!

И вот вечер за вечером я сидел в ее чистенькой, очень скудно обставленной комнате, смотрел, как она ходит, заваривает чай, как она штопает чулки. Однажды я принес ей две пары нейлоновых чулок — выменял у американца за уникальную лагерную зажигалку из снарядной гильзы Эту зажигалку мне подарил чех Франтишек, я его вовремя предупредил об опасности — у в и д е л его имя в списке для газовой камеры на столе у начальника лагеря, и ребята дали ему номер мертвеца, перевели в другой барак — ну, как обычно делали в таких случаях, если удавалось заранее узнать. Я тогда уже научился в и д е т ь...

Констанс не испугалась и не смутилась, когда я принес ей чулки. Я даже удивился — думал, она будет отказываться, рассердится. Но она улыбнулась — по-хорошему, не той, официальной улыбкой — и сказала: «Это замечательно. Мне так надоело штопать чулки! А нейлон, говорят, очень прочный».

После месяца ежедневных встреч мы поразительно мало знали друг о друге. Я сказал ей, что был в лагерях,— да и Марсель представил меня: «Мой друг по лагерю». Сказал, где работаю, где живу. О Робере рассказывал. Один раз заговорил об отце и Женевьеве, но о матери сказал только, что она умерла. И это все. О лагерях и о Валери мне было, пожалуй, одинаково трудно говорить, у меня в первые годы даже температура поднималась до сорока градусов, если я начинал рассказывать. О телепатии я попросту побаивался упоминать, тем более что у меня эти способности вдруг исчезли, и я склонен был думать, что они могли проявляться так ярко лишь в лагерной обстановке. Ну, а если исключить три эти темы, рассказывать мне было особенно нечего. И как-то не хотелось. И Кон-

станс тоже не хотела говорить о себе. Я спросил, давно ли умерли ее родители. Она коротко ответила: «В сорок втором году»,— и надолго замолчала. Я больше не решился расспрашивать. Я вообще болезненно не люблю спрашивать. Мне даже трудно расспросить о дороге, если я не знаю, куда идти. Это у меня с детства. Отец считал, что это от избытка самолюбия. Вряд ли. По-моему, от робости.

Через неделю после свадьбы мне приснился лагерь. Тогда он мне часто снился, да и сейчас еще случается. Приснился допрос. У меня все еще болели ребра, переломанные в 1940 году, и почки, отбитые в 1943-м. Так что кошмары были очень реальными, я опять задыхался от боли и ужаса и опять кричал: «Больше не могу, убейте меня, убейте меня, я ничего не знаю!»

Это я всегда кричал, пока мог выговаривать слова, хоть невнятно. Потом я выл, хрипел — и в особенно счастливых случаях терял сознание. Вначале меня отливали водой, и все повторялось: нестерпимая боль, нечеловеческий крик, раздирающий рот, разрывающий глотку, и опять спасительный провал в черноту. Потом, наконец, меня оставляли в покое. Робер уже без шуток говорил, что и в этом я похож на женщину — внешне слабый, тщедушный, а выдерживаю то, что не под силу атлетам. Это верно — и сознание я терял так редко, так ужасно, невыносимо, беспощадно редко!

Я двадцать часов висел на вытянутых, нестерпимо болящих руках и хрипел: «Убейте, убейте меня, я больше не могу!» Но я это вынес. Меня пытали неделю подряд, с перерывами по три-четыре часа, не больше. Делали все, на что у них хватало фантазии и техники: прижигали кожу сигаретами, загоняли длинные раскаленные иглы под ногти, стегали плетьми по часу, по два, по три, обливали водой из ведра, и снова ложились на спину не удары, нет, а будто падали горящие балки, переламывали мне хребет, переламывали изо всех сил и все никак не могли доломать, и я беззвучно кричал: «Скорее, только скорее, я больше не могу, убейте меня, убейте меня скорее!»

Самое страшное было, когда меня и Робера пытали одновременно, в двух разных камерах. Мы оба испытывали двойную боль, двойной ужас, двойное умирание. Как мы выдержали, не понимаю. Позднее мы договаривались, чтобы не попасть в одно время — телепатически договаривались,— перестукиваться мы не могли, сидели на разных этажах. Это было трудно, очень трудно устроить. Однажды мне удалось внушить своему следователю на расстоянии, что он болен, совсем болен, с сердцем плохо, и он вызвал меня лишь под конец дня, когда Робер уже лежал без сознания в своей камере. В другой раз Роберу сказали в кабинете следователя: «Валяйся тут, мы при тебе допросим другого, потом опять примемся за тебя! Жди своей очереди!» Робер успел передать мне это прежде, чем потерял сознание. Я сейчас же начал внушать своему следователю, чтоб он вызвал меня. Это было очень трудно потому, что я боялся вызова больше всего на свете, и, если б можно было покончить самоубийством, я бы, не задумываясь, воспользовался этим выходом. Но он вызвал меня, и вскоре я хотел лишь одного — поскорее потерять сознание, поскорее, пока Робер не придет в себя, иначе... Кричать я уже не мог, голос был сорван, я хрипел, бормотал и иногда с недоверием слушал: неужели это мой голос?.. Робер все же пришел в себя, и пытка удвоилась, но вскоре это кончилось...

Прошло много времени, прежде чем я научился терять сознание по произволу. И то мне это удавалось лишь тогда, когда давали хоть короткую передышку и я мог сосредоточиться. Я вспомнил «Межзвездного скитальца» Джека Лондона и попробовал повторить его опыты. Но это было не то. Во-первых, получалось слишком медленно — эсэсовцы не давали столько времени; во-вторых, из этого состояния можно было довольно легко вывести. Герою Джека Лондона не загоняли иголок под ногти, его просто встряхивали, пинали, развязывали, и он приходил в себя. Это показывает, что цивилизация продолжает совершенствоваться. По крайней мере в одном направлении. Разве во времена Джека Лондона могли себе представить, что такое газовая камера и крематорий? А через четверть века после его смерти с этим познакомились на личном опыте миллионы людей. Еще лет через пять некоторая часть человечества узнала, как здорово действует даже небольшая атомная бомба, если ее сбросить на город. А теперь все человечество на личном опыте убедилось, что обитателям Хиросимы и Нагасаки 6 августа 1945 года пришлось и вправду нелегко. Впрочем, большинство, наверное, уже не успело осознать этого.

Когда боль превышает силы и уничтожает в человеке человеческое, люди кричат в общем одинаково. Все мы, заключенные концлагерей, узники гестапо, слыхали не раз этот страшный захлебывающийся вой, в котором нельзя уже распознать слов, нельзя узнать знакомого голоса, не всегда можно даже отличить, мужчина это или женщина. Все мы слыхали невнятное бормотанье, всхлипыванье, стоны сквозь горячечный бред, когда человек с телом, превращенным в кровавое месиво, валяется на полу камеры и уже не сознает, где он, продолжается ли пытка или наступила передышка, остался он еще в живых или умирает.

Года три назад мне пришлось лечь в больницу — какие-то лагерные памятки остались, и иногда у меня начинается обострение воспалительного процесса: лихорадка, боли. Ночью мне приснился лагерь, я проснулся в холодном поту, но и наяву не мог отделаться от кошмара. За стеной кого-то пытали. Я сразу узнал это всхлипывающее бормотанье, прерываемое хриплым воем, эти невнятные, бессвязные мольбы, такие бессмысленные, такие трагически-наивные: «Я не могу больше... Я не выдержу... честное слово... я не могу, не могу, лучше убейте меня!» Я с невероятным усилием открыл глаза, ожидая встретить нагой, мертвый свет рефлектора или пересеченный решеткой тусклый световой квадрат тюремного окна. Но в палате царил ровный синеватый свет ночника, делавший все призрачным, я лежал на мягкой, чистой постели и слушал эти невероятные, фантастические в мирной обстановке крики. Я вскочил, кинулся к двери. В коридоре за столиком сидела пожилая сестра милосердия с очень усталым лицом.

— Что... что это? — спросил я.— Крик... почему?

— Сейчас подействует морфий...— тихо сказала она.— Это печеночная кома.

Я вернулся в палату и лег. Крики за стеной становились все глуше, слабее, перешли в жалобное бормотанье, прерывистые вздохи. Я слушал, обливаясь холодным потом, даже сейчас, когда узнал, что это. При печеночной коме сознание помрачнено, и когда к человеку прикасаются, то вся боль, которую он терпит, сосредоточивается именно в том месте, до которого дотрагиваются руки врача. Боль от укола он воспринял как жестокую, бессмысленную пытку... «Сколько ему лет? Может, он тоже лагерник?» — думал я. (Утром я узнал, что он умер; ему было всего двадцать четыре года.)

Итак, мне приснился лагерь, и я стонал во сне, а может, и кричал. Констанс разбудила меня.

— Тебя... пытали?— спросила она незнакомым, сдавленным голосом.

И вдруг уткнулась лицом в подушку и так горько, отчаянно заплакала, что я растерялся. Я просто не представлял себе, что Констанс может плакать,— такая она была ясная и сильная.

— Констанс, милая, ведь это уже прошло... это прошло и больше не повторится,— бормотал я, гладя ее плечи, ее разметавшиеся шелковистые волосы.

Потом я принес воды, она выпила, понемногу успокоилась. Это в первый и в последний раз я увидел ее плачущей. Мы сидели на постели, обнявшись, Констанс прижималась ко мне, все еще неровно дыша от рыданий.

— Ты прости, Клод,— сказала она наконец.— Это из-за тебя... И еще из-за родителей. Они ведь погибли в тюрьме Френ, и мне рассказывали, как их пытали... вместе, нарочно, чтоб им было тяжелей... чтоб заставить их заговорить... Мне рассказывала женщина, которая сидела в одной камере с матерью. Но они никого не выдали.

Только в эту ночь я узнал, что Констанс, как и ее родители, работала в подполье, что она была связной, ездила в другие города, перевозила листовки и гранаты, передавала инструкции.

— Почему ты мне раньше ничего не сказала?— спросил я.

Констанс ответила застенчиво и чуть удивленно:

— Но ведь ты не спрашивал... Я думала, что ты знаешь обо мне от Марселя Рише... и что тебе тяжело вспоминать обо всем, что связано с войной...

Вряд ли есть хоть что-нибудь в моей жизни, о чем Констанс не узнала после этого. Мне вдруг отчаянно захотелось рассказать все, выговориться, самому понять, что и как было со мной. Это был почти сплошной монолог: Констанс слушала, бледная, спокойная, и я знал, что она все понимает. Иногда я спрашивал ее: «А ты? Расскажи о себе!» Она говорила, но скупо и неохотно. Я шел на уловки — рассказывал о каком-нибудь дне своей жизни и добавлял: «Это было такого-то числа, такого-то месяца. А что было с тобой в этот день?» Иногда Констанс начинала рассказывать:

— Ах, девятое октября сорок второго года... В этот день я поехала в Лион... В поезде ко мне придрались полицейские, будто у меня документы не в порядке... В Лион мы прибыли вечером, и меня до утра продержали в камере... Там были две воровки, но они ко мне отнеслись очень хорошо и все советовали, чтоб я побольше плакала, когда меня будут допрашивать. Но утром меня допросил комиссар и выпустил. Даже обругал полицейских: «Свиньи, мучают детей!» Правда, они зря придрались, документы у меня были в порядке. А потом уж все в Лионе прошло хорошо.

Констанс совсем иначе воспринимала все, что ей пришлось пережить, даже гибель отца и матери. Для нее это было борьба за идею, битва против фашизма. Гибель в этой битве была хоть горькой, но почетной; жизнь вне борьбы — бессмысленной и жалкой. Ее отец был коммунистом, участвовал в испанской войне; она росла в атмосфере политических споров, борьбы во имя политики, подвига во имя борьбы, и для нее все это казалось нормальным и естественным. Кстати, ее молчаливость, нежелание расспрашивать и рассказывать, ее удивительная выдержка — все это было результатом не только врожденных свойств, но и воспитания в определенной среде.

Я и сейчас не могу понять, как это Констанс вышла замуж за меня,

родила мне детей, отошла от политической жизни,— не потому, что я был против политики, вовсе нет, просто ее поглотили заботы обо мне и о детях. Конечно, большую роль тут сыграло то, что я был в лагерях и она меня причисляла к борцам, к людям ее окружения, ее душевного склада (вот, пожалуй, единственная польза от этих страшных пяти лет!). Я понимал это и чувствовал себя неловко, будто самозванец.

Но я ничего не мог тогда объяснить Констанс. Она спокойно улыбалась и говорила:

— Но ведь это правда, что ты участвовал в организации побега? Правда, что, когда вас так ужасно пытали в гестапо после провала, ты никого не выдал? Правда, что ты и в Маутхаузене продолжал работать в лагерной организации и сделал очень много?

Я пробовал возражать:

— Но, дорогая, это все внешнее. А внутренне я вовсе не способен бороться. И если б не Робер...

Констанс отвечала:

— В борьбу многие вступают из личных побуждений: любовь, дружба, семейные связи. Что ж из этого? Вот, например, моя мать: она приняла участие в борьбе из любви к мужу. Разве это порочит ее? Разве она не делала все, что могла, и не погибла, как героиня? Разве к великой цели ведет лишь один путь?

Что я мог на это сказать? Со своей точки зрения Констанс была права. Но разве действительно важны лишь действия, а побуждения безразличны? Может быть, к цели ведет и не один путь, а множество параллельных и переплетающихся между собой, но ведь вопрос и в том, что считать целью!

— А что же было твоей целью?— серьезно выслушав все это, спрашивала Констанс.

И это ставило меня в тупик. В самом деле, как определить мою цель? Разве я хотел чего-то другого, не того, что Робер? Разве мне не хотелось уничтожить фашизм, прекратить войну? Боже, да кому этого не хотелось!

— Может быть, дело не в цели, Констанс,— соглашался я.— Дело во мне самом. Я хотел бы стать таким, как Робер и другие, но не могу. Ну, ведь бывает же сплошь и рядом, что человек занимается делом, для которого он совершенно не годится. Потому что так складываются обстоятельства, понимаешь? Вот так было и со мной в лагере. И я без ужаса не могу об этом вспомнить!

— О чем — об участии в лагерной организации?

— Вообще о лагере! Обо всем, что с ним связано! Если б я узнал, что меня снова отправляют в лагерь, я бы покончил самоубийством! Я замираю от ужаса, когда вспоминаю, что там было, я теряю всякое мужество!

— Но ведь всем страшно вспоминать такие вещи...

— Значит, не всем одинаково... Робер — он другой, он ничего не боится. Вот он — герой, борец, а я... я невольный участник борьбы. Я трус, пойми это! Ты принимаешь меня за героя, а я всего лишь жертва. Не ставь меня на пьедестал, я там все равно не удержусь.

— Видишь ли, герои бывают разные,— отвечала Констанс.— Почему ты считаешь, что герой — это тот, кто ничего не боится? Я даже не знаю, есть ли на свете люди, которым так уж никогда и не страшно. Ну, я понимаю, что иногда можно совсем не бояться смерти. Но не бояться пыток — это может только помешанный. Ты слишком честен, Клод, и слишком многого от себя требуешь, в этом все дело. Не надо так. Может быть, это и благородно, но ты так мучаешь себя! Смотри, как получается:

ты хотел того же, что все хорошие люди, и делал то же, что они. А сейчас ты доказываешь мне, что ты не такой, как они, потому что ты боялся. Ну, неужели ты думаешь, что Робер не боялся? Я его мало знаю, это правда, но разве он не человек? Может быть, он скрывал свой страх, чтоб другим было легче...

— Вот видишь! Ты сама думаешь...

— А что я думаю? Разве ты выказывал свой страх? Конечно, нет. Иначе тебе не позволили бы участвовать в таких важных делах.

Я старался вспомнить себя в минуты ожидания опасности. Кто знает, может, Констанс и права со своей ясной логикой борца. Действительно, если б товарищи по лагерю понимали, что я испытываю, они бы меня отстранили, и все. Наверное, я невольно вел себя, как все, подстраивался к ним... Наверное...

В конце концов я перестал спорить с Констанс. Какой в этом был смысл? Я даже перестал понимать, кто из нас прав. Мне казалось, что герой — это тот, кто идет к цели, несмотря на все препятствия, ясно видит эту цель, считает ее главной в жизни. А я? У меня была другая цель, чем у них,— поскорее вернуться домой, увидеть Валери, работать, жить... И вот я вернулся. Чем я занимаюсь? Личными проблемами, и они меня больше всего интересуют, так уж я устроен. Теперь, когда у меня есть Констанс, когда начала затихать тоска по Валери, я буду с удовольствием работать. Меня многое интересует в науке. Но политика? Боже мой, ведь я в ней по-прежнему ни черта не понимаю! Я знаю лишь одно: что я до безумия боюсь новой войны, а она опять угрожает миру. Я с удивлением и завистью гляжу на многих моих товарищей по лагерю — они так и рвутся еще подраться. Ну, вот они и есть настоящие мужчины... А я... что ж, прав Робер, у меня в характере слишком много женских черт. Не могу же я себя переделать!

О чем он думает? Констанс... лагерь... пытки... Констанс... Валери... почему-то лаборатория... сцена митинга... лица Марселя и Симона... Я не могу поймать ход его рассуждений...

— О чем ты думаешь?— спрашивает Робер, появляясь на пороге библиотеки с подносом в руках.— Констанс прислала тебе кофе, давай выпьем.

Мне вдруг становится почему-то жутко. Кофе, он сказал? А когда я ел и пил в последний раз? Когда вообще кто-нибудь из нас ел, вот за эту неделю? Почему я не могу вспомнить ни одного обеда, ужина, завтрака? Почему?

— А мы сегодня разве обедали?— неуверенно спрашиваю я Робера.

Он ставит поднос с чашками и кофейником на низенький журнальный столик, садится рядом со мной на диван, берет мои руки в свои большие теплые ладони и смотрит мне прямо в глаза. Я отвожу взгляд.

— Конечно, обедали, чудак!— убедительно говорит он.— Разве ты не помнишь? Констанс приготовила чудесное рагу, даже не скажешь, что оно из консервированной говядины. И компот из клубники. Как же это ты забыл, а?

Да, теперь я ощущаю на языке вкус острого соуса — Констанс прекрасно готовит соусы, не хуже Софи!— и аромат клубники... Действительно, как странно, что я забыл... Мы обедали и сидели все вместе... Да, наверное, все вместе...

— Послушай,— говорит Робер,— что это ты все время сидишь один? О чем ты думаешь?

Действительно, почему я так долго сидел один? И думал о прошлом —

словно оно имеет теперь какое-то значение! Как странно... Я опять поднимаю глаза на Робера: почему мне стало так трудно, физически тяжело выносить его взгляд?

— Так о чем же ты думаешь?— повторяет Робер.

Я делаю безразличный жест.

— О чем можно сейчас думать? Так... вспоминал прошлое...

— Ты прав,— неожиданно соглашается Робер.— Сейчас лучше всего вспоминать прошлое. Мы пока обречены на бездействие и ожидание. Но давай еще подумаем вот о чем: чего мы можем ждать от будущего, мы, такие, как мы есть? Ну, если спасемся, конечно... во что я верю! Верю!— Он предостерегающим жестом поднимает руку.— Ну, ну, я понимаю, ты не так уверен, как я, это даже естественно — ведь ты столько тянешь сейчас на себе... Но все же и ты не собираешься, я надеюсь, кончать самоубийством, хотя бы потому, что ты и нас за собой потащил бы. Итак, давай подумаем: кто мы, случайно уцелевшие? Ведь согласись, что это случайность: твои уникальные свойства, наша почти мистическая связь с тобой...

Меня все больше охватывает тревога. Мне упорно кажется, что Робер подсмеивается надо мной. Но это же нелепо, кошмарно нелепо! Почему он может смеяться надо мной в такой обстановке? Это бред...

— В конце концов могло быть иначе,— продолжает Робер.— Допустим, что налицо не загадочная телепатическая связь, а вполне реальное, хорошо оборудованное противоатомное убежище. Конечно, такая штука стоит бешеных денег. Но вдруг ты нашел клад, получил наследство от неизвестного родственника — американского миллионера или что-нибудь еще в этом роде. И мы все, вполне естественно, пользуемся твоим гостеприимством...

— Боже, насколько это было бы проще и легче!— вздыхаю я.

— Почему же?— возражает Робер.— Запасы кислорода, воды и продовольствия наверняка лимитировали бы нас куда строже и точнее, чем твоя загадочная и практически неисчерпаемая сила. Я могу, например, предполагать, что ты относишься ко мне совсем иначе, чем к Констанс или к детям, твой мозг работает для меня на каких-то иных волнах, и я вряд ли забираю энергию, предназначенную для них. А воздух и еда для всех одинаковы, и я бы, пожалуй, не решился...

— Ах, Робер, ничего я не знаю и не понимаю!— с отчаянием говорю я.— Может быть, ты и прав... Но я так боюсь, что от одного этого страха с ума сойти можно... а сходить с ума мне ведь нельзя, и поэтому я еще больше боюсь... очень боюсь, что не выдержу. Если ты что-нибудь знаешь, Робер, не мучай меня, помоги!

— Что же я могу знать?— очень серьезно отвечает Робер, не спуская с меня взгляда.— Но поверь моей интуиции, мы дотянем, мы выживем! Ты мне веришь?

— Верю...— И я чувствую, что мне действительно верится. — Верю, потому что я с тобой... ты же знаешь...

— Ну, это ты все вверх ногами ставишь... Но пусть так, если тебе легче со мной, то я очень рад...

Робер явно взволнован и смущен. Странно: его на сантименты не подденешь, да и слишком привык он к тому, что я вечно цепляюсь за него.

— Ладно,— помолчав, говорит Робер.— Давай все же пофилософствуем: что нам еще остается, верно? Так вот, давай сравним наше теперешнее положение с той ситуацией в лагере. Ну, ты знаешь, что я имею в виду: когда ты больше суток не спал и непрерывно напрягал волю, чтобы ви-

деть, слышать и внушать свою волю. Тебе было тяжело, разве нет? Физически куда тяжелее, чем сейчас: ты был страшно истощен, измучен и вдобавок тебя избил этот скот Вернер...

Ничего тут не поделаешь — вот уже случилось самое страшное, что могло случиться и со мной и с человечеством, а я все-таки вздрагиваю от ужаса, вспоминая лагерь. А ведь прошло так много лет, и, когда туристы, разъезжая по Австрии, направлялись от Вены к Линцу, большинство из них даже не думало о том, что здесь, над голубым Дунаем, в живописной холмистой местности, десятки, сотни тысяч людей терпели жесточайшие муки без надежды на избавление и погибали такой страшной смертью, какая мирному жителю и во сне не приснится. Туристы, наверное, с восторгом смотрели на мощные цепи Альп, встающие на горизонте, а мы... для нас не существовала красота гор, мы вглядывались в очертания горной цепи лишь с одной целью — узнать, будет сегодня дождь или нет: ведь в каменоломни надо было отправляться при любой погоде...

Каменоломни... Действительно, с этими моими таинственными способностями обстояло так: чем хуже, тем для них лучше. Чем ужасней была обстановка, тем ярче и разнообразней они проявлялись. В лагере военнопленных я был связан этой незримой связью главным образом с Робером; в гестаповской тюрьме после пыток я научился по произволу видеть других, даже чужих и враждебных мне людей, научился на расстоянии внушать им свою волю... В концлагере я владел своим странным искусством уже достаточно для того, чтоб защитить от многих опасностей себя и Робера, а иногда помочь и другим. Надо было лишь взвесить и оценить все условия и продумать, когда и что можно сделать.

Начал я действовать внезапно, случайно, в минуту крайней необходимости... Впрочем, такие минуты в лагере бывали слишком часто, чтобы... Ну, словом, я увидел — обычным образом, своими глазами, как Робер ударил капо. Мы тогда всего неделю пробыли в концлагере и не успели привыкнуть к его правилам — если в этом аду существовали какие-то правила... Впрочем, старожилы лагеря, поляки, говорили, что незадолго до нашего прибытия порядки в лагере резко изменились к лучшему. Но с меня и этого хватало, боже, кто угодно счел бы это адом, я сам не верю, что смог все это вынести!

Итак, Робер ударил капо, Гейнца Рупперта.

Мы тогда еще не знали, что это обычное развлечение Рупперта. Он подходил к какому-нибудь заключенному и начинал с ним мирно беседовать. Потом вдруг ни с того ни с сего изо всей силы бил его кулаком в лицо. Когда заключенный с трудом поднимался, Рупперт как ни в чем не бывало продолжал беседу. Но заключенный, ожидая нового удара, при первом движении Рупперта невольно вскидывал руки, закрывая лицо. Тогда Рупперт, от удовольствия скаля кривые желтые зубы, наносил жестокий, точно рассчитанный удар под диафрагму. После такого удара подняться было почти невозможно, и Рупперт деловито добивал человека; обычно он просто затаптывал его насмерть своими короткими, кривоватыми мощными ногами. Иногда он изо всей силы бил носком сапога в пах — после этого и топтать уже не приходилось, человек выл несколько минут от нестерпимой боли и умирал.

Поведение Рупперта ошеломило нас не только дикой жестокостью, но и какой-то нелогичностью. Гестаповцы были жестоки не менее любого из лагерных убийц, но цель их действий была ясна: они хотели добыть сведения. Попусту мучить они не стали бы: это не входило в их обязанности. А здесь... Я не сразу понял, что означают слова — концлагерь третьей степени, лагерь уничтожения.

Здесь убивали и мучили не только за проступки против лагерного режима, да и проступки эти были до такой степени несоразмерны с чудовищным наказанием, что первое время мы глазам своим не верили. Не успел сдернуть шапку перед эсэсовцем — смерть; испачкал только что начищенные ботинки в жидкой грязи на полу умывальной, где заключенные в страшной спешке кое-как оплескивают ледяной водой лицо и руки,— смерть. Не обязательно, не по уставу, без всякого церемониала, но очень часто — смерть. Мало ли как может сытая безмозглая тварь, вооруженная револьвером и дубинкой, прикончить истощенного, безоружного, беззащитного человека! Но дело даже не в проступке; дело в том, что людей сюда присылали для уничтожения. Значит, можно уничтожить любого из них в любую минуту, придравшись к любому поводу или вообще ни к чему не придираясь...

Когда я научился видеть, что творится в душе у этих лагерных заправил, я сначала себе не поверил. Я ведь не мог видеть всего: для меня заметны были лишь основные стимулы, самые сильные желания и страсти, а мелкое оставалось неразличимым. Но что делать, когда мелкое как раз и оказывается главным, когда душа вся состряпана из мелочей — из инстинктов, из примитивных страстишек, из тупой, хищнической свирепости?.. Нет, не из ненависти, ненависть — это уже человеческое качество, она доступна пониманию, даже если несправедлива. А эти вооруженные питекантропы не умели ненавидеть. Иногда у них бывали приступы бессмысленной, стихийной злобы, вот и все. А большей частью они убивали и пытали просто потому, что это было выгодно — пусть и не прямо выгодно, но таковы были условия их работы, в лагере это было принято, как принято в обычном, нормальном мире носить чистую рубашку.

Но вначале ни я, ни Робер этого не знали, и именно дикая, зловещая беспричинность действий Рупперта вывела Робера из равновесия. «Ты понимаешь, я просто испугался и потерял власть над собой,— говорил потом Робер.— Я ведь уже знал, что ударить капо — это самоубийство, и вдобавок нелепо жестокое: уж лучше прыгнуть вниз с обрыва каменоломни, чем вытерпеть перед смертью все, что может придумать осатаневший от злобы питекантроп». Может быть, на Робера подействовало и другое: Рупперт расправлялся с чудесным парнем-поляком, лагерным поэтом. Звали его Виктор — поляки и русские произносят это имя с ударением на первом слоге,— и у него были великолепные синие глаза... Так или иначе, а Робер размахнулся и отвесил Рупперту такой удар, что тот грохнулся наземь и некоторое время лежал недвижимо.

Пока никто не видел, что случилось. Мы — Робер, Виктор и я — работали за выступом скалы, на крохотной площадке. Но в любую минуту должны были появиться заключенные с носилками для камня, да и сверху мог заглянуть эсэсовец-охранник. Мы молчали. Виктор лежал, скорчившись, и глухо стонал: он вряд ли понял, что произошло. Рупперт зашевелился. И тогда, в ожидании смерти, я почувствовал, что могу это сделать. Могу заставить эту тварь слушаться — ведь есть же у нее мозг, пусть самый неразвитый.

Я знаком попросил Робера молчать и не шевелиться и направил всю свою волю на Рупперта. Мне было очень тяжело, физически тяжело, я обливался потом и цеплялся за руку Робера, чтоб не упасть. Но я вскоре добился своего: Рупперт встал как ни в чем не бывало, подобрал свалившуюся фуражку и ушел не оглядываясь. «Ты ничего не помнишь,— мысленно приказывал я ему вслед.— Не помнишь, был ли здесь вообще. Но нас ты помнишь, всех троих, и тебе не хочется нас трогать. Нас нельзя трогать. Ты знаешь, что нельзя».

Робер не спрашивал, что я сделал: он видел.

С этого все и началось. Тут, в Гузене.

У Робера чаще бывали всякие осложнения, чем у меня. Ко мне в общем меньше цеплялись, хотя он и физически был сильней и выдержка у него обычно была железная. Но он порядком смахивал на еврея, особенно в лагере, когда глаза и нос сделались непропорционально большими на его истощенном лице, и этого было достаточно, чтоб привлечь внимание эсэсовцев и капо. Даже если они знали, что Робер не еврей, им все же хотелось его помучить. Я не в силах был защитить его всегда и всюду. Поэтому я решил добиться, чтоб нас обоих зачислили в команду, строящую бараки. Это было нелегко — туда все стремились, там и работа была полегче, и, главное, капо, баварец Франц Юнге, был на редкость порядочным человеком: никого никогда не бил, заступался за своих работников не только на строительстве, но и вообще в лагере, часто выручал их из беды. Пришлось «уговаривать» и самого Франца, чтоб он согласился принять в свою команду двух людей, понятия не имеющих о строительных работах (впрочем, он это делал уже не раз, и без всякого гипноза), и Руперта, чтобы он не поднимал шума, и еще кое-кого из лагерного начальства. Так или иначе, а мы оказались в этой бригаде. Там мы работали до начала 1943 года; потом в лагере произошли большие перемены к лучшему, и тогда мы с Робером попали на работу по специальности, в медицинский блок — ревир, как он назывался по-лагерному.

Но Роберу всего этого было мало, и он втянул меня в лагерную организацию. Он считал, что просто грех не использовать мои возможности как следует — а «как следует» в его толковании означало: для всех. Я тщетно объяснял ему, что это безумие. Что весь секрет моих успехов — в сосредоточенности на близкой, очень важной для меня лично цели. И еще — что если о моих способностях будут знать многие, то рано или поздно до меня доберутся эсэсовцы. Не могу же я держать весь лагерь под контролем! Но на Робера все эти доводы плохо действовали, и кончилось, разумеется, тем, что я уступил. И вдобавок Робер сказал мне:

— Если б ты был вполне убежден в своей правоте, ты бы постарался меня загипнотизировать и подчинить своей воле. Разве нет?

Он это сказал с ехидцей, а я промолчал. Отчасти потому, что обиделся, но главное — потому, что впервые понял: Робера мне не удастся подчинить своей воле. То есть я впервые об этом вообще подумал, мне и в голову не приходило гипнотизировать Робера, но тут я почувствовал, что это для меня практически невозможно. Не знаю почему, но мне стало тогда страшно. Я испугался, ясно увидев границу своих возможностей именно в тот момент, когда узнал, что от меня потребуют полной отдачи, максимального напряжения. А может, ощутил, что, несмотря на свою загадочную силу, нахожусь в подчинении у Робера.

Вскоре я начал понимать, что Робер был прав. Лагерная организация так блестяще продумывала разные предприятия с учетом моих способностей, так интересно и успешно разыгрывались сложнейшие акции, что мне становилось горько: сколько людей можно было бы спасти, если бы я с самого начала работал не один! Я и сам раньше не подозревал, сколько могу сделать при настоящей, крепкой поддержке... Но не всегда... боже, не всегда...

О чем он думает? Да, все то же... Ряды серых бараков, мокрый, потемневший песок лагерной улицы и монотонные узоры колючей проволоки, четко проступающие на зеленом вечернем небе... Капо Шуман — Ходячая Смерть... Бог мой, до чего страшные лица у всех лагерников, ведь это живые трупы, неужели это так выглядело? Неужели мы все это прошли?

Я поздно узнал — на четверть часа позже, чем следовало,— о том, что Феликс и Леон, поляки из Варшавы, попались на глаза капо Шуману — Ходячей Смерти в ту минуту, когда они наносили новые данные на карту военных действий.

Какая это была великолепная карта и сколько она стоила труда! Сведения для нее собирались украдкой, по крохам. То кто-нибудь из эсэсовцев бросит неосторожное слово, то заключенный, ремонтируя что-либо в кабинете начальника лагеря, услышит обрывки радиопередачи, то удастся заглянуть в газету... Но зато можно было воочию видеть, как неуклонно продвигаются по карте линии фронтов с востока и с запада, как они сближаются, все плотнее сжимая Германию и неся нам свободу.

Леон и Феликс сделали эту карту, они и вели ее почти три месяца, до середины апреля сорок пятого года. И надо же было попасться, погибнуть так ужасно в преддверии свободы!

Я увидел их уже избитыми, с окровавленными лицами. Допрос только начинался. Что они пережили потом! Сорок часов пыток. Они молчали. Я знаю, что они молчали бы в любом случае. Но они надеялись на меня. Они прямо обращались ко мне, пока были в сознании... да и потом... А я... я был бессилен. Я потерял способность воздействовать, я мог только в и д е т ь. Лишь потом понял, в чем дело: я выглядел очень плохо, и перед началом операции, которую мы разработали, чтобы спасти товарищей, мне дали какое-то питье для подкрепления. В нем была изрядная доза брома. В лагере мне никогда не приходилось принимать бром, и я впервые узнал, как он может подействовать на меня,— узнал ценой мучений и смерти двоих чудесных людей, моих товарищей! Тогда я ни о чем не знал и выбивался из сил, пытаясь действовать. В конце концов от этой жестокой борьбы с самим собой, от немыслимого напряжения я потерял сознание. Меня еле привели в чувство, я был очень слаб, и Робер запретил мне продолжать попытки.

Начали тогда действовать обычными путями, подкупом эсэсовцев. Но единственное, что нам удалось сделать,— это избавить товарищей от последней пытки, от газовой камеры. Они умирали среди своих, и мы достали морфия, чтоб они не мучились. Я видел их вывихнутые, распухшие руки; я-то знал, что это значит — провисеть больше суток! Я выдержал двадцать часов, но и сейчас не понимаю, почему я не умер. А они висели двадцать восемь часов, и это после шести лет лагерей и тюрем.

Да, но туннель... тут Робер прав...

Туннель... Впрочем, это был не туннель, а гигантский подземный зал, вырубленный в скалах. Заключенные работали в три смены, готовя эти громадные убежища для работы военных заводов. Как только заканчивали хоть вчерне один зал, в нем сейчас же устанавливались станки, и работа продолжалась. Под слоем земли и камня толщиной в 35—40 метров не страшны были никакие бомбежки. А в это время, к концу 1944 года, авиация союзников начала все чаще навещать соседние с лагерем промышленные центры Австрии. Когда бомбили Линц, мы хорошо слышали и разрывы бомб и лихорадочную пальбу зениток. Как мы радовались! Все были уверены, что лагерь бомбить не будут, и, как только начинали выть сирены, мы, несмотря на строгие запреты эсэсовцев, высыпали из бараков и вовсю глазели на сверкающие в синем небе самолеты. Громадные серебряные птицы, несущие нам свободу. Несущие смерть нашим палачам. Гибель и разорение их домам и фабрикам, их семьям и лавкам. Проклятый черный паук — свастика,— сосущий кровь из всей Европы,

скоро тебя раздавят самолеты и танки! Мы гадали, кто придет в эти места первым — русские или союзники; но нам-то было, в сущности, все равно: кто угодно, лишь бы скорее свобода.

Но эсэсовцы начали загонять нас во время налетов в подземные цехи: они не хотели из-за нас торчать наверху, рискуя жизнью. В начале 1945 года стали гнать в подземелье всех, даже больных, которые еле передвигались. Гнали в бешеной спешке, натравливая собак, колотя прикладами автоматов. Им надо было загнать заключенных и успеть спрятаться самим, а эскадрильи союзников возникали на горизонте очень быстро вслед за сигналами тревоги...

4 апреля 1945 года в полдень над лагерем опять завыли сирены, и эсэсовцы начали загонять заключенных в подземелье. Но нам сразу почудилось что-то недоброе. Сирены умолкли, а самолетов все не было, да и эсэсовцы, как нам показалось, меньше торопились, чем обычно.

Мы с Робером из окна ревира тревожно наблюдали за всей этой процедурой.

— Дело плохо,— сказал вдруг Робер.— Посмотри, многие эсэсовцы не пошли в подземелье. И капо остались — вон, видишь, мордастый Отто прохаживается, а там сейчас прошел Рупперт... Дело плохо, говорю тебе, Клод. Никаких самолетов нет, сам видишь.

Подошел польский врач Казимир. Он тоже был очень встревожен. На лагерном жаргоне, примешивая немногие известные ему французские слова, он сказал, что вчера прибыл товарный поезд и один вагон разгружал лично начальник лагеря с двумя своими помощниками. Таскали они какие-то ящики. Кроме того, ему известно, что все выходы из подземелья замурованы, остался лишь один, а неподалеку от него в скале высверлена большая ниша. По мнению Казимира, эсэсовцы решили уничтожить сразу всех заключенных — ведь в подземелье сейчас более двадцати тысяч людей, и если завалить выход, то все они там погибнут.

Мы давно опасались такого финала и сейчас сразу поняли, что это может быть правда. Робер и Казимир поглядели на меня.

— Что же делать?— беспомощно спросил я.— Ведь некогда даже обдумывать...

— Выход пока один: ты должен оседлать Бранда. Можешь ты его найти?

Я кивнул. Тело стало невесомым и будто чужим, голова казалась прозрачной и хрупкой, все вокруг начало туманиться и двоиться. Я знал, что это означает: Свободу и Власть. Я уже не видел двухэтажных коек ревира с пожелтевшим, застиранным бельем, не видел странных рыжевато-синих потеков на грубо выбеленных стенах. Я лишь смутно ощущал, как кто-то усадил меня на табурет, как голос Робера произнес:

— Ты его видишь?

Я его видел. Начальник лагеря Пауль Бранд стоял на широких бугристых ступенях лестницы, вырубленной в скале. Неподалеку зиял огромным темным отверстием вход в подземелье. Сухое, костистое лицо Бранда было искривлено гримасой недовольства, он постукивал стеком о высокие сапоги, зеркально блестевшие на солнце.

— И вы ручаетесь, что этого будет достаточно?— раздраженно спрашивал он.

— Разумеется, герр штандартенфюрер!— с убеждением отвечал румяный крепыш Отто Лехнер, его помощник.— Это научно рассчитанная порция на такую кубатуру.

— Я знаю эти расчеты,— мрачно говорил Бранд.— Но ведь тут двадцать две тысячи заключенных. И потом в газовых камерах все наглухо заперто, и циклон сыплют сверху, через отверстия. А тут? Самое боль-

шее, что мы можем,— бросить открытые банки внутрь... и то с опасностью для жизни.

— Они наденут противогазы,— с готовностью отвечал Лехнер, указывая на двух эсэсовцев, понуро стоявших у входа в подземелье.

— Да вы представляете себе, что начнется, если мы будем швырять туда, внутрь, эти банки с циклоном? Нет, я против. Взорвать и завалить выход, и только. Они и без газа отправятся на тот свет.

Лехнер был явно недоволен.

— Как вам будет угодно, герр штандартенфюрер,— отвечал он.— Но тогда придется надолго поставить часовых с ракетами у всех выходов. Иначе они пробьются на волю. Инструменты там есть...

Я сказал товарищам, о чем говорят Бранд и Лехнер. Я улавливал, что, кроме Робера и Казимира, рядом со мной находится еще кто-то. Потом я узнал, что это был немецкий коммунист Бруно Шефер — он тогда лежал в ревире с громадной флегмоной на бедре. Все остальные члены лагерной организации были в подземелье.

— Ну, пробуй, пробуй, Клод!— говорил Робер.— Внуши ему, что он боится.

Я молчал: мне всегда трудно было говорить в таком состоянии. Я чувствовал, впрочем, что Бранд и так боится. Боится ответственности, наказания. Но боится и ослушаться приказа.

— Ты можешь что-нибудь сделать?— спрашивал Робер.

Я пробовал ответить — и не смог. Я напрягал всю свою волю, приказывая Бранду: «Ты этого не хочешь, ты боишься, из этого ничего хорошего не выйдет, ты боишься, ты не можешь брать ответственности на себя...» Я видел, что надменно-брюзгливая мина Бранда сменилась выражением растерянности и страха. Он медлил, опустив голову и помахивая стеком. «Ты боишься!— кричал я ему из дощатого барака ревира.— Тебе очень страшно! Отвечать за это придется тебе, а не другим! Ты боишься, пошли они все к черту, ты боишься!»

Кто-то осторожно обтер мне лицо чем-то приятно холодным, влажным. Товарищи всегда говорили, что на меня в таком состоянии страшно смотреть,— я бледнею до синевы, обливаюсь потом, и чувствуется, в каком я страшном напряжении.

Бранд поднял голову, в его глазах было выражение испуга.

— Ничего из этого не выйдет,— сказал он глухим голосом.— Отвечать придется мне в случае чего. Дайте отбой тревоги, и пускай они все выходят.

Лехнер очень удивился, по-видимому, но молча откозырял и ушел. Вскоре над лагерем завыли сирены, и заключенные длинной нестройной шеренгой потянулись из подземелья. Бой был выигран, и я потерял сознание от усталости. Я просто свалился с табуретки, и Робер еле успел меня подхватить и отнести на койку.

— Бог нас спас, только бог!— крестясь, повторял в тот страшный день вышедший из подземелья польский священник.— Мы видели, что они затеяли, и смерть глядела нам прямо в глаза. Но бог отвел руку убийц...

Я уже пришел в себя и слушал это, лежа рядом на койке. Бог... Вот он, твой бог, валяется на койке в грязном полосатом тряпье и рукой шевельнуть не в силах от истощения. К этому времени в лагере опять начался жестокий голод, посылки от семей и с востока и с запада перестали приходить, даже скудное лагерное продовольствие поступало с перебоями. Я недавно глянул в зеркало в умывальной и невольно отшатнулся — жуткая грязно-белая кожа, обтянутые скулы, провалившиеся глаза, уши торчат, волосы коротко острижены, голова кажется бесформенной, буг-

ристой от шишек и чирьев... Бог... ходячий скелет, как и все кругом... «И все-таки я сотворил чудо»,— вяло подумал я и тут же заснул.

Затея с подземельем больше не повторялась. Правда, после этого случая многие выкопали себе тайные укрытия и во время тревоги прятались там, чтобы не ходить в подземелье: эсэсовцы не очень тщательно обыскивали лагерь, им было не до того, налеты повторялись все чаще. Но Бранд окончательно решил плюнуть на приказы из Берлина. Я ему, правда, время от времени внушал это, но думаю, что он и без моего воздействия уже не решился бы вторично затевать всю эту историю.

— Что ты вспоминал? Подземелье?— спрашивает Робер.— Да, это было здорово. Но все это продолжалось максимум десять минут. А вот история со списком!

Да, это было сложно и трудно. Я не думал, что выдержу. Без помощи я и не выдержал бы. Капо Шумахер через своих пособников разузнал кое-что о лагерной организации. Он составил список — я потом у в и д е л этот список на столе Бранда, там были и члены организации и люди, никакого отношения к организации не имевшие, но чем-то не угодившие Шумахеру. Нужно было действовать немедленно и решительно. Мы разработали план, но почти все зависело от того, выдержу ли я...

— Да, так вот: если ты выдержал тогда, почему ты боишься, что не выдержишь теперь?— спрашивает Робер.

— Это ведь совсем другое... — нерешительно говорю я после долгого раздумья.— Я был все-таки намного моложе...

Робер нетерпеливо взмахивает рукой.

— Ну при чем тут возраст? Ты и сейчас не старик. А по характеру тебе легче и естественней любить, чем ненавидеть. Так что действие, наполовину продиктованное ненавистью, было для тебя вдвойне трудным. Разве не так?

Я стараюсь припомнить, что я тогда чувствовал. Ненависть? Вряд ли, мне было уже не до этого. Просто — адское напряжение и... да, тоже страх, что я не выдержу и тогда все пропало. Тогда — пытки для десятков людей, смерть для сотен, а может, и тысяч... То есть я знал это, но старался об этом не думать.

Нельзя было думать об этом. Вообще ни о чем нельзя было думать. Нужно было все время видеть Бранда, его красное, изрезанное морщинами лицо, его водянистые голубые глаза и говорить ему: «Ты знаешь, что капо кухни Шумахер — вор, наглый вор, что он и тебя обкрадывает и позорит и, чего доброго, потащит за собой на суд, а потом на Восточный фронт. Тебе давно пора с ним расправиться. Список, который он тебе подсунул,— сплошное вранье, он просто старается отвлечь твое внимание от своих грязных махинаций».

Я в это время уже знал, что лучше всего удается внушение, если не просто приказываешь, но при этом заранее видишь, как тот, кому ты посылаешь приказ, выполняет его. Надо во всех подробностях представить себе, что и как он делает, а потом... потом сразу освободиться от этого образа, будто вытолкнуть его из себя. При этом нужны перерывы в действии — для разрядки и нового накапливания энергии. Я рассчитал, что в этой операции такие перерывы в принципе возможны, и решился, для начала по крайней мере, прибегнуть к самому верному способу.

Я знал, что товарищи все подготовили там, у Шумахера, и поэтому отчетливо представил себе, как Бранд берет список, застегивает мундир на все пуговицы и своим деревянным прусским шагом направляется к бараку, где живет Шумахер. Он быстро проходит, почти пробегает по

коридору, ударом ноги распахивает дверь и... Тут его, собственно, можно было бы отпустить. Он и сам сделал бы все, что нам нужно, увидев, как Шумахер делится награбленным продовольствием со своим любимчиком Вилли, он и сам начал бы обыскивать все шкафы, перерыл бы постель и нашел бы и золотые коронки, и кольца, и портсигары, которые Шумахер выменивал путем сложных комбинаций у обслуживающих крематорий и у команды «Канада». Но мне нужно было еще, чтобы Бранд в ярости разорвал список и швырнул его в лицо Шумахеру, в это наглое, сытое лицо с телячьими глазами, теперь некрасивое, пятнами побелевшее и исказившееся от животного страха. Он сделал это, я отключил образ и сразу почувствовал себя опустошенным.

Обливаясь холодным потом и стуча зубами, я смотрел сквозь туман смертельной усталости на сосредоточенные, напряженные лица товарищей.

— Выпьешь?— спросил Марсель Рише. Он протянул мне помятую алюминиевую кружку; на дне ее колыхалась синеватая пахучая жидкость — разбавленный медицинский спирт.

Я покачал головой. Я знал, что алкоголь может усилить мою способность видеть и действовать, но уж очень я был слаб. Все плыло и туманилось перед глазами, и я не понимал, откуда возьму силы, чтобы действовать дальше.

— Мне бы кофе... или кофеину,— еле выговорил я.

Я до сих пор не знаю, где и как раздобыли мне кружку горячего, крепкого, сладкого кофе. И два белых сухаря. Я вернулся к жизни. Голова стала ясней, туман перед глазами рассеялся, и я снова увидел маленькую комнату врача при ревире, дощатые стены с паклей, торчащей в щелях, электрическую лампочку с колпаком из пожелтевшего газетного листа...

Пригибаясь по привычке в дверях, вошел Длинный Курт и посмотрел на меня с тем характерным выражением острого любопытства и тревоги, к которому я уже успел привыкнуть: так смотрели на меня все, кто знал об э т о м.

— Бранд потащил Шумахера к проволоке,— сказал Курт.— Он зол, как тысяча чертей.

Теперь мне следовало включаться. Я должен был заставить Бранда немедленно доложить о случившемся начальству главного лагеря, Маутхаузена,— Бранд был начальником нашего филиала, Гузена. Если он сообщит начальству, делу уже нельзя будет дать обратный ход. Клочки разорванного списка успели подобрать и уничтожить, но если Шумахер выкрутится из этого дела, он снова составит список и снова найдет способ его подсунуть. Он ловок и хитер. Франц Шумахер, мюнхенский карманный вор, капо лагерной кухни, но мы его перехитрим. Пускай он простоит ночь у проволоки, щелкая зубами от холода, а утром получит двадцать пять горячих да в придачу дюжину крепких затрещин и пинков, пускай отправляется в штрафную команду, в главный лагерь. Разжирел на краденых харчах, подлец, да еще мало ему показалось, что обворовывал голодных и беззащитных, захотел выслужиться, захотел кровью запить жирную жратву — так получай от нас сполна! Получай, сытая скотина! Ты до поры до времени был не хуже, даже лучше своих дружков, ты был слишком ленив и жирен, чтоб много драться, и мы не думали, что именно с тобой придется рассчитываться раньше, чем с другими, но ты сам сунул голову в петлю — так вот тебе, получай, что выбрал!

— Нет, я ненавидел его, ненавидел, как все,— говорю я Роберу, вспомнив все это.— Мне тогда ненависть не казалась неестественной.

— И все-таки тебе было очень тяжело,— отвечает Робер, пристально

глядя на меня.— Ты припомни, как получилось тогда с Кребсом!

С Кребсом! Да, действительно... Это было совсем неожиданное осложнение. Тот же Длинный Курт прибежал и сказал, что к ревиру идет Кребс.

— Какого дьявола ему понадобилось в ревире, да еще в такой поздний час? — удивился Робер, которому он это шепнул на ухо.

Курт пожал плечами и поглядел на меня. Я как раз в эту минуту отключился от Бранда. Я испытывал то особое чувство облегчения, которое означало, что внушение удалось. Это очень хорошее, сильное и какое-то чистое чувство. «Чистое», наверное, не то слово, но по крайней мере в лагере оно соответствовало сути: я никогда не применял там своих способностей в нечистых, нечестных целях.

Услышав имя Кребса, я встревожился. Даже не только потому, что появление эсэсовца ночью, в неположенном месте почти наверняка означает беду. Моя тревога была несколько иного свойства. Дело в том, что обершарфюрер Кребс был одним из моих «подопечных». Я уже не раз приказывал ему, и он довольно послушно выполнял приказы. Сейчас, отключившись от Бранда, я сразу почувствовал, что Кребс ищет меня. Я не успел перехватить его, внушить, чтоб он забыл об этом намерении,— по коридору ревира прогромыхали подкованные сапоги, и Кребс распахнул дверь комнаты врача, где я сидел.

Я смотрел на него, пытаясь сообразить, что ему нужно. Кребс был на редкость красивый парень, этакий идеал арийца: белокурый, румяный, голубоглазый, с четкими, правильными чертами лица. Если б он не косил так здорово, с него можно было бы плакаты писать. Он смотрел на меня своими разбегающимися глазами — один в темное окно, до половины занавешенное накрахмаленной марлей, другой в угол,— а я ловил его мысли и никак не мог понять, в чем дело. Я тогда еще не знал, что при такой связи может возникнуть спонтанный контакт, особенно когда я напряженно работаю. Тот, кто уже принимал от меня телепатемы, может внезапно, помимо моей и своей воли, включиться в цепь контакта, не имеющего к нему никакого отношения. Так вот и получилось у меня с Кребсом. Я, наконец, уловил: он понятия не имеет, что его заставило прийти сюда, и уже начинает злиться. Но я был слишком истощен экспериментом с Брандом и не мог сразу, без отдыха перестроиться на Кребса. А тот злился все больше, но пока помалкивал. Все тоже молчали.

— Вы нездоровы, герр обершарфюрер? — спокойно спросил врач Казимир.

— Не твое дело! — оборвал его Кребс.— Вы что тут делаете? Почему собрались?

— Привели больного,— все так же спокойно ответил врач, указывая на меня.— У него сердечный приступ. Сейчас я сделаю ему укол. Кофеин,— добавил он.

Казимир быстро приготовил шприц и сделал мне укол. Кребс все еще колебался: он был сбит с толку, не знал, зачем пришел. Тут я почувствовал себя лучше и начал командовать. Кребс повернулся и молча ушел. Тогда мы стали совещаться, как с ним быть.

— Если он будет вот так, без толку лазить за тобой, мы все пропали,— сказал Марсель.

— А если и другие? — предположил Робер.

Я ничего не мог сказать, для меня это было совсем неожиданно, и я здорово встревожился. Хорошенькое дело, вот такие спонтанные, непроизвольные контакты с эсэсовцами и капо! К чему это может привести?

— Насчет других пока ничего не известно,— сказал Казимир,— а вот Кребса, пожалуй, придется убрать.

С этим все согласились,— тем более что Кребс считался одним из са-

мых злобных надсмотрщиков в каменоломнях и на его совести были уже сотни застреленных, затоптанных сапогами, забитых плеткой узников. Недавно он завел собаку, здоровенную темно-серую овчарку, и теперь тренировал ее, стараясь добиться, чтобы Рекс различал, когда хозяин приказывает хватать заключенных за ноги, а когда прямо вцепляться в горло. Рекс пока что плохо разбирался в этих тонкостях...

Мы начали обсуждать, что и как сделать. Убивать Кребса было, разумеется, нельзя: за убийство эсэсовца жестоко поплатился бы весь лагерь. Скомпрометировать его было пока невозможно: Кребс не участвовал в спекуляциях и кражах, и вообще, по нашим сведениям, за ним никаких особых нарушений не числилось. Эсэсовский ангелочек, такой же идеальный, как его арийское косоглазое лицо. Оставалось одно — симулировать самоубийство.

Это можно было сделать, в сущности, одним путем — послать Кребса на проволоку.

— Ты же понимаешь, Клод,— сказал Робер.— Без тебя нам не справиться с этим молодчиком. Ты как, в форме?

Я молча кивнул. Кофеин для меня доставали «с воли» путем сложных комбинаций. Действовал он безотказно: мне даже не приходилось напрягать волю, чтобы в и д е т ь; энергия расходовалась только на внушение.

План мы разработали такой: вывести Кребса из его комнаты, где он сейчас сидит по моему приказу, и заставить пойти к проволоке неподалеку от сторожевой вышки, чтоб часовой видел и потом мог подтвердить, что Кребс сам бросился на проволоку. Все это было нетрудно, за исключением самого последнего действия; такого приказа Кребс не сможет выполнить, страх смерти пересилит любое внушение.

— А ты внуши ему, что проволока не под током,— посоветовал Робер, когда я объяснил это.

Я задумался.

— Даже если не под током, какого ему черта трогать проволоку? Чтоб проверить? — сказал Марсель.— Нет, это не то...

— Я знаю, что надо сделать,— заявил Казимир.— Ты ему внуши, что через проволоку лезет заключенный. И пускай он его схватит. Верно?

Это была блестящая идея. Я «вывел» Кребса к проволоке. Я видел, как он идет, привычно печатая шаг, и прожекторы на вышках равномерными медленными взмахами рубят тьму, обливают белым мертвым светом ладную, статную фигуру Кребса и уходят дальше, двигаясь плавно и ритмично, как в зловещем танце. Я увидел, как Кребс нерешительно остановился у самой проволоки. Тут я выключил зрение, мне было уже не до этого. Я начал во всех деталях представлять себе, как Кребс видит фигуру в полосатой одежде, видит, как узник, озираясь, подбегает к проволоке и начинает взбираться вверх. Видит даже кожаные перчатки на руках заключенного и понимает, что это он надел для защиты от колючей проволоки. «Ведь он убежит! — внушал я Кребсу.— Хватай его!» Я представил себе, как Кребс молча, одним прыжком оказывается возле заключенного и яростно хватает его обеими руками, чтоб стащить на землю, затоптать начищенными сапогами, избить до полусмерти, а потом поволочь на допрос, на новые пытки. Я представил все это ярко, точно, детально, вплоть до последней слепящей вспышки — и, словно толчком, выбросил из себя этот образ.

Я медленно открыл глаза, возвращаясь в комнату при ревире.

— Ну как? — спросил тревожно Робер.

— Удалось,— еле выговорил я.

Мне не нужно было идти к проволоке, чтоб увидеть там скорченное

смертной судорогой тело Кребса с руками, прикипевшими к проволоке: я знал. И счастье удачи отнимало у меня последние силы.

— Отнесите его на постель,— успел я услышать голос Казимира, а потом провалился в тихую тьму.

Неужели мне тогда было легче? Нет, наверное, я просто забыл о том страхе и нечеловеческом напряжении, забыл за эти двадцать с лишним лет и теперь уже не могу представить свое тогдашнее состояние.

— Не знаю, Робер,— говорю я наконец.— Может, ты и прав: мне и тогда было не легче. Но какое это имеет значение?

— А вот какое,— Робер наклоняется ко мне, и я опять чувствую его тяжелый взгляд.— Тебе не кажется в эти дни, что ты один, совсем один, несешь на себе всю тяжесть и никто тебе не помогает?

Я откидываюсь на спинку кресла, чувствуя, что меня вдруг обливает холодный пот. Робер говорит правду, жестокую правду. Подлую правду!

— С чего ты это взял? — как можно спокойней отвечаю я.

— Что толку притворяться? — возражает Робер, и я понимаю, что он видит меня насквозь.— Именно потому тебе и тяжело. В лагере ты хорошо знал, что на нас можно вполне положиться: свою часть работы мы выполним, мы облегчим твою задачу, насколько это в наших силах. И ты действовал по заранее намеченному, здорово продуманному плану. Ведь были предусмотрены все варианты, подстрахованы все опасные пункты. Конечно, если б ты не выдержал, весь план рассыпался бы, как карточный домик. Но план и был рассчитан на твои способности... на крайнее напряжение этих способностей, верно?

Я молча киваю головой. Подлая правда, жестокая, никчемная правда! Я не хотел ее знать, она лишает меня сил. Да, там был план, была организация, были верные, надежные друзья. А здесь? Боже мой, здесь, среди тех, кого я считаю самыми близкими и дорогими людьми, я один. Никто мне не помогает... Наоборот... Я одинок, непонятно, бессмысленно, несправедливо одинок. Почему? Что я сделал, за что они бросили меня, отвернулись от меня, когда мне так нужны их помощь, их любовь, их понимание?

— Но почему? Почему? — беспомощно бормочу я.

— «Почему?» — как эхо, повторяет Робер.— Разве ты все еще не понял? Мы ни в чем не виноваты. Не виноваты, что ты своей волей попытался спасти нас от гибели. Мы были частицей человечества, кирпичами гигантского здания всемирной цивилизации. А что мы сейчас? Жалкая горстка отщепенцев. Мы потеряли все: Париж, Францию, весь мир, все человечество. Мы, словно кусок дерна, насильственно вырезаны из питавшей нас почвы и брошены среди ядовитой пустыни. Пускай даже яд не убьет нас; но разве мы сможем жить без почвы, без ее живительных соков, без солнца, дождя и вольного ветра? Чего ты хочешь от нас и от себя? Разве ты не понимаешь, что жизнь теперь потеряла смысл? И твоя любовь — тоже?

— Зачем ты говоришь мне это... теперь? — еле шевеля губами, произношу я. Мне кажется, что я повис в черной, холодной пустоте, совершенно один, один во всем мире, и никого вокруг.

Робер долго молчит.

— Да, ты прав! — неожиданно говорит он.— Ты прав, Клод. Я не должен был говорить тебе это. Мне просто хотелось, чтоб ты здраво судил о вещах и не строил ненужных иллюзий. Но если тебе так легче...

Он ставит недопитую чашку с кофе и уходит. Я сижу, стараясь собраться с мыслями... «Жить без почвы»,— сказал он... Конечно, это так...

— Констанс! — кричу я, вскакивая.— Констанс, где ты?

Мне так хочется ее видеть, так мне страшно и одиноко без нее, что я,

как ребенок, внезапно потерявший из виду мать, бросаюсь к двери. Но Констанс уже стоит на пороге, бледная, спокойная, ясная.

— Что с тобой? — тихо говорит она.— Сядь, успокойся, на тебе лица нет. Ты должен быть спокоен, понимаешь, очень спокоен...

«Я схожу с ума, конечно же, я схожу с ума»,— думаю я. Даже в этих простых и ласковых словах мне чудится горечь и скрытая издевка. Но ведь это невозможно, чтобы Констанс... Впрочем, почему невозможно? «Надо трезво смотреть на вещи,— говорит Робер,— и не строить иллюзий». Констанс могла измениться, потому что все вокруг изменилось, потому что я сам изменился... Жить без почвы...

Я сажусь рядом с Констанс на диван, глажу ее руку и пытливо вглядываюсь в ее ясное лицо. Она немного осунулась и побледнела, под глазами легли синеватые тени, но все равно это прежняя Констанс, моя верная, сильная, надежная Констанс. Разве не так?

Может, и не так. Что я знаю? Ведь я потерял внутреннюю связь с Констанс... и со всеми. Я не знаю, о чем она сейчас думает. А она безошибочно читает мои мысли... Лучше, чем я сам, пожалуй...

— Я-то прежняя,— тихо говорит она.— Но ведь все кругом изменилось. И что толку в том, что я прежняя? Человек тем и силен, что может примениться к обстановке. А я чувствую, что не могу. Я не знаю, как мне дальше жить и что делать.

— И ты говоришь, что осталась прежней! — с отчаянием отвечаю я.

«Значит, и Констанс тоже... самая верная, самая прочная опора... Значит, прав Робер... и тогда...»

— Да, конечно. Я вообще с трудом меняюсь. Даже тогда, в молодости... Мне ведь было очень трудно отойти от партии...

— Я понимаю... — неуверенно говорю я.— Но ты была всегда такая спокойная...

— Я должна была сохранять спокойствие ради тебя. Мне нужно было сделать выбор, не вмешивая тебя.

— Между мной и партией? Констанс, но разве я...

— Нет, нет,— поспешно отвечает Констанс, и ее серые, с золотыми искорками глаза слегка темнеют.— Ты никогда ничего не сказал бы, я знаю. Но я не умею так делить душу пополам. Ты был как больной ребенок: надо было или принимать всю ответственность за тебя, или сразу отказываться...

— Ты мне никогда этого не говорила... — бормочу я.— И почему, собственно...

— Потому,— мягко говорит Констанс,— что ты не смог бы этого вынести. Если б тебе пришлось отвечать за это, тебя совесть замучила бы... Разве я не понимала тебя уже тогда?

— Значит, ты была несчастлива все это время? — тихо спрашиваю я.

— Я была счастлива,— спокойно отвечает Констанс.— Но тогда пришлось делать выбор сразу, и мне было очень трудно. Еще и потому трудно, что я прятала это от тебя. Как хорошо, что ты тогда не читал в моей душе! А потом я понемногу успокоилась, и все было в порядке. Нет, ты не должен огорчаться. Просто я хотела сказать, что очень медленно меняюсь. Вот и сейчас...

Мне становится страшно, очень страшно. Нет, если подумать, Констанс никогда не была счастлива. Просто она очень сильная, добрая, мужественная, она взвалила на себя тяжелый груз, да так и тащила его все эти годы, никогда не жалуясь, не прося помощи, не выдавая даже мне своей боли и усталости... А я воображал, что все знаю о ней! Эгоисты всегда знают только то, что их устраивает, остальное они прекрасно умеют не замечать.

— Я эгоист, Констанс,— говорю я.— Теперь я вижу, до чего я был слеп и себялюбив. Теперь, когда уже поздно...

— Ты большой ребенок,— Констанс улыбается мне своей бесконечно знакомой, доброй и тихой улыбкой, еле трогающей уголки губ и глаз.— Зачем ты себя упрекаешь? Мне было хорошо с тобой. А если б я отказалась от тебя, мы оба были бы несчастны, разве не так?

— Я был бы несчастен. Я вообще не знаю, что со мной сталось бы без тебя. Но ты... ты могла найти другого, нормального, спокойного человека, и тогда не понадобилось бы делать выбор...

— Я полюбила не другого, а именно тебя. И никого другого полюбить не смогла бы. Разве ты этого не понимаешь?

Да, я понимаю, я все понимаю. Ей так кажется. Так мне казалось, когда я был с Валери. Но Валери давно нет... Теперь ее совсем нет... совсем нет, это невероятно, и об этом не надо думать, не надо думать... И вот я прожил долгие и счастливые годы с Констанс и без нее, вероятно, вообще не смог бы жить... А впрочем, кто знает? Теперь я во всем готов усомниться. «Человек многое может вынести»,— говорит один из героев Ремарка, и мне ли этого не знать! Правда, всему есть мера и предел; но если б я не встретил тогда Констанс... ведь не умер бы я с горя, это смешно в наш век, и не сошел бы с ума, не покончил бы самоубийством, раз уж я не сделал ни того, ни другого в лагере. Я даже не спился бы, потому что не люблю и не умею много пить и хмель не приносит мне даже того минутного ощущения легкости и счастья, из-за которого можно пристраститься к алкоголю. У меня были друзья, была работа... Смешно выдумывать детские сказки... Жил бы, женился и детьми обзавелся бы. Да, это были бы не Натали и Марк, а другие... Ну и что ж? Разве в этом для тебя оправдание? В том, что они такие, а не иные? Да и какие, собственно?.. Впрочем, все равно. Если даже считать, что продолжение рода само по себе может оправдать существование человека, то и в этом случае твоей заслуги тут мало. Неустанные заботы Констанс, ее сила и доброта — вот что держало нас всех, вот что помогало нам жить.

— Констанс,— говорю я и целую ее руки, ее добрые, сильные руки.— Констанс, без тебя ничего не было бы... и меня не было бы...

Слова эти сами сказались, будто из глубины души, я вполне искренен. Но ведь минуту назад я думал иное и тоже был искренен, горько искренен. Тут я замираю от страха — я забыл, я не могу привыкнуть к тому, что Констанс меня в и д и т... И вдруг я понимаю впервые, что означало для Констанс мое постоянное присутствие в ней, внутри ее души. Это было как тюремный глазок — в любую минуту, в любой позе тебя могут увидеть чьи-то глаза. И если это не чужие глаза, пожалуй, тем хуже. Мне казалось, что это так прекрасно, что это высшая форма связи, возможная между людьми, что это предвестие будущего...

— Но ведь ты прав,— отвечает мне Констанс, и меня опять ужасает, что она в и д и т.— Ты прав: наверное, в будущем все смогут так...

Да, в будущем. В далеком, очень далеком будущем, которое теперь отодвинулось еще дальше, а вернее всего, исчезло. В том ясном, счастливом, гармоничном мире, которого никто из нас никогда не увидит. Я видел его отдаленный отсвет в глазах Констанс, я слышал отзвук его гармонии в ее душе. Но и это оказалось обманом... самообманом, еще одной эгоистической ложью, вполне достойной нашего века. Делать вид, что все хорошо, когда ясно видишь, что ни черта хорошего быть не может; уверять себя, будто ты создал оплот идеальной любви и дружбы, когда отлично знаешь, что нет и не может быть никаких баррикад против всего мира, против всего человечества, гибнувшего от взаимного непонимания, от нелепой, бессмысленной вражды. И вдобавок закрывать глаза на то, что

делается внутри твоего крохотного, мнимоидеального мирка! Ну, разве ты этого не видел? По совести — так совсем и не видел? Ты никогда не думал над тем, что означает для Констанс, с ее убеждениями, с ее воспитанием и биографией, отход от партии? Ты верил ее спокойствию, ее уравновешенности, ее тихой улыбке,— так уж безусловно, безоговорочно верил? Брось притворяться, ты просто закрыл глаза на то, чего тебе не хотелось видеть, и решил, что это для тебя не существует.

А то, что случилось с Натали, когда ты попробовал вмешаться в ее жизнь,— это разве не должно было раскрыть тебе глаза? А Марк? Ты постарался забыть, какое у него было лицо в те дни, когда Натали... Ты постарался забыть его разговор с приятелем... А какой толк забывать, вытеснять из памяти все это, если сам Марк ничего не забыл и не простил?

Да, его разговор с приятелем... с этим рыжим пареньком Луи Милле... Я постыдился рассказать Констанс об этом, ведь вышло так, что я шпионил за Марком,— и это сразу после трагедии, разыгравшейся с Натали. Но я был глубоко встревожен... Я поймал очень странный взгляд Марка, мне показалось, что сын меня не то боится, не то ненавидит... И мне вдруг нестерпимо захотелось узнать, что он делает. Мне показалось... ну, в общем я начал искать Марка и нашел его. Я даже не думал, что мне так быстро и прочно удастся установить контакт. Правда, в лагере это уже стало для меня обычным, но после войны...

Марк и Луи оказались возле Нижнего озера в Булонском лесу. Луи откинулся на спинку скамейки, щуря глаза от солнца. Марк сидел, сгорбившись, и упорно разглядывал свои ногти. Разговор шел как раз о том, что меня интересовало,— наверное, поэтому мне так и захотелось искать Марка именно в эту минуту.

— Нет, ты пойми, этот самый Жиль мне вовсе ни к чему,— говорил Марк.— По-моему, он дешевый парень, а Тали — просто дуреха, что в него втрескалась. Но дело не в нем, а в родителях.

— Да... это верно,— отозвался Луи.— Я от них не ожидал, то есть от твоей матери, отца-то я плохо знаю.

— Мать, она еще ничего. Если б она дома была, все обошлось бы. Но отец... Я, знаешь, никак опомниться не могу. Раньше девушек в монастырь отдавали. Так, по-моему, уж лучше монастырь, чем такие вот штучки.

— И что ж, она позабыла этого своего парня? — спросил с любопытством Луи.— Совсем-совсем?

— Не позабыла. Я этот их разговор, отца с матерью, слышал... Случайно, ты не думай,— добавил он, краснея.— Если б отец внушил ей забыть, мог получиться скандал. Жиль — он ведь кузен Люси, той длинной брюнетки, что ты у нас видел...

— Ага... ничего девочка,— Луи прищелкнул языком.

— Ну вот. Рано или поздно Тали встретится с этим Жилем или еще с кем-нибудь, и если она его не узнает... Ну, словом, отец ей внушил, чтобы она разлюбила...

— Да-а,— протянул Луи.— Черт знает что! Жутко даже.

— Вот именно, что жутко!— с ожесточением, потрясшим меня, сказал Марк.— И знаешь, мне и сейчас жутко. По-моему, он за нами следит. Нет, ты не думай, я не псих. Он ведь может следить, это уж точно. Я... если он и слышит, то пускай... я иногда его ненавижу, вот даю слово!

— Это я читал,— авторитетно заявил Луи.— Называется «эдипов комплекс».

Марк выслушал довольно путаное объяснение насчет эдипова комплекса и недоверчиво усмехнулся.

— Это все, по-моему, чепуха. И вообще речь идет о другом, я же тебе

объясняю... Нет, я чувствую, он следит, давай кончать разговор.

«Неужели и этот разговор не раскрыл тебе глаза? — спрашиваю я себя.— Неужели ты не понял, что твой мир — это тоже мир, основанный на деспотизме, и вдобавок на деспотизме самого страшного вида — деспотизме всепроникающем, всевидящем, всемогущем, владеющем душой человека, а не телом?»

— Не надо так! — говорит Констанс, сжимая мою руку.— Что ты себя терзаешь? Это ведь преувеличение. Ты сам говоришь: в этом мире не может быть ничего идеального. И все-таки мы были ближе всех к будущему.

Ближе всех? Что ж, может, Констанс все же и права. Первые проявления будущего всегда непривычны, часто смешны, иногда страшны. Потом они входят в норму, и их перестают замечать. Но до того как они станут обычными, они проходят долгий путь и выглядят, может быть, совсем не так, как вначале. Кто знает, как будет проявляться и восприниматься в будущем то, что сейчас именуется внечувственным восприятием, мозговым радио, криптэстезией, шестым чувством, телепатией — какие еще есть термины для того, что пока далеко не всем доступно и не всем кажется вероятным, для того, что одни считают зачатком будущего, а другие атавистическим рудиментом вроде аппендикса? Может быть, и вправду жители Земли будут общаться между собой и с обитателями других планет посредством этого «мозгового радио», не страдая от разноязычия, не тратя времени на изучение все возрастающего количества необходимых языков?

Будут? Жители Земли? До чего странно, что я сижу и вот так преспокойно рассуждаю о блестящих перспективах нашего будущего, словно не понимаю, что будущего нет. Будущего нет. Ничего уже нет.

— Ты же не знаешь, что творится на всей планете,— опять вмешивается Констанс.— Вполне возможно, что и другие уцелели.

— Да, да, конечно,— спешу согласиться я.— Ты права. Просто я еще не привык. А где Натали и Марк?

Констанс вдруг отводит глаза. Я холодею от ужаса.

— Они... с ними что-нибудь... Констанс!

— Нет, нет,— торопливо отвечает Констанс.— Пока ничего. Но... я тревожусь, особенно за Натали. Она хочет говорить с тобой, я ее давно удерживаю...

— Почему же? — стараясь казаться спокойным, говорю я.— Я и сам хочу с ней поговорить.

Констанс вздыхает.

— Тебе будет трудно... Она очень странно настроена... Я не знаю, сможешь ли ты выдержать...

В эту минуту Натали появляется на пороге. И я сразу ощущаю, что дело плохо, что я не выдержу, что не надо этого разговора, нет, не надо, прошу, молю, не надо. Я пробую внушить это Натали, но убеждаюсь, что она не воспринимает моих внушений. Это я впервые пробую, после того как внушил ей забыть Жиля. Я дал слово Констанс, но ведь сейчас...

— Натали, девочка, не надо сейчас говорить,— мягко и настойчиво шепчет Констанс.— Папа очень устал, ему тяжело.

— Не знаю, кому тяжелее,— ломким, безжизненным голосом говорит Натали.— Я, во всяком случае, больше не могу. Это не в моих силах. Ты, мама, уйди. Я при тебе не могу. Мама, ты все равно не защита мне.— Она не смотрит ни на Констанс, ни на меня, вообще не поднимает глаз, и лицо ее кажется в белом свете лампы гипсовой маской.— Мама, я тебя прошу, уйди. Я больше не могу выдержать. Я не хочу лгать! Ты же сама учила меня не лгать! Только трусы лгут, да? Так вот, я не трушу! Мне очень тя-

жело,— она судорожно откашливается,— но это не от страха. Да и чего теперь бояться, ведь все равно...

— Натали... не надо, все это не так... — шепотом говорит Констанс.

— Нет, так, именно так, и ты сама это знаешь! — выкрикивает Натали.

Она впервые поднимает глаза, и я поражаюсь: она чужая, совсем чужая! Глаза чужие, холодные, горькие, и лицо, это белое, осунувшееся лицо с глубокими тенями под глазами. Это лицо взрослой страдающей женщины. Ненавидящей меня женщины, вдруг понимаю я. Пускай я потерял способность по-настоящему видеть, что происходит в душе других, но ведь есть же обычное человеческое чутье... Я ощущаю токи ненависти, идущие от Натали, ощущаю их почти физически, кожей, глазами, губами. За что? Почему? Этого не может быть, Натали, что с тобой, Натали?

Мы все трое стоим и молчим, глядя друг на друга. Молчание гнетет меня все сильнее, я чувствую его тяжесть, мне становится трудно дышать. Почему молчит Констанс? Какое у нее лицо — скорбное и смертельно усталое... Почему она уходит? Констанс?

Констанс останавливается на пороге.

— Я ничем не смогу помочь,— тихо говорит она.— Все зависит от тебя, Клод, только от тебя. Боже, если б ты оказался в силах!

Она уходит, а я молча смотрю, как закрывается дверь, отделяя меня от Констанс, и мне хочется кричать от страха. Только от меня... Если б я оказался в силах... Нет, Констанс не может так говорить, мне померещилось, я схожу с ума, Констанс не оставит меня одного, я не выдержу, мне страшно, это страшнее всех пыток на свете. Я невольно делаю шаг по направлению к двери.

Натали загораживает мне дорогу.

— Нет, ты не уйдешь,— тихо говорит она, и ее губы сжимаются в узкую обесцвеченную полоску.

— Почему ты так говоришь со мной, Тали? — Голос у меня прерывается, еще немного, и я не выдержу, закричу, разрыдаюсь, убегу...

— Потому что... Ты сам знаешь. Я хочу покончить со всем этим, я больше не могу. А ты боишься. Но ведь рано или поздно...

— Что? Что рано или поздно? С чем ты хочешь покончить?

Я сажусь, почти падаю в кресло. Я вижу свои руки, лежащие на подлокотниках,— они дрожат. Натали стоит передо мной, такая хрупкая, бледная, измученная. Ее волосы уже отросли немного, перестали топорщиться, они теперь похожи на пушистый блестящий мех, темный, с рыжеватыми отсветами. Глаза кажутся громадными на этом бескровном истаявшем лице. Боже, ведь полтора месяца назад, когда Натали выходила из больницы, она выглядела куда здоровей и спокойней... Я был уверен, что все миновало...

— Ты был уверен! — с горечью говорит Натали.— В том-то и дело.

Я никак не могу привыкнуть к этому ужасному ощущению, когда ты для окружающих весь будто стеклянный, а люди для тебя — черные ящики. Всегда было наоборот...

— Теперь ты понимаешь,— говорит Натали,— каково было другим с тобой! Но я сначала не очень боялась, даже когда все поняла. Я думала... я была уверена, что ты меня любишь и никогда не причинишь мне зла. А оказалось... Нет, нет, можешь не говорить, я ведь и так понимаю тебя. Теперь я тебя вижу, а ты меня нет! — злорадно и торжествующе восклицает она, и лицо ее на миг оживляется, но сейчас же снова гаснет и мертвеет.— Я знаю: ты думал, что так лучше. Но думал один, сам, за меня! А разве я не человек? Какое ты имел право думать и решать за меня, без меня? Только потому, что я твоя дочь! Да, только потому! Ты не сде-

лал бы ничего подобного с другой девушкой, ведь нет? А я... а со мной... Ты хуже, чем рабовладелец! Знаешь, кто ты? Ты... ты этому у фашистов в лагерях выучился!

— Боже мой! Натали, что ты делаешь!

Я вскакиваю. Сквозь гнев и возмущение пробивается все тот же неотступный страх: мне показалось, что Натали совсем чужая, что я не люблю ее, что...

— Я знаю, что я делаю! — Натали вплотную подходит ко мне и, глядя прямо в глаза, отчетливо и медленно произносит: — Я размыкаю Круг, да? Я уже вне твоего Круга, верно?

Последним усилием воли я удерживаюсь от того, чтоб не кричать, не биться головой о стенку. Итак, все пропало. Все усилия этих страшных дней — ни к чему. Все это лишь предсмертная пытка, жестокая и бессмысленная, как в лагере. Если б я верил в бога или дьявола, я решил бы, что это они придумали... эту веселую шуточку в мировом масштабе... Все кончено, теперь я понимаю, что все кончено. Еще раз откроется и захлопнется дверь, и не будет Натали... Нет, нет, только не это! Я не вынесу этого, лучше я сам уйду, чтобы все сразу...

Натали все стоит и смотрит на меня в упор. Ее глаза постепенно оживают, лицо, застывшее и жесткое, смягчается.

— Я, наверное, не должна так говорить с тобой,— медленно произносит она.— Тебе тоже тяжело. И потом я не имею права решать за всех остальных, а ведь если ты не выдержишь... — Она говорит очень тихо, почти бормочет, словно размышляя вслух.— И вообще ты прости, мне очень больно, я кричу от боли, а не рассуждаю...

«Как она похожа на меня!» — думаю я, и вдруг меня словно теплой волной обдает нежность, любовь, жалость к этой измученной, несчастной девочке, моей дочери. Пускай она несправедлива ко мне — я тоже был несправедлив к ней в том, прежнем мире, громадном, великолепном и жестоком, а теперь мы с ней связаны общим горем и не смеем бросать друг друга в беде, потому что от прочности нашей связи в конечном счете зависят все остальные, уцелевшие вместе с нами... Кто знает, может быть, зависит судьба всего человечества...

— Я люблю тебя, разве ты не видишь, Тали, моя девочка! — говорю я.

Натали печально и покорно улыбается.

— Да, ты прав, конечно, ты прав, и я постараюсь... я только не знаю, как у меня получится. Сейчас мне будто бы легче, а вообще...

Голос у нее срывается, она опять судорожно глотает и подносит руку к горлу. Потом Натали поворачивается и уходит, такая тоненькая в этом алом свитере и узкой черной юбке — вот-вот переломится пополам и упадет, да и походка у нее неуверенная... Но я уже ничего не смогу сделать, даже слова сказать не могу, силы меня покинули, и мне хочется одного — чтобы пришла Констанс, чтобы поскорее пришла Констанс, она одна может мне помочь, без нее я пропал, и все мы пропали.

Констанс входит, я порывисто обнимаю ее, мы стоим молча, моя голова лежит у нее на плече, и я чувствую запах ее кожи, ее белой, нежной, чуть вянущей кожи, такой знакомый, такой дорогой, и мне становится чуть легче, страх отступает...

— Мне стыдно, Констанс, если бы ты знала, до чего мне стыдно! — шепчу я.— Всю жизнь я цеплялся за тебя, всю жизнь был для тебя тяжелым грузом и сейчас ничего не могу с собой поделать...

Констанс слегка отстраняется, чтобы заглянуть мне в глаза.

— Клод, не мучай себя,— спокойно и ласково, как всегда, говорит она.— Ты хорошо понимаешь, что для меня ты был всей жизнью, а ведь

жизнь — это не так просто и легко,— она улыбается и привычным жестом приглаживает мои волосы.— Зачем ты говоришь об этом?

— Потому что я устал... Впрочем, Констанс, ты ведь теперь видишь меня, все видят меня, а я вдруг ослеп... Ты знаешь, как это все получилось... с Натали... Почему она... Констанс, ты все понимаешь... почему она так со мной... Неужели я и вправду преступник?

Констанс тихонько вздыхает.

— Нам всем сейчас очень тяжело,— уклончиво говорит она.

— Нет, нет, я о другом... об апреле...

— Апрель? Что ж, мы ведь говорили об этом еще тогда... Ты поступил опрометчиво, необдуманно... Натали пришлось очень тяжело...

— Я думал, что она излечилась от этого...

— Излечилась? — грустно переспрашивает Констанс.— Что ты называешь этим словом? То, что ей удалось разлюбить Жиля при твоей помощи? Но ведь она ничего не забыла, ты же знаешь!

Да, мы с Констанс тогда решили, что я не должен заставлять Натали все забыть, потому что ей могло бы показаться, что она с ума сошла. И потом — этот Жиль: у них с Натали много общих знакомых, рано или поздно они бы встретились, и тогда опять начались бы разговоры о гипнозе и о нравах в нашей семье...

Так было благоразумней, конечно. Но лишь сейчас я понимаю, что происходило все эти месяцы в душе Натали. Первая любовь, первое счастье, в самом начале, никаких еще плохих воспоминаний, никакой горечи — одни надежды, мечты, предчувствия... И вдруг все это насильственно обрывается — и она не может противодействовать, она беспомощна, она чувствует себя опозоренной тем, что ты с ней сделал, тем, что у нее такой отец. Она знает, что Жиль и ее начал считать сумасшедшей... Любовь ушла, пускай и безболезненно. Но ведь осталась память о ней, остались пустота, холод, чувство бессилия перед моей нелепой и трагической властью... Ну, конечно, при всем этом должна была возникнуть ненависть ко мне. Ведь это я был всему виной, я грубо вмешался в то, во что нельзя вмешиваться, все разрушил, уничтожил — почему, по какому праву? Разве не права Натали, когда бросает мне в лицо самые страшные оскорбления, когда называет меня рабовладельцем и фашистом? Она имеет на это право, бедная девочка! Только бы она выдержала, боже, только бы она нашла силы выдержать все это, дождаться!

— Да, да, мы дождемся! — подхватывает Констанс и улыбается мне.— И Натали, она поймет, она успокоится, она ведь умная...

Мне становится бесконечно грустно. Констанс видит все во мне, но все ли она понимает? Это ведь я повторяю себе: «Дождемся, дождемся». Повторяю порой почти без веры. Но, может быть, я внушаю эту веру другим? Ведь Констанс не может знать ничего, кроме того, что знаю я... Или все-таки Робер?.. Нет, неужели Робер все же...

— Мне Робер ничего не говорил,— низкий, певучий голос Констанс звучит ласково и успокаивающе.— Но я знаю, что он тоже верит. И ты веришь, но почему-то нервничаешь... Как перед началом работы...

Перед началом работы! Я горько усмехаюсь — когда теперь начнется работа, да и какой она будет? Но это правда: перед началом какой-нибудь новой работы я всегда испытывал мучительную неуверенность, даже, вернее, мучительную уверенность, что ничего у меня не выйдет, что я бездарен и глуп, как пень, и через это отвратительное состояние мне неизбежно приходилось пробиваться к началу работы, к первым ее строкам, к первым наброскам. Но что будет тут...

— Нет, нет, я только в том смысле, что ты напрасно нервничаешь, все уладится,— поспешно отвечает Констанс.

Что уладится? Боже, что она говорит? Нет, я не должен даже думать об этом, пускай она верит, я ведь и сам ничего не знаю...

— Где Робер? — спрашиваю я.

Робер сразу же появляется на пороге, будто он подслушивал за дверью.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — заботливо спрашивает он, и этот вопрос, такой мирный, такой не соответствующий обстановке, поражает меня так, что я с трудом удерживаюсь от истерического смеха. Да, в самом деле, как я себя чувствую? Благодарю, голова немного побаливает, надо прогуляться на свежем воздухе, и все пройдет.

И вдруг я начинаю ощущать, что это не бессмысленная вежливость, что Робер спрашивает не зря. Мне и вправду плохо, я болен, меня трясет озноб, все кости ломит. Что это, радиация? Нет, будто непохоже.

— Нет, это не радиация. Ты просто переутомился,— отвечает Робер.— Я уже давно вижу, что ты страдаешь от перенапряжения. Надо, чтоб ты побольше спал. Засни опять, прими снотворное.

— Не хочу снотворного,— почти машинально отвечаю я.

Меня гнетет предчувствие какой-то новой неотвратимой беды. Я заметил, что Робер еще с порога обменялся взглядом с Констанс, и взгляд этот был тревожный и понимающий. О чем это они?.. Нет, я решительно не завидую тем, кто имел со мной дело прежде! Ходить вот так, ощупью, как слепому, рядом с человеком, который все видит в тебе, даже самое потаенное, скрытное ото всех,— боже, какое это мучительное, унизительное ощущение!

— Что случилось? — почти кричу я.— Почему вы ничего не говорите, ведь вы знаете! Я должен знать!

Робер и Констанс опять обмениваются тревожным взглядом, будто советуясь. Потом Робер пожимает растерянно плечами.

— Видишь ли, Клод,— говорит он.— Тебе сейчас важнее всего отдохнуть. Ты никому и ничем не поможешь, если будешь убивать себя перенапряжением. Вот отоспись, и тогда мы поговорим. Все равно...

Это «все равно» меня добивает.

— Кто? — кричу я.— Кто, ради бога? Говорите правду! Натали?

— Нет... — почти беззвучно произносит Констанс.— Отец...

— Отец? Где он? — Я с ужасом соображаю, что все это время даже не вспомнил об отце.— Где он?

Робер и Констанс отводят глаза. Нет, не может быть!

— Но он... он же не мог, вот так... Почему вы мне ничего не сказали?

— Ты говорил в это время с Натали... — тихо и печально отвечает Констанс.— Он все время, с утра, сидел и курил. Потом подошел ко мне — я стояла у окна — и сказал: «Девочка, ты крепкая, я тебе одной и скажу. Я решил пойти прогуляться вон туда, видишь? Тропинка идет по склону холма, огибает его, а что дальше — не знаю. Даже сквозь это проклятое пыльное стекло видно, как там хорошо». Я сказала: «Разве вы не знаете, что там смерть?» Он ответил: «Да толком не знаю. Я ведь человек простой, в науке не разбираюсь, а то, что Клод устроил с нами, это, знаешь ли, штука тонкая. Чертовщина просто. А потом — что ж такое смерть? Мне с ней давно уж пора поговорить. Вот пойду, может, и встречусь». Я умоляла его остаться, просила хоть поговорить с тобой, но он только головой качал. «Клод, он меня простит за невежливость, он мальчик добрый. А мне лучше уйти потихоньку. Ничего он тут поделать не может, только расстраиваться попусту будет. Я посидел, знаешь ли, в уголке и все обдумал. Ему всех не удержать, так что уж лучше мне отпустить веревку — как Валери сделала».

— Отпустить веревку? Он так сказал? — холодея, спрашиваю я.

«Значит, он слушал мой разговор с Валери, мои мысли? Или это слу-

чайность? Неужели меня слышат даже на расстоянии? Боже, о чем я думаю! Ведь отец — он ушел туда, он умер... или умирает? Умирает? Почему я не думал о том, что сталось с Валери, Софи, почему я не понимал, что они, наверно, еще ходят или лежат там где-то... умирают, беспомощные, в невыносимых мучениях? Почему я не думал о настоящем облике атомной смерти, а только об уходе?»

— Ты не должен об этом думать,— приказывает Робер, глядя мне в глаза.

— Но я не могу...

— Можешь. Я объясню тебе, в чем дело. Я наблюдал за всеми. Если видел, что приближается критический момент, то давал таблетку — знаешь, эти, с цианистым кали, которые убивают мгновенно.

— Ты не имел права этого делать! Ты с ума сошел!

— Имел. Все зависит не от них, а от тебя. Если ты не можешь удержать кого-нибудь из нас, то я могу хоть избавить его от мучений. Скажи, что я не прав! Наша старая лагерная правда, Клод.

Да. Та правда, во имя которой мы дали смертельные дозы морфия Леону и Феликсу, когда я... не смог удержать веревку! Все верно, Робер, ты прав, тысячу раз прав, а я... своим равнодушием я отправил на смерть любимую женщину и отца.

— Это не равнодушие, ты же знаешь, Клод,— говорит умоляюще Констанс.— Ты не виноват. Это... ну, просто это жизнь.

Жизнь? Чудовищная нелепость этого слова в таких обстоятельствах лишает меня сил. Я молча смотрю на Констанс, на Робера. Боже, как они спокойны, хоть и печальны, как они уверены в своей правоте! Да и что удивительного — ведь не они за все отвечают... Не они... Все же страшный удар, доставшийся мне,— это поразительная несправедливость, он не по силам мне, он надламывает меня.

— Твой дар связан с твоим характером,— говорит Робер.— Ты же знаешь. Именно твоя повышенная впечатлительность, чуткость, острота переживаний делают тебя способным к ясновидению, к передаче мыслей. Человек более уравновешенный и сильный не добился бы таких потрясающих результатов, ему помешали бы именно уравновешенность и сила.

Мне стыдно признаться — именно перед ними, которые так хорошо все это понимают,— до какой степени тяготит меня этот странный односторонний разговор: я думаю, они отвечают. Впрочем,что я: ведь я признаюсь автоматически, раз думаю об этом. И чего мне стыдиться перед Робером и Констанс, с ними-то у меня была двусторонняя связь, пусть не такая четкая и налаженная с их стороны, но все же... Да, это правда, они меня видели почти всегда в исключительных обстоятельствах — в минуты опасности, тяжелых страданий. С Робером у нас связь была двусторонней практически лишь в тюрьме и лагере.

— Потому что в нормальных условиях эта связь вообще не нужна. Я же тебе говорил,— отвечает Робер.— А теперь ты на собственном опыте видишь, до чего это неудобно и даже, откровенно говоря, бессовестно. Ну, что хорошего вот так, в любую минуту, без стука и без звонка открывать дверь в чужую душу? Да еще пытаться наводить в ней порядок по собственному разумению. Ты ведь знаешь, какого я мнения был всегда об истории с Натали. Сам видишь теперь, к чему это привело...

Ладно, пускай он прав, пускай прав тысячу раз, но о чем мы говорим? Отец ушел, сам ушел, он понял, что я... да, что он понял, что подумал? Может быть, в эту минуту где-то, на тропинке среди дальних холмов, на пологом скате у реки или в прохладной тени леса, где нет больше птичьего щебета и свиста, а слышен лишь похоронный напев ветра в густой листве, он почувствовал предсмертную дурноту и присел, чтоб глотнуть крохот-

ный белый шарик, избавляющий от мучений? Впрочем, кто знает, сколько рентген там, снаружи?Может, ему осталось жить еще двое-трое суток, и он будет тянуть до последнего, пока страдания не перевесят удовольствия от свободы, от свежего воздуха, и ветра, и солнца. Может, он дойдет до городка, устроится в одном из опустевших домов... Опустевших? А может, там еще есть люди... медленно умирающие в мучениях...

— Не думай об этом! — Взгляд Робера опять становится ощутимо тяжелым.— Ты не имеешь права зря растрачивать силы.

— А имею я право быть человеком? — медленно, с усилием, будто бредя против течения, говорю я.

Взгляд Робера сковывает меня все сильнее, он придавливает меня к креслу. Я начинаю думать, вяло и равнодушно, о том, что уровень радиации в нашей местности необычайно высок, по-видимому: ведь все кругом затихло и вымерло в первые же сутки. Ну, первые часы я почти не смотрел в окно, а народу тут не так много было, я мог и не заметить, если кто-нибудь проходил по холму. А животные или птицы? Нет, не помню, были ли они в тот первый день; потом уж никого не было, это точно. Вероятнее всего, люди успевали добраться до дому, а потом им становилось настолько плохо, что они не могли выходить наружу,— да и к чему? Должно быть, все поняли, что произошло, ведь этого ждали и боялись столько лет подряд... Целое поколение выросло в страхе перед атомной войной — и вот...

— Не думай ни о чем. Тебе надо спать,— приказывает Робер.— Спи. Или вспоминай что-нибудь. Сосредоточься и вспоминай, это тебя хорошо отвлечет. А мы с Констанс уйдем.

Мне уже все равно. Я их не вижу. Я лежу на старой резной деревянной кровати с высокой спинкой, а на стенах и потолке играют причудливые струящиеся световые пятна — отблески речной зыби и трепещущей листвы платанов. Рядом со мной Валери. Она мерно и легко дышит во сне, и синяя тень густых ресниц лежит на ее смугло-розовых щеках. Это воскресное утро на набережной Цветов; там мы с Валери прожили первые полгода, потом переехали на улицу Сольферино. Значит, это август или сентябрь 1935 года. Скорее сентябрь: утро солнечное, но свежее, от Сены тянет холодком, и в густой листве платанов перед окном уже просвечивает желтизна. Я счастлив; мне все кажется прекрасным: и эта продолговатая, довольно мрачная комната, обставленная тяжелой, старомодной мебелью, и большая ветвистая трещина, бегущая по высокому потолку как раз над моей головой, и поблекшие обои — букетики мелких желтых роз на палевом фоне,— и эта темная, потемневшая от времени, от сырости, от бесчисленных людских прикосновений кровать. Мне нет дела до того, кто лежал на ней, на этой парижской многотерпеливой кровати, до меня,— сейчас я здесь, я с Валери, с самой прекрасной девушкой на свете, и я все еще не могу поверить, что она моя жена. Валери вздыхает чуть глубже, и вдруг этот вздох, от которого приоткрываются ее темно-розовые губы, переходит в легкий смех, в солнечную улыбку, распахиваются ресницы, и глаза Валери, сияющие сквозь дымку сна и счастья, смотрят на меня. Мне двадцать два года, и я вижу в этом высшее счастье. Да и сейчас, почти через тридцать лет, глядя на это юное смеющееся лицо в изменчивом свете ясного утра, я думаю, что высшего счастья в мире нет. Потом у меня было другое, многое другое, может быть, на том же уровне, но не выше... а впрочем, как это измерить, кто знает...

Я, двадцатидвухлетний, в той далекой, из другого мира, комнате обнимаю Валери, с восторгом ощущая, какие мы оба молодые, как свежа наша

кожа и упруги мускулы, как чудесно пахнут темно-каштановые пушистые волосы Валери и как прекрасны ее горячие губы, тянущиеся навстречу моим. Как легко и естественно каждое движение, когда ты молод, когда ребра еще не переломаны, почки еще не отбиты и тебе не приходится иной раз припоминать, как долго ты лежал, широко разбросав руки, вывернутые в плечах, распухшие, горячие руки, потеряв даже силы стонать, после долгих, бесконечно долгих часов, которые ты прокричал, простонал, прохрипел, подвешенный к балке за эти руки, принявшие на себя всю тяжесть твоего тела, исхудавшего, истаявшего — и все же такого невыносимо тяжелого!

Что я говорю? Разве могло быть такое счастье потом? После того как мы прошли войну? Разве эти воспоминания, эти бесчисленные незаживающие рубцы на теле и на душе не отравляли тебе самые прекрасные минуты? Медовый месяц с Констанс... это было прекрасно, но мы оба знали, что таится в глубине и всегда готово всплыть наверх: память о погибших, память о муках, память о том, что способны сделать люди с людьми — обычные люди с обычными людьми. Что было бы, если б я остался с Валери? Впервые, пожалуй, я так отчетливо задаю себе этот вопрос. Констанс з н а л а; Валери — нет. Валери была по ту сторону страданий, бесчеловечности, бессмысленной и безграничной жестокости. Ей было тяжело первый год без меня; потом она нашла себе защиту и опору, и дальше все пошло обычно. Да, в Париже были немцы, была война, трудновато получалось с продуктами. Но ведь я-то знаю Валери: она любила и была любима, а все остальное имело для нее мало значения. Да и что — остальное? Шарль, как видно, умел жить, он и при немцах устроил так, что Валери ни в чем не испытывала особого недостатка, а Валери много и не надо было...

И я будто снова слышу бормотанье отца, доносящееся из далекой дали лет, из призрачного девятнадцатого года, из давно не существующего полутемного маленького кафе на площади Терн: «Клод, мой мальчик, война — это такая штука... она человека всего переворачивает. Она тебя убивает. А если ты все-таки остался в живых, приходится вроде как заново на свет рождаться. И все по-другому. А твоя мама, она этого не понимает. В тылу никто этого не понимает... Я ведь не виноват, что война была...»

Отец сознательно выбрал Женевьеву — ту, которая з н а л а. Меня заставили сделать выбор. А если б не заставили? Могла бы Валери, жизнерадостная, легкая, мечтательная Валери начать новую жизнь, невеселую жизнь со мной, новым, совсем иным, искалеченным физически и душевно? Нет, положительно, все к лучшему в этом лучшем из миров, даже то, что он, этот наш распрекрасный, безнадежно запутанный мир валится в тартарары, туда ему и дорога!

Но, размышляя так, я сквозь проклятый, отравленный, гибнущий мир 19... года продолжаю видеть мир ясный и светлый, мир юности и любви,— мир, каким он был для меня в 1935 году. Вот я встаю с постели и гляжу в настежь распахнутое окно на ослепительную рябь Сены, на серые теплые плиты набережной, на большие старые деревья острова Сен-Луи, отделенного от нас узким протоком, и листва платанов шумит и трепещет перед окном, так близко, что протяни руку — и коснешься этих прохладных, гладких, узорчатых листьев.

А потом... потом мы пьем кофе за круглым столиком у окна, и на Сене рокочет буксир, по набережной с сухим шорохом проносятся машины, такие неуклюжие и громоздкие с моей теперешней точки зрения, такие нарядные и стильные для нас с Валери. Я перегибаюсь через стол и целую Валери, она тихо смеется, и на ее лицо ложится мелкая светлая зыбь от

чашки с кофе, которую она держит в руке. Быстрая тень скользит по нашим лицам, по столу, накрытому пестрой скатертью,— это перед окном пролетел голубь. Я, сегодняшний, все больше удивляюсь своей тогдашней безмятежности. Что, собственно, делалось в мире? Ведь уже был фашизм и в Италии и в Германии, готовилась война... Или мы ничего не видели?

Стучат в дверь — коридорный принес газеты. Я шарю по карманам серого пиджака, висящего на стуле, нахожу мелочь, сую в потную лапу долговязого худосочного паренька с копной рыжих волос — я знаю, что его зовут Клод, так же, как меня,— и бодро говорю:

— Ну, Ри, сейчас мы узнаем, что творится в мире!

Боже, у меня не было никакого желания узнать, что творится в мире, я произносил пустые, ничего не значащие слова, мой мир был здесь, около Валери, вокруг Валери, а все остальное, даже работа, не очень-то занимало меня.

Я читаю газеты. Как странно читать их, видя все одновременно — через юношеский, нелепый, трагически-наивный оптимизм и через теперешнюю горькую мудрость обреченного... Я читаю газеты и все больше ужасаюсь — как я мог быть таким кретином? Ну ладно, молодость, беспечность, первая любовь, все понятно,— однако есть ведь какие-то пределы всему! Видеть — и не видеть; читать, даже раздумывать о прочитанном — и ни черта не понимать; слышать глухие раскаты грозы, надвигающейся на мир,— и принимать их с легким сердцем, смеясь и бессмысленно надеясь на то, что все уладится превосходнейшим образом! Да, таков мир, таковы люди, и нечего удивляться тому, что случилось и в четырнадцатом, и в тридцать девятом, и в этом году...

Я, двадцатидвухлетний, читаю газеты спокойно и весело, не видя, что мир балансирует на грани войны, как Лаваль, изображенный на карикатуре в виде большого полосатого кота, балансирует между Муссолини и Черчиллем, осторожно шествуя по забору с надписью «Женева». Над этим безмятежным солнечным миром уже звучат все громче сигналы тревоги, часовой механизм безжалостно и поспешно отсчитывает последние минуты до взрыва, а люди затыкают уши и весело смеются.

Аддис-Абеба празднует окончание периода дождей. Празднует потому, что так принято, хотя конец дождей означает начало войны; Муссолини уже готовит свои войска, и абиссинские пехотинцы, темнокожие, босоногие, в узких белых штанах и живописно развевающихся накидках, тоже маршируют, готовясь к бою. «Что будет с Европой,— пишет «Матэн»,— если абиссинские события и их последствия создадут для Адольфа Гитлера неотразимое искушение? А последствия такого искушения можно уже сейчас предвидеть». Мой юный двойник беспечно переворачивает газетный лист. Война на пороге, а он ничего не видит.

Карикатура — Муссолини и Гитлер обняли земной шар, и Гитлер уже целится флажком со свастикой в Мемель. Мемель должен вернуться к Германии. Немецкие военные корабли в бухте Клайпеды. Лаваль заигрывает с Муссолини. Упражнения отрядов противогазовой обороны в Лондоне. В Германии 15 сентября принят закон о защите германской крови и германской чести. Члены общества «Французская солидарность», вооруженные дубинками и револьверами, нападают на евреев. Еще карикатура — Гитлер салютует у могилы Неизвестного немецкого солдата, а Геринг шепчет ему: «Осторожнее, Адольф! А вдруг он был еврей?»

Политики, видимо, понимают, что все это значит. Вот перепечатка из «Дейли геральд»: «Каждый сторонник мира надеется, что не понадобится прибегать к силе для защиты мира и права. Но если мы хотим сохранить право и мир, то все страны должны показать, что для этого они гото-

вы в случае надобности применить силу. Допускать какие-либо послабления в этом пункте — значит отдать человечество в руки безумцев и поджигателей войны».

Да, все это звучит прекрасно; только Англия и Франция думали-думали, торговались-торговались да и отдали Муссолини Абиссинию, а потом погубили Испанию, потом вздыхали, глядя, как Гитлер глотает Австрию, потом отдали ему в добычу Чехословакию, а когда спохватились, было уже поздно.

А я весело смеюсь и говорю Валери:

— Смотри, девочка, в Брюссель на выставку прибыли двадцать восемь королев красоты! Будут избирать мисс Universum.

Валери садится ко мне на колени, и мы рассматриваем королев — белокурых и темноволосых, большеглазых, длинноногих, загадочно и беспечно улыбающихся; мы находим, что некоторые из них попросту дурнушки. Потом мы советуемся, когда пойти в Театр де Пари на новую пьесу Саша Гитри «Когда мы играем комедию», хохочем над рекламой мыла «Пальмолив»: «Купите сегодня же три куска мыла «Пальмолив»... Я всегда буду верна «Пальмоливу».

— Я всегда буду верна Клоду!— заявляет Валери и звонко чмокает меня в ухо.— Смотри-ка, до чего симпатичный пляж в Сен-Жан де Люс! Хочу вот в такую полосатую палатку. И чтобы плавать до одурения! На волнах! Мы туда поедем будущим летом, да?

Мы не поехали в Сен-Жан де Люс ни следующим летом, ни потом. В мае тридцать шестого года мы славно побродили по Пиренеям, на другое лето отправились в Бретань... Так я и не был в Сен-Жан де Люс, а жаль... даже сейчас жаль.

Пушистые волосы Валери щекочут мне щеки, ее дыхание смешивается с моим. Какая она прохладная, легкая, гибкая, какое счастье сидеть вот так, держа ее на коленях, и говорить о чем угодно! О том, что Жюля Лядумега зря исключили из Федерации атлетизма — подумаешь, получил плату за выступления, так это называется «торговать своими достоинствами»!— о том, что хорошо бы пойти на гастроли Жозефины Бэкер, но билеты нам не по карману, а впрочем, бог с ней, с Жозефиной Бэкер, и почему бы нам не купить загадочный артсель — живой камень, обладающий физико-химическими и магнетическими свойствами? «Каждый может иметь талисман всего за 1 франк 50 сантимов марками!» Вот и мы будем иметь талисман, почему бы и нет? Потом мы сходимся на том, что Морис Шевалье великолепен, и что хорошо бы поехать еще в Виши, и что это, конечно, жуть, когда целая куча голых женщин на сцене, как в «Альказаре». Мы вместе читаем газеты, и нам хорошо. Нам всегда хорошо вместе. В Париже сегодня днем будет 22 градуса, ночью — 15; превосходно! Ирен Жолио-Кюри в интервью с нашим корреспондентом сказала об атоме и о четвертом измерении: «Я уверена, что через тысячу лет дети в школах будут проглатывать это, как молоко. Я верю в будущность человеческого разума»,— здорово сказано. А вот это, смотри-ка, до чего смешно, вот чудаки!

Я смотрю на газетную полосу вместе с этими великолепными и беспечными молодыми кретинами, которым я все же отчаянно завидую,— смотрю, и мне грустно, потому что эта спиритическая белиберда начинается со слова «война», и это тоже одна из попыток спасти мир, хоть и жутко нелепая...

Война!

Спиритам принадлежит знание. Знание есть ответственность. Дух героев прошлой войны взывает к вам о мире.

Молитва принесет мир. Мы умоляем тебя дать твоим посланцам власть для создания мира и благожелательства на земле. Аминь.

Последняя фраза — текст молитвы. Спириты верят, что если люди во всем мире будут каждый вечер, ровно в девять часов, произносить эту фразу, обращаясь к богу, то они добьются мира. Что ж, вера не хуже всякой другой. Если б люди во всем мире могли хоть в девять часов вечера делать что-либо абсолютно дружно, они многого добились бы. Спириты это поняли, молодцы, спириты, браво, спириты!

Валери слегка сдвигает брови, свои темные крылатые брови на гладком смуглом лбу и поворачивается ко мне.

— Клод,— говорит она и проводит мизинцем по моей брови.— Клод, милый, у тебя вот тут волосок торчит совсем отдельно и поперек. И не хочет приглаживаться. А что, если я его выдерну?

— Выдерни,— восторженно соглашаюсь я.

Валери соскальзывает с моих коленей и роется в туалетном столике. Она приносит маленький пинцет и уже нацеливается на непослушный волосок, но вдруг останавливается и спрашивает:

— Клод, а почему они так пишут? Эти спириты? Разве будет война?

— Не знаю,— рассеянно отвечаю я, любуясь ею.— Наверное, будет.

Валери аккуратно выдергивает волосок и сдувает его с пинцета. Потом она откладывает пинцет, опять садится ко мне на колени и говорит:

— А по-моему, войны не будет. Потому что это глупо — воевать. Зачем?

— Не будет,— сейчас же соглашаюсь я.— Действительно — глупо. Действительно — зачем? Ты умница, Ри!

Валери хватает газету.

— А вот газеты все время кричат про войну... Слушай, а кто такой Мотори Норинага? Великий Мотори Норинага?

— Понятия не имею,— чистосердечно признаюсь я.— Японец какой-то, наверно?

Мы с Валери читаем: «Дух Ямато — это цветы горной вишни, благоухающие на восходе солнца». Что такое Ямато, я тогда тоже не знал и лишь впоследствии выяснил: так называлась Япония в древности. Дух Ямато — это нечто вроде понятия «галльский дух». А вот если б спросить меня, читал ли я стихи Мотори Норинага, я готов был бы поклясться, что никогда не читал и имени такого не слышал. Да, странная штука эти мои воспоминания... предсмертные, немыслимо яркие воспоминания...

Впрочем, это воспоминание вскоре обрывается. Я, тогдашний, успеваю еще встать, подойти к столику у постели, надеть часы на руку, увидеть новый, даже не разрезанный пока роман Жана Жироду «Жюльетта в стране мужчин», подумать, что вечером мы его будем читать, обнявшись, в кресле у окна,— и светлый мир гаснет, исчезает, начинают беспорядочно мелькать какие-то обрывки воспоминаний.

Потом я снова оказываюсь на набережной Сены. Но это другая набережная — Сен-Мишель у Малого моста — и другая Сена, осенняя, обволакивающая все вокруг промозглой сыростью. Унылые гудки буксиров в мутном тумане, и хриплые пьяные возгласы вокруг, и мокрые, черные, озябшие кусты вдоль черно-блестящих плит набережной, и порывистый ледяной ветер — другой, совсем другой, неуютный, неприветливый Париж, чужой Париж, потому что Валери уехала к больному отцу в Тулузу, ее нет уже целую неделю, и мне так тоскливо, что я готов зайти вот в этот сомнительный кабачок и выпить что-нибудь для бодрости, а впрочем, черт с ней, с бодростью, на что мне бодрость, и из кабачка пахнет спиртным перегаром, потом и дешевой пудрой, и мне противно туда идти, лучше уж домой...

Я не успеваю попасть домой, не успеваю ни шагу сделать больше по мокрой и скользкой набережной. Ночь внезапно рассеивается, брезжит мутный туманный рассвет, и я в полосатой одежде стою на аппельплаце под моросящим дождем, под ледяным ветром, и кругом одинаковые полосатые тиковые куртки и брюки, и одинаковые, истощенные, страшные, неживые лица, и передо мной стоит эсэсовец Рюммель и замахивается плеткой, а я говорю: «Покорнейше сообщаю, герр роттенфюрер, что за ночь я хорошо отдохнул!»— и вдруг Рюммель круто поворачивается и уходит, печатая шаг по мокро шуршащему гравию, а я слышу, как рядом со мной облегченно вздыхает Марсель Рише.

«Ночь»— это был пароль для моих лагерных «крестников». Мы долго придумывали, какое слово выбрать для этой цели: нужно было общеупотребительное, но не из самых необходимых и неизбежных в лагерном обиходе.

Это было после того, как я послал Кребса на проволоку. Доказать ничего нельзя было, но шуму вся это история наделала много, и мы понимали, что повторить такой номер уже нельзя. А спонтанные контакты с «крестниками» могли возникнуть у меня в любую минуту. Мы вспомнили и обсудили все, что знали о гипнозе, и решили, что самое лучшее будет, если я всем им внушу одно и то же: услышав слово «ночь», они должны немедленно уходить и засыпать. Марселю и Казимиру это показалось невероятно забавным, они долго хохотали и никак не могли успокоиться, да это и вправду было смешно, однако и опасно в такой же мере. Хорошо еще, если «крестник» подойдет ко мне наедине,— а если это будет при других? Послушается ли он приказа — идти спать, если рядом будет его начальник? И что подумают другие о моем странном упоминании насчет ночи, ведь если разговор будет сугубо официальным, вряд ли удастся ввернуть такую фразу, не вызвав никаких подозрений. Особенно если на эту фразу так необычно отреагирует мой собеседник. Раз-другой это может сойти, а потом...

К счастью, это заклинание пришлось применять редко. И всего один раз я произнес фразу с паролем вот так, при всех, на аппельплаце, и никто из лагерного начальства не понял, что произошло. Наш блоковой потом спросил меня, с чего это я вздумал докладывать Рюммелю, как провел ночь, но Марсель сказал: «Да ты что, не понимаешь? Со страху что угодно брякнешь!»— и блоковой вполне удовольствовался этим объяснением. А вот Рюммелю здорово влетело за то, что он ни с того ни с сего отправился спать в часы службы...

Вот и кончились воспоминания. Я по-прежнему полулежу в глубоком кресле, и Робер пристально смотрит на меня.

— Выспался?— спрашивает он.

Разве я спал? Воспоминания — во сне? Такие яркие? Странно. Впрочем,я вижу, что здесь, в этом мире, в этом моем фантастическом Светлом Круге, все возможно и ничто не странно.

— Робер, что ты делал в сентябре 1935 года?— спрашиваю я неожиданно для себя самого.

Робер не удивляется. Он хмурит брови, вспоминая.

— Ничего особенного, пожалуй,— неуверенно говорит он.— Ну, посещал лекции, работал в лаборатории... Я с первого курса начал работать, и даже не только из-за денег... В сентябре тридцать пятого, говоришь? Ну, два события я запомнил хорошо. Я отбил Жюльетту у Большого Мишо — ох, и девчонка была!— а еще я был на митинге Всеобщей Федерации Труда. Мне ребята добыли приглашение, и я пошел. Когда Торез шел к трибуне, весь зал поднялся и запел «Интернационал». Так что любовь и политика, все на высоком уровне. А ты что делал в это время?

— Занимался любовью. Политикой — нет. Неужели ты в восемнадцать лет уже интересовался политикой?

— Даже раньше. Как и любовью, впрочем. Я более гармоничен, чем ты, вот и все.

Робер произносит все это своим обычным, небрежным, насмешливым тоном, и мне опять становится страшно. О чем мы говорим, о чем думаем!

— Как ты думаешь, Робер, почему у меня здесь начались такие яркие и странные воспоминания?— спрашиваю я.

Нет, Робер положительно что-то скрывает от меня! Он вдруг смущается, отводит глаза и с неестественным оживлением начинает говорить о состоянии перевозбуждения, о том, что в этом состоянии, возможно, растормаживаются какие-то глубинные слои психики, что это было бы весьма любопытно для нейрофизиологов...

— А может, скорее для невропатологов и психиатров?— прерываю я его.— Послушай, Робер, ты ведешь какую-то дурацкую игру со мной, хитришь, что-то скрываешь... К чему? Ведь ты пойми: мне еще тяжелее, когда я вижу, что ты, даже ты — не со мной...

— И что ты совсем одинок, да?— с каким-то странным, жадным любопытством спрашивает Робер.

— Ты уже говорил об этом...— медленно отвечаю я, изо всех сил борясь со страхом.— Ты уже внушал мне это... Зачем, Робер? Зачем? Чего ты от меня хочешь?

Робер глубоко, очень глубоко вздыхает, будто ему не хватает воздуха. Лицо его вдруг становится бесконечно усталым, почти старым. Ни слова не сказав, он круто поворачивается и уходит.

И почти сейчас же появляется Натали. Я откидываюсь на спинку кресла, раздавленный ужасом и горем: сейчас мне ясно, что это конец, у меня нет больше сил держать Натали, она так глубоко и остро ненавидит меня, что эта ненависть рвет связь между нами, выводит ее из Светлого Круга. Мне хочется плакать, кричать, просить: «Натали, не надо так, Натали, я не виноват, верни мне свою любовь, свое доверие, иначе мы оба пропали!» Хотя... зачем кричать, зачем вообще говорить теперь? Ведь я прозрачен, как стакан, для всех окружающих.

— Сейчас поздно говорить об этом,— отвечает Натали, и голос у нее безжизненный, матовый, хрупкий.— Сейчас вообще уже все поздно, кроме...

— Кроме?..— как эхо, повторяю я.

— Кроме того, чтоб уйти. Я... я старалась, но больше не могу выдержать.— Голос Натали оживает, в нем звучит глухая боль и тоска.— Не могу.

— Это из-за той истории, да?— зачем-то спрашиваю я.

— Не знаю...— помолчав, отвечает Натали.— Вероятно... в конечном счете... Я ведь так и не могла прийти в себя по-настоящему... Весь мой мир лежал в обломках и осколках — такие острые, куда ни ступишь, все больно. А теперь... теперь рухнул весь мир вообще. Я знаю, вы, старшие, на что-то еще надеетесь... Если б я не была так тяжело ранена, может, и я бы надеялась. Впрочем, дело не в надежде — я все равно не могу больше переносить эту боль, этот страх, эту пустоту. Лучше — туда, и сразу всему конец. Да, сразу. У меня есть пилюля.

Значит, и Робер это понял. Значит, все потеряно. Я ее не удержу, нет, и она права — лучше уж сразу конец.

— Прощай,— говорит Натали, и лицо ее становится серым, как пыль на окнах.— Если можешь, продолжай держаться. Я уже не могу.

Она идет к двери на террасу, осторожно, словно балансирует на доске, переброшенной через пропасть. Я сижу, не в силах пошевельнуться, не

в силах даже крикнуть. Дальше повторяется, как в неотвязном кошмаре, сцена ухода Валери: на фоне синего неба и пологих зеленых холмов возникает девический силуэт, потом дверь захлопывается, слышны легкие, стремительные, нетерпеливые шаги — вниз, вниз, по деревянным ступенькам, вниз, вниз, к свободе и смерти.

Только на этот раз я не встаю, не пытаюсь броситься вслед, и Констанс не приходит спасать меня от себя самого. Я продолжаю сидеть, даже когда дверь библиотеки распахивается с такой силой, что бьет о стену и от этого удара дребезжат стекла книжных шкафов. Я только смотрю на Марка и молчу. Мне уже все ровно, и я ничего не могу поделать.

Больше я не вытяну, надо кончать. Да и ему плохо. Опасная это игра, но раз уж начал... Нет, я скоро свалюсь от усталости. Я не думал, что это потребует такого напряжения... то есть не думал, что я не выдержу. А он? Ну да, ему намного тяжелее оттого, что я устал, не успеваю за всем следить... Но до чего он изранен, бедняга! Чего ни коснись, все сводится в конечном счете к войне, к лагерю, и от этого не уйдешь... Надо кончать, а мне страшно. Да, страшно, и все тут. Боюсь, что я сделал такую ошибку...

Марк стоит, широко расставив ноги и засунув руки глубоко в карманы. Он ссутулился и нагнул голову к левому плечу. Так он делает, когда собирается драться. Марк не в меня, он умеет драться молча, спокойно, без ярости, но всерьез, по-деловому.

— Натали ушла?— отрывисто и глухо спрашивает он.

Я молчу. Он тоже хочет уйти, да? Так вот — мне все равно. Уходите все, а потом и я пойду — прогуляюсь по берегу Сены перед смертью, подышу напоследок этим прекрасным, свежим, смертоносным воздухом! Последний завтрак осужденного перед казнью. На закуску — пилюля.

— Ушла!— констатирует Марк почти спокойно.— Ну, так вот...

Мое безразличие вдруг сменяется приступом страха. Я невольно вскидываю руки к лицу: трагически-бессмысленный жест лагерника, которым он пытается защитить себя от ударов и только больше разъяряет палачей. Лучше стоять навытяжку, руки по швам, пока еще можешь стоять, а собьют с ног — старайся опять подняться, и опять — по стойке «смирно»... Так скорей отстанут. Я забыл их, почти забыл, эти бессмысленные и опасные жесты, эти запрещенные защитные рефлексы полосатой армии лагерников, мне все это снилось лишь по ночам, а теперь, в эти страшные дни, все всплыло наверх из подводных глубин психики, и с каждым часом я становлюсь все более похожим на заключенного № 19732, на тот скелет в полосатой одежде, который пять лет прожил в аду, в двух шагах от мирного австрийского рая.

Не знаю, понял ли Марк, что означает мой жест,— вряд ли!— но в глазах его мелькает нечто похожее на жалость. Однако он упрямо закусывает нижнюю губу и говорит:

— Все это, понимаешь, ни к чему!

— Что ты имеешь в виду?— устало спрашиваю я: мне уже опять все равно.

— Все вообще. Ты знаешь. И все равно у тебя не хватит сил.

Я безразлично пожимаю плечами. Это тоже смахивает на одно из состояний лагерника, на то полнейшее отупение, рожденное дистрофией, которое вплотную подводит к грани между жизнью и смертью. Таких, ко всему равнодушных, полумертвых людей называли в лагере «мусульманами»— из-за их покорности судьбе, из-за совершенной неспособности активно действовать. Это был первоочередной материал для газовых камер; впрочем, мусульмане и без газовых камер были обречены, они

могли умереть в любую минуту, во сне, на ходу, сидя на койке или стоя на аппеле: они жили, так сказать, впритирку к смерти.

Итак, круг завершен. Почти через двадцать лет заключенный № 19732 все-таки вернулся, чтоб умереть. Вместе со всеми близкими. Методы массового убийства за это время усовершенствовались, полностью автоматизировались: прогресс, как известно, не остановишь! Теперь не нужно загонять людей силой или обманом в газовые камеры, не нужно экономить жестянки с «Циклоном Б», не нужно сжигать трупы (а какая это была нелегкая работа, сколько пришлось поломать голову умникам и в Берлине и на местах, пока не придумали более или менее подходящие способы побыстрее и поосновательней сжигать тысячи трупов!). Вообще ничего не нужно — нажал кнопку, а дальше все происходит само собой. Правда, в этот безотказно действующий механизм уничтожения попадает в конечном счете и тот, кто нажал кнопку, но это уже несущественная деталь. А зато какой размах, какой блеск, какая чистая работа! Жаль, что любоваться некому.

— Что же ты решил?— спрашиваю я.

Марк не смотрит на меня. Он напряженно думает.

— Я хочу сказать,— говорит он наконец,— что так все равно нельзя. Понимаешь? Даже если мы останемся в живых — так зачем? Это и вообще было противно — что мы не такие, как все... Ты, может, и не знаешь, но мне было чертовски неприятно, ведь я понимал. А сейчас это выглядит... ну, как-то даже некрасиво: все погибли, а мы живем. Почему мы, именно мы? Разве мы лучше других? Мы не лучше, а даже, может быть, хуже.

Все-таки надо бороться. Не будь мусульманином.

— Чем же мы хуже?— с усилием спрашиваю я.— И разве война разбирает, кто хуже, кто лучше? Кто-то гибнет, кто-то остается в живых, вот и все.

— Так ведь сейчас уже и не война,— мрачно возражает Марк.— Ну, какая это война, если сразу и воевать некому, и ни героев нет, ни трусов — всех прикончили? А что мы уцелели — вот это как раз и получается плохо.

— Если б мы оказались в противоатомном убежище, получилось бы все нормально, да?— говорю я.— Хотя мы не стали бы от этого ни хуже, ни лучше.

Марк упрямо встряхивает головой.

— Ты знаешь, что я хочу сказать! Мне всегда не нравилось то, что вы с мамой... ну, словом, эти штуки с телепатией — ты прости, но это, понимаешь... Сначала-то мне было плевать, но уже после того, что ты сделал с Натали!..

— А ты знал?— уже задетый, выведенный из равнодушия, спрашиваю я.

— Как же я мог не знать? Что я, по-твоему, кретин? Да я, если уж начистоту говорить, я хотел удрать из дому. И удрал бы, если б не это все... Пошел бы работать, я уж договорился, в редакцию рассыльным. А жил бы вместе с одним парнем, у него комнатенка неплохая, платили бы пополам... Это не потому, что я к тебе и к маме плохо отношусь, нет!— спохватывается он.— Но я больше не мог, когда вот так, прямо к тебе в мозги лезут без спроса, да еще и командуют... Не мог, и все тут!

— Тебя же никто не трогал...— слабо возражаю я, потрясенный этим взрывом.

— Натали тоже не трогали, а зато уж как тронули!— Марк передергивает плечами и морщится.— Разве вам можно после этого доверять?

Можно ли нам доверять? И это говорит Марк! Ну, пускай еще обо мне,

я был тысячу раз не прав в истории с Натали,— не прав и жесток, от невнимательности, от слепоты, от слабости духа... но Констанс? Разве можно найти во всем мире такую изумительную мать... такую жену...

— В том-то и дело, что она сначала жена, а лишь потом мать!— почти кричит Марк, и мне кажется вдруг, что я уже слышал где-то эти страшные слова.— Она любит тебя и на все пойдет для тебя. Я ее не виню, но она не защита ни мне, ни Тали! Лучше уйти подальше.

Марк даже не заметил, что он прямо отвечает на мои мысли — мысли, а не слова. Итак, Констанс не защита для них... от меня... Да ведь это сказала Натали. Не защита! Печаль и гнев охватывают меня. А расстояние — ты думаешь, это защита? Я справлялся с этими тупыми и злобными тварями-эсэсовцами, так неужели я не смогу воздействовать на родного сына? Да на каком угодно расстоянии...

Лицо Марка медленно бледнеет, это заметно даже сквозь бронзовый летний загар. Он судорожно выпрямляется и сжимает кулаки. Конечно, он все это видит — то, что я думаю. Но что же делать? Марк в и д и т — и уже сообразил, что видит, но так потрясен этим, что не может себе поверить... Идеальный брак... Идеальные дети... Светлый Круг... Боже, какая все это дикая чепуха и как можно так нелепо заблуждаться в моем возрасте... А Констанс? Неужели и она ничего не понимала? Или понимала, но молчала из любви ко мне, из страха за меня?.. Тогда... тогда, вероятно, прав Марк, и она прежде всего жена, моя жена, а остальное, даже дети...

Марк сдвигает свои густые темно-золотые брови, прикусывает губу и напряженно вглядывается в меня. Он сбит с толку и напуган.

— Зачем ты это делаешь?— наконец спрашивает он.— Чтобы напугать меня? Это... это же нечестно! И вообще неужели ты мог бы...— он бледнеет все больше.

— Не знаю...— честно признаюсь я.— Ведь тебе всего шестнадцать лет, я боялся бы за тебя, и кто знает... Глаза Марка темнеют, я пугаюсь этих расширенных неподвижных зрачков и поспешно заканчиваю:— А сейчас... сейчас я вообще ничего не делаю и вовсе не пытаюсь тебя запугивать... Это получается само собой и не зависит уже от моей воли...

Марк переводит дыхание, поза его становится менее напряженной, но руки по-прежнему сжаты в кулаки.

— Ну ладно,— наконец говорит он, и я понимаю, как он ошеломлен новыми для него ощущениями.— Сейчас я хоть вижу, что ты говоришь правду. Но ты же сам понимаешь, как это могло получиться. Ты желал бы мне добра, как желал бедняжке Тали, а ведь ты мог убить меня, свести с ума... бр-р!— Он зябко передергивает плечами.— Даже помимо воли... ты прости, но я слышал, как ты объяснял маме, что с Тали все получилось помимо твоей воли...

— Это совсем другое дело...— тихо говорю я: усталость и равнодушие опять одолевают меня.

— Уж не знаю... а, да теперь это все равно! Но ты можешь мне объяснить, почему мы остались живы?

Я бессвязно и безнадежно бормочу что-то о Светлом Круге... о великой силе любви и дружбы, о невидимых нитях, связывающих людей... о том, что телепатия усиливает эту духовную связь... Марк слушает и качает головой.

— Я так и думал, что ты сам толком не знаешь, в чем дело. Теперь слушай. Оставаться здесь я больше не могу. И никто не может, ты же видишь. Один за другим уходят и уходят. Я тоже хочу пойти. Может быть, это вовсе и не смерть, мы же ни черта не знаем, сидим, как рыбы в запыленном аквариуме, а кругом, может быть, море, надо только решиться.

— Марк, ты с ума сошел!— Я не хочу сдаваться, хоть не верю в

победу.— Ты видишь, что я не пытаюсь пускать в ход силу, чтоб удержать кого-либо из вас. А ведь это стоило сделать — вы уходите, чтоб умереть. Только потому, что не хватает терпения.

— Дело не в терпении,— объясняет Марк.— Для чего терпеть — вот вопрос. Или мы одни остались во всем мире, тогда... ну, все равно, тогда это не жизнь. Или же еще есть люди — вот я и пойду их искать.

— Марк, ну разве ты не понимаешь, что такое радиация?

— Понимаю. Мало я книг читал об этом, мало фильмов видел? Но мы-то сейчас не знаем, что там, за окнами. У нас даже счетчика Гейгера нет. Почем ты знаешь, может, это была «чистая» бомба, нейтронная и никакой радиации вовсе и нет?

Я ошеломленно молчу. А если в самом деле?

— Этого не может быть,— глухо говорю я наконец.

— Ах, не может? А чтобы телепатия защищала от радиации — это может быть?

— Но почему же тогда никто не вернулся?— растерянно бормочу я, стараясь сообразить, когда ушла Валери.

— А почему они должны были возвратиться?— спрашивает Марк.

Это меня добивает. В самом деле, почему? Что им тут делать, если они поняли, что я трус и жалкий эгоист, что никого я на самом деле не люблю и всеми этими побасенками о Светлом Круге и великой духовной связи лишь прикрываю свое душевное бессилие?

Марк ловит мои мысли и явно смущается. Что он испытывает? Жалость, смешанную с презрением? Ну да, вдобавок он все же подозревает, что я сознательно передаю ему свои мысли, и это кажется ему некрасивым. Еще бы! Дорого я дал бы теперь за возможность спрятаться, уйти в себя, не быть таким прозрачным и беззащитным!

— Значит, ты этого не хочешь?— недоумевая, спрашивает Марк.— Но тогда зачем же?.. Ты, значит, действительно уже не можешь с этим справиться?— догадывается он.— Ну, вот скажи теперь: разве я не прав? Разве с тобой можно... Ну, прости, конечно. Но, знаешь, я хоть и не трус, а эти штуки меня пугают. Это чертовщина какая-то, что ни говори. И знаешь что: тебе лечиться надо, ты такой издерганный стал... Я маме уж говорил...

Вот он, результат долгих и терпеливых трудов, оправдание моей жизни — моя идеальная семья, соединенная такой прочной, такой глубокой связью, мой Светлый Круг, защищающий от враждебного мира! Дочь меня ненавидит, сын презирает, жена ... жена, вероятно, жалеет по доброте своей, но и ей я основательно испортил жизнь. А другие? Отца и Валери я предал своим равнодушием, и они узнали мне цену... Даже Софи, простая душа, увидела сразу, чего я стою. И это ты считал прообразом будущего, окном в совершенный, гармонический мир? Имей мужество хоть признать свое поражение!

— Да, да, все вы правы, я один виноват!— кричу я, задыхаясь от боли и унижения.— И ты прав, Марк! Иди, что же ты стоишь!

Марк некоторое время колеблется, с тревогой глядя на меня.

— Я сейчас, только позову маму,— бормочет он.

Но как раз этого я уже не в силах вынести. Я чувствую, что не могу сейчас видеть никого, даже Констанс, и, может быть, даже особенно Констанс.

— Ты не уходишь?— Слова еле проходят сквозь мои сведенные судорогой губы.— Тогда я... я тоже не могу больше!

Я бросаюсь к двери на террасу; я бегу, боясь, что Марк меня опередит, удержит; я только одного хочу, уже не сознанием — сознание где-то вне меня, а кожей, сердцем, пересохшим ртом, руками, цепляющимися за

пустоту,— хочу уйти, уйти куда угодно от осколков моего разбитого мира. Но я не могу уйти, я топчусь на месте, задыхаясь от нечеловеческих усилий, а звеняще, сверкающие осколки со всех сторон рушатся на меня, впиваются в тело, в мозг, я слепну, я глохну, я немею от ярости, беспощадной боли, я уже не в силах произнести хоть слово, не в силах молить о пощаде и только кричу, кричу нечеловеческим криком, как двадцать лет назад. И, как тогда, спасительная тяжелая тьма наплывает на меня, наконец-то избавляя от пытки...

Начинало смеркаться, в глубине комнаты было уже совсем темно, и Робер включил настольную лампу у дивана.

— Клод все равно скоро проснется,— сказал он.— Я дал ему очень небольшую дозу.

Констанс смотрела на серое, осунувшееся лицо Клода — лишь легкое подергивание век говорило о том, что он жив.

— Все же я не понимаю, Робер,— тихо произнесла она,— как дошло до этого. Я ведь все время чувствовала, что ему плохо. А вы... разве вы не чувствовали?

Робер колебался.

— Видите ли, это был очень сложный эксперимент...— Он вдруг замолчал.

Констанс повернулась к нему.

— Сложный эксперимент?— медленно переспросила она.— Но ведь речь шла просто о гипнотическом внушении!

— Это и было гипнотическим внушением,— Робер шарил по карманам, ища спички.— Только не простым... Ну, вы же знаете, с Клодом ничто не просто.

— Да. Так что же все-таки?— Констанс глядела ему прямо в глаза.

— Я не мог просто внушить ему, чтоб он забыл. Или переменил мнение. Это была его idée fixe, центр его жизненной философии... Ну, все это, с телепатией, с подлинной связью между близкими людьми, с очагами сопротивления... Надо было наглядно показать ему, что получится, если Светлый Круг...

— Пожалуйста, продолжайте,— без выражения сказала Констанс.

— Ну, если Светлый Круг окажется реальностью... в условиях... в условиях третьей мировой войны. Если все кругом погибнут, а останемся лишь мы, которых он держит своей любовью. И все будет зависеть от его любви и нашего взаимопонимания.

Констанс долго молчала, опустив голову.

— Я не понимаю, как это было возможно,— наконец сказала она.

— Ну, я все заранее продумал и подготовил... Гипноз... И потому у нас с ним ведь существовала прочная телепатическая связь, так что я мог в известной степени контролировать опыт... Ему я обещал продемонстрировать опыты с электродами... Это я тоже делал для перебивки, вызывал различные воспоминания...

— Значит, Клод все это время был уверен, что началась война?— ровный голос Констанс слегка дрогнул, она откашлялась.— Но ведь война была его постоянным кошмаром, из страха перед войной он и придумал всю свою теорию! Теперь я понимаю... Боже, Робер, вы не должны были этого делать! Это может его убить!

— Я... нет, я в самом деле не подозревал, что он до такой степени болен страхом перед войной. У него все сводилось к мыслям о войне и к воспоминаниями о лагере.

— Вы-то знаете, что он пережил...

— Но я был вместе с ним, и Марсель, и многие другие, и мы в общем-то довольно редко об этом думаем.

— Он никогда не забывал. Не мог забыть.

— Теперь я вижу... Констанс, он, кажется, просыпается!

Дыхание Клода стало неровным, он пошевельнулся и простонал. Робер и Констанс молча стояли у дивана и ждали. Клод открыл глаза и сейчас же, вскрикнув, зажмурился.

— Клод, милый, что с тобой?— тихо спросила Констанс.

— Ты не ушла... и напрасно,— пробормотал Клод, не открывая глаз; лицо его было искажено судорогой глубокого страдания.

— У тебя глаза болят? Попробуй открыть глаза, Клод, пожалуйста, попробуй.

Клод осторожно приоткрыл глаза и сразу же, щурясь, сел на диване. Вид у него был растерянный.

— Подождите... Значит, это все-таки была нейтронная бомба?

Робер прикусил губу.

— Послушай, Клод, мы должны тебе объяснить...— начал он.

Клод внезапно встал и, нетвердо ступая, подошел к окну. В Люксембургском саду серели прозрачные сумерки. На аллее играли дети, их звонкий смех, приглушенный шелестом листвы и шорохом автомобильных шин, доносился в окно кабинета, на четвертый этаж старого дома на улице Вожирар. Клод постоял с минуту, потом вернулся и лег на диван.

— Что со мной было?— еле слышно проговорил он, не открывая глаз.— Я... я болен?

— Нет... Ты помнишь, что мы с тобой уговорились встретиться сегодня утром?

— Сегодня утром?— ошеломленно переспросил Клод.— Нет...

— Ну, так вот, сегодня утром, в десять часов, ты приехал ко мне,— хмурясь, сказал Робер.— Твоя машина стоит и сейчас за углом, на улице Бонапарта. Ты поднялся ко мне и все это время провел в моей лаборатории. Сейчас девять часов вечера. Последний час ты проспал. Опыт продолжался около десяти часов. Констанс почувствовала, что тебе плохо, и приехала.

— Какой опыт?— очень тихо спросил Клод.

Робер сделал жест отчаяния.

— Констанс, я больше не могу! Объясните ему, бога ради!

Констанс взяла Клода за руку.

— Только не волнуйся, теперь все уже позади. И не сердись на Робера, он сам жалеет, что все так получилось...

Клод вскочил. На лбу у него заблестели крупные капли пота.

— Значит, опыт?— задыхаясь, спросил он.— Гипноз? И электроды на височных долях? Только и всего?

— Клод, ты должен понять...— начал Робер.

Клод провел рукой по мокрому лбу.

— Опыт...— прошептал он.— Опыт... Я всегда восхищался твоим умом, Робер! До такого эсэсовцам, конечно, не додуматься! Правда, эсэсовцы меня не знали так хорошо, как ты... Тебе легче было добраться до самой глубины... и все уничтожить... все... до конца...

— Я не хотел, Клод...— пробормотал Робер.— Но я должен был тебе это сказать. Я хотел, чтоб ты понял...

— И ты это сделал! Талантливо сделал! Я все понял, не беспокойся. Прекрасный урок с наглядными пособиями.

Он нагнулся, ища туфли. Робер и Констанс встревоженно переглянулись.

— Что ты хочешь делать, Клод?— спросила Констанс.

Клод завязал шнурки туфель, встал, надел пиджак, висевший на спинке стула. Он был по-прежнему очень бледен и не поднимал глаз.

— Я поеду домой,— глухо проговорил он.— Сюда, в город. Мне нужно побыть одному и подумать.

— Я с тобой,— сказала Констанс.

— Нет!— Клод покачал головой.— Я должен быть один. Даже без тебя. Не сердись, иначе я не могу.

Констанс посмотрела на Робера, но тот стоял, опустив голову, и словно разглядывал что-то у себя под ногами. Тогда она слегка вздохнула и сказала:

— Как хочешь, Клод.

— Ты знала об этом?— вдруг спросил Клод.

Констанс заколебалась.

— Знала... то есть не обо всем... так, в общих чертах,— с трудом выговорила она.— Мы хотели...

— Я понял, чего вы хотели,— без выражения произнес Клод.— Спасибо. Ты правдива, как всегда. Как почти всегда, впрочем. Теперь я знаю все, что мне нужно.

— Для чего?— сдавленным голосом спросила Констанс.

— Для решения задачи,— так же бесстрастно и невыразительно ответил Клод.

Сизый табачный дым извилистыми полосами плавал по комнате и, подхваченный легким током воздуха, устремлялся в окно. На низком столике темнела большая пепельница, доверху забитая окурками.

Робер встал и подошел к окну. Но тут же отошел, нервно передернув плечами.

— Я вспомнил, как он подошел к этому окну, и понял, что никакой войны не было...— глухо сказал он.— Спасибо, что ты пришел. Я уж совсем...

Марсель покачал головой. Его худое нервное лицо, изуродованное большим шрамом, наискось идущим от виска к подбородку, выражало неодобрительное удивление.

— Ты пей,— сказал он, подвигая Роберу недопитый бокал вина.— Все же легче будет разговаривать... Я чего не могу понять — это как вы с Констанс могли его отпустить одного в таком состоянии.

— Он заявил, что хочет быть один. Ничего тут нельзя было поделать. Констанс поехала вслед за ним в такси, увидела, что он действительно отправился домой. Она несколько раз потом звонила Клоду, просила, чтоб он позволил ей прийти. Он решительно отказывался. Потом перестал отвечать на звонки. Она ходила по другой стороне улицы, видела, что он сидит в кресле у окна, курит. Около часу ночи он перешел в спальню, зажег ночник. Констанс немного успокоилась, вернулась ко мне. На рассвете она разбудила меня и сказала, что Клод умер. Мы поехали на авеню Клебер и еще издалека увидели санитарную машину, полицию... Он был уже мертв... Ну, сам понимаешь, с пятого этажа на тротуар...

— Все-таки надо было иначе...

— Ничего бы не помогло. Он так решил, значит, он сделал бы это рано или поздно. Нервы у него были чувствительны, как у девушки, и он считал себя малодушным и слабовольным, но на самом деле воля у него была стальная. Убить его было нелегко. Он правильно сказал, что эсэсовцам бы этого не добиться,— это мог сделать только я, его лучший друг, при помощи Констанс. Ты пойми, Марсель, это лишь видимость самоубийства. Это убийство, и я убийца. Ты юрист, ты должен это понимать.

— Ладно, пусть будет так, если ты настаиваешь. Но почему ты все это затеял? Ты что, не понимал, какая это опасная игра? Да и Констанс...

— Ну, конечно, я не понимал по-настоящему! Что ж, ты думаешь, это было преднамеренное убийство? А Констанс — ну, она ведь понятия не имела о том, что я хочу сделать. Она думала, что это будет просто сеанс гипноза...

— А он-то как на это согласился?

— Он тем более ничего не знал. Я ему рассказывал, что дают опыты с электродами, наложенными на мозг. В институтской лаборатории мы вживляем электроды в мозг подопытных животных; ну, с людьми, сам понимаешь, обычно приходится накладывать электроды поверх черепа. Результаты не такие точные, но все же очень интересные. Клод рискнул испытать на себе это наложение электродов. О моих опытах с гипнозом он знал, но, конечно, не имел понятия, что я собираюсь его загипнотизировать. Я наложил ему на виски электроды, ток сначала не включил, а вместо этого начал мысленно гипнотизировать его. У нас с ним контакт был превосходный, так что мне быстро удалось...

— Значит, можно внушить человеку, что началась война? И он все увидит и ощутит?

— Что угодно. Можно даже внушить ему, что он ранен. А тут я все хорошо обдумал заранее, с деталями. Правда, вскоре выяснилось, что я далеко не все предусмотрел, но кое-что можно было подправлять по ходу дела... Ну и ощущение времени я подправлял тоже — внушал ему, что прошел день... еще день... что сейчас утро, а теперь уже вечер... Я погружал его в глубокий сон, а потом внушал, что он проспал не минуту-две, а несколько часов... понимаешь? Забыл внушить ему вовремя, что он обедал, вообще ел, потом пришлось это исправлять, а то он забеспокоился... Ну, что ты на меня так смотришь? Выглядит все это дико, я понимаю. Но послушай, ведь я полагался на прочный контакт с ним, ты же знаешь по лагерю, как это у нас было. Я считал, что в состоянии гипноза этот контакт станет еще более четким. Я думал, что смогу держать под контролем весь опыт. Ну, был уверен, что смогу. Да я как будто бы все и воспринимал, что он видел. Очевидно, я не рассчитал своих сил. Ведь от меня потребовалось громадное напряжение. Я только тогда по-настоящему оценил удивительную силу Клода. Ведь он в лагере, истощенный, избитый, смертельно усталый, подчинял своей воле людей, чуждых и враждебных ему, держал под контролем иногда сразу нескольких, посылал приказы. Недаром он, окончив внушение, часто падал в обморок. Я сам иногда думал, что потеряю сознание — в таких хороших условиях!

— А когда ты заметил, что дело обстоит неблагополучно, почему ты не прекратил опыта? Должен сказать откровенно, Робер, что твое поведение в этой истории непонятно мне с начала и до конца.

Робер встал и зашагал по комнате.

— Не знаю...— отрывисто бросал он на ходу.— Сейчас дело другое... все так повернулось... я оказался преступником, убийцей... Я этого не ждал, пойми!

— А чего ты ждал?— спросил Марсель, глядя на него из глубины кресла.— Что за жестокий эксперимент! И над кем — над лучшим своим другом, над Клодом! Как ты мог после всего, что мы пережили в лагере?..

Робер круто повернулся к нему.

— В том-то и беда, что Клод был совершенно искалечен войной. Я этого не понимал, пока не начался эксперимент.

— Ну, а когда ты понял?

— Почему не прекратил опыта? Да вот попробуй объясни это сейчас, даже тебе! Ну пойми, я следил за ходом опыта, я видел почти все, что

видел он, и понимал, что он может переживать... Наверное, все же не до конца понимал. У него были совсем другие реакции, другой уровень восприятия. То, что меня могло лишь на мгновение взволновать, доводило Клода до грани помешательства. И вообще у него вся психика была настроена на одно — на память о войне. Конечно, я перемещал электроды вслепую и к тому же не всегда отчетливо понимал, что он видит в данную минуту, но главное, я плохо улавливал ход его мысли. У него все воспоминания, все переживания в конечном счете сводились к мыслям о войне. Я поймал для него чудесное утро, вдвоем с любимой, и войны тогда еще не было, а он ухитрился и по этому поводу огорчаться: мол, какие мы были кретины в 1935 году, ничего не понимали...

Марсель хмуро усмехнулся и покачал головой.

— Что ж, это верно. Мне тогда было двадцать лет, и я думал о чем угодно, только не о войне.

— Да, но сейчас-то ты вспоминаешь об этом, хоть и с грустью, но спокойно, как и я. А у Клода немедленно наступало острое возбуждение, перегрузка, и мне опять приходилось искать новые участки памяти или прибегать к внушению... А я сам уже еле на ногах держался от усталости...

— Так какого же черта все-таки...

— Да пойми ты, я вел с ним спор! Я должен был его убедить!

— Странный метод вести спор, как ни говори...

— Только не для нас с ним! Для нас это был вполне естественный метод. Неужели ты не понимаешь, ведь ты же видел все это в лагере!

— Ну, допустим, метод хорош. А результаты?

— Что ж, я, по-твоему, сознательно добивался этих результатов?— Робер устало опустился в кресло.— Опыт был рискованный, сложный... Все получилось не так, как я предполагал... Я это ощущал, но очень приблизительно и неточно.

— Ну, вот видишь...

— Но ведь я мог предполагать лишь приблизительно! Таких опытов никто еще не делал. Сочетание сложнейшего гипнотического внушения с глубоким и прочным телепатическим контактом, да к тому же еще электроды! Разве тут есть точные критерии, разве можно на любой стадии дать однозначный ответ: да — да, нет — нет? Конечно, я сразу заметил, что Клод очень легко перевозбуждается, и старался притормаживать, приглушать его реакции в особенно острых случаях, когда перо электроэнцефалографа начинало чертить слишком резкие зигзаги на ленте. Но ведь если б мне не удалось вызвать у него яркие эмоции, это означало бы, что опыт провалился. Понимаешь? Я и то старался снимать и приглушать слишком сильные реакции — ну, когда уходила Валери, потом Натали, отец... Я оставлял ему память об этом, но приказывал воспринимать это спокойней, более философски, что ли...

— Просто черт знает что!— пробормотал Марсель, наливая себе вина.— Ты объяснял-объяснял, а я все-таки не понимаю, как это все возможно. Ну, вот хотя бы то, что он стал «прозрачным» для всех.

— Ну, это получилось само собой. Было бы немного сложней внушать ему, что он понимает всех, а сам непроницаем, пока не выскажется. Создалась бы путаница в восприятии... Ну, и для моих целей был полезней этот вариант: чтобы Клод понял, как это тяжело для других...

— Ладно,— вздохнув, сказал Марсель.— Я в этой вашей чертовщине все равно не разберусь как следует. Но, значит, ты затеял всю эту жуткую историю для того, чтобы переубедить Клода. А в чем? Я и этого что-то не понимаю. В том, что борьба за мир возможна? Но что ж ты ему доказал? Скорее уж обратное. Да и вообще, что за методы...

— Ах, да не в этом дело!— нетерпеливо ответил Робер.— Причем тут

борьба за мир? Ты пойми, ведь он ослеп, он шел по краю пропасти, и я видел, что он вот-вот свалится и, пожалуй, потащит за собой всех. Ну, представляешь себе, что это значит, когда человек делает ставку на одно, только на одно? И вдобавок на самые хрупкие, самые ненадежные чувства?

— Почему же самые ненадежные? Любовь, дружба, семья...

— Не будем об этом спорить, хотя я считаю, что любовь между родителями и детьми — чувство сложное и обычно одностороннее. Но если от любви и дружбы, даже самой искренней, требовать слишком многого, она неизбежно надломится. Таков уж закон жизни. Это все равно, что впрячь скаковую лошадь в телегу ломовика. Если ты попробуешь отгородиться любовью от всего мира и видеть в ней единственное спасение и единственную подлинную ценность, ты проиграешь неминуемо. Проиграешь, как ты ни цепляйся за эту любовь!

— Ну, я-то ничего подобного и не собираюсь делать, меня ты не агитируй,— сказал Марсель.— Но как получилось, что Клод так ухватился за эту свою идею насчет внутренних очагов сопротивления? Как могло случиться, что Клод Лефевр, лагерник, отличный боец, идеально честный человек,— и вдруг увлекся такой теорией... Ведь если разобраться, это мещанство!

— Вот видишь! Это я ему как раз и пытался втолковать! Парадокс заключается в том, что мое определение его глубоко оскорбляло: он искренне ненавидел мещан! И был уверен, что его теория — именно антимещанская. Что эти очаги внутреннего сопротивления станут форпостами будущего мира, гармонического, прекрасного и доброго.

— Как же ты это объясняешь?— спросил Марсель.

— Я думаю, что он был слишком глубоко травмирован войной. Психика у него сверхчувствительная, для таких тонких организаций годы лагеря — это...

— Но он же превосходно держался в лагере!

— Боюсь, что никто из нас не понимал, чего это ему стоило. Ему было вдесятеро тяжелей, чем нам, а он, не жалуясь выносил такие перегрузки, которые не под силу и людям покрепче. Но зато он уже и не мог выздороветь. Если б не Констанс, он умер бы с горя или покончил самоубийством еще тогда, девятнадцать лет назад.

— Но как же ты, зная все это, решился именно с ним на такой эксперимент?

— Я же тебе объясняю, что лишь теперь понял это по-настоящему. А вмешаться в его дела мне казалось необходимым, да и Констанс просила. Ее очень встревожила эта история с дочерью... ну, я тебе рассказывал. И она боялась за сына.

— А он и сына втянул в эти дела?

— По-настоящему — нет... то есть, я хочу сказать, Клод специально этим не занимался. Но Натали он тоже не занимался до этого случая, а связь у них все же была. Атмосфера такая создалась в семье, тут уж неизбежно... Я долго не бывал у них, ездил много за последние месяцы, после смерти Франсуазы мне как-то не сиделось на месте... Да и раньше мы с Клодом больше встречались вне дома, он еще с тех времен, с 1945 года, инстинктивно сторонился Франсуазы... Понимаешь, не то чтоб он не любил ее, но всегда помнил, как ему было тяжело тогда, без Валери и без меня... Так вот вернулся я из Америки, зашел к ним, посидел вечер — и жутко стало. Натали похожа на живой труп, а ведь была такая милая, веселая девчонка. Марк дома почти не сидит и ни с кем не разговаривает. Констанс, как всегда, держится молодцом, но я-то вижу, что на душе у нее кошки скребут. А Клод ничего не замечает и твердит: «Моя идеальная семья, мой Светлый Круг, мой очаг сопротивления...» С ним говорить

было попросту невозможно. А за исключением этого пункта — семьи и телепатии,— он был в порядке. Много работал, заканчивал очень интересную серию экспериментов.

— И ты решился тоже провести эксперимент?

— Да. Видишь ли, я считал, что отвечаю за него. Да и Констанс, по-видимому, так считала. Я хотел вылечить его от этой сумасшедшей идеи. Но как? Логические доводы на него не повлияли бы: это была вера вне логики, вне фактов. Вот я и решил создать модель его психики, его микромира, этого самого Светлого Круга, и показать ему наглядно, до чего хрупки все личные связи в нашем мире...

— Во имя дружбы и любви показать, что на дружбу и любовь рассчитывать нечего?— подхватил Марсель.— Нет, Робер, это просто черт знает что! Твой эксперимент мало того, что бесчеловечен и жесток,— он еще и лишен смысла. Что ты мог доказать в конечном счете? Что нельзя жить в наглухо изолированном от общества личном микромире? Но ведь такой идеальной изоляции в жизни не бывает. Ты поставил эксперимент в искусственном вакууме. И не бывает так, чтоб уж все абсолютно зависело от воли и чувства одного человека, тем более в такой прямой и трагической форме.

— Но ведь я должен был искусственно заострить и подчеркнуть все главное. Конечно, моя модель не уменьшенный макет, а скорее символ внутреннего мира Клода. Логический вывод из его посылок.

— Возможно, ты и прав,— помолчав, ответил Марсель.— Но вообще — что за мрачная идея! Ты, Робер, прости меня, не обращался к психиатру? Или к этим, как их, психоаналитикам?

— Зачем мне психоаналитики? Я и без них понимаю, что меня толкнуло на этот эксперимент. Я привык отвечать за Клода еще со времен лагеря. Хоть он и был старше меня, но всегда искал моей поддержки, так уж получилось. При всех своих удивительных способностях он был совершенно беспомощен и беззащитен в повседневной жизни. Как большая птица с подрезанными крыльями — взлететь и оторваться от земли ей надолго нельзя, а ходить по земле она не умеет. Да... Многие считают, что телепатические способности — это проявление атавизма. Но как бы там ни было, а мне Клод Лефевр иногда казался человеком, который из будущего, ясного и гармонического мира попал в наш жестокий век. И тут его замучили насмерть — и друзья и враги... Меня его глаза поразили при первой же встрече, в лагере военнопленных. Я помню: Клод стоял у двери длинного серого барака, кругом была осенняя непролазная грязь, лужи, и все было такое же казенное, холодное, серое, как этот проклятый барак. Но глаза Клода — они были из другого мира, говорю тебе! Я с разгона пробежал мимо него, а потом сразу вернулся и уже не мог оторваться от его глаз, такие они были ясные и страдальческие. Большие, красивые, как у девушки, серо-голубые глаза с длинными темными ресницами.

— Это верно, глаза у него были необыкновенные, особенно когда он задумается, бывало. Но во время этих самых сеансов я на Клода просто боялся глядеть. И глаза у него становились мутные и страшные, и лицо застывало как-то... бр-р! Как он только выдерживал, действительно...

Они долго молчали.

— Что же мне делать, по-твоему?— спросил, наконец, Робер.— Идти в полицию? Можешь мне поверить, я колеблюсь не из страха. Мне легче было бы отсидеть, сколько положено, в тюрьме, чем вот так, как сейчас... Я Констанс не то что в глаза не смею смотреть, я... ну, да что там говорить, сам понимаешь...

— Насчет полиции ты брось, это ни к чему. Тебя почти наверняка

оправдают, а пока что ты потащишь за собой на скамью подсудимых Констанс и наделаешь шуму. Кому от этого будет легче, спрашивается? Если жаждешь славы, иди в редакции вечерних газет, они тебя благословят за такую сенсацию.

— Ты вправе издеваться надо мной, я заслужил,— устало сказал Робер.— Но пойми хоть одно: я вынужден был действовать! Вся эта история быстро кончилась бы катастрофой. Натали совершенно надломлена, рано или поздно Клод перестал бы тешить себя иллюзией, что она выздоравливает. А главное — Марк собрался уйти из дому. Констанс знала, что он медлит только из жалости к Натали, ждет, чтобы ей стало хоть немного лучше. Так вот — или Марк ушел бы, и тогда Светлый Круг рассыпался бы на глазах у Клода. Или — еще хуже, пожалуй,— Клод постарался бы удержать Марка гипнотическим внушением и искалечил бы душу сыну так же, как и дочери. Уж поверь, Констанс понапрасну бить тревогу не стала бы, у нее выдержки и спокойствия на троих хватит.

— Но все-таки... неужели он решился бы сделать это с Марком?

— В том-то и дело! Констанс осторожно спросила у него, пользуясь подходящим случаем, как он поступил бы, если б Марк предпринял какие-либо неверные шаги. Он ответил: «Что ж, вероятно, я вмешался бы. Ну, более продуманно, чем с Натали, но не могу же я смотреть, как сын подвергается опасности, и не защищать его...» Этот ответ до такой степени напугал Констанс, что она тут же позвонила мне и условилась о встрече. Она-то знала, что Клод так и поступит, если успеет.

— Послушай, но получается так, что ты, спасая Клода от катастрофы, решил ускорить эту катастрофу! Разве нет?

— Нет. Скорее это можно определить так: я попытался сделать прививку, чтоб избежать смертельно опасной болезни.

— Хороша прививка, от которой умирают!

— Такое случается и с проверенными вакцинами. А тут слишком много неизвестных...

— Как же ты мог...

Робер опять вскочил.

— А что мне было делать?— выкрикнул он.— Смотреть и молчать? Тогда я был бы ни в чем не виноват, да? И, видя, как они все гибнут на моих глазах, мог бы считать, что моя совесть чиста? А я не могу так считать, пойми ты! Я никогда не боялся ответственности.

Марсель поднял голову и посмотрел на него.

— Знаешь, что я тебе скажу?— медленно произнес он.— Очень плохо бояться ответственности, от этого очень много зла на земле. Но еще хуже брать на себя ответственность за то, что неминуемо выскользнет из-под твоего контроля!

Робер долго молчал, расхаживая по комнате. Потом он сел в кресло и налил себе вина.

— Вероятно, ты прав,— тихо сказал он.— Но, видишь ли, это не вообще ответственность за другого, не абстрактный вопрос: может ли А отвечать за В? Это мы с Клодом, наша с ним дружба. Почти четверть века, почти шесть лет лагерей и тюрем... Даже ты не все знаешь... Я многое изменил в его судьбе — может быть, не всегда к лучшему. Я заставлял Клода действовать вопреки его убеждениям... то есть четких убеждений у него тогда, пожалуй, не было,— но вопреки его натуре. Он не был бойцом — я заставил его участвовать в борьбе, и он это делал из любви ко мне, ну, и, конечно, из врожденной доброты и честности.

— Я не понимаю...— пробормотал Марсель.

— Да вот тебе пример: наш побег из лагеря военнопленных. Ведь это из-за меня Клод вынес такие нечеловеческие пытки в гестапо. Если б не я, он, может, вообще не решился бы на побег, и лучше бы ему сидеть

до конца войны там, чем попасть в Маутхаузен. Ну, а если б он и бежал, то иначе, без всей этой шикарно задуманной истории с подложными справками. Ведь нас с ним почему так зверски пытали? Потому что нельзя было объяснить, как мы узнали, кто включен в список на эшелон, и откуда достали бланки для справок. Доступа в лагерную канцелярию мы не имели... Походило на сговор с немецкой комендатурой — значит, гестаповцы выбивали из нас имена предателей рейха, врагов фюрера...

— Вон что! А на способности Клода вы не решались сослаться?

— Да гестаповцы либо не поверили бы, либо все равно убили бы нас обоих — на что им такие опасные типы! К тому же в этом деле были действительно замешаны парни из комендатуры. Если б мы все рассказали, как есть, до них добрались бы обязательно. А они были хорошие ребята. Оставалось нам валить все на мертвых да твердить: «Больше я ничего не знаю, убейте меня!» И Клод все это вынес и никогда ни словом не попрекнул меня.

— А ты? Ты себя не упрекал?

— Я?.. Видишь ли, я и тут не все понимал в душе Клода. Это я сейчас, после всего, понимаю, что он жил бы иначе, если б не мое вмешательство... Правда, он всегда уверял, что вообще умер бы от горя и тоски в лагере, если б не встретил меня... Может, так оно и есть. Клод, он ведь был совсем особым, непохожим на других. Но тогда — тогда я думал, что он все воспринимает в общем так же, как и я. Что борьба — это для него естественно и просто, ведь он благороден, кристально честен, ненавидит фашистов всеми силами души...

— Ты хочешь сказать, что, если б не дружба с тобой, Клод просидел бы всю войну, ни черта не делая?— удивленно спросил Марсель.— Однако не слишком лестная характеристика!

— Я думаю, что поступки Клода нельзя было мерить обычными мерками,— устало и задумчиво проговорил Робер.— Он был... ну, словно из другого измерения...

— В нашем мире все же действуют наши мерки, ничего тут не поделаешь. И я думаю, что дело не только в тебе. Не смог бы такой добрый и чистый человек, как Клод, оставаться в стороне... Ну, да ладно!

Марсель задумался.

— Ты хочешь сказать, насколько я понимаю,— сказал он потом,— что был уверен: Клод простит тебе любую жестокость по отношению к нему?

— Что он поймет: я действовал из любви к нему!— поправил Робер.

— Вот в этом и состоит твой страшный просчет, я же тебе говорю! Ты сначала показал ему в этой своей модели, как ты это называешь, что на любовь и дружбу не стоит рассчитывать, а потом и наяву убил его доверие к себе и к Констанс. Чего же ты хотел? Весь его мир вдребезги разлетелся под твоими ударами — ты знал, куда бить вернее!— и ты хотел, чтоб он после этого остался в живых?

Смуглое лицо Робера посерело.

— Вероятно, ты прав...— сказал он совершенно безжизненным голосом.— Но что же мне было делать? Я действительно считал, что дружба дает мне права... или, если хочешь, налагает обязанности...

— Права или обязанности мучить, убивать? Во имя дружбы? Да, ты должен был рискнуть, я понимаю, но есть же всему мера! Ты обязан был снова усыпить Клода, когда увидел, что с ним творится! И внушить ему, чтоб он все забыл!

Робер устало покачал головой.

— Он бы не поддался гипнозу. Я совершенно выдохся к тому времени и сам был настолько потрясен, что... И потом — я вообще не смог бы

пойти на такое. К чему тогда были бы все мучения — и его и мои? Надо было, чтоб он продумал и понял...

— Но есть ведь границы всему, даже дружбе! Нельзя же насильно вторгаться в душу человека и переделывать там все по своему вкусу! Когда это попытался сделать Клод, ты возмутился и пожалел его семью. А ты сам? Клод, как я понимаю, действовал импульсивно и сам горько жалел об этом. Но ведь ты-то все продумал и подготовил заранее! Нет уж, прости, Робер, но эти твои шутки здорово попахивают лагерем. На более высоком уровне, да эсэсовцам бы до этого ни в жизнь не додуматься...

Робер медленно, с усилием встал. Лицо его было совсем серым.

— Спасибо,— глухо проговорил он.

Марсель тоже встал. Багровый шрам причудливо подергивался и пульсировал на его лице.

— Прости, но я должен был тебе это сказать! Лучше, чтоб ты понял...

— Сначала ты повторил то, что Клод сказал мне: что эсэсовцам бы до этого не додуматься. Потом — то, что я сказал Клоду: «Я должен был это сделать, надо, чтобы ты понял...» Вот видишь, как это все получается — во имя дружбы, во имя долга?

— Я ведь только сказал, может быть, слишком резко, слишком жестоко, но...

— В том-то и дело! Разве ты твердо знаешь, где граница между жестокостью полезной и жестокостью смертоносной? Разве ты можешь точно определить в таких случаях, какую дозу лекарства надо дать, чтоб оно излечило, а не убило? Всегда можешь обозначить, где грань между добром и злом? В лагере это было в общем ясно, а теперь... Видимо, я свернул с правильного пути, хотя и в другом направлении, чем Клод...

— Ну, направление-то у вас, пожалуй, одно — лагерь... Не сердись, но это так. Разве тебе никогда не приходило в голову, что не только Клод, но и ты, и я, и все, кто так или иначе прошли через это, стали другими? Послушай, ну, вот припомни: каким ты был до войны? Ты мог бы не то что сделать, а хоть задумать что-либо подобное по отношению к другу?

— Абстрактный вопрос. Я же тогда ничего этого не знал.

— Дело не в том, что ты знал, но что ты мог? Что вмещалось в твоей душе?

— Понимаю... Что ж, может,ты и прав...— Робер стал у окна, глубоко вдохнул влажный ночной воздух.— Может, война сместила и раздробила многое в наших душах. Изменился мир, изменились и мы. До войны мы не могли подумать, что вот такой ночной дождь над Парижем способен убить человека,— сейчас мы знаем, что это возможно. Но вряд ли человечество изменилось так уж радикально — и в плохом и в хорошем смысле. Человек остается человеком, хотя все очень усложнилось и запуталось... Разве совсем исчезли мерки добра и зла?

— Я этого вовсе не думаю. Я вообще говорил не обо всем человечестве... хотя...

Робер повернулся к нему.

— Ты мне ответь все-таки: что сделал бы ты на моем месте? Ждал бы катастрофы сложа руки? Или все же попробовал бы вмешаться, спасти то, что можно спасти? Даже если б надежда на успех была очень мала? Даже если б ты рисковал прожить остаток дней, терзаясь угрызениями совести? Что сделал бы ты, Марсель, на моем месте?

Марсель долго молчал. Потом он поднял глаза.

— Не знаю...— сказал он тихо.— По совести говоря, не знаю...

О. ЛАРИОНОВА

ЛЕОПАРД С ВЕРШИНЫ КИЛИМАНДЖАРО

4

ГЛАВА I

...Бирюзовая маленькая ящерка — не больше моей ладони — смотрела, как я подхожу, и пугливо прижималась к шероховатой известняковой плите. Я присел на корточки — она не убегала, а только часто-часто дышала, раздувая светлое горлышко.

— Эх, ты,— сказал я,— микрокрокодил. Сколько лет уже вас не трогают? Тысячи три. А вы все боитесь.

Ящерка смотрела на меня и мигала. Я вдруг поймал себя на мысли, что вот перед одной этой тварью я не чувствовал себя виноватым. И она слушала меня внимательно и спокойно, без того снисходительного всезнайства, которое чудилось мне в каждом моем собеседнике.

— Ладно, пасись,— сказал я ей.— В древности тебя зажарили бы да съели.

Набережная была пустынна. Вымощенная чуть розоватыми плитами и обнесенная причудливым легким барьером, она тянулась от сухумских плантаций до самого Дунайского заповедника, то спускаясь до уровня моря, то поднимаясь над золотыми плешинами бесчисленных пляжей и иссиня-зеленой дремучестью субтропических рощ. Набережная не изменилась. Она была такая же, как и в годы школьных каникул. Тогда я так же любил гулять по ней в самый зной и шел по широким плитам, стараясь не наступать на трещины. А зачем? Вероятно, в детстве очень легко сказать самому себе: так нужно. И делать, хотя бы это было просто бессмысленной игрой. Так нужно — пройти от этого дерева до того и ни разу не наступить на трещину. Наступлю — это будет плохо. Нужно пройти не наступив.

Когда люди становятся взрослыми, у них очень много остается от этого детского «так нужно». Наверное, потому Сана и ограничилась корректным запросом о состоянии моего здоровья. Радиозапросом без обратных позывных. Так нужно. Так нужно после того, как одиннадцать лет я просыпался с одной мыслью: жива ли она?

Контуры окаменелых раковин четко проступали на шершавой поверхности камня. Слишком четко.

Как же это я в детстве не догадывался, что эти плиты — синтетические?

С каким-то ожесточением я начал громко топать по всем трещинам и стыкам этих проклятых плит. Пусть будет мне плохо. Мне и так плохо. И хуже — настолько трудно, что даже любопытно: а как это — еще хуже?

У себя на буе я читал, что когда-то очень давно люди, доведенные до моего состояния, просто плевали и резко меняли сферу своей деятель-

ности. Вероятно, в корне такого поступка лежали древние представления о несчастиях, как о проявлениях высших сил. Стоило плюнуть — и высшие силы, озадаченные таким знаком пренебрежения к своему могуществу, меняли гнев на милость. Я оглянулся и, не заметив поблизости никого, кроме далекой детской фигурки, плюнул в самый центр изящного лилового отпечатка, напоминавшего морского ежика. Вот вам. Потом круто повернулся, подошел к первому попавшемуся щиту обслуживания и вызвал себе мобиль.

Зачем я так рвался сюда? Ничего здесь не изменилось, только стало как-то удивительно безлюдно. Когда-то, когда я еще учился, даже в самые жаркие дни здесь шатались коричневые оравы, посасывающие суик и каждый час перекрашивающие свои пляжные костюмы. Но за это время, вероятно, медики пришли к выводу, что субтропики — далеко не идеальные климатические условия для отдыха. Обычная история. Когда-то, лет двести тому назад, зону субтропиков начали спешно расширять в обоих полушариях. Говорят, тогда уничтожили великолепные плантации венерианского суика на Великих солончаках, а вот теперь — пожалуйста, безлюдье. Утром, правда, прилетело откуда-то несколько сотен мобилей; все они сели на воду, так что люди, не выходя на пляжи, ныряли прямо с плоскости носового крыла. Но машины вскоре умчались, и остался я один-одинешенек. Эта стремительность раздражала меня — за последние одиннадцать лет я привык к неторопливости. Поначалу я думал, что эта самая привычка и создает для меня видимость окружающей суеты, но прошло некоторое время, и я убедился, что темп общей жизни действительно возрос по сравнению с тем, что я наблюдал перед своим несчастным отлетом. Что же, и так когда-то было. Давно только, в начале строительства коммунистического общества. Со всем энтузиазмом, присущим той героической эпохе, люди начали это делать за счет своего долголетия: дышали парами разных эфиров и кислот, ртуть использовалась чуть не в каждой лаборатории! Неужели не могли изготовить миллионы манипуляторов? Как-то трудно себе представить. Гробили себя от мала до велика — от лаборантов до академиков. И героями себя не считали, и памятников погибшим не ставили. А гибли... И атмосферу испортили — две с половиной сотни лет не могли вернуть ей прежнюю чистоту. И обошлось это в такое количество энергии, что подумать страшно, даже при современных неограниченных ее ресурсах. Хотя — «неограниченных»...— громко сказано. Помнится, Сана говорила, что для запуска «Оператора» пришлось копить энергию на околоплутониевых конденсаторах чуть ли не восемнадцать лет... Да, точно, восемнадцать. Начать эксперимент должны были вскоре после моего отлета — не удивительно, что старт маленького ремонтно-заправочного корабля остался незамеченным. А было время, когда о запуске даже самой незначительной ракетки весь мир говорил не меньше недели! Мы же улетели без шума, где-то на спасательном буе — вот ведь ирония! — потеряли корабль и людей, и только через одиннадцать лет о нас удосужились вспомнить. А может, зря спасали? Остался бы я там, все Элефантусу было бы спокойнее. А то теперь, по всей вероятности, старик себе места не находит: выхаживал, нянчился, и вот нате вам — пациент взял да из благодарности и удрал.

Мобиль давно уже повис надо мной метрах в десяти, а я и не заметил, как он появился. Раньше мобили спускались на землю и подползали к самому щитку. Тоже мне модернизация. Что тут полагается делать? Ага вот так, наверное. Панелька со стрелкой вниз — правильно, мобиль опустился рядом. Я невольно шарахнулся, хотя должен был бы помнить, что

ни один, даже самый простейший мобиль не опустится на живую органику.

Раздвинулось и тотчас же сомкнулось за мной треугольное отверстие бокового люка. Я развалился на прохладном белом сиденье. Ладно. Буду учиться быть благодарным.

В алфографе я нашел координаты Егерхауэна — северовосточной базы Элефантуса. Набрал шифр, и мобиль помчался сначала по прибрежному шоссе, а потом резко набрал высоту и взмыл над Крымским плоскогорьем, выбирая кратчайший и удобнейший путь.

Спустя десять минут другой мобиль поднялся всего в нескольких сотнях метров от того места, откуда взлетел я. Так как все мобили службы общего транспорта имели идентичные решающие устройства, второй мобиль полетел по той же самой трассе, что и мой, и с теми же локальными скоростями.

И прибыл он тоже в Егерхауэн.

Вероятно, Элефантусу понадобился весь такт, чтобы встретить меня с такой, я бы сказал, сдержанностью. Он качал своей птичьей головкой, глядя, как я подхожу к маленькому домику стационара, и огромные его ресницы печально подрагивали, как у засыпающего ребенка. Я подошел и остановился посредине дорожки, глядя на него сверху вниз. Он все молчал, и мне стало невмоготу.

— Спросите меня о чем-нибудь, доктор Элиа. Разве вас не интересует, где меня носило?

Элефантус поднял на меня глаза и опять опустил их.

— Меня носило на побережье. Черноморское.

Он опять промолчал. Я расставил ноги и заложил руки за спину. В детстве, когда я хотел казаться независимым, я принимал эту позу.

— Вы помните свои каникулы? Два рыжих, солнечных месяца, два месяца свободы и моря... А знаете, на что я тратил эти два благословенных месяца? Я посвящал их плитам. Тем самым, которыми выложены набережные. Я шагал по ним и старался только не наступать на линию стыка двух плит. Я твердо верил, что если я это сделаю — со мной произойдет несчастье. Такой уж уговор был между нами — между мной и этими розовыми плитами. Они были немного шире моего шага, и порой мне приходилось пускаться бегом. А сегодня они вдруг оказались для меня узки. Глубокая философия, не правда ли? К тому же, я открыл, что они...

— Потрудитесь, пожалуйста, перечислить тех людей, с которыми вы разговаривали.

— Я был один. Мобиль, набережная, мобиль.

— М-да,— сказал он и, повернувшись, засеменил к дому. Я двинулся за ним. Он остановился.

— Извините меня,— тихо сказал он, и я понял, что идти за ним не надо.

Черт возьми, похоже, что я обидел старика. Но каким образом? Что-нибудь брякнул и сам не заметил? Да, сказывается одиннадцатилетнее пребывание в обществе автоматов. Мои «гномы» воспринимали лишь физическую сторону всякой информации, им нельзя было рассказать о теплых известняковых плитах. И вот первый человек, которому я попытался приоткрыть что-то свое, человечье, не понял меня и, вероятно, принял все за неуклюжую шутку сорокатрехлетнего верзилы.

Маленький солнечно-желтый мобиль вынырнул из-за остроконечного пика и, круто спланировав, опустился за домом Элефантуса. Я немного

успокоился — значит, это не я так расстроил старика. Просто он кого-то ждал. И все.

Патери Пат вылез из домика и тяжело зашагал ко мне. Багровое лицо его было мрачно в большей степени, чем я к этому привык за те десять дней, которые провел в доме Элефантуса. Он дернул головой, что, по всей вероятности, должно было означать «Пойдем!». Я пошел за ним. Патери Пат молчал, как и Элефантус.

— Патери, дружище,— сказал я не очень уверенно,— я и без твоей мрачной рожи понимаю, что я — свинья. Зачем же это подчеркивать?

Патери Пат продолжал идти молча. Мы свернули к маленькому легкому коттеджу с площадкой для мобилей на крыше. Мой спутник медленно повернул ко мне свою массивную голову:

— Ты потерял полдня,— с расстановкой, как автомат, произнес он.

Я остановился. До меня не сразу дошел смысл. А потом я захохотал.

Мягко и стремительно, как кошка, Патери Пат повернулся ко мне. Непостижимое бешенство промелькнуло в его взгляде, в его плечах, слегка подавшихся вперед, в его шее, наклонившейся чуть больше обычного. На мгновенье мне показалось, что сейчас он бросится на меня. Но Патери Пат выпрямился, протянул руку к коттеджу и коротко сказал:

— Твой.— Повернулся и быстро исчез за поворотом дорожки.

Я шел по скрипучему гравию и не переставал смеяться. Милый, нелепый мир! Он сразу стал для меня прежним. Нет, надо же — человеку, который потерял одиннадцать лет, сказать, что он потерял полдня!

У входа меня поджидал маленький серо-голубой робот. Небольшое число верхних конечностей — всего две — навело меня на мысль, что это не обычный «гном» для расчетно-механических работ. Я заложил руки за спину и критически оглядел его «с ног до головы».

— Что вам угодно? — быстро спросил он мужским голосом.

— Мне угодно знать, кто ты и зачем ты здесь?

— Робот типа ЭРО-4-ММ,— скороговоркой отрекомендовался он.

Он, вероятно, думал, что я в школе проходил все типы роботов. Ладно. Поглядим, на что ты способен.

— А ты не можешь говорить помедленнее?

— Нецелесообразно. Я должен в кратчайшее время подготовить вас на механика-энергетика простейших устройств.

— Ага,— сказал я,— теперь понятно. Яйца курицу учат.

— Не вполне корректно,— неожиданно обиделся этот тип.

— А делать замечания старшим — это корректно? — взорвался я. Со своими «гномами» я привык не церемониться.

— Извините,— кротко ответил он.

— Кстати,— пришло мне в голову,— как я должен тебя звать?

— Как вам будет удобно.

— Тогда я буду звать тебя «Педель». Не возражаешь?

— Я не возражаю. Но что это такое?

— На языке древних это означало: учитель, наставник.

— Благодарю вас. Но должен предупредить вас на будущее, что древние языки не входят в мою программу.

«Ну и черт с тобой»,— подумал я, но уже не произнес этого вслух. Мне хотелось отдохнуть. Километров двадцать я все-таки сегодня пробежал, это много с непривычки.

— Ты можешь быть свободен, Педель,— сказал я.

— На какой срок? — бесстрастно осведомился он.

— На шесть часов тринадцать минут сорок шесть секунд.

Не поворачиваясь, Педель заскользил к двери.

— Постой!.. Ты уже познакомился с доктором Элиа?

— Да.

— Сколько ему лет?

— Сто сорок три. Уже прожито.

Забавное создание — никакого чувства юмора. Мне показалось, что если бы я спросил, сколько еще осталось прожить Элефантусу, он ответил бы так же точно и спокойно.

— Ну, проваливай.

— Кого, что?

— Ступай, говорю.

И все-таки это лучше, чем Патери Пат.

Не спалось. На Земле мне вообще не спалось. Пока я летел сюда в крошечной, с многослойной защитой, ракете, какое-то специальное устройство внимательно следило за тем, чтобы я регулярно отсыпал шесть часов в сутки. Как только проходили следующие восемнадцать часов, меня начинало клонить ко сну. Непреодолимо, неестественно. Это раздражало, как всякая назойливая и непрошенная забота, но сделать я ничего не мог: за четыре месяца путешествия я так и не обнаружил этого проклятого «морфея». Позаботились бы лучше о создании элементарной гравитации: приходилось спать, пристегнувшись к скобам нижнего люка.

Я сдернул подушку и улегся прямо на ковре. Одиннадцать лет я проспал на полу — там, на буе, центральные помещения не были приспособлены для жилья. Это были склады и аккумуляторные.

Там Земля мне снилась редко. Чаще мне чудилось, что я все лечу и лечу и лечу неведомо куда, и всегда — один. Я жгуче мечтал, что за мной прилетят люди. А прилетели все-таки роботы. Видно, такой уж я невезучий. И снова я стал мечтать, теперь уже о том, как меня встретят... Встретили меня, мягко говоря, сугубо официально. Человек десять-двенадцать в защитных балахонах и масках, словно я был по крайней мере контейнером с каким-нибудь симпатичным изотопом. Я докладывал, а они смотрели на меня с таким видом, словно это все было им хорошо известно. Потом один из них спросил меня, не предпринимал ли я попыток спасти тех, четверых, что остались наверху. Я только пожал плечами. Нет, они не были подробно осведомлены о том, что произошло. Но тут самый низенький из них — это был Элефантус — решительно запротестовал, и меня в огромном мобиле — вероятно, с сильной защитой — привезли сюда. Мне сразу бросилась в глаза невероятная скорость, с которой мчался мобиль, так же, как и то, что сами люди двигаются, разговаривают и, похоже, даже мыслят с какой-то усиленной интенсивностью. Мне не у кого было спросить о причинах этого, потому что Элефантус был всецело поглощен исследованием моего состояния, а с Патери Патом я определенно не мог сойтись характером. Десять дней он крутил меня так и этак, все искал, не стала ли моя бренная плоть аккумулятором того неведомого излучения, которому подвергся наш буй. Но бедняге не повезло. Надо было знать, с кем связываешься. Моей невезучести всегда хватало не только на меня одного, но и на двоих-троих окружающих.

Не успел я как следует освоиться в новом жилище, как загудел входной сигнал. Видно, те, кто пришел, думали, что я сплю, и потому не воспользовались люминаторами. Я старался представить себе, кто бы это мог быть. Может, Сана?..

О, несчастный день! У двери домика застыла все та же темно-лиловая туша.

— В чем дело, Патери? И к чему эти церемонии с сигналами?

— Доктор Элиа приглашает ужинать.

— Весьма благодарен, но ты мог сообщить это по фону.

Патери Пат глянул на меня как-то искоса, как смотрят на людей, которые могли бы о чем-то догадаться.

— В твоем домике фон не работает. Завтра починят.

Я понял, что его не починят и завтра. Вернее, не подключат. Вот только почему?

— А другого сарая для меня не найдется?

— Пока нет. В соседних коттеджах размещены обезьяны и кролики, которые летели вместе с тобой.

Час от часу не легче. Четыре месяца я летел вместе с целым зверинцем и даже не подозревал об этом.

— Постой, почему же они не передохли? Кто с ними нянчился?

— «Бой».

Очень мило! Мне так не хватало элементарного комфорта, а робот для бытовых услуг был предоставлен не мне, а моим четвероногим спутникам.

— А могу я поинтересоваться, для чего была затеяна эта игра в прятки, да еще и со зверюшками, как на хорошем детском празднике?

— Проверка. Ты мог аккумулировать неизвестное излучение. А оно, в свою очередь, оказало бы необратимое влияние на другие организмы.

— К счастью, я даже в этом оказался абсолютно бездарен.

— К счастью.

— Но теперь-то вы уверены, что я могу свободно общаться с людьми?

— Отнюдь нет. Воздействие сказывается месяца через два-три. Зараженный организм как бы проходит инкубационный период. Потом — распад тканей, в первую очередь — сетчатки глаза.

— Необратимый?

— Пока — да. Мы можем пока только задержать процесс; остановить, обратить — нет.

— Постой... А откуда это тебе известно?

Патери Пат замялся. «Сейчас солжет»,— безошибочно определил я.

— На трассе Венера — астероид Рапс под аналогичное излучение попал буй с контрольными обезьянами.

Мы оба понимали, что это неправда.

— Ладно. Спрошу у Элефантуса.

— Не стоит,— живо возразил Патери Пат,— не забывай, что если кто-то из нас уже заражен, то это он.

— Или ты.

— Не думаю. Я осторожнее.

Внезапно меня осенило. Багровая рожа Патери Пата явно носила следы какого-то недавнего облучения. Защитный слой! Модифицированные клетки противостоят любым лучам в несколько тысяч раз сильнее, чем обычные. Он носил как бы скафандр из собственной кожи. Тогда, до моего отлета, уже ставились такие опыты, и я читал о первых положительных результатах. Видно, за эти годы ученые сумели добиться полного защитного эффекта, но вот сопровождающий его колористический эффект... Да. Я бы предпочел остаться неосторожным.

Я тихонько глянул на Патери Пата. Он шагал вразвалку, огромные кулаки, обтянутые фиолетовой кожей, мерно качались где-то возле колен. Ничего себе монолит, ходячий символ единства физической силы и интеллекта.

— И сколько я еще буду тут торчать?

— Месяца три. Ведь четыре ты уже провел с обезьянами. И потом, как скоро ты освоишь новую профессию.

— Ну, положим, не совсем новую. Кое в чем я могу дать сто очков вперед своему Педелю.

— Кому?

— Тому субъекту цвета голубиного крыла, которому поручено превратить меня из неуча в полноправного члена вашего высокоинтеллектуального общества.

Патери Пат промолчал. Но по этому молчанию я мог догадаться, что он отнюдь не возражает против такого самоопределения, как «неуч».

— Ладно,— сказал я.— Пойдем, закусим на скорую руку, а там я примусь за науку с упорством египетского раба.

— Египетские рабы не были упорными. Их просто здорово били.

— Милый мой, а что ты со мной делаешь?

Обед в доме Элефантуса проходил мирно. Хорошо еще, что всеобщая торопливость не коснулась процесса еды. Но зато, как я понял, обеденное время стало теперь и временем отдыха. Сразу же после еды все возвращались на рабочие места. Как при такой системе Патери Пат умудрялся оставаться толстым, для меня было загадкой. Что касается меня, то бессонница и постоянное наблюдение Элефантуса и Патери Пата благотворно сказывались на стройности моей фигуры. Я с невольной симпатией посмотрел на Элефантуса. Гибким и легким движением он принял у «боя» блюдо с жарким и, как истый хозяин дома, неторопливо разрезал великолепный кусок мяса. Натуральное вино, только земные фрукты. Олимпийское меню. А вот Патери Пат, как ни странно, вегетарианец. Между тем, я нисколько бы не удивился, если бы увидел его пожирающим сырое мясо с диким чесноком. Словно разгадав мои мысли, он исподлобья глянул на меня. У, людоед: обсасывает спаржу, а сам, наверное, мечтает...

— О чем ты думаешь, Патери?

— Если метахронированная экстракция возбужденных клеток эндокринных желез...

Он был безнадежен.

— Простите меня, доктор Элиа, могу я задать вам несколько вопросов?

— Если мой опыт позволит мне ответить на них — я буду рад.

— Если я не ошибаюсь, вскоре после моего отлета был осуществлен запуск «Оператора»?

— Да, совершенно верно.

— Дал ли этот эксперимент результаты, которых от него ожидали?

Элефантус немного помолчал. Патери Пат перестал жевать и уставился на него.

— Мне трудно так сразу ответить на ваш вопрос, Рамон. Вам, несомненно, хотелось бы, чтобы за эти одиннадцать лет Земля неузнаваемо изменилась, появились бы фантастические сооружения, висячие бассейны величиной с Каспийское море или подземные сады в оливиновом поясе... Но вы ведь этого не обнаружили, не так ли, Рамон?

Я кивнул. Действительно, я был немного разочарован, увидав, как мало изменилась Земля. Космодром, и тот остался прежним.

— Не разочаровывайтесь. С тех пор, как все промышленные центры, прекрасно управляемые на расстоянии, были перенесены на Марс, а Венера была отдана под плантации естественной органики, Земля несет на себе функции интеллектуального центра Солнечной. И, надо отдать ей справедливость, она прекрасно для этого приспособлена. Вы знаете, сколько веков трудились над этим люди и машины. Вряд ли будет целесообразно менять что-либо в корне, так что нам остаются лишь доделки.

Элефантус прикрыл глаза и медленно потягивал вино. Глянуть на него со стороны — идеальный земной интеллигент в идеальных для него условиях.

— Но вы вряд ли обратили внимание на другое,— продолжал он.— Мне сто сорок три. Вы знаете?

Я снова кивнул.

— Патери Пату вы дадите...

— Двадцать пять.

— Тридцать восемь! Кстати, его прадеду сто восемьдесят шесть. Я с ним связан — он директор австралийской базы подопытных животных. И прекрасный пловец.

Я чуть поморщился. Это уже начинало походить на популярную лекцию. Я задал вопрос в лоб:

— Значит, «Оператор» каким-то образом помог раскрыть секрет долголетия?

— Не совсем так. И до постановки эксперимента люди жили по сто пятьдесят — двести лет. Но лишь после возвращения «Оператора» все силы ученых были направлены на то, чтобы эти двести лет человек проживал не дряхлым старцем, а полным сил. Так что готовых рецептов мы не получили, и мое личное мнение, что это даже к лучшему. Зато мы научились по-настоящему ценить две вещи: время и здоровье. И я думаю, для этого стоило запускать транспространственный корабль.

В косом взгляде Патери Пата я отчетливо прочел: «Для человечества, может, и да, но лично тебе это большого счастья не принесет». Меня вдруг покоробило оттого, что какие-то тайны Элефантуса были открыты этому фиолетовому тюленю.

— Если эксперимент не дал ожидаемых результатов, то почему бы его не повторить?

Элефантус улыбнулся мне, как ребенку.

— Именно так и стоит вопрос: повторить ли? И, уверяю вас, за те одиннадцать лет, которые прошли с момента этого запуска, человечество так и не смогло разрешить эту проблему. К тому же есть основания полагать, что неизвестное излучение, под которое попал ваш буй, было следствием возвращения «Оператора» в наше... пространство.— Патери Пат снова вскинул на него глаза, и я понял, что Элефантус все время чего-то не договаривает.— Я в этой области не силен, но если вас этот вопрос заинтересует, я запрошу у специалистов все гипотезы относительно нового излучения.

— Пока только гипотезы?

— Боюсь, что не пока, а навсегда. Интенсивность неизвестного излучения стремительно падала. Сейчас мы уже судим о нем лишь по вторичным эффектам. А они весьма любопытны — для нас, медиков, во всяком случае. Вот, в сущности, и все, что я могу сообщить вам для начала. Но позже мы к этому еще вернемся. Обдумайте все на досуге, но не советую вам терять на это много времени. Примите мое старческое ворчанье как дружеский совет. И не расспрашивайте вашего робота об «Операторе» — он ничего о нем не знает. Используйте его по назначению.

— Кстати, когда я смогу хотя бы слушать музыку?

Элефантус растерянно взглянул на Патери Пата.

— Завтра фон будет исправлен.

Педель меня изводил. С назойливой преданностью таксы он ходил за мной и бормотал, бормотал, бормотал... Я научился отключаться и не обращать внимания на его лекции, но он быстро перестроился и начал проецировать чертежи и схемы установок на стены моей комнаты. Мне не оставалось ничего, как только покориться. Сначала у меня возникала

озорная мысль: доказать ему, что кое в чем я сильнее его — как-никак одиннадцать лет я только и занимался тем, что монтировал и ремонтировал установки, высасывая для них из собственного пальца энергию, из двух «гномов» делал одного, и наоборот. Но он спокойно выслушивал меня или смотрел, что я делаю, а потом бесстрастно констатировал:

— Это вы знаете. Перейдем к следующей схеме.

К концу второго месяца я не выдержал. Я наорал на него, но это не возымело никаких последствий. Он очень спокойно проинформировал меня, что курс обучения рассчитан на четыре года. Я остолбенел. Четыре года? Еще четыре года здесь?.. К чертовой бабушке! Я решительно направился к двери. Тем же бесстрастным тоном мой Педель посоветовал мне не обращаться к указанной бабушке, а продолжать занятия с ним, ибо, несмотря на мои скудные теоретические познания, он, учитывая богатый мой практический опыт, надеется закончить программу к новому году.

Это несколько примирило меня с ним. Но я буквально взял его за шиворот и велел ему исправить мой фон, который, хоть и был подключен, но ничего, кроме музыки, не передавал. Педель послушно захлопотал около аппарата и через нескоторое время доложил мне, что фон абсолютно исправен. Я подсел к верньерам, включил алфограф настройки. Треск, шорохи, матовое мерцание экрана. И четкая музыка в очень узком диапазоне.

— Педель! — позвал я.

Он появился, такой голубенький и невинный, что у меня сразу же пропали все подозрения в том, что это он испортил аппарат. Шутки шутками, и дело не в его голубой шкуре — я почувствовал волю человека, по непонятным причинам стремящегося оградить меня от всего мира. Какая-то дичь. Средневековье. Еще посадили бы меня в комнату с решетчатыми окнами!

— Педель,— сказал я спокойно,— дана задача: во-первых, выяснить, почему при абсолютной исправности фона нет связи с остальными станциями, кроме одной; во-вторых, определить, где находится станция, передающая музыку.

— Все понял. Прошу подождать.

Педель захлопотал. Он покрутился около аппарата, обнюхал стены, проворно выскользнул в соседнюю лабораторию, где у нас с ним проходили занятия по энергоснабжающей аппаратуре, и вскоре появился, нагруженный какими-то приборами. Захватив переносный фон, он молча укатил в сад. Не успел я улечься с книгой, как Педель уже вернулся.

— Над территорией Егерхауэна создан временный наведенный экран. Поле экрана непробиваемо. Радиус экрана — шестнадцать километров. Музыка транслируется станцией, находящейся в двухстах тридцати метрах на юг отсюда.

В последнем я не сомневался.

— Ознакомься с картой окрестности и найди наиболее удобное место для выноса фона за пределы действия экрана.

Ответ последовал мгновенно:

— С картой местности знаком. В радиусе шестнадцати километров — горы, вынос фона невозможен.

Придется еще раз стать неблагодарной скотиной и покинуть сей гостеприимный дом.

— Поднимись на крышу и вызови мне мобиль.

— Шифр вызова?

— Какой еще шифр?

— С двадцать седьмого августа мобили на территорию Егерхауэна вызываются только по шифру.

Я повернулся и вышел.

В кабинете Элефантуса сидел Патери Пат. Мне не очень-то хотелось разговаривать с ним, но пришлось.

— Где доктор Элиа?

— Улетел.

— Надолго?

— На четыре дня.

— Вызови мне мобиль.

— Тебе улетать нельзя.

Я стиснул кулаки и медленно пошел к нему.

Он поднял голову и посмотрел на меня с каким-то любопытством и очень спокойно.

— Ты никуда не полетишь,— повторил он.— Хватит и нас с Элефантусом.

Я разжал кулаки.

— Ты...— я не знал, как спросить, и рука моя виновато дотрагивалась до глаз.— Ты... уже чувствуешь?

— Пока — нет. Но ты не имеешь ни малейшего права подвергать риску кого-либо, кроме нас. Мы ведь пошли на это добровольно.

Патери Пат молча наблюдал за мной. Спокойствие его переходило в насмешку. Я решил откланяться, и, по возможности, наиболее корректно.

— Ты мне хочешь еще что-нибудь сказать? — спросил я его.

— Да нет, иди, работай.

— Послушай, ты,— не выдержал я.— Если ты думаешь, что твоя архиуникальная профессия дает тебе право обращаться со мной, как с подопытным шимпанзе, то мне хочется весьма примитивным образом доказать тебе обратное.

Патери Пат досадливо посмотрел на меня.

— Я теряю время,— кротко проговорил он.— Извини.

— Теряй,— сказал я,— мне не жалко. Но потрудись ответить, кто дал тебе право быть тюремщиком при таком же человеке, как ты сам? Я согласен отсидеть в карантине чёрт знает сколько, если я опасен для людей. Но зачем над Егерхауэном наведен этот экран?

На лице Патери Пата промелькнуло удивление. Он молчал.

— Вы отгородили меня от всего мира. Во имя чего? И кто подтвердит ваше право решать за меня, что для меня — лучше, а что — хуже?

Он встал. Подошел к столу Элефантуса, порылся в нем и достал совсем свежую пластинку радиограммы. Ага, пока я сплю, экран все-таки снимается. Помедлив какую-то долю секунды, он протянул пластинку мне.

«Милый доктор Элиа,— прочел я,— я рада, что все остается по-прежнему, как я вас просила. Не бойтесь за него — после того, что он пережил, еще два месяца пройдут незаметно. Мне труднее. Но не говорите ему обо мне. Благодарю вас за все — вы ведь знаете, что расплатиться с вами я не сумею».

Два месяца пройдут незаметно... Два месяца пройдут... Все остальное уплыло, растворилось в этом неотвратимом, реальном счастье. Патери Пат потянул пластинку из моих пальцев.

— На! — сказал я, отдавая пластинку.— И выключи свою шарманку, мне будет не до музыки. Работать надо. Два месяца.

Впервые я отчетливо увидел, как в черных до лилового блеска глазах Патери Пата промелькнула обыкновенная зависть.

— Привет, старик! — крикнул я.— Два месяца!

Черт побери, как я спал в эту ночь! Голубые ящерицы мчались по моим сновидениям, они заваливались на спину и в неистовом восторге, задирая кверху лапы, кричали: два месяца!

Глухо прогудел звуковой сигнал будящего комплекса, перед закрытыми глазами взбух и лопнул световой шар — и я увидел перед собой Педеля. Он протягивал мне на ложке комочек какого-то желе:

— Сонтораин.

Лекарство было прохладное и очень кислое. Мной овладела апатия, аналогичная той, какую я испытывал в ракете. Еще минута — и я уснул, на сей раз уже без голубых ящерок.

Между тем мое отношение к Педелю вышло из всяких границ почтительности. Я хлопал его по гулкому заду цвета голубиного крыла и, заливаясь неестественным смехом, кричал:

— Ну, что, старый хрыч, поперли к сияющим вершинам?

Он послушно возобновлял свои объяснения, но я уже ничего, решительно ничего не мог понять или запомнить, и это нисколько не пугало меня, а наоборот, развлекало, и я решил развлекаться вовсю, и когда на другой день он попросил меня подрегулировать блок термозарядки, я умудрился миалевой полоской заземлить питание, так что бедняге приходилось каждые пять минут кататься на подзарядку. Мои потрясающе остроумные шуточки относительно расстройства его желудка не попадали в цель — он не был запрограммирован для разговоров на медицинские темы.

Иногда, словно приходя в себя, я чувствовал, что дошел уже до состояния идиотского ребячества и уже ничего не могу с собой поделать, и все смеялся над Педелем и все ждал, когда же он сделает что-то такое, что переполнит чашу моего терпения, и я окончательно потеряю контроль над собой.

Но последней каплей оказался Патери Пат.

За ужином он довольно сухо заметил мне, что я перегружаю моего робота не входящими в его программу заданиями. Я взорвался и попросил его предоставить мне развлекаться по своему усмотрению. Выражения, употребляемые мною по адресу Патери Пата, едва ли были мягче тех, которые приходилось выслушивать Педелю.

Я видел округлившиеся глаза Элефантуса и знал, как я сейчас жалок и страшен, и опять ничего не мог с собой поделать, и шел на Патери Пата, шатаясь и захлебываясь потоками отборнейших перлов древнего красноречия, почерпнутого мною на буе из старинных бумажных фолиантов.

Элефантус перепугался.

Он кинулся ко мне, схватил за руку и потащил к выходу. Он вел меня по саду, бормоча себе под нос: «Это надо было предвидеть... никогда себе не прощу...» Я отчетливо помню, как я упрямо сворачивал с дорожки на клумбы и дальше, к зарослям цветущего селиора, и рвал ветки, и перед самым домом упал и стал рвать траву, но потом поднялся и с огромной охапкой этого сена дотащился до своей постели и рухнул на нее, зарываясь лицом в шершавые листья. Это была Земля, это была моя Земля — все в терпкой горечи пойманного губами стебля, в теплоте измятой, стре-

мительно умирающей травы. Я хотел моей Земли, я хотел ее одиннадцать лет царства металла, металла и металла — и я взял ее столько, сколько смог унести.

Это была моя Земля. И где-то на ней — совсем рядом со мной — была Сана, и она думала обо мне, помнила; может быть, еще любила. Главное — была, она была на Земле.

Но почему же я, счастливый такой человек, чувствовал, что схожу с ума?..

Вероятно, мне и в самом деле было очень худо. Приходили какие-то люди, шурша, наклонялись надо мной. Однажды прикатился Педель. Я рванулся и изо всей силы ударил его.

— Не понимаю,— тихо сказал он и исчез.

Я засмеялся — вот ведь какие странные вещи иногда чудятся... и только уж если еще раз причудится — хорошо бы, чтобы вместо Педеля был Патери Пат.

А в комнату набегали люди, все больше и больше, и все они наклонялись надо мной, и лица их, ряд за рядом, высились до самого потолка, словно огромные соты, и все эти бесконечные лица мерно хлопали длинными жесткими ресницами и монотонно жужжали:

— Ты должен... Долж-ж-жен... Долж-ж-жен...

А потом делали со мной что-то легкое и непонятное — то ли гладили, то ли качали, и противными тонкими голосками припевали:

— Вот так тебе будет лучше... лучше... лучше...

Но лучше мне не становилось уже хотя бы потому, что мне было ужасно неловко оттого, что столько людей возятся со мной и думают за меня, что я должен делать, и как лежать, и как дышать и все другое. Все они были одинаковые, одинаково незнакомые люди, как были бы неразличимы для меня сотни тюленей в одном стаде. И отвернуться от них я не мог, потому что все тело мое было настолько легкое, что не слушалось меня. Вероятно, я находился под каким-то излучением, всецело подчинившим мою нервную систему. Изредка я приходил в себя на несколько минут, искал глазами Элефантуса — и не находил, и снова погружался в тот сон, который видел каждую ночь с самого начала. Момент перехода в состояние сна я воспринимал как беспамятство, а потом во сне приходил в себя и чувствовал, что меня волокут куда-то вниз цепкими металлическими лапами, и каждый раз, как меня перетаскивали через порог очередного горизонтального уровня, мой спаситель спускал меня на пол и проделывал какие-то манипуляции, после чего раздавался тяжелый стук и низкое, натужное гуденье. Когда я понял, что это смыкаются аварийные перекрытия и включаются поля сверхмощной защиты, я заорал диким голосом и рванулся из железных объятий «гнома». Он продолжал тащить меня, не обращая внимания на мои отчаянные попытки вырваться.

— Сейчас же сними поле! — кричал я ему.— Раздвинь защитные плиты, они же не открываются снаружи!

— Невозможно,— отвечал он мне с невероятным бесстрастьем.

— Там же люди, ты слышишь, там еще четыре человека!

— Нет,— невозмутимо отвечал он.

Я понял, что он вышел из строя и сейчас может натворить что угодно — ведь все «гномы» на буе были включены на особую программу, при малейшей опасности они работали исключительно на спасение людей. Они делали чудеса и спасали людей. А этот — губит.

— Брось меня и спасай тех, четверых, они же на поверхности!

— Там нет людей. Спасать нужно тебя одного.
— Да нет же, они там!
— Там нет людей. Там трупы.

Странно, как я ему поверил. Не потому, что привык, что эти существа не умеют ошибаться,— просто кругом творилось такое, что можно было верить только худшему. А остаться в этом аду в одиночестве — это и было самое худшее.

Позже я подумал, что то, что я кричал ему, он не мог выполнить, так как знал: после нескольких минут работы защитного поля, да еще включенного на максимальную мощность, на поверхности буя не могло остаться ни одной живой клетки. Я-то все равно снял бы поле и полез обратно, но он — он все взвесил и знал, что поступает наилучшим образом.

Тем временем мой «гном» опустил меня и начал давать сигналы вызова. Через несколько секунд другой точно такой же аппарат появился откуда-то снизу и подхватил меня. Первый «гном» отдал второму какие-то приказания и исчез наверху. Второй, точно так же, как и первый, закрыл за ним защитные плиты. Первый остался там, где медленно и неуклонно пробивалось сквозь металл смертоносное излучение. Почему он ушел? Позже «гномы» объяснили мне, что он уловил в себе наведенное поле непонятной природы и, не умея постичь смысла происходящего, счел за благо оставить меня на попечение других аппаратов, а сам вернулся в зону разрушающих лучей, лишь бы не создать для меня опасности своим дополнительным излучением. Он был хороший парень, этот первый «гном», он мудро и самоотверженно тащил меня за ворот обратно к жизни — недаром его программу составляли люди, не раз попадавшие в межзвездные переделки. И он поступил, как человек, сделав все для спасения другого и сам уйдя на верную гибель. Одно меня угнетало: вся эта мудрость, вся эта энергия тратились для спасения меня одного. Бесконечно косные в своем всемогуществе, эти роботы и пальцем не шевельнули для спасения тех, остальных, как только вычислили, что плотность и жесткость излучения многократно превышает смертельные дозы.

Так было тогда, и так же отчетливо я видел все это во сне теперь. Железные неласковые лапы перетаскивали меня через пороги, опускали в холодные колодцы люков, и все ниже и ниже — туда, где еще осталась надежда на спасение. Но я рвался из этих лап и знал, что не вырвусь, и снова рвался, и так сон за сном, до бесконечности. Так искупал я минуту отчаяния, когда разум мой, одичавший от ужаса и опустившийся до уровня этих машин, поверил в гибель тех, остальных. Я поверил, и должен был поверить, и всякий другой поверил бы на моем месте, но именно этого я и не мог себе простить.

Я чувствовал бы себя совсем хорошо, если бы не эти воспоминания. И еще я жалел, что обошелся так резко с Педелем. Если оставить в стороне, что именно ему я обязан своим состоянием, то он был неплохой парень. Почему он больше не показывается? Обиделся? С него станется. Обидчивость с незапамятных времен отличала людей с низким интеллектом. Наверное, это правило сейчас распространилось и на роботов. А может, я его здорово покалечил? Силы у меня на это, пожалуй, хватило бы. Приоткрыв один глаз, я смотрел, как бесшумно снуют вокруг меня белые люди. Честное слово, я с радостью отдал бы их всех за одного Педеля. К нему я привык, и когда он исчез, то среди всех этих чужих торопливых людей он вспоминался мне, как кто-то родной. Я слишком много мечтал о том, чтобы вернуться к людям, а когда мне это удалось, то вдруг оказалось, что мне совсем не надо этой массы людей, мне надо их немного, но чтоб это были мои, близкие, теплокровные, черт побери, люди, а таких на

Земле пока не находилось. Меня окружало по меньшей мере полсотни человек, и все это, по-видимому, были крупные специалисты, они нянчились со мной, они старались как можно скорее поставить меня на ноги, но в своей стремительности они не оставляли места для так необходимого мне человеческого тепла.

Не засыпал я уже подолгу. Однажды я проснулся и почувствовал, что могу говорить. Но тут же подумал, что раз уж мне милостиво вернули речь, то, вероятно, первое время за мною будут наблюдать.

— Дважды два,— сказал я,— будет Педель с хвостиком.

И пусть думают обо мне, что хотят.

Я не знаю, что они обо мне подумали, но вскоре раздвинулась дверь и, чуть ссутулившись, вошел Элефантус. Он сел возле меня и наклонил ко мне свои худые плечи. «Ну, вот,— подумал я,— вот теперь я живу по-настоящему. Я теперь одновременно вспоминаю тех, четверых, тоскую по Сане, маюсь от собственной неприспособленности к этой жизни, мчащейся со скоростью курьерских мобилей, скучаю по Педелю, и вот теперь снова буду беспокоиться об Элефантусе, который по моей милости, кажется, может ослепнуть. Если бы меня мучило что-нибудь одно — это было бы, как в плохом романе: «одна мысль не давала ему покоя»... Так бывает и во сне — одна мысль. А когда начинается настоящая жизнь — наваливаются сразу тридцать три повода для переживаний.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я Элефантуса.

Всегда такой сдержанный, Элефантус позволил себе удивиться.

— Благодарю вас, но мне кажется, это меня должно волновать ваше самочувствие.

— Вы обращаетесь со мной, как с больным ребенком, доктор Элиа. А я хочу знать: могу ли я быть с людьми? Представляю ли я опасность для окружающих? Мне это нужно, необходимо знать, поймите меня...

Элефантус зашевелил ресницами:

— Мы предполагали, что так может быть. Но я уверяю вас, что все наши предосторожности были напрасны — вы не несете в себе никакого излучения, ни первичного, ни наведенного.

— Но Патери Пат специалист в этой области. И он опасается...

— В какой-то мере я тоже... специалист.

Мне стало неудобно.

— Простите меня,— продолжал Элефантус.— Теперь я могу вам признаться, что мы намеренно старались оградить вас от внешнего мира. Патери Пат считал это обязательным для вашего скорейшего приобщения к ритму жизни всего человечества. Здесь, в укромном уголке Швейцарского заповедника, вы должны были без всяких помех овладеть своей специальностью в той степени, чтобы не чувствовать себя на Земле чужим и неумелым. Мы взяли на себя право решать за другого человека, как ему жить. Мы не имели этого права. Мы ошиблись, и в первую очередь виноват перед вами я, потому что согласился с Патери Патом и... еще одним человеком.

— Не нужно, доктор Элиа,— я положил руку на его сухую ладонь.— Все будет хорошо.

Он грустно взглянул на меня:

— Может быть... Может быть, у вас и будет все хорошо.— Он поднялся.— Вы здоровы, Рамон. И еще: послезавтра — Новый год. Вы помните?

— Да, да, конечно.— Не имел представления...

Он быстро, чуть наклонившись вперед, пошел к выходу. Он тоже все время куда-то торопился. Это не бросалось в глаза, потому что сам он был

сухонький и легкий, как летучая мышь. Другое дело — Патери Пат. Его быстрота всегда удивляла, даже неприятно поражала, и даже смешила меня, как смешила бы человека легкость движений гиппопотама, попавшего на планетку с силой тяжести в десять раз меньше.

Проснувшись на следующий день, я совершенно неожиданно обнаружил, что за окном повсюду лежит снег, хотя я знал, что в Егерхауэне потолок субтропического климата устанавливался на высоту до десяти метров. Но очертания гор, которые здесь были гораздо ближе, показались мне знакомыми. До них было километра полтора-два; узкая тропинка выскальзывала из-за моего дома и, уходя в темно-голубые ели, терялась там. Я закинул руки за голову и потянулся. Ну, черта с два меня теперь здесь удержат. Я возьму лыжи и уйду туда, в сизые елки, а не будет лыж — пойду так, и буду барахтаться в сугробах, ломая ветви, хватая губами снег, пока не заломит в висках от сухой и колкой его морозности. От таких мыслей в комнате запахло хвоей и еще чем-то горьковатым. Даже слишком сильно запахло. Я наклонился — у самой постели, на полу, лежала охапка жесткой, похожей на полосатую осоку, травы, и огромные цветы селиора, нарванные наспех, почти без листвы, стрельчатые жесткие звезды, не ярко-розовые, как в саду у Элефантуса, а нежно-сиреневые, дикие. И еще несколько густых еловых лап с толстыми иголочками-растопырками, со смоляной паутинкой на размочаленных, неумело обломанных концах. И капли теплой воды на матово-белом, словно утоптанный снег, полу.

А у двери, прислонившись к ней плечами и опустив руки, стояла Сана.

ГЛАВА II

Я очень удивился, хотя ждал ее каждый день с того самого мгновенья, как ступил на Землю. Я смотрел и смотрел на нее, и вдруг поймал себя на мысли, что мы молчим чересчур долго, чтобы после этого сказать именно то, что нужно. Конечно, мы должны были некоторое время просто смотреть друг на друга, но это продолжалось уже намного дольше, чем требовалось нам, чтобы увидеть друг в друге то главное, что важнее всего после долгой разлуки — то, что позволяет мысленно или тихо-тихо произнести: «Это ты!» И вот время полетело все быстрее и быстрее, и не было предела этому бешеному ускорению, когда за минутами летят не минуты, а часы, дни, века, и всей толщей своей они отделяли меня от того мига, когда я мог просто сказать: «Сана...» И я стал думать, что могу, что должен сказать ей я — уже не юноша, как в дни наших встреч, а пожилой, умудренный опытом и одиночеством, проживший столько лет вне ее мира, столько сделавший и столько не смогший. Я должен был сказать самое главное, трудное и наболевшее, и я сказал:

— Те четверо... Они гибли рядом со мной, и я не сделал ничего, чтобы спасти их.

Наверное, это было то, что нужно, потому что через мгновенье Сана сидела на моей постели, и рука ее лежала на моих губах, и она шептала мне тихо и растерянно:

— Не надо. Не надо об этом, милый. Я же знаю. Все знаю. Ты не мог ничего сделать. И больше не вспоминай об этом. Никогда. Не теряй на это времени. Нашего времени.

Я понял, что и она говорит не то, что думает, а говорит от мучительного счастья сказать, наконец хоть что-нибудь, и я засмеялся в ответ ее торопливой нежности, потому что она снова стала не воспоминанием, не человеком, не женщиной — никем, а только тем единственным на Земле существом, которое называется — Моя Сана.

Я даже не спросил ее, где она поселилась и скоро ли вернется ко мне, я просто лежал, закинув руки за голову, и был полон собственным дыханием, этой чертовски прекрасной штукой, совершенной в своей соразмерности вдохов и выдохов, бесконечно мудрой в своем назначении — наполнять человека тем, что ему необходимо, наполнять всего, целиком, и делать его легким и всесильным.

Я не ждал ни шагов, ни шорохов. Я знал, что все, что со мной теперь будет,— будет хорошо. И я спокойно ждал этого хорошего будущего. Тогда бесшумно раздвинулась дверь, и бронзово-коричневый «бой» вкатил столик с ужином. Я посмотрел на него с любопытством — это был первый робот, который появился у меня за время моей болезни.

Стол был сервирован на двоих — значит, Сана меня уже больше не оставит. Шесть смуглых, почти человеческих рук быстро разливали кофе, раскладывали по тарелочкам лакомства, от которых пряно пахло суиком и школьными завтраками. Мне вдруг бросилось в глаза, что мой «бой», несмотря на свою пластическую моделировку и многоконечность, значительно тяжелее обычных сервис-аппаратов и даже снабжен проектором планетарного типа.

— Кофе натуральный? — спросил я его, чтобы узнать, снабжен ли он диктодатчиком.

— Да, но могу заменить, если вы желаете.

Голос был противный — мужской, но очень высокий, с металлическими нотками.

— Не желаю. Можно ли убрать с потолка снег?

— Пожалуйста. Выполнить сейчас же?

— Через пятнадцать минут. Какое сегодня число?

— Тридцать первое декабря.

Да, я основательно провалялся.

— Что со мной было?

— Региональное расстройство сиффузорно-запоминающей канальной системы.

А откуда он это знает? Слышал? Нет, так сказать никто не мог — разве что роботехник о причине выхода из строя аппарата высокого класса. Значит, этот «бой» имеет собственное мнение о моей персоне. Забавно. А вдруг это...

— Чему равна масса типовых буев-резервуаров на трассах Солнечной?

— От пятисот до семисот мегатонн.

— Сколько шейных позвонков у человека?

— Семь.

— Где расположены нейтринные экстрактеры в аппарате ЗИЭТР?

— Аппарат ЗИЭТР не имеет нейтринных экстрактеров.

— Сколько мне было лет, когда я в последний раз покидал Землю?

— Тридцать два.

Все было ясно. Я ткнул его кулаком в золотистое брюхо.

— Можешь кончить этот маскарад и облачиться в свой серенький капот. Кстати, твой прежний голос мне тоже больше нравился, а то сейчас ты мне напоминаешь... М-м-да. Боюсь, что в этой области ты не силен.

— Я вас понял. В данное время заканчиваю курс сравнительной анатомии.

— Зачем?

— Должен усвоить все курсы высшей медицинской школы. Буду, в свою очередь, программировать других роботов на аккумулято-диагностику.

— Ну, работа у них будет не пыльная. Кстати, кто тебя программирует?

— Самопрограммируюсь по книгам и лентам записи.

— Но кто-то задает тебе круг определенной литературы?

— Да, Патери Пат, Сана Логе.

— При подобном перечислении женщин следует называть первыми.

— Благодарю, запомнил. Сана Логе, Патери Пат.

— Вот так-то. Перекрашивайся, все останется по-старому.

— Прошло тринадцать минут.

— Ну, ладно, проваливай.

Он выскользнул из комнаты, и вскоре я заметил, что снег постепенно исчезает — сначала с краев крыши, потом все ближе к центру здания, и вот потолок стал совсем прозрачным. Бездумные сумерки обступили меня. Темно-лиловыми стали цветы селиора в гагатовых вазах, пар над тонкими чашками казался дымком.

Пришла темнота.

— Свет,— сказал я.

Потолок замерцал, несколько искр пробежало к окну, и комната стала наполняться ровным холодным светом. Излучала вся плоскость потолка, и мне вспомнилось, что именно так освещают операционные.

— Меньше света.

Потолок стал меркнуть.

— Довольно.

В комнате царил гнусный полумрак.

— Педель! — крикнул я.

Он явился тем же блестящим франтом — вероятно, ввиду того, что его система была усложнена, он счел нецелесообразным возиться со сменой капота. Он игнорировал мой каприз, и правильно сделал.

— Пригласи сюда Сану Логе...

На мгновенье мне вдруг стало нестерпимо жутко.

— Если она здесь,— добавил я.

— Она разговаривает с доктором Элиа в его лаборатории.

— Это далеко отсюда?

— Семь километров сто тридцать метров.

— Пусть она придет.

— Пожалуйста. Выполнить сейчас же?

Давнишнее раздражение шевельнулось во мне. Мне захотелось к чему-нибудь придраться.

— Кстати, это ты умудрился расставить эти симметричные веники вдоль окна?

— Нет. Цветы расставляла она сама.

— Не имей привычки говорить о Сане «она». Она тебе не «она».

— Не понял.

— Говори: «Ее величество Сана Логе».

— Что значит эта приставка?

— Это титул древних королев, не больше и не меньше.

— Понял. Запомню.

— Очень рад. Можешь выполнять.

Сана почувствовала, что я жду ее. Она появилась не дожидаясь вызова, и столкнулась в дверях с Педелем. Я наклонил голову и с интересом стал ждать, что будет.

Педель посторонился, пропуская ее, потом обернулся ко мне и с педантичной четкостью доложил:

— Полагаю, что вызов не нужен. Ее величество Сана Логе уже здесь.

Сана должна была засмеяться, постучать пальцами по бронзовой башке моего Педеля и выгнать его; но лицо ее болезненно исказилось, она глянула на меня, как матери смотрят на детей, если они делают что-то не то, совсем не то, что нужно, и бесконечно досадно, что вот свой, самый дорогой,— и непутевый, не такой, ах, какой не такой!.. Засмеяться пришлось мне и выгнать Педеля пришлось тоже мне, но я не сказал ему, чтобы он не называл больше Сану так. Мне-то ведь это нравилось. И потом, может быть на Земле хоть одна королева?

Я хотел встать, но Сана меня остановила. Она ходила взад и вперед вдоль прозрачной стены, к которой снаружи неслышно приклеивались огромные снежинки. Я понял, что если двое будут ходить по одной, не такой уж просторной комнате, то это будет слишком. Я устроился поудобнее на моем ложе и приготовился слушать. Сейчас она будет говорить, говорить бесконечно долго. И самое главное, она будет говорить, а не отвечать, как делали мои роботы; говорить, что ей самой вздумается, причудливо меняя нить беседы, путая фразы и не договаривая слова; говорить неправильно, нелогично, говорить, словно брести по мелкой воде, то шагом, бесшумно, стряхивая с гибкой босой ступни немногие осторожные капли, то вдруг пускаясь бегом, подымая вокруг себя нестрашную бурю игрушечных волн, пугаясь зеленых островков тины и внезапно останавливаясь, не в шутку наколовшись на острую гальку... Действительно, прошло столько минут с тех пор, как мы встретились, а я все еще не знал, как она прожила эти одиннадцать лет — как и с кем.

Ну, что же ты так долго колеблешься? Говори, хорошая моя. Я ведь еще не вспомнил как следует твоего голоса...

Сана подошла к столику с остывшим кофе и оперлась на него руками, словно это была трибуна. Я постарался не улыбнуться.

— Вскоре после твоего отлета был осуществлен запуск «Оператора»,— ровно и отчетливо произнесла она.

«Неплохое начало для автобиографии»,— подумал я.

— Я считаю нецелесообразным останавливаться подробно на физической стороне этого эксперимента, коль скоро в период, предшествовавший запуску, обо всем говорилось весьма подробно даже в начальных колледжах. К тому же скудная техническая эрудиция вряд ли позволила бы мне в достаточно популярной форме изложить этот вопрос. В основе эксперимента лежала теория Эрбера, выдвинутая около пятидесяти лет тому назад...

— Точнее — сорок шесть,— постным голосом вставил я.

— ...и устанавливающая законы перехода материальных тел в подпространство.

Я поднял голову и внимательно посмотрел на нее. Это была Сана. Это была *Моя Сана*. Но если бы два часа тому назад она не была Моей Саной, я подумал бы сейчас, что это — прекрасно выполненный робот пластической моделировки.

Одиннадцать лет ждать этого дня, этого первого разговора — и выслушивать лекцию, которую я свободно мог бы получить от любого робота-энциклопедиуса.

— Когда-то ты интересовался моей работой,— невозмутимо продол-

жала Сана,— поэтому ты должен помнить, что наша группа,— тогда ею руководил Таганский — была занята поисками человека, достаточно эрудированного для того, чтобы его мозг мог послужить образцом для создания модели электронного квазимозга.

— Ага,— сказал я, и голос мой прозвучал хрипло, так что мне пришлось откашляться.— Поиски супермена. Еще тогда я вам говорил, что это — бред сивой кобылы в темную сентябрьскую ночь.

Сана опустила уголки губ и приподняла брови. В такие моменты она становилась похожа на старинную византийскую икону, и это предвещало, что меня сейчас начнут воспитывать.

— За эти одиннадцать лет твоя речь приобрела излишнюю иллюстративность. Я понимаю, что ты разговаривал только с роботами и читал книги, написанные на забытых диалектах, в некоторых случаях опускающихся даже до уличного жаргона. Но теперь тебе всю жизнь разговаривать с людьми.

Она почему-то сделала едва уловимое ударение на слове «тебе», и от этого фраза получилась какой-то неправильной, шаткой, словно тело в положении неустойчивого равновесия. Сана и сама это заметила, снова недовольно вскинула брови и еще суше продолжала:

— Мы были связаны жесткими требованиями Эрбера. Он считал, что только схема, целиком воспроизводящая человеческий мозг, сможет управлять машиной в любых, самых неожиданных условиях. Технически выполнить эту работу было не так сложно. Взять хотя бы наши профилактические станции здоровья — наряду с такими физическими данными каждого человека, как снимки его скелета или объемные схемы кровеносной системы, они хранят периодически обновляемые биоквантовые снимки нейронных структур головного мозга. Это позволяет в случае потери памяти восстанавливать ее почти в полном объеме, как это делается сейчас по просьбе любого человека. Если ты хочешь вспомнить что-то, забытое тобой за эти одиннадцать лет,— обратись в Мамбгр, ведь именно там мы провели последние годы перед твоим отлетом...

— Я ничего не забыл,— начал я.— Помнишь, мы...

Она подняла ладонь, останавливая меня.

— Сейчас речь не о том. Так вот. Мы отобрали нескольких наиболее видных ученых и с их разрешения создали электронные копии их головного мозга.

— Нетрудно догадаться,— сказал я раздраженно,— что из этого вышло. В одном случае вы получили робота-космогеодезиста со склонностью к энтомологии и классическому стихосложению, но абсолютно несведущего во всех других вопросах; в другом — палеоботаника, слегка знакомого со структурным анализом и теорией биоквантов, и опять же не смыслящего ничего в космонавтике, и так далее. Не понимаю, зачем старику Эрберу далась такая несовершенная вещь, как человеческий мозг.

— Я не буду приводить тебе сейчас доказательств преимущества человеческого мозга перед любой машиной. Все-таки и по сей день он остается непревзойденным творением Природы. Но ты прав — машина, уходящая в подпространство, должна была нести в себе более совершенный управляющий центр, чем слепо скопированный человеческий мозг. И тогда Элефантус предложил идею фасеточного квазимозга с наложенными нейро-биоквантовыми структурами.

— По-моему убогому разумению, если вы хотели получить робота, совместившего в себе гениальность всех великих мира сего, то такое устройство вы должны были бы программировать до сих пор.

— Да,— возразила Сана,— так было бы, если бы мы сами этим занимались. Но мы перевели машину на самопрограммирование. И здесь мы допустили ошибку. Чем больше узнавала машина, тем яснее она «себе представляла», как недостаточны могут оказаться ее знания. Она стала ненасытной.

— Пошла в разгон.

— Вот именно. Спасло положение лишь то, что самопрограммирование шло с непредставимой быстротой, к тому же машине были обеспечены «зеленые каналы» для любых связей.

— Вам пришлось снять питание?

— Нет, мы решили предоставить ей дойти до естественного конца, то есть перебрать всех людей, живущих на Земле.

— Ух, ты! — вырвалось у меня.— Ведь это же многие миллиарды схем!

— Ну, а что — миллиарды и даже десятки миллиардов для современной машины? Даже если учесть, что каждая схема сама по себе...

— Я не о том,— я переставал злиться, так было здорово все то, о чем она сейчас мне рассказывала. В конце концов, разве не естественно, что женщина немного хвастает своими достижениями? Тем более, что я просидел эти годы сиднем, как Иванушка-дурачок, до совершения положенных ему подвигов.— Я о том, что сделать машину умной, как все человечество сразу — это действительно «Ух, ты!». И ты — умница. И вообще — иди сюда.

Она не шевельнулась — словно я ей ничего не говорил.

— Целью всего эксперимента, как тебе это известно, была посылка корабля на одну из ближайших звезд.— Сана легонько вздохнула, и по тому, как она переступила с ноги на ногу, как стала смотреть чуть выше меня, я понял, что говорить она собирается еще очень долго.— «Оператор» должен был совершить переход в подпространство, с тем, чтобы при обратном переходе выйти в пространство в непосредственной близости от Тау Кита.Программа исследований,поставленная перед роботом-пилотом, была чрезвычайно обширна: обзор всей планетной системы, выбор планеты с оптимальными условиями для развития на ней жизни, приближение к этой планете на планетарных двигателях, и дальше — наблюдения по усмотрению самого робота-пилота. Здесь-то в наибольшей степени был необходим аналог человеческого мозга. Если на планете находились существа, хотя бы способные передвигаться,— основное внимание должно было быть сосредоточено на них. Разумны ли они — это мог решить только человеческий мозг, но не машина. При задаче — собрать максимум информации о гипотетических «таукитянах», роботу-пилоту строжайше запрещалось вступать с ними в контакт. Даже при наличии высокой цивилизации. Затем «Оператор» должен был вернуться на Землю.

Сана сделала паузу. Черт побери, это была очень эффектная пауза. И надо же было так измываться над человеком!

— «Оператор» был выведен на орбиту Инка-восемнадцатого, самого отдаленного искусственного спутника Сатурна. Оттуда был произведен запуск, и туда же он и вернулся точно спустя пятьдесят дней. Вот тогда-то, в момент возвращения «Оператора», и возник конус загадочного излучения, не затронувшего ни Инка, ни каких-либо других спутников, ни самого Сатурна. Под излучение попал только буй, на котором находился ты.

— Мы,— сказал я,— нас там было пятеро.

Сана глянула на меня и даже не поправилась. Так, словно кроме меня для нее во вселенной никого не существовало. Но тогда зачем она мне все это рассказывала?..

— «Оператор» вернулся в Солнечную, неся на борту информацию о первой звезде, до которой, наконец, смог долететь корабль, созданный руками человека,— слова звучали отчетливо и мерно, как шаги. Шаги, когда кто-то уходит.

Вот я улетел с Земли, и она осталась на ней, чтобы ждать. И ждала. Я вернулся, хотя и несколько позже, чем предполагал, но все-таки вернулся, и нашел ее на Земле, нашел такой же, как и оставил. Такой же?

И я увидел Сану прежней. Раньше мне это никак не удавалось. Я не мог ее вспомнить, потому что слишком хорошо знал, слишком часто видел. Если запоминаешь с одного взгляда — в памяти остается некоторый статичный образ, конкретный и отчетливый, остается вместе с местом, временем, звуками и запахами. А вот когда видишь человека сотни раз, воспоминания накладываются одно на другое, колеблются, расплываются и меркнут, не в силах создать законченного изображения. Там, на буе, у меня случайно оказался под руками простейший биоквантовый проектор, и я просиживал перед ним часами, воссоздавая образ Саны. Изображение не хотело становиться объемным, оно было плоским и тусклым, а когда я старался заставить себя припомнить какую-то отдельную черту, все лицо вдруг становилось чужим, не Саниным. Тогда я начинал тренировку: шар, куб, кристаллы различной формы, маргаритка, сосновая ветка, ящерица, моя собственная рука — лицо Саны... и все шло насмарку.

Передо мной появлялась бесформенная тень с ослепительно яркими, словно составленными из кусочков зеркала, глазами и алой полоской нечеткого рта. Волосы, светлые и тяжелые, лились, как вода — я отчетливо видел их непрестанное течение книзу. Я заставлял себя сосредоточиться — возникал овал лица и пропадали губы. Очерчивались брови — исчезали волосы. Не меркли только удивительные, нечеловеческие глаза, придуманные мною с такой силой, что настоящие, Санины, не вспомнились мне ни разу.

А теперь я вспомнил ее всю. И не такую, какой она была в день моего отлета — в этот день началась чужая, сегодняшняя Сана,— а смущенную, неуверенную, еще совсем не знакомую мне, но уже ожидающую меня. Я пытался обмануть себя, я пытался уверить себя, что и сейчас она неизменна, как древнее божество, и мне это удавалось, пока вдруг не появилась эта неумолимо прежняя Сана. Юная Сана.

Я не слышал, как праздновали на Земле чудесное возвращение «Оператора». Для меня осталось лишь горестное чудо исчезновения, растворения во времени того, что я называл в Сане «мое».

В извинение я стал смотреть на Сану широко раскрытыми глазами, и она, бедняга, радовалась, что меня так заинтересовал этот проклятый «Оператор». Голос ее стал мягче и человечнее, и она все еще наклоняла голову чуть-чуть к правому плечу, что у нее всегда означало: я сказала, а ты должен был понять, и я буду огорчена, если ты меня не понял.

— Я все понял,— сказал я и протянул к ней руку.— Ну, довольно же, Сана.

— Но я еще не кончила,— спокойно возразила она, и четкие, весомые фразы снова неумолимо последовали одна за другой.— Собственно говоря, мне остается только сообщить тебе, что содержали нити микрозаписей информирующего блока. Этот блок состоял из пятисот рамок, причем каждая рамка имела нить емкостью в сто миллиардов знаков. Все они подверглись дешифровке и дали совершенно конкретную информацию.

Я сделал вид, что меня чрезвычайно интересует то, что последует дальше.

— А дальше,— сказала Сана,— дальше всю Солнечную облетела весть: планета, выбранная «Оператором» для наблюдений, аналогична

Земле, пригодна для жизни разумных существ, эти существа есть на ней, и они достигли высокой степени цивилизации.

— Бурное ликование во всей Солнечной,— вставил я.

— Все так ждали расшифровки данных с далекой звезды, что комитету «Оператора» приходилось выпускать информационные бюллетени чуть ли не каждые два часа. Вряд ли ты можешь представить нашу радость, когда стало очевидно, что первая же попытка отыскать себе братьев по разуму увенчалась таким успехом — «таукитяне», как и мы, дышали кислородом, имели четыре конечности, среднюю массу и размеры, черты лица, объем головного мозга, развитую речь — словом, все, все, как у людей.

Я снова хотел подать реплику, как вдруг заметил, что о таком феноменальном открытии мне почему-то рассказывают грустным тоном.

— Более того,— заключила Сана,— машина не только установила тождество среднего жителя Земли и среднего «таукитянина»,— она с автоматической педантичностью, используя имеющиеся у нее параметры каждого земного индивидуума, подобрала для каждого человека аналогичного «таукитянина», похожего на него, как две капли воды.

Я оторопел:

— Антимир?

Сана невесело усмехнулась:

— Проще, гораздо проще. Подозрения зародились у нас еще тогда, когда «Оператор» заявил об абсолютном тождестве планет. Но коль скоро по программе при наличии в системе Тау Кита разумных существ все внимание должно быть перенесено на них, машина не задерживалась на физическом описании самой планеты, а принялась скрупулезно доказывать в каждом частном случае, что некоему Адамсу Ару, род. Мельбурн, 2731 г., аналогичен таукитянский Адамс Ар, род. Мельбурн, 2731—2875 гг.; Мио Киара, род. Вышний Волочок, 2715 г., имеет космического двойника с земным именем Мио Киара и тоже род. Вышний Волочок, 2715—2862 гг. И так далее, для каждого из людей, которые в момент отлета «Оператора» жили на Земле.

— Так она никуда не улетала с Земли! — Ох ты, как же это они просчитались, ведь это действительно было бы чудо, и до этого чуда было рукой подать, ох, как обидно...— Так повторите, черт побери, эксперимент! Что, энергия? Соберем! Фасеточный мозг? Ерунда! Должен лететь человек — вопрос только в том, чтобы найти такое состояние человеческого организма, в котором он сможет перенести переход Эрбера...

— «Оператор» улетел,— оборвала меня Сана,— улетел и вернулся.

— Откуда? Ты же сама говорила, что он не ушел дальше Земли.

— Совершенно верно. Он совершил переход в подпространство, и координаты его обратного выхода были смещены; но не в пространстве — во времени.

Я уже ничего не говорил. Я чувствовал себя, как новорожденный младенец времен примитивной медицины, которого попеременно суют то под холодный, то под горячий душ: запуск «Оператора» — переходы Эрбера — «таукитяне» совсем как мы — ура! — бултых в холодную воду — никаких «таукитян» — машина торчала на Земле — переход Эрбера не состоялся — минуточку! — все было, и даже не в пространстве, а во времени... а куда, собственно говоря, во времени?

— Действительно,— спросил я,— а куда?..

— Вперед. Вперед примерно на сто семьдесят лет.

Ишь ты — ровно на сто семьдесят. К этому так и тянуло придраться, и я ринулся:

— Если бы ваш драгоценный «Оператор» догадался прихватить из

будущего хотя бы средние годовые земных температур...

И осекся.

Сана смотрела на меня широко раскрытыми глазами, такими глазами, каких у нее никогда не бывало и какие только я мог придумать. Смотрела так, что я понял: все эти сюрпризы фасеточного мозга — это еще ничто. А вот сейчас она скажет что-то страшное.

— «Оператор» скользил во времени. И летел он именно вперед, потому что каждому человеку, параметры которого он имел, он подобрал гипотетического «таукитянина»; и сведения об этих «таукитянах» на одну дату отличались от данных, которыми могли располагать люди.

— Что-то не заметил,— сказал я не очень уверенно.

— И мы сначала не обратили на это внимания — слишком уж это было невероятно. Так вот: для каждого «таукитянина», то есть для каждого человека, «Оператор» принес, кроме даты рождения, и год... смерти.

Я замотал головой:

— Машинный бред... Массовый гипноз... Шуточки фасеточного мозга...— я не мог, не хотел понять того, что она мне говорила.

Но Сана не возражала мне, а лишь продолжала смотреть на меня своими холодными, лучистыми, словно составленными из осколков зеркала, глазами.

Мне нечего было сказать — я твердо решил, что все равно не поверю ей; и мне оставалось только смотреть на нее, и я стал думать, что она опять не такая, как днем, и не такая, как час назад, и что если когда-нибудь людям являлись с того света прекрасные девы, чтобы возвестить смерть,— они были именно такими. Только немного помоложе. Они говорили: «Ты умрешь» — и человек верил им и умирал. Им нельзя верить. А поверить так и тянет, потому что их явление — это чудо, а у кого не появится неудержимого стремления поверить в чудо? Нет, Сана — это чудо, в которое верить нельзя. Если я поверю — я оцепенею от страха, потому что жить, зная, что завтра ты умрешь, невозможно. Это не будет жизнь. Это будет страх.

— Черт с ним, с «Оператором»,— сказал я как можно естественнее.— Поздно. Иди сюда.

Сана поняла, что я заставил себя не поверить всему тому, что слышал. Она опустила руки и посмотрела куда-то выше и дальше меня.

— Завтра наступит новый год. *Мой год.*

И тогда я поверил.

ГЛАВА III

Я проснулся оттого, что луна взошла и светила мне прямо в лицо. Я проснулся и не открывал глаз, а рассматривал короткие прямые полосы, которые с медлительной неумолимостью проплывали слева направо в глубине моих закрытых век. Эти полосы сначала были серебристыми, не очень тяжелыми; но мало-помалу они начали приобретать тягостную матовую огненность плавящегося металла. Вдруг они сорвались с места и понеслись, замелькали, словно пугаясь моего пристального разглядывания... Я не выдержал и открыл глаза — это был просто лунный свет, но мне вдруг вспомнилось какое-то нелепое выражение, которое я вычитал в одной старинной книге еще там, на буе, но никак не мог понять, что это значит: «кинжальный огонь». Я попробовал повторить это выражение несколько раз подряд, но от этого смысл еще дальше ушел от меня, растворился в созвучии, пронзительном и жужжащем... Я понимал, что дело не в этом неугаданном смысле двух глупых слов, а что случилось

что-то непоправимое, жуткое до неправдоподобья... И словно призрачное спасенье подымались из черного елового своего подножья снежные горы. Я вспомнил, что хотел уйти туда, и резко поднялся. И только тогда понял, что я не один.

Я даже не удивился тому, что забыл про нее. Я удивился тому, что она спала. А спала она так спокойно, на правом боку, подложив руку под щеку. Если бы я знал то, что знает она, и вдобавок был бы женщиной, я бы делал, что угодно, но только не спал. Я наклонился над Саной. Но я забыл, что спящих людей нельзя пристально разглядывать. Я давно не смотрел на спящих людей. Брови ее дрогнули, и она начала просыпаться так же медленно и тяжело, как и я сам. Тогда я испугался, что вот сейчас она проснется окончательно и сразу вспомнит *это*... Я наклонился еще ниже и стал ждать, когда она откроет глаза. Она их открыла, и я стал целовать ее, не давая ей ни думать, ни говорить. Она тихонечко оттолкнула меня, но затем сразу же притянула обратно и заставила меня опустить голову на подушку. Потом положила мне руку на глаза и держала так, пока не почувствовала, что я опустил веки. Она хотела, чтобы я заснул, и я послушно притворился спящим. Тогда и она снова улеглась на бок, аккуратно подложив руку под щеку, и я услышал, что дыхание ее сразу же стало тихим и ровным. Она спала. Все было правильно — она спала, я был рядом и сторожил ее.

Я проснулся на рассвете, проснулся легко и быстро, проснулся спокойным и уверенным, потому что я знал теперь, что мне делать. Я должен повседневно, поминутно отдавать себя Сане. Как это сделать, это уже было все равно. Так, как она сама этого захочет. Сейчас, пока она еще спит, нужно собраться с мыслями и продумать, как прожить этот день, первый день *этого* года. И даже если их осталось совсем немного, этих дней, каждый из них должен быть по-своему мудр и прекрасен. Я невольно оглянулся на Сану — она смотрела на меня с кажущейся внимательностью, а на самом деле — куда-то сквозь меня, с той долей пристальности и рассеянности, которая появляется, если смотришь на что-нибудь долго-долго. Значит, проснулась она давно.

— С добрым утром,— сказал я.— Почему ты не позвала меня сразу же, как проснулась?

— С добрым утром,— ответила она так же спокойно, как говорила вчера вечером.— Сначала ты спал, а шесть часов сна тебе необходимы. Потом ты думал — я не могла тебя отвлечь, потому что ты сейчас будешь много думать, а тратить на это дневные часы нерационально. Тебе нужно работать. Учиться работать. Учиться работать быстро. Не забудь, что к тому ритму жизни, который, несомненно, поразил тебя, мы пришли за одиннадцать лет. У тебя будет меньше времени, но я помогу тебе.

Я поперхнулся, потому что чуть было не сказал ей: «Валяй!»

Она оперлась на локоть и на какое-то мгновенье замерла, как человек, делающий над собой усилие, чтобы встать. И я вдруг понял, что все ее спокойствие, все эти правильные, сухие фразы, все это здравомыслие — лишь слабая защита от моей жалости. Внутри меня что-то неловко, больно перевернулось.

— Лежи,— сказал я ей как можно более холодным тоном, чтобы не оцарапать ее своей непрошенной заботливостью.— Я приготовлю завтрак.

Мне хотелось все делать для нее самому, своими руками. И еще мне хотелось спрашивать, спрашивать, спрашивать — я никак не мог понять главного: кто же допустил, что эти сведенья стали известны людям? Я до-

гадывался, что делается с Саной, и у меня голова шла кругом, когда я представлял себе, что еще сотни, тысячи людей вот так же, цепенея от самого последнего человеческого страха, просыпаются в этот первый день нового года — их года.

Я не мог понять — зачем это сделали, зачем не уничтожили проклятый корабль вместе со всей массой этих ненужных и таких мучительных сведений — но я боялся, что сделаю ей больно, напоминая о вчерашнем. Я наклонился над ней, словно желая укрыть, уберечь ее от какой-нибудь нечаянной боли, и молчал, и она улыбнулась мне прежней, юной улыбкой и принялась зачесывать кверху свои тяжелые волосы. Она подняла их высоко над головой, быстрым привычным движением намотала себе на руку и стала закалывать узкими пряжками из темно-синего металла. Я забыл обо всем на свете и сидел и смотрел, как она это делает, а когда она снова глянула на меня, я только слегка пожал плечами, словно прося извинить мое любопытство. Я так много думал о Сане, я тысячи раз представлял себе, как она идет и как наклоняет голову чуть-чуть вправо, и как она одевается, и много всего еще; но я никогда не мог представить себе, как она причесывается, просто потому, что раньше она никогда этого при мне не делала. Я вообще не помнил о том, что женщины причесываются. Поэтому я и удивлялся ее движениям, чуточку механическим, бездумным и в то же время бесконечно древним, я бы сказал даже — ритуальным, как слегка угловатые, заученные позы индийских девочек-жриц на старинных миниатюрах.

— Бой! — позвала Сана.

Педель вкатился, как ясное солнышко, бросая золотистые блики на белый пол. Сана натянула одеяло до самого подбородка.

— Доброе утро,— сказала она Педелю.— Мой завтрак и то, что закажет Рамон.

— Привет, золотко мое,— меня насмешило то, что Сана относилась к нему, как к настоящему мужчине.— Мне то же самое, плюс кусок мяса побольше, на твой вкус.

— Вкуса мяса не знаю.

— Почитай гастрономический альманах и еще что-нибудь из древних, хотя бы о пирах Лукулла. Уж если тебя приставили мне в няньки, то курс чревоугодничества тебе необходим.

— Благодарю. Запомнил.

Педель, не оборачиваясь, укатился куда-то боком. Брови у Саны отмечали низкую степень раздражения. Тоже мне шкала настроений! И надо было звать этого членисторукого, когда я собирался все сделать сам. Педель вдруг показался мне огромным золотистым крабом. Живет рядом этакое безобидное на вид чудовище, кротко выносит грубости, подает кофе, рассчитывает схемы, а потом, вопреки всем законам робототехники, в один прекрасный день раскроет свои железные клешни и...

— Сана, пошли ты его подальше. Я хочу все делать для тебя сам. Кормить. Одевать. Причесывать. На руках носить. Хочешь ко мне на руки?..

— Ты потерял бы слишком много времени. Завтрак доставляется из центрального поселка, а он расположен отсюда за семь километров.

— Все вы теперь фанатики времени. Почище Патери Пата.

— Проглотив почти что наспех все, что подал нам шестирукий стюард, мы поднялись и посмотрели друг на друга.

— Ты должен...— начала Сана.

Да. Я был должен. Я всем был должен. В первую очередь — ей. И единственное, что я еще хотел — это платить мой долг той монетой, ко-

торую я сам выберу. Больше я ничего не смел хотеть...

— ...а теперь наша группа — наша, потому что ты включен в нее в качестве механика по киберустройствам,— вплотную подошла к созданию сигма-кида, то есть кибердиагностика, который определял бы степень поражения организма сигма-лучами, возникающими в момент совершения каким-либо материальным телом обратного перехода Эрбера. Кид — пока это будет, разумеется, стационарная установка — должен разработать также систему предупреждения на случай непредвиденного сигма-удара, а также предложить методику лечения, хотя этим вопросом параллельно занимаются Элефантус и Патери Пат.

Все это было очень мило, особенно если учесть, что ни один прибор не зафиксировал этих загадочных лучей, и судить о них можно было только по вторичным эффектам. Но меня сейчас мало интересовали технические трудности. Я не мог понять: кому нужно повторение этого эксперимента? Насколько я понял Сану, «Оператор» принес данные только о тех людях, которые в момент его отлета жили на Земле. Значит, следующее поколение избавлено от этих даров свихнувшейся машины. Так зачем же повторять все снова?

Надо было найти Элефантуса — с Саной я говорить обо всем этом не мог, улететь от нее, чтобы самому во всем разобраться,— и подавно...

— ...и составь список книг, лент и нитей записи, которые могут тебе понадобиться. Егерхауэн не располагает обширной библиотекой. Если тебе что-нибудь понадобится — позови меня, не трать времени на самостоятельные поиски.

— Может быть, мы все-таки будем работать вместе?

— Когда появится острая необходимость в этом. Но приучайся к тому, что меня не будет с тобой.

Как будто я привык быть с нею!

Так как у меня не было под рукой каталога, мне пришлось задавать круг интересующих меня вопросов. Я старался как можно четче ограничить каждую тему, чтобы список требуемых пособий не получился непомерно велик. Не дай бог, попадется чересчур усердный «гном», который будет выполнять мой заказ, и решит осветить каждый вопрос чуть не от Адама. Тогда весь мой год — наш год — уйдет на одно ознакомление с литературой. Я порядком устал и начал отвлекаться. Мне то и дело приходилось отключать мой биодиктофон, чтобы он не зафиксировал не относящихся к делу мыслей. Нет, так я далеко не уеду. Может быть, обратиться в коллегию Сна и Отдыха и попросить разрешения на год без сна? Но такое разрешение давалось лишь в крайних случаях — все-таки слишком вредны были еще препараты, поддерживающие человека в состоянии постоянного бодрствования. Потом все это сказывалось. Мне-то на это было наплевать, но я не знал, как посмотрит коллегия на мое желание провести этот год с человеком, который имел право на всего меня, всего, целиком, до последней моей минуты. Ведь, наверно, таких частных случаев было немало. Я не мог ни о чем судить, потому что на Земле за время моего отсутствия произошла слишком резкая переоценка всех вещей и понятий. Если перед моим отъездом все измерялось энергией, то теперь мерой всему были годы и минуты. Так, наверно, было с теми космонавтами, которые в далекие времена покинули на Земле царство денег, а вернулись в мир, где стоимость каждой вещи уже определялась одной только затраченной энергией. С течением времени энергия начала обесцениваться, и к моему отлету лишь в таких случаях, как запуск «Оператора», поднимались разговоры о дороговизне того или иного эксперимента. С освобождением внутриэлектронной энергии, да еще и при

умении ее конденсировать, эта мера стоимости изжила себя. И вот в мое отсутствие на Земле появилось новое мерило, самое постоянное и нерушимое — время. Если когда-то на золото покупались вещи, труд, энергия, то теперь время могло оценить решительно все. Даже чувства. И это была самая надежная монета, но на нее ничего нельзя было купить — ведь я готов был платить всем своим временем за мою Сану, и — не мог. Это осталось единственной сказкой, не воплощенной человеком в действительность. Так на кой черт мне были все эти ковры-самолеты и скатерти-самобранки?

— Сана! — крикнул я.— В котором часу мы обедаем?

Сана появилась на пороге. На лбу ее синела миалевая лента биодиктофона.

— Да?

— Не пора ли обедать?

— Еще двадцать минут. Не стоит делать исключения для первого дня. Пусть все будет так, как здесь заведено.

— Кем? Элефантусом?

— Да.

Значит, Патери Патом.

Между тем за дверью послышался звон посуды — наверное, Педель уже накрывал на стол. Я вдруг представил себе, как мы будем сидеть друг против друга за белоснежным столом в этой огромной, залитой ледяным светом, комнате...

— Могу я видеть доктора Элиа?

— Разумеется. Тебе что-нибудь неясно?

— Да нет, но разве мы не могли бы обедать вместе, как и прежде?

— Я думала, у тебя сохранилась антипатия к Патери Пату.

— Ерунда. Он мне аппетита не портит. А разве Элефантус не прогнал его?

— Патери Пат — светлая голова. Доктор Элиа очень дорожит им.

Я пожал плечами.

— Ужинать мы будем вместе.— Сана исчезла.

Ох, уж эти мне отношения, когда тебе десять раз на дню подчеркивают, что исполняют малейшее твое желание, а на самом деле навязывают все, до последней паршивой книжонки, до мельчайшего сервис-аппарата для подбирания окурков. Даже моего Педеля изуродовали якобы мне в угоду. Я оглядел комнату. Белое с золотом. Да еще какая стилизация! — под благородный древний ампир. Который раз уже к этому возвращаются? Шестой или седьмой. Бездарь какая! Своих мыслей не хватает. И мою железную скотинку отделали под старинную бронзу, как... Как что? Я где-то совсем недавно видел этот темный тяжелый цвет. И не мог припомнить, где именно.

Между тем дверь распахнулась, и Педель, как обычно, легкий на помине, вкатил овальный обеденный столик, уставленный прозрачными коробками с едой. Он ловко вскрывал их и выкладывал содержимое на тарелки.

— Консервы? — спросил я.

Я так привык к консервам, что трудно было бы сказать, что они мне надоели.

Сана вышла в белом обеденном платье.

— Нет,— сказала она, усаживаясь.— Все свежее. Готовится в центральном поселке каждую неделю. Кстати, составь себе меню на ближайшие десять дней.

— Возьми это на себя, если тебе не трудно.

Она наклонила голову. Кажется, я доставил ей удовольствие.

— И потом, знаешь, лунный свет мне положительно мешает спать. Сотвори какое-нибудь чудо, чтобы луна исчезла.

Она посмотрела на меня почти с благодарностью.

— Я распоряжусь, чтобы на ночь потолок затемнялся. Тебя это устроит?

— Я не требую аннигиляции всей лунной массы. Для меня достаточно и локального чуда.

Ага, вот и «сезам, откройся». Теперь все будет просто.

Вторую половину дня я занимался с Педелем. Изредка мной овладевало беспокойство, я подходил к двери и поглядывал, что делает Сана. До самой темноты она просидела в глубоком кресле, не снимая со лба миалевой полоски и не отнимая руки от контактной клавиши биодиктофона. Но панелька прибора была мне не видна, и я не знал, диктует она или просто так сидит, предаваясь своим мыслям. Почему-то я был склонен предположить второе.

В конце концов я тоже уселся в кресло, попросил Педеля оставить меня в покое и надвинул на лоб миалевый контур. Вид у меня был достаточно глубокомысленный — на тот случай, если бы Сана неожиданно появилась в комнате — так что я мог спокойно отдаться безделью. В углу бесшумно возился Педель — у него, видимо, появились какие-то соображения по поводу имитирующей схемы нашей будущей машины, и он придавал ей наиболее компактный вид. Я все смотрел на него и вспоминал, в честь чего же он окрашен в этот темный, до коричневого оттенка, бронзовый цвет. И еще мне хотелось есть.

— Педель,— сказал я,— принеси мне что-нибудь пожевать, если осталось от обеда.

— Слушаюсь. Пожевать. Сейчас принесу.

Кто знает, в котором часу мы будем теперь ужинать, а я как-то привык все время что-нибудь жевать. Собственно говоря, это было единственным разнообразием, доступным мне там, на буе. Если не считать книг, разумеется. Но книги — это что-то вроде платонической любви; как ни пытайся разнообразить их список, все равно при длительном чтении остается впечатление, что занимаешься чем-то одним и тем же, приятным, но нереальным. Другое дело — еда. Это — удовлетворяемая страсть. Я намеренно держал себя дня три-четыре на молочной или фруктовой диете, а потом устраивал пиршество с полусырым мясом, вымоченным в уксусе и вине. Ликарбовые орехи в сочетании с консервированными раками тоже оставили у меня неизгладимое впечатление. Почему, собственно говоря, я торчу здесь? Мне надо было отправиться прямо на Венеру и стать директором-контролером на какой-нибудь фруктоперерабатывающей станции или, если так уж необходимо было сохранить свою профессию, ремонтировал бы роботы для сбора орехов или ловли летучих тунчиков. А говорят, что есть еще на Венере кретины, которые пасут гусей. Это те, которые абсолютно неизлечимы от рождения. Вот благодать! Голубоватые луга; тонкие-тонкие, словно ледяные чешуйки, маленькие пруды под раскидистыми талами, и можно взять гибкую хворостинку и вообразить себя кудрявым голопузым мальчиком, пасущим античных гусей, трясущих жирными гузками в честь прекрасной богини. И даже если без антики и без прекрасных богинь, то самый захудалый гусенок мне сейчас был бы во сто крат милее всех многоруких и великомудрых киберов, исключая Педеля, пожалуй.

— Послушай,— спросил я,— что ты мне подсунул?

— Колбаса органическая, естественная, подвергнута прессовке под

давлением в шесть атмосфер при температуре минус восемьдесят градусов по Цельсию.

— Зачем?

— По предварительным подсчетам, можете жевать от полутора до трех часов.

— Ах, ты, золотко мое! — я с восхищением уставился на него. Как мне не хватало его там, на буе! Не только его рук и головы, а вот этой заботливости, неуклюжей, но теплой,— сердца, что ли? Почему ни один из тех «гномов», которых я создал и запрограммировал сам, не был похож на Педеля? Впрочем, ответ напрашивался сам собой: именно потому, что я делал их сам и для себя. А Педеля программировали для меня другие люди. Сана. Это ее теплота, ее заботливость жила в металлической коробке многорукой машины. Вот так. О чем ни подумаю — круг замыкался и все возвращался к тому же — к Моей Сане.

Я встряхнулся, как утенок, и виновато огляделся. Нет. Даже если бы Сана и следила за мной, она была бы в уверенности, что я решаю одну из проблем кибердиагностики. А между тем я напоминаю школьника, прячущего под учебником веселую приключенческую книжонку. А сама Сана? Она ведь тоже не работает. Мне вдруг захотелось поймать ее врасплох. На цыпочках я прошел в ее кабинет и наклонился над ней. Ну да, прибор был отключен, и она не сделала никакого движения, чтобы привести его в рабочее состояние.

— Ага,— сказал я, садясь на ручку ее кресла.— Возрождение эксплуатации. Один работает, а другой погоняет.

Она посмотрела на меня с тем невозмутимым видом, которым так хорошо прикрывать свою беспомощность.

— Я редко пользуюсь биодиктофоном. То есть, я хочу сказать, что не включаю его, пока не добиваюсь четкой формулировки целого законченного отрывка. Только тогда диктую. Я знаю, ты полагаешься на стилистику автоматов, но у тебя еще много времени впереди, и те из своих заметок, что ты собираешься сохранить на будущее, ты всегда успеешь откорректировать.

Вот, получил. Не подглядывай, не лови. Уж если она делает вид, что работает, то, стало быть, так и надо принимать. Ведь только утром решил отказаться от всех этих мальчишеских штучек!

— Я не против того, чтобы ты сидела у этого ящика,— я спасал положение.— Тем более, что эта голубая полоска тебе очень к лицу. Что-то похожее, кажется, носили весталки. Только не из такого современного материала, а из белого льна.

Сана слегка подняла брови — значит, снова я говорил не то, ох, до какой же степени совсем не то!

— Должна тебе заметить, что обратную связь на нашей машине ты проектируешь напрасно. Она утяжелит конструкцию, но не принесет видимой пользы. Конечно, это лишь мое мнение, и ты можешь не соглашаться с ним.

Я пристально посмотрел на нее. Мне отчетливо послышалось за этой фразой, «ведь скоро ты не будешь связан моими вкусами и капризами»...

И я не мог понять, от кого исходил этот подтекст — от ее грустных вечерних глаз или от меня самого? Черт побери, должен же я забыть, заставить себя забыть об *этом*; если мне это не удастся — она рано или поздно прочтет мои мысли. А это очень невеселые мысли — когда постоянно думаешь о том, что вот теряешь бесконечно дорогого, единственно дорогого человека — и ничего не можешь сделать. И снова думаешь и думаешь все об одном, и думаешь так много, что уже появляется ощущение, что ты что-то делаешь.

Сана положила два пальца на широкую клавишу ультракороткого фона. Несколько секунд просидела так, потом выключила прибор и сняла фоноклипсы.

— Нас ждут.

К моему удивлению, в мобиле оказался Педель.

— Это что — выездной лакей, или в его программу входит теперь поглощение ужинов?

Сана смутилась. Видно было, что она не может так просто говорить о Педеле в его присутствии.

— Отдохнул бы ты, милый,— сказал я ему и отключил тумблер звуковых и зрительных центров. Педель, словно огромный краб, застыл в кормовой части мобиля, только руки его слегка вздрагивали, легко касаясь стен. Вид у него был недовольный и обиженный.

— Ну, так что же? — спросил я.

— Я думала, что тебе будет приятно, если он будет нас сопровождать.

— К чертям сопровождающих,— сказал я.— Хочу быть с тобой. Только с тобой одной. К чертям всех третьих.

Она улыбнулась — благодарно и застенчиво:

— Мне просто показалось, что ты любишь его.

Я вытаращил глаза. Этого недоставало! Добро бы меня заподозрили в симпатии к породистой собаке — но к роботу... Впрочем, я всегда недолюбливал людей, которые к своим животным относились как к равным; от них, как правило, за версту несло мещанством. Но относиться к Педелю, как к человеку, это было уже не просто мещанство, а ограниченность, недопустимая даже в шутку. Я еще раз пожал плечами и вернул Педелю утраченную было полноту восприятия.

Ужинали мы уже при люминаторах, и в маленькой гостиной Элефантуса было теплей и уютней, чем в нашем еще не обжитом и слишком светлом доме.

Я отведал вина, которое пил Элефантус,— оно оказалось чересчур сладким. Патери Пат не пил — да я и не видел никогда, чтобы он это делал. Сначала поговорили о погоде — в горах ожидалась основательная буря. Элефантуса и Патери Пата это беспокоило так, словно их домики не были прикрыты одеялом из теплого воздуха десятиметровой толщины. Потом как-то нехотя разговор перешел на работу. Сана оживилась. Говорить было о чем, потому что пока у нас еще ничего не получалось. Патери Пат только что проанатомировал одну из обезьян, прибывших со мной. Он подозревал у нее возбужденное состояние биоквантовых сердечно-мозговых связей, и теперь не мог себе простить, что не исследовал ее в состоянии квазианабиоза, а сразу поторопился вскрыть — это была первая обезьяна, погибшая после нашего прилета. Она уцепилась за грузовой мобиль и упала с высоты примерно трехсот метров. Я выразил свои соболезнования Патери Пату и уловил на себе его задумчивый взгляд — вероятно, он обдумывал, какие манипуляции проделать с моим телом, когда оно попадет к нему в руки. Я злорадно усмехнулся, потому что не сомневался в том, что намного переживу его — он был настолько осторожен, что рано или поздно это должно было плохо кончиться.

Потом мы поднялись и пошли в сад; Сана вышла с Патери Патом, с которым у нее был какой-то давнишний, сугубо принципиальный и, в силу своей принципиальности, бесконечный спор.

Я подождал, пока они отойдут подальше, и быстро направился к Эле-

фантусу. Он смотрел, как я подхожу, и длинные ресницы его вздрагивали при каждом моем шаге.

— Вам очень тяжело? — спросил он меня, словно в его силах было сделать так, чтобы мне стало легче.

— Нет. Не то. Я просто не могу понять: зачем это сделали?

Элефантус был уже в рабочем халате. Он засунул руки в карманы и мелкими шажками двинулся по дорожке, глядя себе под ноги. Уже стемнело, и мне казалось, что он старательно перешагивает через тени.

— Видите ли, Рамон, мы получили информацию. Информацию настолько важную, что отказаться от нее, априорно заявить о ее ненужности мы не имели права. Разумеется, были ученые, которые предлагали законсервировать данные, принесенные «Оператором». Но человечество рано или поздно повторило бы этот эксперимент, поставив перед собой все тот же вопрос: нужно ли людям такое знание?

— Может быть, вы и правы,— сказал я, хотя он меня далеко еще не убедил.— Только люди, сами люди могут решить этот вопрос. Никакая машина сделать этого не смогла бы. И все-таки я думаю, что сама постановка этого вопроса была негуманна.

Элефантус сделал какое-то неуверенное движение головой — не то кивнул, не то покачал.

— Но если не сейчас, то через несколько десятилетий проблема была бы поставлена снова. Есть такие вопросы, которые, если они однажды были заданы, должны быть решены. Рано или поздно, но кто-то другой взялся бы за решение и мы оказались бы перед этими другими просто трусами.

Я слушал его и думал, что на самом деле это было совсем не так, и скупые, официальные фразы: «мы получили информацию», «мы взялись за решение этой проблемы» — все это лишь воспоминания, а вспоминаешь всегда немножечко не так, как было на самом деле, а так, как хотелось бы сейчас; а на самом деле был неуемный, животный страх перед собственным исчезновением, и не было никаких «мы», а только бесконечное множество отдельных «я», и каждый в одиночку побеждал этот страх; и мне все-таки хотелось знать, как же это было на самом-самом деле, и я спросил его:

— Но ведь это все-таки ужасно — узнать *свой год*...

Элефантус вдруг остановился, глянул на меня чуть-чуть снизу своими усталыми глазами старой мудрой птицы:

— Нет,— сказал он тихо,— это не страшно — узнать *свой* год. Это совсем не страшно.

Он опустил голову, слегка пожал плечами, словно не должен был мне это говорить, и теперь просил у меня прощенья.

И я тоже наклонил голову, и это было не простое согласие с его мыслями, а дань уважения тому большому и светлому — страху за другого, который он нес в себе и, может быть, впервые приоткрыл совсем чужому человеку.

Он пошел прочь, и вечерние тени смыкались за ним, и гравий скрипел у него под ногами: «свой-свой, свой-свой...», а потом шагов не стало слышно, и дальше он уходил уже бесшумно, словно медленно исчезал, растворялся в неестественной тишине вечно цветущих садов Егерхауэна.

ГЛАВА IV

Сану я нашел возле площадки для мобилей. Патери Пат, приняв монументальную позу, вещал ей что-то глубоко научное.

Я быстро подошел и взял ее за руку:

— Идем.

Мне хотелось поскорее утащить ее отсюда, потому что в воздухе уже повис повод для воспоминания об *этом*.

— Прощайте, желаю вам удачи,— Сана протянула Патери руку.— Я послушаю ваше выступление по фону. Ты знаешь, Рамон, завтра Патери вылетает в Мамбгр, он закончил целый этап...

— Идем, идем.

Сана встревоженно подняла на меня лицо.

— Не волнуйтесь, Сана,— Патери Пат оглядел меня так, как смотрят на малыша, вмешавшегося в разговор взрослых.— Это бывает с теми, кто обращается в Комитет сведений «Оператора»,— а вы ведь уже обращались туда, Рамон?

Я с ненавистью оглянулся на него. Кто просил его проявлять при Сане свое любопытство? И какое ему дело до того, знаю ли я то, что знает он, или нет? И потом, мне показалось, что он не просто спрашивает меня, а зная, что я еще никуда не обращался, попросту подталкивает меня в сторону этого комитета.

Я пристально посмотрел на этого фиолетового. Ну да, он боялся. Он постоянно боялся. Хотя бояться ему было не за кого, я в этом абсолютно уверен. Он боялся за себя. И толкал меня на то же самое. Ну, ладно, встречусь я с тобой как-нибудь без лишних свидетелей. Тогда и поговорим. А сейчас я ограничился лишь высокомерно брошенной репликой:

— Я не обращался ни в какие комитеты. У меня нет времени на такие пустяки.

Хотя это тоже было порядочное детство.

Мобиль взмыл вверх и скользнул в поросшее селиграбами ущелье. Я посмотрел на Сану — она сидела, наклонив голову, и, казалось, с интересом глядела вниз, где четко обозначалась граница вечного искусственного лета и подходящей к концу неподдельной зимы. Но я знал, что она все еще думает о словах Патери Пата.

— Ну, что ты? — я постарался, чтобы мой голос звучал с предельной беззаботностью.

— Может быть, он и прав,— ответила Сана.— Тебе нужно слетать на Кипр и узнать...

— Нужно? А ты уверена, что это мне нужно?

— Разумеется, нет. Это единственное, в чем я тебе не могу даже дать совета. Каждый решает это за себя. Но мне кажется...

— Что именно?

Она помолчала.

— Нет, ничего,— сказала она наконец.— Ничего.

Я смотрел на нее и никак не мог понять: действительно ли она хочет, чтобы я стал таким же, как они, или, наоборот, неловко пытается уберечь меня от этого.

— Черт с ним, с «Оператором»,— сказал я,— мне сейчас не до того.

Она быстро глянула на меня, и я снова не понял ее взгляда.

— Правда, не до того. Ты же понимаешь, что я не боюсь. Просто я сейчас не могу думать о себе. Сейчас — только ты.

Сана опускает голову. Мы уже прилетели. Я выхожу и подаю ей руку.

За нами легко выпрыгивает Педель. Надо научить его подавать руку даме, даже если с точки зрения машины это не является необходимым и целесообразным... А, впрочем, не стоит. Не так уж много придется это делать, чтобы препоручать это другому, хотя для меня и забавно было поддерживать в Сане отношение к нему, как к человеку.

Для того хотя бы, чтобы у нее постоянно был повод отвлечься от *этого*.

— Педель! — остановил я его, дав Сане пройти вперед.

Огненно-рыжее чудовище на алом снегу: солнце садилось.

— Что я должен?

Велеть: «Стой и не шевелись!» — и он будет стоять здесь и день, и год, и когда все уже будет кончено и Сана навсегда исчезнет из этого снежного мира, он будет стоять здесь и ждать следующего приказа, и выполнит его так же точно, как и все в своем существовании, и будет продолжаться это бесконечное единство жизни и существования, но для меня останется только одно — перебирать в памяти все минуты этого последнего года.

Ну, что же, заложить в этого краба условия еще одной игры, которая начнется сегодня и кончится раньше чем через год? Кому потом он будет подавать свое гибкое бронзовое щупальце?

Он поблескивал выпуклыми гранями стрекозиных фасеточных глаз.

— Педель,— тихо спросил я его,— ты хотел бы стать человеком?

— Должен,— сказал он, но я понял, что это не ответ на мой вопрос, а какой-то заскок в его электронном мышлении.

— Могу,— сказал он после небольшой паузы и снова замолчал.

— Хотеть не умею,— это был ответ.

Я пошел прочь.

Сана вернулась.

— Что с тобой? Почему ты задержался?

— Не хочется входить в дом. Надо было пройти километра два пешком. Да и ты почти не бываешь на воздухе.

— Ты прав. Хотя воздух в нашем доме не отличается от этого.

«Теперь она будет гонять меня на прогулки»,— мелькнуло у меня в голове. Я вдруг вспомнил, что хотел уйти на лыжах в горы. Хотел. А теперь я, вероятно, буду должен это делать. Ерунда какая-то. За три секунды мой Педель прекрасно разобрался в таких вещах, как долг, желание и возможность. А я вот не могу этого. Я вдруг понял, что бесчисленное количество раз путался в этих «должен», «хочу» и «могу». Примитивные понятия. Но именно сейчас я, как никогда, не способен точно определить, что же меня заставляет совершить тот или иной поступок. Я показался себе слепым щенком, плутающим в дебрях этих трех гладкоствольных, звенящих, уходящих в полуденное небо ясных слов.

— Тебе нездоровится?

— Послушай, Сана, ты можешь сказать, почему ты здесь?

— Потому что я должна быть с тобой.

Я искренне позавидовал ей.

Мы подошли к нашему коттеджу. Я наклонил голову, входя, хотя дверь была высока. Мне нужно было спросить Сану, что еще мы будем сегодня делать, но она опередила меня:

— Мне хотелось бы еще немного поработать. Если хочешь, пройдись перед сном. Не забудь только «микки», чтобы вызвать мобиль.

Она указала на маленький овальный предмет, висевший у входа. Вероятно, в нем был смонтирован крошечный переносный фон для связи с ближайшими пунктами и сервис-станциями.

Я повертел «микки» в руках. Что я должен? Ах, да, она сказала — еще немного поработать.

— Я тоже поработаю часика два.

Я забрался в какой-то угол и, вооружившись отверткой, разобрал до последнего винтика несчастного «микки». Ничего особенного, просто элегантно оформленная игрушка. И до моего отлета таких было много.

Я провозился часа полтора, а потом откинулся на спинку кресла и стал смотреть вверх, на крупные звезды, четко вбитые в темно-синюю гуашь неба. Внезапно потолок начал заволакиваться сероватой дымкой, потом он сделался ослепительно белым и спустя некоторое время принял мягкий молочный оттенок. Я вспомнил, что за обедом жаловался Сане на яркий свет луны. Значит, пора спать. Я встал и прошелся по комнате. Сейчас она меня позовет. Да, отворилась дверь, явился Педель.

— Ее величество Сана Логе приглашает вас к себе.

— Ладно. Только не надо больше этого... величества.

— Слушаюсь. Запомнил.

Сана уже лежала.

— Тебе нездоровится?

— Нет. Я привыкла ложиться рано. Уже половина седьмого. Вы свободны, Педель. Спокойной ночи.

Педель исчез. Я стоял посреди большой комнаты; белые стены, пол и потолок пересекали редкие золотые полосы. Комната казалась прозрачной, как кусок белоснежного кварца с золотыми жилами. Легкие контуры стенных шкафов, золотые замки на них, шуршащие покрывала на постелях, тоже цвета старинного золота. И белая женщина с волосами цвета... Я не мог вспомнить, что же это за тяжелый, отливающий бронзой цвет. Но я его где-то видел.

— Ночной свет,— сказал я, и потолок стал меркнуть и скоро излучал лишь едва уловимое пепельное мерцание. Все стало кругом мягким и теплым. Исчезли пронзительные золотые полосы. Мне вдруг показалось, что я все еще там, в кибернетической моего буя. Тысячи тонн сверхтяжелого, непонятным образом сжатого металла лежат у меня над головой. Мне нужно пробиться сквозь них, выйти на поверхность и лететь на Землю, к людям. Только достигнуть Земли — а там все будет хорошо...

— Почему ты не хочешь спать?

Я хочу. Я иду и ложусь. Вот и прошел этот первый из последних наших дней. День, обязанный быть прекрасным и мудрым. День, который без остатка, до последней секунды я должен был отдать ей. И я отдавал. Да, до последней секунды мое время принадлежало ей, ее заботливости, ее нежности, глубоко запрятанной под материнской строгостью. Я честно делал все, что мог. Но этого было так мало.

Сана уже спала. Наверное, она принимала какое-нибудь снотворное, потому что стоило ей опустить голову на подушку, как я уже слышал ее ровное дыхание. Я опустил руку вниз и отыскал у изголовья кнопку. Я слегка нажал ее, и тут же в глубине комнаты засветился желтоватый прямоугольник с четкой черной надписью:

«Восемь часов пятнадцать минут по линии Терновича».

Я пожал плечами. С тех пор, как были освоены Марс и Венера, на Земле, как и на тех планетах, было установлено единое в Солнечной время. Было непонятно, как это раньше люди могли в одной и той же стране жить в разных часовых поясах. Это было так же неудобно, как говорить на разных языках. Но, как ни странно, к единому языку люди пришли раньше, чем к единому времени. И до сих пор еще указывают, по какой линии определено время. Неистребимая инерция!

Квадрат потух. Вероятно, прошла минута. Я оглянулся на Сану — она спала на редкость крепко. Я тихонько, чтобы не разбудить ее, поднялся и вышел в соседнюю комнату. Вытащил плед потеплее и отправился в энергетическую, где подзаряжался Педель.

— Доброе утро,— сказал я ему.— Принимай гостя.

Педель поднялся с горизонтального щита, на котором он сидел, как курица на насесте.

— Доброй ночи,— без тени юмора отвечал он.— Что я должен делать?

— Ох, бедняга, и тебя мучает тот же вопрос — что ты должен. Ты ничего не должен. Какой дурак тебя программировал? Кто не может желать, не должен чувствовать себя обязанным.

— Программировали Сана Логе, Патери Пат. Чувствовать не умею. Термин «должен» в программу заложен не был. Слышал его в процессе работы с людьми. Значение усвоил по словарю.

— Ты знаешь, я тоже слишком часто слышу его в процессе работы с этими людьми. А теперь включи-ка мне фон и дай «последние известия».

Я уселся в кресло с ногами и укрылся потеплее. Здесь я что-то мерз — на буе температура была градусов тридцать пять — сорок. С середины фразы возник тонкий голос:

«...урожая белковых. Ошибки, допущенные при составлении программы агронавтов, указывают на необходимость расширения стационарных контрольных ретрансляторов, передающих данные о ходе посевной в Агроцентр. В связи с этим группа механиков и энергосимиляторов выразила желание вылететь на Венеру. Транспорты с киберами специального назначения уже прибыли на Венеру с Марса.

Вчера закончился промежуточный этап розыгрыша командного первенства по статисболу между «Мобилем» (Марс) и «Сенсерионом» (координационно-вычислительный центр Месопотамии). По предварительной обработке результатов победила первая группа киберов со счетом: тридцать пять синих — тридцать семь с половиной оранжевых. Обработка результатов продолжается».

Было слышно, как зашуршала бумага, потом что-то щелкнуло, и вот вместо человеческого голоса зазвучал автомат:

«Прослушайте прогноз погоды: в связи с интенсификацией магнитной бури..»

Я не хотел его слушать. Наслушался я их там, в преисподней космоса.

— Настрой-ка мне хороший женский голос. Что — не важно. Хоть таблицу умножения.

Педель поколдовал возле фона. Послышался чирикающий девичий голосок. Сначала я не понял, в чем дело, но скоро сообразил, что это — урок какого-то древнего языка. Я давно уже заметил, что под звуки незнакомой речи очень хорошо думается.

Значит, все на Земле оставалось по-прежнему: экспедиционная группа на Марсе потирает лапы — обыграла по статисболу месопотамцев. Возникла необходимость, и вот человек двести счастливчиков получают вожделенную командировку на Венеру. А чего, собственно говоря, я боялся? Увидеть Землю, залитую кровью безнадежных войн, и ползающих по ней ублюдков, глушащих наркотиками свой непробудный страх и рвущих у слабых кусок пожирнее: отдай, все равно сдохнешь раньше меня... Смешно. Земля жила, жила жизнью, естественной для Людей и достойной Людей. Жила быстрее, полнее, самоотверженнее, чем прежде; но эта новая жизнь была как-то горше прежней. Стоило ли одно другого — вот в чем вопрос.

Я так и уснул, забравшись с ногами в кресло, при полном освещении.

Второй день я встретил уже без патетических планов относительно мудрости и высшей красоты его программы. Поэтому и прошел он проще и быстрее. Начала поступать литература, и я, по совету Саны, не ограничивался простым чтением, а тут же делал «наброски», то есть диктовал Педелю те или другие свои мысли, а он с молниеносной быстротой собирал или компоновал из отдельных блоков те схемы, которые могли быть использованы нами в аппарате кибердиагностики по аккумуляции сигма-излучения.

Вся трудность заключалась в том, что мы не могли слепо скопировать аппараты аналогичного типа с имитирующей схемой. Суть этих аппаратов заключалась в том, что они создавали внутри себя макет подопытного организма и непрерывно следили за ходом болезни и выздоровления. Но каждый такой аппарат создавался на опыте тысяч аналогичных болезней. Мы же располагали лишь воспоминаниями отдельных лиц, моими в том числе, хотя сам я не был подвержен загадочному излучению. Поэтому мы могли предложить аппарату лишь некоторые предположения о методах лечения. Хотя до кодирования было далеко, как до Эстри, я уже обдумывал все особенности этого кибера, который должен иметь еще большую самостоятельность, чем аппараты с имитирующими схемами. Чертовски это трудно было даже в воображении. Меня все это чрезвычайно занимало, я делал свои бесчисленные «наброски» и поминутно обращался к Сане; но странно — ее ответы постоянно наводили меня на мысль, что она уже сталкивалась с людьми, попавшими под сигма-излучение.

Поначалу я не придавал значения своим догадкам, но потом меня стало одолевать какое-то смутное беспокойство. Ведь в самом деле: она говорила — и не просто говорила, подчеркивала,— что наш корабль был единственным, пострадавшим при возвращении «Оператора». Эксперимент больше не повторялся — уж это-то я знал твердо. И потом эта фраза, как-то проскользнувшая у Патери Пата о каких-то обезьянах, нечаянно попавших под сигма-лучи... Он тогда врал, я это сразу понял, но не был ли его вымысел связан с каким-нибудь реальным фактом, о котором я не знаю?

Я не выдержал и задал Сане вопрос в лоб. Она с поразительным спокойствием — неестественным спокойствием — ответила мне, что никаких дополнительных данных о воздействии сигма-лучей на живой организм она сообщить мне не может.

И все.

Разумеется, подозрение осталось, но я не стал настаивать, потому что понял: то, чего они решили мне не говорить,— все равно останется для меня тайной, пока я не вырвусь из этого райского уголка. Я махнул рукой на все эти недомолвки, решив, что главное сейчас — это делать свое дело, а удовлетворить свое любопытство я смогу и после... после.

Раздражало меня еще и то, что все основные материалы для программирования должны были предоставить мне Элефантус и Патери Пат, хотя мне и хотелось делать все самому. Но я вовремя спохватился, что для этого мне пришлось бы усваивать курс высшего медицинского колледжа. Я должен создать плоть. А дух — это их забота.

Работы становилось все больше. Иногда мне приходилось посылать свои извинения и не являться к обеду. Зато Сана все чаще пропадала у Элефантуса. Я не имел бы ничего против, если бы не знал, что она работает там с Патери Патом. Разумеется, это была не ревность — ни в коей мере. Этот бурдюк с фиолетовыми чернилами в моих глазах не был муж-

чиной и я не мог себе представить, что женщина заинтересует его настолько, чтобы он потерял ради нее хоть минуту своего драгоценного времени. Нет. Просто противно было видеть их вместе.

С тревогой стал я замечать, что работа не отвлекает Сану от каких-то своих, глубоко запрятанных от меня мыслей. Когда она возвращалась от Элефантуса, я замечал, что на первый мой вопрос, относящийся к нашей работе, она всегда отвечала не сразу, а чуть-чуть помедлив и не совсем уверенно, как человек, занятый совсем другим и с трудом возвращающийся к забытому кругу вопросов. Я делал, что мог. Пытался затянуть ее на лыжные прогулки, разыскивал для нее в нашей фонотеке прекрасные записи старинной музыки, рисовал с нее, немножко лепил — она спокойно отклоняла все мои попытки развлечь ее, но делала это удивительно мягко, без тени досады на мою неуклюжесть. Жуткое дело — жалеешь человека, и шито это белыми нитками, и сам это понимаешь, а ничего другого не придумаешь, и приходится продолжать, лишь бы делать хоть что-нибудь. Но в отношении Саны ко мне было не меньше жалости, потому что она знала — я останусь один, совсем один, и бог весть, что я сделаю от смертной этой тоски. Она боялась, что я снова кинусь в космос. С меня сталось бы.

Потом вдруг оказалось, что наступила весна. Я это понял потому, что на столе у Элефантуса появились первые горные фиалки.

Мне и раньше приходило в голову, что он не лишен сентиментальности, а если бы я этого и не знал, то догадался бы сейчас по тому, с какой нежностью ласкал он взором эти рахитичные первоцветы с лепестками шиворот-навыворот. Я их никогда не любил. Они напоминали мне некоторых людей, которые тоже стараются распуститься махровым цветом раньше всех других и оттого на всю жизнь остаются такими же чахлыми и вывернутыми. Я об этом думал и тоже механически разглядывал вазу. Сана подняла голову и увидела, что мы смотрим на цветы. По всей вероятности, она видела их с самого начала, но только сейчас, поймав наши взгляды, она вдруг поняла, что это — весна, и зима кончилась. Навсегда. Может быть, успеет выпасть первый снег, но целой зимы уже не будет.

Сана поднялась. Такой я ее давно не видел. А может быть, и совсем никогда. Такое лицо бывает у человека, которому нестерпимо больно, но который все свои силы прикладывает к тому, чтобы на лице его и в движениях ничего не было заметно. И даже нет, не то.

Все видели, что с ней происходило, и она просила, приказывала нам не замечать. И мы слушались.

— Кстати, Рамон,— заметил Элефантус,— вас не очень затрудняет отсутствие кодируемого материала?

Вопрос был как нельзя кстати.

— Говоря откровенно, весьма затрудняет,— живо откликнулся я.

— Мне кажется, в ближайшие дни мы уже передадим вам первую половину программы. Разумеется, если Сана не откажется нам помочь.

Сана кивнула. Не поглядев на меня, она вышла.

— Я оставляю тебе Педеля,— крикнул я ей вдогонку.

Но дверь уже закрылась. Меня вдруг охватило страшное предчувствие: *это* случится сейчас. Скоро. И без меня. Сана прячется, как прячутся раненые животные. Она не работает с Элефантусом,— она скрывается у него, когда чувствует внутри себя что-то глухое, стремительно нарастающее, грозящее стать таким тяжелым, что невозможно будет ни пошевелиться, ни приоткрыть глаз. Я понимал, что это — возвращение древнего, умершего раньше, чем человек стал человеком, инстинкта смерти. Пробуждение животных инстинктов — человек был слишком

горд, чтобы сознаться в этом. Но, тем не менее, так было. «Оператор» принес неизмеримо больше, чем простой набор имен и дат, и неизвестно, что еще пробудит он в людях. Я был уверен, что пройдут года и обнаружатся новые следствия Знания, добытого людьми. Я один из первых усмотрел возрождение животной мудрости, объяснения которой мы не могли найти до сих пор. Так, человеческая любовь выросла из элементарного инстинкта размножения, но никакие попытки объяснить влечение одного человека к другому путем доказательства целесообразности такого акта или при помощи аналитического исследования физической и моральной красоты не давали ничего, кроме очевидного абсурда. Вот и то, что я называю инстинктом смерти,— оно не является им в прямом смысле, а выросло из него, перелилось в нечто могучее и прекрасное, дающее человеку силы побороть в себе ощущение угасания собственного «я» и жить для другого человека, передавая ему каждое свое дыхание, каждое биение пульса. Так делала Сана. А у меня вот не получалось.

Чувства мои оставались где-то внутри, а то, что могла видеть она,— было просто из рук вон...

Я медленно двинулся к выходу. Остановился на пороге. Патери Пат сопел за моей спиной:

— Если ты собираешься оставить свой мобиль Сане, то можешь взять мой, одноместный.

— Спасибо. Придется.

Он протиснулся между мной и дверью и начал колдовать над щитом обслуживания. Маленький мобиль цвета бутылочного стекла поднялся из глубины сада, стремительно перепрыгнул через деревья и мягко, словно на четыре лапки, опустился передо мной.

Патери Пат стоял и смотрел на меня, пока я усаживался. Я уже понял, что меня выпроваживают. Просто так он не стал бы терять своих драгоценных минут на соблюдение правил элементарной вежливости. Обычно он сразу после обеда старался улизнуть в свой кабинет.

Мобиль взлетел, и я видел, как Патери Пат, казавшийся коричневым сквозь зеленоватую пластмассу корпуса, провожал меня угрюмым взглядом, ссутулившись как-то по-медвежьи.

Я включил «микки»:

— Педель, Педель, говорит Рамон, ты меня слышишь?

— Слышу отчетливо.

— Я улетаю. Ты останешься в распоряжении Саны Логе. Она находится в помещении «ноль-главный-бис». Когда я закончу разговор, ты переместишься так, чтобы держать ее в поле своего зрения. Я предупреждал, что оставлю тебя. Если поступят какие-либо распоряжения от Патери Пата, постарайся их не выполнять.

— Слушаюсь. Постараюсь.

— Но держись в рамках. Не говори, естественно, что это — мой приказ. Теперь вот что: есть у тебя биофон?

— Да.

— Приставка?

— Нет. Блок вмонтирован внутрь.

— Прекрасно. Как только прилечу на место, сразу же установлю с тобой биосвязь. Будешь передавать все, что видишь, не анализируя и не вдаваясь в излишние подробности. Чистое описание. Что увидишь. Центральный объект — Сана Логе.

— Запомнил. Объект наблюдения — Сана Логе.

Когда я услышал эти слова от Педеля, они так резанули мой слух, что я чуть было не накричал на него. Но ведь он только повторил то, что перед этим сказал я. Мне пришлось сдержаться.

— В момент биотрансляции на тебе загорается индикаторная лампочка?

— Да.

— Отключи-ка ее сейчас, пока ты в мобиле.

— Исполнено.

— А теперь ступай! Связь начну минуты через три-четыре.

Мобиль вильнул, выходя из ущелья, скользнул над самыми верхушками елей так, что с них осыпался снег, и лег на брюхе у порога нашего дома.

— Назад, на место прежней стоянки в Егерхауэне,— сказал я в маленький темно-коричневый диск.— Выполнить через минуту.

Я вылез. Потоптался немного на снегу. Было прохладно. Снег, сухой и скрипучий, и не думал таять. Поземка тянулась за мной и осторожно затирала все следы. Там, где два часа тому назад Сана быстро пробежала от двери к мобилю, ничего уже не было видно.

Неожиданно, словно куропатка из-под снега, мобиль вспорхнул вверх и ринулся обратно в ущелье. Рыбкой блеснул он на фоне серых камней и исчез за скалой. Как славно было бы ловить каждый такой вот всплеск жизни, радоваться всему, кропотливо измысленному человеком или одним махом сотворенному природой, радоваться просто так, непрошенной щенячьей радостью — если бы не...

Я прошел в дом, не снимая свитера, тяжело плюхнулся на пол перед постелью и вытащил из-под нее ящичек с миалевой лентой. Я надел ее на лоб, постарался сосредоточиться. И представил себе шестирукого краба, застывшего в полумраке лаборатории: «Педель... Педель... Я Рамон... Ты должен ждать моего вызова. Я Рамон. Отвечай». Я закрыл глаза и еще крепче стиснул пальцы.

«Слышу вас, Рамон. Выполняю ваше задание»,— эти слова возникли у меня в голове, где-то в висках, словно я только что их слышал, звучание их умолкло, но воспоминание, не менее яркое, чем само восприятие, еще осталось в моем мозгу.

«Где ты находишься?»

«Небольшая полутемная комната в корпусе ноль-северный».

«Что ты делаешь?»

«Стою в углу за неизвестным мне аппаратом в виде усеченного конуса вдвое выше меня».

«Что еще находится в комнате?»

«Два стола, три кресла, шесть выпуклых люминаторов, восемнадцать...»

«Есть ли люди в комнате?»

«Сана Логе, Элефантус Элиа».

«Что делает Сана Логе?»

«Сидит в кресле. Изредка что-то говорит. Плохо слышу — внутри массивного аппарата, за которым я помещаюсь, все время возникают апериодические шумы низких тонов. Попробую переместиться ближе к объекту наблюдения...»

«Не надо. Что у нее в руках?»

«Ничего. Но на уровне лица на расстоянии полуметра расположен непрозрачный, матово-серый экран размером примерно 30 на 45».

«Может быть, приемник диктографа?»

«Имею приказ не анализировать. Передаю, что вижу».

«Правильно. Валяй дальше. Какая аппаратура работает?»

«Прошу прощения, вошел Патери Пат. Наклонился над Саной Логе. Резко выпрямился. Идет ко мне. Гово...»

Передача оборвалась, и как я ни пытался представить себе и Педеля, и все, что находится вокруг него,— я не мог больше принять ни одной фразы. Этот лиловокожий каким-то образом унюхал, что ведется биопередача, и отключил моего сообщника. А может быть, он не хотел, чтобы Педель что-нибудь запомнил. До чего же мне осточертели все эти секреты — ведь все равно же через три-четыре дня я получу то, что они с такой тщательностью от меня скрывают. Не буду же я кодировать вслепую.

Я стянул с головы миалевый контур и растянулся на полу. Все тело слегка ныло, как после не очень тяжелой, но непривычной физической работы. Недаром на пользование биопередатчиками нужно получать специальное разрешение. Я свое получил больше двадцати лет назад. Было как-то муторно. Я закрыл глаза и положил руки на лоб. Но от этого не стало легче, потому что руки были горячие, а лоб — холодный.

Я сел.

— Педель!

Ах, черт, ведь он же там, я и забыл. Где, интересно, он берет для меня лыжи?

Я облазил весь дом и нашел-таки то, что искал. Мне бросилось в глаза то обстоятельство, что и лыж, и коньков, и роликов, и всего прочего здесь было припасено по две пары. Одни были точно моего размера, другие — женские. Почему же Сана упорно отказывалась сделать хотя бы небольшую прогулку на лыжах? Боялась какой-нибудь случайности? Но ведь я был бы рядом. Да и что может случиться? Вот ведь сегодня я был уверен, что неминуемо произойдет что-то непоправимое, а на деле вышло — я вел себя, как истеричная девочка. Стыдно будет посмотреть в глаза Патери Пату. Подглядывал, как они там творят. Разумеется, никакой тайны они из своей работы не делали, а просто не хотели, чтобы какой-нибудь невежда торчал у них за спиной с вечными расспросами: «А это что? А это как?» Тем более, что у них не очень-то получалось. На их месте я сам прогнал бы всех посторонних.

Посторонних...

Я подпрыгнул на двух ногах. Лыжи хлопнули, словно в ладошки, и спружинили, как полагается. Палки я себе выбрал тоже по росту — я думал, что те, которые мне приносит Педель, единственные, и мирился с ними. На всякий случай, если Сана вернется раньше меня, я нажал зеленую кнопку маленького щита обслуживания и медленно продиктовал:

«Ухожу на лыжную прогулку. Вернусь часа через три-четыре. Направление — северо-восток. Надел теплый шарф».

Взяв палки, я быстро побежал к лесу, туда, где когда-то я видел легкий вьющийся лыжный след. Но с тех пор было немало метелей, след уже давно замело, а новых не появлялось.

ГЛАВА V

Вечерело. Солнце светило у меня за спиной, и я то въезжал в глубокую, начинавшую сиреневеть, косую тень, то снова оказывался на чуть желтоватом, с рыжей искоркой, снегу. Склон был очень пологий, на нем не разгонишься, но я знал, что внизу, перед самой грядой камней, будет трамплин метра полтора в высоту, и сразу после него нужно будет круто повернуть вправо, чтобы не поломать лыж или ног. В первый раз мне даже пришлось завалиться на бок, потому что ничего умнее я не успел

придумать. Пологий, безмятежный спуск усыплял бдительность, высокие кедры швыряли под ноги пятна теней, и мне казалось, что я еду по шкурке огромной морской свинки. Теперь уже скоро... Гоп-ля! Четко сделано.

Я остановился и снял лыжи. Присел на большой голый камень. Возвращаться прежней дорогой не хотелось, а «микки», чтобы вызвать мобиль, я, конечно, забыл.

Егерхауэна отсюда не было видно. Он лежал в долине между двух гор, одна из которых поднималась так высоко, что, наверное, видна и за сто километров отсюда, а слева от горы возвышался каменный гребень. Теперь, когда я смотрел на Егерхауэнскую гору, а гряда камней была у меня за спиной, справа синело ущелье, поросшее пихтами и елями в своей темной глубине, слева же, как огромный окаменелый пень, высилась скала с гладкими отвесными стенами и плоским верхом; она была невысока — не выше двухсот метров. Вокруг нее, слегка подымаясь, шел карниз шириной всего в два-три шага. Ниже карниза была осыпь, какие-то острые глыбы и еще черт знает какие неприятности, засыпанные сухим неглубоким снегом. Если по этому карнизу обогнуть каменный пень и пройти между ним и Егерхауэнской горой, то можно было бы попасть прямо к дому.

Я понимал, что этого делать не следует, что спуститься по ровному месту на лыжах — одно, а карабкаться по камням, ни разу до этого не побывав в горах,— совсем другое, но я уже лез по этому карнизу, да еще тащил на горбу свои лыжи. И хотя карниз поднимался все выше и выше, мне было ни чуточки не страшно. И с чего я взял, что мне обязательно должно быть страшно? Я считал бы себя совсем счастливым, если бы не проклятые лыжи. Я все время перекладывал их с одного плеча на другое и чертыхался, потому что надо было оставить их с самого начала. Немножко беспокоило меня то, что стена начала загибаться не туда, куда нужно. Появились какие-то глубокие трещины, наконец тропа стала такой неровной, что я бросил лыжи и пополз наверх, цепляясь за выступы и редкий кустарник, к счастью, не колючий.

Быстро темнело. Я дополз до верха, улегся животом на край и, занося ноги на ровную площадку, невольно оказался носом вниз. Бр-р-р... Почему, собственно говоря, я не должен бояться? Я первый раз лазаю по горам и имею полное право струхнуть немного, и не буду спускаться вниз, если не найду более комфортабельного спуска. Я еще раз посмотрел вниз и впервые пожалел, что не знаю того, что знают все егерхауэнцы.

До сих пор я как-то не задумывался над тем, какие преимущества может дать знание *своего* года. А ведь знай я его — мне сейчас было бы просто смешно смотреть вниз, на этот пепельный туман, хищно подбирающийся к самому краю того камня, на котором я лежал. Я бы плюнул вниз, поднялся во весь рост и пошел напрямик, перепрыгивая через трещины. И было бы мне чертовски легко. А ведь речь идет только об увеселительной прогулке в горах. Что же говорить о межпланетных экспедициях? Само собой разумеется, что люди, которым осталось уже немного, просто откажутся от полета. Да что там говорить о космосе! И здесь, на собственной Земле, каждый, кто задумывал начать очень большой труд, мог сопоставить время, необходимое для его завершения, с теми годами, которые оставались ему самому. Не оставалось бы неоконченных произведений искусства, брошенных на середине научных работ.

А тяжелые болезни? Насколько быстрее идет, наверное, выздоровление, если человек знает, что он поборет эту болезнь. Сколько сил он сохраняет, избавившись от мыслей о вполне вероятном трагическом исходе. Нет, положительно, если бы я был сейчас свободен — я бы ринулся на

Кипр. И гулял бы после этого по всем горам и планетам Солнечной. Но я не мог позволить себе этой роскоши. Ведь кроме всего этого успокаивающего — все-таки мысль о том, что десять, двадцать, сто, двести лет, которые тебе остались,— это все равно ничтожно мало по сравнению с тем, что еще хотелось бы прожить. А это уже мысли о себе. Мысли, которые могут поглотить меня целиком — хотя бы на несколько дней. А я этого не мог. Каждый день *этого* года принадлежал не мне.

И сейчас я нахожусь здесь только потому, что так хочет она. Но мне пора. Я поднялся — разумеется, далеко не в полный рост — и начал пробираться туда, где, по моим представлениям, находился Егерхауэн.

Между тем то, что снизу виделось мне плоским срезом каменного пня, на деле оказалось ребристой поверхностью, где остроконечные каменные пласты громоздились один на другой, словно их кто-то поставил рядышком, а потом они постояли-постояли, да и повалились на бок. Гора, которую я ожидал увидеть прямо перед собой, переместилась вправо, а за ней выросла другая, почти такая же. Путь мне преграждала расщелина, не шире, правда, двух метров, но для меня и этого было достаточно, чтобы отказаться от мысли ее перепрыгнуть. Я решил пойти вдоль нее с тем, чтобы переправиться, как только она станет поуже. Но проклятые трещины плодились, разделяясь то надвое, а то и больше, и вместо того, чтобы перебираться через них и круто сворачивать вправо, я мирно уклонялся в совершенно противоположную сторону. Солнце село. Но я знал, что до дома не больше пяти километров по прямой, и не очень беспокоился. Плохо только, если Сана уже прилетела и ждет меня. Мне ведь надо будет еще спуститься отсюда. И как это я не захватил с собой «мики»! Уж я бы что-нибудь ей наврал. Успокоил бы.

В темноте мне показалось, что расщелина стала неглубокой, и я ногами вниз сполз в нее. Дно было где-то совсем близко. Пришлось опустить руки, и я очутился в каменной канаве не глубже трех метров. Дно как будто подымалось, я двинулся вперед.

Резко потемнело. Я понял, что это угасли снеговые вершины. Я заторопился. Вправо. Еще вправо. Руки уже достают до края расщелины. Теперь найти только небольшую трещину в стене, чтобы опереться ногой...

Наверное, я пришел в себя сразу же, потому что небо, которое я увидел над головой, еще сохраняло пепельно-синеватый оттенок. Звезды были крупны и неподвижны. Голова основательно побаливала. Я начал двигать руками и ногами, чтобы проверить, не случилось ли чего-нибудь похуже, и тут же почувствовал, что начинаю скользить еще ниже. Я вцепился руками в землю, но она оказалась покрыта предательским тонким ледком. Тогда я уперся ногами и головой в стены расщелины и принял некоторое статическое положение.

Лед под моей рукой начал таять. На мое счастье, он оказался весьма тонок, и я решил оттаять себе площадку, чтобы подняться на ноги и дотянуться до края расщелины. Приложил ладони ко льду. Стало еще холоднее. Наконец под руками проступил шероховатый камень. Я осторожно стал на колени. Да, дела были плохи, хотя я это и отметил совершенно спокойно. Стена, которая казалась мне прямой, на деле шла под углом, наклоняясь надо мной. Ну, что же, посмотрим дальше. Я слегка приподнялся и замер на полусогнутых ногах.

В трех метрах над моей головой извивалось что-то черное и бесшумное.

Я вжался в угол. Я был безоружен. Я находился в заповеднике, где в обилии водились и рыси, и снежные алтайские барсы, и прочая нечисть из семейства леопардов, разведенная тут для экзотики всякими досужими зоологами.

В конце концов мне надоело ждать, пока на меня набросится этот из хищного семейства. Я приподнялся и начал его рассматривать.

Он продолжал двигаться, не спускаясь ниже, словно это была голова огромной змеи, которая заглядывает ко мне и мерно раскачивается, стараясь прикинуть, с какой стороны меня приятнее кушать. Но тут я заметил, что на краю, выше этого, качающегося, что-то темнеет на фоне звезд. Скорее всего — качается хвост большого зверя, наклонившегося над расщелиной. Ну да, ведь кошки всегда бьют хвостом, когда сердятся. Даже если это и очень большие и очень дикие кошки.

Кошка, а скорее всего барс сидел, слегка наклонив ко мне морду, которая была много светлее, чем вся остальная его шерсть, и молотил толстым своим хвостом по стене.

Почему он не нападал? Сыт, что ли? Или лень прыгать?

У меня появилось желание подпрыгнуть и уцепиться за этот хвост.

И тут я понял, что это вовсе не барс, а просто человек, который сидит, положив подбородок на колено, и болтает другой ногой.

Я вдруг разозлился.

— Эй! — закричал я и сам вздрогнул от непривычно громкого звука.— Что вы там делаете?

Тот, наверху, вздохнул, подобрал ногу и ответил серьезным детским голосом:

— Я вас спасаю.

Я уставился вверх. Голос принадлежал девчонке лет двенадцати-четырнадцати.

Я ничего не имел против того, чтобы меня спасали, и притом попроворнее.

— Тогда почему бы тебе не кинуть мне веревку?

Сверху опять послышался легкий вздох. Было похоже, что меня учили вежливости.

— Вы меня об этом еще не попросили.

— Ну, так я прошу.

— А что мне за это будет?

Я оценил создавшееся положение.

— Я древний могучий джинн,— сказал я загробным голосом.— Я сижу здесь три тысячи лет. В первую тысячу я надумал сделать самым красивым человеком на земле того, кто меня освободит. Но никто не пришел. Во вторую тысячу лет я мечтал подарить моему освободителю самую долгую жизнь, какую он пожелает. И опять никто не пришел. На исходе третьей тысячи лет я решил, что тот, кто спасет меня, займет мое место на веки веков. Кидай веревку, и в знак благодарности я спихну тебя в эту канаву.

— Идет,— сказал голос довольно равнодушно, и мне на голову шлепнулся конец толстой веревки.

Я подергал ее — довольно крепко. Вылез.

Она стояла на камне, и мы очутились нос к носу. Единственное, что я смог разглядеть в темноте, были глаза, и без того огромные, да еще обведенные черной краской, так что казалось, что на лице, кроме глаз, вообще ничего нет. Я не ошибся в возрасте — ей было лет четырнадцать, не больше.

— Ну? — сказала она.

Я пожал плечами, без особого энтузиазма сгреб ее в охапку и потащил к расщелине.

Вероятно, я сделал ей больно, когда стиснул ее в своих лапах, потому что страшно замерз и движения мои были резки и неловки. Но она ниче-

го не сказала мне, а только замерла и закрыла глаза. То, что сначала показалось мне краской, было неправдоподобными, как у Элефантуса, ресницами.

Я почувствовал, что делаю что-то не то, и опустил ее на камень. Сам присел на корточки перед ней:

— Испугалась?

Она резко вскинула подбородок:

— На языках древнего востока «джинн» означает не только «волшебник», но и...

— Дурак,— закончил я.

— Холодно? — спросила она.

— Холодно,— я не видел смысла притворяться.

— Летим в Хижину. У меня с собой ничего нет.

— Спасатель! — сказал я.

Она не потрудилась ответить.

— А что такое Хижина?

— Наша база.— Она пошла к мобилю, висящему в полуметре над камнями.

«Любопытно, что это еще за детский сад в горах?»,— подумал я. И тут вспомнил, что меня ждут, что ни в какую Хижину я лететь не могу и приключения этой ночи должны окончиться.

— Послушай,— сказал я, подходя и облокачиваясь о крутой бок мобиля.— А ведь мне нужно домой.

— Мама волнуется?

— Нет,— сказал я,— не мама. Жена.— И сам удивился своим словам.

Я назвал Сану женой. Впервые назвал женой. Раньше я называл ее — Моя Сана. Но почему-то перед этой девчонкой я назвал ее — жена. Лучше бы я ничего не говорил. Я посмотрел на свою спасительницу. Глаза стали еще больше и уголки их испуганно приподнялись. Она быстро проскользнула внутрь мобиля.

— Вот,— она протянула мне синеватую коробочку фона.— Свяжитесь с Егерхауэном.

Я машинально взял коробку. Егерхауэн... Сейчас я прилечу туда и обо мне начнут заботиться. Сана встанет, если только она вообще ложилась в эту ночь, подымет Элефантуса и всю компанию его роботов, включая Патери Пата, и они начнут измываться надо мной, оберегая меня от всех болезней, которые я мог подхватить, гуляя ночью по горам.

— Кто это? Кто это? — голос, молодой, звенящий тревогой, голос Моей Саны наполнил маленький мобиль. — Включите экран! Кто передает?

— Это я,— разумеется, я постарался, чтобы мой голос звучал как можно веселее и спокойнее.— Я немного заблудился, но меня спасли раньше, чем я успел испугаться или замерзнуть.

— Ты уже в Хижине?

— Да, сказал я,— не волнуйся. Я уже в Хижине. Сейчас я выпью чашку кофе и вылечу домой.

— Нет, нет,— живо возразила она.— Не вздумай лететь ночью. Жду тебя к завтраку.

— А ты не будешь волноваться?

— Теперь я за тебя спокойна. Там ведь Илль.

— Ну, тогда доброй ночи.

— Доброй ночи, милый.

Я подержал еще немного в руках коробочку, теплую от Саниного го-

лоса, потом повернулся к моей спутнице и постарался изобразить на своем лице, что вот, я ни в чем не виноват, просто судьба мне сегодня посетить эту самую Хижину. Но выражение ее лица было печально и строго, она не принимала больше игры и как бы оставляла меня один на один с правом решать, что честно, а что нет.

Тогда я стал серьезным и сразу же заметил, что она вовсе не девчонка, а девушка, хотя и очень молодая. Мне захотелось спросить, как ее зовут и сколько ей лет, потому что вдруг мне стало жаль, что вот сейчас мы куда-то прилетим, она сдаст меня с рук на руки каким-нибудь чужим людям, вроде тех, что лечили меня, и мы никогда больше не увидимся. Заблудиться же второй раз на том же самом месте было бы слишком пошло.

Между тем мы поднялись в воздух. Она опустилась на пол и села, вытянув ноги и прислонившись к упругой вогнутой стене. Я сел напротив нее и принял такую же позу. Тогда она подобрала ноги, обхватила колени руками и положила на них подбородок — совсем как тогда, на краю расщелины. Я стал ее рассматривать, потому что до сих пор ничего, кроме глаз, не успел заметить.

Волосы у нее были черные, пушистые, и было их столько, что не требовалось никакой шапки. Лицо было опущено, и я его опять же не мог разглядеть. Кисти рук были тонки, насколько это можно было усмотреть под черным три́ком, который обтягивал ее всю от кончиков пальцев до подбородка. Поверх трика был надет только легкий серебристый колет, скорее для красоты и ради карманов, потому что трик специального назначения поддерживал необходимую температуру, и в нем можно было разгуливать и на полюсе холода.

Мне вдруг стало невыносимо тоскливо: вот сегодня за завтраком я вспомню ее — что я вспомню? Что она была одета в черное. И только. А если она сейчас спросит меня: какая она, та, которую вы назвали своей женой и потом испугались? И я отвечу: она носит белое с золотом. Вот и все. Я не умел видеть в людях того, чем они живут, а видел лишь то, что они носят. И это вовсе не из-за одиннадцатилетнего затворничества. Просто не уродился я. Ро́бота по винтикам разобрать я мог, а вот когда дело доходило до человека... Вот сидит передо мной человек. Не очень-то мне нужно влезать в ее душу. Но мысль о том, что даже если бы мне этого и очень хотелось, я все равно ничего бы не достиг, угнетала меня, как сознание непоправимой неполноценности. Я тоже положил голову на колени и даже, кажется, замычал. Удрать бы отсюда. И что это я обрадовался возможности провести ночь в незнакомом месте? Я прилечу, и начнется суета, меня станут осматривать и обнюхивать, стараться мне чем-то помочь, и будут делать все это неуклюже, хуже роботов, и с проклятой быстротой, которую они сами перестали давно замечать. Но в этой быстроте я буду ощущать постоянный, хотя и невольный, упрек в том, что я отнимаю у них время.

Мягкий толчок — мобиль лежал на брюхе. Я вылез и молча протянул руку этой девчонке, стараясь сделать это так почтительно, словно она была стопятидесятилетней дамой. Я приготовился было откланяться и залезть обратно в мобиль, но на долю секунды задержался, чтобы набрать побольше воздуха — мы поднялись на высоту не меньше трех с половиной километров.

Луна уже взошла. То, что я увидел, было настолько неожиданным, что я решил, что черта с два я буду думать о чьем-то времени, пока хоть бегло не осмотрю, где я нахожусь.

До вершины горы оставалось еще метров сорок. Здесь она была акку-

ратно обтесана со всех сторон, так что образовалась кольцевая галерея метров пяти шириной. Каменные кубы стояли на этой горизонтальной площадке так, что их прямые углы выдавались вперед одинаково ровно, насколько я мог видеть. Выше семи метров, вероятно, находился потолок этих циклопических сооружений, и там продолжалась неровная, крыжистая вершина. Каждый угол, ромбом выдающийся вперед, имел окно на правой грани и дверь на левой, причем все это было закрыто титановыми щитами. Наверное, ожидалась буря. В углублении между двумя соседними углами я заметил еще один мобиль и могучую фигуру механического робота на карауле возле него. По всей вероятности, это была ремонтно-заправочная база мобилей особого назначения.

Как-то неожиданно дверь на ближайшем углу откатилась вбок, и я получил приглашение проследовать внутрь таким изящным жестом, из которого я должен был понять, что галантное обращение не является для нее диковинкой. Я грустно усмехнулся. У нее, оказывается, есть время еще и кокетничать. Мне не хотелось объясняться, и я просто сделал жест, указывающий обратно.

Она удивилась. В удивлении этом было что-то надменное, не терпящее возражений. Конечно, ведь на возражения теряется бесценное время...

— Прошу меня извинить,— сказал я как можно корректнее,— я должен вернуться в Егерхауэн. Мое присутствие здесь не так уж необходимо, поэтому я не считаю себя вправе отнимать время у обитателей этой «Хижины».

Она наклонила голову набок и, поднеся палец к носу, быстро провела им от кончика к переносице, словно на саночках прокатилась — вжик!

— Вы любите кашу с медвежьими шкварками? — спросила она.

Я тоже наклонил голову и посмотрел на нее. Тоненькая, вся в черном, с огромной шапкой вороных кудрей, которых не засунешь ни под какую шапочку — милый головастик. Ладно. В твоем возрасте, вероятно, элементарный акт извлечения неосторожного дурака из ледяной канавки кажется тебе чуть ли не подвигом. Пошли.

Дверь отворилась, и вместо ожидаемого блеска люминаторов я увидел перед собой квадратное отверстие, в котором полыхало самое настоящее пламя. Никаких других источников света в комнате не было. Я никак не мог припомнить, как называется такое приспособление. Стены потрясли меня не меньше. Они были сложены из стволов деревьев с ободранной корой и следами грубой полировки. Таков же был и потолок. На полу лежали огромные шкуры — морда к морде. Глубокие кресла, тоже из дерева, были обтянуты самой настоящей кожей. У огня стоял человек. Он был одет так же, и такой же серебристый колет был накинут поверх черного трика. Он был высок и удивительно молод, хотя это и не бросалось в глаза из-за прекрасной черной бороды, делавшей его похожим на капитана Немо, когда тот был еще принцем Даккаром. Теперь мне стало ясно, что к чему. Это был ее брат. Это и был Илль, о котором говорила Сана. Я обернулся к моей спутнице.

— Это Рамон,— сказал она,— и пожалуйста, без церемоний — он сегодня и так натерпелся.

Рядом с нами оказался еще один человек, славный толстый парень с мягкой улыбчивой рожей, на которой была написана абсолютная посредственность. В колледже мы таких звали «дворнягами».

Рамон. Егерхауэн. Она знала, кто я и откуда. Любопытно.

Первым подошел ее брат.

— Это — Туан,— представила она мне его, и я ощутил крепкое пожатие затянутой в трик руки.— Инструктор альпинистского заповедника и специалист по фоновой аппаратуре.

Значит, это не тот Илль, которого знала Сана. Действительно, что общего могло быть между нею и этим бородатым юнцом? Нет, скорее Илль — это тот, который поднимается сейчас из кресла, в черной замшевой куртке и белом воротнике, с усами и бородкой, как у кардинала Ришелье, и пепельными локонами до плеч. Этот лет на десять старше Туана. Как это я его не заметил?..

— Лакост, наш кибермеханик и прочий технический бог, также самая элегантная борода Солнечной (камешек в огород брата) и автор «Леопарда».

Я не знал, что такое «Леопард» — симфония, автопортрет или рецепт коктейля, но почему-то пожал легкую сухую ладонь с невольным уважением.

— А это — Джошуа, но мы все зовем его Джáбжа, он сам это придумал. Он нас всех лечит, кормит, одевает и носы утирает.

Я так примерно и представлял его функции. Ладонь его была раза в полтора больше в ширину, чем в длину.

Я оглянулся, ожидая увидеть еще кого-нибудь, но в комнате никого больше не обнаружилось.

— Больше никого здесь и нет.— Мои мысли были угаданы.— А Илль — это я.

Мы церемонно раскланялись.

— А теперь, Джабжа, царствуйте,— крикнула Илль, прыгая на шкуру к самому огню.— Мы совсем замерзли. Нам покрепче.

Она уселась, скрестив ноги и протянув ладони к огню. Меня удивляли ее движения. Они были легки и порывисты, но я не мог понять, чем же они отличаются от движений всех других людей. Наверное, так двигалось бы какое-то инопланетное существо, внешне похожее на человека, но способное делать со своим телом все, что угодно — и вот такое существо научили: руки могут сгибаться только в локте и запястье, шея — поворачиваться на девяносто градусов, и так далее. И теперь она старается не отличаться от других людей и только поэтому сидит прямо, не сделав из себя двойной узел или архимедову спираль. Почувствовав мой взгляд, она обернулась и указала мне место рядом с собой. Мне подумалось, что если бы она захотела, то смогла бы сейчас почесать носом между лопаток. Я засмеялся и сел рядом.

За низенькой решеткой по толстым поленьям сновали рыжие светящиеся ящерицы с дымчатыми хвостами. Илль глядела на огонь, широко раскрыв глаза, и мне казалось, что она ждет только какого-то зова, чтобы скользнуть в пламя печи и обратиться диковинной огненной зверюшкой.

— М-м? — спросила она, проворно оборачиваясь ко мне.

— Нет, я ничего. Вспомнил просто, что в древности люди верили в существование саламандр — духов огня, женщин-ящериц.

— Ну, я не дух, не рыжая и не питаюсь воздухом, что сейчас и собираюсь вам доказать.

Она вскочила. Позади нас появился деревянный стол. Джабжа, подвязавшись полотенцем, таскал тарелки и миски, закрытые крышками. Между тем я сам видел, что у них были свободные «гномы», которые могли бы сделать это и быстрее и привычнее. Туан откупоривал бутылку, Лакост терпеливо дожидался, присев на ручку кресла.

Илль повела носом.

— Главное уже на месте. Сели.

Она привычно заняла место хозяйки, указав мне на стул слева, справа поместились Туан и Лакост. Джабжа хлопотал рядом со мной. Видимо, он покорно нес обязанности кухонного мужика.

Я уставился на большую керамическую миску с толстым дном и крышкой, украшенной незатейливым орнаментом. По дну стекали капли воды, и я догадался, что блюдо подогревается простейшим способом — двойное дно посуды имело полость, заполнявшуюся горячей водой. Поистине, нужно было потратить немало труда (я мысленно тут же поправился — времени), чтобы создать эскизы, построить машины и получить такую посуду по старинным образцам. Сервировка носила следы несомненного художественного вкуса, и я не мог догадаться, кто был в этом повинен: страж кухни Джабжа, капризная хозяйка или этот автор неведомого мне «Леопарда». Джабжа взял ветку, поджег ее в огне, и комната начала освещаться по мере того, как он зажигал толстые желтые свечи в большой бронзовой люстре, висевшей над столом. В этом доме положительно были помешаны на стилизации под средневековье.

Но нельзя было сказать, чтобы я имел что-нибудь против. Хорошо бы пробраться в комнату Илль и посмотреть, нет ли там клавесина и портрета прекрасного рыцаря, шитого бледными шелками. Однако мое воображение резвится сегодня более, чем обычно. На черта мне далась эта девчонка и ее комната! Посмотрим лучше, что это накладывает мне в тарелку ухмыляющийся Джабжа? Два куска почти черного мяса и гора неизвестной мне каши — у меня на буе такой в запасе не было. В глиняные бокалы с ручками и крышками полилось красное вино, пахнущее терпко и призывно. Мне до смерти хотелось водрузить локти на стол и взять вилку в кулак, как, по моим представлениям, должны были утолять свой аппетит кровожадные средневековые бароны. Но я время от времени чувствовал на себе взгляд, полный хорошо прикрытого любопытства. Это меня несколько сдерживало и не позволяло распускаться слишком поспешно, хотя я почувствовал, что обстановка к этому располагает.

Пока головы склонялись над тарелками, я бегло осмотрел всех.

Ничто так не характеризует человека, как процесс еды. Джабжа поглощал все подряд. Туан копался вилкой в тарелке. Лакост лакомился. Илль откровенно насыщалась, как человек, не садившийся за стол по крайней мере сутки. Вероятно, она была на вахте, или как это у них называется, и друзья ужинали без нее. Во всяком случае, было очевидно, что Лакост и Туан сидят за столом лишь ради общей компании и хорошего вина, которое тоже было в стиле всего этого ужина по старинке. Наверное, эта старина обошлась им в уйму времени.

Илль подняла руку с бокалом. Полный, он был тяжел, и ей пришлось обхватить его двумя руками, черными руками с длинными тонкими пальцами.

— За джиннов, которые умели благодарить своих спасителей,— сказала она мягко, без всякого вызова. Так, словно напоминала мне о чем-то очень хорошем, принадлежавшим только нам двоим.

— Объяснитесь,— по-королевски бросил Лакост.

Мне пришлось во всеуслышанье рассказать о том, как я хотел спихнуть Илль в пропасть. Я умышленно не назвал эту расщелину канавой, чтобы сгустить краски.

— Честное слово, надо было! — неожиданно перешел на мою сторону Туан. Вероятно, причуды сестры порядком ему надоели.

— Вынужден признаться, что не имел бы ничего против,— склонил голову Лакост.

— Остановка за немногим,— резюмировал Джабжа.— На дворе еще ночь, и вам остается только исправить ваш промах. Пропасть в десяти шагах.

— Не поддавайтесь, вас провоцируют! — крикнула Илль.— Сами научили меня драться, а теперь хотят продемонстрировать.

Она вскочила на кресло ногами и изогнулась, опираясь на спинку. Кем она была в этот момент — ящерицей? Кошкой? Что же это за хищный гибкий зверек, бросающийся на человека и в одно мгновенье перекусывающий ему сонную артерию? Ах, да, соболь. Вороной соболь. По-древнему — аскыр.

Я смотрел и ждал, когда она бросится на меня. Я был почти в этом уверен. Я представлял себе, как тонкие пальцы, черные пальцы захлестывают мне шею, но я отрываю ее от себя и тащу к обрыву, что окружает Хижину,— и тут я вспомнил ее, замершую на моих руках с опущенными ресницами... Я вздрогнул.

— Ага! — закричала она.— Испугались! И правильно сделали. Эти хвастуны сами не могут со мной справиться, уж разве что вдвоем. А надо было мне тогда бросить вас и не откликаться, пока бы вы не съехали под горку.

— И что тогда? — полюбопытствовал я.

— Ничего. Вы стукнулись бы ногами о противоположную стенку и спокойно выбрались бы. Глубина пропасти там не больше полутора метров.

— И вообще,— сказал я,— зачем вам было меня спасать? Ведь это не входит в ваши обязанности.

— Несколько странные представления о задачах и обязанностях персонала спасательной станции,— наклонив голову набок, задумчиво заметил Лакост.

Он, кажется, шутил.

— Спасательной? — переспросил я.

— Ну да,— невозмутимо подтвердил он.

Это было здорово придумано. Спасательной?! Нет, вы подумайте — спасательной! Я захохотал.

— От чего же вы спасаете? Ведь каждый может узнать... Нет, молодцы, люди! Люблю здоровый юмор. Спасатели...

Все почему-то смотрели в стороны, словно тактично ждали, когда я перестану смеяться. А я не переставал. Уж очень это мне понравилось — спасать людей, которые знают, что все равно они не погибнут. Когда-то это называли «мартышкин труд».

— А вот что, ребятки,— сказал вдруг круглолицый с полотенцем,— начихаем-ка мы на законы гостеприимства, возьмем уважаемого гостя под локотки и скинем-ка его со стартовой площадки. Разбиться он, разумеется, разобьется, но что-нибудь да уцелеет. Кусочки соберем — придется мне поработать; руки-ноги заменим биоквантовыми протезами, всякие там печенки-селезенки поставим наилучшие, патентованные. Память восстановим почти полностью — это я гарантирую, запросим в профилактории снимок нейронной структуры... А?

Я уже не смеялся.

— Слух обеспечим отменный.— Джабжа перекинул салфетку через согнутую руку, наклонил голову, ухмыляясь.— Зрение — острейшее. Обоняние — высшей кондиции. Не угодно? И потом живите себе все положенные вам годы с миром, живите — поживайте, детей...— Он быстро глянул в сторону Илль и осекся.

— Ладно,— сказал он,— отставить избиение младенца. Присутствующим ясно, что с горок лучше не падать. Чтобы прожить свои положенные годы,— опять свирепый взгляд в мою сторону,— по возможности с собственными конечностями. Ну, а о тех, кто по тем или иным причинам

не удосужился еще обратиться в Комитет «Оператора», я даже и не говорю — для них это совершенно противопоказано,— и он снова с минимальной дружелюбностью — слишком демонстративной, однако, чтобы быть искренней,— глянул на меня.

Свирепость у него была уморительная, и это несколько примирило меня с только что преподанным мне уроком. Да, коды, проведенные в одиночестве, здорово сказываются на психике.

Лакост, видимо, думал о том же:

— Вы ведь тот самый механик, который просидел одиннадцать лет на каком-то буе?

Все знают. Я кивнул.

— Какого же черта вы молчите? — вдруг взорвался Джабжа.— В кои-то веки выудишь в горах интересного человека, а ему и в голову не приходит отплатить за гостеприимство. Выкладывайте, что там с вами приключилось.

Этот Джабжа распоряжался, словно он был начальником базы. Милый дворняга. Но я был ему благодарен уже потому, что носик на черноглазой рожице поехал круто вверх, чтобы никто не забывал, кто именно выудил меня, такого интересного, из ледяной могилы.

— Я думаю, что в общих чертах вы и сами все знаете,— попытался я скромно увильнуть от рассказа.

— Рассказывайте же! Ну!

Ишь, какой капризный головастик!

И вдруг светлое лицо Саны встало передо мной. «Не надо... Не вспоминай об этом... Не теряй на это времени — нашего времени...»

Эти ребята ждали от меня веселых приключений. Космический вояж с десятилетней остановкой. Тайна рокового буя и искушение святого Антония на современный лад. А для меня это были те, четверо, которые погибли в первые же минуты этих лет и продолжали оставаться со мной до сих пор. Я был виновен перед ними, и ни доводы собственного рассудка, ни воля Саны не могли заставить меня оправдаться или позабыть о них.

— Вы ведь были там не один. Как же произошло, что остальные не вернулись?

Я посмотрел на Джабжу с ненавистью. Что он лез ко мне? Какое он имел право спрашивать о том, в чем я был не виновен перед людьми? А уж то, что касалось меня самого, я никак не собирался раскрывать здесь, в каком-то случайном уголке, где мне суждено провести одну ночь.

— Мы осмотрели буй и кое-что подремонтировали.— Я постарался отделаться краткой информацией.— Получили с Земли «добро» на обратный вылет и поднялись с буя. Два раза обошли вокруг него, потому что, когда мы прилетали, его сигнализационная система работала нечетко. На первом витке все было хорошо, а на втором сигналы стали гаснуть. Потом нас швырнуло обратно к поверхности... Я тогда не понял, что это происходит против воли командира корабля. Я думал, что он сознательно возвращается, чтобы устранить недоделки. Мне было не до того — ведь система сигнализации целиком лежала на моей совести.

— Ну?..— сказал сдержанный Лакост.

— Я занял межпланетный фон, так как на ультракоротком не смог бы связаться с киберцентром буя, и вызвал дежурных «гномов» из сектора приема и сигнализации. «Выходите первым!» — крикнул мне командир, и я, еще не снявший скафандра, выскочил из корабля и громадными прыжками бросился к появившимся из лифта «гномам». В последний момент мне показалось, что командир и механик-фронтовик с отчаянными лицами что-то выколачивают из межпланетного фона. Я это

вспомнил потом, когда стал все вспоминать. А тогда я бежал к роботам, и самый большой из них неожиданно схватил меня и бросился в лифт. Я закричал и стал вырываться, но вы понимаете, что этого сделать нельзя, если робот выходит из подчинения. Лифт полетел вниз с ускорением не меньше земного свободного падения, и когда он остановился на среднем горизонтальном уровне, толчок был слишком силен, и я потерял сознание.

Собственно говоря, это было все. Что я мог им еще рассказать? Как мне мерещились их крики, стуки и скрежет металла? Как я боролся с роботом, мешая ему спасать меня? Как до сих пор...

— Вы были самым молодым на корабле? — тихо спросил меня Джабжа.

— Да,— ответил я, не зная, к чему этот вопрос.

— И он приказал вам выйти первым...

Да, я должен был выйти первым и спуститься в отделение фонотронов. Я был самым молодым... И меня ждала Сана. Командир знал, как она меня ждала. Он приказал мне идти первым. Может быть, он еще что-нибудь передавал мне, но ультракороткие фоны уже молчали. А я даже не успел оглянуться и посмотреть, вышел ли кто-нибудь следом за мной или нет.

— Я думаю, что никто больше не вышел,— задумчиво сказал Лакост.— Раз начала отказывать аппаратура, то не могла работать и выходная камера корабля.

— Можно было вырезать люк изнутри,— предложил Туан, словно это сейчас имело какое-нибудь значение.

— Нет,— сказал Джабжа.— Время. Они не успели бы этого сделать.

— Почему на буе не было приспособления для мгновенного переноса корабля к ангарному лифту? — не унимался Туан.

Откуда я знал, почему его не было.

— Теперь это есть везде,— сказал Лакост,— но разве их спасло бы это?

Я кивнул:

— Ангар находился на глубине пятидесяти метров. Они не успели бы выйти из корабля, как излучение достигло бы смертельной плотности, а металл, деформируясь, расплющил бы звездолет, как он и сделал это со всем ангаром.

— Но ведь излучение проникло вглубь не мгновенно?

— Достаточно быстро. Меня спасло еще и то, что металл, уплотняясь, сам становился изолирующим слоем. Да еще защитное поле после каждого горизонтального уровня — его включал мой «гном».

— Это же смертельно для тех, кто оставался наверху! — воскликнул Лакост.

— Киберы принимают свои решения мгновенно. Боюсь, что мой непрошеный спаситель рассчитал, что те четверо мертвы, еще раньше, чем они перестали дышать. И тогда все заботы были перенесены на одного меня.

— «Непрошеный спаситель»,— передразнил меня Джабжа,— вы хоть сохранили того «гнома»?

— В нем появилось какое-то наведенное излучение, он передал меня другому роботу, а сам остался в верхнем слое.

— Его сделали хорошие люди, Рамон.

— Я знаю, Джошуа.

Мы посмотрели друг другу в глаза. Я вдруг понял, что сделал для меня этот человек.

— Все-таки остается загадкой, каким образом металл приобрел ква-

зиалмазное кристаллическое строение, до сих пор не известное...— говорил Туан.

— В нашем «гноме» есть что-то от Леопарда...— говорил Лакост.

Илль молчала, сложив ладони лодочкой и уткнувшись в них носом. Но я видел, что она не просто слушает меня, а старается, как и все, найти тот несуществующий путь спасения тех, четверых, который стал бы моим обвинением, если бы нашелся. Я был уверен, что искали они честно и ни один не промолчал бы, если бы нашел этот путь.

— Одиннадцать лет иметь над головой эту жуткую толщу,— задумчиво сказал Джабжа,— и тех, четверых... Как вы справились с этим, Рамон?

— Заставил себя не думать. Я знал, что вырвусь. Работал. Монтировал роботов. Если бы за мной не прилетели, я все равно вышел бы на поверхность и послал весточку на Землю.

— Вам можно позавидовать.

— Не совсем,— сказал я.— Как только я вернулся сюда, все началось еще хуже.

— Сознание вины?

— Да.

— На вашем месте я ничего не мог бы сделать,— твердо сказал Джабжа.

— Я — тоже,— сказал Лакост.

Туан закусил губу и наклонил голову. Он был слишком молод, чтобы так быстро сдаться. Я знал, что он еще будет приставать к Лакосту и Джабже. Он был слишком хороший парень, чтобы этого не сделать.

Теперь молчали все, и это молчание было как отдача последних почестей тем, кто сегодня умер, чтобы больше не воскресать в моей совести. Память — дело другое. Чем светлее память, тем дольше для нее то, что для памяти называем мы вечностью.

Вечная память.

— А знаете,— сказал вдруг Туан,— лет четыреста тому назад вам поставили бы памятник. Раньше такой человек считался героем.

Мы дружно рассмеялись и поднялись из-за стола.

— Тогда они и были героями,— сказал Джабжа, положив руку на плечо Туана.— А теперь все такие. Разве ты на месте Рамона сошел бы с ума? Или повесился бы? Ты продолжал бы оставаться Человеком. Это давным-давно перестало быть героизмом, а превратилось в долг.

— Тоска,— сказал Туан.

Мы снова рассмеялись.

— Дурак,— мрачно резюмировала Илль.

Внезапно раздался протяжный, мелодичный звон. Одновременно все стены вспыхнули голубоватым огнем.

— Не волнуйтесь,— сказал мне Джабжа.— Это не аварийный. Это обыкновенный вызов. Кто-нибудь сломал лыжи или уронил альпеншток.

Он вместе с Туаном исчез в левой двери. Через несколько минут вернулся позеленевший Туан.

— Семьдесят четвертый квадрат?— осведомился Лакост таким безмятежным тоном, что я понял, что тут кроется какое-то издевательство.

Туан молча пошел к выходу, надевая шапочку с очками.

— Мой глубочайший поклон прекрасным дамам! — крикнул ему вдогонку Лакост.

Туан хлопнул дверью.

Вошел Джабжа.

— Нехорошо, мальчики,— сказал он, обращаясь главным образом к Илль.— Неужели его нельзя было заменить? Ведь там самой молодой — восемьдесят лет. И они вызывают его каждый раз, когда он неосторожно подходит к фону. Ну, ладно, искупи свою черствость заботой о госте. Спокойной ночи.

Джабжа и Лакост удалились.

— В чем дело? — спросил я.

— Туан мечтает встретить в горах прекрасную незнакомку. А по нему вздыхают все престарелые красотки, посещающие заповедник. Эта группа вызывает его четвертый раз. Да, красота — тяжелое бремя.

— И все-таки он у вас хороший.

Илль посмотрела на меня удивленно. Потом медленно ответила:

— Да, он у меня хороший.

С ударением на «у меня».

— А теперь пойдемте, я ведь здесь еще и что-то вроде горничной и должна с приветливой улыбкой указать вам ваши апартаменты.

— Жаль, что сейчас не дают на чай. Ваш талант в роли горничной пропадает даром в буквальном смысле слова.

— А что бы вы мне дали?

— Две серебряные монетки. Каждая по часу.

— Как мало!

— Тогда одну золотую. Золотая — это один день.

— Это значит, двадцать четыре серебряных... Все равно мало.

— Вы маленькая вымогательница. Из вас не вышло бы хорошей горничной.

— А вы предлагаете мне пышный хвост от неубитого медведя. Ведь вы же не знаете, сколько еще золотых монет бренчит в вашей сумке.

— А вы знаете?

Она кивнула.

— И что же, вам принесло это радость?

Она пожала плечами так беззаботно, что сердце мое сжалось. Я болтал здесь с этой девчонкой, а там, в Егерхауэне, спала та, которая носила белое с золотом, но все золото, что было на ней, не могло прибавить ей и одной монетки стоимостью в один день.

— Сколько вам лет?— спросил я Илль.

Она с упреком поглядела на меня:

— Настоящая женщина скрывает не только то, сколько лет ей исполнилось, но даже и сколько ей остается.

— А все-таки?

Она тихонечко вздохнула, как там, на скале.

— Восемнадцать.

— А сколько еще осталось?

— Мне восемнадцать лет. А вы меня спрашиваете о том, что будет, у-у! И если я отвечу, то кто будет более бестактен — вы, когда спрашиваете, или я, когда отвечаю?

У нее было какое-то чутье. Она правильно сделала, что не ответила. Мне было бы слишком больно за Сану.

— Извините меня. Я и так задержал вас.

— А я не очень дорожу своими монетками. К тому же вы обокрали меня не больше чем на десять медяшек. Идите-ка спать.

— А вы?

— Я останусь здесь. Я должна быть наготове, пока Туан в отлете.

— Ну и я останусь здесь. Все равно до утра не больше трех часов. Вы не возражаете?

— В нашей Хижине закон — не мешать друг другу делать глупости.

— Благодарю.

Я растянулся перед потухающим огнем, взбил медвежью голову, как пуховую подушку, и тотчас же начал засыпать.

«Камин»...— приплыло откуда-то издалека,— это называется «камин»...

Потом надо мною наклонилась Сана и быстро-быстро зашептала: «Не надо... Не вспоминай об этом...»

Я повернулся несколько раз, и когда это лицо исчезло, я сразу же заснул — легко и спокойно.

И так же легко проснулся, когда меня разбудил Джабжа.

ГЛАВА VI

— Илль улетела?— спросил я.

— Зачем? Прилетел Туан, они отправились спать. Если будет вызов, полечу я или Лакост.

— А форма?

— Трик? Хорош бы я был в нем. Обойдусь так. Кстати, Илль говорила, что тебе надо быть дома к завтраку.

— Действительно. А здесь мне больше не дадут?

— Знаешь что? Пошли на кухню.

Это была не сама кухня, а крошечный закуток, этакое преддверье рая. Из соседнего помещения тянуло свежим кофе и еще чем-то пряным.

— Холодного мяса, кофе и земляники,— крикнул Джабжа туда.

Тотчас же металлические руки протянули из-за двери все требуемое. Джабжа принял тарелки и поставил их передо мной.

— А ты?— спросил я.

— Мы с Лакостом только что завтракали. Ты не стесняйся. В Егерхаузене тебе не дадут медвежатины.

— А у тебя она откуда? На Венере, кажется, медведей еще не пасут.

— Поохотились,— Джабжа блаженно расплылся.— Мы ведь имеем на это право, только оружие должно быть не новее тысяча девятисотого года. В том-то и соль. Через месяц собираемся на оленя. Пошел бы с нами?

— А вы все вчетвером?

— Нет, Илль этого не любит.

— Странно. Можно подумать обратное. А ее брат?

— Какой брат?

— Туан,— сказал я не очень уверенно.

— Какой он к черту брат. Просто смазливый парень. Да они и не похожи. А стреляет он здорово, у него музейный винчестер. Так договорились?

Я кивнул.

— И вообще, переходил бы ты сюда. Мне позарез нужен еще один кибер-механик. А?

Я покачал головой.

— Нравится в Егерхауэне?

— Да,— сказал я твердо.— Мне там нравится, Джабжа.

Он посмотрел на меня и не стал больше спрашивать. Удивительно понятливый был парень.

Я взял за хвостик самую крупную земляничину и начал вертеть ее перед носом. Как все просто было в этой Хижине. Ужины при свечах, охота, винчестер вот музейный... Словно то, что потрясло все человечество, их совсем не коснулось. А может быть, они и не знают?..

— Послушай-ка, Джабжа, а все вы действительно знаете *это?*

— А как же,— он прекрасно меня понял и совсем даже не удивился.

— И кому это первому пришло в голову обнародовать такие данные? Самому Эрберу?

Теперь он посмотрел на меня несколько удивленно.

— Интересно, а как ты представляешь себе это самое: «обнародовать»? Может, ты думаешь, что на домах списки развесили или повестки разослали: «Вам надлежит явиться туда-то и тогда-то для ознакомления с датой собственной кончины...» Нет, милый. Что тогда творилось — описанию не поддается. Съезд психологов, конференция социологов, фонопленум археопсихологов, конгресс нейрологов, симпозиум невропатологов; всеземельные фонореферендумы шли косяком, как метеоритный поток. Страсти кипели, как лапша в кастрюле. И только когда абсолютное большинство высказалось против консервации пресловутых данных и за проведение опыта на строго добровольных началах — только тогда Комитет «Оператора» принял «Постановление о доступе к сведениям...»— вот такой талмуд. Читался, как фантастический роман,— сплошные предостережения типа: направо пойдешь — сон потеряешь, налево пойдешь — аппетит потеряешь, прямо пойдешь — девочки любить не будут...

— И все-таки ты пошел?

— Дочитал — и пошел.

— Ох, и легко же у тебя все выходит... Но кто-то не пошел?

— Естественно.

— И много таких?

Джабжа слегка пожал плечами:

— Кроме тебя, в Егерхауэне трое. И все знают. У нас тут четверо. И тоже все знают. Ведь все-таки «Оператор» нес колоссальное Знание. Его надо было взять и покрутить так и эдак — посмотреть, какой из него может получиться прок.

— Эксперимент на человеке.

— Зато какой эксперимент! И ты отказался бы?

— Я поставил бы его на себе. Только на себе.

— Ага! Вот мы и дошли до истины — на себе. На деле так и оказалось — каждый решил поставить его на себе. Читал ведь, наверное, у себя на буе всякую беллетристику про Последнюю Мировую, и все такое? Помнишь: выходит командир перед строем и говорит: это нужно, но это — верная смерть. Кто? И вот выходят: первый, второй, третий, а там сразу трое, четверо, семеро, и вот все остальные делают шаг вперед — и снова перед комиссаром одна шеренга. У вас в такой шеренге — трое. У нас — четверо. Где-то, может, и никого. А где-то — тысячи, миллионы.

— Тогда надо было выбрать из них некоторых.

— Некоторых? Любопытно. Каких же это — некоторых? Кто взял бы на себя — выбрать Лакоста, а мне сказать: ты, братец, не годишься! Или наоборот. В том-то и дело, что в этом строю все были равны, слабых не было. В истории человечества наступали моменты, когда люди, все до

одного, уже что-то умели. Вот они все — абсолютно все — стали ходить на двух ногах. А вот все начали разговаривать. Все, но с переменным успехом, потопали по ступеням цивилизации. И вот наступил момент, когда все люди на Земле стали членами коммунистического общества. И дело тут не в общественной формации — изнутри человек стал другим. Словно его из нового материала делать стали. Вот и пришли мы к тому, что для эксперимента Эрбера годились все.

— Все это общие рассуждения,— прервал я его.— Я-то живу с этими тремя, мне виднее. Не говоря о том, что я не допустил бы к сведениям женщин и детей, я бы еще посмотрел и на Элефантуса, и на Патери Пата...

— Насчет женщин и детей это ты брось. Детям никто ничего не сообщает, обращаться в Комитет можно только после шестнадцати лет, это уже не детский возраст. А женщины посильнее нас с тобой. Что же касается доктора Элиа и твоего Пата, то ты, братец, хоть с ними и живешь почти под одной крышей, а смотришь на них только со своей колокольни. Ты совсем недавно узнал об «Оваторе», а для них это — давно пережитое. У них, может, пострашнее теперь заботы. Так что ты приглядись к ним, подумай.

— И все-таки это негуманно, Джабжа...

— Негуманно...— он пожевал губами: гуманно или негуманно? Слово и в самом деле удивительно годилось для пережевыванья и от многократного повторения стремительно теряло свой смысл.— Ну, ладно, совершим еще один экскурс в Последнюю Мировую. Представь себе, что человек вылезает из окопа и становится под пулеметную очередь. Это как?

— Если этого требовало...

— Ты не крути. По отношению к нему самому — это как, гуманно?

— Куда уж!

— Вот и я так думаю. А он, между прочим, из окопа все-таки вылезает и закрывает вражеский пулемет — собой. Так что давай кончим о гуманизме. Сейчас человечество оказалось перед теоремой. Дано — Знание. Требуется доказать — нужно ли это знание людям? И нет другого доказательства, как вынести все это на своих плечах. Донести до самого последнего, скинуть к чертовой матери и сказать...

— Не нужно!— крикнул я.

— Ишь как скоро. Эксперимент все еще идет. И остановить его нельзя, пока жив на Земле хоть один человек нашего поколения.

— Ты же сам сказал, что могут не все знать. Так что не все поколение.

— Нет, брат, именно поколение. Помнишь — поколение первой революции, гражданской войны, освоения космоса. И не важно, сколько там в процентах шло под красным флагом, носило шинель, летало в межпланетных кораблях. Важно, что были такие поколения. А иначе — как их различать? По годам? Отсчитал два десятка, и готовое поколение? Нет, брат. Поколения, прости ты меня за громкие слова, по подвигам отмечают. А подвиг — это попросту, по-человечески,— когда до́ смерти страшно и трудно, и все равно делаешь. Не знаю, как там в истории нас будут величать, но мы, по-моему, имеем право на то, чтобы считаться поколением.

Я посмотрел на него — кто его знает, может, они тут умели держать себя в руках, но как-то не вязалась его простодушная рожа со словом «подвиг».

Мы оба поднялись.

— Ну, я поехал.

Мы вышли на площадку. Два мобиля — один тяжелый, набитый ро-

ботами и всяким снаряжением, а другой желтый, одноместный, дежурили у двери.

Джабжа подал мне ручищу, поросшую рыжей шерстью, выдохнул мощную струю теплого воздуха и сказал:

— Вот что... Когда твое восхищение Егерхауэном дойдет до предела, вызывай Хижину, мобиль и лети сюда. Салют, Рамон...

— Салют, Джошуа.

— Джабжа,— сказал он и расплылся.— Джа-бжа.

Я забрался в машину. Мои лыжи лежали на полу. Мир был желт и чист, словно я сидел в банке с медом и смотрел из нее на оседающие подо мной горы. Хижины уже не было видно — ее скрыли облака.

— Я не опоздал?— спросил я просто потому, что ничего другого не догадался придумать, пока летел.

— Нет,— сказала она и направилась к веранде, на которую подавалась еда.

Я пошел следом, полагая, что двойной завтрак — не столь суровая расплата за беспутно проведенные полсуток.

Я старательно запихивал в себя все, что имел глупость заказать десять дней назад.

Сана пристально смотрела на меня:

— Тебе нездоровится?

— Что ты. Просто я уже перекусил там.

— Тогда не будем терять времени,— сказала она, поднимаясь.— Я ведь тоже уже позавтракала.

Я прекрасно понимал, что это неправда.

— А мне нравится,— упрямо сказал я и продолжал давиться какой-то гнусной рыбой.

Она стояла, опершись на стол, и спокойно смотрела на меня.

Великое Знание, думал я с горечью. Великое Знание, принятое на свои плечи сильными мира сего. Посмотрел бы Джабжа на эту сцену... А ведь Знание — оно действительно велико и могуче. Если бы я был сейчас свободен, я уже летел бы к Кипру, чтобы на себе испытать, что же оно дает. Я не сомневался, что дать оно может очень много. Вопрос в том — кому? Может быть, Джабжа именно поэтому и стал таким, какой он есть. И Лакост именно поэтому создал своего мифического «Леопарда». Илль и Туан не в счет — они еще дети, они еще над всем этим не задумывались. Но когда задумаются — это сделает их более сильными, цельными, настоящими. Я в этом тоже не сомневался.

Но зачем это Сане? Чтобы иметь право мучить меня своей заботливостью? Чтобы мягко напоминать мне, что я должен идти на прогулку, и повязывать мне на шею теплый шарф, и потом сходить с ума от беспокойства, и встречать так, как она сегодня встретила меня, и снова отпускать, и снова притягивать обратно...

Я сделал последнюю попытку:

— Садись и ешь. Когда на человека смотрят, у него пропадает аппетит.

Она и не подумала сесть. Я швырнул вилку и молча пошел в кибернетическую. Ее платье шелестело за моей спиной.

Вдоль стен стояли какие-то развалины внушительных размеров.

— Это еще что за сюрпризы?

— Кибер-диагностики старого образца, без имитирующих схем. Диа-

гностики в прямом смысле — без методики лечения. Определение самого факта заболевания. Я думала, что на первых этапах они могут натолкнуть тебя на некоторые мысли.

Я был не против того, чтобы у меня появились хоть некоторые мысли. Я подошел к первому попавшемуся киберу и сделал вид, что разбираюсь в его схеме. Хорошо, что Сана была врач, а не механик. Отвертки в руках было мне достаточно, чтобы создать видимость рабочего состояния. Когда прошло минут пятнадцать, я взглянул на Сану. Она не собиралась уходить. Она подключилась к самому грандиозному из этих бронтозавров и сосредоточенно слушала поспешный щебет, доносившийся из фоноклипсов. Кажется, мое пожелание — работать вместе — с сегодняшнего утра будет выполняться.

Отступать было некуда, и я занялся схемой своего старика. Бог мой! Это был целый кибернетический город. Сочетание медицинского факультета с целым университетом — никчемные программы физики, математики, биологии, даже философии. Если бы не умение делать уменьшенные копии схем — такая машина заняла бы не меньше кубического километра. Пусть же ее посмотрит Педель и выберет, что нам подойдет.

— Сана, а где Педель?

— Он тебе нужен?

— Разумеется, я без него, как без головы.

— Кажется, он остался там.

— Не может быть. Я же велел ему следовать за тобой!

— Патери Пат его выключил.

Я не стал спрашивать, почему, чтобы не нарваться на нежелательные вопросы. Сана вышла послать дежурного «гнома» за Педелем.

Педель явился через десять минут. Саны не было. «Ага,— подумал я.— Роли переменились. Теперь за мной будет следить он».

Я подошел и ввернул на его брюхе лампочку биопередачи. Но она не загоралась. Это еще ничего не доказывало — он мог запоминать.

— Как прогулялся?— спросил я его.

— Не помню, был отключен. Включила только что Сана Логе.

— Послушай-ка,— я решил его спровоцировать.— Если бы какому-нибудь человеку для нормальной деятельности были необходимы ежедневные прогулки, лыжные например, и человек бы их совершал — как ты думаешь, он делал бы это оттого, что он должен, может или хочет?

— Должен,— не раздумывая, изрек он.— Человек должен поддерживать способность ежедневной активной деятельности.

— Ну, спасибо, ты меня успокоил,— я казался себе последним подлецом.— Что у тебя в программе на сегодня?

Программа его была обширной, и я велел ему заниматься делом. Бедная рыжая скотинка. Когда-то разговоры с тобой развлекали меня, хоть ты и не был для меня подобием человека, как для Саны. С тобой мне было лучше, чем с некоторыми людьми. Но вот я встретил настоящих людей, и ты стал мне не нужен. Сейчас ты просто не нужен мне, но придет день, и я почувствую, что ты — мой враг. Ты — с ними, с Патери Патом, с Элефантусом и... с Саной. Ты их дитя. Нет. Ты их выкормыш. Ну, работай, работай. Киберврат.

Педель кротко хлопотал над нашей схемой и вряд ли подозревал, что я объясняюсь ему в ненависти. Просто я сегодня спал всего около трех часов, надо было послать его подальше и завалиться где-нибудь в уголке. Но вдруг войдет Сана, и тогда придется объяснять, что я делал всю ночь, и пересказывать наши разговоры, а я чувствовал, что никогда этого не смогу сделать. Я уселся в кресло с книгой в руках и вытянул ноги. Ко-

нечно, два механика на один заповедник — капля в море, даже при самых совершенных подсобных роботах. Какая у них должна быть система сигнализации! Подумать страшно. Как бы Джабжа не нашел себе механиков, не дождавшись того времени, когда я смогу свободно распоряжаться собой. Не могу же я сказать ему, что привязывает меня к Егерхауэну. Хотя я не думал, что смогу говорить с чужими людьми о тех, четверых, а вот смог — и словно вылечился. Джабжа... В колледже мы называли таких «дворнягами». А из них вот кто вырастает.

Вошла Сана. Я едва успел ткнуться носом в книгу. И потом так непринужденно обернулся:

— Что, обедать?

— Нет еще.

О, четыреста чертей и спаржа в майонезе, как говорили уважающие себя пираты. Да кончится ли этот день?

Я тупо смотрел на Сану, которая задавала Педелю какие-то расчеты. Через месяц — охота на оленя. Мы договорились.

Я засучил рукава и пошел работать уже по-настоящему. Месяц можно было потерпеть.

За обедом молчали. Я невольно спрашивал себя, знают ли все о моем ночном приключении? Говорить первым я не хотел, чтобы не сесть в лужу, а вдруг они не знают, и я сам напрошусь на нежелательные расспросы. Патери Пат ел быстрее обычного и не смотрел в мою сторону. Наверное, догадался о моей вчерашней попытке сделать из Педеля шпиона. Иногда обменивались беглыми фразами о погоде — теперь-то я понимал, что здесь, на территории заповедника, это не банальный разговор, а важная информация, от которой зависят многочисленные группы людей, бредущих сейчас снежными альпийскими тропами.

Меня удивляло только одно: почему этих людей, собравшихся за обеденным столом Егерхауэна, так интересовали судьбы незнакомых альпинистов? Ведь я испытал на себе, что на простое человеческое участие у них не хватает времени. Традиционная тема? Пожалуй.

Я смотрел на Элефантуса, грустно шевелящего огромными ресницами. Он как раз говорил об обвалах. Обвалах, возникающих от громкого звука — выстрела например. Как же это я согласился пойти на охоту, не умея стрелять? Запасное оружие у них, несомненно, есть; научусь я быстро, сеанса за два-три. Значит, мне нужно слетать туда и взять первый урок.

Десерт я доел с аппетитом, явно порадовавшим Сану. Мы вернулись к себе, я прогнал Педеля, крутившегося у меня под ногами, и начал тренировать схему на простейшие задачи. Как ни странно, все шло хорошо. К вечеру Сана уже беспокоилась:

— Но разве так можно?— мягко выговаривала она мне.— Все утро только делал вид, что разбираешься в схемах, зато вечер проработал с утренней интенсивностью. А прогулка?

— В конце концов, могу я сам решить, что мне делать, а что — нет?

— Я не об этом. Ты изматываешь себя...

— Мне просто не хватает времени. От ежедневных прогулок придется отказаться, в лучшем случае я смогу выходить на лыжах один-два раза в неделю, но часа на четыре.

— Разумеется. Не забывай только «микки».

— Конечно, не забуду. Ты ведь знаешь, что я без няньки ни на шаг.

— Я плохая тебе нянька, милый...

— Плохая. Злая. Неласковая. Ворчливая. Вот.

— Как быстро дети вырастают из своих игрушек и своих нянек...

— А давай сделаем все наоборот. Я сам стану тебе нянькой. И, честное слово, я уж не отпущу тебя никуда одну. И не позволю работать невыспавшейся. И не уложу спать непрогулянной...

Она вдруг побледнела.

— Нет, нет, если можешь — пусть все останется, как есть...

И снова я не мог понять — читаю ли я ее мысли, или это моя фантазия, но мне отчетливо послышалось дальше: «Если ты будешь нянчиться со мной, носить меня на руках, баюкать меня — я буду каждую минуту чувствовать, что умираю».

— Ну, ладно,— сказал я ласково.— Все остается по-твоему. А я хочу спать, нянюшка.

Я долго гладил ее золотые волосы, гладил даже тогда, когда она уснула. Потом уснул и я. Но во сне мне явилась черная девочка, и я был не рад ее приходу. Она сидела на спине огромного оленя, обнимала его за шею и говорила: «Он у меня хороший», и я не мог понять, как она может говорить так об олене — ведь он ей вовсе не брат...

На другой день Элефантус, Сана и Патери Пат, наконец, разрешились. Это, правда, была только часть того, что я должен был закодировать, даже не половина — только симптоматика, но все равно это была уже активная работа, и я вздохнул свободно.

Для Саны наступили блаженные дни — она могла кормить меня с ложечки. Я буквально не выходил из кибернетической, куда все прибывали и прибывали старые и новые машины. В основном это были кибердиагностики, или киды, по важнейшим видам облучения. Она-то знала их прекрасно, хотя где она могла с ними сталкиваться? Как-то я не выдержал и спросил ее об этом. Сначала она сделала вид, что не расслышала, а потом сказала как-то вскользь, что последние годы заведовала радиационной лабораторией Сахарского космодрома.

Работы все еще было по горло, и Сана все стояла у меня за спиной с той именно лентой, которая могла мне понадобиться в ближайшую секунду, с бутербродом или свитером, и я примирился со всем этим.

И вдруг все кончилось. Мне казалось, что остановка только за мной, а на деле выходило, что я торопился впустую, так как дальнейшая программа не составлена еще и вчерне и ожидаются материалы из Колхарана и Мамбгра.

Сана предложила мне продолжить теоретические занятия с Педелем. Я довольно резко ответил, что он слишком перегружен подсчетом всех поглощаемых мной продуктов. Сана посмотрела на меня укоризненно и заметила, что не может делать это собственноручно только потому, что не располагает достаточным математическим аппаратом.

Я облегченно вздохнул — наконец-то у Саны пробудилось чувство юмора. Я не удержался и спросил, за кем еще из ее сахарских космонавтов она ходила с бутербродами и теплыми набрюшниками. Сана опустила голову.

— Я чувствовала, что рано или поздно ты задашь мне этот вопрос,— сказала она тихо.— Эти одиннадцать лет я выполняла свой долг. И только. Я никого не любила кроме тебя, Рамон.

Я сжал кулаки. Ну что я мог сделать?

Больше у меня не появлялось желания напоминать ей о прошлом.

К концу обеда на третий день моего вынужденного отдыха я не выдержал.

— Послушай, Патери,— сказал я за обедом.— Может быть, ты передашь мне некоторые материалы, не дожидаясь тех, что должны прибыть с востока? Не беда, если там не все будет доработано — Сана исправит на месте.

Патери Пат вскинул голову. Лицо и шея его стали вишневыми, багровыми и, наконец, ослепительно алыми, как свежеободранная говядина.

— Если ты страдаешь от избытка свободного времени,— ответил он сквозь зубы,— можешь прогуляться на лыжах. У тебя это здорово получается.

Он уткнулся в тарелку и торопливо доел, шумно дыша и сминая скатерть. Быстро встал, отвесил неопределенный поклон и вышел. Его черный «бой» засеменил за ним.

По тому, как посмотрели друг на друга Сана и Элефантус, я понял, что они тоже ничего не понимали.

Не завидовал же он мне в конце концов?! А может, он так же, как и я, хотел бы сейчас не знать?..

Меня утешало то, что Патери Пат считался в какой-то степени талантом или даже гением, а таким даже положено быть немножко свихнувшимися.

Я преспокойно доел свои черешни и повернулся к Сане:

— Благими советами нужно пользоваться. Отдохнем немного, и — в горы. Только учти, что на сей раз я без тебя не пойду.

Сана беспомощно развела руками:

— Я не экипирована.

— Какая жалость!— я состроил постную рожу.— Ну, идем, мне придется поделиться с тобой одной лыжей.

Она тревожно глянула на меня. Попрощалась с Элефантусом. Молчала всю дорогу.

Дома я пропустил ее вперед, а сам задержался в маленьком холле. Педель, неизменно сопровождавший нас всюду, въехал в дом и покатился было на рабочую половину, но я его остановил:

Педель,— сказал я тихо,— мои лыжи, палки и ботинки, и еще одни лыжи, палки и ботинки, те, что поменьше, в той же кладовой.

Он стоял передо мной навытяжку.

— На складе Егерхауэн-юг-два имеется только одна пара лыж, палок, ботинок.

— Что ты врешь, милый?— удивился я.— Они лежат рядом, я сам видел. Ты просто забыл.

— Совершенно верно. Забыл.

— Так принеси обе пары.

— Не могу. Помню только об одной. Другой на складе Егерхауэн-юг-два не имеется.

Мне не хотелось лезть самому. К тому же мне хотелось переиграть того, кто хотел меня обмануть.

— Совершенно верно,— сказал я.— Ты не можешь помнить о второй паре. Ее до сих пор и не было. Я положил ее туда сегодня утром. Понял? Я положил, это мое. Ты увидишь их, запомнишь, что обе пары мои. Так вот, принеси их мне.

Через минуту Педель приволок то, что мне было нужно.

— А теперь пригласи сюда Сану Логе.

Когда она вошла, я обернулся к ней с самым невинным видом:

— Посмотри-ка, что нашел Педель. Вот умница! Я уверен, что все будет тебе как раз впору.

Сана величественно повернулась к роботу:

— Ступайте, Педель, продолжайте работу.

Я чуть не фыркнул. Я думал, что она удивится,— кто же, если не она, мог приказать Педелю забыть? А она отправила его с видом герцогини, выставляющей дворецкого, чтобы устроить сцену своему дражайшему супругу по всем правилам хорошего тона — наедине.

Но она опустилась в кресло и молчала, глядя на меня спокойными жуткими глазами. Она умела смотреть так, что пол начинал качаться под ногами.

— Рамон,— сказала она наконец.— Во имя той любви, которая была между нами десять лет назад и которая не сумела пережить этот срок, я прошу тебя: разреши мне дожить этот год только здесь и только с тобой.

Я схватился за голову. Я толкнул камень, и покатилась лавина. Я мог вынести одиннадцать лет заточения, но эта патетика на горнолыжные темы...

— Ты хочешь увести меня обратно в мир, из которого я ушла к тебе. Ведь я столько лет ждала тебя, Рамон, что не могла делить свои последние дни между собой и кем-то другим. Я хочу быть только подле тебя, и ты мне нужен сильным, полным жизни. У тебя есть все — любимая работа, уютный дом, заботливые руки и снежные горы. Живи, мой милый. Работай, забывая меня,— тогда я смогу тебе помочь. Владей этим домом,— я буду украшать и убирать его. Уходи в горы,— я стану ждать тебя, потому что уходящий и приходящий дороже во сто крат живущего рядом. Но не зови меня с собой.

Я знал, что я должен подойти к ней, театрально грохнуться на колени и, спрятав лицо в складках платья, клясться не покидать ее до последних минут...

Я сдернул со стены «микки» и, как ошпаренный, вылетел из дома. Шагов через пятьдесят опомнился и присел на камень. По фону вызвал Педеля со всеми своими палками и свитерами и в ожидании его съежился под пронзительным весенним ветром. Черт побери, до чего люди всегда умели портить все вокруг себя! Кто бы мне поверил, что после всего этого я еще продолжал ее любить. Я сам бы не поверил. Но я ее все еще любил. Я знал, что говорить ей об этом — бесполезно, потому что она примет это лишь как утешение, а выдумывать что-нибудь я сейчас просто не мог. Сил не было. Потому что я ее любил.

ГЛАВА VII

Я мчался вперед, словно за мной по пятам гнались изголодавшиеся леопарды. Проскочил лес с такой скоростью, что за мной стоял туман осыпающегося с елей снега. Оглянулся. Нет, рано — мобиль, спускающийся сюда, будет виден из Егерхауэна. Я круто свернул влево и понесся вниз по склону. Скорость была сумасшедшей даже для такого безопасного спуска. Но я его хорошо знал. Постепенно я начал тормозить. Потом резко поставил лыжи на ребро и остановился.

«Хижина... Хижина...» — вызывал я, поднеся «микки» к самому рту, так что он стал теплым и матовым.

«Хижина слушает. Чем могу помочь?» — раздался металлический голос.

Ну, конечно, при экипаже в четыре человека дежурить у фона людям было нецелесообразно. Вероятно, роботы рассматривали все поступающие сообщения и только в крайних случаях подзывали людей.

«Прошу одноместный мобиль на пеленг,— сказал я.— Пеленг по фону».

И запустил «микки» на пеленговые сигналы.

Облаков не было, и Хижину я увидел издалека. Она стремительно неслась мне навстречу. Тонкая черная фигурка выплясывала на площадке какой-то дикий танец. Разумеется, это могли быть или Туан, или Илль. Я потянулся к щитку и поймал по фону Хижину. Из черного диска полетели восторженные вопли: «Эй, вахта, поднять сигнальные огни! На горизонте один из наших кораблей!»

Мобиль шлепнулся у самых ее ног.

— Скорее!— кричала она.— Именно сегодня вы нам нужны вот так! Ну, вылезайте, вылезайте, а то он сейчас вернется.

Именно сегодня я и не был расположен прыгать, как весенний зайчик. Мне хотелось излиться. Я хотел Джабжу. Мне нужна была его жилетка. Я вылез и начал ворчать:

— Благовоспитанная горничная не свистит в два пальца при виде гостя, словно юнга на пиратском корабле, а складывает руки под передником и вежливо осведомляется, что посетителю угодно.

— Ладно, ладно, будет вам и благовоспитанная горничная, будет даже чепчик, а сейчас ступайте вниз — нам не хватает механика.

Она схватила меня за руку и потащила в узкую щель двери.

— Скорее, скорее,— она бесцеремонно втолкнула меня в кабину грузового лифта.— Мы хотим успеть, пока не вернулся Туан...

— А чем я могу быть полезен?

— Что-то не ладится с блоком звукового восприятия.

— У кого?

— У Туана.

Я не успел переспросить, как лифт остановился, и Илль потащила меня дальше, через обширные помещения, которые, насколько я мог догадываться, были аккумуляторными, кибернетическими, кладовыми и киберремонтными. Наконец, в небольшой комнате с голубоватыми мягкими стенами я увидел остальную троицу. Лакост и Джабжа наклонились над сидящим в кресле Туаном и, кажется, причесывали его, помирая со смеху. Илль подбежала и залилась так звонко, что я сам ухмыльнулся.

Наряд Туана меня потряс. Весь в белых блестящих доспехах, особенно подчеркивающих его стройность, в белоснежных замшевых перчатках, обтягивающих кисть, которой позавидовала бы и сама Илль, он развалился в кресле, предоставив товарищам подвивать и укладывать свою роскошную бороду. Аромат восточных духов плыл по комнате. Я смотрел на него и не мог понять — на кого он больше похож: на прекрасного рыцаря-крестоносца или на не менее прекрасного сарацина?

— Подымись, детка, и приветствуй дядю,— велел Джабжа и дернул Туана за роскошный ус.

Туан выпрямился.

Я обомлел. Это было Туан и не Туан. Это был самый великолепный робот на свете, с самой конфетной, слащавой физиономией, от которой настоящему Туану захотелось бы полезть на стенку.

«Туан» отвесил сдержанный, исполненный благородства поклон. Чувствовалась дрессировка Лакоста.

— Ну?— спросила Илль.

— Выставьте его в парикмахерской,— посоветовал я.

— Жаль, нет всемирной ассоциации старых дев,— сказал Лакост.

— Он фигурировал бы на вступительных испытаниях,— подхватил Джабжа.

— Мальчики, отдайте его мне,— потребовала Илль.— Ручаюсь, что снова введу идолопоклонство.

— Это все очень весело, но он работает нечетко. Рамон, вас не затруднит покопаться в одном блоке?

И мы с Лакостом бесцеремонно влезли в белоснежное брюхо этого красавца.

С полчаса мы доводили его до блеска, изредка перекидываясь шуточками. Мальчик заработал, как хронометр. Насколько я понял, он предназначался для простейших механических работ, но основной его задачей было дублировать Туана в его инструкторской деятельности. Для этого он намотал на свой великолепный ус не только пособия и инструкции по альпинизму и горнолыжному спорту, но также архивы базы со дня ее основания и все исторические документы, относящиеся к Швейцарскому заповеднику, что на деле оказалось потрясающим перечнем трагических событий, случившихся в этих горах. Нечего говорить — это был эрудированный парень.

Мы кончили возиться с ним как раз к тому моменту, когда раздался металлический голос:

— Мобиль «хром-три» прибыл на стартовую площадку.

Мы переглянулись.

— Свистать всех наверх!— сказала Илль громким шепотом, словно с площадки нас можно было услышать.

В одно мгновенье мы были в том небольшом зале, отделанном бревнами, где я провел свою первую ночь в Хижине.

Туан вошёл одновременно с нами в противоположную дверь.

— Где это вы пропадаете все хором?— подозрительно спросил он.

Было похоже, что последние дни повлияли на его характер не вполне благотворно.

— Да вот, знакомили гостя с помещением,— Джабжа растянул рот до ушей.

Туан пошел навстречу мне с протянутой рукой:

— Вот здорово! А мы вас вспоминали.

Мне стало приятно оттого, что меня вспоминали здесь.

— Новости есть?— спросил он встревоженно.

— Да, и неутешительные. Тебе придется вылететь на шестнадцатый квадрат,— тоном начальника, не терпящего возражений, проговорил Джабжа.

— А что, их завалило?— с надеждой поднял на него глаза Туан.

Теперь я понял, в чем дело. Это были все те же, не моложе восьмидесяти лет.

— Еще нет,— отвечал неумолимый Джабжа.— Но они ждут этого с минуту на минуту. Учитывая их возраст, нельзя отказать им в любезности, о которой они просят.

— Что еще?

— Ты должен провести их через перевал сам.

— Я — альпинист, а не дамский угодник, а перевал — не место для прогулок. И никаких уважаемых дам я не поведу!..

— Поведешь!

— Пари!

— Десять вылетов.

— Ха! Двадцать! И приготовь свой мобиль.

Джабжа повернулся к двери.

— Туан!— крикнул он, и дверь тут же отворилась.

Мы были подготовлены к этому зрелищу, и все-таки что-то в нас дрогнуло. На пороге стоял Туан, устремив вперед задумчивый взгляд прекрасных карих глаз. Нежнейший румянец заливал его щеки там, где они не были прикрыты бородой.

Илль высунула кончик языка.

— Туан,— сказал Джабжа, и глаза робота, мерцая золотистыми искрами, как у дикого козла, повернулись и уставились в ту точку, из корой раздался звук.— Поди сюда, ты нам нужен.

Твердыми шагами робот пересек комнату и остановился перед Джабжой. Походка его была сдержанна и легка. От каждого его движения до того несло чем-то идеальным, что невольно хотелось причмокнуть.

— Чем могу служить?— раздался голос «Туана».

У настоящего Туана отвисла челюсть.

— Вылетишь в шестнадцатый квадрат, встретишь группу альпинистов (раздался хоровой вздох), ознакомишь их с обстановкой и проведешь через перевал. Как только перейдешь границу квадрата — вернешься сюда. Что-нибудь не ясно?

— Ясно все. Какой мобиль могу взять?

— «Галлий-один». Метеосводки блестящие, получишь их в полете. Запросишь сам.

— Могу идти?

— Ни пуха ни пера. Ступай!

Еще один безупречный поклон, и двойник Туана исчез за дверью.

— Душка!— не выдержала Илль, посылая ему вслед воздушные поцелуи.— Пупсик! Котик!

Джабжа похлопал по плечу истинного Туана:

— И приготовь свой мобиль...

Туан, пошатываясь, поднялся во весь рост и начал демонстративно выщипывать волоски из своей бороды.

— Раз,— считал Лакост,— два, три, четыре, пять, шесть...

— Больно,— сказал Туан и махнул рукой.— Сейчас сбрею.

— Туан!— взвизгнула Илль, бросаясь к нему.— Только не это!.. Вспомни о своей незнакомке. Ради нее ты обязан нести бремя своей бороды.

— Ну, будет, будет,— Джабжа поймал ее за черные пальцы.— Борода входит в инвентарь Хижины и поэтому остается неприкосновенной. А теперь нелишне было бы спросить, с чем пожаловал к нам высокий гость?

В двух словах я поведал свои опасения относительно неумения владеть огнестрельным оружием. Джабжа нахмурился.

— Все-то теперешней молодежи кажется так легко...— я был уверен, что старше его лет на пять — семь.— За один месяц ты, конечно, научишься бить бутылки, да и то, если будешь делать это ежедневно. Но на оленя я тебя с собой не возьму. А теперь пойдем, побалуемся. А ты, стриж, позаботься об ужине.

Илль вскинула ресницы и усмехнулась. Мне почему-то показалось, что если бы она захотела, она смогла бы шевелить каждой ресницей в отдельности.

Мы вышли на площадку. Я не то, чтобы боялся высоты, а как-то не очень радовался перспективе иметь под ногами у себя метров пятьсот свободного вертикального полета. К тому же, я не видел мишени, по которой можно стрелять. Разве что по облакам.

— Пошли!— крикнул Джабжа, но я понял, что это относится не ко

мне. И действительно, справа и слева от нас поднялись два маленьких мобиля, между которыми была натянута веревка. На веревке раскачивалась дюжина бутылок. Мобили повисли метрах в тридцати от нас.

Должен сказать, что этот день был днем разочарования не только для Туана. Я сделал около пятидесяти выстрелов по облакам, четыре по правому мобилю, два — по левому, и один — по бутылке. Зато в самое горлышко.

— М-да,— сказал Джабжа и начал объяснять мне, как нужно заряжать и разряжать пистолет.

Я быстро усвоил это и, взяв пистолет, не задумываясь выстрелил ему в ногу, руку и голову. Если бы я сделал это столько же раз, как по облакам, я непременно попал бы, тем более, что стрелял почти в упор. Он еще раз все объяснил мне и стал за моей спиной. После трех безуспешных попыток самоубийства я пожал плечами и вернул ему пистолет. Он спрятал его в карман и коротко, но выразительно высказал мне свою точку зрения на то, что будут делать роботы за нас в ближайшем будущем, если мы и впредь будем так пренебрегать физическими упражнениями.

После этого мы вернулись к обществу в прекрасном расположении духа и с возросшим аппетитом.

Общество состояло из двух медвежьих шкур и Лакоста поперек них.

— Ну, как?— он поднял голову от книги.

— Я утвердился в своих пацифистских тенденциях,— сказал я, чтобы смеяться первому.

Но Лакост, по-видимому, истощил свое остроумие на Туане и теперь мирно прикрывался книгой. Я не думаю, что здесь стали бы щадить гостя. Просто на сегодня уже хватит.

Стол был уже накрыт. Никаких изысканных кушаний, вроде жаркого из медвежатины, не наблюдалось, но во всей сервировке чувствовалась та грациозная небрежность, которая сразу отличала этот стол от Егерхауэнского, где все готовилось и подавалось роботами.

— Уже явились?— раздался из-за двери звонкий голос Илль.— Отворите-ка поскорее, мне рук не хватает.

Я бросился к двери, толкнул ее — и остолбенел во второй раз за этот день. Илль скользнула в комнату, с трудом удерживая пять или шесть тарелок.

Но как она была одета!

Она была в длинном и шуршащем.

Она была в белоснежном переднике до полу.

Она была в чепце.

Но ни Джабжа, ни Лакост не только усом не повели, но даже не полюбопытствовали, какое впечатление произвел на меня сей маскарад.

«Не мешать друг другу делать глупости — закон этой Хижины»,— вспомнились мне слова Илль.

Она глянула на меня так застенчиво, словно я был знаком с ней всего несколько минут и мог этому поверить, потом спрятала руки под передник и снова исчезла.

Мужчины двинулись к столу. Снова появилась Илль и передала им дымящийся кофейник. Присела на свое обычное место, подперла щеку обнаженной до локтя рукой. Ждали Туана.

— Благодетели!— завопил он, врываясь в комнату.— Нет, это надо видеть своими собственными глазами. Они сбились в кучу, а он перед ними жестикулирует с яростью христианского проповедника. Похоже, что он выкладывает им все трагические истории, происшедшие на этом перевале! Я бы дорого дал, чтобы услышать, что он там импровизирует.

— Бери даром,— сказал Лакост.— Мы учли твое любопытство, и на первых порах все его проповеди записываются. Нужно только подождать, когда он вернется,— вот тогда будет потеха.

Как я и предполагал, на станции велись наблюдения за любым уголком заповедника. Интересно, территория Егерхауэна так же свободно просматривается? Надо будет спросить при случае.

Туан обеими руками пригладил волосы, одернул свитер — сегодня в форме был Лакост — и блаженно вытянулся в кресле. Илль подвинула ему тарелку и улыбнулась той странной, милой и застенчивой улыбкой, которую я никак не хотел принимать всерьез. Но остальные отнеслись ко всему, как к должному, и мне не оставалось ничего, как только поглощать ужин и исподтишка разглядывать ее наряд.

Розовый атласный чепец с двойным рядом старинных кружев и лентой цвета голубиного крыла совершенно скрывал волосы, зато белая легкая косынка оставляла открытой шею, обычно до самого подбородка затянутую триком.

Атласная куртка, или блуза, или жакет, — бог их знает, женщин, как они это называли,— была цвета старого пива, и рукава, поднятые выше локтя, чтобы не окунуть их в какой-нибудь соусник, позволяли видеть узенькие манжеты нижней блузки, к моей досаде, закрывавшей локти. Концы косынки уходили под четырехугольный нагрудник передника, неизвестно на чем державшийся. Юбки мне не было видно, но я помнил, что она была серая, и все время тихонечко поскрипывала под столом. Крошечные изящные ботинки были совершенно гладкие, без украшений. В сущности, все очень просто. Если не вспоминать о том, что в любой момент может раздаться тревога и нужно будет вылететь на место какого-то несчастного случая. Но если отвлечься от гор и пропастей, то я находил спецодежду горничных Хижины просто очаровательной.

Оказывается, играла музыка. Дремучая старина — чуть ли не Моцарт. Я не заметил, когда она возникла, так естественна она была в этой обстановке. Тонкие руки Илль бесшумно царствовали в сиянье неподвижных язычков свечных огней. Я глядел на эти руки, и до меня медленно доходило, какой же потрясающей женщиной станет когда-нибудь эта девчонка, если уже сейчас она умеет так понять, что при всех распрекрасных дружеских отношениях в этом доме иногда тянет холодком бесконечного мальчишника; и она приносит им всю накопляющуюся в ней женственность, но мудро ограждает себя колдовской чертой неприкасаемой сказочности.

И сегодня рыцарем ее был Лакост, хотя она не выделяла его и не улыбалась ему больше, чем кому-нибудь, но что-то общее было в ее старинном костюме и его ультрасовременном трике с серебристым колетом, в подкладку которого так хорошо монтировались всевозможные датчики; может быть, несколько столетий тому назад она и выглядела бы в таком наряде, как служанка; но сейчас это была фея, и фея одного из самых высоких рангов. А Лакосту не хватало лишь ордена Золотого Руна. Разговор за столом велся вполголоса, я давно уже за ним не следил, и меня не тревожили, разрешая мне предаваться своим мыслям, и я удивлялся, как это в прошлый мой визит я мог подумать, что этот мальчик Туан имеет какое-то отношение к ней.

Ужин уже окончился, но никто не вставал: музыка не умолкала. Мы сидели за столом, но мне казалось, что все мы кружимся в медленном старинном танце, улыбаясь и кланяясь друг другу. И Илль танцует с Лакостом.

«А собственно говоря, почему меня так волнует, с кем она?» — поду-

мал я, и в ту же секунду глухие частые удары ворвались в комнату. Казалось, отворилась дверь, за которой бьется чье-то исполинское сердце. Но удары тут же приглохли, и на их отдаленном фоне зазвучал бесстрастный голос:

«В квадрате шестьсот два обвалом засыпана группа людей в количестве семи человек. Приблизительный объем снеговой массы будет передан в мобиль. Продолжаю ориентировочные расчеты. Необходим вылет механика и врача».

Лакоста и Джабжы уже не было в комнате.

Я посмотрел на Илль. На ее лице появилось выражение грустной озабоченности. И только. Она поднялась и стала убирать со стола. Туан тоже встал и, как мне показалось, неторопливо удалился в центральные помещения.

Наверное, все шло, как полагается, ведь не в первый же раз в заповеднике случается обвал. Но мне казалось, что все до единого человека должны начать что-то делать, бегать, суетиться. А они остались, словно ничего и не случилось. Илль унесла посуду и села у едва тлеющего камина, положив ноги на решетку.

— Сегодня много обвалов,— сказала она, кротко улыбнувшись, словно сообщала мне о том, что набрала много фиалок.

Я понял, что это — приветливость хозяйки, которой волей-неволей приходится развлекать навязчивого гостя. Я поднялся.

— Не уходите,— живо возразила она.— Вы ведь видите, меня бросили одну.

Как будто я не знал, что она одна-одинешенька лазает ночью по горам.

— Останьтесь же — солнце еще не село.

В прошлый раз я бы спросил: «А что мне за это будет?» — и остался бы. Сегодня я просто не знал, как с ней разговаривать,— у меня перед глазами стояло тонкое, чуть насмешливое лицо Лакоста. Я подбирал слова для того, чтобы откланяться самым почтительным образом и тем оставить для себя возможность еще раз навестить Хижину. Но вошел Туан.

— Почти ничего не видно — «гномы» поднимают стену снега. Лакост и Джабжа висят чуть поодаль и говорят, что все хорошо.

— Почему — висят?— не удержался я.

— Они не выходят из мобилей, так как никогда нельзя забывать о возможности вторичного обвала. «Гномы» сами откопают людей и притащат их Джабже.

— А если они все-таки попадут под обвал?

— И так бывало. Тогда полечу я.

Он был уже в форме.

— А твой двойник?— напомнила Илль.

— Черт побери, из головы вылетело.

Туан повернулся и бросился обратно.

— Я уже придумала ему кличку,— сказала Илль.

— Кому?

— Двойнику. Мы будем звать его «Антуан».

Я пожал плечами. Где-то под снегом задыхались люди, а она болтала о всяких пустяках. Неужели костюм так меняет женщину?

— Не волнуйтесь, Рамон,— сказала она мягко.— Мне сначала тоже казалось, что я должна вмешиваться в каждый несчастный случай. Но я здесь уже четыре года и знаю: когда летит Лакост — волноваться нечего. Они сделают свое дело. А через несколько минут можем понадо-

биться и мы. Это — наша жизнь, мы привыкли. На войне — как на войне.

Я не удержался и глянул на нее довольно выразительно. Эта горничная очень мило щебетала о войне. А сама боится ходить на охоту.

— А вы когда-нибудь держали в руках пистолет?

— Да,— просто сказала она,— я стреляю хорошо.

— А вы сами попадали под обвал?

— Несколько раз,— так же просто ответила она.— Один раз Джабжа едва разбудил меня.

Мне стало не по себе от этого детского «разбудил». Она даже не понимала как следует, что такое умереть.

— Скажите,— вдруг вырвалось у меня,— а разве не бывает здесь случаев, когда люди приходят в горы умирать? Знают, что им не избежать этого, и выбирают себе смерть на ледяной вершине, что ближе всего к небу?

— Я не совсем понимаю вас. Неужели человек, которому осталось немного, будет терять время на то, чтобы умереть в экзотической обстановке? Он лучше проживет эти последние дни, как подобает человеку, и постарается умереть так, чтобы смерть была не последним удовольствием, а последним делом.

С ней решительно нельзя было говорить на такую тему. Я продолжал лишь потому, что хотел закончить свою мысль. Может быть, когда-нибудь, с возрастом, она вспомнит это и поймет меня.

— Мне кажется, Знание, принесенное «Овератором», гораздо обширнее, чем мы предполагаем. Вряд ли вы наблюдали за этим, но мне кажется, что у человека пробудился один из самых непонятных инстинктов — инстинкт смерти. Вы знаете, как раненое животное уползает в определенное место, чтобы умереть? Как слоны, киты, акулы, наконец, образуют огромные кладбища? Их ведет древний инстинкт, утерянный человеком. И мне кажется, что сейчас этот инстинкт не только снова вернулся к человеку, но стал чем-то более высоким и прекрасным, чем слепой двигатель животных — как случилось, например, с человеческой любовью, поднявшейся из института размножения.

Илль смотрела на меня уже без улыбки.

— А вы уверены, что есть такой инстинкт — смерти? Мне почему-то всегда казалось, что люди придумали его. Есть инстинкт жизни. Если бы я была зверем, что бы я делала, смертельно раненная? Уползла бы в одной мне известное место, чтобы отлежаться, зализать раны и выжить. Именно — выжить. Звери не хотят умирать. И если они идут, как слоны, в какое-то определенное место — я уверена, что эта область или отличается здоровым климатом, или полезной радиацией, но звери идут туда жить. Иначе нет смысла идти. Но почему-то люди замечали лишь трупы не сумевших выжить, а про тех, кто оказался сильнее, кто смог подняться и уйти снова к жизни, люди забыли. Да это и не удивительно — ведь люди отыскали этот инстинкт и назвали его именно тогда, когда человеку и самому подчас жить не хотелось. Ну, подумайте, разве вы стали бы что-нибудь делать, чтобы умереть? Нет. И звери этого не делают, и я, и вы, и все...

Мне не хотелось продолжать разговор, я видел, что она не понимает меня, но это было уже не детское невосприятие сложного взрослого мира, а свой, вполне сложившийся взгляд на вещи, о которых я в таком возрасте еще не задумывался.

Я посмотрел на Илль сверху вниз. Как тебе легко! Вокруг тебя люди, с которыми не страшно ничто, даже *это*. Они растят тебя, позволяют баловаться маскарадами, свечами и каминами, играть в спасение людей. Они передали тебе свои знания, свое мужество и свою доброту. То, что ты сей-

час говорила мне,— тоже не твое, а их. Всех их, даже этого смазливого мальчика Туана. И сейчас ты останешься с ними, а мне пора улетать, мне пора туда, где, стиснув зубы, я буду бессильно глядеть на то, как уходит и уходит, и никак не может уйти самый дорогой для меня человек. Этому человеку можно все — сводить меня с ума, заключать меня в каменный мешок проклятого Егерхауэна, потому что она любила меня и ждала — и теперь она имеет право на всего меня.

— Мне пора,— сказал я и пошел к выходу.

— До свидания,— услышал я за своей спиной обиженный детский голосок.

Что-то поднялось внутри меня — глухое, завистливое; я выскочил на стартовую площадку и плюхнулся на дно мобиля, кляня всех, кто живет так легко и красиво; живут, не зная, что они вечно что-то должны. Нет, злость моя не была завистью — я мог бы остаться с ними,— а сознанием совершенного бессилия заставить Сану прожить последний свой год так, как они.

Я шел по тяжелому весеннему снегу и мне казалось, что стоит мне обернуться — и я увижу сверкающую в лунном свете вершину горы, где живут эти удивительно, чертовски обыкновенные люди, которые, наверное, никогда не делали проблемы из того, чего они хотят и что они должны.

Сана, разумеется, не спала. Она ходила по комнате, и походка ее была тяжела и неуверенна. Словно на каждом шагу она хотела повернуться к двери и бежать куда-то, но сдерживалась. Мне она ничего не сказала.

Я вытянулся на постели, как человек, прошедший черт знает сколько километров. Я не притворялся — я был действительно так измотан. Чуть было не улыбнулся, вспомнив «Антуана». И уже окончательно за сегодняшний вечер разозлился на себя за то, как я держался с Илль. Бедный ребенок. Ей бы жить да радоваться, а тут лезут всякие самодеятельные философы со своими новоявленными инстинктами. А она еще, наверное, в куклы играет. Туан с ней по горам лазает, Джабжа носик вытирает, Лакост интеллектуально развивает. Ну, чем не жизнь? Потом она в одного из них влюбится, будет очень трогательно скрывать от двух других, потом совершенно нечаянно и обязательно в героической обстановке эта любовь выплывет на свет божий, и вот — свадьба на Олимпе. Я с ожесточением принялся рисовать в уме этакую лакированную картинку: невеста, по древним обычаям, вся в белом, только очень внимательный взгляд может усмотреть между высокой перчаткой и кружевом рукава черную матовую поверхность трика. Глухие сигналы тревоги нарушают торжественное звучание мендельсоновского марша, и вот уже мощный корабль уносит юную чету навстречу первой их семейной опасности. Бестр-р-репетной рукой снимает Илль со своей головки подвенечную фату, а Лакост...

Почему — Лакост?

Все во мне возмутилось.

— Что ты?— спросила Сана.

— Бывает,— сказал я.— Когда долго бегаешь, потом руки и ноги иногда возьмут вдруг и дернутся...

— Да,— сказала она,— так бывает.

Я боялся, что она сейчас начнет меня еще о чем-нибудь расспрашивать, но она уже спала. Засыпала она удивительно — словно мгновенно отключалась от всех дневных мыслей и забот. И медленно, с трудом просыпа-

лась. Я спрашивал ее, и она объясняла это тем, что работа в Егерхауэне для нее непривычна и она очень устает. Но я понимал, что утомляет ее не работа, а вечное ожидание, вечное напряжение — я знал, что каждая ее минута полна мыслью обо мне; и день — обо мне, и ночь — обо мне, и сейчас — обо мне, и потом — обо мне, и всегда, всегда обо мне.

ГЛАВА VIII

С каждым днем Сана становилась все рассеяннее. Она забывала, что собиралась делать, иногда вдруг замирала у двери и поворачивала обратно — вероятно, не могла вспомнить, куда перед этим собиралась идти. Движения ее стали намного медленнее, чем зимой. Кажется, она начинала понимать, как дешево стоит механическая быстрота. Но на смену быстроте действий пришла торопливость чувств, словно за эти несколько оставшихся нам месяцев она хотела передать мне всю свою нежность, ласку и еще что-то, горькое и щемящее, чему нет названия на человеческом языке. У вянущей травы это — запах. У человека — не знаю. Наверное, просто боль. И все это вместе было так жгуче и нестерпимо, что иногда мне приходило в голову: а осталось ли у меня к ней что-нибудь, кроме безграничной и бессильной жалости?

Но я твердо знал, что разлюбить можно только тогда, когда на смену одному чувству придет другое. Сейчас ни о чем другом не могло быть и речи. Существовала, правда, Хижина, но я прекрасно отдавал себе отчет, что никогда не полетел бы туда, если бы там меня привлекала женщина, а не замечательная четверка славных парней.

А отдав себе в этом полный отчет, я со спокойной совестью снова направился в Хижину.

На сей раз я застал только Джабжу и Лакоста. Последний был снова в форме и что-то набрасывал на небольшой темной досочке. Джабжа сидел по-турецки, на коленях его лежала толстенная «Методика протезирования кишечного тракта». Эту книгу я как-то видел у Педеля и запомнил по бесконечным таблицам аппетитных розовых внутренностей. Я всегда был высокого мнения о собственных нервах, но после получасового просматривания всех этих гирлянд меня замутило. Я убрал книгу подальше, чтобы она не попалась на глаза Сане — странно, но я подчас забывал, что она — врач.

А сейчас я смотрел на блаженную физиономию Джабжы и думал: вот в силу привычки и профессионального интереса то, что мы наполнены какими-то нелепыми шлангами из естественного пластика, его не только не угнетает, а, судя по выражению лица, приводит в состояние тихого восторга. Так, может быть, и к тому, что принес «Оператор», тоже можно привыкнуть? Философски рассмотреть со всех сторон, выявить положительные факторы этого явления, и все станет на свои места, появится даже интерес... А может быть, отупение?

Тем временем меня, наконец, заметили.

— Ну, что? — спросил Джабжа вместо приветствия.

— На сей раз без всякого предлога,— смело заявил я.

— Отрадно.

— Наша Хижина начинает приобретать славу высокогорного курорта,— заметил Лакост, не поднимая головы от своего рисунка.

Значит, не один я здесь надоедаю. Странно еще, что я никого до сих пор не встречал.

— А вы можете задирать нос, Рамон,— сказал Джабжа, словно угадывая мои мысли.— Мы ведь далеко не каждого сюда пускаем, да еще и без предлога.

— От меня ждут реверанса?

— Да нет, оставь это Илль. У нее выйдет грациознее, хотя и у тебя что-то есть в движениях,— с этими словами Лакост протянул мне свой рисунок.

Это был набросок чаши или пепельницы, или еще какой-нибудь лоханки вполне античной формы. На краю чаши, свесив одну ногу, сидел обнаженный сатир. Справа от него, тоже на самом краю, лежала, распластавшись, ящерица, и сатир, полуобернувшись, смотрел на нее.

— При всех своих рожках и копытцах он чересчур строен для сатира,— сказал я.— Да и композиция того, подстать жанровой картинке. В общем, не строго.

— Ишь ты,— сказал Джабжа.— Разбирается.

Он потянул у меня рисунок, потом засмеялся, наверное, до тех пор Лакост ему не показывал. Потом кинул досочку обратно мне.

Я посмотрел и понял, что сатир — это я.

Вот чудеса! Можно было подумать, что кто-то видел, как я тогда, еще летом, разговаривал с ящерицей на побережье. Но набережная вроде была пустынна. К тому же нужна была феноменальная память, чтобы запомнить случайного прохожего, да еще и умудриться его раздеть. И еще эти рога и копыта...

— Это еще откуда? — позволил я себе удивиться.

— А так. Просто есть подходящий кусок порфирита, серый с лилово-коричневым оттенком. Отдам в грубую обдирку по эскизу, а остальное закончу сам.

— И зачем?

— Илль под шпильки. Девочка страдает снобизмом — у нее каждый гребешок должен быть ручной работы.

— Забаловали ребенка.

— Все он попустительствует,— Лакост кивнул в сторону Джабжи. Тот только ухмылялся.

— А кстати, где она?

— На вызове. Случай пустяковый, справился бы и робот, да люди перетрусили, в первый раз — им человек нужен.

Я вспомнил себя, барахтавшегося на дне ледяной канавы и понял, что в моем случае тем более не требовался человек — достаточно было послать робота.

— Они сами вызвали помощь?

— Да нет, просто мы знали, что тропа вскоре оборвется, а сзади ее засыпало. А на тропе пятеро, все малыши. Илль полетела им носы вытирать.

— Значит, вы постоянно наблюдаете за каждым километром заповедника?

— Во-первых, не мы, а сигнальщики. Как только сигнальщик чует недоброе — он поднимает тревогу. Так было в прошлый твой приезд, с обвалом.

— А сигнальщики не опаздывают?

— Все, что ты тогда слышал, было передано до того, как обвал накрыл людей. Он еще двигался, а мы уже вылетали. Потому и точные координаты, и толщину снеговой массы мы узнаем уже в мобиле. Во-вторых, за каждым километром смотрят наблюдатели, они учитывают состояние дорог, ледников, массивов снега и подобную статистику. Сигнальщики

же прикреплены к людям — как только человек пересекает границу заповедника, к нему приставляется сигнальщик. Это — его ангел-хранитель.

— Посмотреть бы...

— А что ж. Товар лицом.

Мы оставили Лакоста продолжать свои псевдоантичные экзерсисы и поднялись в зал наблюдения.

Он находился этажом выше и занимал всю верхушку горы, так что потолок его конусом уходил вверх. Стены его представляли собой огромный экран, то распадающийся на отдельные участки, то сливающийся в единую панораму. Какие-то ящики ползали вдоль стен, то поднимаясь на тонких металлических лапках, то вообще повисая в воздухе, перебираясь один через другой и тыркаясь в самый экран. Вероятно, это и были сигнальщики.

— А вот и Илль,— сказал Джабжа, подводя меня к мутно-голубому экрану. Шесть темных фигурок двигались по совершенно гладкой стене, карниз не просматривался.

— Она идет первой?

— Нет, она сзади. Плохая видимость — граница квадратов.

— А далеко это отсюда?

Джабжа что-то сделал с ящиком, висящим перед этим экраном.

— Двести шестьдесят четыре километра,— голос, подававший тревогу, раздался откуда-то сверху. Он очень напоминал красивый баритон Джабжы. Ну, правильно, у каждого сигнальщика не может быть собственного диктодатчика, это было бы слишком сложно.

— Центр должен иметь колоссально много параллельных каналов,— сказал я полувопросительно.

— Еще бы! Недавно его сильно переоборудовали — станция ведь создавалась лет триста тому назад, многое ни к черту не годится, да и тесновато.

— Мы в детстве собирались в Гималаи, да я начал готовиться к полетам,— заметил я как-то вскользь.

Джабжа замахал руками.

— Тоже мне горы! Говорят, на Эверест от подножья до верхушки сделаны ступеньки с перильцами. Там же таких станций, как эта, штук двадцать, ей-ей. Санатории и дома радости на каждом шагу. Высокогорные театры и цирки. Не заповедник, а балаган. Он же начал осваиваться первым, когда люди потянулись из Европы и Северной Америки на необжитые пастбища. Все три столетия, пока осваивался Марс, а Европа чистилась от активных осадков и шел демонтаж всех промышленных предприятий, пока города освобождались от гари и транспорта, пока фанатики древности, вроде Лакоста, носились с реконструкцией каждого города в его собственном архитектурном стиле — Швейцарский заповедник стоял пустыня пустыней. Хорошо еще, какая-то добрая душа догадалась напустить сюда всякого зверья, по паре всех чистых и нечистых. Говорят, за это время здесь даже саблезубые тигры появились. Я их не встречал, но почти верю. А когда Европу снова «открыли», пришлось создать здесь станцию по примеру Гималаев, Килиманджаро, южноамериканского «Плата» и антарктического «Мирного». Но уже здесь — никаких излишеств и курортов. Путевые хижины с комфортом, достойным каменного века. Если уж ты мамин сынок — так и катись в Гималаи. Там одних подвесных дорог, как от Земли до Луны.

Он говорил, а я все смотрел и смотрел на шесть темных черточек, движущихся вдоль светло-серой стены. Как Джабжа узнал, которая из

них Илль? Я смотрел и смотрел и все не мог угадать. Для меня они были одинаковы.

— Ну, пошли вниз,— сказал Джабжа, и мы очутились в плавно закругляющемся коридоре.

— Наша кухня, впрочем, здесь ты уже был. Святая святых. У меня шеф-повар — удивительно тонкой настройки тип. Я его три года тренировал, помимо того, что в него было заложено по программе. И Лакост с Туаном повозились с ним немало.

— Понимаю,— сказал я.— Я ведь тоже через это прошел. Вероятно, самыми тонкими гурманами были настоятели монастырей.

— Дураки, если они ими не были.

— Были, иначе делать нечего.

— А у тебя был хороший повар там, на буе?

— Никакого. Мне это в голову не приходило. Да и консервы все были свежие — мы сами же их привезли.

— Консервы! Ну, тут-то я определенно повесился бы. Ну, потопали дальше. Наша гостиная на современный лад. Ничего интересного.

Действительно, ничего интересного. И вид совсем нежилой, вероятно, это у них что-то вроде конференц-зала для официальных приемов. В следующую дверь мы не заглянули.

— Здесь мое царство — можешь не портить себе настроения. Ведь не всегда можно везти пострадавшего в Женеву — там ближайшая больница. Прекрасная, конечно, но до нее полчаса полета с самых отдаленных точек. Не всегда же можно быстро маневрировать. Но на свое оборудование я не жалуюсь. Что надо. Ну, а теперь — смотри. Только, чур, не распространяйся: веду контрабандой.

Это была мастерская скульптора. Мне не надо было говорить, что здесь все принадлежит Лакосту.

— Смотри,— сказал Джабжа почти благоговейно,— это и есть Леопард.

По наклонной скале полз вверх черный леопард. Он был мертв, он костенел, но все-таки он еще полз. Он знал, что если он доберется до вершины — он обретет жизнь. И он полз, чтобы жить, а не за тем, чтобы умереть. Столько воли, отчаяния и напряжения последних сил было в этом могучем, поджаром теле, что невозможно было подумать, что он стремится к тому, чтобы умереть. Глядя на него, я понял, о чем говорила Илль.

— Камень для него тащили чуть ли не с Альдебарана. Чудовищной величины обломок — это ведь уменьшенная копия.

— А где же подлинник? — догадался спросить я.

— На вершине,— сказал Джабжа.— На вершине Килиманджаро. Я его там видел. Кстати, там я и познакомился с Лакостом и утащил его сюда. Ну, пошли, а то еще хозяин пожалует.

Дальше комнаты следовали одна за другой, образуя чуть закругленную анфиладу — вероятно, они шли вдоль наружных стен.

Огромные машины. В центре каждой из них поднималась женская фигура, выполненная из какого-то прозрачного пластика. Легкие щупальца оплетали фигуру, словно лаская ее.

— Ну, это тоже неинтересно — пошивочные машины. Здесь колдует Илль.

Я подошел поближе и понял, что машин не так уж много, а просто все стены уставлены зеркалами. Со всех сторон на меня смотрели мои отражения. Стенд с чертежной доской, перед ним — вычислительный аппарат. По всей вероятности, достаточно было набросать эскиз, а машины уже разрабатывали модель и передавали точные чертежи кибершвеям.

— Сколько же у нее костюмов?

— Вот уж не считал. Сшито, наверное, сотни две, но многое она передает в Женевский театр.

— Тоже мне мания.

— Да нет, это ей необходимо.

Ну, естественно, это было необходимо всем женщинам, начиная с каменного века, только не всегда мужчины с этим соглашались.

Мы прошли к следующей двери. Справа и слева стояли машины поменьше, и в центре их на тонких дисках помещались маленькие, наверное, детские ноги. Казалось, огромные пауки захватили в плен эти ножки и цепко держат их в своих металлических лапах. В полутемной мастерской было прохладно и грустно. Здесь Илль играла, наряжая самое себя. Но здесь не пахло детским весельем. Наверное, потому, что сейчас здесь не было Илль.

— А это ее студия,— и я очутился в странной комнате. Она была треугольная, очень узкая и длинная. Здесь был такой же полумрак, как и в костюмерной мастерской. В центре стояло несколько кресел, на полу валялось три подушки. В остром углу, от которого расходились обтянутые черным репсом стены, помещалась странная установка, напоминавшая пульт биопроектора в сочетании с кабиной для физиологических исследований. Противоположная стена была вогнутая и слабо мерцала.

— Не понимаешь? Ну, садись.

Я уселся в первое попавшееся кресло.

— Смотри туда.— Джабжа кивнул на мерцающую стену.

Свет погас. Странная музыка, необыкновенно мелодичная, зазвучала со всех сторон. Мне казалось, что она рождается где-то во мне. Одновременно от плоскости стены отделилась светящаяся точка и стала расти, превращаясь в трепещущее облачко. Это была юбка, или, вернее, добрый десяток юбок, сложенных вместе. Когда-то очень давно в таких одеяниях танцевали балерины. Теперь я мог уже рассмотреть руки, ноги, даже черты лица. Я удивился тому, что это была не Илль, а какая-то другая женщина. Рядом с ней появился ее партнер, весь в темном; рассмотреть его хорошенько я не смог. И в музыке все отчетливее зазвучали два человеческих голоса — мужской и женский. Постепенно они вытеснили все инструменты и остались вдвоем, и если бы даже не было танцовщиков, а звучали только эти голоса, я, вероятно, видел бы тот же странный, медленный танец, придуманный Джабжей. Казалось, что они танцуют, не чувствуя своей тяжести, словно плавают в воде. Танцуют, все время касаясь друг друга, словно боясь разлететься в разные стороны от одного неосторожного движения и потеряться в необъятном пространстве. И, не отрываясь, смотрят друг на друга.

Но спустя несколько минут я заметил, что между ними появилось серое плотное пространство, не просто разделяющее, а отталкивающее их друг от друга; вот они расходятся дальше и дальше — вот они уже бесконечно далеки, и бесконечность, лежащая между ними, все равно не мешает им чувствовать друг друга, и каждый продолжает танцевать так, словно он чувствует руку другого, словно он видит глаза, только что сиявшие рядом и в свободном своем паренье они все еще опираются на руку, которой нет, но которая должна поддерживать их... Странный это был танец. Символика какая-то.

В студии зажегся свет.

— Хочешь попробовать? — спросил Джабжа.

— Да нет. Я ведь и этим пробовал заниматься. Иногда что-то выйдет, но все не то, что нужно, и как-то кусочками, мертво... Ты бы еще предло-

жил мне попробовать стихи сочинять. Так вот рифму я тебе любую подберу, а целое стихотворение — уволь. Бездарен. А я и не подумал бы раньше, что ты ко всему еще и тхеатер.

— Ну уж! Это так, для себя. Вот Илль — это голова.

— Ты тут с ней занимаешься?

Он наклонил голову, и мне вдруг почудилась такая нежность — и во взгляде, и в выражении лица, и во всем,— как он слегка приподнял руки с широкими плоскими пальцами, словно на руках его лежало что-то нелегкое и бесценное, и как он глотнул и не ответил, а наклонил голову, и я понял, что ни Туан, ни Лакост тут ни при чем и что круглая физиономия с глуповатой улыбкой — это лицо актера, могущего стать настолько прекрасным, насколько только он сам сможет этого захотеть, и что никто, кроме Джабжи, не даст Илль того, что ей необходимо — бескрайней фантазии, воплощенной в реальные картины создаваемого им мира. Я знал, каких нечеловеческих усилий стоит создать одновременно и музыку, и фон, и движущихся, дышащих, живых людей, и не давать угаснуть ничему, и подчинять все это своей фантазии... Не всякий, кто напишет несколько рифмованных строк,— поэт. Но тот, кто создал хоть одну полную сцену, тот уже тхеатер. В старину в таких случаях говорили — это от бога. Вот уж воистину! Можно просидеть десятки лет, тренировать себя до умопомрачения, в совершенстве создавать геометрические фигуры, машины, здания, но придумать, создать с начала до конца хоть несколько секунд человеческой жизни — это мог только настоящий талант.

А вот они, оказывается, это умели.

Джабжа — это еще ничего. Но Илль, девчонка?..

— Джабжа,— сказал я.— Покажи мне Илль.

Он быстро взглянул на меня. Плоское, флегматичное лицо его ничего не выражало. Потом одна бровь приподнялась:

— Ишь ты! Так сразу и покажи. Да если я это сделаю, ты из Хижины не улетишь.

— А ты думаешь, мне так хочется улететь? — спросил я.— Только это было бы слишком просто, если бы из-за Илль.

Джабжа молчал. Догадывался ли он, что привязывало меня к Егерхауэну, или даже знал точно — не имело значения. Он был молодчина, что молчал. А я вот сидел верхом на каком-то табурете и все покачивался в такт музыке — светлая и удивительно ритмичная, она никак не хотела исчезать — и говорил, говорил...

— Джабжа,— говорил я,— мир вашей Хижины чертовски древен, это другая эпоха, Джабжа. Это ушедшая эпоха пространства, где все — вверх, вперед, в стороны. Ты знаешь, как развивалось человечество? Сначала оно познавало пространство — как врага, настороженно, с оглядкой. Времени тогда люди просто не замечали — оно было выше их понимания. По мере того, как человек начал отходить от своего жилища, он стал завоевывать пространство. Тогда и возникло первое, такое смутное-смутное представление о времени. Не о том времени, что от еды до охоты. О Времени. Ты меня понимаешь. Но это представление открыло такую бездну, что лучше было обо всем этом и не думать. И человечество занялось пространством, благо оно покорялось довольно элементарно. И вот старик Эрбер решил закончить эпоху покорения расстояний — любой уголок вселенной должен был стать доступным для человека. Но вместо того, чтобы закончить одну эпоху, он сразу открыл новую эру.

Джабжа все молчал, наклонившись над пультом и выцарапывая на его панели какого-то жука.

— Ваша Хижина осталась в милом добром пространственном веке,—

продолжал я.— В нем остались и все вы, и даже те двое, которых ты только что создал передо мной. Они были легки и наполнены светом, потому что не чувствовали каждым квадратным сантиметром своей кожи того чудовищного давления времени, которое легло на плечи всех остальных жителей Земли...

— А ты ее видел, всю Землю? — быстро спросил Джабжа.

— Видел. Я видел людей, стремительных до потери человеческого тепла.

— И по одной этой быстроте ты уже заключил, что все на Земле — психи; вроде твоих коллег, я имею в виду Элефантуса и этого... Пата.

От неожиданности я даже перестал качаться. Вот тебе и на! В свете теории о подвигах поколений именно Элефантус и Патери Пат (в меньшей степени, разумеется) казались мне героями своего времени. Они отдавали себе полный отчет о кратковременности своего пути и поэтому старались как можно больше сделать. Я ведь видел, как скупо тратили они свое время на все то, что не касалось непосредственно работы. Значит, это не героизм — отдавать всю свою жизнь науке?

— Ну, Джабжа,— я только пожал плечами,— ты, братец, необъективен. Они же работают, как каторжные.

— Знаю,— сказал Джабжа,— ну и что? Работа на полный износ организма — это не заслуга. Теперь об этом только такие мальчики, как Туан мечтают. Да и то по глупости.

— Но если есть поколение какого-то подвига, то должны же быть и его герои!

— Вот-вот. Пара вас с Туаном. Все герои, пойми ты это. А не понимаешь — садись в мобиль и катись в любой центр, лишь бы там было много людей.

— Не сейчас, Джабжа.

Он опять промолчал.

— Вот и пойми тебя: то — «психи», то — «все герои».

— Чего тут понимать? Герои-то — люди, а люди разные бывают.

Против этого трудно было возразить.

— Да,— сказал я,— очень разные. Даже в наш век.

— Причем тут век. Вот ты тут теорию развивал, что были когда-то люди, которые не чувствовали давления времени. По скромному моему пониманию, думал ты одно, а говорил — другое. Тебе не дает покоя не Время — вообще, философски, а просто-напросто даты, принесенные «Оператором». Так?

— Так,— сознался я.

— И ты полагаешь, что люди только сейчас задумались над этим вопросом? Нет, Рамон. Узнать свой век — это с давних времен было мечтою сильных и страхом слабых. Есть такая сказка, старая-престарая, из сказок про доброго боженьку. Был такой боженька — по доброте своей людей тысячами губил, младенцами тоже не брезговал, земли целые прахом пускал. Слыхал, наверное. Сотворил этот бог людей и довел до сведенья каждого, сколь быстро он его обратно в лоно свое приберет. Ну, возни у бога в те времена много было — целую метагалактику отгрохал, не скоро руки опять до Земли дошли. А когда дошли, совершил он инспекторскую поездку по некоторым районам Средиземноморья. И первый, кто попался ему на глаза, был здоровенный детина, который крушил вполне пригодный для эксплуатации дом. «Ах ты, сукин сын,— завопил добрый боженька,— что это ты делаешь с жилым фондом!» — «А то,— ответствовал детина,— что завтра мне помирать, а чтоб соседу моему ничего не досталось, и дом свой порушу, и овец порежу». Проклял его бог

и постановил: никому смерти своей не знать. С тех пор мир был на Земле. Относительный, конечно.

Мы помолчали.

— Дикая сказка,— сказал я.— И кто ее выдумал?

— А кто знает? Торгаш какой-нибудь. Мелочь человеческая. Странно только, что на эту сказку умные люди частенько ссылались. Ну, да черт с ней. Примерно в эти же времена жил другой человек. Поэт. И писал он по-другому. Вот послушай один его стих:

«Скажи мне, господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой...»

Сдержанная сила, какое-то непоказное бесстрашие и бесконечная искренность этих скупых слов потрясли меня.

— Подстрочник Данте?

— Да нет, подревнее. Говорят, царь Давид, только не похоже — такое бесстрашие вряд ли могло быть у человека, который слишком много терял вместе с жизнью. Скорее всего — безвестный мудрец, древние цари тоже не дураки были,— Джабжа поднялся,— умели, наверное, себе референтов подбирать.

Мы снова были в коридоре. Осталось всего четыре одинаковых двери — Джабжа прошел мимо них.

— Вот, собственно, и все. Это наши личные апартаменты — клетушки Лакоста, Туана, моя и Илль. Да вот, кстати, и она возвращается.

Я бы не сказал, что заметил хоть какой-нибудь признак ее появления.

— Не удивляйся — мы привыкли узнавать каждый подлетающий мобиль.

— Но я не слышал ни одного.

Джабжа толкнул дверь гостиной и пропустил меня первым.

— Тем не менее за то время, пока мы осматривали эти развалины, около десятка вылетело и столько же вернулось. Центральный кибер сам распоряжается всеми механизмами и вызывает нас только в крайних случаях. Ну, ладно, экскурсия окончена. Что есть, то есть. Хочешь — бери.

— Сейчас — не могу.

— Догадываюсь. Но не отказываешься — и то хлеб.

— Очень-то я тебе нужен...

— Да так, приглянулся, знаешь.

— Вот уж не подумал бы...

И тут в комнату ворвалась Илль.

— Ага! — закричала она так, что язычки свечей испуганно шарахнулись.— Мне отпуск! На целый вечер!

Туан и Лакост, сидевшие за прекрасными агальматолитовыми шахматами, даже не подняли головы.

— Ну и пожалуйста,— буркнул Туан.— Только можно без визга? Меня и так в дрожь бросает. Нет, надо же так припереть человека!

Лакост невозмутимо поглаживал бородку двумя пальцами.

— Ну, Туан, ну, миленький,— Илль не выпускала своей жертвы,— ну, покатаемся!

Когда выиграю.

Лакост многозначительно кашлянул.

— Ну и сохни тут! — Илль махнула на него рукой.— И сам не идет, и другого не пускает. А у Джабжы насморк. Сговорились. Ироды.

И тут она увидела меня.

Я испугался, что она сейчас повиснет на моей шее. Какое-то чудо удержало ее от этого.

— Вот,— она указала одной рукой на меня, а другой на потолок.— Есть бог на небе. Определенно.

— Есть,— отвечал я.— Определенно. И это он сегодня подсказал мне не брать с собой лыжи...

— Не выйдет,— отрезала Илль.— Лыжи в мобиле. А боги не врут, у них это строго. Чуть что — и к высшей мере, как у Вагнера.

— Из вас бы такой диктатор...

— А что, горничная — плохо?

— Мне не понравилось.

— Здорово! Как честно. А эти (большим пальцем через плечо) только и врут, только и хвалят. Ну, ладно, пошли, остатки комплиментов на свежем воздухе.

— Прекрати сопротивление,— посоветовал мне Джабжа.— Бесполезно. Теперь понимаешь, почему я тебя сманиваю. Нам всем уже вот как приходится.

Илль между тем уже выталкивала меня из комнаты. Я нечаянно оглянулся.

Черт побери, глядя на эту троицу, я готов был прозакладывать свои лыжи, что ни один из них не отказался бы быть на моем месте. Это была самая неподдельная, хорошая зависть. Так какого дьявола они отказались?

— Общий поклон,— сказал я.— Подчиняюсь грубой силе. Но за мою самоотверженную жертву потребую от вас двойной ужин. Скоро вернусь.

— Идите, идите! — Илль долбила меня в спину пальцем.— Еще упирается.

Я, собственно говоря, уже и не упирался.

А в мобиле она опять сидела притихшая, и опять на полу, обхватив колени руками. А я сел верхом на сиденье, лицом к ней, и опять беззастенчиво глядел на нее во все глаза и все думал: что это я так радуюсь? И понял — это потому, что сегодня она — такая, какая есть, и я до последней ее реснички знаю, какая же она — настоящая, а когда знаешь человека так, как умудрился я узнать Илль, тогда он тебе в какой-то мере уже принадлежит.

Я знал, что когда мобиль приземлится, мне будет худо. Уж тут-то она разочтется за то, что сейчас ей приходится сидеть, прижав к груди острые коленки, и терпеть мой беззастенчивый взгляд.

Так и было. Илль выскочила первая, едва мобиль шлепнулся на снег, я кинул ей все ее снаряжение и неловко выпрыгнул сам, слегка подвернув ногу. Хорошо еще, что она не видела: я не сомневался, что такой факт послужил бы у нее поводом для насмешек, а не забот.

Склон был великолепен. Он так и располагал к тому, чтобы свернуть себе шею на бесчисленных пнях, уступах и поворотах. Да и тени были длинноваты — солнце уже садилось.

— Готовы? — крикнула Илль.— Для начала предлагаю пятнашки, вам сто метров форы. Удирайте!

— Думаете, откажусь?

Я взмахнул палками и ринулся вниз. Где-то высоко-высоко, за моей спиной раздался пронзительный птичий крик, и тут же я почувствовал, что меня догоняют. Не прошло и двух минут, как тонкая лыжная палка весьма ощутимо приложилась к моей спине и черный проворный чертенок замелькал уже где-то впереди. Ну, ладно же, и я, вместо того, чтобы обогнуть довольно неприятный уступ, образующий трамплин не менее трех метров, ринулся прямо на него, рискуя врезаться в непрошенный кедр, который торчал явно не на месте. Но, оказывается, она ждала от ме-

ня именно этого, потому что, не видя меня, она вдруг резко затормозила и пропустила меня вперед, даже рукой помахала.

Нетрудно догадаться, что сквитать счет мне не удалось. Я присел на корточки и признал себя побежденным. Вид у меня был потрепанный. Извалялся, я как медвежонок, меня можно было бы и пожалеть.

Илль подпустила меня поближе. Я так и ехал на корточках, волоча палки за собой.

— Сдаюсь,— сказал я кротко,— иссяк.

Илль слегка наклонила голову и посмотрела на меня, прищурив один глаз. Одна бровь выражала у нее презрение, а другая — сострадание.

— Во́да-во́да-неотво́да,— сказала она,— поросячая порода..

У меня перехватило дыхание.

— Что? — догадался я переспросить.

— А то, что сорок тысяч поросят и все на ниточках висят!

Если бы я не сидел на корточках, я встал бы перед ней на колени. Я был, наконец, на Земле.

Илль почувствовала, что сейчас я брякну что-нибудь сентиментальное. Она подняла рукавичку:

— Только без лирики, я ее боюсь.

Я кивнул. Какая уж тут лирика! Я не имел на нее ни малейшего права.

Мы тихо и долго ехали вниз. В долине было уже темно. Снег почти везде стаял, лишь возле камня виднелись небольшие серые плешины. Мы присели на глыбу. Ее прикрывало что-то шероховатое — не то мох, не то лишайник. Я в этом не разбираюсь.

— Да,— констатировал я печально,— после инструктора по альпинизму кататься с таким дилетантом, как я...

Илль пожала плечами:

— Туан гоняется по горам один, как шальной козел. Ему нужна прекрасная незнакомка.

— Ну, взяли бы Лакоста.

— Он неженка, не любит холода.

— Что же он торчит на станции? Тоже ждет незнакомку?

— Это его Джабжа уговорил.

— Вот Джабжа и остается.

— Он-то обычно меня и прогуливает.

Так я и думал. Эта обманчивая внешность, эти занятия, даже комнаты рядом...

— Он ждет жену... — донеслось до меня откуда-то издалека.— Она уже два года в полете и вернется осенью.

В сердце у меня вдруг что-то булькнуло — горячее такое. Ох, и дурак же я! Вообразил невесть что. Я вспомнил образ женщины, созданный Джабжей и удививший меня тем, что это — не Илль. Умница, Джабжа, молодчина, Джабжа! Как это кстати, что ты женат! Как это здорово!

— А что? — спросила вдруг Илль.

— А ничего,— ответил я.

Ну что я мог, что имел право ей сказать? Я просто спихнул ее с камня, и она, брыкнувшись, покатилась в снег.

Бац! — я получил снежок прямо в лицо! Бац! Бац! Ах, ты, задиристый чертенок! Я прыгнул, пригнул ее к земле и ласково ткнул носом в снег. И в ту же секунду почувствовал, что совершаю какой-то абсолютно противоестественный кувырок. Заскрипели по снегу шаги, что-то темное бесшумно мелькнуло в небе.

— Илль! — крикнул я.— У меня отнялись руки и ноги!

Тишина.

Черт побери, кому это было надо — обучать ребенка всяким диким приемам, да еще на мою голову?

Я полез осматривать все камни и трещины. Минут через пятнадцать вспомнил о «микки», вызвал Хижину.

— Чем могу быть полезен? — раздался металлический голос, но в ту же минуту его заглушил смех, в котором явно не слышалось ни доброты, ни сострадания:

— Ну, что, неблагородный рыцарь со страхом и упреком, попались? Не думайте, что разрешу кому-нибудь вылететь к вам раньше, чем доем ваш двойной ужин.

— Подумаешь, не очень-то и хотелось.

— Вот и славно. Бегу за стол.

Тем не менее мобиль появился чересчур быстро — вероятно, она послала его сразу же, как только прибыла на станцию. Я погрузил все имущество и вдруг подумал, что один раз следовало бы вернуться домой вовремя. Для разнообразия.

— Вот,— злорадно повторил я, словно Илль, только и делала, что дожидалась меня,— не очень-то и хотелось.

И нехотя полетел домой.

Это я здорово придумал. И хорошо, что я придумал это именно сегодня. Во всяком случае, Сана стояла у большого окна нашей комнаты, положив пальцы на стекло, и долго-долго смотрела, как я, весь в снегу, едва передвигая ноги, приближаюсь к дому. Я махнул ей рукой, но она не ответила мне и даже не улыбнулась. Она смотрела на меня так, как можно смотреть на человека, которого сейчас вот потеряешь. И надо насмотреться на всю жизнь. Только ей надо было насмотреться не на жизнь, а на ту бесконечность, которая приходит после жизни. Я подошел и прижался лбом с другой стороны стекла. Она не шевельнулась. Мне вдруг захотелось взмахнуть руками, ударить по этому роскошному стеклу и, перешагнув через осколки, схватить ее и сделать что-нибудь, встряхнуть, сломать внутри нее что-то неподатливое, что всегда заставляло ее по-чужому выпрямляться мне навстречу. Но я знал, что она лишь отступит назад и приподнимет брови, и опять я пойму, что делаю не то, что с ней так нельзя...

Я оттолкнулся от стекла и пошел в дом, не глядя больше на Сану. Старательно переоделся. Когда я вошел в нашу комнату, она уже сидела в кресле.

— Рамон,— сказала она,— я прошу тебя об одном...

Я посмотрел на потолок. Ленивая тоска поднялась откуда-то снизу и наполнила меня всего чем-то клейким, вязким, цепенящим. Смертная тоска.

— Я прошу тебя брать в такие походы оружие.

— Хорошо,— глядя вбок, отвечал я, хотя это был заповедник, где не могло быть и речи о каком бы то ни было оружии.

Наконец-то мы получили сведения из Мамбгра, что на одном из транснептуновых буев удалось зафиксировать слабый конус сигма-лучей. Дело было в том, что спустя несколько лет после возвращения «Оператора» Высший Совет открытий и изобретений никак не давал разрешения на проведение эксперимента Эрбера даже в самых ничтожных масштабах. Когда же было получено, наконец, разрешение — целый гроссбух различных оговорок, поправок, ограничений, указаний и т. д и т. п. — то оказалось, что прямой переход Эрбера не влечет за собой выброса сигма-лучей. Перепробовали все элементы таблицы Менделеева, в стартовой камере целы-

ми граммами исчезали драгоценные «редкие земли» — эффект был нулевой. Повторять же эксперимент в том масштабе, в котором он уже был поставлен, означало бы снова подвергнуть Солнечную угрозе сигма-удара.

И вот сейчас поступило сообщение: загадочные лучи возникли, когда переходу подвергли маленькую биоквантовую схемку в состоянии активной деятельности. Специальная ракета доставит на Землю пораженных излучением мышей и кроликов. Принять контейнер с животными должна была лаборатория на Рио-Негро, сейчас туда спешно направляли автоматику и убирали людей — исследования, разумеется, должны были быть дистанционными.

Я спешил, налаживая аппаратуру для приема микропередач.

Дела мои шли хорошо. Мешал только Педель, который совался всюду, куда его не просили, и скороговоркой сыпал мудрые советы. Я выпроваживал его, и если Сана была со мной, он оставлял меня в покое. Но если ее не было — через минуту он невозмутимо являлся и занимался чем угодно, лишь бы торчать возле меня. Я начал гонять его в Центральный поселок за каждой мелочью, но он сразу догадался препоручать это другим «боям», а сам возвращался на свой пост. Однажды я с раннего утра выгнал его и велел не показываться мне на глаза. Он исчез. Я славно проработал часа три — Сана плохо выспалась и осталась в спальне. Вдруг я поднял голову — у меня появилось ощущение, что за мной кто-то следит. Стены были непроницаемы — я это знал. Но вот дверь... Я подскочил и резко распахнул ее — этот негодяй стоял, прильнув к щели.

— Ну? — спросил я.

— Я принес вам кофе. По-турецки.

— Поставь на стол.

Он скользнул к столу и сразу же ткнулся в разобранный блок:

— Ретектор не выдержал напряжения. Какое несчастье! Хорошо еще, что осталась запасная...

— Ты свободен, Педель.

— Как вам угодно.

Рабочего настроения — как не бывало. Я с ожесточением пнул «гномика»-паяльщика так, что он отлетел к противоположной стене и приклеился к ней своими присосками. Из ниши выскочил «бой»-уборщик, смел паяльщика со стены в свою корзинку и потащил к мусоропроводу. Я подошел к стеклянной стене, стал смотреть на тающий снег. Завтра истекала неделя с моей памятной экскурсии по Хижине — значит, я имею право на очередное посещение. Я остановил «боя», вытащил у него из корзинки паяльщика и снова принялся за свои экраны.

А потом был вечер, и ночь, и утро, и весь день, и они пронеслись, чем-то переполненные и удивительно незаметные. Когда-то в детстве мне пришлось бежать через тлеющий торфяной луг. Я закрыл голову курткой, намоченной в канаве, и побежал, низко пригнувшись, а потом полоса дыма кончилась, и я пошел дальше, пошел очень медленно, дыша всей грудью и остро ощущая каждый оттенок луговой травы и вообще все, чего раньше не замечал в своих прогулках. А потом снова была полоса дыма, и снова я бежал, не зная, долго ли я бегу, и что вокруг меня и кто со мной. Я сейчас так и не мог вспомнить, кто тогда был со мной.

ГЛАВА IX

Получилось так, что в Хижину я выбрался только к самому вечеру. Разумеется, следовало отложить эту поездку на завтра и с пользой провести там полдня, но я ждал целую неделю — и пропади все пропадом, если я был способен прождать еще двадцать четыре часа в этом раю.

Я сказал, что я — недалеко.

Но Илль опять же не оказалось на месте. Гнусно ухмыляясь, Джабжа тут же доложил мне, что она улетела в Париж, отмечаться в очереди на «Гамлета». На мое счастье, в скудной библиотеке буя классика была представлена сносно, и мне сейчас не приходилось гадать, что такое «Гамлет» — автопортрет, симфония или коктейль. Правда, до сих пор я не слышал, чтобы эта трагедия где-нибудь ставилась.

Джабжа покачивал головой в такт каким-то своим мыслям. Он был сегодня какой-то взбудораженный, беспокойный. Ждал Илль? А что ему за нее волноваться — она ведь не впервые улетала за несколько тысяч километров. А может быть, совсем и не Илль? Ведь он ждет, ждет уже несколько лет. А я по себе знал, как иногда, ни с того ни с сего, ожидание вдруг становится сильнее тебя, и начинаешь действовать и говорить так, словно ты — это уже не ты, и вообще ты никого не ждешь, и все на свете — это так, шуточки; и чем больше в таких случаях стараешься, тем меньше в тебе остается тебя самого, и если ты говоришь не с дураком, то он все это прекрасно видит.

— Ну, ладно,— сказал я, имея в виду очередь на «Гамлета»,— прождать два года — не такой уж героизм.

— Ты думаешь? — быстро спросил Джабжа, и я понял, что он говорит о своем.

Я немножко разозлился:

— А тебе не кажется, что теперь стало чертовски легко ждать? Вам тут, в Хижине, наверное, на всех вместе еще лет пятьсот отпущено. Так что же — два года для одного из вас? Когда ждешь годы, то самое страшное — каждый день начинать с мысли: а жив ли тот, кого ждешь? Вам можно позавидовать. Вы прекрасно знаете, что куда бы ни улетел тот, другой, вы всегда увидите его если не вполне здоровым, то во всяком случае живым.

Джабжа невесело усмехнулся:

— Мы поначалу тоже так думали,— спокойно ответил он, не обращая внимания на мой раздраженный тон.— Но когда вернулся «Теодор Нетте»... Ты слышал о таком?

Собственно говоря, о «Теодоре Нетте» я знал только то, что всегда, с незапамятных времен, на Земле существовал такой корабль. Сначала это был пароход. Потом — универсальный мобиль. Затем — планетолет. Когда один корабль выходил из строя, создавали другой, еще более совершенный, и называли тем же именем. Это была давняя традиция, но с чем она связана — как-то вылетело у меня из головы.

— Так вот,— Джабжа видел, что я тщетно напрягаю свою память.— «Теодор» улетел тогда, когда ты сидел на своем буе. Ты о нем и знать не мог. Улетел на Меркурий. С людьми. Да, да, с людьми, а не с киберами, хотя и их хватало. Весь экипаж состоял из молодых, здоровенных парней, каждому из которых оставалось еще очень много... А обратно корабль привели все-таки киберы. Все люди оказались в анабиозных капсулах, куда их втащили роботы. И до сих пор не очнулся ни один.

Мы помолчали.

— Что бы там ни было, а ждать — это всегда ждать.— Джабжа тряхнул головой, словно отгоняя все эти непрошенные мысли.— Ну, мы с тобой отклонились определенно не в ту сторону. С чего мы начали? С очереди? Так вот, запись возникла сразу же, как только Сидо Перейра попросил выстроить здание для постановки «Гамлета».

— Это — режиссер?

— Тхеатер. И колоссальный.

— Ну, что же, неплохой предлог слетать раз в месяц в Париж.

— Предлог... — Джабжа даже рукой на меня махнул.— А мы-то ломали голову, как всунуть тебя в очередь.

— Премного благодарен. Обойдусь.

— Ладно, ладно, не завидуй. А кстати, Илль ведь тоже занималась «Гамлетом». Года два. Я и то перестал понимать, хорошо все это было или ни к черту. А Сидо Перейра глянул — чуть не обалдел.

— А он-то каким чудом был здесь?

— А ты думаешь — мы одного тебя пускаем?

Я бы не сказал, что мне стало особенно приятно. Великий тхеатр, видите ли.

— Он что, занимается с вами?

— Нерегулярно и только с Илль. Я, по всей вероятности, его не потряс. А она потрясла. Это совсем меня утешило.

— А где ребята?

— Туан с Антуаном на вылете. Лакост в мастерской. Кстати, ты не будешь скучать, если я поднимусь на минутку в наш амфитеатр?

— Постараюсь.

— Подбрось дровишек в камин, белоручка.

Я подбросил. Уселся у огня. Дверь, ведущая направо, была полуотворена. Я понимал, что я негодяй, но это самоопределение не помешало мне, воровато оглянувшись, проскользнуть в коридор. Я знал, что первая дверь — в комнату Илль. Потянул ее, и она легко подалась. Я только взгляну на клавесин и портрет рыцаря, шитый бледными шелками. Я открыл дверь — в глубине комнаты увидел узкую постель, а возле нее — на полу — огромную охапку еловых веток, широкой, похожей на полосатую осоку, травы и аметистовых звезд селиора, что прижился в ледяных ущельях и круглый год цветет там, где не растет ни одно земное растение. Обыкновенные ветки, обыкновенная трава, обыкновенные цветы. Чудо заключалось в том, что это были те самые ветки, цветы и листья, которые лежали возле меня в первый день этого года.

Я захлопнул дверь.

В гостиной налетел на Джабжу.

— Ты знаешь, я ведь только на минуту... — пробормотал я, находя дверь почти ощупью.

В мобиле я плюхнулся на сиденье и схватился за голову. Кретин, ох, какой кретин! Рвался к ней,— да, черт побери, к ней! — и как врал себе, что она — хороший парень, и что все они хорошие парни, а сам крутил головой, как гусь,— с кем она? И этого, оказывается, мало — и она, как школьница, подглядывала за каждым моим шагом, и стеклянные стены и крыша нашего дома доверчиво открывали ей все, что было между мной и Саной... Все, с первого дня. Все, до последнего цветка.

А я-то, я — маскарады, лыжные прогулки... И на все это я тратил часы, принадлежащие Моей Сане.

От опушки до дома я несся со скоростью планетолета. Перед домом бросил все на снег и, оттолкнув вездесущего Педеля, ворвался к Сане.

— Так скоро? — спокойно спросила она.

— Хватит! — я схватил ее за плечи, повернул к себе.— Плевать мне на все твои доводы, ты должна быть со мной, понимаешь? Каждый час, каждый миг! И вовсе не потому, что это — последний год. Чушь! При миллиардных количествах данных должна быть хоть одна ошибка.

Она покачала головой.

— Замолчи! — крикнул я, хотя она ничего не сказала.— Эта ошибка — ты. Ты проживешь еще сто пятьдесят лет, и все это время я буду с тобой. Потому что я тоже собираюсь жить еще сто пятьдесят лет. А теперь — иди сюда. Будем праздновать ошибку этого идиотского «Оператора».

Она подняла руки и сделала неуверенный шаг вперед. Казалось, все, что я сказал ей, страшно напугало ее, и она вдруг беспомощно остановилась перед той новой жизнью, о которой я говорил ей. Она давно примирилась с тем, что должно было произойти в этом году, и теперь ей было бесконечно трудно перестроить свои планы на будущее, которое вдруг делалось таким далеким. Но самое главное — она поверила мне, потому что то, что было в ее глазах, руках, протянутых ко мне, беспомощно подрагивающих уголках губ,— все это не могло быть ни игрой, ни благодарностью за мое утешение. Это могла быть только вера. И поверить так можно было только в чудо. И поверить так мог только вконец измученный, исстрадавшийся человек.

И я сам протянул к ней руки, пальцы наши коснулись, но я остановил ее на расстоянии наших рук.

— Педель! — негромко позвал я, и он явился тотчас же.— Потолок и стены закрыть дымкой. И пока мы здесь, чтобы они не становились прозрачными.

— Слушаюсь.

Я видел, что где-то под кожей у Саны пробежала дрожь при словах «пока мы здесь». Лицо оставалось неподвижным, но что-то исказилось.

— И вообще я не намерен больше мерзнуть,— решительно заявил я.— Ты говорила, что южная база Элефантуса находится где-то на Рио-Негро.

— Да, но ни он, ни Патери Пат не покинут Егерхауэна. Дело в том, что...

— Да провались он к дьяволу! — Меня бесила зависимость от какой-то сиреневой туши.

— Родной мой, не надо все сразу. Раз у нас появилось так много времени — позволим себе роскошь закончить работу, а потом и переберемся. Тем более, что на Рио сейчас будут работать только машины.

— Хоть в Мирный — лишь бы отсюда.

— Там будет видно, милый.

Кажется, кончался май. Кончался и никак не мог окончиться. И снова я понял, что все, решительно все напрасно. Она превратила мои слова в игрушку для меня самого. Она теперь казалась веселой, но ее оживленная хлопотливость была лишь импровизацией на тему, которую я ей задал и которую она развивала в угоду мне. Стоило мне сказать: произошла ошибка — и она поверила, безоговорочно подхватила эту игру, в покорной слепоте своей даже не задумываясь, верю ли я в ее искренность. А я было поверил. Просто мне в голову не пришло, что можно до такой степени подчинить весь свой внутренний мир желаниям и прихотям другого человека. Если бы я ей сказал: ты умрешь завтра— назавтра она действительно умерла бы, и не бросилась бы со скалы, не подключилась бы к полю высокого напряжения. Нет, у нее просто остановилось бы

и сердце и дыхание. Само собой. Когда я это понял, я дал себе слово: сойду с ума, но не сделаю больше ни одной попытки хотя бы на йоту изменить существующее положение.

У меня что-то оказалось много свободного времени — вероятно, раньше я тратил его на полеты в Хижину,— и я готовил впрок различные блоки — диктовал Педелю, и он с молниеносной быстротой собирал микросхемы. Когда-нибудь пригодится. У меня было ощущение, что рано или поздно я запущу в своего кида чем-нибудь тяжелым, и тогда мне придется все собирать заново. Когда шло программирование, у меня появились кое-какие мысли относительно конструкции, но менять что-либо было уже поздно. Я решил накидать побольше схем, чтобы потом Педель по образцу нашего кида собрал аналогичный, но более совершенный аппарат. Я не знал, насколько это было нужно, но у меня было хоть какое-то занятие. Я все ждал, когда же кончится эта весна, и единственной радостной мыслью была та, что в таком состоянии меня уже никто не видит. Естественно, под словом «никто» я подразумевал одного человека.

А Патери Пат стал смотреть на меня как-то дружелюбнее. Во всяком случае, в его взгляде проскальзывало что-то от быка, которого ведут на убой в паре с другим обреченным, и он благодарен соседу за компанию. Я давно махнул на него рукой, потеряв надежду хоть сколько-нибудь разумно объяснить его поведение.

Иногда меня так и подмывало спросить его: ну, как там тебя, сильнейший и мудрейший, ты, решившийся на эксперимент — на такой эксперимент! — над своей драгоценной особой — установил ли ты, наконец, нужно ли *это* человечеству? Хотя что там человечеству — тебе самому. Да, да, тебе, лиловый бегемот, краса и гордость земной аккумулятопатологии? Ну, что тебе дало *это?* Что изменило оно в твоей жизни? Ведь если бы ты и не знал ничего, ты все равно дрожал бы над каждой своей минуткой, и все равно ты торчал бы здесь, потому что только тут тебе обеспечен идеальный для здоровья климат и вполне устраивающая тебя работа. И все равно ты отравлял бы существование всем нормальным людям, и все равно тебе было бы плевать на этих остальных людей. Так зачем, зачем тебе это Знание?

Тянулся пятидесятый, шестидесятый, сотый день мая, и я с каждым днем тупел все больше и больше и радовался этому той безысходной радостью, с которой человек, пытаемый в застенке, теряет сознание. Иногда, чтобы привести себя в рабочее состояние, я говорил: рано или поздно, но Егерхауэн кончится. И что тогда? Хижина? Но я понимал, что после исчезновения Саны я не смогу прийти туда, если совесть моя не будет абсолютно чиста. Как не чиста она сейчас. Но пока еще есть время, я должен расплатиться с Саной за все, что было и что могло бы быть между нами. Ведь и сейчас мы могли бы быть с ней счастливы, мы могли бы по-прежнему любить друг друга. Виноват ли во всем проклятый «Оператор»? Первое время я был в этом уверен. Но не все ли равно, кто виноват. Главное, что любовь уходила, и если бы Сана каким-то чудом пережила этот год, не знаю, смог ли бы я остаться с ней или нет. Но я должен был ее потерять, и поэтому платил вперед за то, чего никогда уже не будет. Я запутался во всех этих рассуждениях, и подчас мне казалось, что я просто холодно отсчитываю камешки, как девочки на пляжах: я теряю этот день... и этот... и белые камешки звонко чокают, ударяясь друг о друга и по-лягушечьи упрыгивая в песок.

И просыпаясь утром, я говорил себе: чтобы уплатить долг, я обязан на этот го́д забыть шальную большеглазую девчонку, которая может жить по другим законам, потому что ей всего восемнадцать лет.

И работая днем, я снова думал, что должен забыть...

И засыпая ночью, я опять вспоминал, что все еще не забыл...

Так, в днях, наполненных какой-то работой, припадками самобичевания и лаской, тоже входящей в уплату долга, пришло, наконец, лето.

Как-то утром я закрутился с работой. Сана, как обычно, пропадала у Патери Пата, и Педелю пришлось напомнить мне, что все уже собрались к обеду. Я давно уже не переодевался по такому поводу и, наскоро сполоснув руки под алеаровым фонтанчиком, побежал к уже дожидавшемуся меня мобилю. Педель скользил боком, держа передо мной полотенце, распяленное на тонких щупальцах.

Добравшись до Центрального поселка, я быстро прошел через полутемные комнаты обеденного павильона. Не так давно мы стали обедать на веранде, крытой, разумеется, непрозрачным пластиком. Мне достаточно было намекнуть Сане, что я побаиваюсь весеннего ультрафиолета, от которого я порядком отвык за одиннадцать лет — и к моим услугам были целые тоннели, прячущие нас от непрошеных наблюдателей.

Внезапно я услышал веселые голоса. Да ну? Я никак не мог представить, что способно было вызвать оживление за нашим унылым столом.

С веранды снова донесся смех. «Как в Хижине»...— невольно подумалось мне. Я толкнул дверь и остановился на одной ноге.

На столе царил хаос.

Сана сидела, положив оба локтя на скатерть.

Патери Пат был в белоснежной рубашке.

Рядом с Элефантусом сидела Илль.

— Посмотри-ка на него!— сказала она Элефантусу, показывая на меня рукояткой костяного ножика.

Элефантус послушно посмотрел на меня.

— Вывих нижней челюсти,— констатировала она.— Кажется, это по вашей части, Сана?

— Вы все перепутали,— весело отвечала та.— За костоправа у нас — Патери Пат. Рамон, закрой рот и садись. Вы ведь знакомы?

— Ага,— отвечала Илль.

— Что-нибудь случилось?— догадался я спросить.

— Ничего,— ответила Илль.— Добрый день.

И все кругом снова засмеялись. Ничего смешного не было сказано, да, вероятно, и до этого не говорилось, но у всех появилась удивительная потребность улыбаться, радоваться все равно чему. И это была не просто потребность в общении, это был направленный процесс: все улыбки, шутки и просто реплики эпического характера относились непосредственно к Илль. Особенно истекал теплотой Элефантус. Он излучал. Он радиировал. Он возвышался слева от Илль, такой потешный рядом с ней, такой старомодный, ну, просто галантный пра-прадедушка. А, может, так и есть? Они здорово похожи. Глазища. И ресницы. И эта легкость движений. Надо будет спросить как-нибудь потактичнее, сколько раз следует употреблять эту приставку «пра...». Впрочем, теперь подобные вопросы вполне лояльны. Другое дело — осведомляться о том, сколько еще осталось, вот это уже бестактность. Я усмехнулся: как забавно — со мной нельзя быть бестактным!

Мысли мои разбегались. Так кружится голова, когда вдруг наешься после длительного воздержания. Прошло около месяца с тех пор, как я бежал от Илль,и кажется, что с тех пор я ни о чем не думал. В лучшем случае у меня появились некоторые соображения относительно работы.

А сейчас все сразу говорили: Элефантус — о стрельбе из лука, Сана — об иммунитете триалевских клеток к сигма-лучам, Патери Пат — об английских пари, а Илль — о каком-то диком корабле, напоминающем морскую черепаху. Я сосредотачивался и вылавливал из общего гула наиболее громкую фразу, старательно таращился на Элефантуса, на Патери Пата, но ничего не мог понять. Я заставлял себя не смотреть на Илль и не слушать, о чем она говорит. Вскоре я поймал себя на том, что невольно раскачиваюсь взад-вперед. Я представил себе со стороны собственный вид и, махнув рукой на всех, уткнулся в свой бифштекс. Это прибавило мне ума, так как с момента возникновения цивилизованного человечества мясо было опорой и вдохновением всех кретинов. Я мигом уяснил, что дело все в том, что в заповедник пожаловала пара каких-то юнцов на старинном корабле, конструкция и принцип действия которого, древние как стрельба из лука, были предметом пари обитателей Хижины. К «черепахе», возраст которой определяется несколькими сотнями лет, еще никто не успел слетать, но предполагалось, что в случае какой-нибудь аварии она может стать источником нежелательной радиации, всегда так пугавшей Сану.

В разговоре образовалась пауза, и я был рад, что могу вставить хоть какую-нибудь реплику:

— Жаль, что этот корабль — не амфибия,— с глубокомысленным видом заметил я.

— Сохранились еще внимательные собеседники,— фыркнула Илль.— Я ведь только что говорила, что это — один из первых универсальных мобилей. Ну и работнички у тебя, папа, я бы гнала таких подальше. Впрочем, ты, кажется, говорил, что все за них делают аппараты.

Положительно, сегодня был день ошеломляющих сюрпризов. Элефантус — ее папа. Это в сто сорок с лишним лет! Я до сих пор как-то полагал, что после ста лет люди уже оставляют заботы о непосредственном продолжении рода. Еще один косвенный дар «Оператора». У меня вдруг резко поднялось настроение. Какая прелесть — теперь можно ходить в холостяках лет до ста двадцати. А если учесть все достижения медиков, которых теперь развелось на Земле несчетное число, то, может, и до ста пятидесяти.

Эта мысль так понравилась мне, что я засмеялся и открыто посмотрел на Илль. Кстати, под каким предлогом она здесь? Визит к отцу? Вполне допустимо, но почему она не делала этого раньше? Я думал об этом и разглядывал Илль — беззастенчиво, как тогда в мобиле. В маленьком мобиле цвета осенней листвы.

Сана, говорившая с Патери Патом, обернулась ко мне и о чем-то спросила.

— Да,— сказал я,— да, разумеется.— И, кажется, невпопад. Сана поднялась:

— Благодарю вас, доктор Элиа, и прошу меня извинить: сегодня мы ждем микропленки из Рио-Негро. До свиданья, Илль. Вы идете, Патери?

Впервые я увидел, что Патери Пат неохотно направился к двери. Обычно он исчезал после финального блюда, не дожидаясь, пока мы все закончим обед.

— Я ведь еще увижу вас до отлета? — тише, чем этого требовала вежливость, спросил он у Илль.

— Нет,— отвечала она своим звонким голосом.— Я тороплюсь. До свиданья.

Ага, она его выставляла. Мне вдруг стало ужасно весело. Черт дернул меня, как всегда, за язык:

— Вы уже улетаете?— церемонно обратился я к Илль.— Тогда разрешите мне проводить вас до мобиля.

— Пошли,— легко сказала Илль.

Я ждал, что Патери Пат сейчас повернется и глянет на меня своим мрачным взором, напоминавшим мне взгляд апатичного животного, которого медленно, но верно довели до бешенства. Но вышло наоборот. Он весь как-то пригнулся, словно что-то невидимое навалилось на него, и медленно, не оборачиваясь, протиснулся следом за Саной в дверь.

Мы невольно замолчали; казалось, всего несколько шагов отделяли нас от царства времени, тяжесть которого не выдерживали даже исполинские плечи Патери Пата.

Я тревожно глянул на Илль. Я вдруг испугался, что тот ужас, который тяготел над Егерхауэном и который, подобно вихрю Дантова ада, всё быстрее и быстрее гнал его обитателей по временно́й оси жизни, это коснется ее, вспугнет, заставит бежать отсюда, чтобы больше никогда не вернуться. Но Илль — это была Илль. Она сморщила носик, потом надула щеки и весьма точно передразнила гнусную и унылую мину Патери Пата. Она даже и не поняла ничего. И слава богу.

Илль встала. Подошла к Элефантусу. Ярко-изумрудный костюм, обтягивающий ее, словно ежедневный рабочий трик, на изгибах отливал металлической синевой; но кисти рук и плечи были открыты, а на ногах я заметил узенькие светлые сандалии. Видимо, материал, из которого был изготовлен ее костюм, был слишком тонок и непрочен по сравнению с тем, что шел на трики специального назначения. Во всяком случае, даже при ходьбе по острым камням трик не требовал туфель. Сейчас же Илль напоминала что-то бесконечно хрупкое, тоненькое. Наверное, какое-нибудь насекомое. Ну да, что-то вроде кузнечика. И двигалась она сегодня легко и чуть-чуть резковато. Вообще каждый раз она двигалась по-разному, и каждый раз как-то не по-человечьи. Надо будет ей это сказать... Потом. В будущем году.

Илль, как примерная девочка, чмокнула Элефантуса куда-то возле глаза. У него поднялись руки, словно он хотел обнять ее или удержать.

«Это совсем не страшно — узнать *свой* год...» — невольно всплыло в моей памяти. Вот за кого ты боишься, маленький, печальный доктор Элиа. Тебе, наверное, осталось немного, а ей всего восемнадцать, она еще совсем-совсем крошка для тебя. Тебе страшно, что она останется одна, и ты хочешь удержать ее подле себя, пока ты можешь хоть от чего-то уберечь ее.

Элефантус спрятал руки за спину. Ну, конечно, это я помешал — торчал тут рядом. И все-таки Илль — свиненок, могла бы почаще навещать старика. А вот это я скажу ей сегодня же.

Но когда мы пошли по саду к стартовой площадке, я уже не знал, что я ей скажу; вернее, я знал, что я хочу ей сказать, но путался, как сороконожка, в тысячах «хочу», «могу» и «должен». Обессилев перед полчищами этих мохнатых, липучих слов, я махнул рукой и решил, что я уже ничего не хочу и просто буду молчать.

Ее мобиль стоял справа. Я его сразу узнал — он был медовый, с легкой сеткой кристаллов, искрящихся на видимых гранях. Он висел совсем низко над землей, дверца входного люка была сдвинута, словно Илль знала, что она пробудет здесь совсем недолго и тотчас же умчится обратно. Я молча подал ей руку, но она не оперлась на нее, а повернулась и вдруг неожиданно села на кромку входного отверстия. Мобиль слегка качнулся — как гамак.

Мы еще долго молчали бы, но вдалеке показалась исполинская фигура

Патери Пата. Он только перешел через дорожку и пропал за поворотом.

Илль засмеялась:

— Совсем как зверь лесной, чудо морское: вышел из кустов, напугал присутствующих видом скверным, безобразным — и снова в кусты.

— Вы-то за что его невзлюбили?

— А так,— Илль покачала ногой, чтобы можно было наклонить голову, словно рассматривая кончик туфельки.— Он мне сказал одну вещь...

— Если бы это был не Патери Пат, я еще мог бы предположить, что за «одну вещь» он вам сказал.

Илль хмыкнула — не то утвердительно, не то отрицательно.

— Ну, а вы?..— самым шутливым тоном, словно меня это не так уж и интересует.

— Я тоже ему сказала одну вещь...— голова наклонилась еще ниже.— Совсем напрасно сказала, сгоряча, я этого никому не говорю.

— Ни папе, ни маме, ни тете, ни дяде?

— Ни.

— Ну, а он?..— я понимал, что моя назойливость переходит уже всякие границы, но ничего не мог с собой поделать.

— А он мне сказал тогда еще одну вещь...

Илль резко подняла голову, тряхнула копной волос, так что они разлетелись по плечам:

— Ну, это все неинтересно, а я вот привезла вам билет на «Гамлета».

И достала из нагрудного кармашка узкую полоску голубоватого целлюаля.

Как же сказать ей, что я не могу, что время не принадлежит мне, что я решил до конца года не видеться с нею — и еще много такого, что можно придумать, но нельзя сказать такому человеку, как она. И я просто спросил:

— А когда?

— Послезавтра.

— Мне будет трудно улететь.

— Но вы же скажете, что идете на «Гамлета»!

Глупый маленький кузнечик. Это ты можешь сказать Джабже: «Я иду на «Гамлета». А у нас, у взрослых, все сложнее и хуже. Дай бог тебе этого никогда не узнать. Если ты останешься в Хижине — может, и не узнаешь.

Илль слегка покачивалась, отталкиваясь ногами от земли.

— А я должна улететь,— сказала она наконец, но не сделала никакой попытки войти в мобиль.— Меня мальчики дожидаются.

Я видел, что улетать ей не хочется, да она этого и не скрывала. И оттого, что ей хотелось остаться, она выглядела смущенной и притихшей, как всегда, когда мы оказывались одни в мобиле. Но я вдруг вспомнил, откуда она черпала все свои сведения обо мне, и не выдержал:

— Я думаю, ваши мальчики спокойны — они прекрасно видят, что вы в безопасности.

— Как видят?— спросила она самым невинным тоном.

Тут настала очередь смутиться мне. Рассказать ей о моей экскурсии в ее комнату?

Но Илль смотрела на меня спокойными огромными глазами, и я не мог говорить иначе, как только правду:

— Я думал, что вы просматриваете всю территорию Егерхауэна.

— Как же можно? Это было бы неэтично.

Не поверить было невозможно. Но как же тогда та охапка цветов и листьев? Не совпадение же?

— Илль, однажды я сунул нос в вашу комнату. И там на полу...

— А, ветки селиора — совсем такие, как я однажды нарвала вам! И как пахнут! Я с тех пор раза два в неделю летаю за ними.

— Вы нарвали мне?

— Ну, да, конечно. Ведь вы так хотели. Я ведь часто бывала у папы, только вы не знали. Вот и тогда я случайно вышла в сад и увидела, как вы идете по дорожке и рвете полные горсти травы. Потом, когда вас перенесли в дом, отец все отобрал у вас и выбросил. Но вы ведь хотели травы и листьев. Тогда я слетала вниз и снова нарвала. И бросила на полу. Вы рассердились?

— Я не знал, что это — вы.

— И рассердились на кого-то другого?

— Я не знал, что это вы. Понимаете? Несколько месяцев назад я даже не знал, что вы есть на Земле. А цветы подобрали другие люди и расставили в вазы правильными пучками.

— Чушь какая! Дикие цветы не растут правильными рядами, и когда их рвешь, надо из них устраивать просто свалку. Иначе какой смысл?

— Попробовали бы вы объяснить это Педелю!

— Но с вами ведь были люди?

— Да, люди. Люди Егерхауэна.

— Худо вам в этой тюрьме?

— Не надо об этом, Илль. То, что привязывает меня к Егерхауэну, не подлежит ни обсуждению, ни осуждению.

— Простите меня. Но я говорю о своем отце. Я не люблю бывать здесь именно потому, что он один виноват в том, что происходит в Егерхауэне.

— По-моему, в Егерхауэне уже давно ничего не происходит.

— Здесь происходит... здесь нарушается первый закон человечества — закон добровольного труда. Ну, скажите мне честно, разве вы работаете над тем, что вы сами избрали?

Я кивнул.

— Неправда! И вам тяжело дается эта неволя. Вы прилетели на Землю для того, чтобы быть человеком, а не роботом, которому задают программу отсюда и досюда...

— Не судите так строго своего отца, Илль. Он чист перед собой и перед всеми людьми. То, что он сделал, предоставив нам свою станцию, было наилучшим выходом для меня. Ваш отец знает обо мне намного больше, чем вы — простите меня. Он поступает правильно.

— Нет,— сказала она твердо, что я понял — никакими словами не убедишь ее; она знает, что права.

И она действительно права.

— Мне очень жаль, Илль, что из-за меня вы изменили свое отношение к отцу. Я прошу вас — будьте добрее с ним.

Она вдруг посмотрела на меня очень внимательно. Потом засмеялась:

— Нет, вы подумайте: тысячелетиями идет борьба за предоставление человеку всех мыслимых и немыслимых благ и свобод, а когда он достигает их и начинает ими пользоваться — ему отказывают даже в какой-то охапке сена.

— Так этот парадокс и заставил вас лететь за цветами?

— Да. А разве для этого акта требовались какие-то более веские причины?

Вот и все. Все мои надежды и предположения ухнули ко всем чертям. Гордо, даже чуть заносчиво вскинут подбородок. Какой-то механик, отупевший и огрубевший за свое одиннадцатилетнее пребывание в компании роботов. И я смел... Ну, лети, лети, солнышко мое, лети к своим Джаб-

жам, Лакостам, к великим тхеатерам. И кто еще там допускается на ваш Олимп. Я умею ждать, а тебе всего восемнадцать. Не век же я буду маленьким кибермехаником. А тогда посмотрим. Улетай, маленький кузнечик.

— А чему вы смеетесь?

— Просто представил себе, что говорил бы кузнечик, глядя на вас.

— Ну и что? Сказал бы — уродина, и коленки не в ту сторону.

— Правильно. И стрекотать не умеет.

— Неужто не умею?

— Да нет, временами получается.

— Ну, скажите папе от меня что-нибудь хорошее.

Янтарный, как и все машины Хижины, мобиль рванулся вверх и растаял в вечернем небе, набухающем предгрозовой синевой.

Я постоял, сцепив за спиной руки и запрокинув голову, и пошел искать Элефантуса, чтобы сказать ему что-нибудь хорошее.

ГЛАВА X

Я не просто думал. Я молился. Я молился всем богам, чертям, духам и ангелам. Я перебирал всех известных маленьких сошек вроде русалок и домовых. Я вспоминал всех эльфов, сильфов и альфов — подозреваю, что половину из них я придумал, надеясь, что когда-нибудь существовала и такая божественная мелюзга. Я молился с восхода солнца, когда лучи его неожиданно и тепло ткнулись в мои закрытые глаза. Я открыл их, снова зажмурился и забормотал молитву лучам восходящего солнца. Я просил так немного: пусть случается все, что угодно — но завтра. Сегодня мой день. Я давал торжественные обеты не бывать в Хижине до самого тридцать первого декабря, но сегодня я должен лететь туда. Сегодня мой день. Она меня позвала, может быть — каприза ради, но она меня позвала. В первый раз. И сегодня был мой день. Так, пожалуйста, завтра я готов на все, но только не сегодня.

Илль рвала и метала. До начала оставался час с четвертью, я был даже не одет. И дернул же меня черт вырядиться в белую рубашку! Но откуда я знал, что резкие световые пятна в зале могли помешать тхеатеру и рассеять его внимание? Меня самого поразил туалет Илль: она была в черном глухом платье, чуть ли не со шлейфом, на голове — корона из стрельчатых бледно-лиловых звезд селиора. Эти цветы — грубые, напоминающие диковинные кристаллы,— удивительно шли к ней и сами теряли свою жестокость и примитивность от прикосновения к ее волосам. Пока самый скоростной из ее стационарных киберкостюмеров дошивал мой костюм, она поносила последними словами все костюмерные мастерские мира, персоналы Хижины и Егерхауэна, не смогшие присмотреть за «провинциалом», жуткую грозу, по недосмотру синоптиков превысившую все предельные мощности и задержавшую мой прилет (хотя я летел под самым ливнем), этих идиотов-старьевщиков, застрявших на своей нелепой машине и не желающих пользоваться ничьей помощью из-за своего щенячьего самолюбия, и еще многое другое, не имеющее к нашей поездке никакого отношения. В конце концов Лакост, который должен был лететь с нами, не выдержал и, заметив, что растерзание заживо никогда не было

в его вкусе, оставил меня с глазу на глаз с разъяренной Илль. Надо сказать, что и у него времени оставалось только до Парижа. Как успеем мы — было для меня совершенно неясно.

Но я был готов раньше, чем предполагал. Не дав мне даже взглянуть в зеркало, Илль схватила меня за руку и вытащила на площадку. Резкий ветер чуть не сбил нас с ног. Я вцепился в совсем крошечный мобиль, с трудом удерживавшийся на стартовой площадке, и помог Илль влезть в него. Надо сказать, что ее платье вряд ли было пригодно для таких видов транспорта. Я заметил,— разумеется, весьма осторожно, принимая в расчет ее далеко не миролюбивое настроение,— что тут более всего подошел бы вместительный грузовик. Она ничего не ответила, но только выдернула из моих рук край своего платья, который я пытался затолкнуть следом за ней в мобиль. Прямо скажем, внутри не хватало комфорта. Я понял, что это спортивная одноместная модель с ручным управлением, и еще я понял — по тому, как швырнуло нас назад при старте,— что детям до тридцати лет категорически нельзя позволять пользоваться неавтоматическими машинами. Мобиль шел тяжеловато, но с предельной скоростью. Не представляю себе, как Илль умудрилась им управлять. Но, по-видимому, она прекрасно знала эту трассу, потому что я только и замечал шарахающиеся в стороны обычные пассажирские корабли, которые мы со свистом обгоняли.

Как всегда, мы молчали, пока под нами сквозь янтарную покрышку корабля не начали проступать серые контуры огромного, не совсем еще заселенного древнего города.

По тому, что мы все-таки приземлились, а не разбились вдребезги, я понял, что мы еще не совсем опоздали.

Если бы я не знал, что здание театра было построено специально по просьбе Сидо Перейры, я подумал бы, что оно стоит уже многие века — так органически вписывалось оно в панораму этого причудливого и когда-то такого веселого города. Старинные часы на готической башенке, венчавшие невысокое здание театра, показывали без нескольких минут полдень. Разумеется, и время здесь, как в древнем Париже, было местное.

Бросив свой мобиль у люка подземного ангара, мы ворвались в зал. Меня удивило, что никакого вестибюля или фойе не было; вероятно, в антрактах зрители выходили прямо на площадь, благо существовали киберсинопы, которые в такие моменты могли мигом установить райскую погоду.

Зал напоминал мне студию, которую я видел в Хижине: он так же расходился под острым углом от большой черной ложи к сцене, которая тут была несколько приподнята над зрительным залом, едва освещенным. По краям партера находились меленькие двухместные ложи. Илль уверенно подвела меня к одной из них.

— А где же Лакост?— спросил я для приличия.

— В одной из лож,— отвечала она тихо.— Мне удалось достать только одну ложу на сегодня и одну — на завтра, так что вам просто повезло, что Сидо Перейра предложил еще одно место в своей ложе.

Ага, каждый сверчок знай свой шесток — я здесь по милости великих мира сего.

Мы уселись, и я усмехнулся, подумав, что вряд ли буду способен воспринять что-либо, кроме едва уловимого тонкого запаха умирающих, но не увядающих цветов. И откуда-то издалека-издалека пришла, промелькнула мысль — только бы ничего не случилось там, в Егерхаузне...

Между тем у меня появилось непреодолимое желание смотреть, не

отрываясь, на сцену. Она была пуста, едва освещена пепельным сумеречным светом и, казалось, уходила в бесконечность. И, как всякая бесконечность, она так и притягивала взгляд. Внезапно в зале стало совершенно темно, и в этой темноте прозвучал спокойный, рокочущий голос:

— Эльсинор...

И в тот же миг какие-то полотнища очень темного света рванулись сзади к сцене, но в следующий же миг я перестал их воспринимать, хотя еще несколько секунд чувствовал, что они все-таки реально существуют. Затем я забыл о них.

А передо мной, казалось, гораздо ближе, чем была до этого сцена, возник холодный каменный замок, возведенный на скале. Он был так реален, что я даже видел, как тонкой струйкой сыплется песок из щели между двумя плохо обтесанными камнями. И музыка, как-то одновременно и возникающая во мне, и прилетающая из той сероватой бесконечности, которая начиналась в глубине сцены,— она тоже была детищем Сидо Перейры, потому что только человек, смогший силой своей фантазии воздвигнуть эти исполинские громады башен и выщербленных маленькими бойницами стен, смог выдохнуть этот рокот, неумолимый и монотонный, словно невидимое, но реально ощущаемое море, омывающее подножие обреченного замка.

Вдруг что-то звякнуло. Я насторожился. Как это я сразу не заметил, что справа на узкой, огражденной каменными зубцами площадке стоит человек? Гамлет,— подумал я и стал с интересом разглядывать его шлем и доспехи. Но вот показался еще один, одетый и вооруженный так же, и я вспомнил, что это — офицеры стражи и скоро появится призрак.

И вот уже этот призрак появился, он был прозрачен, и голос его звучал так, словно он говорит из расстегнутого, но неснятого скафандра. Наверное, в средние века показать призрак было проблемой, как, впрочем, и увидеть, а теперь никто бы не удивился, если бы по ходу действия на сцену выползли протоцератопсы в масштабе один к одному. Предаваясь всем этим мыслям, я больше смотрел на волосы Илль, чем на сцену, и очень удивился, когда зазвучали фанфары и я увидел перед собой уже что-то вроде тронного зала, довольно убогого, впрочем, заполненного шуршащей толпой, разодетой в тяжелые и тусклые ткани.

Пьесу я, оказывается, помнил, то есть мог угадать, кто и что сейчас скажет. Поэтому меня больше интересовали образы. Королева была начинающей полнеть чувственной бабой лет ста, а по-тогдашнему — сорока — сорока пяти; может, и красивая, с невьющимися рыжеватыми волосами; король — типичный самец в духе всех нехороших, низких и сластолюбивых королей, какими полагалось, по моим представлениям, быть средневековому королю. Полоний и Лаэрт тоже были хороши.

Ну вот, наконец, я разглядел и самого Гамлета. Красивый парень итало-испанского типа, нисколько не похож на королеву. Уж раз играли не актеры — могло бы быть хоть отдаленное сходство. По ходу действия мои антипатии к главному герою все усиливались. Это был прямо-таки янки при дворе короля Артура — он был нашпигован всем гуманизмом и всезнайством нашего просвещенного века. Он был полон такого холодного и обоснованного презрения ко всему Эльсинору, что прямо непонятно было — как это его до сих пор там терпели и не отправили следом за прежним королем.

Мне хотелось обменяться своими впечатлениями с Илль, и я с нетерпением ждал антракта, когда вдруг заметил, что она, и так с неотрывным вниманием следящая за всем, происходящим на сцене, вдруг подалась вперед и замерла. Потом осторожно обернулась и глянула на меня удивленно и испуганно.

С Лаэртом говорила Офелия. Трогательная, тонюсенькая девочка, чуть широкоскулая, белобрысая и, естественно, ясноглазая. Двигалась она как-то скованно, словно ее плохо научили, как это делать. Я стал вслушиваться в ее голос — он был грустный и откуда-то знакомый. Так, наверное, говорят дети, которых очень обидели, и вот обида забылась, и эта долгая грусть так и не успела уйти. В этой Офелии что-то было. Никогда не поймешь, что именно притягивает к таким девушкам, но именно таких и любят так, как, по-моему, и любят по-настоящему: безрассудно и чаще всего — несчастливо.

И я не успел на нее наглядеться, как сцена уже снова представляла собой площадки и переходы вокруг замка, и снова появился неинтересный и нестрашный призрак, и, наконец, наступил антракт, но Илль наклонилась вперед, положила руки на бархат ложи и так осталась, опустив голову на руки. Я не стал ее тревожить. Я смотрел на ее склоненную голову, обвитую, словно гигантским черным тюрбаном, пушистыми волосами, и мысли мои были далеки от классической драматургии. Вскоре зал стал наполняться людьми, вот уже все места снова были заняты, и в последний момент перед тем, как погас свет, снова мелькнула прежняя недобрая мысль: а там, в Егерхауэне... И снова почти молитва: только бы не сегодня.

Я забыл, должна ли выходить Офелия во втором акте, и напрасно прождал ее появления. Хорошо, пожалуй, было лишь то, что Гамлет потерял в какой-то мере свою принадлежность к нашему современному миру, обнаружив чисто средневековую склонность к интригам и мышеловкам. И все-таки у него еще оставалось что-то бесконечно наше, и не вообще присущее этому веку, а именно сегодняшнему дню — дню той Земли, которую я нашел по возвращении из моей тюрьмы. Но это, по-видимому, было традицией каждой эпохи — взваливать на датского принца все противоречия своего времени.

И снова — антракт, и снова Илль, как оцепеневшая, не тронулась с места. Мне показалось, что я разглядел Лакоста, и, извинившись, я вышел, но не нашел его и вернулся ни с чем. Она сидела в той же позе, положив голову на руки, и не заметила, что я опустился рядом с ней. Проклятый день. Столько я мечтал, что буду с ней в театре, и вот мы были здесь, но она была не со мной. Я не смел заговорить с ней, не смел потревожить ее. И своей отрешенностью она не позволяла и мне воспринимать все то, чему я, казалось, должен был так радоваться. После одиннадцатилетнего перерыва попасть в театр, и на такую пьесу, и в таком исполнении, и с такой спутницей — и все шло прахом, потому что я не мог думать ни о чем ином, как о том, что Илль — совсем чужая, ни капельки не моя...

И вдруг я вздрогнул. «Если бы...» — сказала Илль. Я поднял голову. Действие уже шло. Она сказала это на весь зал, но никто не оглянулся на нее; она сидела, опершись локтем на барьер ложи и касаясь пальцами виска. Губы ее были плотно сжаты и сухи. Может быть, мне показалось? Но я явственно слышал ее голос. Между тем со сцены торопливо убегали король и его придворные, оставляя замершую у решетчатого окна Офелию. И вот оттуда, куда она с такой тревогой смотрела, тяжело, не замечая ничего кругом, вышел Гамлет.

Он заговорил тихо, но я отчетливо слышал каждое его слово. Он решал то, что уже сам знал,— и тут-то я и понял, что с самого начала я называл в нем «современным» — он знал, что — не быть. И сейчас он знал, что срок его определен. А настоящий Гамлет не мог этого знать. Этот же знал даже, что срок его краток, и поэтому нерешительность его была мне понятна. Заметила ли Илль это противоречие? Наверное, нет. Мне вдруг так захотелось увидеть ее лицо, что я готов был взять ее голову в ладони и

повернуть к себе. Но едва я наклонился к ней, как снова услышал ее голос:

Мой принц,
Как поживали вы все эти дни?

Офелия шла навстречу своему принцу, протягивая гибкие руки, такие знакомые мне, и все ее движения были скованны, неловки, словно она может сделать со своим телом все, что пожелает, но ее научили вести себя именно так, и она двигается по законам движения людей, а не тех высших существ, к которым она принадлежит. И я уже давно знал и эту походку, и эту левую руку, невольно касающуюся виска, когда не приходит на ум нужное слово, и я вспомнил, как удивленно и испуганно оглянулась на меня Илль в первом акте, едва завидев двойника, а я, дурак, как всегда, не видел дальше белобрысых локонов и курносого носа.

Это было чудо, принадлежащее нам двоим, и я схватил руку Илль выше запястья, и она снова обернулась ко мне, и я увидел ее глаза, смотревшие как-то сквозь меня — ей, наверное, казалось, что рядом сидит сам великий Сидо Перейра, и поэтому она не отняла руки, и острые лепестки селиора царапали мне лицо: но мне было наплевать, за кого она меня принимает, потому что наступило то, ради чего я пошел на предательство, на проклятье этого дня, которое неминуемо настигнет меня где-нибудь на закате, но сейчас еще был день, и мы сидели рядом, просто рядом для всех, кто мог бы увидеть нас, но на самом деле мы были так близки, что между нашими глазами не было места для взгляда, между нашими губами не было места для вздоха, между нашими телами не было места для человеческого тепла.

И тогда действие замелькало, понеслось с непостижимой быстротой. Я не успевал увидеть, услышать — не успевал наглядеться, наслушаться. Но разве это можно успеть? Я вдруг понял, что Гамлету уже все равно, быть ему самому или не быть, а только бы всей силой своего ума, всей любовью своей и всей своей жестокостью оградить от гибели эту тоненькую девочку,— и он понимал, что не в силах сделать этого; и тогда, не дожидаясь, пока это сделают другие, он сам губил ее, поджигая ее крылья, и она сгорала, таяла, как Снегурочка, и мы, замирая и цепенея, видели, как, не подчиняясь уже никаким людским законам, трепещут, изгибаются ее руки, отыскивая воображаемые цветы; и она скользила по сцене бесшумно и невесомо, словно уже плыла, словно уже тонула; вот и последняя ее песня — о нем же, все о нем, и уже совсем без грусти, совсем спокойно, потому что где-то совсем близко — соединение, потому что:

В раю да воскреснет он!
И все христианские души...

И тихое, всепрощающее: «Да будет с вами бог».

Но никакого бога не было с этими людьми, а была только ненависть, и ложь, и яд, и рапиры, и справедливая месть, которая ничего не могла искупить.

И рука Илль была в моей руке.

Мы уходили, как всегда это бывает после чего-то подавляющего, медленно и молча. Лакоста уже не было — наверное, он видел нас и тактично исчез, предоставив нам возвращаться в том же крошечном одноместном кораблике.

Мы взлетели совсем спокойно. Я по-прежнему сидел сзади нее на полу — другого места в этой малютке и не было — и думал, как же она простится со мной; я ведь понимал, что нелепо и бессовестно было бы с

моей стороны пользоваться тем, что потрясло ее совсем еще ребячье воображение; что будь на моем месте Лакост или даже Туан — для нее не было бы никакой разницы.

Пусть она выбирает сама, куда мы полетим, и если захочет — пусть сама заговорит. Нам осталось совсем немного — несколько минут. А потом останется несколько месяцев. А потом мы будем вместе, и это так же верно, как тогда, когда я сидел на своем буе, не имея ни тысячного шанса на спасение — и у меня даже не возникало сомнений в том, что рано или поздно я вернусь на Землю. И теперь будет так же. Ты — моя Земля, мое счастье и вся жизнь моя. И что мне до того, что сейчас я не нужен тебе. У нас с тобой еще всё впереди... Если только там, куда я возвращаюсь, ничего не произошло за эти несколько часов. Но ничего не могло произойти. Что — несколько часов перед целым годом? Ничего не могло произойти. Ну, вот и мои горы. Скажи мне на прощанье несколько вежливых, ничего не значащих слов. Они действительно ничего не будут значить после тех минут, когда я держал твою руку и смотрел на тебя — на вторую Илль, прячущуюся под белокурым париком датчанки. Ну, придумывай же эти слова — вот ведь и синяя долина Егерхауэна.

Наш мобиль тихо скользнул вниз и повис там, где обычно я выходил, когда возвращался после наших встреч в Хижине. Илль повернулась ко мне, тихонечко вздохнула, как тогда, в самый первый раз, и сказала:

— Больше не буду тебя выкрадывать. А сегодня не могла иначе. Я ведь люблю тебя, Рамон.

Я схватил ее за руки и замер, глядя снизу на ее губы. Сейчас она скажет, что это не так. Она перепутала. Пошутила. Сошла с ума. Но я увидел, что это — правда, но только ничего больше не будет и она не переступит того заколдованного круга, которым сама себя очертила.

— Я сказала. А теперь — иди.

— Что-о?— во мне вспыхнула какая-то веселая, буйная ярость.— Идти? Теперь?

Одной рукой я обхватил ее так, что она не могла и шевельнуться, а другой нащупал кнопку вертикального полета. Нас швырнуло об стенку, и мобиль, задирая нос кверху, полез в высоту. Четыре тысячи метров... Пять.. Пять с половиной... Мы задыхались. Мобиль шел почти вертикально, и волей-неволей я ее выпустил. Она вскинула руки к пульту, и мобиль, описывая плавную дугу, помчался куда-то на юг на самой дикой скорости. Теперь мы шли вниз, и сквозь прозрачное янтарное дно я видел, как мелькают смутные контуры лесов, городов и озер; Илль теперь тоже сидела на полу, опираясь плечами на сиденье и запрокинув голову, и мне казалось, что она уплывает от меня по стремительно мчащемуся потоку, и я вижу мельканье причудливого дна, тянущего ее к себе.

Ну же, тони, гибни, исчезай! Мы посмотрим, кто кого. Мы посмотрим, как это я позволю тебе уплыть от меня.

— Сударыня, могу я прилечь к вам на колени?

— Нет, мой принц!

— Я хотел сказать — положить голову к вам на колени...

— Нет, Рамон.

— Да, Илль! И не смотри на меня так. Я ведь все посмею. Все, чего хочу я... и чего хочешь ты. Не вырывайся. Я буду груб. Я знаю, что ты сильнее меня. К чертям всех хрупких и беззащитных. С тобой можно только так. Ты ведь сама этого хочешь.

— Откуда...

— Не спрашивай. Знаю.

— Нет.

— Скажи, что все — неправда, и я разобью мобиль.

— Я люблю тебя, Рамон. С того утра, как увидела тебя на набережной. Почти год назад. Я прилетала к отцу и видела тебя. Я только видела тебя. Не целуй меня. Мне нужно только видеть тебя.

Ее голова лежала на моих ладонях. И она хотела, чтобы я не целовал ее.

— Ты слишком близко. Я не вижу тебя.

— Это — губы. Это — руки. Это — сердце. Все.

— Нет,— прошептала она.— Это не все.

И тут я понял. Она видела меня — не одного.

— Это — все!— крикнул я.— Все! Слышишь? Эта скорлупа — и мы. И никто больше!

— Нет, ты сам знаешь, что нет.

— Тогда зачем же все это? Поверни мобиль обратно.

Рука ее приподнялась — и упала. И я вдруг понял, что от ее силы и мужества не осталось и следа. И еще я понял, что мои губы были первыми, и огромная нежность к этим тихим рукам, зацелованным мною, поднялась и переполнила меня. Я приподнял ее и прижал к себе.

— Илль,— шептал я, не отрываясь от ее губ и чувствуя, что эта нежность будет моим последним разумным человеческим ощущением.— Моя Илль. Моя.

— Нет. Нет. Нет.

— Все равно — да или нет. Теперь уже все равно. Ты любишь меня. Я люблю тебя.

— Но этого ведь так мало...

Она еще пыталась спрятаться за шаткую ограду слов, но я закрыл ее губы своими губами и целовал их, пока хватало дыхания. Но когда его не хватило, я услышал:

— Ты знаешь, отчего умирает Сана Логе?

Наверное, я ослышался.

— Они полетели на твой буй. Пять летчиков и она — врач. Они полетели за тобой. Корабль шел до тех пор, пока не почувствовал излучения. Тогда они вернулись, и... Теперь очередь Саны.

— Почему это знаешь ты?

— Мне сказал Патери Пат.

Так вот что сказал ей Патери Пат!

— Почему этого не знаю я?

— Значит, так хочет Сана Логе. И я на ее месте не сказала бы.

— Почему?

— Не знаю. Наверное, у меня было бы ощущение, что я прошу у тебя благодарности за то, что я сделала.

Я положил руки на колени и опустил на них голову. Мобиль резко накренился, помчался еще быстрее. Я не знаю, сколько мы летели. Наконец, он скользнул вниз и остановился.

— Я не должна была говорить тебе этого. Она сама никогда бы не сказала.

— Да, она не сказала бы.

— Прощай.

Я посмотрел на нее.

— Я люблю тебя Илль.

Она кивнула.

Я неловко вылез. Мобиль рванулся вверх так, что меня отбросило в сторону. Я поднялся и пошел к дому.

Сана сидела в глубоком кресле. Я вошел и остановился. Если бы я знал,

что сказать! Я стоял и разглядывал ее. Даже не ее. Платье. Она надела самое богатое. Прическу. Она выбрала самую изящную. Она всегда умела убирать свои волосы. Тяжелые, с матовым отливом, волосы. Волосы цвета... Педеля.

— Сядь, Рамон.

Хорошо. Пусть она говорит. Сегодня я буду слушать ее не так, как всегда. Как это сказала Илль — чувствовать благодарность. Я буду чувствовать благодарность. Какое хорошее слово! Оно исполнено уважения и совсем не обязывает к любви. Я наклонил голову. Мне не хотелось, чтобы она разбиралась в моей мимике. Ведь сама она не требовала от меня благодарности. И никогда не потребует.

— Мне тяжело говорить об этом, Рамон, но я не хочу, чтобы после того, как меня не станет, тебе рассказывали об этом посторонние люди. Помнишь, в день нашего расставания я дала тебе слово не улетать с Земли. Но я его не сдержала. Это случилось тогда, когда гибель вашего корабля стала очевидной, но осталась слабая надежда на то, что кто-нибудь сумел опуститься на нижние горизонты буя. Нас было шестеро. Я хочу рассказать тебе об этих людях, потому что сейчас в живых остались только двое — второй пилот и я. Ты должен знать о тех...

Я поднял голову.

— Не надо о них. Ведь ты говоришь о себе. Говори о себе.

Она не поняла. Вероятно, она приписала мои слова тому, что ее сообщение потрясло меня.

— Хорошо. Я не стану рассказывать, как мы летели. Мы ожидали самого худшего. И ожидание превратилось в уверенность, когда наши приборы начали фиксировать излучение, а кое-какая аппаратура просто вышла из строя. Тогда командир отдал приказ начать разведку на одиночных ракетах. На большом корабле остались командир, второй пилот и я.

Стены и потолок голубели — это опускались сумерки, тихие сумерки после утренней грозы.

А где-то, в непостижимом удалении от мира этих летних сумерек, стремительно неслись два корабля: один — в пространство, другой — во времени; один, воскрешенный словами женщины в белом, принадлежал миру прошлого; другой, неотвязно преследующий меня своей ненужностью, был послан в будущее. Первый, движимый воспоминанием этой женщины, летел навстречу бесполезной гибели шести человек; вместо них должны были лететь машины, но если кто-то в опасности — на выручку ему бросаются живые люди. Так всегда было и так всегда будет на Земле. Но лучше бы они не летели.

Второй нес в себе машину, пусть мудрую, но все-таки косную в своей формальности логичности. Вместо нее должен был лететь человек. Этот корабль еще где-то впереди нас, но мы никогда не сможем связаться с ним, и не только потому, что по программе он должен был уклоняться от контакта с жителями планеты, на которую прибудет. Просто мы еще не знаем, что это такое — тело, двигающееся во времени. Мы даже представить себе этого не можем. Он летит впереди нас, и в то же время он уже вернулся одиннадцать лет тому назад, и то, что он принес, всегда было страхом слабых и мечтою сильных...

— ... Но несмотря на то, что ни один сигнал не доносился к нам с мертвого буя, меня не покидало ощущение, что ты — там, и я не согласилась бы на отлет...

Джабжа прав — слабых на Земле больше нет. Значит, все — сильные. Значит, *это* нужно всем. Машинная логика! Когда-то люди — сильные люди — мечтали иметь крылья. И что было бы, если бы эта мечта сейчас

исполнилась. Я тихонечко повел плечами. Ненужная тяжесть, улиткин домик. Человек уже давно крылат, и наши машины — от могучих и многоместных мобилей-экспрессов до крошечных индивидуальных антигравиторных «икаров» — не идут в сравнение с весьма несовершенными перепончатыми придатками, нарисованными воображением древних мечтателей.

— ... Было очевидно, что дальнейшее пребывание на орбите грозит гибелью и остальным членам экипажа. Я потребовала, чтобы мы перешли на более безопасную орбиту, но командир получил указания с Земли...

Почему мысли мои неуклонно возвращаются к «Оператору»? Что движет ими — страх? Я наклонил голову, рассматривая себя то с одной стороны, то с другой. Страх... Смешно. Я давно уже понял, что бояться можно только за кого-нибудь другого. Не зная своего года, я уже боялся за Сану, боялся до такой степени, что не позволял себе узнать свой год даже под угрозой того, что окружающие сочтут это трусостью. Я не позволял себе думать ни о чем другом, кроме одного: как же заплатить ей за все то, что она для меня сделала, и за то, что она могла бы еще сделать, если бы не уходила первой. Но так бояться можно только за того человека, который бесконечно дорог тебе, и я искал в себе этот страх, и хотел найти его, и не находил. И не знал, что же было раньше: ушла ли любовь, а за нею — страх за любимую, или же я просто устал бояться... Наверное, последнее. Во всяком случае, мне было легче думать, что один проклятый «Оператор» виновен во всем.

— ... Но всю обратную дорогу меня не покидала уверенность, что мы просто не там искали, что ты жив и, может быть, находишься в самом неожиданном месте,— например, на каком-нибудь корабле, потерявшем связь с Землей; я обратилась ко всем оповещательным центрам Солнечной...

Мне было не легче. Потому что я знал: «Оператор» здесь ни при чем. Не знай она *этого* — она все равно сочла бы себя вправе запереть меня в эту клетку, все равно она распоряжалась бы мною, как Педелем; все равно люди Егерхауэна вели бы эту каторжную жизнь, так наивно принятую мной за подвиг. Элефантус — не простивший себе просчета с фасеточным мозгом; Сана — чтобы иметь возможность и во время работы наблюдать за мной; Патери Пат — вот тут я только не знал, в чем дело. Просто было в его жизни что-то, потеря какая-то, и он работал, чтобы забыть. В этом я был уверен. А там, в далекой снежной Хижине — и говорить не о чем...

Сана стояла передо мной и молчала. Она молчала уже давно. И я с ужасом подумал, что должен ей что-то сказать. Вот так молчал я и в день нашей первой встречи здесь, в Егерхауэне, и так же время неслось все быстрее и быстрее, но тогда я мучительно хотел найти для нее самые нужные слова, а сейчас...

— Сана,— неожиданно сказал я,— а тебе, именно тебе, оказалось нужным Знание, принесенное «Оператором»?

Казалось, в ней сломался тот стержень, который всегда заставлял ее выпрямляться навстречу мне — она вдруг резко наклонилась надо мной, и ее глаза, ледяные лучистые глаза замерли передо мной.

— Да,— сказала она.— Да. Да. *Это* мне действительно нужно. Да. Потому что только благодаря *этому* ты — со мной. Пусть только потому, но ты — со мной. Ты думал — я боюсь смерти. Разве это страшно?! Для меня существовал только один страх — потерять тебя. Но *это* не позволило тебе уйти от меня. И теперь ты не уйдешь. Даже теперь. Вот почему мне нужно *это*.

— И только?— спросил я.

Она не ответила. И снова наступило молчание, и молчание это было безнадежно.

Я встал и как можно быстрее вышел.

Педель распахнул передо мной дверцу мобиля, влез следом и примостился где-то сзади. Затих. Мне казалось, что мобиль едва тащится. Гнусная аквамариновая коробка! Разве можно было сравнить его с легкой спортивной машиной Илль, сверкающей, словно капля меда?

Я приземлился у входа в сад, чтобы немного пройтись. Велел Педелю не наступать мне на пятки. Пошел по узкой аллее на тусклые огни обеденного павильона.

Неожиданно из-за поворота показалась огромная фигура. Шатаясь и мыча, она приближалась ко мне. Я прижался к дереву и замер. Это был Патери Пат, но в каком состоянии! Он был пьян. Пьян, как дикарь. Я бы с удовольствием отодвинулся подальше, но не хотел выдавать своего присутствия. И правильно сделал. Он прошел в двух шагах от меня, даже не подняв головы. Дошел до конца аллеи, но не свернул, а было слышно, как вломился прямо в кусты. Проклятый день! Только этой гадости мне и недоставало.

Я быстро двинулся к дому и вспрыгнул на крыльцо. Черт побери, как это мне в голову не приходило? Ее глаза, ресницы, руки... Милый Элефантус!

Но его не было ни в первой, ни во второй комнатах. Не вспугнул ли его этот пьяный боров? Я обошел весь коттедж и пошел в его личный домик.

Элефантус сидел в кабинете. Когда я постучал, дверь распахнулась, но он не поднял головы. Его поза меня насторожила. Так держатся люди, которые вот-вот потеряют сознание. Но когда я бросился к нему, он поднял голову и остановил меня:

— Не нужно. Ничего не нужно. Илль погибла.

Я не понял. О чем это он? Он знает о нашем полете? Он полагает, что я?..

— Илль больше нет,— сказал он шепотом.

Я махнул рукой. Криво улыбнулся. Да нет, не может быть. Все он путает. Все они пьяны. Сейчас я скажу что-то такое, что сразу рассеет все подозрения. Надо только это найти... Вот сейчас...

— Нет!— крикнул я.— Ведь она бы знала...

— Она знала,— сказал Элефантус.

Я пошел прочь. Наткнулся на что-то холодное и звонкое. Отодвинул плечом. Отодвинулось. Патери Пат, шатающийся, закрывший голову руками, словно ослепший от боли, встал у меня перед глазами.

— Педель! Самый быстрый мобиль! Самый!

Казалось, мобиль повис в густой неподвижной пустоте. Ни одного огня внизу. Ни проблеска впереди. Скоро ли?

Замерцали огоньки на пульте. Я машинально нажал тумблер. Голос Саны ворвался в машину:

— Рамон! Рамон! Где ты? Немедленно возвращайся! Где ты?

Я нагнулся к черному овалу:

— Лети к Элефантусу. Ему нужна помощь.

Голос умолк, а потом снова раздались вопросы, упреки, крик... Я выключил «микки». Немного подумал. Нет. Никаких разговоров. Я не поверю ни голосу, ни воображению. Поверю только своим рукам и губам...

— Сегодня... Именно сегодня! Неужели Илль чувствовала, что это произойдет сегодня?

— Предчувствий не существует. Факт смерти был равновероятен для любого из трехсот шестидесяти пяти дней года.

Успел-таки пробраться в мобиль!

— Помолчи, сделай милость. Что ты об этом думаешь?

— По данным Комитета «Оператора» Илль Элиа должна была погибнуть в этом году. Поэтому меня удивляет, что вы воспринимаете этот факт...

— Что ты мелешь? Откуда ты мог это знать?

— Неоднократно работал по биофону Патери Пата. Трудно работать. Он все время отвлекался. Думал об этом. Посторонние мысли мешают координированию...

— Уходи. Немедленно.

— Не имею возможности. Относительная высота мобиля составляет полтора километра. Являясь ценным и уникальным прибором, я категорически возражаю...

— Выполняй!

— Слушаюсь.

Приглушенный лязг, в кабину ворвался ветер, мобиль качнуло.

Затем люк автоматически закрылся.

И прямо передо мной вспыхнул пульсирующий посадочный сигнал.

Гостиная была пуста. Я бросился в комнату Илль. Охапка травы на полу. Никого. В студии полумрак и тишина. Мастерская освещена — вероятно, свет горит с утра. Меня вдруг поразила маленькая машина в углу. На плоском диске стояли ноги. Одна на всей ступне, другая на носке. Ноги до колен. И кругом — тонкие провода кроильных и скрепляющих манипуляторов. Словно гибкие водоросли оплели эти детские ноги. Мне захотелось дотронуться до них, мне казалось, что они упруги и теплы. Я повернулся и побежал. Лифт. Ну, разумеется, все они наверху.

Я не сразу заметил Джабжу, стоявшего в углу перед экраном. На экране были какие-то странные горы, на фоне их металась черная точка.

— Хорошо, что ты прилетел,— сказал он каким-то бесцветным голосом.— Я один, а в горах полно людей.

Я остановился, глядя из-за его спины на букашку, мечущуюся по экрану.

— Что это?

— Туан.

Мобиль то кружился над одним местом, то стремительно спускался вниз по ущелью, то описывал большой круг,прижимаясь к самым горам, но все время он возвращался к огромной выемке, на дне которой медленно набиралось что-то блестящее. Вероятно, так выглядела на ночном экране вода. И вдруг я понял, что это за место, на которое неуклонно возвращается четкая точка мобиля.

Джабжа сел и обхватил колени. Точка на экране продолжала кружить. Вероятно, так будет до утра.

— Как это случилось?

Джабжа сделал усилие, и было видно, что ни одному человеку, кроме меня, он не стал бы сейчас рассказывать этого. Но он знал, что я имею право, что мне необходимо это знать.

— Эти мальчишки застряли в ущелье. Мы неоднократно предлагали им людей и механиков, но они отвечали, что справятся сами. А сегодня

в заповедник прорвалась гроза. Ты знаешь, что это была за гроза. Озеро, лежащее над ущельем, много раз давало селевые потоки огромной мощности. Когда Лакост вернулся из Парижа, было ясно, что людей нужно немедленно снимать с корабля. Я выслал силовые гравилеты, чтобы поднять их черепаху над опасной зоной. Они ответили, что поднимаются сами, и отослали наши машины. Их корабль медленно пошел вверх. Тогда-то и вернулась Илль. Лакост показал ей на экран, на котором четко виднелось озеро. Если бы эти мальчишки видели то, что там творилось, они вряд ли стали бы рисковать. Но они положились на свою развалину и она, не поднявшись и на сто метров, снова опустилась на дно ущелья. Я приказал им немедленно покинуть корабль и выслал мобили, которые все равно уже не могли успеть. Я не заметил, как Илль вышла.

Джабжа говорил так, словно все это случилось давным-давно, и он теперь с трудом, но обстоятельно припоминает, как это произошло.

— Но это заметил Лакост. Он вылетел следом.

— Лакост?

— Да, Лакост,— ответил он, и я понял, что он этим хотел сказать.

— Но ее мобиль был одноместной спортивной машиной. Догнать его было невозможно. Когда она подлетала, поток воды уже несся по ущелью, и рев его был слышен этим... Я видел, как она выскочила и впихнула их в свой мобиль, и он с трудом поднялся. Лакост долететь не успел.

Я поднял на него глаза.

— Да,— сказал он.— Мы с Туаном это видели.

— Но разве не может...

— Это была стена воды десятиметровой высоты. Вода, крутящая глыбы камня и вырванные с корнем деревья. Корпус старого корабля треснул, как яйцо. Двигатель нейтрогенного типа работал на холостом ходу, когда защита полетела к чертям и... можно догадаться, что там творилось. Лакост был совсем близко. Взрыв разбил его мобиль о скалы.

— Где он?

— В Женевской клинике.

— Выживет?

— Должен.

— Это — все, Джабжа?

— Это — все, Рамон.

Я вскочил.

— Сиди. Люди из Мирного должны прибыть через час. Нас сменят.

Мы сидели молча. Туан не возвращался. Легкий гул наполнял огромный конусообразный зал. Иногда на пепельных экранах проносились черные стремительные капли — это мчались мобили, посланные автоматическим командиром. И сколько бы их ни улетело, на выходе все равно стоял очередной корабль, готовый ринуться туда, где нужна помощь.

И еще сидели два человека, спокойные и безразличные с виду. Их очередь — тогда, когда бессильна будет самая совершенная, самая современная машина. Тогда один из них встанет и улетит. И, если нужно, следом полетит второй.

Но пока этой необходимости не было.

Не появилась она и тогда, когда, наконец, прибыли четверо молчаливых, сдержанных парней, одетых в рабочие трики. Джабжа говорил с ними вполголоса. Потом подошел ко мне:

— Останешься здесь?

Я покачал головой.

— В Егерхауэн?

Я, кажется, усмехнулся.

— Но только не *туда*. У твоего мобиля нет защиты.

— Не бойся. Я просто полечу...— я неопределенно махнул рукой куда-то вниз.— И потом я должен попасть на этот остров... Как его? Не имеет значения. Комитет «Оператора».

— Ты должен?— переспросил Джабжа.

— Я должен жить так, как жила она. А она знала. Если я не сделаю этого, я буду считать себя трусом.

— Ты никогда не будешь трусом, Рамон. Иначе она не любила бы тебя.

— Ты знал?..

— Я видел.

Мы вышли на площадку. Два мобиля стояли, как сторожевые псы, готовые прыгнуть в темноту.

— Тебе действительно нужно узнать *это*?— медленно, взвешивая каждое слово, проговорил Джабжа.

Я не ответил. Джабжа кивнул и направился к мобилю.

— Ты тоже летишь?

— Я к Лакосту.— Джабжа помолчал, глядя вниз.— Помнишь, ты спрашивал, зачем существует Хижина?

Еще бы я не помнил!

— Чтобы с людьми не случалось того, что с ним. Ну, прощай, Рамон.

— Прощай, Джошуа.

Он тяжело оперся на мобиль, так что машина качнулась. Потом обернулся ко мне:

— Она улетела — отсюда.

Створки люка захлопнулись, мобиль сорвался с места и исчез в темноте.

Она улетела отсюда.

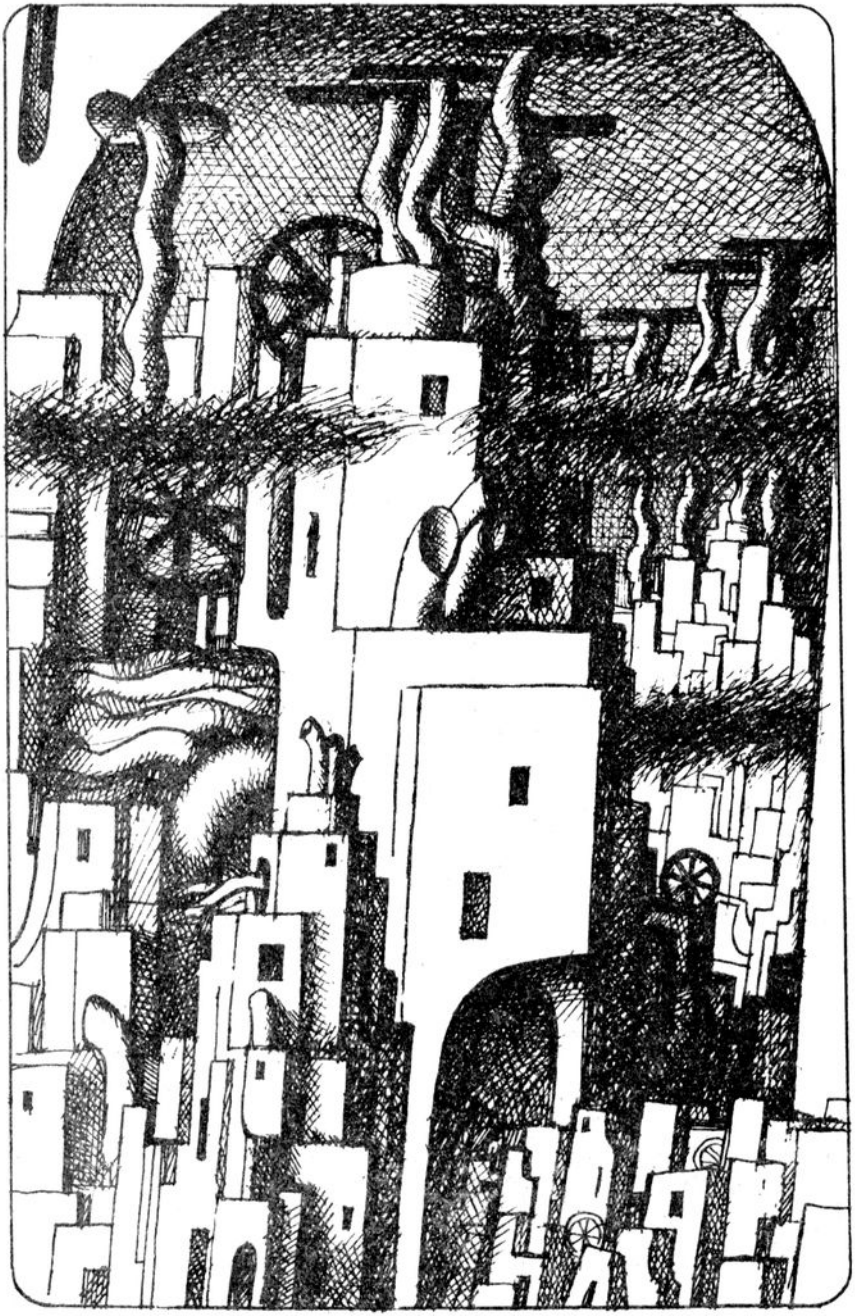
Мне даже не нужно было закрывать глаза, чтобы увидеть: вот она наклоняется над экраном, вот поворачивается и идет — не бежит, а просто очень быстро идет. Идет легко и стремительно, как можно идти навстречу смерти, когда о ней совсем-совсем не думаешь, потому что главное — это успеть спасти кого-то другого. И великое Знание, принесенное «Оператором», не имеет никакого значения.

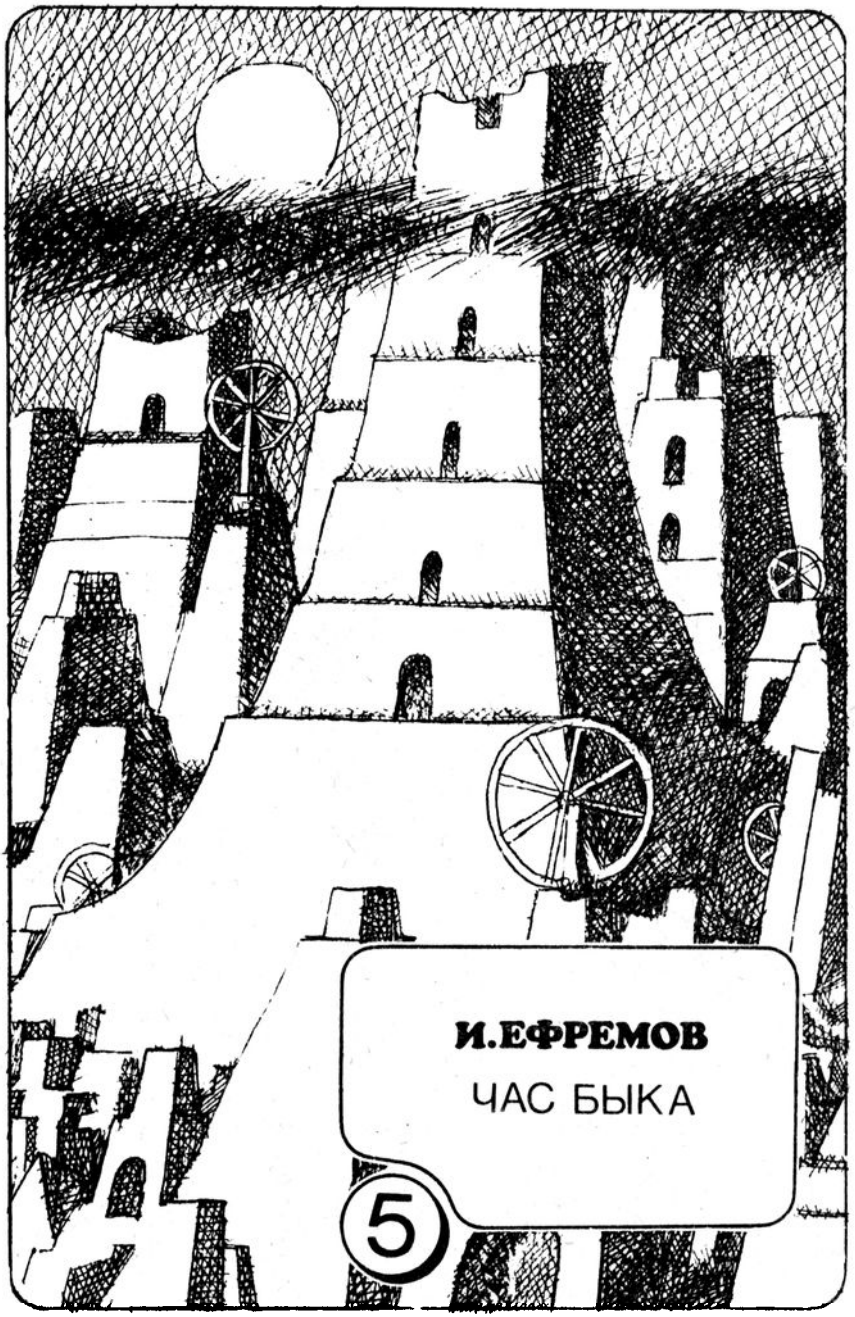
Она проходила мимо меня, и я видел — она даже не вспомнила об *этом*. Она проходила мимо меня уже в десятый, двадцатый, сотый раз, пока я не почувствовал, что частица ее легкости и стремительности передалась мне.

Я наклонился над алфографом. Комитет «Оператора»... «Тебе действительно нужно узнать *это*?» Нет, мне это не нужно. Я задал курс на маленькую кибернетическую станцию на берегу Байкала. Мобиль оторвался от площадки и ринулся вниз.

Я обернулся. Луна всходила как раз из-за горы, и черный силуэт склона, отсеребренный по самой кромке, стремительно уносился назад. Громады построек, опоясывающих вершину, были теперь лишь слабыми, едва заметными выступами. Контур показался мне знакомым.

Вверх по крутому склону карабкался леопард. Он был уже мертв, но он все еще полз, движимый той неукротимой волей к жизни, которой наделил его человек взамен попранного инстинкта смерти.




И.ЕФРЕМОВ
ЧАС БЫКА
5

Посвящается Т. И. ЕФРЕМОВОЙ

ОТ АВТОРА

Третье произведение о далеком будущем, после «Туманности Андромеды» и «Сердца Змеи», явилось неожиданностью для меня самого. Я собрался писать историческую повесть и популярную книгу по палеонтологии, однако пришлось более трех лет посвятить научно-фантастическому роману, который хотя и не стал непосредственным продолжением моих двух первых вещей, но также говорит о путях развития грядущего коммунистического общества.

«Час Быка» возник как ответ на распространившийся в нашей научной фантастике (не говоря уже о зарубежной) тенденции рассматривать будущее в мрачных красках грядущих катастроф, неудач и неожиданностей, преимущественно неприятных. Подобные произведения, получившие название романов-предупреждений, или антиутопий, были бы даже необходимы, если бы наряду с картинами бедствий показывали, как их избежать или уж по крайней мере как выйти из грозных ловушек, которые будущее готовит для человечества.

Другим полюсом антиутопий можно считать немалое число научно-фантастических произведений, от мелких рассказов до крупных романов, где счастливое коммунистическое будущее достигнуто как бы само собой и люди эпохи всепланетного коммунизма страдают едва ли не худшими недостатками, чем мы, их несовершенные предки,— эти неуравновешенные, невежливые, болтливые и плоско-ироничные герои будущего больше похожи на недоучившихся и скверно воспитанных бездельников современности.

Оба полюса представлений о грядущем смыкаются в единстве игнорирования марксистско-диалектического рассмотрения исторических процессов и неверии в человека.

Своим романом мне хотелось возразить таким произведениям и тем самым последовать трем важнейшим утверждениям В. И. Ленина, которые удивительным образом упускались из виду создателями моделей будущего общества на Земле.

Невообразимая сложность мира и материи, которую мы только начинаем постигать во второй половине XX века и о которой он предупреждал три четверти столетия назад, потребует исполинской работы для существенных шагов в познании.

Переход к бесклассовому коммунистическому обществу и полное осуществление мечты основоположников марксизма о «прыжке из царства необходимости в царство свободы» не просты и потребуют от людей высочайшей дисциплинированности и сознательной ответственности за каждое

действие. И наконец, сейчас как никогда более уместно вспомнить рекомендацию В. И. Ленина, данную писателю-фантасту А. А. Богданову: показать разграбление естественных ресурсов и природы нашей планеты капиталистическим хозяйствованием.

В «Часе Быка» я представил планету, на которую переселилась группа землян, они повторяют пионерское завоевание запада Америки, но на гораздо более высокой технической основе. Неимоверно ускоренный рост населения и капиталистическое хозяйствование привели к истощению планеты и массовой смертности от голода и болезней. Государственный строй на ограбленной планете, естественно, должен быть олигархическим. Чтобы построить модель подобного государства, я продолжил в будущее те тенденции гангстерского фашиствующего монополизма, какие зарождаются сейчас в Америке и некоторых других странах, пытающихся сохранить «свободу» частного предпринимательства на густой националистической основе.

Понятно, что не наука и техника отдаленного будущего или странные цивилизации безмерно далеких миров сделались целью моего романа. Люди будущей Земли, выращенные многовековым существованием высшей, коммунистической формы общества, контраст между ними и такими же землянами, но сформировавшимися в угнетении и тирании олигархического строя иной планеты,— вот главная цель и содержание книги.

Если удалось это хоть в какой-то мере показать и тем помочь строителям будущего — нашей молодежи — идти дальше, к всестороннему совершенству людей коммунистического завтра, духовной высоте человечества, тогда моя работа проделана не напрасно.

Август 1968 г.

ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ЭКИПАЖ ЗВЕЗДОЛЕТА «ТЕМНОЕ ПЛАМЯ»

Начальница экспедиции, историк
ФАЙ РОДИС

Командир звездолета, инженер аннигиляционных установок
ГРИФ РИФТ

Астронавигатор-I
ВИР НОРИН.
Астронавигатор-II
МЕНТА КОР

Инженер-пилот
ДИВ СИМБЕЛ

Инженер броневой защиты
ГЭН АТАЛ

Инженер биологической защиты
НЕЯ ХОЛЛИ

Инженер вычислительных установок
СОЛЬ САИН

Инженер связи и съемки
ОЛЛА ДЕЗ

Врач звездного флота
ЭВИЗА ТАНЕТ

Биолог
ТИВИСА ХЕНАКО

Социолог-лингвист
ЧЕДИ ДААН.

Астрофизик и планетолог
ТОР ЛИК

ПЕРСОНАЖИ ПЛАНЕТЫ ТОРМАНС

Председатель Совета Четырех, Владыка планеты
ЧОЙО ЧАГАС

Его заместители
ГЕН ШИ,
ЗЕТ УГ,
КА ЛУФ

Жена Чойо Чагаса
ЯНТРЕ ЯХАХ

Любовница Чагаса
ЭР ВО-БИА

Инженер информации
ХОНТЭЭЛО ТОЛЛО
ФРАЭЛЬ (ТАЭЛЬ)

Начальник «лиловых»
ЯН ГАО-ЮАР (ЯНГАР)

Девушка Торманса
СЮ АН-ТЕ (СЮ-ТЕ)

Предводитель «кжи»
ГЗЕР БУ-ЯМ

«ДИ ПХИ ЮЙ ЧХОУ —
ЗЕМЛЯ РОЖДЕНА В ЧАС БЫКА
(ИНАЧЕ — ДЕМОНА,
ДВА ЧАСА НОЧИ)».

(Старый китайско-русский словарь епископа Иннокентия. Пекин, 1909)

ПРОЛОГ

В школе третьего цикла начался последний год обучения. В конце его ученики под руководством уже избранных менторов должны были приступить к исполнению подвигов Геркулеса.

Готовя себя к самостоятельным действиям, девушки и юноши с особым интересом проходили обзор истории человечества Земли. Самым важным считалось изучение идейных ошибок и неверного направления социальной организации на тех ступенях развития общества, когда наука дала возможность управлять судьбой народов и стран сперва лишь в малой степени, а затем полностью. История людей Земли сравнивалась со множеством других цивилизаций на далеких мирах Великого Кольца.

Голубые рамы с опалесцирующими стеклами вверху были открыты. За ними чуть слышался плеск волн и шелест ветра в листве — вечная музыка природы, настраивающая на спокойное размышление. Тишина в классе, задумчивые ясные глаза... Учитель только что закончил свою лекцию.

Бесшумно опустив шторы над большими экранами и нажатием кнопки заставив убраться под кафедру стереопроектор ТВФ*, он уселся, любуясь сосредоточенными лицами. По-видимому, лекция удалась, как ни было трудно совместить малое и великое, могучий взлет человечества и бездну горя прошедших времен, трогательные недолгие радости отдельных людей и грозные крушения государств.

Учитель знал — после молчания последуют вопросы, тем более пытливые, чем сильнее задела молодых людей обрисованная им историческая картина. И, ожидая их, он старался угадать, что больше всего заинтересовало учеников сегодня, что могло остаться непонятным... Пожалуй, психология людей в трудные эпохи перехода от низших общественных форм к высшим, когда вера в благородство и честность человека, в его светлое будущее разъедалась нагромождением лжи, бессмысленной жестокости и страха. Сомнения обезоруживали борцов за преобразование мира или делали людей равнодушными ко всему, ленивыми циниками. Как понять чудовищные массовые психозы в конце ЭРМ — Эры Разобщенного Мира, приводившие к уничтожению культуры и избиению лучших? Молодые люди ЭВР — Эры Встретившихся Рук — безмерно далеки

---

* Многие термины перенесены из романа И. Ефремова «Туманность Андромеды».

от всего, что связано с истерически напряженной нервозностью и страхами прошлых времен...

Мысли учителя прервались, когда из-за столиков в разных рядах одновременно поднялись девушка и юноша, похожие друг на друга манерой широко открывать глаза, что придавало обоим удивленный вид. Они переглянулись, и юноша поднял руку, обращенную ладонью вверх,— жест вопроса.

— Правильно ли сказать, что весь исторический опыт утверждает неизбежную победу высших форм над низшими как в развитии природы, так и в смене? — начал юноша.

— Правильно, Ларк, если исключить особенные стечения обстоятельств, которые очень редки, как все то, что выходит из границ великого диалектического процесса усреднения,— ответил учитель.

— Например, случай с Зирдой, чьи мертвые развалины поросли черными маками? — спросила Пуна, вытягиваясь во весь невысокий рост.

— Или другие, открытые позже планеты,— добавил учитель,— где есть все для жизни: голубой свод могучей атмосферы, прозрачное море и чистые реки, теплое светило. Но ветры перевевают мертвые пески, и их шум вместе с шумом моря или грозы — единственные звуки, нарушающие безмолвие громадных пустынь. Мыслящая жизнь в диком заблуждении убила себя и все живое, едва прикоснувшись к мощи атома и космоса.

— Но мы уже заселили их?

— О да! Но какое значение это имеет для тех, чьи следы развеялись пылью миллионы лет назад, не сохранив ничего, чтоб мы смогли понять, как и зачем они уничтожили себя и всю жизнь своей планеты!

В проход между столиками скользнула Айода — молчаливая и пламенная, по общему мнению класса, похожая на древних девушек Южной Азии, носивших в прическах или за поясами острейшие кинжалы и смело пользовавшихся ими для защиты своей чести.

— Я только что читала о мертвых цивилизациях нашей Галактики,— сказала она низким голосом,— не убитых, не самоуничтожившихся, а именно мертвых. Если сохранилось наследие их мыслей и дел, то иногда это опасный яд, могущий отравить еще незрелое общество, слепо воспринявшее мнимую мудрость. Иногда же — драгоценный опыт миллионов лет борьбы за освобождение из пут природы. Исследование погибших цивилизаций столь же опасно, как разборка древних складов оружия, временами попадающихся на нашей планете. Мне хотелось бы посвятить свою жизнь таким исследованиям,— тихо добавила девушка.

— Кажется, мы отклоняемся в сторону от того, с чего начал Ларк,— сказал учитель.

— Пуна спросила неточно,— поднялся плотный черноволосый юноша. Он оглянулся на товарищей, большинство которых подняли руки, едва не подскакивая от нетерпения.

— Следует ли понимать так, что начавшееся развитие общества обязательно или переход в высшую, коммунистическую, форму, или всеобщая гибель? И ничего другого? — продолжал он.

— Формулировка неверна, Кими,— возразил учитель.— Нельзя приравнивать процесс общественного развития к двум чашам весов. Среди знакомых нам по Кольцу цивилизаций известны случаи быстрого и легкого перехода к высшему, коммунистическому, обществу. Мы только что говорили о самоуничтожении разобщенного мира, достигшего больших научных и технических познаний. Бывали периоды долгого смятения,

убийственных войн, отбрасывавших человечество некоторых планет назад, в нищету и одичание. Начиналось новое восхождение, новая война — и так несколько раз, пока производительные силы планеты не истощались и технически не деградировали. Эту деградацию потомкам приходилось исправлять веками, несмотря на беспредельное могущество высшей общественной формы и помощь разума Великого Кольца.

— Но и тут приход этой формы коммунистического общества был неизбежен?

— Разумеется!

— Тогда я неправильно поставил вопрос,— после некоторого раздумья сказал Кими.— Известны ли случаи, когда человечество на какой-нибудь другой планете достигало высокого уровня науки, техники, производительных сил, но не становилось коммунистическим и не погибало от страшных сил преждевременного познания? Много ли таких исключений из общего закона развития, который,если он общий, должен их иметь?

Учитель с минуту думал, опустив глаза на полупрозрачный зеленый пульт кафедры, под которым во время лекции загорались нужные справки и цифровые данные.

Удивительная история планеты Торманс была сенсацией в памяти старшего поколения. Конечно, о ней знали и его юные ученики. Немало книг, фильмов, песен и поэм вызвала к жизни эпопея звездолета «Темное Пламя». Тринадцать ее героев увековечены группой из сияющего красноватого камня на маленьком плоскогорье Реват, на том самом месте, откуда начал свой путь звездолет.

Аудитория молчаливо ждала. Ученики старших классов были достаточно тренированы в выдержке и самообладании. Без воспитания этих необходимых свойств человек не мог ни выполнить подвигов Геркулеса, ни даже приступить к ним.

— Вы имели в виду планету Торманс? — наконец заговорил учитель.

— Мы знаем только ее! — хором ответили ученики.— А сколько было других, ей подобных?

— Не могу сказать без детальных справок,— учитель улыбнулся чуть беспомощно,— я историк Земли и знаю о цивилизациях других планет лишь в общих чертах. Надо ли напоминать вам, что для раскрытия сложнейшего процесса истории иных миров нужно очень глубокое проникновение в суть чуждых нам экономики и социальной психологии.

— Даже для того, чтобы понять, хороша или плоха цивилизация, несет она радость или горе, расцвет или гибель! — откликнулся сидевший у окна мальчик, выделявшийся среди других серьезностью.

— Даже для того, Миран,— подтвердил учитель.— Иначе мы не будем отличаться от наших предков, скорых в действии и незрелых в суждениях. Я сказал вам о погибших от неразумия планетах, но ведь были и другие миры, где никто никого не убивал, и тем не менее разумная жизнь на них кончилась, как говорили в старину, «естественным» путем. Мыслящий вид жизни на этих планетах вымер, как вымирают неизбежно все сменяющие друг друга виды животных и человек тоже, если он пренебрежет познанием биологических явлений в их историческом развитии. Эти планеты, устроенные и прекрасные, были переданы вымиравшими их обитателями другим, для которых наиболее подходила совокупность их естественных условий. Все данные передавались по Великому Кольцу, а заселение происходило после того, как уходили последние представители погибающей цивилизации и по Кольцу проносился сигнал смерти.

— Вроде Рыцарей Счастья,— сказала застенчивая Кунти,— но ведь

мы плохо знаем даже о Тормансе. Конечно, каждый читал, но сейчас, когда мы изучили нашу историю, мы правильней поймем Торманс.

— Тем более что планета населена нашими же людьми, потомками землян, и все процессы ее развития аналогичны нашим,— согласился учитель.— Это хорошая идея. Я попрошу из Дома Истории «звездочку» памятной машины с полным рассказом об экспедиции на Торманс. Для ее просмотра нам надо подготовиться. Договоритесь с распределительным бюро об освобождении от других лекций. Пусть кто-нибудь из вас, увлекшийся космофизикой, хотя бы Кими, приготовит на завтра реферат о первых звездолетах прямого луча, чтобы вы поняли обстановку и труды экипажа «Темного Пламени». Затем мы поедем на плоскогорье Рават, к памятнику, воздвигнутому экспедиции. Тогда «звездочка» даст вам полное понимание всего происшедшего...

Спустя два дня последний класс школы СП ШЦ-401 весело рассаживался под прозрачным куполом гигантского вагона Спиральной Дороги. Едва поезд набрал скорость, в центральном проходе появился Кими и объявил, что он готов читать реферат. Послышались энергичные протесты. Ученики доказывали, что не хватит внимания — слишком интересно смотреть по сторонам. Учитель примирил всех советом прослушать реферат в середине пути, когда поезд будет пересекать фруктовый пояс шириной около четырехсот километров,— это два часа хода.

Когда потянулись бесконечные, геометрически правильные ряды деревьев на месте бывшей пустынной степи Декана, Кими установил в проходе маленький проектор и направил на стенку салона цветные лучи иллюстраций.

Юноша говорил об открытии спирального устройства вселенной, после которого смогли разрешить задачу сверхдальних межзвездных перелетов. О биполярном строении мира математики знали еще в ЭРМ, но физики того времени запутали вопрос наивным представлением об антивеществе.

— Подумайте только! — воскликнул Кими.— Они считали, что перемена поверхностного заряда частицы изменяет все свойства материи и превращает «нормальное» вещество нашего мира в антивещество, столкновение с которым якобы должно вызвать полную аннигиляцию материи! Они вглядывались в черноту ночного неба, не умея ни объяснить ее, ни понять того, что подлинный антимир тут же, рядом, черный, беспросветный, неощутимый для приборов, настроенных на проявление нашего, светлого мира...

— Не горячись, Кими,— остановил юнца учитель,— ты совершаешь ошибку, судя плохо о предках. Как раз в конце ЭРМ, в эпоху отмирания старых принципов социальной жизни, наука становилась ведущей силой общества. Тогда были распространены подобные узкие и, я бы сказал, несправедливые суждения о предшественниках. Разве трудно понять, что неверный или неточный аспект явления будет ошибкой лишь в результате недобросовестного или глупо ориентированного исследования? Все же остальные «ошибки» предшественников зависят от общего уровня, на котором находилась в их время наука. Попробуйте на миг представить, что, открывая сотни элементарных частиц в микромире, они не знали еще, что все это лишь разные аспекты движения на разных уровнях анизотропной структуры пространства и времени.

— Неужели? — Кими покраснел до ушей.

Учитель кивнул, и смущенный юноша продолжал, но уже с меньшим азартом:

— Антимир, черный мир, был назван учеными Тамасом, по имени

океана бездеятельной энергии в древнеиндийской философии. Он во всех отношениях полярен нашему миру и поэтому абсолютно невоспринимаем нашими чувствами. Только недавно специальными приборами, как бы «вывернутыми» по отношению к приборам нашего мира, условно названного миром Шакти, начали нащупывать внешние контуры Тамаса. Мы не знаем, есть ли в Тамасе аналогичные нам формации звезд и планет, хотя, по законам диалектической философии, движение материи должно быть и там.

— Трудно представить, но как интересно звучит — «невидимое солнце Тамаса»! — воскликнул Рэр.

— И планета-невидимка, населенная такими же пытающимися проникнуть в бездну нашего мира существами, как мы! — прозвенел из заднего ряда голос Иветты.

— И целые звездные системы, галактики с минус-гравитацией, отрицательными свойствами полей там, где они у нас положительные, мертвой недвижностью, где у нас движение. И все вообще наоборот! — подхватила Айода, облокотившаяся на мягкий выступ бортового окна.

— Кстати, о галактиках. Их классические спиральные формы были известны уже первым изобретателям телескопов,— продолжал Кими,— но потребовалось несколько столетий, чтобы понять в них реальное отражение структуры вселенной — волокон, или, вернее, пластов, нашего мира, переслоенного с Тамасом и вместе с ним закрученного в бесконечную спираль. И отдельные элементы, от галактик до атомов, в каждой ступени со своими особыми качествами всеобщих законов. Оказалось, что свет и другие излучения никогда не распространяются во вселенной прямолинейно, а навиваются на спираль, одновременно скользя по геликоиде и все более разворачиваясь по мере удаления от наблюдателя. Получили объяснение сжатие и растягивание световых волн с укорочением их по мере вхождения в глубь спирали и кажущееся разбегание звезд и галактик в дальних витках. Разгадали Лоренцево уравнение с его кажущимся исчезновением времени и возрастанием массы при скорости света. Еще шаг — и было понято нуль-пространство, как граница между миром и антимиром, между миром Шакти и Тамасом, где взаимно уравновешены и нейтрализованы полярные точки пространства, времени и энергии. Нуль-пространство тоже скручено в спираль соответственно обоим мирам, но...— Юноша запнулся.— Я еще не смог сообразить, как возникает возможность передвигаться в нем, почти мгновенно достигая любой точки нашей вселенной. Мне объяснили это приближенно, что звездолет прямого луча идет не по спиральному ходу света, а как бы поперек его, по продольной оси улитки, используя анизотропию пространства. Кроме того, звездолет в отношении времени как бы стоит на месте, а вся спираль мира вращается вокруг него...— Кими, краснея, беспомощно помотал головой под смех своих товарищей.

— Напрасно вы так отблагодарили Кими,— недовольно поднял руку учитель,— в новой картине вселенной еще многое доступно лишь математическому «ощупыванию» отдельных явлений.

Вы забыли, что наука движется во тьме незнаемых глубин мира подобно слепцу с протянутыми руками, осязая неясные контуры. И лишь после громадного труда создаются аппараты исследования, могущие осветить неизвестное и приобщить его к познанному.— Учитель оглядел притихших учеников и закончил: — Кими не сказал еще об одном, важном. Давно были угаданы области отрицательной гравитации в космосе, но лишь три века назад они получили свое объяснение, как провалы из нашего мира в Тамас или в нуль-пространство. Иногда в них бесследно

исчезали звездолеты иных цивилизаций, не приспособленные для движения в нулевом пространстве. Еще большей опасности подвергается звездолет прямого луча. При малейшей ошибке в уравновешивании полей он рискует соскользнуть или в наше пространство Шакти, или в пространство Тамаса. Из Тамаса вернуться невозможно. Мы просто не знаем, что делается там с нашими предметами. Происходит ли мгновенная аннигиляция, или же все активные процессы так же мгновенно замирают, превращая, например, звездолет в глыбу абсолютно мертвого вещества (это новое понятие вещества тоже явилось следствием открытия Тамаса). Теперь вы можете представить себе опасность, какой подвергались первые ЗПЛ — Звездолеты Прямого Луча — и среди них — «Темное Пламя». Но люди шли на этот чудовищный риск. Возможность мгновенно проникнуть в нужную точку пространства стоила любого риска. А ведь совсем недавно овладение бесконечностью космоса казалось абсолютно невозможным, не было видно никаких путей к разрешению этого проклятия всех времен и всех цивилизаций космоса, соединенных в Великом Кольце, но видевших друг друга только на Экранах Внешних Станций.

Триста лет прошло, как человечество вступило в ЭВР — новую Эру. Осуществилась смелая мечта людей, и дальние миры находятся от нас на расстоянии протянутой руки — по времени.

Конечно, практически передвижение ЗПЛ не мгновенно. Необходимо время на удаление в нуль-пространство, время на очень сложный расчет точки выхода и дотягивание звездолета из приближенной точки до цели на обычных анамезонных моторах и субсветовой скорости. Но что такое два-три месяца этой работы по сравнению с миллионами световых лет расстояний обычного спирально-светового пути в нашем пространстве! Даже прирост скорости от черепахи до обычного звездолета ничто по сравнению с ЗПЛ.

Как будто иллюстрируя слова учителя, поезд нырнул в длинный тоннель. Опаловый свет зажегся в вагоне, оттеняя непроглядную тьму за окнами. Внезапно вспыхнула и раскрылась необъятная равнина, поросшая серебристой травой. Широко закрутились, разбегаясь в стороны, вихри, поднятые стремительным бегом вагонов. Ярко-синяя полоса вдали обозначила ступенчатые древние горы, среди которых в направлении Индийского океана находилось плоскогорье Реват. Оно было близко от станции и, чтобы достичь его, юным путешественникам не требовалось ничего, кроме собственных, достаточно тренированных в ходьбе и беге ног.

Далекий берег угадывался лишь по оттенкам неба и опускавшегося к закату солнца. Трава хлестала по голым ногам путников, вызывая обжигающий зуд, ветер обвевал их спины сухим жаром. Восходящие токи воздуха мерцающей стеной окружили кольцевую гряду плоских холмов. Взобравшись на перевальную точку, молодые люди замерли. Неожиданная роща громадных секвой скрывала центр плоскогорья. Тридцать четыре широкие дорожки — по числу главных векторов Великого Кольца — разбегались из рощи к склонам окружающих холмов из коричневого базальта, отвесно срезанных и покрытых какими-то барельефами. Ученики не стали рассматривать их, устремляясь по белому камню главной дороги к роще. Только две круглые колонны черного гранита отмечали вход. Под протянутыми в огромной высоте ветвями секвой ослабло слепящее солнце и утих шелест ветра. Суровая мощь высоченных стволов заставила умерить шаги и понизить голоса, как будто ученики проникли в отдаленное от всего мира убежище тайны. Они переглядывались с волнением и любопытством, ожидая чего-то необыкновенного. Но когда они вышли на центральную поляну, под прежнюю неумолимую яркость неба,

памятник звездолету «Темное Пламя» показался им слишком простым.

Модель корабля — полусферический купол из темно-зеленого металла — рассекалась грубой прямой расщелиной, точно разрубленная колоссальным мечом. Вокруг основания под кольцевым выступом располагались изваяния людей. Площадка — подножие памятника — состояла из туго скрученной спирали светлого, зеркально полированного металла, врезанного в черный матовый камень.

Число скульптур на каждом полукружии разруба оказалось неодинаковым: пять — с западной, восемь — с восточной. Ученики быстро разгадали несложную символику.

— Это смерть, разделившая погибших на планете Торманс и тех, кто вернулся на Землю,— тихо сказала Айода, слегка побледнев от охватившего ее чувства.

Учитель молча наклонил голову.

Глава I

МИФ О ПЛАНЕТЕ ТОРМАНС

— В заключение позвольте рассказать о происхождении названия. В пятом периоде ЭРМ в западной сфере мировой культуры нарастало недовольство цивилизацией, выросшей из капиталистической формы общества. Многие писатели и ученые пытались заглянуть в будущее. Предчувствие художников внедрялось тревогой в думы передовых людей перед близящимся кризисом в те годы, когда назревавшие противоречия заканчивались военными конфликтами. Но с изобретением дальних ракет и ядерного оружия опасение за грядущую судьбу человечества стало всеобщим и, разумеется, отразилось в искусстве. В Доме Искусств хранится картина тех времен. Короткая подпись под ней совершенно понятна нам: «Последняя минута». На обширном поле рядами стоят гигантские ракеты, подобные высоким крестам на старинном кладбище. Низко нависло мутное, бессолнечное небо, угрожающе прочерченное острыми пиками боевых головок — ужасных носителей термоядерной смерти. Люди, трусливо оглядываясь, как бы сами в страхе от содеянного, бегут гуськом к черной пещере глубокого блиндажа. Художник сумел передать чувство страшной беды, уже неотвратимой, потому что в ответ на гибель миллионов невинных людей оттуда, куда нацелены крестообразные чудовища, прилетят такие же ракеты. Погибнут не те, которые бегут в блиндаж, а изображенные на другой стороне диптиха мужчина и женщина, юные и симпатичные, преклонившие колени на берегу большой реки. Женщина прижимает к себе маленького ребенка, а мальчик постарше крепко уцепился ручонками за отца. Мужчина обнимает женщину и ребят, повернув голову назад, туда, где из накатывающегося облака атомного взрыва высунулся гигантский меч, занесенный над жалкими фигурками людей. Женщина не оглядывается — она смотрит на зрителя, и бесконечная тоска обреченности на ее лице гнетет каждого, кто видит эту картину. Не менее сильно выражена беспомощность мужчины — он знает, что все кончено, и только хочет, чтобы — скорее.

Настроения, аналогичные отраженным в картине, среди людей, исповедовавших христианскую религию и безоговорочно веровавших в осо-

бенные, мистические, как называли тогда, силы, стоявшие над природой, появились еще раньше, после первой мировой войны ЭРМ. Моралисты давно увидели неизбежность распада прежней морали, исходившей из религиозных догм, вместе с упадком религии, но в отличие от философов-диалектиков не видели выхода в переустройстве общества. Примером такой реакции на действительность для нас стала сохранившаяся от этого периода небольшая книга Артура Линдсея о фантастическом путешествии на некую планету в системе звезды Арктур. Конечно, путешествие мыслилось духовно-мистическим. Ни о каких звездолетах техника того времени еще не могла и думать. На воображаемой планете происходило искупление грехов человечества. Мрачная, полная тоски жизнь, обрисованная автором, удивляет богатством фантазии. Планета называлась Торманс, что на забытом языке означало «мучение». Так родился миф о планете мучения, который затем был использован, насколько можно судить, и художниками и писателями многих поколений. К мифу о Тормансе возвращались не раз, и это происходило всегда в периоды кризисов, тяжелой войны, голода и смутного будущего. Для нас планета Торманс была лишь одной из многих тысяч сказок, канувших в небытие. Но всем известно, что семьдесят два года назад мы получили по Великому Кольцу первое известие о странной планете красного солнца в созвездии Рыси. Историк Кин Рух, извлекший из-под спуда времен первоисточник мифа, назвал новую планету Тормансом — символом тяжкой жизни людей в неустроенном обществе.

Глубокий голос Фай Родис умолк, и в зале Совета Звездоплавания на минуту наступила тишина. Затем на трибуне появился худой человек с непокорно торчащими рыжими волосами. Его хорошо знала вся планета — и как прямого потомка знаменитого Рен Боза, первым осуществившего опыт прямого луча и едва не погибшего при этом, и как теоретика навигации ЗПЛ. Люди, видевшие памятник Рен Бозу, считали, что Вел Хэг очень похож на прадеда.

— Вычисления закончены и не противоречат гипотезе Фай. Несмотря на колоссальную удаленность Торманса, вполне возможно, что те самые три звездолета, которые ушли с Земли в начале ЭМВ, достигли этой планеты. Представим, что корабли попали в область отрицательной гравитации, провалились в нуль-пространство и оттуда, естественно, соскользнули назад, в один миг пролетев сотни парсеков. При полном невежестве в астронавигации гибель звездолетов была неизбежной, но их спасло чисто случайное совпадение точки выхода с планетой, очень близкой по свойствам нашей Земле. Теперь известно, что планеты нашего типа вовсе не редкое явление и, как правило, имеются почти в каждой звездной системе с несколькими спутниками. Поэтому находка такой планеты сама по себе не удивительна, но выход на нее в бедных звездами широтах Галактики — это исключительное событие. В древности говорили, подметив закон предварительного преодоления обстоятельств, что безумцам сопутствует удача. Так и здесь — безумное предприятие беглецов с Земли, фанатиков, не захотевших покориться неизбежному ходу истории, увенчалось успехом. Они шли наугад на только что открытое тогда скопление темных звезд поблизости от Солнца, не подозревая, что это пятно, окруженное поясом темного вещества, вовсе не сложная система звезды-невидимки, а провал, место расползания продольной структуры пространства, обтекающей ундуляцию Тамаса. Я еще раз просмотрел записи памятных машин сообщения 886449, сто пятого ключа, двадцать первой группы информационного центра 26 Великого Кольца. Описания обитателей Торманса скудны.

Экспедиция с планеты в созвездии Цефея, чье название еще не переведено на язык Кольца, смогла получить лишь несколько снимков, и по ним можно судить, что тормансиане весьма похожи на тех людей, которые предприняли отчаянную попытку много веков назад.

Уже произведен подсчет биполярной вероятности — он равен ноль четырем. Машина Общего Раздумья по всем округам суммировала «да» с высоким индексом, и Академия Горя и Радости высказалась тоже за посылку экспедиции.

Вел Хэг покинул трибуну, и его место занял председатель Совета.

— После такой аргументации решать Совету нечего — мы подчиняемся мнению планеты!

Сплошное сияние зеленых огней в зале было ответом на слова председателя. Тот продолжал:

— Совет немедленно приступает к работе по формированию экспедиции. Самое главное, важнейшее — подбор астронавтов. «Темное Пламя» — второй наш ЗПЛ — невелик, и мы не сможем послать столько людей, сколько требуется. Управление звездолетом ведут восемь человек, все бессменные, кроме навигаторов. Пять человек сверх этого, считая начальника, — максимум того, что может взять «Темное Пламя» без невыносимого стеснения людей. Мы с горечью сознаем, что наши ЗПЛ еще не более чем опытные машины и те, кто их водит, по существу, испытатели опаснейшего вида передвижения в космосе. Каждый полет, особенно в неведомую область мира, по-прежнему таит в себе гибельный риск...

В одном из верхних рядов зала трижды мелькнул красный огонек. Поднялся молодой человек в широком белом плаще.

— Надо ли подчеркивать опасность?— заявил он.— Вам известно, насколько это увеличивает приток желающих даже в техническом опыте. Но речь идет о Тормансе, о возможности соединиться с нашими людьми, частицей человечества, случайно заброшенной в безмерную даль пространства!

Председатель покачал головой.

— Вы прибыли недавно с Юпитера и пропустили подробности обсуждения. Ни капли сомнения нет — мы должны это сделать. Если жители Торманса — люди с Земли, то наши и их прадеды дышали тем же воздухом, молекулы которого наполняют наши легкие. У них и у нас общий фонд генов, общая кровь, как сказали бы в ту эпоху, когда они улетели с Земли. И если жизнь у них так трудна, как это считают Кин Рух и его сотрудники, тем более мы обязаны поспешить. Мы в Совете говорили об опасности, как специальном мотиве подбора людей. Напоминаю еще и еще раз: мы не можем применять силу, не можем прийти к ним ни карающими, ни всепрощающими вестниками высшего мира. Заставить их изменить свою жизнь было бы безумием, и потому нужен совсем особый такт и подход в этой небывалой экспедиции.

— На что же вы надеетесь?— озабоченно спросил человек с Юпитера.

— Если их беда — как огромное большинство всех бед — от невежества, то есть слепоты познания, тогда пусть они прозреют. И мы будем врачами их глаз. Если болезнь от трудных общих условий планеты, мы предложим им исцелить их экономику и технику,— во всех случаях наш долг прийти как врачам,— ответил председатель, и все члены Совета поднялись, как один человек, чтобы выразить полное согласие.

— А если они не захотят?— возразил юпитерианец.

Председатель нехотя ответил:

— Обратитесь в Академию Предсказания Будущего. Она уже обсуждает разные варианты. Нам же, до того как члены Совета разойдутся по рабочим группам, надо всем вместе решить вопрос о начальнике экспедиции!

Имя Фай Родис, ученицы Кин Руха, знатока истории ЭРМ, вызвало сверкание поясов зеленых огней.

— Мне кажется, — добавил председатель, готовясь покинуть трибуну,— что надо подбирать людей как можно моложе, в том числе и специалистов корабля. Молодежь по психике ближе к ЭРМ и ЭМВ, чем зрелые люди, далеко ушедшие по пути самосовершенствования и иногда плохо понимающие внезапность и силу эмоций молодости.

Председатель улыбнулся бегло и лукаво, представив себе оспаривающие заявления, какие будут получены от молодежных групп информационным центром Совета Звездоплавания.

Место отправления ЗПЛ «Темное Пламя» выбрали так, чтобы его могло проводить наибольшее количество людей. Степная равнина в кольце низких холмов на плоскогорье Реват в Индии оказалась в этом смысле идеальной. Как все первые звездолеты прямого луча, «Темное Пламя» уходил за пределы солнечной системы на обычных анамезонных моторах и там, в рассчитанной заранее точке, экранировал свое состояние в нашей системе пространства-времени. Это давало возможность стать на границу Тамаса в нуль-пространстве.

Неуклюжая форма звездолета затрудняла его отрыв от Земли. Приходилось подниматься не на планетарных, а сразу на анамезонных двигателях. Поэтому первые ЗПЛ не могли взлетать на обычных космодромах, а лишь в удаленных и пустынных местах.

Двурогие активаторы магнитного поля выдвинулись на защиту. Собравшиеся на холмах укрылись за металлической сеткой, надев специальные полумаски, надежно прикрывавшие уши, нос и рот слоем мягкого пластика. На «рогах» активаторов загорелись сигналы, едва заметные в свете тропического утра. Зеленый купол огромного корабля дрогнул, подскочил на десяток метров и замер на те несколько секунд, в которые магнитные амортизационные шахты внутри корабля набрали полную мощность. «Темное Пламя» повис, медленно вращаясь вокруг вертикальной оси. Бледно мерцавший столб анамезона растекался под ним до границ защитной стены. Внезапно звездолет сделал второй вертикальный прыжок в небо и сразу исчез. Неожиданность, простота, а также мерзкий режущий визг совсем не походили на гремящее и торжественное отправление обычных звездолетов. Гигантские и грозные корабли уходили с Земли величественно, как бы гордясь своей силой, а этот исчез, словно убегая.

Провожавшие разошлись несколько разочарованные. Далеко не все представляли себе опасность ЗПЛ и трудность экспедиции. Лишь пылкое воображение, или глубокое знание, или и то и другое вместе заставили часть людей остаться в задумчивости перед опустевшей котловиной, покрывшейся белым порошком пережженного грунта.

Человеческий разум, как ни обогатился и ни развился за последние три тысячи лет, все еще воспринимал некоторые явления лишь с одной внешней их стороны и отказывался верить, что это неуклюжее сооружение способно почти мгновенно проткнуть пространство, вместо того чтобы покорно крутиться в нем, как и лучи света, в продолжение тысяч лет по разрешенным каналам его сложной структуры.

Пользуясь своими магнитными гасителями инерции, «Темное Пламя» продолжал набирать скорость такими же убийственными для прежних звездолетов прыжками, и связь с кораблем оборвалась.

Внутри «Темного Пламени», как только приборы СПШ (скорости пространства Шакти) установились на индексе 0,10129, все члены экипажа покинули инерционную камеру, разойдясь по своим постам.

В сплющенном сфероиде кабины управления, подвешенном в центре купола, были только командир корабля Гриф Рифт, Фай Родис и Див Симбел. Отсчет за отсчетом браковались варианты Шакти — ориентации звездолета, мгновенно перебираемые электронным мозгом курсового пульта. Ловкими, молниеносными поворотами рычажков Див Симбел нарочно вводил помехи на дисторсию кривых тяготения и перебивки, имитируя случайности Финнегана. Наконец слабое свечение озарило четыре желтые звездочки в итоговом окошке, и вибрация звездолета успокоилась. «Темное Пламя» лег на курс. Инженер включил пилотную установку и замер над циферблатом устойчивости.

Фай Родис и Гриф Рифт молча встали на диск в полу кабины, спустивший их на вторую перегородку корабля. Здесь оба астронавигатора вместе с Соль Саином трудились над расчетами точки входа и точки выхода — обе должны были быть готовы одновременно, ибо звездолет скользил на границе Тамаса в нуль-пространстве лишь короткое время, затраченное на повороты после входа и на выходе. Для продвижения в нуль-пространстве времени Шакти не существовало. Точность расчета для навигации этого рода превосходила всякое воображение и не так давно еще считалась недоступной. Первый ЗПЛ «Нооген» мог выходить лишь в приблизительно намеченные области пространства. Вероятность ошибок была велика, что и привело в конце концов к гибели «Ноогена».

После изобретения каскадного метода корреляций стало возможным определение места выхода с точностью до полумиллиарда километров. Созданные почти одновременно приборы для «ощупывания» полей тяготения из нуль-пространства исключили катастрофы от выхода на звезду или иное опасное скопление материи. На эти приборы возлагали надежды безумно смелые исследователи Тамаса.

А сейчас Вир Норин и Мента Кор закладывали в машины все предварительные расчеты, сделанные гигантскими институтами Земли, чтобы перевести их на конкретные условия в месте аннигиляции звездолета. Работали не спеша, но и не отвлекаясь. В их распоряжении было сорок три дня.

Фай Родис жестом простилась с Рифтом и медленно пошла по мягкой дорожке к своей каюте, расположенной в ряду других по периферии второй палубы. Присутствие ее не требовалось нигде. Месяцами подготовлявшийся экипаж корабля и специалисты экспедиции не нуждались ни в каких указаниях для повседневной работы — условия, уже тысячелетия существующие для людей Земли. Пока ничего не случится, время Фай Родис принадлежало ей самой, тем более что множество дел было неизмеримо выше ее компетенции. Толстая дверь из волокнистого силиколла автоматически открылась и закрылась, пропустив Фай Родис. Она усилила приток воздуха в каюту и придала ему свой излюбленный аромат — свежий, теплый запах нагретых солнцем африканских степей. Слабо гудели стены каюты, будто и в самом деле вокруг простиралась обдуваемая ветром саванна.

Фай Родис села на низкий диван, подумала и соскользнула на белый жесткий ковер перед магнитным столиком. Среди прилепившихся к его поверхности вещей стояла оправленная в золотистый овал небольшая диорама. Родис подвинула незаметный рычажок, и маленькая вещица превратилась в просвет необъятной дали живых и сильных красок природы. Над спускавшейся в неизвестность синеватой равниной летел хруп-

кий парящий аппарат в виде неуклюжей платформы, с грубо торчащими углами, кривыми стойками и запыленным верхом. Уцепившись за какой-то рычаг, на нем стояли двое молодых людей. Юноша с резкими чертами лица крепко держал за талию девушку монгольского типа. Ее черные косы взвивались на ветру, а одна рука была поднята вверх — не то сигнал, не то жест прощанья. Угрюмая пыльная равнина с чахлой растительностью сбегала в таившуюся впереди пропасть, прикрытую валом густых желтых облаков. Эта странная вещь досталась Родис от учителя Кин Руха, который видел в ней соответствующую его мечтам символику. Для Кин Руха, окончательно раскрывшего инфернальность прошедших времен, эта диорама стала связующей с теми давно исчезнувшими людьми, наследником мыслей и чувств которых он явился, чтобы оценить и понять неизмеримую силу их подвигов. Тех, кто не примирился с безвыходным кругом страданий, страха, болезней и тоски, оцепившими Землю с древних геологических эпох и до той поры, когда в ЭМВ удалось, наконец, построить подлинно высшее общество — коммунистическое.

Очень трудна работа историка, особенно когда ученые стали заниматься главным — историей духовных ценностей, процессом перестройки сознания и структурой ноосферы — суммы созданных человеком знаний, искусства и мечты.

Подлинные носители культуры раньше составляли ничтожное меньшинство. Исчезновение духовных ценностей, кроме дворцовых предметов искусства, из археологической документации совершенно естественно. Нередко исчезали в руинах и под пылью тысячелетий целые островки высоких культур, обрывая цепочку исторического развития. С увеличением земного населения и развитием монокультуры европейского типа историкам удалось перейти от субъективных догадок к подлинному анализу исторических процессов. С другой стороны, стало труднее выяснять истинное значение документации. Дезинформация и чудовищная ложь стали орудиями политической борьбы за власть. Весь пятый период ЭРМ, изучению которого Фай Родис посвятила себя, характерен колоссальными нагромождениями псевдоисторических произведений именно этого рода. В их массе тонут отдельные документы и книги, отражающие истинное сочетание причин и следствий.

Фай Родис вспоминала странное чувство ужаса и отвращения, приходившее к ней по мере того, как она углублялась в избранную эпоху. В сосредоточенных размышлениях она как бы перевоплощалась в некого среднего человека тех времен, односторонне образованного, убого информированного, отягощенного предрассудками и наивной, происходившей от незнания верой в чудо.

Ученый тех времен казался глухим эмоционально; обогащенный эмоциями художник — невежественным до слепоты. И между этими крайностями обыкновенный человек ЭРМ, предоставленный самому себе, не дисциплинированный воспитанием, болезненный, теряющий веру в себя и людей и находящийся на грани нервного надлома, метался от одной нелепости к другой в своей короткой жизни, зависевшей от множества случайностей.

Самым ужасным казалось отсутствие ясной цели и жажды познания мира у очень многих людей, без интереса глядевших в темное, не обещавшее никаких существенных изменений будущее с его неизбежным концом — смертью.

Начинающая двадцатипятилетняя исследовательница явилась к учителю с поникшей головой. Фай Родис всегда считала себя способной к трудному поприщу древней моноистории, но теперь она почувствовала

свою эмоциональную слабость. Фай Родис захотелось спуститься в еще большую древность, где отдельные очаги цивилизаций не давали возможности для моноисторического синтеза и казались гораздо прекраснее. Недостаток фактов давал простор домыслам, осветленным представлениями Эры Встретившихся Рук. Сохранившиеся произведения искусств одевали то немногое, что было известно, ореолом большого духовного взлета.

Кин Рух, не скрывая улыбки, предложил Фай продолжать изучение ЭРМ еще год. Когда Родис стала видеть, как в неустроенной жизни ЭРМ выковывались духовные морально-этические основы будущего мира, она была поражена и полностью захвачена картиной великой борьбы за знание, правду, справедливость, за сознательное завоевание здоровья и красоты. Впервые она поняла казавшуюся загадочной внезапность перелома хода истории на рубеже ЭМВ, когда человечество, измученное существованием на грани всеистребительной войны, раздробленное классовой, национальной и языковой рознью, истощившее естественные ресурсы планеты, совершило мировое социалистическое объединение. Сейчас, из дали веков, этот гигантский шаг вперед производил впечатление неожиданного прыжка. Прослеживание корней будущего, поразительной уверенности в светлом и прекрасном существе человека стало для Фай Родис главным делом жизни. И теперь, через пятнадцать лет, по достижении ею сорокалетней зрелости, оно привело ее к руководству небывалой экспедицией в чудовищно отдаленный мир, похожий на земной период конца ЭРМ, — олигархический государственный капитализм, каким-то способом остановленный в считавшемся неотвратимым историческом общественном развитии. Если это так, то там встретится опасное, отравленное лживыми идеями общество, где ценность отдельного человека ничтожна и его жизнь без колебания приносится в жертву чему угодно — государственному устройству, деньгам, производственному процессу, наконец, любой войне по любому поводу.

Ей придется стать лицом к лицу с этим миром — и не только как бесстрастному исследователю, чья роль — смотреть, изучать и доставить на родную планету собранные материалы. Ее выбрали, конечно, не за ее ничтожные научные достижения, а как посланницу Земли, женщину ЭВР, которая со всей глубиной чувств, тактом и нежностью сможет передать потомкам родной планеты радость светлой жизни коммунистического мира.

Фай Родис отстраняющим жестом выключила диораму. Взять с собой частицу мечты учителя — что это, как не отголосок ее прежнего смятения от познания ЭРМ! Сейчас, в тот момент, когда звездолет мчится навстречу неизвестной судьбе, она смотрела на летящую девушку, как на подругу. Та стояла в полной готовности, подняв для сигнала тонкую руку перед спуском в пропасть. И Родис тоже скоро станет перед смертельно опасным для всего чужого миром Торманса. Ее спутники будут ждать от нее решающего сигнала.

Фай Родис передвинула рычажок под подушкой дивана, и часть стенки каюты превратилась в зеркало. С минуту она изучала в нем свое лицо, ища сходства с трагически напряженным лицом девушки. Однако твердое, правильное лицо зрелой женщины ЭВР с идеально вылепленной структурой сильного костяка, проступающей под выразительными мышцами и безупречной кожей, сильно отличалось от полудетского выражения девушки ЭРМ даже в очень похожих переживаниях.

Предчувствие испытаний и тревога за успех экспедиции углубили серь-

езность зеленых глаз Фай Родис, резче очертили упрямый и твердый вырез губ.

Фай Родис шире раскрыла глаза и подняла руку — жестом летящей на платформе, но зеркало отразило его патетическим и забавным. Коротко рассмеявшись, Родис убрала зеркало, сбросила платье и легла на диван, расслабив тело и уставив взгляд на синеватый, чуть светящийся шар над головой. Она оставалась в неподвижности около трех часов, пока в системе концентрических кругов на потолке не загорелась желтая точка и не раздался слабый звон. Фай Родис сделала несколько гимнастических упражнений. Еще несколько минут — и перед зеркалом стояла другая женщина, казавшаяся строже и суровее в мягкой облегающей одежде астронавта и с короткой, плотно уложенной прической. Она надела тяжелый сигнальный браслет на левую руку и вышла из каюты.

В круглом помещении, тоже на центральной оси корабля, под пилотским сфероидом и вычислительными машинами, уже собрались участники экспедиции. Ожили циферблаты дублерных приборов, и в тот же миг через люк в потолке в зал скользнули Мента Кор и Див Симбел. Тихо запела настроенная в си бемоль струна ОЭС, показывая, что все нормально в работе охранителей электронных связей. Звездолет более не требовал внимания и шел по заданному курсу в направлении галактического полюса.

Выжидательная тишина заставила Фай Родис сразу приступить к самому трудному — разделить людей на высаживающихся и остающихся в неприкосновенной команде корабля. Она начала с показа снимков, переданных чужой экспедицией из Цефея по Кольцу. Они достигли бы Земли обычным путем еще через два с половиной тысячелетия, если бы ЗПЛ с планет в области созвездия Дракона не шел в нашу часть Галактики и не доставил бы сообщения в 26-й сегмент Великого Кольца.

Экспедиция цефеян только два раза облетела планету Торманс и, не получив разрешения на посадку, удалилась, сделав общую съемку планеты и ее обитателей по перехваченным телепередачам.

Красное солнце Торманса — обычная звезда для земного наблюдателя — находилось в созвездии Рыси — темной, бедной звездами области высоких широт Галактики.

Никому бы не пришло в голову, что в этой глубине пространства смогли обосноваться жители Земли. Но переданные по Кольцу снимки не оставляли сомнения — это совершенно похожие на землян люди.

Трудно было судить о цвете их кожи — пожалуй, она не отличалась от более смуглых землян. Узкие и длинные глаза казались непроницаемо темными, косые, поднятые к переносице брови придавали лицам слегка трагическое выражение. Антропологи находили в профилях жителей Торманса черты монголоидной уплощенности, а небольшой рост и слабое, большей частью неправильное телосложение тоже напоминало людей конца ЭРМ и начала ЭМВ.

Поверхность планеты, снятая в разрывах облачного покрова, не походила на Землю. Скорее ее можно было сравнить с планетой Зеленого Солнца. Показатель лучевого зондирования говорил наметанному взгляду планетографов о небольшой в сравнении с океанами Земли глубине морей Торманса.

По-видимому, толщина атмосферы Торманса равнялась земной. Алое солнце освещало вращавшуюся «лежа» планету, ось которой совпадала с линией орбиты и конвекция равномерно распространялась по ее поверхности.

— Если растительность и, следовательно, состав атмосферы здесь

похожи на наши, если здесь нет каких-либо особо болезнетворных организмов, то на этой планете жить легко,— нарушил молчание Тор Лик. — Здесь должны отсутствовать резкие перемены климата, избыток радиации, землетрясения, ураганы и другие катастрофические явления, которые нам пришлось так долго смягчать.

— По-видимому, вы правы, — подтвердил Гриф Рифт. — Но зачем же тогда Торманс? Может быть, состояние планеты не так уж плохо и учитель Фай Родис только воскресил миф прошлого? Говорили, что он чересчур смело наименовал планету, основываясь лишь на предварительных данных. Орбитальные демографические профили экспедиции цефеян показали численность населения порядка пятнадцати миллиардов человек. Оборот водной массы и характер рельефа свидетельствуют о невозможности биологического процветания столь большого числа людей. Избежать голода можно, если на планете сделаны или приняты по Кольцу научные открытия в производстве синтетической пищи, минуя посредство организмов высшего порядка. С Великим Кольцом они не сообщаются, а отказ в приеме чужого звездолета целой планетой говорит о существовании замкнутой централизованной власти, для которой невыгодно появление гостей из космоса. Следовательно, эта власть опасается высоких познаний пришельцев, что показывает низкий уровень ее развития, не обеспечивающий должной социально-научной организации общества. Никто другой не ответил на зов звездолета цефеян. Это значит, что олигархический строй не позволяет пользоваться мощными передатчиками никому, даже в чрезвычайных случаях.

— В таком случае на планете имеет место подавление индивидуальных интересов, ведь звездолет — такое событие, на которое должны были откликнуться миллионы людей,— сказала Фай Родис, — а из истории планет известно, что такая система всегда совпадает с научной отсталостью и техническим регрессом.

— Кин Рух прав!— воскликнула Чеди Даан. — Огромное население без ускоренного прогресса быстро истощит ресурсы планеты, ухудшит условия жизни, еще ослабит прогресс — словом, кольцо замкнулось.

— Подобными словами мой учитель обосновывал свое наименование планеты, ибо мучение людей по формуле инфернальности в таких условиях неизбежно, — подтвердила Фай Родис.

— Вы подразумеваете старую формулу или ее новую разработку, данную Кин Рухом?

— И то и другое. Теория выдвинута и названа одним философом и ученым ЭРМ.

— Я знаю, — ответила Чеди Даан, — это был Эрф Ром, живший в пятом периоде.

— Мы обсудим теорию позднее. Став спутником Торманса, мы сможем наблюдать его жизнь,— сказала Фай Родис. — А сейчас разделимся на две группы. Каждый будет готовиться к многогранной просветительской деятельности, которая ждет как остающихся охранять «Темное Пламя», так и тех, кто ступит на запретную почву планеты.

— Но если они снова не захотят?— спросил Див Симбел.

— Я придумала прием, который откроет нам доступ на планету,— ответила Фай Родис.

— Кого вы возьмете из команды корабля?— спросил Соль Саин.

— Кроме меня и трех специалистов экспедиции, то есть Чеди, Тивисы и Тора, необходимы врач, технолог и вычислитель высшего класса, владеющий методами стохастики. В качестве технолога высадится Гэн Атал, обязанность которого по броневой защите корабля возьмет Нея Холли,

вычислителем будет первый астронавигатор Вир Норин, а врач — она у нас одна.

— Благодарю, Фай,— Эвиза послала воздушный поцелуй, а Вир Норин обрадованно кивнул, не сводя с Фай Родис глаз, и легкий румянец окрасил его щеки, бледные от напряженной работы последних месяцев в тесных помещениях корабля.

Гэн Атал плотно сжал тонкие губы, и глубокая вертикальная морщина легла между его бровей.

— А как же я?— недовольно воскликнула Олла Дез. — Я подготовилась к высадке и нахожусь в самой лучшей форме. Я думала, что тоже смогу выполнять двоякую роль исследователя и демонстратора! Показать Тормансу пластические танцы...

— И вы покажете, Олла, несомненно,— возразила Фай Родис,— через экран нашего корабля. Вы нужны здесь — для связи с личными роботами и отдаленной съемки. Впрочем, если все будет благополучно, то каждый из нас будет гостем Торманса.

— А пока расчет на самое худшее, — поморщилась Олла Дез.

— На худшее, но не самое, — сказала Фай Родис.

Глава II

ПО КРАЮ БЕЗДНЫ

Двадцать дней, как плыли каравеллы,
Встречных волн проламывая грудь.
Двадцать дней, как компасные стрелы
Вместо карт указывали путь.

Напевая эти древние слова на мелодию «Вспаханного Рая», Чеди Даан ворвалась в круглый зал, увидела Фай Родис, склонившуюся над машиной для чтения, и смутилась.

— Вхожу в мышление ЭРМ, — пояснила Чеди, — сегодня ровно двадцать дней, как мы затормозились и неподвижно висим в пространстве!

— А вам не кажется,— слова Фай Родис сопровождались ее обычной скользящей улыбкой, — что «Вспаханный Рай» не подходит для стихов ЭРМ? Дейра Мир, недавно создавшая кантату, сторонница сумрачного красно-оранжевого спектра мелодий. А мне представляется, что поэты ЭРМ — хорошие люди, потому что создавали в тех условиях добрые, хорошие вещи голубого спектра. Вы знаете, что из тех времен я больше всего ценю русскую поэзию! Она мне кажется наиболее глубокой, мужественной и человечной среди поэтического наследия всего тогдашнего мира. Хорошие люди всегда носили в себе печаль неустроенной, инфернальной жизни, и мелодии их песен не должны были быть мажорнее зеленого спектра.

— Но уцелевшие записи музыки, — возразила Чеди, — изобилуют даже желтыми мелодическими линиями.

— Это так, но не забывайте, Чеди, перевоплощаясь в девушку ЭРМ, что в творчестве того времени всегда разделялись две стороны — внешняя и внутренняя. Внутреннюю умели выражать лишь косвенно, а внешняя

была маской в желтом, оранжевом и даже инфракрасном спектре мелодий, ее называли еще абстрактной, как бы надэмоциональной музыкой.

— А маска служила требованиям общества или власти?

— Часто, но не обязательно. Как всякая маска, она для художника прежде всего прикрывала разрыв между стремлениями и жизнью, какую ему приходилось вести.

— Но тогда все носили маски!— удивилась Чеди Даан.

— Так и было. Тех, кто изредка пытался жить без маски, считали безумцами, святыми или так называемыми дураками — тогдашний термин для неагрессивных людей с дефектным мышлением.

— И это доказано?

— Нет, конечно. О внутренней жизни людей той эпохи известно мало, и всегда возможна дисторсия представлений, но, простите, я прервала вас.

— У вас гораздо больше знаний по ЭРМ и выбора, спойте мне. Такое, что вам особенно нравится.

Фай Родис, обхватив пальцами твердый подбородок, поставила локти на стол. Несколько минут она оставалась в этой позе, потом запела сильным высоким голосом:

Нет, не укор, не предвестье
Эти святые часы!
Тихо пришли в равновесье
Зыбкого сердца весы.

Чеди подавила вздох восхищения.

Миг между светом и тенью,
День меж зимой и весной,
Вся подчиняюсь движенью
Песни, плывущей со мной!

— В синем спектре?— спросила Чеди.

— Зеленом. Я взяла мелодию из «Равнодушной Богини».

— «Миг между светом и тенью...»— задумчиво повторила строку Чеди.— Прекрасная вещь! Запомнилась навсегда. И как подходит она к нашему будущему пути по грани между звездными просторами Шакти и бездной Тамаса!

— Миг между светом и тенью — это ведь наше «Темное Пламя». Я не подумала об этом,— сказала Родис, — для меня звучал лишь внутренний смысл песни, а он привел к настоящему. Нередкое совпадение при глубоком чувстве! — И Фай Родис задумалась снова, а Чеди Даан выскользнула в круговой коридор, где чуть не столкнулась с астронавигаторами.

— Идемте с нами, Чеди,— пригласила Мента Кор, — мы бежим потанцевать. Сегодня работа шла хорошо! Мы заложили последнюю кохлеарную программу, но внутри все кипит от напряжения.

— Хорошо, только я позову себе партнера,— ответила Чеди,— Гриф Рифта. — И она подняла перед собой циферблат сигнального браслета.

Мента Кор прикрыла его рукой.

— Не надо. Он поднялся на веранду.— Мента замялась, опустив взгляд.— Зачем тревожить Рифта! Мне кажется, он размышляет над величайшими проблемами.

— Как раз и нужно его отвлечь. Видимо, вы не знаете, что он пережил. Гриф Рифт потерял любимую женщину. Она погибла при вскрытии древнего склада биологических ядов. Наши предки запасли их в количестве достаточном, чтобы отравить всю планету. Мудрость людей ЭВР спасла

всех от ужасной катастрофы ценой всего одной жизни. Но эта жизнь была самой драгоценной для Рифта.

Чеди Даан подошла к услужливо открывшейся перед ней дверце лифта. «Верандой» называлось пространство под куполом вокруг сфероида пилотской кабины, — оно использовалось как прогулочная площадка и гимнастический зал. Там уже носились неистово и порывисто Тивиса Хенако и Тор Лик.

Чеди Даан увидела Рифта, склонившегося на перила галереи и уставившегося на серебристое зеркало бассейна для гимнастики. Заполненный преобразованным изотопом таллия, неядовитым и нелетучим, он служил для сложных упражнений в условиях нормального и повышенного тяготения.

Чеди увела инженера вниз. И хмурый повелитель звездолета невольно улыбнулся, глядя сверху вниз в разрумянившееся лицо Чеди. Они танцевали медленно и молча. Чеди почувствовала, как напряженные движения Гриф Рифта стали свободней.

— Еще несколько дней, и они,— Чеди кивнула на астронавигаторов,— получат все данные. Тогда приметесь за дело вы,— Чеди вздохнула.— Говорят, что нет ничего страшнее, чем входить в нуль-пространство. Может быть...

— Я найду для вас место в пилотской кабине. Там есть маленькое кресло за охладителем индикатора скоростей. Надо же социологу взглянуть на корни вселенной, беспощадной и убийственной для жизни, пролетающей в ее черных глубинах, как чайка в ночном урагане.

— И все же летящей!

— Да, в этом и заключается величайшая загадка жизни и ее бессмысленность. Материя, порождающая в себе самой силы для разгадки себя, копящая информацию о самой себе. Змея, вцепившаяся в свой хвост!

— Вы говорите как древний человек, живший узко, мало и без радости познания.

— Все мы, как и тридцать тысяч лет назад, оказываемся узкими и малыми, едва встретимся лицом к лицу с беспощадностью мира.

— Не верю. Теперь мы гораздо больше растворены в тысячах близких духовно людей. Кажется, что ничто не страшно, даже гибель, бесследное исчезновение такой маленькой капли, как я. Хотя... простите, я говорю только о себе.

— Я и не ощутил вас учительницей второго цикла. Но знаете ли вы, какое страшное слово «никогда» и как трудно с ним примириться? Оно непереносимо, и я убежден, что всегда было так! С тех пор как человек стал памятью воскрешать прошлое и воображением заглядывать в будущее.

— А мир построен так, что «никогда» повторяется в каждый миг жизни, пожалуй, это единственное неотвратимо повторяющееся. Может быть, по-настоящему человек только тот, кто нашел в себе силу совместить глубокое чувство и это беспощадное «никогда». Прежде да и теперь многие старались разрешить это противоречие борьбой с чувством. Если впереди «никогда», если любовь, дружба — это всего лишь процесс, имеющий неизбежный конец, то клятвы в любви «навеки», дружбе «навсегда», за которые так цеплялись наши предки, наивны и нереальны. Следовательно, чем больше холодности в отношениях, тем лучше — это отвечает истинной структуре мира.

— Неужели вы не видите, насколько это не соответствует человеку? Ведь в самой своей основе он устроен как протест против «никогда»,— ответил Гриф Рифт.

— Я не думала об этом,— призналась Чеди.

— Тогда примите же борьбу эмоций против мгновенности жизни, беспощадной бесконечности вселенной как естественное, как одну из координат человека. Но если человек совместил в себе глубину чувств и «никогда», не удивляйтесь его печали!

Чеди Даан взволнованно посмотрела в склоненное к ней лицо инженера и нежно погладила его большую руку.

— Пойдемте!— коротко сказал Гриф Рифт и повел ее на вторую палубу, в свою просторную каюту.

Инженер включил серый свет, употреблявшийся для рассмотрения цветовых соотношений, и отодвинул легкую панель в стене. Пластическая голограмма воскресила облик той, которая осталась прежней лишь в памяти Гриф Рифта.

Молодая женщина в широком белом платье сидела, сложив обнаженные руки на коленях и чуть подняв лицо, обрамленное серповидной рамкой тщательно причесанных светлых волос. Выпуклый гладкий лоб, тонкие косые брови и веселые, лукавые глаза гармонировали со смешливым очерком полного крупного рта. Высокая шея охватывалась несколькими рядами розовых жемчужин, спускавшихся на низко открытую по моде недавних лет грудь. Легкая юная радость исходила от всей ее фигуры. Будто в каюте звездолета очутилась фея Весны неумирающих сказок человечества, чтобы передать астронавтам то особое предчувствие сбывающегося счастья, которое свойственно только очень молодым в разгаре весны, пронизанной всеми ароматами, солнечными бликами и свежим ветром Земли.

С этим ощущением Чеди тихо вышла из каюты, когда Гриф Рифт погасил стереопластический портрет и стоял в сером свете молчаливый и неподвижный. А Чеди боролась с навертывающимися слезами и нервным комком в горле, удивляясь, как сильно подействовало на нее свидание с погибшей возлюбленной знаменитого инженера. «Социолог Эры Встретившихся Рук,— говорила она себе,— что же случилось с тобою? Или на самом деле ты становишься женщиной ЭРМ — несдержанно жалостливой, чувствительной к любому страданию. Надо подумать, будет ли это полезно в трудные дни, когда придется окунуться в жизнь Торманса?» Она давно уже решила побыть на планете в роли обыкновенной тормансианки, не гостьи, не учительницы, а скорее ученицы. Суметь стать похожей, не отличиться, затеряться в толпах народа, виденных на снимках цефеян. Судить не извне, а изнутри — основная заповедь социолога высших форм общественного устройства. Фай Родис одобряет ее проект, только ставит условие, что окончательное решение будет принято на Тормансе...

Гриф Рифт сдержал свое обещание. Чеди забилась в глубину кресла. Все места в пилотской кабине были заняты. В центре полукружия пультов сидел Гриф Рифт, немного позади и справа Див Симбел, похожий на каменную статую борца. Слева Соль Саин устремил сощуренные глаза на верхний ряд экранов. Скулы его сухого лица выступили, а глубокая морщина обежала подбородок от одной щеки до другой. Оба астронавигатора, с безразличным видом стараясь показать, что они сделали все, поместились за левым концом пульта. Со своей позиции Чеди Даан могла видеть в профиль Фай Родис, сидевшую в «гостевом» кресле в двух метрах позади инженера-аннигилятора. Внешне глава экспедиции казалась совершенно спокойной, но не могла обмануть чуткую Чеди, заметившую, что Фай волнуется.

«Тоже в первый раз»,— подумала Чеди, оглядываясь на плотно

запертую дверь. Весь остальной экипаж, кроме Гэн Атала, находился в камере биозащиты в ведении Неи Холли и Эвизы Танет. Гэн Атал уединился в тесной каюте под самым куполом, выше пилотской кабины, куда, как к полюсу, сходились линии силовых напряжений, температурной деформации и отражателей шаровых сгущений минус-поля. Пылкое воображение Чеди Даан представило инженера броневой защиты древним воином, укрывшимся за щитом, готовым парировать все неожиданные удары врага. По существу, так оно и было, только вместо рукояток меча и кинжала пальцы инженера держали рычаги куда более мощных орудий.

Тишина нарушалась тремя нотами аккорда ОЭС. Гриф Рифт повернулся к Соль Саину и сделал ему какой-то знак. Пение ОЭС умолкло, тишина стала такой глубокой, что вспыхнувшие экраны кругового обзора, казалось, зашелестели и зазвенели горстями ярких звезд слева, в направлении галактического центра. Спутанные нити иглистых светил тянулись справа, вдоль наружного рукава нашей вселенной.

По второму знаку Гриф Рифта Див Симбел повернул звездолет. Медленно ушли из передних экранов дико взлохмаченная туманность светящегося газа, край облака темной материи, подсвеченного плотным огнем шарового скопления, и длинные нити рассеянного света в Лебеде. Чернота космической ночи надвинулась вплотную, отбрасывая в неизмеримую даль тусклые огоньки далеких звезд и галактик. Это означало, что «нос» корабля повернулся в сторону созвездия Рыси и подходил к репагулюму — как бы перегородке, разделяющей часть оборота мира и антимира, Шакти и Тамаса, вложенных один в другой.

Див Симбел раскрутил небольшое красное колесо, насаженное на торчавший из пульта конус. Звездолет дрогнул, легкое ускорение вдавило Чеди в глубину кресла. Нижние края экранов замерцали, гася резкие звездные огни отблесками работы нейтринной воронки. Гриф Рифт щелкнул чем-то, пронзительный сигнал пронесся по всем помещениям корабля, и вспыхнувшее на экранах голубое пламя заставило вздрогнуть Чеди и Фай Родис. Обе женщины инстинктивно прикрыли глаза руками, пока не привыкли к перемене цветов — голубого и синего, вихрившихся и стремительно обтекавших купол звездолета. В пилотской кабине стало темно, будто бы она погрузилась в озеро мрака, накрытое сверху чашей стремительных струй света.

Четыре гигантские круглые шкалы загорелись одна над другой на вертикальной перегородке, разделявшей два экрана, в вершине дуги пультов. Гриф Рифт кивнул в сторону Див Симбела, и инженер-пилот поспешно повернул красное колесо назад.

Чеди Даан скорее угадала, чем почувствовала вращение сфероида кабины, циферблаты замерцали перебежкой оранжевых огней, и огромные стрелки их двинулись налево, вздрагивая и качаясь вразнобой. Гриф Рифт склонился над пультом, и его руки, освещенные лишь отблеском циферблатов, замелькали на клавишах приборов с быстротой первоклассного музыканта. Стрелки медленно выравнивались, одна за другой прекращая свое неровное трепетание, и справа на экраны начала наползать тьма. Это не был ночной мрак Земли, наполненный воздухом, запахами и звуками жизни. И не мрак космического пространства, чернота которого всегда подразумевает необъятный простор. На звездолет ползло нечто не поддающееся чувствам и разуму, не наделенное ни одним из привычных человеку свойств, не поддающееся даже абстрактному определению. Это было не вещество и не пространство, не пустота и не облако. Нечто такое, в чем все ощущения человека одновременно то-

нули и упирались, вызывая глубочайший ужас. Чеди Даан вцепилась в кресло и стиснула зубы, охваченная первобытным страхом. Вся дрожа, Чеди задержала взгляд на длинном суровом лице Гриф Рифта, замершего над своими приборами. Четыре циферблата над его головой теперь горели тусклым желтым пламенем. Резко выделялись острия стрелок — две вверх, две вниз, — подползавших к вертикальной черте. Едва стрелки коснулись этой черты, звездолет сотрясся. На секунду перед глазами Чеди встало незабываемое грандиозное зрелище — горящие кинжальными лучами звездные облака, полосы и шары вплоть до вертикального столба с циферблатами, а слева — заполнившая все стена тьмы.

И вдруг все погасло. Чувство провала, падения в бездну без опоры и спасения придавило гаснувшее сознание Чеди. Несказанно мучительное ощущение внутреннего нервного взрыва заставило ее кричать надрывно и бессмысленно. На самом деле Чеди лишь беззвучно шевелила губами. Ей казалось, что все ее существо испаряется, точно капля воды. Потом ледяной холод сковал ее в глубине той бездны, куда она падала без конца...

С чувством целости тела к Чеди вернулось сознание. Струйки тонизирующей газовой смеси тихо обвевали ее покрытое потом лицо. Медленно, боясь не пережить вторичного распада сознания, Чеди скосила глаза на правые экраны. На них не виделось ничего, кроме мутной и серой пустоты. Налево, где раньше сияла светоносная мощь миллионов солнц центра Галактики, тоже было серое ничто. Чеди встретилась глазами с Фай Родис, которая слабо улыбнулась и, видя, что Чеди собирается что-то сказать, приложила пальцы к губам.

Гриф Рифт, Див Симбел и Соль Саин сдвинули свои кресла. В треугольнике их плеч и голов светилась теперь невысокая прозрачная, как хрусталь, колонна. Внутри ее по едва различимой спирали текла похожая на ртуть жидкость. Малейшее замедление или ускорение ее потока вызывало скачок одной из стрелок больших циферблатов и короткий требовательный гудок откуда-то из подножия пульта. С гудком все три головы вздрагивали, напрягаясь, и снова впадали в оцепенение, едва стрелка возвращалась на черту.

Прозвучал особенно настойчивый гудок, две стрелки сдвинулись одновременно. На правом экране из серой мглы проступило пятно тьмы.

Чеди достаточно знала новые представления об устройстве вселенной, чтобы понять это пятно тьмы как выступ Тамаса. Она знала, что гравитационные поля в нашей вселенной имеют очень разнообразную форму, чаще всего волчков, воронок, сильно сплющенных конусов, протянувшихся цепями в направлениях анизотропии пространства-времени. Нет ничего удивительного, если антигравитационные для нас поля антимира, то есть гравитация Тамаса, построены аналогично и за этим волнообразным выступом скрыты сгущения антиматерии — черные галактики и солнца-невидимки Тамаса.

Когда-то людям казалось невероятным, что в соседних галактиках, вроде Туманности Андромеды, могут оказаться обитаемые миры. А еще раньше кружилась голова от представления о жителях планет Арктура или Альтаира. Теперь человеку уже мало своей вселенной с ее миллиардами галактик, и он подбирается к ужасающему мраку антимира, который оказывается совсем близко. Но какую же отвагу и жажду познания надо накопить людям, чтобы не только бесстрашно встать перед стеной ужаса, но и стремиться проникнуть сквозь нее в то, чему у обыкновенного человека, вроде самой Чеди, даже нет мысленного определения! И она еще чуть не набралась смелости учить жизни самого Гриф Рифта! Нет, она говорила с ним хорошо, с дружеским пониманием и единством чувств...

«Миг между светом и тенью...» — зазвучала в памяти песня Родис... Действительно, миг. Вертикальная планка с циферблатами олицетворяет собою грань. Соскользнуть с нее, и... она знает теперь, что будет в Тамасе! Можно очутиться и в нашем мире, светлом Шакти, но он также убийствен, если выйти слишком близко к звезде или в шаровое скопление. Так носятся по гребню волны, с той разницей, что слишком большая судьба стоит за полетом «Темного Пламени» и тринадцатью жизнями его экипажа. Гриф Рифт сказал ей о чайке, летящей в ночном урагане, — ему ли не знать! Для него это не поэтическое сравнение, а точный образ ЗПЛ. Нет, достаточно! Корни вселенной слишком страшны для нее, взращенной в заботливом обществе Земли. Интересно, что почувствовала Фай Родис,— вот она, такая же неподвижная, как трое вокруг хрустальной колонны, подняла взгляд на экраны, за которыми серая пустота, и, наверное, тоже старается представить Тамас?

Чеди не угадала мыслей Фай Родис. Ощущения, пережитые ею, были мучительнее, чем у Чеди, потому что Родис не теряла сознание. Ее сильное, великолепно тренированное тело сопротивлялось переходу в нуль-пространство почти так же, как у водителей ЗПЛ. Быстро вернувшись к норме, она думала о комнате в институте Кин Руха, на востоке Канады, где она готовилась к экспедиции.

Просторная, со стеной, застекленной огромными листами силиколла, комната выходила на долину большой реки, среди сосновых лесов заповедника. Фай Родис вспомнились самые незначительные детали — от палевого оттенка сплошного ковра до больших столов и диванов из искусственного серо-шелковистого дерева. Теплый уют способствовал работе. Особенно когда за обращенной к речным далям прозрачной стеной ползли низкие тучи и холодный дождь несся по ветру. Тогда Фай Родис забиралась на диван в противоположной стороне комнаты возле читального аппарата и стопок восстановленных древних фильмов, читала, думала и смотрела. Счастливое время «впитывания» информации, чтобы сделать себя способной к пониманию древних исторических процессов и путей восхождения человечества.

Однажды ей попался обрывок фильма о войне. Гриб воды и пара от ядерного взрыва стоял над океаном на заоблачной высоте, над холмами и пальмовыми рощами крутого берега. Несколько кораблей были опрокинуты и разметаны. Из берегового укрепления двое людей наблюдали за происходящим. Пожилые и грузноватые, они были в одинаковых фуражках с золотыми символами — очевидно, командиры.

Их лица, освещенные заревом морского пожара, изборожденные морщинами, с припухшими веками усталых глаз, не выражали испуга, а лишь сосредоточенное внимание. У обоих были крупные черты, массивные челюсти и одинаковая уверенность в благополучном исходе титанической битвы...

Родис вспомнила, как тогда, глядя в черную ночь за прозрачной стеной, думала об океане мужества, понадобившегося людям Земли, чтобы вывести себя из дикого состояния, а свою планету превратить в светлый, цветущий сад.

Девяносто миллиардов людей прошли под косой времени, начав с шатких шалашей на ветвях деревьев или узких щелей в обрывах скал, пока с победой разума и знания, с наступлением всепланетного коммунистического общества не кончилась ночь несчастий, издавна сопутствовавшая человечеству. Чудовищная цена!

Но сейчас гордая женщина была потрясена и, если честно признаться, испугана столкновением с реальностью вселенной, испугана не меньше,

чем когда-то поддавались страху ее давно прошедшие по лику планеты сестры. Страх перед реальностью, ведущий к разрыву с ней, к созданию иллюзий и искажению действительности, всегда владел человеком, не закаленным с детства для борьбы с силами природы. Даже теперь она, полная здоровья, специально тренированная психически, дрожит перед фундаментальными структурами подлинного мира... Но тверды и непреклонны лица ее соратников в борьбе с силами антимира, перед которыми не только человек, но даже целая галактика — пылинка, без следа исчезающая во враждебной тьме Тамаса — антивремени и антипространства...

Фай Родис разглядывала троих сидевших перед ней бесстрашных пилотов корабля и спрашивала себя: где предел и есть ли он? С изобретением ЗПЛ наступила Эра Встретившихся Рук, а что придет ей на смену в грядущем? Эра соединения Шакти и Тамаса? Уравновешивание корней двухполюсной вселенной? Но как избежать замыкания, бесструктурности, аннигиляции? Даже смутные догадки об этом ей не по силам.

И вдруг хрустальная колонна погасла, новый звук, вроде аккорда басовой струны, отдался в полу кабины. Фай Родис инстинктивно поняла, что «Темное Пламя» достиг цели, вернее — точки выхода. Что-то опять случилось с ее телом. Падение или взлет? Растягивание или сжатие? Фай Родис не могла сообразить. Исчезли все обычные чувства. Она будто бы плавала в невесомости, не ощущая ни холода, ни тепла, ни низа, ни верха, ни света, ни мрака. Потеряв все ориентиры, мозг отказался воспринимать что-либо. Однотонные тупые мысли завертелись по кругу, догоняя одна другую в бесконечной череде повторений. Она не испытывала ни страха, ни радости, не понимала своего состояния, похожего на жизнь, уже родившуюся и еще бессмысленную, как миллиарды лет назад. Но неведомое вторглось в несущиеся по кругу мысли, разорвало их замкнутую цепь. Сознание опять раскрыло свои объятия внешнему миру. Вернувшись из небытия... Нет, это состояние нельзя было так называть. Родис была, но не существовала, или, вернее, существовала, а не была.

Она увидела роскошную россыпь звездных огней. Только пояса и шары горящей материи теперь ушли в низ экранов левой стороны. Впереди, справа, в черноте космоса зловеще светило созвездие Пяти Красных Солнц, а в стороне — еще две близкие бледные звезды.

Гриф Рифт поднялся, провел ладонями по лицу, будто смывая с себя усталость. Див Симбел манипулировал цифровыми дисками на пульте. Звездолет дрогнул несколько раз, точно успокаивающийся зверь, и замер. Радость, неопределенная и глубокая, согрела Фай Родис. Так человек, бродивший в гибельном подземелье, выходит к голубому небу, теплому солнцу, живому запаху трав и леса. Она улыбнулась всем: Гриф Рифту, Чеди, обоим астронавигаторам, пробиравшимся вдоль пультов к лифту в помещение вычислительных машин. Перед овальной дверью откуда-то возник Гэн Атал. Он передвинул зеленый рычаг, и массивная дверь отползла направо. Инженер броневой защиты подошел к Чеди одновременно с Гриф Рифтом.

— Все! — сказал Рифт. — Теперь дело за астронавигаторами. Скоро они скажут нам, как далеко мы вышли от цели. Что вы думаете, Див?

Инженер-пилот показал на тусклое светило диаметром в четыре-пять сантиметров, наполовину скрытое рамкой экрана и ранее не замеченное Фай Родис.

— Если это солнце Торманса и оно размером с наше, то до него может быть всего триста-четыреста миллионов километров. Это пустяки.

— А если не оно? Какое-нибудь из той пятерки?— спросил Соль Саин.

— Тогда придется странствовать долго... или снова входить в нуль-пространство, но уже без заранее подготовленной на Земле сетки. Будет беда, но я верю и расчетам Земли и нашим астронавигаторам. Не в первый раз они ведут ЗПЛ, — спокойно сказал Див Симбел.

Чеди Даан осторожно спустила ноги на упругий пол.

— Как чувствуете себя, Чеди? — заботливо спросил Гриф Рифт. — Может быть, вызвать Эвизу? Все-таки мы рисковали, подвергая вас такому испытанию. Я понадеялся на тщательную тренировку всего нашего экипажа.

— И не ошиблись, — выпрямилась Чеди, изо всех сил стараясь преодолеть слабость в ногах и мерцание перед глазами.

Трое водителей звездолета одобрительно переглянулись. Она отвечает так, как будто терять сознание дважды за короткий промежуток времени для нее было обычным делом. Чеди уловила смешливую искорку в темных глазах Соль Саина.

— Почему вы не заботитесь о Фай Родис? Она тоже впервые попала в нуль-пространство.

— О Фай Родис никто не тревожился. — Гриф Рифт понизил голос, — она не только вела раскопки на дальних планетах, но и прошла все десять ступеней инфернальности.

— Зачем? — изумилась Чеди Даан.

— Историки делают это, чтобы глубже понять ощущения людей давнего прошлого.

Чеди порозовела от наплыва смешанных чувств. Второй раз в тесном мирке из тринадцати людей она недооценила человека. Положительно, нельзя считать себя социологом раньше пятидесяти лет. Хорошо, что машинная лингвистика — область, в которой она может верить в себя. Сколько еще сюрпризов принесет ей дальнейшая работа с товарищами по экспедиции? Она пошла в свою каюту, бросив искоса взгляд на Фай Родис. Опершись на спинку кресла, та смотрела на недоброе мерцание созвездия Красных Солнц. Чеди вдруг вспомнилась картина одной из художественных выставок. Безотрадный ландшафт: гряды бурого камня, ослизлые и покрытые извилистыми полосами грязно-коричневой растительности — длинных, стелющихся, похожих на водоросли, косм. Низкое облачное небо подпиралось, точно колоннами, рядами красно-ржавых ажурных башен. На балках ближайших загадочных построек висели те же коричневые клоки, отклоненные в сторону упорным и равномерным ветром. Спереди крупным планом была изображена женщина в сложном скафандре. Верхняя часть шлема, приподнятая на манер забрала древних рыцарей, открывала часть лица. По характерным очертаниям лба, переносицы, бровей и глаз Чеди теперь безошибочно узнала Фай Родис, хотя нос, рот и подбородок скрывались в сложном респираторном устройстве. Да, несомненно, она была там, на мокрых планетах инфракрасных солнц! А следовательно, короткий, предпоследний прыжок «Ноогена» произошел с участием Фай Родис. И она молчала, чтобы Чеди и ее товарищи, не бывавшие в нуль-пространстве, не ощущали себя зелеными новичками перед ней.

Чеди не знала еще многого. Впрочем, и сама Фай Родис не подозревала, что в этот самый момент среди гор Предкавказья сидел у исполинского телескопа автор картины, известный астроном. Подбадривая себя пилюлями, снимающими сон, он дежурил третью ночь. Перед ним, усиленные в миллион раз, мерцали на экране красные точки пятизвездного скопления в созвездии Рыси. Где-то там, может быть, у этого ничтожного красного огонька выше скопления, в тысячах лет пути светового луча,

должен вынырнуть «Темное Пламя». На нем незабываемая Фай Родис, чьи многоликие образы теперь сможет истребить в его памяти только смерть...

Именно в этот момент в сфероиде пилотской кабины Фай Родис и Гриф Рифт тоже смотрели на алую звезду. Инженер-пилот догадался правильно — тусклое светило, казавшееся на экране маленьким диском, было солнцем Торманса.

Вир Норин и Мента Кор уже определили расстояние — триста восемьдесят миллионов километров предстояло пройти звездолету на анамезонных моторах — обычных космических двигателях. Если бы звездолет не был полностью заторможен, а шел хотя бы с так называемой «скоростью подхода» в 0,1Л, то он мог достичь Торманса ровно через три с половиной часа. Но разгон и затем торможение «Темного Пламени» требовали еще около тридцати часов.

Победно зазвучали сигналы, загнавшие людей в амортизационные кабины магнитных шахт.

«Темное Пламя» скачками понесся по новому курсу. Еще до появления ЗПЛ обычные звездолеты, оборудованные магнитными гасителями инерции, получили прозвище «звездных кенгуру» именно за эту способность невероятно быстрого набора скорости.

Див Симбел и Соль Саин настроили автоматы управления корабля, чтобы пройти набор скорости, полет и торможение в едином цикле. Весь экипаж, погруженный в смягчавший неудобства гипнотический сон, не покинул амортизационных кабин. Никто на корабле, кроме ведущих путевую съемку и журнал роботов, не мог наблюдать, как вырастало алое солнце, меняя окраску на все более красный цвет. Сначала оно росло медленно, затем стало приближаться с угрожающей быстротой, изливая на звездолет свою огненную силу. Достигнув в поперечнике почти двух метров, оно выглядело не плоским диском, а шаром в широко раскинувшейся светящейся мантии. Оно отдалилось столь же быстро, как только корабль прошел анастерий, и сравнялось в размерах с Солнцем, видимым с Земли.

Звездолет закончил описывать точную кривую. Его скорость упала до назначенного минимума. В отдельной маленькой кабине, где дремали Див Симбел и Вир Норин, заработали аппараты пробуждения, которые разбудили бы дежурных в случае любой неполадки в ОЭС. Вскоре все тринадцать человек собрались в пилотском сфероиде, глядя на приближавшуюся планету. Вторая от своего светила и немного ближе к нему, чем Земля к Солнцу, она тоже имела лишь один удаленный спутник экваториального обращения. Астронавты хорошо знали чистую голубизну родной планеты, становившуюся все ярче и радостнее по мере приближения к ней. Торманс же оказался густо-синим, а там, где сгущения облачного покрова отражали и слабее рассеивали лучи красного солнца — фиолетовым. В густоте окраски планеты был оттенок неприветливости. Более нервные, чем звездолетчики, люди, может быть, увидели бы во внешнем облике Торманса нечто зловещее.

Темно-синий шар висел в черном небе, а под ним, едва заметный, плыл пепельный диск спутника.

— Все же Торманс, наверное, был третьей планетой, — громко сказал Тор-Лик. — Первая давно упала на свое светило, как то будет с нашим Меркурием. Звезда эта старше... — Астрофизик умолк, глядя на приемный экран передних локаторов, прочерченный дугой пунктира.

Гриф Рифт бросился к пульту, но Олла Дез опередила его и включила связь. В длинном окошке под локатором побежали короткие верти-

кальные столбики, а переводная машина стала выпевать две ноты — ре и соль, повторяя их без перерыва.

— Язык Кольца! — воскликнул Гриф Рифт.

Олла Дез передвинула индекс переводной машины. Тотчас в окошке приема побежали цифры: 02, 02, 02, 02... — галактические позывные станций Великого Кольца. Звездолет вызывали!

Какие-то неслыханно чувствительные локаторы обнаружили приближение «Темного Пламени» и теперь обращались к нему на языке, общем для миллионов планет Галактики и внегалактических звездных скоплений, объединенных в могучий союз Великого Кольца. Даже галактика М-31, или Туманность Андромеды, теперь с помощью звездолетов прямого луча присоединяет колоссальную мощь своего коллективного разума, своего Кольца, к нашему, и это только самое начало новой эры ЭВР. Этот условный язык, расшифрованный сыном Земли, незабвенным Кам Аматом, готовился зазвучать в обычных символах с планеты Торманс!

Но тогда как неверны были земные представления о ней! Если тормансиане входят в Кольцо, знают его язык и общаются с братьями по разуму, то никакой планеты мучений не существует. Это миф, ошибка, вызванная случайным непониманием. Вероятно, мышление цефеян слишком отличалось от обитателей созвездия Дракона, пославших ЗПЛ в двадцать шестую область восьмого оборота, и это не могла проверить станция Великого Кольца, передавшая сообщение Земле!

Чеди Даан показалось, что в звездолете повеял ободряющий ветер далекой Земли. Вместо того чтобы стучаться в двери негостеприимной, возможно враждебной, планеты, они приходят званными гостями, равные к равным. Все будет понятно тормансианам, и напрасны опасения обидеть или быть обиженными недоверием и боязнью.

Товарищи Чеди разделяли ее радость. Только в остром лице Оллы Дез промелькнуло на миг разочарование. Из неосознанного желания подражать Фай Родис Чеди Даан прежде всего посмотрела на нее, уловив брошенный Гриф Рифту взгляд веселого облегчения, почти торжества. Фай Родис слегка откинулась назад, чтобы не отворачиваться от экранов, и подала Гриф Рифту руку таким жестом, что Чеди пришла в восторг... Она еще никогда не смотрела на главу экспедиции, как на женщину, особенно рядом с такими блестящими представительницами своего пола, как Олла Дез и Эвиза Танет. А сейчас в Родис будто соединились нежность матери, доброта врача и радость сознавать себя прекрасной.

Бег цифровых сигналов за стеклом приемника продолжался установленное число минут. Затем последовала вереница других знаков. Жесткий, слабо модулированный голос, каким говорили малогабаритные переводные машины на кораблях, медленно произнес: «Всем, всем, всем. Передается путевое сообщение...»

Чеди похолодела и беспомощно оглянулась. Фай Родис молниеносно нагнулась к приемнику, а Гриф Рифт сжал в кулак руку, только что державшую пальцы торжествующей Родис. «Передается путевое сообщение экспедиции с планеты»,— машина будто подавилась, издав несколько невнятных звуков, и продолжала по-прежнему бодро и бесстрастно: «Мы установили ориентир галактических координат и предупреждение на необитаемом спутнике населенной планеты. Слушайте сначала предупреждение: 02, 02, 02, 02, 02, — слушайте предупреждение».

— О-ох! — вздохнул кто-то со всей горечью разочарования, едва машина на секунду умолкла.

«Предупреждение кислородной жизни. Не делайте посадки. Планету заселяет гуманоидная цивилизация большой плотности, ИТВ (индекс

технической высоты) около 36, не входящая в ВК. На просьбу принять звездолет, посланную на их языке, ответили немедленным отказом. Они не хотят посетителей. Не делайте посадки на планету».

Машина сделала вторую паузу, а в окошке поползли значки и цифры, ненужные для заранее знавших координаты землян. Люди стояли в молчании, пока опять не повторились ноты и цифры галактических позывных.

— Все ясно! — Олла Дез выключила приемник.

— Да, — невесело сказал астронавигатор, — бомбовая станция на спутнике. Исправно работает третье столетие. Молодцы цефеяне!

— Вообще, если бы не они... — начала Олла Дез.

— Нас бы тут не было, — отозвался Соль Саин, сухо засмеявшись от пережитого напряжения.

Люди задвигались и заговорили, стараясь скрыть друг от друга свое разочарование.

— Прошу внимания, — прекратил разговоры Гриф Рифт и обратился к Фай Родис: — Каков план?

— Как прежде, без изменений, — ответила она, снова превратившись в прежнюю, спокойную и твердую Родис.

— Надо ли сначала приближаться к спутнику, — спросил Гриф Рифт, — теперь, когда сообщение цефеян подтверждает его необитаемость?

— И все же надо. Мы с нашим опытом можем увидеть то, что могли не понять и, следовательно, не заметить цефеяне. Может быть, на спутнике остались сооружения прежней цивилизации Торманса, лишь впоследствии пришедшей в упадок. На планете могла существовать еще более древняя цивилизация, вымершая или истребленная современными обитателями Торманса, если они пришельцы....

Гриф Рифт кивнул, безмолвно соглашаясь.

«Темное Пламя» медленно приближался к спутнику и, уравняв с ним свою орбитальную скорость, начал облет безжизненного шара диаметром около шестисот километров, как Мимас Сатурна. Мощные стереотелескопы ощупывали серую поверхность, местами пересеченную прямыми трещинами провалов и низких гор. Ленты отснятых фильмов прямо из аппаратов тянулись в увеличение, достаточное, чтобы разглядеть отдельные камни. Перекрестный облет не дал ни малейшего доказательства, что на спутнике когда-либо обосновывались разумные существа. Отыскали даже бомбовую станцию цефеян, уютно устроившуюся в полуцирке, врезанном в крутой обрыв пузырчатой светлой лавы. В это удобное, защищенное от метеоритов место на втором круге облета грохнулась бомбовая станция «Темного Пламени», возвестившая на языке Кольца, что ЗПЛ Земли прибыл сюда со специальной миссией и будет садиться на планету. Продолжение работы станции более пяти лет с момента сброса означает гибель звездолета, о чем планета СТ 3388 + 04ЖФ (Земля) просила сообщить по Кольцу при первой возможности.

Не забыть бы выключить на обратном пути, — озабоченно сказал Див Симбел, — такие случаи были на радостях, когда спасались с опасных планет.

— У нашей есть предохранительное устройство, — заверил Соль Саин, — здесь дополнительный контур. Будем удаляться от Торманса и его спутника, станция будет издавать вой, пока не выключим.

— Тогда все готово! Пора идти на Торманс, — сказал, зевнув, инженер-пилот.

— Успеем отдохнуть. Фай Родис предупредила, чтобы мы подходили

к планете как можно медленнее, с дневной стороны, не пользуясь локаторами и не сигналя.

— Подкрадываемся, как древние охотники к зверю, — недовольно усмехнулся Соль Саин.

— Вам не нравится? — удивился Див Симбел.

— Тут есть что-то нехорошее — скрываться, приближаться тайком!

— Фай Родис говорила о необходимости не тревожить обитателей Торманса. Если они враждебно настроены к гостям из космоса, то приход «Темного Пламени» вызовет возмущение, а нам придется один-два месяца крутиться на орбите вокруг планеты, пока мы изучим язык и ознакомимся с обычаями. Если они узнают о звездолете, летающем над их планетой, то сейчас мы даже не сможем объяснить, зачем мы здесь!

— Цефеяне же объясняли!

— Вероятно, заучив одну-две фразы. И получили отказ. А мы не должны его получить — слишком далек был путь и Торманс — наша цель, а не мимоходом замеченная планета, — сказал Див Симбел.

— А не похоже это на нескромное подглядывание из-за угла? — не сдавался Соль Саин. — Методы, годящиеся для древних людей, а не для высшей формы общества... А вот и наш социолог! Вы какого мнения, Чеди? — Инженер-кибернетик пересказал разговор.

Та задумалась, потом решительно объявила:

— Было бы недостойно людей Земли и нашей эры, если бы явились, подсмотрели и тихо вернулись назад. Никакого вреда мы бы не причинили, но это... заглядывать в комнату человека, когда он ничего не подозревает... Мы объясним, когда спустимся на планету, и они поймут.

— А если не поймут и не примут? — упорствовал Соль Саин, насмешливо щурясь.

— Не знаю, как бы я решила. Я согласна с Родис.

— И я думаю так же, — сказал инженер-пилот. — Тем более что вы оба упускаете из виду существенную деталь. С громадной высоты, на какой мы можем вести устойчивый орбитальный полет, мы увидим лишь самые общие детали жизни планеты. И сможем ловить только те передачи, какие предназначены для всей планеты. Иначе говоря, мы увидим и услышим только открытую общественную жизнь. Нам больше ничего и не нужно для понимания их языка и норм поведения.

— Правильно, Див! Я не сообразила этой простой вещи сразу. Что вы скажете, Соль?

Инженер-кибернетик развел руками, соглашаясь.

— И еще одно, — продолжал Див Симбел. — У них нет высоких искусственных спутников, и мы ничего не нарушим в системе их связи.

— А может быть, вообще нет спутников, ни высоких, ни низких? — спросил Соль Саин.

— Скоро увидим, — сказал Див Симбел.

Глава III

НАД ТОРМАНСОМ

«Экваториальная скорость планеты гамма 1 дробь 16, период обращения 22 земных часа...» — докладывал сумматор, не по-человечески четко произнося слова. Широкая лента записей ползла в приемник путевого журнала. Автоматы «Темного Пламени» тщательно исследовали Торманс, не упуская ни одной детали.

— Удивляет количество углекислоты в нижних слоях атмосферы, — сказал Тор Лик. — А сколько еще растворено в океанах! Похоже на палеозойскую геологическую эру Земли, когда углекислота еще не была частично связана процессами углеобразования.

— Оранжерейный эффект?— осведомился Соль Саин.

— Климат здесь вообще мягок и равномерен. Экватор Торманса стоит «вертикально» по сравнению с земным, то есть перпендикулярно к плоскости орбиты, а ось вращения однозначна с линией орбиты...

— Нехватка воды может свести на нет эти преимущества, — вмешался Гриф Рифт, читавший кривые зондажа поверхности, — площадь океанов пятьдесят пять сотых, а медианный перепад колебаний по глубине — один-два километра.

— Само по себе это еще не говорит о недостатке влаги, — сказал Тор Лик, — будем исследовать баланс испарения, насыщенности водяными парами, распределение ветровыми потоками. Больших запасов льда на полюсах при таком климате ожидать нечего, — мы их и не видим. Нет и полярных фронтов и вообще сильных перемещений воздушных масс.

Люди продолжали работу у приборов, время от времени бросая взгляд в шахту визуального обзора, которую открыл для них Гэн Атал. Пронизывая толщу стен корабля и заканчиваясь широким окном из прозрачной иттриевой керамики, шахта через систему зеркал позволяла обозревать планету невооруженным глазом.

В прозрачном окне под звездолетом едва заметно двигалась планета. «Темное Пламя» вращался на высоте двадцати двух тысяч километров чуть медленнее планеты: так было удобно просматривать поверхность Торманса. Облачный покров, сначала показавшийся землянам загадочно плотным, на экваторе изобиловал большими разрывами. В них проплывали свинцовые моря, коричневые равнины вроде степей или лесов, желтые хребты и массивы разрушенных невысоких гор. Наблюдатели постепенно привыкали к виду планеты, и все больше подробностей становилось понятным на снимках.

Торманс, почти одинаковый по размерам с Землей и похожий на нее во многих общих чертах планетарного порядка, резко разнился с ней в деталях своей планетографии. Моря занимали широкую область на экваторе, а материки были сдвинуты к полюсам. Разделенные меридиональными проливами, вернее морями, материки составляли как бы два венца, каждый из четырех сегментов, расширявшихся к экватору и сужавшихся к полюсам, похожих на Южную Америку Земли. Издалека и сверху поверхность планеты производила впечатление симметричности, резко отличной от сложных очертаний морей и суши Земли. Большие реки текли главным образом от полюсов к экватору, впадая в экваториальный океан или его заливы. Между ними виднелись обширные клинья неорошенной суши, по-видимому пустынь.

— Что скажет планетолог, — по обыкновению сощурился Соль Саин, — диковинная планета?

— Ничего диковинного!— важно ответил Тор Лик. — Более древняя, чем наша Земля, но быстрее вращающаяся. Следовательно, полярная ундуляция материков проходила быстрее и зашла дальше, чем у нас. Симметрия, вернее — похожесть одного полушария на другое, — дело случайное. Вероятно, глубины Торманса спокойнее, чем земные,— не так резки поднятия и опускания, нет или мало действующих вулканов, слабее землетрясения. Все это закономерно, удивительнее другое...

— Обогащение углекислотой при высоком содержании кислорода?— воскликнул Гриф Рифт.

— Слишком много тормансиане сожгли естественного топлива. Здесь будет нам трудно дышать и придется избегать глубоких впадин рельефа. Зато море, насыщенное углекислотой, будет прозрачным, как в древнейшие геологические эпохи Земли... наверное, с массой известкового осадка на дне. Все это не вяжется с численностью населения, отмеченного цефеянами двести пятьдесят лет назад.

— Тут немало противоречий между планетографией и демографией,— согласился Гриф. — Может быть, не стоит стараться их разгадать, пока не спустимся на низкую орбиту. Раз нет искусственных спутников, то, кроме риска обнаружения, ничто не мешает нам облететь планету на любой высоте.

— Тем более что мы взяли уже все с первой орбиты, — горячо подхватил Тор Лик.

— Еще заняты Чеди и Фай. Нашей лингвистке удалось получить тексты достаточной длины, чтобы выяснить структуру языка методом Кам Амата. Фай Родис хочет, чтобы мы, приблизившись к планете и следя за телепередачами, уже понимали речь тормансиан.

— Разумно! Избежать неверных ассоциаций, из которых образуются стойкие клише, мешающие пониманию.

— О, вас, планетологов, неплохо подготавливают! Даже по психологии.

—Давно заметили несовершенство физикокосмологов, сосредоточившихся только на своей области. Без представления о человеке как факторе планетного масштаба случались опасные ошибки. Теперь за этим следят, — сказал Тор Лик, вставая и останавливая ленивый ход желтой ленты.

— И вместе с тем вы отлично преуспели в специальности. Едва окончив подвиги Геркулеса, вы изобрели гипсоболометр и со спутника открыли тот гигантский медно-ртутный пояс, о котором до сих пор спорят геологи, как о редчайшем исключении, — добавил Гриф Рифт.

Молодой планетолог порозовел от удовольствия и, чтобы скрыть смущение, добавил:

— А исключение это залегает на глубине двадцати километров чуть не под всем Синийским щитом!..

Планетолог ждал недолго. Еще несколько дней (ночи были очень короткими на такой высоте облета), и «Темное Пламя» незаметно соскользнул на орбиту высотой менее половины диаметра Торманса и, чтобы не расходовать много энергии, увеличил относительную скорость.

Чеди и Фай Родис завесили круглый зал гипнотаблицами языка Торманса. Каждый член экипажа, закончивший непосредственную работу, приходил сюда и погружался в созерцание схем, одновременно прослушивая и подсознательно запоминая звучание и смысл слов чужого языка. Не совсем чужого — семантика и альдеология его очень походили на древние языки Земли с удивительной смесью слов Восточной Азии и распространенного в конце ЭРМ английского языка. Подобно земному, язык Торманса был всепланетным, но с какими-то остаточными диалектами в разных полушариях планеты, для которых пришлось придумывать условные названия, аналогичные земным. Полушарие, обращенное вперед по бегу Торманса на орбите, назвали Северным, а заднее — Южным. Как выяснилось позднее, астрономы Торманса называли их соответственно полушариями головным и хвостовым — Жизни и Смерти.

Всеобщность языка облегчала задачу исследователей, но изменение высоты звука и носовое, то растянутое, то убыстряющееся произношение оказались много труднее земного, с его четким и чистым выговором.

— Зачем это? — негодовал Гриф Рифт, самый отстающий из всех учеников Чеди.— Разве нельзя выразить оттенок мысли лишним словом вместо завывания, вопля или мяуканья? Не возвращение ли это к предкам из числа скакавших по ветвям?

— Для иных проще одно и то же слово произнести по-разному, меняя смысл, — возразила Тивиса, виртуозно «мяукавшая», по выражению командира.

— А для меня проще запомнить десять слов, чем взвыть в середине или в конце уже известного, — недовольно хмурился Гриф.— Не все ли равно, сто или сто пятьдесят тысяч слов?

— Не все равно, если орфография так сильно не совпадает с произношением, как у тормансиан, — авторитетно заявила Чеди.

— Как могло получиться столь нелепое расхождение?

— Из-за недальновидного консерватизма. Оно наблюдалось и у нас во времена до мирового языка и до рационализации разноречья, которую заставило произвести появление переводных машин. С ускорением развития общества язык стал меняться и обогащаться, а правописание оставалось на прежнем уровне. Даже хуже: упорно упрощали орфографию, облегчая язык для ленивых или тупых людей, в то время как общественное развитие требовало все большего усложнения.

— И в результате язык утрачивал свое фонетическое богатство?

— Неизбежно. По существу, процесс был сложнее. Например, у каждого народа Земли с подъемом культуры шло обогащение бытового языка, выражавшего чувства, описывающего видимый мир и внутренние переживания. Затем, по мере разделения труда, появился технический, профессиональный язык. С развитием техники он становился все богаче, пока число слов в нем не превысило общеэмоциональный язык, а тот, наоборот, беднел. И я подозреваю, что общеэмоциональный язык Торманса так же беден, как наш в конце ЭРМ, и даже еще беднее.

— Означает ли это перевес профессиональной жизни над досугом?

— Вне всякого сомнения. У каждого человека времени на занятия самообразованием, искусством, спортом, даже просто для общения друг с другом было мало. Много меньше, чем на его обязанности перед обществом и необходимые для жизни дела. Может быть и другое — неумение использовать свой досуг для самообразования и совершенствования. То и другое — признаки плохой организации и низкого уровня общественного сознания. Фай Родис говорит, что в прочитанных нами текстах радиопередач Торманса так же мало смысла, как бывало у нас в древние исторические периоды ЭРМ, когда отпечатанные на листках плохой бумаги ежедневные бюллетени новостей, теле- и радиопередач несли не больше трех-пяти процентов полезной информации. Кроме того, Родис подозревает по наличию большого количества семантических стереотипов, что письменность планеты почему-то на низком уровне развития. Но мы еще не видели ее, расшифровав язык по записям памятных машин.

— Еще учить и письменность?— шутливо вздохнул Вир Норин. — Сколько же нам придется крутиться над Тормансом?

— Не так уж много, — утешила его Чеди, — теперь дело пойдет интереснее. Сегодня Олла Дез начала перехват телепередач, и, наверное, не позднее чем завтра мы увидим жизнь Торманса.

Они увидели. Телевидение Торманса не достигло тончайшей эйдопластической техники Земли, но передачи оказались четкими, с хорошей цветовой гаммой.

Экипаж «Темного Пламени», за исключением дежурных, рассаживался перед громадным стереоэкраном, часами наблюдая чужую жизнь.

Люди Торманса были так похожи на землян, что более ни у кого не оставалось сомнения в правоте догадки историков о судьбе трех звездолетов ЭМВ. Странное ощущение овладевало землянами. Будто бы они смотрели на свои же массовые представления, разыгрываемые на исторические темы. Они видели гигантские города, редко разбросанные по планете, точно воронки, всосавшие в себя основную массу населения. Внутри их люди Торманса жили в тесноте многоэтажных зданий, под которыми в лабиринтах подземелий происходила повседневная техническая работа. Каждый город, окаймленный поясом чахлых рощ, рассекал их широкими дорогами, точно щупальцами, протянувшимися в обширные поля, засаженные какими-то растениями, похожими на соевые бобы и картофель Земли, культивировавшиеся в огромном количестве. Самые крупные города находились вблизи берегов экваториального океана, на тех участках дельт рек, где каменистая почва давала опору большим зданиям. Вдали от рек и возделанных полей колоссальные площади суши были заняты сухими степями с редкой травянистой растительностью и бесконечно однообразными зарослями кустарников.

В поясах возделанной земли поражало отсутствие постоянных поселков. Какие-то унылые постройки, длинные и низкие, утомляли глаз повторением однообразия повсюду и в головном и в хвостовом полушариях, около больших городов и меньших концентраций населения. Тяжелые машины двигались в пыли, обрабатывая почву или собирая урожай, не менее тяжелые повозки с грохотом неслись по гладким и широким дорогам.

Земные наблюдатели не могли понять, почему так шумят эти огромные машины, пока не сообразили, что чудовищный грохот происходит просто из-за плохой конструкции двигателей, небрежной пригонки частей.

Час за часом, не смея нарушить молчания, чтобы не помешать товарищам, обитатели Земли смотрели на жизнь далекой планеты, оглушенные массой первых впечатлений. Время от времени те или иные члены экипажа «Темного Пламени» вставали и удалялись в ту часть круглого зала, за легкой перегородкой, куда на длинный стол подвели подачу пищи. Там, обмениваясь впечатлениями, люди ели и снова возвращались к экранам, боясь упустить хотя бы час из времени телепередач Торманса. Собственно, не Торманса, а планеты Ян-Ях, как она называлась на тормансианском языке. Однако название Торманс так прочно вошло в сознание членов экспедиции за все те месяцы, когда оно было главным ориентиром их раздумий, что земляне продолжали пользоваться им.

Узнали и главный город планеты, чье название в переводе на язык Земли означало Средоточие Мудрости.

И прежде всего подтвердилась догадка Фай Родис, что письменность Торманса представляла собою систему сложных знаков — идеограмм, на овладение которыми даже острым умам землян понадобилось бы много времени. К счастью, существовал упрощенный набор письменных знаков, каким обходились в повседневной жизни и облегченном языке печатных новостей. Новые таблицы украсили стены зала на «Темном Пламени». Украсили, потому что начертание знаков соответствовало эстетическому чувству экипажа звездолета. Их сложные переплетения казались изящными абстрактными рисунками. Тексты писались или черным на ярко-желтой бумаге, или же интенсивной темно-зеленой краской на бледно-голубом фоне.

— Как красиво в сравнении с убогой простотой нашего линейного алфавита! — восхищалась Олла Дез. — Может быть, по возвращении

следует представить алфавит Торманса в СВУ — Совет Всеобщих Усовершенствований?

— Не думаю, — возразила Фай Родис, — алфавитами этого вида уже пользовались на Земле, и по многу веков. Консерваторы всех времен и народов отстаивали их преимущество перед чисто фонетическими, подобными тем, какие дали начало нашему линейному письму. Они доказывали, что, будучи идеограммами, эти знаки читаются в едином смысле народами, говорящими на разных языках...

— И буквы становятся не только абстрактными знаками, но и символами конкретного смысла, — подхватила Олла Дез. — Вот почему их такое огромное количество!

— И слишком мало для всего объема расширяющейся экспоненциально человеческой мысли, — добавила Чеди Даан.

— Вы верно подметили главное противоречие, — подтвердила Фай Родис, — ничто не дается даром, и преимущества идеографического письма становятся ничтожными с развитием культуры и науки. Зато стократно усиливается его недостаток — смысловая окаменелость, способствующая отставанию мышления, замедлению его развития. Сложное красивое письмо, выражающее тысячи оттенков мысли там, где их нужны миллионы, становится архаизмом, подобием пиктограмм людей каменного века, откуда оно, несомненно, и произошло.

— Я давно сдалась, Фай! — рассмеялась Олла Дез. — В СВУ меня бы объявили сторонницей пещерного мышления. Благодарю за спасение от позора.

— Вряд ли СВУ расправился бы так беспощадно с вами, — в тон ей ответила Фай Родис. — В этом Совете большинство мужчины, и притом скептики. Сочетание нестойкое перед персонами нашего пола, особенно с вашими данными.

— Вы шутите,— серьезно сказала Чеди, — а мне кажется трагичным столь долгое существование идеограмм на Тормансе. Это неизбежная отсталость мышления...

— Вернее, замедленность прогресса и архаика форм, — поправила ее Родис, — отсталость подразумевает сравнение. С кем? Если с нами, то на каком историческом уровне? Наш современный гораздо выше. Сколько позади осталось веков хорошей, разумной и дружной жизни, жадного познавания мира, счастья обогащения красотой и радостью. Кто из нас отказался бы жить в те времена?

— Я, — откликнулся Вир Норин. — Они, наши предки, знали так мало. Я не мог бы...

— И я тоже,— согласилась Фай Родис,— но безграничный океан познания так же простирается перед нами, как и перед ними. Эмоциональной разницы нет. А личное достоинство, мечты и любовь, дружба и понимание — все, что выращивает и воспитывает нас? В этом мы одинаковы. Почему же отказывать Тормансу в похожей ступени? Только из-за отсталой письменности? Тем более главное доказательство тормансианства, очевидно, отпадает. Наши демограммы не подтверждают колоссальной численности населения, подсчитанного цефеянами. Расходимся на целый порядок!

— Невероятно! — покачал головой Гриф Рифт. — В остальном цефеяне показали себя хорошими планетографами. Ошибка это или...

— Резкое падение численности, — докончила Фай Родис. — Может быть. Но тогда это катастрофа, а мы не заметили ничего особенного.

— Не обязательно катастрофа, — возразила Тивиса Хенако.

— Со времени посещения цефеян прошло более двухсот пятидесяти

лет. Возьмем среднюю продолжительность жизни, характерную для начала ЭМВ, — семьдесят лет. За период, равный четверной продолжительности жизни, население Торманса могло уменьшиться еще значительнее или, наоборот, возрасти по причинам чисто внутренним.

— Внутренние причины, мне думается, — самый худший вид катастрофы,— сказала Чеди. — Не нравится мне пока планета Ян-Ях в своих телепередачах!

Как бы оправдывая слова Чеди, из глубины стереоэкрана послышалась мелодичная музыка, лишь изредка прерываемая диссонансными ударами и воплями. Перед землянами появилась площадь на холме, покрытая чем-то вроде бурого стекла. Стеклянная дорожка направлялась через площадь к лестнице из того же материала. Уступ, украшенный высокими вазами и массивными столбами из серого камня, всего через несколько ступеней достигал стеклянного здания, сверкавшего в красном солнце. Легкий фронтон поддерживался низкими колоннами с причудливой вязью пилястров из ярко-желтого металла. Легкий дымок курился из двух черных чаш перед входом.

По стеклянной дороге двигалось сборище молодых людей, размахивая короткими палочками и ударяя ими в звенящие и гудящие диски. Некоторые несли на перекинутых через плечо ремнях маленькие красные с золотом коробочки, настроенные на одну и ту же музыку, которую земляне причислили бы к зелено-голубому спектру. До сих пор вся слышанная ими музыка Торманса принадлежала лишь к красному или желтому веру тональностей и мелодий.

Камера телеприемника приблизилась к идущим, выделив среди толпы две четы, оглядывавшиеся на спутников и дальше на город со странным смешением тревоги и удальства. Все четверо были одеты в одинаковые ярко-желтые накидки, расцвеченные извивами черных змей с зияющими пастями.

Каждый из мужчин подал руку своей спутнице. Продолжая двигаться боком к лестнице, они вдруг запели, вернее — пронзительно заголосили. Взвывающий напев подхватили все сопровождавшие.

Чеди Даан, Фай Родис и Тивиса Хенако, лучше всех овладевшие языком Торманса, стали напряженно вслушиваться. Щелкнул специальный фильтр звукозаписи, модулирующий учащенную неразборчивую речь.

— Они воспевают раннюю смерть, считая ее главной обязанностью человека по отношению к обществу! — воскликнула Тивиса Хенако.

Фай Родис молчала, наклонившись к экрану, как делала всегда, пораженная чем-либо виденным. Чеди Даан закрыла ладонями лицо, повторяя наспех переведенный напев, мелодия которого сперва понравилась землянам.

«Высшая мудрость — уйти в смерть полным здоровья и сил, избегнув печалей старости и неизбежных страданий опыта жизни...

Так уходят в теплую ночь после вечернего собрания друзей...

Так уходят в свежее утро после ночи с любимыми, тихо закрыв дверь цветущего сада жизни.

А могучие мужчины — опора и охрана — идут, захлопывая ворота. Последний удар разносится во мраке подземелий времен, равно скрывающих грядущее и ушедшее...»

Чеди оборвала перевод и, удивленно взглянув на Фай Родис, добавила:

— Они поют, что долг смерти приходит на двадцать шестом году жизни! Этих четырех провожают в Храм Нежной Смерти.

— Как может существовать такое общество? — забыв приличия, негодующе вскричала Олла Дез. — Чем выше социальная структура и наука, тем позднее созревает человек.

— Потому-то мы, биологи, прежде всего еще с древности ЭРМ поставили целью продление жизни, вернее молодости, — сказала Нея Холли, не отрывая взгляда от поднимавшейся по ступеням процессии тормансиан.

— У нас человек из-за сложности жизни и огромного объема информации считается ребенком до подвигов Геркулеса. Еще двадцать лет продолжается юность, зрелость наступает лишь к сорока годам. Затем перед нами семьдесят лет, а то и целый век зрелости, полной энергии, могучего труда и познавания жизни. Вместо десяти-двадцати лет, как в древности. Раньше человек считался старым к сорока годам. Я была бы старухой, — сказала Фай Родис.

— И человек умирал, так и не узнав ничего о многообразии и красоте мира! — возмущенно отозвался Вир Норин. — Но в такой древности, когда девяносто процентов людей не умели даже читать, это не удивительно. Долгая жизнь была обременительна, просто не нужна. Умиравших в молодости называли любимцами богов. Но на Тормансе довольно высокая техническая цивилизация. Как же могут они срубать деревья, еще не давшие плодов? Это безумие и гибель!

— Вир, вы забыли, что перед нами не коммунистическое и даже не социалистическое общество, а классовая социальная структура. По-моему, чудовищный обычай ранней смерти имеет прямое отношение к перенаселенности и истощению ресурсов планеты, — возразила Родис.

— Понимаю, — сказала Чеди, — ранняя смерть не для всех!

— Да. Те, кто ведет технический прогресс, должен жить дольше, не говоря уже о правящей верхушке. Умирают не могущие дать обществу ничего, кроме своей жизни и несложного физического труда, то есть не способные к высокому уровню образования. Во всяком случае, на Тормансе два класса: образованные и необразованные, над которыми стоят правители, а где-то между ними люди искусства — развлекающие, украшающие и оправдывающие.

— Они тоже не умирают в двадцать пять лет! — воскликнула Олла Дез.

— Естественно. Но, пожалуй, для артистов, там, где требуется молодость и красота, предел жизни немногим больше, — ответила Фай Родис.

А в ТВФ звездолета загремела резкая, дико ритмическая музыка, сменявшаяся напевами марша, то есть согласованного ритмического хода множества людей. Взвизгивающие звуки неведомых инструментов перебивали едва уловимую нить скачущей и суетливой мелодии. Начинался фильм.

По просторам высокотравных степей тянулись неуклюжие повозки, запряженные рогатыми четвероногими, похожими на земных жвачных, не то антилоп, не то быков. Верхом на более длинноногих, напоминавших оленей животных скакали дочерна загорелые тормансиане, размахивая топорами или механизмами, аналогичными огнестрельному оружию древности Земли. Всадники неустрашимо отбивались от стай ползучих коротколапых хищников, скопищ ужасных змей с высокими, сдавленными с боков головами. Иногда на повозки нападали такие же всадники, стрелявшие на полном скаку. В перестрелке погибал или ехавший по степи караван, или нападавшие, или те и другие вместе.

Земляне быстро поняли, что смотрят фильм о расселении тормансиан по планете. Неясным осталось, кто такие нападавшие разбойники. Их

нельзя было считать аборигенами планеты, так как они ничем не отличались от переселенцев.

Фильмов, постановок и картин на тему о геройском прошлом, о покорении новой планеты экипажу «Темного Пламени» пришлось увидеть множество. Яростные драки, скачки, убийства чередовались с удивительно плоским и убогим показом духовной жизни. Повсюду и всегда торжествовали молодые мужчины, наделенные качествами, особенно ценными в этом воображаемом мире развлекательных иллюзий. Драчливость, сила, быстрая реакция, умение стрелять из примитивного оружия в виде трубки, из которой силой расширения газов выталкивался увесистый кусочек металла.

Подобные темы повторялись в разных вариациях и очень быстро надоели землянам. Все же они продолжали смотреть их из-за кусочков подлинной хроники древних времен, нередко вкрапленных в глупейший сюжет. В старых обрывках проглядывало лицо девственной и богатой жизнью планеты, еще не тронутой вмешательством человека. Такой же, только с еще более могучей животной и растительной жизнью, была доисторическая Земля. Повторялась картина, некогда известная в земной истории во время заселения Америки белой расой. Пионеры по периферии, вольные, необузданные, плохо соблюдающие законы, и хранители веры и общественного порядка в обжитых центрах. Затем обуздание пионеров до полного подавления вольного общества. И неспроста столица планеты называется городом Средоточия Мудрости. Это имя возникло в пионерские времена освоения планеты Торманс.

На Тормансе изначала степи преобладали над лесами. Природа планеты не породила животных-гигантов, вроде слонов, носорогов или жираф Земли. Самыми крупными из наземных четвероногих считались рогатые твари размером со среднего земного быка, ныне уже исчезнувшие. Колоссальные стада быкоподобных и антилопообразных существ некогда наводняли огромные степи. В мелких, прогретых лучами красного солнца морях кишели в сплошных чащах водорослей рыбы, поразительно сходные с земными.

Отсутствие сильных ветров на планете подтверждалось тем, что на возвышенных участках экваториального побережья раньше росли деревья немыслимых на Земле размеров. В более близких к полюсам зонах прежде существовали обширные болота, покрытые зарослями однообразных деревьев, похожих на земные таксодии, только с коричневатым оттенком мелких и узких, подобных расплюснутым хвоинкам, листочков.

Все это было на Тормансе, как неоспоримо свидетельствовали заснятые в отдаленные времена фильмы. Но теперь земляне повсюду видели или возделанные поля, или бесконечные площади низкого кустарника, нагретые солнцем и лишенные всякой другой растительности. Даже слабые ветры Торманса вздымали и кружили над кустами густую пыль. Отраднее выглядели сухие степи, но и там трава казалась низкой и редкой, скорее напоминая полупустыни, когда-то распространенные в области пассатных колец Земли.

Может быть, фильмы о прошлом планеты утоляли естественную тоску тормансиан по былому разнообразию родной природы? Подавляющее большинство населения обитало в огромных городах, где, конечно, лихие скачки и стрельба на степных просторах или охотничьи экспедиции в дремучие леса под яркими и чистыми звездами навсегда отошли в невозвратимое прошлое.

Труднее поддавались объяснению зрелища иного характера, в которых красивые женщины частично обнажались, совершая эротические дви-

жения и замирая в объятиях мужчин в откровенных до отвращения позах. В то же время земляне ни разу не видели полной наготы или чистой открытости Эроса, столь обычных на родной планете. Здесь обязательно что-то оставалось скрытым, искажалось, пряталось, намекая на некие запретные или тайные качества, вероятно с целью возбудить слабое воображение или придать особый вкус надоевшим и утратившим интерес отношениям полов.

Этот специфический эротизм сочетался с неизвестной на Земле обязательностью одежды. Никто не смел появиться в общественных местах или находиться дома в присутствии других людей иначе, как полностью прикрыв свое тело.

Женщины чаще всего носили просторные короткие рубашки с широкими и длинными рукавами и низким стоячим воротником, перехваченные мягким, обычно черным, поясом, и широкие брюки, иногда длинные, до щиколоток, юбки. Почти таков же был мужской костюм, но с более короткими полами рубашек. Только молодежь появлялась в коротких, выше колен, штанах, очень похожих на земные. В общественных собраниях или на празднествах надевали одежду из ярких и узорчатых материй и набрасывали короткие плащи или накидки с великолепной вышивкой.

Одежда показалась землянам удобной и простой в изготовлении, соответствовала теплому климату планеты и самым разнообразным условиям труда. Красивые сочетания оттенков красного и желтого, по-видимому, нравились большинству женщин и очень шли к смуглому тону их кожи и черным волосам. Мужчины предпочитали серо-фиолетовые и пурпурные цвета с контрастной отделкой на воротниках и рукавах. Часть тормансиан носила на левой стороне груди, над сердцем, нашивки в форме удлиненного горизонтального ромба, с какими-то знаками. Как подметила Чеди, тем, у которых в ромбе блестело нечто похожее на глаз, оказывалось особенное уважение. А вообще-то уважение друг к другу как будто отсутствовало. Бесцеремонная толкотня на улице, неумение уступать дорогу или помочь споткнувшемуся путнику изумляли звездолетчиков. Более того, мелкие несчастья вроде падения на улице вызывали смех у случайных свидетелей. Стоило человеку разбить хрупкий предмет, рассыпать какую-нибудь ношу, как люди улыбались, будто радуясь маленькой беде.

Если же случалась большая беда — телепередачи показывали иногда катастрофы с повозками или летательными аппаратами, — то немедленно собиралась толпа.

Люди окружали пострадавших и молча стояли, наблюдая с жадным любопытством, как одетые в желтое мужчины, очевидно врачи и спасатели, помогали раненым. Толпа увеличивалась, со всех сторон сбегались новые зрители с одинаково жадным, звериным любопытством на лицах. То, что люди бежали не для помощи, а только посмотреть, больше всего удивляло землян.

Когда передача шла непосредственно со стадиона, завода, станций сообщений, улиц города и даже из жилищ, то речи диктора или музыке неизменно сопутствовал однообразный глухой рев, вначале принятый звездолетчиками за несовершенство передачи. Оказалось, что на Тормансе совершенно не заботятся о ликвидации шума. Повозки ревели и трещали своими двигателями, небо дрожало от шума летательных аппаратов. Тормансиане разговаривали, свистели и громко кричали, совершенно не стесняясь окружающих. Тысячи маленьких радиоаппаратов вливались в общий рев нестройной смесью музыки, пения или просто

громкой и неприятно модулированной речи. Как могли выдерживать жители планеты не прекращающийся ни на минуту, ослабевавший только глубокой ночью отвратительный шум, оставалось загадкой для врача и биолога «Темного Пламени».

Постепенно вникая в чужую жизнь, земляне обнаружили странную особенность в передачах всепланетных новостей. Их программа настолько отличалась от содержания общей программы передач Земли, что заслуживала особого изучения.

Ничтожное внимание уделялось достижениям науки, показу искусства, исторических находок и открытий, занимавших основное место в земных передачах, не говоря уже о полностью отсутствовавших на Тормансе новостях Великого Кольца. Не было всепланетных обсуждений каких-либо перемен в общественном устройстве, усовершенствований или проектов больших построек, организаций крупных исследований. Никто не выдвигал никаких вопросов, ставя их, как на Земле, перед Советами или персонально перед кем-либо из лучших умов человечества.

Очень мало места отводилось показу и обсуждению новых проблемных постановок театра, пытавшихся уловить возникающие повороты и перемены в общественном сознании и личных достоинствах. Множество кинофильмов о кровавом прошлом, покорении (а вернее, истреблении) природы и массовых спортивных игр занимали больше всего времени. Людям Земли казалось странным, как могли спортивные состязания собирать такое огромное количество не участвующих в соревнованиях зрителей, почему-то приходивших в невероятное возбуждение от созерцания борьбы спортсменов. Только впоследствии земляне поняли существо дела. В спортивных соревнованиях выступали тщательно отобранные люди, посвятившие все свое время упорной и тупой тренировке в своей спортивной специальности. Всем другим не было места на состязаниях. Слабые физически и духовно тормансиане, как маленькие дети, обожали своих выдающихся спортсменов. Это выглядело смешно и даже противно. Похожее положение занимали артисты. Из миллионов людей отбирались единицы. Им предоставлялись лучшие условия жизни, право участия в любых постановках, фильмах и концертах. Их имена служили приманкой для множества зрителей, соревновавшихся за места в театрах, а сами эти артисты, называвшиеся «звездами», подвергались столь же наивному обожествлению, как и спортсмены. Положение, достигнутое «звездой», лишало ее или его всякой другой деятельности. Выступать в качестве артиста любому другому человеку, сумевшему самостоятельно достичь высот искусства, как на Земле, здесь, по-видимому, не удавалось. Вообще отпечаток узкого профессионализма лежал на всей жизни Торманса, обедняя чувства людей и сужая их кругозор. Возможно, это только казалось звездолетчикам в результате отбора событий и материалов информации. Только прямое соприкосновение с народом планеты могло решить этот вопрос.

В телепередачах и радиоинформации очень много внимания уделялось небольшой группе людей, их высказываниям и поездкам, совещаниям и решениям. Чаще всего упоминалось имя Чойо Чагаса, соображения которого на разные темы общественной жизни, прежде всего экономики, вызывали неумеренные восторги и восхвалялись как высшая государственная мудрость. Может быть, далекие от подлинной прозорливости гения, охватывающего всю глубину и широту проблемы, высказывания Чойо Чагаса в чем-то были очень важными для обитателей Торманса? Как могли судить об этом пришельцы, парившие на высоте шести тысяч километров?..

Фай Родис и Гриф Рифт напоминали об этом горячим и резким в суждениях молодым товарищам.

Странным образом, несмотря на постоянные сообщения о выступлениях и поездках Чойо Чагаса и еще трех человек, его ближайших помощников, составлявших Совет Четырех — верховный орган планеты Ян-Ях, — никому из звездолетчиков еще не удалось их увидеть. Чаще всего поминаемые, эти люди как бы присутствовали везде и нигде.

Лишь один раз в передаче из города Средоточия Мудрости толпа, запрудившая улицы и площади, приветствовала восторженным ревом пятерку машин, тяжело, как броневики древних времен Земли, проползавших в скопище людей. В темных стеклах ничего не проглядывалось, но тормансиане, объятые массовым психозом, кричали и жестикулировали, как на своих спортивных состязаниях.

Земляне поняли, что эти четверо во главе с Чойо Чагасом и есть истинные владыки всех и всего. Как обычно у древних народов, у жителей Торманса преобладали однообразные имена, и поэтому им приходилось носить по три имени. Иногда встречались люди с двумя именами. Видимо, двуименные составляли высшие классы общества планеты. Тормансианские имена звучали отчасти похоже на земные, но в трудном для землян диссонансе слогов. Чойо Чагас, Гентло Ши, Кандо Лелуф и Зетрино Умрог — так звали четверку верховных правителей. Имена разрешалось сокращать всем, кроме Чойо Чагаса. Ген Ши, Ка Луф, Зет Уг повторялись с назойливым однообразием в неизменном порядке после имени Чойо Чагаса, звучавшего магическим заклятием диких предков.

Олла Дез шутя объявила, что все земляне с их системой двойных, бесконечно разнообразных имен должны принадлежать на Тормансе к верховному классу.

— И ты хотела бы, не постыдилась бы? — спросила Чеди Даан.

— Мне представилась бы возможность увидеть настоящих хозяев жизни и смерти любого человека. Еще в школе второго цикла я увлекалась историческими фантазиями. Больше всего меня захватывали книги о могучих королях, завоевателях, о пиратах и тиранах. Ими полны все сказки Земли, какой бы из древних стран они ни принадлежали.

— Это несерьезно, Олла, — сказала Чеди, — величайшие страдания человечеству доставили именно эти люди, почти всегда невежественные и жестокие. Одно тесно связано с другим. В плохо устроенном обществе человек или должен развивать в себе крепкую, бесстрашную психику, служащую самозащитой, или, что бывает гораздо чаще, надеяться только на внешнюю опору — бога. Если нет бога, то возникала вера в сверхлюдей, с той же потребностью преклонения перед солнцеподобными вождями, всемогущими государями. Те, кто играл эту роль, обычно темные политиканы, могли дать человечеству только фашизм и ничего более.

— Среди них были и мудрецы и герои, — не смутилась Олла Дез. — Мне хотелось бы повстречаться с подобными людьми. — Она закинула руки за голову и оперлась спиной о выступ дивана, мечтательно сощурив глаза.

Фай Родис пристально посмотрела на инженера связи.

— Чеди права в одном аспекте, — сказала она, — в действиях всех этих владык, помимо обусловленности, было еще отсутствие понимания далеких последствий. Это порождало безответственность, приводившую к трагическому результату. И я понимаю Оллу Дез...

— Как? — воскликнули разом Чеди, Вир и Тивиса.

— Любой человек Земли так осторожен в своих поступках, что про-

игрывает в сравнении с властителями нашей древности. У него нет внешних признаков могущества, хотя на самом деле он как осторожно ступающий исполинский слон перед несущимся напролом перепуганным оленем.

— Владыка — и перепуганный? — рассмеялась Олла. — Одно противоречит другому.

— А следовательно, и составляет диалектическое единство, — заключила Фай Родис.

Дискуссии подобного рода повторялись много раз, но внезапно пришел конец спокойному изучению планеты.

Ночной дежурный по радиопередачам — им был на этот раз Гэн Атал — поднял по тревоге Родис, Грифа и Чеди. Все четверо собрались у темного экрана, прорезанного лишь светящейся индикаторной линией с ее всплесками осцилляции. Переводная машина была выключена, так как звучавшие в обертонной воронке слова были теперь понятны звездолетчикам:

«Сообщение главной обсерватории Хвоста подтверждено следящими станциями. Вокруг нашей планеты обращается неизвестное небесное тело — вероятно, космический корабль. Орбита круговая, угол к экваториальной плоскости — 45, высота — 200, скорость...»

— Они умеют рассчитывать и орбиты, — буркнул Гриф Рифт.

«Размеры космического тела по предварительным данным значительно меньше звездолета, посетившего нас в Век Мудрого Отказа. Второй доклад следящих станций в восемь часов утра».

— Вот мы и обнаружены, — с оттенком грусти сказал Гриф Рифт, обращаясь к Фай Родис. — Что будем предпринимать?

Родис не успела ответить, как вспыхнул большой экран и на нем появился знакомый диктор.

— Срочное сообщение! Всем слушать! Слушать город Средоточия Мудрости! — Тормансианин говорил отрывисто, резко, будто взлаивая в середине фраз. Он передал сообщение о звездолете и закончил: — В десятый час утра выступит друг Великого Чойо Чагаса, сам Зет Уг. Всем слушать город Средоточия Мудрости!

— Что будем делать? — повторил Гриф Рифт, приглушив повторное сообщение.

— Говорить с Тормансом! После выступления Зет Уга перебьем передачу, и на всех экранах появлюсь я с просьбой о посадке. Олла Дез приготовилась к такому случаю, — на щеках Фай Родис проступил румянец легкого волнения.

К назначенному времени весь экипаж звездолета собрался у экранов связи. Наступил важнейший момент. Ради него они посланы Землей и проделали весь невероятный полет прямого луча. Все зависит от того, как сложатся отношения гостей, к сожалению незваных, с тормансианами — вернее, с их владыками. Ибо решение этой небольшой кучки людей, даже, возможно, одного лишь Чойо Чагаса, определит «волю» Торманса и успех экспедиции землян.

Сигнальные часы над крылом отражателя стереоэкрана шли по времени главного города Торманса. Фай Родис, удалившаяся на время в свою каюту, появилась примерно за четверть часа до выступления Зет Уга. Вероятно, она заранее приготовила платье любимого тормансианского цвета — красного с золотисто-оранжевой подцветкой из пушистой, дававшей глубокий тон материи. Оттененные этим платьем знакомые черты Фай Родис стали непреклоннее и тверже, почти грозными, а плавные ее движения казались бликами красного солнца Торманса. Она еще короче

срезала волосы, полностью открыв гордую шею. Тщательно причесанная, с завитками черных волос на щеках, без единого украшения, Фай Родис села в кресло перед экраном, не обменявшись ни словом со спутниками. Приглушенное привычное пение приборов ОЭС не нарушало настороженной тишины корабля.

Гулкие, гудящие металлом удары, как в огромный боевой щит, возвестили начало выступления одного из правителей планеты. Некоторое время экран оставался пустым, затем на нем появился небольшого роста человек в красной накидке, вышитой причудливо извивающимися золотыми змеями. Его кожа казалась более светлой, чем у большинства людей Торманса. Нездоровая одутловатость смягчала резкие складки вокруг широкого тонкогубого рта, маленькие умные глаза сверкали решимостью и в то же время бегали беспокойно, будто тормансианин опасался что-то упустить из виду.

Олла Дез подавила вздох недоумения и разочарования и покосилась на Фай Родис. Та оставалась бесстрастной, будто облик этого человека не был для нее неожиданностью.

Зетрино Умрог провел маленькой рукой по высокому, с залысинами лбу, изборожденному поперечными морщинами.

— Народ Ян-Ях! Великий Чойо Чагас поручил мне предупредить тебя об опасности. В нашем небе появился пришелец из тьмы и холода вселенной. Управляемый корабль враждебных сил. Мы объявляем по всей планете чрезвычайное положение, чтобы отразить врага. Последуем примеру наших предков, их мудрости во время правления Ино Кау и мужеству народа, прогнавшего непрошеных пришельцев в Век Мудрого Отказа. Да здравствует Чойо Чагас!

— Может быть, довольно? Владыка высказался ясно? — шепнула Олла Дез из-за пульта.

Фай Родис согласно кивнула головой, и Олла повернула голубой шарик до отказа, включив на полную мощность заранее настроенную установку ТВФ. Изображение Зет Уга задрожало, разбилось на цветные зигзаги и исчезло. На долю секунды Фай Родис успела заметить выражение испуга на лице владыки, поднялась и встала на круг главного фокуса. Она не отрываясь смотрела в ромбик центрального луча, а боковым зрением могла видеть себя на экранах, как в зеркале.

Перед изумленными тормансианами вместо искривленного и разбившегося изображения Зет Уга появилась удивительно похожая на них прекрасная, улыбающаяся женщина, с голосом нежным и сильным.

— Люди и правители Ян-Ях! Мы пришли с Земли, планеты, породившей и вскормившей ваших предков. Случай отдалил вас в недоступную нам прежде глубину пространства. Теперь мы в силах преодолеть его и пришли к вам как кровные прямые родичи, чтобы соединить усилия в достижении лучшей жизни. Мы никогда не были ничьими врагами и полны добрых чувств к вам, с которыми нас ничто не разделяет и возможно абсолютное понимание. Мы просим разрешения опуститься на вашу планету, познакомиться с вами, рассказать о жизни Земли и передать вам все, что мы знаем полезного и хорошего. В экипаже нашего корабля всего тринадцать таких же, как вы, людей, это горсточка в сравнении со множеством жителей Ян-Ях. Мы не представляем для вас никакой опасности, если вы примете нас гостями своей планеты. Мы изучили ваш язык, чтобы избежать ошибок и непонимания.

Экран подернулся серой рябью, сделавшись плоским и пустым. Из глубины его возник, прерываясь, воющий звук, сквозь который надрывно

кричал знакомый уже землянам голос диктора города Средоточия Мудрости:

— Передачу... прекращаем передачу...

Фай Родис переглянулась с Гриф Рифтом и, отступив назад, села на прежнее место. Олла Дез протянула руку к шарику выключателя, но Родис жестом остановила ее. Нагнувшись к приемнику, она заговорила громко и звонко, не обращая внимания на вой и свист помех:

— Звездолет «Темное Пламя» вызывает Совет Четырех! Вызывает Совет Четырех! Повторяем просьбу — разрешить посадку! Просим довести до сведения Чойо Чагаса, председателя Совета Четырех. Ждем ответа на косвенной частоте ваших навигационных передач. Ждем ответа!

Олла Дез выключила ТВФ. Загорелся синий огонек эллипсоидной антенны. После воя и взлаивающих криков в круглом зале наступило мертвое молчание. Его нарушила сама Родис.

— Не могу считать начало успешным, — озабоченно сказала она.

— Я бы сказал, что попытка познакомить Торманс с нами провалилась,— скупо улыбнулся Гриф Рифт.

— Хороши же эти правители! — возмущенно воскликнула Чеди. — Они боятся!

— Того же, чего боялись все воспитанные капитализмом, проникнутые завистью принужденного неравенства. Боятся конкуренции, — печально ответила Фай Родис.

— То есть того, что мы отнимем власть? — спросила Чеди.

— Конечно!

— Но ведь это дико и нелепо. Зачем нам власть в чужом мире?

— Это ясно для нас, для всей Земли, для Великого Кольца, но вряд ли много людей на Тормансе понимают это.

— Тогда зачем нам вообще просить посадки? Очевидно, мы не поймем друг друга, — пожала плечами Чеди.

— Для тех, кто сможет понять. Да и нам тоже следует понять их, даже этих странных правителей, — твердо сказала Родис.

— И вы будете настаивать?

— Попытаюсь!

Синий глазок горел час за часом, но планета молчала. Звездолет ушел на ночную сторону, когда Фай Родис поднялась и пригласила свободных от вахт спутников в столовую.

Все энергично принялись за темно-коричневые кирпичики пищевой смеси, достаточно вкусной, чтобы поддержать аппетит, и достаточно упругой, чтобы дать работу крепким зубам и челюстям, наследию предков, евших всевозможные твердые и неудобоваримые яства. Фай Родис ограничилась бокалом густого КМТ — оливково-зеленого напитка. Гриф Рифт сделал лишь несколько глотков чистой воды.

Чеди Даан, оставшаяся дежурить на перехвате телепередач, наблюдала за возобновлением всепланетных новостей. Перед глазами телекамер возникали улицы и площади разных городов Торманса, залы собраний и аудитории школ. Везде возбужденные тормансиане жестикулировали, кричали издалека или разражались потоками слов в непосредственной близости от приемных аппаратов. Задавался вопрос: «Что делать со звездолетом?», и чаще всего повторялись слова: «Долой, вон, не допустим, уничтожим!..» На широком уступе перед зданием, похожим на астрономическую обсерваторию, появился молодой человек в голубой одежде. Диктор объявил, что выступит один из Стражей Неба, организации, призванной охранять неприкосновенность планеты Ян-Ях. Человек в голубой одежде завопил: «Вы слышали гнусную ложь дрянной женщины, пред-

водительницы шайки межзвездного ворья, с беспримерной наглостью посмевшей назвать себя кровной сестрой нашего великого народа. За одно это кощунство опасные пришельцы подлежат наказанию. Наши ученые давно установили и доказали, что предки народа Ян-Ях явились с Белых Звезд, чтобы покорить природу забытой планеты и устроить здесь жизнь, полную счастья и покоя...»

Чеди Даан, увлекшаяся нелепой речью оратора, произносимой с непривычным для землян пафосом, голосом то дрожащим, то срывающимся на крик, не заметила, как за ее спиной появилась Фай Родис и включила переводную машину. Но даже та не смогла найти эквивалента слов «гнусный», «шайка», «воры», «дрянной», «кощунство». Родис удалилась за справками, а Чеди, иногда прибегая к дифференциальному увеличению, продолжала всматриваться в толпу — молодые лица, только молодые, с тем непроницаемым и отгороженным от мира выражением, какое бывает у фанатиков или у тупых, равнодушных людей.

Внезапная догадка заставила Чеди включить на сигнальном браслете вызов Оллы Дез. Та прибежала, раскрасневшаяся после отражения атаки, произведенной на нее сразу Вир Норином, Тивисой и Неей Холли за ее романтическую приверженность к «владыкам». Вслед за ней вошла Фай Родис, неся листок только что выкопированного из «звездочки» словаря древних понятий.

— Нашли загадочные слова? — не утерпела Чеди, как ни хотелось ей высказать собственную догадку.

— Ругань, то есть слова, на низком уровне развития психики считающиеся оскорбительными для тех, кому адресованы.

— Зачем? Ведь они ничего не знают о нас!

— Они применяют методы проникновения в психику человека через подсознание, в свое время запрещенные у нас законом, но широко использовавшиеся в демагогии фашистских и лжесоциалистических государств ЭРМ. Страшный преступник Гитлер, расценивавший свой народ как стадное сборище обезьян, действовал в точности как эти тормансианские ораторы. Он вопил, орал, багровел в яростных припадках, извергая ругань и слова ненависти, заражая толпу ядом своих несдержанных эмоций. «В толпе инстинкт выше всего, а из него выходит вера» — вот его слова, использованные позже, в олигархическом лжесоциализме Китая. С противниками не спорят. На них кричат, плюют, бьют, а при надобности уничтожают физически. Вы сами видите, что для ораторов Торманса нет ничего, кроме вбитых в голову понятий. Они обращаются не к здравому смыслу, а к животному безмыслию, так пусть вас не смущает эта ругань — она всего лишь прием в разработанной системе обмана народа.

Чеди встала и прошлась перед стеной экранов и пультов, сжав кулачки от нетерпения.

— А я, кажется, поняла,— медленно заговорила она,— даже позвала Оллу, прежде чем вы пришли, — для эксперимента...

Родис и Олла выжидательно смотрели на Чеди.

— У них существует вторая сеть всепланетных новостей. Та, которую мы ежедневно принимали, контролируется и фильтруется так же, как и наша Мировая Сеть. Но если мы делаем это для отбора наиболее интересного и важного, подлежащего первоочередному оповещению, то здесь это делается с совершенно другими целями.

— Понимаю,— кивнула Фай Родис,— показать только то, что хотят правители Торманса. Подбором новостей создается «определенное впечатление». А может быть, создаются и сами «новости».

— Без сомнения, так. Я догадалась, когда смотрела на «негодование»

народа. Группы людей, которые высказываются абсолютно одинаково, с наигранным рвением. Они подобраны в разных городах. А подлинного обзора людей и мнений мы не видим, как не видит его и население планеты.

— Если так... — начала Фай Родис.

— Должна существовать другая сеть, — продолжала Чеди. — По ней идет подлинная информация. Правители не смотрят на фальшивку. Это не только бесполезно, но и опасно для управления.

— И вы хотите настроиться на вторую сеть? — спросила Олла Дез.— Есть соображения о ее параметрах?

— Помните, мы поймали ночные рапорты обсерваторий?

Олла Дез склонилась над аппаратом волнового разреза, и стрелки его индикаторов ожили, прощупывая каналы передач.

Фай Родис обняла Чеди за плечи и слегка прижала к себе. Обе не отрываясь смотрели на слепой экран. Проплывали и стремительно проносились размытые контуры или просверки четких линий. Через несколько минут громкая речь зазвучала одновременно с появлением на экране обширного помещения, заставленного рядами столов с развернутыми на них таблицами и чертежами. Совсем непохожие на буйствующих на улицах люди в коричневых и темно-серых одеждах собрались в кружок на заднем плане. Они были намного старше экзальтированной молодежи.

«Не понимаю этой паники, — говорил один в центре собравшихся. — Надо бы принять звездолет. Подумать только, как много мы можем узнать от них, очевидно, людей более высокой культуры и столь похожих на нас...»

«В этом-то и дело, — перебил другой,— но как же быть с мифом Белых Звезд?»

«Кому он нужен сейчас?»— сердито нахмурился первый.

«Тем, кто твердил о непреложности истины в книгах величайшего гения Цоама, доставленных с Белых Звезд. А если мы с планеты этих пришельцев и там все так изменилось, тогда...»

«Довольно! У Четырех везде глаза и уши, — прервал первый говоривший, — молчим».

Будто по сигналу, люди разошлись по своим местам за столами. Глаз телекамеры переключился на лабораторию с аппаратурой и стеной сетчатых клеток, в которых копошилось нечто живое. Здесь стояли пожилые люди в желтых халатах, и разговор тоже велся о звездолете землян.

«Необычайное, наконец, случилось», —сказала женщина с забавными косичками, на Земле годившимися для девочки. — Тысячелетия мы отрицали разумную жизнь с высокой культурой вокруг нас или считали ее величайшей редкостью. В Век Мудрого Отказа прилетал один звездолет, а теперь появился второй, да еще с нашими прямыми родственниками. Как же можно его не принять!»

«Шш! — совершенно по-земному дал знак молчания старый, согнутый возрастом тормансианин. — Там, — он поднял палец вверх, — еще ничего не сказали».

И опять по безмолвной команде люди разошлись. Камера переключилась на высокий зал с огромными столбообразными машинами, трубами и котлами. И вдруг все погасло. Синий глазок приемника потух, зеленоватое свечение озарило окно фильтратора, и послышалась взвизгивающая тормансианская речь. Земляне, задержавшиеся в столовой, поспешили присоединиться к наблюдателям.

«Пришельцам чужой планеты. Пришельцам чужой планеты. Совет Четырех вызывает вас для переговоров. Вступайте в двустороннюю видеосвязь по особому каналу. Техник пояснит способ включения!»

Темный стереоэкран загорелся вновь. В тесной камере, похожей на обычную автоматическую установку ТВФ, сидел пожилой тормансианин в голубом. Он начал говорить в маленький рупор перед собой, пытаясь объяснить землянам параметры особой линии. Олла Дез мгновенно подключила уже настроенный ТВФ «Темного Пламени». Тормансианин откинулся назад и замер от удивления, увидев на своем экране людей звездолета.

— Звездолет «Темное Пламя» к переговорам готов, — с чуть заметной ноткой торжества сказала Олла Дез, немного спотыкаясь на тормансианском произношении.

Техник в голубом, наконец, оправился от неожиданности и проговорил что-то приглушенное и неразборчивое в кубик на гибкой ножке, выслушал ответ и поднял побледневшее лицо.

— Приготовьтесь. Выберите среди вас умеющего хорошо говорить на языке Ян-Ях и знающего слова почтения. Переключаю вас на Обитель Совета Четырех!

На экране появилась огромная комната, вся задрапированная вертикальными складками тяжелой ткани густого малахитово-зеленого цвета. На переднем плане стоял круглый стол с массивными, украшенными резьбой ножками в форме когтистых лап. На столе одиноко лежал бледно-голубой опалесцирующий шар. Четыре кресла из той же зеленой ткани стояли на ярком солнечно-желтом ковре. На задней стене виднелась астрономическая карта, слабо светившаяся над черным шкафом с дверцами, украшенными пестрыми и тонкими рисунками. На шкафу горела высокая лампа с бледно-голубым абажуром, окаймленным зеленой полосой, бросавшая свет на четырех людей, с неприличной важностью развалившихся в креслах. Трое скрывались в тени, впереди сидел худощавый и высокий человек в белой накидке, с обнаженной головой и торчавшими ежиком серо-черными волосами. Жесткий рот не гармонировал с притупленным коротким носом, а проницательные узкие глаза — с высоко поднятыми, как бы в усилии сообразить, бровями. Но Олла Дез могла быть довольна. Чойо Чагас производил впечатление властелина и, несомненно, был им.

Фай Родис, по-прежнему в своем красно-оранжевом платье, ступила на круг главного фокуса. Чойо Чагас выпрямился и долго рассматривал женщину Земли.

— Я приветствую вас, хотя вы явились без спроса! — наконец сказал он.

Для того чтобы запросить «приглашение» и получить ответ, потребовалось бы несколько тысяч лет!» — подумала Родис, и губы ее дрогнули в еле заметной усмешке, вызвавшей столь же быструю реакцию — брови владыки немного сдвинулись.

— Пусть тот, кто у вас владычествует и кому поручено представлять правителей вашей планеты, объяснит цель прибытия, — продолжал он.

Фай Родис кратко и точно рассказала об экспедиции, об источниках сведений о планете Ян-Ях и истории исчезновения трех звездолетов Земли в самом начале ЭМВ. Чойо Чагас бесстрастно слушал, отвалившись назад и положив на мягкую подставку ноги, обтянутые белыми гетрами. И чем надменнее становилась его поза, тем яснее читали земляне смятение, происходившее в душе председателя Совета Четырех.

— Я не уяснил себе, от чьего имени вы говорите, пришельцы. Все вы чересчур молоды! — сказал Чойо Чагас, едва Родис окончила свое сообщение с просьбой принять «Темное Пламя».

— Мы люди Земли и говорим от имени нашей планеты, — ответила Фай Родис.

— Я вижу, что вы люди Земли, но кто велел вам говорить так, а не иначе?

— Мы не можем говорить иначе, — возразила Родис, — мы здесь частица человечества. Каждый из людей Земли говорил бы то же самое, только, может быть, в других выражениях или яснее.

— Человечество? Это что такое?

— Население нашей планеты.

— То есть народ?

— Понятие народа у нас было в древности, пока все народы планеты не слились в одну семью. Но если пользоваться этим понятием, то мы говорим от имени единого народа Земли.

— Как может народ говорить помимо законных правителей? Как может неорганизованная толпа, тем более простонародье, выразить единое и полезное мнение?

— А что вы подразумеваете под термином «простонародье»? — осторожно спросила Фай Родис.

— Неспособную к высшей науке часть населения, используемую для воспроизводства и самых простых работ.

— У нас нет простонародья, нет толпы и правителей. Законно же у нас лишь желание человечества, выраженное через суммирование мнений. Для этого есть точные машины.

— Я не уяснил себе, какую ценность имеет суждение отдельных личностей, темных и некомпетентных.

— У нас нет некомпетентных личностей. Каждый большой вопрос открыто изучается миллионами ученых в тысячах научных институтов. Результаты доводятся до всеобщего сведения. Мелкие вопросы и решения по ним принимаются соответствующими институтами, даже отдельными людьми, а координируются Советами по главным направлениям экономики.

— Но есть же верховный правящий орган?

— Его нет. По надобности, в чрезвычайных обстоятельствах, власть берет по своей компетенции один из Советов. Например, Экономики, Здоровья, Чести и Права, Звездоплаванья. Распоряжения проверяются Академиями.

— Я вижу у вас опасную анархию и сомневаюсь, что общение народа Ян-Ях с вами принесет пользу. Наша счастливая и спокойная жизнь может быть нарушена... Я отказываюсь принять звездолет. Возвращайтесь на свою планету анархии или продолжайте бродяжничать в безднах вселенной!

Чойо Чагас встал, выпрямился во весь рост и направил указательный палец прямо в Фай Родис. Три других члена Совета Четырех вскочили и дружно вскинули руки с ладонями, направленными ребром вперед, — жест высшего одобрения и восторга на Тормансе.

Побледнев, Фай Родис тоже простерла вперед руку успокаивающим жестом Земли.

— Прошу вас еще несколько минут подумать, — звонко сказала она Чойо Чагасу. — Я вынуждена связаться с нашей планетой, прежде чем начать решительные действия...

— Вот и обнаружилось истинное лицо пришельцев! — Чойо Чагас картинно повернулся к своим соратникам. — Какие решительные действия? — Он грозно сощурил свои узкие глаза.

— Смотря по тому, какие мне разрешит Земля! Если...

— Но как вы сможете связаться? — нетерпеливо прервал Чойо Чагас. — Вы только что говорили о недоступности расстояния. Или все это обман?

— Мы никогда никого еще не обманывали. В крайних случаях, израсходовав огромную энергию, можно пронзить пространство прямым лучом.

Спутники Фай Родис переглянулись с изумлением. Чеди Даан открыла было рот, Гриф Рифт сдавил ее плечо, глазами приказывая молчать.

Олла Дез невозмутимо подошла к Родис, и взгляды четырех правителей сосредоточились на новой представительнице Земли. Олла подала Родис обыкновенный микрофон для переговоров внутри корабля и перевела рамку ТВФ на экран в глубине зала, где обычно экипаж звездолета смотрел взятые с Земли стереофильмы и эйдопластические представления. Для звездолетчиков не осталось сомнения, что обе женщины действуют по заранее согласованному плану.

Фай Родис принялась вызывать в микрофон Совет Звездоплавания. Короткие и мелодичные слова земного языка звучали для тормансиан как заклинания. Четверо владык остались стоять вне света лампы, и Фай Родис не могла уследить за выражением их темных лиц.

На экране, совсем реальные в трехмерной пластике и естественных цветах, появились люди Земли. В большом зале шло заседание одного из Советов, по-видимому, отрывок из хроники.

Чеди Даан резко освободила плечо от пальцев Гриф Рифта.

— Недостойный обман! — громко произнесла она.

Фай Родис не дрогнула, а продолжала, склоняясь вперед и не сводя глаз с владык Торманса.

— Перевожу свои вопросы Земле на язык Ян-Ях! — И она стала говорить попеременно то на земном, то на тормансианском языке. — Уважаемые члены Совета, я вынуждена просить разрешения чрезвычайных мер. Правители Торманса, не выяснив мнения и вопреки желанию многих людей планеты, отказались принять наш звездолет по мотивам ошибочным и ничтожным...

— Ложь! Разве вы не видели по всепланетным передачам, как негодует народ и требует, чтобы вас не только не пускали к нам, а попросту уничтожили? — повелительно перебил Чойо Чагас.

— Мы включились в вашу особую сеть и видели другое, — невозмутимо парировала Родис и продолжала: — Поэтому я прошу позволить нам стереть с лица планеты главный город — центр самовластной олигархии — или произвести всепланетную наркотизацию с персональным отбором.

Чойо Чагас присел на край стола, а трое остальных ринулись вперед, размахивая руками.

Олла Дез незаметно передвинула кадры эйдопластики. На экране ТВФ председатель Совета энергично заговорил, указывая на карту вверху. Члены Совета утвердительно закивали. Шло обсуждение постройки тренировочной школы для будущих исследователей Тамаса. Со стороны можно было подумать, что Фай Родис получила необходимое разрешение.

— Неслыханно! Я больше не могу! — Чеди Даан выбежала из зала, бросилась в свою каюту и заперлась там, жестоко страдая.

Следом за ней двинулись Гэн Атал, Тивиса и Мента Кор, но были остановлены повелительным тоном речи Фай Родис:

— Я получила разрешение на чрезвычайные действия. Прошу снова подумать. Буду ждать два часа по времени Ян-Ях,— Фай Родис повернулась, чтобы выйти из главного фокуса.

— Стойте!— крикнул Чойо Чагас. — На какое действие вы получили разрешение?

— На любое.

— И что решили?

— Пока ничего. Жду вашего ответа.

Родис погасила обратную связь ТВФ, оставив владык Торманса перед темным экраном их секретной сети. Они не догадались сразу выключиться, и земляне могли несколько минут наблюдать их спор и суетливые, испуганные жесты.

— Положение опасно! — говорил горбоносый тормансианин с круглыми и выпуклыми глазами, как позднее узнали земляне, первый помощник Чойо Чагаса Ген Ши. — Могущество пришельцев несомненно.

— Как бы они ни лгали, звездолет обладает огромной силой и, без сомнения, могущественным оружием. Без него никто не пустился бы в дальние пути к неведомым планетам, — бубнил Зетрино Умрог, — но звездолет, севший на планету...

— Это совсем другое! — сказал Чойо Чагас и что-то крикнул в сторону. Экран выключился.

Родис устало опустилась в кресло и несколько раз провела ладонями по лицу и волосам снизу вверх, как бы умываясь. Гриф Рифт молча протянул бокал КМТ, и она приняла его с благодарной улыбкой.

— Представление получилось блестящее! — довольно сказала Олла Дез и прорвала плотину негодующего молчания.

— Недостойно! Стыдно! Люди Земли не должны разыгрывать лживые сцены и пускаться в обман! Никогда не ожидали, что глава нашей экспедиции способна на бессовестный поступок! — наперебой заговорили Тивиса Хенако, Мента Кор, Гэн Атал и Тор Лик. Даже твердокаменный Див Симбел осуждающе смотрел на Фай Родис, в то время как Нея Холли, Вир Норин, Соль Саин и Эвиза Танет не скрывали своего восхищения ею.

Фай Родис отставила бокал, встала и подошла к товарищам. Взгляд её зеленых, больших, даже для женщины ЭВР, глаз был печален и тверд.

— Мнения о моем поступке разделились у вас почти надвое — может быть, это свидетельство его правильности... Не нужно оправдания, я ведь сама сознаю вину. Опять перед нами, как тысячи раз прежде, стоит все тот же вопрос: вмешательства — невмешательства в процессы развития, или, как говорили прежде, судьбу отдельных людей, народов, планет. Преступны навязанные силой готовые рецепты, но не менее преступно хладнокровное наблюдение над страданиями миллионов живых существ, животных ли, людей ли. Фанатик или одержимый собственным величием психопат без колебания и совести вмешивается во все. В индивидуальные судьбы, в исторические пути народов, убивая направо и налево во имя своей идеи, которая в огромном большинстве случаев оказывается порождением недалекого ума и больной воли параноика. Наш мир торжествующего коммунизма очень давно покончил со страданиями от психических ошибок и невежества власти. Естественно, каждому из нас хочется помочь тем, которые еще страдают. Но как не поскользнуться на применении древних способов борьбы — силы обмана, тайны? Разве не очевидно, что, применяя их, мы становимся на один уровень с теми, от кого хотим спасать? А находясь на том же уровне, какое право имеем мы судить, ибо теряем знание? Так и я сделала один шаг по древнему пути, и вы сами бросаете мне обвинение в недопустимом поступке.

Фай Родис присела к столу, по обыкновению подперев подбородок рукой и вопросительно оглядывая молчавших людей. Она не нашла среди присутствовавших Чеди Даан, поняла причину, и глаза ее стали еще печальнее.

— Разве можно полностью отвергать вмешательство,— спросил Гриф Рифт,— если с детских лет — и во всей социальной жизни — общество ведет людей по пути дисциплины и самоусовершенствования? Без этого не будет человека. Шаг выше, к народу — совершенствование его социальной жизни, а затем и совокупности народов, целой страны или планеты. Что же такое ступени к социализму и коммунизму, как не вмешательство знания в организацию человеческих отношений?

— Да, это так, но если оно создается изнутри, а не извне,— возразил Тор Лик,— здесь же мы чужие, пришельцы из совсем другого мира.

— Не чужие! Мы дети Земли, и они тоже! — воскликнула Нея Холли.

— Около двух тысячелетий они шли сами, без нас. И у нас нет чести и права теперь рассматривать тормансиан как своих,— резко возразила Тивиса.

— Может ли биолог и антрополог судить столь поверхностно? — поморщилась Эвиза Танет.— Две тысячи лет без нас, а миллионы с нами и весь последний, самый трудный путь от варварства и феодализма до ЭМВ. Все жертвы, кровь, слезы и горе великого пути с нами! Какие же они чужие? Разве вы забыли, что человек — это кульминация трех миллиардов лет естественного отбора, слепой игры на выживание, инферно, завесу над которым впервые приподнял Дарвин. Мы связаны через гены исторической преемственностью со всей животной жизнью нашей планеты, и, следовательно, тормансиане тоже. Разве мы можем отказаться от своих корней, как то по неизвестным нам причинам сделали предки современных обитателей Ян-Ях? Давно уже, как и мы, они знали, что человек погружен в неощутимый океан мысли, накопленной информации, который великий ученый ЭРМ Вернадский назвал ноосферой. В ноосфере — все мечты, догадки, вдохновенные идеалы тех, кто давно исчез с лица Земли, разработанные наукой способы познания, творческое воображение художников, писателей, поэтов всех народов и веков. Мы знаем, что человек Земли в своей психике почерпнул огромную силу, реализовавшуюся в построении коммунистического общества: удивление и преклонение перед красотой, уважение, гордость, творческую веру в нравственность, не говоря уже об основе основ — любви. То, что тормансиане прервали эту преемственность,— ненормально. Нет ли здесь нарушения первого закона Великого Кольца — свободы информации? Если есть, то, вы знаете, мы полномочны на самое суровое вмешательство...

— Убедительно! — сказал Соль Саин.

— И все же это не оправдание методов древности! — сказал Тор Лик.

— Не оправдание, я уже сказала,— ответила Фай Родис.— Но представим себе чашу весов. Бросим на одну возможность помочь целой планете, а на другую — лживую комедию, разыгранную мною. Что перевесит?

— Нечего спорить,— согласилась Мента Кор,— но существо дела не в соотношении добра и зла, горя и радости, которые, как мы знаем, абсолютны лишь в мере, а не в сравнении. Зерно опасности здесь, как понимаю, в уровне поступка, ибо, ступив на путь лжи и запугивания, где определить меру и ту грань, дальше которой нельзя идти, не падая?

— Мента, вы очень точно выразили общее мнение,— сказала внезапно появившаяся в зале Чеди Даан,— ложь вызовет ответную ложь, испуг — ответные попытки устрашения, для преодоления которых нужны новые

обманы и застращивания, и все покатится вниз неудержимой лавиной ужаса и горя.

— Я убеждена, что сущность противоречия вы формулируете правильно, но эти последние ступени пока далекая абстракция,— сказала Фай Родис.

Синий глазок потух. Планета Ян-Ях вызывала «Темное Пламя». Засветились экраны на корабле и в Обители Совета Четырех.

Чойо Чагас сидел неестественно прямо, скрестив на груди руки, и смотрел на землян в упор.

— Я разрешаю посещение планеты и приглашаю быть моими гостями. Через сутки будет подготовлено и указано место посадки корабля.

Фай Родис, встав, поклонилась, вложив в это движение едва заметное кокетство и женскую насмешливость.

— Благодарю вас от имени Земли и моих спутников. Спешить с посадкой нет необходимости. Мы должны пройти иммунизацию, чтобы не занести вам тех болезнетворных начал, против которых у вас нет антител, и создать иммунитет для себя. Теперь, получив разрешение, мы возьмем пробы земли, воды и воздуха...

— Не садясь?

— Да, для этого есть аппараты — у нас их зовут чиркающими ракетами. Думаю, что дней через десять мы будем готовы к посадке. Кроме того... — Фай Родис на секунду запнулась.

— Кроме того? — остро блеснули глаза Чойо Чагаса.

— Я вызову второй звездолет. Он будет обращаться по высокой орбите вокруг Ян-Ях, ожидая нас,— на случай аварии нашего звездолета.

— Неужели водители кораблей Земли так неискусны? — раздраженно сказал Чойо Чагас, в то время как члены Совета Четырех обменялись обескураженными взглядами.

— Путешественники космоса, или бродяги вселенной, как назвали нас Стражи Неба, должны быть готовы к любым случайностям,— подчеркнула последнее слово Фай Родис.

Владыка Торманса нехотя кивнул, и телеаудиенция окончилась.

Глава IV

ОТЗВУК ИНФЕРНО

Громада «Темного Пламени» приблизилась к поверхности планеты. Скорость облета возрастала, и разреженный на высоте в сотни километров воздух оглушительно ревел за неуязвимыми стенками корабля, надежно защищенными и от перегрева и от любой радиации. Этот звук чудовищной силы улавливали звукозонды Торманса. Оказывается, и здесь знали приборы, записывавшие звуковую хронику неба. Усилители донесли этот однообразный, резкий, как сигнал опасности, вопль до кабинетов ученых-наблюдателей, до высоких башен Стражей Неба и просторных апартаментов правителей, возвещая о приближении незваного гостя, пугающего и привлекательного.

Без устали трудились техники звездолета, вычисляя программы и закладывая их в тупомордые трехглазые чиркающие ракеты. Вскоре пачки спиральных трубок, зачехленные в пятиметровые рыбообразные оболоч-

ки, оторвались от корабля, описали громадные параболы и коснулись поверхности планеты в заранее установленных местах. Одна чиркнула по волнам океана, другая пронеслась в его глубинах, третья вспорола гладь реки, последующие пропахали поля, реки и зеленые зоны в разрешенных тормансианами местах. И, снова поднявшись на высоту облета, ракеты прилипали к бортам «Темного Пламени», неся для его лабораторий биологические пробы воды, земли и воздуха чужой планеты.

Нея Холли, Эвиза Танет и Тивиса Хенако третьи сутки не смыкали глаз. Под унылое пение ультрацентрифуг они не отходили от протонных микроскопов и термостатов с бесчисленными сериями бактериальных и вирусных культур. Аналитические компараторы сравнивали токсины вредоносных микробов Земли и Торманса и выводили длинные формулы иммунологических реакций, чтобы нейтрализовать доселе незнаемые болезнетворные начала. Иммунизацию получали в равной степени как намеченные к высадке, так и остающиеся в корабле. Весь экипаж состоял из тяжело дышавших людей с пылающими лицами и лихорадочным блеском глаз. Тор Лика и Менту Кор пришлось даже погрузить в гипнотический сон, так как сила реакции организма потребовала исключить всякую деятельность.

И все же через несколько дней Эвиза Танет объявила, что она недовольна результатами и не может гарантировать полноценной защиты.

— Какой срок достижения полноценности? — спросила ее Фай Родис.

Немного сконфуженная Эвиза задумалась.

— Обнаружены два необыкновенных болезнетворных вируса. Они могли возникнуть только в условиях чрезвычайной скученности людей. Сейчас ничего похожего на Тормансе мы не наблюдаем.

— Это косвенное подтверждение былой перенаселенности планеты,— сказала Фай Родис,— но нам нужно спуститься на Торманс как можно скорее.

— Необходимая перестройка наших защитных реакций произойдет вряд ли раньше, чем через два месяца,— заявила Эвиза Танет таким тоном, как будто она была виновата в невозможности провести иммунизацию скорее.

Фай Родис улыбнулась ей.

— Что же делать! Хочется быть полноправным гостем новой земли, и почти никогда это не удается. Всегда случаются обстоятельства, которые торопят, не позволяют ждать. Многие рассказывали о незабываемом чувстве встречи с новой и безопасной планетой. Выходишь из корабля на чистейший воздух, под новое солнце и, словно дитя, бежишь по ласковой девственной почве. Буйное желание сбросить одежду и погрузиться всем существом в свежесть кристально-чистого мира. Чтобы босые ноги ступали по мягкой траве, чтобы ветер и солнце, касаясь обнаженной кожи, передавали ей все ноты изменчивого дыхания природы. И столь немногим из сотен тысяч путешественников на иные миры удавалось испытать это!

— Значит, скафандры? — спросила Нея Холли.

— Да! Как ни жаль! Потом, когда закончится иммунизация, мы снимем их. Без шлемов, только с биофильтрами — и это уже удача! Зато мы будем готовы в три-четыре дня.

— Может быть, это к лучшему,— сказала Нея Холли.— Анализ воды Торманса показал некоторые структурные отличия от земной. Первое время все будут ослаблены привыканием к новой воде.

— Разве важно, какая вода? — спросила Фай Родис.— Простите, я знаю так мало. Если вода чиста и лишена вредных примесей?

— Простим историку древнее заблуждение,— улыбнулась Эвиза.—

Наши предки долго считали воду просто водой, соединением водорода и кислорода и вовсе не умели ее анализировать. Оказалось, что вода имеет сложную физико-химическую структуру с участием многих элементов. Тысячи видов воды, полезной, вредной, нейтральной, хотя в простом анализе одинаковой и совершенно чистой, встречаются в ключах, речках и озерах Земли. Торманс — другая планета, с иным характером общего круговорота воды, эрозии и минерального насыщения. Мы нашли, что эта вода в среднем может сказаться на нас некоторым угнетением нервной системы. Против него я подобрала таблетки ИГН-102. Только не забывайте бросать их в любую жидкость для питья или еды.

— Итак, скафандры,— вмешался молчавший до сих пор Гриф Рифт,— у нас будет одно преимущество...

— В случае опасности? — Эвиза наклонила голову, метнув косой взгляд на Чеди Даан.

— Догадка верна. Скафандр не поддается ни ножу, ни пуле, ни пролучу,— подтвердил Рифт.

— Но голова, самая ценная часть тела, без шлема поддается,— весело возразила Фай Родис.

Чеди Даан пристально взглянула на Родис, как будто удивляясь ее оживлению. Действительно, сдержанная, немного суровая предводительница экспедиции сейчас, накануне испытания, будто стала другой.

— Но как же с планом Чеди? — спросил Гэн Атал.

— Его придется осуществить позднее, после акклиматизации,— ответила Фай Родис.

Чеди только плотнее сжала губы и отвернулась к большой карте Торманса, растянутой над входом в круглый зал.

— Чеди, мне сейчас пришло в голову,— окликнула ее Эвиза Танет,— вы чувствительно отнеслись к комедии, разыгранной Фай Родис и Оллой Дез. Но не думаете ли вы, что намерение слиться с народом Ян-Ях, маскируясь под девушку Торманса, тоже содержит элемент обмана? Смотреть чужими глазами на открытое вам, как природной тормансианке? Не подглядывание ли это?

— Я... да... нет, я представляла это с другой стороны. Просто стать ближе к ним, живя одинаковой жизнью, испытывая одни трудности и радости, беды и опасности!

— Но имея возможность в любой момент вернуться к своим? Обладая могуществом человека ЭВР? И счастьем возвратиться в прекрасный мир Земли? — наступала Эвиза.

Чеди оглянулась на Родис по давней привычке оценивать реакцию своего идеала, но зеленые глаза Родис смотрели на нее серьезно и непроницаемо.

— Тут двойственность,— начала Чеди,— и я думала о более важном.

— Для кого? — Эвиза была немилосердна, как исследователь.

— Для нас. А им,— Чеди показала на карту Торманса,— не будет никакого вреда. Ведь мы делаем это, чтобы не ошибиться, чтобы знать, как и чем помочь.

— Прежде надо узнать, следует ли! — сказал Гриф Рифт.— Может оказаться...

Ослепительная вспышка рыжего огня блеснула за окном прямого наблюдения. Звездолет вздрогнул. Гэн Атал мгновенно исчез в лифте, а Гриф Рифт и Див Симбел бросились к дублерам пилотского пульта.

Еще вспышка, еще одно легкое содрогание корпуса «Темного Пламени». Включенные звукоприемники донесли чудовищный грохот, заглушивший однообразный вопль рассекаемой атмосферы.

Люди побежали на места аварийного расписания и замерли у приборов, еще не отдавая себе отчета в случившемся. Звездолет продолжал мчаться сквозь тьму на ночной стороне планеты. До терминатора осталось не больше получаса. Зазвенели серебряные колокольчики сигнала «опасности нет». Рифт и Симбел спустились из пилотской кабины, а Гэн Атал — из поста броневой защиты.

— Что это было? Нападение? — встретила их Фай Родис.

— Очевидно,— угрюмо кивнул Гриф Рифт.— Вероятно, стреляли ракетами. Предвидя такую возможность, мы с Гэн Аталом держали включенным внешнее отражательное поле, хотя оно вызывает ужасный шум в атмосфере. Звездолет не получил ни малейшего повреждения. Как будем отвечать?

— Никак! — твердо сказала Фай Родис.— Сделаем вид, что мы ничего не заметили. Они знают по вспышкам, что попали оба раза, и убедятся в полной несокрушимости нашего корабля. Убеждена, что других попыток не будет.

— Пожалуй, верно,— согласился Гриф Рифт,— но поле мы оставим — пусть лучше воет, чем рисковать всем от трусливого вероломства.

— Теперь я еще больше стою за скафандры,— сказала Эвиза.

— И со шлемами НП,— отозвался Рифт.

— Шлемов не нужно,— возразила Фай Родис.— Тогда не будет контакта с жителями планеты и наша миссия принесет ничтожную пользу. Этот риск придется принять.

— Вряд ли шлемы послужат надежной защитой,— пожала великолепными плечами Эвиза Танет.

Нападения на звездолет не повторялись. «Темное Пламя» перешел на высокую орбиту и выключил двигатели. На корабле ни на минуту не прекращали готовиться к высадке. Биологические фильтры самым тщательным образом подгонялись в нос, рот и уши семерых «десантников». Личные роботы-спутники СДФ настраивались на индивидуальные биотоки. Название СДФ от первых букв латинских слов: «слуга, защитник, носильщик» — определяло назначение машины. Больше всего заботы, как обычно, требовали скафандры. Они изготовлялись специальным институтом из тончайших слоев молекулярно перестроенного металла, изолированного подкладкой, не раздражающей кожу. Несмотря на невероятную — для техники даже недавнего прошлого — прочность и термонепроницаемость, толщина скафандра измерялась долями миллиметра, и он внешне не отличался от тончайшего гимнастического костюма с высоким воротником, плотно облегающего все тело. Человек, одетый в такой костюм, походил на металлическую статую, только гибкую, живую и теплую.

Выбирая цвета скафандров, Олла Дез старалась каждого участника высадки, особенно женщин, представить наиболее эффектно.

Фай Родис, не задумываясь, выбрала черный с синим отливом, цвета воронового крыла, который очень подходил к ее черным волосам, твердым чертам лица и зеленым глазам. Эвиза попросила придать металлу серебристо-зеленый цвет ивового листа. Она решила не менять темно-рыжего оттенка своих волос и топазовых кошачьих глаз. Черный пояс и черная отделка воротничка еще резче выделяли пламя ее густых волос.

Чеди Даан выбрала пепельно-голубой, с глубоким отливом земного неба и серебряной отделкой, а Тивиса без колебаний взяла темно-гранатовый, с розовым поясом, гармонировавшим с ее оливковой кожей и мрачноватыми карими глазами.

Мужчины хотели было надеть одинаковые серые скафандры, но, подчиняясь настояниям женщин, выбрали себе металлическую броню более красивых цветовых сочетаний.

Фай Родис задумчиво рассматривала лица спутников. Они выглядели бледными по сравнению со смуглыми обитателями планеты Ян-Ях, и она посоветовала всем принять пилюли загара.

— Может быть, нам следует переменить и цвет глаз, сделать их непроницаемо черными, как у тормансиан? — спросила Эвиза.

— Нет, зачем же? — возразила Родис.— Пусть они будут такие, как есть. Только сделаем их еще ярче. Это можно, Эвиза? Несколько лет назад были в моде «звездчатые» глаза.

— При условии, что у меня будет четыре дня для серии химических стимуляций!

— Четыре дня будет, сделайте всем нам лучистые глаза, напоминающие звезды, и пусть видят землянина издалека, в любой толпе!

— Интересно, какие глаза больше всего любили наши далекие предки во времена, когда еще не умели произвольно менять их цвет? — сказала Олла Дез.— Фай знает, например, вкусы ЭРМ.

— Если говорить о вкусах этой эры, то они были очень изменчивы, неясны и необоснованны. Но почему-то в те времена красота требовалась преимущественно от женщин. Произведения литературы, фото, фильмы перечисляют женские достоинства и почти не говорят о мужских.

— Неужели наши далекие сестры были такими постыдно неразборчивыми? — возмутилась Олла.— Наследство тысячелетий военного патриархата!

— Изобилие столь интересующих вас повелителей,— улыбнулась Родис,— но вернемся к глазам.

— На первом месте находились мои,— улыбнулась Фай Родис,— чисто-зеленые глаза, и это вполне естественно по биологическим законам здоровья и силы.

— А кто из нас на втором месте?

— Чеди. Синие или фиалковые, яркого оттенка. Дальше по нисходящей шли серые, потом карие и голубые. Очень редкими были, а потому и высоко ценились топазовые глаза, как у Эвизы, или золотистые, как у Оллы, но они считались зловещими, потому что походили на глаза хищных животных: кошек, тигров, орлов.

— А для мужчин был какой-нибудь критерий? — спросила Эвиза.

— Зеленых глаз у них, видимо, не было, да, судя по литературе, и синих тоже,— пожала плечами Родис.— Чаще всего упоминаются серые, как сталь, или голубые, как лед,— признак сильных, волевых натур, настоящих мужчин, подчиняющих себе других, всегда готовых пустить в ход кулаки или оружие.

— По этому признаку следует бояться Гриф Рифта и Вир Норина,— рассмеялась Эвиза.

— Но если Гриф Рифт действительно командир, то Вир Норин слишком мягок, даже для мужчины ЭВР,— возразила Олла Дез.

— Глаза глазами, а все же придется надевать этот металл,— вздохнула Эвиза Танет,— и надолго расстаться с ощущением своей кожи,— и она провела ладонью по плечу и голой руке извечным жестом человека, с детства обученного тщательному уходу за телом.

— Начнем. Кто будет ассистировать — вы, Олла, и Нея?

— Без Неи никак,— ответила Олла Дез.

— Тогда зовите ее,— и Фай Родис первая шагнула через порог в камеру биологического контроля.

Процесс одевания был долог и неприятен. Прошло немалое время, пока все семеро собрались в круглом зале. Чеди Даан еще ни разу не надевала скафандра и должна была постепенно привыкнуть к ощущению двойной кожи. Она не могла отвести глаз от Фай Родис — таким воплощением красоты сильного женского тела казалась она в черной броне, оттенявшей бледность ее лица и прозрачность зеленых глаз.

На поясе каждого укрепили овальную коробочку для деструкции продуктов метаболизма, на плечах поблескивали полоски приборов видеозаписи и треугольные зеркальца кругового обзора. На правую руку надели второй сигнальный браслет — для связи с кораблем через персонального робота, а в ложбинке между ключиц поместили цилиндр воздушного обдува. Время от времени между телом и скафандром от плеч до ступней пробегала воздушная волна, создавая приятное ощущение легкого массажа. Воздух выходил через клапаны на пятках, а со стороны казалось, будто на металлическом теле перекатываются могучие мускулы.

Фай Родис оглядывала товарищей, так странно отдалившихся и недоступных в холодном блеске облегающего металла...

— И вы собираетесь в таком виде предстать перед тормансианами?— раздался позади голос Гриф Рифта.

Родис вдруг осознала, что ее беспокоило.

— Ни в коем случае!— повернулась она к Рифту.— Мы, женщины, наденем обычные короткие юбочки тропической зоны, накинем пелеринки.

— Может быть, лучше рубашки, как у тормансианок? — спросила Тивиса, стеснявшаяся внешней открытости скафандра.

— Попробуем, может быть, они окажутся удобнее,— согласилась Родис.

— А я стою за тропический костюм для мужчин,— сказал Вир Норин.

— Шорты годятся, но рубашка без рукавов привлечет внимание к «металлическим» рукам,— возразил Гриф Рифт.— Тормансианские рубашки удобнее и для мужчин.

— Как странно, что на Тормансе на улицах и дома люди закутывают себя в одежду. Но на сценах, в громадных залах общественных зрелищ или в телепередачах они едва одеты,— заметила Олла Дез.

— Действительно, тут нелепое противоречие — одно из многих, какие нам предстоит разгадать,— сказала Родис.

— Может быть, зрелища подобного рода потому и привлекательны для них, что тормансиане обычно одеты с головы до ног,— догадалась Чеди.

— Это простое и вероятное объяснение наверняка ошибочно, судя по законам психики, все гораздо сложнее,— закончила Родис дискуссию.

После первого же сеанса магнитной стимуляции, проведенного Эвизой, «десантники» разошлись, чувствуя себя в броне непривычно связанными и отчужденными. Они должны были привыкать к ней в оставшиеся до посадки дни. Тончайшая металлическая пленка, по существу, нисколько не стеснявшая движений, стала незримой стеной между ними и остающимися в корабле. Все как будто бы оставалось прежним, но уже не было единодушного «мы» в обсуждении ближайших планов — появились «они» и «мы».

На сигнал готовности звездолета с главной обсерватории Стражей Неба последовало указание о месте посадки. «Темное Пламя» должен был сесть на широкий пологий мыс на южном берегу экваториального моря, приблизительно в трехстах километрах от столицы. Увеличенные снимки этого места показали унылый, поросший высоким темным кустарником

вал, вклинившийся в серо-зеленое море. И местность и море казались безлюдными, что вызвало опасения среди остающихся в звездолете.

— Безлюдье — основное условие для посадки ЗПЛ. Мы предупредили Совет Четырех,— напомнил товарищам Гриф Рифт.

— Могли бы выбрать место поближе к городу,— сказала Олла Дез.— Все равно они не позволили выходить всем.

— Вы забываете, Олла,— невесело сказала Родис,— близ города было бы очень трудно удержать любопытных. А здесь они поставят вокруг охрану, и никто из жителей Торманса не подойдет к нашему кораблю.

— Подойдут! Я позабочусь об этом! — с неожиданной горячностью вмешался Гриф Рифт.— Я пробью кустарник экранирующим коридором, который будет открываться звуковым паролем. Место входа я передам Фай по видеолучу. И вы сможете посылать к нам гостей, желанных, разумеется.

— Будут и нежеланные,— заметила Родис.

— Не сомневаюсь. Нея замещает Атала, мы с ней отразим любую попытку. Надо быть начеку. После неудачи с ракетами они попробуют что-нибудь другое.

— Не раньше чем убедятся в том, что второй звездолет, о котором я говорила, не придет. До тех пор вы будете в безопасности — три-четыре месяца, возможно и больше. Как и мы,— тише добавила Родис.

Гриф Рифт положил руку на плечо в теплом черном металле, заглянул в печальные и бесстрашные глаза.

— Вы сами определили срок вашего возвращения на корабль, Родис. И его лучше сократить, а не удлинять.

— Я понимаю вашу тревогу, Рифт...

— Представьте, что вы встретите стену глухого, абсолютного непонимания и ее не удастся пробить. Разве дальнейшее пребывание будет оправдано? Слишком велик риск.

— Не могу поверить, что можно отвергнуть знание Земли. Ведь это дверь в беспредельное и ясное будущее из их жизни — короткой, мучительной и, я боюсь, темной,— возразила Родис.

— Чувство необходимости жертвы — самое архаическое в человеке, проходящее через все религии в истории древних обществ. Умилостивить неведомую силу, смягчить божество, придать долговечность хрупкой судьбе. От закалывания людей на алтарях перед боем, охотой, для урожая или основания построек, от колоссальных гекатомб вождей, царей, фараонов до невообразимых избиений во имя бредовых политических и религиозных идей, национальной розни. Но мы, познавшие меру, творцы великих охранительных устройств общества для уничтожения горя и жертв,— неужели мы не расстались еще с этой древней чертой психики?

Фай Родис ласково провела пальцами по волосам Грифа.

— Если мы вторгаемся в жизнь Торманса, применяя древние методы — столкновение силы с силой, если мы нисходим до уровня их представлений о жизни и мечте... — Родис умолкла.

— Тем самым принимаем и необходимость жертвы. Так?

— Так, Рифт...

Только Родис вошла в свою каюту, как ее сигнальный браслет вспыхнул — Чеди Даан, некоторое время избегавшая встречи с ней один на один, просила резрешения прийти.

— Видимо, я очень тупая,— заявила Чеди, едва переступив порог,— я так мало знаю о великой сложности жизни...

Фай Родис слегка пожала горячие руки девушки, обрамленные на за-

пястьях серебряными кольцами скафандра, любуясь ее начавшим смуглеть лицом в рамке пепельно-русых волос.

— Не надо казниться, Чеди! Главное всегда и везде — не совершать поступка, продиктованного ошибочным мнением. Кто не путался в, казалось бы, неразрешимых противоречиях? Даже боги древних верований были подвержены этому. Только природа обладает неограниченной жестокостью, чтобы решать противоречия слепым экспериментом за счет всего живущего!

Они сели на диван. Чеди вопросительно посмотрела на Родис.

— Расскажите мне о теории инферно,— после некоторого колебания попросила она и поспешно добавила: — Мне очень важно знать.

Родис задумчиво прошлась по каюте и, остановившись у стеллажа микробиблиотеки, провела пальцами по зеленым пластикам кодовых обозначений.

— Теория инфернальности — так говорят издавна. На самом же деле это не теория, а свод статистических наблюдений на нашей Земле над стихийными законами жизни и особенно человеческого общества. Инферно — от латинского слова «нижний, подземный»,— оно означало ад. До нас дошла великолепная поэма Данте, который, хотя писал всего лишь политическую сатиру, воображением создал мрачную картину многоступенчатого инферно. Он же объяснил понятную прежде лишь оккультистам страшную суть наименования «инферно», его безвыходность. Надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий» на вратах ада отражала главное свойство придуманной людьми обители мучений. Это интуитивное предчувствие истинной подоплеки исторического развития человеческого общества — в эволюции всей жизни на Земле как страшного пути горя и смерти— было измерено и учтено с появлением электронных машин. Пресловутый естественный отбор природы предстал как самое яркое выражение инфернальности, метод добиваться улучшения вслепую, как в игре, бросая кости несметное число раз. Но за каждым броском стоят миллионы жизней, погибавших в страдании и безысходности. Жестокий отбор формировал и направлял эволюцию по пути совершенствования организма только в одном, главном, направлении — наибольшей свободы, независимости от внешней среды. Но это неизбежно требовало повышения остроты чувств — даже просто нервной деятельности — и вело за собой обязательное увеличение суммы страдания на жизненном пути.

Иначе говоря, этот путь приводил к безысходности. Происходило умножение недозрелого, гипертрофия однообразия, как песка в пустыне, нарушение уникальности и неповторимой драгоценности несчетным повторением... Проходя триллионы превращений от безвестных морских тварей до мыслящего организма, животная жизнь миллиарды лет геологической истории находилась в инферно.

Человек как существо мыслящее попал в двойное инферно — для тела и для души. Ему сначала казалось, что он спасется от всех жизненных невзгод бегством в природу. Так создавались сказки о первобытном рае. Когда стало яснее строение психики человека, ученые определили, что инферно для души — это первобытные инстинкты, плен, в котором человек держит сам себя, думая, что сохраняет индивидуальность. Некоторые философы, говоря о роковой неодолимости инстинктов, способствовали их развитию и тем самым затрудняли выход из инферно. Только создание условий для перевеса не инстинктивных, а самосовершенствующих особей могло помочь сделать великий шаг к подъему общественного сознания.

Религиозные люди стали проповедовать, что природа, способствующая развитию инстинктов,— от воплощения зла, давно известного под

именем Сатаны. Ученые возражали, считая, что процесс слепой природной эволюции направлен к освобождению от внешней среды и, следовательно, к выходу из инферно.

С развитием мощных государственных аппаратов власти и угнетения, с усилением национализма с накрепко запертыми границами инферно стали создаваться и в обществе.

Так путались и в природных и в общественных противоречиях, пока Маркс не сформулировал простого и ясного положения о прыжке из царства необходимости в царство свободы единственно возможным путем — путем переустройства общества.

Изучая фашистские диктатуры ЭРМ, философ и историк пятого периода Эрф Ром сформулировал принципы инфернальности, впоследствии подробно разработанные моим учителем.

Эрф Ром заметил тенденцию всякой несовершенной социальной системы самоизолироваться, ограждая свою структуру от контакта с другими системами, чтобы сохранить себя. Естественно, что стремиться сохранять несовершенное могли только привилегированные классы данной системы — угнетатели. Они прежде всего создавали сегрегацию своего народа под любыми предлогами — национальными, религиозными, чтобы превратить его жизнь в замкнутый круг инферно, отделить от остального мира, чтобы общение шло только через властвующую группу. Поэтому инфернальность неизбежно была делом их рук. Так неожиданно реализовалось наивно-религиозное учение Мани о существовании направленного зла в мире — манихейство. На самом деле это была совершенно материальная борьба за привилегии в мире, где всего не хватало.

Эрф Ром предупреждал человечество не допускать мирового владычества олигархии — фашизма или государственного капитализма. Тогда над нашей планетой захлопнулась бы гробовая крышка полной безысходности инфернального существования под пятой абсолютной власти, вооруженной всей мощью страшного оружия тех времен и не менее убийственной науки. Произведения Эрф Рома, по мнению Кин Руха, помогли построению нового мира на переходе к Эре Мирового Воссоединения. Кстати, это Эрф Ром первый подметил, что вся природная эволюция жизни на Земле инфернальна. Об этом же впоследствии так ярко написал Кин Рух.

Родис привычно набрала шифр, и небольшой квадрат библиотечного экрана засветился. Знакомый облик Кин Руха возник в желтой глубине, вперяя в зрительниц поразительно острые и белесоватые глаза. Ученый повел рукой и скрылся, продолжая говорить за кадром.

А на экране появилось усталое, печальное и вдохновенное лицо старого мужчины с квадратным лбом и высоко зачесанными седыми легкими волосами. Кин Рух пояснил, что это древний философ Алдис, которого прежде отождествляли с изобретателем морского сигнального фонаря. Трудно разобраться в именах народов, у которых фонетика не совпадала с орфографией, произношение же было утрачено в последовавшие века, что особенно сказалось на распространенном в ЭРМ английском языке.

Алдис, заметно волнуясь и задыхаясь от явной сердечной болезни, говорил: «Беру примером молодого человека, потерявшего любимую жену, только что умершую от рака. Он еще не ощущал, что он жертва особой несправедливости, всеобщего биологического закона, беспощадного, чудовищного и циничесого, нисколько не менее зверских фашистских «законов». Этот нестерпимый закон говорит, что человек должен страдать, утрачивать молодость и силы и умирать. Он позволил, чтобы у мо-

лодого человека отняли все самое дорогое, и не давал ему ни безопасности, ни защиты, оставляя навсегда открытым для любых ударов судьбы из тени будущего! Человек всегда неистово мечтал изменить этот закон, отказываясь быть биологическим неудачником в игре судьбы, по правилам, установившимся миллиарды лет тому назад. Почему же мы должны принимать свою участь без борьбы?.. Тысячи Эйнштейнов в биологии помогут вытащить нас из этой игры, мы отказываемся склонить голову перед несправедливостью природы, прийти к согласию с ней». Кин Рух сказал: трудно ясней сформулировать понятие инферно для человека. Видите, как давно поняли его принципы люди? А теперь...

На экране возникла модель земного шара, многослойный прозрачный сфероид, освещенный изнутри. Каждый участок его поверхности был крохотной диорамой, бросавшей стереоскопическое изображение прямо на зрителя как бы из безмерной дали. Вначале загорались нижние слои шара, оставляя прозрачными и немыми верхние. Постепенно проекция поднималась все выше к поверхности. Перед зрителем проходила наглядно история Земли, запечатленная в геологических напластованиях. Эта обычная демонстрационная модель была насыщена невиданным ранее Чеди содержанием. Кин Рух объявил, что построил схему эволюции животных по данным Эрф Рома.

Каждый вид животного был приспособлен к определенным условиям жизни, экологической нише, как назвали ее биологи еще в древности. Приспособление замыкало выход из ниши, создавая отдельный очаг инферно, пока вид не размножался настолько, что более не мог существовать в перенаселенной нише. Чем совершеннее было приспособление, чем больше преуспевали отдельные виды, тем страшнее наступала расплата.

Загорались и гасли разные участки глобуса, мелькали картины страшной эволюции животного мира. Многотысячные скопища крокодилообразных земноводных, копошившихся в липком иле в болотах и лагунах; озерки, переполненные саламандрами, змеевидными и ящеровидными тварями, погибавшими миллионами в бессмысленной борьбе за существование. Черепахи, исполинские динозавры, морские чудовища, корчившиеся в отравленных разложением бухтах, издыхавшие на истощенных бескормицей берегах.

Выше по земным слоям и геологическому времени появились миллионы птиц, затем гигантские стада зверей. Неизбежно росло развитие мозга и чувств, все сильнее становился страх смерти, забота о потомстве, все ощутительнее страдания пожираемых травоядных, в темном мироощущении которых огромные хищники должны были представлять подобие демонов и дьяволов, созданных впоследствии воображением человека. И царственная мощь, великолепные зубы и когти, восхищавшие своей первобытной красотой, имели лишь одно назначение — рвать, терзать живую плоть, дробить кости.

И никто и ничто не могло помочь, нельзя было покинуть тот замкнутый круг инфернальности, болото, степь или лес, в котором животное появилось на свет в слепом инстинкте размножения и сохранения вида...

А человек, с его сильными чувствами, памятью, умением понимать будущее, вскоре осознал, что, как и все земные твари, он приговорен от рождения к смерти. Вопрос лишь в сроке исполнения и том количестве страдания, какое выпадет на долю именно этого индивида. И чем выше, чище, благороднее человек, тем большая мера страдания будет ему отпущена «щедрой» природой и общественным бытием — до тех пор, пока мудрость людей, объединившихся в титанических усилиях, не оборвет этой

игры слепых стихийных сил, продолжающейся уже миллиарды лет в гигантском общем инферно планеты...

Вот почему первое понимание инфернальности жизни прежде приносило столько психических надломов и самоубийств в самом прекрасном возрасте — восемнадцати-двадцати лет.

— Я сопоставила два отрывка из лекций моего учителя,— сказала Фай Родис,— и теперь вам ясна пресловутая теория инфернальности.

— О да! — воскликнула Чеди.— Но можно ли мне будет узнать об испытаниях, каким себя подвергали некоторые историки?

— Вы, видимо, знаете обо мне больше, чем я полагала,— сказала Родис, читая ее мысли,— так узнайте еще.

С этими словами она достала звездообразный кристалл мнемозаписи, именуемый в просторечии «звездочкой», и подала его Чеди.

— Инфернальность стократно усиливала неизбежные страдания жизни,— сказала она,— создавала людей со слабой нервной системой, которые жили еще тяжелее,— первый порочный круг. В периоды относительного улучшения условий страдание ослабевало, порождая равнодушных эгоистов. С переходом сознания на высшую общественную ступень мы перестали замыкаться в личном страдании, зато безмерно расширилось страдание за других, то есть сострадание, забота о всех, об искоренении горя и бед во всем мире — то, что ежечасно заботит и беспокоит каждого из нас. Если уж находиться в инферно, сознавая его и невозможность выхода для отдельного человека из-за длительности процесса, то это имеет смысл лишь для того, чтобы помогать его уничтожению, следовательно, помогать другим, делая добро, создавая прекрасное, распространяя знание. Иначе какой же смысл в жизни?

Простая истина, понятая до удивления не скоро. Поэтому настоящие революционеры духа вначале были редки в те древние времена.

Чтобы представить меру личного страдания прошлых времен, мы, историки, придумали систему испытаний, условно названных ступенями инфернальности. Это серия не только физических, но и психических мучений, предназначенных для того, чтобы мы, изучающие историю ЭРМ, стали бы ближе к ощущениям предков. Мотивация их поступков и предрассудков сделалась бы понятнее для отдаленных тысячелетиями светлой жизни потомков.

Чеди Даан сосредоточенно наклонила голову.

— И вы думаете, что здесь, на Тормансе,— инферно? Что крышка всепланетного угнетения здесь захлопнулась потому, что они не достигли...

— У них всепланетная олигархия наступила очень быстро из-за однородности населения и культуры,— пояснила Родис.

Чеди Даан вышла, оглядываясь на неподвижную Фай Родис, унесшуюся мыслями то ли на неизведанную планету внизу под кораблем, то ли на бесконечно далекую Землю.

Спустя два часа Чеди явилась снова, с пылающими щеками и опущенными глазами. Без слов она подала «звездочку», схватила протянутую руку Родис, приложила ко лбу и внезапно поцеловала. Шепнув: «Простите меня за все», она выскочила из каюты, еще неловкая в скафандре. Родис посмотрела ей вслед, и вряд ли кто-нибудь из экипажа звездолета мог представить себе столько материнской доброты на лице начальницы экспедиции.

Впечатление от только что просмотренной «звездочки» взбудоражило Чеди, затронув какие-то древние инстинкты. В памяти увиденное наплывало и выступало с болезненной резкостью, как ни хотелось Чеди поскорее

забыть о нем. Зная множество подобных историй из древних книг и фильмов о прошлом, Чеди представляла себе жестокость прежних времен отвлеченно.

Сопротивление героев воодушевляло, а само описание их злоключений даже оставляло смутно приятное чувство безопасности, невозможности подобного произвола судьбы ни с самой Чеди, ни с кем иным из всего множества людей на Земле. Учитель психологии объяснял в школе, что в древности, когда было много голодных и нищих людей, сытые и обеспеченные любили читать книги и смотреть фильмы о бедных, умирающих от голода, угнетенных и униженных, чтобы сильнее прочувствовать свою обеспеченную и спокойную жизнь. Больше всего сентиментальных книг об ущербных и несчастных людях и, как антитеза к ним, о неслыханно удачливых героях и красавицах было создано в неустойчивое, тревожное время ЭРМ. Тогда люди, предчувствуя неизбежность грозных потрясений в жизни человечества, были рады каждому произведению искусства, которое могло дать драгоценное чувство хотя бы временной безопасности: «пусть это случается с другими, но не со мной».

Чеди, как и все, проходила закалку физическими трудностями, работала в госпиталях тяжелых заболеваний — рецидивов расстроенной наследственности или очень серьезных травм с нередкими случаями эвтаназии — приговором легкой смерти, на каком бы высоком уровне развития общества оно ни находилось.

Но все это было естественной необходимостью жизни, понятной, преодоленной мудростью и психической закалкой, жизни, ежеминутно чувствующей свое единство с общим духовным потоком человечества, стремящегося ко все более высокому будущему. В него не нужно было верить, как в давно прошедшие времена, настолько реально и зримо оно предстояло перед уходящим в прошлое. Но то, что увидела Чеди в «звездочке» Родис, вовсе не походило на горе жизни ЭВР.

Одиночество и беспомощность человека, насильно оторванного от всего интересного, светлого и дорогого, были так обнажены, что чувство бесконечной тоски назойливо внедрялось в душу помимо воли Чеди. Унижение и мучения, каким подвергалось это одинокое, отторгнутое существо, возвращали человека ЭВР в первобытную ярость, смешанную с горечью бессилия, казалось бы, немыслимого для человека Земли.

Через испытания Фай Родис Чеди как бы окунулась в атмосферу душной бессмысленной жестокости и вражды давно прошедших веков. Гордое, стальное достоинство женщины ЭВР не сломилось под силой психологического воздействия, может быть, потому, что перед ней была Фай Родис — олицетворение всего, к чему стремилась сама Чеди.

Молодая исследовательница человека и общества устыдилась, вспомнив, как на далекой Земле она не раз подвергала сомнению необходимость сложных охранительных систем коммунистического общества. Люди Земли из поколения в поколение затрачивали на них огромные материальные средства и силы. Теперь Чеди знала, что, несмотря на неизбежное возрастание доброты, сострадания и нежности, от суммы пережитых миллионов лет инфернальных страданий, накопленных в генной памяти, всегда возможно появление людей с архаическим пониманием доблести, с диким стремлением к власти над людьми, возвышению себя через унижение других. Одна бешеная собака может искусать и подвергнуть смертельной опасности сотни людей. Так и человек с искривленной психологией в силах причинить в добром, ничего не подозревающем окружении ужасные бедствия, пока мир, давно забывший о прежних социальных опасностях, сумеет изолировать и трансформировать его.

Вот почему так сложна организация ПНОИ — психологического надзора, работающая вместе с РТИ — решетчатой трансформацией индивида и непрерывно совершенствуемая Советом Чести и Права. Полная аналогия с ОЭС — охраной электронных связей космического корабля, только еще сложнее и многообразнее.

Впервые понятая как следует роль ПНОИ успокоила и ободрила Чеди. Будто материнская неусыпная забота человечества Земли достала своей могучей рукой сюда, сквозь витки Шакти и Тамаса. Глубоко вздохнув, девушка перестала чувствовать металлическую броню и уснула так спокойно, как не спала с момента приближения к Тормансу.

Глава V

В САДАХ ЦОАМ

Нея Холли, переселившаяся под купол звездолета на место Гэн Атала, проснулась от глухого воя приборов наружного прослушивания. Она сообразила, что «Темное Пламя» перешел на низкую орбиту, не выключая защитного поля. На экране внутреннего ТВФ она увидела водителей звездолета, оживленно беседующих с Фай Родис.

Снижение «Темного Пламени» должно было взбудоражить всю планету. Возможно было вторичное нападение именно в тот момент, когда земляне выключат защитное поле. Фай Родис, настаивавшая на выключении поля, взяла верх. Она убедила пилотов корабля в том, что в олигархическом государстве обратная связь неминуемо слаба. Пока известие о том, что поле снято и можно повторить нападение, пробьется к верховному владыке, «Темное Пламя» успеет опуститься.

Звездолет кружил над планетой Ян-Ях, приноравливаясь к назначенному месту посадки. Этот вдававшийся в море мыс был слишком мал для громадного, неповоротливого ЗПЛ. Открыли еще две смотровые шахты, и земляне не могли оторваться от них, впервые рассматривая планету на столь близком расстоянии. «Темное Пламя» делал последние витки на высоте около 250 километров. Немного более плотная, чем у Земли, атмосфера уже начала нагревать рассекавший ее корабль. Планета Ян-Ях не казалась голубой, как Земля. Преобладающий оттенок был фиолетовый, большие озера среди гор выглядели почти черными, с золотистым отливом, а океаны — густо-аметистовыми. Там, где сквозь неглубокую воду просвечивали мели, море угрюмо зеленело.

Земляне с грустным чувством вспоминали радостный зеленый оттенок Тибета, каким они видели его с такой же высоты в последний раз.

Параллельные ребра рассеченных низких гребней, вереницы теснящихся друг на друга пирамид, лабиринты сухих долин на необозримых плоскогорьях Ян-Ях казались светло-коричневыми с фиолетовым оттенком. Местами тонкий растительный покров набрасывал на изрытую и бесплодную почву шоколадное покрывало. Колоссальные излияния морщинистых темно-серых лав отмечали область экваториальных разломов. Вокруг этих мрачных зон почва приобрела кирпичный цвет, а по удалении от лавовых гор становилась все желтее. Симметричные борозды песчаных дюн морщинили пустынное побережье, и планета казалась необитаемой.

Лишь присмотревшись, земляне увидели, что вдоль больших рек и в низменных котловинах, где почва голубела от влажных испарений, большие площади были разбиты на правильные квадраты. Затем проступили дороги, зеленые острова городов и огромные бурые пятна подводных зарослей на морских мелководьях. Облака не дробились пушистыми комочками, перистыми полосами или рваными ослепительно белыми полями, как на Земле. Здесь они громоздились чешуйчатыми, зернистыми массами, скучиваясь над морями хвостового и головного полушарий.

Звездолет пронизала вибрация. Гриф Рифт включил охладители. Окутанный серебряным облаком, корабль ринулся вниз. Экипаж на этот раз встретил перегрузку торможения не в магнитных камерах, а в амортизационных креслах и на диванах. И снова, бессознательно соблюдая незримую грань, семеро одетых в металлическую броню собрались на диване отдельно от остальных звездолетчиков.

Место и время посадки «Темного Пламени», как потом узнали земляне, держалось в секрете. Поэтому лишь немногие обитатели планеты Ян-Ях видели, как громада корабля, внезапно возникшая из глубины неба, нависла над пустынным мысом. Горячий столб тормозной энергии ударил в рыхлую почву, подняв пыльный, дымный смерч. Бешено крутящаяся колонна долго не поддавалась напору морского ветра. Ее жаркое дыхание распространилось далеко по морю и суше, навстречу спешившим сюда длинным громыхающим машинам, набитым тормансианами в одинаковых лиловых одеждах. Они были вооружены — у каждого на груди висели коробки с торчащими вперед короткими трубками. Застигнутые жарким дыханием смерча машины остановились в почтительном отдалении. Тормансиане всматривались в пылевую завесу, стараясь понять, что это — благополучный спуск или катастрофа? Постепенно сквозь серовато-коричневую мглу начал проступать темный купол звездолета, стоявший так ровно, как будто он опустился на заранее подготовленный фундамент. К удивлению тормансиан, даже заросли высокого кустарника вокруг корабля оказались неповрежденными. Пришлось прорубать дорогу, чтобы пропустить машины с эмблемой четырех змей, предназначенные для прилетевших.

Непосредственно у самого звездолета растительность была уничтожена и почва расплавилась, образовав гладкую кольцевую площадку.

Внезапно основание звездолета утонуло в серебряном облаке. На тормансиан повеяло холодом. Через несколько минут почва остыла. В корабле открылись два круглых люка, напоминавших широко расставленные громадные глаза. Выпуклые полированные поверхности их загорелись зловещим отблеском в лучах красного светила, пробившихся сквозь клубы редеющей пыли. Тормансиане в лиловом, пробиравшиеся полукольцом через кустарник, остановились, оглядываясь на застрявшие позади машины. Оттуда по цепи передали распоряжение не подходить ближе. Нечеловечески мощный вздох пронесся над мысом. Спиральное движение воздуха закрутило листья, куски обуглившихся веток и осевшую пыль, вознося их высоко к фиолетовому небосводу. Ветер подхватил и отнес мусор в пустынное море. Без промедления над кольцеобразным выступом основания купола корабля расползлись в стороны толстые броневые плиты. Выдвинулась массивная труба, диаметром больше человеческого роста. На конце ее изящно и бесшумно развернулся веер из металлических балок, под которым опустилась на почву прозрачная клетка подъемника. Затаив дыхание жители Торманса смотрели на эту блестящую, как хрусталь, коробку.

Фай Родис, шедшая впереди по трубчатой галерее, взглядом прощалась с остающимися членами экипажа. Они выстроились в ряд и, стараясь скрыть тревогу, провожали уходящих улыбками и ласковыми пожатиями.

У рычагов подъемника стоял Гриф Рифт. Он задержал металлический локоть Родис, шепнув с непривычной для него мягкостью:

— Фай, помните, я готов все взять на себя! Я сотру их город с лица планеты и разрою его на глубину километра, чтобы выручить вас!

Фай Родис обняла командира за крепкую шею, привлекла к себе и поцеловала.

— Нет, Гриф, вы никогда не сделаете этого!

В этом «никогда» было столько силы, что суровый звездолетчик покорно наклонил голову...

Перед жителями планеты Ян-Ях появилась женщина в костюме черного цвета, похожем на те, которые были разрешены лишь высшим сановникам города Средоточия Мудрости. Металлические стойки на воротнике держали перед лицом гостьи прозрачный щиток. На плечах в такт шагам вздрагивали змееобразные трубки и ослепительно блестели треугольные зеркальца, словно священные символы власти. Рядом, блестя вороненой крышкой, проворно семенил девятью столбиками-ножками какой-то механизм, неотступно следовавший за женщиной Земли...

Один за другим выходили ее спутники — три женщины и трое мужчин, каждый в сопровождении такой же механической девятиножки.

Больше всего поразили встречавших ноги пришельцев, обнаженные до колен. Они блестели разноцветным металлом, а на пятках выступали зубцы вроде коротких шпор. Металл блестел и в разрезах мужских рубашек, и в широких рукавах женских блуз. Жители Ян-Ях с удивлением увидели, что лица землян, гладкие, покрытые ровным загаром, по существу, ничем не отличались от «белозвездных людей», как тормансиане называли себя. Они поняли, что металл на телах пришельцев — лишь плотно прилегающая, очень тонкая одежда.

Двое важного вида тормансиан сошли с высокой и длинной повозки, изогнувшейся в зарослях наподобие членистого насекомого. Они встали перед Фай Родис и рывком поклонились.

Женщина Земли заговорила на чистом языке Ян-Ях. Но голос ее, звенящий и высокий, металлического тембра, зазвучал из цилиндра на спине сопровождающего механизма.

— Родичи, разлучившиеся с нами на двадцать веков, наступило время встретиться снова.

Тормансиане отозвались нестройным шумом, переглядываясь с видом чрезвычайного изумления. Украшенные эмблемами змей сановники поспешно приблизились и пригласили гостей к большому экипажу. Старший по возрасту сановник извлек из нагрудной сумки лист желтой бумаги, исписанный красивыми знаками Ян-Ях. Склонив голову, он начал выкрикивать слова так, что его услышали и люди в звездолете и тормансиане, стоявшие поодаль за кустами. При первых же словах сановника тормансиане почтительно вытянулись и одинаково склонили головы.

— Говорит великий и мудрый Чойо Чагас. Его слова к пришельцам: «Вы явились сюда, на планету счастья, легкой жизни и легкой смерти. В великой доброте своей народ Ян-Ях не отказывает вам в гостеприимстве. Поживите с нами, поучитесь и расскажите о нашей мудрости, благополучии и справедливом устройстве жизни в тех неведомых безднах неба, откуда вы так неожиданно пришли!»

Оратор умолк. Земляне ожидали продолжения речи, но сановник спря-

тал бумажку, выпрямился и взмахнул рукой. Тормансиане ответили громким ревом.

Фай Родис оглянулась на спутников, и Чеди могла бы поручиться, что зеленые глаза на бесстрастном лице ее руководительницы смеялись, как у проказливой школьницы.

Дверь в борту машины раскрылась, и Родис шагнула на опустившуюся ступеньку. Робот-девятиножка, иначе верный СДФ, устремился следом. Старший сановник сделал протестующий жест. Мгновенно из-за его спины возник плотный, одетый в лиловое человек с нашивкой в виде глаза на левой стороне груди. Фай Родис уже поднялась в машину, а СДФ уцепился передними конечностями за край подножки, когда человек в лиловом энергично пнул робота ногой прямо в колпак из вороненого металла. Предостерегающий крик Родис, обернувшейся слишком поздно, замер на ее губах. Тормансианин взлетел в воздух и, описав дугу, рухнул в чашу колючего кустарника. Лица охранников исказились яростью. Они готовы были броситься к СДФ, направляя на него раструбы нагрудных аппаратов. Фай Родис простерла руку над своим роботом, опустила заграждавший лицо щиток, и впервые сильный голос женщины Земли раздался на планете Ян-Ях без передающего устройства:

— Осторожно! Это всего лишь машина, служащая сундуком для вещей, носильщиком, секретарем и сторожем. Машина совершенно безвредна, но устроена так, что пуля, выпущенная в робота, отлетит назад с той же силой, а удар может вызвать поле отталкивания, как это сейчас случилось. Помогите вашему слуге выбраться из кустов и оставьте без внимания наших механических слуг!

Тормансианин, заброшенный в колючки, барахтался там, завывая от злобы. Охранники и оба сановника попятились, и все семь СДФ влезли в повозку.

В последний раз земляне окинули взглядом «Темное Пламя». Уютный и надежный кусочек родной планеты одиноко стоял среди пыльной поляны на ярко освещенной чужим светилом равнине. Люди Земли знали, что шестеро оставшихся безотрывно следят за ними, но темнота в глубине люка и галереи казалась непроницаемой.

Повинуясь знаку сановника — «змееносца», как назвала его Эвиза,— звездолетчики опустились в глубокие мягкие сиденья, и машина, раскачиваясь и подпрыгивая, понеслась по неровной дороге. Где-то под полом гудели двигатели. Взвилась коричневатая тонкая пыль, скрыв купол «Темного Пламени». Раструбы мощного компрессора сдували пыль назад. Земляне осмотрелись. Сопровождавшие во главе с двумя «змееносцами» уселись поодаль, не проявляя ни дружелюбия, ни враждебности, ни даже простого любопытства. Однако Родис уловила жадную и опасливую пытливость в их украдкой бросаемых взглядах. Так могли бы вести себя дети далекого прошлого Земли, которым под страхом наказания велели не знакомиться с пришельцами и сторониться их. Высадка землян держалась в тайне. Бешено мчавшаяся машина вначале не привлекала внимания все более многочисленных пешеходов или людей в высоких, жутко раскачивавшихся на ходу повозках. Но слухи о гостях с Земли каким-то образом разнеслись в городе Средоточия Мудрости. Через четыре земных часа, когда машины стали приближаться к столице планеты, по краю широкой дороги уже толпились люди, все без исключения молодые, в рабочей одежде однообразного покроя, но всевозможных расцветок. Остались позади коричневые сухие равнины. Очень темная и плотная зелень рощ чередовалась с правильной геометрией возделанных полей, а длинные ряды низких домиков — с массивными кубами, очевидно, заводских зданий.

Наконец под колесами машины нестерпимо засверкало зеркально-стеклянное покрытие улицы, подобной тем, какие видели звездолетчики в телевизионных передачах. Вместо того чтобы углубиться в город, машины повернули на дорогу, обсаженную высокими деревьями с темно-оливковой корой прямых стволов. Длинные ветви, напоминающие опахала, были направлены к дороге и кулисообразно перекрывали соседние деревья. Дорога уходила в тень, как в глубину сцены сквозь бесконечные ряды декораций. Внезапно деревья-кулисы уступили место тройному ряду невысоких деревьев, похожих на желтые конусы, опрокинутые вверх основанием. Между ними в треугольных просветах на фоне темно-лилового неба виднелась усеянная пестрыми цветами вершина холма, господствовавшего над столицей. Глухая, четырехметровой высоты голубая стена ограничивала овальное пространство, в котором клубилась, точно стремясь переплеснуться через верх, густая роща серебристо-зеленых, подобных елям, деревьев. Этот сад или парк, за пестрым ковром поляны, показался прекрасным после бурых, коричневых и темно-шоколадных степей, простершихся под густым лиловым небом на протяжении трехсот километров пути от звездолета до столицы.

— Что это за роща? — впервые нарушила молчание Фай Родис, обратившись к старшему «змееносцу».

— Сады Цоам,— ответил тот, слегка кланяясь,— место, где живет сам великий Чойо Чагас и его высокие помощники — члены Совета Четырех.

— Разве мы едем не в город?

— Нет. В своей бесконечной доброте и мудрости великий приютит вас в садах Цоам. Вы будете его гостями все время, пока не покинете планету Ян-Ях... Вот мы и у цели. Дальше не может проехать ни одна машина.— Старший сановник с неожиданным проворством открыл заднюю дверцу и вылез на стеклянную гладь площадки перед воротами. Он поднял перед лицом сверкнувший диск и скрылся в отворившемся сбоку проходе. Второй «змееносец», все время молчавший, жестом пригласил землян покинуть машину.

Звездолетчики собрались перед воротами, разминаясь и поправляя трубки биофильтров. Вир Норин и Чеди Даан отошли назад, чтобы охватить взглядом многоярусное сооружение с внутренними выступами и позолоченными гребнями, служившее воротами садов Цоам.

— И тут змея!— воскликнула Чеди.— Заметили: на груди сановников, и на бортах машин, и теперь здесь, на воротах дворца владык.

— Ничего удивительного,— возразил астронавигатор,— ведь они с Земли, где этот символ так часто встречался в древних цивилизациях. Змея неспроста была выбрана атрибутом Сатаны и власти. Она обладает способностью гипноза, проникает всюду и ядовита...

— Не представляю, как они избавляются от пыли в таких хрупких и сложных архитектурных формах?— сказала, подходя, Эвиза Танет.

— Без человеческих рук тут не обойтись, но это опасное занятие,— ответил Вир Норин.

— Следовательно, не ценятся ни руки, ни жизни,— заключила Чеди, может быть, чересчур поспешно.

Ее слова потонули в громовом реве, раздавшемся из небольшой башенки в центре надвратного перекрытия:

— Приветствую вас, чужие. Входите без страха, ибо здесь вы под высокой защитой Совета Четырех, высших избранников народа Ян-Ях, и лично меня, их главы...

С последним словом распахнулись огромные створки ворот. Земляне

улыбнулись: заверения владыки Торманса были напрасны — никто из них не испытывал и тени страха. Звездолетчики пошли по упругим плитам, гасившим звуки шагов. Дорога описывала резкие зигзаги, напоминавшие знаки молнии, издавна употреблявшиеся на Земле.

— Не слишком ли много слов о безопасности?— спросила Чеди с едва заметным оттенком нетерпения.

— И поворотов,— добавила Эвиза.

Сквозь гущу деревьев вырисовывались громоздкие линии архитектуры дворца, тяжко расплывшегося за ковром желтых цветов, острые, конические соцветия которых торчали жестко, не колеблясь под ветром.

Высоченные, в четыре человеческих роста, двери казались узкими. Темные панели дверей были покрыты блестящими металлическими пирамидками. Роботы СДФ, все семь, вдруг устремились вперед, издавая прерывистый тревожный звон. Они выстроились перед дверями, преграждая путь звёздолетчикам, но через несколько секунд смолкли и расступились.

— Пирамидки на дверях под током,— ответил на вопросительный взгляд Фай Родис выступивший вперед Гэн Атал.

— Да, но заряд уже выключили,— подтвердил Тор Лик, державшийся в стороне и с явной неприязнью изучавший архитектуру садов Цоам.

Внезапно и бесшумно раскрылась темная высокая щель дверного прохода, и земляне вступили в колоссальной высоты зал, резко разграниченный на две части. Передняя, с полом из шестиугольных плит, была на два метра ниже задней, устланной толстым черно-желтым ковром. Лучи высокого светила проникали сквозь красно-золотые стекла, и от этого возвышенная часть зала была пронизана каким-то волшебным сиянием. Там восседали в знакомом порядке неизменные четыре фигуры: одна впереди и в центре, три другие — слева и немного сзади. В низкой части зала царил тусклый свет, пробивавшийся с потолка между гигантских металлических змей, укрепленных на выступах и разевавших клыкастые пасти над гостями с Земли. Зеркальные плиты отбрасывали неясные разбегавшиеся тени, усиливая тревожное смятение, которое овладевало всяким, кто осмеливался стать лицом к лицу с Советом Четырех.

Властители Торманса, очевидно, уже были оповещены обо всем, касавшемся землян. Они не выразили удивления, когда увидели забавных девятиножек, семенивших около блестевших металлом ног звездолетчиков. Повинуясь знаку Фай Родис, все семь СДФ выстроились в линию на сумеречном зеркальном полу. Земляне спокойно взошли по боковой лестнице на возвышение и остановились, молчаливые и серьезные, не спуская глаз с владык планеты. Помедлив, Чойо Чагас встал навстречу Фай Родис и протянул руку. То же чуть более поспешно сделали остальные трое. Всего секунду понадобилось Родис, чтобы вспомнить забытые на Земле древние формы приветствия. Она пожала руку владыке, как тысячи лет назад ее предки, свидетельствуя об отсутствии оружия и злых намерений. Впрочем, вряд ли оружие отсутствовало здесь на самом деле. В каждом углублении стены между сияющими окнами скрывалась еле зримая фигура. Один, два, три... восемь неподвижных людей сосчитал Тор Лик. Их лица не выражали ничего, кроме угрожающей готовности. Можно было не сомневаться, что по единому знаку эти окаменелые фигуры превратятся в нерассуждающих исполнителей любого приказа. Да, любого, это явственно отражалось на тупых лицах с массивными костями черепа, проступающими под гладкой смуглой кожей.

Эвиза не удержалась от шалости и послала стражам самые чарующие взгляды, на какие только была способна. Не увидев реакции, она изменила тактику, и выражение ее лица стало умильно-восхищенным. Это подействовало. У двух ближайших к ней стражей по щекам разлился лиловатый румянец.

Земляне сели в кресла с растопыренными в виде когтистых лап ножками. Звездолетчики молчаливо рассматривали сложные узоры ковра, а напротив, с невежливой пристальностью изучая гостей, также молча сидели члены Совета Четырех. Молчание затягивалось. Вир Норин и Фай Родис, сидевшие ближе других к владыкам, могли уловить их шумное дыхание — дыхание людей, далеких от спорта, физического труда или аскетической воздержанности.

Чойо Чагас переглянулся с тонким и жилистым Гентло Ши, уже известным землянам под сокращенным именем Ген Ши, ведающим миром и покоем планеты Торманс. Тот вытянул шею и сказал, слегка присвистывая:

— Совет Четырех и сам великий Чойо Чагас хотят знать ваши намерения и пожелания.

Чеди внимательно посмотрела на владыку планеты, не понимая, как может человек, наверняка умный, слушать глупую лесть, но лицо Чойо Чагаса не выдавало никаких чувств.

— Совет Четырех знает все наши желания,— ответила Фай Родис,— нам нечего прибавить к тому, что мы просили по ТВФ.

— Ну, а намерения?— вкрадчиво спросил Ген Ши.

— Скорее приступить к изучению планеты Ян-Ях и ее народа!

— Как вы предполагаете это сделать? Отдаете ли себе отчет в непосильности задачи в такой короткий срок изучить огромную планету?

— Все зависит от двух факторов,— спокойно ответила Родис,— от сотрудничества ваших хранилищ знания, памятных машин, академий и библиотек и от скорости ваших средств передвижения по планете. Нелепо думать, что мы сами сможем узнать все то, что накоплено тысячелетиями труда ваших ученых. Но нам по силам отобрать существенное и вникнуть в суть жизни народа Ян-Ях через его историю, литературу и искусство. Многое мы можем записать памятными машинами звездолета. Мы хотели бы увезти на Землю побольше информации.

— Разве вы поддерживаете прямую связь со звездолетом?— быстро спросил Зет Уг, недавний оппонент Родис по телевидению.

— Разумеется. И мы рассчитываем показать вам многое из записей памятных машин звездолета. К сожалению, наши СДФ не могут развернуть проекцию на большом экране. Каждый робот рассчитан на аудиторию не более тысячи человек. Семь СДФ одновременно покажут фильмы семи тысячам зрителей.

Ген Ши привстал с плохо скрываемым беспокойством.

— Думаю, что это не понадобится!

— Почему?

— Народ Ян-Ях не подготовлен для таких зрелищ.

— Не понимаю,— с едва заметным смущением улыбнулась Родис.

— Ничего удивительного,— вдруг сказал молчавший все время Чойо Чагас, и при звуке его голоса, резкого, повелительного и нетерпимого, остальные члены Совета вздрогнули и повернулись к владыке,— здесь многое будет вам непонятно. А то, что вы сообщите нам, может быть ложно истолковано. Вот почему мой друг Ген Ши опасается показа ваших фильмов.

— Но ведь любое недоумение может быть разрешено только позна-

нием, следовательно, тем важнее показать как можно больше,— возразила Родис.

Чойо Чагас лениво поднял руку ладонью к землянам.

— Не будем обсуждать пришедшее еще только на порог понимания. Я прикажу институтам, библиотекам, хранилищам искусства подготовить для вас сводки и фильмы. У нас, видимо, нет таких памятных машин, о которых вы говорите, но информация, закодированная в мельчайшие единицы, имеется по двум потокам — слова и изображения. Все это вы получите здесь, не покидая садов Цоам. При скорости движения наших газовых самолетов...— Чойо Чагас помедлил,— около тысячи километров в земной час, вы быстро достигнете любого места нашей планеты.

Настала очередь землян обменяться удивленными взглядами: владыка Торманса знал земные меры.

— Однако,— продолжал Чойо Чагас,— вам следует сказать заранее, какие места вы хотите посетить. Наши самолеты не могут опускаться везде, и не все области планеты Ян-Ях безопасны.

— Может быть, мы сначала познакомимся с общей планетографией Ян-Ях и потом наметим план посещений?— предложила Родис.

— Это правильно,— согласился Чойо Чагас, вставая, и неожиданно приветливо сказал:— А теперь пойдемте в отведенные вам комнаты дворца.

И пошел впереди, ступая бесшумно по мягким коврам, через боковой ход по коридору, стены которого поблескивали тусклым металлом.

— Неужели эта маска всегда будет прикрывать ваше лицо?— Он чуть притронулся к прозрачному щитку Фай Родис.

— Не всегда,— улыбнулась та,— как только я стану безопасной для вас и...

— Мы для вас,— владыка понимающе кивнул.— Поэтому я не зову вас разделить с нами еду. Вот здесь,— он обвел руками обширный зал с большими окнами, стекла которых были затемнены внизу,— вы можете чувствовать себя в полной безопасности. До завтра!

Фай Родис благодарно поклонилась.

Земляне осмотрели комнаты — двери в них находились напротив окон, по левой стене. Потом они снова собрались в зале.

— Странная архитектура, у нас так строят психолечебницы,— сказала Эвиза.

— Почему верховный владыка так назойливо уверяет нас в безопасности?— спросила Тивиса.

— Следовательно, ее нет,— серьезно сказала Родис.— Выбирайте комнаты, и мы обсудим, кто куда поедет, чтобы я могла высказать наши пожелания Чойо Чагасу.— Заметив удивление на лицах своих спутников, она пояснила:— Уверена, что Чойо Чагас поспешит побеседовать со мной тайно. По их представлениям, я ваша владычица, а властители должны говорить наедине.

— Неужели?— изумилась Эвиза.

— В давние времена на Земле это приносило неизмеримые бедствия. Но будем учтивыми гостями и подчинимся тому, что привычно для наших хозяев. Мне надо заранее знать ваши желания и ваши советы, иначе как я буду отвечать владыке?

— Может быть, сначала Чеди суммирует свои наблюдения при облете Торманса?— сказал Вир Норин.— Тогда и нам будет легче выбирать линию поведения.

— Не думаю, что я узнала больше, чем вы,— смутилась Чеди.— Если Фай поможет, попытаюсь... Мы столкнулись с обществом своеобраз-

ным, аналогов которому не было в истории Земли или некоммунистических цивилизациях других планет. Пока неясно, явилось ли оно дальнейшим развитием монополистического государственного капитализма или же муравьиного лжесоциализма. Как вы знаете, обе эти формы смыкались в нашей земной истории подобным установлением олигархических диктатур. На первых порах на Земле социализм подражал капитализму в его гонке за материальной мощью и массовой дешевой продукцией, иногда принося в жертву идеологию, воспитание, искусство. Некоторые социалистические страны Азии пытались создать у себя социалистическую систему как можно скорее, принося в жертву все, что только было можно, и хуже всего — невосполнимые человеческие и природные ресурсы. В то же время в наиболее мощной капиталистической стране ЭРМ—Америке,— ставшей на путь военного диктата, стало необходимостью сконцентрировать все важнейшие отрасли промышленности в руках государства, чтобы исключить флуктуации и сопротивление предпринимателей. Это совершилось без подготовки необходимого государственного аппарата. Именно в Америке с ее антисоциалистической политикой гангстерские банды пронизали всю промышленность, государственный аппарат, армию и полицию, всюду неся страх и коррупцию. Началась борьба со все усиливающимся политическим влиянием бандитских объединений, начались политические терроры, вызвавшие усиление тайной полиции и в конечном счете захват власти олигархией гангстерского типа.

Муравьиный лжесоциализм создался в Китае, тогда только что ставшем на путь социалистического развития, путем захвата власти маленькой группой, которая с помощью недоучившейся молодежи разгромила государственный аппарат и выдвинула как абсолютно непререкаемый авторитет «великого», «величайшего», «солнцеподобного» вождя. В том и другом случае конечным результатом была бесчеловечная олигархия с многоступенчатой иерархической лестницей. Подбор на этой лестнице происходил по признаку бездумной и безответственной преданности, подкрепляемой дешевым подкупом. Монополистический государственный капитализм невозможен без олигархии, ибо при неизбежном падении производительных сил можно хорошо обеспечить лишь привилегированную верхушку. Следовательно, создавалось усиление инфернальности. Бесчисленные преступления против народа оправдывались интересами народа, который на деле рассматривался как грубый материал исторического процесса. Для любой олигархии было важно лишь, чтобы этого материала было побольше, чтобы всегда существовала невежественная масса — опора единовластия и войны. Между такими государствами возникло нелепое соревнование по росту народонаселения, потянувшее за собой безумное расточительство производительных сил планеты, разрушившее великое равновесие биосферы, достигнутое миллионами веков природной эволюции. А для «материала»— народа — бессмысленность жизни дошла до предела, обусловив наркоманию во всех видах и равнодушие ко всему...

Чеди помолчала и закончила:

— Мне думается, что на Тормансе мы встретили олигархическое общество, возникшее из государственного капитализма, потому что здесь есть остатки религии и очень плохо поставлено дело воспитания. Капитализм заинтересован в техническом образовании и поддерживает проповедь религиозной морали. Муравьиный лжесоциализм, наоборот, тщательно искореняет религию, не заинтересован в высоком уровне образования, а лишь в том минимуме, какой необходим, чтобы массы послушно воспринимали «великие» идеи владык — для этого надо, чтобы люди

не понимали, где закон, а где беззаконие, не представляли последствий своих поступков и полностью теряли индивидуальность, становясь частицами слаженной машины угнетения и произвола.

— Но как же мораль?— воскликнула Тивиса.

— Мораль в зависимости от обстоятельств диктуется свыше. Кроме морали религиозной и обычного права, возникшего из общественного опыта, есть духовные устои, уходящие корнями в тысячи веков социальной жизни в диком состоянии, у цивилизованного человека скрытые в подсознании и сверхсознании. Если и этот опыт утрачен в длительном угнетении и разложении морали, тогда ничего от человека не останется. Поэтому ничего постоянного в индивидуальностях быть не может, кроме отсутствия инициативы и, пожалуй, еще страха перед вышестоящими. Многообразные страхи, пронизывающие такое общество, аналогичны суеверным страхам, возникавшим в изолированных остатках архаических культур, где ужас перед богами заставлял ограждать себя сложнейшими ритуальными обрядами вместо сознательной ответственности за свои поступки.

— Но ведь это толпа!— сказала Эвиза.

— Конечно, толпа. Подавление индивидуальности сводит людей в человеческое стадо, как было в Темные Века Земли, когда христианская церковь фактически выполнила задачу Сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей... Но вы заставляете меня отклоняться от экономики в психологию. Кончаю. На Тормансе классовое капиталистическое общество, олигархия, властвующая над двумя основными классами, одинаково угнетенными: классом образованных, которые по необходимости живут дольше, иначе невыгодно их учить, и классом необразованных, которые умирают в двадцать пять лет.

— И вы, Родис, согласны с утверждениями Чеди?— спросил Вир Норин.

— Мне они кажутся вполне вероятными, только не совсем ясна грань между госкапитализмом и муравьиным лжесоциализмом. Может быть, общество Торманса возникло из второго?

— Может быть,— согласилась Чеди.— Но утверждать не берусь.

— Скажите нам, Родис,— попросила Эвиза,— неужели и у нас на Земле когда-то было нечто подобное? Я изучала историю, но недостаточно, и этот трудный переходный период истории человечества — Эры Разобщенного Мира — представляю плохо. В чем его суть?

— В этот период начали формироваться госкапиталистические формации с тенденцией распространиться по всей планете. Именно в фазе государственного капитализма выявилась вся бесчеловечность такой системы. Едва устранилась конкуренция, как сразу же отпала необходимость в улучшении и удешевлении продуктов производства. Трудно представить, что творилось в Америке после установления этой формы! В стране, избалованной обилием вещей! Олигархия властвует лишь ради своих привилегий. Существо этой формы в неравенстве распределения, не обусловленном ни собственностью на средства производства, ни количеством и качеством труда. В то же время во главе всего стоит частный вопрос личного успеха, ради которого люди готовы на все, не заботясь об обществе и будущем. Все продается, дело только в цене.

Лжесоциализм, усвоив от государственного капитализма демагогию и несбыточные обещания, смыкается с ним в захвате власти группой избранных и подавлении, вернее, даже физическом уничтожении инакомыслящих, в воинствующем национализме, в террористическом беззаконии, неизбежно приводящем к фашизму. Как известно, без закона нет

культуры, даже цивилизации. В условиях лжесоциализма великое противоречие личности и общества не может быть разрешено. Все туже скручивается пружина сложности взаимной кооперации отдельных элементов в высшем организме и высшем обществе. Самая страшная опасность организованного общества — чем выше организация, тем сильнее делается власть общества над индивидом. И если борьба за власть ведется наименее полезными членами общества, то это и есть оборотная сторона организации.

Чем сложнее общество, тем большая в нем должна быть дисциплина, но дисциплина сознательная, следовательно, необходимы все большее и большее развитие личности, ее многогранность. Однако при отсутствии самоограничения нарушается внутренняя гармония между индивидом и внешним миром, когда он выходит из рамок соответствия своим возможностям и, пытаясь забраться выше, получает комплекс неполноценности и срывается в изуверство и ханжество. Вот отчего даже у нас так сложно воспитание и образование, ведь оно практически длится всю жизнь. Вот отчего ограничено «я так хочу» и заменено на «так необходимо».

— Кто же был первым на этом пути? Неужели опять Россия?— заинтересовалась Эвиза.

— Опять Россия — первая страна социализма. Именно она пошла великим путем по лезвию бритвы между гангстеризующимся капитализмом, лжесоциализмом и всеми их разновидностями. Русские решили, что лучше быть беднее, но подготовить общество с большей заботой о людях и с большей справедливостью, искоренить условия и самое понятие капиталистического успеха, искоренить всяческих владык, больших и малых, в политике, науке, искусстве. Вот ключ, который привел наших предков к Эре Мирового Воссоединения. Его мы не нашли на Тормансе, потому что здесь две тысячи лет спустя после ЭМВ еще существует инферно, олигархия, создавшая утонченную систему угнетения. Для борьбы с этой системой надо создать людей высокой психофизиологической тренировки, подобно нам безвредных в своем могуществе. И прежде всего научить их бороться со всепроникающей «избранностью»— системой противопоставления владык и толпы, всеведущих ученых и темных невежд, звезд и бесталанных, элиты и низшего рабочего класса. В этой системе корень фашизма и развращения людей Торманса...

Семеро землян сидели на широком диване багряно-красного цвета. Сквозь высокое окно какой-то толстой пластмассы розового оттенка виднелись деревья сада, пронизанные лучами светила Торманса. В отличие от земного Солнца оно не описывало дуги по небу, а опускалось медленно и величественно почти по отвесной линии. Его лучи сквозь розовые окна казались лиловыми. Бронзовые лица звездолетчиков приобрели угрюмый зеленоватый оттенок.

— Итак, решено,— сказал Вир Норин, чей СДФ исполнял обязанности секретаря и кодировал результаты совещания для передачи на «Темное Пламя».

— Решено,— подтвердила Родис,— вы останетесь в столице среди ученых и инженеров. Тор Лик и Тивиса пересекут планету от полюса до полюса, побывают в заповедниках и на морских станциях, Эвиза — в медицинских институтах, Чеди и Гэн будут изучать общественную жизнь, а я займусь историей. Сейчас надо связаться с кораблем, а потом — спать. Наши хозяева рано ложатся и рано встают.

Действительно, едва угасли последние лучи заката и под высоким потолком автоматически включилось освещение, как настала полнейшая тишина. Иногда можно было заметить в темноте сада тени медленно

ходивших стражей, и снова все застывало, как в мертвой воде сказочного озера.

Эвизе стало душно, она подошла к окну и стала возиться с затвором. Широкая рама распахнулась, прохладный, по-особенному пахнущий воздух сада чужой планеты повеял в комнату, и в тот же момент мерзко завыла труба. Со всех сторон побежали люди, светя фонарями и угрожающе поднимая черные воронки своего оружия.

Вир Норин одним прыжком оказался около ошеломленной Эвизы и захлопнул окно. Вой прекратился. Норин жестами пытался успокоить столпившихся под окном стражей. Фонари погасли, охранники разошлись, и земляне дали волю своим чувствам, подтрунивая над возмущенной Эвизой.

— Я убежден, что нас слушают и видят все время,— сказал Тор Лик.

— Хорошо, что язык Земли абсолютно непонятен Тормансу!— воскликнула Эвиза.— У них нет еще наших текстов достаточной длины.

— Мне думается, его легко расшифруют,— возразила Чеди,— много сходных слов и понятий. По сути дела, это один из языков пятого периода ЭРМ, изменившийся за двадцать два столетия.

— Как бы то ни было, наши разговоры пока непонятны и не будут излишне беспокоить владык Ян-Ях,— сказала Фай Родис.— Следует иногда экранироваться с помощью СДФ, чтобы не вводить их в интимные стороны нашей жизни. Например, сейчас, когда мы будем говорить со звездолетом.

Черно-синий СДФ Родис вышел к центру комнаты. Под его колпаком загудел дальний проектор ТВФ, комната погрузилась во мрак. Звездолетчики уселись поплотнее на диване. С противоположной стороны вспыхнул зеленый свет и зазвучали мелодичные звуки песни о ветке ивы над горной рекой. Неясные, торопливо двигавшиеся контуры людей вдруг обозначились резко и объемно, будто оставшиеся в корабле перелетели сюда, в сады Цоам, и сели рядом в этой высокой комнате дворца.

Экономя энергию батарей СДФ, сила которых могла понадобиться на более важные дела, каждый сжато передал свои впечатления первого дня на Тормансе. Рекорд краткости побил Тор Лик, говоривший последним: «Много пыли, слов о величии, счастье и безопасности. Наряду с этим страх и охранительные устройства, которые не для безопасности, а для того, чтобы сделать владык Торманса недоступными. Лица людей хмуры, даже птицы и те не поют».

Когда погасло стереоизображение и связь со звездолетом прервалась, Родис сказала:

— Не знаю, как вас, а меня предохранительная сыворотка и биофильтры клонят в сон.

Сонливое состояние вместо обычной жажды деятельности испытывали все. Эвиза сочла это нормальным явлением и предупредила, что звездолетчики будут вялыми еще дня три-четыре.

На следующее утро, едва семеро землян успели позавтракать, как явился сановник в угольно-черном одеянии с вышитыми на нем голубовато-серебряными змеями. Он пригласил Фай Родис на свидание с «самим великим Чойо Чагасом». Остальным членам экспедиции он предложил прогулку по садам Цоам, пока не настанет время идти в центральный «Круг Сведений», куда передадут информацию «по приказу великого Чойо Чагаса».

Фай Родис, послав товарищам воздушный поцелуй, вышла в сопровождении молчаливого охранника в лиловом. Почтительно кивая, он показывал дорогу. У одного из входов, прикрытых тяжелым ковром, он застыл,

раскинув руки и согнувшись пополам. Фай Родис сама отбросила ковёр, и тотчас распахнулась тяжелая дверь, которая, как все двери на Тормансе, поворачивались на петлях, а не вдвигалась в стену, как в домах Земли. Фай Родис очутилась в комнате с темно-зелеными драпировками и резной мебелью черного дерева, которую земляне уже видели со звездолета по секретному каналу телепередач.

Чойо Чагас стоял, слегка прикасаясь пальцем к хрустальному переливчатому шару на черной подставке. Вблизи «великий» мало походил на свои отображения на экране. Чагас улыбнулся хитровато и ободряюще, рукой приглашая ее садиться, и Родис улыбнулась ему в ответ, уютно располагаясь в широком кресле.

Чойо Чагас уселся поближе, доверительно наклонился вперед и сложил руки, как бы приготовившись терпеливо слушать свою гостью.

— Теперь мы можем говорить вдвоем, как и подобает вершителям судеб. Пусть звездолет только песчинка в сравнении с планетой, психологически ответственность и полнота власти одна и та же.

Фай Родис хотела было возразить — подобная формула применительно к ней не только неверна, а морально оскорбительна для человека Земли, но сдержалась. Было бы смешно и бесполезно обучать закоренелого олигарха основам земной коммунистической этики.

— Каковы нормы человеческого общения у вас, на Земле,— продолжал Чойо Чагас,— в каких случаях вы говорите правду?

— Всегда!

— Это невозможно. Истинной, непреложной правды нет!

— Есть ее приближение к идеалу, тем ближе, чем выше уровень общественного сознания человека.

— При чем тут оно?

— Когда большинство людей отдает себе отчет в том, что всякое явление двусторонне, что правда имеет два лица и зависит от изменяющейся жизни...

— Значит, нет абсолютной правды?

— Погоня за абсолютным — одна из самых тяжких ошибок человека. Получается односторонность, то есть полуправда, а она хуже, чем прямая ложь, та обманет меньшее число людей и не страшна для человека знающего.

— И вы всегда держитесь этого правила? Неотступно?

— Неотступно!— твердо ответила Родис и тут же про себя смутилась, вспомнив инсценировку, разыгранную на звездолете.

— Тогда скажите правду: зачем вы явились сюда, на планету Ян-Ях?

— Повторяю прежнее объяснение. Наши ученые считают вас потомками землян пятого периода древней эпохи, называемой на Земле ЭРМ — Эрой Разобщенного Мира. Вы должны быть нашими прямыми родичами. Да разве это не очевидно, достаточно взглянуть на нас с вами?

— Народ Ян-Ях иного мнения,— раздельно сказал Чойо Чагас,— но допустим, что сказанное вами верно. Что дальше?

— Дальше нам естественно было бы вступить в общение. Обменяться достигнутым, изучить уроки ошибок, помочь в затруднениях, может быть, слиться в одну семью.

— Вот оно что! Слиться в одну семью! Так решили вы, земляне, за нас! Слиться в одну семью! Покорить народ Ян-Ях. Таковы ваши тайные намерения!

Фай Родис выпрямилась и застыла, в упор смотря на Чойо Чагаса. Зеленые глаза ее потемнели. Какая-то незнакомая сила сковала волю

председателя Совета Четырех. Он подавил мимолетное ощущение испуга и сказал:

— Пусть наши опасения преувеличены, но ведь вы не спросили нас, явившись сюда. Надо ли мне называть все причины, по которым наша планета отвергает всех и всяких пришельцев из чужих миров?

— А особенно из мира столь похожих на вас людей,— подсказала Родис мысль, затаенную Чагасом.

Тот скользнул по ней подозрительным взглядом узких глаз: «Ведьма, что ли?» — и утвердительно кивнул головой.

— Я не могу поверить, что люди Ян-Ях отказались бы заглянуть в океан безбрежного знания, открытый им через нашу планету и Великое Кольцо!

— Я не знаю, что это такое.

— Тем более!— Родис удивленно посмотрела на Чойо Чагаса, наклонилась поближе.— Разве для вас не главное — умножение красоты, знания, гармонии и в человеке и в обществе?

— Это ваша правда! А наша — это ограничение знаний, ибо они открывают человеку чудовищную пропасть космоса, на краю которой он сознает свое ничтожество, теряет веру в себя. Разрушается ценность простых и прекрасных ощущений жизни. Счастье человека — быть в ладу с теми условиями, в каких он рожден и будет пребывать всегда, ибо выход из них — это смерть, ничто, погасшая на ветру искра. И мы создали здесь счастье не для того, чтобы его разрушили пришельцы, пусть даже претендующие на кровное родство с нами!

— Счастье моллюска, укрывшегося в раковину, которую вот-вот раздавит неизбежное стечение обстоятельств, которое раньше называли на Земле, да и сейчас называют у вас судьбой.

— У нас все предусмотрено!

— Без знания? А недавние катастрофические последствия перенаселения? Вся ваша планета покрыта кладбищами — десятки миллиардов жертв невежества и упорства,— горько сказала Фай Родис.— Обычная расплата за цивилизацию, лишенную мудрости. Допустить обычное слепое переполнение экологической ниши*, как у любого вида животных?! Печальный и позорный результат для хомо сапиенс — человека мудрого.

— Вот как! Вам известна история Ян-Ях? Откуда?— недобро прищурился Чойо Чагас.

— Только обрывок из сообщения чужого звездолета, наблюдавшего вашу планету двести восемьдесят лет назад. Ему отказали в посадке ваши предшественники, тоже воображавшие, будто они держат в своих руках судьбу планеты.— Фай Родис сказала это насмешливо и резко, понимая, что только так можно пробить скорлупу самоуверенного величия этого человека.

Чойо Чагас вскочил и смерил Родис с головы до ног таким взглядом, от которого у подвластных ему людей подкашивались ноги и терялась речь. Женщина Земли встала, медленно и спокойно рассматривала владыку, как нечто любопытное, подлежащее изучению. Люди Земли давно научились тонко чувствовать психологическую атмосферу, окружавшую каждого человека, и по ней судить о его мыслях и чувствах.

— Уничтожение несогласных — прием древний и устаревший,— сказала она, читая мысли владыки.— Не только за посланцев других миров,

---

* Экологическая ниша — область жизнеобитания того или иного вида.

вестников космического братства разума, но и за людей своего народа в конце концов придется ответить.

— Каким образом?— сдерживая бешенство, спросил Чагас.

— Если исследователи установят на планете вредоносную жестокость и намеренную дезинформацию, препятствия для путей к познанию, что ведет к невежеству населения, тогда они могут апеллировать к арбитражу Великого Кольца.

— И тогда?

— Мы лечим болезни не только отдельных людей, но и целых обществ. И особенное внимание уделяем профилактике социальных бедствий. Вероятно, следовало бы это сделать на планете Ян-Ях несколько столетий назад...

— Вы с поучениями явились, когда мы уж сами выпутались из труднеишего положения,— успокаиваясь, сказал председатель Совета Четырех.

— Вы знаете, что земляне раньше не могли преодолеть гигантское пространство. Да мы и не подозревали, что наши предки с Земли смогли удалиться на такое невероятное расстояние. Если бы не исследователи из Цефея... Впрочем, зачем мы напрасно тратим время. Попробуйте отбросить роль всесильного владыки. Помогите нам узнать вас и попытайтесь сами узнать нас. А результат определит и дальнейшие ваши решения.

— А ваши?

— Я не могу решать единолично ничьих судеб — даже доверившихся мне спутников. Вот почему я не владыка в вашем понимании.

— Приму к сведению,— сказал Чойо Чагас, снова ставший любезным и усадивший Родис на прежнее место.— Думали ли вы о планах знакомства с нашей планетой?

Фай Родис изложила намеченный вчера план. Чойо Чагас слушал внимательно и, к удивлению Родис, не высказал никаких возражений. Он стоял, посматривая на хрустальный шар и как будто задумавшись. Родис умолкла, и он, не отводя глаз от шара, дал согласие на все поездки своих гостей.

— С одним лишь условием,— вдруг повернулся он к Фай Родис,— чтобы вы пока оставались гостьей садов Цоам!

— В качестве заложницы?— полушутя-полусерьезно спросила Родис.

— О нет, что вы! Просто я первым должен узнать про свою «прародину»,— иронически ответил он.

— Неужели вы ничего не знаете о ней?

Чойо Чагас чуть вздрогнул и уклонился от всепонимающих зеленых глаз.

— Разумеется! Мы с Белых Звезд, как установлено нашими учеными. А вы совсем другие. Вы не видите себя со стороны и не понимаете, как вы отличны от нас. Прежде всего у вас неслыханная быстрота движений, мыслей, сочетающаяся с уверенностью и очевидным внутренним покоем. Все это может привести в бешенство.

— Это плохо. Вы открываете таимую в глубине неполноценность — мать всякой жестокости. Когда приходят к власти люди с таким комплексом, они начинают сеять вокруг себя озлобление и унижение, и оно расходится подобно кругам по воде — вместо примера доблести и служения человеку.

— Чепуха! Это только вам кажется, людям с чуждой нам психикой...

Фай Родис встала так быстро, что Чойо Чагас весь подобрался от неожиданности, как хищный зверь. Но она только прикоснулась к хру-

стальному шару, заинтересовавшему ее своими особенными цветовыми переливами.

— Эти гадальные шары для аутогипноза умели делать на Земле только в Японии пять тысячелетий тому назад. Древние мастера вытачивали их из прозрачных естественных кристаллов кварца. Главная оптическая ось кристалла ориентирована по оси шара. Для гадания нужны два шара, один ставят осью вертикально, другой — горизонтально, как ваш Тор... ваша планета. Где же второй шар?

— Остался у предков на Белых Звездах.

— Возможно,— равнодушно согласилась Родис, словно потеряв интерес к дальнейшему разговору.

Впервые в жизни председатель Совета Четырех ощутил необыкновенное смятение. Он опустил голову. Несколько минут оба молчали.

— Я познакомлю вас с моей женой,— внезапно сказал Чойо Чагас и бесшумно исчез за складками зеленой ткани. Фай Родис осталась стоять, не отводя взгляда от шара и слабо улыбаясь своим мыслям. Внезапно она протянула руку к поясу и вынула крохотную металлическую трубку. Приложила ее к подставке гадального шара, и ничтожная пылинка черного дерева, вполне достаточная для анализа, оказалась в ее распоряжении.

Фай Родис не догадывалась, что удостоилась неслыханной почести. Личная жизнь членов Совета Четырех всегда была скрытой. Считалось, что эти сверхлюди вообще не снисходят до столь житейских дел, как женитьба, зато мгновенно могут получить в любовницы любую женщину планеты Ян-Ях. На самом деле владыки брали жен и любовниц лишь из узкого круга наиболее преданных им людей.

Чойо Чагас вошел бесшумно и внезапно. По-видимому, это было его обыкновением. Он метнул быстрый взгляд по сторонам и лишь потом посмотрел на неподвижно стоявшую гостью.

— Они на месте,— тихо сказала Родис,— только...

— Что только?— нетерпеливо воскликнул Чойо Чагас, в два шага пересек комнату и отдернул складчатую драпировку, ничем не отличавшуюся от обивки стен. В нише за ней стоял человек, широко раскрытыми глазами он смотрел на своего господина. Чойо Чагас гневно закричал, но страж не двинулся с места, Чойо Чагас бросился в другую сторону. Родис остановила его жестом.

— Второй тоже ничего не соображает!

— Это ваши шутки?— вне себя спросил владыка.

— Я опасалась встретить непонимание, вроде как вчера с окном,— с оттенком извинения призналась Родис.

— И вы можете так каждого? Даже меня?

— Нет. Вы входите в ту пятую часть всех людей, которая не поддается гипнозу. Сначала надо сломить ваше подсознание. Впрочем, вы это знаете... У вас собранная и тренированная воля, могучий ум. Вы подчиняете себе людей не только влиянием славы, власти, соответствующей обстановки. Хотя и этими способами пользуетесь отлично. Ваш приемный зал: вы наверху, в озарении, внизу, в сумерках,— все другие, ничтожные служители.

— Разве плохо придумано?— спросил Чойо Чагас с ноткой превосходства.

— Эти вещи очень давно известны на Земле. И куда более величественные!

— Например?

— В древнем Китае император, он же Сын Неба, ежегодно совершал

моление об урожае. Он шел из храма в специальную мраморную беседку — алтарь — через парк дорогой, по которой имел право ходить только он. Дорога была поднята до верхушек деревьев парка и вымощена тщательно уложенными плитами мрамора. Он шел в полном одиночестве и тишине, неся сосуд с жертвой. Всякому, кто подвертывался нечаянно там, внизу, под деревьями, немедленно отрубали голову.

— Значит, для полного величия мне следовало бы вчера отрубить головы всем вам?.. Но оставим это. Как вы справились с моими стражами?

— Очень легко. Они тренированы на безответственное и бездумное исполнение. Это влечет за собой потерю разумного восприятия, тупость и утрату воли — главного компонента устойчивости. Это уже не индивидуальность, а биомашина с вложенной в ней программой. Нет ничего легче, как заменить программу...

Из-за драпировки так же внезапно, как и ее муж, появилась женщина необыкновенной для тормансианки красоты. Одного роста с Фай Родис, гораздо более хрупкая, она двигалась с особой гибкостью, явно рассчитанной на эффект. Волосы, такие же черные, как у Родис, но матовые, а не блестящие, были зачесаны назад с высокого гладкого лба, ложась на виски и затылок тяжелыми волнами. На темени сверкали две переплетенные змеи с разинутыми пастями, тонко отчеканенные из светлого, с розоватым отливом металла. Ожерелье этого же металла в виде узорных квадратов, соединенных розовыми камнями с алмазным блеском, охватывало высокую шею и спускалось четырьмя сверкающими подвесками в ложбинку между грудей, едва прикрытых фестонами упругого корсажа. Покатые узкие плечи, красивые руки и большая часть спины были обнажены, отнюдь не в правилах повседневного костюма Торманса.

Длинные, слегка раскосые глаза под ломаными бровями смотрели пристально и властно, а губы крупного рта с приподнятыми уголками были плотно сомкнуты, выражая недовольство.

Женщина остановилась, бесцеремонно рассматривая свою гостью. Фай Родис первая пошла навстречу.

— Не обманывайте себя,— негромко сказала она,— вы, бесспорно, красивы, но прекраснее всех быть не можете, как и никто во вселенной. Оттенки красоты бесконечно различны — в этом богатство мира.

Жена владыки сощурила темные коричневые глаза и протянула руку жестом величия, в котором проступало что-то нарочитое, детское. Фай Родис, уже усвоившая приветствие Торманса, осторожно сжала ее узкую ладонь.

— Как вас зовут, гостья с Земли?— спросила та высоким, резковатым голосом, отрывисто, как бы приказывая.

— Фай Родис.

— Звучит хорошо, хотя мы привыкли к иным сочетаниям звуков. А я Янтре Яхах, в обыденном сокращении — Ян-Ях.

— Вас назвали по имени планеты!— воскликнула Родис.— Удачное имя для жены верховного владыки.

По губам женщины Торманса пробежала презрительная усмешка.

— Что вы! Планету назвали моим именем.

— Не может быть! Переименовать планету с каждой новой властительницей — какой громадный и напрасный труд в переписке всех обозначений, сколько путаницы в книгах!

— Хлопоты с изменением имен — пустяк!— вмешался Чойо Чагас.— Нашим людям не хватает занятий, и всегда найдутся работники.

Фай Родис впервые смутилась и молча стояла перед владыкой планеты и его прекрасной женой.

Оба по-своему истолковали ее смущение и решили, что настал благополучный момент для завершения аудиенции.

— Внизу, в желтом зале, ждет инженер, приданный вам для помощи в получении информации. Он будет всегда находиться здесь и являться по первому вашему зову.

— Вы сказали инженер?— переспросила Родис.— Я рассчитывала на историка. Ведь я невежда в вопросах технологии. Кроме того, у нас на Земле история — важнейшая отрасль знаний, наука наук.

— Чтобы распоряжаться информацией, нужен инженер. У нас это так.— Чойо Чагас снисходительно усмехнулся.

— Благодарю.— Родис поклонилась.

— О, мы встретимся еще не раз! Когда вы покажете мне фильмы о Земле?

— Когда захотите.

— Хорошо. Я выберу время и сообщу. Да,— Чойо Чагас кивнул на драпировки,— верните их в прежнее состояние.

— Можете подать сигнал, они свободны.

Чойо Чагас щелкнул пальцами, и в ту же секунду оба стража вышли из укрытия со склоненными головами. Один из стражей пошел впереди Фай Родис через коридоры до зала, завешанного черными драпировками и устланного черными коврами. Отсюда лестница черного камня двумя полукружиями спускалась к золотисто-желтому нижнему залу. Страж остановился у балюстрады, и Фай Родис пошла вниз одна, чувствуя странное облегчение, будто за угрюмой чернотой вверху осталась тревога о судьбе экспедиции.

Посреди на желтом ковре стоял человек, бледнее обычного тормансианина, с густой и короткой черной бородой, похожий на старинный портрет эпохи ЭРМ. Могучий лоб, густые брови, нависшие над чуть выпуклыми фанатическими глазами, узкая дуга черных усов... Человек будто в трансе смотрел, как спускалась по черной лестнице женщина Земли, поразительно правильные и твердые черты лица которой были полускрыты прозрачным щитком. Нечто нечеловеческое исходило от сияния ее широко раскрытых зеленых глаз под прямой чертой бровей. Она смотрела как бы сквозь него в беспредельные, ей одной ведомые дали. Тормансианин сразу понял, что это дочь мира, не ограниченного одной планетой, открытого просторам вселенной. Преодолев минутное смятение, инженер подошел.

— Я — Хонтээло Толло Фраэль,— четко произнес он трехсловное имя, обозначавшее низший ранг.

— Я — Фай Родис.

— Фай Родис, я послан в ваше распоряжение. Мое имя сложное, особенно для гостей с чужой планеты. Зовите меня просто Таэль,— инженер улыбнулся застенчиво и добро.

Родис поняла, что это первый по-настоящему хороший человек, встреченный ею на планете Ян-Ях.

— У вас есть какие-нибудь приставки к имени, означающие уважение, отмечающие ум, труд, геройство, как у нас на Земле?

— Нет, ничего подобного. Всех коротко называют «кжи»— кратковитель, жительница; ученых, техников, людей искусства, не подлежащих ранней смерти, «джи»— долгожителями, а к правителям обращаются со словами «великий», «всемогущий» или «повелитель».

Фай Родис обдумывала услышанное, а инженер нервно водил по ковру носком своей обуви, твердой и скрипучей в отличие от бесшумных, мягких туфель «змееносцев».

— Может быть, вы хотите выйти в сад?— почти робко предложил он.— Там мы можем...

— Пойдемте... Таэль,— сказала Родис, даря инженеру улыбку.

Он побледнел, повернулся и пошел впереди. Через окно-дверь они спустились в сад, в узкие аллеи, распланированные совсем по-земному.

Фай Родис осматривалась, припоминая, где она видела нечто похожее. В какой-то из школ третьего цикла в Южной Америке?

Безлепестковые цветы-диски, ярко-желтые по краям и густо-фиолетовые в середине, качавшиеся на тонких голых стеблях над бирюзовой травой, ничем не напоминали Землю. Чуждо выглядели желтые воронковидные деревья. Через биофильтры едва уловимо проникал пряный запах других цветов, резкого синего оттенка, гроздьями свисавших с кустарника вокруг овальной полянки. Фай Родис сделала шаг к широкой скамье, намереваясь присесть, но инженер энергично показал в другую сторону, где конический холмик увенчивала беседка в виде короны с тупыми зубцами.

— Это цветы бездумного отдыха,— пояснил он,— достаточно посидеть там несколько минут, чтобы погрузиться в оцепенение без мыслей, страха и забот. Здесь любят сидеть верховные правители, и слуги уводят их в назначенное время, иначе человек может пробыть тут неопределенно долго!

Тормансианин и гостья с Земли поднялись в беседку с видом на сады Цоам. Далеко внизу, за голубыми стенами садов, у подножья плоскогорья, раскинулся огромный город. Его стеклянные улицы поблескивали наподобие речных проток. Но воды-то не очень хватало даже в садах Цоам.

Под землей в скрытых трубах шумели ручейки и кое-где вливались в скромные бассейны. От высоченных ворот даже сюда доносились нестройная музыка, слитный шум голосов, смех и отдельные выкрики.

— Там что-то происходит?— спросила Родис.

— Ничего. Там стражи и прислуга садов.

— Почему же они так невоздержанны? Разве живущие здесь правители не требуют тишины?

— Не знаю. В городе шума гораздо больше. Во дворце не слышно, а удобство других им безразлично. Слуги владык никого не боятся, если угодны своим господам.

— Тогда они их очень плохо воспитывают!

— А зачем? И что вы понимаете под этим словом?

— Прежде всего умение сдерживать себя, не мешать другим людям. В этом единственная возможность сделать совместную жизнь хорошей для всех без исключения.

— И вы достигли такого на Земле?

— Гораздо большего. Высших ступеней восприятия и самодисциплины, когда думаешь прежде о другом, потом о себе.

— Это невозможно!

— Это достигнуто уже тысячелетия назад.

— Значит, и у вас не всегда было так?

— Конечно. Человек преодолел бесчисленные препятствия. Но самым трудным и главным было преодоление самого себя не для единиц, а для всей массы. А потом все стало просто. Понимать людей и помогать им принесло ощущение собственной значимости, для чего не требуется ни особенного таланта, ни исключительной интеллектуальности, следовательно, это и есть дорога наибольшего числа людей. Они почувствовали, как становятся все более чуткими, искусными и широкими, с громадным

преимуществом перед узкими интеллектуалами, хотя бы и самыми умными.

Инженер промолчал, прислушиваясь к далекому реву радио и людскому гомону.

— А теперь расскажите мне о способах хранения информации на планете Ян-Ях. И помогите получить ее.

— Что интересует вас прежде всего?

— История заселения планеты с момента прихода сюда ваших людей и до последнего времени. Особенно интересны для меня периоды максимальной заселенности и последовавшего за этим резкого спада населения Ян-Ях. Конечно, с экономическими показателями и изменением преобладающей идеологии.

— Все, что касается нашего появления здесь, запрещено. Так же запрещена вся информация о периодах Большой Беды и Мудрого Отказа.

— Не понимаю.

— Владыки Ян-Ях не разрешают никому изучать так называемые запретные периоды истории.

— Невероятно! Мне кажется, тут какое-то недоразумение. А пока познакомьте меня хотя бы с той историей, какая разрешена, но только с точными экономическими показателями и статистическими данными вычислительных машин.

— Данные вычислительных машин никому не показываются и ранее не показывались. Для каждого периода они обрабатываются специальными людьми в секретном порядке. Обнародовалось только позволенное.

— Какое же значение эти сведения имеют для науки?

— Почти никакого. Каждый период правители старались представить таким, каким хотели.

— Есть ли возможность добыть подлинные факты?

— Лишь косвенным путем, в рукописных мемуарах, в литературных произведениях, избежавших цензуры или уничтожения.

Фай Родис встала. Инженер Толло Фраэль тоже поднялся, потупившись, униженный в своем рабстве исследователя. Родис положила руку на его плечо.

— Так и поступим,— мягко сказала она.— Сначала общий очерк истории в разрешенном объеме, потом постарайтесь достать все, что уцелело от прошлых цензур, исправлений, вернее — искажений и прямой дезинформации. Не печальтесь, на Земле были похожие периоды. А что получилось позднее, скоро увидите.

Инженер молча проводил ее до дворца.

Глава VI

ЦЕНА РАЯ

— Эвиза, где Родис?

— Не знаю, Вир.

— Я не видел ее три дня.

Чеди искала ее повсюду от Круга Сведений до покоев верховного владыки, но туда ее не допустили.

— Родис исчезла после показа наших стереофильмов, как только

Тивиса и Тор улетели в хвостовое полушарие Торманса, так и не дождавшись разрешения снять скафандры,— сказал Вир.

— Увы,— согласилась Эвиза,— придется еще немного поносить броню. Я привыкла к металлической коже, а освобождение от трубок и лицевых щитков было чудесным. Биофильтры мешают гораздо меньше... Но вот Гэн Атал! Знаете ли вы что-нибудь о Родис?

— Родис в Зале Мрака. Я поднимался по черной лестнице, а она шла рядом с Чойо Чагасом в сопровождении стражей, которых так недолюбливает Чеди.

— Не нравится мне все это,— сказал Вир Норин.

— Почему вы тревожитесь?— невозмутимо спросил Гэн Атал.— Фай уединяется с Чагасом. Владыка с владыкой, как она шутит.

— Эти плохо воспитанные и считающие себя выше дисциплины владыки похожи на тигров. Они опасны несдерживаемыми эмоциями, толкающими их на нелепые выходки. А СДФ Родис стоит здесь выключенный.

— Сейчас увидим,— инженер броневой защиты сделал в воздухе крестообразный жест рукой.

Тотчас коричнево-золотистый, в цвет скафандра Гэна, СДФ подбежал к его ногам. Несколько секунд — и цилиндр на высокой ножке, выдвинувшейся из купола спины робота, загорелся лиловато-розовым светом. Перед стеной комнаты сгустилось, фокусируясь, изображение части пилотской кабины «Темного Пламени», превращенной в пост связи и наблюдения.

Милое лицо Неи Холли казалось усталым в бликах зеленых, голубых и оранжевых огоньков на различных пультах.

Нея приветствовала Гэна воздушным поцелуем и, вдруг насторожившись, спросила:

— Почему не в условленное время?

— Нужно взглянуть на «доску жизни»,— сказал Гэн.

Нея Холли перевела взгляд на светло-кремовую панель, где ярко и ровно горели семь зеленых огней.

— Вижу сам!— воскликнул Гэн, попрощался с Неей и выключил робот.

— Мы все узнали!— сказал он Эвизе и Виру.— Родис цела, и сигнальный браслет на ней, но, может быть, ее держат... как это называется...

— В плену!— подсказал Вир Норин.

— Кто в плену?— прозвенела позади Чеди.

— Фай Родис! Вир видел ее в Зале Мрака с Чойо Чагасом три дня назад, а мы совсем не встречались с ней.

— Так идемте в Зал Мрака, и пусть Гэн покажет, куда они ушли,— стремительная Чеди пошла впереди.

В конце серповидно изогнутой галереи они спустились на черные ковры в круге черных колонн, альковов и стен Зала Мрака, как называли тот зал звездолетчики.

Гэн Атал отошел к лестнице с балюстрадой, подумал несколько секунд и уверенно направился к темному пространству между двух сближенных колонн. За ними оказалась запертая дверь. После нескольких неудачных попыток открыть ее Гэн Атал резко постучал.

— Кто смеет ломиться в покой владыки Ян-Ях? — рявкнул сверху усиленный электронными приспособлениями голос охранника.

— Мы, люди Земли, ищем свою владычицу! — заорал, подражая усилителю, Вир Норин.

— Ничего не знаю. Вернитесь к себе и ждите, пока владыки не сочтут нужным явиться вам!

Земляне переглянулись. Чеди шепнула что-то Вир Норину, и на губах астронавигатора заиграла совсем мальчишеская улыбка.

— Владыка Торманса делает так!— и он щелкнул пальцами.

Через несколько секунд послышался легкий топот девятиножки, и в черном зале появился красно-фиолетовый СДФ.

— Что вы задумали, Вир?— с беспокойством спросила Эвиза.— Как бы не напортить Родис!

Хуже не будет. Пришла пора дать небольшой урок всяким там владыкам и верховным существам, которых здесь такое множество.

Эвиза отошла в сторону с осуждающим, но все же заинтересованным видом, а Чеди и Гэн Атал восхищенно придвинулись к Вир Норину. По команде астронавигатора СДФ выдвинул вперед круглую, зеркально блеснувшую коробочку на толстом кольчатом кабеле.

— Закройте ушные фильтры, — распорядился Вир.

Невообразимый визг прорезал безмолвие дворца. Коробочка СДФ описала в воздухе параллелограмм, и огромная дверь рухнула внутрь темного прохода, откуда послышались испуганные крики.

Вир Норин повел рукой, излучатель ультразвука спрятался под СДФ, уступив место обычному раструбу фонопередатчика.

— Фай Родис! Вызываем Фай Родис! — от громкого рева СДФ сверху посыпались кусочки стекол, закачался и погас грушевидный светильник, подвешенный между колонн.

— Зовем Фай Родис! — еще громче завопил СДФ, и вдруг земляне почувствовали, что пол черного зала уходит из-под ног, а они скользят по наклонной галерее. От неожиданности, при всей молниеносной реакции землянина, Вир Норин не успел выключить свой СДФ. Девятиножка продолжала взывать к Фай Родис в бесповоротной черноте подвала, куда скатились все четверо землян.

Вир Норин черкнул ладонью по воздуху, и СДФ умолк. Слепящие прожекторы скрестили свои лучи на лицах землян. Те едва могли рассмотреть, что провалились в круглый подвал со стенами из неотделанного, грубо склепанного железа. С пяти сторон зияли низкие проходы, и в каждом появилась группа охранников в лиловой униформе, направивших черные раструбы своего оружия на звездолетчиков.

По команде Вир Норина девятиножка выдвинула излучатель защитного поля, похожий на гриб с приостренной шляпкой. Земляне спокойно осматривались, соображая, как выбраться из ловушки. Безмятежный вид нарушителей священного покоя дворца привел охранников в ярость. Разевая черные рты в неслышном крике, они бросились к группе землян и были отброшены к железным стенам. Из левого прохода появились люди с нашивками «глаз в треугольнике».

— Подлое приспособление! — негодующе воскликнула Чеди.

— Остроумное, с их точки зрения, — сказал Гэн Атал.

— Я думаю, как пробить потолок и подняться в Желтый Зал, — с сомнением сказал Вир Норин.— Но на это уйдет слишком много энергии.

— Не лучше ли подождать развития событий? — посоветовала Эвиза.

— Пожалуй! — согласился астронавигатор.

Долго выжидать не пришлось. Лиловые стражи сделали несколько выстрелов из своего оружия. Звездолетчики ничего не слышали — защитное поле не пропускало даже звуков, только заметили вспышки малинового пламени, вырывавшиеся из раструбов. Отраженные защитным полем

пули ударили назад по тем, кто их выпустил. Стрелявшие с искаженными лицами упали на железный пол.

Вир Норин озабоченно поглядел на указатель, беспокоясь о разряде батарей и жалея, что еще четыре могучих помощника бесполезно стоят выключенными в их комнатах наверху. Фай Родис просила выключать роботы, чтобы каким-нибудь случайным сигналом не заставить их нарушить строгие правила.

Внезапно — здесь, на Тормансе, все случалось внезапно, так как из-за незнания характера тормансиан и их общественных отношений гостям с Земли было трудно угадывать развитие событий — смятение прекратилось, лиловые охранники скрылись в проходах, унося раненых, а в монотонное гудение защитного поля врезался сигнал Фай Родис.

— Выключайте СДФ, Вир!

Облегченно вздохнув, астронавигатор убрал «зонтик» и услышал в усилителях приказ Чойо Чагаса: «Недоразумение прекратить, разойтись, «глазам» проводить гостей наверх, в их покои!»

Через несколько минут большой подъемник доставил четырех героев к тому изгибу коридора, откуда начинались хоры Зала Мрака. У распахнутого окна в сад четким силуэтом выделялась Фай Родис. Сквозняк чуть шевелил ее короткие черные волосы. Первой к ней бросилась Чеди. Родис положила руки на ее плечи. Губы ее улыбались, но глаза были печальны, печальней, чем в первые дни пребывания на Тормансе.

— Наделали переполоха, милые! — воскликнула Родис без осуждения.— Я еще не пленница... еще!

— Скрыться так надолго! — укорила Эвиза.

— Действительно, я поступила плохо. Но я столько увидела за эти дни, что забыла о вашей тревоге.

— Все равно надо было немного отрезвить их здесь, — сердито нахмурился Гэн Атал.— Жизнь становится неприятной от бессмысленных ограничений, глупейшего самодовольства и рассеянного вокруг страха.

— Но Фай нужно отдохнуть, — перебила Чеди.

Отдаваясь живительному душу отрицательных ионов, в то время как тонкие лапки СДФ легкими прикосновениями биологически активизированных перчаток массировали ее, Фай Родис перебирала воспоминания о днях, проведенных в покоях Чойо Чагаса. Это испытание поколебало ее уверенность в намеченном ранее плане.

Все началось с демонстрации стереофильмов Земли. Два СДФ установили несущий канал, по которому «Темное Пламя» начал передавать жизненные и яркие изображения, называемые на Земле по-старинному стереофильмами. Для жителей Ян-Ях они казались чудом, перенесенной сюда подлинной жизнью далекой планеты.

Члены Совета Четырех, их жены, несколько высших сановников, инженер Таэль, затаив дыхание, следили, как перед ними развертывались картины природы и жизни людей Земли.

К величайшему удивлению тормансиан, ничего таинственного и непонятного не было во всех областях жизни этого великолепного дома человечества. Гигантские машины, автоматические заводы и лаборатории в подземных или подводных помещениях. Здесь в неизменных физических условиях шла неустанная работа механизмов, наполнявших продуктами дисковидные здания подземных складов, откуда разбегались транспортные линии, тоже скрытые под землей. А под голубым небом расширялся простор для человеческого жилья. Тормансианам открылись колоссальные парки, широкие степи, чистые озера и реки, незапятнанной белизны горные снега и шапка льда в центре Антарктиды. После долгой экономи-

ческой борьбы города окончательно уступили место звездным и спиралевидным системам поселков, между которыми были разбросаны центры исследования и информации, музеи и дома искусства, связанные в одну гармоническую сетку, покрывавшую наиболее удобные для обитания зоны умеренных субтропиков планеты. Другая планировка отличала сады школ разных циклов. Они располагались меридионально, предоставляя для подрастающих поколений коммунистического мира разнообразные условия жизни.

Сами земляне сначала показались жителям Ян-Ях слишком серьезными и сосредоточенными. Их немногословие, нелюбовь к остротам и полное неприятие всякого шутовства, постоянная занятость и сдержанное выражение чувств в глазах болтливых, нетерпеливых, психически нетренированных тормансиан казались скучными, лишенными подлинно человеческого содержания.

Лишь потом жители Ян-Ях поняли, что эти люди полны беспечной веселости, порожденной не легкомыслием и невежеством, а сознанием собственной силы и неослабной заботы всего человечества. Простота и искренность землян основывались на глубочайшем сознании ответственности за каждый поступок и на тонкой гармонии индивидуальности, усилиями тысяч поколений приведенной в соответствие с обществом и природой.

Здесь не было искателей слепого счастья, и потому не было разочарованных, разуверившихся во всем людей. Отсутствовали психологически слабые индивиды, остро чувствующие свою неполноценность и вследствие этого отравленные завистью и садистской злобой. На сильных и правильных лицах не отражалось ни смятения, ни настороженных опасений, ни беспокойства о судьбе своей и своих близких, изолирующего человека от его собратьев.

Тормансиане не увидели ни одного побежденного скукой человека. Уединялись для размышлений, переживаний, для отдыха после только что конченной трудной работы. Но временная неподвижность и глубокий покой были готовы мгновенно смениться могучим действием мысли и тела.

Живые видения прекрасной Земли разбудили острую, небывалую прежде тоску у маленькой кучки землян, отрезанных от родины невообразимой бездной пространства. Тормансиане старались отбросить неодолимую притягательность увиденного мира, убедить себя в том, что им показали специальные инсценировки. Но гигантский охват, всепланетный масштаб зрелища свидетельствовал о подлинности стереофильмов. И, уступая очевидности, жители Ян-Ях оказались плененными почти такой же ранящей печалью, как и жители Земли. Но причина этой печали была другой. Видение сказочной жизни появилось здесь, на вершине холма, в крепости грозных владык, обители страха и взаимной ненависти. Будто их подвели к широко распахнутым воротам сада, ничто не было скрыто от их жадных глаз и в то же время недоступно. А внизу теснился скученный многомиллионный город Средоточия Мудрости, чье название звучало иронически на пыльной и скудной планете.

— Может быть, довольно для первого раза? — спросила Фай Родис, заметив утомление на лицах зрителей.

Чойо Чагас покосился по сторонам. Его жена Янтре изо всех сил прижимала руки к груди. Инженер Таэль поднял голову и старался незаметно смахнуть слезы, скатившиеся в густую бороду. Такие же слезы Чойо Чагас увидел у Зет Уга. Вспышка необъяснимого гнева заставила его повысить голос:

— Да, довольно! Вообще довольно!

Недоуменно взглянув на владыку, Фай Родис выключила связь со звездолетом. СДФ погасили и убрали под крышки свои излучатели. Зрители направились к себе, а Фай Родис подошла к Чойо Чагасу, который знаком попросил ее задержаться. Когда в опустевшем зале остались лишь они двое, Чойо Чагас впервые взял Родис под локоть, слегка поморщился и отпустил ее руку. Родис засмеялась.

— Я привык к вашему лицу без щитка и забыл, что все остальное металлическое. Иногда мне кажется, что земляне просто роботы с головами живых людей, — пошутил владыка, вводя гостью в знакомую комнату с зелеными драпировками и хрустальным шаром.

— А может быть, мы в самом деле лишь роботы? — спросила Родис, вложив во взгляд и улыбку немного кокетства и женского вызова.

И Чойо Чагасу пришлось напрячь всю волю, чтобы не поддаться могучей притягательности земной женщины. Он отвернулся, открыл черный шкаф и достал нечто похожее на древнюю курительную трубку. Устроившись в кресле напротив Родис, он закурил. Сквозь резко пахнущий дымок владыка планеты присматривался к Фай Родис, и его узкие глаза подернулись пеленой забытья. Он молчал так долго, что Родис заговорила первая:

— Что означал ваш возглас «вообще довольно»? Разве вам не понравилась Земля?

— Фильмы технически великолепны. Мы никогда не видели подобного!

— Разве дело в технике? Я имею в виду нашу планету.

— Я не судья сказкам. Как я могу отделить ложь от правды, не зная о вашей планете ничего, кроме этих картинок?

Фай Родис встала, чуть опершись на край вычурного стола, и внимательно посмотрела на Чойо Чагаса.

— Сейчас вы лжете, — сказала она ровно, избегая повышения и понижения тона, принятого у тормансиан.— Помогите мне понять вас. Вы человек выдающегося ума, почему вы избегаете говорить прямо, правдиво, выражая свои убеждения и цели? Чего вы боитесь?

Чойо Чагас медленно поднялся, холодный и надменный. Фай Родис не дрогнула, когда он остановился перед нею, вытянув шею и навалившись на стол сжатыми кулаками. Их молчаливый поединок длился до тех пор, пока владыка не отступил, вытирая лоб тончайшим желтым платком.

— Мы могли бы уничтожить вас, — оскалился он в недоброй и неуместной улыбке, — а вместо этого я еще вынужден отдавать вам отчет!

— Неужели эта жертва вас тяготит? — интонация Родис звучала неприкрытой усмешкой.— Вы опасаетесь, что явится второй звездолет и оба корабля сокрушат ваши города, дворцы, заводы? Я знаю, что вы и ваши сподручные спокойно примете гибель миллионов жителей Ян-Ях, разрушение тысячелетнего труда, исчезновение великих произведений человеческого гения, лишь бы остались жить вы! Не так ли?! — вдруг резко воскликнула Родис.

— Да,— вздрогнув, признался Чайо Чагас.— А что жалеть? Дрянь, ничтожных людишек с копеечными чувствами? Старый хлам отжившего искусства, лежащий бесполезными грудами в пыльных хранилищах? Вредных фантазеров «джи»?

— Так ведь они люди! — воскликнула Родис.

— Нет, еще нет!

— А разве вы помогаете им стать людьми? Я не могу понять вас. Самое прекрасное в жизни — помогать людям, и особенно когда имеешь

для этого власть, силу, возможности. Может ли быть радость выше этой? Неужели вы даже не помышляли об этом, несчастный человек?

— Нет, это вы несчастная! — закричал владыка.— Истинна старая поговорка, что для женщины существует только настоящее и будущее, прошлого — нет. Какой вы историк, если не понимаете, что море пустых душ разлилось по планете, выпив, обожрав, истоптав все ее уголки!

Фай Родис уже успокоилась.

— Известно ли вам, что мозг человека обладает замечательной способностью исправлять искажения внешнего мира, не только визуальные, но и мыслительные, возникающие из-за искривления законов природы в неправильно устроенном обществе? Мозг борется с дисторсией, выправляя ее в сторону прекрасного, спокойного, доброго. Я говорю, разумеется, о нормальных людях, а не о психопатах с комплексом неполноценности. Разве вам не знакомо, что лица людей издалека всегда красивы, а чужая жизнь, увиденная со стороны, представляется интересной и значительной? Что незнакомая наука кажется очень важной? Следовательно, в каждом человеке заложены мечты о прекрасном, сформировавшиеся за тысячи поколений, и подсознание ведет нас сильнее в сторону добра, чем это мы сами думаем? Как же можно говорить о людях, как о мусоре истории?

— Мне начинает нравиться ваша откровенность, — с кривой усмешкой сказал Чойо Чагас.— Но продолжайте!

— Знаю, что вы теперь не сомневаетесь в безвредности наших намерений. Сколько раз ваши люди пытались уловить хоть каплю вражды у любого из нас, даже после пробной атаки звездолета по вашему приказу! Здесь ведь ничего не делается без приказа Совета Четырех?!

— Да,— снова поддаваясь странной магнетической силе женщины Земли, подтвердил владыка.

— Если так, то дело в мнимой угрозе, якобы исходящей от нас. Я поняла, что вы хотите запретить показывать жизнь Земли народу Ян-Ях. Но вы должны действовать по каким-то побуждениям, продиктованным вашим видением мира, системой взглядов. Мы, земляне, не увидели в вашей примитивной пропаганде никаких глубоких забот о совершенствовании вашего общества и людей. Сохранение существующей структуры нужно только горстке правителей. В истории Земли это погубило сотни государств и миллионы людей. Вы здесь не так давно пережили катастрофу перенаселения...

Фай Родис оборвала речь, с удивлением глядя на исказившиеся черты владыки Торманса. Чойо Чагас впервые потерял самообладание.

— Хватит! Не хочу! Ничего о Земле! Ненавижу! Ненавижу проклятую Землю, планету безграничного страдания моих предков!

— Ваших предков! — воскликнула Фай Родис, и у нее перехватило горло — ее догадка подтвердилась.

— Да, да, моих, как и ваших! Это тайна, охраняемая много столетий, и разглашение ее карается смертью!

— Почему?

— Чтобы не возникли мечты о прошлом, об ином мире, подтачивающие устои нашей жизни. Человек не должен знать о прошлом, искать в нем силу. Это дает ему убеждения и идеи, несовместимые с подчинением власти. Историю надо срезать от корня и начать с момента, когда дерево человечества привилось на Ян-Ях.

Чойо Чагас с минуту стоял в раздумье, затем сел, указав Родис на ее кресло. Он курил, сосредоточенно глядя на хрустальный шар, а гостья с Земли сидела недвижная, как статуя, в глубочайшей тишине покоев владыки. Чойо Чагас скользнул взглядом по ее отрешенной фигуре и, решив-

шись, встал. Из потайного места он извлек набор инструментов, похожих на старинные ключи. Одним, коротким и толстым, он открыл незаметную дверцу из толстого металла, повернул что-то внутри и снова тщательно запер ее.

— Пойдемте, — просто сказал он, откидывая зеленую занавесь перед узкой, как щель, дверью.

Фай Родис, не колеблясь, последовала за ним. Чойо Чагас, опустив голову, шел, не оглядываясь, по длинному проходу, едва освещенному тусклым светом вечных газовых ламп. Он обернулся лишь у дверцы подъемника, пропуская Родис в кабину. Раздался скрежет редко работающего механизма. Кабина стремительно полетела вниз. У Фай Родис, почему-то ожидавшей подъема, перехватило дыхание. Они спустились на значительную глубину и вышли в коридор, по одной стороне которого шли железные опоры и рельсы. Чойо Чагас оглянулся, вводя свою спутницу в небольшой темный вагон и усаживаясь за рычаги управления. Он зажег путевой прожектор, и с грохотом, достойным старинных машин Земли, вагон помчался в непроглядную темь.

Родис, улыбнувшись взволнованному владыке, негромко запела, поддаваясь гипнотизирующему мельканию вертикальных разноцветных светящихся знаков, и заметила, что Чойо Чагас внимательно слушает, часто оглядываясь на нее в стремительно бегущих бликах сигнальных люминофор.

— Что за песня? — отрывисто спросил он, ускоряя и без того бешеный бег вагона.

— «Нырнуть стремительно и непреклонно в глубокий и застойный водоем и отыскать, спасти из мути донной...» — начала переводить Родис на язык Ян-Ях.

— Только-то? — воскликнул Чойо Чагас.

— А что вы ожидали?

— Чего-нибудь воинственного. Очень бодрая и ритмичная мелодия, — сказал владыка, резко тормозя перед квадратом фиолетового люминофора.

Они вышли во мрак подземелья. Только черточки указателей слабо светились в полу, как бы плавая в темноте.

Чойо Чагас осторожно взял Родис за руку. Подойдя к квадратной колонне, он нашел в ней маленький люк, открыл его и прислушался.

— Надо убедиться, что выключатель в моей комнате сработал, — пояснил он безмолвной Родис, — иначе при попытке открыть сейф с дверными реле всякий будет убит на месте.

Вторым ключом из связки он отворил другой люк, взялся за похожую на стрелу рукоятку и с силой потянул на себя. Выдвинулся серебряный стержень, и в тот же миг с визгом распахнулись тяжелые, как ворота, двери в ярко освещенный обширный зал. Едва они вошли, как владыка нашел кнопку, и двери захлопнулись.

Родис осмотрелась, пока Чойо Чагас, нагнувшись над широким каменным столом, что-то передвигал на нем и щелкал тумблерами, похожими на рычаги старинных электронных машин, столько раз виденных Родис в исторических фильмах и музеях. Помещение тоже походило на музей. Высоко возносились застекленные колонки шкафов и стеллажей, ряды плотно задвинутых ящиков были испещрены потускневшими иероглифами. Ступеньки передвижных лестниц, посеревшие от пыли, кое-где хранили следы ног тех, кто поднимался по ним к верхним полкам.

Чойо Чагас выпрямился, торжественный и бледный. Он показался

гостье с Земли древним жрецом, хранителем сокровенных знаний, да и в самом деле он был им.

— Вы знаете, куда мы пришли? — хрипло спросил владыка.

— Я поняла. Здесь хранится то, что вы... ваши предки привезли на звездолетах с Земли.— Фай Родис напряглась от волнения. Каково было историку ЭРМ попасть в хранилище сведений о самом, пожалуй, темном периоде эры великих переворотов накануне ЭМВ — Эры Мирового Воссоединения! Родис благоговейно коснулась громоздкого пульта, очевидно, снятого со звездолета далеких времен — одного из первых кораблей, отчаянно нырнувшего в неизведанные и оказавшиеся безмерно сложными глубины вселенной.

Чойо Чагас ободряюще кивнул смятенной Фай Родис и показал ей на ряд жестких стульев из металла и пластмассы в центре зала.

— Я понимаю, что здесь для вас интересно все. Но мы, не забывайте этого, продолжаем разговор. И вы будете смотреть фильмы, привезенные предками как память о планете, откуда они бежали. Бежали со слабой надеждой на спасение, но нашли девственную планету и новую жизнь, обернувшуюся старой. Когда сомнение или неясность пути одолевает усталые нервы, я прихожу сюда, чтобы насытиться ненавистью и в ней почерпнуть силу.

— Ненависть к чему, к кому?

— К Земле и ее человечеству! — сказал Чойо Чагас с убежденностью.— Посмотрите избранную мной серию. Мне не понадобится пояснять вам мотивы запрещения ваших стереофильмов. Увидев историю вашего рая,— с едкой горечью сказал владыка,— кто не усомнится в правде показанных вами зрелищ? Как могло случиться, чтобы ограбленная, истерзанная планета превратилась в дивный сад, а озлобленные, не верящие ни во что люди сделались нежными друзьями? Какие орудия, какие путы железного страха держат народы Земли в этой дисциплине? Впрочем, разве вы скажете? Вы умеете обольщать. Я сам испытал это. Помните легенду о Цирцее, волшебнице, превращавшей людей в свиней? Иногда мне кажется, что вы Цирцея...

— Цирцея — великолепный миф незапамятных времен, возникший еще от матриархальных божеств о сексуальной магии богини в зависимости от уровня эротического устремления: или вниз — к свинству, или вверх — к богине. Он почти всегда истолковывался неправильно. Красота и желание женщин вызывают свинство лишь в психике тех, кто не поднялся в своих сексуальных чувствах выше животного. Женщины в прежние времена лишь очень редко понимали пути борьбы с сексуальной дикостью мужчины, и те, кто это знал, считались Цирцеями. Встреча с Цирцеей была пробным камнем для всякого мужчины, чтобы узнать, человек ли он в Эросе. Сексуальная магия действует лишь на низкий уровень восприятия Красоты и Эроса. Хотите попробовать? — предложила Родис и, неописуемо преобразившись, устремила на владыку взгляд широко открытых повелительных глаз, надменно изогнув свой царственно прямой стан.

Темная сила скрутила волю Чойо Чагаса, какая-то могучая пружина стала развиваться в нем, стесняя дыхание, стискивая челюсти и сводя мышцы неистовым желанием.

— Нет! — с ожесточением крикнул он.

Родис опустила взгляд, и владыка грузно уселся на край стола, нажав на рычажки.

Погас свет, стена подземелья исчезла, пробитая изображением, по

глубине даже превосходящим обычные ТВФ. И Фай Родис забыла все, унеслась в далекое прошлое родной планеты.

Вначале шли только инсценировки. Чойо Чагас подобрал фильмы в исторической последовательности событий. Для самых древних времен еще не существовало фильмовой документации. Пришлось создавать реконструкции важнейших событий. Однако события эти неумолимо разрушали прекрасные сказки Земли о добрых царях, мудрых королевах, безупречных рыцарях — защитниках угнетенных и обездоленных. Легенды о доблестных полководцах и борцах за веру оборачивались чередой кровавых убийств, жестокого фанатизма и изуверства, разрушением красивых городов, стран и плодоносных островов.

Земная история, которую писали и учили далекие предки, была направлена на сокрытие истинной цены завоеваний, смены владык и цивилизаций. Но фильмы-реконструкции поздней ЭРМ ставили перед собой задачу показать, что усилия людей к созданию красоты, устроению Земли, мирному труду и познанию природы неизменно оказывались напрасными, заканчиваясь бедами и разрушениями. То озверелые людоеды пожирали более цивилизованное племя перед его заботливо украшенными и отделанными пещерами. То на фоне горящих городов ассирийские завоеватели избивали детей и стариков, насиловали женщин перед толпой зверски скрученных мужчин, привязанных к колесницам за ремни, продетые сквозь нижние челюсти. Нескончаемой вереницей проходили горящие селения, разграбленные города, вытоптанные поля, толпы истощенных людей, гонимых как стадо. Нет, никакой скотовод никогда не обращался так со своими животными. Совершенно очевидно, что человек ценился куда меньше скота. Более того, люди постоянно подвергались садистским мукам. Их медленно перепиливали пополам на площадях Китая, рассаживали на кольях по дорогам Востока, распинали на крестах в Средиземноморье, вешали на железных крючьях, как освежеванные мясные туши.

Техника массовых истреблений непрерывно «совершенствовалась». Отсечение голов, костры, кресты и колья не могли уничтожить скопления людей в завоеванных городах. Людей стали укладывать связками в полях, и конные орды скакали по ним. Копьями и саблями гнали обезумевшие толпы в горы, сбрасывая их с крутых обрывов. Заставляли выкладывать из живых людей стены и башни, переслаивая ряды тел пластами глины. Из этой фантасмагории массовых истреблений, в которых самым поразительным была абсолютная покорность человеческих масс, загипнотизированных силой победителей, Фай Родис запомнилась сцена падения Рима. Гордые римлянки с их детьми пытались найти убежище на Форуме. Беззащитные, лишенные привычной опоры отцов, мужей, братьев, перебитых в бою, — девочки, девушки, женщины и старухи в оцепенелом безвыходном отчаянии смотрели на приближающуюся толпу гуннов или германцев, опьяненных победой, с окровавленными топорами и мечами. Эта незабываемая сцена, поставленная искусным художником, стала для Родис олицетворением одной из ступеней инферно.

Жемчужина древней культуры — Эллада, ставшая козьим пастбищем в начале Темных Веков; развалины еще более древней цивилизации морских народов Крита; погребения царей древнего Египта, вроде фараона Джера, на могиле которого было убито 587 человек, или скифских вождей на Кубани и в Причерноморье, когда на их могилах избивали десятки людей и сотни лошадей, пропитывая кровью и заваливая трупами ничтожные останки; стертая копытами азиатских полчищ культура древней Руси; колоссальные избиения аборигенов Южной Африки вторгшимися

с севера племенами завоевателей — все это, уже знакомое, не вызывало новых ассоциаций. Но Родис никогда не видела отрывков документальных съемок, вкрапленных в инсценированные фильмы о последних периодах ЭРМ. Массовые избиения приняли еще более чудовищный характер, соответственно увеличению населения планеты и могучей технике. Громадные концентрационные лагеря — фабрики смерти, где голодом, изнуряющим трудом, газовыми камерами, специальными аппаратами, извергающими целые ливни пуль, люди уничтожались уже сотнями тысяч и миллионами. Горы человеческого пепла, груды трупов и костей — такое не снилось древним истребителям рода человеческого. Атомными бомбардировками за несколько секунд уничтожались огромные города. Вокруг нацело выжженного центра, где сотни тысяч людей, деревья и постройки погибали мгновенно, располагался круг разрушенных зданий, среди которых ползали ослепленные, обожженные жертвы. Из-под обломков неслся нескончаемый вопль детей, призывавших родителей и моливших о воде. И снова шли сцены массовых репрессий, перемежавшихся с битвами, где тысячи самолетов, бронированных пушек на суше или кораблей с самолетами на морях сталкивались в сплошном шквале воющего железа и гремящего огня. Десятки тысяч плохо вооруженных солдат упорно, напролом лезли на сплошную завесу огня скорострельного оружия, пока гора трупов не заваливала укрепления, лишая противника возможности стрелять, или же его солдаты не сходили с ума. Бомбардировка городов, где храбрые люди прошлого фотографировали рушащиеся и горящие здания. Обреченные на смерть летчики-самоубийцы мчались сквозь завесу снарядов и разбивались о палубы гигантских кораблей, вздымая огненные смерчи, летели вверх люди, орудия, обломки машин. Подводные корабли нежданно появлялись из глубин моря, чтобы обрушить на врагов ракеты с термоядерными зарядами...

— Очнитесь, земножительница, — услышала Фай Родис Чойо Чагаса.

Она вздрогнула, и он выключил проектор.

— Вы не знали всего этого? — насмешливо спросил Чойо Чагас.

У нас не сохранились столь полно фильмы прошлых времен,— ответила, приходя в себя, Фай Родис.— После ухода ваших звездолетов было еще великое сражение. Наши предки не догадались спрятать документы под землю или в море. Погибло многое.

Чойо Чагас бросил взгляд на часы. Родис встала.

— Я отняла у вас много времени. Простите и благодарю вас.

Председатель Совета Четырех приостановился, что-то соображая.

— Я действительно больше не могу быть с вами. Но если вы хотите...

— Безусловно!

— Потребуется не один день!

— Я могу обходиться подолгу без пищи. Нужна только вода.

— Воду найдете здесь, — Чойо Чагас отпер третьим ключом еще одну маленькую дверцу.— Видите зеленый кран? Это моя линия водоснабжения, — усмехнулся он, — пейте без опаски. Вы будете заперты, но сигнальный шкаф я оставлю открытым. Не пытайтесь выйти сами. Здесь слишком много ловушек. Материал по последнему веку вы не сможете посмотреть раньше чем через два дня. Выдержите?

Фай Родис молча кивнула головой.

— Я приду за вами сам. Микрокатушки с переснятыми оригиналами в этих ящиках. Удачно прожить! — так говорят у нас при расставании.

Фай Родис протянула владыке руку земным жестом дружбы. И тот задержал ее, сжимая и вглядываясь в глубину сияющих «звездных» глаз своей гостьи, так поразительно отличавшихся от всего, что было ему

знакомо и на родной планете, и в древних фильмах Земли, от которой отреклись его предки.

Внезапно этот странный человек отпустил, вернее оттолкнул, руку Родис и скрылся за дверью. Огромная броневая плита захлопнулась отрывистым ударом, похожим на звук механического молота.

Родис занялась упражнениями дыхания и сосредоточения, чтобы зарядить тело энергией для предстоящего труда. Не только просмотреть, но и сохранить в памяти увиденное. Слишком поздно думать о записи через СДФ, да и вряд ли переменчивый владыка планеты согласился бы повторить свой порыв.

Разобрав катушки, Родис увидела, что Чойо Чагас показал одну группу, обозначенную иероглифами, которые она прочла как «Человек — человеку». Второй и третий ящики были надписаны: «Человек — природе» и «Природа — человеку».

Фильмы «Человек — природе» показывали, как исчезали с лица Земли леса, пересыхали реки, уничтожались плодородные почвы, развеянные или засоленные, гибли залитые отбросами и нефтью озера и моря. Огромные участки земли, изрытые горными работами, загроможденные отвалами шахт или заболоченные тщетными попытками удержать пресную воду в нарушенном балансе водообмена материков. Фильмы-обвинения, снятые в одних и тех же местах с промежутком в несколько десятков лет. Ничтожные кустарники на месте величественных, как храмы, рощ кедров, секвой, араукарий, эвкалиптов, гигантов из густейших тропических лесов. Молчаливые, оголенные, объеденные насекомыми деревья — там, где истребили птиц. Целые поля трупов диких животных, отравленных из-за невежественного применения химикатов. И снова — неэкономное сожжение миллиардов тонн угля, нефти и газа, накопленных за миллиарды лет существования Земли, бездна уничтоженного дерева. Нагромождения целых гор битого стекла, бутылок, изоржавевшего железа, несокрушимой пластмассы. Изношенная обувь накапливалась триллионами пар, образуя безобразные кучи выше египетских пирамид.

Ящик «Природа — человеку» оказался наиболее неприятным. В ужасающих фильмах последних веков, где сталкивались сокрушительная сила техники и колоссальные массы людей, человеческая индивидуальность, несмотря на огромность страдания, стиралась, растворяясь в океане общего ужаса и горя. Человек — интегральная единица в битве или предназначенной к уничтожению толпе — приравнивался по значению к пуле или подлежащему уборке мусору. Античеловечность и безысходный позор падения цивилизации, его масштабы так подавляли психику, что не оставляли места индивидуальному состраданию и пониманию мучений человека как близкого существа.

Фильмы третьего ящика рассматривали отдельных лиц в крупном плане, показывая страдания и болезни, возникающие из-за неразумной жизни, из-за разрыва с природой, непонимания потребностей человеческого организма и хаотического, недисциплинированного деторождения. Промелькнули гигантские города, брошенные из-за нехватки воды — рассыпавшиеся груды обломков бетона, железа, вспузырившегося асфальта. Огромные гидроэлектростанции, занесенные илом, плотины, разломанные смещениями земной коры. Гниющие заливы и бухты морей, биологический режим которых был нарушен, а воды отравлены накоплением тяжелой воды при убыстренном испарении искусственных мелких бассейнов на перегороженных реках. Гигантские полосы безжизненной пены вдоль опустелых берегов: черные — от нефтяной грязи, белые — от миллионов тонн моющих химикатов, спущенных в моря и озера.

Затем потянулись скорбной вереницей переполненные больницы, психиатрические клиники и убежища для калек и идиотов. Врачи вели отчаянную борьбу с непрерывно увеличивающимися заболеваниями. Санитарно-бактериологические знания истребили эпидемические болезни, атаковавшие человечество извне. Но отсутствие разумного понимания биологии вместе с ликвидацией жесткого отбора слабых расшатали крепость организма, приобретенную миллионами лет отбора. Неожиданные враги напали на человека изнутри. Разнообразные аллергии, самым страшным выразителем которых был рак, дефекты наследственности, психическая неполноценность умножались и стали подлинным бедствием. Медицина, как ни странно, не считавшаяся прежде наукой первостепенной важности, опять-таки рассматривала отдельного человека как абстрактную численную единицу и оказалась не готовой к новым формам болезней. Еще больше бед прибавила грубая фальсификация пищи. Хотя перед глазами человечества уже был печальный опыт с маниокой, бататом и кукурузой — крахмалистой пищей древнейших обществ тропических областей, но даже в эпоху ЭРМ ему не вняли. Не хотели понять, что это изобилие пищи — кажущееся; на самом деле она неполноценна. Затем наступало постепенное истощение от нехватки белков, а на стадии дикости развивался каннибализм. Плохое питание увеличивало число немощных, вялых людей — тяжкое бремя для общества.

Фай Родис едва хватило сил смотреть на замученных раком больных, жалких, дефективных детей, апатичных взрослых; полных сил людей, энергия и жажда деятельности которых привели к износу сердца, неизбежному в условиях нелегкой жизни прошлых времен, и к преждевременной смерти.

Грознее всего оказались нераспознанные психозы, незаметно подтачивавшие сознание человека и коверкавшие его жизнь и будущее его близких. Алкоголизм, садистская злоба и жестокость, аморальность и невозможность сопротивляться даже минутным желаниям превращали, казалось бы, нормального человека в омерзительного скота. И хуже всего, что люди эти распознавались слишком поздно. Не было законов для ограждения общества от их действий, и они успевали морально искалечить многих людей вокруг себя, особенно же своих собственных детей, несмотря на исключительную самоотверженность женщин — их жен, возлюбленных и матерей...

«А вернее, — подумала Родис, — благодаря этой самоотверженности, терпению и доброте распускались пышные цветы зла из робких бутонов начальной несдержанности и безволия. Более того, терпение и кротость женщин помогали мужчинам сносить тиранию и несправедливость общественного устройства. Унижаясь и холуйствуя перед вышестоящими, они потом вымещали свой позор на своей семье. Самые деспотичные режимы подолгу существовали там, где женщины были наиболее угнетены и безответны: в мусульманских странах древнего мира, в Китае и Африке. Везде, где женщины были превращены в рабочую скотину, воспитанные ими дети оказывались невежественными и отсталыми дикарями».

Эти соображения показались Фай Родис интересными, и она продиктовала их записывающему устройству, скрытому в зеркальном крылышке правого плеча.

Увиденное потрясло Фай Родис. Она понимала, что фильмы древних звездолетов прошли специальный отбор. Люди, ненавидевшие свою планету, разуверившиеся в способности человечества выбраться из ада неустроенной жизни, взяли с собой все порочащее цивилизацию, историю народов и стран, чтобы второе поколение уже представляло себе покинутую Землю

местом неимоверного страдания, куда нельзя возвращаться ни при каких испытаниях, даже при трагическом конце пути. Вероятно, это же чувство разрыва с прошлым заставило предков нынешних тормансиан, когда им удивительно посчастливилось найти совершенно пригодную для жизни планету без разумных существ, объявить себя пришельцами с мифических Белых Звезд, отпрысками могучей и мудрой цивилизации. Ничто не мешало бы и позднее показывать фильмы земных ужасов. На их фоне современная жизнь Торманса выглядела бы сущим раем. Но стало уже опасно разрушать укоренившуюся веру в некую высшую мудрость Белых Звезд и ее хранителей — олигархов. Наверное, существовали и другие мотивы.

Фай Родис устала. Сняв тонкую ткань псевдотормансианской одежды, она проделала сложную систему упражнений и закончила импровизированным танцем. Нервозная скачка мыслей остановилась, и Родис стала вновь способна к спокойному размышлению. Усевшись на конец огромного стола в классической позе древних восточных мудрецов, Родис сосредоточилась так, что все окружающее исчезло и перед ее мысленным взором осталась только родная планета.

Даже она, специалистка по самому критическому и грозному периоду развития земного человечества, не представляла весь объем и всю глубину инферно, через которое прошел мир на пути к разумной и свободной жизни.

Древние люди жили в этих условиях всю жизнь, другой у них не было. И сквозь этот частокол невежества и жестокости из поколения в поколение веками протягивались золотые нити чистой любви, совести, благодатного сострадания, помощи и самоотверженных поисков выхода из инферно. «Мы привыкли преклоняться перед титанами искусства и научной мысли, — думала Родис, — но ведь им, одетым в броню отрешенного творчества или познания, было легче пробиваться сквозь тяготы жизни. Куда труднее приходилось обыкновенным людям — не мыслителям и не художникам. Единственным, чем могли они защищаться от ударов жизни, были избитые и помятые в ее невзгодах мечты и фантазии. И все же... вырастали новые, подобные им, скромные и добрые люди незаметного труда, по-своему преданные высоким стремлениям. И за Эрой Разобщенного Мира наступила Эра Мирового Воссоединения, и Эра Общего Труда, и Эра Встретившихся Рук.

Только теперь не умом, а сердцем поняла Фай Родис всю неизмеримость цены, заплаченной человечеством Земли за его коммунистическое настоящее, за выход из инферно природы. Поняла по-новому мудрость охранительных систем общества, остро почувствовала, что никогда, ни при каких условиях, во имя чего бы то ни было нельзя допускать ни малейшего отклонения к прежнему. Ни шага вниз по лестнице, обратно в тесную бездну инферно. За каждой ступенькой этой лестницы стояли миллионы человеческих глаз, тоскующих, мечтающих, страдающих и грозных. И море слез. Как велик и как прав был учитель Кин Рух, поставивший теорию инфернальности в основу изучения древней истории! Лишь после него окончательно выяснилось важнейшее психологическое обстоятельство древних эпох — отсутствие выбора. Точнее, выбор, столь осложненный общественным неустройством, что всякая попытка преодоления обстоятельств вырастала в морально-психологический кризис или в серьезную физическую опасность.

Вслед за мыслями об учителе перед Фай Родис возник образ другого человека, тоже не убоявшегося душевного бремени исследователя истории ЭРМ.

Организатор знаменитых раскопок, артистка и певица Веда Конг была для Родис с детских лет неизменным идеалом. Давным-давно тело Веды Конг испарилось в голубой вспышке высокотемпературного похоронного луча. Но великолепные стереофильмы Эры Великого Кольца по-прежнему несут через века ее живой обаятельный облик. Немало молодых людей увлекалось стремлением пройти тем же путем. В обществе, где история считается самой важной наукой, многие выбирают эту специальность. Однако историк, сопереживающий все невзгоды и труды людей изучаемой эпохи, подвергается подчас невыносимой психологической нагрузке. Большинство избегает грозных Темных Веков и ЭРМ, проникновение в которые требует особой выдержки и духовной тренировки.

Фай Родис почувствовала всю тяжесть прошлого, легшую на ее душу, тяжесть веков, когда история была не наукой, а лишь инструментом политики и угнетения, нагромождением лжи. Очень много усилий фальсификаторы прилагали, чтобы унизить рядовых людей древних времен и тем как бы компенсировать неполноценную, жалкую жизнь их потомков. Для людей новых, коммунистических эр истории Земли, бесстрашно и самоотреченно углублявшихся в прошлое, огромность встреченного там страдания ложилась черной тенью на всю жизнь.

Родис так глубоко ушла в свои раздумья, что не услышала лязга бронированной двери, осторожно открытой Чойо Чагасом. Верхнее освещение оставалось выключенным. Лишь бледные лучи фиолетовых газовых ламп перекрещивались в сумраке подземного зала. Не сразу Чойо Чагас сообразил, что видит свою гостью в обтягивающем, как собственная кожа, скафандре, и жадно принялся ее разглядывать. Фай Родис вернулась к настоящему, легко соскочила со стола и под пристальным взглядом Чойо Чагаса пошла к стулу, на котором лежала ее одежда. Чойо Чагас поднял руку, останавливая Родис. Она недоуменно посмотрела на него, поправляя волосы.

— Неужели все женщины Земли так прекрасны?

— Я самая обыкновенная, — улыбнулась Фай Родис и спросила: — Мой вид в скафандре доставляет вам удовольствие?

— Конечно. Вы так необычно красивы.

Фай Родис свернула тонкую одежду в пышный жгут и обмотала вокруг головы, наподобие широкого тюрбана. Надетый слегка набекрень, тюрбан придал правильным и мелким чертам земной женщины беспечное и лукавое выражение.

Чойо Чагас зажег верхний свет и медлил, глядя на гостью с нескрываемым восхищением.

— Неужели в звездолете есть женщины еще лучше вас?

— Да. Олла Дез, например, но она не появится здесь.

— Жаль.

— Я попрошу ее станцевать для вас.

Они вернулись в зеленую комнату, покинутую Родис три дня назад. Чойо Чагас предложил ей отдохнуть, но Родис отказалась.

— Я спешу. Я виновата перед спутниками. Мои друзья, наверное, тревожатся. Фильмы земного прошлого заставили меня забыть об этом. Но я так признательна вам за откровенность! Легко представить, насколько важна для историка эта встреча с документами и произведениями древнего искусства, утраченными у нас на Земле.

— Вы одна из очень немногих, видевших это, — сурово сказал Чойо Чагас.

— Вы связываете меня обещанием ничего не говорить жителям вашей планеты?

— Вот именно!

Фай Родис протянула руку, и опять Чойо Чагас попытался задержать ее в своей, но раздался легкий свист переговорного устройства. Владыка отвернулся к столику, сказал несколько неразборчивых слов. Вскоре в комнату вошел взволнованный инженер Таэль. Остановившись у двери в почтительной позе, он поклонился Чойо Чагасу, не сразу заметив Родис в глубине комнаты.

— Гости Земли ищут свою владычицу. Они явились в Зал Осуждения и привели с собой один из девятиножных аппаратов. Какие последуют приказания?

— Никаких. Владычица их здесь, она сейчас присоединится к ним. А вы останетесь для совета!

Инженер Таэль повернулся и остолбенел. Металлическая Родис, увенчанная задорным черным тюрбаном, под которым светились ее необыкновенные зеленые глаза, показалась ему могущественным созданием неведомого мира. Она стояла независимо и свободно, что было немыслимо для женщины Ян-Ях, полностью открытая и в то же время такая далекая и недоступная, что инженеру стало больно до отчаяния.

Фай Родис приветливо улыбнулась ему и обратилась к председателю Совета Четырех:

— Вы позволите повидаться с вами?

— Конечно. Не забудьте о вашей Олле и танцах!

Фай Родис вышла. Она теперь ходила без сопровождающего через пустынные коридоры и безлюдные залы. В первом зале с розовыми стенами, с клинописью черных стрел и ломаных линий стояла женщина. Родис узнала жену владыки, давшую свое имя целой планете. Красивые губы Янтре Яхах скривились в надменной улыбке, резче стал недобрый излом бровей.

— Я вижу вашу игру, но не ожидала от ученой предводительницы пришельцев такого бесстыдства и наглости!

Фай Родис молчала, вспоминая семантику забытых на Земле бранных слов, с которыми пришлось познакомиться на Тормансе. Это еще больше разозлило тормансианку.

— Я не позволю, чтобы вы разгуливали здесь в таком виде! — вскричала она.

— В каком виде? — недоуменно оглядела себя Фай Родис.— А, кажется, я понимаю. Но ваш муж сказал, что этот вид доставляет ему удовольствие.

— Сказал! — задохнулась от гнева Янтре Яхах.— Вы не соображаете, что вы непристойны! — Она с подчеркнутым отвращением оглядела Родис.

— Одеяние не годится для улицы при ваших нравах, — согласилась Родис.— Но в жилищах? Ваша одежда, например, мне кажется и более красивой и более вызывающей.

Тормансианка, одетая в платье с низким корсажем, обнажающим грудь, и короткой разрезанной на узкие ленты юбкой, при каждом движении открывающей бедра, казалась действительно более голой.

— Кроме того, — едва заметная улыбка скользнула по губам Родис, — в этом металле я абсолютно недоступна.

— Вы, земляне, или безмерно наивны, или очень хитры. Неужели вы не понимаете, что красивы, как ни одна женщина моей планеты? Красивы, необыкновенны и опасны для наших мужчин... Даже только смотреть на вас...— Янтре Яхах нервно сжала руки.— Как мне объяснить вам? Вы

привыкли к совершенству тела, это стало у вас нормой, а у нас — редкий дар.

Фай Родис положила руку на обнаженное плечо Янтре Яхах, и та отшатнулась, замолчав.

— Простите меня, — слегка поклонилась Родис. Она размотала тюрбан и мгновенно оделась.

— Но вы обещали мужу какие-то танцы?

— Да, и это придется выполнить. Я не думаю, что это может быть вам неприятно. Однако отношения с владыкой планеты — особое дело, касающееся контакта наших миров.

— И я тут ни при чем? — снова вспыхнула тормансианка.

— Да!— подтвердила Фай Родис, и Янтре Яхах скрылась, немая от ярости.

Фай Родис постояла в раздумье и медленно пошла через зал. Сильная усталость притупила ее всегдашнюю остроту чувств. Она пересекла второй, желтый с коричневым, зал и только вступила в последнюю, слабо освещенную галерею, соединявшую покой владыки с отведенной землянам частью дворца, как почувствовала чей-то взгляд. Родис мгновенно собралась в психическом усилии, называвшемся приемом отражения злонамеренности. Сдавленный звук, походивший на вскрик удивления и недоумения, послышался из темноты. Родис, напрягая волю, прошла мимо, а позади нее, низко пригнувшись, бежал человек, направляясь в ту сторону, откуда она пришла.

И тут-то внизу что-то тяжко грохнулось. Вопль СДФ, призывающий Родис, проник во все закоулки дворца. Пробежали стражники. Это был тот самый момент, когда «спасательная» компания провалилась сквозь пол Зала Мрака, или Зала Осуждения, как он официально назывался.

Люди Земли еще не понимали, что охрану дворца и низших начальников нельзя рассматривать как нормальных, пусть недостаточно образованных и воспитанных, но отвечающих за свои поступки людей. Нет, «лиловые» были морально ущербными психологически сломленными существами, неспособными рассуждать и полностью освободившими себя от ответственности, преданными без остатка воле высших начальников. К такому заключению и пришли звездолетчики, обсудив случившееся после короткого отчета Фай Родис.

— Все мы наделали множество ошибок.— Родис обвела товарищей смеющимися глазами.— Мне ли корить вас, когда мне самой хочется как-то расшевелить, разворотить это чугунное упорство, желание сохранить чудовищные порядки?

— Нас совсем подавили хранилища информации, — сказала Чеди, — старинные храмы и другие брошенные помещения, набитые штабелями книг, бумаг, карт и документов, заплесневевших, иногда полусгнивших. Чтобы разобрать хотя бы одно такое хранилище, нужны сотни усердных работников, а примерное число хранилищ по всей планете — около трехсот тысяч.

— Не лучше дело и с произведениями искусства, — заметил Гэн Атал.— В домах Музыки, Живописи и Скульптуры выставлено лишь то, что нравится Совету Четырех и их ближайшим приспешникам. Все остальное, старое и новое, свалено в запертых, никем не посещаемых зданиях. Я заглянул в одно. Там груды слежавшихся холстов и беспорядочные пирамиды статуй, покрытых толстым слоем пыли. Сердце сжимается при взгляде на это кладбище труда, мечтаний, надежд, так «реализованных» человечеством Ян-Ях!

— В общем, все ясно, — сказала Эвиза Танет.— Находясь здесь, мы

ничего не увидим, кроме того, что нам захотят показать. В результате мы доставим на Землю чудовищно искаженную картину жизни Торманса, и наша экспедиция принесет слишком малую пользу!

— Что же вы предлагаете? — спросил Вир Норин.

— Отправиться в гущу обычной жизни планеты, — убежденно ответила Эвиза.— На днях мы сможем снять скафандры, и наш металлический облик не будет смущать окружающих.

— Снять скафандры? А оружие убийц? — воскликнул Гэн Атал.

— И все же придется, — спокойно сказала Родис, — иначе нас будут сторониться люди Торманса. А только через них мы получим истинное представление о жизни здесь, ее целях и смысле. Нелепо рассчитывать, что наша семерка раскопает огромные залежи заброшенной информации и сможет разобраться в ней. Нам нужны люди из разных мест, разных общественных уровней и профессий. Профессия здесь очень важна, она у них одна на всю жизнь.

— И несмотря на это, они работают плохо, — заметила Чеди.— Тивиса и Тор осматривали биологические институты планеты и были поражены невероятной запущенностью заповедников и парков: истощенные, умирающие леса и совершенно выродившаяся фауна. Снимайте скорее скафандры, Эвиза!

— Придется потерпеть еще дней шесть.

Звездолетчики стали расходиться по комнатам, чтобы подготовить очередную передачу на «Темное Пламя».

— Вы хотели увидеть Веду Конг? Тогда пойдемте,— вдруг обратилась Родис к Чеди.

Долго безмолвствовавший черный СДФ засеменил из угла к дивану. Фай Родис достала из него «звездочку» памятной машины с еще нетронутой оберткой и развернула фольгу. Гранатово-красный цвет говорил о биографии лирического направления. Несколько манипуляций Родис — и перед высокой, задрапированной голубым стеной возникло живое видение. Стереофильмы ЭВК ничем не уступали современным, и Веда Конг, сквозь ушедшие в прошлое века, вошла и села перед Родис и Чеди в тонко плетенное металлическое кресло того времени.

— Я поставила на пятый луч,— шепотом сказала взволнованная Родис.— То, что я никогда не видела сама,— это последнее десятилетие ее жизни. Когда она закончила расшифровку военной истории четвертого периода ЭРМ...

Чеди, устроившаяся в дальнем углу дивана, видела перед собой одновременно Веду Конг и Фай Родис, как бы сидящих друг против друга, женщину Эры Великого Кольца и женщину Эры Встретившихся Рук... Каждая школьница Земли знала Веду Конг, исследовательницу страшных подземелий ЭРМ, героиню древних сказок, возлюбленную двух знаменитых людей своего времени — Эрг Ноора и Дар Ветра, приятельницу легендарного Рен Боза. Чеди сравнивала знакомый образ с живой продолжательницей ее дела. Фай Родис не пришлось пробиваться сквозь толщи камня и опасности оградительных устройств. В бездне космоса на расстоянии, невообразимом даже для людей эпохи Веды Конг, она нашла целую планету, как бы уцелевшую от тех критических времен земного человечества. Чеди с детским восхищением рассматривала тонкое лицо Веды, нежное, с ласковыми серыми глазами, с мечтательной улыбкой. Голова чуть склонилась под тяжестью огромных кос. Годы не отразились на девичьей стройности ее фигуры, но Чеди, по сравнению с фильмами молодых лет Веды, показалось, будто скрытая печаль пронизывала все ее существо.

Великое многообразие человеческого облика на Земле, особенно в Эру Общего Труда, когда стали сливаться самые различные расы и народности, превосходило всякое воображение. Всевозможные оттенки волос, глаз, цвета кожи и особенности телосложения сочетались в потомках кхмеро-эвенко-индийцев, испано-русско-японцев, англо-полинезо-зулусо-норвежцев, баско-итало-арабо-индонезийцев и т. д. Перечисление этих бесчисленных комбинаций занимало целые катушки родословных. Широта выбора генетических сочетаний обеспечивала бесконечность жизни без вырождения, то есть беспредельное восхождение человечества. Счастье Земли заключалось в том, что человечество возникло из различных отдаленных групп и создало на историческом пути множество обособлений, культурных и физических. К Эре Великого Кольца тип человека Земли стал более совершенным, заменив многоликие типы Эры Общего Труда. До конца этой Эры люди разделялись на две главные категории: неандерталоидную — крепкую, с массивными костями грубоватого сложения,— и кроманьоидную, с более тонким скелетом, высоким ростом, более хрупкую психически и тонкую в чувствах. Дело генетиков было взять от каждой лучшее, слив их в одно, что и сделали на протяжении ЭВК. А к ЭВР чистота облика стала еще лучше выражена, как это видела Чеди, сравнивая аскетическую твердость как бы вырезанного из камня лица Фай Родис с мягким обликом Веды Конг.

Фай Родис отражала еще одну ступень повышения энергии и универсальности человека, сознательно вырабатываемой в обществе, избегающем гибельной специализации. Фай Родис во всем казалась плотнее, тверже женщины ЭВК — и очертаниями сильного тела с крепким скелетом, и посадкой головы на высокой, но не тонкой шее, и непреклонным взглядом глаз, расставленных шире, чем у Веды, и соответственно большей шириной лба и подбородка.

Помимо этих внешне архаичных черт большей психо-физической силы и крепости тела, Родис и внутренне отличалась от Веды Конг. Если к Веде любой потянулся бы безоговорочно и доверчиво, то Родис была как бы ограждена чертой, для преодоления которой требовались уверенность и усилие. Если еда вызывала любовь с первого взгляда, то Родис — преклонение и некоторую опаску.

Веда Конг обратилась к невидимой аудитории:

«Две песни военного периода ЭРМ, недавно переведенные Тир Твистом. Мелодии оставлены без изменения».

Чьи-то руки передали Веде легкий музыкальный инструмент с широким плоским резонатором и струнами, натянутыми на длинный гриф. Пальцы ее извлекли долгие звенящие звуки простой и тоскливой, как падающие слезы, мелодии.

«Молитвы о пуле»,— сказала Веда, и ее низкий сильный голос наполнил большую комнату дворца.

Обращение к какому-то богу с мольбой о ниспослании гибели в бою, потому что в жизни для человека уже более ничего не оставалось.

— «Смертельную пулю пошли мне навстречу, ведь благость безмерна твоя»,— повторила Чеди.— Как могло общество довести человека, видимо спокойного и храброго, до молитвы о пуле?

Другая песня показалась еще более невероятной:

Счастлив лишь мертвый! Летят самолеты,
Пушки грохочут, и танки идут.
Струи пуль хлещут, живые трепещут,
И горы трупов растут...

Веда Конг пела, склоняясь к рокочущим тоскливо и грозно струнам. Незнакомая горькая черточка искажала ее губы, созданные для открытой улыбки.

«Выйдешь на море — трупы на волнах...»

Едва исчезло изображение, Фай Родис встала и сказала с горечью:

— Веда Конг лучше нас ощущала всю безмерность страдания, перенесенного нашими предками.

— Неужели антигуманизм был так широко распространен в ЭРМ, неужели он определял течение всей жизни? — спросила Чеди.

— К счастью, нет. И все же антигуманизм пронизывал все, даже искусство. Самые большие поэты тех времен позволяли себе стихи вроде этих.— Родис произнесла низко и громко: — «Пули погуще по оробелым, в гущу бегущим грянь, парабеллум!»

— Невозможно! — изумилась Чеди.— Что такое парабеллум?

— Пулевое карманное оружие.

— Так это серьезно? Бить гуще пулями по бегущим, спасающимся от опасности? — Чеди помрачнела.

— Совершенно серьезно.

— Но к чему же это привело?

Вместо ответа Родис открыла боковую стенку СДФ и вынула продолговатый ромбический футляр кристалловолнового орга́на. Подняв его на разведенных пальцах левой руки, она несколько раз провела над ним ладонью правой. Зазвучала музыка, могучая и недобрая, катившаяся валом, в котором тонули и захлебывались диссонансные аккорды растянутых звуков. Но эти приглушенные жалобы крепли, сливались и скручивались в вихрь проклятья и насмешки.

Чеди невольно сжалась.

Звуки с визгом, то понижаясь, то повышаясь, расплывались в приглушенном рычании. В этот хаос ломающейся, скачущей мелодии вступил голос Фай Родис:

Земля, оставь шутить со мною,
Одежды нищенские сбрось
И стань, как ты и есть,— звездою,
Огнем пронизанной насквозь!

Оглушительный свист и вой, будто вспышка атомного пламени, взвились следом, и музыка оборвалась.

— Что это было? Откуда? — задыхаясь, спросила Чеди.

— «Прощание с планетой скорби и гнева», пятый период ЭРМ. Стихи более древние, и я подозреваю, что поэт некогда вложил в них иной, лирический, смысл. Желание полного уничтожения неудавшейся жизни на планете, охватившее его потомков, реализовалось, в частности, в бегстве предков тормансиан.

— И несмотря на все это, наша Земля возродилась светлой и чистой.

— Да, но не все человечество. Здесь, на Тормансе, все повторяется.

Чеди прильнула к Фай Родис, словно дочь, ищущая поддержки матери.

Глава VII

ГЛАЗА ЗЕМЛИ

«Темное Пламя» стоял как дикий утес на сухой и пустынной приморской степи. Ветер уже навеял ребристый слой тонкого песка и пыли на площадку спекшейся вокруг звездолета почвы. Ничей живой след не пересекал гребешков ряби. Иногда сквозь звукопроницаемые воздушные фильтры до землян доносились похожие на выкрики разговоры патрулировавших кругом охранников и громкий шум моторов транспортных машин.

Звездолетчики понимали, что охрана стоит здесь для того, чтобы воспрепятствовать контакту с тормансианами, а вовсе не для защиты гостей от мифических злоумышленников. Попытка нападения на «Темное Пламя» однажды ночью была актом государства. Она не застала звёздолетчиков врасплох, а аппараты ночной съемки зафиксировали подробности «боя». Боя, собственно, не произошло, «Лиловые», внезапно обстрелявшие галерею и ринувшиеся в ее наземное устройство, были отброшены защитным полем и ранены собственными выстрелами. По недостатку опыта Нея Холли перестаралась, включив поле внезапно и на большую мощность. С тех пор никто не приближался к «Темному Пламени». Впервые попавшему сюда человеку могло показаться, что звездолет покинут в давние времена.

Экипаж ожидал полной акклиматизации, когда можно будет устроить открытую галерею и, сберегая запас воздуха Земли, распахнуть люки корабля. Див Симбел и Олла Дез мечтали совершить экскурсию в море, а Гриф Рифт и Соль Саин прежде всего думали об установлении контакта с населением Торманса. С трудом они начали разбираться в жизни планеты, близкой по людям, чужой по истории, социальному устройству, быту и неизвестным целям. Терпеливое выжидание стало одним из основных качеств воспитанного землянина, и здесь оно переносилось бы легче, если бы не постоянная тревога за семерых товарищей, погрузившихся в поток жизни чужой планеты и представленных воле неизвестных ее законов. В любую минуту они должны быть готовы помочь товарищам.

Все каналы связи сводились к двум — сегменту 46 в хвостовом полушарии и двойному каналу, направленному на город Средоточия Мудрости. Они поднимались над планетой до отражательного заатмосферного слоя и оттуда каскадом падали вниз, накрывая воронкой широкую площадь. Излучатели главного канала походили на глаза в куполе «Темного Пламени», днем отливающие стеклянной синевой, а ночью горевшие желтым огнем. Эти бдительные глаза вселяли в тормансиан страх. В недрах корабля внутри сфероида пилотской кабины сидел неотлучный дежурный, следя за семью зелеными огоньками на верхней полосе наклонной доски пульта. Ночью обычно дежурили мужчины из-за древней привычки этого пола к ночному бдению, сохранившейся от тех незапамятных времен, когда с наступавшей темнотой около жилья или стоянки человека бродили опасные хищники.

Неделя шла за неделей, и регулярные свидания с товарищами по ТВФ смягчали остроту разлуки и опасений. Див Симбел даже предложил переключить оптические индикаторы на звуковую тревогу и отказаться от дежурства около пульта. Гриф Рифт отверг мнимое усовершенствование.

— Мы не имеем права лишать товарищей наших заботливых мыслей. Благодаря им они чувствуют поддержку и связь с этим кусочком земного

мира,— командир звездолета обвел корабль широким гордым жестом.— Там, на Земле, каждый из нас находился в психическом поле доброй внимательности и заботы. Здесь все время чувствуется чужое, разбросанное и недоброе. Мы никогда еще не были так одиноки, а душевное одиночество еще хуже, чем отрешенность от привычного мира. Это очень тягостно при тяжелых испытаниях.

В один из вечеров Гриф Рифт сидел перед пультом персональных сигналов, поставив локти на полированную доску и подперев кулаками тяжелую голову.

Позади него медлительно и бесшумно возник Соль Саин.

— Что вы бродите, Соль? — не поворачиваясь, спросил Рифт.— Неспокойно на душе?

— Я как бегун, весь выложившийся в рывок и остановленный задолго перед финишем. Трудно переносить вынужденное безделье.

— Вы взяли на себя упаковку получаемой информации?

— Пустяковая работа. Нам так мало удается добыть чего-нибудь стоящего.

— Беда в том, что тормансиане не сотрудничают с нами, иногда просто мешают.

— Подождите еще немного. Мы завяжем связь с людьми, а не с учреждениями власти.

— Скорей бы! Так хочется сделать хорошее для них. И успеть побольше. А сейчас хоть начинай курить какой-нибудь легкий наркотик.

— Что вы говорите, Соль!

Инженер Соль Саин поднял голову, и зеленые огоньки придали нездоровый оттенок его сухому лицу, туго обтянутому гладкой кожей.

— Может быть, это неизбежно в наших условиях?

— Что вы имеете в виду, Соль?

— Бессилие. Нельзя пробить самую прочную из всех стен — стену психологическую, которой окружили нас...

— Но почему нельзя? Я бы на вашем месте использовал свои знания и талант конструктора, чтобы подготовить наиболее важные инструменты для жителей Торманса. Они им очень нужны.

— И что, по-вашему, всего важнее?

— Индикатор враждебности и оружие. И то и другое миниатюризованное до предела, размером с пуговицу, в виде маленькой пряжки или женской серьги.

— И оружие?

— Да! От бомбочек УБТ до лучевых пронизывателей.

— УБТ? Вы можете думать об этом и находить аморальным мое мимолетное желание закурить? Сколько жизней унес УБТ две тысячи лет назад у нас, да и на других планетах!

— А сколько спас, сокрушив орды убийц?

— Я не могу признать вашу правду. Это было необходимо в древние времена, и мы знаем об этом лишь из книг. Я не могу...— Соль Саин умолк, видя, как внезапно выпрямился командир.

Левый верхний зеленый глазок померк, мигнул раза два и снова засиял ровным светом. Сосредоточенное лицо Гриф Рифта ожило, большие, инстинктивно сжавшиеся кулаки разжались. Соль Саин облегченно вздохнул. Оба долго молчали.

— Вы очень любите ее, Рифт? — Соль Саин коснулся руки Гриф Рифта.— Я спросил не из любопытства,— твердо сказал он,— ведь я тоже...

— Кто? — отрывисто спросил Рифт.

— Чеди! — ответил Соль Саин, уловив тень удивления, мелькнувшую во взгляде командира, и добавил: — Да, маленькая Чеди, а вовсе не великолепная Эвиза!

Рифт смотрел на левый верхний огонек, осторожно касаясь пальцами внешнего ряда кнопок на пульте, будто поддаваясь искушению вызвать на связь столицу Торманса.

— Обреченность Родис отгораживает ее от меня, а за моей спиной тоже тень смерти.— Рифт встал, прошелся несколько раз по кабине и приблизился к Соль Саину с едва приметным смущением.

— Есть древняя песенка: «Я не знаю, что ждет в темноте впереди, и назад оглянуться боюсь!»

— И вы, упрекая меня в слабости, делаете такое признание?

— Да, потому что упрекаю себя тоже. И прощаю тоже.

— Но если они посмеют...

— Я сказал ей, что разрою всю планету на километр глубины, чтобы найти ее.

— И она запретила?

— Конечно! «Рифт, разве вы сможете это сделать с людьми?» — командир старался передать интонации Фай Родис, укоряющие, печальные.— «Вы не предпримете даже малых действий насилия...»

— А прямое нападение на «Темное Пламя»? — спросил Соль.

— Другое дело. Третий закон Ньютона они уже постигли на опыте. И жаль, что в этом обществе он не осуществляется при индивидуальном насилии. Вся их жизнь была бы куда счастливее и проще...

— Так вот зачем оружие!

— Именно!

— Но если его получают все?

— Ничего. Каждый будет знать, что рискует головой, и двадцать раз подумает, прежде чем затевать насилие. А если подумает, то вряд ли совершит.

Верхний левый глазок угас на мгновение, вспыхнул и мигнул несколько раз.

Облегченно улыбаясь, Рифт кинулся к пульту, включил систему краевых частот. Малый экран вспомогательного ТВФ послушно засветился, ожидая импульса. Гриф Рифт перекрыл обратную связь и обратился к Соль Саину:

— Меня встревожило, мне показалось... Но я вспомнил про уговор с Фай Родис. Когда ей захочется посоветоваться, она подаст сигнал в часы моего дежурства.

Соль Саин пошел к выходу.

— Оставайтесь! Я не жду секретов, тех вечных и милых секретов, единственных, что уцелели еще на нашей Земле,— с грустью сказал Рифт.

Соль Саин стоял в нерешительности.

— Может быть, с ней будет Чеди,— обронил Рифт.

Инженер-вычислитель вернулся в кресло.

Ждать пришлось недолго. Экран вспыхнул фиолетовым оттенком газосветных ламп планеты Ян-Ях. В фокусе был небольшой квадратный сад на уступе обращенной к горам части дворца. Гриф Рифт знал, что этот сад отведен для земных гостей, и не удивился, увидев Фай Родис в одном скафандре. С ней рядом шел тормансианин с густой черной бородой — по описанию Рифт узнал инженера Таэля. Соль Саин слегка подтолкнул командира, показывая на СДФ, стоящие в двух диагональных углах сада. «Экранировано для разговора наедине,— догадался Рифт,— но тогда зачем я?» Ответ на этот вопрос пришел не сразу. Фай Родис не

смотрела в сторону звездолета и вообще вела себя так, как если бы не подозревала о включенном ею передатчике СДФ.

Она шла с опущенной головой, задумчиво слушая инженера. Мало практиковавшиеся в разговоре Ян-Ях, звездолетчики понимали его речь лишь отчасти. Шелестела на ветру высокая трава, метались диковатые, развернутые веером кусты, и тяжелые диски темно-красных цветов клонились на упругих стеблях. Маленький сад был полон беспокойства хрупкой жизни, особенно чувствовавшейся из недоступной даже космическим силам пилотской кабины корабля.

Сад окружало кольцо тьмы. На Тормансе ночное освещение сосредоточивалось в больших городах, важных транспортных узлах и на заводах. На всем остальном пространстве планеты темнота господствовала половину суток. Небольшой и удаленный спутник Торманса едва рассеивал мрак. Редкие звезды со стороны галактического полюса подчеркивали черноту неба. В направлении центра Галактики слабо светилось слитное пятно звездной пыли, тоскливо угасавшее в космической бездне.

Фай Родис рассказывала тормансианину о Великом Кольце, которое помогало земному человечеству уже около полутора тысяч лет, поддерживая веру в могущество разума и радость жизни, раскрывая необъятность космоса, избавляя от слепых поисков и тупиков на пути. А теперь то, что раньше проходило зримо, но бесплотно на экранах внешних станций Земли, стало близким — с раскрытием тайны спирального пространства и звездолетами Прямого Луча.

— Наступила Эра Встретившихся Рук, и вот мы здесь,— закончила Родис.— Если бы не Великое Кольцо, могли бы пройти миллионы лет, прежде чем мы нашли бы друг друга, две планеты, населенные людьми Земли.

— Людьми Земли! — вскричал пораженный инженер.

— Разве вы не знаете? — нахмурилась Родис. Считая Таэля приближенным Совета Четырех, она думала, что ему известна тайна звездолетов и подземелья во дворце. Инженер Хонтээло Толло Фраэль оказался первым из трехименных тормансиан, узнавших тайну Совета.

Таэль беззвучно шевелил губами, силясь что-то сказать.

Родис приложила ладони к его вискам, и он облегченно вздохнул.

— Я нарушила обещание, данное вашему владыке. Но я не могла догадаться, что заведующий информацией всей планеты не знает подлинной ее истории.

— Вы, я вижу, не понимаете до конца, какая пропасть отделяет нас, обычных людей, от тех, кто наверху и кто им прислуживает.

— Такая же, как между «джи» — долгоживущими, и «кжи» — короткоживущими, теми, кто не получает образования и обязан быстро умереть?

— Больше. «Кжи» могут пополнить знания самостоятельно и сравняться с нами в понимании мира, а мы без чрезвычайных обстоятельств никогда ничего не узнаем помимо того, что им разрешено свыше.

— И вы не знаете, что передачи Великого Кольца иногда ловят здесь, на планете Ян-Ях?

— Не может быть!

Фай Родис слегка улыбнулась, вспомнив посещение библиотеки в Институте Общественного Устройства.

Польщенный интересом землян, начальник-«змееносец» провел их через огромный зал с обилием колонн, выступов, резного камня и позолоченного дерева, покрытого барельефами. Змеи, похожие на цветы,

или цветы — на змей,— этот назойливый мотив повторялся на ступенчатых выступах верхней части стен, решетках хоров, капителях и подножьях колонн. Узкие окна прорезали массивы книжных шкафов, создавая на каменном полу перекрест веерных теней, а прозрачные купола потолка освещали высоко расположенные скульптуры животных, раковин и людей в искаженных безумием или яростью масках. По центральной оси длинного зала на причудливых медных подставках стояли небесные глобусы, отгороженные друг от друга столами с цветными картами. Одного взгляда на них было достаточно землянам. Изображения других миров в таких подробностях и приближении не могли дать никакие телескопы. Следовательно, тормансиане изредка ловили передачи Великого Кольца.

Бедняга инженер продолжал смотреть на Родис удивленными глазами.

«Взгляд идеалиста»,— подумала Родис, сравнив его с бегающими глазами «змееносцев» или жестким, пристальным взором лиловых охранников. Она сделала условный знак.

Гриф Рифт включил обратную связь.

— Познакомьтесь с вашими собратьями в звездолете, Таэль,— сказала Родис, показывая на стереоизображения Рифта и Саина,— только говорите медленнее. У них недостаточно практики в языке Ян-Ях.

Звездолетчикам понравился нервный тормансианин, не таивший никаких злых мыслей.

Фай Родис медленно пошла вдоль цветочной куртины, предоставив Таэлю самому говорить с ее друзьями.

— Вы можете заполнить пропасть нашего незнания? Можете показать нам и Землю, и планеты других звезд, и наивысшие достижения их цивилизации? — возбужденно спрашивал инженер.

— Все, что мы изучили сами! — заверил его Рифт.— Но во вселенной известно так много явлений, перед которыми мы стоим как дети, еще не умеющие читать.

— Нам хотя бы десятую часть ваших знаний,— улыбнулся инженер Таэль,— я говорю — нам. Есть много людей на планете Ян-Ях, куда более заслуживающих знакомства с вами, чем я! Как сделать это? Сюда, в этот дворец, им нет входа.

— Можно демонстрировать фильмы и говорить хоть с тысячей человек около звездолета,— сказал Гриф Рифт.

— И обеспечить их защиту,— добавил Соль Саин.

Они стали обсуждать проект. Родис не принимала участия. Гриф Рифт поглядывал на ее черную фигуру, стоявшую поодаль около какой-то странно искривленной скульптуры на развилке двух садовых дорожек.

— Самая главная трудность, как всегда, не в технике, а в людях,— подвел итог Гриф Рифт.— Оказывается, вы не умеете различить психическую структуру человека по его внешнему виду.

— Вы предвидели это, говоря об индикаторе враждебности,— напомнил Соль Саин.

— Пока его нет, что толку в моем предвидении!

Подошла Фай Родис и сказала:

— Пока мы не придумали психоиндикатора, придется нам взять на себя его роль. Эвиза, Вир и я, как более тренированные психически, будем отбирать знакомых и друзей Таэля. Так соберется начальная аудитория.

Когда в кабине звездолета исчезло изображение сада, Соль Саин сказал:

— Все это напоминает легенду об Иоланте, только наоборот.

— Наоборот? — не понял Рифт.

— Помните легенду о слепой девушке, не понимавшей, что она слепая, пока не явился к ней рыцарь? И тут есть все: и запретный сад, и ослепленный невежеством мужчина, и рыцарь из широкого мира, только в женском обличье. И даже в броне...

Гриф Рифт скупо улыбнулся, тихо постукивая пальцами по пульту.

— Всегда один и тот же вопрос: дает ли счастье знание или лучше полное невежество, но согласие с природой, нехитрая жизнь, простые песни?

— Рифт, где вы видели простую жизнь? Она проста лишь в сказках. Для мыслящего человека извечно единственным выходом было познание необходимости и победа над ней, разрушение инферно. Другой путь мог быть только через истребление мысли, избиение разумных до полного превращения человека в скота. Выбор: или вниз — в рабство, или вверх — в неустанный труд творчества и познания.

— Вы правы, Соль. Но как помочь им?

— Знанием. Только знающие могут выбирать свои пути. Только они могут построить охранительные системы общества, позволяющие избежать деспотизма и обмана. Результат невежества перед нами. Мы на разграбленной планете, где социальная структура позволяет получить образование лишь двадцатой части людей, а остальные восхваляют прелесть ранней смерти. Но довольно слов, я скроюсь на несколько дней и подумаю над индикатором. Передайте упаковку информации Менте Кор.

Соль Саин вышел. Длинная ночь Торманса тянулась медленно. Гриф Рифт думал: не было ли в намерении помочь жителям Торманса того запретного и преступного вмешательства в чужую жизнь, когда не понимающие ее законов представители высшей цивилизации наносили ужасающий вред процессу нормального исторического развития? Человечества некоторых планет отразили эти вмешательства в легендах о посланцах Сатаны, духах тьмы и зла.

Рифт стал ходить по кабине, обеспокоенно поглядывая на семь зеленых огней, как бы спрашивая ответа. Он хотел посоветоваться с Фай Родис, но не успел. Она сама познакомила их с тормансианином низшего разряда. Она выбрала удачный момент разговора, из которого землянам сразу стал ясен преступный разрыв информации.

Нет, неоспоримо право каждого человека на знание и красоту. Они не нарушат исторического развития, если соединят разорванные путеводные нити! Наоборот, они исправят злонамеренно приостановленное течение исторического процесса, вернут его к нормальному пути. Велико счастье спасти одного человека, какова же будет радость, если удастся помочь целой планете!

И в абсолютном безмолвии ночного корабля его командиру почудился голос Фай Родис, твердо и ясно сказавший ему: «Да, милый Рифт, да!»

В легких аварийных скафандрах Нея Холли, Олла Дез, Гриф Рифт и Див Симбел стояли на куполе звездолета. Высоко над ними белый баллон, слабо журча турбинкой, удерживавшей его против ветра, сверкал зеркалами электронного перископа. Перед Дивом Симбелом раскрылась во всех подробностях окружавшая звездолет местность. Пилот поднял руку, и Гриф Рифт повернул широко расставленные объективы дальномера-стереотелескопа в направлении, обозначившемся на лимбе. Все земляне, поочередно приникая к окошечку дальномера, согласились с выбором инженера-пилота.

Среди бесплодных обрывов коричневой земли, врезанных в гряду желтых прибрежных холмов, находилась циркообразная ложбина, резко ограниченная выступами опрокинутых слоев песчаника. Обращенная к

звездолету сторона приморской гряды подрезалась крутым обрывом, защищавшим ложбину от ветра. На мористой стороне холмов к самой воде спускалась густая заросль кустарника.

— Место идеально! — сказал довольный Симбел.— Ограждаем защитными полями оба долготных края ложбины и еще со стороны хвосто-полярной вплоть до моря. Зрители будут приплывать ночью, выходить в кустах и переваливать в долину.

— А маяк? — спросил Гриф Рифт.

— Не нужен,— ответила Олла Дез.— Для защитного поля придется ставить башенку, она же будет служить и передатчиком ТВФ в километре от «Темного Пламени». Поднимем мачту со щелевым ультрафиолетовым излучателем, а их пусть снабдят люминесцентными гониометрами.

Наблюдавшие за звездолетом охранники увидели, как спустился белый баллон и чудовище, явившееся из неведомых глубин космоса, заревело. Два протяжных гудка означали вызов представителя охраны.

Явившийся офицер понял, что стоявшие на куполе земляне намерены что-то делать в стороне от корабля. В этой изрытой оврагами местности не было ни души, и офицер подал разрешающий сигнал. Волны пыли и дыма побежали от звездолета, превращаясь в отвесную стену, закрывшую от наблюдения приморские холмы. Когда дым рассеялся, тормансиане увидели прямую дорогу, пробитую через кусты и овраги и кончавшуюся на возвышенной плоскости, где росли редкие деревья с колючими, обвислыми ветвями. Офицер охраны решил сообщить начальникам о неожиданной активности землян. Не успел он связаться по радиотелефону с Управлением Глаз Совета, как из недр «Темного Пламени» выползло сооружение, подобное низкому вертикально поставленному цилиндру, и, величественно переваливаясь, отправилось по только что проложенной дороге. Через несколько минут цилиндр достиг конечной точки и завертелся там, выравнивая каменистую почву. Он вращался все быстрее и вдруг стал расти вверх, выдвигая оборот за оборотом спирально скрученную толстую полосу белого металла. Пока офицер охраны докладывал, среди деревьев уже поднялась сверкающая башенка, похожая на растянутую пружину и увенчанная тонким шестом с кубиком на верхушке.

Из звездолета никто не выходил, башенка стояла неподвижно. Все стихло над сухим и знойным побережьем. И тормансиане решили ничего не предпринимать.

В тот же вечер «Темное Пламя» передал Фай Родис карту местности и план импровизированного театра. Родис предупредила, что владыка Торманса напомнил ей о «состязании» в танцах. Олла Дез обещала за сутки приготовить свое выступление.

Даже Соль Саин вышел из своего уединения, когда включили большой стереоэкран звездолета.

Во дворце Цоам четыре СДФ дали развернутое изображение просторной круглой комнаты корабля и — обратной связью — весь Жемчужный зал дворца.

Знаменитая танцовщица Гаэ Од Тимфифт выступила со своим партнером, плечистым, невысоким, с мужественным и сосредоточенным лицом. Они исполнили очень сложный, в резких поворотах и кружениях акробатический танец, отражавший взаимную борьбу мужчины и женщины. Танцовщица была в короткой одежде из едва соединенных нитями узких красных лент. Тяжелые браслеты оковами стягивали левую руку. Высоко на шее сверкало ожерелье, похожее на ошейник. Женщина падала, цепляясь за партнера, и простиралась на полу перед ним. В позе

красивой и бессильной она лежала на боку, струной вытянув руку и ногу и подняв умоляющий взгляд. Покорно отдавая партнеру другую руку, она подгибала колено, готовая подняться по его желанию — открытое олицетворение власти мужчины, ничтожества и в то же время опасной силы женщины.

Искусство и красота исполнителей, безупречная легкость и чеканность труднейших поз, страстный, чувственный призыв танцовщицы, чье тело было чуть прикрыто расходящимися лентами, произвели впечатление даже на владык Торманса. Чойо Чагас, посадивший Фай Родис рядом с собой, не обращая внимания на угрюмость Янтре Яхах, наклонился к гостье, снисходительно улыбаясь:

— Обитатели планеты Ян-Ях красивы и владеют искусством выражать тонкие ощущения.

— Безусловно! — согласилась Родис.— Нам это тем более интересно, что на Земле отсутствуют мужчины-танцовщики.

— Что? Вы не танцуете вдвоем?

— Танцуем, и много! Я говорю о специальных сольных выступлениях больших артистов. Только женщины способны передать своим телом все волнения, томления и желания, обуревающие человека в его поисках прекрасного. Отошли в прошлое все драмы соперничества, уязвленного самолюбия, порабощения женщины.

— Но тогда что же можно выразить в танце?

— У нас танец превращается в чародейство, зыбкое, тайное, ускользающее и ощутимо реальное.

Чойо Чагас пожал плечами.

— Фай зря старается, подбирая понятия, лишь отдаленно соответствующие нашим,— шепнула Мента Кор, сидевшая позади Див Симбела.

— Наверное, Олла не получит признания,— сказала Нея Холли,— после того как тут женщину крутили, гнули, чуть не избивали.

Заструилась мелодия. Как бегущая река с ее всплесками и водоворотами. Потом замерла, вдруг внезапно сменившись другой, печальной и замедленной, низкие звуки словно всплывали из зеркально тихой, прозрачной глубины.

Отвечая ей, в глубине импровизированной сцены, разделенной на две половины — черную и белую,— появилась нагая Олла Дез. Легкий шум послышался из зала дворца Цоам, заглушенный высокими и резкими аккордами, которым золотистое тело Оллы отвечало в непрерывном токе движения. Менялась мелодия, становясь почти грозной, и танцовщица оказывалась на черной половине сцены, а затем продолжала танец на фоне серебристой белой ткани. Поразительная гармоничность, полное, немыслимо высокое соответствие танца и музыки, ритма и игры света и тени захватывало, словно вело на край пропасти, где должен оборваться невозможно прекрасный сон.

Увлеченные поэзией невиданного танца, жители Торманса то похлопывали по ручкам кресел, то недоуменно пожимали плечами, иногда даже переговаривались шепотом.

Медленно угасал свет. Олла Дез растворилась в черной половине сцены.

— Другого я и не ожидала! — воскликнула Янтре Яхах, и собравшиеся зашумели, поддакивая.

Чойо Чагас метнул на жену недовольный взгляд, откинулся на спинку кресла и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Есть нечто нечеловеческое, недопустимое в такой открытости и силе чувств. И опасное — оттого, что эта женщина столь непозволительно хороша.

Фай Родис видела, как вспыхнули щеки сидевшей рядом Чеди. Девушка посмотрела на нее с мольбой, почти приказывая: «Сделайте же что-нибудь!»

«Тупость никогда не должна торжествовать — последствия неизменно бывают плохими»,— мелькнула в голове Родис фраза из какого-то учебника. Она решительно встала, поманив к себе Эвизу Танет.

— Теперь мы станцуем,— спокойно объявила она, как нечто входившее в программу.

Чеди обрадованно всплеснула руками.

— С меня достаточно! — едко сказала Янтре Яхах, покидая зал.

За ней покорно поднялись еще пять приглашенных во дворец тормансианок. Но Чойо Чагас лишь удобнее устроился в кресле, и мужчины сочли долгом остаться. Впрочем, земляне, смотревшие из звездолета, увидели, что женщины Торманса во главе с женой владыки притаились за серебристо-серыми драпировками.

Фай Родис и Эвиза Танет исчезли на несколько минут и потом явились в одних скафандрах, каждая неся на ладони прикрепленный к ней восьмигранный кристалл со звукозаписью. Две женщины: одна цвета воронового крыла, другая — серебристо-зеленая, как ивовый лист, стали рядом, высоко подняв руки с кристаллами. Необычайный ритм, резкий, со сменой дробных и затяжных ударов, загрохотал в зале. В такт ритмическому грохоту танец начался быстрыми пассами простертых вперед, на зрителей, рук и резкими изгибами бедер.

От рук с повернутыми вниз ладонями опускались на тормансиан волны оцепеняющей силы. Повинуясь монотонному напеву, Эвиза и Родис опустили руки, прижав их к бокам и отставив ладони. Медленно и согласованно они начали вращаться, диковато и повелительно глядя из-под насупленных бровей на зрителей. Они крутились, торжествующе поднимая руки. Посыпались удары таинственных инструментов, созвучные чему-то глубоко скрытому в сердцах мужчин Тормапса. Эвиза и Фай замерли. Сжатые рты обеих женщин приоткрылись, показав идеальные зубы, их сияющие глаза смеялись победоносно. Они торжественно запели протяжный древний иранский гимн: «Хмельная и влюбленная, луной озарена, в шелках полурасстегнутых и с чашею вина... Лихой задор в глазах ее, тоска в изгибе губ!» Гром инструментов рассыпался дробно и насмешливо, заставив зрителей затаить дахание. Неподвижные тела из черного и зеленого металла вновь ожили. Не сдвигаясь с места, они отвечали музыке переливами всех поразительно послушных и сильных мышц. Как вода под порывом ветра, оживали внезапно и мимолетно руки и плечи, живот и бедра. Эти короткие вспышки слились в один непрерывный поток, превративший тела Эвизы и Родис в нечто неуловимое и мучительно притягательное. Музыка оборвалась.

— Ха! — воскликнули Эвиза и Фай, разом опуская руки.

К ужасу оцепеневших за портьерами женщин, Чойо Чагас и члены Совета Четырех под влиянием гипнотической музыки наклонились вперед и вывалились из кресел, но тут же вскочили, сделав вид, будто ничего не произошло, и неистово забили ладонями о подлокотники, что означало высшую похвалу.

Родис и Эвиза выбежали.

— Как можно! — укоризненно сказала Олла Дез, внимательно наблюдавшая за диким танцем.

— Нет, это великолепно! Смотрите, тормансиан как шоком поразило! — вскричал Див Симбел.

В самом деле, зрители во дворце Цоам выглядели растерянными, а женщины, вернувшиеся на свои места, вели себя тихо, как пришибленные.

ные. Однако, когда появились Фай Родис и Эвиза Танет, их приветствовали гулкими ударами по креслам и одобрительными возгласами.

Родис повернулась к товарищам в звездолете, на пальцах показала, что батареи разрядились, и выключила СДФ. Олла Дез тоже прервала передачу с «Темного Пламени» и сказала:

— Родис иногда ведет себя как школьница третьего цикла.

— Но ведь они на самом деле были великолепны! — запротестовал Гриф Рифт.— Я не сравниваю их с вами. Вы — богиня танца, но только на Земле.

— Безусловно, я побеждена здесь,— согласилась Олла.— Родис и Эвиза умело воспользовались воздействием ритмов на подсознание. Совместное ритмическое пение, верчение в древности считали магией для овладения людьми, так же как военные маршировки и совместную гимнастику у йогов. Тантрические «красные оргии» в буддийских монастырях, мистерии в честь богов любви и плодородия в храмах Эллады, Финикии и Рима, танцы живота в Египте и Северной Африке, «чарующие» пляски Индии, Индонезии и Полинезии в прежние времена оказывали на мужчин не столько эротическое, сколько гипнотическое воздействие. Лишь много позднее психологи разобрались в сочетании зрительных ассоциаций — ведущего чувства человека в его ощущении красоты, прочно спаянного с эротикой сотнями тысячелетий природной селекции наиболее совершенного. Гибкость и музыкальность женского тела недаром издревле сравнивались с пляской змей. Будучи историком, Фай Родис отобрала все гипнотическое из древних танцев, и эффект оказался неотразимым, но когда она успела обучить Эвизу?

— Следовательно, нельзя обвинять Родис в легкомыслии и необдуманности действий. Этот танец она, видимо, готовила давно, чтобы показать тормансианам их родство с нами,— убежденно сказал Гриф Рифт.

Вне стен садов Цоам на втором уступе предгорий рос небольшой лесок, деревья в нем до такой степени были похожи на земные криптомерии, что даже издалека они вызывали у Родис приливы тоски по родной планете. Криптомерии росли вокруг ее школы первого цикла. Первый цикл был самым трудным в детской жизни. После свободы и беспечности нулевого цикла наступала пора строгой ответственности за свои поступки. Маленькая Фай часто убегала в тень криптомериевой рощи, чтобы выплакаться.

И сейчас, оказавшись за пределами дворца, на прогулке с инженером Таэлем, Родис бросилась к дереву и прильнула к его стволу, пытаясь уловить родной запах смолы и коры, нагретой солнцем. Скафандр, выключив свойственное землянам обостренное осязание окружающего кожей всего тела, не дал ей почувствовать живое дерево, а от ствола пахло лишь пылью.

Чувство безвыходности, забытое со времен инфернальных испытаний, стеснило грудь Родис, и она опустила голову, чтобы Эвиза и Вир не прочитали в ее лице ностальгию. Родное дерево обмануло. Сколько еще предстояло здесь обманов, прежде всего среди людей, совершенно подобных земным и столь отличных душевно!

Инженер Таэль под разными предлогами провел перед землянами около сотни сотоварищей и знакомых. Несмотря на удивительную однородность группы, гости с Земли посоветовали исключить около тридцати человек. Такой высокий отсев вначале ошеломил Таэля. Земляне объяснили, что они отметили не только прямых носителей зла или скрывающих поврежденную, неполноценную психику завистников, но и тех, чьи стрем-

ления к знанию и духовной свободе не были сильнее естественных для нетренированного человека недостатков психики.

Спустя восемь дней людей Торманса собралось достаточно, чтобы начинать сеансы. К удивлению землян, это были только «джи» — долгоживущие: техническая интеллигенция, ученые, люди искусства. Фай Родис потребовала, чтобы пригласили и «кжи» — краткоживущую молодежь. Инженер Таэль смутился.

— Они не получают достаточного образования, и мы почти не общаемся с ними. Поэтому я не знаю заслуживающих доверия... А главное, зачем это им?

— Я напрасно потратила время на вас,— сурово сказала Родис,— если вы до сих пор не поняли, что будущее может принадлежать или всем, или никому.

— У них классовое угнетение хуже, чем у нас при феодализме! — воскликнула Чеди.— Отдает рабским строем!

Тормансианин побагровел, губы его задрожали, и он устремил свои фанатические глаза на Родис с такой собачьей преданностью и мольбой, что Чеди стало неловко.

— Действительно, у нас резко разделены заслуживающие образования и необразованные. Но ведь они выбираются по реальным способностям из всей массы рождающихся детей. И они вполне счастливы, эти люди «кжи»!

— Совершенно так же, как и вы, «джи». Вы занимаетесь избранным делом, творите, делаете открытия. Тогда к чему ваши поиски и душевные томления? Нет, я вижу, что мы достигли еще немногого. Это мой промах! Прогулки отменяются, и мы с вами займемся исторической диалектикой.

Испуг, доходящий до отчаяния, не исчезал с лица Таэля.

«Он ждет беспощадной расправы за каждую ошибку,— догадалась Чеди.— Вероятно, здесь это способ обращения с людьми».

Несмотря на все препоны, показ фильмов состоялся через шестнадцать дней.

В жаркой ложбине, где стебли полусухой травы, колеблемые слабым ветром, были единственными признаками жизни, появился близкий, ошеломительно реальный мир Земли.

Гриф Рифт и Олла Дез воспользовались изгибом защитного поля как внутренней поверхностью экрана и, меняя кривизну, создали под обрывом холма большую сцену.

Для обитателей планеты Ян-Ях все было необычайным: плавание украдкой на низких надувных плотах по темному морю, внезапное появление светящихся знаков на гониометре от невидимого ультрафиолетового маяка, высадка под прибрежными кустами, подъем в гору с ориентиром на размытое светящееся пятнышко какого-то звездного скопления, поиски двух невысоких деревьев, между которыми пролегал вход в запретную теперь для всех других ложбину, необыкновенный рассеянный и мрачный свет, исходивший ниоткуда и озарявший дно котловины с бороздами промоин, между которыми рассаживались взволнованные посетители. Это настолько отличалось от монотонной жизни Ян-Ях, с ее отупляюще однообразной работой и примитивными развлечениями, что создавало непривычную атмосферу нервного подъема.

Внезапно из непроницаемой тьмы защитного поля возникал круглый зал звездолета, где шестеро землян приветствовали гостей на их родном языке. Вначале все пришельцы далекого мира казались тормансианам очень красивыми, но одинаковыми. Мужчины — высокие, с решительными крупными лицами, серьезные до суровости. Женщины — все с чеканно

правильными мелкими чертами, идеально прямыми носами, твердыми подбородками, густоволосые и крепкие. Лишь когда глаз привыкал к этим общим особенностям, обитатели Ян-Ях замечали индивидуальное разнообразие землян.

Кто-нибудь из звездолетчиков, чаще всего Олла Дез, коротко пояснял тему стереофильма, и звездолет исчезал.

Перед тормансианами плескалось невероятно прозрачное море с синей водой. Чистые пляжи черного, розового и красного песка манили соединиться с солнцем и морем. Но великолепные берега были почти безлюдны в отличие от заполненных людьми удобных для купаний мест на Тормансе. В разные часы появлялись люди, плавали, ныряли и потом быстро исчезали, разъезжаясь в открытых вагонах маленьких поездов, носившихся вдоль побережья.

Поразила воображение жителей Ян-Ях гигантская Спиральная Дорога: снятое в упор приближение исполинского поезда внушало непривычному человеку первобытный страх.

Тропические сады, раскинувшиеся на необозримых пространствах, и такие же беспредельные поля сказочной пшеницы с колосьями больше кукурузных початков так резко контрастировали с бедными кустарниковыми садами и бобовыми полями Торманса, что Гриф Рифт решил больше не показывать щедрости родной планеты, чтобы не ранить гостей.

Автоматические заводы искусственного мяса, молока, масла, растительного желтка, икры и сахара как будто не имели никакого отношения к полям, садам плодовых деревьев и стадам домашних животных. Плоские прозрачные чаши уловителей радиации для производства белка составляли лишь небольшую часть огромных подземных сооружений, в которых при неизменных температурах и давлениях циркулировали потоки аминокислот. Широкие башни заводов сахара таинственно, приглушенно шумели, будто эхо отдаленной грозы. Это колоссальное количество воздуха всасывалось в их приемники, избавляющие его от лишней углекислоты, накопившейся за тысячи лет неразумного хозяйничания. Наиболее красивыми были снежно-белые колоннады фабрик синтетического желтка, сверкавшие на опушках кедровых лесов. Только увидев технический размах пищевого производства, тормансиане поняли, почему на Земле мало молочного скота — коров и антилоп-канн — и совсем нет убойного, нет птицеферм и рыбных заводов.

— Когда отпала необходимость убивать для еды, тогда человечество совершило последний шаг от необходимости к истинно человеческой свободе. Этого нельзя было сделать до тех пор, пока мы не научились из растительных белков создавать животные. Вместо коров — фабрика искусственного молока и мяса,— пояснял Гриф Рифт.

— Почему же у нас нет этого до сих пор? — обычно спрашивали тормансиане.

— Ваша биология, очевидно, занималась чем-то другим или была ущербной, была потеснена другими науками, менее важными для процветания человека. Положение, известное и в земной истории...

— И вы пришли к заключению, что нельзя достигнуть истинной высоты культуры, убивая животных для еды?

— Да!

— Но ведь животные нужны и для научных опытов.

— Нет! Ищите обходной путь, но не устраивайте пыток. Мир невообразимо сложен, и вы обязательно найдете много других дорог к раскрытию истины.

Врачи и биологи планеты Ян-Ях недоверчиво переглядывались. Но снова и снова возникали перед ними красивые, как храмы, научные институты, многокилометровые подземные лабиринты памятных машин — хранилищ всепланетной информации. Сбывались слова древнего поэта, желавшего человеку быть «простым, как ветер, неистощимым, как море, и насыщенным памятью, как Земля». Теперь вся планета руками своих мудрых детей насыщалась памятью не только своей жизни, но еще тысяч других населенных миров Великого Кольца.

Многие инженерные сооружения уходили все глубже в земную кору. Вместо истощенных в древние эпохи рудников работали самообогащающиеся гидротермы, связанные с подкорковыми течениями в мантии на участках выделения ювенильных вод. Эти же гидротермальные восходящие токи на поверхности использовались в энергетических и обогревательных установках.

Пожалуй, самым удивительным для тормансиан показалось широчайшее распространение искусств. Практически каждый человек владел каким-либо видом искусства, сменяя его в различные периоды жизни. Легкость пользования информацией совпадала с возможностью видеть любые картины, скульптуры, добыть электронные записи любого музыкального произведения, любой книги. Множество Домов Астрографии, Книги, Музыки, Танца, по существу, представляли собою дворцы, где все желающие в покое и удобстве могли наслаждаться зрелищем космоса, его населенных планет и всего неисчерпаемого богатства человеческого творчества за тысячи лет документированной истории. Поистине невообразимое число произведений искусства было создано за два тысячелетия, прошедшие со времен ЭМВ — Эры Мирового Воссоединения!

Тормансиане видели школы, полные здоровых и веселых детей, великолепные праздники, на которых все казались одинаково молодыми и неутомимыми. Общественное воспитание не удивило жителей Ян-Ях. Куда более поразительным казалось отсутствие всяких стражей или наделенных особой властью людей, отгородившихся от мира в охраняемых дворцах и садах. Ни в одном из тысяч прошедших перед тормансианами лиц ни разу не мелькнуло выражение страха и замкнутой себялюбивой опаски, хотя настороженность и тревога нередко читались на лицах врачей-воспитателей, спортивных инструкторов. Зрителей поражало отсутствие шума, громкой музыки и речи, грохочущих и дымящих машин в городах Земли, удивляли улицы и дороги, похожие на тихие аллеи, где никто не смел потревожить другого человека. Музыка, пение, танцы, веселье, подчас отчаянно озорные игры на земле, на воде и в воздухе происходили в специально предназначенных для этого местах.

Веселые не смешивались с грустными, дети со взрослыми. И еще одна черта земной жизни вызывала недоумение. Личные помещения людей Земли, обставленные просто, производили на жителей Ян-Ях впечатление полупустых, даже бедных.

— Зачем нам что-нибудь еще, кроме самого необходимого,— отвечала на неизбежный вопрос Олла Дез,— если мы в любой момент можем пользоваться всей роскошью общественных помещений?

В самом деле, жители Земли работали, размышляли, отдыхали и веселились в огромных, удобных, окруженных садами зданиях, с красиво обставленными комнатами и залами,— дворцах и храмах искусств или наук. Любители старины восстанавливали суровые дома с толстыми стенами, узкими окнами и громоздкой, массивной мебелью. Другие, наоборот, строили просторные, открытые всем ветрам и солнцу висячие

сады, вдававшиеся в море или повисавшие на кружащей голову высоте горных склонов.

— А у нас,— говорили тормансиане,— общественные здания, парки и дворцы переполнены людьми и очень шумны. Из-за множества посетителей их нельзя содержать в нужной чистоте, сохранить тонкость убранства. Поэтому наши личные квартиры похожи на крепости, куда мы укрываемся от внешнего мира, туда же мы прячем все, что нам особенно дорого.

— Трудно сразу понять, чем вызвано различие,— сказала Олла Дез.— Вероятно, вы любите шум, толчею, скопление народа.

— Да нет же, мы ненавидим это, как большинство людей умственного труда. Но неизбежно каждое красивое место, вновь отстроенный Дворец отдыха оказываются набитыми людьми.

— Я, кажется, понял, в чем дело,— сказал Соль Саин.— У нас нет соответствия между количеством населения и ресурсами. В данном случае не хватает общественных помещений для отдыха и развлечений.

— А у вас есть?

— Это первейшая задача Совета Экономии. Только в соответствии числа людей и реальных экономических возможностей — основа удобной жизни и стабилизации ресурсов планеты на вечные времена.

— Но как вы достигаете этого? Регулировкой деторождения?

— И этим, и предвидением случайностей, флюктуации успехов и неуспехов, космических циклов. Человек должен все это знать, иначе какой же он человек? Главная цель всех наук одна — счастье человечества.

— А из чего оно складывается, ваше счастье?

— Из удобной, спокойной и свободной жизни, с одной стороны. А также из строжайшей самодисциплины, вечной неудовлетворенности, стремления украсить жизнь, расширить познание, раздвинуть пределы мира.

— Но это же противоречит одно другому!

— Напротив, это диалектическое единство и, следовательно, в нем заключено развитие!

Подобного рода беседы сопровождали каждую демонстрацию стереофильмов, а иногда превращались в лекции или взволнованные обсуждения. Тормансиане по складу своей психологии ничем не отличались от землян. Их предыстория прошла совместно. Поэтому и современная земная жизнь, пусть только в общих чертах, становилась для них понятной. И искусство Земли легко воспринималось обитателями Ян-Ях. С наукой дело обстояло хуже. Уж очень далеко ушли земляне в понимании тончайших структур мира.

Еще труднее воспринимались стереофильмы Великого Кольца. Странные существа, иногда похожие на землян, непонятные речи, обычаи, развлечения, постройки, машины. Кажущееся отсутствие обитателей на планетах около центра Галактики, где под километровыми сводами застыли или медленно вращались прозрачные диски, излучавшие голубое сияние. В других мирах встречались звездовидные формы, окаймленные тысячами ослепительных фиолетовых шаров, в отличие от дисков ориентированные вертикально. Тормансиане так и не поняли, что это: машины, конденсировавшие какой-то вид энергии, или психические воплощения мыслящих существ, пожелавших остаться не распознанными даже для приемников Великого Кольца.

Очень зловещими казались планеты инфракрасных солнц, населенные высшей жизнью и входящие в Кольцо. Записи были сделаны до введения волновых инверторов, изобретенных на планете звезды Бета

Чаши, позволявших видеть в любых условиях освещения Вселенной Шакти. Едва различимые контуры гигантских зданий, памятников, аркад таинственно чернели под звездами, и движение множества народа казалось грозным. Непередаваемо прекрасная музыка разносилась во тьме, и невидимое море плескалось с тем же гекзаметрическим шумом, как на Земле и планете Ян-Ях.

Олла Дез показала и некоторые оставшиеся нерасшифрованными записи, доставленные звездолетами Прямого Луча с галактик Андромеды и М—51 в Гончих Псах. Дико вертевшиеся многоцветные спирали и пульсирующие шаровидные тысячегранники как бы просверливали океан плотной тьмы. Только экипаж «Темного Пламени», прошедший по краю бездны, догадывался, что эти изображения могли означать проникновение в Тамас, недоступный и незримый антимир, облегающий нашу Вселенную.

И все же передачи из далеких и странных миров, несмотря на свою необычайность, мало интересовали тормансиан. Зато их бесконечно волновали стереофильмы о землянах на других планетах, например недавно заселенной планете зеленого солнца в системе Ахернара. Не могли не пленить их воображения великолепные красные люди с Эпсилон Тукана — с этой планетой Земля установила регулярное сообщение.

После того как ЗПЛ стали совершать рейсы на Эпсилон Тукана и обратно — протяженностью в сто восемьдесят парсеков — за семнадцать дней, на Земле, особенно среди молодежи, вспыхнула эпидемия влюбленности в красных людей.

Но оказалось, что браки между землянами и красными туканцами обречены на бесплодие: это принесло немало разочарований. Мощные биологические институты обеих планет сосредоточили свои усилия на преодолении неожиданного препятствия. Никто не сомневался, что трудная задача будет скоро разрешена и слияние двух человечеств, совершенно сходных, но разных по происхождению, станет полным, тем самым бесконечно увеличивая сроки существования человека Земли как вида.

Люди, переселившиеся на планету зеленого солнца, прожили там еще немного веков, но от радиации светила приобрели сиреневую кожу и внешне отличались от бронзово-смуглых землян гораздо больше, чем последние от желтых обитателей Ян-Ях. Но весь строй жизни пионеров земного человечества на Ахернаре ничем не разнился от их родины, что давало тормансианам уверенность в их собственном союзе с могущественной Землей. Приветливое и внимательное отношение звездолетчиков к своим гостям укрепляло эту надежду. Пусть земляне казались им холодноватыми и слегка отчужденными, тормансиане понимали далеко разошедшуюся разницу интересов и вкусов. Эти полностью открытые и чистые люди никогда, ни на мгновение не думали о своем превосходстве, и жители Ян-Ях чувствовали себя с ними просто и легко, как с самыми близкими.

Аудитория в пустыне состояла из образованных и умных «джи», которые очень скоро поняли, что союз Земли и Ян-Ях означает прежде всего крах их олигархического строя, разрушение системы «джи» — «кжи» и философии ранней смерти. Такая структура не могла вывести планету из ее современного нищенского состояния. В то же время этот строй обеспечивал высочайшие привилегии олигархической верхушке. Хотя сумма преимуществ оказывалась убогой в сравнении с открытой, ясной и здоровой жизнью коммунистического строя Земли, поверить в это и отдать свои привилегии олигархи Ян-Ях, конечно, не могли. Поэтому первое знакомство со стереофильмами Земли вызвало у пра-

вящей верхушки чувство враждебности и опасения. Они поняли, что жизнь Земли самим своим существованием оказывалась враждебной строю Торманса, опровергая единственно якобы правильный путь, избранный владыками, и сводя к нулю безудержное восхваление, которым занимались демагоги-пропагандисты Совета Четырех.

Посещение импровизированного театра в пустыне близ звездолета Земли, к которому запрещено было даже приближаться, составляло, с точки зрения владык Ян-Ях, государственное преступление и должно было наказываться. Но тормансиане были готовы на все, лишь бы попасть на передачу стереофильмов «Темного Пламени». Естественно, что земляне находились в постоянной тревоге за своих зрителей. Детектор биотоков для распознавания людей, уже названный Соль Саином ДПА, или диссектором психосущности, еще не удалось довести до рабочей готовности. Еще могли быть ошибки в случае искусной маскировки.

Положение спасла Нея Холли, помогавшая Соль Саину в конструировании ДПА. Она заметила увеличение зубца К в биотоках всех искренне и открыто жаждавших информации тормансиан. Всякое сомнение, недоверие или скрытая сильная эмоция вызывала неизбежно и непременно спад зубцов К.

В проходе между двух деревьев устроили дополнительное поле, пропускающее только людей с определенным уровнем возбуждения зубцов К и отбрасывающее всех других. Так тормансиане получили дополнительную гарантию безопасности.

За три недели Олла Дез устроила восемнадцать демонстраций для нескольких тысяч обитателей Ян-Ях. В одну из последних демонстраций ученый-тормансианин с титулом «познавшего змея» и невероятным для языка землян имени Чадмо Сонте Тазтот усомнился в возможности общего происхождения человечества обеих планет.

— Человек Ян-Ях плох в самой своей сущности,— заявил ученый.— Она унаследована от предков, убивавших, ревновавших, хитривших и тем обеспечивших себе выживание; оттого все усилия лучших людей разбились о стену душевной дикости, страха и недоверия. Если человечество Земли поднялось на такую высоту, то, очевидно, оно другого происхождения, с более благородными душевными задатками.

Олла Дез подумала, посовещалась с Рифтом и Саином и достала «звездочки» с фильмами о прошлом. Не документальные записи, а скорее экскурсы в разные исторические периоды, восстановленные по архивам, мемуарам и музейным коллекциям.

Пораженные до немоты тормансиане увидели чудовищные бедствия, глухую и скучную жизнь перенаселенных городов, общественные «дискуссии», где слова предостережения и мудрости тонули в реве одураченных толп. Перед великими достижениями науки и искусства, ума и воображения средний человек в те времена остро чувствовал свою неполноценность. Психологические комплексы униженности и неверия в себя порождали агрессивное стремление выделиться любой ценой.

Психологи Земли предсказали неизбежность появления надуманных, нелепых, изломанных форм искусства со всей гаммой переходов от абстрактных попыток неодаренных людей выразить невыразимое до психопатического дробления образов в изображениях и словопотоках литературных произведений. Человек, в массе своей невоспитанный, недисциплинированный, не знающий путей к самоусовершенствованию, старался уйти от непонятных проблем общества и личной жизни. Отсюда стали неизбежны наркотики, из которых наиболее распространен был алкоголь, грохочущая музыка, пустые, шумные игры и массовые зре-

лица, нескончаемое приобретение дешевых вещей. Размножение на Земле в эпоху ЭРМ ничем не ограничивалось во имя конкуренции народов, военного преобладания одной нации над другой, в то время как на Тормансе, где уже не было военных конфликтов, деторождение не регулировалось в иных целях — для отбора тех пяти процентов способных к учению людей, без которых остановилась бы машина цивилизации.

Некоторые ученые Земли, в отчаянии от назревающей опасности все убыстряющегося уродливого капиталистического развития, призывали к тому, чтобы бросить все усилия на технологию искусственной пищи и синтетических товаров, полагая, что все беды происходят от недостатка материальных благ. Они связывали с этим глобальное разорение Земли, напоминая, что человек изначально был охотником и собирателем, а не земледельцем.

«Для наших правнуков,— писал один ученый,— наши теперешние заботы и опасения покажутся скверным сном невежественного ума. Мы должны переоткрыть забытые качества в нас самих и реставрировать до ее истинной красоты нашу Голубую Планету».

Во всяком случае, самые пламенные эскаписты* начали трезветь, когда земляне произвели первые колоссальные затраты на выход в космос и поняли величайшие трудности внеземных полетов, сложность освоения межзвездных пространств и мертвых планет солнечной системы. Тогда снова обратились к Земле, сообразив, что она долгое время должна служить домом земного человечества, спохватились и успели спасти ее от разрушения.

— Великая Змея! — воскликнул Чадмо Сонте Таэтот.— Это так похоже на нас, но как вы справились с этим?

— Трудным и сложным путем,— ответил Соль Саин,— осилить который мог лишь коллективный разум планеты. Не организованное свыше мнение неосведомленной толпы, а обдумывание сообща и признание правоты на основе понимания и правдивой информации. При великом множестве людей на Земле все это стало возможным лишь после изобретения компьютеров — счетных машин. С помощью этих же машин мы осуществили тщательную сортировку людей. Подлинная борьба за здоровье потомства и чистоту восприятия началась, когда мы поставили учителей и врачей выше всех других профессий на Земле. Ввели диалектическое воспитание. С одной стороны, строго дисциплинированное, коллективное, с другой — мягко индивидуальное.

Люди поняли, что нельзя ни на ступеньку спускаться с уже достигнутого уровня воспитания, знания, здоровья,— что бы ни случилось. Только вверх, дальше, вперед, ценой даже серьезных материальных ограничений.

— Но ведь на Ян-Ях тоже есть счетные машины, и достаточно давно! Мы называем их «кольцами дракона»,— не успокаивался «познавший змея».

— Кажется, я догадался, в чем дело! — воскликнул Соль Саин.— На земле у нас было великое множество народов, несколько больших культур, разные социальные системы. Во взаимопроникновении или в прямой борьбе они задержали образование монокультуры и мирового государства до тех пор, пока не поднялось общественное сознание и техника не обеспечила общество необходимой для подлинной коммунистической справедливости и коллективности аппаратурой. Кроме того, угро-

---

* Эскапизм — тенденция к бегству от действительности, от реальной жизни.

за всеуничтожающей войны заставила государства серьезнее относиться друг к другу в мировой политике, так называлась тогда национальная конкуренция между народами.

— А у нас на планете Ян-Ях, населенной одним, по существу, народом, при монокультуре развитие оказалось однолинейным.

— И вы не успели опомниться, как на всей планете воцарилась олигархическая система государственного капитализма! — воскликнула Мента Кор, и крайнее возбуждение тормансиан показало правильность ее утверждения.

После этой беседы инженер Таэль попросил внеочередного свидания с Фай Родис.

Тем временем Эвиза Танет определила, что выработка антител в организмах звездолетчиков достаточна для иммунитета. Она разрешила снять скафандры. Ликующие земляне тотчас были готовы сбросить надоевшую броню. Фай Родис отозвала в сторону Гэн Атала:

— Тивиса и Тор передали на «Темное Пламя», что они кончили осмотр институтов и заповедников. Теперь они хотят обследовать брошенные города и уцелевшие первобытные леса в зоне Зеркального моря. Власти предупреждают о какой-то опасности, но нам тем не менее необходимо познакомиться с заповедными областями планеты.

— Я понял вас. Втроем опасность не так страшна. Когда мне лететь?

— Завтра. Но Тивиса и Тор решили не снимать скафандров.

— А я сниму.

— Но если двое ваших спутников будут в металле, а вы нет, то не нарушит ли это целостность группы? Вы будете звеном меньшей прочности...

— Да, придется еще походить металлическим.

Гэн Атал взглянул на Эвизу. Та ответила сочувствующим кивком, но инженер броневой защиты не прочитал в ее топазовых тигриных глазах нужного ответа. Он повернулся к Родис и грустно сказал, что идет готовить свой СДФ.

Родис укоряюще посмотрела на Эвизу, едва Гэн Атал скрылся за дверью. Эвиза рассмеялась, вздернув темно-рыжую голову, и Родис пожалела, что Гэн Атал не видит ее в эту минуту.

— Мне так хотелось бы не огорчать его, но что я могу поделать с собой,— сказала Эвиза.— Пойдемте. Я отвыкла от нормального чувства тела, будто выросла в чешуе, как тормансианская змея.

Инженер Хонтээло Толло Фраэль, явившийся к Фай Родис, ждал ее в садике, где впервые узнал тайны своей планеты.

Фай Родис вышла к нему, напевая, легким и упругим шагом, в коротком домашнем платье Земли. Тугой корсаж с низко открытыми плечами и широкая юбочка, стянутая в талии черной лентой и ложащаяся свободными складками. Руки и открытые до половины бедер ноги покрывал ровный красновато-коричневый загар, гармонировавший с бледно-золотым цветом платья. В этом одеянии предводительница землян утратила часть своего величия, сделалась моложе и, на взгляд тормансианина, еще прекраснее. Фай Родис уже привыкла к тому, что пустяковые перемены в облике или поступках производят неоправданно сильное впечатление на жителей Ян-Ях, и поспешила на помощь инженеру.

— Что-нибудь случилось? — спросила она, улыбаясь, и добавила:— Я становлюсь настоящей женщиной Ян-Ях, если так часто думаю об опасности.

— Опасности нет. Но надо посоветоваться,— инженер оглянулся.

Родис нажала кнопку на сигнальном браслете. Послышался мелкий топоток, и в сад явилась послушная девятиножка, сохранившая на своем куполе черно-вороной цвет скафандра своей хозяйки. Родис укрыла себя и инженера защитным полем.

— Я виделся с друзьями. Они заставили меня идти к вам. После просмотра фильмов о вашей... и нашей,— поправился он,— истории все думают только о том, как сделать жизнь похожей на земную. Прежде чем вы уйдете от нас на далекую Землю, вы должны оставить нам оружие.

— Оружие без знания принесет только вред. Не имея ясной, обоснованной и проверенной цели, вы создадите лишь временную анархию, после которой всегда водворяется еще худшая тирания.

— Что же делать?

— По диалектическим законам оборотной стороны железная крепость олигархического режима одновременно очень хрупка. Надо изучить ее узловые крепления, чтобы систематически ударять по ним, и все здание рассыплется, несмотря на кажущуюся монолитность, потому, что оно держится лишь на страхе — снизу доверху. Следовательно, вам надо немного людей, мужественных, смелых, умных, чтобы развалить олигархию, и очень много просто хороших людей, чтобы построить настоящее общество.

— И поэтому вы так настаиваете на подготовке народа? — спросил Таэль.

— Диалектический парадокс заключается в том, что для построения коммунистического общества необходимо развитие индивидуальности, но не индивидуализма каждого человека. Пусть будет место для духовных конфликтов, неудовлетворенности, желания улучшить мир. Между «я» и обществом должна оставаться грань. Если она сотрется, то получится толпа,адаптированная масса, отстающая от прогресса тем сильнее, чем больше ее адаптация. Помните всегда, что настоящего, по существу, нет, есть только процесс перехода будущего в прошлое. Процесс этот нельзя задерживать, тем более останавливать. А ваша олигархия затормозила развитие общества Ян-Ях на его неизбежном пути к коммунизму и главным образом потому, что вы помогали ей укреплять свое господство. Ваши ученые не должны становиться убийцами, несмотря на почести, привилегии, подкуп. Помните, что ваша общественная система основана на подавлении и терроре. Всякое усовершенствование этих методов неминуемо обернется против вас самих.

Ведь беда в том, что «кжи» называют вас убийцами, и они правы, хотя разжигание взаимных обид — испытанный прием олигархов.

— Вы не знаете, как глубоко зашло развращение людей,— упрямо сказал Таэль.— Я имею в виду демагогию, будто бы все люди одинаковы, и только стоит их соответственно обработать, воспитать (тоже одинаково), как мы получим единство мышления и способностей. На самом деле получилось обратное: фактическое неравенство породило море персональной зависти, зависть породила комплекс униженности, в котором потерялось классовое сознание, цель и смысл борьбы против системы «кжи», против нас, мы против них, а система веками остается неприкосновенной. Всеобщее отравление ненавистью и глубоким непониманием.

— Таэль, вы ли это? Начинаете уставать? А пример Земли? Ведь только серьезные и длительные усилия превратят безвыходные круги инферно в разворачивающуюся бесконечную спираль. Вот мы и пришли к тому, с чего начали.

— Нет, не к тому же. Вы согласились с «кжи» в обвинении нас?

— Да, Таэль. В капиталистической олигархии чем выше тот или иной класс, группа или прослойка стоит на лестнице общественной иерархии, тем больше в ней убийц, прямых и косвенных, потенциальных и реальных. Убийцы бывают разного плана — сознательные и бессознательные. Одни поступают так из прислуживания владыкам, другие от невежества, когда пост решающего значения занимает необразованный, темный человек. «Джи», хотя среди них немало темных и невежественных людей, в большинстве знающие и вообще интеллигентны. Становясь убийцами, они виноваты вдвойне. Виды убийства многообразны. Убивают несоответствием выполняемой работы и условий, в которых она проводится. Отравляют отходами производств и моющими химикатами реки и почвенные воды; несовершенными скороспелыми лекарствами, инсектицидами, фальсифицированной удешевленной пищей. Убивают разрушением природы, без которой не может жить человек, убивают постройками городов и заводов в местах, вредных для жилья, в неподходящем климате, шумом, никем и ничем не ограничиваемым. Плохо оборудованными школами и больницами, наконец, неумелым управлением, порождающим великое множество личных несчастий, а те ведут к огромному спектру нервных болезней. И за все ответственны в первую очередь «джи» — ученые и технологи, ибо кому, как не им, исследовать причины, вызывающие убийственные последствия. А случаи, когда «джи» выступают прямыми убийцами, вооружая охранные силы, предназначенные для истребления инакомыслящих? Когда разрабатывают пытки и психологическое подавление, когда создают орудия массового убийства? По законам Великого Кольца, эти деятели подлежат лишению возможности заниматься наукой, вплоть до физического удаления на дикие планеты.

Инженер Таэль неподвижно стоял перед Родис. Знакомое ей выражение растерянного ребенка все сильнее проступало на его лице. Фай Родис почувствовала, что следует поддержать тормансианина и его друзей, дав опору их нетренированной психике.

— Пожалуй, вам нужен один род оружия, необходимый для искоренения слежки, доносов, насилий. Это ИКП — пульсационный ингибитор короткой памяти. На корабле сделают несколько десятков ИКП, но вы не должны пускать их в ход ранее, чем размножите в сотнях тысяч экземпляров.

— Мне непонятно назначение ИКП,— устало сказал Таэль.

— Вы знаете о двух видах памяти? Они управляются в мозгу различными системами молекулярных механизмов. Лишив человека долгой памяти, вы превратите его в идиота. Но, сняв короткую память, все недавно полученные сведения и внушенные психоштампы, вы обезвредите самого опасного врага, не отняв у него возможности вернуться к любой деятельности.

— Хотя бы и к прежней?

— Хотя бы. Но ему придется начинать все заново, как и его учителям.

— Но это же великолепно! Если еще это оружие небольшого размера...

— Оно миниатюризовано, чуть больше украшения, какие когда-то носили на пальцах. Прибавьте к нему крохотный диссектор ДПА для распознания психики человека.

Таэль порывисто схватил руку Фай Родис и, опускаясь на колени, прижался губами к кончикам ее пальцев. Родис вздрогнула, чувствуя, что этот жест архаического поколения не столь неприятен ей, как она подумала бы раньше.

Глава VIII

ТРИ СЛОЯ СМЕРТИ

Судно на двух сигарообразных поплавках скользило по морской глади. Длинный залив Экваториального океана недаром носил название Зеркального моря. Расположенное в поясе спокойной атмосферы, ближе к хвостовому полюсу, море почти не знало бурь. Отсутствие впадающих в него крупных рек сохраняло воды первозданно чистыми, темными в глубине и ослепительно сверкающими в красных лучах светила Торманса.

Гэн Атал восхищался игрой красок за кормой, а Тивиса Хенако и Тор Лик любовались необыкновенной чистотой моря.

В трехгранном выступе каюты у рычагов управления сидели два тормансианина в лиловой униформе, безотрывно глядя вперед и лишь изредка обмениваясь односложными восклицаниями.

Они держали курс на кручу бочкообразной горы. Ее темно-серая каменная масса была разбита разветвленными жилами красной породы, словно кровавыми артериями.

Левее, под горой, берег был облицован каменными плитами. За набережной виднелись здания, в беспорядке отступавшие от моря. Брошенный город Чендин-Тот стоял близко от заповедной рощи, последней на планете Ян-Ях. Здесь издавна находилась область «приверженцев природы» — людей, не принявших всеобщей урбанизации и переселившихся в зоны с нездоровым климатом. Непомерное увеличение населения планеты заставило застроить и заповедный район. «Приверженцы природы» исчезли, влившись в общую массу городских жителей. Все же незначительный участок первобытного леса уцелел от всепожирающего потребительства шестнадцати миллиардов населения Торманса. Вероятно, это произошло случайно. Катастрофический кризис разразился раньше, чем последняя роща была срублена. Множество городов вымерло, и те, что находились в менее благоприятных климатических зонах, никогда не заселялись вновь.

Берег приближался. Земляне хотели подняться на крышу каюты, заменившую собою мостик, но провожатые энергично воспротивились. Они говорили очень быстро, с акцентом жителей хвостового полушария — проглатывая согласные. Земляне, привыкшие к четкому произношению государственных радиопередач и медлительной речи чиновников, понимали своих спутников с трудом. Выяснилось, что в Зеркальном море водятся лимаи. Эти всепожирающие чудовища своими длинными щупальцами хватают с открытой палубы все живое и утаскивают в глубину. Количество их неисчислимо.

— Удивительная аналогия с земными морями,— сказала Тивиса.— Когда в Эру Разобщенного Мира истребили кашалотов, размножились большие головоногие, с которыми пришлось вести настоящую войну. Вообще истребление любого вида немедленно нарушало миллионолетнее равновесие природы. В силу избирательной направленности всякого злого дела, которую мы теперь называем Стрелой Аримана, уничтожению подвергались животные и растения — преимущественно красивые, заметные, менее приспособленные к новым условиям жизни. Оставались в основном вредные виды. Иногда они размножались фантастически быстро и буквально заливали волнами своей биомассы огромные пространства. Закон преимущественного выживания вредоносных форм там, где при-

рода неумело коверкалась человеком, постигли на собственном опыте и тормансиане.

— Как жаль, что прекрасное хрустальное море населено такой мерзостью! Я хотела бы искупаться здесь, если бы не скафандр,— грустно закончила Тивиса.

— Ты не замечаешь повсюду на Тормансе одну странную закономерность? — спросил Тор Лик.— Во всех хороших местах, зданиях, даже в людях скрыто плохое.

— Милый Афи (так на Земле ласково называли астрофизиков),— Тивиса взъерошила волосы Тора,— тебе пора вернуться в звездолет. Ностальгия приходит все чаще...

— Ты права. Я ступил на эту опустошенную планету, как в засохший сад, из которого нет выхода!

— Неужели целая планета так изменена человеком? — спросил Гэн Атал, который на миг представил неистощимую щедрость Земли.

— Ресурсы любой планеты ограничены,— ответил Тор,— ничего нельзя брать, не отдавая. Возвратить взятое можно путем благоустройства планеты. Иначе, как случалось и у нас на Земле, неизбежно сокрушение устоявшихся форм жизни, истощение накопленных за миллионы веков энергетических ресурсов, что обрекает на нищету и убожество грядущие поколения. А мы сейчас на планете, которую разграбили не только войны, но и безумное кроличье размножение. В отношении эксплуатации богатств природы они считали только доходы, не думая об убытках также и в человеческих ресурсах.

— Да, мы видели много печального,— согласилась Тивиса,— перебиты все звери, крупные птицы, выловлена рыба, съедобные моллюски и водоросли. Все это пошло в пищу во время катастрофического Века Голода. Погоня за количеством, за дешевизной и массовостью продуктов, без дальновидности, отравила реки, озера и моря. Реки высохли после истребления лесов и сильного испарения водохранилищ электростанций, за ними последовало обмеление и засоление озер. Почти повсюду пресная вода не дешевле пищи. Ее едва хватает на земледелие этой печальной планеты. Для опреснения недостаточно энергии. Значительных полярных шапок здесь нет — следовательно, нет и запасов пресного льда. А животноводство... Вы видели их скот? Биологически это те же козы, когда-то спасшие библейскую цивилизацию, но уничтожившие всю растительность по берегам Средиземного моря.

— Но они-то сами понимают, что наделали? — спросил Гэн Атал.— Вы виделись с учеными в биологических институтах?

— Мне думается, что понимают. Но биология их архаична и сводится главным образом к селекции, практической анатомии, физиологии и медицинским ее отраслям. Даже своих животных они не успели как следует изучить, а они исчезли. Это утрачено уже навсегда.

— «Навсегда»! Что-то я слишком часто слышу здесь это невыносимое человеку слово,— сказал Тор Лик и, замолчав, уставился в море.

Хрустальную воду впереди подернуло рябью. Сначала землянам показалось, что всплыли переплетенные водоросли. Но из неопределенной массы поднялась целая чаща извивающихся щупалец сине-зеленого цвета. Они вздымались на высоту до четырех метров над поверхностью моря, поворачиваясь и махая во все стороны расплющенными красными концами.

Судно сделало крутой поворот, землян бросило на стену каюты, а левая «сигара» поплавка поднялась над водой. Двигатели заревели, и за поднявшимся валом чудовище исчезло.

Оба тормансианина стали негромко спорить, и победил рулевой, энергично показывавший рукой куда-то в сторону от выложенного камнем берега.

— Мы не причалим прямо к городу,— пояснил своим пассажирам второй тормансианин,— у пристани очень глубоко и могут напасть лимаи. Никто еще не встречал их так близко от города. В стороне есть отмель, куда лимаи зайти не могут, и мы причалим. Придется только сделать большой обход пешком.

— Мы не боимся расстояний,— улыбнулась Тивиса.

— Но мы не боимся и этой мерзости,— вмешался Тор Лик,— наши СДФ отгонят их или уничтожат!

— Зачем разряжать батареи? — возразила Тивиса.— Хотя Гэн привез свежие, но у нас еще долгий путь.

— Тивиса права. Нам твердили о каких-то опасностях. Кроме того, при подводном нападении придется расходовать энергию вдвойне.— Тор Лик жестом покорности поднес руки ко лбу.

Под судном всплыл из глубины склон отмели. Водители разрешили пассажирам выбраться на палубу. В тяжелом, неподвижном воздухе ощущался привкус окиси азота. Как будто безжизненные химические процессы преобладали в здешней природе. Удивительно ровное дно зеленого цвета оказалось уплотненным илом. За кормой расплывались огромные клубы взбаламученного осадка.

— Ну какое тут купанье, Тивиса? — показал на дно Гэн Атал.— Здесь увязнешь с головой.

Взревели двигатели, вокруг закипела муть. Рулевой с размаху выбросил судно на прибрежный вал песка и мелкой гальки. Отсюда земляне без труда перебрались на берег по широкой доске и перевели своих девятиножек.

— Когда мы должны вернуться? — отрывисто спросил рулевой.

— Не нужно,— сказал Тор, и оба мореходa вздохнули с неприкрытым облегчением.— Мы пойдем в глубь страны и перевалим через хребет в направлении экватора, чтобы выйти на равнину Мен-Зин,— продолжал астрофизик, сверяясь с картой,— туда пришлют самолет.

— И мы осмотрим самый большой мертвый город хвостового полушария Кин-Нан-Тэ,— добавила Тивиса.

— Кин-Нан-Тэ! — воскликнул рулевой и умолк.

Товарищ подтолкнул его, одновременно кланяясь землянам и желая «пути змея: непреклонного и неотступного».

Мореходы раскачали судно. Оно сорвалось с отмели и унеслось в Зеркальное море.

Предоставленные самим себе, земляне сбросили одежды, скатали в тугие валики и пристегнули их к СДФ. Затем три разноцветные фигуры: темно-гранатовая, малахитово-зеленая и коричнево-золотая — пошли длинным неутомимым шагом вдоль берега к овальной пристанской площади. Покинутый город Чендин-Тот встретил их удручающим однообразием домов, школ, бывших мест развлечений и больниц, которое характерно было для поспешного и небрежного строительства эпохи «взрыва» населения. Странная манера перемешивать в скученных кварталах здания разного назначения обрекала на безотрадную стесненность детей, больных и пожилых людей, сдавливала грохочущий транспорт в узких каналообразных улицах. Все это Тивиса и Тор наблюдали в «живых» городах.

В невзрачных параллелепипедах построек с одинаковыми проемами окон не было ничего таинственного, что обычно привлекает в покинутых

городах. Земляне торопились пересечь унылые, покрытые пылью улицы. Застывшие в душном воздухе искривленные скелеты деревьев рассыпались при малейшем прикосновении. Тор наудачу зашел в здание, которое привлекло его цветным обрамлением входа. Проржавевшие крепления цементных перекрытий едва удерживали потолки. Тор Лик решился пройти вглубь. Плавно изогнутые контуры интерьера резко отличались от унылых прямоугольников большинства зданий. Через полукольцевой холл, заваленный обломками мебели, Тор Лик прошел в круглый зал, сразу напомнивший ему Землю. Осмотревшись, он увидел, что стены отделаны плитками полированного дунита и гиперстенового пироксенита — глубинных ультраосновных пород фундамента земной коры, очевидно и здесь слагающих нижние зоны коры Торманса. Словно подчеркивая сходство, два валикообразных фриза сквозь пыль отсвечивали красным. Тор Лик узнал в них богатые крупными гранатами эклогиты.

— Где ты, Тор? — громко позвала Тивиса, входя следом.

— Ш-ш-ш! Уходи отсюда, здание еле держится.

— Что ты нашел интересного в этой пыльной комнате?

— Она отделана минералами из глубин Торманса,— ответил Тор, выходя на улицу.— Совсем похожа на такую же в Уральском горном музее. Внутренний состав планеты, как и можно ожидать, очень близок к Земле. Следствие этого почти однозначная гравитация и характер геологических процессов.

За городом простиралась голая равнина, полого поднимавшаяся к горам. Очень далеко в горячем мареве расплывались черные пятна. Стереотелескоп позволил увидеть, что это первые живые деревья.

Трое землян упорно шли по древней извилистой дороге из накатанного щебня, похожей на русло реки: за века колеса тяжелых повозок вдавили настил дороги в рыхлую почву. Вдруг Гэн Атал остановился так резко, что семенивший рядом СДФ поднял облачко пыли, врывшись в дорогу своими короткими лапками.

— Смотрите, мы идем через кладбище! — воскликнул инженер броневой защиты, показывая на бесконечное поле неприметных холмиков. Кое-где, нарушая однообразие, высились остатки ограды, плиты цемента вместо надгробий.

— Вы удивляетесь, Гэн? — сказал тор Лик.— Впрочем, вы ведь только что из садов Цоам. Вокруг каждого большого города на десятки километров простираются подобные кладбища, возникшие в эпоху перенаселения, когда недостаток топлива заставил отказаться от сжигания трупов и вернуться к старому обычаю погребения. Гигантские кладбища Торманса — одно из красноречивых доказательств фосфорной катастрофы, происшедшей на планете. Если Торманс так похож по элементарному составу на Землю, то, как и на Земле, ресурсы фосфора на нем были весьма ограничены. Тормансиане не только растворили фосфор в отбросах, снесенных в океан, откуда его не в состоянии извлечь их бедная энергетика. Они связали его в триллионах своих костяков и закопали на этих высохших кладбищах, выключив из круговорота планеты, не учитывая, что вообще все процессы против течения энтропии невозможны без фосфора.

— Да, странно, почему они не отказались от старинного увековечения праха?

— Видимо, им стало не под силу повернуть события,— сказал Гэн.

— Аннигиляция качества количеством,— сказала Тивиса.— В зеленых джунглях тигр казался великолепным зверем, почти мистически страшным. Но представьте десять тысяч тигров, выгнанных вот на такую

равнину! Как ни опасна эта масса, но она всего лишь обреченное стадо, тигра в ней нет.

Гэн Атал почему-то вздохнул и более не проронил ни слова.

Редкая поросль простиралась во все стороны и уходила за горизонт на предгорной гряде холмов. Земляне подошли к первым деревцам. Темно-бурые короткие стволы возносили в свинцовое небо правильные воронки ветвей с грубыми листьями шоколадного цвета. Удивительная симметрия приземистых, поставленных вершиной вниз конусов напомнила о постоянном безветрии в окрестностях Зеркального моря. Путникам было очень жарко, хотя воздушная продувка скафандров работала вовсю. Воздух проносился под металлической «кожей» и вырывался через клапаны в пятках, вздымая при каждом шаге короткие струи пыли.

Бессумеречный вечер Торманса застал землян среди тех же деревьев, но более толстых и с такими густыми кронами, что в лиственной массе скрывались отдельные ветви. Длинные тени легли на сухую почву. Ничто живое не показывалось в оцепенелой роще. Когда же земляне устроились на отдых у росшего близ дороги дерева, на свет фонаря слетелись какие-то полупрозрачные насекомые. Земляне на всякий случай включили воздушный обдув из воротников скафандров. Тивиса медленно потянула воздух расширенными ноздрями и сказала:

— Великое дело — внушение. Патроны продува заряжены воздухом Земли, и, хотя я знаю, что это всего лишь атомарная смесь, абсолютно лишенная запаха и вкуса, мне чудится в здешней духоте ароматный ветер северных озер... Там я работала до экспедиции.

— Здесь любой вентилятор покажется северным ветром, по контрасту с духотой и пылью,— буркнул Тор Лик, извлекая охладительную подушку и пристраиваясь к боку СДФ.

Полусуточная ночь Торманса тянулась слишком долго, чтобы земляне могли позволить себе дожидаться рассвета. Первым проснулся Гэн Атал, одолеваемый страшными снами. Ему мерещились гигантские тени, суетившиеся поодаль, неопределенные фигуры, кравшиеся вдоль наклонного частокола камней, красные клубы дыма в зияющих черных пропастях. Некоторое время Гэн лежал, анализируя свои видения, пока не понял, что инстинкты подсознания предупреждают об угрозе, отдаленной, но несомненной. Гэн Атал поднялся, и в ту же минуту проснулась Тивиса.

— Мне снилось что-то плохое, тревожное. Здесь, на Тормансе, мне часто тяжело по ночам, особенно перед рассветом.

— Час Быка, два часа ночи,— заметил Гэн Атал.— Так называли в древности наиболее томительное для человека время незадолго до рассвета, когда властвуют демоны зла и смерти. Монголы Центральной Азии определяли так: Час Быка кончается, когда лошади укладываются перед утром на землю.

— Долор игнис анте люцем — свирепая тоска перед рассветом. Древние римляне тоже знали странную силу этих часов ночи,— сказала Тивиса и занялась гимнастикой.

— Ничего странного,— подал голос астрофизик.— Вполне закономерное чувство, сложившееся из физиологии организма еще с первобытных времен и особого состояния атмосферы перед рассветом.

— Для Афи все всегда связано с космосом! — Тивиса засмеялась.

Красно-золотой СДФ Гэна выдвинулся вперед. Высоко поднятая на гибком стержне лампа осветила дорогу. Дико заметались черные тени в промоинах и впадинах, совсем как во сне Гэн Атала. СДФ покачивался на неровностях дороги, и окружающий мрак то отступал, то набегал вплотную. В наплывах темноты вверху на мгновение появлялись оди-

нокие огоньки звезд. Справа, едва намечая правильный купол дальней горы, немощно светил спутник Торманса. Незаметно земляне достигли перевала. И снова оголенная пустыня... Начался спуск, столь же пологий, как и подъем. Впереди сквозь редевшую темноту виднелось нечто темное, закрывавшее весь еле зримый горизонт. Слабый и равномерный шум возник впереди и внизу. Земляне свыклись с безводьем огромных пространств планеты Ян-Ях и не сразу сообразили, что это журчит вода. Короткий рассвет погасил фонарь СДФ, угрюмое пурпурное светило вспыхнуло позади справа. Оно поднималось, светлея,и между гор открылась котловина. Где-то под склоном шумела речка, а за ней, на низких холмах росла чаща гигантских деревьев. Даже у привыкших к стопятидесятиметровым эвкалиптам и секвойям Земли путешественников захватило дыхание. Колоннада сравнительно тонких стволов, не меньше двухсот пятидесяти или трехсот метров в высоту, вверху прикрывалась сплошной шапкой ветвей и листвы. Земляне спустились к речке, ожидая увидеть бегущий по гальке горный поток, а наткнулись на глубокую, темную, едва заметно текущую воду, подпруженную упавшим поперек обломком колоссального дерева. Осторожно балансируя по скользкой запруде, все шесть пешеходов — трое людей и три СДФ — перебрались на мягкий мохообразный покров. СДФ принуждены были делать скачки, чтобы не увязнуть короткими лапками. За полосой мха снова пошла сухая каменистая почва, прикрытая в лесной полосе толстым слоем отмерших листьев и ветвей. Под ногами идущих полусгнивший покров превращался в коричневый прах, вероятно, веками некому было топтать эти обветшалые остатки.

— Так вот как выглядели леса Торманса до прихода наших звездолетов! — негромко сказала Тивиса.

— Интересно, кто здесь обитал в те времена? — спросил Гэн Атал, пиная истлевшую массу листьев и плодов, взрывая темную пыль.— Вряд ли кто-либо мог прокормиться тут, внизу!

— В больших лесах Земли,— ответила Тивиса,— вся животная жизнь сосредоточивалась там,— она подняла руку к терявшимся в высоте искривленным ветвям.

Словно откликаясь на ее жест, высокий, как свисток, вопль прорезал безмолвие леса, заставив людей замереть от неожиданности. Где-то далеко послышался ответный вопль, похожий на визг многооборотной алмазной пилы.

Тор Лик, выхватив стереотелескоп, пытался разглядеть что-нибудь в густой листве. На трехсотметровой высоте ему почудилось едва уловимое колебание веток.

— Ага! — весело воскликнул Гэн Атал.— Не все вымерло тут, за Зеркальным морем! Не все съели тормансиане!

— Если действует фактор СА, там вряд ли осталось что-либо путное,— поморщился Тор Лик.— Этот визг не вызывает у меня симпатии.

Земляне долго стояли, прислушиваясь и настроив фотоглаз СДФ на слабое освещение. Но гигантский лес, казалось, хранил в себе не больше жизни, чем кубики едва державшихся домов Чендин-Тота.

Еще два дня провели земляне в лесу, пробиваясь с холма на холм через нагромождения растительного праха. Иногда небольшие прогалины уходили вверх ослепительными трубами света. Высоко виднелось свинцово-серое небо в обрамлении мохнатых шоколадных ветвей. На третий день они остановились на опушке одной из прогалин.

— Мы напрасно теряем время,— решительно сказала Тивиса,— если здесь, в заповеднике и, безусловно, древнем лесу, уцелело ничтожное

число животных вроде этих визгунов, то у нас мало шансов не только наблюдать, но даже мельком увидеть их! Слишком велик их страх перед человеком. Какой контраст с Землей! Я эти дни часто вспоминала наших пернатых и мохнатых друзей. Как живут тормансиане без заботы о своих младших братьях? Ведь любовь к природе исчезает, если нет никого, чтобы разделять ее!

— Кроме вот этого! — прошептал Гэн, показывая на противоположную сторону поляны.

Там, за столбом света между стволами, притаилось животное величиной с медведя, только ниже ростом. Яркие, как у птицы, глаза следили за неподвижно стоявшими землянами без страха, как бы соразмеряя свои силы с силами пришельцев.

Тивиса сорвала с пояса наркотизаторный пистолет и послала серебряную ампулу в бок животного. Оно издало короткий низкий рев, подпрыгнуло и, получив вторую ампулу в заднюю ногу, понеслось прочь. Гэн Атал ринулся вдогонку. Тивиса умерила его пыл, сказав, что препарат на крупных пресмыкающихся действует в течение двух минут. Правда, если животное обладает низкой организацией, то препарат может потребовать и больше времени.

След, пропаханный в древесной гнили, привел к подножью дерева, исполинского даже среди гигантов этого леса. Оглушенное мощным наркотиком животное с размаху налетело на ствол и повалилось навзничь. Невыносимая трупная вонь принудила землян вставить в носы фильтры и лишь затем подойти вплотную к неведомому зверю. У него была черная, как тормансианская ночь, безволосая чешуйчатая кожа. Большие глаза, вытаращенные и остекленевшие, говорили о ночном образе жизни. Две пары согнутых лап располагались так близко одна к другой, что казалось, выходили из одного места на туловище. Под тяжелой кубической головой виднелась еще одна пара конечностей, длинных, жилистых, с кривыми серповидными когтями. Широкая пасть была раскрыта. Безгубый рот обнажал двухрядные дуги конических притупленных зубов. От действия наркотика или от удара о дерево чудовище извергло вонючее содержимое своего желудка.

Тор Лик схватил Тивису за руку и показал на полупереваренный человеческий череп, выброшенный вместе с осколками других костей. Оба исследователя вздрогнули от оклика Гэн Атала:

— Осторожней, оно приходит в себя!

Задняя лапа дернулась раз, другой. «Не может быть! — подумала Тивиса.— Парализатор действует не менее часа». Она осмотрелась и отпрянула под взглядом нескольких пар глаз, таких же больших, прозрачных и красных, как у погруженного в сон чудовища, упорно смотревших на нее из темноты между деревьями. Одно из животных, полускрытое слоем трухи, ползло, извиваясь, к сраженному наркотиком зверю.

— Тор, скорее! — прошептала Тивиса.

Защитное поле СДФ отбросило наглую тварь, и ее рев заглох в непроницаемой стене.

Тор Лик поставил СДФ с другой стороны дерева, и Тивиса занялась исследованием анестезированного животного. Тем временем Гэн Атал извлек из своего СДФ прибор, похожий на парализующий пистолет Тивисы, и насадил на него круглую коробку с торчавшим в центре зазубренным шипом. Астрофизик помогал Тивисе. Они вдвоем перевернули чудовище, делая электронограммы.

Гэн Атал перевел пистолет на максимальный удар и выстрелил вдоль ствола дерева, у подножья которого они стояли. Коробка намертво при-

липла в развилке двух мощных ветвей на высоте более трехсот метров. Телеуправляемый мотор опустил на тончайшем тросе защелку. К ней Гэн Атал прикрепил плетеные ленты, соединил их двумя пряжками — и подъемное приспособление было готово.

Через несколько минут Тивиса взвилась на страшную высоту, поднятая скрытым в барабане двигателем. Она воспользовалась своим пистолетом, чтобы вбить несколько крючков для оградительного троса и подвески СДФ. Последним подняли СДФ Гэн Атала. Едва выключилось защитное поле, как сторожившие за деревьями твари бросились к еще не очнувшемуся животному. Хруст костей и протяжный вой не оставили никакого сомнения в судьбе одного из последних больших животных Торманса, населявших планету до того, как она подверглась опустошению человеком.

Тонкий, крепкий, точно стальная пружина, ствол слабо покачивался от работы подъемного двигателя.

Тивису позабавило приключение. После пыльных равнин и тесных городов она впервые оказалась на пьянящей высоте. Тонкость ствола усиливала чувство опасности, а неопределенность положения, из которого надо было выходить, напрягая силы ума и тела, казалась заманчивой...

Гэн Атал вскарабкался еще выше. Из непроницаемой листвы послышался его торжествующий возглас:

— Так и есть!

— Что есть? — спросил Тор Лик.

— Воздушное течение, устойчивый ветер!

— Разумеется! Если только за этим мы лезли сюда, то следовало спросить меня.

— Как же тебе удалось без приборов обнаружить воздушное течение?

— А вы обратили внимание на повышенную влажность крон?

— Да, в самом деле. Теперь все понятно! Вот в чем объяснение громадной высоты деревьев. Они стараются достичь проходящего над горами постоянного тока воздуха, несущего влагу в безветренной стороне... Все отлично. Поднимайтесь сюда, втащи СДФ и будем готовить планер.

— Планер?

— Ну конечно. Я предвидел возможность переправы через ущелья, реки или морские заливы.

Плотный зеленовато-коричневый покров виднелся метров на сто ниже башнеобразной кроны дерева, облюбованного путешественниками. В сторону экватора и осевого меридиана (Тивиса не раз говорила, что не может привыкнуть к «вертикальному» экватору Торманса и его «горизонтальным» меридианам) лесная чаща обрезалась серо-фиолетовыми обрывами гор. За ними находилась некогда большая река, протекавшая по плодородной равнине Мен-Зин, и один из древнейших городов планеты, Кин-Нан-Тэ. Земляне рассчитывали добраться до Нан-Тэ и вызвать туда самолет.

Гэн и Тор принялись разворачивать огромные полотнища тончайшей пленки, натягивая ее на рамы из нитей, быстро затвердевавших на воздухе.

Тивиса заряжала информационные катушки новыми наблюдениями. Когда взошло солнце, земляне спустились пониже и укрылись в листве, выжидая усиления воздушных потоков. От грубых, крючковидно изогнутых листьев шел сушивший горло одуряющий запах.

— Лучше надеть маски,— посоветовала Тивиса.

Мужчины повиновались, дышать стало легче. Тор Лик прислонился к стволу, с удовольствием глядя на Тивису. Она устроилась в развилке ветви, протянутой как ладонь гиганта, и спокойно работала, мерно покачиваясь на трехсотметровой высоте, как будто всю свою еще недолгую жизнь лазала по деревьям.

Гэн Атал раздал патрончики с пищей и задумался.

— Не могу забыть про череп, извергнутый чудовищем,— вдруг сказал он.— Неужели эти твари — людоеды?

— Возможно,— ответила Тивиса.— Скорее они питаются трупами. Обратите внимание на две особенности, как бы исключающие друг друга. Размером эти животные с крупного хищника, а зубы у них хоть и мощные, но короткие и тупые. Вероятно, это самые большие из тех наземных животных Торманса, которые уцелели потому, что переменили род питания. Произошло это в период катастрофы, в Век Голода, когда в трупах не было недостатка, если только сами люди не соперничали с этими животными в поедании их пищи.

— Ужасные вещи вы говорите, Тивиса,— поморщившись, сказал Гэн Атал.

— Природа выходит из своих тупиков самыми безжалостными путями. Каннибализм перестает быть запретным при низком развитии эмоций и интеллекта, когда приказ голодного тела затемняет чувства и парализует волю.

Тор Лик выпрямил уставшие ноги.

— Если человек был съеден, то окрестности не совсем безлюдны.

— Тупорылые хищники могут пробегать большие расстояния. А потом, ты разве забыл, что нам недавно говорили в Биологическом институте?

— О бродячих людях и целых поселках, укрывающихся в заброшенных областях? — вспомнил Тор Лик.— Может быть, это и есть опасность, о которой нас предостерегали?

— А возможно, они имели в виду лимаев или этих,— Тивиса показала вниз и швырнула туда пустой патрончик.

В ответ донесся раскатистый рев.

— Все-таки странно, что нас не предупредили,— сказал Тор Лик.— Или они сами ничего не знают?

— Трудно допустить! — возразила Тивиса.— Но действительно, странно. Может быть, в заповедных лесах давно никто не был?

— По отсутствию влечения к природе и это возможно,— ответил Тор.— Здесь от природы остались только обрывки, и то чисто утилитарного назначения, без глубины, внутренней души, сложных взаимосвязей. Какой тут может быть интерес к природе!

— Как же так? — удивился Гэн.— Вы посетили с десяток заповедников, и неужели ничто не заинтересовало вас, не привлекло хотя бы своей необычностью?

— Нам показали пятнадцать заповедников,— сказала Тивиса.

— Тем более. И во всех, наверное, нашли что-то? И людей, потомков тех, что бережно сохраняли природу в разных местах планеты?

— Гэн, поймите, что все заповедники Торманса — новые посадки на месте уничтоженных лесов и степей. В них нет ничего древнего, так же как и в немногих видах животных, уцелевших в зоологических садах, выродившихся и вновь возвращенных к мнимо дикой жизни среди правильных рядов растений. А мы не видели ни одного по-настоящему большого дерева!

— Так, значит, мы все впервые на островке древней природы Тормана! Однако мне не хотелось бы еще оставаться здесь. Трех дней вполне достаточно.

— Достаточно, Гэн! Ждать нечего. Возможно, мы еще вернемся сюда на винтолете, чтобы выследить визгунов,— сказала Тивиса.

Ветерок слабо зашелестел листвой. Земляне поспешно собрали второй ромбический планер из почти невесомой пленки, присоединили турбокоробки со складными воздушными винтами. Энергии в них хватало всего на две-три минуты взлета. Гэн с двумя СДФ составили экипаж первого ромба. Тивиса, Тор и третий СДФ разместились на каркасе второго планера. Завертелись винты, прозрачные ромбы один за другим соскользнули с верхушки дерева и медленно поплыли над ковром соединенных крон в сторону гор. Гэн Атал облегченно вздохнул. Пока крутились винты, планеры достигли опушки леса и, подхваченные восходящим потоком, долетели до второй ступени гор. Отвесные темно-лиловые стены высоких плоскогорий нельзя было преодолеть при слабых воздушных течениях. Гэн Атал направил планер в широкий проход, рассекавший обрывистые скалы.

К удивлению землян, они опустились среди холмов затвердевших глин, рядом с хорошей дорогой, лишь незначительно поврежденной осыпями и размывами.

Тор Лик хотел сложить свой планер, но Гэн махнул рукой.

— Заряды в турбокоробках израсходованы, проволока затвердела, и ее не согнуть, бесполезный груз.

Астрофизик с сожалением посмотрел на громадное ромбическое крыло, простершееся на склоне холма, и пошел к дороге.

Подъем по раскаленному ущелью занял несколько часов. Земляне остановились на отдых в тени крутого обрыва.

— По дороге мы можем идти и ночью,— сказал Тор Лик и стал надувать тончайшую подушку.

— Хотелось бы добраться до перевала еще засветло,— лениво возразил Гэн Атал.— Посмотрим, что там, за горами. Если дорога сохранилась лучше, то мы поедем на СДФ.

— Великолепно! — согласился Тор Лик.— Кто не любит кататься на СДФ! А Тивиса еще в школе славилась ловкостью в этом спорте... Кстати, где она? — астрофизик вскочил.

— Сказывается путешествие по Тормансу,— спокойно ответил Гэн Атал,— всех нас часто охватывают приступы напрасной тревоги. А Тивиса — вот,— он показал на высокий утес, сложенный из чередующихся слоев песчаника и мягкой белесой глины. Утес поднимался круто, расколотый трещинами и усыпанный отвалившимися глыбами, напоминая развалины титанической лестницы. Крошечная фигурка сверкала в лучах красного светила, Тивиса ловко прыгала с выступа на выступ по огромной круче.

Тор и Гэн помахали ей, призывая в тень обрыва. Тивиса энергично манила к себе.

Тор Лик встал и с сожалением посмотрел на свою мягкую подушку.

При виде обломков больших черных гладких костей у подножия утеса от их расслабленности не осталось и следа. Тивиса стояла на уступе, где отвалившаяся глыба открыла скелеты крупных животных. Несколько поодаль из песчаника выступал полуразрушившийся огромный череп еще одного зверя. Толстый обломок не то рога, не то бивня торчал из кручи, словно еще грозил врагам.

Трое землян молча созерцали скелеты; цвет и сохранность окаменелых костей свидетельствовали о захоронении животных в обширных водоемах. Весь утес был усыпан костями. Это говорило о некогда процветавшей здесь могучей жизни.

Тивиса и Тор видели несколько скелетов ископаемых животных в музее биологического центра. Эти палеонтологические коллекции не отражали подлинной истории жизни на Тормансе и не шли ни в какое сравнение с великой картиной прошлого, воссозданной в музеях Земли. Малый интерес тормансиан к прошлому своей планеты, возможно, вызывался общим упадком исторических исследований при олигархическом строе. Олигархия не любит истории. Но более доверительной была, пожалуй, другая причина. На земле в глубоко лежащих слоях миллионолетней давности находились останки древних людей, обычно вместе с останками слонов. Самые могучие и самые слабые физически из крупных животных Земли как бы сопутствовали друг другу. Еще глубже в прошлое уходили слои, относящиеся ко времени, когда пралюди готовили первые орудия и овладевали огнем и, наконец, когда общие предки человека и обезьян разделили свои пути.

Человеку Земли были очевидны свои корни на родной планете. Он мог оценить весь путь великого восхождения от первичной жизни до мысли, пройденный за миллионы веков страдания, бесконечного рождения и смерти живой материи.

Почвы Торманса хранили свидетельства исторического развития жизни до уровня не выше животного, с интеллектом значительно ниже земных лошадей, собак, слонов, не говоря уже о китообразных. Здесь палеонтология доказывала, что человек — чужой пришелец, и хранила свидетельства преступного уничтожения им прежней жизни Торманса, какими бы Белыми Звездами человек ни прикрывал свое происхождение. Необозримые степи хвостового полушария, ныне пыльные, пустынные, были, очевидно, так же богаты жизнью, как беспредельные равнины волнующейся высокой травы с миллионными стадами животных и стаями птиц, уничтоженные в Северной и Южной Америке и Африке. Тивисе ярко припомнилась картина в Доме истории Африки и экваториальной зоны. Выжженная беспощадным солнцем равнина с разбросанными кое-где зонтичными акациями усеяна выбеленными и рассыпавшимися в прах скелетами диких животных. Опираясь на радиатор быстроходной машины, на переднем плане стоит человек с многозарядной винтовкой, щуря скучающие глаза от дыма прилепленной к углу рта сигареты. Подпись на староанглийском языке игрой слов означала одновременно и «Конец дичи» и «Конец игры».

— Тивиса, что с тобой? — спросил Тор Лик.

— Задумалась! Принеси аппараты. Мы сделаем голограммы.— Тивиса прищурила раскосые глаза, уставшие от яркого света.

Трое путешественников и три верные девятиножки упорно преодолевали подъем, углубляясь в тень темно-фиолетовых обрывов главного массива.

Лучи светила уже скользили параллельно поверхности плоскогорья, когда ущелье расширилось. Горизонт стал уходить вниз. Позади осталась обширная впадина с первобытным лесом, а впереди в направлении экватора простирался каменный хаос разноцветных пород, размытых еще до высыхания планеты. Гребни, зубцы, правильные конусы и ступенчатые пирамиды, ущелья, как рваные раны, стены с архитектурно правильными ансамблями колонн, осыпи и сухие русла — все перемещалось в пестром лабиринте с пятнами густых теней, то синих, то фиолетово-черных.

Очень далеко, в дымке, подсвеченной пурпурным низким светилом, хаотические нагромождения выравнивались, незаметно переходя в пустынную степь равнины Мен-Зин. Сквозь задымленный пылью горизонт едва проблескивала вода. Пурпурная дымка превращалась там в разорванную гряду синих облачков, низко лежавших над степью.

Здесь было прохладней, и земляне пустились под гору бегом. Извилистую дорогу местами перегораживали обвалы. Путешественники бежали час за часом, а рядом, не отставая, пылили три СДФ. Ниже пошла зона песков, навеянных ветром прошлых времен на откосы предгорий. Песчаные наметы пересекали дорогу на ее изгибах острыми гребешками.

Тивиса тяжело дышала, заметно устали и Тор с Гэном. Астрофизик внезапно остановился.

— Зачем, собственно, мы бежим, и еще в таком темпе? До воды на горизонте еще далеко, а сейчас стемнеет. Ведь точного срока прибытия в Кин-Нан-Тэ мы не назначали.

Тивиса рассмеялась и перевела дух.

— В самом деле? Вероятно, в нас не одолено подсознательное желание уйти подальше от неприятных лесов и их обитателей. Отдых!

Вертикальные полосы кристаллов гипса пересекали срез холма, под которым устроились земляне. Для безопасности СДФ поставили вокруг лагеря, не включая поля, но оградившись барьером невидимых лучей, соединенным с автоматическим реле защиты.

— На случай, если и здесь водятся пожиратели голов,— улыбнулся Гэн Атал, настраивая ограждение.

Тор Лик попробовал связаться со звездолетом посредством отраженного луча, но безуспешно. Мощности СДФ не хватало для создания своего волновода, а без него столь дальняя связь требовала знания атмосферных условий.

...Тивиса проснулась от легкого шума и не сразу поняла, что это шелестит ветер, налетавший в предрассветный час из просторов равнины Мен-Зин. Росшие вокруг колючие кустики походили на скорбно склоненных карлиц со спутанными и спущенными до песка волосами. Они шевелились, горестно кивая головами. Возникло тоскливое чувство и тотчас исчезло. Тивиса не знала, было ли оно вызвано давно не слышанным шелестом ветра — всегдашнего спутника жизни на Земле, или этими печальными растениями тормансианской пустыни.

Снова двинулись в путь. Дорога улучшилась. СДФ втянули короткие жесткие лапки, заменив их валиками с мягкими грунтозацепами, выдвинулись подставки для ног, а в центре поднялся стержень для опоры и управления. Любители ездили на СДФ без опоры, надеясь на мгновенную реакцию и развитое чувство равновесия. Тогда простое передвижение превращалось в спорт. Тивиса в своем темно-гранатовом, с розовой отделкой скафандре, с развевающейся гривой черных волос, красиво и ловко балансируя на ножных подставках, мчалась среди пустыни, Гэн Атал залюбовался ею и едва не полетел через голову, когда его СДФ притормозил перед поворотом.

Тивиса задала такой темп езды, что через два часа они уже спустились в широкую речную долину. Когда-то здесь текла могучая река. Лишенная после вырубки лесов питавшего ее водосбора, перегороженная плотинами, она превратилась в цепь озер, испарение которых становилось тем сильнее, чем меньше оставалось воды и суше делался климат. Вскоре только отдельные озерца густого рассола тянулись чередой вдоль наиболее глубокой полосы бывшего русла. Красные, твердые как бетон пески покрывали края долины. Ближе к воде они розовели, светлея, а вокруг озер

резала глаза игрой световых лучей кайма бирюзовых, аметистовых и лиловатых кристаллов. Такие же кристаллы облепили пронизанные солью остатки мертвых древесных стволов, торчавших там и сям из мелкой голубой воды искривленными пнями, расщепами и корягами в тяжелом зное над неподвижной гладью озерков.

Земляне потратили некоторое время, объезжая топкую грязь, и пересекли русло там, где два холма высокого берега разделялись долиной притока, облегчая подъем на стометровый обрыв. Чувство пути и здесь не обмануло землян. Едва путешественники взобрались на берег, как увидели огромный город. Он располагался всего в нескольких километрах от реки. Только высота берега и своеобразная рефракция раскаленного над солевыми озерами воздуха помешали землянам еще с гор увидеть самый большой город хвостового полушария Кин-Нан-Тэ. Даже издалека они заметили, насколько лучше сохранилась старая часть города, чем позже застроенные районы. Башни, похожие на архаические пагоды Земли, горделиво поднимались над жалкими развалинами, простиравшимися по периферии древнего города.

Восьмигранные, многоэтажные, чуть суживающиеся кверху башни с пышными орнаментами, выступами и балконами сверкали пестротой облицовки с повторяющимися изображениями пугающе искривленных лиц между извилинами все тех же змей или стилизованных розеток из дисковидных цветов Торманса. Другие пагоды казались опоясанными тонкозубчатыми гребенками из черного металла, чередовавшимися с этажами из серых металлических плит, испещренных иероглифами, или из решеток, прорезанных крестовидными отверстиями.

Башни высились на постаментах-аркадах. Когда-то их окружали сады и бассейны, теперь от них остались лишь трухлявые пни и ямы с керамической облицовкой.

Гэн Атал силился вспомнить, где на Земле он видел подобную архитектуру. В каких реставрированных городах древности?

Не на востоке ли Азии?

Аэродромы, пригодные для посадки самолетов, располагались с экваториальной стороны Кин-Нан-Тэ. Путешественникам предстояло пересечь весь город, но они только порадовались такой возможности. Древний город стоило осмотреть, потратив даже лишний день. Земляне с трудом лавировали в развалинах строений последнего периода Кин-Нан-Тэ. Бури или легкие землетрясения, миновавшие город Чендин-Тот на берегу Зеркального моря, здесь разрушили непрочные, наспех выстроенные дома, превратив их в безобразные груды камней, плит и балок. Только гигантская чугунная труба древнего водопровода, опиравшаяся на скрученных в спиральные пружины железных змей, прямо и неуклонно прорезала хаос развалин. Не менее величественно выглядели колоссальные ворота на границе Старого города. У них было восемь символических проходов. Тяжелые порталы с угловатыми крышами опирались на квадратные колонны высотой метров в пятнадцать. Земляне прошли сквозь центральный проход, как бы вступая в другой мир. Здесь чувствовалась та же недобрая монументальность архитектуры, как и в садах Цоам, только откровеннее. Каждое из огромных зданий предназначалось для умаления человека, дабы он ощущал себя ничтожной, легко заменимой дешевой деталью общественного механизма, в котором он выполнял работу, не рассуждая и не требуя понимания.

Печать разрушения еще острее ощущалась в центральной части города при взгляде на высохшие пруды, каналы, истлевшие деревья парков, крутые, смелые арки мостов, бесполезно горбящихся над безводными

26 Зак. № 71388

руслами. Мерные шаги землян и четкий топоток СДФ, снова вставших на свои жесткие лапки, гулко раздавались на каменных плитах улиц и площадей.

Широкие лестницы вели к большим зданиям, окруженным колоннами, еще сохранившими яркую расцветку. Надменно кривились задранные углы крыш; дверные проемы в форме больших замочных скважин, казалось, скрывали нечто запретное. Вместо привычных капителей колонны увенчивались сложным переплетом кронштейнов. Основания их обычно изображали или связанных людей, раздавленных тяжестью, или чешуйчатые кольца змей.

Путешественники миновали скопление высоких зданий и очутились перед гигантской, видимо, очень старой башней. Часть из ее двенадцати карнизов обрушилась, обнажая внутреннюю структуру сложных проходов, черневших в толще обветшалых стен. На землян повеяло таинственностью, странное предчувствие овладело ими. Этому, видимо, способствовали и две зловещие статуи из грубого, побелевшего от известковых потеков металла, охранявшие подход к башне.

В странных одеждах, с яростно сжатыми кулаками и безобразно выпяченными животами, они стояли, расставив ноги. Лица, выполненные с особой экспрессией, каждой чертой выражали тупую жестокость. В широком, плотно сжатом рте, в глубоких морщинах, сбегавших от плоского носа к подбородку, в вытаращенных под тяжелыми косыми надбровьями глазах ощущалось неукротимое стремление убивать, мучить, топтать и унижать. Всю мерзость, на какую только способен человек, собрали искусные ваятели, как в фокусе, в этих отвратительных лицах.

— Здесь даже пахнет неприятно,— сказала Тивиса, нарушая тягостное молчание. Присев, она стала рассматривать жирные пятна на плите.— Кровь! Совсем свежая кровь!

Таинственное молчание древнего города становилось угрожающим. Кто мог оставить следы крови на плитах площади? Звери или люди?

Внезапно из какой-то дали до них донеслись непонятные звуки, им показалось, что это приглушенные расстоянием вопли людей и исходят они через окна башни.

Движимые одинаковым побуждением, путешественники хотели было проникнуть в башню, но им ни на шаг не удалось продвинуться внутрь. Обрушенные внутренние перекрытия закрывали нижнюю часть здания, не оставляя даже маленькой лазейки. Они снова вышли на площадь и прислушались. Вопли теперь слышались ясней.

Звуки, отражаясь от зданий, приходили с разных сторон, то усиливаясь, то замирая. Наконец со стороны ворот, через которые они прошли, послышались отчетливые человеческие голоса. Тивисе показалось, что она различает отдельные слова на языке Ян-Ях.

— Видите, здесь, оказывается, есть жители!— обрадованно воскликнула она,— речь ее прервалась таким отчаянным воплем, что все трое содрогнулись. Крик слабел, пока не замер, заглушенный гомоном многих людей.

Тивиса беспомощно оглянулась. Ее познания в социологии низко организованных обществ были слишком ограниченны, чтобы предвидеть события и найти наилучшую линию поведения. Тор Лик кинулся было вперед, туда, откуда доносились крики, но, подумав, вернулся к товарищам. Гэн Атал, не теряя времени, выдвинул излучатель защитного поля СДФ. Голоса приближались сразу с двух сторон — единственных выходов с площади в прилегающие улицы.

К башне примыкала стена из серого камня с узким проходом между двух столбов, увенчанных железными змеями. Гэн Атал предложил уйти под защиту стены.

На верхней площадке лестницы появилась толпа людей. Подножие башни скрывало от землян большую часть скопища. Никто не заметил путешественников, и те могли рассмотреть пришельцев. Это были молодые люди, вероятно принадлежавшие к группе «кжи», оборванные и неряшливые, с тупыми лицами, как будто одурманенные наркотиком. Среди них возбужденно метались женщины с нечесанными, грязными прядями слипшихся волос.

Впереди дюжие молодцы волокли двух истерзанных людей, женщину и мужчину. Нагих, в грязи, в поту и крови. Распустившиеся длинные волосы женщины скрывали опущенное на грудь лицо.

Со стороны, где находились ворота, послышался восторженный рев. Новая толпа кричащих, беснующихся людей выплеснулась на площадь, по-видимому, служившую для собраний.

Тивиса взглянула на Тора с немым вопросом. Он приложил пальцы к губам и пожал плечами.

Из второй толпы выступил обнаженный до пояса человек, волосы на его голове были связаны узлом. Он поднял правую руку и что-то крикнул. В ответ с лестницы раздался смех. Перебивая друг друга, завопили женщины. Страшный смысл услышанного не сразу дошел до землян.

— Мы поймали двух! Одного убили на месте. Второго дотащили до ворот. Там он и подох, пожива для...— Путешественники не поняли незнакомое слово.

— А мы схватили еще двоих, из той же экспедиции! Есть женщина! Она хороша! Мягче и толще наших. Дать?

— Дать!— рявкнул полуголый с волосами узлом.

Пленнице вывернули руки, и она согнулась от боли. Тогда один из молодцов сильным пинком сбил ее с лестницы, и женщина покатилась к статуям. Полуголый подбежал к оглушенной падением жертве и поволок ее за волосы на кучу песка около башни. Тогда мужчина-пленник вырвался от мучителей, но был схвачен человеком в распахнутой куртке, на голой и грязной груди которого была вытатуирована летящая птица. Пленник в яростном безумии, дико визжа, вцепился в уши татуированного. Оба покатились по лестнице. Пленник всякий раз, как оказывался наверху, ударял головой мучителя о ребра ступенек. Татуированный остался лежать у подножия. С ревом толпа хлынула вниз. Пленник успел добежать до полуголого, тащившего женщину. Тот свалил его искусным ударом, но не остановил. Схватив победителя за ноги, пленник впился зубами в щиколотку, опрокинув того на землю.

Подоспевшие на помощь оторвали пленника от упавшего, растянули ничком на плитах у статуй. Полуголый вскочил, ощерив редкие зубы широкого рта. В этой усмешке-оскале не было гнева, а только издевательское торжество, упоение властью над поверженным человеком.

Гэн Атал отделился от стены, но прежде, чем он сделал второй шаг, полуголый выхватил из-за пояса заершенный, как гарпун, кинжал и вонзил по рукоятку в спину пленника.

Трое землян, осуждая себя за промедление, выбежали на площадь. Торжествующий рев вырвался из сотни одичалых глоток, но толпа разглядела необычный вид людей и притихла. Тивиса склонилась над корчившимся пленником, осмотрела кинжал. Он был покрыт пластинками стали, пружинисто отделявшимися от клинка подобно хвойной шишке с длинными чешуями. Такое оружие можно было вырвать только с

внутренностями. Тивиса мгновенно приняла решение: успокоив раненого внушением, Тивиса нажала две точки на его шее, и жизнь мученика оборвалась.

Женщина, не в силах встать на ноги, доползла до землян, умоляюще протягивая к ним руку. Полуголый вожак прыгнул к ней, но вдруг завертелся и с глухим стуком ударился головой о плиты. Тор Лик, который сбил его воздушной волной из незаряженного наркотизаторного пистолета, бросился к женщине, чтобы поднять ее. Откуда-то из толпы вылетел такой же тяжелый нож и вонзился между лопатками женщины, убив ее наповал. Второй нож ударился о скафандр Тор Лика и отлетел в сторону, третий просвистел у щеки Тивисы. Гэн Атал, как всегда рассчитывая на технику, включил защиту своего СДФ, которму он заблаговременно приказал быть рядом.

Под рев возбужденной толпы и звон ножей, отлетевших от невидимого заграждения, земляне укрылись в проходе в стене. Не сразу нападавшие поняли, что имеют дело с непреодолимой силой. Они отступили на площадь и принялись совещаться. Осмотревшись, путешественники поняли, что находятся в огражденном массивными стенами бывшем парке. Труха рассыпавшихся пней лежала кучками между каменными столбами с надписями, плитами и скульптурами. Это было кладбище тех отдаленных времен, когда людей хоронили в городе, около знаменитых храмов. Стена кладбища не задержала бы нападения, поэтому Гэн Атал выбрал место для установки защитного поля недалеко от входа. Он поставил два СДФ на «осевых» углах квадрата, оконтуренного столбиками из синей керамики. Здесь для нападавших нагляднее была граница запретной зоны. После нескольких атак у них выработается рефлекс на непреодолимость, и тогда можно будет иногда выключать поле. Состояние батарей очень заботило инженера броневой защиты. Не ожидая подобных приключений, они израсходовали много энергии на быструю езду...

Тор Лик поднял перископ СДФ, одновременно служивший антенной. Приближался час, когда «Темное Пламя» создаст отражательное «зеркало» в верхних слоях атмосферы над городом Кин-Нан-Тэ. Путешественники вызовут самолет и смогут посоветоваться по поводу случившегося.

Индикатор связи показал синий огонек. Для экономии энергии решили вести переговоры без изображения, с выключенными ТВФ.

Потрясенная Тивиса бродила между могил и все никак не могла успокоиться, коря себя за опоздание с помощью пленникам.

Тор Лик подошел к ней и хотел обнять ее, но она отступила, отстранилась.

— Кто эти существа? Они не отличимы от людей и в то же время не люди. Зачем они здесь?— мучительно прозвучал ее вопрос.

— Вот это, наверное, та самая опасность, на которую намекали чиновники Торманса,— убежденно сказал Гэн.— Очевидно, они стыдятся признать, что на планете Ян-Ях существуют такие виды — обществом это не назовешь,— виды бандитских шаек, будто воскресших из Темных Веков Земли!

— Да, опасность куда страшнее, чем лимаи Зеркального моря и пожиратели черепов в лесу,— согласился Тор.

— Я вспомнил, к сожалению, поздно одну из лекций Фай Родис,— удрученно вздохнул инженер броневой защиты,— о чудовищной жестокости, накапливавшейся в психологии древних рас. Отсюда следовал вывод о разных уровнях инферно у разных народов в одно и то же время. Из-за униженности перед владыками жизни в любом образе — зверя,

бога, властелина — возникает потребность торжества через изощренное мучение и издевательство над всеми попадающими во власть подобных нелюдей.

— Мне кажется, здесь не то!— возбужденно крикнул Тор Лик.— Как и всякое другое, тормансианское общество накапливало моральные ресурсы через воспитание в суровой школе жизни. Они израсходованы в тиранической эксплуатации, и наступила всеобщая аморальность, которую никакие грозные законы и свирепость «лиловых» сдержать не могут.

— Нет, я должна поговорить с ними! Гэн, выключайте поле.— Тивиса направилась к проему в стене.

Появление Тивисы вызвало крики толпы, заполнявшей площадь. Тивиса подняла руки, показав, что хочет говорить. С двух сторон подошли, очевидно, главари — полуголый с волосами, стянутыми в узел, и татуированный — в сопровождении своих подруг. Женщины, похожие друг на друга, как сестры, шли, виляя худыми бедрами.

— Кто вы?— спросила Тивиса на языке Ян-Ях.

— А кто вы?— спросил, в свою очередь, татуированный, он говорил на «низком», примитивном наречии планеты, с его неясным произношением, проглатыванием согласных и резким повышением тона в конце фраз.

— Ваши гости с Земли!

Четверо разразились хохотом, тыча пальцами в Тивису. Смех подхватила вся толпа.

— Почему вы смеетесь?

— Наши гости!— проорал полуголый, налегая на первое слово.— Скоро ты будешь наша...— и он сделал жест, не оставляющий сомнений в судьбе Тивисы.

Женщина Земли не смутилась и, не дрогнув, сказала:

— Разве вы не понимаете, что катитесь в бездну без возврата, что накопленная в вас злоба обращается против вас же? Что вы стали собственными палачами и мучителями?

Одна из женщин, злобная, ощетинившись, как разъяренная кошка, внезапно приблизилась к Тивисе.

— Мы мстим, мстим, мстим!— закричала она.

— Кому?

— Всем! Им! Кто умирает бессловесным скотом, и тем, кто вымаливает жизнь, служа холуем у владык!

— А кто такой холуй?

— Гнусный раб, оправдывающий свое рабство, тот, кто, обманывая других, ползет на животе перед владыками, кто предает и убивает исподтишка. О, как я их ненавижу!

«Эта женщина подверглась тяжелому унижению, насилию, поставившему ее на грань безумия»,— подумала Тивиса и тихо спросила:

— Но кто обидел вас? Именно вас, лично?

Лицо женщины исказилось.

— А! Ты чистая, красивая, всезнающая! Бейте ее, бейте всех! Что стоите, трусы!— завизжала она.

«Психопатка!»— подумала Тивиса. Она вгляделась в лица приближавшихся к ней людей и ужаснулась: ни одной мысли не было в них. Дикая и темная, плоская, как блюдечко, душа недоразвитого ребенка смотрела на нее глазами этих людей.

И Тивиса отступила в ворота как раз вовремя. Гэн Атал, следивший за переговорами с рукой на кнопке, замкнул защиту. Отброшенные преследователи покатились по плитам древней площади.

Тивиса схватилась за щеку, как всегда в минуты разочарования и неудач.

— Что ты можешь еще, Тихе?— спросил Тор Лик, называя ее интимным именем, придуманным еще во время подвигов Геркулеса.

— Будь вместо меня здесь Фай Родис!— с горечью сказала Тивиса.

— Боюсь, что и она не добилась бы от них ничего хорошего. Разве что применила бы свою силу массового гипноза... Ну, остановила бы их, а что дальше? Мы их тоже остановили, но не избивать же их лазерным лучом, спасая наши драгоценные жизни!

— О нет, конечно.— Тивиса умолкла, прислушиваясь к шуму толпы, доносившемуся через ограду кладбища.

— Может быть, им нужны наркотики?— спросил Гэн Атал.— Помните, как широко были распространены наркотики в старину, особенно когда химия изобрела наркотик дешевле, эффективнее, чем алкоголь и табак?

— Не сомневаюсь, что у них есть одурманивающие средства. Достаточно взглянуть, как они двигаются. Но суть бедствия в другом — в потере человечности. В давние времена случалось, что дикие звери воспитывали маленьких детей, случайно брошенных на произвол судьбы. Известны дети-волки, дети-павианы, даже мальчик-антилопа. Разумеется, могли выжить только индивиды, одаренные особым здоровьем и умственными способностями. И все же они не стали людьми. Дети-волки даже утрачивали способность ходить на двух ногах. Вот что делается с человеком, когда инстинкты и прямые потребности тела не дисциплинированы воспитанием.

— Не удивительно,— сказал Тор Лик.— Давно известно, что мозг человека стал могущественным, лишь развиваясь в социальной среде. Первые годы жизни ребенка имеют гораздо большее значение, чем думали прежде. Но...

— Но общество, а не стадо воспитало человека,— подхватила Тивиса.— Человек был групповым, но не стадным животным. А толпа — стадо, она не может накопить и сохранить информацию. Преступно лишать людей знаний, правды; омерзительная ложь привела человека к полной деградации. Руководимые лишь простейшими инстинктами, подобные люди сбиваются в стадо, где главное развлечение — садистские удовольствия. И перестроить их психику, как и детей-волков, непосредственно обращаясь к человеческим чувствам, нельзя. Надо придумывать особые методы... Как все-таки я жалею, что с нами нет Родис.

— Что мешает вызвать ее сюда?— спросил Тор.

— Афи, неужели ты не догадался, что Родис осталась заложницей во дворце владык?— сказал Гэн Атал.— И будет там, пока все мы не вернемся в «Темное Пламя».

— Смотрите, они перебрались через стену!— воскликнула Тивиса.

Осаждающие догадались, что защитное поле перекрывает только ворота, и полезли через стену. Скоро ревущее скопище уже бежало по кладбищу, тесня и толкая друг друга, в проходах между памятниками. У синих глазурованных столбиков нападающих отбросило назад. Заработали два угловых СДФ. Гэн Атал установил минимальное напряжение защитного поля, проницаемое для света и сильного оружия, которого у нападавших не было.

Никогда земляне не могли представить, что человек может дойти до такого скотства. Взбешенные неудачей, жители Кин-Нан-Тэ выкрикивали ругательства, кривлялись, плевались, обнажая, выставляя постыдные, с их точки зрения, части тела, даже мочились и испражнялись.

Низкий, похожий на отдаленный гром сигнал звездолета принес небывалое облегчение. Синий огонек СДФ заменился желтым. «Темное Пламя» запрашивал связь. Тор Лик выключил поле у ворот, где стал на страже Гэн, и третий СДФ начал передачу.

Гриф Рифт спросил:

— Насколько хватит круговой защиты?

— Все зависит от того, как часто нас будут штурмовать,— ответил Тор.

— Рассчитывайте на самое худшее.

— Тогда самое большее — на восемь часов.

Гриф Рифт сверился с картой Торманса.

— Наш дисколет пролетит эти семь тысяч километров за пять часов. Скоростная ракета пришла бы через час, но при недостаточном знании физики планеты ее нельзя нацелить с нужной точностью. Может быть, вам пробиться за город?

— Нельзя. Боюсь, что без жертв не обойтись.

— Вы правы, Тор. Потому не стоит присылать и дискоид. Пусть тормансиане сами разберутся. Их самолеты пролетят до Кин-Нан-Тэ тоже не более пяти-шести часов. Сейчас свяжусь с Родис. Подключаю ТВФ и памятную машину. Дайте видеоканал для снимков. И держитесь!

Тор Лик наскоро передал круговую панораму и выключил связь. Вовремя! Гэн Атал подал знак опасности, и снова третий СДФ загородил ворота.

Время шло, а толпа с прежним упорством и тупостью бесновалась у границ, обозначенных синими столбиками. Гэн Атал досадовал, что не догадался захватить со звездолета батареи психического действия, созданные на случай нападения животных. Эти батареи разогнали бы одичавших тормансиан, вызвав у них чувство животного ужаса. Подобное защитное устройство здесь пригодилось бы, как никогда прежде, но сейчас оставалось только ждать. Дикую толпу можно было бы уничтожить, но такая мысль даже в голову не могла прийти землянам.

В это время в садах Цоам Фай Родис объясняла инженеру Таэлю случившееся и просила его немедленно отправить самолеты на выручку.

— Полетами из-за недостатка горючего распоряжается только Совет Четырех.

— Так доложите сейчас же Совету, а еще лучше — самому владыке.

Таэль стоял в нерешительности.

— Вы понимаете, насколько у нас мал запас времени!— удивленно воскликнула Родис.— Что же вы медлите?

— Для меня очень непросто доложить владыке,— хрипло сказал Таэль,— будет скорее, если вы сами...

— Что же вы не сказали сразу!— и Фай Родис устремилась в покои председателя Совета Четырех.

На счастье, Чойо Чагас не выезжал сегодня. Через полчаса Родис ввели в зеленую комнату, ставшую уже постоянным местом ее встреч с владыкой Торманса.

— Я предвидел подобную возможность,— сказал Чойо Чагас, посмотрев на переданный со звездолета снимок,— поэтому управители на местах отговаривали ваших исследователей от рискованного путешествия.

— Но им же не объяснили степень опасности!

— Каждый зональный управитель стыдится, вернее боится, говорить об этих нелюдях. Их зовут «оскорбителями двух благ».

— Двух благ?

— Ну конечно,— долгой жизни и легкой смерти. Они отказались от

той и другой и поэтому должны быть уничтожены. Государство не может терпеть своеволия. Но они спасаются в заброшенных городах, а недостаток транспорта затрудняет борьбу с ними, и они остаются позором для зонального управителя.

— Мы непозволительно медлим,— сказала Родис,— потерянные минуты могут обернуться гибелью наших товарищей. Хотя они надежно защищены, но емкость батарей ограничена.

Узкие, непроницаемые глаза Чойо Чагаса пристально следили за Родис.

— Ваши девятиножки обладают убийственной силой. Я помню, как они разнесли дверь в этом дворце,— язвительно улыбнулся владыка.

— Конечно, у каждого СДФ есть резательный луч, инфразвук для обрушения препятствий, наконец, фокусированный разряд... Но я не понимаю вас!

— Такая проницательная женщина и не может понять, что вместо того, чтобы расходовать энергию на защитное поле, надо истребить негодяев.

— Они этого не сделают!

— Даже если вы прикажете им?

— Я не могу отдать такого безнравственного приказа. Но если б даже и попыталась, все равно никто его не исполнит. Это один из главных устоев нашего общества.

— Непостижимо! Как может существовать общество на таких зыбких устоях?

— Объясню вам после, а сейчас прошу, не тратя времени, отдайте приказ! Мы можем послать свой дисколет, но он летает не быстрее ваших охранных самолетов, и главное — мы не знаем, как обращаться с такой дикой толпой по вашим законам.

Что вы применяете в подобных случаях? Успокоительную музыку или ГВР — Газ Временной Радости?

— Газ Радости!— сказал Чойо Чагас со странной интонацией.— Пусть будет так! На сколько часов у ваших людей хватит энергии? Разве нельзя послать им ракету с батареями с вашего всесильного корабля?

Родис взглянула на браслет, зафиксировавший момент получения сигнала из города Кин-Нан-Тэ.

— Запаса энергии хватит часов на семь. А посадить ракету точно без корректирующих станций не удастся. Мы убили бы своих товарищей: слишком мала площадь, на которой они окружены.

Чойо Чагас встал.

— Я вижу, как вас заботит их судьба. В конце концов вы не так уж бесстрастны, как хотите казаться нам, обитателям Ян-Ях!— Он повернул маленький диск на столе и направился в соседнюю комнату.— Я приду через минуту!

Его ждал высокий худой «змееносец» с впалыми глазами и тонкогубым, по-лягушечьи широким ртом.

— Пошлите два самолета из резерва охраны в Кин-Нан-Тэ на выручку наших гостей с Земли,— начал владыка, глядя поверх склоненного в почтительном поклоне чиновника.— Защита у них проработает еще семь часов,— продолжал Чойо Чагас,— следовательно, через семь с половиной будет уже поздно. Слышите — через семь с половиной!

— Я понял, великий!— чиновник поднял на владыку преданные глаза.

— «Оскорбители» должны быть истреблены все до последнего. На этот раз без пыток и процедур — просто уничтожить!

«Змееносец» поклонился еще ниже и вышел. Чойо Чагас вернулся в зеленую комнату, говоря себе: «Посмотрим, так ли они младенчески наивны, как заверяет эта Цирцея. Пусть это будет своего рода эксперимент».

— Приказ отдан! Мои приказы здесь выполняются!

Фай Родис поблагодарила взглядом и неожиданно насторожилась.

— О каком эксперименте вы думаете?

— Мне самому хотелось бы задать вам несколько вопросов,— поспешно сказал Чойо Чагас.— Будете ли вы после полученного урока стремиться в удаленные области планеты?

— Нет. Эта экскурсия была вызвана исключительно желанием наших исследователей увидеть первобытную природу Ян-Ях!

— Что ж, они ее увидели!

— Опасность пришла не из природы. «Оскорбители» — продукт человеческого общества, построенного на угнетении и отсутствии равенства.

— О каком равенстве вы говорите?

— Единственном! Равенстве одинаковых возможностей.

— Равенство невозможно. Люди так различны, следовательно, не равны и их возможности.

— При великом разнообразии людей есть равенство отдачи.

— Выдумка! Когда ограниченные ресурсы планеты истощены до предела, далеко не каждый человек достоин жить. Людям так много надо, а если они без способностей, то чем они лучше червей?

— Вы считаете достойными только тех, у кого выдающиеся способности? А ведь есть просто хорошие, добрые, заботливые работники!

— Как их определить, кто хорош, кто плох?— пренебрежительно улыбнулся Чойо Чагас.

— Но это же так просто! Даже в глубокой древности умели распознавать людей. Не может быть, чтобы вам были не знакомы такие старые слова, как симпатия, обаяние, влияние личности?

— А каким вы находите меня?— спросил Чойо Чагас.

— Вы умны. У вас выдающиеся способности, но вы и очень плохой человек, а потому очень опасный.

— Как вы это определили?

— Вы хорошо знаете себя, и отсюда ваша подозрительность, и комплекс величия, и необходимость постоянного попирания людей, которые лучше вас. Вы хотите обладать всем на планете. Хотя иррациональность такого желания вам ясна, оно сильнее вас. Вы даже отказываетесь от общения с другими мирами, потому что невозможно овладеть ими. К тому же там могут оказаться люди выше вас, лучше вас и чище вас!

— Чтица мыслей!— Чойо Чагас старался скрыть свои ощущения под обычным выражением презрительного высокомерия.— С некоторых пор... с некоторых пор я хочу владеть и тем, чего нет, чего не было еще на моей планете.

Чойо Чагас круто повернулся и вышел из комнаты.

Тивиса очнулась от самогипноза. С его помощью земляне по очереди избавлялись от зрелища беснующейся толпы — смотреть на это было свыше человеческих сил.

«Мстители» обладали неутомимостью психопатов. Вид троих землян, бесстрастно и неподвижно сидевших, поджав ноги, на каменной плите, приводил толпу в неистовство.

«Может быть, нам следовало изобразить испуг, чтобы они немного успокоились»,— подумала Тивиса. Почти пять часов прошло со времени разговора со звездолетом. Тивиса не сомневалась, что помощь придет своевременно, но последние часы пассивного ожидания в осаде показались неимоверно долгими. А после пробуждения каждая минута усиливала тревогу. Большинство людей Земли в Эпоху Встретившихся Рук обладали способностью предвидения событий. Когда-то люди не понимали, что тонкое ощущение взаимосвязи происходящего и возможность заглянуть в будущее не представляет собою ничего сверхъестественного и в общем подобно математическому расчету. Пока не было теории предвидения, события могли предвидеть только люди, особо одаренные чувством связи и протяженности явлений во времени. Считалось, что они обладают особым даром ясновидения.

Теперь психическая тренировка позволяла каждому владеть этим «даром», естественно, при разной степени способностей. Женщины издревле в этом были способнее мужчин.

Тивиса прислушивалась к своим ощущениям — они отчетливо суммировали гибельный итог. Неотвратимая смерть, словно эта колоссальная пагода за воротами, нависала над ними. В тоскливом желании отдалить познание неизбежного Тивиса села в изголовье безмятежно спящего Тора и грустно вглядывалась в бесконечно дорогое, мудрое и одновременно по-детски наивное лицо. Сознание безвыходности подступало все сильнее, и с ним росли нежность и странное ощущение вины, как будто это она виновата, что не сумела защитить своего возлюбленного.

Астрофизик, почувствовав ее взгляд, поднялся, разбудил Гэн Атала. Мужчины прежде всего осмотрели СДФ.

— Минимальный расход установлен удачно,— тихо сказал Тор Лик,— но запас очень мал...

— Две нити из двадцати семи и то лишь с резонансной накачкой,— согласился Гэн Атал, сидевший на корточках перед СДФ.

— В моем три...

— Если самолеты не придут в рассчитанный срок, вызовем «Темное Пламя».

Встревоженный Гриф Рифт сообщил, что Родис была у самого владыки. При ней отдали приказ. Помощь должна прибыть с минуты на минуту. Рифт просил не выключать канала, пока он наведет справки.

Прошло еще полчаса... Сорок минут. Самолеты не появлялись над Кин-Нан-Тэ. Вечерняя тень огромной пагоды пересекала все кладбище. Даже «мстители» притихли. Они расселись на дорожках и могилах и, обхватив руками колени, следили за землянами. Догадывались ли они, что защитное поле, вначале скрывавшее путешественников тонкой стеной тумана, становится все прозрачнее? Время от времени кто-нибудь метал нож, будто пробуя силу защитной стены. Нож отлетал, звенел о камни, и все снова успокаивались.

Голос Гриф Рифта на милом земном языке вдруг ворвался в настороженную тишину кладбища, вызвав ответный шум толпы.

— Внимание! Тивиса, Гэн, Тор! Только что Родис говорила с Чойо Чагасом. Самолеты пробиваются сквозь бурю, свирепствующую на равнине Мен-Зин. Придут с опозданием. Экономьте батареи насколько возможно, сообщайте положение в любой момент, жду у пульта!

«Внезапная буря здесь, в самых спокойных широтах Торманса? И почему об этом стало известно только сейчас, когда в индикаторах батарей горела последняя нить?» Тор Лик сумрачно открыл задний люк СДФ и

не успел вытащить атмосферный зондоперископ, как Гэн Атал протянул ему свой.

— Соединим оба, тогда зонд поднимется на пятьсот метров.

Тор Лик молча кивнул. Разговаривать стало труднее. Защитное поле уже не глушило рев толпы. Сверкающий цилиндр, взлетевший в небо, заставил «мстителей» притихнуть. Всего две минуты потребовалось, чтобы убедиться в полном спокойствии атмосферы на много километров к экватору от Кин-Нан-Тэ, так же как и в отсутствии самолетов по крайней мере на расстоянии часа полета.

— Чойо Чагас лжет. Для чего им нужна наша смерть?— воскликнула Тивиса.

Мужчины промолчали. Гэн Атал вызвал «Темное Пламя».

— Поднимаю звездолет! Держитесь, сокращая поле,— коротко сказал Гриф Рифт.

Гэн Атал проделал в уме мгновенный расчет: взлет из стационарного состояния — три часа, посадка — еще час. Нет! Поздно!

— Пробивайтесь за город, раскидав толпу инфразвуком!— крикнул командир.

— Бесполезно. Далеко не уйдем. Мы слишком долго ждали, поверив в самолеты Чагаса, иначе бы постарались закрепиться в каком-нибудь здании,— с виноватой ноткой сказал инженер броневой защиты,— мы не предвидели... Позовите всех, Рифт, мы попрощаемся. Только скорее, остались минуты.

Кратким и суровым было это прощание. Несмотря на просьбы звездолетчиков, Гэн Атал выключил передачу, погасил и желтый огонь приемника: в эти последние перед гибелью минуты им хотелось побыть одним. Они сделали все, что смогли, разгадав предательство и сообщив о нем. Несокрушимые колпаки СДФ сохранят в целости все собранные сведения.

Тивиса, обняв своих друзей, с бесконечной нежностью говорила Тор Лику:

— Мне было с тобой всегда светло, Афи, и будет до конца. Я не боюсь, только очень грустно, что здесь и это так... безобразно. Афи, у меня с собой кристалл «Стражей во Тьме...»

Из прозрачного многогранника зазвучала суровая мелодия ее любимой симфонии, тревожным ожиданием неведомого.

Тивиса поднялась и медленно пошла по каменной дорожке, скользя взглядом по окружающим руинам, а мысли шли своей чередой, ясные, полные великой печали, приобщавшей ее к неисчислимому сонму мертвых, прошедших свой путь на утраченной Земле и здесь, на чужой планете, бьющейся в плену инферно.

Кладбище, как в старину на Земле, служило для привилегированных мертвецов, удостоенных захоронения в центре города, под сенью древнего храма. Тяжелые плиты были испещрены изящными иероглифами, сверкали позолотой.

Тивиса смотрела на статуи прекрасных женщин с горестно опущенными головами и мужчин в последнем порыве предсмертной борьбы; птиц, распластавших могучие крылья, уже бессильные поднять их в полет; детей на коленях, обнимавших камень, навсегда укрывший родителей.

Человек, придя на новую планету, стер с ее лица сформировавшуюся здесь жизнь, оставив лишь жалкие обрывки некогда гармонической симфонии. Он выстроил эти города и храмы, гордясь содеянным, возвел памятники тем, кто особенно преуспел в покорении природы или в создании иллюзий власти и славы. Неразумное потакание инстинктам,

непонимание, что от законов мира нельзя уйти, а можно лишь согласовать свои пути с ними, привело к чудовищному перенаселению. По всей планете снова прошла смерть, теперь уже природы. И в итоге — брошенные города и навсегда забытые кладбища... А сегодня останки людей светлого мира Земли смешаются с тленом безымянных могил, останками бесполезной жизни.

«Бесполезной и бессмысленной?» Тивиса содрогнулась. Никогда на Земле ей не приходило в голову, что жизнь, устремленная в глубины вселенной, наполненная радостью помогать другим, собирать красоту, узнавать новое, ощущать собственную силу, может оказаться не имеющей смысла. Но здесь!..

Тивиса так ярко представила себе миллиарды ясных детских глаз, смотрящих в мир, не ведая о наполняющем его зле и горе; бесчисленных женщин, с любовью и надеждой ждущих счастья и клонящихся, как трава, под смертельным ветром жизни; мужчин, чье доверие и достоинство попраны тяжким катком лживой власти; животных, чьи ноздри раздувались, уши прядали, глаза озирались в напряженном внимании сохранить свои мимолетные, как искорки, жизни. Зачем? Во имя чего эта жизнь? Здесь, в этом окружении смерти и отвратительно деградировавшей мысли, этот древний вопрос был обострен сознанием опасности.

Жестокая печаль последних минут теснила Тивису, когда ее взгляд приковался к статуе девушки в покрывале. Бесстрашное лицо, гордый очерк тела, отчаяние сцепленных рук — вся трагическая сила печали о прошлом и упрямой веры в красоту грядущего, противоречивое сочетание которых и составляет человека.

Тор Лик смотрел на свою возлюбленную: Тивиса казалась спокойной, но Тор чувствовал, как она напряжена, будто взведенная перед последним усилием пружина.

Тивиса оглянулась через плечо и посмотрела на него с такой нежностью, что у Тора остро защемило сердце.

— Тихе! Батареи гаснут! Иди сюда.

Толпа, почуяв неладное, осторожно продвинулась к барьеру. Еще несколько минут. Земляне отступили к самым воротам, к последнему СДФ. Симфония «Стражей Тьмы» замерла на долгой, протяжной ноте. Тор Лик выдвинул двуострый молоток разрядника, обнял Тивису и подал руку Гэн Аталу.

— Может не получиться,— тревожно сказал Тор,— велика разрядка...

— Тогда — инфразвук!— Гэн Атал выдернул руку.— У него самостоятельный заряд! Башня рухнет, и мы не будем после смерти в грязных руках!

Тивиса и Тор взглянули вверх на гигантскую ветхую башню, закрывшую закатное чистое небо.

— Пусть!— согласилась Тивиса.— Держи меня крепче, Афи!

Гэн Атал повернул рупор на толпу. Два СДФ у столбиков будто вздохнули: защитное поле погасло. С неистовым воем «мстители» устремились к тройке обнявшихся землян. Низкий, непередаваемо грозный рык инфразвука остановил, отбросил, разметал передние ряды, но задние напирали, давя упавших. Гэн Атал включил всю силу заряда: закувыркались, попадали фигуры, с воплями поползли прочь, но не ушли: колоссальная башня рухнула неотвратимо, погребая землян и нападавших и засыпая древние могилы.

Глава IX

СКОВАННАЯ ВЕРА

Вир Норин и Эвиза Танет, прилетевшие в Кин-Нан-Тэ, застали целое войско «лиловых». Гора обломков рухнувшей башни была уже разобрана, трупы «оскорбителей» убраны, оставшиеся в живых исчезли.

Тела трех землян лежали на кладбище в беседке из красного камня. Тивиса и Тор так и не разомкнули объятий. Уцелевшие лица их сохранили отражение предсмертного порыва безграничной нежности. Гэн Атала смогли узнать лишь по скафандру.

Эвиза и Вир освободили их от защитной одежды, которую исследователям так и не пришлось снять, и приступили к обряду погребения. Сильнейший разряд из СДФ — и на каменной плите остались лишь контуры тел, обозначенные слоем тонкого пепла. В немой печали Эвиза и Вир собрали и смешали золу: погибшие земляне сливались в последнем братстве.

Урну из платины и три СДФ со следами неудачных попыток взлома на колпаках доставили на «Темное Пламя».

Родис получила приглашение Совета Четырех. Владыки планеты выражали ей соболезнование по поводу гибели трех гостей с Земли. Случайно или намеренно Совет собрался в черном зале, прозванном землянами Залом Мрака.

Родис, бесстрастная и неподвижная, стоя выслушала краткую речь Чойо Чагаса. Председатель Совета Четырех, очевидно, рассчитывал на ответ, но Родис молчала. Никто не решился нарушить тревожную тишину. Наконец Фай Родис подошла к Чойо Чагасу.

— Я многому научилась на вашей планете,— сказала она без аффектации,— и теперь понимаю, как может лгать человек, принужденный к тому угрожающим положением. Но почему лжет тот, кто облечен могуществом великой власти, силой, какую дает ему вся пирамида человечества Ян-Ях, на вершине которой он стоит? Зачем это? Или вся система вашей жизни так пронизана ложью, что даже владыки находятся в ее власти?

Чойо Чагас встал, побледнев, и, растянув плотно сжатые губы, процедил:

— Что?! Как вы смеете...

— Руководясь достойными намерениями, я смею все. Вы заверили меня, что самолеты посланы, и напомнили, что ваши приказы исполняются неуклонно. На второе обращение вы ответили, будто самолеты задержаны бурей и пробиваются сквозь нее. Невежество в планетографии Ян-Ях заставило меня поверить, но Гэн Атал и Тор Лик обследовали атмосферу, разгадали обман и успели перед гибелью предупредить нас.

Родис умолкла. Лицо Чойо Чагаса исказилось. Он крикнул фальцетом на весь зал:

— Ген Ши!

— Слушаю, великий председатель!

— Выяснить, кто вел самолеты, кто сообщил про бурю и кто командовал операцией. Всех сюда! Я сам проведу расследование.

— Прошу вас, председатель Совета!— Фай Родис сложила ладони и склонила голову.— Не нужно больше жертв — их и так много. Ваши стражи убили много людей в городе Кин-Нан-Тэ, а мы,— Родис впервые дрогнула,— потеряли близких.

— Вы не понимаете,— со злобой возразил Чойо Чагас, — те, кто виноват, обесчестили меня, Совет, всех нас, представив лжецами и лицемерами!

— Что же изменится, если их казнят?

— Все! Нарушители приказа понесут кару, вы убедитесь в истинности наших намерений и правдивости лица.

Фай Родис задумчиво посмотрела на Чагаса.

Немой укор Фай Родис стал нестерпим для владыки Торманса. Он опустился в кресло, неловко согнувшись, и, махнув рукой, распустил Совет.

Фай Родис поднялась по лестнице в «земное» крыло дворца, готовясь к трудному разговору с Гриф Рифтом. Командир настаивал на беседе вдвоем. Родис понимала, что эта просьба вызвана лишь желанием сосредоточить всю свою волю на ней одной.

Они оказались лицом к лицу, как если бы Родис вошла и села в пилотской кабине между стеной и пультом. Невидимая граница контакта фронтальных сторон стереопроекций заключала в себе все разделявшее их расстояние. Рифт и Родис, как все земляне с развитой и тренированной психикой, понимали друг друга почти без слов — слова служили лишь подтверждением чувств.

И, встретив взгляд Гриф Рифта, с укором созерцавшего «сигналы жизни» — зеленые огоньки, которых осталось лишь четыре, Фай Родис твердо сказала:

— Это невозможно, Рифт. Бегство, отступление, называйте это как хотите, невозможно. Невозможно после того, как мы посеяли надежду, после того, как эта надежда начала вырастать в веру!..

Командир звездолета тяжело поднялся. Сжимая большие руки, чуть горбясь, он не отрываясь смотрел в зеленые глаза женщины, которую нельзя было не любить. Потом он выпрямился, расправил грудь. Все его существо выражало возмущение.

— Проклятая планета не стоит и тысячной доли наших потерь. Здесь ни к чему хорошему еще не готовы! Мы не можем допустить таких жертв!— Рифт показал рукой в сторону погасших навсегда «сигналов жизни».

Родис подошла к самой границе, разделявшей их проекции.

— Успокойтесь, Гриф,— мягко и тихо сказала она, поднимая к нему печальное лицо.— Мы оба, посвященные в знание, о каком нет и понятия здесь, не можем жить и быть свободными, пока есть несчастные. Как переступить порог высшей радости, когда тут целая планета в инферно, захлестываемая морем горя? Что против этого моя жизнь, ваша и всех нас? Спросите у моих трех спутников!

— Я знаю, что они скажут,— овладев собой, ответил Гриф Рифт, глядя мимо Родис.— Они скажут, что само присутствие их необходимо, что оно дает людям Торманса мечту и веру и этим объединяет в стремлении к цели.

— Вот вы и ответили, Рифт! Вы знаете, чем дольше мы здесь, тем лучше для них. При всем нашем несовершенстве для них мы живое воплощение всего, что несет человеку коммунистическое общество. Если мы убежим, то тогда гибель Тивисы, Тора и Гэна действительно будет напрасной. Но если здесь образуется группа людей, обладающих знанием, силой и верой, то тогда миссия наша оправдана, даже если мы все погибнем.

— Легенда о семи праведниках. Но вся планета не городок, а нас слишком мало!— сумрачно усмехнулся командир звездолета.

— И снова вы забываете, что с нами Земля, ее знания, ее образ в столь успешно демонстрируемых вами стереофильмах. Прибавьте наши лекции, и рассказы, и нас самих. Скоро Чеди, Вир и Эвиза уйдут в город, если мой разговор с владыкой будет успешным.

— Вам говорил Таэль, что чиновники Совета возмущены демонстрацией фильмов?— спросил Гриф Рифт.

— Нет еще. Я ожидала этого. Надеюсь справиться с владыками, чтобы они не повредили тем, кто смотрел и будет смотреть. И не стойте так деревянно, милый!

Гриф Рифт беспомощно развел руками, избегая взгляда Родис. Вдруг он заметил позади нее на стене красочные контуры каких-то изображений: раньше их не было. Родис передвинула фокус экрана, а сама отступила в сторону.

Вся стена ее комнаты была расписана яркими грубоватыми красками Ян-Ях. Только что завершенная фреска, как сразу понял Гриф Рифт, символизировала восхождение из инферно.

По жутким обрывам, помогая друг другу, из последних сил карабкались люди. Внизу, на жирной траве, толпилось разнородное сборище, презрительно показывая на покрытых потом, жалких и бледных скалолазов. Поодаль стояли группки уверенных в своем превосходстве, смотревших отчужденно и равнодушно.

Трагически безнадежным казался этот подъем. Высоко вверху, почти на гребне стены, охватывавшей привольную низину, острым клином выдавался выступ — последняя ступень подъема. Голубое сияние поднималось из тени, отражаясь в скале. На самом краю выступа, скованная блестящей цепью, на коленях стояла женщина, кисти ее рук с жестокой силой были подтянуты к спине третьим оборотом цепи, охватившим живот и правое бедро. Звенья цепи вдавливались в нагое тело, чуть прикрытое на спине черной волной волос. Связанная, лишенная возможности протянуть руки карабкающимся и даже подать ободряющий знак, все-таки она была символом: непоколебимая уверенность знания! Словно она сконцентрировала в себе все радости утешения и надежды. Скованная Вера казалась независимой и свободной, будто бы не было жестоких пут, смерти и страдания.

Случайно или намеренно Скованная Вера походила на Чеди...

— Зачем это здесь?— усомнился Гриф Рифт.— Поймут ли?

— Поймут,— уверенно сказала Родис,— я хочу оставить во дворце память о нас.

— Они уничтожат!

— Может быть. Но до того ее репродукции разойдутся по планете.

— Вы оказываетесь сильней меня всякий раз...— Рифт, замолчав, посмотрел на Родис как перед разлукой.

Та склонилась к самой границе фокуса, повела рукой успокаивающе и нежно.

— Мне стала сниться Амрия Мачен, высочайшая гора Азии. На горном плато, где роща гималайских елей граничит с безлесным холмом, стоит буддийский древний храм — приют для усталых. В этом храме — месте отдыха и размышления перед властным порывом гор к небу — на рассвете и в предзакатные часы звучат огромные гонги цвета чистого золота из танталово-медного сплава. Протяжные могучие звуки устремляются в бесконечную даль, и каждый удар подолгу разносится в окружающей тишине.

Такое же ощущение вызывают звонницы древних русских храмов, восстановленные и снабженные титановыми колоколами. Эти серебристые

колокола звенят столь же долгими нотами особенно чистого тона, притягивающими издалека волшебным неодолимым зовом. И будто я бегу на этот зов сквозь редкий утренний туман в серебре рассвета... А здесь рассвет приносит угрюмое напоминание незавершенного. И бежит лишь время...

Родис быстро простилась и выключила ТВФ.

В соседней комнате Эвиза Танет критически осматривала Чеди и Вир Норина, одевшихся для выхода за пределы садов Цоам, вниз, в гущу жизни столицы, населенной, по земным понятиям, с невероятной плотностью.

— Не получается, Чеди,— решительно заявила Эвиза,— за километр видна земная женщина. Если здесь народ действительно плохо воспитан, то за вами потянется целая толпа.

— Ну, а как вы?

— Я не намерена бродить по улицам в одиночестве, как вы с Норином, меня будут сопровождать местные коллеги. Они снабдят меня специальной одеждой медика, канареечно-желтого цвета. Поэтому с меня достаточно брюк и блузки.

— Выход один,— сказал астронавигатор,— пусть Таэль доставит нас, не привлекая ничьего внимания, к своим друзьям, и те помогут нам одеться.

— Если ему позволят, а нас отпустят. Во дворце ничего нельзя делать без специального разрешения. Это мы хорошо усвоили,— Чеди засунула руки за поясок, отвела назад плечи и состроила гримасу высокомерного недоброжелательства, свойственную всем «змееносцам» Торманса. Получилось так похоже, что Вир и Эвиза улыбнулись, немного рассеяв редкое для землян состояние жестокой печали, навеянное трагедией в Кин-Нан-Тэ.

Люди Эры Встретившихся Рук не страшились смерти и стойко встречали неизбежные случайности жизни, полной активного труда, путешествий, острых и смелых развлечений. Но бессмысленная гибель трех друзей на жестокой планете переносилась тяжелее, чем если бы это случилось на родине.

Не слишком ли мало их на Тормансе? Нет, если поразмыслить. Небольшой группе проще завязать контакт с людьми планеты, легче почувствовать ее психическую атмосферу, найти правильную манеру поведения и глубже понять тормансиан. Большая экспедиция отгородилась бы от мира Ян-Ях своим бытом и бытием. Понадобились бы десятки лет, пока два мира братьев по крови, но столь непохожих по своим представлениям и ощущению мира, открылись бы друг другу. Они правильно поступают, что бросаются в человеческое море Ян-Ях и растворяются в потоке ее жизни.

Подобные мысли заставили землян тренировать себя в особенно суровой концентрации сил и чувств.

Их осталось четверо, скорее трое, для того чтобы осуществлять контакты с народом Торманса. Родис остается пленницей во дворце, и ее большая душевная сила не придет в соприкосновение с людьми Ян-Ях. Вероятно, этого и хочет избежать дальновидный Чойо Чагас. Неизвестно, разрешит ли он им жить в городе?..

Об этом и говорили Чеди, Вир и Эвиза, когда Родис вошла к ним. Родис побледнела от бессонных ночей у картины, которой она старалась отвлечь себя.

Эвиза показала на кресло, но Родис отрицательно покачала головой.

— Здесь и так слишком много сидят, как бывало у нас на Земле, когда человек — бегун и путешественник по природе — прочно уселся

за столы или в кресла транспортных машин, отяжелив тело и разум.

— Что ж, верно,— согласилась Эвиза, думая о своем, и неожиданно спросила: — Фай, вам не кажется, что эту планету уже невозможно поднять из инферно? Что болезнь зашла слишком далеко, отравив людей испорченной наследственностью — дисгеникой? Что люди Торманса уже не способны верить ни во что и заботятся лишь об элементарных удовольствиях, ради которых они готовы на все? — Эвиза вопросительно посмотрела на Родис, та одобряюще кивнула, и Эвиза продолжала: — Если на планете бродят одичалые толпы, если пустыни наступают, съедая плодородные почвы, если израсходованы минеральные богатства, если деградация во всем и особенно в душах людей, то чем, какой силой они поднимутся? Когда женщинам Торманса три века назад предложили ограничить деторождение, они расценили это как посягательство на священнейшие права человека. Какие права? Не права, а обычные инстинкты, свойственные всем животным, инстинкты, идущие вразрез с нуждами общества. И до сих пор здесь не могут понять, что свобода может быть лишь от великого понимания и ответственности. Никакой другой свободы во всей вселенной нет. Тормансианам вовсе не важно знать, что их дети будут здоровы, умны, сильны, что их ждет достойная жизнь. Они подчиняются минутному желанию, вовсе не думая о последствиях, о том, что они бросают в нищий, неустроенный мир новую жизнь, отдавая ее в рабство, обрекая на безвременную смерть. Неужели можно ожидать, что ребенок родится великим человеком, зная, что такая вероятность ничтожна мала? Разве можно так легкомысленно относиться к самому важному, самому святому?

Родис поцеловала Эвизу.

— Серьезные вопросы, Эвиза, возникали и у нас дома. В критическую эпоху Эры Разобщенного Мира, при начинавшемся крушении капиталистической европейской цивилизации, антропологи обратили внимание на индейцев хопи, обитавших в пустыне на юго-западе Северной Америки. Они жили в условиях, гораздо худших, чем на Тормансе, и тем не менее создали особое общество, по многим признакам близкое к коммунистическому, только на низком материальном уровне. Ученым ЭРМ хопи казались примером и надеждой: свободные женщины, коллективная забота о детях, воспитание самостоятельной трудовой деятельностью с самого раннего детства привели хопи к высокой интеллигентности и психической силе. К удивлению и смущению ученых-европейцев, после пятнадцати веков обитания в условиях трудных и суровых способности у детей хопи оказались выше, чем у одаренных белых детей. Поражали их высокая интеллигентность, наблюдательность, сложное и отвлеченное мышление. Естественно, из них вырастали люди, похожие на современных землян, серьезные, вдумчивые и очень активные, руководствовавшиеся не внешними соблазнами и приказами, а внутренним сознанием необходимости. Физически хопи также были совершеннее окружающих народов. Я помню фотографию одной девушки, она очень походила на Чеди...

— Следовательно, нищета Торманса не помешает восхождению? — оживившись, спросила Чеди.

— Я убеждена в этом,— решительно сказала Родис.— Что касается генетики, то сопоставьте период порчи генофонда с накоплением здоровых генов во время становления человека на нашей планете: несколько тысяч лет — и три миллиона. Ответ ясен.

— А что делать с безнадежно испорченной психологией? — спросила Эвиза.

— Вы повторяете ошибку психологов ЭРМ, в том числе и знаменитого тогда Фрейда. Они принимали динамику психических процессов за статику, считая постоянными, раз навсегда «отлитыми» особые сущности вроде «либидо» или «ментальности». На самом деле реально существуют лишь импульсные вспышки, которые легко координировать воспитанием и упражнением. Когда поняли эту простую вещь, начался поворот от психологии собственника и эгоиста капиталистического общества к коммунистическому сознанию. Неожиданно оказалось, что высокий уровень воспитания творит чудеса в душах людей и в устройстве общества. Пошла триггерная реакция — лавина добра, любви, самодисциплины и заботы, сразу же поднявшая и производительные силы. Люди могли бы предвидеть свой взлет, если бы вдумались, как сильны непередаваемо прекрасные предчувствия юности — доказательство врожденной красоты чувств, которую мы носим в себе, очень мало реализуя ее в прежние эпохи.

— Но ведь здесь отсутствует вера в людей, в лучшее будущее? — вступился за Эвизу астронавигатор.

— Вот потому тормансиане и пришли к мистицизму,— сказала Родис.— Когда человеку нет опоры в обществе, когда его не охраняют, а только угрожают ему, и он не может положиться на закон и справедливость, он созревает для веры в сверхъестественное — последнее его прибежище. В конце Эры Разобщенного Мира мистика усилилась и в тираниях госкапитализма и в странах лжесоциализма. Лишенные образования, невежественные массы потеряли веру во всемогущих диктаторов и бросились к сектантству и мистицизму. Новый поворот исторической спирали вернул большинство человечества к атеизму познания. Если провести аналогию, то сейчас самый выгодный момент, чтобы в народе Торманса поселилась новая, настоящая вера в человека.

— Когда на Земле распространился мистицизм? — спросила Эвиза.

— В синем цикле семнадцатого круга. Историки для тех времен пользуются периодизацией, принятой в хрониках монастыря Бан Тоголо в Каракоруме. Уединившиеся там летописцы беспристрастно регистрировали мировые события ЭРМ, пользуясь двухполосной системой сопоставления противоречивых радиосообщений. Удаленность буддийского монастыря — причина, почему там сохранились летописи,— в те времена множество исторических документов в других странах погибло. В Бан Тоголо уцелела самая полная хронология, и мы пользуемся ее календарем.

— Великое сражение Запада и Востока, или битва Мары, было тоже в семнадцатом круге? — спросила Чеди.

— В год красной или огненной курицы семнадцатого круга,— подтвердила Фай Родис,— и продолжалось до года красного тигра.

— Забавная хронология! — сказала Эвиза.— Звучит архаически нелепо.

— Она не так уж нелепа, как кажется на первый взгляд. Каждый круг соответствует средней продолжительности человеческой жизни и потому воспринимается не только разумом, но и чувствами.

— А в Бан Тоголо сохранились летописи более раннего периода? — спросила Эвиза.

— Они уходят далеко в глубь времен, за Эру Смешения Формаций.

— В Темные Века? Тогда они приходятся между пятым и тринадцатым кругами. ЭРМ началась в пятнадцатом,— произвела быстрый расчет Чеди.

— А кончилась в черном цикле семнадцатого круга,— добавила Родис.

— Не пора ли прекратить изыскания, в каком бы круге мы ни находились? — предложила Эвиза.— Мы замучили Фай.

— В год синей лошади пятьдесят первого круга,— рассмеялась Родис.— Пойдемте ко мне. Мы много размышляли в последнее время. И даже забываем потанцевать...

Спустя неделю к Родис явился посланец Чойо Чагаса — сам начальник «лиловых» Ян Гао-Юар, или в сокращении Янгар: крупный человек с резкими чертами большого лица. Одно его имя заставляло инженера Таэля опасливо оглядываться.

Из-под приспущенных, словно в утомлении, век пристально, в упор смотрели ясные, ничего не выражающие глаза хищной птицы, безжалостные и неустрашимые. Впоследствии инженер Таэль объяснял, что начальник «лиловых» всегда смотрит прицеливаясь. Он был знаменитый на всю планету стрелок из пулевых пистолетов, какие имели офицеры стражи и сановники Ян-Ях.

Дерзко разглядывая гостью с Земли, впервые увиденную вблизи, Янгар передал приглашение владыки.

Фай Родис обещала прийти через несколько минут, но начальник «лиловых» не уходил.

— Мне приказано сопровождать.

— Я знаю дорогу в зеленый кабинет.

— Не туда! И мне приказано сопровождать!

«Обстоятельства изменились»,— подумала Родис. Войдя к себе в комнату, она замерла на несколько минут, чтобы сосредоточиться и собрать энергию.

Начальник «лиловых» шел на шаг позади, не давая Фай Родис испытать его психическую стойкость.

Чойо Чагас, ожидая их, расхаживал по красным коврам. Высокие и узкие окна пропускали мало света, создавая любимый тормансианами розоватый полумрак. Владыка на этот раз не предложил гостье сесть. Родис, не увидев подходящей мебели, скрестив ноги, опустилась прямо на ковер. Чойо Чагас поднял брови, знаком отпустил Янгара и, пройдясь взад-вперед по залу, остановился перед Родис, подозрительно и гневно глядя на нее сверху вниз.

— Мы показывали фильмы только тем, кто жаждал знания, преодолевая неудобный путь до звездолета и риск быть захваченными вашими кордонами,— сказала Родис, не дожидаясь вопроса.

— Я запретил общественный показ! — с расстановкой проговорил владыка.— И предупредил, чтобы вы не вмешивались в дела нашей планеты!

— Общественного показа не было,— жестко ответила Родис.— Исполняя ваше желание, мы не демонстрировали фильмов всей планете. Вероятно, у вас есть на это причины?

— Я запретил показывать кому бы то ни было!

— На это не имеет право ни одно государство, ни одна планета во вселенной. Священный долг каждого из нас нарушать такое беспримерное угнетение. Кто смеет закрывать мыслящему существу путь к познанию мира? Фашистские диктатуры прошлого Земли и других миров

совершали подобные преступления, причиняя неимоверные бедствия. Поэтому когда в Великом Кольце обнаруживают государство, закрывающее своим людям путь к знанию, то такое государство разрушают. Это единственный случай, дающий право на прямое вмешательство в дела чужой планеты.

— Может ли судить какое-то там Кольцо о конкретном вреде или пользе в чужой жизни! — в бешенстве крикнул Чойо Чагас.

— Не может. Но запрет познавать искусство, науки, жизнь других планет не допустим. Для того чтобы установить с вами дружеское отношение и понимание, мы сделали уступку, не требуя всепланетного показа фильмов.

Чойо Чагас издал невнятный звук и быстрее прежнего заходил по залу.

— Мне жаль,— тихо сказала Родис,— что вы не оценили стереофильмов, привезенных нами. Они в противовес гнетущему аду, собранному вашими предками там, внизу, доказывают конечную победу человеческого разума.

— Но контроль? Кто поручится за полную безвредность ваших фильмов? Это пропаганда чужих идей! Обман!

— Коммунистическое общество Земли не нуждается ни в пропаганде, ни в обмане. Поймите, владыка планеты! — Родис вскочила на ноги.— Зачем это Земле? Вы умный человек, как бы ни ограничивали вас диктаторские условия! Неужели вы не чувствуете, что наше единственное желание до того, как мы тронемся в обратный путь, как можно больше отдать вам, помочь вашим людям найти путь к иной жизни... Безвозмездно! Нет выше радости для человека, чем отдавать и помогать, поймите же!

Она держала перед лицом сцепленные в порыве руки и замерла в полушаге от Чойо Чагаса, наклоняясь вперед, как воспитательница или мать тупого ребенка.

Страстная убедительность слов Фай Родис произвела впечатление на владыку. Он глубокомысленно уставился в пол и молча повел Родис в обычное место их встреч — в зеленую комнату с черной мебелью и гадальным шаром из горного хрусталя. Там он взял свою трубку и потянул из нее дым с резким запахом, хорошо знакомым Родис.

— Люди, сказал Чойо Чагас, прикрывая веками узкие свои глаза,— тени, не имеющие значения в истории. Живут только их дела. Дела — это гранит, а жизни — песок. Таково древнее изречение...

— Оно знакомо и мне — от наших общих предков... Но вспомните, что толпа и властитель — диалектическое единство противоположностей, раздельно не существует. И обе стороны невежественные, садистически жестокие, озлобленные друг на друга, особенно когда назревает противоречие социальной сложности и духовной нищеты.

— Тогда меня поражает, почему вы так заботитесь о безымянных толпах Ян-Ях? Это люди, с которыми можно сделать все, что угодно! Ограбить, отнять жен и возлюбленных, выгнать из удобных домов. Надо только применить старый, как наш и земной мир, прием — восхвалять их. Кричите им, что они велики, прекрасны, храбры и умны, и они позволят вам все. Но попробуйте назвать их тем, что они есть на самом деле: невеждами, глупцами,тупыми и беспомощными ублюдками, и рев негодования заглушит любое разумное обращение к ним, хотя они живут всю жизнь в унижении куда худшем.

— Вы, очевидно, из фильмов, вывезенных с Земли, усвоили худший из способов управления людьми,— укоризненно сказала Родис.— Но и

тогда уже нашими предками применялся другой метод: обращение к здравому смыслу людей, стремление объяснить им причины действий и доказать следствия. Тогда по глубоко заложенному в нас чувству справедливости и ощущению правоты мы сделаем гораздо больше и пойдем на трудные испытания, что и было доказано людьми прошлого. Нельзя выбирать всегда легкий путь — можно очутиться в безвыходном инферно.

— Трудный и плодотворный путь немыслим при большом количестве людей.

— Чем больше людей, тем больше выбор умов, соединенные усилия которых дали Земле ее ноосферу, могучую и чистую. Современный человек — результат слияния различных сходившихся в течение миллионов лет ветвей. Поэтому наследственность его хранит множество психологических сущностей, и разница между индивидами очень велика. В этом ключ к совершенствованию и преграда для превращения человечества в муравьиное общество. Слияние различных типов психологических структур, которые всегда будут вести себя по-разному в общем потоке культуры,— величайшее чудо и свидетельство прекрасных качеств человека в направляющих рамках общественного сознания.

— А миллиарды дураков и психопатов, дробящих истину на мелочные откровения и создающих великую путаницу мнений? Один мудрец писал о знании, как о жире, засоряющем мозг. Оно у них такое. Зачем им жить, тратя последние ресурсы планеты?

— Вы уже добились неуклонного падения рождаемости среди вашей интеллигенции. Вы стремитесь избавить людей от привязанностей, чтобы превратить их в орудие угнетения и власти! Что ж, это естественный результат тиранического отношения к людям.

— Сведения, полученные от инженера Толло Фраэля! — воскликнул Чойо Чагас, будто уличая Родис.— Кстати, он знал о передачах стереофильмов?

Тошнотворное чувство необходимости лгать подступило к Родис. В мире Торманса неуклонное соблюдение законов Земли всегда могло привести к тяжелым последствиям.

— Я давно догадалась, что он обязан доносить,— уклончиво ответила она.

Чойо Чагас по-иному понял мелькнувшее в лице Родис отвращение и самодовольно усмехнулся. Родис стало ясно, что угроза Таэлю миновала. Она опустила глаза, чтобы скрыть малейший оттенок своих эмоций от зорко следившего за ней Чойо Чагаса.

— Ответьте прямо, могли бы вы меня убить? — спросил вдруг он.

Родис уже не удивлялась внезапным скачкам мыслей Чагаса.

— Зачем? — спокойно спросила она.

— Чтобы устранить меня и ослабить власть.

— Устранить вас! На вашем месте мгновенно окажется другой, еще хуже. Вы-то хоть умны...

— Хоть! — с гневом вскричал владыка.

— Ваша общественная система не обеспечивает приход к власти умных и порядочных людей, в этом ее основная беда. Более того, по закону, открытому еще в Эру Разобщенного Мира Питером, в этой системе есть тенденция к увеличению некомпетентности правящих кругов.

Чойо Чагас хотел возразить, сдержался и вкрадчиво спросил:

— А технически — могли бы убить? И чем?

— В любой момент. Приказать умереть.

— Я тоже могу вас истребить в мгновение ока!

Родис пожала плечами с чисто женским презрением.

— В этом случае командир нашего звездолета обещал срыть поверхность всей Ян-Ях на километр вглубь.

— Но вы не совершаете убийств! И наверняка запретите ему!

— Меня тогда не будет в живых,— улыбнулась Родис,— а он командир!..

Чойо Чагас задумчиво постучал пальцами по столу, и как бы в ответ тихо прозвенел невидимый колокольчик.

По тому, как встревожился председатель Совета Четырех, Фай Родис стало ясно, что сигнал возвещает о чем-то очень важном. Она поднялась, но владыка, смотревший в аппарат, скрытый от Родис стенкой резного дерева, властно указал ей на кресло...

— Вас вызывает ваш корабль. К Ян-Ях приближается звездолет. Земной?

— О нет! — воскликнула Родис так уверенно, что владыка посмотрел на нее с подозрением.— Я не жду его скоро,— добавила она, поняв его мысли.

— А вы можете связаться с этим новым пришельцем?

— Конечно, если их планета входит в Великое Кольцо.

— Я хочу присутствовать!

Родис достаточно узнала обычаи Торманса. Владыку нельзя приглашать ни к себе, ни в какое другое место. К нему являются только по его зову.

Примчался Вир Норин с двумя СДФ. В зеленой комнате с неизменно поражавшей тормансиан реальностью возникла кабина «Темного Пламени» со звездолетчиками, собравшимися по тревоге. Олла Дез манипулировала селектором воли. Сигналы приближавшегося корабля были вне спектра Великого Кольца. Вот Олла Дез потянула на себя черный рычаг в верхней части пульта и одновременно нажала ногой красную педаль, включая и вычислительную и памятную машины для расчета необычайного спектра передачи.

Кабина наполнилась протяжным дрожащим звоном ненастроенной несущей волны. На большом экране в кабине звездолета замелькали, строясь и рассыпаясь, куски изображений. Чойо Чагас прикрыл глаза, чтобы не поддаться приступу головокружения. Мелькание замедлилось, части раздробленной картины застревали на экране, словно пойманные в сети. Наконец из них сложилось видение необычайного корабля. У него было четыре плоскости из нескольких слоев грандиозных труб, перекрещивавшихся на гигантском продольном цилиндре, как четыре музыкальных органа, соединенных в косой крест. В трубах пульсировало бледное пламя, кольцом обегавшее все сооружение.

Изображение звездолета выросло, поглотило весь экран, растворилось в нем. Остался лишь серповидный выступ продольного цилиндра на фоне бездонной черноты космоса. Из полулунной выемки вылетали и уносились вперед светящиеся, подобные восьмеркам, знаки. Они чередовались в вертикальной и горизонтальной ориентировке, шли то отдельными группами, то непрерывной цепью. Видение продолжалось не более минуты и сменилось картиной внутреннего помещения корабля. Три плоскости пересекались под разными углами — чуждая архитектура с трудом угадывалась в ракурсе передатчика.

Внимание привлекли шесть неподвижных фигур, утонувших в глубоких сидениях перед наклонной, в форме треугольника, стеной, блестевшей, как черное зеркало. Серебристо-лиловый тусклый свет пробегал

змеящимися потоками по косым плоскостям потолка. Помещение то погружалось в сумерки, то вспыхивало слепящим огнем, без теней и переходов. Пульсация освещения мешала разглядеть подробности.

Все шесть фигур недвижно сидели по-человечески, одетые в нечто вроде темных плащей с заостренными капюшонами, скрывавшими лица таинственных существ!

Земляне не могли судить о размерах корабля. На экране не появилось ничего, хотя бы отдаленно знакомого космическому опыту Великого Кольца.

Редкие вспышки света, застывшие темные фигуры, странно изломанные и перекошенные крепления корпуса — все это действовало угнетающе. Непонятная сила неслась из глубины вселенной. По-видимому, корабль приближался. Настойчиво нарастал вибрирующий стон, подобный звуку рвущегося металла. Этот звук, угасавший и возрождавшийся с новой силой при каждой световой вспышке, заставлял человека содрогаться в необъяснимом отвращении.

Вся трепеща — она не могла бы передать, что ощущала в эти минуты,— Олла Дез заглушила звуковой фон и включила передатчик «Темного Пламени». За немногие секунды машины определили цель и направили на нее луч, повторявший известный всей Галактике зов Великого Кольца.

Ничего не изменилось в передаче с неизвестного звездолета. Так же перебегали серебристые вспышки, так же недвижно и угрюмо сидели фигуры в непроницаемых капюшонах.

Олла Дез усиливала зов на той же волне, какой пользовался чужой звездолет. Столбик синего огня — указатель мощности каскада — поднялся до конца трубки. Олла Дез приоткрыла звуковой канал и сразу уменьшила его до минимума — этот горестный стон невозможно было слушать.

«Темное Пламя» звал, переходя на различные коды. Стонущий звук постепенно слабел. Стало очевидным, что чужой звездолет удаляется, не обращая внимания на сигналы. Некоторое время на экране виднелся четырехреберный очерк корабля, но и он слился с мраком космоса.

С веселым звоном в ряду индексов главного локатора побежала цепочка цифр.

— Курс 336—11 по северному лимбу Галактики, уровень четвертый, скорость 0,88,— сообщил Див Симбел.

— Идет поперек Галактики, примерно от Волос Вероники, выше уровня главных сгущений,— сказал Гриф Рифт.

— Странно, что движется в обычном пространстве. Его скорость невелика. На пересечение ему понадобится больше ста тысяч земных лет,— громко отозвался из дворца владыки Вир Норин.

От неожиданности Чойо Чагас и несколько присутствовавших сановников резко повернулись в его сторону.

— А живы ли те, что в корабле? — Мента Кор задала вопрос, мучивший всех звездолетчиков.

— И звездолет будет идти без конца? — спросил Чойо Чагас, обращаясь к Фай Родис.

За нее ответила Мента Кор:

— Пока не иссякнет запас энергии для автоматов, исправляющих курс, звездолет неуязвим. Но и после того, в разреженной зоне четвертого уровня, шансы на встречу со скоплением материи так незначительны, что он может пронизать всю Галактику и мчаться еще не один миллион лет.

— Миллион лет,— медленно произнес Чойо Чагас и, спохватившись, насупился.

— Разве принято на Земле отвечать, когда не спрашивают? — грозно сказал он, глядя только на Родис.— Да еще в присутствии старших?

— Принято,— ответила Родис.— Если разговор ведут несколько людей, отвечает тот, у кого раньше сформулировался ответ. Старшинство не имеет значения. Я подразумеваю возраст.

— А звание также не имеет значения?

— В обсуждении вопроса — никакого.

— Анархисты! — буркнул Чойо Чагас, поднимаясь.

По знаку Родис Олла Дез выключила связь. Прекратили свое мягкое гудение проекторы СДФ.

Завешанный яркими тканями зал дворца принял обычный вид, будто и не было угрюмого призрака корабля, промелькнувшего мимо планеты, посылая в пространство непонятный стонущий зов.

Землян потрясла встреча с межзвездным скитальцем. Нечто безвыходное, инфернальное было в метании света среди остро перекрещенных металлических плоскостей пустого зала корабля.

Гнетущая тоска овладела, видимо, не одними лишь землянами. Чойо Чагас, не сказав ни слова, побрел в свои покои несвойственной ему усталой походкой. Позади неслышно шли два «лиловых», презрительно оглядываясь на следовавшую в отдалении кучку приближенных.

Фай Родис напрасно опасалась, что ее спутников задержат еще на несколько дней. Инженер Таэль вручил Чеди, Эвизе и Вир Норину кусочки гибкого пластика, испещренные значками и покрытые прозрачной пленкой. Карточки давали право появляться во всех учреждениях, собраниях и институтах города Средоточия Мудрости. К великому удивлению землян, оказалось, что подобным правом обладали лишь немногие жители столицы. Большинство имели карточки иного рода, ограничивавшие их владельцев в правах. Человек без карточки считался вне закона. Его хватали и после дознания или высылали в другую область планеты, где требовался физический труд, или же, если этой потребности не было, обрекали на «легкую смерть».

Таэль проводил троих землян вместе с их СДФ за пределы запретной зоны садов Цоам и, передав провожатым, возвратился. Он нашел Фай Родис у прозрачной стены холла, в который выходили двери опустевших комнат. Без скафандра, в короткой широкой юбке с корсажем, она стала ближе, домашнее.

Родис всматривалась в сад, где вздрагивали ветви деревьев, жадно протянувшие к небу воронки своих ветвей. Таэлю вдруг подумалось, насколько милые его сердцу растения должны казаться для землян чужими. И одинокая Родис в ее легкомысленно юном, по мерке Ян-Ях, наряде представилась ему пленницей, тоскующей и беззащитной.

Инженер забыл обо всем. Долго сдерживаемое чувство вырвалось наружу с неожиданной для него самого силой. Он припал на колено, уподобляясь, сам того не зная, древним рыцарям Земли. Схватив опущенную руку Фай Родис, он стал горячо, выразительно и торопливо признаваться в своей любви.

Родис слушала его, не двигаясь и не удивляясь, будто все, что говорил тормансианин, давно ей известно.

Таэль смотрел в ее глаза, стараясь прочитать или хотя бы угадать ответ. Сияющие, как у всех землян, сказочные зеленые очи жительницы

Земли под внешней ласковостью таили непоколебимую отвагу и бдительность, стояли на страже ее внутреннего мира. И, разбиваясь об эту незримую стену, гасли мечты и слова любви, поднявшие инженера на один уровень с Фай Родис. Таэль опустил голову и умолк, продолжая стоять у ног Родис в позе, которая уже казалась ему нелепой.

Фай Родис сжала его соединенные ладони и легко подняла. Она хотела положить руки на плечи Таэля, но он, зная их успокоительную силу, отшатнулся, почти негодуя. По известному человеческому закону, одинаковому для Земли и Торманса, мужчина, моливший о любви, мог легче перенести отказ, чем дружеское участие. Не жалость, нет, жалости к себе не почувствовал тормансианин, и за это был благодарен своей избраннице, не отстранившейся от него и в то же время такой невозможно далекой.

— Простите меня,— с достоинством сказал Таэль,— замечтался и мне показалось... словом, я забыл, что у вас не может быть любви к нам, низшим существам заброшенной планеты.

— Может, Таэль,— тихо ответила Родис.

Инженер до боли сжал пальцы заложенных за спину рук. Снова, ломая волю и сдавливая грудь, захватила его опасная сила земной женщины.

— Тогда...— пробормотал он, вновь обретая надежду.

— Посмотрите глазами Земли, Таэль. Вы видели нашу жизнь. Найдите мне место в вашей, ибо любовь у нас только в совместном пути. Иначе это лишь физическая страсть, которая реализуется и проходит, исполнив свое назначение. Периоды ее бывают не часто, потому что требуют такого подъема чувств и напряжения сил, что для неравного партнера представляют смертельную опасность.

Для инженера менторский оборот, какой приняло его объяснение, становился невыносимым и обидным, хотя он отлично понимал, что Фай Родис говорит с ним доверчиво и прямо и, главное, как с равным.

Инженер Таэль попрощался и побрел к выходу, стараясь держаться с независимостью и достоинством землянина.

Фай Родис огорченно посмотрела вслед и вдруг окликнула:

— Вернитесь, я должна сказать нечто важное.

Родис привела его в свою комнату и плотно прикрыла дверь. Загудел СДФ. Включив защитное поле, Родис рассказала о своем разговоре с Чойо Чагасом.

Тормансианин слушал ее со слабой улыбкой, которая у обитателей планеты Ян-Ях прикрывала горечь бессилия.

— Вы сказали, что я обязан доносить? — спросил он.

Родис кивнула.

— Так это совершенно верно! И я доносил все это время, иначе мне нельзя.

— Почему?

— День без донесения — и я не смог бы видеть вас. Никогда больше.

— Что же вы доносили?

— О, это опасная игра. Рассказать правду, которая не повредит вам, умолчать о важном, придумать полуправду. Имеешь дело с умными врагами, но полуправда, изобретенная для политического обмана, годится как оружие против них же.

— Зачем вы ведете подобную игру?

— Как зачем? А десятки тысяч людей Ян-Ях, видевших коммунистическую Землю? А знание, каким вы вооружили нас? А радость общения с вами? Мне выпал счастливейший жребий! Увидеть другую жизнь,

сказочно прекрасную, стоять на границе двух миров! Понять, поверить, убедиться в возможности выхода для народа Ян-Ях!

— Простите меня, Таэль,— почтительно, как старшему, сказала Фай Родис,— я знаю еще так мало и делаю обидные ошибки...

— Что вы, звезда моя! — воскликнул потрясенный Таэль, пятясь к двери.

Родис силой потянула его за руку и усадила на большой диван — на нем не раз сидели земляне.

Инженера охватило странное чувство отрешенности. Будто все это происходило с кем-то другим, а он сам был посторонним свидетелем разговора обитателей разных миров.

Фай Родис забралась на диван, поджав ноги и обняв руками голые колени. Она смотрела теперь на тормансианского инженера по-иному, понимая, откуда эти глубокие морщины, избороздившие его лоб; почему страдальчески и навсегда непреклонно нахмурились брови над светлыми и зоркими глазами мыслителя; почему пролегли глубокие складки, сбегавшие от крыльев носа далеко на щеки, минуя углы полных, всегда сжатых губ; почему ранняя редкая седина проступала в бороде и усах.

По своему обыкновению, Фай Родис положила пальцы на руку инженера, устанавливая телесный контакт, помогавший ощущать человека, столь далекого по своим привычкам и столь близкого в своих стремлениях.

Таэль глядел задумчиво и печально. Не раз испытанное им ощущение космических бездн, как бы разверзавшихся позади Родис, подступило снова, и тормансианин вздрогнул.

Родис сильнее надавила на его руку, тихо спросив:

— Будьте откровенны со мной, Таэль, Чем грозят вам, что стоит за плечами у вас и, очевидно, у каждого жителя Ян-Ях?

— Смотря по провинности. Если нарушу обязательство доносить, то меня ждет изгнание. Придется ехать куда-нибудь в далекий город, потому что в столице не будет для меня работы.

— А если обнаружится, что вы воспользовались общением с нами, чтобы передавать своим друзьям нашу информацию?

— Обвинят в государственной измене. Арестуют, будут пытать, чтобы я выдал участников. Тех будут пытать в свою очередь, они выдадут остальных и еще несколько сот непричастных, просто чтобы избавиться от невыносимых мук. Затем всех уничтожат.

Родис содрогнулась, хотя все это ей было знакомо. Но сейчас перед ней разворачивалась не история, не потонувшие в тысячелетиях переживания древних людей Земли. Сама жизнь Торманса в образе инженера Таэля смотрела на нее кротко и печально. В этом спокойствии было больше трагедии, чем в отчаянном крике. И экранированная тихо гудящим СДФ комната показалась Родис утлым плотиком во враждебном океане, где берег во все стороны равно далек и недостижим.

— Я их не боюсь,— сказал Таэль,— и не потому, что уверен в своей силе. Никто не может устоять. То, что рассказывается в легендах о несгибаемых людях,— или ложь,или свидетельство недостаточного умения палачей. Есть люди высочайшего героизма, но, если применить к ним достаточно длительные и достаточно сильные пытки, они также сломаются, превратясь из человека в забитое, полумертвое животное, исполняющее в полусне приказы.

— На что же вы надеетесь?

— На свою слабость. Палачи вначале крушат человека физически. Вторая ступень — психическая ломка. Я погибну на первой ступени, и они не добьются ничего!

Фай Родис выпрямилась, вздохнув. Тормансианин не мог отвести глаз от ее высоко поднявшихся грудей. Непристойно и стыдно по морали Ян-Ях, но женщина Земли приняла взгляд инженера как естественную дань влечения мужчины.

Фай Родис думала, что природа, несмотря на неотступную жестокость процесса эволюции, все же оказывается более гуманной, чем человек. Человек, изобретший тонкие, глубоко проникающие внутрь орудия — стрелы, копья, пули — резко увеличил инферно мучений на Земле, отбросив боевую тактику хищного зверя, основанную на шоке первого удара, разрыва больших сосудов и безболезненной смерти от потери крови. Жертвы человека стали погибать в ужасных мучениях от глубоких внутренних воспалений. А когда психически неполноценные докатились до садизма, они создали адскую технику мучений, немедленно использованную в политических и военных целях.

И вот дети Земли вернулись в подобный мир, давно стертый с лица их планеты!

Фай Родис провела рукой по волосам инженера.

— Слушайте, Таэль! Продолжайте их информировать, вы знаете, что у нас нет секретов. Мы возьмем вас в «Темное Пламя», вылечим, дадим крепость тела, психическую тренировку. Вы постигнете, как управлять своим телом, чувствами, подчинять себе людей, если это понадобится для вашего дела. И вы вернетесь сюда другим человеком. Потребуется всего лишь два-три месяца!

Тормансианин встал с дивана, решительно тряхнул головой.

— Нет, Родис,— он произнес земное имя непривычно для резкого языка Торманса — певуче и нежно,— я не могу стать идеально здоровым среди болезненных людей своей планеты. Не могу потому, что знаю, как много времени и сил надо тратить на себя, чтобы держаться на этом уровне. Я ведь не получил идеального тела как наследство от предков. Одно приближение к вашей силе потребует столько времени и внимания для себя, что меня не хватит на более важное: доброту, любовь, жалость и заботу о других, в чем я вижу свой долг. Мало любви и добра в нашем мире! Мало людей, одаренных и не растративших свои душевные силы на пустяки вроде карьеры — жизни, богатой материально, или власти. Я родился слабым, но с любовью к людям, и не должен уходить с этого пути. Спасибо вам, Родис!

Родис помолчала, вглядываясь в инженера, потом ее «звездные» глаза потухли, прикрытые опущенными ресницами.

— Хорошо, Таэль! Побуждения ваши прекрасны. Вы по-настоящему сильный человек. Будущее планеты в руках таких, как вы. Но примите лишь один дар от меня. Он освободит вас от опасения возможных мук и поставит вне власти палачей. Если найдете нужным, то сможете передать его и другим...

Она снова посмотрела на инженера: понимает ли?

— Да, вы догадались верно. Я научу вас умению мгновенно умереть в любой момент, по собственной воле, не пользуясь ничем, кроме внутренних сил организма. Испокон веков все тираны больше всего ненавидели людей, самовольно уходивших из-под их власти над жизнью и смертью. Право распоряжаться жизнью и смертью стало неотъемлемым правом господина. И люди уверовали в этот фетишизм, поддержанный христианской церковью. За тысячелетия прошедших на Земле цивилизаций они не придумали ничего, кроме мучительных способов самоубийства, доступных и зверю. Только мудрецы Индии рано поняли, что, сделав человека владыкой собственной смерти, они освобождают его от страха перед

жизнью...— Родис подумала и спросила: — Но, может быть, с вашим долгом «ранней смерти» все это не так существенно, как в древности на Земле?

— Очень важно! — воскликнул Таэль.— «Нежная смерть» также целиком в руках олигархии, и без позволения никто не входит в ее дворец. А для нас, образованных долгожителей, зависимость жизни и смерти от владык абсолютна.

— Выберите время,— решительно сказала Родис,— при вашей психической нетренированности нам понадобится несколько занятий.

— Так много!

— Это нельзя усвоить без опытного учителя. Надо знать как остановить сердце в любой желаемый момент. Едва обычный человек Ян-Ях начнет тормозить свое сердце, как мозг, не получая нужного ежесекундно кислорода и питания, сразу подхлестнет его. Поэтому для торможения сердца надо усыпить мозг, но тогда утрачивается самоконтроль и «урок» закончится смертью. Моя задача — научить вас не терять самоконтроля до последнего шага из жизни.

— Благодарю, благодарю вас! — радостно воскликнул Таэль. Смело взяв обе руки Родис, он покрыл их поцелуями.

Она высвободила руки и, подняв голову инженера, сама поцеловала Таэля.

— Никогда не могла подумать, что я отдам влюбленному в меня человеку дар умереть. Как бесконечно странна и печальна жизнь во власти инферно!..

Заметив, что Таэль смотрит на нее с недоумением, она добавила:

— В одной из древних легенд Земли говорится о богине печали, утешавшей смертных отравленным вином.

— Я помню эту легенду и теперь знаю, что она пришла от общих наших предков! Только у нас говорится, что вино приготовили из лоз, выраставших на могиле любви. У вас тоже?

— У нас тоже.

— И это так, богиня печали! До завтра? Хорошо?

Инженер Таэль сам выключил экранирование и, не обернувшись, вышел, осторожно закрыв тяжелую и высокую дверь.

Фай Родис улеглась на диване, положив подбородок на скрещенные руки. Она раздумывала о своей двойственной роли на планете Ян-Ях. Умный владыка, сделав ее негласной пленницей своего дворца, изолировал от людей Ян-Ях. И в то же время невольно дал ей возможность проникнуть в самое существо власти над планетой, изучить олигархическую систему, понять которую человеку высшего, коммунистического общества было бы чрезвычайно трудно. Основа олигархии, казалось, была предельно проста и практиковалась издревле на Земле, принимая различные формы — от тиранических диктатур в Ассирии, Риме, Монголии, Средней Азии до самых последних видов национализма на капиталистическом Западе, неизбежно ведших к фашизму.

Когда объявляют себя единственно — и во всех случаях — правым, это автоматически влечет за собой истребление всех открыто инакомыслящих, то есть наиболее интеллигентной части народа. Чтобы воспрепятствовать возрождению вольности, олигархи ставили задачей сломить волю своих подданных, искалечить их психически. И к осуществлению этой задачи повсеместно пытались привлечь ученых. К великому счастью, деградация биологических наук на Тормансе не позволила такого рода «ученым» добиться серьезных успехов в тех зловещих отраслях биологии, которые в отдельных странах Земли в свое время едва не привели к пре-

вращению большинства народа в тупых дешевых роботов, покорных исполнителей любой воли. Здесь, на обедневшей планете, средства духовной ломки были несложны: террор и голод плюс полный произвол в образовании и воспитании. Духовные ценности знания и искусства, тысячелетиями накопленные народами, изымались из обращения. Вместо них внушали погоню за мнимыми ценностями, за вещами, которые становились все хуже по мере разрушения экономики, неизбежного при упадке морально-психического качества людей. На Земле, при разнообразии стран и народов, олигархия никогда не достигала столь безраздельной власти, как на Тормансе. В любой момент в любом месте планеты владыки могли сделать все, что угодно, бросив лишь несколько слов. Разъяснение необходимости или объяснение случившегося предоставлялось ученым слугам. Эта абсолютная власть нередко попадала в руки психически ненормальных людей. В свое время на Земле именно параноики с их бешеной энергией и фанатичной убежденностью в своей правоте становились политическими или религиозными вождями. В результате в среде физически более слабых резко увеличивалось число людей с маниакально-депрессивной психикой, основой жизни их становился страх: страх перед наказанием,дамоклов меч хронической боязни — как бы и каким-либо образом не ошибиться и не совершить наказуемый проступок.

На Тормансе владыки не боялись сопротивления и, к счастью, были лишены параноидального комплекса и мании преследования, и это обстоятельство, без сомнения, спасло жизни миллионам людей.

«О, эти сны о небе золотистом, о пристани крылатых кораблей!» — вспомнила Родис стихи древнего поэта России: больше всего любила она русскую поэзию того времени за чистоту и верность человеку. Сны сбылись совсем не так, как мечталось поэту. С развитием технической цивилизации все большее число людей исключалось из активного участия в жизни, ибо действовало в очень узкой сфере своей специальности, более ничего не умея и не зная.

До Эры Разобщенного Мира средний человек Земли был довольно разносторонне развитой личностью — он мог своими руками построить жилище или корабль, знал, как обращаться с конем и повозкой, и, как правило, всегда был готов с мечом в руках сражаться в рядах войска.

А потом, когда людей стало больше, они сделались ничего не значащими придатками узких и мелких своих профессий, пассивными пассажирами разнообразных средств передвижения.

Если представить себе человечество в виде пирамиды, то чем выше она, тем острее — и малочисленней — верхушка, состоящая из активной части людей, и шире основание. Если раньше отдельная личность была многогранна и крепка, то с ростом пирамиды, с потерей интереса к жизни она становилась слабее и неспособнее. Многие мыслители ЭРМ считали скуку, потерю интереса к жизни опаснее атомной войны! Какова бы ни была элита верхних слоев, все тяжелее становилось нижним и углублялось инферно. При такой тенденции цивилизация, выросшая из технократического капитализма, должна была рухнуть — и рухнула! Иерархическая пирамида власти на Тормансе представлялась Родис как ступенчатое нагромождение резко расширяющихся книзу слоев. Оно опиралось на широкое «основание» — миллиард «кжи», необразованных, малоспособных, удостоенных «счастья» умереть молодыми.

«Наши ученые и мой Кин Рух были совершенно правы,— подумала Родис,— говоря об умножении инферно, раз нет выхода для нижних слоев пирамиды. Она должна быть разрушена! Но ведь пирамида — самая устойчивая из всех построек! Устранение верхушки ничего не реша-

ет: на месте убранных сейчас же возникнет новая вершина из нижележащего слоя. У пирамиды надо развалить основание, а для этого необходимо дать нужную информацию именно «кжи».

Родис вызвала «Темное Пламя» — надо было посоветоваться с Грифом.

Гриф Рифт возник перед ней в трех, увы, непереходимых шагах — он был обрадован внепрограммной встречей.

Родис рассказала про пирамиду, и Гриф Рифт задумался.

— Да, единственный выход. Кстати, это давняя методика всех подлинных революций. Приспеет время, и пирамида рухнет, но только когда внизу накопятся силы, способные на организацию иного общества. Пусть поймет ваш инженер, что для этого нужен союз «джи» с «кжи». Иначе Торманс не выйдет из инферно. Разрыв между «джи» и «кжи» — осевой стержень олигархии. Они не могут обойтись без тех и без других, но сами существуют лишь за счет их разобщения. «Кжи» и «джи» одинаково бьются в крепчайшей клетке, созданной усилиями обоих классов. Чем сильнее они враждуют, тем прочнее и безвыходнее клетка. Надо снабжать их не только информацией, но и оружием.

— Мы не можем вслепую раздавать оружие,— сказала Родис,—а всеобщая информация действует слишком медленно! Сейчас главное для них — средства обороны, а не нападения, точнее, средства защиты от деспотизма. Два мощных инструмента: ДПА — распознаватель психологии и ИКП — ингибитор короткой памяти — защитят зарождающиеся группы от шпионов и дадут им вырасти и созреть.

— Согласен. Но информацию следует распространять иначе,— сказал Рифт.— Мы начали наивно и создали опасную ситуацию. Я советую объявить владыкам о прекращении демонстрации фильмов. Вы скажете правду, а мы приготовим миллион патронов, сотня которых незаметно уместится в любом кармане. Вместо сеанса стереофильмов мы станем раздавать патроны с видеоинформацией на все необходимые темы. Видевшие фильмы подтвердят, что информация — реальная правда, отобранная для путающихся во тьме.

— Сегодня я поняла, что, помимо ДПА, им нужна психологическая тренировка, чтобы освободить их от страха преследования и от фетишизирования власти. Слишком далеко разошлись здесь отношения людей с государством. Оно стоит над ними как недобрая и всемогущая сила. Пора им понять, что в правовом отношении каждый индивид и народ однозначны, а не антагонисты. Переход единичности во множественность и обратно — вот в чем они совершенно не разбираются, путая цель и средство, технику и познание, качество и количество.

Гриф Рифт невесело усмехнулся.

— Не понимаю, почему эта цивилизация еще существует. Ведь здесь нарушен закон Синед Роба. Если они достигли высокой техники и почти подошли к овладению космосом — и не позаботились о моральном благосостоянии, куда более важном, чем материальное, то они не могли перейти порога Роба! Ни одно низкое по морально-этическому уровню общество не может его перейти, не самоуничтожившись,— и все же они его перешли!

— Как же вы не догадались, Рифт! Их цивилизация с самого начала была монолитна, так же как и народ, на какие бы государства они временно ни разъединялись. Железная крышка олигархии прихлопнула всю

планету, сняла угрозу порога Роба, но и уничтожила возможность выхода из инферно...

— Согласен! Но как быть со Стрелой Аримана?

— Увидим...— Родис насторожилась и поспешно добавила: — Сюда идут. До свидания, Гриф! Готовьте патроны информации, а о темах подумаем, когда соберете всех на совет. И побольше ДПА и ИКП! Все силы на них!

Родис выключила СДФ и уселась на диван, чувствуя приближение чужого человека.

В дверь постучали. Появился высокий и худой старый «змееносец».

— Великий председатель приглашает владычицу землян провести вечер в его покоях. Он ждет вас через...— Сановник поднял глаза на стену, где на больших часах осциллировали круговые светящиеся полоски, и увидел картину Фай Родис. Старик сбился с торжественной речи и поспешно закончил: — Через два кольца времени.

Поблагодарив, Родис отпустила посланного. «Опять нечто новое»,— подумала она, подходя к зеркалу и критически оглядев свое скромное одеяние.

Женщины Земли, прирожденные артистки, любили играть в перевоплощение. Меняя обличье, они перестраивали себя соответственно принятому образу. Во время пути на звездолете Олла Дез перевоплощалась в маркизу конца феодальной эры, Нея Холли становилась шальной девчонкой ЭРМ, а Тивиса Хенако — гейшей древней Японии. Мужчин это занимало меньше — из-за бедности воображения и чисто мужской нелюбви к отработке подробностей.

Родис, вертясь перед зеркалом и перебирая подходящие обличья, остановилась на женщине старой Индии — магарани. Одежда индийской женщины — сари — подходила к случаю: и по простоте исполнения и потому, что никакое другое платье так не сливается с его носительницей. Сари точно передает настроение и ощущения женщины. Оно может становиться и непроницаемой броней и как бы растворяться на теле, открывая все его линии.

Родис искусно воспользовалась немногими средствами, бывшими в ее распоряжении.

Настроив СДФ, она приняла ионный душ и электрический массаж, затем усилила пигментацию своей кожи до оттенка золотисто-коричневого плода тинги. Короткие волосы, разделенные на темени пробором и туго завитые на затылке, образовали большой узел. Отрезок титановой проволоки, полированной до зеркального блеска, Родис разломила на части и превратила в кольца, надев их как звенящие браслеты на запястья и щиколотки. Кусок белоснежной, украшенной серебряными звездами ткани превратился в сари, более короткое, чем в старину. Поставила темную точку между бровей, прошлась по комнате, чтобы приспособить свои движения к костюму. Пожалела, что нет с собой красивых серег.

Оставалось около получаса. Она сосредоточилась, вызвала в воображении медленно плывущие картины древней Индии...

Веселая, немного возбужденная, под легкий звон своих браслетов она входила в зеленый кабинет, распространяя вокруг приятный, едва уловимый запах здорового тела, освеженного тонизирующим воздушным потоком.

Чойо Чагас встал несколько поспешнее, чем обычно. Он приветствовал Родис, как всегда, насмешливо, но явно обрадовался ей. Лишь в глубине узких глаз пряталась обычная недоверчивая настороженность.

Зет Уг и Ген Ши сидели у стола в черных креслах, а у драпировки стоял высокий и худой «змееносец», приходивший за Фай Родис. При ее появлении он вздохнул с облегчением и опустился на тяжелый табурет с причудливыми ножками. Из-за портьеры, скрывавшей внутреннюю дверь, уверенно вышла на середину комнаты очень высокая, статная женщина. По тому, как приветствовали ее члены Совета, Фай Родис оценила положение незнакомки в сложной иерархии Торманса. Она была значительно выше Родис, с длинными, может быть, слишком тонкими ногами, атлетическими плечами и царственной осанкой. Тонкое и жесткое лицо, острые раскосые глаза под прямыми бровями, высокая копна черных волос. Единственным украшением незнакомки были серьги, каждая из десяти горящих красными огоньками шариков, бросавших диковатые блики на чуть впалые щеки и высокие скулы женщины. Плечи и грудь ее были сильно открыты. Две узкие ленточки врезались в нежную кожу, поддерживая платье. В повседневной жизни на Тормансе ни при каких условиях на позволялось полностью обнажать грудь. Женщина, даже нечаянно сделавшая это, считалась опозоренной. В то же время по вечерам женщинам почему-то разрешалось появляться чуть ли не совсем нагими. Этой моральной сложности Родис еще не смогла постигнуть.

Фай Родис понравилась свирепая красота незнакомки и ее артистическое умение показывать себя: каждый завиток ее небрежно зачесанных волос располагался с рассчитанным эффектом.

Женщина спокойно оглядела земную гостью, едва прищурив холодные глаза и приоткрыв крупный, хорошо очерченный, недобрый рот.

Чойо Чагас выждал несколько секунд, словно желая дать женщинам рассмотреть друг друга, а на самом деле бесцеремонно сравнивая их.

— Эр Во-Биа, мой друг и советник в государственных делах,— объявил он наконец,— а владычица землян известна всей планете.

Подруга Чагаса усмехнулась и вздернула гордую голову, словно сказав: «Я тоже известна всей планете!»

Она протянула руку Фай Родис, и та, по обычаю Ян-Ях, подала свою. Крепкая горячая рука женщины сильно сжала ее пальцы.

— Я думала, что путешественники космоса одеваются иначе,— сказала она, не скрывая удивления нарядом Родис.

— В путешествии конечно. А в обычной жизни — как придет в голову.

— И вам пришел в голову сегодня именно этот наряд? — спросила Эр Во-Биа.

— Сегодня мне захотелось быть женщиной древних народов Земли,— ответила Родис.

Эр Во-Биа передернула плечами, как бы сказав: «Вижу насквозь ваши ухищрения».

Чойо Чагас усадил женщину у стола, на котором уже стояли пестрые чашки с душистым подкрепляющим напитком.

Председатель Совета Четырех находился в хорошем настроении. Он даже сам подал Родис ее чашку.

Фай Родис решила воспользоваться моментом. После разговора с Таэлем и Рифтом ей на давала покоя дума о легкомыслии, с которым они принялись показывать фильмы вопреки запрещению олигархов. Действительно, могущественные пришельцы с Земли не боялись властей Торманса. Об их силу разбились попытки властей помешать народу узнать о своей прекрасной прародине. И в то же время мудрые диалектики Земли забыли о другой стороне — о тех, кому они передавали запретную информацию, тем самым заставляя их совершать преступление.

Каким бы диким ни казалось это в глазах людей коммунистического мира Земли, жаждущие знания подлежали серьезной каре. И они, астронавты, спровоцировали эту опасность! Оставаясь неприкосновенными, они сталкивали беззащитных людей Торманса один на один со страшным аппаратом власти, угнетения, предательства и шпионажа.

— Я и мои друзья обдумали свои поступки после моего разговора с вами,— негромко начала Родис.

— И? — нетерпеливо нахмурился Чойо Чагас, очевидно не желая говорить здесь о делах.

— И пришли к заключению, что были не правы. Мы прекратили передачи и приносим вам извинения.

— Вот как? — удивился и смягчился Чойо Чагас.— Приятная весть. Я вижу, наши беседы не пропадают даром.

— О нет! — воскликнула Родис с неподдельным энтузиазмом и совершенно правдиво, чем доставила владыке еще большее удовольствие.

Чойо Чагас осведомился у Родис, как подвигается картина. Она удивилась лишь на мгновение. Иначе не могло быть. О ее работе «доносили», наверное, много раз.

— Я вообразила ее законченной, на самом деле придется переделать. Концепция ошибочна! Чтобы найти путь из инферно, нужна прежде всего Мера, а не Вера.

— Жаль,— равнодушно сказал Чагас,— я рассчитывал увидеть ее... на днях.

Эр Во-Биа внезапно порозовела, блеснув глазами.

Бесцеремонно вошел начальник «лиловых» Янгар. Подойдя к владыке, он стал говорить ему что-то вполголоса. Фай Родис встала и отошла к шкафчику, любуясь мастерством старинного рисунка. Чойо Чагас недовольно отстранил Янгара и спросил, почему ушла Родис. Владыка планеты не любил, когда при нем люди вставали без разрешения.

— Я не хотела вам мешать. На планете Ян-Ях все спешно и все секретно.

— Напрасно. Ничего важного,— недовольно сказал Чойо Чагас, в то время как Янгар уставился на земную гостью, рассчитывая смутить ее своим холодным взглядом судьи и палача.

Чойо Чагас резким жестом отослал Янгара, а сам склонился на подлокотниках поближе к Родис.

Эр Во-Биа продолжала искоса наблюдать за Родис и вдруг не выдержала и бесцеремонно спросила ее, где и как на Земле учат искусству обольщения.

— Если вы подразумеваете умение вести себя и нравиться мужчинам в восхитительной игре взаимного влечения — то с детства. Каждая женщина Земли умеет подчеркивать в себе то, что оригинально, интересно, красиво. Мне кажется, что «обольщение», о котором думаете вы,— нечто иное.

— Это умение влюбить в себя мужчину,— сказала тормансианка.

— Тогда я не вижу разницы. Может быть, не только умение, но еще и врожденная способность. Мне показалось, будто вы сказали это слово с оттенком осуждения, как о чем-то плохом.

— Обольщение всегда в какой-то мере является обманом, фальшью. Я вас вижу впервые, но мне говорили, что вы не такая.

— Все присутствующие, кроме вас, знают меня и в других обликах... разных.

— И какой же настоящий?

— Тот, в каком я бываю чаще всего. Здесь, на планете Ян-Ях, я ношу

облик начальницы земной экспедиции, историка, но и этот облик тоже не постоянен и со временем изменится. Я буду на Земле другой, совсем другой! — мечтательно закончила Родис.

Эр Во-Биа поднесла к губам чашку, сделала глоток и что-то негромко сказала Зет Угу. Подруга Чойо Чагаса внешне была эффектнее Родис. Писатели и придворные поэты Ян-Ях писали, что ее привлекательность действует подобно электрическому току. Ее женское существо просто-таки кричало. Литераторы Ян-Ях отмечали, что она вызывает такое страстное желание, что даже цепное животное при виде ее способно оборвать свою привязь. Эр Во-Биа излучала таинственность. Она как бы стояла на черте, за которой лежала запретная область. Тысячелетия эта женская тайна обещала гораздо больше, чем давала, и все же оставалась привлекательной даже для испытанных людей.

Эр Во-Биа улыбнулась, и внезапно на юной гладкой коже проступили тонкие морщины, выдавая, что этой незаурядной женщине немало пришлось испытать на своем женском пути.

Фай Родис, несмотря на маску магарини, оставалась той же прямой, открытой и бесстрашной женщиной, которая поразила владыку с первой встречи. В ее внутреннем мире, очевидно, господствовали равновесие и умение быстро восстановить в себе покой. Качества, возможные лишь при избытке психологической крепости и воли. Именно потому, по контрасту с ущербной психикой Ян-Ях эти ее блестящие человеческие качества — полное отсутствие неприязни, подозрительности или самодовольства — все же не притягивали к ней тормансиан. Неизменной оставалась пропасть между ней и всеми другими, даже самим Чагасом. «Даже с ним, великим и всемогущим!» — с негодованием признавал владыка. Он вспомнил отрывок из разговора между инженером Таэлем и Фай Родис — об этом ему доложили в свое время. Родис объясняла Таэлю, что на планете Ян-Ях целиком отсутствует один из очень важных психологических устоев творческой жизни — сознание бесконечности пространства с его недостижимыми границами и неисчислимыми, еще не открытыми человеком мирами. Бездонные глубины космоса существуют даже вне знания Великого Кольца и в самых неожиданных комбинациях законов материального мира. Инженер ответил, что сама Родис является для него воплощением этой беспредельности, и ее душа так же отлична от их психики, как бесконечность отличается от замкнутого и скучного мира Ян-Ях, главный стержень которого в строгой иерархии.

«Умный комплимент инженера,— думал владыка,— но есть другое, о чем, бедняга, конечно, и подумать не смеет. Она женщина одного корня со всеми и потому неизбежно должна подчиниться воле и силе мужчины. Впрочем, я не думаю, что эта холодная, веселая и самонадеянная дочь Земли будет столь же хорошей любовницей, как моя Эр Во-Биа. Но все же надо испытать!»

И, как все владыки всех времен и миров, председатель Совета Четырех принялся, не откладывая, исполнять свое намерение.

Он встал, и тотчас же поднялись Зет Уг и Ген Ши. Эр Во-Биа осталась сидеть, положив ногу на ногу и покачивая туфелькой с вделанным в нее звездочкой-фонариком. Лучи фонариков, направленные вертикально, подсвечивали стройные ноги тормансианки, обрисовывая их во всю длину сквозь тонкую ткань платья.

Фай Родис, считая вечер оконченным, тоже встала, думая о картине в своей комнате. После беседы с Таэлем ей хотелось сегодня же взяться за кисти и краски. Но Чойо Чагас заявил, что ему надо безотлагательно обсудить с ней важный вопрос. Оба члена Совета, поклонившись, исчезли,

покинув своего председателя, как показалось Родис, с удовольствием. Эр Во-Биа поднялась, бросила взгляд на Чойо Чагаса, задавая немой вопрос. Она дышала взволнованно, обнажив в деланной усмешке крупные синеватые зубы. Но Чойо Чагас словно бы и не заметил ее призыва. И тогда Эр Во-Биа пошла к выходу, не попрощавшись и не оглянувшись, оскорбленная, прекрасная и недобрая.

Чойо Чагас впервые при Родис захохотал, и она удивилась, как грубо прозвучал его смех. Владыка отодвинул среднюю занавесь и ввел Родис в ослепительно светлый коридор, где на скамейках друг против друга сидели два стража в зеленой одежде. Не обращая на них внимания, Чойо Чагас прошел к двери в конце коридора и проделал какие-то манипуляции с замком. Толстая дверь отворилась, и Фай Родис вошла в личную, никому не доступную комнату владыки, скрытую в толстых стенах дворца.

Гигантская хрустальная призма служила окном, отражая горящий закатный горизонт. Чойо Чагас нажал рычажок, призма повернулась, показалось сумрачное небо Торманса, а в комнате автоматически зажглись оранжевые светильники. Большое пятиугольное зеркало отразило белую с серебром магарани и рядом владыку в черной, расшитой серебряными змеями одежде.

Чагас сделал было шаг к широкому дивану, застеленному ворсистым ковром с узором из сплетенных колец, остановился за спиной Родис и через ее плечо посмотрел на отражение в зеркале. Она поняла, что должно произойти. Начатую игру следовало доводить до конца, не создавая запутанных противоречий. Родис ответила владыке равнодушным и снисходительным взглядом. Большие руки Чойо Чагаса обхватили ее тонкую талию. Мгновение, и Родис прикоснется к нему спиной, положит голову на его плечо... Ничего подобного не случилось. Непонятная сила сбросила его руки, мигом пропала его самонадеянность, и будто бы не было и желания, он даже отшатнулся от нее, настолько это было поразительно.

— Лучше вернемся к прежнему,— тихо сказала Родис.

Чойо Чагас рухнул на диван, как спросонья ища на столике курительные принадлежности.

Фай Родис спокойно, без слов села боком на край дивана. Ошеломленный Чойо Чагас закурил. Впервые за многие годы он не знал, как поступить. Сделать вид, что ничего не произошло, или разгневаться?

Родис пришла ему на помощь. Игра кончилась, от магарани осталось лишь белое сари.

— Неужели владыка планеты так же подчинен инстинктам, как и самый невежественный «кжи»? — спросила она, усвоив этимологию Ян-Ях.

Чагас с негодованием отверг это предположение.

— Поддавшись вашему очарованию, я не объяснился, как следовало б сделать, но в этом уж виноваты вы сами!

Родис всем своим видом выразила молчаливое недоумение.

— Неужели вам достаточно встретиться несколько раз с женщиной, непохожей на других, чтобы загореться несдержанной страстью? — спросила она, впадая в задумчивый тон, сильнее всего действовавший на владыку.— Можно понять людей, мало видевших, стоящих низко в вашей иерархической системе, стесненных узкой жизнью. Для них это, пожалуй, неизбежно, но вы!

На минуту лицо владыки приняло лиловый оттенок. Однако он тут же овладел собою.

— Вы говорите так, не понимая истинных мотивов. Я хотел убедиться

в вашей привлекательности для меня, прежде чем просить вас об одной очень серьезной вещи!

— И что же, убедились?

— Убедился! — Злая усмешка на миг исказила лицо владыки, он стер ее привычным усилием воли.

— Знаете, мне впервые приходится просить, а не приказывать...

— Жаль. Подобное самовластие неизбежно портит людей. Разве в детстве и юности вы только приказывали? Ведь власть у вас не наследственная?

— К несчастью, нет. Воспоминания об унижениях детства и юности, хоть и потускневшие с годами, иногда обжигают как огнем!

— Естественно! Комплекс обиды и мести неизбежен для всякого, пробившегося к власти. Но разве любая просьба унизительна? Разве не приходилось вам просить мать, отца, учителей и менторов? Первую возлюбленную?

— Мы уклоняемся. Вернемся к моей просьбе,— сухо сказал владыка.— Вы с вашей бездонной интуицией и мягкой симпатией кажетесь мне самой гениальной из всех виденных мною женщин. Я не говорю уже о знаниях, о психологическом могуществе и, наконец, о красоте, что также очень важно.

— Я помню разговор о восхвалении,— засмеялась Родис,— чем вы собираетесь меня унизить?

— Унизить? Великая Змея! Я хочу возвысить вас над всей планетой Ян-Ях, я хочу, чтобы вы отдались мне!

Фай Родис выпрямилась.

Чойо Чагас невозмутимо продолжал:

— Чтобы родить мне сына. Надеюсь, что на Земле научились управлять генетикой и вы можете родить ребенка нужного пола?

— Зачем вам сын от меня? К вашим услугам полмиллиарда женщин Торманса!

— Они находятся далеко позади вас по здоровью, совершенству тела и души. Ваш сын будет первым наследственным владыкой планеты Ян-Ях, или как он захочет ее назвать. Может быть, назовет ее вашим именем!

Краска негодования не была заметна на смуглой коже Родис.

— Так вы мечтаете о наследственной власти? Зачем?

— Цель ясна. Чтобы улучшить жизнь на планете. Достижение этой цели идет через укрепление власти до полной ее абсолютности. Владыка должен стать неизмеримо выше всех, богом планеты и ее народа!

— Мне кажется, вы преуспели в этом,— сдерживая возмущение, сказала Родис,— вы и ваши сподвижники стоите так высоко над массой населения Ян-Ях, как это было возможно лишь в самых древних государствах нашей Земли.

Чойо Чагас поморщился и вдруг, доверительно наклоняясь к собеседнице, зашептал:

— Поймите же, что у меня не настолько всеобъемлющий ум, чтобы перед ним искренне склонились все мои подданные!..

— Но вы достаточно умны, чтобы понимать это! Понимать невозможность для одного человека объять колоссальную сумму знания, которую требует научное управление планетой. Но у вас есть ученые, они помогут. Жаль, что вы не верите им и никому вообще.

— Да, да! Я не могу обойтись без них, без этих «джи», но не верю им. Ученые — обманщики, трусы и ничтожные прислужники. Во многих поколениях они обманывали правителей и народ Ян-Ях, и, насколько я знаю, то же было в старину на Земле. Они обещали, что планета может

прокормить неограниченное количество людей, и совершенно не учли, что земля истощится задолго до назначенной ими предельной цифры. Не учли вреда химических удобрений, отравивших растения и почвы, не учли необходимости определенного жизненного пространства для каждого человека. Не понимая всего этого, они не постеснялись выступить с категорическими заключениями. И в результате вызвали страшную катастрофу. Восемьдесят лет Голода и Убийств! Правда, за ошибки и наглость они расплатились. Тысячи ученых повесили вниз головами на воротах городов или перед их научными институтами. Ученые всегда обманывали нас, владык, и особенно математики и физики, в реальных успехах которых никто, кроме них самих, не мог разобраться. Так поступали жрецы и маги Земли. Нет, я не люблю ученых. Мелкие, тщеславные люди, избалованные легкой жизнью, а думают, что они знают тайны судьбы!

Фай Родис, заинтересованная его откровенностью, задумчиво улыбнулась.

— Вся их вина в отсутствии двустороннего мышления, подлинной диалектики. Они не понимали, что при необъятном многообразии мира математические методы похожи на язык. Ведь язык тоже одно из самых логических строений человеческой мысли. Словами можно играть, доказывая все, что угодно, и можно подобрать математические доказательства чего угодно. Такими шутками нередко забавляются ученые Земли.

— Безнаказанно?

— Кто же наказывает за шутку? Не принимайте ее всерьез, не будьте так мелко обидчивы. Впрочем, вы сами похожи на математиков, издавая декреты и приказы и веря в то, что слова могут изменить развитие общества и ход истории.

— Кто же тогда может?

— Только сами люди!

— Вот мы и воздействуем на людей!

— Не так! Любое насилие обязательно порождает контрсилу, которая неумолимо будет развиваться и проявится не сразу, но неизбежно и подчас с неожиданной стороны.

— Вы располагаете примерами?

— Их достаточно. Возьмите продвижение людей в обществе, основанном на чинах и званиях. Такая система автоматически и неизбежно порождает некомпетентность на всех уровнях иерархии.

— Вот я и хочу укрепить всю систему, начав с ее вершины. Я заговорил об ученых, чтобы вы поняли, как я хочу дать Ян-Ях владыку, превосходящего силой ума современных ученых-холуев. Они выманивают у меня большие средства, обещая высокие технические достижения. На деле оказывается, что каждый шаг на пути больших открытий чудовищно дорог и становится все более непосильным для планеты. Не случайно у нас запрещены космические полеты. Наука заводит в тупик, а я не могу уничтожить ее и не в силах предвидеть ее ошибки и обманы. Могу лишь держать своих ученых слуг в страхе, что в любой момент брошу на них массу «кжи», которые расправятся с ними с такой беспощадностью, что память об этом останется в веках.

— Такая память уже осталась и на Ян-Ях и на Земле после китайского лжесоциализма,— вставила Родис.

— История повторяется.

— Вы ее повторили. Но ведь вы понимаете, что это ошибка человечества. Зачем же, раз допустив ее, вы хотите повтора?

— Чтобы добиться того, что не удалось предкам!

— И вы мечтаете о сыне с выдающимся умом, которому вы доверите планету? — тихо спросила Родис.

— Вот именно! Благородная цель! Вы уверяете, что прибыли сюда для блага моих людей. Вот возможность реально создать благо! — И Чойо Чагас облизал губы в искреннем волнении.

— Как вы наивны, владыка планеты! — вдруг громко сказала Фай Родис.

— Что?!

Родис успокаивающим жестом протянула к нему руку.

— Простите мою несправедливую резкость. Вы не можете выйти из ноосферы Ян-Ях. Все предрассудки, стереотипы и присущий человеку консерватизм мышления властвуют над высшим человеком в государстве. Мысли, думы, мечты, идеи, образы накапливаются в человечестве и незримо присутствуют с нами, воздействуя тысячелетия на ряд поколений. Наряду со светлыми образами учителей, творцов красоты, рыцарей короля Артура или русских богатырей были созданы темной фантазией демоны-убийцы, сатанинские женщины и садисты. Существуя в виде закрепившихся клише, мысленных форм в ноосфере, они могли создавать не только галлюцинации, но порождать и реальные результаты, воздействуя через психику на поведение людей. Очистка ноосферы от лжи, садизма, маниакально-злобных идей стоила огромных трудов человечеству Земли. Здесь, у вас, я физически чувствую колючую ноосферу грубости и озлобления. Вероятно, в этом повинны и ученые, которых вы так не любите. Пытаясь заменить человека машиной, они впали в опасную ошибку и распространили в ноосфере однобокое линейно-логическое мышление, принимаемое за сущность разума.

— Пусть так! Тогда тем нужнее сверхчеловек!

— Нет! Мозг человека физически изменяется медленно. Продолжительность даже нашей земной цивилизации ничтожна, и потому она не внесла в него существенных изменений. Всякое развитие всецело определяется обстоятельствами.

— Окружающей обстановкой?

— Не только. Миллионы способных людей погибли, не дав миру, что могли, только потому, что не нашлось соответствия их способностей с задачами общества и уровнем времени. Вот почему я не могу представить себе своего сына в роли владыки на столь низком уровне сознания.

— Как низком?!

— Да, председатель, стремление владычествовать, возвышаться над другими, повелевать людьми — один из самых примитивных инстинктов, наиболее ярко выраженный у самцов павианов. Эмоционально это самый низкий и темный уровень чувств!

— Вы хотите сказать...

— И добавлю еще, что если бы у вас действительно появился сын — будущий наследственный владыка — с более чем выдающимся интеллектом, то это наверняка принесло бы беду. По закону Стрелы Аримана...

— Что еще за Стрела?

— Так мы условно называем тенденцию плохо устроенного общества с морально тяжелой ноосферой умножать зло и горе. Каждое действие, хотя бы внешне гуманное, оборачивается бедствием для отдельных людей, целых групп и всего человечества. Идея, провозглашающая добро, имеет тенденцию по мере исполнения нести с собой все больше плохого, становиться вредоносной. Общество низшего, капиталистического, типа не может обойтись без лжи. Целенаправленная ложь тоже создает своих демонов, искажая все: прошлое, вернее, представление о нем, настоя-

щее — в действиях, и будущее — в результатах этих действий. Ложь — главное бедствие, разъедающее человечность, честные устремления и светлые мечты.

Я вижу, что у вас ничего не сделано для создания предохранительных систем против лжи и клеветы, а без этого мораль общества неуклонно будет падать, создавая почву для узурпации власти, тирании или фанатического и маниакального «руководства». Еще наши общие предки открыли закон неблагоприятных совпадений, или закон Финнегана, как полушутя назвали серьезную тенденцию всех процессов природы и общества оборачиваться неудачей, ошибкой, разрушением — с точки зрения человека. Разумеется, это лишь частное отражение великого закона усреднения, по которому низкие или повышенные структуры отбрасываются процессом. Человек же все время пытается добиться повышения структур без создания к тому базы, стремится получить нечто за ничто. Развитие живой природы построено на слепой игре в пробы. Сто тысяч проб на одну удачу, выигрыш на тысячу бросков игральных костей. Чем уже коридор совершенства, в который надо пройти, тем сильнее действует закон Финнегана, превращаясь в направленную тенденцию Стрелы Ариман а. В природе она преодолевается отбором в огромной длительности времени, потому что природа справляется с ним, создавая в организмах многократно повторяющиеся охранительные приспособления и запасы прочности.

Превращение закона Финнегана в Стрелу в человеческом обществе становится бедствием потому, что бьет именно по высшим проявлениям человека, по всему стремящемуся к восхождению, по тем, кто двигает прогресс,— я подразумеваю подлинный прогресс, то есть подъем из инферно.

— Как же вы преодолеваете Стрелу?

— Тщательнейшим взвешиванием и продумыванием наперед каждого дела, охраной от слепой игры. Вы должны начать с воспитания, отбирая людей, сберегая и создавая охранительные системы.

Чойо Чагас покачал головой.

— Невозможно. Слишком далеко зашло измельчание людей Ян-Ях. Повреждение генофонда привело к физической слабости и духовному конформизму. В наших условиях необходим быстрый оборот поколений. Вы сами сказали: чем чаще бросаешь кости, тем вернее выигрываешь.

— Природа не считается с жертвами в достижении цели. Человек мудрый так поступать не может.— Фай Родис, видя бесплодность разговора, встала.

— Так вы отказываетесь? — в вопросе Чагаса прозвучала угроза.

— Конечно. Если бы это могло изменить судьбу человечества Ян-Ях, я готова всегда была бы дать ему своего ребенка, как ни тяжело матери оставить свое дитя в чужом и далеком мире. Но произвести на свет будущего владыку, угнетателя и несчастного человека — никогда!

Чойо Чагас медленно поднялся, как бы соображая, что делать дальше.

— До свидания, председатель! — сказала Родис, снова прочитав его мысли.— Я готова всегда рассказывать вам о сравнении наших двух планет, советовать, демонстрировать любые фильмы. Пока мои друзья в городе, пока я здесь — видите, вы даже не смогли обойтись без заложников,— судите сами об уровне вашего государства. А теперь не следует продолжать то, что не нужно!

Чойо Чагас откинулся на диван и задымил трубкой. Родис повернулась к нему спиной и подошла к двери. Всего две минуты ей понадобилось на раскрытие тайны запора. Дверь распахнулась, и Родис направилась по

коридору в зеленую комнату. Оба стража не шелохнулись, глядя сквозь нее, как в пустоту.

Чагас из своего сумрачного обиталища смотрел на нее. Он физически ощущал походку Родис. В сияющем белом сари, сквозь складки которого ясно обрисовывалось ее тело, Фай Родис показалась ему недосягаемой, а себя он увидел унизительно смешным. Вне себя Чойо Чагас ринулся в коридор. Стражи вскочили, вытаращив испуганные глаза, чем еще больше разозлили владыку. Он принялся хлестать охранников по щекам, пока боль в ладонях не отрезвила его. Овладев собой, он вошел в зеленый кабинет, теперь навсегда связанный с образом владычицы Земли, и, подперев руками голову, сел к столу. Он чувствовал ту безнадежную пустоту вокруг себя, которая неизбежно образуется, когда из окружения устраняют или отстраняют порядочных людей, всегда несогласных с несправедливостью. Неумолимо идет процесс замены их ничтожествами и невеждами, готовыми восхвалять любые поступки владыки. Советники, охрана — все это человеческая дрянь. Верность их обеспечивается лишь подачками и привилегиями. Друзей нет, душевной опоры ни в ком, все чаще подступает страх перед возможным заговором.

Гребенка террора время от времени прочесывала массы «джи», сановников-«змееносцев», ученых и «глаз владыки», оставляя неизгладимый ужас. Боязнь ответственности лишала людей инициативы. Боязнь любого риска и подыскивание оправданий на все случаи жизни было едва ли не главным в работе этих людей. Они сделались негодным человеческим материалом, подобно людям, пережившим катастрофу, которые более не могут вести борьбу ни с какими трудностями, так как прежние испытания парализовали их мозг и их волю.

Чойо Чагас ненавидел свое окружение, но не мог найти выхода из тупика, куда завело его продолжение старой политики Мудрого Отказа.

Чойо Чагас ударил по столу ребром ладони. «А зачем вообще искать выход? Смущение принесли с собой явившиеся с далекой прародины люди. Земля бесконечно далека в пространстве и времени — по существу, недосягаема. Скоро звездолет уйдет восвояси, все будет по-прежнему. Пусть они занимаются бесплодной тратой времени и убираются поскорее! Сегодня он размечтался, подобно глупому «кжи», и уже не в первый раз! Красота, нет, что-то непостижимое в этой ведьме ломает его волю... Достаточно! Подумаешь, заложница! Стоит мне нажать кнопку вызова... нет, на морском мысу сидит дьявольский звездолет, и еще второй вытребован на подмогу. Отправить ее в город? Вряд ли это разумно. При острейшем уме и сатанинской обольстительности она вызовет брожение умов. Я прикажу Таэлю отвезти ее в Хранилище Истории. Пусть роется в горах документов, пока ее помощники проведут в городе разрешенный срок. Хранилище находится в старом храме, окруженном садом и стеной, и «глаза владыки» с Таэлем позаботятся, чтобы она не покидала назначенного места. Таэль, а если он тоже попадется под власть этой? Чепуха, он слишком жалок, чтобы вообразить себя другом Родис! Впрочем, проследим за обоими. Что-то ее уже напугало. Может быть, Таэль? Если она объявила об отказе от фильмопередач, то, значит, земляне стали понимать, кто здесь хозяин!»

Чойо Чагас протянул руку к шкафчику, нашарил тайную пружину и извлек из выскочившего ящичка шарик пахучего черного вещества. Он положил его в рот и, медленно жуя, уставился в глубину хрустального ша́ра.

В это время Фай Родис, недовольно хмурясь, рассматривала себя в зеркало. Она чувствовала присутствие соглядатаев. Это постоянное под-

сматривание стало ее раздражать. Она включила экранирование, погладив свой черный СДФ, как единственно близкое и верное существо.

«Довольно играть!» — наряд магарани убран под колпак девятиножки. Фай Родис облилась ионным душем, избавляясь от ощущения, будто она испачкалась. Она вновь надела удобное платье с коротенькой широкой юбкой и с облегчением поднялась на подмостки. Взяв кисть, несколько минут вглядывалась в фигуру женщины — и осталась крайне недовольна своей работой.

Зазвучал сигнал вызова с «Темного Пламени».

— Вы утомлены, Родис? — спросил Гриф Рифт.

— Нет. Просто недовольна собой. Все у меня не ладится. Плохо я понимаю эту жизнь и делаю ошибку за ошибкой... О нет, ничего серьезного,— успокоила она, заметив тревогу на лицах друзей.

— А у нас все отлично,— сказала Олла Дез.— Час назад мы впервые искупались в море Торманса. И представь, все испытываем странное чувство неудовлетворенности, не понимаю почему.

— А я, наконец, догадалась,— сказала Нея Холли,— здесь состав солей и их концентрация иная, чем на Земле.

— Тогда и тормансиане не получают радости от моря,— сказала Фай Родис,— ведь их кровь, как и наша. унаследовала состав воды Мирового океана Земли. Они носят в крови земное море и, наверное, тоску по нему...

Короткое свидание окончилось. Родис, не достигнув обычного внутреннего спокойствия, снова взялась за картину, набрасывая фигуру сильной, знающей женщины, символизирующей Меру. Женщина склонилась к людям с протянутой рукой, готовая рывком поднять наверх первого, кто дотянется к ней. В ее лице та же убежденность в конечной победе, что и у Таэля. Недавно, увидев новый вариант, Таэль сказал Родис, что «Мера» стала похожа на нее.

Родис проработала почти всю ночь, не подозревая, как скоро ей придется покинуть сады Цоам.

Глава X

СТРЕЛА АРИМАНА

Чеди Даан еще не привыкла к шуму тормансианской столицы. Неожиданные звуки доносились в ее крохотную комнатку на четвертом этаже дома в нижней части города Средоточия Мудрости. Построенные из дешевых звукопроводящих материалов стены и потолки гудели от топотания живших наверху людей. Слышалась резкая, негармоническая музыка. Чеди старалась определить, откуда несется этот нестройный шум, чтобы понять, зачем так шумят люди, понимающие, что при плохом устройстве своих домов они мешают соседям. Весь дом резонировал, непрерывно резали слух стуки, скрипы, свист, вибрация водопроводных труб в тонких стенах.

Чеди поняла, что дома построены кое-как и не рассчитаны на такое неимоверное число жильцов. И улица планировалась без учета резонанса и становилась усилителем шума. Все попытки расслабиться и перейти к внутреннему созерцанию не удавались. Только Чеди отключала себя

от нестройного хора звуков, как внезапно раздавались гулкие и резкие удары. Оказывалось, что хлопали двери в домах или экипажах. У общественно невоспитанных тормансиан считалось даже шиком покрепче хлопнуть дверями. Чеди прежде всего бросалось в глаза, что тормансиане совершенно не умели применяться к условиям своей тесной жизни и продолжали вести себя так, будто вчера покинули просторные степи.

Чеди подошла к окну, выходившему на улицу. Тонкие неровные стекла искажали контуры противоположного дома, сумрачной громадой закрывавшего небо. Зоркие глаза Чеди замечали дымок насыщенных окисью углерода и свинца газов, поднимавшийся из подземных туннелей, предназначенных для тяжелого городского транспорта.

Впервые не воображением, как на уроках истории, а всем телом ощутила Чеди тесноту, духоту и неудобство города, построенного лишь для того, чтобы дешевле прокормить и снабдить необходимым безымянную массу людей — абстрактное количество потребляющих пищу и воду.

Нечего было думать о сосредоточении и отдыхе, пока не научишься отключаться от непрекращающейся какофонии.

К одежде тоже надо было привыкнуть. Чеди заставила затрепетать все мышцы тела, массируя кожу, зудевшую под одеждой. На верхнее одеяние нельзя было пожаловаться. Блуза стального цвета с высоким воротником, стянутая мягким черным поясом, и широкие брюки из того же материала нравились Чеди. Но ее заставили надеть и нижнюю одежду: совершенно незнакомый для жительницы Земли лифчик и жесткую юбочку. Новые друзья уверили Чеди, что появление на улице без этих странных приспособлений может привести к скандалу.

Чеди подчинилась и сидела полуобнаженной, пока хозяйка и ее сестра хлопотали, прилаживая одежду. Пепельные волосы Чеди еще в садах Цоам превратились в смоляно-черную жесткую гриву, какую девушки планеты Ян-Ях любили носить или беспорядочно растрепанной, или заплетенной в две тугие короткие косы. Контактные линзы изменили цвет глаз. Теперь, когда Чеди подходила к зеркалу, на нее смотрело чужое и чем-то неприятное лицо. Но две ее хозяйки не уставали восхищаться ею, суля многочисленные победы над мужчинами. Как раз к этому-то Чеди стремилась менее всего. Быстрое выполнение миссии зависело от полной свободы ее как наблюдателя.

Друзья Таэля провели Чеди сюда ночью. Улица Хей-Гой, то есть Цветов Счастья, была населена «кжи». Ее приняли чета молодых тормансиан и сестра хозяйки, жившая здесь временно.

Трехсложное имя этой молодой женщины сокращалось как Цасор. Она взялась быть спутницей Чеди по городу Средоточия Мудрости. Для молодых — и особенно красивых — девушек прогулки по столице Ян-Ях в вечерние часы были опасны, не говоря уже о ночи, когда и сильные мужчины не появлялись на улице без крайней надобности. Женщины подвергались оскорблениям или нападениям преимущественно со стороны одержимых половым психозом юнцов. Красота, вместо того чтобы быть защитой, только сильнее привлекала молодых бандитов, как хищников привлекает запах крови.

Верный голубой СДФ с подогнутыми ножками улегся под кровать (здесь спали на высоких ложах из железа или пластмассы) и был укрыт приспущенным до полу покрывалом. Предосторожность, как объяснили Чеди, принятая, чтобы хозяев не заподозрили в связи с жительницей Земли. Официально Чеди числилась гостьей семьи инженера огромного завода, а контакт звездолетчицы с темными, непросвещенными «кжи» считался непозволительным. Хозяева могли поплатиться за это изгнанием

из столицы. Угроза серьезная: в других местах планеты жить было труднее. Там люди получали за свой труд меньше и потому меньше имели денег на питание, на приобретение вещей и развлечения.

Обитатели города Средоточия Мудрости да еще двух-трех громадных городов на побережье Экваториального моря служили предметом зависти других, менее счастливых жителей Ян-Ях.

Сущность этого счастья оставалась непонятной Чеди, пока она не постигла, что богатство и бедность на планете Ян-Ях измерялись суммой мелких вещей, находившихся в личном владении каждого. Во всепланетном масштабе, в экономических сводках, в сообщениях об успехах фигурировали только вещи и полностью исключались духовные ценности. Чеди позднее убедилась, что самосовершенствование не составляло главной задачи человечества Ян-Ях.

И в то же время хозяева удивляли Чеди веселой безыскусственностью и любовью к скромным украшениям своего тесного жилища. Два-три цветка в вазе из простого стекла уже приводили их в восхищение. Если им удавалось достать какую-нибудь дешевую статуэтку или чашку, то удовольствие растягивалось на много дней. В каждом жилище находился экран видеоприбора с мощным звукопередатчиком. И по вечерам, когда семейные люди, то есть жившие парами и с детьми до возраста, соответствующего началу первого цикла Земли, сидели у себя, созерцая тусклые маленькие плоские экраны, грохот звукового сопровождения сотрясал стены, потолки и полы хлипких домов. Но их обитатели относились к этому с удивительным равнодушием. Молодой сон был крепок: никакой необходимости в чтении, раздумьях или тем более медитации они не чувствовали. Очень много свободного времени уходило на праздные разговоры, толки и пересуды.

На улице Цветов Счастья находилась школа — угрюмое здание из красного кирпича посреди чахлого, вытоптанного садика. Занятия в школе шли с утра до вечера. Время от времени школьный сад и прилегающая часть улицы оглашались ревом, диким свистом и визгливым смехом — это мальчики и девочки резвились в промежутках между уроками. Еще более сильный шум поднимался в вечерние часы: крики, топот, брань и драки — будто кошмарный сон о людях, превращенных злым волшебником в обезьян.

Ученики жили в длинном здании позади школы весь период, пока их, уже взятых от родителей, готовили к распределению по профессиональным училищам и разбивке на «джи» и «кжи». Чудовищная невоспитанность детей никого не смущала. Даже у взрослых считалось чуть ли не позором оказать помощь больному или пожилому, проявить уважение к старости, уступить в чем-либо другому человеку. Не сразу поняла Чеди, что не особая испорченность тормансиан, а распространенные психологические комплексы униженности и неполноценности были тут виной. Возрастание этих комплексов в мире абсолютной власти шло сразу в двух направлениях, захватывая все большее число людей и все сильнее завладевая каждым в отдельности.

Странное общество планеты Ян-Ях, казалось, совершенно не думало о том, как облегчить жизнь каждого человека, сделать его спокойнее, добрее, счастливее. Все лучшие умы направлялись только на удешевление производства, на умножение вещей — людей заставляли гоняться за вещами и умирать от духовного голода еще раньше физической смерти.

В результате получалось множество неудобств и от непродуманного строительства, и от небрежной технологии, и неквалифицированной работы. Молодые «кжи» получали только лишь примитивные ремесленные

навыки — настоящим мастерством не обладал никто. Неудобства жизни вызывали миллионы ненужных столкновений между людьми, где каждый был по-своему прав, а виновато общественное устройство планеты, заставившее людей барахтаться в повседневных неприятностях, для устранения которых никто ничего не делал. Тормансиане не руководствовались ни моралью, ни религиозными правилами, не говоря уже о высшей сознательности. Начисто отсутствовала постоянная, строгая и разработанная во всех аспектах система воспитания людей как членов общества. Ничто не сдерживало стихийного стремления сделать назло другим, выместить свое унижение на соседе. Идиотские критические замечания, поношения, шельмование людей на производстве или в сферах искусства и науки пронизывали всю жизнь планеты, сдавливая ее отравленным поясом инферно. Очевидно, в дальнейшем при той же системе управления будет все меньше доброжелательности и терпимости, все больше злобы, насмешек и издевательств, свойственных скорее стаду павианов, чем технически развитому человеческому обществу.

Больше двух тысяч лет назад некоторые нации на Земле верили, что политические программы, будучи применены в экономике тоталитарной властью, могут изменить ход истории без предварительной подготовки психологии людей. Не умея улучшить судьбу народов, догматики очень сильно влияли на судьбы отдельных личностей. Стрела Аримана разила без промаха, потому что необоснованные перемены нарушали исстари и дорогой ценой достигнутую устойчивость общества. Необходимого усреднения социальных явлений не получалось. Наоборот, усиливалось метание из одной крайности в другую, без научного анализа и регистрации счастья и благополучия людей. Это составляло главное бедствие олигархических режимов и очень наглядно выражалось на Тормансе.

Дефекты социального устройства Торманса, ранее известные Чеди Даан, ставили ее в позицию отрешенного, хотя и благосклонного наблюдателя. Непосредственное соприкосновение с «дефектами» началось с первых дней жизни на улице Цветов Счастья, и тут ощущения Чеди стали совершенно иными.

Неожиданности пришли в первую же их прогулку с Цасор. Тормансиане шли по улице навстречу как попало, не придерживаясь определенной стороны. Те, кто посильнее, нарочно шли напролом, расталкивая встречных, заставляя тех шарахаться в сторону, и грубо огрызались на упреки. Везде, где проходы стесняли толпу — у ворот парков, дверей увеселительных дворцов, магазинов (на Тормансе, как и везде, где существовало неравенство распределения, сохранилась денежная система оплаты труда для двух низших классов общества), столовых и на транспорте, крепкие мужчины и женщины расталкивали более слабых сограждан, стараясь пройти первыми. Все это уже знала Чеди и, несмотря на тренированную волю, часто ловила себя на том, что еле сдерживает приступы возмущения. Обязательное стремление обойти, опередить, хоть на минуту, других людей могло бы показаться болезненным идиотизмом человеку, незнакомому с инфернальной психологией.

Однажды Цасор, бледная и напуганная, сказала Чеди, что ее вызвали в местный Дом Собраний на «Встречу со Змеем». Такие встречи происходили в каждом районе города два-три раза в год. Как ни пыталась Цасор объяснить смысл и назначение этих встреч, суть дела осталась для Чеди непонятной. В конце концов Чеди решила, что это древний культовый обряд, вошедший в обычай у нерелигиозных людей современной Ян-Ях. Ужас, который внушало Цасор это приглашение, или, точнее, приказание,

заставил Чеди заподозрить неладное и настоять на совместном посещении «Змея».

Большой, плохо проветренный зал быстро наполнялся народом. На сидевших в среднем ряду Цасор и Чеди никто не обратил внимания. Собравшиеся сидели в нервозном ожидании. На смуглых щеках одних проступал румянец волнения, другие, наоборот, выделялись желтой бледностью своих лиц. Некоторые в волнении прохаживались по широким проходам между рядами, опустив головы и что-то бормоча про себя, но не стихи, как сначала подумала Чеди. Тормансиане вообще очень редко читали вслух стихи, стесняясь чувств, выраженных в поэзии. Скорее всего они бормотали какие-то заученные формулы или правила.

Зал вмещал около тысячи «кжи», то есть людей не старше двадцати пяти лет, по местному счету возраста.

Четыре удара в большой гонг наполнили зал вибрирующим гулом меди. Собравшиеся замерли в напряженных позах, выпрямив спины и устремив взоры на платформу небольшой сцены, к которой сходились, суживаясь, линии стен, потолка и пола.

Из темноты коридора, простиравшегося за освещенной сценой, выкатилось кубическое возвышение, раскрашенное переплетающимися черными и желтыми полосами. На нем стоял «змееносец» в длинной черной одежде, держа в руке небольшой фонопередатчик.

— Настал день встречи! — завопил он на весь зал, и Чеди заметила, как дрожат пальцы Цасор. Она взяла похолодевшие руки девушки в свои, спокойные и теплые, сжала их, внушая тормансианке душевное спокойствие. Цасор перестала дрожать и взглядом поблагодарила Чеди.

— Сегодня владыки великого и славного народа Ян-Ях,— «змееносец» поклонился,— проверяют вас через неодолимое знание Змея. Те, кто затаится, опустив глаза,— тайные враги планеты. Те, кто не сможет повторить гимна преданности и послушания,— явные враги планеты. Те, кто осмелится противопоставить свою волю воле Змея, подлежат неукоснительному допросу у помощников Ян Гао-Юара!

Цасор вздрогнула и чуть слышно попросила Чеди подержать ее за руку, так как сейчас начнется самое страшное. Поддаваясь внезапной интуиции, Чеди погрузила Цасор в каталептическое состояние. И вовремя!

На возвышении вместо исчезнувшего «змееносца» возник полупрозрачный шар. Он сверкал узором волнистых линий, переливавшихся при вращении шара. Соответственно бегу многоцветных волн вибрировал, повышаясь в тональности, мощный звук. Шар вращал вертикальный столб радужного света и действовал на собравшихся гипнотически. Чеди пришлось напрячь всю волю, чтобы остаться беспристрастным наблюдателем. Звук оборвался, шар исчез. На возвышении с рассчитанной на эффект медлительностью поднялась, развивая громадные кольца, гигантская красная металлическая змея. В раскрытой пасти ее мерцал алый огонь, а в боковых выступах плоской головы злобно светились фиолетовые глаза. В зале потухли лампы. Змея, поворачивая голову во все стороны, пробегала лучами глаз по рядам сидящих тормансиан. Чеди встретилась взглядом с металлической гадиной и почувствовала удар — сознание ее на миг помутилось. Слабость поползла вверх, от ног, подступая к сердцу. Только сильная нервная система, закаленная специальным обучением, помогла звездолетчице отстоять свою психическую независимость. Змея склонилась ниже и раскачивалась, едва не касаясь головой переднего ряда. В такт ей раскачивались из стороны в сторону и сидевшие в зале, кроме оцепенелой Цасор и непокоренной Чеди. Заметив, что

«змееносец» стоит в углу сцены, зорко наблюдая за публикой, Чеди, теснее прижав к себе спутницу, стала покачивать ее вместе с собой.

Змея испустила протяжный вопль, и его тотчас подхватила вся тысяча тормансиан. Они затянули торжественный и заунывный гимн, восхваляя владык планеты и счастье своей жизни, освобожденной от угрозы голода. Глядя на лишенные мысли лица и разинутые рты, Чеди поразилась безмерной глупости происходящего. Подумав, она поняла, что люди в гипнотическом трансе, помимо воли, прочно закрепляют в своем подсознании смысл песни, который будет вступать в борьбу со всяким инакомыслием, как внутренним, так и привнесенным извне от других людей или через книги.

Но страшная металлическая змея была всего лишь машина. Подлинные вершители судеб «кжи» находились на заднем плане. Задумавшись, Чеди забыла о необходимости раскрывать рот вместе со всеми и притворяться поющей. Палец «змееносца» указал на нее. Позади выросла коренастая фигура «лилового» охранника, исключительную тупость которого не мог пробить даже гипноз красной змеи. Он положил руку на ее плечо, но Чеди достала карточку-«пропуск». «Лиловый» отпрянул с низким поклоном и рысцой побежал к «змееносцу». Они обменялись неслышными в реве толпы фразами. Сановник развел руками, красноречиво выражая досаду. Чеди не надо было больше играть роль. Она сидела неподвижно, оглядываясь по сторонам. Возбуждение тормансиан росло. Несколько мужчин выбежали в проход между передним рядом стульев и сценой. Там они попадали на колени, выкрикивая что-то непонятное. Моментально четверо «лиловых» отвели их налево, в дверь, скрытую за драпировками. Две женщины поползли на коленях, за ними несколько мужчин... «Змееносец» руководил «лиловыми», как искусный дирижер. По его неуловимому жесту охранники вытащили из кресел двух мужчин и женщину. Схваченные упирались, оборачивались, говорили что-то неслышимое в общем шуме. Охранники грубо, бесцеремонно волокли людей в темный коридор за сценой.

Размахи змеиного тела укоротились, движение замедлилось, и наконец змея застыла, погасила глаза, устремив вверх треугольную голову.

Люди умолкли и, будто проснувшись, оглядывались в недоумении. «Они не помнят, что произошло!» — догадалась Чеди. Они научились скрывать свои чувства на общих собраниях, постоянно устраивавшихся на местах их работы. Там, как рассказывали Чеди, от «кжи» требовали публично одобрять и восхвалять мудрость олигархии. Вековая практика научила людей не придавать никакого значения этим требованиям, выказывая внешнее подчинение. Тогда олигархи нашли иные методы вторгаться в психику и раскрывать тайные думы.

Чеди незаметно разбудила Цасор.

— Не говорите со мной и не подходите! — шепнула звездолетчица.— Они знают, кто я. Идите домой, я доберусь сама.

Цасор, еще ошеломленная, понимающе подмигнула.

Чеди медленно встала и вышла, с удовольствием после духоты вдыхая прохладный воздух. Она остановилась у тонкой, квадратного сечения колонны из дешевого искусственного камня, все еще продумывая сцену всеобщего покаяния под гипнозом. Внезапно она почувствовала на себе упорный взгляд, обернулась и оказалась лицом к лицу с атлетически сложенным «кжи» в зеленой одежде с нашитым на рукаве знаком сжатого кулака. Небольшая группа людей среди «кжи» достигала возраста в 30 лет и более. Это были так называемые «спортивные образцы» — профессиональные игроки и борцы, ничем не занятые, кроме мускульных

тренировок, развлекавшие огромные толпы на стадионах зрелищами, похожими скорее на массовые драки.

Спортивный «образец» смотрел на нее упорно и бесцеремонно, как и многие другие мужчины, встречавшиеся здесь Чеди. Еще в садах Цоам привыкла она к манере жителей Ян-Ях раздевать взглядом. На Земле в наготе, в естественном виде человека, никто не находил ничего особенного, ничего возбуждающего, во всяком случае, тем более постыдного. Конечно, каждый должен быть чистым и не принимать неэстетичных поз, чему учили с первого года жизни. У жительницы Земли взгляды мужчин Ян-Ях могли вызывать только неприятное чувство, как взгляды сумасшедших.

«Образец» спросил:

— Приехала издалека? Недавно здесь? Наверное, из хвостового полушария?

— Как вы...— Чеди спохватилась,— ты угадал?

Тормансианин довольно усмехнулся.

— Там, говорят, есть красивые девки, а ты...— он щелкнул пальцами,— ходишь одна, хоть красивее всех,— незнакомец кивнул в сторону спускавшихся по ступеням.— Меня зовут Шот Ка-Шек, сокращенно — Шотшек.

— Меня Че Ди-Зем, или Чезем,— в тон ответила ему Чеди.

— Странное имя. Впрочем, вы там, в хвостовом, какие-то другие.

— А ты был у нас?

— Нет,— к облегчению Чеди, признался тормансианин.— А ты чья-нибудь?

— Не поняла.

— Ну, принадлежишь ты мужчине или нет? — видя недоумение Чеди, Шотшек рассмеялся.— Тебя берет кто-нибудь?

— Нет, никто! — сообразила Чеди, мысленно ругая себя за тупость.

— Пойдем со мной в Окно Жизни.

Так назывались у тормансиан большие помещения для просмотра фильмов и артистических выступлений.

— Что ж, пойдем! — ответила Чеди.— А если бы у меня был мужчина?

— Я отозвал бы его в сторону, и мы бы поговорили с ним.— Шотшек пренебрежительно пожал плечами. Стало ясно, что для него подобные «переговоры» всегда кончались успешно.

Шотшек завладел рукой Чеди. Они направились к серой коробке ближайшего Окна Жизни.

Духота здесь напоминала Дом Собраний. Сиденья стояли еще теснее. В жаркой комнате сиял искрящийся громадный экран. Техника Ян-Ях позволяла создавать правдоподобные иллюзии, захватывающие зрителей красочной ложью. Чеди еще со звездолета видела много фильмов, и этот мало отличался от них. Хотя давным-давно планета Ян-Ях превратилась в единое государство, действие происходило в одну из прошлых войн. Герои действовали со всей хитростью и жестокостью древних лет. Убийства и обман шли непрерывной чередой. Красивые женщины вознаграждали героев в постелях или подвергали их беспримерным униженям. Одним из главных действующих лиц была женщина. Она по ходу действия убивала и пытала людей.

Бешеные скачки на верховых животных, гонки на грохочущих механизмах, плен, бегство, снова плен и бегство. Действие разворачивалось по испытанной психологической канве. Когда героиня оказалась в постели, чуть-чуть прикрытая одеялом (тормансианский запрет на определен-

ные части тела), с нагим, но снятым со спины героем, Чеди почувствовала, как горячие и влажные руки Шотшека схватили ее за грудь и колено. Жалея, что она не обладает закалкой и психической силой Фай Родис, Чеди сделала попытку отстраниться. Тормансианин держал крепко. Не желая отвечать насилием, Чеди резко выставила клином локоть, высвободилась, встала и пошла к выходу под раздраженные крики тех, кому она загораживала зрелище. Шотшек догнал ее на дорожке, ведущей к большой улице.

— Зачем ты меня обидела? Что я сделал плохого?

Чеди посмотрела спокойно, даже печально, соображая, как выйти из создавшегося положения, не открывая своего инкогнито.

— У нас так не поступают,— тихо сказала она,— если в первый же час знакомства так обниматься, что же делать во второй?

Шотшек недобро захохотал.

— Будто ты не знаешь? Сколько тебе лет?

— Двадцать,— солгала Чеди.

— Тем более! Я думал — семнадцать... пойдем!

— Куда?

— Ко мне. У меня комната с окном на канал. Я куплю вина и дината, и нам будет хорошо.— И Шотшек снова крепко обнял Чеди.

Она молча вырвалась и поспешила выйти из аллеи на улицу. Прохожие не смутили преследователя. Он догнал Чеди и, рванув за руку, заставил повернуться к себе лицом.

— Зачем ты пошла со мной? — зло спросил он.

— Я не думала, что так получится, простите!

— При чем тут «простите»? Пойдем, будет хорошо. Или я не понравился? Пойдем, не пожалеешь!

Чеди шагнула в сторону, и тогда Шотшек ударил ее по лицу ладонью. Удар не был особенно болезненным или оглушающим. Чеди получала куда более сильные на тренировках. Но впервые земную девушку ЭВР ударили со специальным намерением унизить, нанести оскорбление. Скорее удивленная, чем возмущенная, Чеди оглянулась на многочисленных людей, спешивших мимо. Безразлично или опасливо смотрели они, как сильный мужчина бьет девушку. Никто не вмешался, даже когда Чеди получила удар покрепче.

«Достаточно!» — решила звездолетчица и исчезла. Психологическая игра в исчезновение известна каждому ребенку Земли и состоит в умении отвлечь внимание соперника, сосредоточить его на чем-нибудь постороннем, бесшумно зайти ему за спину и не выходить из сектора невидимости. Это можно проделать лишь на открытом месте, предугадывая все повороты «противника».

Шотшек озирался дико и недоуменно, пока Чеди не появилась в поле его зрения.

— Попалась! Не уйдешь! — завопил тормансианин, занося кулак.

Чеди молниеносно пригнулась и нанесла парализующие удары в два нервных узла. Шотшек рухнул к ее ногам. Он извивался, силясь подняться на непослушных ногах, и смотрел на Чеди с безмерным удивлением. Та подтащила его к стене, чтобы он мог опереться на нее спиной, пока не пройдет онемение. Компания юношей и девушек остановилась около них. Бесцеремонно показывая пальцами на поверженного Шотшека, они похохатывали и отпускали нелестные замечания. Чеди впервые столкнулась с манерой людей Ян-Ях грубо высмеивать все непонятное, издеваться над бедой своих же сограждан. Чеди стало стыдно. Она быстро пошла вниз по улице. В ушах продолжал звучать наглый смех, а в гла-

зах все еще стояли полные изумления глаза Шотшека. Странное, новое чувство завладело ею. Похожее на грусть, оно стеснило ей сердце. Но грусть приносила с собой ощущение отрешенности, а сейчас Чеди будто запуталась в сетях неопределенной вины. Она еще не понимала, что к ней пришла жалость — древнее чувство, теперь так мало знакомое людям Земли. Сострадание, сочувствие, желание помочь владели человеком Эры Встретившихся Рук. Но жалость, которая родится из бессилия отвратить беду, оказалась внове для Чеди Даан и заставила ее тревожно осмысливать свое поведение. Недовольная собой, она старалась найти ошибку, не подозревая, что оба ее товарища — Эвиза и Вир — так же мучительно спотыкались на первых шагах жизни в столице.

Чеди спешила домой, чтобы в отсутствие Цасор не наделать еще каких-либо глупостей. Встречая изумленные взгляды прохожих, она не подозревала, насколько отличается от обитателей Ян-Ях своей осанкой — высоко поднятой головой и гордо выступающей грудью. Мужчины оглушительно свистели вслед, выражая свое восхищение. Женщины оборачивались с негодованием и называли ее бесстыдницей. Чеди не догадывалась, что это всего лишь попытка возвыситься, опорочивая красивую конкурентку. Обычную на Тормансе недоброжелательность всех ко всем Чеди ощущала физически весомой тяжестью. Она с облегчением вздохнула, оказавшись за порогом крошечной квартирки. Ей стали близкими чувства людей древности, скрывавшихся в своем жилище от внешней жизни. Сейчас ей понравился удививший ее сначала беспорядок в квартире, манера тормансиан раскидывать свои вещи, создавая хаос из одежды, измятых брошюр (здесь читали печатные издания), оберток от пищи, косметических принадлежностей.

Цасор обрадовалась возвращению гостьи, вспомнив вдруг, что оставила ее без денег. Тут же она заставила Чеди взять несколько потертых пластмассовых квадратиков с иероглифами и кодовыми знаками. Снова Чеди удивилась небрежной щедрости «кжи», совершенно не оберегавших ни своего, ни чужого достояния. Они не пытались копить деньги, как то было принято в древние времена на Земле. Чеди лишь после поняла, что в короткой жизни «кжи», полностью зависящей от произвола правителей, которые могли в любой момент лишить их всего, вплоть до жизни, не было будущего. Не имело смысла копить деньги, беречь вещи... Даже дети не радовали людей без будущего. Все время шла глухая борьба между женщинами, не желавшими рожать, и государством, запрещавшим противозачаточные средства и аборты. Чтобы поднять падавшую рождаемость, недавно владыки удостоили матерей некоторыми привилегиями. Дело в том, что создалась угроза уменьшения численности людей, настолько ощутимая, что владык это стало беспокоить: покорные толпы — опора олигархии.

Послушно приняв деньги, Чеди рассказала Цасор о своих приключениях. Тормансианка очень испугалась.

— Это опасно! Оскорбить мужчину! Ты еще не знаешь, какие они мстительные! Я знаю, он завидует, мужчины очень завистливы... как и женщины,— подумав, прибавила Цасор. Чеди не поняла сразу, чему должен завидовать Шотшек, и лишь много времени спустя сообразила, что та же зависть к богатству, на этот раз не материальному, а духовному, вызывала эту ненависть, тем более сильную, что этот род богатства был совершенно недостижим для людей типа Шотшека.

— Но оскорбил-то он меня,— возразила она Цасор.

— Это не имеет значения. Мужчинам неважно, что чувствуем мы,

женщины. Только бы их гордость была удовлетворена. И мы всегда виноваты... Интересно, как на Земле?

Чеди принялась рассказывать о действительном равенстве женщин и мужчин в коммунистическом обществе Земли. О любви, отделенной и независимой от всех других дел, о материнстве, полном гордости и счастья, когда каждая мать рожает ребенка не для себя и не как неизбежную расплату за минуты страсти, а драгоценным подарком кладет его на протянутые руки всего общества. Очень давно в ЭРМ, при зарождении коммунистического общества, сторонники капитализма издевались над этикой свободы брака и общности воспитания детей, не подозревая, насколько важно оно для будущего, и не понимая, на каком высоком уровне надо решать подобные вопросы.

Цасор слушала как завороженная, и Чеди любовалась ею. Тормансианка в повседневной одежде походила на мальчишку. Широкий пояс, поддерживавший брюки из грубой ткани, косо лежал на узких бедрах, а под него была заправлена голубая рубашка с глубоким разрезом расстегнутого ворота и закатанными рукавами. Жесткие волосы до плеч разделялись небрежным пробором, падая на тревожные, со страдальческим изгибом бровей глаза. Раскрытые губы крупного рта говорили о предельном внимании. Цасор прислонилась к притолоке двери, изогнув тонкий стан и скрестив руки.

Поддаваясь внезапному чувству (она не стала бороться с ним или стараться понять его), Чеди обняла Цасор, материнski нежно гладя ее волосы и щеки. Тормансианка вздрогнула, прижавшись к Чеди, и та сказала ей несколько ласковых слов на земном языке. Девушка спрятала горячий лоб на груди Чеди, как у матери, хотя разница в их возрасте была совсем не велика.

Они стояли, обнявшись, пока не кончились летучие сумерки планеты Ян-Ях. В комнатке сразу наступила тьма — освещение улицы было слишком скудно. Цасор отпрянула от Чеди, зажгла свет и застеснялась. Скрывая смущение, Цасор принялась напевать, и Чеди поразилась музыкальной прозрачности и печали ее песен, вовсе не похожих на те, которые она слышала на улицах или в местах развлечений, с их грубыми ритмами, резкими диссонансами и крикливой манерой исполнения. Цасор пояснила, что сановники порицают меланхолические песни молодежи, безосновательно полагая, что они снижают и без того низкий тонус жизни. А старинные напевы, любимые старшим поколением «джи», содержат излишние воспоминания о прошлом и тоже вызывают грусть. Поэтому одобрение властей получают во всепланетных передачах только бодрые, восхвалительные и, конечно, бездарные песенки. Теперь Чеди стало понятно, отчего тормансиане поют так мало. Ей самой все время хотелось петь, но на улице она опасалась привлечь внимание толпы, а дома — соседей. Чеди вспомнила, как люди Ян-Ях стесняются проявления нежности, любви и уважения, в то же время давая полную волю ругани, осмеянию и даже дракам. Она решила, что Цасор необходимо повидать других землян. В этот вечер Чеди ожидала свидания с Родис по СДФ.

Они пробрались в комнату Чеди, не зажигая света, тщательно задрапировали окно и лишь тогда выкатили из-под кровати серебристо-голубой СДФ. От поворота диска на браслете девятиножка зажгла сигнал и, загудев, поднялась на лапки. Она слегка испугала Цасор, принявшую ее за живое существо.

Когда луч-носитель был направлен по известным координатам, Фай Родис там не оказалось. Взволнованная, Чеди не сразу заметила немые сигналы, бежавшие по стене, на которую фокусировался СДФ. Наконец

она заметила кружки, следовавшие цепочкой, и поняла, что Родис покинула сады Цоам, оставив там крошечный индикатор, включавшийся от луча СДФ.

Встревоженная, она попробовала вызвать Эвизу или Вир Норина. Прошел час, пока на экране, наконец, появилась Эвиза, одетая по-вечернему, в очень открытом, облегающем платье. Ткань аметистового цвета оттеняла ее топазовые, широко расставленные глаза и пунцовые губы.

Эвиза Танет успокоила Чеди: Фай Родис покинула сады Цоам и живет теперь в старом Храме Времени, расположенном в возвышенной части города и превращенном в хранилище древних книг. Эвиза жила у Центрального госпиталя и могла свободно соединяться с Родис. Чеди договорилась втретиться с Эвизой через четыре дня, после того как Эвиза побывает на межгородской конференции врачей.

— Приходите с утра, Чеди,— сказала Эвиза,— мы пообедаем в столовой госпиталя. Кстати, где вы питаетесь?

— Где застанет время в моих скитаниях по городу, в первой попавшейся столовой.

— Надо выбрать постоянную столовую, ту, где лучше кормят.

— Везде одинаково плохо. «Кжи» не любят свою работу в столовой. Цасор говорит, что они, как это... крадут. Берут себе самое лучшее.

— Зачем?

— Чтобы съесть самим, унести семье, обменять на квадратики... деньги. Оттого невкусна еда!

— Мне думается, ваша подруга не права. Здесь, на Тормансе, люди настолько напуганы Веком Голода, что стараются произвести как можно больше еды из каждого продукта, добавляя туда несъедобные вещества. Они портят таким образом натуральное молоко, масло, хлеб и даже воду. Естественно, что такая пища не может быть вкусной, а нередко она просто вредна. Отсюда громадное количество болезней печени и кишечника.

— Вот почему вода здесь такая невкусная. И разливают ее без пользы. Разве не лучше расходовать ее бережливо, но делать вкуснее? — сказала Чеди.

— Здесь на каждом шагу встречаются вещи, противоречащие здравому смыслу. Вечером они включают вовсю телеэкраны, музыка грохочет; надрываясь, что-то говорят специальные восхвалители; показывают фильмы, хронику событий, убийственные спортивные зрелища, а люди занимаются своими делами, разговаривают совсем о другом, стараясь перекричать передатчики.

Эвиза вопросительно посмотрела на Чеди, но та не нашла объяснения.

Разве можно было понять действия, происходящие вследствие чудовищного эгоизма: грубость в общении, небрежность в работе и речи, стремление отравить и без того горькую жизнь ближнего? Водители неуклюжих транспортных машин считали, например, доблестью проноситься по улицам в ночное время с шумом и грохотом. И тут принцип бесчеловечного удешевления превращал эти машины в смрадных чудовищ, извергающих дымную отраву и терзающих слух.

— Не печальтесь, Чеди! — сказала Эвиза с экрана СДФ.— Мы платим не так уж много, говоря словами тормансиан, чтобы своими глазами увидеть такое невероятное общество. Родис говорит, что она именно так и представляла себе ЭРМ на Земле.

— Тогда что же тут невероятного? Только печально, если подумать о напрасных испытаниях и жертвах наших общих предков, уже прошедших через все это...

— Крепись, Чеди! Нам предстоит еще немало испытаний. Каждый

день здесь обязательно случается что-нибудь неприятное, и я не хотела бы долго прожить на Тормансе,— призналась Эвиза.

Чеди услышала за стеной голоса возвращавшихся хозяев и попрощалась с Эвизой. СДФ сам забрался под кровать. Опустив одеяло, Чеди встретилась взглядом с Цасор. Тормансианка стояла, сложив руки, щеки ее пылали, а в глазах стояли слезы.

— Могучая Змея, как прекрасна Эвиза! — сказала она.— Даже сердце замирает, как у маленькой, когда слушала сказку.

— Что же в ней особенного? — улыбнулась Чеди.

— Все! Ты тоже хороша, но она!.. Только почему она такая жесткая, почему мало в ней любви и сострадания?

— Цасор! Как ты могла найти столько пороков у Эвизы? На Земле нет таких людей.

— Нет уж! Хотя,— девушка призадумалась,— сначала и ты мне показалась такой же. Может, и она другая? Но красива до невозможности! — и Цасор, смахнув непрошеные слезы, выскользнула из комнатки.

Чеди осталась стоять в задумчивости, вспоминая трогательную беззащитность детей и женщин Торманса. Взволнованную двухлетнюю крошку, заламывающую свои ручонки в смущении и ожидании, девушку, всю трепетавшую от первой грубости в ее любви, женщину, мечущуюся, чтобы угодить недоброму возлюбленному.

Везде слезы, трепет, страх и снова слезы — таков удел женщины Торманса, кроткой и терпеливой труженицы, борющейся в домашней жизни с комплексом униженности. Мужчина был владыкой и тираном. Острая жалость ранила Чеди, но диалектическое мышление напомнило ей, что кротость и терпение воспитывают грубость и невежество. В примитивных обществах и в Темные Века Земли мужчины опасались женщин с развитым интеллектом, их умения использовать оружие своего пола. Первобытный страх заставлял мужчин придумывать для них особые ограничения. Чтобы оградить себя от «ведьминых свойств, женщину держали на низком уровне умственного развития, изнуряли тяжелой работой. Кроме этого, у всех тормансиан был общий страх, присущий людям урбанистического общества,— страх остаться без работы, то есть без пищи, воды и крова,— ибо люди не знали, как добыть все это иначе, если не из рук государства.

Жестокость государственного олигархического капитализма неизбежно делает чувства людей, их ощущение мира мелкими, поверхностными, скоропреходящими. Создается почва для направленного зла — Стрелы Аримана, как процесса, присущего именно этой структуре общества. Там, где люди сказали себе: «Ничего нельзя сделать»,— знайте, что Стрела поразит все лучшее в их жизни.

Впервые Чеди упрекнула себя за самонадеянность, с которой взялась изучать социологию такой планеты. Ей не хватало непоколебимой уверенности Эвизы и глубины Фай Родис.

А Эвиза Танет в эту минуту обдумывала свое выступление на конференции. Как не обидно, не вызывая чувства унижения, рассказать врачам Торманса о гигантской силе земной медицины рядом с поразительной бедностью их науки?

Она уже видела врачей — подвижников и героев, работавших, не щадя сил, день и ночь, боровшихся с нищетой госпиталей, с невежеством и грубостью низшего персонала, ненавидевшего и проклинавшего свою работу, плохо оплачиваемую, грязную, непочетную. Больные в подавляющем большинстве были «джи», а низший персонал — «кжи». Эти разные классовые группы относились друг к другу с ненавистью, и по-

ложение больных становилось трагическим. Обычно близкие прилагали все усилия, чтобы помочь больным преодолеть болезни дома. С хирургией это было невозможно — душные, переполненные палаты послеоперационных больных с их специфическим запахом долго снились Эвизе, перебивая ее грезы и воспоминания о Земле.

Эвизу приютили инженеры из класса «джи», люди, стоявшие повыше на иерархической лестнице. Потому и комната и кровать у нее были немного просторней, чем у Чеди. Каждая ступень в иерархии Торманса выражалась в каком-либо мелком преимуществе — в размерах квартиры, в лучшем питании. Эвиза с удивлением наблюдала, с каким ожесточением люди боролись за эти ничтожные привилегии. Особенно старались пробиться в высший слой сановников, стать «змееносцами», где привилегии возрастали до максимума. В ход пускались и обман, и клевета, и доносы. Подкупы, рабское усердие и звериная ненависть к конкурентам — Стрела Аримана неистовствовала, отбрасывая с дороги порядочных и честных людей, умножая негодяев среди «змееносцев»...

В день конференции Эвиза, бодрая и цветущая, входила в служебное помещение Центрального госпиталя. Прошла через камеру облучения и дезинфекционный коридор в маленький холл и остановилась там посмотреть на себя в зеркало. Из соседней курительной комнаты через приоткрытую дверь доносились громкие голоса. Говорившие не стеснялись. Эвиза поняла, что разговор идет о ней. Собравшиеся на ритуал курения молодые врачи наперебой высказывали восхищение гостьей в такой форме, что Эвиза не знала, смеяться ей или негодовать.

— Меня в дрожь бросает, когда она проходит,— слышался высокий тенор,— желтые глазищи сияют, груди рвут платье, ноги, ах, какие ноги!..

Эвиза внезапно вошла в курительную комнату. Трое молодых врачей, дымивших трубками, приветствовали ее. Эвиза оглядела их смеющимися глазами, и те поняли, что она слышала если не все, то многое.

Они смущенно потянулись следом за Эвизой, спешно загасив трубки, а та придала своей походке характер эротического танца, чтобы «наказать» молодежь за грубую эротику разговора. Взволнованное дыхание позади свидетельствовало об успехе ее озорства.

Величественный главный врач госпиталя, во всегдашней одежде медиков Ян-Ях — ярко-желтом халате с черным поясом и желтой же мягкой шапочке, в очках, увидев Эвизу, растянул в улыбке тонкие, неприятные губы хитреца и брюзги. Зоркие, прищуренные глаза быстро обежали ее наряд, казавшийся ярким из-за полного соответствия с фигурой, настроением и гордым лицом хозяйки.

— Пойдемте в мою машину! — И, не дожидаясь согласия, главный врач повлек гостью к боковому выходу, где его ожидал длинный и узкий транспортный механизм.

Конференция должна была происходить в загородном дворце, машина добиралась туда по крутой дороге, обгоняя множество пешеходов. В одном месте Эвиза обратила внимание на старую «джи» с тяжелой коробкой на плечах и невольно сделала жест, чтобы машина остановилась. Но шофер даже не затормозил. На удивленный взгляд Эвизы главврач только нахмурился. Они подъехали к зданию с обветшавшими архитектурными украшениями из громадных каменных цветов. Высокая стена кое-где обвалилась, а трехъярусная надвратная башенка была разобрана. Но сад, окружавший здание, казался густым и свежим, без печати увядания, лежавшей на засыхавших парках и садах внутри города.

— Вы удивились, я заметил, что мы не подвезли старуху? — косясь на идущую рядом Эвизу, начал главный врач.

— Вы проницательны.

— У нас нельзя быть слишком добрым,— как бы оправдываясь, сказал тормансианин.— Во-первых, можно получить инфекцию, во-вторых, надо беречь машину, в-третьих...

Эвиза остановила его жестом.

— Можно не объяснять. Вы думаете прежде всего о себе, бережете машину, это примитивное изделие из железа и пластмассы, больше, чем человека. Все это естественно для общества, в котором жизнь меньшинства держится на смерти большинства. Только зачем вы посвятили себя медицине? Есть ли смысл лечить людей при легкой смерти и быстром обороте поколений?

— Вы ошибаетесь! «Джи» — самая ценная часть населения. Наш долг исцелять их всеми способами, отвоевывая от смерти. Идеально, конечно, было бы, если бы мы могли сохранить один лишь мозг, отделив его от обветшалого тела.

— Наши предки ошибались точно так же, считая мозг и психику чем-то отдельным от тела, якобы не связанным со всей природой в целом. Находились люди, утверждавшие, что весь мир лишь производное человеческих представлений о нем. Здесь корни многих биологических ошибок. Мозг и психика не создаются сами по себе. Их структура и работа — производные общества, времени, суммы знаний в период становления индивида. Только путем непрерывного впитывания новых впечатлений, знаний, ощущений мозг у эмоциональных и памятливых людей преодолевает закономерную консервативность — и то лишь до известных пределов. Великий ученый через тридцать лет после вершины своей деятельности станет консерватором, безнадежно отставшим от эпохи. И сам не поймет этого, потому что его мозг настроен созвучно миру, оставшемуся позади, ушедшему в прошлое.

— Но можно моделировать новые условия, наращивать их...

— Пока моделируете, еще шире разойдутся кондиция мозга и условия среды. Ноосфера, то есть психическое окружение человека, изменяется несравненно быстрее биологической трансформации.

— Мы не теоретизировали, а боролись со смертью, на опыте постигая новые возможности продления жизни.

— И прибавили в колоссальный список преступлений природы и человека еще миллионы мучеников! Вдобавок многие открытия принесли людям больше вреда, чем пользы, научив политических бандитов — фашистов — ломать человека психически, превращать в покорного скота. Если подсчитать всех замученных на опытах животных, истерзанных вашими операциями больных, то придется строго осудить ваш эмпиризм. В истории нашей медицины и биологии также были позорные периоды небрежения жизнью. Каждый школьник мог резать живую лягушку, а полуграмотный студент — собаку или кошку. Здесь очень важна мера. Если перейти грань, то врач станет мясником или отравителем, ученый — убийцей. Если не дойти до нужной грани, тогда из врачей получаются прожектеры или неграмотные чинуши. Но всех опаснее фанатики, готовые располосовать человека, не говоря уже о животных, чтобы осуществить небывалую операцию, заменить незаменимое, не понимая, что человек не механизм, собранный из стандартных запасных частей, что сердце не только насос, а мозг не весь человек. Этот подход наделал в свое время немало вреда у нас, и я вижу его процветающим на вашей планете. Вы экспериментируете над животными наугад, забыв, что только самая крайняя необходимость может как-то оправдать мучения высших форм животных, наделенных страданием не меньше человека. Столь же беззa-

щитны и ваши «исцеляемые» в больницах. Я видела исследовательские лаборатории трех столичных институтов. Сумма страдания, заключенная в них, не может оправдать ничтожные достижения...

Главный врач дернул Эвизу за руку, столкнув ее с дорожки. Они очутились за разросшимся кустарником.

— Нагнитесь, скорее! — шепнул тормансианин так требовательно, что Эвиза повиновалась.

От ворот бежало несколько людей, гнавших впереди себя тучного человека с серым лицом и выпученными глазами. Силы оставляли бегущего. Он остановился шатаясь. Один из преследователей ударил его коленом в лицо, согнув толстяка пополам. Второй сбил жертву с ног. Преследователи принялись топтать поверженного ногами.

Эвиза вырвалась из рук главного врача и побежала к месту расправы, крича:

— Остановитесь, перестаньте!

Безмерное удивление пробежало по озверелым лицам. Кулаки разжались, тени улыбок мелькнули на искривленных губах. В наступившем молчании слышны были только всхлипывания жертвы.

— Как вы можете, шестеро молодых, бить одного — толстого и старого? Или вам непонятен позор, стыд такого дела!

Крепкий человек в голубой рубашке наклонился вперед и ткнул пальцем в Эвизу.

— Великая Змея! Как я не сообразил! Ты ведь с Земли?

— Да! — ответила Эвиза, опускаясь на колено, чтобы осмотреть раненого.

— Оставь эту падаль! Дрянь живуча! Мы его только слегка проучили.

— За что?

— За то, что он бумагомаратель. Эти проклятые писатели-холуи выдумывают небылицы о нашей жизни, перевирают историю, доказывая величие и мудрость тех, кто им разрешает жить подольше и хорошо платит. За одну фразу в их писанине, понравившейся владыкам, приходится расплачиваться всем нам. Таких мало бить, их надо убивать!

— Подождите! — воскликнула Эвиза.— Может, он не так уж виноват. Вы здесь не заботитесь о точности сказанного или написанного. Писатели тоже не думают о последствиях какой-нибудь хлесткой, эффектной фразы; ученые — о том темном, что повлечет за собой их открытие. Они торопятся скорее оповестить мир, напоминая кричащих наперебой петухов.

Предводитель расплылся в улыбке, открытой и симпатичной.

— А ты умница, земная! Только не права: эти знают, что врут. Они хуже девчонок, которых берут в садах за деньги. Те продают только себя, а эти всех нас! Я их ненавижу,— он пнул свою жертву, отползавшую на четвереньках.

— Перестаньте, несчастные! — Эвиза загородила собой писателя.

— Змея-Молния! Ты ничего не соображаешь,— прищурился главарь,— это они несчастные, а не мы. Мы уходим из жизни полные сил, не зная болезней, не зная страха, не заботясь ни о чем. Что может нас испугать, если скоро все равно смерть? А «джи» вечно дрожат, боясь смерти и долгой жизни с неотвратимыми болезнями. Боятся не угодить «змееносцам», боятся вымолвить слово против власти, чтобы их не перевели в «кжи» и не отправили в Храм Нежной Смерти. Опасаются потерять свои ничтожные преимущества в пище, жилье, одежде.

— Так их надо жалеть.

— Как бы не так! Знаешь ли ты, чем зарабатывается право на длительную жизнь? Придумывают, как заставить людей подчиняться, как сделать еду из всякой дряни, как заставить женщин рожать больше детей для Четырех. Ищут законы, оправдывающие беззакония «змееносцев», хвалят, лгут, добиваясь повышения.

— Так они хотят идти на более трудную работу?

— Э, нет! Чем выше у нас стоит человек, тем меньше работает. Вот и лезут, чтобы достигнуть чина «змееносца», и для этого готовы предать весь мир.

— А вы не предаете, даже встречаясь со Змеем? И не боитесь Янгара?

Предводитель «кжи» вздрогнул и оглянулся.

— Ты знаешь больше, чем я думал... Ну, прощай, земная, больше не увидимся!

— А я могу вас попросить исполнить нечто важное? Именно вас.— Эвиза посмотрела на вожака.

Он вспыхнул, как мальчик.

— Смотря что?

— Пойти в старый Храм Времени, где памятник, отыскать там нашу владычицу. Ее зовут Фай Родис. Поговорите с ней так же прямо и умно, как говорили со мной. Только сначала найдите инженера Таэля. Хоть он и «джи», но человек, каких на вашей планете еще немного.

— Ладно,— главарь протянул руку.

— И скажите, что вас прислала Эвиза Танет.

— Эвиза Танет... какое имя!

Шестеро исчезли в саду. От ворот к Эвизе направлялась шумная группа врачей Центрального госпиталя, приехавших на большой общественной машине.

Из-за кустов вышел главный врач, подозвал помощников, и они молча потащили пострадавшего к машине.

— Кто это? — спросила Эвиза одного из коллег по госпиталю.

— Знаменитый писатель. Как они его отделали! — говоривший расцвел довольной улыбкой, будто он полностью был на стороне «кжи».

Недоумевая, Эвиза пошла вместе с врачами к узкому порталу входа.

Внутри здание повторяло обычный стиль Торманса. Тяжелые двери вели в просторный вестибюль. Широкая лестница поднималась в обрамленный двухрядной колоннадой зал. В вестибюле толпилось множество людей. Их взоры мгновенно обратились на Эвизу. Гостью отвели наверх и усадили в боковой галерее на потертый диван. Все приехавшие продолжали оставаться внизу, выстроившись живым коридором.

— Они ждут кого-нибудь? — спросила Эвиза проходившего мимо пожилого человека в желтом медицинском халате.

— Разумеется,— строго ответил тот,— должны прибыть представители Высшего Собрания.

— Почему «прибыть», а не просто приехать?

Собеседник испуганно посмотрел на Эвизу, оглянулся и исчез между колонн.

Ожидание длилось более получаса, пока выяснилось, что сановники не приедут. Стоявшую внизу толпу как будто прорвало. Со смехом и громким говором, характерным для тормансиан, все устремились по лестнице в зал. Главный врач отыскал Эвизу и повел ее на возвышение, где расселись наиболее знаменитые медики столицы и почетные гости из других мест планеты. Эвиза отказалась, уверяя, что ничем не заслужила высокого места, и ей, рядовому и молодому врачу Звездного Флота, это неприлично.

Она уселась у колонны на краю зала, чувствуя на себе внимание всей аудитории и озабоченная предстоящим выступлением.

Ораторы не торопясь сменяли друг друга. Говорили подолгу, о вещах более чем очевидных, заранее обусловливая направление начатых докладов. У тормансиан такое выступление почему-то называлось кратким вступительным словом. По всему чувствовалось, что эти потоки банальностей никого не интересовали. Эвиза видела это по скучающим лицам, по шуму в зале, который едва покрывался грохотом звукоусилителей, передающих речь ораторов.

Наконец распорядитель заседания объявил о желании врача с Земли выступить перед врачами Торманса.

Эвиза пошла поперек зала к трибуне, приветствуемая криками, хлопаньем по ручкам кресел и свистом восхищенной молодежи. Как ни диковат казался ей подобный рев и шум, он выражал добрые чувства. Поклонившись, Эвиза поблагодарила тормансиан. Когда она заговорила с непередаваемо мягким земным акцентом, который не смогли огрубить усилители, в зале наступила небывалая тишина. Тормансиане не сводили глаз с Эвизы, осматривая ее от пристальных и веселых топазовых глаз до сильных ног в странной синей сверкающей огоньками обуви, они старались понять, чем так похожа и не похожа в одно и то же время эта женщина на женщин Ян-Ях.

— Ваши старшие хотели, чтобы я, познакомившись с медициной Ян-Ях, разобрала ошибки врачей и рассказала о достижениях Земли. Но мои познания в науке Ян-Ях ничтожны, и, главное, у меня нет основного критерия, необходимого, чтобы судить о любой науке, нет представления о ее доле в создании человеческого счастья. Поэтому выступать советчиком и критиком было бы с моей стороны нескромно и неуважительно. Все, что я могу,— это рассказать вам о препятствиях, преодоленных на Земле... Преподавание любого предмета, особенно больших разделов науки, у нас начинается с рассмотрения исторического развития и всех ошибок, сделанных на пути. Так человечество, борясь со свойственным людям стремлением забывать неприятное, ограждает себя от неверных дорог и повторения прошлых неудач, которых было много в докоммунистической истории. Уже в ЭРМ определилась огромная разница между силами и материальными средствами, какие человечество тратило на медицину и на науку военного и технического значения.

Лучшие умы были заняты в физике, химии, математике. Шаг за шагом биология и медицина расходились с физико-математическими науками в своем представлении о мире, хотя внешне широко пользовались их методами и аппаратами исследования.

В результате окружающая человека природа и он сам, как часть ее, предстали перед человечеством как нечто враждебное, долженствующее быть подчиненным временным целям общества.

Ученые забыли, что великое равновесие природы и конструкция организма есть результат исторического пути невообразимой длительности и сложности, в соподчинении и взаимосвязи интегральных частей. Изучение этой сложности хотя бы в общих чертах требовало многовековой работы, а земное человечество принялось неосмотрительно и торопливо приспосабливать природу к переходящим утилитарным целям, не считаясь с необходимыми людям биологическими условиями жизни. И человек — наследник мучительного миллиардолетнего пути, пройденного планетой,— как неблагодарный и неразумный сын, принялся растрачивать, переводить в энтропию основной капитал, ему доставшийся: накопленную в

биосфере энергию, которая, как взведенная когда-то пружина, послужила для технического прыжка человечества...

Эвиза остановилась, и тотчас же зал загрохотал стуком ладоней по дереву. Затронутая тема была близка планете Ян-Ях, дотла разоренной неразумием предков.

Эвиза, не привыкшая к подобной реакции собрания, стояла, беспомощно оглядывая шумящую аудиторию, пока председатель не утихомирил восторженных слушателей.

Эвиза вовсе не собиралась накалять страсти несдержанной аудитории, что вело к утрате разумного и критического восприятия. Она решила быть осмотрительнее.

Она рассказала, как близоруко ошибались те, кто торжествовал, побеждая отдельные проявления болезней с помощью средств химии, ежегодно создававшей тысячи новых, по существу обманных лекарств. Отбивая мелкие вылазки природы, ученые проглядели массовые последствия. Подавляя болезни, но не исцеляя заболевших, они породили чудовищное количество аллергий и распространили самую страшную их разновидность — раковые заболевания. Аллергии возникали и из-за так называемого иммунного перенапряжения, которому люди подвергались в тесноте жилищ, школ, магазинов и зрелищ, а также вследствие постоянного переноса быстрым авиатранспортом новых штаммов микробов и вирусов из одного конца планеты в другой. В этих условиях бактериальные фильтры, выработанные организмом в биологической эволюции, становились своей противоположностью, воротами инфекции, как,например, миндалины горла, синусы лица или лимфатические узлы. Утрата меры в использовании лекарств и хирургии повредила охранительные устройства организма, подобно тому как безмерное употребление власти сокрушило охранительные устройства общества — закон и мораль.

Существо врачевания, основанное на старых представлениях, отстало от жизни. Когда в процессе развития общества погибли религия, вера в загробную жизнь, в силу молитвы и в чудо, миросозерцание отсталого капиталистического строя зашло в безнадежный тупик неверия, пустоты и бесцельности существования. Это породило повальные неврозы пожилого поколения. Нагнетение угрозы тотальной войны как прием политической агитации, постоянное напоминание об этом в газетах, радио, телевидении способствовало психозам молодой части населения — противоречивым стремлениям скорее испытать все радости жизни и уйти от ее реальности. Насыщенность развлечениями, накал искусственных переживаний создали своеобразный «перегрев» психики. Люди все упорнее мечтали уйти в другую жизнь, к простым радостям бытия предков, к их наивной вере в ритуалы и тайны. А врачи пытались лечить по старым канонам прежних темпов, другой напряженности бытия.

Машины, благоустройство жилищ, техника быта существенно изменили нормальную физическую нагрузку людей. Медицина продолжала пользоваться опытом, накопленным в совершенно иных условиях жизни. Общее ослабление организма, мышечной, связочной и скелетной систем вело, несмотря на отсутствие тяжелой работы, к массовому развитию грыж, плоскостопия, близорукости, учащению переломов, расширению вен, геморрою, разрастанию полипов и слабости сфинктеров с ухудшением пищеварения и частыми явлениями аппендицита. Множество дефектов кожи было обязано плохому обмену веществ.

Врачи, озадаченные наплывом заболеваний, оперировали без конца, кляня скучную рутину «простых случаев» и не подозревая, что встретились с первой волной бедствия. А когда вслед за общим ослаблением лю-

дей все чаще стали встречаться болезни испорченной наследственности, лишь немногие передовые умы смогли распознать в этом Стрелу Арима-на. Величайшее благодеяние — уничтожение детской смертности — обернулось бедствием, наградив множеством психически неполноценных, полных кретинов или физически дефективных от рождения людей. Тревожной неожиданностью стало учащение рождений двоен, троен, в общем снижающих уровень здоровья и психики. Борьба с новой бедой оказалась исключительно трудной. Ее можно было преодолеть лишь при высочайшей моральной ответственности всех людей и проникновении науки в самую глубь молекулярных генетических аппаратов.

Эвиза перечислила еще несколько коварных ловушек, выставленных природой на прогрессивном пути человечества. Путь этот заключался в возвращении к первоначальному здоровью, но без прежней зависимости от безжалостной природы. Суть дела заключалась в том, чтобы уйти от ее гекатомб, через которые она осуществляет улучшение и совершенствование видов животных, беспощадно мстя за неуклюжие попытки человека избавиться от ее власти.

— И это нам удалось! — воскликнула Эвиза.— Мы все здоровы, крепки, выносливы от рождения. Но мы поняли, что наше чудесное человеческое тело заслуживает лучшего, чем сидение в креслах и нажатие кнопок. Наши руки — самые лучшие из инструментов, созданных природой или человеком,— просят искусной работы, чтобы получить истинное удовлетворение. Мало этого, мы боремся за жизнь своего ума совершенно так, как и за жизнь тела. Вы можете узнать про все те усилия, какие потребовались нам в неравной борьбе. Неравной потому, что глубина и всеобъемлющая мощь природы до сих пор не исчерпаны и до сих пор неустанно человечество ведет сражение за свое умственное и физическое здоровье и готово к любому выпаду природных стихийных сил!

Окончание речи Эвизы вызвало новую волну одобрительного шума. Строгая, даже вдохновенная, серьезность спала с нее, и она превратилась в жизнерадостную, с оттенком кокетства женщину, которая склонилась перед залом в свободном поклоне танцовщицы. Метаморфоза усилила рев восторга среди медицинской молодежи. Тормансианам вообще нравилась веселая серьезность землян, никогда не шутивших с большими чувствами, никого не осмеивавших, не пытавшихся позабавиться за счет другого...

Эвиза вернулась на прежнее место и снова наблюдала за докладчиками. Они говорили дельные вещи на уровне науки Торманса, сообщали новые открытия, но интересные идеи тонули в массе ненужных фраз. Мысль, как загнанная зверюшка, металась между словесными нагромождениями изречений, отступлений, реминисценций, схоластики доказательств.

Ученые Торманса очень много занимались отрицанием, словесно уничтожая то, чего якобы не может быть и нельзя изучать. Об известных явлениях природы твердили как о несуществующих, не понимая сложности мира. Это негативное направление науки пользовалось наибольшим успехом у массы людей Ян-Ях потому, что поднимало их ничтожный опыт и узкий здравый смысл до «последнего слова» науки.

Прошло немало времени, а Эвиза, за исключением психологических наблюдений, не извлекла почти ничего стоящего внимания. Привычку говорить во что бы то ни стало она объяснила желанием утвердить перед другими свою личность. Кроме того, извергая потоки слов, человек получал психологическую разрядку, необходимую в этом мире постоянного угнетения и раздражения. Вылавливать мысли в пространных речах

становилось все более утомительно. Объявленный перерыв обрадовал Эвизу. Она встала, намереваясь найти уединенное место, чтобы походить, отдыхая, но куда там! — она оказалась окруженной шумной толпой возбужденных тормансиан и тормансианок всех возрастов, от юных практикантов до седовласых начальников госпиталей и профессоров медицинских институтов.

Эвиза нашла взглядом своего главврача. Он подошел, бесцеремонно расталкивая людей.

— Отвести вас в столовую подкрепиться? Расступитесь, коллеги «джи», наша гостья голодна и устала!

Эвизе не хотелось есть, особенно в незнакомой столовой. Она теряла аппетит от необъяснимой неприязни женщин, раздававших пищу. В жизни Торманса любая зависимость от человека оказывалась унизительной. Тот, кого просили, издевался и куражился, прежде чем исполнить свою прямую обязанность. Отвращение или в лучшем случае полная незаинтересованность в работе отличали «кжи». «Джи» дрожали перед ними, дожидаясь самой обычной услуги. На заводах и фабриках, где командовали лиловые «змееносцы», положение было иным. Малейшее сопротивление каралось без задержки, чаще всего отправкой во Дворец Нежной Смерти. Зато вне зорких глаз сановников и охранников «кжи» измывались над «джи» вовсю. И те безропотно терпели, зная, что в любой момент по решению Совета Четырех «кжи» могут сделаться их палачами. На Тормансе особенно боялись машин. Массовое применение механизмов в руках невоспитанных и озлобленных людей создавало повышенную опасность. Транспортные катастрофы стали повседневным явлением на Ян-Ях, обычными считались и дикие расправы с долгожителями.

Рассуждая, Эвиза шла рядом с главврачом по аллее к низкому дому, где помещались столовая и гостиница.

— Вы удивляетесь, почему я скрылся за кустами, а не побежал на помощь писателю? — вдруг спросил главврач, ища взгляда своей спутницы.

— Нет,— равнодушно ответила Эвиза. Ей была безразлична персональная мотивация поступка, неизбежно проистекавшего из общественной жизни Торманса.

— Я мог повредить руки и причинить вред множеству людей, лишив их возможности прооперироваться.

Неожиданно из-за деревьев выскочило множество людей и с криком устремилось к ним. Главврач посерел, лицо его исказилось от страха. Эвиза, оставшаяся спокойной, узнала молодых врачей, участников конференции. Они налетели вихрем, оттерли главврача и плотным кольцом окружили гостью с Земли. Эвиза вспомнила, как в один из первых дней в столице ее поразила толпа, окружавшая красивую, нелепо одетую женщину. Это была знаменитая артистка, объяснили потом Эвизе. Она рассыпала направо и налево заученные улыбки. Несколько мужчин в красной одежде грубо отталкивали столь же бесцеремонно напиравший народ. Стоило прийти в общественное место популярному человеку, как сотни молодых людей бросались к нему, прося что-нибудь на память.

Теперь сама звездолетчица оказалась в кольце любопытных, к счастью, лишь врачей. Перед ней стояла смеющаяся, довольно миловидная тормансианка: смуглая кожа, черные волосы и блестящие узкие глаза ярко оттенялись облегавшим ее фигуру желтым одеянием.

— Не посетуйте, мы решили задержать вас. Заметили, что вам хочется уйти. Вряд ли мы еще раз встретимся с вами! У нас есть вопросы чрезвычайной важности, и вы не откажете нам...

— Не откажу,— так же весело ответила Эвиза,— если смогу. Мои знания очень ограничены. Что вас интересует?

— Секс! Расскажите, как у вас на Земле справляются с этой причиной множества бед, могучим кнутом в руках власти, призраком высочайшего и лживого счастья. Расскажите или хотя бы ответьте на вопросы, которые мы не смогли задать вам в зале конференции!

Эвиза заметила лужайку, огражденную меридиональной аллеей высоких и густых деревьев и защищенную от зноя. Ее предложение перейти туда приняли с восторгом. Низкая и жесткая трава запестрела одеждами рассевшихся в тени людей, а Эвиза устроилась перед ними на бугорке, поджав под себя ноги, посмеиваясь над собой, что она опять стала проповедницей. Сейчас перед ней была другая цель, чем на конференции. Здесь можно говорить без опасения травмировать формулировками, которые всегда кажутся резкими при разнице в интеллектуальном восприятии. Эвиза посмотрела на темное небо Торманса, перевела взгляд на фиолетовые полосы теней и почувствовала, как ее подхватила музыкальная логика мысли.

Она постаралась поэтичнее передать тормансианам стихотворение древнего русского поэта.

«Голодом и страстью всемогущей все больны — летящий и бегущий, плавающий в черной глубине...» И певучую концовку: «И отсталых подгоняет вновь плетью боли голод и любовь!»

— Человек и на Земле, и у вас на Ян-Ях боролся, чтобы устранить из жизни эти причиняющие боль две силы. Сначала плеть голода — и получил массовое ожирение. Затем плеть любви, добившись пустоты и индифферентности сексуальной жизни. Человечество Ян-Ях то отвергает силу и значение секса, то превозносит это влечение, придавая ему доминантный вес в жизни. От метаний из одной крайности в другую не получается половое воспитание.

— А разве оно есть у вас? — последовал вопрос.

— Есть, и считается очень важным. Надо научиться быть хозяином своего тела, не подавляя желаний и не подчиняясь им до распущенности.

— Разве можно регулировать любовь и страсть?

— Неверное понятие. Когда вы катаетесь на гребне волны, то требуется искусство балансировки, чтобы не соскользнуть. Но если надо остановиться, то вы покидаете волну, отставая от нее...

Видя недоумение слушателей, Эвиза сообразила, что в морях Торманса нет таких больших приливных волн и слушателям неизвестно катание на латах.

— Я говорила на собрании о двоякой зависимости. Богатство психики — от сильного и здорового тела, которое от многогранной психики насыщено отвагой, стремлениями, неутомимостью и чувственностью. Биохимия человека такова, что требует постоянной алертности мозга на одну пятую часть его мощности, а это поддерживается лишь уровнем кетостеронов — гормонов пола в крови. За это человек расплачивается, выражаясь вашими словами, постоянной эротической остротой чувства. Если тормозить это чувство слишком долго, то возникают нервные надломы и психосдвиги, то внезапное и порабощающее влечение к случайным партнерам, что в старину у нас звалось несчастной любовью.

— Следовательно, надо разряжаться и делать это импульсно, вспышками,— сказала тормансианка, начавшая беседу.

— Совершенно верно.

— А как же любовь? Ведь импульс не может длиться долго?

— Древняя ошибка! Человек поднялся до настоящей любви, но здесь

у вас продолжают считать по-пещерному, что любовь только страсть, а страсть только половое соединение. Надо ли говорить вам, насколько истинная влюбленность богаче, ярче, продолжительнее? То великое соответствие всем стремлениям, вкусам, мечтам, что можно назвать любовью, и у нас на Земле не находится легко и просто. Для нас любовь — священное слово, означающее чувство очень объемлющее и многогранное. Но и в самом узком своем смысле чисто физическая, половая любовь никогда не имеет одностороннего оттенка. Это больше, чем наслаждение, это служение любимому человеку и вместе с ним красоте и обществу, иногда даже подчиняясь требованиям генетических законов вопреки своим личным вкусам, если они расходятся с ними, при желании иметь детей. А коварную силу неразряженных гормонов мы научились выпускать на волю, создавая внутреннее спокойствие и гармонию...

— Неужели на Земле не научились регулировать эту силу химически, лекарством? — задал вопрос знакомый Эвизе нейрохирург.

— Лучше не вмешиваться в сложнейшуюсвязь гормонов, держащих психофизиологическую основу индивида, а идти естественным путем эротического воспитания.

— И вы обучаете эротике девушек и юношей? Неслыханно! — воскликнул нейрохирург.

— На Земле это началось несколько тысяч лет назад. Храмовая эротика древней Греции, Финикии, Индии, возведенная в религиозное служение. Девадази — храмовые танцовщицы изучали и практиковали эрос такой интенсивности, чтобы полностью исчерпать сексуальные стремления и перевести человека на иные помыслы. Таковы и тантрические обряды для женщин.

— Значит, на Земле всегда существовал культ страсти и женщины? — спросила немолодая слушательница.— У нас сразу же начнется разговор о разнузданности и разврате...

— Вовсе нет! В первобытных обществах, сложившихся задолго до коммунистических эр, женщины низводились до роли рабочего скота. Существовали якобы «священные» обряды специальных операций, как, например, клиторотомия, чтобы лишить женщину сексуального наслаждения.

— Зачем? — испуганно воскликнули тормансиане.

— Чтобы женщина ничего не требовала, а покорно исполняла свои обязанности прислуги и деторождающего механизма.

— Каковы же были у них дети?

— Темные и жестокие дикари, разве могло бы быть иначе?

— И вы справились с этим?

— Вы видите нас здесь, потомков всех рас Земли...

— Великая Змея! Сколько преград на пути к настоящей доброте в любви! — вслух подумала юная тормансианка, сидевшая, скрестив ноги, в первом ряду.

— Все достижимо при умном и серьезном подходе к вопросам пола. Нет ничего унизительнее и противнее для мужчины, чем женщина, требующая от него невозможного. Женщине оскорбительна необходимость самоограничения, обязанность «спасать любовь», как говорилось встарь. Оба пола должны одинаково серьезно относиться к сексуальной стороне жизни...

Раздалось пренебрежительное хмыканье. Высокий врач с какой-то блестящей брошью на груди встал и прошелся перед рядами слушателей, нагловато глядя на Эвизу.

— Ожидал других откровений от посланницы Земли. Эти стары, как Белые Звезды. Что вы практикуете — начальное,так сказать, знакомство каждой пары?

— Конечно! Чтобы стать парой надолго влюбленных.

— А если не выйдет надолго?

— Оба получат разрядку, будучи обучены Эросу.

— Абсолютно невозможно у нас! Или земляне не имеют главного чувства любви — ревности. Сказать всему миру: это моя женщина!

— Такой ревности нет. Это остаток первобытного полового отбора — соперничества за самку, за самца — все равно. Позднее, при установлении патриархата, ревность расцветала на основе инстинкта собственности, временно угасла в эротически упорядоченной жизни античного времени и вновь возродилась при феодализме, но из боязни сравнения, при комплексах неполноценности или униженности. Кстати, ужасная нетерпимость вашей олигархии — явление того же порядка. Чтобы не смели ставить кого-то выше, считать лучше! А наши сильные, спокойные женщины и мужчины не ревнивы, принимая даже временное непонимание. Но знают, что высшее счастье человека всегда на краю его сил!

Оппонент поглядел на Эвизу по-мужски оценивающе.

— Вероятно, это возможно лишь потому, что вы, земляне, так холодны, что ваша удивительно прекрасная внешность скорее отталкивает, чем привлекает.

Часть мужчин одобрительно захлопала.

Эвиза звонко рассмеялась.

— На пути сюда я слышала часть разговора между здесь присутствующими, которые оценивали мои достоинства в иных совсем выражениях. И сейчас я чувствую внимание, адресованное моим ногам.— Эвиза погладила свои круглые колени, обнажившиеся из-под короткого платья.— Ни на минуту я не переставала ощущать направленное ко мне желание. Следовательно, холодность не мешает привлекательности и мой оппонент не прав.

Женщины-врачи наградили Эвизу хлопками одобрения.

— Мы действительно холодны, пока не отпустили себя на волю в эротике, и тогда...

Эвиза медленно встала и выпрямилась, вся напрягшись, будто в минуту опасности. И тормансиане увидели метаморфозу звездолетчицы. Ее губы приоткрылись, будто для песни или несказанных слов, «тигровые» глаза стали почти черными. И без того вызывающе высокая грудь молодой женщины поднялась еще выше, стройная шея как-то выделилась на нешироких прямых плечах немыслимой чистоты и гладкости, краска волнения проступила сквозь загар на обнаженной коже. Спокойно рассуждавшей и приветливой ученой больше не было. Стала женщина, самая сущность ее пола, в вызывающей красоте и силе, зовущая, грозная, чуть-чуть презрительная...

Превращение показалось столь разительным, что ее слушатели попятились.

— Змея, истинная змея! — послышалось перешептывание ошеломленных тормансианок.

Воспользовавшись замешательством, Эвиза ушла с поляны, и никто не посмел остановить ее.

Чеди медленно шла по улице, негромко напевая и стараясь сдержать рвавшуюся из души песню. Ей хотелось выйти на большую площадь, ей давно уже недоставало простора. Тесные клетушки-комнатки, в которых

теперь она постоянно бывала, невыносимо сдавливали ее. «Временами не справясь с тоскою и не в силах смотреть и дышать», Чеди отправлялась бродить, минуя маленькие скверы и убогие площади, стремясь выбраться в парк. Теперь она чаще ходила одна. Были случаи, когда ее задерживали «лиловые» или люди со знаком «глаза» на груди. Карточка неизменно выручала ее. Цасор обратила ее внимание на строчку знаков, подчеркнутую синей линией, обозначавшую «оказывать особое внимание». Как объяснила Цасор, это было категорическое приказание всем тормансианам, где бы они ни работали — в столовой, магазине, салоне причесок или в общественном транспорте,— услужить Чеди как можно скорее и лучше. Пока Чеди ходила с Цасор, она не пользовалась карточкой и убедилась на опыте, как трудно рядовому жителю столицы добиться не только особого, а обыкновенного доброго отношения. Но едва появлялась на свет карточка, как грубые люди сгибались в униженных поклонах, стараясь в то же время поскорее спровадить опасную посетительницу. Эти превращения, вызванные страхом, настолько отталкивали Чеди, что она пользовалась карточкой только для обороны от «лиловых».

Уже несколько дней Чеди не удавалось связаться по СДФ ни с Эвизой, ни с Виром. Она не виделась и с Родис. Вир Норин жил среди ученых. Чеди решила не появляться там без крайней необходимости. Она рассчитывала на скорое возвращение Эвизы и недоумевала, что могло задержать ее больше чем на сутки. Чеди отправилась к подруге пешком, не смущаясь значительным расстоянием и нелепой планировкой города.

Километр за километром шла она, не глядя на однообразные дома, стараясь найти скульптуры и памятники, на любой планете отражавшие мечты народа, память прошлого, стремление к прекрасному. На Земле очень любили скульптуры и всегда ставили их на открытых и уединенных местах. Там человек находил опору своей мечте еще в те времена, когда суета ненужных дел и теснота жизни мешали людям подниматься над повседневностью. Величайшее могущество фантазии! В голоде, холоде, терроре она создавала образы прекрасных людей, будь то скульптура, рисунки, книги, музыка, песни, вбирала в себя широту и грусть степи или моря. Все вместе они преодолевали инферно, строя первую ступень подъема. За ней последовала вторая ступень — совершенствование самого человека, и третья — преображение жизни общества. Так создались три первые великие ступени восхождения, и всем им основой послужила фантазия.

А в городе Средоточия Мудрости на площадях и парках стояли обелиски или изображения змей с поучительными надписями. Изредка попадались идолоподобные статуи великих начальников различных периодов истории Ян-Ях, несмотря на различие в одеждах, как близнецы похожих друг на друга по угрожающим непреклонно-волевым лицам и позам. Совсем отсутствовали скульптуры, посвященные просто красоте человека, идеи, высотам достижений. Кое-где торчали нагромождения ржавого железа, искореженного будто в корчах больной психики своих создателей,— это были остатки скульптур эпохи, предшествовавшей Веку Голода, сохраненные на потеху современным обитателям Ян-Ях.

Проходя мимо общественных зданий, Чеди не видела витражей или фресок: видимо, могущество фантазии изобразительного искусства мешало владыкам, споря с ними во власти над душами людей. Разумеется, управлять темной и плоской психикой, знающей лишь примитивнейшие потребности и не видящей путей ни к чему иному, было проще...

Чеди повернула в узкий переулок между одинаковыми красными домами, украшенными старинными рисунками из черной керамики. Ка-

залось, огромные капли смолы текли по широкой глади стен. Здесь находились квартиры «джи», приют Эвизы в столице. Чеди набрала известный код, открывающий дверь, и в маленькой передней громко спросила разрешения войти.

Глава дома, пожилой бактериолог, постоянно отсутствовал, находясь в Патрулях Здоровья. Послышался голос хозяйки, приглашавшей Чеди в соседнюю комнату. В кресле, с книжкой в руках, сидела женщина средних лет с заплаканным лицом. Оказалось, что Эвиза не являлась домой уже четвертый день. Женщина спросила с тревогой:

— Как вы думаете, ваша земная подруга еще придет сюда? Ведь здесь остались ее вещи!

— Конечно, придет. Но что с вами случилось?

— Беда! Как мне нужна ваша подруга. Только она может облегчить мою беду.

— Какую, может, я смогу помочь сейчас?

— Я...— женщина всхлипнула. Слезы покатились по щекам.

Чеди положила руку ей на голову.

— Не могу,— женщина подняла книгу,— совсем не могу читать. Не вижу. Как же быть? Я немного зарабатывала выписками. А теперь? Что мне делать теперь? Как жить?

— Прежде всего успокойтесь. У вас муж и дети, вы им очень нужны.

— Страшно стать беспомощной. Вы не понимаете. Книги были моей единственной отрадой. Мне, никому не нужной, бесполезной, книги дают все! — и снова хлынули слезы.— Не вижу! А наши врачи не знают, как помочь.

Слезы беспомощности и безнадежности больно отозвались в душе Чеди. Она не умела бороться с жалостью, этим новым, все сильнее овладевавшим ею чувством. Надо попросить Эвизу помочь женщине каким-нибудь могущественным лекарством. В море страданий на Тормансе страдания женщины были лишь каплей. Помогать капле безразлично и бесполезно для моря. Так учили Чеди на Земле, требуя всегда определять причины бедствий и действовать, уничтожая их корни. Здесь же все оказалось наоборот. Причины были ослепительно ясными, но искоренить их в бездне инферно Торманса не могли ни Чеди, ни весь экипаж «Темного Пламени». Чеди уселась рядом с плачущей женщиной, успокоила ее и только тогда пошла домой.

Стемнело. На скудно освещенных улицах столицы мелькали редкие прохожие, то появляясь в свете фонарей, то пропадая во тьме. От низкой луны с ее слабым серым светом падали чуть видимые призрачные тени. Пожалуй, Чеди была единственной женщиной на опустелых улицах этого района. Она не боялась, как и всякий Человек Земли. В старину основой бесстрашия чаще всего являлись тупая нервная система и самоуверенность, исходившая от невежества. Коммунистическое общество породило иную, высшую ступень бесстрашия: самоконтроль при полном знании и чрезвычайной осторожности в действиях.

Чеди не торопилась возвратиться в свою каморку и вспоминала серебряные лунные ночи Земли, когда люди как бы растворяются в ночной природе, уединяясь для мечтаний, любви или встречаясь с друзьями для совместных прогулок. Здесь с наступлением темноты все мчались домой, под защиту стен, испуганно оглядываясь. Беспомощность тормансиан перед Стрелой Аримана зашла далеко и поистине стала трагедией.

Чеди шла около часа, пока не достигла хорошо освещенной, центральной части города Средоточия Мудрости. Вечерние развлечения привлекали сюда множество людей, преимущественно «кжи», приходивших для

безопасности компаниями по нескольку человек. «Джи» избегали появляться в местах, посещаемых «кжи».

Чеди тоже старалась избегать компаний «кжи», чтобы не прибегать к утомительному психологическому воздействию и тем более не пользоваться охранной карточкой владыки. И на этот раз, увидев идущую навстречу группу мужчин, горланивших ритмическую песню под аккомпанемент звукопередатчика, Чеди перешла на другую сторону улицы и остановилась под каменными воротами. Туда-сюда сновали мимо люди, слышались восклицания и раскатистый хохот, столь свойственный обитателям Ян-Ях. Подошли двое юношей и попробовали заговорить с ней. Яркий красно-лиловый свет заливал широкую лестницу, падая косым каскадом с фронтона здания Дворца Вечерних Удовольствий, окруженного двойным рядом квадратных синих с золотом колонн. Внезапно юнцы исчезли, их словно ветер сдунул, дорогу загородили три «кжи» — «образцы». Они подошли, всматриваясь в Чеди и о чем-то говоря друг другу. Вдруг чья-то грубая рука схватила Чеди сзади, заставив обернуться. Острое чувство опасности подсказало ей уклониться в сторону. Страшный удар, нанесенный чем-то тяжелым, металлическим, задел ее голову, содрал кожу на затылке, разорвал мышцу и раздробил правый плечевой сустав с ключицей и частью лопатки. Падая, Чеди инстинктивно повернулась на левую сторону. Тяжелый шок сжал ей горло и сердце, затемнил глаза, гася сознание. Толчок от падения пронзил ее тысячей раскаленных ножей в плече, руке и шее. Усилием воли Чеди подняла голову и дернулась, стараясь встать на колени. Перед ней точно издалека появилось знакомое лицо. Шотшек смотрел на нее с испугом, злобой и торжеством.

— Вы? — с безмерным удивлением прошептала Чеди.— За что?

При всей своей тупости тормансианин не прочитал на прекрасном лице своей жертвы ни страха, ни гнева. Только удивление и жалость, да, именно обращенную к нему жалость! Необычайная психологическая сила девушки что-то пробудила в его темной душе.

— Что стал? Бей еще! — крикнул один из его приятелей.

— Прочь! — Шотшек вне себя замахнулся на него.

Все бросились наутек. Еще раньше разбежались невольные свидетели расправы, и освещенная лестница опустела.

Чеди медленно склонилась набок и распростерлась на камнях у ног Шотшека. В беспомощной сломленности девушки Земли уходило в небытие столько чистой и бесконечно далекой красоты, что Шотшек вдруг почувствовал невыносимую скорбь и раскаяние, словно его разорвали надвое. «Кжи» не умели справляться со столь необычными переживаниями. Шотшек смог преодолеть их только одним путем. Заскрежетав зубами, он выхватил длинную трехгранную иглу, с размаху вонзил ее себе в грудь, достав до сердца, и грохнулся, откатившись на несколько шагов от Чеди. Чеди не видела ничего — ни самоубийства Шотшека, ни того, как двое «лиловых», прибежав, повернули ее лицом, обыскали и, обнаружив карточку, в ужасе вызвали человека с «глазом».

— В Центральный госпиталь, немедленно! — распорядился тот.

Глава XI

МАСКИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Фай Родис не смогла увидеть владыку до своего неожиданного переезда в Хранилище Истории. Он уклонился от прощальной аудиенции. Высокий, худой «змееносец», служивший посредником между председателем Совета Четырех и Родис, объявил, что Великий предельно занят государственными делами. Совпадение занятости с приключениями прошлой недели позабавило бы Родис, если бы не тревога за друзей, находящихся в городе. Перед отъездом из дворца Цоам она все же успела установить микродатчик координат.

Новое жилище Фай Родис, несмотря на мрачность архитектуры и запустение, показалось ей уютнее, чем дворец садов Цоам. Оно не оправдывало пышного названия Хранилища Истории, будучи всего-навсего старым храмом, некогда построенным в честь Всемогущего Времени. Не божества, а скорее символа, которому встарь поклонялись нерелигиозные тормансиане. Храм Времени составляли шесть длинных зданий из крупного синего кирпича. Они стояли параллельно, примыкая к открытой галерее, проходившей на высоте двух метров над землей и обрамленной низкой балюстрадой из переплетенных змей. Фронтоны каждого из шести зданий поддерживались витыми колоннами из грубого чугуна. Запущенный сад с низкими колючими деревьями и кустарником разросся между храмом и высокой красной стеной, по гребню которой время от времени прогуливались «лиловые» охранники со своими раструбами на груди. Сухая земля, нагретая за день, ночью излучала пахнущее пылью тепло.

Внутри зданий не было ничего, кроме связок книг. В центре каждого зала стояли высокие плиты из серого и красного зернистого камня, испещренного замысловатым узором старинных надписей. Перед плитами располагались каменные лотки для сбора приношений.

Боковые приделы на верхних этажах были заставлены шкафами и стеллажами, набитыми книгами. В свободных простенках громоздились штабеля полуистлевших рукописей, газет, репродукций или эстампов. Картина, уже достаточно знакомая Родис: на планете Ян-Ях не было специально построенных хранилищ, довольствовались кое-как приспособленными пустовавшими старинными зданиями. Не было здесь и настоящих музеев с широко развернутой экспозицией, специально созданными оптическими диорамами, особым освещением и защитой от пыли и температурных изменений.

На верхних этажах сохранились многочисленные комнаты и комнатки неизвестного назначения, узкие коридоры, шаткие балконы и антресоли.

Когда «змееносец» повел Родис выбирать жилье, Таэль, неизменно сопровождавший земную «владычицу», успел шепнуть ей, чтобы она настояла на пятом от ворот здании. «Змееносец», ожидая, что Родис захочет поселиться поближе к воротам, обрадовался, но из трусливой осторожности спросил, почему ей понравился именно пятый храм.

— Здание лучше сохранилось,— не задумываясь, ответила Родис,— и, кроме того, на площадке лестницы там замечательная змея.

— В самом деле, в самом деле! — согласился «змееносец».

Фай Родис не кривила душой. Скульптура змеи в пятом храме действительно отличалась от двух типов изваяний, принятых на всей пла-

нете. Обычно изображали змею, поднимающуюся из широких колец, в угрожающей позе земной кобры. Или стоящую на кончике хвоста, развернутую вверх пружиной, с устремленной к небу пастью. Оба типа змеи выражали злобу и боевую готовность.

В пятом храме безвестный скульптор изобразил огромного чугунного змея в позе отчаяния: несимметричные, словно изломанные в судорогах извивы колец, мучительно отогнутая назад верхняя часть туловища, узкая пасть, раскрытая в немом крике. Змея, подобно людям, чувствовала свой плен и пыталась вырваться из него. Ваятель, без сомнения, предвосхищал концепцию инферно.

Родис отвели жилье из двух наскоро убранных, пропахших пылью и старой бумагой маленьких комнат в мезонине пятого здания. Внесли заранее привезенную мебель. Родис хотела выбрать две сравнительно уютные квадратные комнаты, соединенные с балконом, выходившим на обращенную к горам сторону храма. И снова Таэль, улучив минуту, посоветовал ей устроиться в двух асимметричных по очертаниям каморках, близких к торцу круто изогнутой крыши. «Змееносец» приказал «лиловым» расставить мебель (а весь скарб Родис состоял, как известно, из одного СДФ с сумкой запасных батарей), откланялся, объявив, что будет время от времени навещать владычицу землян для проверки удобств ее жилья и обслуживания.

— Великий и мудрый,— «змееносец» привычно согнулся,— повелел мне передать, чтобы ввиду крайней опасности вы не покидали бы Хранилище Истории. Здесь стража, способная отразить нападение. На улицах города всегда есть опасность, а владыка,— снова поклон,— убежден, что вы откажетесь от личной охраны.

— Откажусь!

— Великий Чойо Чагас все предвидел! А теперь я ухожу. Для помощи вам по-прежнему остается инженер Хонтээло Толло Фраэль.

«Змееносец» небрежно кивнул в сторону инженера и вышел. Под тяжелыми шагами проскрипел деревянный пол коридора и лестница. Тишина наступила в старом храме.

Стоявший молча, с отсутствующим видом Таэль ожил. Жестом призвав Родис к молчанию, он выхватил табличку для записей, начертил несколько знаков и протянул Родис. Та прочла: «Может ли СДФ служить детектором электронных устройств и химических ядов?» — утвердительно кивнула и оживила девятиножку. СДФ выставил мерцающий зеленоватый фонарик, луч которого обежал комнаты, но не изменил цвета. Зато черный шарик с лимбом для отсчетов сразу повел усиками, засекая два направления в первой комнате и четыре во второй. Следуя их указаниям, Таэль обнаружил в мебели, в шкафу и в нише окна шесть коробочек из темного дерева. Повинуясь указаниям инженера, Родис пронзила каждую разрушительным ультразвуком. Операция заняла всего несколько минут. Таэль вздохнул с облегчением и попросил Родис установить защитное поле.

— Теперь можно говорить свободно,— сказал он, занимая место на диване.

— Зачем такие предосторожности,— улыбнулась Родис,— пусть бы слушали и записывали.

— Ни в коем случае! — торжествуя, воскликнул инженер.— Сейчас вы все поймете! Чагас, выбрав уединенное место, сделал первую большую ошибку. В очень старых храмах есть лабиринты секретных помещений, забытые с течением времени и неизвестные владыкам, потому что дальновидные исследователи, историки и архитекторы сумели сохранить тай-

ну для нас, «джи». В двух подобных строениях — Зеркальной Башне, в хвостовом полушарии, и Куполе Белых Сот, в столице, сейчас размножают приборы ДПА и ИКП. А этот Храм Времени исследован недавно. Моему другу, архитектору по восстановлению старых зданий, удалось, и то случайно, найти древние планы. Вы здесь совершенно свободны. В любой момент под носом «лиловых» вы можете покинуть Хранилище Истории или встретиться здесь с кем захотите.

— Второе гораздо важнее,— обрадованно сказала Родис,— это гарантия безопасности для приходящих ко мне людей. Выход в город мне сейчас не нужен. Слежка за мной непременно навлечет на кого-нибудь беду. А вообще я могу всегда, когда захочу, пройти через стражу «лиловых».

— Неужели? — изумленно и благоговейно вскричал Таэль.— Как это возможно?

— Увидите,— обещала Родис,— но как нам посмотреть планы?

— Завтра я приведу архитектора, а сейчас покажу подземный ход. И мне пора уходить, чтобы не навлечь подозрения слишком долгим пребыванием у вас без свидетелей... Так вот,— инженер вошел в заднюю комнату, выбранную спальней, опустился на колени около толстой стены и, взяв ногу Родис, поставил ее носок против незаметной ямки у пола. Легко ударив по пятке, он заставил Родис нажать на скрытую защелку. Мощные пружины утянули в сторону узкую и толстую плиту. Из вертикальной щели пахло затхлым воздухом подземелья. Инженер вошел в черную тьму, поманив за собой Родис. Там он зажег фонарик и показал на ржавый рычаг, поворотом которого проход закрывался.

— Сюда можно только войти, а возвращаться надо другим путем. В те времена не существовало автоматики, да она и не уцелела бы на протяжении многих веков,— сказал Таэль.

Они спустились по узкой каменной лестнице в толще стены, повернули дважды и стали подниматься. На последней ступеньке из стены торчала серповидная рукоятка. Родис нажала ее и невольно прищурила глаза от света, очутившись в своей спальне, только с другой стороны.

Таэль подпрыгнул, ухватился за конец карниза над окном и плавно опустился на нем, задвинув стену.

— Если кто-нибудь случайно повернет рукоятку, стена все равно останется закрытой.— Тормансианин сиял, как мальчик, обнаруживший сокровища.

— Завтра мы будем ждать вас за стеной в это же время. Если окажется какая-либо помеха, дайте сигнал инфразвуком СДФ. Пищу для вас будут привозить из дворца Цоам. Не ешьте ничего, мы сами будем кормить вас. Зная ваш простой вкус, не сомневаюсь, что вы найдете нашу пищу съедобной. Но сегодня придется попоститься.

Фай Родис только улыбнулась.

— А теперь я должен проститься с вами,— сказал Таэль, взяв руку Родис и намереваясь поднести ее к губам. После «дара смерти» она разрешила инженеру эту нежность и сама иногда целовала его в лоб. Но сегодня она слегка отвела руку и сказала:

— Я пойду с вами.

— Как? Зачем? А «лиловые»?

Фай Родис улыбнулась. Она спустилась к статуе змеи и вышла на открытую галерею под редкозвездное ночное небо.

«Лиловые», топтавшиеся у входа в пятый храм, свысока приветствовали знакомого им Таэля и не заметили Родис.

У главных ворот собралось несколько «лиловых» с командиром во главе. Соблюдая формальности, он потребовал карточку Таэля, не замечая идущей с ним рядом земной женщины.

Наконец Родис и Таэль выцли на площадь к памятнику Всемогущему Времени. Родис видела его мельком из машины и теперь решила рассмотреть. Четыре высоких фонаря бросали мертвенный ртутный свет на памятник.

— А как вы войдете обратно? — забеспокоился Таэль.

— Как вышла.

— Массовый гипноз! — догадался инженер.— У нас его применяют для общественного покаяния. Биологи разработали специальный аппарат в виде змеи. Сочетание музыки, ритмического движения и светового гипноза.

— У нас есть много людей с врожденными к тому способностями. Усиливая их особой тренировкой, люди становятся врачами, а я вот не стала врачом. Но бесполезный для историка дар неожиданно пригодился...

Вдали послышались чьи-то шаги. Инженер исчез за постаментом, а Родис принялась медленно обходить кругом древний памятник, пытаясь понять чувства народа Ян-Ях, жившего тысячелетие тому назад. Четыре воедино слитые мужские фигуры гигантского размера. «Всемогущему Времени»,— прочитала Родис огромные золотые знаки на круглом пьедестале. Лицом к открытому пространству, откуда сходились поднимавшиеся из города тесные улицы, стоял, расставив ноги, каменный гигант с бесстрастным, ничего не выражавшим лицом. Обеими руками он держал широкий щит с надписью, из-за верхнего края которого перегибалась змея тормансианской породы со сжатой с боков головой. В раскрытой пасти торчали огромные ядовитые зубы. «Кто потревожит могилу Времени, будет укушен разбуженным змеем», — гласила надпись на щите. С правой стороны, скрывая улыбкой злое потаенное знание, Время, в его втором обличье, пропускало под простертой рукой череду безликих людей, выходивших из-под пьедестала. На другой стороне тот же гигант, жестоко растянув широкий рот и раздув ноздри приплюснутого носа, обрушивал на обогнувших сектор пьедестала толстую дубину, усаженную гвоздями. Люди корчились, защищая лица и головы, падали на колени извиваясь, раскрывая чернеющие рты в застывших криках страдания. Там, где оружие уже не могло достать, шествие низвергалось в провал, закрытый едва заметной решеткой.

Четвертая сторона памятника, повернутая к храму, окаймлялась дорожкой из стекла того же цвета, что и камень памятника. Здесь четвертое лицо исполина озаряла улыбка, печальная, полная утешения и странного торжества. С ласковой осторожностью он склонялся над толпой стремившихся к нему молодых мужчин и женщин с сильными и красивыми телами. Они тянулись к гиганту, а он как бы приглаживал ладонью ниву поднятых к нему рук и опрокидывал широкую чашу на обращенные к нему с надеждой и радостью лица.

Тихая и сосредоточенная, Фай Родис вернулась в свои отрезанные от всего мира апартаменты и связалась по СДФ с Эвизой, описав ей расположение нового жилья. Эвиза подключила Вир Норина, и Родис успокоилась, что ее изгнание не отразилось на товарищах. Очевидно, недовольство Чойо Чагаса было обращено только против нее.

Сейчас у Родис не было никого дороже Чеди, Эвизы и Вир Норина, затерянных в огромной столице. За Чеди Родис опасалась больше всего.

Находясь среди самой невежественной и недисциплинированной части населения, Чеди не могла рассчитать всех мотивов их поступков. Но Эвиза уверила, что у Чеди все благополучно и она накопила много интересных наблюдений. И Родис спокойно уснула на новом месте, не обращая внимания на постоянное потрескивание деревянных балок и половиц. В непроглядной темноте, подобно древней лампадке, горел крошечный огонек СДФ; он немедленно поднимет тревогу, если появится непрошеный гость или переменится химический состав воздуха...

К условленному времени Родис оделась по-тормансиански — в широкие брюки, блузу из гладкой черной материи и твердые башмаки. Вместо фонаря Родис надела диадему, автоматически зажигавшуюся в темноте, и нажала носком в углубление стены. Прежде чем ступить в открывшийся проем, она установила СДФ в первой комнате на автоматическое включение поля. Обезопасив свое жилье от неожиданных гостей, Родис задвинула за собой стенную плиту.

В конце первой лестницы ее ждали Таэль и архитектор. Знакомство началось, как обычно, с продолжительного взгляда и отрывистых, как бы невзначай сказанных слов. И не мудрено — застенчивому малорослому архитектору, привыкшему к невежливости сановников и грубости внешнего мира, Родис, сходящая по лестнице в светоносной диадеме, показалась богиней. Таэль только усмехнулся, вспоминая свое собственное потрясение от первой встречи с Родис. Зигзагообразный спуск привел в галерею, кольцом аркад окружавшую центральный зал с низким сводом. Каменные скамьи прятались в нишах между аркадами. Архитектор подвел своих спутников к той из них, где стояли новенький стол и массивный цилиндр со столбиком двойного фонаря, включил его. Сильный красноватый свет залил подземелье. Архитектор слегка отступил назад, поклонился и назвал себя.

— Гах Ду-Ден, или Гахден.

Он расстелил сводный чертеж подземелий Храма Времени. И Родис поразилась их размерам. Два яруса проходов и галерей, пронизывая почву, разбегались по всем направлениям, выбрасывая шесть длинных рукавов за пределы сада и стены.

— Вот эта галерея выходит под статуей Времени,— пояснил архитектор,— но мы оставили ее закрытой, там слишком людное место. Ход номер пять, налево от нее, один из самых удобных. Он кончается в старом павильоне, занятом сейчас электрическими трансформаторами высокого напряжения, куда мы, «джи», имеем свободный доступ. Еще лучше четвертый ход, углубленный в толщу скалы на поднимающемся к горам склоне, там, на уступе, стоит старое здание химической лаборатории имени Зет Уга. Из подвала лаборатории опускается вертикальный колодец, доступный всем, кто посвящен в тайну храма. Другие ходы идут в открытые места и при частом использовании могут быть обнаружены, но в случае бегства пригодятся.

— Зет Уг — один из членов Совета Четырех? — спросила Родис.— Я не знала, что он ученый-химик.

— Вовсе нет! — рассмеялся архитектор.— У нас любой институт, театр, завод может быть назван именем великих, которые не имеют никакого отношения ни к науке, ни к искусству, вообще ни к чему, кроме власти.

— Таков обычай,— как бы извиняясь, подтвердил Таэль.

— И я могу видеться с людьми в этом зале? — Родис оглядела просторное подземелье.

— Мне думается, нападающим здесь удобно окружить нас. Пойдемте в Святилище Трех Шагов, оно на втором ярусе.

Подземелья второго горизонта оказались просторнее. Кое-где в них уцелела мебель, сделанная из черного дерева или рыхлого чугуна, широко употреблявшегося на планете при нехватке чистых металлов. На вещах лежала тончайшая пыль. Тщательно отполированные стены покрывал твердый стекловидный слой. Под ним сохранились фрески, расписанные по блестящему черному фону двумя излюбленными красками Тормансa — алой и канареечно-желтой. Комбинация двух цветов, огрубляя изображения, в то же время придавала им первобытную дикость и силу. Родис, невольно замедляя шаги, с восхищением рассматривала творения древних художников Ян-Ях. Таэль и Гахден не обращали на стенные росписи никакого внимания.

Насколько могла судить Родис, фрески выражали неизбежный приход человека к смерти по неумолимому течению времени.

На правой стороне галереи чувства жизни медленно нарастали от беззаботной детской игры до опытной зрелости и угасали в старости, во вспышке отчаяния, за которой следовал резкий обрыв в смерть. Он выражался отвесной линией, срезавшей все, что подходило к ней. За этой гранью была только чернота. На том же черном фоне у черты скучилась группа людей, выписанных с особенной выразительностью. Деформированные возрастом и болезнями, люди упирались, сбиваясь в груду тел, но едва кто-либо прикасался к страшной линии, как во тьме исчезали, будто отсеченные, головы, руки, тела...

На левой, такой же черной стене шли уже не фрески, а барельефы, погруженные в стекловатый материал, из которого они проступали со сказочной реальностью. Художники изобразили здесь резкий переход от задумчивого отрочества к юности, выраженной нарастанием сексуальных чувств, будто весь мир сводился к ритмике танцующих юных тел в эротическом неистовстве.

Красные мужчины и огненно-желтые женщины сплетались в замысловатых позах. Однако этим удивительным изображениям все же не хватало божественного достоинства эротических скульптур древней Индии и даже демонической глубины тантрических фресок Тибета или картин сатанистов Ирана.

Зеркально-черная тьма обрывала процессию фигур не в угасшем упадке, а в момент крещендо, кипения чувств. Левая стена в противовес правой отражала концепцию ранней смерти.

Идея быстрого оборота поколений с селекцией наиболее способных для технического прогресса, очевидно, возникла на Тормансе издавна.

Современное население планеты пожинало плоды мыслей, посеянных тысячу лет назад,— катастрофа перенаселенности оформила это в целую философию.

Черная галерея расширилась. Над головами идущих нависли чудовищные маски, грубо и пестро размалеванные. Огромные разверстые рты, искривленные язвительными усмешками, скалили не по-человечески острые зубы, презрительной издевкой щурились поразительно живые глаза. Ниже этих отвратительных рож тянулся ряд других масок, в естественном размере человеческих лиц, на них было написано выражение безнадежной меланхолии. Духовный упадок выражался в них так реально, что вызвал у Родис непреодолимо тяжелое чувство. Маски всегда были индикаторами психологических трудностей жизни, вызывающей необходимость сокрытия истинных лиц человека и общества. Ал-

легория масок здесь казалась предельно простой, но по грандиозности замысла и уровню исполнения они не уступали фрескам черной галереи. Родис высказала это архитектору. Оживившись, он попросил ее подождать. Вдвоем с Таэлем они принесли высокую скамью, сняли с крючков чудовищные изображения, пустотелые, слепленные из легкого материала. Маски прикрывали протянувшийся во всю длину галереи фриз великолепных скульптур молодых прекрасных людей, с мужественными и благородными лицами, в их обнаженных телах не было ни стыдливости, ни животной сексуальности фигур в черной галерее.

— Зачем же их закрыли этими рожами? И когда? — спросила Родис.

— В эпоху установления всепланетной власти,— ответил Гахден,— чтобы выбить еще одну духовную опору человека. Те, кто издавна приходил сюда, созерцали и задумывались — становились душевно похожими на людей прошлого, перенимали их силу, мудрость, ясность. Приобретали мужество, мечту и волю — качества, нетерпимые для владык. И вот потому фризы завесили масками Века Голода и Убийств... Поставим их на место, Таэль!

— Не надо. Пусть те, что придут сюда к нам, увидят и дутые призраки, и настоящую жизнь Ян-Ях.

Архитектор привел их в квадратную залу — по ее углам в циническом смехе надрывались маски. Три широких уступа поднимались к стене против входа. На каждом уступе стояло по два ряда каменных скамей. В стене была ниша, в ней длинный стол.

— Святилище Трех Шагов,— сказал архитектор,— здесь я предлагаю устроить место встреч.

— Место подходящее,— одобрил Таэль и посмотрел на Родис.

— Это решать должны вы, знающие жизнь Ян-Ях. Меня же интересует только святилище. Почему Трех Шагов?

— Вам это кажется важным? — спросил архитектор.

— Да. Я догадываюсь, но нужно подтверждение. Мне это существенно необходимо для более глубокого понимания прошлой духовной жизни Ян-Ях.

— Хорошо. Я узнаю,— пообещал Гахден,— а теперь я ухожу. Надо подготовить помещение и проводников.

Архитектор исчез во тьме, не зажигая фонаря. Фай Родис решила последовать его примеру, не применяя инфралокатора. Она сказала об этом Таэлю, но инженер возразил:

— Какое имеет значение: со светом или без света, если вы можете заставить людей не замечать вас?

— И привести за собой тех, кто будет скрываться в боковых переходах вне моего внимания?

— Я, наверное, никогда не научусь думать, как земляне. Сперва — о других, потом — о себе. От людей — к себе — таков ход почти всякого вашего рассуждения. И вы улыбаетесь всем встречным, а мы, наоборот, заносчивым видом скрываем боязнь насмешки или оскорбления. Наша грубость все время выдает низкий психический уровень жизни в страхе. Между вами и нами полярная разница,— с горечью сказал Таэль.

— Но не столь серьезная,— улыбнулась Родис,— пойдемте со мной считать шаги и повороты. Или вы тоже должны уйти?

— Нет. Я хочу провести сигнализацию к вашим комнатам.

Они шли некоторое время молча. Родис помогала инженеру закреплять тончайшую проволоку.

— С вами хотят увидеться Серые Ангелы,— сказал Таэль.

— Ангелы? Да еще серые?

— Очень древнее тайное общество. Мы думали, что оно прекратило свою деятельность еще во время Веков Расцвета. Оказывается, они существовали, но бездействовали. Теперь, как они говорят, ваш ДПА возвращает их к жизни. Свидание с вами необходимо.

— Святилище Трех Шагов и Серые Ангелы,— задумчиво произнесла Родис,— удивительно! Неужели все это было и здесь?

— Что именно?

— Расскажу потом, когда Гахден добудет сведения о Трех Шагах и я повидаюсь с Серыми Ангелами.

Остаток дня Фай Родис провела, обдумывая дальнейшие действия. Уже восемнадцать дней ее спутники знакомятся с повседневной жизнью города Средоточия Мудрости. Еще немного, и миссия их закончится. Кроме Вир Норина и ее. Астронавигатору не так просто разобраться в интеллектуальной верхушке тормансианского общества. А она, Фай Родис, должна протянуть нити между разобщенными классами общества Ян-Ях — между людьми, многократно обманутыми историей, запутанными хитросплетениями политической пропаганды, утомленными скукой и бесцельностью жизни. Без цели не может быть осмысленной борьбы. Здесь самые выразительные слова и заманчивые идеи превратились в пустые заклинания, не имеющие силы. Еще хуже слова-оборотни, в привычное и привлекательное звучание которых исподволь вложен извращенный смысл. Дорога к будущему разбежалась тысячей мелких троп. Ни одна не внушает доверия. Все устои общества и даже просто человеческого общежития здесь полностью разрушены. Законность, вера, правда и справедливость, достоинство человека, даже познание им природы — все уничтожено владычеством аморальных, бессовестных и невежественных людей. Вся планета Ян-Ях превратилась в гигантское пепелище. Пепелище опустошенных душ, сила и достоинство которых тоже растрачены в пустой ненависти, зависти, бессмысленной борьбе. И везде ложь. Ложь стала основой сознания и общественных отношений на несчастной планете.

Это ужасное состояние безверия, скепсиса, непонимания пути порождает, кроме всего, еще шизофрению. По секретным подсчетам, на Тормансе около шестидесяти процентов населения — психически больные. До сих пор «кжи» презирали все, а «джи», запуганные «змееносцами», жили в постоянном страхе. Теперь назревает кризис. «Джи» и «кжи» поняли, что жить так больше нельзя, необходимо сбросить обман и ложь, которыми их опутали. Если удастся показать им правильный путь, разрушить недоверие — тогда можно возвращаться домой!

«Кораблю — взлет!» Сколько еще дней придется ждать этих волшебных слов! Сколько еще дней придется провести в мансарде и подземелье, пока она приобретет право сказать эти слова Гриф Рифту, становящемуся от тревоги все нетерпеливее. На днях предстоит опять трудное свидание с ним по СДФ. Нужна еще одна девятиножка или хотя бы ее проектор для установки в святилище Трех Шагов.

Засыпая, Родис с грустью подумала о своей «Мере» как о живом существе, оставшемся в садах Цоам.

Она встала при первых лучах светила и едва успела проделать утренние упражнения, как появился «лиловый» и объявил о прибытии (они никогда не приходили, а только «прибывали») специального уполномоченного владыки Ян-Ях. Несколько удивленная ранним посещением,

Фай Родис встретилась с низкорослым, полноватым сановником. Золотые змеи на груди и плечах свидетельствовали об очень высоком ранге непосредственного помощника Совета Четырех.

«Змееносец» передал привет от Чойо Чагаса. Земная гостья никоим образом не должна рассматривать свое переселение как изгнание или немилость со стороны владыки. Великий и Мудрый решил, что во дворце ей одиноко и приятнее быть ближе к своим спутникам.

Родис, скрыв улыбку, поблагодарила, прибавив, что здесь она так же далека от города, как и во дворце.

Сановник вздохнул с притворным огорчением. Ян Гао-Юар,— сказал он,— примет меры, чтобы снабдить ее охраной, которая не мешала бы в прогулках по столице. Родис выразила вежливое сомнение. «Змееносец» спросил, хорошо ли заботятся о ней назначенные на то люди. Поговорив о пустяках, он встал. Скучающее, тупое лицо его сделалось настороженным, острые умные глаза забегали по сторонам. Он наклонился к Родис и едва слышно спросил, может ли она включить машину для защиты от подслушивания. Утвердительно кивнув, Родис повернула циферблат девятиножки, встала перед креслами и выдвинула пластинки излучателей. Магнитный луч обежал углы комнаты, складки занавесей и мебель на случай, если бы там установили новые аппараты. Успокоенный сановник вновь уселся в кресло и, не сводя упорного взгляда с Фай Родис, заговорил о недовольстве народа властью и современной жизнью. Некоторые высшие сановники, понимая это, готовы изменить действующее управление. В частности, у него в руках «лиловые» во главе с самим Ян Гао-Юаром. Если бы Фай Родис помогла ему, то власть Чойо Чагаса и всего Совета Четырех рухнула бы.

— Что я, по-вашему, должна сделать для этого? — спросила Родис.

— Очень немного. Дайте нам несколько ваших машин,— он покосился на СДФ,— и выступите по телевидению с заявлением, что вы на нашей стороне. Мы это беремся устроить.

— И что же произойдет после свержения власти?

— Вам, землянам, будет полная свобода передвижения по планете. Живите у нас сколько угодно, делайте что хотите! И когда придет второй звездолет, то для него также не будет никаких ограничений.

— Это для нас, гостей, а для народа Ян-Ях?

«Змееносец» нахмурился, словно Родис задала ему бестактный вопрос. Он начал пространно и путано говорить о несправедливостях, массовых казнях и пытках, глупых сановниках, ничтожестве трех членов Совета Четырех и большинства Высшего Собрания, специально подобранного Чойо Чагасом из наиболее невежественных и трусливых людей. Но Родис неумолимо возвращала его к существу вопроса, прося перечислить те реальные изменения в жизни планеты, которые последуют за свержением Совета Четырех.

«Змееносец», сердясь, закусывал губу, барабанил пальцами по креслу и, поняв, что невозможно отделаться общими словами, принялся перечислять:

— Мы увеличим количество увеселений. В короткий срок построим много Домов Любви, Окон Жизни, дворцов отдыха на берегах Экваториального моря. Снимем ограничения на сексуальные зрелища, уничтожим ответственность мужчин за начальную стадию воспитания детей... Все это для обоих классов. Ну, а особо для «джи». Надо снять запрещение на передачи из космоса. Я не вижду в этом никакой опасности для государства. Передачи редко уловимы и непонятны...

Родис молча изучала сановника, стараясь понять ход его мыслей, затем медленно проговорила:

— Вы отмените закон о ранней смерти; ни «джи», ни «кжи» больше не будет. Не станете кормить детей фальсифицированными продуктами! Затратите в сотни раз больше средств на воспитание, на лучшие школы, путешествия, на общее улучшение жизни. Построите больше больниц, столовых, жилищ. Создадите музеи. Иными будут науки, искусства. Мы поможем вам изменить и улучшить многое в жизни народа.

— О! Все это гораздо труднее. Планета слишком бедна после Веков Голода. Нельзя все так сразу. Многие наши устроения необходимы. И поверьте, «кжи» счастливы, по-своему, конечно.— Он пристально посмотрел на Родис и изрек: — Знаете ли вы, что исторический процесс подобен маятнику, качающемуся взад и вперед, проходящему пики противоположностей и глубокий спад. С нашей победой маятник качнется в пик экономической интенсивности жизни — и тогда...

— Но это же неверно! Фактический ход истории иной. Маятник всего лишь образ, придуманный людьми однолинейного мышления, не знающими диалектики. Образ родился из страданий в массах людей при мелких изменениях системы управления, без коренной ее перемены. Ведь ничего не изменится, если принять доктрину, противоположную предыдущей, перестроить психологию, приспособиться. Пройдет время, все рухнет, причиняя неисчислимые беды. Ваши экономисты не умеют предвидеть и обороняться от количественно-качественной естественной пульсации жизни. Дело человека уничтожить эти «маятниковые» страдания.

— Оставим дальние последствия! Разве один только прирост развлечений, увеселений не будет ценным достижением для народа?

— Разумеется, не будет! Разрыв между нищей жизнью и развлечениями станет тем страшнее, чем сильнее иллюзия. Обеднение и сужение индивидуальной и общественной жизни человека все сильнее расходятся с теми нереальными видениями, какими его отуманивают. Искусственное величие, напряженность, полнота чувств в иллюзиях вызывают расщепление психики между призрачным миром и реальностью жизни.

— Значит, вы не верите в нас, не считаете нужным переворот?

— Да. Я услышала лишь пустые слова. У вас и ваших сообщников нет знаний, не разработана программа и не исследована ситуация. Вы не знаете, с чего начать, к чему стремиться, кроме иерархических перестановок в высшем классе Ян-Ях.

«Змееносец» встал с каменным лицом. Сделав над собой усилие, он заявил, что есть еще просьба, в которой, он надеется, земляне ему не откажут.

— Сообщите нашим врачам меры для продления жизни. Как вы достигаете своей силы и красоты и живете вдвое дольше нашего.

— Зачем вам знать?

— Как зачем? — вскричал сановник.

— Все должно иметь цель и смысл. Долгая жизнь нужна тем, кто духовно богаче, кто может много дать людям, а если этого нет, тогда зачем? Вас миллионы ни о чем не заботящихся, кроме себя, своих привилегий, равнодушных паразитов, без совести, морали, долга. Вы уклоняетесь от своих прямых обязанностей и в то же время берете себе в сотни раз больше, чем здесь дается любому другому члену общества. Какие убеждения позволяют вам действовать подобно грабителям, довершая дело ваших глупых предшественников, истощивших ресурсы плане-

ты и человечества Ян-Ях? Неужели не кружится у вас голова при взгляде в огромную пропасть между вами и народом?

«Змееносец» издал невнятный звук, сжал кулаки, топнул ногой и внезапно устремился к выходу.

— Стойте!

Необычайно резкий и неодолимо властный приказ земной женщины приковал его к месту. Повинуясь, он покорно уставился на Родис. Та неуловимо быстрым движением, характерным для землян, провела руками по его одежде, нашла во внутреннем кармане на груди тяжелую коробочку и вернулась к СДФ. Легкий щелчок — и все записи были стерты. И Родис вернула коробочку. Все это время сановник стоял столбом, повторяя вслух: «Ничего не помню, совсем ничего не помню»,— не чувствуя, как и в голове его стирается память о происшедшем разговоре. Фай Родис при своих природных способностях не нуждалась в ИКП. «Змееносец» побрел к двери, поклонился и исчез. Родис выключила звукозащиту, и тотчас зазвучали сигналы вызова. Появилось изображение Эвизы, взволнованной и от этого еще более прелестной.

— Тяжело ранена Чеди. С раздроблением костей. Она у меня в госпитале.

Эвиза перечислила лекарства и инструменты, которые необходимо получить с «Темного Пламени», и сказала, что они с Норином сейчас отправятся к начальнику города, чтобы предупредить его об отправке с «Темного Пламени» автоматического дисколета и договориться о месте для его посадки.

— Чеди в сознании?

— Спит.

— Я приду.

Родис поставила ладонь ребром (сигнал конца связи) и переключила СДФ на маяк корабля.

Вир Норин и Эвиза пришли к начальнику города в большой дом на холме, недалеко от Центрального госпиталя. Сотни людей сновали по темным высоким коридорам, куда выходило множество массивных дверей. Всемогущие карточки оказали свое действие. Обоих землян провели к начальнику, даже к секретарям которого рядовые «кжи» и «джи» столицы попадали лишь после нескольких месяцев ожидания.

Огромная комната с исполинским столом подчеркивала значение сановника — крупного, холеного и безмерно важного, восседавшего в глубоком кресле. Он поднялся с заметным усилием, поклонился и снова плюхнулся на свое место, молча указав Виру и Эвизе на сиденья перед столом.

Вир Норин в нескольких словах изложил просьбу. Последовало долгое молчание. Сановник перелистал какие-то лежавшие перед ним бумаги, поднял взгляд, и земляне увидели знакомую тупую надменность, делавшую похожими всех «змееносцев».

— Случай особенный. Никогда автоматами не стреляли по городу. Я не могу разрешить.

— Но срочные посылки такого рода тысячи лет практикуются на Земле. Это абсолютно безопасно! — заверил Вир Норин.

— А вдруг что-нибудь испортится? Вдруг диск упадет в место жительства важных лиц...

— Поймите, этого быть не может!

— Все равно такого нет в постановлениях. Надо запросить Совет Четырех!

— Так запросите! Дело идет о жизни человека!

«Змееносец» стал испуганно-негодующим, как если бы в его лице верховной власти нанесли оскорбление.

— Даже если я отважусь воспользоваться прямой связью, чтобы доложить, то все равно получить разрешение сразу нельзя. И я не уверен, что решение будет положительным.

Эвиза вскочила, глаза ее засверкали. Встал и Вир Норин. Они посмотрели друг на друга и вдруг рассмеялись.

— Верно ли, что высокие начальственные лица предназначены для принятия ответственных решений? — мягко спросила Эвиза.

— Только так!

— В законах нет ничего разрешающего посылку автомата. Но нет и запрещающего, не так ли?

«Змееносец» выразил некоторую растерянность, но быстро оправился.

— Не предусмотрено законами — следовательно, не положено.

— Вы назначены именно для решения непредусмотренных ситуаций, иначе зачем вы здесь?

— Я здесь для того, чтобы соблюдать интересы государства,— надменно сказал «змееносец».

Вир Норин положил руку на плечо Эвизы.

— Не станем терять времени. Это не более чем узко запрограммированный робот. На его функцию хватило бы простой звукозаписи.

Сановник угрожающе поднялся. Астронавигатор протянул к нему руку ладонью вперед.

— На место! Спите! Забудьте!

«Змееносец» упал в кресло, закрыв глаза и свесив набок голову. Эвиза и Вир Норин вышли из кабинета, сказав двум женщинам-секретарям, что сановник беседует с Советом Четырех. Священный страх на лицах секретарш говорил о том, что начальник города хорошо выспится.

— Сажать беспилотный дискоид без всяких там постановлений,— решил Вир Норин.— Таэль найдет место. Груза автомат возьмет столько, сколько успеют набить, и для Таэля тоже! Скорее в СДФ! Родис договорилась с Рифтом, и Таэль уже около нее.

Таэль и его друзья установили приводной маяк в засохшем саду, примерно в километре от Центрального госпиталя. Робот-диск за семнадцать минут покрыл расстояние между звездолетом и городом Средоточия Мудрости. Эвиза и Вир Норин, взяв необходимое, бегом понеслись к госпиталю, а группа Таэля осталась выгружать присланные для них материалы и приборы. Гриф Рифт обещал ночью прислать еще один диск и передал инструкцию управления автоматом. Тормансиане могли укрыть робот в надежном месте или утопить в океане.

Чеди принесли в госпиталь без сознания. Сначала ее положили в заставленный койками коридор. Дежурный врач не поверил заявлениям «лиловых» — на беду, самого низшего ранга — и лишь хохотал в ответ на уверения, что девушка эта прилетела с Земли. Слишком невероятным казалось ее появление ночью, в обычной одежде «кжи» да еще раненной в уличной драке. Последнее сомнение, возникшее при осмотре ее дивно совершенного тела, развеялось, едва Чеди в забытьи произнесла несколько слов на хорошем языке Ян-Ях, со звонким акцентом хвостового полушария. Врач определил повреждения как смертельные. Он не считал себя в силах спасти девушку. Не стоило напрасно мучить ее, выводя из благостного шока. И хирург махнул рукой, не ведая, что в

это самое время «глаз владыки» отдавал приказание во что бы то ни стало разыскать Эвизу Танет.

Сильная воля Чеди помогла ей вынырнуть из красного моря боли и слабости, затопившего сознание. Она лежала без одежды, прикрытая желтой тканью, на узкой железной кровати, под резким светом ничем не прикрытой вакуумной лампы. Эти режущие глаза лампы встречались на Тормансе во всех служебных помещениях и в жилищах «кжи». Здесь, в госпитале, резкий свет казался невыносимым, но никто из распростертых на соседних койках стонущих, мечущихся в бреду не обращал на него внимания. В ночное время больных не посещали сиделки, медицинские сестры или врачи. Люди проводили долгую ночь Торманса наедине со своими страданиями, слишком слабые для того, чтобы подняться или заговорить друг с другом.

Чеди поняла, что она умрет, предоставленная своей судьбе. Преодолевая невероятную боль и кружение в мозгу, Чеди приподнялась, спустив ноги с кровати, и снова потеряла сознание. Пронзающий укол привел ее в себя. Открыв глаза, Чеди увидела прямо над собой горящее от волнения лицо Эвизы.

В сопровождении извивавшегося от испуга за свою ошибку дежурного врача Чеди повезли в свободную операционную. Эвиза, убедившись, что непосредственная опасность отошла, связалась с Родис и Вир Норином.

Последующие дела, включая бесплодный разговор со «змееносцем», отняли больше двух часов. Чеди спала в операционной. Когда Эвиза примчалась как ветер, неся на плече сумку с необходимыми препаратами, весь врачебный персонал госпиталя был уже в сборе. Минутой позже прибежал Вир Норин, нагруженный двумя большими, туго скрученными тюками. Главный хирург нервно ходил перед дверями операционной, убежав из своего кабинета, где на большом экране попеременно появлялись то Зет Уг, то Ген Ши, требуя сведений о земной гостье. Предупрежденная Таэлем Эвиза ничего не сказала о присланной со звездолета помощи. В госпитале думали, что она бегала за лекарствами не то домой, не то к своему товарищу.

Дезинфицируясь, Эвиза успела отдохнуть и немедленно взялась за операцию. Хирурги Торманса увидели странную технику земного врача. Эвиза смело распластала все пораженные участки продольными разрезами, тщательно избегая повредить не только мельчайшие нервные веточки, но и лимфатические сосуды. Она скрепила разбитые кости, вплоть до мелких осколков, какими-то красными крючками, изолировала главные кровеносные стволы, перерезала их и присоединила к ним маленький пульсирующий аппарат. Затем все операционное поле было пятикратно пропитано ОМН — раствором скоростной регенерации костей, мышц, нервов; разрезы соединены черными крючками. Появился второй прибор для массирования краев ран и одновременно втирания густой жидкости кожной регенерации — КР. Тотчас Эвиза разбудила Чеди, обильно напоив ее похожей на молоко эмульсией. Вир Норин, одетый братом милосердия, с бесконечной осторожностью снял Чеди с операционного стола. Земляне сейчас не заботились о соблюдении тормансианских приличий, не доверяя стерильности простынь. Астронавигатор нес на вытянутых руках совершенно нагую Чеди в отведенную ей маленькую палату. Там он положил ее на постель из особой, сверкающей серебром ткани и накрыл заранее натянутым на каркас прозрачным легким колпаком. Пепельно-голубая девятиножка Чеди уже стояла рядом с постелью. К ней подключили многоцилиндровый аппарат с системой

трубок, концами закрепленных в колпаке. Эвиза Танет, отдыхая, вытянулась на твердом диванчике, слегка облокотясь на левую руку и закинув за голову согнутую правую. Она поглядывала на столбик индикаторов у своего изголовья, с проводами, укрепленными на висках, шее, груди и запястьях Чеди.

Вир Норин благодарно поглядел на Эвизу, крепко пожал локоть ее сильной руки, выступивший из-под густых, круто вьющихся волос ее затылка, и пошел к выходу, осторожно ступая по еще влажному от дезинфекции полу.

Астронавигатор не успел покинуть громадное здание госпиталя, как в палату к спящей Чеди и полусонной Эвизе вошел человек в измятом и застиранном желтом халате посетителя, с забинтованным наискось лицом. Эвиза вскочила и кинулась ему на шею.

— Родис!

— Я пришла сменить вас,— и Родис провела пальцами по запавшей щеке Эвизы.

Эвиза зажмурилась, как ребенок от попавшего в глаз мыла, и отчаянно замотала головой.

— Не сейчас. Отойдет нервное напряжение, и я буду спокойна.

— Я отведу. Ложитесь!

— Я так давно не разговаривала с вами, даже по СДФ. Вам надолго разрешили уйти?

Родис рассмеялась по-девичьи звонко и беззаботно.

— Никто не разрешал, как и посадку дискоида. Если бы я стала спрашиваться, они бы и завтра не решили великого вопроса. А я буду здесь с вами, сколько понадобится.

— А этот маскарад?

— Дело Таэля и его друзей.

Родис облачилась поверх черной тормансианской в жемчужно-серебристую паутинку земной врачебной одежды.

— А где ваш СДФ, Родис?

— Выключен. Привезут к ночи и выпустят у входа в этот корпус. Я его позову сюда. Ну, ложись, а я похожу по комнате, отведу возбуждение иного рода. Давно не испытывала такой радости от долгой ходьбы, как сегодня. Кажется, целую вечность я живу в тесноте — естественной на корабле и ненужно принудительной на Тормансе.

— Чеди тоже не могла привыкнуть к такой жизни. Ее долгие прогулки были полезны для знакомства с людьми и обычаями, но в конце концов привели к катастрофе,— сказала Эвиза.

— Чем вызвано нападение?

— Она ничего еще не могла сказать. Напавший на Чеди тут же покончил с собой. Она вряд ли знает об этом.

Родис задумалась и сказала:

— Всему причиной сексуальная невоспитанность, порождающая Стрелу Аримана. Кстати, я слыхала про вашу лекцию об эротике Земли. Вы потерпели неудачу даже с врачами, а они должны были быть образованы в этом отношении.

— Да, жаль,— погрустнела Эвиза,— мне хотелось показать им власть над желанием, не приводящую к утрате сексуальных ощущений, а, наоборот, к высотам страсти. Насколько она ярче и сильнее, если не волочиться на ее поводке. Но что можно сделать, если у них, как говорила мне Чеди, всего одно слово для любви — для физического соединения и еще десяток слов, считающихся бранью. И это о любви, для которой в языке Земли множество слов, не знаю сколько.

— Более пятисот,— ответила, не задумываясь, Родис,— триста, отмечающих оттенки страсти, и около полутора тысяч, описывающих человеческую красоту. А здесь, в книгах Торманса, я не нашла ничего, кроме убогих попыток описать, например, прекрасную любимую их бедным языком. Все получаются похожими, утрачивается поэзия, ощущение тупится монотонными повторениями. Олигархи (конечно, через своих образованных приспешников) отчаянно борются за сокрытие от людей их духовных способностей и связанных с этим великих сил человеческой природы. Точно так же они стараются умалить и обесценить физическую красоту, чтобы рядовой человек ни в чем не мог считать себя лучше или выше правителей. Их ученые слуги всегда готовы оболгать, отрицая духовные силы, и осмеять красоту.

В античное время Европы и Ближнего Востока, средневековой Индии,— продолжала Родис,— физическая любовь переплеталась с религией, философией, обрядностью. Затем последовала реакция: Темные Века, превознесение религии и отвергание, подавление сексуальности. Новая реакция — и в ЭРМ возродилась примитивная эротика с отмиранием религиозности, на более слабой физической основе. Не получилось, как в прежние времена, мощного взлета чувств. Этот период — последний в существовании капиталистических отношений в обществах Земли — дополнительно охарактеризовался утилитаризмом. Эротика, и политика, и наука — все рассматривалось с точки зрения материальной пользы и денег.... Утилитаризм неизменно приводил к ограниченности чувств, а не только мышления. Вот почему тормансианам нужно сперва восстановить нормальное ощущение мира. Только потом они будут способны на подлинную эротику. Вы взяли слишком быстро с места, Эвиза! Но довольно!

Родис принялась водить пальцами по телу Эвизы, нажимая на определенные точки и говоря размеренно-музыкальные слова. Не прошло и нескольких минут, как Эвиза спала с детской безмятежностью. Морщинки огорчения укрывались только в уголках губ, но скоро и они исчезли. Затем Родис встала на колени и, выгнувшись назад, головой коснулась пола, распрямляя спину. Ее спутницы принадлежали к возрасту, когда силы быстро восстанавливаются в крепком и здоровом сне. Родис любовалась обеими и радовалась. Они сделали, что сумели, для изучения Торманса и, естественно, не могли изменить здешнюю жизнь. Теперь они вернутся на «Темное Пламя». Ради крупиц, которые Эвиза и Чеди добавили бы еще в гигантскую задачу поворота истории Торманса, не стоило более рисковать их жизнью. Антрополог Чеди и врач Звездного Флота Эвиза еще побывают в разных местах вселенной, дадут Земле своих детей, проживут долгую, интересную жизнь. Безмерное унижение человека на Тормансе и перенесенные здесь страдания, тоска и жалость, родившаяся к собратьям, сотрутся, смягчатся и в конце концов перестанут тревожить их на Земле...

Дверь медленно приоткрылась, вошел СДФ и замер у ног Родис. Она сняла с его колпака тяжелый белый барабан и, с некоторым усилием поставив его на окно, ввинтила синий конус в специальный выступ верхнего края. Среди снаряжения Эвизы Родис нашла высокий стакан, прозрачный до невидимости, и, повернув конус, налила в сосуд столь же прозрачную жидкость. Родис осторожно пригубила ее, лицо ее засветилось удовольствием. После минерализованной, нечистой, пахнущей ржавым водопроводом и дешевым бактерицидом воды столицы был неописуемо приятен вкус земной воды. Нея Холли не забыла прислать со звездолета и земной концентрированной пищи.

Родис принялась готовить еду для Чеди и Эвизы.

В палату поспешно вошел бледный и потный главный врач.

— Я не подозревал, что у меня здесь владычица землян,— поклонился он Родис,— вам неудобно и тесно. Но это устроим после, а сейчас пойдемте в мой кабинет. Вас требуют из садов Цоам. Кажется,— лицо главного приняло молитвенное выражение,— с вами хочет говорить сам Великий и Мудрый...

Фай Родис предстала перед экраном двусторонней связи Ян-Ях, на котором вскоре появилась знакомая фигура владыки. Чойо Чагас был хмур. Резкий жест в сторону главврача — и тот, низко пригнувшись, ринулся из кабинета.

Чойо Чагас оглядел Родис в ее серебристом халате, сквозь который просвечивал костюм простой женщины Ян-Ях.

— Менее эффектно, чем ваши прежние одеяния. Но так вы кажетесь ближе, кажетесь моей... подданной,— с расстановкой сказал он.— И все-таки я удивлен, узнав, что вы здесь.

— Если бы не катастрофа с Чеди, я не покинула бы Хранилища. Там очень интересные материалы, и вы поступили мудро, отослав меня туда.

Чойо Чагас слегка помягчел.

— Надеюсь, что вы убедились еще раз, насколько небезопасно общение с нашим диким и злым народом? Чуть не погибла четвертая наша гостья!

Фай Родис захотела спросить, по чьей вине народ Ян-Ях находится в таком состоянии, но раздражать владыку не входило в ее планы.

— Как вы намерены теперь поступить? — спросил Чойо Чагас.

— Как только наш антрополог поправится, я отошлю ее и врача на звездолет. Теперь это вопрос нескольких дней.

— А дальше?

— Я вернусь в Хранилище Истории. Закончу работу над рукописями. Наш астронавигатор продолжит знакомство с научным миром столицы. Еще дней двадцать — и мы простимся с вами.

— А второй звездолет?

— Должен быть уже близко. Но мы не станем злоупотреблять вашим гостеприимством. Вероятно, он не сядет. Останется на орбите до нашего отлета.

Владыка, как показалось Родис, испытал удовольствие.

— Хорошо. Вас устроят здесь наилучшим образом.

— Не надо беспокоиться. Лучше прикажите, чтобы нас соединяли с вами или младшими владыками без проволочек. Иначе мы не сможем разобраться, где кончается ваша воля и начинается тупость и страх сановников.

Чойо Чагас милостиво кивнул, некоторое время он молча смотрел на Родис, а потом, не сказав ни слова, внезапно исчез с экрана. Она возвратилась к Чеди, уже сидевшей в подушках и без колпака. И Чеди и Эвиза наслаждались водой и пищей Земли, жмурясь от удовольствия.

— Не воображала, что консервированная земная еда в действительности так вкусна,— сказала Чеди.

— После тормансианской,— сказала Родис, погружая пальцы в густые волосы девушки, вновь принявшие свой естественный пепельно-золотистый цвет. Освобожденные от контактных линз, глаза сияли прежней синевой.

— Удивляюсь,— Чеди привстала на локте, но Эвиза мгновенно водворила ее на место,— как могут они травить себя, своих детей, губить

свое будущее, фальсифицируя и удешевляя пищу так, что она становится отравой? Представьте, что на Земле кто-нибудь стал принимать такую отраву. Бессмысленно!

— У них,— сказала Родис,— этим ужасающим путем увеличивают количество пищи, удешевляя производство ее. А продают по прежней дорогой цене — это называется косвенным налогом в обществе Торманса, и доход идет олигархам.

— Уверена, что ни одна лаборатория здесь не возьмется анализировать состав продуктов, чтобы не выплыла наружу его вредность,— сказала Эвиза,— надо взять образцы с собой на Землю.

— Отличная идея,— сказала Родис,— начнем сегодня же с госпиталя.

Родис долго, не торопясь, массировала на плече Чеди рубцы зажив-ших разрезов со следами растворившихся черных крючков. Чеди уверяла, что совершенно здорова, но Родис и Эвиза боялись последствий внутренних повреждений. На маленькой тележке привезли книги развлекательного чтения. Чеди принялась проглатывать одну за другой со скоростью, непостижимой для тормансиан, но самой обычной для землян, мгновенно воспринимавших целые страницы.

К приходу Эвизы около постели Чеди выросла гора книг.

— Неужели так интересно? — спросила Эвиза.

— Я все искала что-либо путное. Не могла поверить, чтоб в технически развитой цивилизации можно было писать такие пустяки, похожие на земную литературу ЭРМ. Будто у них нет духовных проблем, тревог, болезней, несчастья. Истинные большие трагедии, великолепное человеческое геройство, скрытое в буднях серой повседневности, их не интересует. Видимо, и сам человек им не интересен и служит лишь фоном. Все сводится к временным глупостям, случайному непониманию или мещанскому недовольству. Здешние писатели ловко научились отвлекать и развлекать, пересказывая сотни раз одно и то же. Они же пишут и для телепередач, восхваляют счастье жить под мудрым руководством Чойо Чагаса, якобы избавившим их от скверного прошлого. Здесь история начинается с установления всепланетной власти теоретика олигархии великого Ино-Кау. Впечатление, что книги написаны для умственно неразвитых детей. Все книги — новые, мало читанные. Надо попросить какие-нибудь более старые издания.

Эвиза отправилась в библиотеку, долго рылась там, говорила с библиотекарем и вернулась в недоумении.

— Когда владыкой стал Чойо Чагас,— сказала Эвиза,— прежние книги под угрозой тяжкой кары изъяли из всех библиотек планеты, связали в сетки с камнями и утопили в море. Одиночные экземпляры переданы в специальные хранилища, где их нельзя ни читать, ни копировать. Запрещено всем, кроме особых доверенных лиц.

— Какое преступление против человека! — сурово заметила Родис.

— О, вы еще не все знаете,— сказала Чеди.— Здесь существует чудовищная система фильтрации. В каждом Доме Зрелищ на телевидении, радио у них сидят «глаза владыки». Они вправе остановить любое зрелище, выключить всю сеть, если кто-нибудь попробует передать неразрешенное. Могут убить за пение неразрешенных песен. У «глаз владыки» есть список, что можно исполнять и чего нельзя... И так во всем. Как жалко этих бедных людей! — голос Чеди дрогнул.

Родис с Эвизой переглянулись, и Родис подсела к изголовью Чеди, напевая и скользя концами пальцев по ее лбу и лицу. Синие глаза,

заблестевшие было от слез, закрылись. Еще минута, и девушка погрузилась в глубокий, спокойный сон.

— А теперь пойдемте по госпиталю,— предложила Эвиза.— Время позднее, врачи разошлись. Я принесла свежий халат.

Фай Родис надела желтую одежду с такой же шапочкой, и обе земные женщины вышли на резкий свет в заставленный кроватями коридор.

Никогда не смогли бы забыть они четырех ночей, проведенных на добровольных обходах хирургического отделения Центрального госпиталя столицы. Родис делала открытие за открытием. Страдальцам почти не давали болеутоляющих лекарств. Медицина Торманса не создала анальгезиков, не входивших в обмен веществ организма и не дававших привыкания — наркомании. Могущественные средства как гипнотический массаж и аутогенное внушение, вовсе не применялись. Врачи не обращали внимания на сердечную тоску и страх смерти, а нудная боль при переломах считалась неизбежной. Уничтожить ненужные страдания было, в сущности, пустяком, ускорив исцеление одних, облегчив последние дни других...

С одиночеством больных, их бесконечными ночами страданий в непроветриваемых палатах не велось никакой борьбы. В госпитале преобладали женщины, более живучие, чем мужчины. Они лежали месяцами. Землянам объяснили, что жен и матерей «джи» спасают потому, что у мужчин без них бывают нервные надломы и они, подкупая чиновников, пробираются во Дворцы Нежной Смерти, губя в себе нужных государству специалистов. Утрата достоинства смерти в таких госпиталях представляла естественный диалектический парадокс планеты, где смерть вменялась в государственную обязанность для большинства. Тем отчаяннее цеплялись за жизнь «джи» в переполненных больницах. Родис вспоминала с усмешкой свои инфернальные испытания. Здесь она спустилась на куда более низкие круги инферно.

А Эвиза в сотый раз мысленно соглашалась с предводителем шести «кжи». Те в самом деле умирали здоровыми, не зная жалкой борьбы за жизнь в грязи и боли.

Фай Родис переходила от одной кровати к другой, присаживаясь на краешек, утоляла боль гипнозом, успокаивала песней, учила внушать самим себе сон или развлекаться воображениями. Эвиза, не обладавшая такой психической силой, делала целебный массаж нервов. Придя к утру в палату к Чеди, обе, изнеможенные, свалились и заснули, исчерпав свою нервную силу.

Молва о необыкновенной женщине мгновенно разошлась по всему госпиталю. Теперь Фай Родис, как богиню, со всех сторон встречали мольбы и протянутые руки. Окружающее горе навалилось на нее, давя, лишая прежней внутренней свободы. Родис впервые поняла, как далека она еще от подлинного духовного совершенства. Следствием ничтожества ее сил в океане горя неизбежно возникала жалость, отклоняя от главной цели. Ее помощь здесь не соответствовала задаче, отныне лежавшей на людях Земли: помощи народу Ян-Ях в уничтожении инфернальной общественной системы целиком и навсегда.

Через четыре дня, проведенных в госпитале, Фай Родис снова шла по скрипучим полам Храма Времени в сопровождении подруг и всех трех СДФ. Два из них несли еще слабую Чеди в пружинящем гамаке, подвешенном на опорных столбиках. Безмерно обрадованный Таэль встречал их у ворот, и даже стража на сей раз, подобранная из особо обученных людей, смягчилась при виде синих глаз Чеди, смотревших на окружаю-

щее с восторгом выздоравливающей. Радость Чеди была короткой. Узнав о возвращении на звездолет, Чеди сильно огорчилась, и Фай Родис стоило большого труда убедить ее в такой необходимости.

Беспокойство заставило Эвизу требовать, чтобы ее оставили здесь на случай болезни Родис или Вир Норина.

— Мое здоровье превосходно,— возражала Родис,— а лечить внушением я умею лучше любого из вас.

— А Вир?

— Вот он, мне кажется, заболел, но так, что врач, хотя бы и Звездного Флота, не нужен.

— Неужели? Наш испытанный астронавигатор? Вы шутите?

— Хотела бы.

— Но это безумие! И вы так спокойны!

— Безумие не большее, чем жизнь Чеди среди «кжи», чем ваша работа в госпитале, чем все идеи, заставившие нас вторгнуться в бытие негостеприимной, замученной планеты.

— Родис, вы думаете о чем-то опасном? Я вас не покину.

— Покинете! — Родис привлекла Эвизу к себе, и ее волосы цвета воронова крыла на секунду сплелись с темно-рыжими прядями Эвизы.

Все три женщины совершили прогулку по подземелью с масками, в святилище Трех Шагов.

— Здесь мы поставим ваш СДФ,— сказала Родис, обращаясь к Эвизе,— его зелено-серый цвет с серебристым отливом очень гармонирует с черными столами и скамьями.

— А мой? — спросила Чеди, полюбившая пепельно-голубую девятиножку.

— Свой вы подарите Таэлю и научите пользоваться им.

— И он будет у нас гореть зеленым огоньком?

— Да! Браслет Эвизы возьму я, но выключу его прямую связь на «Темное Пламя», когда вы будете в безопасности, за стенками корабля.

— За стенками корабля...— повторила Эвиза.— Может быть, это стыдно для настоящего исследователя, но я буду счастлива. Насколько лучше жить в корабле, совершая оттуда вылазки в чужой мир, чем оказаться, как мы, оторванными от «Темного Пламени», несомыми потоком странной жизни, в которой все будто сговорились вредить себе и другим, создавать горе и беды везде, даже там, где нет причины для несчастий.

Родис и Норин провожали молодых женщин к громоздкой, пропыленной и разболтанной машине.

Чеди крепко обняла Родис, поцеловала астронавигатора, а затем, опустившись на колени, погладила свой СДФ.

Двое землян и тормансианский инженер стояли на балконе пятого храма. Машина ушла по верхней обходной дороге, столб пыли еще долго был виден над городом. Таэль уже научился распознавать настроение своих, казалось бы, невозмутимых земных друзей. И сейчас, глядя на спокойные, устремленные вдаль лица, инженер решил отвлечь Родис и Норина от дум.

— Я еще не поблагодарил вас за драгоценный подарок,— сказал он, показывая на СДФ.

— У нас не благодарят за подарки. Самая большая радость человека Земли — отдавать. Мы должны сказать вам спасибо,— сказала Родис.

Таэль почему-то смутился и перевел разговор:

— Меня всегда интриговало число ног у СДФ. Почему 9, почему нечетное, а не двусторонняя симметрия 2—4—6—8—10?

— Вопрос не так прост,— ответил Норин.— Выше билатеральной симметрии — триада. Геликоидальная нечетность выше двустороннего равновесия противоположностей, обычно применяемого на Земле и соответствующего поверхностной структуре окружающего мира. Нечетности создавала природа. 5—7—9 дают особое преимущество в преодолении противоречий в бинарных системах и стойкость в двусторонне противоречивом мире, то есть возможность переходить неодолимые препятствия. Нечетность, большая, чем единица,— это выход из инфернальной борьбы противоположностей, возможность избежать диалектического качания вправо-влево, вверх-вниз. В природе это многоосные фазовые системы или трехфазный ток, например. Нечетность как свойство подмечена еще в глубокой древности. Три, пять, семь, девять считались счастливыми и магическими числами. А у нас применяется методика косых, или геликоидальных, врезов в равновесные системы противоположных сил.

Таэль покачал головой.

— Все, что я понял,— это существование механизмов, работающих на более сложных принципах, чем внутренние противоречия. И эти механизмы, так сказать, выше стоят над силами диалектически построенного мира. Они могущественнее!

— Если хотите, так. В обычной жизни Земли СДФ нам не нужен. Роботы-спутники сопровождают нас только в трудных экспедициях на неизвестные, дальние миры. Тут они незаменимы.

— И в плохо устроенном мире тоже незаменимы,— добавил Таэль.

Тень тревоги прошла по лицу Вир Норина, сделав его похожим на тормансианина.

— Вам надо идти, Вир? — сказала Родис, обняв его за шею и смотря в глаза.— Вас ждут! Вас что-то тревожит?

— Да, пришло неиспытанное, и оно породило тревогу.

— На Тормансе, где ничего не исполняется? Что же дальше, Вир?

— Не знаю. Я должен разобраться в себе, но дни летят...

— Да, времени так мало, Вир, хороший мой...— голос Родис смягчился от нежности.

Астронавигатор сбежал по лестнице и пронесся мимо оторопевшей стражи. Фай Родис стояла, упершись кончиками пальцев в перила балкона, в глубокой задумчивости, и потому Таэль, не прощаясь, ушел и увел в подземелье девятиножку.

Родис, не сводя глаз, долго смотрела на далекие голые горы, стоявшие в пурпурной дымке. Еще так остра в памяти катастрофа в городе Кин-Нан-Тэ, только что кончились осложнения с Чеди — и вот подступает что-то другое. И на этот раз она, Родис, не знает путей к решению. Что ждет Вира и его возлюбленную, кроме жертв с обеих сторон? И почему это обрушивается на Вир Норина, который на своих кораблях пронизал Галактику во многих направлениях, на человека такого ясного ума и таких энциклопедических знаний? Хотя по законам внезапных поворотов это, может быть, естественно у неодолимых преград?! Очнувшись от своих дум, она не заметила, как наступили сумерки. Фай Родис пошла в свои комнаты.

Еще перед первой дверью Родис почувствовала присутствие кого-то, знакомого по прежним ощущениям. Уходя, она не насторожила девятиножку и сейчас, не зажигая света, включила ее. Едва слышно прозвенел ее браслет, сигнализируя об изменении воздуха в помещении. Девятиножка зажгла крошечный розовый глазок. Родис увидела плотно закрытую дверь в спальню. Некто подстерегающий спрятался в первой комнате —

дверь притворили неспроста. Родис открыла дверь, и едва уловимый запах проник в ее ноздри, он был настолько слабый, что, не настроившись заранее, она, возможно, и не почувствовала бы его. Вдруг в голову ударило что-то пьянящее сознание. Темная сила, словно пружина, начала разворачиваться внутри Родис. Ее охватило дикое желание выть, хохотать, кататься по полу. Могучая воля Родис справилась с первым ударом яда. Она отступила назад к СДФ, извлекла и вставила в нос биофильтры.

Теперь было время подумать. Все еще с мутным сознанием она отыскала препарат Т-9/32 — универсальное противоядие от всех возбудителей таламуса. Даже не будучи врачом, Родис определила, что в комнате распылено вещество, подавляющее сознание, высвобождающее базальные примитивные рефлексы таламической группы и серого бугра мозга. Противоядие помогло. Как хорошо, что она предвидела возможность применения подобных веществ, готовясь к высадке на Тормансе!

Обретя прежнюю ясность мысли и зрения, Родис приказала СДФ осветить комнату и внезапно рванула в сторону тяжелую портьеру, закрывавшую нишу окна. Там, сжавшаяся кошкой, пряталась Эр Во-Биа. Прозрачная маска с маленьким газовым баллоном под челюстью прикрывала лицо красавицы, стремительно прыгнувшей навстречу Родис. Ее глубоко посаженные глаза с ожиданием и удивлением смотрели на Фай Родис, спрашивая: «Что же ты не падаешь?» В руке возлюбленная Чойо Чагаса держала сложный прибор, применявшийся на Тормансе для киносъемки.

Эр Во-Биа протянула свободную руку к широкому поясу, несомненно скрывавшему оружие.

— Стойте! — приказала ей Родис.— Говорите, зачем вы это сделали?

Пригвожденная к месту, красавица замерла и заколебалась всем своим тонким телом, будто испытывала желание перевоплотиться в столь излюбленную на планете змею.

— Я хотела,— с усилием сквозь стиснутые зубы сказала она,— открыть твое настоящее «я», показать тебя. И когда ты валялась бы, изнывая от звериных желаний, я сняла бы тебя, чтобы показать фильм владыке.— Эр Во-Биа подняла аппарат.— Он слишком много думает о тебе, слишком превозносит тебя. Пусть увидел бы!

Фай Родис смотрела в искаженное злобой прекрасное лицо. Совмещение низкой души и совершенного тела извечно удивляло чутких к красоте людей, и Родис не была исключением.

— На Земле,— наконец заговорила она,— мы считаем, что каждое недостойное действие немедленно должно уравновеситься противодействием. Снимите маску!

Животного ужаса женщины не смог скрыть и респиратор. Ей пришлось подчиниться неодолимой воле.

Через минуту Эр Во-Биа лежала на полу, запрокинув голову, закрыв глаза и оскалив зубы, испытывая то, что хотела вызвать в Родис.

— Янгар, Янгар! Я хочу тебя! Еще больше, чем прежде! Скорее! Янгар! — вдруг закричала Эр Во-Биа.

В ответ на ее зов тут же распахнулась дверь, и на пороге появился сам начальник «лиловых».

«Где-то здесь караулил!» — мгновенно догадалась Родис.

Поняв крушение замысла и разоблачение их тайны, Янгар выхватил оружие. Но каким бы метким стрелком он ни был, ему не под силу было соперничать с Фай Родис в скорости реакции. Она успела включить защитное поле. Обе пули, посланные в нее — в живот и в голову,— отраженные, ударили Янгара в переносье и между ключиц. Взор Янгара,

нацеленный на Родис, медленно потух, кровь залила лицо, он опрокинулся навзничь, скользнул по стене и повалился на бок в двух метрах от своей любовницы.

Выстрелы, без сомнения, разнеслись по всему храму. Надо было действовать без промедления. Родис втащила Эр Во-Биа в спальню, прикрыла дверь, распахнула оба окна. Затем разжала ей зубы и влила лекарство. Конвульсивные движения Эр Во-Биа прекратились. Еще немного, и женщина открыла глаза, поднялась шатаясь.

— Кажется... я...— хрипло выдавила она.

— Да. Проделали все то, что ждали от меня.

И вдруг злоба на ее лице стерлась страхом, откровенным, безраздельным и жалким страхом.

— А камера? А Янгар?

— Там,— Родис показала на дверь в соседнюю комнату.— Янгар убит.

— Кто его убил? Вы?

Родис отрицательно покачала головой.

— Сам себя. Собственными пулями.

— И вы знаете все?

— Если вы говорите о ваших с ним отношениях, то да.

Эр Во-Биа упала к ногам Родис.

— Пощадите! Владыка не простит, он не перенесет своего унижения.

— Это я понимаю. Такие, как он, не могут допустить соперничества.

— Его месть невообразима! Изощренные палачи умеют пытать страшно!

— Как и ваш Янгар?

Прекрасная тормансианка поникла головой, моля о пощаде.

Родис вышла в соседнюю комнату и через мгновение вернулась с киноаппаратом.

— Возвращаю,— сказала она, протягивая руку,— за остаток яда.

Вздрогнув, Эр Во-Биа поспешно отдала крошечный пульверизатор.

— Теперь уходите. Через первое окно на галерее. Пригнитесь за балюстрадой. Дойдете до боковой лестницы заднего фасада, спуститесь в сад. Надеюсь, карточка владыки у вас есть?

Эр Во Биа молчаливо стояла перед Родис, застыв в изумлении.

— И не бойтесь ничего. Никто на планете не узнает вашей тайны.

Тормансианка продолжала стоять, пыталась что-то сказать и не могла. Родис осторожно коснулась ее пальцами.

— Бегите, не стойте! Я тоже должна идти.

Родис повернулась, услышала за спиной странные всхлипывания Эр Во-Биа и вышла. В первой комнате перед защитной стенкой СДФ толпились охранники во главе с офицером, в углу лежало тело Янгара.

По-видимому, после разговора с Родис в госпитале владыка планеты отдал распоряжение о незамедлительной связи, так как он тут же появился на импровизированном экране СДФ. Охранники мигом ударились в бегство.

Родис сказала, что Янгар стрелял в нее. Чойо Чагас уже достаточно ознакомился с действием защитных экранов, чтобы понять, что за этим последовало. Впрочем, владыка ничуть не был огорчен гибелью начальника своей личной охраны и первого помощника Ген Ши по безопасности государства, более того, он, казалось, был даже доволен.

Родис некогда было раздумывать над столь сложными отношениями, она опасалась, что после гибели Янгара ее удалят из храма. Владыка предложил ей ради безопасности перебраться снова во дворец, но она

вежливо отказалась, сославшись на якобы непросмотренные материалы, которые живописно громоздились в трех комнатах, подготовленные Таэлем.

— Когда вы закончите работу? — с опаской спросил Чойо Чагас.

— Как условились — недели через три.

— Ах да! Перед отлетом вы должны погостить у меня несколько дней. Хочу еще раз воспользоваться вашим знанием.

— Вы можете пользоваться знанием Земли.

— Как раз этого я и не хочу. Вы предлагаете общее, а мне нужно частное.

— Я готова помочь и в частном.

— Хорошо, помните о моем приглашении! Сейчас я покину вас, ответьте только на один вопрос: что вам известно о людях, которых в прежние времена на Земле называли мещанами? Мне сегодня встретилось такое странное слово.

— Так называлось целое сословие, а затем это определение почему-то перешло на людей, которые умеют только брать, ничего не отдавая. Мало того, они берут в ущерб другим, природе, всей планете — тут нет предела жадности.

— Так это похоже на моих сановников!

— Естественно.

— Почему «естественно»?

— Жадность и зависть расцветают и усиливаются в условиях диктатур, когда не существуют традиции, законы, общественное мнение. Тот, кто хочет только брать, всегда против этих «сдерживающих сил». Бороться же с ними можно только одним путем: уничтожая любые привилегии, следовательно, и олигархию.

— Совет хорош. Вы верны себе. Вот почему...— владыка задумался, будто не находил точного слова,— меня так тянет к вам.

— Наверное, потому, что я одна говорю вам правду?

— Если бы только это!

Чойо Чагас сделал прощальный жест и удалился.

Через несколько минут охранники усердно замывали пол на том месте, где только что лежал труп Янгара, и с суеверным страхом оглядывались на ходившую по комнатам Родис. Ей пришлось выключить СДФ, и она опасалась чрезмерного любопытства «лиловых». Охранники исчезли. Вместо них появился запыхавшийся, едва живой Таэль.

— Моя ошибка! Моя глупость! — закричал он, остановившись на пороге.

Родис спокойно ввела его в комнату и прикрыла дверь — она инстинктивно усвоила эту необходимую для жителя Ян-Ях предосторожность,— а затем рассказала о случившемся.

Тормансианин успокаивался понемногу.

— Я сейчас ухожу и вернусь в подземелье. Мы там будем ждать вас. Не забудьте: сегодня у вас большой и важный прием! — Лукавые морщинки совсем по-земному мелькнули на губах тормансианина.

— Вы интригуете меня,— сказала Родис, улыбаясь.

Инженер смутился, чувствуя, что она читает его мысли, махнул рукой и убежал.

Заперев дверь и насторожив, как обычно, СДФ, Родис спустилась в подземелье.

В святилище Трех Шагов ее ожидали Таэль с Гахденом и незнакомый человек с резкими чертами лица и по-птичьему пристальным взором светло-карих глаз.

— Я поняла,— сказала Родис, прежде чем инженер и архитектор представили посетителя,— вы художник?

— Это облегчает нашу задачу,— сказал Гахден,— если вы поняли, что вам придется быть символом Земли. Ри Бур-Тин, или Ритин,— скульптор и должен исполнить желание многих людей создать ваш портрет. Он один из лучших художников планеты и работает поразительно быстро.

— Из худших! — неожиданно высоким и веселым голосом сказал скульптор.— Во всяком случае, по мнению тех, кто ведает у нас искусством.

— Разве искусством можно «ведать»? — удивилась было Родис, но тут же добавила: — Да, я забываю, что «ведать» у вас означает «охранять», охранять олигархию от посягательства на ее безраздельную власть над духовной жизнью.

— Трудно сказать лучше! — воскликнул скульптор.

— Но ведь есть люди, просто любящие искусство и помогающие ему. Те, которым известно, что и одна роза украшает весь сад.

— Нас любят только нищие, а «змееносцы» невежественны и относятся ко всему слишком утилитарно. Они содержат лишь прислужников от искусства, восхваляющих их. Настоящее искусство — долгий труд. Много ли сумеешь создать, если всю жизнь занят украшением дворцов и садов скульптурной дешевкой! А произведения настоящего искусства, литературы, архитектуры! Для человека это — щит, защита мечтой, не сбывающейся в природном течении жизни.

— Мы называем искусство не щитом, а вехами борьбы с инферно,— сказала Родис.

— Как ни называть, важно, чтобы искусство несло утешение, а не развлечение, увлекало на подвиг, а не давало снотворное, не занималось исканием дешевого рая, не превращалось в наркотик,— сказал Ритин.

— Я помню, как нашу Чеди поразило полное отсутствие скульптур в городе, парках и на площадях. Их считают ненужными?

— Не только. Если скульптура стоит без охраны или не защищена железной решеткой, ее немедленно изуродуют, испачкают надписями, а то и вовсе разобьют!

— У кого поднимется рука на красоту? Разве люди могут обидеть дитя, растоптать цветок, оскорбить женщину?

— И дитя, и цветок, и женщину! — хором ответили все трое тормансиан.

Родис только руками развела.

— Появление подобных людей в обществе вашего типа, видимо, неизбежно. Но известно ли вам процентное соотношение их с нормальными людьми? Возрастает ли их количество или уменьшается? Вот кардинальный вопрос.

Тормансиане безмолвно переглянулись.

— Знаю, знаю: статистика под запретом. И все же вам надо самим собирать сведения, сопоставлять, избавляться от общественной слепоты...— Фай Родис замолчала и вдруг засмеялась: — Я уподобляюсь олигархам и начинаю давать не советы, а как это?..

— Указания,— расплылся в широкой и доброй улыбке архитектор.

— Ну что ж, начинайте, Ритин! Мне встать, сесть или ходить?

Скульптор замялся, завздыхал, не решаясь сказать. Родис догадалась, но не спешила прийти к нему на помощь, глядя на него искоса и выжидательно. Ритин с трудом выговорил:

— Видите ли, земные люди — другие не только лицом, осанкой, но и телом... Оно у вас особенное. Ни в коем случае не легкое, но и не кажется тяжелым. При крепости и массивности тело ваше очень гибко и подвижно.

— Так вы хотите, чтоб я позировала без одежды?

— Если возможно! Только тогда я создам полный портрет женщины Земли!

Тормансиане не успели опомниться, как Родис оказалась еще более далекой и недоступной в гордой своей наготе.

Архитектор, молитвенно сложив руки, смотрел на нее. Он тут же вспомнил фигуры героев, которые были скрыты масками подземелья. В обычном наряде они казались бы грубоватыми. С Родис получилось наоборот: одетая, она казалась меньше и тоньше, а линии ее тела были гораздо резче, контрастнее, чем у скульптур предков в галерее.

Таэль замер, уставившись в пол, и даже прикрыл глаза ладонью. Внезапно он повернулся и скрылся во тьме галереи.

— Несчастный, он любит вас! — отрывисто, почти грубо бросил скульптор, не сводя глаз с Родис.

— Счастливый! — возразил Гахден.

— Берегись! И ты погибнешь! Но молчи! — властно сказал Ритин.— Вы умеете танцевать? — обратился он к Родис.

— Как любая женщина Земли.

— Тогда танцуйте что-нибудь такое, чтоб все тело включилось в танец, каждый мускул!

Скульптор принялся в бешеном темпе набрасывать эскизы на листах серой бумаги. Несколько минут прошли в молчании. Потом Ритин бессильно опустил руки.

— Нельзя! Слишком быстро! Вы двигаетесь так же стремительно, как и думаете. Делайте только концовки, я буду давать знак, и вы «застывайте»!

Так дело пошло лучше.

По окончании сеанса скульптор стал увязывать объемистую пачку набросков.

— Продолжим завтра!.. Впрочем, разрешите мне посидеть, подождать. Вы будете беседовать с «Ангелами», а я еще порисую вас сидящую. Никогда не думал, что люди высшей цивилизации будут такими крепкими!

— Так ошибались не только вы. Многие наши предки думали, что человек будущего станет тонким, хрупким и нежным. Прозрачным цветком на гибком стебельке.

— Вот-вот, вы угадали, даже говорите теми же словами! — вскричал скульптор.

— А чем жить, преодолевая, борясь с жизнью и одновременно радуясь ей? За счет машины? Какая же это жизнь? Чтоб стать матерью, я должна по сложению быть амфорой мыслящей жизни, иначе я искалечу ребенка. Чтобы вынести нагрузку трудных дел, ибо только в них живешь полно, мы должны быть сильными, особенно наши мужчины. Чтобы воспринимать мир во всей его красочности и глубине, надо обладать острыми чувствами. На столе у председателя Совета Четырех я видела символическую скульптуру. Три обезьяны: одна заткнула уши, другая закрыла лапами глаза, третья прикрыла рот. Так, в противоположность этому символу тайны и покорного поведения, человек обязан слышать все, видеть все и говорить обо всем.

— Когда вы объясняете, все становится на место,— сказал скульп-

тор,— но мне от этого не легче с вашей многосторонней особой. Лепные наброски сделаю, когда войду в образ. Странный, небывало прекрасный образ, но не чужой — и от этого еще труднее. Поймите меня, такое нельзя сделать сразу!

— Не убеждайте, я все понимаю. И посижу с вами еще после того, как все уйдут. Но прежде чем явятся «Серые Ангелы», мне надо знать о святилище Трех Шагов. Вы что-нибудь выяснили, Гахден?

— Святилище создано во времена основания храма, когда религиозный культ Времени был в расцвете. Сюда получали доступ только те, кто прошел три ступени испытания или три шага посвящения.

— Так я не ошиблась,— эта вера принесена к вам с Земли! Вера в то, что достичь заслуг можно раз и навсегда, без длительного служения и без борьбы. И вот здесь за два тысячелетия они не смогли добиться даже равновесия сил горя и радости!

— О каких испытаниях вы говорите? — заинтересовался скульптор.

— В любой религии есть испытания перед посвящением в высшее, тайное знание. Их три, три шага к индивидуальному величию и мощи. Как будто может существовать некая особая сила безотносительно к остальному окружающему миру.

Первое испытание, так называемое «испытание огнем» — это приобретение выдержки, высшего мужества, достоинства, доверия к себе, как бы процесс сгорания всего плохого в душе. После испытания «огнем» еще можно вернуться назад, стать обычным человеком. После двух следующих — пути назад отрезаны: сделавший их уже не сможет жить повседневной жизнью.

— И все это оказалось суевериями? — спросил, слегка запинаясь, Таэль, появившийся из галереи.

— Далеко не все. Многое мы взяли для психологической тренировки. Но вера в верховное существо, следящее за лучшими судьбами, была наивным пережитком пещерного представления о мире. Даже хуже — пережитком религиозного изуверства Темных Веков.

В подземелье, оглядываясь, вошли восемь человек с суровыми даже для неулыбчивых тормансиан лицами, в темно-синих плащах, свободно накинутых на плечи.

Архитектор хотел было подвести их к Родис, но шедший впереди небрежно отстранил Гахдена.

— Ты владычица земных пришельцев?.. Мы пришли благодарить тебя за аппараты, о которых мы мечтали тысячелетия. Многие века мы скрывались и бездействовали, а теперь можем вернуться к борьбе.

Фай Родис посмотрела на твердые лица вошедших — они дышали волей и умом. Они не носили никаких украшений или знаков, одежда их, за исключением плащей, надетых, очевидно, для ночного странствия, ничем не отличалась от обычной одежды средних «джи». Только у каждого на большом пальце правой руки было широкое кольцо из платины.

— Яд? — спросила Родис у предводителя, жестом приглашая садиться и показывая на кольцо.

Тот приподнял бровь, совсем как Чойо Чагас, и жесткая усмешка едва тронула его губы.

— Последнее рукопожатие смерти — для тех, на кого падет наш выбор.

— Откуда пошло название вашего общества? — спросила Родис.

— Неизвестно. На этот счет не осталось никаких преданий. Так мы назывались с самого основания, то есть с момента нашего появления на планете Ян-Ях с Белых Звезд, или с Земли, как утверждаете вы.

— Я так и знала. Наименование вашего общества глубже по смыслу и куда древнее, чем вы думаете. В темные Века на Земле родилась легенда о великом сражении Бога и Сатаны, добра и зла, неба и ада. На стороне Бога бились белые ангелы, на стороне Сатаны — черные. Весь мир был расколот надвое до тех пор, пока Сатана с его черным воинством не был побежден и низвергнут в ад. Но были ангелы не белые и не черные, а серые, которые остались сами по себе, никому не подчиняясь и не сражаясь ни на чьей стороне. Их отвергло небо и не принял ад, и с той поры они навсегда остались между раем и адом, то есть на Земле.

Угрюмые пришельцы слушали с загоревшимися глазами: легенда им понравилась.

— Имя «Серых Ангелов» приняло тайное общество, боровшееся со зверствами инквизиции в Темные Века, одинаково против зла «черных» слуг господа и невмешательства, равнодушия «добрых белых». Я думаю, что вы и есть наследники ваших земных братьев.

— Поразительно! — сказал предводитель «Серых Ангелов».— Это придает нам еще больше уверенности.

— В чем? — неожиданно резко спросила Фай Родис.

— В необходимости террора, в переходе от единичных действий к массовому истреблению вредоносных людей, которые необычайно размножились в последнее время!

— Нельзя уничтожать зло механически. Никто не может сразу разобраться в оборотной стороне действия. Надо балансировать борьбу так, чтобы от столкновения противоположностей возникло движение к счастью, восхождение к добру. Иначе вы потеряете путеводную нить. Сами видите, прошли тысячелетия, а на вашей планете по-прежнему несправедливость и угнетение, миллионы людей живут ничтожно краткой жизнью. Искоренять вредоносных людей можно лишь с очень точным прицелом, иначе вы будете бороться с призраками. Ложь и беззаконие создают на каждом шагу новые призраки преступлений, материальных богатств и опасностей. На Земле нарастание таких призраков не было своевременно учтено, и человечество, борясь с ними, лишь укрепляло их психологическое воздействие. Мы всегда помним, что действие равно противодействию, и соблюдаем равновесие. А у вас слепые нападения вызовут рост страдания народа, углубление инферно. В этом случае вы сами должны быть уничтожены.

— Так вы считаете нас ненужными? — последовал грозный вопрос.

— Более того — вредными, если вы не искорените главные источники зла, то есть, как в древности говорили охотники, не станете бить по убойным местам олигархии. Но это только один шаг вперед. Он бесполезен без второго и третьего. Недаром святилище это называется именем Трех Шагов.

Родис остановилась, внимательно смотря на предводителя «Серых Ангелов».

— Продолжайте,— тихо сказал он,— ведь мы пришли выслушать ваши советы. Поверьте, у нас нет иной цели, как облегчить участь народа, сделав счастливее родную планету.

— Я верю вам и в вас,— сказала Родис.— Но согласитесь: если на планете царствует беззаконие и вы хотите установить закон, то вы должны быть не менее могучи, пусть незаметной, теневой стороны жизни, чем олицетворяющее беззаконие олигархическое государство. Неустойчивость плохо устроенного общества, по существу, состоит в том, что оно всегда на краю глубокой пропасти инферно и при малейшем потря-

сении валится вниз, к векам Голода и Убийства. Полная аналогия с подъемом на крутую гору, только здесь вместо силы тяжести действуют первобытные инстинкты людей. Так и вы, если не обеспечите людям большего достоинства, знания и здоровья, то переведете их из одного вида инферно в другой, скорее худший, так как любое изменение структуры потребует дополнительных сил. А откуда взять эти силы, как не от народа, уменьшая его и без того скудный достаток, увеличивая тяготы и горе!

— Но мы тонем в бедности! Значит, нам никогда не сдвинуться с места?

— Бедность бывает разная, и материальная бедность планеты Ян-Ях еще не гибельна. Потому что она найдет выход в духовном богатстве. Но для этого нужна основа — библиотеки, музеи, картинные галереи, скульптуры, прекрасные здания, хорошая музыка, танцы, песни. И пресловутое неравенство распределения материальных вещей не последняя беда, если только правители не стараются сохранить свое положение через духовную нищету народа. Великие реформаторы общества Земли прежде всего учили беречь психическое богатство человека. Сберечь его можно лишь в действии, в активной борьбе со злом и в помощи собратьям, иными словами — в неустанном труде. Борьба же вовсе не обязательно требует уничтожения. Есть величайший фактор отражения, отбрасывания в психологическом плане, и он доступен каждому человеку, разумеется, при соответствующей тренировке. То, что считается у вас магнетическими, колдовскими силами, давно применяется нами даже в детских играх «исчезновения» и «ухода в зазеркалье». Для того чтобы высшие силы человека ввести в действие, нужна длительная подготовка, точно такая же, какую проходят художники, готовясь к творчеству, к высшему полету своей души, когда приходит, как будто извне, великое интуитивное понимание. И здесь тоже три шага: отрешение, сосредоточение и явление познания.

— А как вы думаете, владычица землян, на Ян-Ях народ намеренно удерживают на низком духовном уровне? — спросил предводитель.

— Мне кажется — да!

— Тогда мы начинаем действовать! Как бы ни охраняли себя владыки и «змееносцы», они не спасутся. Мы отравим воду, которую они пьют из особых водопроводов, распылим в воздухе их жилищ бактерии и радиоактивный яд, насытим вредоносными, медленно действующими веществами их пищу. Тысячи лет они набирали свою охрану из самых темных людей. Теперь это невозможно, и «джи» проникают в их крепости.

— Ну и что? Если народ не поймет ваших целей, произойдет лишь смена олигархов. Повторяю: вы сами станете олигархами, но ведь вам не это нужно?

— Ни в коем случае!

— Тогда подготовьте понятную всем программу действий, а главное — создайте справедливые законы. Законы не для охраны власти, собственности или привилегий, а для соблюдения чести, достоинства и для умножения духовного богатства каждого человека. С законов начинайте создание Трех Шагов к настоящему обществу: закона, истинно общественного мнения, веры людей в себя. Сделайте эти три шага — и вы создадите лестницу из инферно.

— Но это же не террор!

— Конечно. Это революция. Но в ней «Серые Ангелы», если они подготовлены, могут держать в страхе вершителей беззакония. Но без общего дела, без союза «джи» и «кжи» вы превратитесь в кучку оли-

гархов. И только! С течением времени вы неизбежно отойдете от прежних принципов, ибо общество высшего, коммунистического порядка может существовать только как слитый поток, непрерывно изменяющийся, устремляясь вперед, вдаль, ввысь, а не как отдельные части с окаменелыми привилегированными прослойками.

Предводитель «Серых Ангелов» поднял ладони к вискам и поклонился Родис.

— Здесь надо еще много думать, но я вижу свет,— сказал он.

Завернувшись в плащи, «Серые Ангелы» удалились в сопровождении Таэля. Родис откинулась в кресле, положив ногу на ногу. Перед нею устроился скульптор Ритин; полностью уйдя в свои наброски, он потихоньку напевал что-то очень знакомое. Фай Родис вспомнила: это была древняя мелодия Земли, вспомнила и слова к ней: «Мне грустно потому, что я тебя люблю». Поразительно, как музыка, вставшая из глубины веков, соединила обе планеты, пробилась в чувствах землян и тормансиан одинаковой струйкой прекрасного. И в самой Фай Родис сквозь бремя долга и тревогу за будущее этого народа пробилась уверенность в успехе земной экспедиции.

Глава XII

ХРУСТАЛЬНОЕ ОКНО

Перед выходом на улицу Вир Норин осмотрел себя перед зеркалом. Он старался не выделяться среди жителей столицы и подражал им даже в походке. Люди отличного сложения и могучей мускулатуры на Тормансе были в общем не так уж редки: профессиональные спортсмены — борцы, игроки в мяч, цирковые силачи. Но, пожалуй, наблюдательный глаз отличил бы Вир Норина и от них по молниеносной реакции, с которой он продвигался в толпе.

Вир Норин направлялся в медико-биологический институт. Ученые Ян-Ях соединили эти две ветви естественных наук.

На улице все подчинялось спешке бесконечного потока прохожих, подгоняемых постоянным опасением опоздать из-за неумения распоряжаться своим временем, из-за плохой работы транспорта и мест распределения, вернее продажи, товаров. Беспокойно торопились мужчины; женщины, тонкие, как стебельки, шли неровной походкой, испорченной неудобной обувью, таща непосильные для них сумки с продуктами. Это были «джи». «Кжи» шли гораздо быстрее. Тени усталости уже бороздили их лица, под глазами набухали оплывины, морщинки горечи окружали сухие, потрескавшиеся губы. Женщины все, как правило, сутулили плечи, скрывая груди, стыдясь их. Ходившие слишком гордо и прямо принадлежали к тем, кто продавал себя за деньги или обеспеченную жизнь, а обычная женщина, шедшая смело, с красивой осанкой, в любую минуту могла подвергнуться оскорблениям.

Поразительным образом эта сексуальная дикость уживалась с существованием роскошно обставленных Домов Еды, где в позднее время и за дорогую плату танцевали, пели и даже подавали купанья обнаженные до пояса, а то и совсем нагие девушки. Очень неровные, неустойчивые общественные и личные отношения, в которых чувство человеческого

достоинства и заботы сменялись злобой и грязной руганью, необъяснимая смесь хороших и плохих людей — все это напоминало Вир Норину неотрегулированный прибор, когда за стеклом испытуемого индикатора пики и спады сменяются в причудливом танце.

Вир Норин всегда радовался, если среди множества встречных прохожих, одинаково удрученных усталостью или заботой, ему попадались чистые, мечтательные глаза, нежные или тоскующие. Так можно было без всякого ДПА отличить хороших людей от опустошенных и сникших душ. Он сказал об этом Таэлю. Инженер возразил, что столь поверхностное наблюдение годится лишь для первичного отбора. Неизвестной остается психологическая стойкость, глубина и серьезность стремлений, опыт прошлой жизни. Астронавигатор согласился, но продолжал жадно искать эти признаки настоящей жизни в тысячах встречавшихся прохожих.

Институт, пригласивший Вир Норина, занимал новое здание простой и четкой архитектурной формы. Все говорило о том, что в нем должны были хорошо сочетаться удобства работы и обслуживания. Громадные окна давали массу света. («Слишком много,— подумал Вир Норин,— при отсутствии затемняющих устройств и светофильтров».) Но тонкие стены не спасали от уличного шума, потолки были низкие, а вентиляция плохая. Впрочем, повсюду духота и теснота были неизменными спутниками жизни города Средоточия Мудрости. Старинные здания, построенные до начала жилищного кризиса, по крайней мере обладали массивными стенами и высокими этажами, поэтому в них было и тише и прохладнее.

Лиловый страж в вестибюле подобострастно вскочил, увидев карточку Совета Четырех. Первый заместитель директора спустился с верхнего этажа и любезно повел земного гостя по институту.

На третьем — биофизическом — этаже вычислительные машины рассчитывали приборы, по действию аналогичные ретикулярным компараторам Земли. Астронавигатора привели в освещенный неяркими розоватыми лампами проход, левую стену которого составляло окно из цельного, хрустально-прозрачного стекла длиной в несколько метров, отделявшее коридор от помещения лаборатории. Громадный зал, полностью лишенный естественного света, низкий, подпертый четырьмя квадратными колоннами, был бы похож на выработанный горизонт подземного рудника, если бы не полосы голубоватых светящихся трубок в потолке и серебристо-серая отделка гладких стен. Унылое однообразие: ряды одинаковых столов и пультов, мужчины и женщины в желтых халатах и шапочках согнулись над столами в позах крайнего сосредоточения. Вир Норин успел заметить, что люди приняли эти позы, едва в проходе появился заместитель директора. Тормансианин довольно хихикнул.

— Удобно придумано! Прохаживаясь здесь, мы, администраторы, следим за каждым работающим. Много бездельников, надо подгонять!

— Других способов нет? — спросил Вир Норин.

— Этот наилучший и самый гуманный.

— И так устроено в каждой лаборатории?

— В каждой, если институт помещается в новом здании. Старые оборудованы гораздо хуже, и нам, начальникам, приходится труднее. Ученые болтают во время работы о всякой чепухе, не дорожат временем, которое принадлежит государству. Нужно почаще их проверять.

Видимо, наука Ян-Ях, как все другие виды деятельности, носила принудительный характер. Разбитое на мелкие осколки знание интересовало людей не более, чем всякая работа, в которой не видишь смысла и цели. Имели значение только ученая степень и должность, дающие привилегии. Обрывки научных сведений, добытых в рядовых институтах,

обрабатывались и использовались учеными высшего класса, работавшими в лучше оборудованных и недоступных, точно крепости, институтах, охраняемых «лиловыми». Все сколько-нибудь талантливые ученые были собраны в столице и двух-трех крупных городах по обоим берегам Экваториального океана. В такое учреждение высшего класса и пришел Норин в поисках подлинных интеллигентов, искателей знания во имя счастья человечества Ян-Ях, таких, как инженер Таэль и его друзья.

Астронавигатор и заместитель директора обошли здание. Все лаборатории были построены однотипно, различаясь лишь аппаратурой и числом работавших.

— Вернемся в секцию вычислительных машин,— предложил Вир Норин,— меня заинтересовал рассчитываемый аппарат. Если позволите, я расспрошу биофизиков.

— Они мало что смогут вам сказать. Сейчас они заняты характеристикой потоков входа и выхода. Казалось бы, простая вещь, но уловить количественные соотношения пока не удается.

— А вы знаете назначение прибора?

— Разумеется. Не имею данных о вашей компетенции, но попробую объяснить,— важно заметил заместитель директора.— Сетчатая, или ретикулярная, структура головного мозга переводит в сознание устойчивые ассоциации...

— Простите, это на Земле давно известно. Меня интересует лишь назначение аппарата. У нас нечто похожее служит для выбора наиболее эффективного сочетания людей в рабочих группах узкого назначения.

— Больно уж сложно! Нам нужен прибор для распознания и последующего вылущивания возвратных ассоциаций, неизбежно повторяющихся у всех без исключения людей. У многих они настолько сильны, что создают устойчивое сопротивление внедрению мудрости и воспитанию любви к Великому.— Заместитель директора автоматически согнулся в почтительном поклоне.

— Все понятно,— ледяным тоном сказал Вир Норин,— благодарю. Мне в самом деле незачем идти в лабораторию.

— Наши ученые хотят увидеться с вами,— поспешно сказал заместитель директора,— но сейчас они рассеяны по рабочим местам. Придется подождать, пока все соберутся. Может быть, вы придете к нам в «мастерскую»? Так называются вечерние наши собрания, где мы развлекаемся, проводим дискуссии или устраиваем просмотры каких-нибудь зрелищ.

— Что ж,— улыбнулся астронавигатор,— видимо, это я буду и развлечением, и зрелищем, и дискуссией.

— Что вы, что вы! — смутился заместитель директора.— Наши люди хотят побеседовать с земным коллегой, расспросить вас и ответить на ваши вопросы.

— Хорошо,— согласился Вир Норин и не стал задерживать его расспросами, понимая, что администратору необходимо провести соответствующую подготовку,— я приду вечером.

Он направился на главный почтамт. Там, как с гордостью рассказывали жители столицы, действовали современные машины. Они выдавали письма, по шестизначным символам мгновенно сортируя прибывшую корреспонденцию для тех, кто не хотел воспользоваться видеосетью, опасаясь разглашения их личных тайн. Люди не знали, что при малейшем подозрении письма перебрасывались в соседнюю машину, просвечивающую и заснимавшую содержание на пленку. При вызове кода получатель автоматически фотографировался на ту же пленку...

Другие машины давали всевозможные справки, вплоть до определения способностей, и советы в выборе нужного в столице вида работы.

Старинное, хорошо построенное здание почтамта состояло из гигантского зала, окруженного пультами автоматических машин. Слегка светящиеся иероглифы над каждым пультом подробно объясняли, какие манипуляции следовало проделать, чтобы получить корреспонденцию, совет или справку. Очевидно, в тормансианских школах не обучали обращению с машинами общественного пользования. По залу прохаживались одетые в коричневую форму инструкторы, готовые прийти на помощь посетителям почтамта. Они разгуливали с надменно-недоступным видом, подражая двум «лиловым», разместившимся в разных концах зала. Вир Норин не заметил, чтобы посетители обращались к этим высокомерным и недобрым советчикам. Чеди была права, говоря, что они производят на нее отталкивающее впечатление,— от них веет злобой и душевной пустотой.

Это «нелюди» из древних русских сказок, внешне в человеческом образе, но с душой, полностью разрушенной специальной подготовкой. Они сделают все, что прикажут, не думая и не ощущая ничего.

Вир Норин подошел к машине для определения способностей, стараясь проникнуться чувствами тормансианина, приехавшего в столицу издалека (чем дальше от центра, тем хуже обстояло дело с образованием и уровнем быта), чтоб найти здесь обновление своей жизни. Он проделал перечисленные в таблице манипуляции. В окошечке наверху вспыхнул оранжевый свет, и бесстрастный голос рявкнул на весь зал: «Умственные способности низкие, психическое развитие ниже среднестоличного, туп и глуп, но мышечная реакция превосходная. Советую искать работу водителя местного транспорта».

Вир Норин с недоумением посмотрел на автомат: индикаторы высокого пульта погасли, исчез и свет в верхнем окошечке. Позади засмеялись, астронавигатор оглянулся. Несколько человек подходило к автомату. Увидив замешательство Вир Норина, они поняли его по-своему.

— Чего стал, будто потерянный? Водительская работа для тебя, что ли, не хороша, вон какая здоровенная дубина! Проходи, не задерживай! — закричали они, слегка подталкивая астронавигатора. Вир Норин хотел было сказать им, что подобная характеристика не соответствует его представлению о себе, но понял, что объясняться бесполезно, и отошел в почти безлюдную часть зала, где продавались книги и газеты.

Впрочем, он быстро понял кажущуюся нелепость выводов автомата. Машина запрограммирована соответственно нормам Торманса, они не в состоянии понять показатели, ушедшие за пределы высшего уровня, и неизбежно посчитала их за пределами низшего уровня. То же самое случилось бы и с тормансианином выдающихся способностей — закономерность капиталистического общества, ведущая к Стреле Аримана. В здешней литературе пишут гораздо больше о плохом, чем о хорошем. Слово о злом и темном несет больше информации, чем о хорошем и светлом, потому что повседневный опыт количественно набирает больше плохого. По той же причине легче верят плохому и злому: зло убедительнее, зримее, больше действует на воображение. Фильмы, книги и стихи Торманса несравненно больше говорят о жестокостях, убийствах, насилиях, чем о добре и красоте, которые к тому же труднее описывать из-за бедности слов, касающихся любви и прекрасного.

Столкновения и насилие стали основой, содержанием всякого произведения здешнего искусства. Без этого жители Торманса не проявляют интереса к книге, фильму или картине. Правда, есть одно непременное

условие. Все ужасное, кровь и страдания должны или относиться к прошлому, или изображать столкновения с вторгнувшимися из космоса врагами. Настоящее было принято изображать спокойным и невероятно счастливым царством под мудрой властью владык. Только так, и не иначе! Для тормансианина искусство, относящееся к сегодняшнему дню, лишено всякого интереса. «Глухая скука от этого искусства расползается по всей планете»,— как-то метко сказала Чеди.

Причина всех этих явлений одна: плохого в этом мире всегда было больше, чем хорошего. Количество трудностей, несчастий, скуки и горя, по приблизительным подсчетам земной Академии Горя и Радости для ЭРМ, превосходило счастье, любовь и радость в пятнадцать-восемнадцать раз по косому срезу среднего уровня духовных потребностей. Вероятно, на Тормансе сейчас то же самое. Опыт поколений, накапливающийся в подсознании, становится преимущественно негативным. В этом и заключается сила зла, мощь Сатаны, как говорили в древности религиозные люди. Чем древнее был народ, тем больше в нем накапливалось, подобно энтропии, этого негативного опыта. Тормансиане — потомки и братья землян — прожили лишних два тысячелетия в неустройстве, под ударами Стрелы Аримана, и в отрицании добра они куда древнее земного человечества...

Огорченно вздохнув, Вир Норин огляделся и встретился взглядом с девушкой, облокотившейся на выступ стены недалеко от книжного киоска: громадные глаза, по-детски тонкая шея и очень маленькие руки, нервно перебиравшие листки желтой бумаги, очевидно письма. Норину передалось ее чувство тревожной тоски. Редкие крупные слезы одна за другой катились из-под длинных ресниц девушки. Острое, дотоле не испытанное сострадание резануло астронавигатора. Не решаясь сразу вот так заговорить с незнакомкой, он раздумывал, как бы помочь ее горю. Более смуглая, чем у столичных жителей, кожа выдавала обитательницу хвостового полушария. Короткое и легкое платье открывало стройные, сильные ноги. Странный цвет волос — черный с пепельной подцветкой — выделялся среди обычных черных с красноватым отливом голов тормансиан и гармонировал с серыми глазами девушки. Посетители почтамта сновали вокруг. Мужчины иногда окидывали ее наглыми взглядами. Девушка отворачивалась или опускала голову, притворяясь углубленной в письмо.

Чем больше наблюдал Вир Норин за незнакомкой, тем сильнее ощущал в ней душевную глубину, какую он редко встречал в тормансианах, обычно лишенных самовоспитания и психической культуры. Он понял, что она явно на грани большой беды.

Вир Норин знал, что подойти запросто к понравившемуся человеку и заговорить с ним здесь нельзя. Душевная нежность, столь естественная на Земле, вызывала на Тормансе только настороженность и отталкивание. Люди постарше, из «джи», боялись, что заговоривший с ними человек окажется тайным шпионом государства, провокатором, выискивающим мнимых антиправительственных заговорщиков из тех, что миновали испытание «Встречи со Змеем». Женщины помоложе боялись мужчин. Размышляя, Вир Норин вновь встретился взглядом с незнакомкой и улыбнулся ей, вложив в эту улыбку всю внезапно родившуюся симпатию и готовность прийти на помощь.

Девушка вздрогнула, на секунду лицо ее отвердело, и в глазах встала непроницаемая завеса. Но сила доброты, которой светились глаза землянина, победила. Она печально и слабо улыбнулась в ответ, напомнив Вир Норину персонаж исторических фресок в музее Последней Эллады на

острове Хиос. Тормансианка смотрела теперь на него внимательно и удивленно.

Вир Норин подошел к ней так быстро, что девушка отступила в испуге и вытянула руку, как бы намереваясь оттолкнуть его.

— Кто ты? Совсем другой.— Тормансианка опять посмотрела на астронавигатора и повторила: — Совсем другой.

— Не мудрено,— улыбнулся Вир Норин,— я приехал издалека. Очень! Но я здесь в безопасности, а что угрожает вам? Какая невзгода приключилась с вами? — и он показал на листок письма.

— Как ты смешно говоришь, я ведь не из высоких людей столицы,— улыбнулась девушка и, борясь с подступавшими слезами, добавила: — У меня все рухнуло. Я должна возвращаться назад, а для этого...— Она умолкла и отвернулась, подняв голову к литому чугунному фризу и делая вид, что рассматривает сложную вязь иероглифов и змей.

Вир Норин взял маленькую обветренную руку. Тормансианка посмотрела на собственную ладонь, как бы удивляясь, почему она очутилась в такой большой руке.

Очень скоро Вир Норин знал все. Сю Ан-Те, или Сю-Те, приехала из хвостового полушария, из неизвестного астронавигатору города, где по каким-то важным причинам (он не стал расспрашивать) ей нельзя было больше оставаться, приехала в столицу, к брату, работавшему на литейном заводе. Брат — единственный, кто был у Сю-Те на свете, он мечтал устроить ее в столице, выучить пению и танцам. При успехе она могла бы сделаться «джи». Это было всегдашней мечтой брата, беззаветно любившего сестру,— явление не частое в семьях тормансиан. Почему-то брату больше всего на свете хотелось, чтобы Сю-Те жила долго, хотя он сам оказался неспособен получить необходимое образование для того, чтобы стать «джи».

Пока Сю-Те добиралась до столицы, брат получил серьезную травму на производстве, и его раньше срока послали во Дворец Нежной Смерти. Жалкое имущество и, главное, сбережения, которые он откладывал, ожидая приезда Сю-Те, растащили соседи. Перед смертью он послал Сю-Те прощальное письмо, зная, что по приезде она пойдет на почтамт получить инструкцию, как его найти в столице, и вот... Сю-Те протянула желтые листочки.

— Как вы теперь намереваетесь поступить? — спросил Вир Норин.

— Не знаю. Первой мыслью было пойти во Дворец Нежной Смерти, но там найдут, что я слишком молода и здорова, и отправят куда-нибудь, где будет хуже, чем там, откуда я приехала. Особенно потому...— Она замялась.

— Что вы красивы?

— Скажите лучше: вызываю желание.

— Неужели трудно найти доброго человека в таком большом городе и попросить у него помощи?

Сю-Те посмотрела на землянина с оттенком сожаления.

— Действительно, ты издалека, может быть, из лесов, какие, говорят, еще растут в хребтах Красных Гор и Поперечного кряжа.

Видя недоумение Вир Норина, Сю-Те пояснила:

— Мужчины охотно бы дали мне денег, которые пришлось бы тут же отработать?

— Отработать?

— Ну да! Неужели ты не понимаешь! — нетерпеливо воскликнула девушка.

— Да, да... А женщины?

— Женщины только оскорбили бы меня и посоветовали бы идти работать. Наши женщины не любят молодых, более привлекательных для мужчин, чем они сами. Женщина женщине всегда враг, пока не состарится.

— Теперь я понимаю вас. Простите чужеземца за бестолковый вопрос. Но, может быть, вы согласитесь принять помощь от меня?

Девушка вся напряглась, раздумывая и изучая лицо Вир Норина, затем слабая усмешка тронула ее детский рот.

— Что ты подразумеваешь, говоря «помощь»?

— Сейчас мы пойдем в гостиницу «Лазурное Облако», где я живу. Там найдем комнату для вас, пока вы не устроитесь. Пообедаем вместе, если вы захотите быть моей спутницей. Затем вы займетесь своими делами, а я — своими.

— Ты, должно быть, могущественный человек, если живешь в верхней части города, в гостинице, и я сама не знаю, почему так смело говорю с тобой. Может, ты принял меня за другую? Ведь я обыкновенная глупая «кжи» из далекой местности! И я ничего не умею...

— А петь и танцевать?

— Немного. Еще рисовать, но кто этого не умеет?

— Три четверти города Средоточия Мудрости!

— Странно. У нас в захолустье поют старые песни и много танцуют.

— И все-таки я не принимаю вас за другую. Я не знаю ни одной женщины в столице.

— Как это может быть? Ты такой... такой...

Вместо ответа Вир Норин подхватил девушку под руку, как это принято у жителей столицы, и стремительно повел ее в гостиницу. Сю-Те была быстра, ловка и сразу освоилась с походкой астронавигатора. Они поднялись на холм, к желтому с белым зданию «Лазурного Облака» и вошли в низкий вестибюль, затемненный так сильно, что даже днем его освещали зеленые лампы.

— Сю-Те нужна комната,— обратился Вир Норин к дежурному.

— Ей? — бесцеремонно ткнул пальцем в сторону девушки молодой тормансианин.— Документы!

Сю-Те покорно и взволнованно пошарила в небольшой сумочке у пояса и достала красную бумажку.

Дежурный даже присвистнул и не захотел ее взять.

— Ого, а где карточка приема в столицу?

Девушка, смущаясь, начала объяснять, что карточку должен был приготовить брат, но он...

— Все равно! — грубо перебил дежурный.— Ни одна гостиница в городе Средоточия Мудрости тебя не пустит! И не проси, это бесполезно!

Вир Норин, сдерживая накипевшее возмущение, совершенно неприличное для земного путешественника, пустился убеждать дежурного. Однако даже всесильная карточка гостя Совета Четырех не помогла.

— Я потеряю место, если пущу человека, не имеющего документов. Особенно женщину?

— Почему «особенно женщину»?

— Нельзя поощрять разврат.

Впервые Вир Норин ощутил на себе гнетущую зависимость тормансиан от любого мелкого начальника — обычно скверного человека.

— Но я ведь могу принимать друзей?

— Конечно. У себя — пожалуйста! Однако ночью могут прийти «ли-

ловые» с проверкой, и тогда будут неприятности — для нее, конечно! Где же она?

Вир Норин оглянулся. В разгаре спора он не заметил, как Сю-Те исчезла. Чувство огромной утраты заставило его в мгновение ока выскочить на улицу, ошеломив даже видавшего виды дежурного. Изощренная нервная чувствительность толкнула Вир Норина налево. Через минуту он увидел Сю-Те впереди. Она шла, опустив голову, продолжая сжимать в кулачке свой бесполезный красный «документ».

Ни разу еще Вир Норин не испытывал такого стыда за невыполненное обещание. И еще что-то примешивалось к этому — смутное и чрезвычайно неприятное, может, чувство древнего мужского достоинства, которое было попрано в глазах прелестной женщины, очутившейся к тому же в беде.

— Сю-Те,— позвал он.

Девушка обернулась, мгновенная радость промелькнула в ее лице, чуть подняв уголки скорбно сложенных губ, от одного вида которых стеснилось сердце землянина. Он протянул ей руку.

— Пойдемте!

— Куда? Я и так доставила тебе неприятности. Я вижу, ты здесь такой же чужой, как я, и не знаешь, что можно и что не позволено. Прощай!

Сю-Те говорила с проникновенной убежденностью. Мудрая печаль светилась в ее больших глазах, невыносимая для земного человека, с рождения воспитанного для борьбы против страдания.

Астронавигатор не желал применять психическую силу, чтобы подчинить девушку своей воле, но ему нечем было убедить ее.

— Мы зайдем ко мне. Ненадолго! Пока я не поговорю с друзьями и не найду комнаты для вас, а заодно и для себя. Прежде мне гостиница была безразлична, а теперь отвратительна.

Сю-Те покорилась. Они снова вошли в вестибюль, где дежурный встретил их циничной усмешкой. Вир Норину захотелось наказать его: через несколько секунд дежурный подполз к Сю-Те, протягивая ей ключ от комнаты Вир Норина. На Тормансе все общественные учреждения и комнаты старательно запирались — слабая попытка бороться с чудовищно распространенным воровством. С умильной физиономией дежурный поцеловал запыленную ногу девушки. Она обомлела и пустилась бежать. Вир Норин поймал ее за руку и повел в отведенные ему двухкомнатные апартаменты, считавшиеся роскошью у столичных гостей.

Он усадил свою усталую и потрясенную до глубины души гостью в мягкое кресло. Заметив, что она нервно облизывает пересохшие губы, дал ей напиться; положив руку на горячий лоб Сю-Те, успокоил ее и лишь после этого вызвал из-под кровати девятиножку. СДФ темно-сливового цвета тихо загудел, Сю-Те вскочила, переводя взгляд с машины на Вир Норина со смешным выражением опаски и восторга.

Вир Норин принялся было вызывать Таэля, но нашел лишь дежурного по связи с землянами, из единомышленников инженера. Вир попросил дежурного найти ему пристанище среди «джи».

Окончив разговор, он переключил СДФ на прием, уселся рядом с Сю-Те и стал расспрашивать ее, пока не почувствовал, что она успокоилась и лишь борется с тяжелой усталостью. Ничего не стоило погрузить в крепкий сон девушку, послушно свернувшуюся клубочком в кресле. Сам Вир терпеливо выжидал, пока заговорит СДФ, тоже отдыхая перед посещением «мастерской» медико-биологического института. Прошло более двух часов. Раздался едва слышный вызывной сигнал, и на экране появился встревоженный Таэль, всегда опасавшийся несчастий.

Вир Норин тут же получил адрес. В кварталах, занятых домами «джи» где жил одинокий профессор Ассоциации Архитектуры, к услугам землян нашлось две удобные комнаты. Там обитала в основном техническая интеллигенция, среди которой немалую роль играли единомышленники Таэля, из числа смотревших фильмы «Темного Пламени».

Сю-Те проснулась и осматривалась, натягивая на колени измятое платье.

— Идите умойтесь,— весело предложил астронавигатор,— и мы пойдем обедать, а потом — на квартиру. Комната найдена, только она будет рядом с моей. Это вам не помешает?

Сю-Те радостно хлопнула в ладоши.

— Вовсе нет! Так скоро? Ох, как я долго спала! Последние две ночи я ехала, стоя в коридоре, у меня кончились деньги...

— Так вы очень голодны! Идемте же!

Они зашли в большой Дворец Питания, хорошее, по меркам Ян-Ях, здание с оправленными в железо стеклянными дверями и отделкой из полированного камня.

Сю-Те, смущаясь своего легкого, дешевого платья — в эти часы женщины обычно носили брюки,— забилась в угол и оттуда с любопытством следила за незнакомой обстановкой и поведением столичных людей. Вир Норин тоже любил это делать в свободные минуты. Им подали обед. Украдкой поглядывая на свою спутницу, он удивился, как красиво, без жадности и без нарочитой манерности ела эта, без сомнения, очень голодная девушка. Совсем как жительница Земли. Вир Норин лишь после узнал, что Сю-Те не получила воспитания и ее приятные манеры объяснялись врожденной душевной деликатностью.

Недалеко от них, у полированной колонны из серого искусственного мрамора, сдвинув несколько столиков, расположилась шумная и развязная компания молодых людей. Вир Норин и Сю-Те могли свободно обмениваться впечатлениями, не привлекая ничьего внимания. Между столами танцующей походкой прохаживалась девушка в красно-коричневом платье, на редкость хорошо сложенная для тормансианки. Она ходила прямо и гордо, умное ее лицо с задумчивым и грустным выражением было вызывающе накрашено. Среди посетителей и подавальщиц она производила впечатление редкости, но легкий налет вульгарности прикрывал ее изящную манеру держаться. Ноги девушки в золотых туфлях с высокими каблуками ступали легко и вкрадчиво.

— Смотрите, какие красивые ноги! — воскликнула Сю-Те.

Астронавигатор покосился на маленькие ступни своей спутницы, обутые в сандалии-подошвы с двумя ремешками, сходившимися между большими и вторыми пальцами. Ровные, как у детей, ноги Сю-Те казались босыми и беззащитными. Она спрятала их под стол и повторила:

— Смотрите, как она печальна. Это участь всех красивых девушек. Может быть, ей надо сказать утешение, как и мне?

Астронавигатор промолчал, подумав, что Сю-Те недаром обратила внимание именно на эту девушку. И та и другая выделялись своей серьезностью среди других молодых женщин с их нервной крикливостью и кривляньем, считавшимися модными в столице Торманса.

— Я чувствую, ты совсем необыкновенный человек. Может быть,— в глазах Сю-Те мелькнул испуг,— переодетый «змееносец»?

— Вы когда-нибудь слыхали, чтобы хоть один «змееносец» помогал первым встречным? — улыбнулся Вир Норин.

— Никогда! — обрадовалась девушка.— Но почему ты не говоришь мне «ты», как принято у нас? Почему?

— Объясню потом.

Конец обеда прошел в молчании. Притихшая Сю-Те пошла за Вир Норином в поисках дома с обещанным жильем. Они заблудились в старой части города, с темными, кривыми улочками. Вир Норин остановил прохожего «кжи».

— Поднимайся направо,— сказал тот,— увидишь кварталы серых домов вроде бы из кирпича. Как залают собаки, можно считать, что пришел.

В кварталах домов «джи» Вир Норин и раньше видел немало собак, которых на поводках прогуливали женщины. В других местах города он не заметил никаких домашних животных. Для землянина не было сомнения, что собаки завезены сюда с родной планеты, их поразительное сходство с земными не могло быть случайным.

— Здесь слишком много собак! — удивилась Сю-Те.— Зачем они?

— Наверное, у долгоживущих есть время, чтобы уделять его животным. Мне всегда собаки казались пленниками тесных домов и комнат, годных разве что для кошек...

— И для человека,— вставила Сю-Те.

— Да, к сожалению. Наиболее восторженными любителями собак иногда бывают одинокие неврастеники или обиженные чем-то люди. Для них привязанность собаки служит опорой, как бы убеждая их, что и они для кого-то высшие существа. Удивительно, насколько многолико это стремление быть высшим существом! Опасность, недооцененная психологами древности!

— Нашими психологами в древности? Ты знаешь историю?

— Немного.

— Как бы мне хотелось знать ее побольше! История была для меня самым интересным предметом в школе...

Хозяин квартиры оказался дома. Высокий, старый «джи» низко поклонился астронавигатору, осторожно пожал руку Сю-Те. В темной узкой передней Вир Норин обратил внимание на массивную входную дверь с несколькими сложными замками.

— Это не против ворья,— пояснил хозяин,— они, если захотят, все равно вломятся.

— Неужели?

— Конечно. Я думаю, немногие отдают себе отчет, насколько мы, «джи», беспомощны перед хулиганами и ворами. Обороняться нам нельзя. Даже если бы имели оружие! Приходится отвечать за причиненное увечье, если бы на тебя даже нападали с ножом. Меня удивляет, как еще мало «кжи» используют предоставленные им государством возможности: врываться в квартиры, избивать, оскорблять.

— Зачем же государству поощрять безобразия?

— Очень просто. Это дает разрядку недовольным жизнью и видимость свободы. Воры не так страшны, они ограничатся кое-какими вещами. Куда опасней «глаза владыки»! Они подбирают ключи, шарят по квартирам в надежде найти запрещенные книги, песни, личные дневники, письма.

— И это все запрещено?

— Вы с неба свалились?! Ах, простите, в самом деле!..— хозяин смешался.

Вир Норин попросил отвести их в комнаты.

Квадратные, задрапированные коврами и занавесями, они показались Сю-Те очень уютными. Выбрав по настоянию хозяина комнату, выступавшую — в виде фонаря — на улицу, она с трудом сдерживала слезы благодарности.

— Я знаю, молодые девушки любят мечтать, наблюдая идущую мимо жизнь,— неожиданно ласково сказал профессор.

— У вас есть дочери? — спросила Сю-Те.

— Была...— Умерла во Дворце Нежной Смерти: оказалась «кжи» по способностям и не захотела воспользоваться моим правом.

— Каким? — тихо спросил Вир Норин.

— Правом сохранить одного человека из моей семьи, даже если он «кжи». Для ухода за будущим стариком, еще нужным для государства. И вот не осталось никого...

Вир Норин переменил тему разговора, попросив позволения попозже привести СДФ, чтобы не привлекать внимания.

Хозяин одобрил эту осторожность.

— А вас, Сю-Те,— сказал Вир Норин,— я попрошу не ходить никуда, пока не получите карточки для полноправного житья в столице.

— Не беспокойтесь! Я присмотрю за ней и никуда не выпущу вашу птичку. Верно, она похожа на гитау?

Вир Норин признался, что понятия не имеет об этом существе.

— Маленькая, с черно-пепельными головкой и хвостом, грудка у нее вишневая, спина и крылья ярко-синие, лазурные. Неужели не видели?

— Нет.

— Простите старика! Я все забываю, что вы не наш.

Вир Норин заметил, как вздрогнула Сю-Те.

До института Вир Норин добрался уже после наступления темноты. «Мастерская» еще только собралась. Как всегда, приход землянина вызвал нескрываемое любопытство, в среде ученых оно было острым.

Вир Норин помнил предупреждение Таэля. На каждом собрании, помимо тайных агентов Совета Четырех, могли быть установлены приборы для записи речи и подслушивания разговоров. Бедность ресурсов не позволяла проделывать это на каждом собрании, но там, где присутствовал земной гость, звукозапись производилась наверняка. И он решил не вызывать разговоров, опасных для собеседников.

К удивлению астронавигатора, присутствующие вели себя непринужденно и высказывались довольно резко. Наслушавшись о произволе олигархов, Вир Норин даже встревожился. За такие речи ученых должны были немедленно упрятать в тюрьму. Лишь позднее до него дошла психологическая тонкость политики Чойо Чагаса: пусть выговариваются — они все равно не могут не думать о положении общества,— пусть разражаются пустыми речами, зато не будут создавать конспиративных организаций, борьба с которыми привела бы к нежелательным изъятиям из среды ценных для государства интеллигентов.

Первым выступил молодой, аскетического вида ученый с гневным огнем в глазах и выступающим подбородком. Он говорил о бесполезности дальнейшего развития науки: чем шире становится ее фронт и глубже проникновение в тайны природы, тем больших усилий и материальных затрат требуется для каждого шага. Быстрые продвижения одиночек невозможны. Познание оказалось слишком многосторонним, все более сложные эксперименты замедляют ход исследований и, кроме того, громоздят горы неиспользуемой информации. При малой затрате средств на науку нет никакой надежды, что она сможет разрешить стоящие перед ней задачи, проникнуть в глубокие противоречия биологических механизмов и социального развития. Выходит, они, ученые, получают от государства привилегии за то, чего сделать не могут, то есть являются паразитами, живущими на ренту приобретенных званий. Раздробленное знание углубляется в вопросы, практически уже ненужные, потому что

резервы планеты исчерпаны. Ученый закончил призывом отказаться от жреческой амбиции и обратить свои взоры к небу, откуда появляются звездолеты могучих цивилизаций, сумевших не разграбить доставшуюся им природу, и прежде всего — землян, братски похожих на людей Ян-Ях.

Сидевший около Вир Норина заместитель директора покачал головой и шепнул:

— Опасная речь, очень опасная.

— Ему что-нибудь угрожает?

— Серьезные последствия.

— Он будет наказан государством?

— Не думаю. Но коллеги не простят ему такого саморазоблачения.

Перед столом, где заседал совет «мастерской», встал другой ученый, бледный и хмурый, чеканивший слова с ядовитой насмешкой:

— Нельзя призывать на помощь другие цивилизации космоса. Они явятся завоевателями, и мы сделаемся их рабами. Это предвидел великий Ино-Кау в Век Мудрого Отказа, то есть в момент первого контакта с инопланетными культурами. Пусть простит земной гость, но таков взгляд реалиста, а не романтического мечтателя!

— Я не удивляюсь! — подал реплику Вир Норин.— На Земле, еще в Эру Разобщенного Мира, знаменитый китайский ученый Янг требовал, чтобы мы не отвечали на вызовы, если они придут с других планет. В это же самое время немецкий астроном Хернер заявил, что в установлении связи с другими мирами он видит последнюю возможность избежать всепланетного самоубийства. Он подразумевал войну с использованием страшнейшего оружия, изобретенного к тому времени наукой.

Заместитель директора института, взяв слово, перечислил благодеяния, внесенные в биологическую медицину учеными института: лекарства, особенно галлюциногенные наркотики, и методы перестройки психики.

— Вот реальное опровержение инсинуаций первого оратора, будто наука не результативна в социальных делах. Она имеет прямое отношение к благам для человечества.

— Простите чужеземца,— вмешался Вир Норин,— каким образом?

— Информация, как бы обширна она ни была, сама по себе не порождает мудрости и не помогает человеку одолеть свои затруднения. Безмерная людская глупость не дает возможности понять истинную природу несчастий. С помощью наших аппаратов и химикалий мы вбиваем в тупые головы основные решения социальных проблем. По заданию великого и мудрого Чойо Чагаса мы создали гипнотического змея, раскрывающего замыслы врагов государства. Наш институт изготовил машины для насыщения воздуха могущественными успокоителями и галлюциногенами, ничтожное количество которых способно изменить ход мыслей самого отчаявшегося человека и примирить его с невзгодами и даже смертью...

— Да, но наука не сумела даже выяснить смысл существования человека,— вдруг перебил заместителя директора новый оратор, человек с редкой и узкой бородкой, похожий на древних монголов.— Люди не больше понимают цель жизни, чем ужасные животные суши и океана, исчезнувшие с лица планеты Ян-Ях, поэтому я не склонен торжествовать, как наш высокоуважаемый начальник. В глазах невежественных людей, будь то «кжи» или высшие слои общества, наука всегда права, разбивая издревле установившиеся представления. Они думают, что наука сама по себе наиболее благородный инструмент человека, извращенная только скверной его натурой, что она самая эффективная сила жизни. Короче

говоря, в их представлении мы должны всегда идти только научным путем — магическим, превращающим ученого в волшебника и оракула! Какая ирония! Нужно ли говорить, какой горький урок получили благодаря этому предрассудку народ и вся в целом планета Ян-Ях!

Разрыв между народом Ян-Ях и наукой был настолько велик, что породил полную некомпетентность большинства людей, относящихся к ученым с суеверным опасением. А мы платим им отсутствием малейшей заботы о судьбе народа.

Заместитель директора подал знак председательствующему, и тот прервал оратора:

— Второй раз в этот вечер выступления принимают недопустимую форму клеветы на науку и ее честных тружеников. Давайте лучше послушаем нашего гостя, его мнение о науке, оценку сегодняшних высказываний, хотя они не пошли по нужному направлению.

Вир Норин встал, извинился, если неточно понял говоривших, и сказал, что попытается изложить мнение землян о науке в самых общих чертах.

— Наука не знает и не может знать всей необъятности мира. И вера в то, что она уже нашла решение всех проблем, приведет к катастрофе. Так могут думать лишь ослепленные догматизмом или некритическим энтузиазмом люди. Ни одно из открытий, ни один из величайших законов не окончательны. Думают о полноте и законченности науки обычно догматические умы в математике, но ведь это одно и то же, как если бы историк решил, что история завершена. Чем больше развивается наше знание, тем больше загадок природы встает перед нами. Беспредельно богатство самых привычных явлений, неисчерпаемое в своем разнообразии, в извилистых путях исторического развития. Мы на Земле представляем науку как необъятную работу, устремляющуюся вдаль на миллиарды парсеков и в будущие поколения на тысячи веков. Так сложна и загадочна вселенная, что с прошедшими тысячелетиями развития науки мы утратили заносчивость древних ученых и приучились к скромности. Одно из основных положений, которому мы учим наших детей, гласит: «Мы знаем лишь ничтожную часть из того, что нам следует знать...»

Легкий шум удивления прошел по комнате, но ученые умели слушать, и Вир Норин продолжал:

— Природа, в которой мы живем и частью которой являемся, формировалась сотни миллионов лет, через историческую смену уравновешенных систем. В ее настоящем виде эта сложность настолько велика и глубока, что мы не можем играть с природой, пользуясь весьма ограниченными научными данными. Выигрыш будет очень редок, случаен, а проигрышей — без числа. Очень давно на Земле люди, поддаваясь желанию брать что-то без труда и усилий, за ничто, играли на ценности. Одной из распространенных игр была рулетка: легко вращавшееся колесо с перегородками, окруженное неподвижным лимбом. На колесо бросали шарик, и остановка колеса или шарика — об этом не сохранилось сведений — около определенных цифр на лимбе приносила выигрыши. Иначе деньги забирал владелец машины. В те времена люди не имели никакого понятия о законах этой игральной машины и, хотя подозревали всю случайность совпадений, продолжали играть, проигрывая все имущество, если своевременно не уходили из игорного дома.

Так и нам нельзя играть с природой, которая миллиарды лет играет сама наугад, ибо это — ее метод, подмеченный еще семь тысячелетий тому назад в древней Индии и названный Раша-Лила — «божественная игра». Наша задача найти выход из игорного дома природы. Лишь соединение

всех сторон человеческого познания помогло нам подняться выше этой игры, то есть выше богов Индии. Мы могли и не успеть, ибо в сгущавшемся инферно нашей планеты Стрела Аримана могла бы причинить непоправимый ущерб. Я употребил термин, возможно, непонятный вам,— сгущение инферно. Чтобы не вдаваться в объяснения, определим его так: когда человек неумело проявляет мнимую власть над природой, он разрушает внутреннюю гармонию, добытую ценой квадрильонов жертв на алтаре жизни. «Когда мы поймем, что васильки и пшеница составляют единство, тогда мы возьмем наследие природы в добрые, понимающие ладони»,— сказал один ученый. Таково, в самых общих словах, отношение к науке на Земле.

Что я могу сказать о вашей науке? Три тысячелетия назад мудрец Эрф Ром писал, что наука будущего должна стать не верой, а моралью общества, иначе она не заменит полностью религии и останется пустота. Жажда знаний должна заменить жажду поклонения. Мне кажется, что у вас эти соотношения как бы вывернуты наизнанку и даже кардинальный вопрос о вечной юности вы сумели решить ранней смертью. Какой я видел науку в институтах и на сегодняшней дискуссии? Мне кажется, главным ее недостатком является небрежение к человеку, абсолютно недопустимое у нас на Земле. Гуманизм и бесчеловечность в науке идут рядом. Тонкая грань разделяет их, и нужно быть очень чистым и честным человеком, чтобы не сорваться. Мало того, по мере развития гуманизм превращается в бесчеловечность, и наоборот,— такова диалектика всякого процесса. Спасение жизни любыми мерами превращается в жестокое издевательство, а ДНС тогда становится благодеянием, однако в ином обороте, кто будет спорить о бесчеловечности ДНС? Вы ставите опыты над животными и заключенными, но почему не идете вы через психику, которая безмерно богаче и шире любого химического средства? Почему не охраняете психическую атмосферу от злобы, лжи в угоду чему бы то ни было, от путаных мыслей и пустых слов? Даже самые важные научные теории в духовно моральном отношении находятся на уровне мышления каменного века, если не будут переведены в сознательную мудрость человечной морали, подобно тому как многие открытия были пророчески предвидены в индийской и китайской древней философии.

Существование психической атмосферы стало известно еще в ЭРМ, когда один из величайших ученых Земли, Вернадский, назвал ее ноосферой. О ноосфере надо заботиться больше, чем об атмосфере, а у вас в небрежении и та и другая. Ваши больницы устроены без понимания психологического воздействия среды; удивляюсь, как выздоравливают в них.

— Еще как выздоравливают! — заверил заместитель директора.

— Понимаю. Люди Ян-Ях не подобны туго натянутым струнам, как мы, земляне, и легче переносят инфернальные условия. У них нет другого выхода. Мы бы очень скоро расплатились здесь за нашу быстроту реакций, напряженность чувств и нагрузку памяти.

Благодеяния, о которых здесь говорилось, на мой взгляд, убийственны и не оправданы никакой государственной надобностью. Успокаивающие средства, примиряющие людей с недостатками жизни, подобны косе, срезающей под корень все: цветы и сорняки, хорошее и плохое. Видимо, ваша биологическая наука направлена на подавление внутренней свободы в целях поверхностной стандартизации индивидов, то есть создания толпы. Все перечисленные вами исследования ориентированы именно так. Как же можно отобрать прекрасное и сплести из него гирлянды чело-

веческих судеб, помогать людям находить и ценить все светлое в жизни, если вы глушите эмоции, уничтожаете душу?

После страшных потрясений и дегуманизации ЭРМ мы стали понимать, что действительно можно уничтожить душу, то есть психическое «я» человека, через ненужное и самовозносящееся умствование. Можно лишить людей нормальных эмоций, любви и психического воспитания и заменить все это кондиционированием мыслительной машины. Появилось много подобных «нелюдей», очень опасных, потому что им были доверены научные исследования и надзор за настоящими людьми и за природой. Придумав мифический образ князя зла — Сатаны, человек стал им сам, в особенности для животных. Представьте на момент сотни миллионов охотников, избивавших животных только для удовольствия, гигантские скотобойники, опытные виварии институтов. Дальше шаг к самому человеку,— и растут гекатомбы трупов в концлагерях, с людей сдирают кожу и плетут из женских кос веревки и коврики. Это было, человечество Земли от этого не спрячется и всегда помнит эпохи оправданного учеными зла. А ведь чем глубже познание, тем сильнее может быть причинен вред! Тогда же придумали методы создания биологических чудовищ — вроде мозгов, живущих в растворах отдельно от тела, или соединения частей человека с машинами. В общем тот же самый путь к созданию нелюдей, у которых из всех чувств осталось бы лишь стремление к безграничной садистской власти над настоящим человеком, неизбежно вызванное их огромной неполноценностью. К счастью, мы вовремя пресекли эти безумные намерения новоявленных сатанистов.

— Вы сами себе противоречите, посланец Земли!— сказал некто, вытягивая тонкую шею, на которой сидела большая голова с плоским лицом и злыми, узкими, точно щели, глазами.— То природа слишком беспощадна, играя с нами в жестокую игру эволюции, то человек, отдаляясь от природы, делает непоправимую ошибку. Где же истина? И где сатанинский путь?

— Диалектически: и в том и в другом. Пока природа держит нас в безвыходности инферно, в то же время поднимая из него эволюцией, она идет сатанинским путем безжалостной жестокости. И когда мы призываем к возвращению в природу, ко всем ее чудесным приманкам красоты и лживой свободы, мы забываем, что под каждым, слышите, под каждым цветком скрывается змея. И мы становимся служителями Сатаны, если пользоваться этим древним образом. Но, бросаясь в другую крайность, мы забываем, что человек — часть природы. Он должен иметь ее вокруг себя и не нарушить своей природной структуры, иначе потеряет все, став безымянным механизмом, способным на любое сатанинское действие. К истине можно пройти по острию между этими двумя ложными путями.

— Чудесно сказано!— вскричал первый оратор.

— Пусть простят меня коллеги, ученые Ян-Ях, если я не сумел выразить мудрость Земли, соединенную с гигантским знанием Великого Кольца Галактики. В конце концов я всего лишь астронавигатор. Только отсутствие других, более достойных людей заставляет меня говорить перед вами. Не подумайте, что я преисполнен гордости неизмеримо большим кругозором науки нашего мира. Я склоняю голову перед героическим стремлением к познанию на одинокой, отрезанной от всех планете. Каждый ваш шаг труднее нашего и потому ценнее, но только при одном абсолютном условии: если он направлен на уменьшение страданий человечества Ян-Ях, на подъем из инферно. Таков у нас единственный критерий ценности науки.

Вир Норин низко поклонился присутствующим, а те молчали, не то ошеломленные, не то негодующие.

Заместитель директора института поблагодарил Вир Норина и сказал, что, может быть, земная мудрость велика, но он с ней не согласен. Необходимо продолжить дискуссию, которая очень важна.

— Я тоже не соглашусь с вами,— улыбнулся астронавигатор,— следуя земной мудрости. Когда-то и у нас на Земле велось множество дискуссий по миллионам вопросов, издавались миллионы книг, в которых люди спорили со своими противниками. В конце концов мы запутались в тонкостях семантики и силлогизмов, в дебрях миллионов философских определений вещей и процессов, сложнейшей вязи математических изысканий. В литературе шел аналогичный процесс нагромождения изощренных словесных вывертов, нагромождения пустой, ничего не содержащей формы.

И раздробленное сознание в тенетах этих придуманных лабиринтов породило столь же бессмысленные фантастические творения изобразительного искусства и музыки, где все достоверные черты окружающего мира подверглись чудовищной дисторсии. Добавьте к этому, что шизоидная трещиноватая психика неизбежно отталкивается от реальности, требуя ухода в свой собственный мир, мир порождений больного мозга, и вы поймете силу этой волны в историческом пути человечества Земли. С тех пор мы опасаемся изощренных дискуссий и избегаем излишней детализации определений, в общем-то ненужных в быстро изменчивом мире. Мы вернулись к очень древней мудрости, высказанной еще в индийском эпосе «Махабхарата» несколько тысяч лет назад. Герой Арджуна говорит: «Противоречивыми словами ты меня сбиваешь с толку. Говори лишь о том, чем я могу достигнуть Блага!»

— Постойте!— крикнул заместитель директора.— Вы что же, и математические определения считаете ненужными?

— Математика нужна только на своем месте, очень узком. Вы сами подвергли себя голоду, болезням и духовному обнищанию за пренебрежение к человеку и природе, за три неверия: в возможность борьбы с вредителями и повышения плодородия чисто биологическими средствами вместо химии; в возможность создания полноценной искусственной пищи; в великую глубину мысли и духовных сил человечества. Вы отстранили себя от подлинного познания сложности живой природы, надев цепь односторонней и опасной линейной логики и превратившись из вольных мыслителей в скованных вами же придуманными методами рабов узких научных дисциплин. Та же первобытная вера в силу знака, цифры, даты и слова господствует над вами в трудах и формулах. Люди, считающие себя познавшими истину, ограждают себя, по существу, тем же суеверием, какое есть в примитивных лозунгах и плакатах для «кжи».

Я еще очень мало знаю вашу планету, но пока я не увидел у вас настоящей науки. То, что здесь ею называется так, есть только технология,узкий профессионализм, столь же далекий от самоотверженного труда в познании мира, как ремесленный навык от подлинного мастерства. Вы соревнуетесь в эфемерных прикладных открытиях, каких у нас ежедневно делается сотни тысяч. Это, конечно, и важно и нужно, но не составляет всей науки. Синтетическое познание и просвещение народа у вас даже не считаются обязательными компонентами научного исследования, а ведь это и есть основные столпы науки. Поэтому и получается то нагромождение дешевой информации скороспелых открытий, добытой без размышлений и долгого отбора, которое не дает вам взглянуть на широкие просторы мира познания. В то же время надменность молодых

исследователей, по сути дела — невежественных технологов, воображающих себя учеными, доходит до того, что они мечтают о переустройстве вселенной, даже не приблизившись к представлению о сложности ее законов.

— Преувеличение! — крикнул заместитель директора.

— Совершенно правильно! — согласился Вир Норин и отклонил попытки вызвать его на спор об оценке научной деятельности института.

Он вышел на улицу, со всегдашним удовольствием покинув плохо вентилируемое здание. Уже надвинулась тормансианская ранняя ночь с ее глухой, беззвездной тьмой, в которой тонула тусклая серая луна. На углу, над кубиком киоска, продающего дурманящее питье, горел фонарь. Там толпились мужчины, доносилась хриплая ругань. Ветерок принес смешанный запах напитка, курительного дыма и ночи.

Вир Норин пришел в гостиницу «Лазурное Облако», «разбудил» СДФ и вывел его по боковой лестнице на улицу. Затем оглядел в последний раз неуютное пристанище и с радостью подумал о квартире со многими замками и о встрече с Сю-Те, нежной, как и память о ней. Шагая в сопровождении девятиножки по пустынной аллее чахлого сквера, он припоминал слова профессора о гитау и решил заглянуть в музей естествознания. Но когда? Завтра очередная работа с Таэлем над материалами, присланными с дисколетом. Потом предстоит еще встреча с учеными физико-математического института. Они жаждут неслыханных дотоле откровений, а он ничего не сможет рассказать даже из близких ему областей космофизики. Сблизить различные ходы мышления сумел бы выдающийся педагог или популяризатор, а не он, Вир Норин. Кроме того, эта тяга к откровениям в науке метафизична.

Астронавигатор остановился как вкопанный. Рядом взбила пыль его девятиножка. Поперек аллеи стояли шесть тормансиан, освещенных далеким ртутным фонарем. Вир Норин раздумывал, идти им навстречу или подождать. Он не боялся ничего, даже если бы шел совершенно один, а в присутствии СДФ не существовало вообще никакой опасности. Но он мог, обороняясь, нанести тормансианам повреждения, а этого следовало избежать.

— Ты земной? — отрывисто спросил один из молодых людей, несомненных «кжи», приближаясь к землянину.

Вир Норин утвердительно кивнул.

— Тогда ты нам нужен. У вас есть бешено красивая женщина. Я видел ее в загородном саду. Ее зовут Эвиза Танет. Эвиза Танет,— повторил, вернее, мечтательно пропел, тормансианин.

— Это врач нашей экспедиции, медик Звездного Флота.

— Ух! — неопределенно воскликнул «кжи».— Так вот она мне сказала, чтобы я шел к вашей владычице. У нее тоже красивое имя, не такое, как у Эвизы, но звучит приятно: Фай Родис. Сказала, чтобы я обязательно поговорил с ней, потому как это важно и для нас и для вас. Почему — не знаю. Но я обещал. А получилось, что я, всем известный Гзер Бу-Ям, перед которым трепещут «кжи» и «джи», не могу исполнить обещание. Владычицу Фай Родис охраняет целое войско лиловой дряни, а «джи» мне не верят. Думают, что я подкуплен «змееносцами». А зачем мне этот подкуп?

— Наверное, незачем,— улыбнулся Вир Норин.

— То-то. Можешь ты поверить мне и устроить разговор с владычицей?

— Верю и могу.

— Когда?

— Сейчас. Пойдемте туда, где никто не ходит и есть какая-нибудь стена, за которой можно спрятать свет экрана.

— Вот это дело!— с удовольствием воскликнул «кжи» и повел Вир Норина в сторону от главной аллеи, где стояла длинная, поставленная поперек дорожки плита, испещренная назидательными изречениями. Такие плиты встречались в разных местах города, но Вир Норин никогда не видел, чтобы хоть кто-нибудь читал надписи.

Вир знал распорядок жизни Родис. Она должна была быть наверху. Действительно, на вызов его СДФ Родис откликнулась почти немедленно. Она появилась на импровизированном экране каменной плиты не в той черной тормансианской одежде, какую обычно носила в Хранилище Истории, а в коротком белом платье с голубой отделкой.

— Ух!— вырвалось у тормансианина восклицание не то изумления, не то восторга.

Астронавигатор рассказал о «кжи», ищущем встречи по просьбе Эвизы Танет. Родис подозвала Гзер Бу-Яма в освещенное поле передатчика, несколько секунд всматривалась в него и сказала:

— Приходите!

— Когда и как?

— Хотите сейчас? Идите, не привлекая внимания, к памятнику Всемогущему Времени, поверните направо от него, к восьмому дому по улице Последней Войны. Первый раз приходите один. Сколько времени вам потребуется? Я буду ждать вас и проведу к себе.

Родис выключила связь, и Вир Норин немедленно погасил свой СДФ.

— Вот это здорово!— обрадованно вскрикнул «кжи».— Как все получается просто у настоящих людей! Ладно, передавай мой поклон Эвизе Танет! Жаль, что я ее больше не увижу.

— Почему же? Когда придете к Родис, попросите ее соединить вас со звездолетом и вызвать Эвизу Танет.

— Да ну? А о чем я буду с ней говорить?— вдруг испугался «кжи».

— Ну хоть поглядите на нее!

— И то. Ух, спасибо, друг! Мне пора.— Тормансианин протянул руку и крепко сжал ладонь Вир Норина.

Тот улыбнулся. Получить благодарность от жителя столицы Ян-Ях было нелегко.

Теперь, даже если бы астронавигатор вторично запутался в переулках старого района столицы, его привел бы к месту острый слух землянина. Собачий лай слышался издалека, так как псы были плохо воспитаны, подобно своим хозяевам.

Сю-те выбежала в переднюю на лязг открываемых замков. С возгласом «Спасибо, спасибо!» она бросилась к Вир Норину и вдруг замерла, побежденная застенчивостью. Оказывается, ей уже достали кусочек голубой пластмассы с нужными знаками и штампами, дающий право на проживание в столице.

Вир Норин обрадовался, услышав своеобразный голос девушки, более низкий, чем горловые фальцетные голоса тормансиан, но более высокий и звонкий, чем грудные меццо-сопрано женщин звездолета. Сю-Те с материнской заботой женщин Ян-Ях, обязанных прежде всего кормить мужчину, приготовила ужин из запасов хозяина и огорчилась, узнав, что Вир Норин по вечерам ничего не ест, а только пьет, и то какой-то особый напиток. Если бы звездолетчик знал, с каким трудом было связано приготовление пищи у тормансиан на их примитивных нагревательных приборах, он постарался бы что-нибудь съесть. Но, ничего не зная о горячих плитах и вечно пачкающихся кастрюлях, он спокойно отверг еду.

Девушка попросила позволения прийти к нему, когда он отдохнет. У нее есть очень важный вопрос.

«Важный вопрос» был задан, едва она появилась на пороге, и Вир Норин не смог уклониться или хитрить под открытым взглядом, всей душой требовавшим правды.

— Да, Сю-Те, я не житель Ян-Ях, а совсем с другой, безмерно далекой планеты Земля. Да, я с того самого звездолета, о котором вы слышали, но мы, как видите, не банда космических разбойников и шпионов. Мы одной крови, наши общие предки больше двух тысяч лет назад жили на одной планете — Земле. Вы все оттуда, а вовсе не с Белых Звезд.

— Так и знала!— с гордым торжеством воскликнула Сю-Те.— Ты совсем особенный, и я сразу поняла это. Оттого легко и радостно с тобой, как никогда еще не было в моей жизни!— Девушка опустилась на колени, схватила руку астронавигатора, прижала к щеке и замерла, закрыв глаза.

Вир Норин с нежной осторожностью отнял руку, поднял маленькую тормансианку и усадил в кресло около себя.

Он рассказал ей о Земле, о их появлении здесь, о гибели трех землян. В СДФ было несколько «звездочек» для самого первого знакомства с жизнью Земли.

Так начались их совместные вечера. Неуемное любопытство и восхищение милой слушательницы воодушевляли Вир Норина, отгоняя предчувствие, томившее его с некоторых пор, что он не увидит больше родную, бесконечно любимую Землю.

С первых минут высадки на Торманс он всей кожей чувствовал недобрую психическую атмосферу. Общая недоброжелательность, подозрение и особенно глупейшая смешная зависть соревновались с желанием любой ценой выделиться из общей массы. Последнее земляне объясняли отзвуком прежнего колоссального умножения народа, в миллиардах которого тонули личности, образуя безымянный и безликий океан. Психическая атмосфера Ян-Ях уподоблялась плохой воде, в какую иногда попадает неосторожный купальщик. Вместо покоя и свежести приходит чувство отвращения, зуда, нечистоты. В старину на Земле такие места называли «злой водой». Везде, где реки не текли с солнечных гор, где ручьи не освежались родниками, лесами и чистым дождем, а, наоборот, застаивались в болотах, мертвых рукавах и замкнутых бухтах, насыщаясь гниющими остатками жизни. Так и в психической атмосфере — тысячелетний застой, топтание на месте, накопление недобрых мыслей и застарелых обид ведет к тому, что исчезает «свежая вода», ясные чувства и высокие цели, там, где нет «ветра» поисков правды и прощения неудач.

Вероятно, пребывание в плохой «психической воде» и породило смутное чувство трагического конца.

Вир Норин вспоминал о катастрофических последствиях, случавшихся на разных планетах, в том числе и на прежней, докоммунистической Земле, когда цивилизация неосторожно поднимала на поверхность вредные для жизни остатки архаических периодов развития планеты. Газы, нефть, соли, споры еще живых бактерий, надежно погребенные под многокилометровыми толщами геологических напластований, были извлечены на свет и вновь пущены в кругооборот биосферы, отравляя воды морей, пропитывая почву, скопляясь в воздухе. И так продолжалось тысячелетия. По сравнению с этой деятельностью опасная игра с радиоактивными веществами в Час Быка родной планеты перед рассветом высшего общества была кратковременной и не такой уж значительной.

А здесь, на Тормансе, люди, разрушив равновесие природы, принялись за человеческую психику, разрушая ее отвратительным неустройством жизни. Подобно нефти и солям из глубины планеты, здесь из-под сорванного покрова воспитания и самодисциплины поднялись со дна душ архаические остатки звериной психологии — пережитки первобытной борьбы за выживание.

Но в отличие от первобытного зверя, поведение которого жестко определялось железными законами дикой жизни, поведение невоспитанного человека не обусловлено. Отсутствие благодарности ко всему исходит из сознания: «Мир — для меня» — и является главной ошибкой в воспитании детей. Зато человек из зависти старается вредить своему ближнему, а этот «ближний» приучен мстить во всей силе своего скотского комплекса неполноценности. Так во всей жизни Торманса нагнеталось всеобщее и постоянное озлобление, ощущение которого больно хлестало по чувствам землян, выросших в доброй психической атмосфере Земли.

Тем поразительнее для Вир Норина казалась Сю-Те, вся светившаяся заботой, добром и любовью, невесть как возникшими в мире Ян-Ях. Девушка уверяла, что она не одна, что таковы тысячи женщин планеты.

Это пугало астронавигатора потому, что страдание таких людей на жизненном пути было сильнее всех других. Через глаза Сю-Те Вир Норин видел глубину души, поборовшей тьму в себе и отчаянно оборонявшейся от окружавшего мрака.

Нелегко прорастали в землянине бдительная нежность и ранящая жалость, некогда так характерные для его предков и утраченные за ненадобностью в светлую эпоху коммунистических эр.

На третий день за завтраком Вир Норин заметил, что Сю-Те чем-то необычайно взволнована. Читая в ее открытой душе, он понял ее страстное желание увидеть нечто, о чем она мечтала давно, но не смеет его просить об этом. Вир Норин пришел ей на помощь и заговорил как бы вскользь о том, что у него сегодня свободное утро и он с большим удовольствием прогулялся бы вместе с ней, куда она захочет. И Сю-Те призналась, что она хотела бы съездить в Пнег-Киру, это недалеко от города, брат писал ей, что там — место величайшей битвы древности, в которой погиб какой-то их предок (на Тормансе люди не знали своей родословной), и обещал непременно повести ее туда. Ей хочется побывать там в память о брате, но ведь для одинокой девушки, плохо знающей столицу, это небезопасно.

Вир Норин и Сю-Те влезли в битком набитый вагон общественного транспорта, двигавшийся в дыму, с ревом, частыми рывками и толчками из-за нервного, а скорее грубого нрава водителя. Сквозь запыленные окна виднелись длиннейшие однообразные улицы, кое-где близ дома были посажены низкие полузасохшие деревца. В машине стояла невыносимая духота. Изредка, после громкой перебранки, открывали окна, в вагон врывалась горячая пыль, снова начиналась ругань, и окна опять закрывались. Вир Норин и Сю-Те стояли, стиснутые со всех сторон, цепляясь за протянутые поверху палки. Астронавигатора оттерли от спутницы. Он заметил, как Сю-Те изо всех сил старается отойти от молодого человека с широким носом и асимметричным лицом, который бесстыдно прижимается к ней. Стоявший перед нею другой, совсем юноша, с глубоко сидящими глазами фанатика, спиной подталкивал девушку к своему товарищу. Сю-Те встретилась взглядом с Вир Норином, вспыхнула от стыда и негодования и отвернулась, явно не желая вмешивать землянина в стычку с пассажирами. Может быть, у нее слишком живо было воспоминание о наглом дежурном из гостиницы, которому пришлось тогда униженно целовать ее ногу. Астронавигатор в долю секунды понял все, вынул руку и рванул

нахального парня назад от Сю-Те. Тот обернулся, увидел высокого, сильного человека, смотревшего без злобы, и, выругавшись, попытался было освободиться. Но его схватила не человеческая рука, а стальная машина — так ему показалось. С животным страхом тормансианин почувствовал, как пальцы впиваются в мышцы все глубже, передавливая и парализуя сосуды и нервы. В голове у него помутилось, подкосились колени, и парень взвыл в ужасе: «Не буду, простите, больше не буду!» Вир Норин отпустил нахала. А тот заорал на весь вагон, что его чуть-чуть не убили из-за девчонки, которая копейки не стоит.

К удивлению Вир Норина, большинство пассажиров приняло сторону лгуна. Все принялись кричать, угрожать, размахивать кулаками.

— Выйдем скорее!— шепнула побледневшая Сю-Те.

И они, растолкав людей, вышли на пустынной, раскаленной солнцем окраине. Сю-Те предложила идти дальше пешком. Ее маленькие ноги шагали резво и неутомимо. Она пела землянину старые песни и боевые гимны давних лет, резко отличавшиеся от рваной мелодии распространенных в столице песен. Иногда Сю-Те останавливалась, чтобы танцем проиллюстрировать мелодию, и он любовался ее фигурой и отточенностью движений. По сухой предгорной равнине они незаметно прошли оставшиеся двенадцать километров до каменной гряды, поросшей старыми редколистными деревьями, почти не дававшими тени. Закатная сторона гряды обрывалась в широкую впадину дна высохшего озера. Слабый ветерок вздымал там бурые столбы пыли.

Обелиск из голубоватого камня, расписанный черными, глубоко вырезанными знаками, стоял на границе поля стародавней битвы, а неотделанные глыбы камней, разбросанные повсюду, означали места общих погребений. Их было много. Обширное поле, простиравшееся почти до горизонта, некогда было изрыто траншеями и валами. Время уничтожило их, медленно растущие деревья Торманса сменились не один раз на удобренной трупами почве, и теперь в тонкой сетке теней, на сухой, пыльной земле торчали только камни. Не осталось ничего напоминавшего о ярости гигантской битвы, море страдания раненых, ужасе побежденных, сброшенных в топкое озеро. Безотрадная местность, полумертвые деревья, потрескавшаяся земля...

Жаркий ветер шуршал в ветвях, какие-то зеленые насекомые вяло ползали у корней. Сю-Те выбрала большой, пирамидально заостренный камень с изломами, отсвечивавшими буро-красным цветом засохшей крови, и опустилась перед ним на колени. Приложив пальцы к вискам и склонив голову, она шептала молитвы. Вир Норин ждал, пока она исполнит обряд. Когда девушка встала, он спросил:

— Кто бился здесь и кто кого победил?

— Предание говорит о сражении между владыками головного и хвостового полушарий. Погибли сотни тысяч людей. Победил владыка головного, и на всей планете установилась единая власть. Эту битву называют победой мудрости над темными хвостовыми народами.

— Ваши предки участвовали в сражении на стороне побежденных?

— Да.

— А если бы победили они, а не головные? Изменилась бы жизнь?

— Не знаю. Зачем ей меняться?! Столица была бы в Кин-Нан-Тэ, наверное. Дома бы строили по-другому, как принято у нас, башнями. Может быть, мои предки стали бы «змееносцами»...

— И вы хотели бы принадлежать к этой верхушке?

— Ой, нет! Вечно бояться, оглядываться, презирать все и быть всеми ненавидимой? Может быть, я просто невежественная и глупая, но мне не хотелось бы так жить. Лучше никак...

Это «лучше никак» пронизывало все сознание молодых тормансиан, принадлежавших к классу «кжи», и обусловливало неискоренимый фатализм. «Зачем?» — казалось им непобедимым аргументом.

Вир Норин еще раз обвел взглядом выжженное плато. Могучее воображение заполнило его грохотом боевых машин, воплями и стонами сотен тысяч раненых, штабелями трупов на изрытой каменистой почве. Вечные вопросы: «Зачем? За что?» — на этом фоне становились особенно беспощадными. И обманутые люди, веря, что сражаются за будущее, за «свою» страну, за своих близких, умирали, создавая условия для еще большего возвышения олигархов, еще более высокой пирамиды привилегий и бездны угнетения. Бесполезные муки, бесполезные смерти...

Со вздохом Вир Норин обратился к спутнице:

— Пойдемте, Сю-Те!

Землянин и тормансианка спустились с холмов. Вир Норин предложил срезать напрямик изгиб старой дороги, держа направление на круглый холм с заброшенным зданием, серым и приземистым, смутно маячившим вдали. Они быстро дошли до холма. Астронавигатор заметил, что Сю-Те устала, и решил сделать привал в тени развалин. Сю-Те улеглась на землю, подперев голову руками. Вир Норин увидел, что она пристально разглядывает стену и хмурит лоб в усилии припомнить забытое. Сю-Те вскочила и обошла вокруг развалин. Затем долго рассматривала надписи и барельефы с изображением огромной руки, протянутой жестом участливой помощи. Чуть успокоившись, она снова села рядом с Вир Норином, охватив колени руками, в позе, живо напомнившей ему Чеди, и долго в молчании смотрела вдаль, на миражи голубых озер, которые скрывали пыльный дым над городом Средоточия Мудрости.

— Сколько тебе лет?— вдруг спросила Сю-Те.

— По вашим годам, которые на месяц короче, чем на Земле, сорок два.

— У вас это много или мало?

— Для прежней Земли, на вашем уровне развития, это средний возраст, не молодой и не старый. Теперь он сдвинулся в молодость. Мне примерно двадцать два — двадцать три года, а Родис — двадцать пять. У нас долгое детство. Не инфантильность, а именно растянутое детство — в смысле восприятия мира. А сколько вам?

— Двадцать. Я приближаюсь к нашему среднему возрасту, и мне осталось пять лет до того времени, когда я войду во Дворец Нежной Смерти. А тебя давно бы отправили туда. Нет, я говорю глупости, ты ведь ученый и здесь жил бы долго, ты «джи»!

— Никак не могу представить себе этот ужас!

— Никакого ужаса нет. В этом есть даже хорошее. Мы не проводим детство в душных школах, как будущие «джи», которых там пичкают ненужными для жизни знаниями. И мы не болеем, умирая в цвете сил...

— Вы огорчены, Сю-Те? Посмотрите мне в глаза!

Сю-Те перевела на Вир Норина печальный взор, как бы говоривший: «Я вижу весь свой жизненный путь до конца».

— Нет,— медленно сказала она,— мне хорошо, просто второй раз сегодня я встретилась с древней смертью.

— Как? И это памятник? Что тут было?

— Не памятник, а храм. Был в эпоху Голода и Убийств знаменитый врач Рце-Юти. Он изобрел средство Нежной Смерти. Его последователи и помощники построили этот храм Руки Друга над бездонным колодцем незапамятной древности. Рце-Юти сказал всем слабым, мучительно больным, усталым от жизни, преследуемым и запуганным: «Приходите сюда, и я дам вам нежную смерть. Она придет к вам ласковой и прекрас-

ной, юной и зовущей. Лучшего на планете сейчас никто дать не может, и вы сами убедитесь во лжи пустых обещаний».

И множество людей приходило к нему. В первой комнате они смывали с себя грязь с дороги, сбрасывали одежды и нагие вступали во второй сводчатый зал, где в ласковом сне умирали незаметно и безболезненно... Бездонный колодец поглощал их тела. Исстрадавшиеся, потерявшие надежду, здоровье, близких не переставали приходить, восхваляя мудрого врача. Это было давно...

— И из этого благодеяния возникла государственная обязанность умирать. Дворцы Нежной Смерти, деление народа на «кжи» и «джи» — мог ли предвидеть мудрец Рце-Юти такие ужасные последствия?

— Не знаю,— беспомощно ответила Сю-Те.

— И не надо.— Вир Норин погладил ее растрепавшиеся от ветра волосы.

А она потянулась к его лицу, и ее вздрагивающая, осторожная ладонь, казалось,коснулась самого сердца Вир Норина. Ему представились гигантские темные стены инферно, окружавшие Сю-Те, за которыми для нее не было ничего, никакой опоры для ее веры, ее души.

Усилием воли он поборол видение, улыбнулся и сказал ей об ее уме и очаровании и о том, как она нравится ему.

Сю-Те взглянула на него, доверчивая и сияющая, и встала упруго и быстро, как жительница Земли. Они пошли к сумрачному городу, и звенящий голос тормансианки разнесся по пустынной равнине:

«Свой последний год живу на свете, в городах других не побывав, никого хорошего не встретив...» — звонкая летящая мелодия напоминала Вир Норину что-то очень знакомое, слышанное еще в раннем детстве.

Глава XIII

КОРАБЛЮ — ВЗЛЕТ!

Вир Норин расстался с Сю-Те на перекрестке улицы, которая вела к небольшому заводу точных приборов, где работало много друзей Таэля. Сю-Те хотела повидаться с одним из них, чтобы устроиться на работу.

Она вернулась домой возбужденная — все складывалось в согласии с ее мечтами. Но вскоре радость угасла, захлестнула мучительная тоска, когда она узнала, что срок пребывания землян на Ян-Ях подходит к концу. Только двое их осталось в городе Средоточия Мудрости, а все другие уже находились в звездолете.

Вир Норин в этот вечер долго ждал, когда она выйдет из своей комнаты, но Сю-Те не появлялась. Не понимая ее настроения — психическая интуиция не подсказывала ему ничего плохого,— Вир Норин, наконец, сам постучал к девушке.

Сю-Те сидела, положив голову на вытянутые вдоль стола руки. Выражения лукавой виноватости, свойственного ей, когда она считала себя в чем-то неловкой или признавалась в слабости, не возникло на ее лице при виде Вир Норина. Да, Сю-Те в самом деле походила на грустную птицу — гитау. Она вскочила, забеспокоилась, чтобы удобнее усадить Вир Норина, а сама опустилась прямо на пол, на твердую подушку и долго

в безмолвии смотрела на своего земного друга. Вир Норину передались ее чувства: она думала о нем и о близкой разлуке.

— Скоро твой звездолет улетит? — спросила она наконец.

— Скоро. Хочешь полететь с нами? — вырвался у него вопрос, который не следовало задавать.

На лице девушки спокойная печаль сменилась жестокой внутренней борьбой. Глаза Сю-Те налились слезами, дыхание прервалось. После долгого молчания она с трудом произнесла:

— Нет... Не думай, что я неблагодарна, как многие из нас, или что... я не люблю тебя. — Ее смуглые щеки потемнели еще сильнее. — Я сейчас вернусь!

Сю-Те скрылась в стенном шкафу для платья, который служил ей вместо комнаты для переодевания.

Вир Норин смотрел на пеструю вязь ковра, думая об ее отказе лететь на Землю. Природная мудрость, никогда не покидавшая Сю-Те, удерживает ее от этого шага. Она понимает, что это будет бегством, на Земле для нее утратятся цель и смысл жизни, только что появившиеся здесь, ей будет очень одиноко.

Чуть слышно стукнула дверца шкафа.

— Вир! — услышал он шепот, обернулся и замер.

Перед ним во всей чистоте искреннего порыва стояла обнаженная Сю-Те. Сочетание женской смелости и детской застенчивости было трогательным. Она смотрела на Вир Норина сияющими и печальными глазами, будто сожалея о том, что не может отдать ему ничего большего. Распущенные черно-пепельные волосы спадали по обе стороны круглого полудетского лица на худенькие плечи. Юная тормансианка стояла торжественная, ушедшая в себя, как бы исполняя некий обряд. Приложив ладони к сердцу, она протянула их сложенными к астронавигатору.

Вир Норин понимал, что, по канонам Ян-Ях, ему отдавали самое заветное, самое большое, что было в жизни у молодой женщины «кжи». Такой жертвы Вир Норин не мог отвергнуть, не мог оттолкнуть это высшее для Торманса выражение любви и благодарности. Да он и не хотел ничего отвергать. Астронавигатор поднял Сю-Те, крепко прижав к себе.

Времени до рассвета осталось немного. Вир Норин сидел у постели Сю-Те. Она крепко спала, подсунув обе ладони под щеку. Вир смотрел на спокойное и прекрасное лицо своей возлюбленной. Любовь подняла ее над миром Ян-Ях, а сила и нежность Вир Норина сделали недоступной страху, стыду или смутной тревоге, уравняв с земными сестрами. Он заставил ее почувствовать собственную красоту, лучше понимать тонкие переходы ее меняющегося облика. А она? Она разбудила его память о прекрасных днях жизни...

Перед Вир Норином непрерывной чередой проходили, уводя в бесконечную даль, памятные образы Земли. Заповедная долина в Каракоруме, в бастионах лиловых скал, над которыми в непосредственной близости сияли снежные пики. Там, у реки цвета берилла, неумолчно журчавшей по черным камням, стояло легкое, парящее в воздухе здание испытательной станции. Дорога вниз шла плавными извилинами через рощу исполинских гималайских елей к поселку научного института прослушивания глубинных зон космоса. Астронавигатор очень любил вспоминать годы, проведенные на постройке новой обсерватории на степном бразильском плоскогорье, низкие облеты безбрежных Высоких Льяносов с огромными стадами зебр, жираф и белых носорогов, перевезенных сюда из Африки; кольцевые насаженные леса Южной Африки с голубой и серебристой листвой, серебряно-синие ночи в снежных лесах Гренландии;

сотрясаемые грозным ветром здания одиннадцатого узла астросети на берегу Тихого океана.

Еще один узел на Азорских островах, где море так бездонно-прозрачно в тихие дни... Поездки для отдыха в святые для любого землянина древние храмы Эллады, Индии, Руси...

Ни малейшей тревоги о будущем, кроме естественной заботы о порученном деле, кроме желания стать лучше, смелее, сильнее, успеть сделать как можно больше на общую пользу. Гордая радость помогать, помогать без конца всем и каждому, некогда возможная только для сказочных халифов арабских преданий, совсем забытая в ЭРМ, а теперь доступная каждому. Привычка опираться на такую же всеобщую поддержку и внимание. Возможность обратиться к любому человеку мира, которую сдерживала только сильно развитая деликатность, говорить с кем угодно, просить любой помощи. Чувствовать вокруг себя добрую направленность мыслей и чувств, знать об изощренной проницательности и насквозь видящем взаимопонимании людей. Мирные скитания в периоды отдыха по бесконечно разнообразной Земле и всюду желание поделиться всем с тобой: радостью, знанием, искусством, силой...

Склоняясь над спящей Сю-Те, Вир Норин испытывал необыкновенно сильное желание, чтобы и его тормансианская возлюбленная побывала во всех прекрасных местах родной ему планеты.

Молодые женщины бывают внутренне больше кочевниками, чем мужчины, больше стремятся к смене впечатлений, поэтому теснота инферно для них тяжелее. Он мечтал о том, чтобы на Земле бесчисленные ранения, нанесенные этой нежной душе, излечились бы без следа... И знал, что этому никогда не сбыться...

Сю-Те почувствовала его взгляд и, еще не очнувшись от сна и счастливой усталости, долго лежала с закрытыми глазами. Наконец она спросила:

— Ты не спишь, любимый? Отдохни здесь, рядом со мной.— Голос ее со сна был детски тонок.— Мне снился сон, светлый, как никогда! Будто ты уехал от меня — о, ненадолго!— в маленький какой-то городок. Я отправилась на свидание с тобой. Это был наш и не наш город. Люди, встречавшиеся мне, светились добротой, готовые помочь мне искать тебя, звали отдохнуть, провожали там, где я могла заплутаться. И я шла по улице — какое странное название: улица Любви!— по тропинке через свежую и мягкую траву к большой, полноводной реке, и там был ты!— Сю-Те нашла руку Вир Норина и, снова засыпая, положила ее на щеку.

Вир Норин не шевелился, странный ком стоял у него в горле. Если сон, навеянный его мыслями, был для Сю-Те невозможной мечтой, то как еще мало любви растворено в океане повседневной жизни Торманса, в котором проживет свою коротенькую жизнь это чистое существо, будто перенесенное сюда с Земли! Мысль, давно мучившая его, сделалась невыносимой. Он медленно взял руку тормансианки и стал целовать коротко остриженные ноготки с белыми точками. Как и сплетения синих жилок на теле и легко красневшие белки глаз, это были следы не замеченного в детстве нездоровья, плохого питания, трудной жизни матери. Сю-Те, не просыпаясь, улыбнулась, крепко смежив ресницы. Удивительно, как на бедной почве здесь вырастают такие цветы! Разрушена семья, создавшая человека из дикого зверя, воспитавшая в нем все лучшее, неустанно оборонявшая его от суровости природы. И без семьи, без материнского воспитания возникают такие люди, как Сю-Те! Это ли не доказательство правоты Родис, ее веры в первичную хорошую основу человека! На

Земле тоже нет семьи в старинном ее понимании, но мы не уничтожили ее, а просто расширили до целого общества...

Вир Норин бесшумно встал, оглядел завешанную коврами и портьерами комнату, прислушался к топоту и стукам, которые неслись со всех сторон просыпавшегося дома. На улице затявкала визгливая собачонка, прогрохотала транспортная повозка.

Печаль все сильнее завладевала Вир Норином — ощущение тупика, из которого он, бывалый, высоко тренированный психически путешественник, не видел выхода. Его привязанность к маленькой Сю-Те превратилась неожиданно и могуче в любовь, обогащенную нежной жалостью такой силы, какую он и не подозревал в себе. Жалость для воспитанного в счастье отдачи землянина неизбежно вызвала стремление к безграничному самопожертвованию. Нет, надо советоваться с Родис! Где Родис?..

А Фай Родис провела эту ночь в обсуждении проблем «кжи». Гзер Бу-Ям пришел в святилище Трех Шагов еще раз с несколькими товарищами. «Кжи» начали первый визит со спора и хвастовства своими преимуществами перед «джи» и прежде всего гораздо большей свободой во всех своих поступках. Фай Родис сразила их, сказав, что это мнимая свобода. Им позволяют лишь то, что не вредит престижу и экономике государства и не опасно для «змееносцев», огражденных от народной жизни стенами своих привилегий.

— Подумайте над вашим понятием свободы, и вы поймете, что она состоит в правах на низкие поступки. Ваш протест против угнетения бьет по невинным людям, далеким от какого-либо участия в этом деле. Владыки постоянно твердят вам о необходимости защищать народ. «От кого?» — задавались ли вы таким вопросом? Где они, эти мнимые враги? Призраки, с помощью которых заставляют вас жертвовать всем и, самое худое, подчиняют себе вашу психику, направляя мысли и чувства по ложному пути.

Гзер Бу-Ям долго молчал, затем принялся рассказывать Родис о беспримерном угнетении «кжи».

— Все это, — сказал он,— вычеркнуто из истории и сохранилось лишь в изустном пересказе.

Родис узнала о массовых отравлениях, убавлявших население по воле владык, когда истощенным производительным силам планеты не требовалось прежнее множество рабочих. И наоборот, о принудительном искусственном осеменении женщин в эпохи, когда они отказывались рожать детей на скорую смерть, а бесстрашные подвижники — врачи и биологи — распространяли среди них нужные средства. О трагедии самых прекрасных и здоровых девушек, отобранных, как скот, и содержавшихся в специальных лагерях — фабриках для производства детей.

Попытка полной замены людей автоматическими машинами окончилась крахом, начиналась обратная волна, снова с массовым и тяжелым ручным трудом, так как с капиталистической позиции люди оказались гораздо дешевле любой сложной машины. Эти метания из стороны в сторону назывались мудрой политикой владык, изображались учеными как цепь непрерывных успехов в создании счастливой жизни.

Родис как историк знала закон Рамголя для капиталистической формации обществ: «Чем беднее страна или планета, тем больше разрывов в привилегиях и разобщение отдельных слоев общества между собою». Достаток делает людей щедрее и ласковее, но когда будущее не обещает ничего, кроме низкого уровня жизни, приходит всеобщее озлобление.

Ученые владыкам помогали во всем: изобретая страшное оружие, яды, фальсификаты пищи и развлечений, путая народ хитрыми словами, иска-

жая правду. Отсюда укрепившаяся в народе ненависть и недоверие к ученым, стремление оскорбить, избить, а то и просто убивать «джи» как прислужников угнетателей. «Кжи» не понимают их языка, одинаковые слова у них означают совершенно не то, что у «джи».

— В отношении языка виноваты вы сами,— сказала Родис.— У нас на Земле было время, когда при множестве разных языков и разных уровнях культуры одинаковые слова обладали совершенно различным значением. Даже внутри одного языка в разных классах общества. И все же эту великую трудность удалось преодолеть после объединения земного человечества в одну семью. Бойтесь другого: чем ниже уровень культуры, тем сильнее сказывается прагматическая узость каждого словесного понятия, дробящегося на мелкие оттенки, вместо всеобщего понимания. Например, у вас слово «любовь» может означать и светлое и гнуснейшее дело. Бейтесь за ясность и чистоту слов, и вы всегда сговоритесь с «джи».

— Сговориться о чем? Их правда не наша!

— Так ли? Правда жизни отыскивается тысячелетним опытом народа. Но быстрые изменения жизни при технически развитой цивилизации запутывают дороги к правде, делая ее зыбкой, как на слишком чувствительных весах, которым не дают уравновеситься. Найти правду, общую для большинства, с помощью точных наук не удавалось, потому что не были установлены критерии для ее определения. Эти критерии, иначе мера, оказались в какие-то периоды развития общества важнее самой правды. У нас на Земле это знали уже несколько тысячелетий назад, в древней Элладе, Индии, Китае...— Родис на миг задумалась и продолжала:— Порывы к прозрению встречались издавна в пророчествах безумцев, интуитивно понимавших всю величайшую важность меры. В Апокалипсисе, или «Откровении Иоанна» — одного из основателей христианской религии,— есть слова: «Я взглянул и увидел коня вороного и на нем всадника с мерою в руке...» Эта мечта о мере для создания подлинной правды человечества осуществилась после изобретения электронных счетных машин. Пришла возможность оценки горя и радости для гармонии чувства и долга. У нас есть огромная организация, занимающаяся этим: Академия Горя и Радости. У вас «джи» должны вместе с вами установить меру и найти правду, за которую надо биться совместно, ничего более не боясь...

Правда и есть истина, ложь порождается страхом. Но не настаивайте слишком на точности истин, помните об их субъективности. Человек хочет всегда сделать объективной ее, царицу всех форм, но она каждому показывается в ином одеянии.

Воспитание в правде не может быть облечено абстрактными формулировками. Прежде всего это действенный подвиг на всех ступенях жизни. Когда вы откажетесь от злословия, от общения с предателями правды, насытите свой ум добрыми и чистыми мыслями, вы приобретете личную непобедимость в борьбе со злом.

Так медленным убеждением, неотразимо и беспристрастно, Фай Родис протягивала нить за нитью от «кжи» к «джи». Остальное довершали личные контакты. Впервые «кжи» и «джи» встречались как равные в подземельях старого Храма Времени.

Таэль был поражен живостью ума, удивительной понятливостью в учении и полной открытостью всему новому у тех, кого они привыкли считать тупой и бездеятельной частью человечества. «Кжи» усваивали новые идеи даже быстрее, чем тренированные умственно, но и более косные «джи».

— Почему они не стремились к знанию, почему их развитие давно

остановилось? — спрашивал инженер у Родис.— Ведь они, оказывается, ничем не хуже, чем мы!

— В самой формулировке «их», «они»— ваша глубочайшая ошибка. Это абсолютно те же люди, искусственно отобранные вашим обществом и обреченные жить в условиях примитивной борьбы за существование. Короткая жизнь дает развиться лишь самым банальным чувствам, «кжи» опускаются все время вниз под тяжестью неустроенной жизни. Так в первобытных лесах наших тропиков ушедшие туда десятки тысяч лет назад племена все силы тратили лишь на одно — чтобы выжить. От поколения к поколению они вырождались интеллектуально, теряя творческую энергию. Даже могучие слоны степной породы, гигантские бегемоты больших рек Земли превращались в лесах в карликовые, мелкие виды. Ваш «лес»— это короткая жизнь с перспективой близкой смерти в душной тесноте перенаселенных городов, с плохой пищей и неинтересной работой.

— Да, в общем «кжи»— лишь дешевые промежуточные звенья между дорогими машинами,— сказал Таэль.— Нет ни мастерства, ни радости созидания. Машина делает лучше, быстрее, а ты у нее лишь «на подхвате», как выражается Гзер Бу-Ям. «Вы умираете больными и мудрыми, а мы — молодыми и глупыми, что лучше для человека?»— задали мне вопрос. Я пробовал им объяснить, что плохая работа каждого из нас, кто бы он ни был, бьет по беззащитным своим братьям, родителям, детям, а не по ненавистным угнетателям. У тех есть охранительные меры. «Как вы можете так поступать?»— спросил я, и, кажется, они поняли.

— И все же у «них» есть преимущество перед «вами»,— сказала Родис.— Смотрите, какие яркие фигуры — эта компания Гзер Бу-Яма! Им мало что нужно, и в этом они свободнее. Посмотрели бы вы, как вел себя Гзер Бу-Ям, когда увидел по СДФ Эвизу Танет! С какой детски наивной и светлой радостью он смотрел на нее! «Я увидел ее, свою мечту, еще раз и теперь могу умереть!»— воскликнул он. Вот вам и грубый, темный «кжи»!

Прозвучал тихий вызов СДФ, и Родис откликнулась. На экране появился Вир Норин и сказал:

— Я хочу привести к вам Сю-Те.

— Ее?

— Да. Для безопасности я приду в подземелье.

— Я жду вас.

При виде Фай Родис Сю-Те вздохнула коротко и резко, как всхлипнула. Родис протянула ей обе руки, привлекла к себе, заглянула в открытое, поднятое к ней лицо.

— Вы владычица землян?.. Глупая, я могла бы не спрашивать,— сказала Сю-Те, опускаясь на колени перед Родис, которая звонко рассмеялась и легко подняла девушку. Губы Сю-Те вдруг задрожали, по щекам покатились крупные слезы.— Скажите ему... Он говорит, что все не так, и я не понимаю. Ну, зачем я земному человеку, если вы такие?.. Великая Змея, я желтый птенец Ча-Хик перед женщинами Земли!

— Скажу,— серьезно ответила Родис, усадив ее и взяв за руку.

Она долго молчала. Сю-Те взволнованно задышала, и Родис словно очнулась.

— Вы чутки и умны, Сю-Те, поэтому у меня не может быть слов, скрытых от вас. Вир, дорогой мой! Вам удался, если здесь можно говорить об удаче, миллионный шанс. Она не богиня, но существо иного рода — фея. Эти маленькие воплощения добра издавна пользовались особыми симпатиями в земных сказках.

— Почему особыми?— тихо спросила Сю-Те.

— Богиня — героическое начало, покровительница героя, почти всегда ведущая его к славной смерти. Фея — героика обычной жизни, подруга мужчины, дающая ему радость, нежность и благородство поступков. Это сказочное разделение отражало мечты людей прошлого. И найти здесь, на Тормансе, фею?! Что же вы будете делать, бедный мой Норин? — спросила Родис на земном языке.

— Не бедный! Если бы я мог взять ее с собой, но она говорит, что это невозможно!

— Она права, мудрая маленькая женщина.

— Принимаю и соглашаюсь. Но возможен другой, диаметрально противоположный выход...

— Вир!— воскликнула Родис.— Это же Торманс, планета мучений в глубоком инферно!

Вир Норин вдруг рассердился и, как настоящий тормансианин, принялся проклинать инферно, и Торманс, и человеческую судьбу на языке Ян-Ях, богатом этими заклятиями несчастья. Сю-Те испуганно вскочила, Родис обняла ее за тонкую, стянутую зеленым поясом талию и удержала на месте.

— Ничего. С мужчинами это бывает, когда они обижаются на собственную нерешительность.

— Я решил!

— Может быть, на вашем месте я сделала бы то же самое, Вир,— неожиданно согласилась Родис и продолжала на земном языке:— Вы погибнете, но принесете большую пользу, а ей дадите сколько-то месяцев, вряд ли лет, счастья. Берегите себя! Она умрет, как только придет ваш конец. Она не боится смерти.Самое страшное для нее — это остаться без вас. Только женщины Торманса в любви могут проявить столько мужества и стойкости, равно как и безразличия ко всему, что может с ней случиться. Где расчеты обратного пути?

— У Менты Кор. Мы приготовили их еще во время облета Торманса.

— Мы будем горевать о вас, Вир!

— А я? Но я надеюсь дожить до прилета второго ЗПЛ и увидеть если не вас, то соотечественников.

— Идите, Вир! Мы еще не раз увидимся в оставшееся время. Может быть, вы еще измените свое решение...

— Нет!— сказал он так твердо, что Сю-Те, не понявшая ни слова, вздрогнула. Вещим чутьем женщины догадываясь о сути разговора двух землян, она разразилась слезами, когда Родис простилась с обоими долгим поцелуем.

Вскоре после свидания с Родис Вир Норин явился в физико-технический институт — самый большой в столице, впитавший почти всех способных ученых планеты. Инженер Таэль предупредил Вир Норина, что в здешней «мастерской» он может говорить свободнее, чем в других. Инженер придавал большое значение предстоявшему разговору.

Собравшиеся расположились в строгом порядке научной иерархии. Впереди, ближе к председательствующей группе, уселись знаменитые ученые, отмеченные властью. У многих на груди блестели особые знаки: фиолетовый шар планеты Ян-Ях, обвитый золотой змеей.

Позади маститых и заслуженных небрежно развалились представители средней прослойки, а в конце зала стеснилась молодежь. Этих пустили сюда в ограниченном количестве.

Вир Норин достаточно изучил ученый мир Торманса и знал, как последовательно проводилось в нем разделение привилегий, начиная от размеров жилища и денежной оплаты и кончая получением особо хоро-

шей, нефальсифицированной и свежей пищи со складов, снабжавших самих «змееносцев». Пожалуй, из всех несуразностей общества Ян-Ях Вир Норина больше всего удивляло, как могли продавать себя самые могучие умы планеты. Вероятно, во всем остальном, кроме их узкой профессии, они вовсе и не были могучими, эти талантливые обыватели.

Впрочем, многие ученые сознавали это. Большинство их вело себя надменно и вызывающе — именно так ведут себя обычно люди, скрывающие комплекс неполноценности.

— Мы знаем о вашем выступлении в медико-биологическом институте,— сказал председатель собрания, суровый и желчный человек,— но там вы воздержались от оценки науки Торманса. Мы понимаем деликатность людей Земли, но здесь вы можете говорить свободно и оценить нашу науку так, как она этого действительно заслуживает.

— Я снова скажу, что знаю слишком мало для того, чтобы охватить сумму познания и сравнить ее. Поэтому сказанное мной надо рассматривать лишь как самое общее и поверхностное впечатление. Правильно ли мнение, создавшееся у нас, пришельцев с Земли? Мне не раз приходилось здесь слышать, что точная наука берется разрешить все проблемы человечества Ян-Ях.

— Разве у вас, покорителей космоса, не так?— спросил председатель.

Вир Норин покачал головой.

— Даже если не требовать истин, основанных на непротиворечивых фактах, наука даже в собственном развитии необъективна, непостоянна и не настолько точна, чтобы взять на себя всестороннее моделирование общества. Один из знаменитых ученых Земли еще в древнее время, лорд Рейли, сформулировал очень точно: «Я не думаю, чтобы ученый имел больше прав считать себя пророком, чем другие образованные люди. В глубине души он знает, что под построенными им теориями лежат противоречия, которых он не в силах разрешить. Высшие загадки бытия, если они вообще постижимы для человеческого ума, требуют иного вооружения, чем только расчет и эксперимент»...

— Какая позорная беспомощность! Только и осталось призвать на помощь божество,— раздался резкий голос.

Вир Норин повернулся в сторону невидимого скептика.

— Основное правило нашей психологии предписывает искать в себе самом то, что предполагаете в других. Все та же трудно истребимая идея о сверхсуществах живет в вас. Боги, сверхгерои, сверхученые...

Земной физик, о котором я вспомнил, имел в виду гигантские внутренние силы человеческой психики, ее врожденную способность исправлять дисторсию мира, возникающую при искажении естественных законов, от недостаточности познания. Он имел в виду необходимость дополнить метод внешнего исследования, некогда характерный для науки Запада нашей планеты, интроспективным методом Востока Земли, как раз полагаясь только на собственные силы человеческого разума.

— Это годы безрезультатных размышлений,— возразили Вир Норину из дальнего угла аудитории,— у нас нет ни времени, ни средств. Правительство не дает нам больших денег, а вы смотрите на нашу бедность с вашей богатой планеты.

— Бедность и богатство в познании относительны,— возразил астронавигатор,— у нас на Земле все начинается с вопроса: какова польза человеку от самых отдаленных последствий, от самого малого расхода духовных и материальных сил. Вы говорите об отсутствии средств? Тогда зачем вы стремитесь к овладению первичными силами космоса, не познав как следует необходимых человеку вещей? Неужели вам еще не

ясно, что каждый шаг на этом пути дается труднее предыдущего, ибо элементарные основы вселенной надежно скованы в доступных нам видах материи? Даже пространственно-временная протяженность неудержимо стремится принять замкнутую форму существования. Вы гребете против течения, сила которого все возрастает. Чудовищная стоимость, сложность и энергетическая потребность ваших приборов давно превысили истощенные производительные силы планеты и волю к жизни ваших людей! Идите иным путем — путем создания могучего бесклассового общества из сильных, здоровых и умных людей. Вот на что надо тратить все без исключения силы. Еще один из древних ученых Земли, математик Пуанкаре, сказал, что число возможных научных объяснений любого физического явления безгранично. Так выбирайте только то, что станет непосредственным шагом, пусть маленьким, к счастью и здоровью людей. Только это, больше ничего!

Прежде чем научиться нести чужое бремя, мы учимся, как не умножать это бремя. Стараемся, чтобы ни одно наше действие не увеличивало суммы всепланетной скорби, постигая диалектику жизни, гораздо более сложную и трудную, чем все головоломные задачи творцов научных теорий и новых путей искусства.

Самое трудное в жизни — это сам человек, потому что он вышел из дикой природы не предназначенным к той жизни, какую он должен вести по силе своей мысли и благородству чувств.

Всепроникающей культуры, гармонии между деятельностью и поведением, между профессией и моралью у вас еще нет даже на самой вершине культуры Ян-Ях, какой считается здесь физико-математическая наука...

— А у вас на Земле не считается?

— Нет. Вершина, куда сходятся в фокусе все системы познания, у нас история.

Снова поднялся председатель собрания:

— Поворот, какой приняла наша беседа, вряд ли интересен для собравшегося здесь цвета учености Ян-Ях.

Вир Норин увидел, что его не поняли.

— Лучше познакомьте нас с земными представлениями об устройстве вселенной,— предложил человек с орденом «Змеи и Планеты» и большими зелеными линзами над глазами.

Вир Норин подчинился желанию своих слушателей.

Он рассказал о спирально-геликоидальной структуре вселенной, о мирах Шакти и Тамаса, о сложных поверхностях силовых полей в космосе, подчиняющихся закону пятиосных эллипсоидных структур, о тройственной природе волн развития — больших и малых, о спирально-асимметричной теории вероятностей вместо линейно-симметричной, принятой в науке Ян-Ях и не позволяющей обойтись без высшего существа. Вир Норин говорил о победе над пространством и временем после раскрытия загадок предельных масс звезд, издавна известных ученым Ян-Ях, как и землянам: величин Чандрасекара и Шварцшильда, а главное, после исправления ошибки диаграммы Крускала, когда окончились представления об антимире как совершенно симметричном нашему миру. На деле между Тамасом и Шакти имеется асимметрия геликоидального сдвига, и взрыв квазаров не обязательно отражает коллапс звезд в Тамасе.

Самым трудным было побороть представления о замкнутости вселенной в себе, в круге времени, замыкающемся на себя и вечно, бесконечно существующем. Математические формулировки, вроде преобразования Лоренца, не помогли, а только запутали вопрос, не давая мысли человека преодолеть все эти «замкнутые на себя» системы, сферы, круги времен,

которые являлись лишь отражением хаоса инфернального опыта безвыходности. Лишь когда человек смог преодолеть инфернальные круги и понял, что нет замкнутости, а есть разворачивающийся в бесконечность геликоид, тогда он, по выражению индийского мудреца, раскрыл свои лебединые крылья поверх бурного бега времен над сапфирным озером вечности.

— ....Тогда, и именно тогда мы овладели удивляющими вас психическими воздействиями и предвидениями, тогда пришли к изобретению Звездолета Прямого Луча, поняв анизотропную структуру вселенной. Звездолеты Прямого Луча идут по осям геликоидов, вместо того чтобы разматывать бесконечно длинный спиральный путь. И воображение ученого, основанное на логически-линейных методах изучения мира, подобно той же спирали, бесконечно наматывающейся на непреодолимую преграду Тамаса. Только в раннем возрасте, до кондиционирования человека системой устоявшихся взглядов, прорываются в нем способности Прямого Луча, ранее считавшиеся сверхъестественными: например, ясновидение, телеакцепция и телекинез, умение выбирать из возможных будущих то, которое совершится. Мы на Земле стараемся развить эти способности в возрасте, когда еще не вступила в действие величайшая кондиционирующая сила организма — Кундалини, сила полового созревания.

Той же всеобщей закономерности подчинено и развитие жизни, неизбежно, повсюду, на разных уровнях времени приводящей к вспышке мысли. Для этого необходимо постоянство внутренней среды в организме и способность накапливать и хранить информацию. Говоря иначе — независимость от внешних условий существования в наибольшей возможной степени, ибо полная независимость недостижима.

Чтобы получить мыслящее существо, восходящая спираль эволюции скручивается все туже, ибо коридор возможных условий делается все более узким. Получаются очень сложные организмы, все более сходные друг с другом, хотя бы они возникали в разных точках пространства. Мыслящий организм неизбежно резко выражен как индивид, в отличие от интегрального члена общества на предмысленном уровне развития, как муравей, термит и другие животные, приспособленные к коллективному существованию. Качества мыслящего индивида в известной мере антагонистичны социальным нуждам человечества. Хотим мы этого или нет, но так получилось в становлении земного человека — следовательно, и вашего. Это не очень удачно для искоренения инферно, но, поняв случайность, мы пришли к абсолютной необходимости дальнейшего, теперь уже сознательного скручивания спирали в смысле ограничения индивидуального разброса чувств и стремлений, то есть необходимости внешней дисциплины как диалектического полюса внутренней свободы. Отсюда проистекают серьезность, строгость искусства и науки — отличительная черта людей и обществ высшей категории — коммунистических.

Если вместо скручивания спирали общества будет идти разброс и раскручивание, то появится множество анархических особей (особенно в облегченных условиях жизни), соответственно пойдет разброс и в творчестве: раздробленные образы, слова, формы. По широте и длительности распространения подобного творчества можно установить периоды упадка общества — эпохи разболтанных, недисциплинированных людей. В науке Ян-Ях особенно сказался ее разболтанный характер и как следствие — неумение найти верный путь. Отдельные эффекты, без гармонического музыкального строя, оркестрованного с первейшими нуждами человечества...— Вир Норин остановился, затем сказал:— Простите, я не

хотел касаться социальных вопросов, но, видимо, мы на Земле не можем мыслить иначе как имея в виду главную цель: охрану покоя, радости и творческой работы людей!..

Ученые Торманса встретили окончание речи Вир Норина угрюмым молчанием. Они сидели, ни словом, ни жестом не выражая своих чувств, пока он, несколько удивленный реакцией аудитории, спускался с кафедры. Впрочем, он почувствовал нарастающую неприязнь уже в начале своих социологических формулировок. Вир Норин поклонился и вышел из зала, всем своим существом ощущая взрывчатую враждебность привилегированных слушателей. Прикрыв за собой дверь, он услышал нестройный шум, тут же усилившийся до крика. Разумеется, провожать его никто не вышел, и Вир Норин, не терпевший церемоний прощания, даже немного обрадовался, что сэкономил время и раньше увидит Сю-Те. Спустя полчаса он подходил к своему дому. В душе зародилось неясное опасение: плохое назревало в его грядущей судьбе, и это плохое связано с выступлением в физико-техническом институте. Да, он произвел впечатление на ученых, но какое? Он вел себя не так, как нужно, не сумев остаться в рамках «чистой» науки Ян-Ях. Однако Таэль подчеркнул нужность именно такого выступления... Надо поговорить с Родис, она сумеет заглянуть в будущее дальше него...

Дурные предчувствия Вир Норина сразу же исчезли, когда он увидел Сю-Те. Никогда он не представлял, сколько истинного счастья можно испытать на краю опасности вот в такой маленькой комнате. Лицо Сю-Те было озарено беззаветной любовью, и Вир Норин чувствовал, как дороги ему каждый ее жест, смешливые морщинки, манера ходить, ее странный нежный голос, ни высокий, ни низкий, ни звонкий, ни глухой. Сю-Те всегда умела внести новое, нечаянное и их разговор, внезапно переходя от сияющей радости к тревожным думам о будущем, от самозабвенной, почти яростной страсти до печального сосредоточения в себе. Иногда, словно пробуждаясь, Сю-Те смотрела на Вир Норина, как в бездну жизни, готовая и душу и тело бросить туда, отдать все до последнего вздоха. Порой призраком беды вдруг вставало перед ней темное будущее, возникало пронзительное чувство хрупкости ее счастья со странным пришельцем из межзвездных пространств, непостижимых для ее ума, и тогда Сю-Те бросалась к астронавигатору и замирала, прильнув к нему с закрытыми глазами, едва дыша.

Она часто пела и начинала обычно с проникновенно-печального, а потом с задором пускалась в сложную вязь ритмического танца. Она поверяла ему детские мечты, рассказывала свои юные переживания с тонкостью чувств и наблюдений, доступных не всякой женщине Земли. И снова пела, засматривая в будущее, как в темную реку, медленно текущую в неизвестную даль. И ему хотелось тогда забыть обо всем, чтобы подольше оставаться с Сю-Те, в щедрости ее любви, и самому отдавать себя столь же безоглядно. Невозможная мечта: слишком сложна была ситуация на чужой планете, где он сделался катализатором нарождающихся сил сопротивления и борьбы за человеческое существование, за выход из инферно! Предстояло еще пережить тяжкий момент, когда звездолет со всеми его друзьями уйдет на родную планету. Ожидание мучило Вир Норина, хотя впереди было еще немало дней совместной работы с Родис и частых встреч по СДФ с экипажем звездолета.

Так думал Вир Норин, но он ошибся.

После того как он покинул институт, из толпы спорящих вышел низкорослый человек с кожей настолько желтой, что походил на больного. Он был вполне здоров, просто принадлежал к этнической группе обита-

телей высоких широт головного полушария. Нар-Янг уже заработал себе двойное имя, будучи известным астрофизиком. Он поспешил в кабинет на четвертом этаже института, заперся там и, ободряя себя курительным дымом, принялся за вычисления. Лицо его то кривилось в саркастической усмешке, то расплывалось в злобной радости. Наконец он схватил записи и поехал в приемную Высшего Совета, где находился переговорный пункт для вызова наиболее ответственных сановников по не терпящим отлагательства делам государственного значения.

На видеоэкране появился надменный «змееносец».

Окрыленный открытием, Нар-Янг потребовал соединить его с владыкой. Тайна, которую он раскрыл, настолько важна и велика, что он может доверить ее лишь самому Чойо Чагасу.

«Змееносец» из глубины экрана долго всматривался в астрофизика, обдумывая что-то, и наконец его злое и хитрое лицо выразило подобие улыбки.

— Хорошо! Придется подождать, сам понимаешь.

— Конечно, понимаю...

— Так жди!

Экран погас, и Нар-Янг, опустившись в удобное кресло, предался честолюбивым мечтам. За такое донесение его наградят орденом «Змеи и Планеты», званием Познавшего Змея, дадут красивый дом на берегу Экваториального моря. И Гаэ Од-Тимфифт, знаменитая танцовщица, которой он давно домогается, станет уступчивой...

Дверь с грохотом распахнулась. Ворвались двое здоровенных «лиловых». За спинами их маячил бледный дежурный по приемной. Прежде чем астрофизик опомнился, его вытащили из кресла и, заламывая руки назад, потащили к выходу. Испуганный и возмущенный Нар-Янг закричал о помощи, угрожая пожаловаться самому Чойо Чагасу. Удар по голове, на миг затуманивший зрение, оборвал его излияния. Опомнившись уже в машине, бешено прыгавшей по неровной дороге, в гору, ученый попытался спросить схвативших его людей, куда и зачем его везут. Крепкая пощечина прекратила вопросы.

Его вытолкнули из машины перед глухими воротами темно-серого дома, обнесенного чугунной стеной. Сердце Нар-Янга затрепетало в смешанном чувстве страха и облегчения. Жители столицы боялись резиденции Ген Ши, первого и самого грозного помощника Чойо Чагаса. Астрофизика рысью погнали вниз, в полуподвальный этаж. В ярко освещенной комнате ошеломленный Нар-Янг зажмурил глаза. Одно мгновение потребовалось охранникам, чтобы срезать с его одежды застежки, снять пояс, распороть снизу доверху рубашку. Подтянутый, суховатый ученый превратился в жалкого оборванца, уцепившегося за свои постыдно сползающие брюки. Жестокий пинок в спину — и, дрожа от страха и ярости, он оказался у большого стола, за которым сидел Ген Ши. Второй на планете владыка улыбался приветливо, и Нар-Янг почувствовал уверенность.

— Мои люди перестарались,— сказал Ген Ши.— Я вижу, вам неточно передали приказ,— обратился он к «лиловым»,— привезти не преступника, а важного свидетеля.

Ген Ши помолчал, разглядывая желтокожего астрофизика, потом тихо сказал:

— Ну, выкладывай сообщение! Надеюсь, ты решился потревожить владыку по действительно важной причине, иначе, сам понимаешь,— от улыбки Ген Ши приободрившийся было Нар-Янг зябко поджал пальцы на ногах.

— Сообщение важное настолько, что я изложу его лишь самому великому,— твердо сказал он.

— Великий занят и повелел два дня его не тревожить. Говори, да побыстрее!

— Я хотел бы видеть владыку. Он разгневается, если я скажу кому-нибудь другому,— ученый опустил глаза.

— Я тебе не кто-нибудь,— угрюмо сказал Ген Ши,— и не советую упорствовать.

Нар-Янг молчал, стараясь преодолеть страх. Они не посмеют ничего ему сделать, пока он владеет тайной, иначе она погибнет вместе с ним.

Астрофизик молча помотал головой, боясь выдать словами свой испуг. Ген Ши так же молча закурил длинную трубку и дымящимся концом ее показал в угол комнаты.

Мигом к Нар-Янгу подскочили «лиловые», содрали с него брюки; другие охранники сняли чехол с предмета, стоявщего в углу комнаты. Ген Ши лениво встал и приблизился к грубому деревянному изваянию умаага. Прежде этих животных, ныне почти вымерших, разводили на планете Ян-Ях для езды верхом и в упряжке. Морда умаага была оскалена в зверской усмешке, а спина стесана в виде острого клина.

«Лиловый» спросил:

— Простое сиденье, владыка, или?..

— Или!— ответил Ген Ши.— Он упрямый, а сиденье требует времени. Я спешу.

«Лиловый» кивнул, вставил рукоятку в лоб деревянной скотины и стал вращать. Клиновидная спина, точно пасть, стала медленно раскрываться.

— Что ж, надевайте ему стремена!— спокойно сказал Ген Ши, выпуская клубы дыма.

Прежде чем охранники схватили его, Нар-Янг понял свою участь. В народе давно уже ходила молва о страшном изобретении Гир Бао, предшественника Ген Ши, с помощью которого могли добиться любого признания у мужчин. Их сажали верхом на умаага, и деревянные челюсти на спине изваяния начинали медленно сдвигаться. Дикий ужас сломил все упрмяство и человеческое достоинство астрофизика. С воплем «Все скажу!» он пополз к ногам Ген Ши, вжимаясь в пол и моля о пощаде.

— Отставить стремена! — скомандовал владыка.— Поднимите его, посадите, нет, не на умаага — в кресло!

И Нар-Янг, проклиная себя за низость доноса, дрожа и захлебываясь, рассказал, как сегодня утром земной гость проговорился на заседании физико-технического института, не догадавшись о выводах, какие ученые Ян-Ях сделают из обрисованной им картины вселенной.

— И ты один нашелся умный?

— Не знаю...— Астрофизик замялся.

— Можешь называть меня великим,— снисходительно сказал Ген Ши.

— Не знаю, великий. Я сразу же пошел чертить и вычислять.

— И что же?

— Звездолет пришел из невообразимой дали космоса. Не меньше тысячи лет потребуется, чтобы сообщение отсюда достигло Земли, две тысячи лет на обмен сигналами.

— Это значит?!— полувопросительно воскликнул Ген Ши.

— Это значит, что никакого второго звездолета не будет... Я ведь присутствовал в качестве советника на переговорах с землянами... И еще,— заторопился Нар-Янг,— показанное нам заседание земного совета, разрешавшее уничтожить Ян-Ях,— обман, блеф, мистификация, пустое

запугивание. Никого стирать с лица планеты они не будут! У них нет на это полномочий!

— Ну, такие дела возможны и без полномочий, особенно если далеко от своих владык,— подумал вслух Ген Ши и вдруг грозно ткнул пальцем в ученого:— Никто об этом не знает? Ты никому не проговорился?

— Нет, нет, клянусь Змеем, клянусь Белыми Звездами!

— И это все, что ты можешь сообщить?

— Все.

Опытное ухо Ген Ши уловило заминку в ответе. Он поиграл изломанными, как у большинства жителей Ян-Ях, бровями, пронизывая жертву безжалостным взглядом.

— Жаль, но все же придется прокатить тебя на умааге. Эй, взять его!

— Не надо!— отчаянно завопил Нар-Янг.— Я сказал все, о чем догадался. Только... Вы помилуете и отпустите меня, великий?

— Ну?— рявкнул Ген Ши, сокрушая последние остатки воли ученого.

— Я слышал разговор двух наших физиков, случайно, клянусь Змеем! Будто они разрешили загадку защитного поля землян. Его нельзя преодолевать мгновенными ударами вроде пуль или взрыва. Чем сильнее удар, тем больше сила отражения. Но если рассечь его медленным напором поляризованного каскадного луча, то оно поддается. И один сказал, что хотел бы попробовать свой квантовый генератор, недавно изготовленный им в рабочей модели.

— Имена?

— Ду Бан-Ла и Ниу-Ке.

— Теперь все?

— Полностью все, великий. Более я ничего не знаю. Клянусь...

— Можешь идти. Дайте ему иглу и плащ, отвезете куда надо.

К натягивающему брюки Нар-Янгу подошли «лиловые».

— Еще двоих за этими физиками! Нет, берите только Ду Бан-Ла. С женщиной придется возиться, они всегда упорнее, хоть и есть специальное седло!

Старший из «лиловых», низко кланяясь, исчез за дверью. Другие подвели ученого к выходу. Едва он ступил за порог, как офицер в черном, молча стоявший в стороне, выстрелил ему в затылок длинной иглой из воздушного пистолета. Игла беззвучно вонзилась между основанием черепа и первым позвонком, оборвав жизнь Нар-Янга, так и не успевшего научиться простой истине, что никакие условия, мольбы и договоры с бандитами невозможны. Остатки старой веры в слово, честь или жалость погубили множество тормансиан, пытавшихся выслужиться перед олигархами и поверивших в «законы» и «права» шайки убийц, какими были, по существу, Совет Четырех и его высшие приближенные.

Ген Ши движением пальца удалил черного офицера и перешел в соседнее помещение с пультами и экранами переговорных аппаратов. Повернув голубую клемму, он вызвал Кандо Лелуфа, иначе Ка Луфа, третьего члена Совета Четырех, ведавшего учетом хозяйства планеты. Это был полный маленький человек в пышной парадной одежде, напоминавший Зет Уга, но с большой челюстью, женским маленьким ртом и писклявым голосом.

— Кандо, тебе придется отменить свой прием,— без долгих предисловий объявил Ген Ши.— Немедленно приезжай ко мне, отсюда будем командовать некой операцией. Подвертывается редкий случай совершить задуманное...

Не прошло и получаса, как оба члена Совета Четырех, дымя трубками, обсуждали коварный план.

Чойо Чагас время от времени удалялся в секретные покои своего дворца (даже Ген Ши не знал, что там находится, в этих подземельях под башней). На этот раз владыка отсутствовал только сутки, и это означало, что по крайней мере еще сутки полная власть над всей планетой будет в их руках. За это время многое можно сделать!

План был прост: арестовать Фай Родис и Вир Норина, пытками заставить их сказать все, что нужно, по телевидению и как можно быстрее убить. Земляне не будут воевать со всей планетой. Хорошо было бы, конечно, вызвать звездолет на активные действия, если пытками заставить владычицу землян приказать нанести удар по садам Цоам и уничтожить Чойо Чагаса как виновника. Могущество звездолета велико. От садов Цоам останется яма, в которой исчезнут ближайшие помощники и охрана владыки, не говоря уже о нем самом. Тогда Ген Ши и Ка Луф становятся без излишних потрясений и риска первыми лицами в государстве, а Зет Уг — там видно будет! Всех свидетелей убрать, в том числе и дурака Таэля, не умеющего толком шпионить!

— На будущее надо позаботиться о глубоких подземных укрытиях. Ведь звездолеты с Земли, раз познав дорогу, обязательно будут являться сюда. Прикажу, чтобы всех, кого хватают в столице, не отправляли во Дворец Нежной Смерти или дальние места, а создали из них армию подземных рабочих,— изрек Ген Ши.

— Мудрейшая мысль!— пискнул Ка Луф.

Пока владыки совещались наверху, в нижний этаж притащили избитого, но еще сопротивлявшегося физика Ду Бан-Ла. Этот оказался упорнее легковерного доносчика Нар-Янга, и «лиловым» пришлось посадить его на умаага. Потеряв голос от нечеловеческого крика, обливаясь потом и слезами, физик сдался и под конвоем палачей поехал за своим аппаратом.

Фай Родис с наступлением ночи спустилась в подземелье. Сегодня происходило большое совместное собрание «кжи» и «джи»— обсуждались реальные шаги к слиянию сил в общее сопротивление. Слушая говоривших, Родис не переставала обдумывать, как помочь Вир Норину и его милой фее Сю-Те. Она не сомневалась в решении всех Советов Земли. Сюда не пошлют экспедиций, пока не прорастут семена посеянного людьми «Темного Пламени» или, при худшем исходе, станет ясным, что Час Быка не кончается и демоны продолжают властвовать на Тормансе. В таком случае можно применить закон Великого Кольца об уничтожении режимов, закрывающих мыслящим существам путь к всестороннему познанию мира, остановивших их развитие, сохраняя инферно. Никто не станет повторять ошибок древних колонизаторов Земли, селившихся в чужих странах, не зная ни истории, ни психологии, ни обычаев народов-аборигенов, тем более если эти народы обладали высокоразвитой собственной культурой.

Вот хорошая идея: договориться с Чагасом о том, чтобы Вир Норин легально остался здесь, на планете Ян-Ях, в качестве историка, наблюдателя и корреспондента до прихода следующего корабля. Или еще лучший предлог — мнимый, «вызванный» ею звездолет якобы задерживается, и астронавигатор останется для связи и посадки. Это даст Вир Норину какой-то срок спокойной жизни.

Из окружающей темноты пришло ощущение грозной опасности, сгустившейся внезапно, как пригнанные шквалом зловещие тучи. Чуткая психика Фай Родис предупредила ее. Впервые за все время пребывания

на Тормансе она почувствовала, что на нее надвигается смертельная опасность.

Враги были близко. Увлечение совещанием, думы о Вире ослабили ее нормальную чуткость, и она опоздала на час или больше. Подозвав Таэля, Родис передала ему свои опасения. Инженер внимательно взглянул на нее, и холодок пробежал по его спине. Ласковая, почти нежная осторожность земной женщины сменилась грозной решительностью, неуловимой быстротой движений и мыслей. Воля, словно туго натянутая струна, вибрировала в ней, отзываясь на чувствах окружавших людей.

Родис посоветовала расходиться по двум главным и дальним ходам. Она предварительно просмотрела их психически: нет ли западни? Никто не должен попасть в лапы «лиловых», иначе пойдет разматываться страшная нить расследования.

Потом поспешила наверх в сопровождении Таэля, концентрируя всю свою волю на призыве к Вир Норину. Минуты шли, но Родис не уловила отзыва.

— Попытаюсь связаться с владыкой,— сказала она Таэлю у подножия лестницы, которая вела в ее спальню.

— Вы подразумеваете Чойо Чагаса?— спросил Таэль, задыхаясь от быстрой ходьбы.

— Да. С другими нельзя иметь дела. Они не только безответственны, они враждебны Чагасу.

— Великая Змея и Змея-Молния! Ведь Чойо Чагаса нет, и теперь я понимаю...

— Как нет? (У Родис мелькнуло воспоминание о тайном хранилище вывезенных с Земли вещей.)

— Он удалился на двое суток в секретную резиденцию и передал управление, как обычно, Ген Ши.

— Так они хотят захватить нас в отсутствие Чойо Чагаса! Пытками заставить что-то сделать для них, а то и просто убить нас, чтобы на корабле покарали Чагаса, это несомненно. Таэль, милый, спасайте Вир Норина. Берите СДФ из святилища, отведите подальше и связывайтесь с ним. Он у себя, я сумею разбудить его, а вы условьтесь, куда ему спрятаться. Скорее, Таэль, нельзя медлить. В первую очередь они попытаются захватить меня. Скорее! Я тоже буду вызывать его из своей комнаты.

— А вы, Родис? Как же? Если им удастся?

— Мой план прост. Я буду обороняться защитным полем СДФ, пока не поговорю со звездолетом. Дайте координаты места в заброшенном саду, где сажали дисколет при ранении Чеди. На подготовку дискоида потребуется часа полтора. Еще около двадцати минут, пока прилетит Гриф Рифт. Батарей девятиножки хватит на пять часов, даже при непрерывном обстреле. Запас времени у меня огромный. Когда спрячете Вир Норина, возвращайтесь с девятиножкой и ждите меня около выхода из четвертой галереи. Я поставлю мой СДФ на самоуничтожение при разрядке и уйду вниз, пока они будут беситься вокруг. Не бойтесь, я ориентирую взрыв вверх, чтобы не повредить здания и не обнаружить хода в подземелье. Оно нам еще пригодится.

— Я не боюсь ничего, кроме...— инженер подавил прорвавшееся вдруг рыдание.— Я боюсь за вас, Родис, моя звезда, опора, любовь! Надвигается нечто небывало ужасное!

Фай Родис сама боролась со зловещей тоской, острым клином пробивавшейся из окружающей тьмы через ее стойкую психику. Вероятно, тормансианину передавалось ее чувство.

— Идите, Таэль. Можете опоздать с Норином.

— Позвольте мне подняться с вами! Всего две минуты. Я должен убедиться, что они не пролезли в вашу комнату.

— Не смогут. Я загородила вход, как всегда, когда спускаюсь в подземелье.

Очень осторожно они сдвинули блок стены в темной спальне Родис. Приложив палец к губам, она подкралась к двери во вторую комнату, услышала сильное гудение девятиножки и выглянула за порог. У настежь распахнутой из коридора двери сгрудилось множество людей в черных халатах, капюшонах и перчатках, ночных карателей. Широкий проход между помещением верхнего этажа был заполнен «лиловыми», маячившими в размытых контурах защитного поля. Задние суетились, таща нечто тяжелое, а передние стояли неподвижной шеренгой, не пробуя ни стрелять, ни бросаться в атаку.

Фай Родис незамеченной отступила в спальню.

— Спешите, Таэль!

Инженер сделал шаг к оставленному окрытым входу и оглянулся. Вся его преданность и любовное преклонение перед Родис отразились в лице с силой предсмертного прощания.

Родис обняла Таэля, поцеловав его с такой силой чувства, что в глазах у того помутилось. На миг Таэлю припомнились фильмы о Земле, о холодноватой и нежной любви землян, странно сочетавшейся с неистовой страстью...

Он уже бежал по крутой лестнице в непроницаемый мрак подземелья, а Родис, подпрыгнув, нагнула карниз и задвинула отверстие в стене.

Столица засыпала рано, и в этот час в квартале «джи» царило безмолвие. Вир Норин внезапно проснулся. В заглушенной коврами комнате Сю-Те едва слышалось ровное дыхание спящей. Беззвучный голос звал его из мрака: «Вир, Вир, очнитесь! Очнитесь, Вир! Опасность!»

Он вскочил, мгновенно стряхнув сон: Родис! Что случилось?

Разбудив Сю-Те, он побежал к себе, включил девятиножку и увидел темную комнату Родис. Через несколько секунд видение растворилось и появился Таэль...

Ужас и восхищение охватили Сю-Те в сумасшедшей скачке на СДФ по темным улицам города Средоточия Мудрости. На куполе девятиножки мог уместиться лишь один человек. Вир Норин взял девушку на руки. Фантастическая координация и чувство равновесия землянина удерживали его на мчавшейся с максимальной скоростью маленькой машине. На развилке дорог, за городом, астронавигатор остановился. По совету Таэля он медленно объехал большой круг, опрыскав почву особым составом, когда-то принесенным ему Таэлем. Это утаенное от владык изобретение обладало свойством надолго парализовать обонятельные нервы. Теперь не страшны собаки, если их пустят по следу. Оставалось не больше двух километров пути до посадочной площадки дискоида.

Тем временем Родис вышла из спальни, и враги заметили ее сквозь неплотную защиту. Они засуетились, показывая на нее и делая знаки стоявшим позади. Родис усилила поле, серая стена скрыла движущиеся фигуры, а проход погрузился во тьму. Невидимая для врагов, Родис вызвала верхним лучом свой корабль. Там, у щитка, на котором остались лишь два зеленых огонька землян и третий — Таэля, сидела Мента Кор. Она мгновенно разбудила Гриф Рифта. Он явился через несколько секунд. Общий сигнал тревоги зазвучал по звездолету. Весь экипаж принялся готовить дискоид — последний из трех, взятых с Земли. Рифт, в тревоге склоняясь над пультом, просил Фай Родис не выжидать более, уходить в подземелье.

— Девятиножка справится без вас. Я давно опасался чего-нибудь подобного и не переставал удивляться вашей игре с Чойо Чагасом.

— Это не он.

— Тем хуже. Чем ничтожнее власть имущие, тем они опаснее. Я прилечу, не теряя секунды. Светлое небо, неужели вы, наконец, будете на корабле, а не в аду Торманса?

— Здесь множество людей, ничем не хуже нас. Они обречены от рождения до смерти оставаться здесь — невыносимая мысль. Я очень тревожусь за Вира.

— Да вот он, Вир! Сидит под деревьями у посадочной площадки. Немедленно уходите!

— Иду, не обрывайте связь, наблюдайте за комнатой. Хочется знать, сколько выдержит моя верная девятиножка. И мы простимся с ней уже с «Темного Пламени».

Родис взяла со столика катушку еще не переданных на звездолет записей и, послав Гриф Рифту воздушный поцелуй, направилась в спальню.

Раздался такой оглушительный визг, что Родис на мгновенье замерла. Из мрака защитного поля, точно морда чудовища, раскаленным клином высунулся неведомый механизм. Распоров защитную стену, он свистящим лучом ударил в дверь спальни, отбросив Родис к окну, близ которого стояла девятиножка.

Вне себя Гриф Рифт вцепился в край пульта, приблизив к экрану исказившееся в страхе лицо.

— Родис! Родис! — старался он перекричать свист и визг луча, за которым в комнату влезало какое-то сооружение, продвигаемое черными фигурами карателей Ген Ши.— Любимая, небо мое, скажите, что сделать?

Фай Родис стала на колени перед СДФ, приблизив голову ко второму звукоприемнику.

— Поздно, Гриф! Я погибла. Гриф, мой командир, я убеждаю вас, умоляю, приказываю: не мстите за меня! Не совершайте насилия. Нельзя вместо светлой мечты о Земле посеять ненависть и ужас в народе Торманса. Не помогайте тем, кто пришел убить, изображая наказующего бога — самое худшее изобретение человека. Не делайте напрасными наши жертвы! Улетайте! Домой! Слышите, Рифт? Кораблю — взлет!

Родис не успела утешить себя памятью о милой Земле. Она помнила о лихих хирургах Торманса, любителях оживления, и знала, что ей нельзя умереть обычным путем. Она повернула рукоятки СДФ на взрыв с оттяжкой в минуту, могучим усилием воли остановила свое сердце и рухнула на девятиножку.

Ворвавшиеся с торжествующим ревом каратели остановились перед телом владычицы землян — на минуту оставшейся им жизни...

У командира Звездолета Прямого Луча впервые за долгую жизнь вырвался вопль гнева и боли. Зеленый огонек Фай Родис на пульте погас. Зато там, где стоял ее СДФ, в черное небо взвился столб ослепительного голубого огня, вознесший пепел сожженного тела Фай Родис в верхние слои атмосферы, где экваториальный воздушный поток понесет его, опоясывая планету.

ЭПИЛОГ

Давно окончилась «звездочка» памятной машины — фильма об экспедиции на Торманс, а ученики сидели, окаменев от впечатлений. Учитель не тревожился за крепкую психику девушек и юношей Эры Встретившихся Рук и дал им прочувствовать увиденное. Первыми очнулись Кими и Пуна, всегда самые быстрые.

— Я постарела на тысячу лет! — воскликнула Пуна.— Какой страшный мир! И в нем живут наши земные люди. Я чувствую себя отравленной, и надолго. Может быть, мне нельзя смотреть инферно?

— Не постарела, а поумнела,— улыбнулся ей учитель.— Умнеть всегда нелегко. Теперь вы становитесь взрослее, если постигли, что познания, которые дает вам школа, и испытания, которым она вас подвергает, совсем не для того, чтобы набить ваши головы простой суммой законов и фактов. Это коридор необходимости, через который надо пройти каждому, чтобы выпрямить свои инстинкты, научиться чувству общественного сознания и прежде всего осторожности в действиях и тонкости в обращении с людьми. Коридор предельно узок и труднопроходим.

— Теперь я все понимаю,— согласилась Пуна,— и даже казавшиеся ненужными охранительные системы. Это абсолютно необходимо! Чем сложнее структура общества, тем легче оно может обрушиться в инферно. И еще,— заторопилась девушка,— все: мысли, поступки и мечты — должно уменьшать страдания и увеличивать свободу всем другим людям.

— О да, ты права! — волнуясь сказал Кими.— У меня другое, очень странное впечатление. Земля стала в тысячу крат милее и прекраснее. Я сейчас понял, как уютен наш дом в бесконечности мира и чего стоило его создать. Но все это как будто тонкий занавес, скрывающий за собой бездну тьмы и в прошлом человечества и в судьбе планет. Я буду историком, как она, и буду работать в Академии Горя и Радости.

— «Она» — это Фай Родис, конечно? — спросил учитель.

— Да! — гордо ответил Кими.— И вы убедитесь, что я не ошибся в выборе.

— Внучка Фай Родис учится в школе третьего цикла в южном полушарии, около Дурбана,— лукаво сказал учитель.

— Как? — вспыхнул Кими.

— У Фай Родис оставалась на земле дочь, ставшая женой сына Гриф Рифта. У них дочь и сын,— пояснил учитель,— есть потомки и других звездолетчиков. Я знаю о сыновьях Чеди и дочерях Эвизы, которые явились на свет уже после возвращения их с Торманса,— добавил он.

— Хотя одна вернулась с физической раной и, наверное, обе — с душевными,— заметила Дальве.— Нельзя безнаказанно пройти через инферно, как пришлось им обеим. Мне в первый раз стало страшно, когда я поняла, как хрупка человеческая культура. Они, тормансиане, достигли космоса, одолели невообразимое пространство, получили от судьбы хорошую планету...

— Да! И, разграбив ее, скатились в темную пропасть, в инферно, убивая и озлобляясь,— добавила сдавленным от волнения голосом Иветта.

— Все у них обратно нашему миру, будто в Тамасе. Яркая индивидуальность, большие способности вместо служения обществу делают из человека замкнутого эгоиста, зачем-то самого себя превозносящего,— сказала мечтательная Кунти.

А Миран, еще более хмурый, чем всегда, добавил:

— Я воспринял всю глубину падения тормансиан, когда выяснилось их отношение к художникам. Они не понимали, что люди искусства крупицами отвоевывали у смерти во времени, у разброса в пространстве красоту, мечту, идеал несостоявшегося, но возможного, слагая лестницу подъема из инферно, прочь от размытых чувств и мгновенного счастья природы.

— Отлично сказано, Миран,— похвалил учитель. — Именно в том, чтобы помогать подыматься из инферно, и состоит назначение художника. Без этого есть лишь слепой талант, как бы велик он ни был. Спектр очарования природы: звериная сила тела, чувство бесконтрольного приволья, водоворот вечного кочевья, охоты, сражения, «злые» чары темной страсти — все, что составляет анимальную сущность диких сыновей и дочерей Земли. Этому могучему и древнему волшебству вы противопоставите свет и безграничную вселенную ноосферы — поверх темных глубин побежденного самим собой «я».

— А что случилось дальше с экипажем «Темного Пламени» здесь, на Земле? — спросила Пуна.

— Вы прочитаете об этом во многих романах, увидите в нескольких фильмах, посвященных дальнейшей судьбе вернувшихся,— ответил учитель.

— Мы говорим о вернувшихся,— сказал Кими,— а что случилось на Тормансе? Известна ли судьба Вир Норина и Таэля? Неужели звездолет улетел сразу после гибели Родис, бросив все на произвол судьбы? Не могли наши люди сделать так!

— Не могли! — согласился учитель.— И я ждал этого вопроса. Вот дополнительная «звездочка», записанная на «Темном Пламени». Она короткая. Советую посмотреть ее немедленно, пока остра память о пережитом...

Вир Норин за минуту до катастрофы переключился на звездолет и видел все в боковом створе его экрана так же, как и Таэль,— через девятиножку Эвизы, взятую из святилища.

Таэль повалился на каменный пол здания, где он ждал Родис. Звон СДФ заставил его подняться. Вир Норин требовал, чтобы ему немедленно добыли черный балахон с капюшоном, как у карателей.

— Что вы будете делать, Вир? Родис, единственной во вселенной Фай Родис больше нет!

— Но есть погубивший ее аппарат. Я не сомневаюсь, что он только один. Иначе они убили бы одновременно нас обоих. Таэль, будьте землянином! Действуйте! Я иду к вам.

Сю-Те, заплаканная, страдающая, но не сломленная, осталась ждать Вир Норина у развалившихся стен старинной садовой постройки под охраной девятиножки.

Когда Вир Норин прибежал в лабораторию имени Зет Уга, Таэль уже добыл костюм ночного карателя. Вир Норин спустился в подзе-

мелье. Миновав галерею, ведущую в пятый храм, он уверенно вышел на площадь к памятнику Всемогущему Времени. У главных ворот храма «лиловые» в обычной своей форме разгоняли толпу разбуженных взрывом обывателей. От Вир Норина испуганно шарахались встречные, а двух карателей, дежуривших в воротах, он заставил себя не видеть. По саду рыскали едва заметные фигуры, выслеживавшие кого-то. Вир Норин подумал о проницательности и быстроте мышления Фай Родис, спасшей от большой опасности ядро зарождавшихся сил сопротивления Торманса.

Беготня черных карателей облегчила задачу. Никем не замеченный, Вир добрался до пятого храма и, хорошо зная его устройство, поднялся по западной лестнице в верхний коридор, где по-прежнему толпилось не менее полусотни черных. Медленно, как бы невзначай, продвигаясь вдоль стены, астронавигатор слышал обрывки фраз, складывавшихся в ясную картину:

— Чего ждем? Вот сам приедет... А другого изловили?.. Прикончили? Эх, теряем время! Разве не видишь — этот, чей аппарат, убил себя!

Около аппарата, наполовину вдвинутого в комнату Родис, лежал обезглавленный труп. Очевидно, изобретатель, не желая более служить владыкам, сунул голову под рассекающий луч.

— Эй ты, там! Чего суешься? Иди сюда! — окликнул Вир Норина распоряжавшийся здесь человек с нашитой на баллоне серебряной змеей.

Вир Норин бестрепетно подошел, вонзая свой взгляд в темноту прорезей балахона.

— Да, правильно, я приказал тебе стоять тут! Никого не подпускай к машине, отвечаешь медленной смертью в кислотной бочке!

Вир Норин поклонился, встал около машины, сутулясь, чтобы скрыть свой рост. Улучив минуту, он рассовал в разных местах аппарата четыре соединенных проводами кубика, постоял немного и вышел тем же путем, каким пробрался сюда.

К удивлению и страху карателей, тщательно охраняемый аппарат вдруг стал сам по себе накаляться, вызвал пожар, который едва потушили. Остался безобразный корявый слиток металла, похожий на скульптуры прошедших времен. Ген Ши неистовствовал, приказав взорвать дом, где жил Вир Норин. Заминированное по всем правилам инженерного искусства здание обрушилось, вызвав панику во всем районе. Оно погребло бы под своими развалинами не только Вир Норина, но и не менее трехсот жильцов, если бы они не были заблаговременно удалены посланцами Таэля. Инженер знал своих владык и их чудовищное пренебрежение к человеческой жизни...

Взрыв здания замел следы Вир Норина в городе Средоточия Мудрости. Теперь дело было за надежным убежищем для астронавигатора и его подруги.

А пока Вир Норин, расхаживая перед СДФ, объяснял своим спутникам причины, по которым он остается на Тормансе. Если раньше у него были колебания, неуверенность в правоте поступка, то сейчас нет и следа сомнений.

Фай Родис погибла, не успев укрепить светлого дела,— он останется для помощи тормансианам. Он отдает себе отчет и в том, что ему не заменить Родис, и что налицо смертельная опасность, и как огромна утрата прекрасной Земли. Но у него появилась душевная опора, корень в чужой почве, утешение великой любовью. Вир подтолкнул к экрану смущенную Сю-Те. Она стояла с распухшими от слез глазами и носом, с горящими щеками, опустив голову, маленькая, добрая и прелестная.

Земляне поняли: разлука не будет безысходной для их друга, а гибель во имя гигантской цели никогда не пугала жителей Земли.

— Выполняйте завет Родис, милые друзья! — сказал Вир Норин.— Помните ее последние слова. Только мы с вами слышали их, Рифт!

— Какие? Что же вы молчите? — спросила Чеди, заплаканная не меньше Сю-Те. Она стояла в стороне от других, прижавшись к Эвизе Танет. В этой скорбной и тоскующей позе, записанной видеохроникой корабля, их и запечатлели авторы памятника «Темному Пламени».

— Узнаете из записи. У меня не хватит силы повторить. Но последние два слова начальницы экспедиции вы должны знать немедленно: «Кораблю — взлет!»

Гриф Рифт побелел. Казалось, командир сейчас упадет. Эвиза бросилась было к Рифту, но он отстранил ее и выпрямился.

— Есть что-нибудь нужное вам и Таэлю, Вир Норин? — спросил он мертвым, без интонаций,голосом.

— Да! Пошлите нам последний дискоид. Отдайте все фильмы о Земле, все материалы для изготовления ДПА и ИКП, все запасные батареи СДФ и...— Астронавигатор запнулся: — Немного земной еды и воды. Чтобы тормансианские друзья время от времени пробовали вкус нашего мира. Как можно больше лекарств, не требующих специальных познаний. Все!

— Будем готовить,— отвечал Гриф Рифт,— давайте посадочное место.

Командир коснулся пульта, и пилотский сфероид звездолета опоясался огнями — сигнал подготовки к отлету. Сердце Вир Норина заболело от тоски. Он молча поклонился соотечественникам и выключил СДФ.

Звездолет «Темное Пламя» прервал всякое общение с Тормансом, будто находился на ядовитой для земной жизни планете. Убрали выходные галереи и балконы. Гладкий корпус корабля неподвижно высился в горячем воздухе дня и мрака ночи, как мавзолей погибшим землянам. Внутри у экранов бессменно сидела Олла Дез. Ее изощренные руки и слух ожидали сигналов Вир Норина или Таэля, но оба молчали. Даже совсем незнакомый с Тормансом человек мог уловить в планетных передачах нотки смятения и беспокойство, хотя не было сказано ни слова о гибели Родис и мнимой смерти Вир Норина. Зачем-то выступил Зет Уг с короткой речью о дружбе между землянами и обитателями Ян-Ях. Ни Ген Ши, ни Ка Луф не появлялись в передачах. Чеди с Эвизой объясняли спутникам обычай скрывать от народа все чрезвычайные происшествия, тем более если случалось что-нибудь «наверху», как в просторечии звалась олигархическая верхушка.

Прошли сутки. Неожиданно прекратились все передачи по общим каналам планеты. Чойо Чагас вызывал «Темное Пламя» по секретной сети, обещая разъяснить случившееся, и заверял, что приняты меры к расследованию и наказанию виновников. Ему не отвечали. Говорить с ним было не о чем. Просить позаботиться об астронавигаторе — означало передать его в руки людей, у которых не было ни чести, ни верности слову, ни добрых намерений. Договариваться о возвращении экспедиции, о доставке медицинского и технического оборудования, фильмов, произведений искусства? Это противоречило всей политике олигархического общества. Да и о каких договорах могла идти речь, если на планете не было законов, советов Чести и Права, никто не считался с общественным мнением!

Владыка приказал вызывать звездолет до вечера, а затем перейти к угрозам. Настала ночь, и по-прежнему над кустарниками побережья высился безмолвный купол огромного корабля. И все же еще раз звездолетчикам удалось увидеть свое «Темное Пламя» со стороны.

После прекращения связи с Вир Норином по галактическим часам «Темного Пламени» прошло восемь стотысячных секунды, примерно соответствовавших четырнадцати земным часам. Олла Дез отказывалась покинуть пост, хотя ей предлагали смену все остальные члены экипажа, окончившие подготовку к посылке дискоида и отлету. Только Мента Кор и Див Симбел продолжали настройку пилотных установок.

Гриф Рифт, гоня неотвязные мысли о Родис, раздумывал над списками погруженных в дисколет вещей, стараясь не упустить решающе важного, как будто Вир Норина покидали на необитаемой планете. Отсутствие связи начинало тревожить командира. Думать о каких-либо новых жертвах среди землян или тормансианских друзей было невыносимо. А столица упорно молчала, и неизвестность происходящего томительно растягивала время даже для терпеливых землян.

Рифт подумывал, не ответить ли Чойо Чагасу и осторожно выспросить о судьбе Таэля, когда наконец зазвенел вызов и на экране появился Вир Норин... Сыщики «лиловых» все же добрались до подземелья Храма Времени, но нашли его пустым и обработанным уничтожающим запахи составом. Архитекторы отыскали обширное убежище на окраине столицы, недалеко от высохшего озера. Туда, на древнее поле битвы, и надо сажать беспилотный дискоид.

Вир Норин дал координаты и посторонился. Инженер Таэль в низком поклоне приветствовал земных друзей и поднес к приемнику СДФ два стереоснимка. Без пояснений Вир Норина звездолетчики не узнали бы, кто эти сановники, сидевшие мертвыми в роскошных черных креслах, с искаженными от ужаса лицами. Страшные неизвлекаемые ножи Ян-Ях торчали из скрюченных тел. Ген Ши и Ка Луф понесли заслуженную кару, не дождавшись суда и следствия Чойо Чагаса, на котором они сумели бы вывернуться. Сотни рабски послушных людей запутали бы владыку нагромождением лжи. Но вмешались другие судьи — «Серые Ангелы», возобновившие свою деятельность с неслыханным могуществом.

— Наказаны смертельно еще двадцать главных виновников нападения,— с гневным торжеством сообщил инженер.

— Чего вы этим добьетесь? — спросил Гриф Рифт.

— Это было необходимо. Надо быть систематичными и абсолютно беспощадными в защите от беззакония, лжи и бесчестия. Вы сами на Земле тщательно соблюдаете в общественных отношениях третий закон Ньютона: действие равно противодействию,— противопоставляя немедленное противодействие, а не пытаясь дожидаться, как в древности, вмешательства бога, судьбы, владыки... Подолгу ждали люди воздаяния своим палачам, а века шли, накопляя зло и усиливая власть скверных людей. Тогда ваше общество взяло на себя функцию божественного воздаяния Немезиды: «Мне отмщение, и аз воздам!» — быстро искоренив подлости и мучения. Вы не представляете, сколько накопилось у нас человеческой дряни за много веков истребления лучших людей, когда преимущественно выживали мелкодушные приспособленцы, доносчики, палачи, угнетатели! Мы должны руководствоваться этим, а не слепо подражать вам. Когда тайно и бесславно начнут погибать тысячи «змееносцев» и их подручных — палачей «лиловых»,— тогда высокое положение в

государстве перестанет привлекать негодяев. Мы многому научились от Родис и от всех вас, но способы борьбы придется разрабатывать нам самим. Прекрасные картины Земли и могучий ум Вир Норина будут нашей опорой на долгом пути. Нет слов благодарности вам, братья! Вот этот памятник навсегда останется с нами,— Таэль показал снимок «Темного Пламени», сделанный телеобъективом с ближних к звездолету высот.

Олла Дез немедленно пересняла его. В поле зрения вошла Сю-Те, что-то сказавшая Вир Норину.

— Дискоид опустился в ста метрах от нас! — воскликнул Вир Норин и чуть слышно добавил: — Теперь все.

Таэль, Сю-Те и Вир Норин стали перед девятиножкой. Восемь землян выстроились прощальной шеренгой. Чеди, не выдержав молчания, крикнула:

— Мы прилетим, Вир, обязательно прилетим!

— Когда окончится Час Быка!.. И мы постараемся, чтобы это свершилось скорее,— ответил Вир Норин.— Но если демоны ночи задержат рассвет и Земля не получит от нас известия, пусть следующий звездолет придет через сто земных лет.

Вир Норин протянул правую руку к браслету. Экран ТВФ корабля стал черным и немым. Одновременно на пульте потух зеленый огонек астронавигатора. Единственный глазок — не человека Земли, а тормансианина Таэля — остался гореть как символ восстановленного братства двух планет.

Обратный путь «Темного Пламени» оказался гораздо труднее полета к Тормансу, еще раз доказав опасное несовершенство ЗПЛ. По каким-то причинам звездолет уклонился от рассчитанной траектории. Вместо того чтобы упасть, подобно ястребу на добычу, прямо с высоких широт Галактики к восьмому обороту ее спирали, он пронизал три спиральных рукава и вышел к внешнему краю нашего острова Шакти в пояс «рентгеновских», или нейтронных, звезд столь необычной плотности, что кубический сантиметр их вещества на Земле весил бы сто миллионов тонн. Между этими опорными столбами массивного вещества в местах соприкосновения с наиболее плотными участками Тамаса горели особые завихрения материи Шакти. В них, как в бездонных воронках, кружилось в кажущемся убегании поглощаемое Тамасом излучение. Они располагались по периферии Галактики, как бы обратно веществу нашей Вселенной. Явление долго оставалось нераскрытым. Во времена первого знакомства с окраинной зоной мира Шакти эти воронки назывались квазарами. Сложное устройство внешних областей Галактики и Метагалактики не излагалось в «звездочке» возвращения «Темного Пламени». Ученики поняли только грозную опасность, в какой очутился корабль.

В ТВФ они увидели короткие путевые записи памятной машины звездолета: исхудалую, черную от бессменной работы Менту Кор, неделями не спавшего командира Гриф Рифта, измученных инженеров пилотных и вычислительных установок Див Симбела и Соль Саина. Каждый имел своего «телохранителя». Соль Саина опекала Эвиза. Симбела — Чеди, Рифта — Олла Дез, а Нея Холли успевала и следить за биозащитой и охранять Менту Кор, поить ее и кормить, массировать, усыплять, когда наступали передышки.

«Темное Пламя» вырвался из внешней силовой зоны без повреждений, но с истраченными запасами энергии. Второе, более удачное сколь-

жение по краю бездны — и звездолет пробился в двадцать шестую область восьмого оборота, откуда осталось около трех месяцев пути до Земли. Он опустился на то же самое плоскогорье Реват, откуда ушел одиннадцать месяцев тому назад на планету Торманс.

— Что произошло на Земле после прибытия корабля, известно каждому землянину и не ново для вас,— сказал учитель, погасив ТВФ, и остановился, как бы выжидая.

— Срок, данный Таэлем, кончился! — вдруг сообразил Кими, и его поддержали все остальные.— Пора отправлять ЗПЛ. Туда, на Торманс!

— Неужели ничего не сделано?! — вскричала Айода.— И никто не обращался в Совет Звездоплавания?

Учитель лукаво следил за разгорающейся тревогой молодых людей. Наконец он поднял руку, споры утихли, и все повернулись к нему.

— Вы были в прошлом году в пустыне Намиб и пропустили одно событие, взволновавшее всю планету. Снова, как три века назад, ЗПЛ цефеян шел в обычном пространстве около Торманса и был привлечен сигналами автоматической станции на спутнике планеты. Кодом Великого Кольца станция просила все ЗПЛ, направляющиеся в двадцать шестую область восьмого рукава Галактики, совершить посадку на планете и взять сообщение...

— Для нас, для Земли? — вскочила Пуна.— И звездолет взял?

— Взял. Какой ЗПЛ может отказаться принять почту на гигантские расстояния, только ему доступные?

— Что было в сообщении? — хором спросили ученики.

— Не знаю. Написанное языком Торманса, оно переводится и проверяется в лаборатории изучения этой планеты. Очень объемистая информация обо всем, что случилось за столетие, больше — за сто тридцать лет. Но вот эти три стереоснимка я приготовил вам...

— И вы молчали? — Айода укоризненно бросила на учителя темный, огненный взгляд.

— Молчал до времени, теперь вы подготовлены к их восприятию,— невозмутимо ответил учитель.

Щелкнул выключатель ТВФ.

Они узнали площадь и памятник Всемогущему Времени. Старого храма — места гибели Родис — не было. Вместо него широко раскрывалось небу полулунное сооружение. Лестница вела на громадную и крутую арку, окруженную на верхней площадке открытой галереей. Оба конца галереи, прикрытые прозрачными зонтами неизвестно как державшихся куполов, резко, высоко и смело выдвинулись, нависая над площадью и окружающими постройками.

— Это памятник Земле,— тихо сказал учитель,— от планеты, не называющейся более Ян-Ях, а созвучно земному прозвищу Торманс получившей имя Тор-Ми-Осс. На их языке оно означает то же самое, что Земля для нас. Это и планета и почва ее, на которой человек трудился, выращивая пищу, сажая сады и строя дома для будущего, для своих детей, для уверенного пути человечества в безграничный мир.

На втором снимке на фоне сооружения была скульптурная группа из трех фигур.

— Фай Родис! — воскликнул Кими, и учитель молча кивнул, волнуясь не меньше детей.

Родис, изваянную из черного камня, в открытой обнаженности ее черного скафандра, несли на руках два человека с лицами Таэля и

Гзер Бу-Яма, высеченные из темно-желтой, почти коричневой горной породы. Оба мужчины, «кжи» и «джи», положили сильные руки на плечи друг другу. На них свободно, скрестив ноги, сидела Фай Родис, обернув лицо к Гзер Бу-Яму и обнимая за шею Таэля.

Скульптор почему-то изобразил Родис в широком небрежно намотанном тюрбане, так, как некогда увидел ее Таэль. Камень статуи, похожий на знаменитые черные опалы Австралийского материка, весь искрился внутренними цветными огнями. Так миллионы звезд пронизывают мрак тропических ночей Земли, о которых часто рассказывала тормансианам Родис, вдохновляя их красотой мира.

Долго смотрели земляне на изображение, доставленное с расстояния в тысячу световых лет, пока учитель не заставил себя включить третий и последний снимок — левого павильона.

Здесь тоже были скульптуры: Вир Норин и Сю-Те. Астронавигатор «Темного Пламени», увековеченный в темно-красном металле, лежал, уронив обессилевшие руки, опираясь плечами и головой на СДФ и закрыв глаза в вечном сне. Тормансианка Сю-Те, из чистейшего белого камня, поднимала на детских ладонях оброненные земным человеком драгоценные дары — матовый кубик ИКП и блестящий овал ДПА.

В обеих фигурах была та волшебная недоговоренность реализма, которая заставляет каждого видеть в живой форме чудо своей индивидуальной мечты.

— Светлое небо! — сказал Ларк, подражая звездолетчикам.— Значит, на Тормансе кончился Час Быка? Неужели это сделали мы, земляне: Родис, Норин, Чеди, Эвиза и все они, стоящие сейчас на плоскогорье Реват вокруг своего корабля?

— Нет! — ответил учитель.— Обитатели Торманса сделали это сами, и только они сами могли подняться из инферно. Жертвы олигархического режима Торманса даже не подозревали, что они жертвы, находящиеся в незримой тюрьме замкнутой планеты. Они воображали себя свободными, пока с прибытием нашей экспедиции не увидели истинную свободу, обновили веру в здравую человеческую натуру и ее огромные возможности,— они, которые до сих пор лишь слепо влачились за лживыми обещаниями материального успеха. И тут же сразу встал вопрос: кто ответит за израненную, истощенную планету, за миллиарды напрасных жизней? До сих пор всякая неудача прямо или косвенно оплачивалась народными массами. Теперь стали спрашивать с непосредственных виновников этих неудач. И тогда стало ясно, что под новыми масками затаилась та же, прежняя капиталистическая сущность угнетения, подавления, эксплуатации, умело прикрытая научно разработанными методами пропаганды, внушения, создания пустых иллюзий. Тормансиане поняли, что нельзя быть свободными и невежественными, что необходимо серьезное психологическое воспитание, что надо уметь различать людей по их душевным качествам и пресекать в корне все причиняющие зло действия. Тогда, и не раньше, совершился поворот в судьбе планеты. Нельзя думать, что они уже всего достигли, но они открыли себя, и свой мир, и нас — своих братьев, как любящих друзей. Виденный вами памятник — неоспоримое свидетельство их вдохновенной благодарности. Прибытие нашего звездолета и действия землян послужили толчком. Родис и ее спутники восстановили в тормансианах две гигантские общественные силы: веру в себя и доверие к другим. Ничего нет более могучего, чем люди, соединенные доверием. Даже слабые люди, закаляясь в совместной борьбе, чувствуя, что на них полагаются полностью, становятся спо-

собными на величайшее самоотвержение, веря в себя, как в других, и в других, как в себя... Как суммируете вы значение экспедиции?

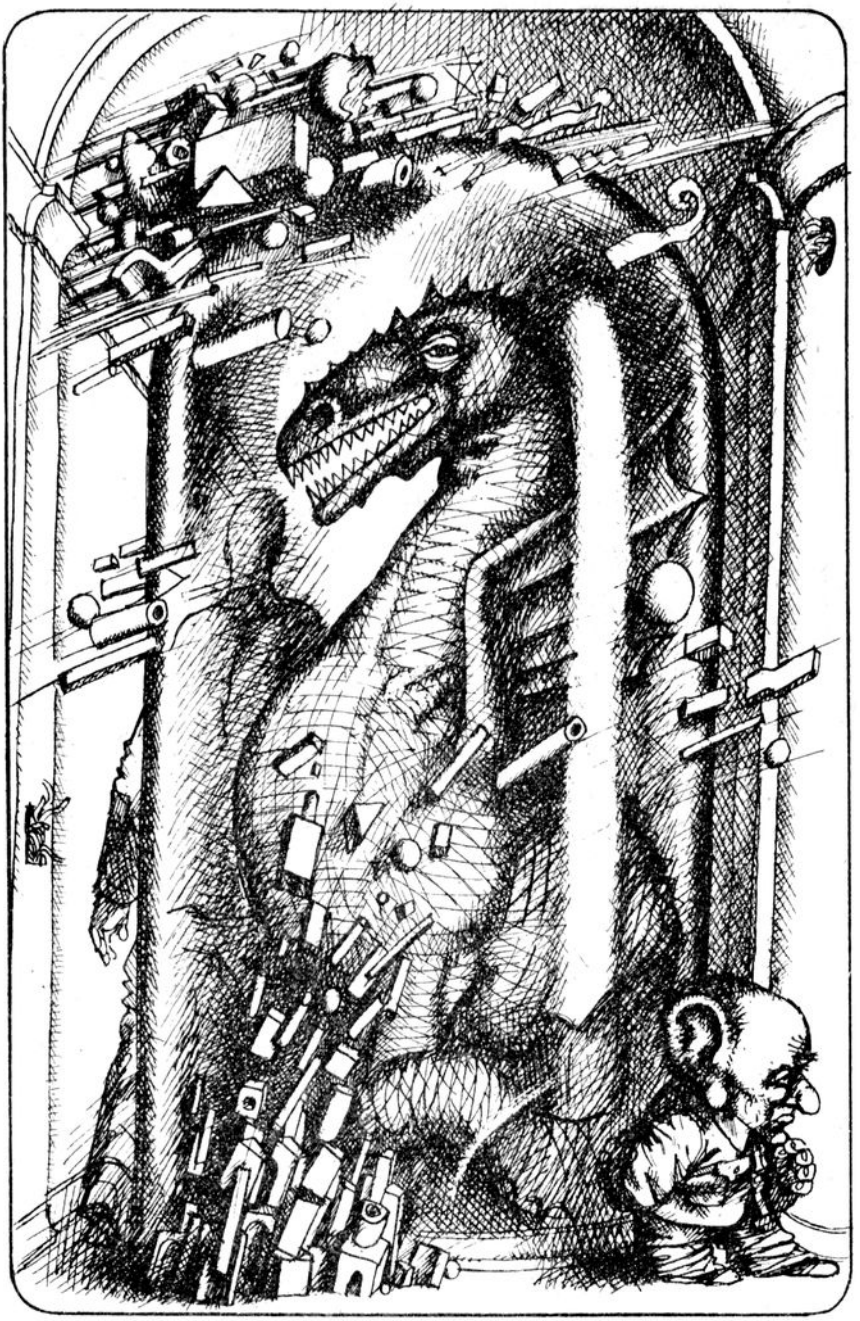
— Уничтожен еще один остров инферно во вселенной, избавлены от ненужных мук миллиарды людей настоящего и будущего,— дружно ответили ученики.

Учитель поклонился своим детям.

— Нельзя дать лучшего ответа, и я очень доволен.

— Мы должны поехать еще раз на плоскогорье Реват,— сказала Иветта,— мы увидим теперь их совсем-совсем живыми!

— Вы скоро увидите живых тормансиан,— улыбнулся учитель.— По рекомендации Машин Общего Раздумья туда направлен Звездолет Прямого Луча с планеты Зеленого Солнца. И я думаю, что он уже на планете Тор-Ми-Осс.



А.СТРУГАЦКИЙ
Б.СТРУГАЦКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

6

Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты, признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю.

Н В. Гоголь

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

СУЕТА ВОКРУГ ДИВАНА

Глава первая

Учитель: Дети, запишите предложение: «Рыба сидела на дереве».

Ученик: А разве рыбы сидят на деревьях?

Учитель: Ну... Это была сумасшедшая рыба.

Школьный анекдот

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня, прижимаясь к самой дороге, зеленел лес, изредка уступая место полянам, поросшим желтой осокой. Солнце садилось уже который час, все никак не могло сесть и висело низко над горизонтом. Машина катилась по узкой дороге, засыпанной хрустящим гравием. Крупные камни я пускал под колесо, и каждый раз в багажнике лязгали и громыхали пустые канистры.

Справа из леса вышли двое, ступили на обочину и остановились, глядя в мою сторону. Один из них поднял руку. Я сбросил газ, их рассматривая. Это были, как мне показалось, охотники, молодые люди, может быть, немного старше меня. Их лица понравились мне, и я остановился. Тот, что поднимал руку, просунул в машину смуглое лицо и спросил улыбаясь:

— Вы нас не подбросите до Соловца?

Второй, с рыжей бородой и без усов, тоже улыбался, выглядывая из-за его плеча. Положительно, это были приятные люди.

— Давайте садитесь,— сказал я.— Один вперед, другой назад, а то у меня там барахло, на заднем сиденье.

— Благодетель!— обрадованно произнес горбоносый, снял с плеча ружье и сел рядом со мной.

Бородатый, нерешительно заглядывая в заднюю дверцу, сказал:

— А можно, я здесь немножко того?..

Я перегнулся через спинку и помог ему расчистить место, занятое спальным мешком и свернутой палаткой. Он деликатно уселся, поставив ружье между коленей.

— Дверцу прикройте получше,— сказал я.

Все шло, как обычно. Машина тронулась. Горбоносый повернулся назад и оживленно заговорил о том, что много приятнее ехать в легковой машине, чем идти пешком. Бородатый невнятно соглашался и все хлопал и хлопал дверцей. «Плащ подберите,— посоветовал я, глядя на него в зеркало заднего вида.— У вас плащ защемляется». Минут через пять все, наконец, устроилось. Я спросил: «До Соловца километров десять?» — «Да,— ответил горбоносый.— Или немножко больше. Дорога, правда, неважная — для грузовиков».— «Дорога вполне приличная,— возразил я.— Мне обещали, что я вообще не проеду».— «По этой дороге даже осенью можно проехать».— «Здесь — пожалуй, но вот от Коробца — грунтовая».— «В этом году лето сухое, все подсохло».— «Под Затонью, говорят, дожди»,— заметил бородатый на заднем сиденье. «Кто это говорит?» — спросил горбоносый. «Мерлин говорит». Они почему-то засмеялись. Я вытащил сигареты, закурил и предложил им угощаться. «Фабрика Клары Цеткин,— сказал горбоносый, разглядывая пачку.— Вы из Ленинграда?» — «Да».— «Путешествуете?» — «Путешествую,— сказал я.— А вы здешние?» — «Коренные»,— сказал горбоносый. «Я из Мурманска»,— сообщил бородатый. «Для Ленинграда, наверное, что Соловец, что Мурманск — одно и то же: Север»,— сказал горбоносый. «Нет, почему же»,— сказал я вежливо. «В Соловце будете останавливаться?» — спросил горбоносый. «Конечно,— сказал я.— Я в Соловец и еду.» — «У вас там родные или знакомые?» — «Нет,— сказал я.— Просто подожду ребят.Они идут берегом, а Соловец у нас — точка рандеву».

Впереди я увидел большую россыпь камней, притормозил и сказал: «Держитесь крепче». Машина затряслась и запрыгала. Горбоносый ушиб нос о ствол ружья. Мотор взревывал, камни били в днище. «Бедная машина»,— сказал горбоносый. «Что делать...» — сказал я.«Не всякий поехал бы по такой дороге на своей машине».— «Я бы поехал»,— сказал я. Россыпь кончилась. «А, так это не ваша машина»,— догадался горбоносый. «Ну откуда у меня машина! Это прокат».— «Понятно»,— сказал горбоносый, как мне показалось, разочарованно. Я почувствовал себя задетым. «А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта».— «Да, конечно»,— вежливо согласился горбоносый. «Глупо, по-моему, делать из машины идола»,— заявил я.— «Глупо,— сказал бородатый.— Но не все так думают». Мы поговорили о машинах и пришли к выводу, что если уж покупать что-нибудь, так это ГАЗ-69, но их, к сожалению, не продают. Потом горбоносый спросил: «А где вы работаете?» Я ответил. «Колоссально!— воскликнул горбоносый.— Программист! Нам нужен именно программист. Слушайте, бросайте ваш институт и пошли к нам!» — «А что у вас есть?» — «Что у нас есть?» — спросил горбоносый, поворачиваясь. «Алдан-3»,— сказал бородатый. «Богатая машина,— сказал я.— И хорошо работает?» — «Да как вам сказать...» — «Понятно»,— сказал я. «Собственно ее еще не отладили,— сказал бородатый.— Оставайтесь у нас, отладите...» — «А перевод мы вам в два счета устроим»,— добавил горбоносый. «А чем вы занимаетесь?» — спросил я. «Как и вся наука,— сказал горбо-

носый.— Счастьем человеческим».— «Понятно,— сказал я.— Что-нибудь с космосом?» — «И с космосом тоже»,— сказал горбоносый. «От добра добра не ищут»,— сказал я. «Столичный город и приличная зарплата»,— сказал бородатый негромко, но я услышал. «Не надо,— сказал я.— Не надо мерять на деньги».— «Да нет, я пошутил»,— сказал бородатый. «Это он так шутит,— сказал горбоносый.— Интереснее, чем у нас, вам нигде не будет».— «Почему вы так думаете?» — «Уверен.» — «А я не уверен». Горбоносый усмехнулся. «Мы еще поговорим на эту тему,— сказал он.— Вы долго пробудете в Соловце?» — «Дня два максимум».— «Вот на второй день и поговорим». Бородатый заявил: «Лично я вижу в этом перст судьбы — шли по лесу и встретили программиста. Мне кажется, вы обречены».— «Вам действительно так нужен программист?» — спросил я. «Нам позарез нужен программист».— «Я поговорю с ребятами,— пообещал я.— Я знаю недовольных».— «Нам нужен не всякий программист,— сказал горбоносый.— Программисты — народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный».— «Да, это сложнее»,— сказал я. Горбоносый стал загибать пальцы: «Нам нужен программист: а — небалованный, бэ — доброволец, цэ — чтобы согласился жить в общежитии...» — «Дэ,— подхватил бородатый,— на сто двадцать рублей».— «А как насчет крылышек?— спросил я.— Или, скажем, сияния вокруг головы? Один на тысячу!» — «А нам всего-то один и нужен»,— сказал горбоносый. «А если их всего девятьсот?» — «Согласны на девять десятых».

Лес расступился, мы переехали через мост и покатили между картофельными полями. «Девять часов,— сказал горбоносый.— Где вы собираетесь ночевать?» — «В машине переночую. Магазины у вас до которого часа работают?» — «Магазины у нас уже закрыты»,— сказал горбоносый. «Можно в общежитии,— сказал бородатый.— У меня в комнате свободная койка».— «К общежитию не подъедешь»,— сказал горбоносый задумчиво. «Да, пожалуй»,— сказал бородатый и почему-то засмеялся. «Машину можно поставить возле милиции»,— сказал горбоносый. «Да ерунда это,— сказал бородатый.— Я несу околесицу, а ты за мной вслед. Как он в общежитие-то пройдет?» — «Да-да, черт,— сказал горбоносый.— Действительно, день не поработаешь — забываешь про все эти штуки».— «А может быть, трансгрессировать его?» — «Ну-ну,— сказал горбоносый.— Это тебе не диван. Ты не Кристобаль Хунта,да и я тоже...»

— Да вы не беспокойтесь,— сказал я.— Переночую в машине, не первый раз.

Мне вдруг страшно захотелось поспать на простынях. Я уже четыре ночи спал в спальном мешке.

— Слушай,— сказал горбоносый,— хо-хо! Изнакурнож!

— Правильно!— воскликнул бородатый.— На Лукоморье его!

— Ей-богу, я переночую в машине,— сказал я.

— Вы переночуете в доме,— сказал горбоносый,— на относительно чистом белье. Должны же мы вас как-то отблагодарить...

— Не полтинник же вам совать,— сказал бородатый.

Мы въехали в город. Потянулись старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с неширокими окнами, с резными наличниками, с деревянными петушками на крышах. Попалось несколько грязных кирпичных строений с железными дверями, вид которых вынес у меня из памяти полузнакомое слово «лабазы». Улица была прямая и широкая и называлась проспектом Мира. Впереди, ближе к центру, виднелись двухэтажные шлакоблочные дома с открытыми скверами.

— Следующий переулок направо,— сказал горбоносый.

Я включил указатель поворота, притормозил и свернул направо. Дорога здесь заросла травой, но у какой-то калитки стоял, приткнувшись, новенький «Запорожец». Номера домов висели над воротами, и цифры были едва заметны на ржавой жести вывесок. Переулок назывался изящно: «Ул. Лукоморье». Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты.

— Стоп,— сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья.— Теперь так,— сказал он, потирая нос.— Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою.

— Право, не стоит,— сказал я в последний раз.

— Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке.

Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уж феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами:

НИИЧАВО

изба на куриных ногах

ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ

На правой воротине сверху висела ржавая жестяная табличка: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», под нею красовался кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось:

КОТ НЕ РАБОТАЕТ

Администрация

— Какой КОТ?— спросил я.— Комитет Оборонной Техники?

Бородатый хихикнул.

— Вы, главное, не беспокойтесь,— сказал он.— Тут у нас забавно, но все будет в полном порядке.

Я вышел из машины и стал протирать ветровое стекло. Над головой у меня вдруг завозились. Я поглядел. На воротах умащивался, пристраиваясь поудобнее,гигантский — я таких никогда не видел — черно-серый, с разводами кот. Усевшись, он сыто и равнодушно посмотрел на меня желтыми глазами. «Кис-кис-кис»,— сказал я машинально. Кот вежливо и холодно разинул зубастую пасть, издал сиплый горловой звук, а затем отвернулся и стал смотреть внутрь двора. Оттуда, из-за забора, голос горбоносого произнес:

— Василий, друг мой, разрешите вас побеспокоить.

Завизжал засов. Кот поднялся и бесшумно канул во двор. Ворота тяжело закачались, раздался ужасающий скрип и треск, и левая воротина медленно отворилась. Появилось красное от натуги лицо горбоносого.

— Благодетель!— позвал он.— Заезжайте!

Я вернулся в машину и медленно въехал во двор. Двор был обширный, в глубине стоял дом из толстых бревен, а перед домом красовался приземистый необъятный дуб, широкий, плотный, с густой кроной, заслоняющей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, шла дорожка, выложенная каменными плитами. Справа от дорожки был огород, а слева, посередине лужайки, возвышался колодезный сруб с воротом, черный от древности и покрытый мохом.

Я поставил машину в сторонке, выключил двигатель и вылез. Бородатый Володя тоже вылез и, прислонив ружье к борту, стал прилаживать рюкзак.

— Вот вы и дома,— сказал он.

Горбоносый со скрипом и треском затворял ворота, я же, чувствуя себя довольно неловко, озирался, не зная, что делать.

— А вот и хозяйка!— вскричал бородатый.— По здорову ли, баушка Наина свет Киевна!

Хозяйке было, наверно, за сто. Она шла к нам медленно, опираясь на суковатую палку, волоча ноги в валенках с галошами. Лицо у неё было темно-коричневое; из сплошной массы морщин выдавался вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза были бледные, тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здравствуй, здравствуй, внучек,— произнесла она неожиданно звучным басом.— Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать!..

Я поклонился, понимая, что нужно помалкивать. Голова бабки поверх черного пухового платка, завязанного под подбородком, была покрыта веселенькой капроновой косынкой с разноцветными изображениями Атомиума и с надписями на разных языках: «Международная выставка в Брюсселе». На подбородке и под носом торчала редкая седая щетина. Одета была бабка в ватную безрукавку и черное суконное платье.

— Таким вот образом, Наина Киевна!— сказал горбоносый, подходя и обтирая с ладоней ржавчину.— Надо нашего нового сотрудника устроить на две ночи. Позвольте вам представить... м-м-м...

— А не надо,— сказала старуха, пристально меня рассматривая.— Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот тридцать восьмой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, бриллиантовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гхм!— сказал горбоносый, и бабка осеклась.

Воцарилось неловкое молчание.

— Можно звать просто Сашей...— выдавил я из себя заранее приготовленную фразу.

— И где же я его положу?— осведомилась бабка.

— В запаснике, конечно,— несколько раздраженно сказал горбоносый.

— А отвечать кто будет?

— Наина Киевна!..— раскатами провинциального трагика взревел горбоносый, схватил старуху под руку и поволок к дому. Было слышно, как они спорят: «Ведь мы же договорились!..» — «...А ежели он что-нибудь стибрит?..» — «Да тише вы! Это же программист, понимаете? Комсомолец! Ученый!..» — «А ежели он цыкать будет?..»

Я стесненно повернулся к Володе. Володя хихикал.

— Неловко как-то,— сказал я.

— Не беспокойтесь, все будет отлично...

Он хотел сказать еще что-то, но тут бабка дико заорала:

— А диван-то, диван!..

Я вздрогнул и сказал:

— Знаете, я, пожалуй, поеду, а?

— Не может быть и речи!— решительно сказал Володя.— Все уладится. Просто бабке нужна мзда, а у нас с Романом нет наличных.

— Я заплачу,— сказал я. Теперь мне очень хотелось уехать: терпеть не могу этих житейских коллизий.

Володя замотал головой.

— Ничего подобного. Вон он уже идет. Все в порядке.

Горбоносый Роман подошел к нам, взял меня за руку и сказал:

— Ну все устроилось. Пошли.

— Слушайте, неудобно как-то,— сказал я.— Она, в конце концов, не обязана...

Но мы уже шли к дому.

— Обязана, обязана,— приговаривал Роман.

Обогнув дуб, мы подошли к заднему крыльцу. Роман толкнул обитую дерматином дверь, и мы оказались в прихожей, просторной и чистой, но плохо освещенной. Старуха ждала нас, сложив руки на животе и поджав губы. При виде нас она мстительно пробасила:

— А расписочку чтобы сейчас же!.. Так, мол, и так: принял, мол, то-то и то-то от такой-то, каковая сдала вышеуказанное нижеподписавшемуся...

Роман тихонько взвыл, и мы вошли в отведенную мне комнату. Это было прохладное помещение с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. Роман сказал напряженным голосом:

— Располагайтесь и будьте как дома.

Старуха из прихожей сейчас же ревниво осведомилась:

— А зубом они не цыкают?

Роман, не оборачиваясь, рявкнул:

— Не цыкают! Говорят вам — зубов нет.

— Тогда пойдем расписочку напишем...

Роман поднял брови, закатил глаза, оскалил зубы и потряс головой, но всё-таки вышел. Я осмотрелся.. Мебели в комнате было немного. У окна стоял массивный стол, накрытый ветхой серой скатертью с бахромой, перед столом — колченогий табурет. Возле голой бревенчатой стены помещался обширный диван, на другой стене, заклеенной разнокалиберными обоями, была вешалка с какой-то рухлядью (ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки). В комнату вдавалась большая русская печь, сияющая свежей побелкой, а напротив в углу висело большое мутное зеркало в облезлой раме. Пол был выскоблен и покрыт полосатыми половиками.

За стеной бубнили в два голоса: старуха басила на одной ноте, голос Романа повышался и понижался. «Скатерть, инвентарный номер двести сорок пять...» — «Вы еще каждую половицу запишите!...» — «Стол обеденный...» — «Печь вы тоже запишите?..» — «Порядок нужен... Диван...»

Я подошел к окну и отдернул занавеску. За окном был дуб, больше ничего не было видно. Я стал смотреть на дуб. Это было, видимо, очень древнее растение. Кора была на нем серая и какая-то мертвая, а чудовищные корни, вылезшие из земли, были покрыты красным и белым лишайником. «И еще дуб запишите!» — сказал за стеной Роман. На подоконнике лежала пухлая засаленная книга, я бездумно полистал ее, отошел от окна и сел на диван. И мне сейчас же захотелось спать. Я подумал, что вел сегодня машину четырнадцать часов, что не стоило, пожалуй, так торопиться, что спина у меня болит, а в голове все путается, что плевать мне в конце концов

на эту нудную старуху и скорее бы все кончилось и можно было бы лечь и заснуть...

— Ну вот,— сказал Роман, появляясь на пороге.— Формальности окончены.— Он помотал рукой с растопыренными пальцами, измазанными в чернилах.— Наши пальчики устали: мы писали, мы писали... Ложитесь спать. Мы уходим, а вы спокойно ложитесь спать. Что вы завтра делаете?

— Жду,— вяло ответил я.

— Где?

— Здесь. И около почтамта.

— Завтра вы, наверное, не уедете?

— Завтра вряд ли... Скорее всего — послезавтра.

— Тогда мы еще увидимся. Наша любовь впереди.— Он улыбнулся, махнул рукой и вышел.

Я лениво подумал, что надо было бы его проводить и попрощаться с Володей, и лег. Сейчас же в комнату вошла старуха. Я встал. Старуха некоторое время пристально на меня глядела.

— Боюсь я, батюшка, что ты зубом цыкать станешь,— сказала она с беспокойством.

— Не стану я цыкать,— сказал я утомленно.— Я спать стану.

— И ложись, и спи... Денежки только вот заплати и спи...

Я полез в задний карман за бумажником.

— Сколько с меня?

Старуха подняла глаза к потолку.

— Рубль положим за помещение... Полтинничек за постельное белье — мое оно, не казенное. За две ночи выходит три рубли... А сколько ст щедрот накинешь — за беспокойство, значит,— я уж и не знаю...

Я протянул ей пятерку.

— От щедрот пока рубль,— сказал я.— А там видно будет.

Старуха живо схватила деньги и удалилась, бормоча что-то про сдачу. Не было ее довольно долго, и я уже хотел махнуть рукой и на сдачу и на белье, но она вернулась и выложила на стол пригоршню грязных медяков.

— Вот тебе и сдача, батюшка,— сказала она.— Ровно рублик, можешь не пересчитывать.

— Не буду пересчитывать,— сказал я.— Как насчет белья?

— Сейчас постелю. Ты выйди во двор, прогуляйся, а я постелю.

Я вышел, на ходу вытаскивая сигареты. Солнце, наконец, село, и наступила белая ночь. Где-то лаяли собаки. Я присел под дубом на вросшую в землю скамеечку, закурил и стал смотреть на бледное беззвездное небо. Откуда-то бесшумно появился кот, глянул на меня флюоресцирующими глазами, затем быстро вскарабкался на дуб и исчез в темной листве. Я сразу забыл о нем и вздрогнул, когда он завозился где-то наверху. На голову мне посыпался мусор. «Чтоб тебя...» — сказал я вслух и стал отряхиваться. Спать хотелось необычайно. Из дому вышла старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что постель готова, и вернулся в комнату.

Вредная бабка постелила мне на полу. Ну, уж нет, подумал я, запер дверь на щеколду, перетащил постель на диван и стал раздеваться. Сумрачный свет падал из окна, на дубе шумно возился кот. Я замотал головой, вытряхивая из волос мусор. Странный это был мусор, неожиданный: крупная сухая рыбья чешуя. Колко спать будет, подумал я, повалился на подушку и сразу заснул.

Глава вторая

...Опустевший дом превратился в логово лисиц и барсуков, и потому здесь могут появляться странные оборотни и призраки.

А. Уэда

Я проснулся посреди ночи оттого, что в комнате разговаривали. Разговаривали двое, едва слышным шепотом. Голоса были очень похожи, но один был немного сдавленный и хрипловатый, а другой выдавал крайнее раздражение.

— Не хрипи,— шептал раздраженный.— Ты можешь не хрипеть?

— Могу,— отозвался сдавленный и заперхал.

— Да тише ты...— прошипел раздраженный.

— Хрипунец,— объяснил сдавленный.— Утренний кашель курильщика...— Он снова заперхал.

— Удались отсюда,— сказал раздраженный.

— Да все равно он спит...

— Кто он такой? Откуда свалился?

— А я почем знаю?

— Вот досада... Ну просто феноменально не везет.

Опять соседям не спится, подумал я спросонья. Я вообразил, что я дома. Дома у меня в соседях два брата-физика, которые обожают работать ночью. К двум часам пополуночи у них кончаются сигареты, и тогда они забираются ко мне в комнату и начинают шарить, стуча мебелью и переругиваясь.

Я схватил подушку и швырнул в пустоту. Что-то с шумом обрушилось, и стало тихо.

— Подушку верните,— сказал я,— и убирайтесь вон. Сигареты на столе.

Звук собственного голоса разбудил меня окончательно. Я сел. Уныло лаяли собаки, за стеной грозно храпела старуха. Я, наконец, вспомнил, где нахожусь. В комнате никого не было. В сумеречном свете я увидел на полу свою подушку и барахло, рухнувшее с вешалки. «Бабка голову оторвет»,— подумал я и вскочил. Пол был холодный, и я переступил на половики. Бабка перестала храпеть. Я замер. Потрескивали половицы, что-то хрустело и шелестело в углах. Бабка оглушительно свистнула и захрапела снова. Я поднял подушку и бросил ее на диван. От рухляди пахло псиной. Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком. Я поправил ее и стал подбирать рухлядь. Едва я повесил последний салоп, как вешалка оборвалась и, шаркнув по обоям, снова повисла на одном гвозде. Бабка перестала храпеть, и я облился холодным потом. Где-то поблизости завопил петух. В суп тебя, подумал я с ненавистью. Старуха за стеной принялась вертеться, скрипели и щелкали пружины. Я ждал, стоя на одной ноге. Во дворе кто-то сказал тихонько: «Спать пора, засиделись мы сегодня с тобой». Голос был молодой, женский. «Спать так спать,— отозвался другой голос. Послышался протяжный зевок.— Плескаться больше не будешь сегодня?» — «Холодно что-то. Давай баиньки». Стало тихо. Бабка зарычала и заворчала, и я осторожно вернулся на диван. Утром встану пораньше и все поправлю как следует...

Я лег на правый бок, натянул одеяло на ухо, закрыл глаза и вдруг понял, что спать мне совершенно не хочется — хочется есть. Ай-яй-яй, подумал я. Надо было срочно принимать меры, и я их принял.

Вот, скажем, система двух интегральных уравнений типа уравнений

звездной статистики; обе неизвестные функции находятся под интегралом. Решать, естественно, можно только численно, скажем, на БЭСМ... Я вспомнил нашу БЭСМ. Панель управления цвета заварного крема. Женя кладет на эту панель газетный сверток и неторопливо его разворачивает. «У тебя что?» — «У меня с сыром и колбасой». С польской полукопченой, кружочками. «Эх ты, жениться надо! У меня котлеты, с чесночком, домашние. И соленый огурчик». Нет, два огурчика... Четыре котлеты и для ровного счета четыре крепких соленых огурчика. И четыре куска хлеба с маслом...

Я откинул одеяло и сел. Может быть, в машине что-нибудь осталось? Нет, все, что там было, я съел. Осталась поваренная книга для Валькиной мамы, которая живет в Лежневе. Как это там... Соус пикан. Полстакана уксусу, две луковицы... и перчик. Подается к мясным блюдам... Как сейчас помню: к маленьким бифштексам. «Вот подлость,— подумал я,— ведь не просто к бифштексам, а к ма-а-аленьким бифштексам». Я вскочил и подбежал к окну. В ночном воздухе отчетливо пахло ма-а-аленькими бифштексами.Откуда-то из недр подсознания всплыло: «Подавались ему обычные в трактирах блюда, как-то: кислые щи, мозги с горошком,огурец соленый (я глотнул) и вечный слоеный сладкий пирожок...» «Отвлечься бы»,— подумал я и взял книгу с подоконника. Это был Алексей Толстой, «Хмурое утро». Я открыл наугад. «Махно, сломав сардиночный нож, вытащил из кармана перламутровый ножик с полусотней лезвий и им продолжал орудовать, открывая жестянки с ананасами (плохо дело, подумал я), французским паштетом, с омарами, от которых резко запахло по комнате». Я осторожно положил книгу и сел за стол на табурет. В комнате вдруг обнаружился вкусный резкий запах: должно быть, пахло омарами. Я стал размышлять, почему я до сих ни разу не попробовал омаров. Или, скажем, устриц.У Диккенса все едят устриц, орудуют складными ножами, отрезают толстые ломти хлеба, намазывают маслом... Я стал нервно разглаживать скатерть. На скатерти виднелись неотмытые пятна. На ней много и вкусно ели. Ели омаров и мозги с горошком. Ели маленькие бифштексы с соусом пикан. Большие и средние бифштексы тоже ели.Сыто отдувались, удовлетворенно цыкали зубом..

Отдуваться мне было не с чего, и я принялся цыкать зубом.

Наверное, я делал это громко и голодно, потому что старуха за стеной заскрипела кроватью, сердито забормотала, загремела чем-то и вдруг вошла ко мне в комнату. На ней была длинная серая рубаха, а в руках она несла тарелку, и в комнате сейчас же распространился настоящий, а не фантастический аромат еды. Старуха улыбалась. Она поставила тарелку прямо передо мной и сладко пробасила:

— Откушай-ко, батюшка, Александр Иванович. Откушай, чем бог послал, со мной переслал...

— Что вы, что вы, Наина Киевна,— забормотал я,— зачем же было так беспокоить себя...

Но в руке у меня уже откуда-то оказалась вилка с костяной ручкой, и я стал есть, а бабка стояла рядом, кивала и приговаривала:

— Кушай, батюшка, кушай на здоровьице...

Я съел все. Это была горячая картошка с топленым маслом.

— Наина Киевна,— сказал я истово,— вы меня спасли от голодной смерти.

— Поел?— сказала Наина Киевна как-то неприветливо.

— Великолепно поел. Огромное вам спасибо! Вы себе представить не можете...

— Чего уж тут не представить,— перебила она уже совершенно раздраженно.— Поел, говорю? Ну и давай сюда тарелку... Тарелку, говорю, давай!

— По... пожалуйста,— проговорил я.

— «Пожалуйста, пожалуйста»... Корми тут вас за пожалуйста...

— Я могу заплатить,— сказал я, начиная сердиться.

— «Заплатить, заплатить»...— Она пошла к двери.— А ежели за это и не платят вовсе? И нечего врать было...

— То есть как это — врать?

— А так вот и врать! Сам говорил, что цыкать не будешь...— Она замолчала и скрылась за дверью.

«Что это она?— подумал я.— Странная какая-то бабка... Может быть, она вешалку заметила?» Было слышно, как она скрипит пружинами, ворочаясь на кровати и недовольно ворча. Потом она запела негромко на какой-то варварский мотив: «Покатаются, поваляются, Ивашкиного мяса поевши...» Из окна потянуло ночным холодом. Я поежился, поднялся, чтобы вернуться на диван, и тут меня осенило, что дверь я перед сном запирал. В растерянности я подошел к двери и протянул руку, чтобы проверить щеколду, но едва пальцы мои коснулись холодного железа, как все поплыло у меня перед глазами. Оказалось,что я лежу на диване, уткнувшись носом в подушку, и пальцами ощупываю холодное бревно стены.

Некоторое время я лежал, обмирая, пока не осознал, что где-то рядом храпит старуха, а в комнате разговаривают. Кто-то наставительно вещал вполголоса:

— Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом потому, что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет его вместо руки...

Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате было по-прежнему пусто. Голос продолжал еще более наставительно:

— Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка: но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели...

Я рывком поднялся и спустил ноги с дивана. Голос умолк. Мне показалось, что говорили откуда-то из-за стены. В комнате все было по-прежнему, даже вешалка, к моему удивлению, висела на месте. И к моему удивлению, мне опять очень хотелось есть.

— Тинктура экс витро антимонии,— провозгласил вдруг голос. Я вздрогнул.— Магифтериум антимон ангелий салаэ. Бафилии олеум витри антимонии алекситериум антимониалэ!— Послышалось явственное хихиканье.— Вот ведь бред какой!— сказал голос и продолжал с завыванием:— Вскоре очи сии, еще не отверзаемые, не узрят более солнца, но не попусти закрыться оным без благоутробного извещения о моем прощении и блаженстве... Сие есть «Дух или Нравственные Мысли Славнаго Юнга, извлеченныя из нощных его размышлений». Продается в Санкт-Петербурге и в Риге в книжных лавках Свешникова по два рубля в папке.— Кто-то всхлипнул.— Тоже бредятина,— сказал голос и произнес с выражением:

Чины, краса, богатства,
Сей жизни все приятства,
Летят, слабеют, исчезают,
О тлен, и щастье ложно!

Заразы сердце угрызают,
А славы удержать не можно...

Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.

— А теперь,— сказал голос,— следующее. «Все — единое Я, это Я — мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света, Я исчезает с развитием духовности».

— А эта бредятина откуда?— спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.

— Изречения из «Упанишад»,— ответил с готовностью голос.

— А что такое «Упанишады»?— Я уже не был уверен, что сплю.

— Не знаю,— сказал голос.

Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было.

— В чем дело?— спросил голос.— Есть вопросы?

— Кто это говорит?— спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В. В. Битнера «Верить или не верить?». Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы — в отличие от галлюцинаций — раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение — заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул.

За окном никого не было, не было даже дуба. Я протер глаза и снова посмотрел. Я отчетливо видел прямо перед собой замшелый колодезный сруб с воротом, ворота и свою машину у ворот. «Все-таки сплю»,— успокоенно подумал я. Взгляд мой упал на подоконник, на растрепанную книгу. В прошлом сне это был третий том «Хождений по мукам», теперь на обложке я прочитал: «П. И. Карпов. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Постукивая зубами от озноба, я перелистал книжку и просмотрел цветные вклейки. Потом я прочитал «Стих № 2»:

В кругу облаков высоко
Чернокрылый воробей
Трепеща и одиноко
Парит быстро над землей.
Он летит ночной порой,
Лунным светом освещенный,
И, ничем не удрученный,
Все он видит под собой.
Гордый, хищный, разъяренный
И летая, словно тень,
Глаза светятся как день.

Пол вдруг качнулся под моими ногами. Раздался пронзительный протяжный скрип, затем, подобно гулу далекого землетрясения, раздалось рокочущее: «Ко-о... Ко-о... Ко-о...» Изба заколебалась, как лодка на волнах. Двор за окном сдвинулся в сторону, а из-под окна вылезла и вонзилась когтями в землю исполинская куриная нога, провела в траве глубокие борозды и снова скрылась. Пол круто накренился, я почувствовал, что падаю, схватился руками за что-то мягкое, стукнулся боком и головой и свалился с дивана. Я лежал на половиках, вцепившись в подушку, упав-

шую вместе со мной. В комнате было совсем светло. За окном кто-то обстоятельно откашливался.

— Ну-с, так...— сказал хорошо поставленный мужской голос.— В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил царь, по имени... мнэ-э... ну, в конце концов, неважно. Скажем, мнэ-э... Полуэкт.. У него было три сына-царевича. Первый... мнэ-э-э... Третий был дурак, а вот первый?..

Пригибаясь, как солдат под обстрелом, я подобрался к окну и выглянул. Дуб был на месте. Спиною к нему стоял в глубокой задумчивости на задних лапах кот Василий. В зубах у него был зажат цветок кувшинки. Кот смотрел себе под ноги и тянул: «Мнэ-э-э...» Потом он тряхнул головой, заложил передние лапы за спину и, слегка сутулясь, как доцент Дубино-Княжицкий на лекции, плавным шагом пошел в сторону от дуба...

— Хорошо...— говорил кот сквозь зубы.— Бывали-живали царь да царица. У царя, у царицы был один сын.. мнэ-э... дурак, естественно...

Кот с досадой выплюнул цветок и, весь сморщившись, потер лоб.

— Отчаянное положение,— проговорил он.— Ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин...» Откуда бы это? А Иван, сами понимаете — дурак, отвечает: «Эх ты, поганое чудище, не уловивши бела лебедя, да кушаешь!» Потом, естественно — каленая стрела, все три головы долой, Иван вынимает три сердца и привозит, кретин, домой матери... Каков подарочек!— Кот сардонически засмеялся, потом вздохнул.— Есть еще такая болезнь — склероз,— сообщил он.

Он снова вздохнул, повернул обратно к дубу и запел: «Кря-кря, мои деточки! Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э... я слезой вас отпаивала... вернее — выпаивала...» Он в третий раз вздохнул и некоторое время шел молча. Поравнявшись с дубом, он вдруг немузыкально заорал: «Сладок кус недоедала!..»

В лапах у него вдруг оказались массивные гусли — я даже не заметил, где он их взял. Он отчаянно ударил по ним лапой и, цепляясь когтями за струны, заорал еще громче, словно бы стараясь заглушить музыку:

Дасс им таннвальд финстер ист,
Дасс махт дас хольтс,
Дасс... мнэ-э... майн шатц... или катц?..

Он замолк и некоторое время шагал, молча стуча по струнам. Потом тихонько, неуверенно запел:

Ой, бував я в тим садочку,
Та скажу вам всю правдочку:
Ото так
Копають мак.

Он вернулся к дубу, прислонил к нему гусли и почесал задней ногой за ухом.

— Труд, труд и труд,— сказал он.— Только труд!

Он снова заложил лапы за спину и пошел влево от дуба, бормоча:

— Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной, по имени...— Он встал на четвереньки, выгнул спину и злобно зашипел: — Вот с этими именами у меня особенно отвратительно! Абу... Али... Кто-то ибн чей-то... Н-ну хорошо, скажем, Полуэкт. Полуэкт ибн... мнэ-э... Полуэктович... Все равно не помню, что было с этим портным. Ну и пес с ним, начнем другую...

Я лежал животом на подоконнике и, млея, смотрел, как злосчастный Василий бродит около дуба то вправо, то влево, бормочет, откашливается,

подвывает, мычит, становится от напряжения на четвереньки — словом, мучается несказанно. Диапазон знаний его был грандиозен. Ни одной сказки и ни одной песни он не знал больше чем наполовину, но зато это были русские, украинские, западнославянские, немецкие, английские, по-моему, даже японские, китайские и африканские сказки, легенды, притчи, баллады, песни, романсы, частушки и припевки. Склероз приводил его в бешенство, несколько раз он бросался на ствол дуба и драл кору когтями, он шипел и плевался, и глаза его при этом горели, как у дьявола, а пушистый хвост, толстый, как полено, то смотрел в зенит, то судорожно подергивался, то хлестал его по бокам. Но единственной песенкой, которую он допел до конца, был «Чижик-пыжик», а единственной сказочкой, которую он связно рассказал, был «Дом, который построил Джек» в переводе Маршака, да и то с некоторыми купюрами. Постепенно — видимо, от утомления — речь его обрела все более явственный кошачий акцент. «А в поли, поли,— пел он,— сам плужок ходэ, а... мнэ-э... а... мнэ-а-а-у!... а за тым плужком сам... мья-а-у-а-у!.. сам господь ходэ... или бродэ?..» В конце концов он совершенно изнемог, сел на хвост и некоторое время сидел так, понурив голову. Потом тихо, тоскливо мяукнул, взял гусли под мышку и на трех ногах медленно уковылял по росистой траве.

Я слез с подоконника и уронил книгу. Я отчетливо помнил, что в последний раз это было «Творчество душевнобольных», я был уверен, что на пол упала именно эта книга. Но подобрал я и положил на подоконник «Раскрытие преступлений» А. Свенсона и О. Венделя. Я тупо раскрыл ее, пробежал наудачу несколько абзацев, и мне сейчас же почудилось, что на дубе висит удавленник. Я опасливо поднял глаза. С нижней ветки дуба свешивался мокрый серебристо-зеленый акулий хвост. Хвост тяжело покачивался под порывами утреннего ветерка.

Я шарахнулся и стукнулся затылком о твердое. Громко зазвонил телефон. Я огляделся. Я лежал поперек дивана, одеяло сползло с меня на пол, в окно сквозь листву дуба било утреннее солнце.

Глава третья

Мне пришло в голову, что обычное интервью с дьяволом или волшебником можно с успехом заменить искусным использованием положений науки.

Г. Дж. Уэлс

Телефон звонил. Я протер глаза, посмотрел в окно (дуб был на месте), посмотрел на вешалку (вешалка тоже была на месте). Телефон звонил. За стеной в комнате у старухи было тихо. Тогда я соскочил на пол, отворил дверь (щеколда была на месте) и вышел в прихожую. Телефон звонил. Он стоял на полочке над большой кадушкой — очень современный аппарат белой пластмассы, такие я видел только в кино и в кабинете нашего директора. Я взял трубку.

— Алло...

— Это кто??— спросил пронзительный женский голос.

— А кого вам надо?
— Это Изнакурнож?
— Что?
— Я говорю, это изба на курногах или нет? Кто говорит?
— Да,— сказал я.— Изба. Кого вам нужно?
— О дьявол,— сказал женский голос.— Примите телефонограмму.
— Давайте.
— Записывайте.
— Одну минутку,— сказал я.— Возьму карандаш и бумагу.
— О дьявол,— сказал женский голос.
Я принес записную книжку и цанговый карандаш.
— Слушаю вас.
— Телефонограмма номер двести шесть,— сказал женский голос.— Гражданке Горыныч Наине Киевне...
— Не так быстро... Киевне... Дальше?
— «Настоящим... предлагается вам... прибыть сегодня... двадцать седьмого июля... сего года... в полночь... на ежегодный республиканский слет...» Записали?
— Записал.
— «Первая встреча... состоится... на Лысой Горе. Форма одежды парадная. Пользование транспортом... за свой счет. Подпись... начальник канцелярии... Ха... Эм... Вий».
— Кто?
— Вий! Ха Эм Вий.
— Не понимаю.
— Вий! Хрон Монадович! Вы что, начальника канцелярии не знаете?
— Не знаю,— сказал я.— Говорите по буквам.
— Дьявольщина! Хорошо, по буквам: Вервольф-Инкуб — Ибикус краткий... Записали?
— Кажется, записал,— сказал я.— Получилось — Вий.
— Кто?
— Вий!
— У вас что, полипы? Не понимаю!
— Владимир! Иван! Иван краткий!
— Так. Повторите телефонограмму.
Я повторил.
— Правильно. Передала Онучкина. Кто принял?
— Привалов.
— С приветом, Привалов! Давно служишь?
— Собачки служат,— сердито сказал я.— Я работаю.
— Ну-ну, работай. На слете встретимся.
Раздались гудки. Я повесил трубку и вернулся в комнату. Утро было прохладное, я торопливо сделал зарядку и оделся. Происходящее казалось мне чрезвычайно любопытным. Телефонограмма странно ассоциировалась в моем сознании с ночными событиями, хотя я представления не имел, каким образом. Впрочем, кое-какие идеи уже приходили мне в голову, и воображение мое было возбуждено.

Все, чему мне случилось быть здесь свидетелем, не было мне совершенно незнакомым, о подобных случаях я где-то что-то читал и теперь вспомнил, что поведение людей, попадавших в аналогичные обстоятельства, всегда представлялась мне необычайно, раздражающе нелепым. Вместо того чтобы полностью использовать увлекательные перспективы, открывшиеся для них счастливым случаем, они пугались, старались вернуться в обыденное. Какой-то герой даже заклинал читателей держаться подаль-

ше от завесы, отделяющей наш мир от неведомого, пугая духовными и физическими увечьями. Я еще не знал, как развернутся события, но уже был готов с энтузиазмом окунуться в них.

Бродя по комнате в поисках ковша или кружки, я продолжал рассуждать. Эти пугливые люди, думал я, похожи на некоторых ученых-экспериментаторов, очень упорных, очень трудолюбивых, но начисто лишенных воображения и поэтому очень осторожных. Получив нетривиальный результат, они шарахаются от него, поспешно объясняют его нечистотой эксперимента и фактически уходят от нового, потому что слишком сжились со старым, уютно уложенным в пределы авторитетной теории. Я уже обдумывал кое-какие эксперименты с книгой-перевертышем (она по-прежнему лежала на подоконнике и была теперь «Последним изгнанником» Олдриджа), с говорящим зеркалом и с цыканьем. У меня было несколько вопросов к коту Василию, да и русалка, живущая на дубе, представляла определенный интерес, хотя временами мне казалось, что она-то мне все-таки приснилась. Я ничего не имею против русалок, но не представляю себе, как они могут лазить по деревьям... хотя, с другой стороны, чешуя?...

Ковшик я нашел на кадушке под телефоном, но воды в кадушке не оказалось, и я направился к колодцу. Солнце поднялось уже довольно высоко... Где-то гудели машины, послышался милицейский свисток, в небе с солидным гулом проплыл вертолет. Я подошел к колодцу и, с удовлетворением обнаружив на цепи мятую жестяную бадью, стал раскручивать ворот. Бадья, постукивая о стены, пошла в черную глубину. Раздался плеск, цепь натянулась. Я крутил ворот и смотрел на свой «Москвич». У машины был усталый, запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся вдребезги мошкарой. «Надо будет воды долить в радиатор,— подумал я.— И вообще...»

Бадья показалась мне очень тяжелой. Когда я поставил ее на сруб, из воды высунулась огромная щучья голова, зеленая и вся какая-то замшелая. Я отскочил.

— Опять на рынок поволочешь?— сильно окая, сказала щука. Я ошарашенно молчал.— Дай же ты мне покоя, ненасытная! Сколько можно?.. Чуть успокоюсь, приткнусь отдохнуть да подремать — ташшит! Я ведь не молодая уже, постарше тебя буду... жабры тоже не в порядке...

Было очень странно смотреть, как она говорит. Совершенно как щука в кукольном театре, она вовсю открывала и закрывала зубастую пасть в неприятном несоответствии с произносимыми звуками. Последнюю фразу она произнесла, судорожно сжав челюсти.

— И воздух мне вреден,— продолжала она.— Вот подохну, что будешь делать? Все скупость твоя бабья да дурья... Все копишь, а для чего копишь — сама не знаешь... На последней реформе-та как погорела, а? То-то! А екатериновками? Сундуки оклеивала! А керенками-та, керенками! Ведь печку топила керенками...

— Видите ли,— сказал я, немного оправившись.

— Ой, кто это?— испугалась щука.

— Я... Я здесь случайно... Я намеревался слегка помыться.

— Помыться! А я думала, опять старуха. Не вижу я: старая. Да и коэффициент преломления в воздухе, говорят, совсем другой. Воздушные очки было себе заказала, да потеряла, не найду... А кто ж ты будешь?

— Турист,— коротко сказал я.

— Ах, турист... А я думала, опять бабка. Ведь что она со мной делает! Поймает меня, волочит на рынок и там продает, якобы на уху. Ну что мне остается? Конечно, говоришь покупателю: так и так, отпусти меня к малым детушкам, хотя какие у меня там малые детушки — не детушки уже,

которые живы, а дедушки. Ты меня отпустишь, а я тебе послужу, скажи только «по щучьему велению, по моему, мол, хотению». Ну и отпускают. Одни со страху, другие по доброте, а которые и по жадности... Вот поплаваешь в реке, поплаваешь — холодно, ревматизм, заберешься обратно в колодезь, а старуха с бадьей опять тут как тут...— Щука спряталась в воду, побулькала и снова высунулась.— Ну что просить-то будешь, служивый? Только попроще чего, а то просят телевизоры какие-то, транзисторы... Один совсем обалдел: «Выполни, говорит, за меня, годовой план на лесопилке». Года мои не те — дрова пилить...

— Ага,— сказал я.— А телевизор вы, значит, все-таки можете?

— Нет,— честно призналась щука.— Телевизор не могу. И этот... комбайн с проигрывателем тоже не могу. Не верю я в них. Ты чего-нибудь попроще. Сапоги, скажем, скороходы или шапку-невидимку... А?

Возникшая было у меня надежда отвертеться сегодня от смазки «Москвича» погасла.

— Да вы не беспокойтесь,— сказал я.— Мне ничего, в общем, не надо. Я вас сейчас отпущу.

— И хорошо,— спокойно сказала щука.— Люблю таких людей. Давеча вот тоже... Купил меня на рынке какой-то, пообещала я ему царскую дочь. Плыву по реке, стыдно, конечно, глаза девать некуда. Ну ослепу и въехала в сети. Ташшат. Опять, думаю, врать придется. А он что делает? Он меня хватает поперек зубов, так что рот не открыть. Ну, думаю, конец, сварят. Ан нет. Защемляет он мне чем-то плавник и бросает обратно в реку. Во!— Щука высунулась из бадьи и выставила плавник, схваченный у основания металлическим зажимом. На зажиме я прочитал: «Запущен сей экземпляр в Солове-реке 1854 год. Доставить в Е. И. В. Академию наук, СПБ».— Старухе не говори,— предупредила щука.— С плавником оторвет. Жадная она.

«Что бы у нее спросить?» — лихорадочно думал я.

— Как вы делаете ваши чудеса?

— Какие такие чудеса?

— Ну... исполнение желаний...

— Ах, это? Как делаю... Обучена сызмальства, вот и делаю. Откуда я знаю, как я делаю... Золотая Рыбка вот еще лучше делала, и все одно померла. От судьбы не уйдешь.

Мне показалось, что щука вздохнула.

— От старости?— спросил я.

— Какое там от старости! Молодая была, крепкая... Бросили в нее, служивый, глубинную бомбу. И ее вверх брюхом пустили, и корабль какой-то подводный рядом случился, тоже потонул. Она бы и откупилась, да ведь не спросили ее, увидели и сразу бомбой... Вот ведь как оно бывает.— Она помолчала.— Так отпускаешь меня или как? Душно что-то, гроза будет...

— Конечно, конечно,— сказал я, встрепенувшись.— Вас как — бросить или в бадье?

— Бросай, служивый, бросай.

Я осторожно запустил руки в бадью и извлек щуку — было в ней килограммов восемь. Щука бормотала: «Ну, а ежели там скатерть-самобранку или, допустим, ковер-самолет, то я здесь буду... за мной не пропадет...» — «До свиданья»,— сказал я и разжал руки. Раздался шумный плеск.

Некоторое время я стоял, глядя на свои ладони, испачканные зеленью. У меня было какое-то странное ощущение. Временами, как порыв ветра, налетало сознание, что я сижу в комнате на диване, но стоило тряхнуть

головой, и я снова оказывался у колодца. Потом это прошло. Я умылся отличной ледяной водой, залил радиатор и побрился. Старуха все не показывалась. Хотелось есть, и надо было идти в город к почтамту, где меня уже, может быть, ждали ребята. Я запер машину и вышел за ворота.

Я неторопливо шел по улице Лукоморье, засунув руки в карманы серой гэдээровской курточки и глядя себе под ноги. В заднем кармане моих любимых джинсов, исполосованных «молниями», брякали старухины медяки. Я размышлял. Тощие брошюрки общества «Знание» приучили меня к мысли, что разговаривать животные не способны. Сказки с детства убеждали в обратном. Согласен я был, конечно, с брошюрками, потому что никогда в жизни не видел говорящих животных. Даже попугаев. Я знавал одного попугая, который мог рычать, как тигр, но по-человечески он не умел. И вот теперь — Щука, кот Василий и даже зеркало. Впрочем, неодушевленные предметы как раз разговаривают часто. И между прочим, это соображение никогда не пришло бы в голову, скажем, моему прадеду. С его, прадеда, точки зрения, говорящий кот — вещь куда менее фантастическая, нежели деревянный полированный ящик, который хрипит, воет, музицирует и говорит на многих языках. С котом тоже более или менее ясно. А вот как разговаривает щука? У щуки нет легких. Это верно. Правда, у нее должен быть плавательный пузырь, функция коего, как мне известно, ихтиологам еще не окончательно ясна. Мой знакомый ихтиолог Женька Скоромахов полагает даже, что эта функция неясна совершенно, и, когда я пытаюсь аргументировать доводами из брошюрок общества «Знание», Женька рычит и плюется. Совершенно утрачивает присущий ему дар человеческой речи... У меня такое впечатление, что о возможностях животных мы знаем пока еще очень мало. Только недавно выяснилось, что рыбы и морские животные обмениваются под водой сигналами. Очень интересно пишут о дельфинах. Или, скажем, обезьяна Рафаил. Это я сам видел. Разговаривать она, правда, не умеет, но зато у нее выработали рефлекс: зеленый свет — банан, красный свет — электрический шок. И все было хорошо до тех пор, пока не включили красный и зеленый свет одновременно. Тогда Рафаил повел себя так же, как Женька, например. Он страшно обиделся. Он кинулся к окошечку, за которым сидел экспериментатор, и принялся, визжа и рыча, плеваться в это окошечко. И вообще есть анекдот — одна обезьяна говорит другой: «Знаешь, что такое условный рефлекс? Это когда зазвонит звонок, и все эти квазиобезьяны в белых халатах побегут к нам с бананами и конфетами». Конечно, все это чрезвычайно непросто. Терминология не разработана. Когда в этих условиях пытаешься решать вопросы, связанные с психикой и потенциальными возможностями животных, чувствуешь себя совершенно бессильным. Но с другой стороны, когда тебе дают, скажем, ту же систему интегральных уравнений типа звездной статистики с неизвестными функциями под интегралом, то самочувствие не лучше. А поэтому главное — думать. Как Паскаль: «Будем же учиться хорошо мыслить — вот основной принцип морали».

Я вышел на проспект Мира и остановился, привлеченный необычным зрелищем. По мостовой шел человек с детскими флажками в руках. За ним, шагах в десяти, с натужным ревом медленно полз большой белый МАЗ с гигантским дымящимся прицепом в виде серебристой цистерны. На цистерне было написано «Огнеопасно», справа и слева от нее так же медленно катились красные пожарные «газики», ощетиненные огнетушителями. Время от времени в ровный рев двигателя вмешивался какой-то новый звук, неприятно леденивший сердце, и тогда из люков цистерны вырывались желтые языки пламени. Лица пожарных под нахлобученными

касками были мужественны и суровы. Вокруг кавалькады тучей носились ребятишки. Они пронзительно вопили: «Тилили-тилили, а дракона повезли!» Взрослые прохожие опасливо жались к заборам. На их лицах было написано явственное желание уберечь одежду от возможных повреждений.

— Повезли родимого,— произнес у меня над ухом знакомый скрипучий бас.

Я обернулся. Позади стояла, пригорюнившись, Наина Киевна с кошелкой, наполненной синими пакетами сахарного песку.

— Повезли,— повторила она.— Каждую пятницу возят...

— Куда?— спросил я.

— На полигон, батюшка. Всё экспериментируют... Делать им больше нечего.

— А кого повезли, Наина Киевна?

— То есть как это — кого? Сам не видишь, что ли?..

Она повернулась и пошла прочь, но я догнал ее.

— Наина Киевна, вам тут телефонограмму передали.

— Это от кого же?

— От Ха Эм Вия.

— А насчет чего?

— У вас слет какой-то сегодня,— сказал я, пристально глядя на нее.— На Лысой Горе. Форма одежды — парадная.

Старуха явно обрадовалась.

— Вправду?— сказала она.— Вот хорошо-то!.. А где телефонограмма?

— В прихожей на телефоне.

— А насчет членских взносов там ничего не говорится?— спросила она, понизив голос.

— В каком смысле?

— Ну, что, мол, надлежит погасить задолженность с одна тысяча семьсот...— Она замолчала.

— Нет,— сказал я.— Ничего такого не говорилось.

— Ну и хорошо. А с транспортом как? Машину подадут или что?

— Дайте я вам кошелку поднесу,— предложил я.

Старуха отпрянула.

— Это тебе зачем?— спросила она подозрительно.— Ты это оставь — не люблю... Кошелку ему!.. Молодой, да, видно, из ранних...

«Не люблю старух»,— подумал я.

— Так как же с транспортом?— повторила она.

— За свой счет,— сказал я злорадно.

— Ах, скопидомы!— застонала старуха.— Метлу в музей забрали, ступу не ремонтируют, взносы дерут по пять рубликов на ассигнации, а на Лысую Гору за свой счет! Счет-то не малый, батюшка, да пока такси ждет...

Бормоча и кашляя, она отвернулась от меня и пошла прочь. Я потер руки и тоже пошел своей дорогой. Мои предположения оправдывались. Узел удивительных происшествий затягивался все туже. И стыдно признаться, но это казалось мне сейчас более интересным, чем даже моделирование рефлекторной дуги.

На проспекте Мира было уже пусто. У перекрестка крутилась стая ребятишек — играли, по-моему, в чижа. Увидев меня, они бросили игру и стали приближаться. Предчувствуя недоброе, я торопливо миновал их и двинулся к центру. За моей спиной послышался сдавленный восторженный возглас: «Стиляга!» Я ускорил шаг. «Стиляга!»— завопили сразу не-

сколько голосов. Я почти побежал.Позади визжали: «Стиля-ага! Тонконогий! Папина «Победа»!..» Прохожие смотрели на меня сочувственно. В таких ситуациях лучше всего куда-нибудь нырнуть. Я нырнул в ближайший магазин, оказавшийся гастрономом, походил вдоль прилавков, убедился в том, что сахар есть, выбор колбас и конфет не богат, но зато выбор так называемых рыбных изделий превосходит все ожидания. Там была такая семга и такой лосось!.. Я выпил стакан газированной воды и выглянул на улицу. Мальчишек не было. Тогда я вышел из магазина и двинулся дальше. Скоро лабазы и бревенчатые избы-редуты кончились, пошли современные двухэтажные дома с открытыми скверами. В скверах копошились младенцы, пожилые женщины вязали что-то теплое, а пожилые мужчины резались в домино.

В центре города оказалась обширная площадь, окруженная двух- и трехэтажными зданиями. Площадь была асфальтирована, посередине зеленел садик. Над зеленью возвышался большой красный щит с надписью «Доска Почета» и несколько щитов поменьше со схемами и диаграммами. Почтамт я обнаружил здесь же, на площади. Мы договорились с ребятами, что первый кто прибудет в город, оставит до востребования записку со своими координатами. Записки не было, и я оставил письмо, в котором сообщил свой адрес и объяснил, как дойти до избы на курногах. Затем я решил позавтракать.

Обойдя площадь, я обнаружил: кинотеатр, где шла «Козара»; книжный магазин, закрытый на переучет; горсовет, перед которым стояло несколько основательно пропыленных «газиков»; гостиницу «Студеное море» — как обычно, без свободных мест; два киоска с газированной водой и мороженым; магазин (промтоварный) № 2 и магазин (хозтоваров) № 18; столовую № 11, открывающуюся с двенадцати часов, и буфет № 3, закрытый без объяснений. Потом я обнаружил городское отделение милиции, возле открытых дверей которого побеседовал с очень юным милиционером в чине сержанта, объяснившим мне, где находится бензоколонка и какова дорога до Лежнева. «А где же ваша машина?» — осведомился милиционер, озирая площадь. «У знакомых»,— ответил я. «Ах, у знакомых...» — сказал милиционер значительно. По-моему, он взял меня на заметку. Я робко откланялся.

Рядом с трехэтажной громадой Солрыбснабпромпотребсоюза ФЦУ я, наконец, нашел маленькую опрятную чайную № 16/27. В чайной было хорошо. Народу было не очень много, пили действительно чай и разговаривали о вещах понятных: что под Коробцом завалился, наконец, мостик и ехать теперь приходится вброд; что пост ГАИ уже неделю как с пятнадцатого километра убрали; что «искра — зверь, слона убьет, а ни шиша не схватывает...» Пахло бензином и жареной рыбой. Не занятые разговорами люди пристально разглядывали мои джинсы, и я радовался, что сзади у меня имеет место профессиональное пятно — позавчера я очень удачно сел на шприц с солидолом.

Я взял себе полную тарелку жареной рыбы, три стакана чаю и три бутерброда с балыком, расплатился кучей старухиных медяков («На паперти стоял...» — проворчала буфетчица), устроился в укромном углу и принялся за еду, с удовольствием наблюдая за этими хриплоголосыми, прокуренными людьми. Приятно было смотреть, какие они загорелые, независимые, жилистые, всё повидавшие, как они с аппетитом едят, с аппетитом курят, с аппетитом рассказывают. Они до последней капли использовали передышку перед долгими часами тряской скучной дороги, раскаленной духоты кабины, пыли и солнца. Если бы я не был программистом, я бы обязательно стал шофером и уж работал бы не на плюгавенькой лег-

ковушке и не на автобусе даже, а на каком-нибудь грузовом чудовище, чтобы в кабину надо было забираться по лестнице, а колесо чтобы менять с помощью небольшого подъемного крана.

За соседним столиком сидели два молодых человека, не похожих на шоферов, и поэтому сначала я на них внимания не обратил. Так же, впрочем, как и они на меня. Но когда я допивал второй стакан чаю, до меня долетело слово «диван». Затем кто-то из них произнес: «...А тогда непонятно, зачем она вообще существует, эта Изнакурнож...» — и я стал слушать. К сожалению, говорили они негромко, да и сидел я к ним спиной, так что слышно было плохо. Но голоса показались мне знакомыми: «...никаких тезисов... только диван...», «...такому волосатому?..», «...диван... шестнадцатая степень...», «...при трансгрессии только четырнадцать порядков...», «...легче смоделировать транслятор...», «...мало ли кто хихикает!..», «...бритву подарю...», «...не можем без дивана...». Тут один из них заперхал, да так знакомо, что я сразу вспомнил сегодняшнюю ночь и обернулся, но они уже шли к выходу — два здоровенных парня с крутыми плечами и спортивными затылками. Некоторое время я еще видел их в окно, они перешли площадь, обогнули садик и скрылись за диаграммами. Я допил чай, доел бутерброды и тоже вышел. «Диван их, видите ли, волнует,— думал я — Русалка их не волнует. Говорящий кот их не интересует. А без дивана они, видите ли, не могут...» Я попытался вспомнить, какой же у меня там диван, но ничего особенного вспомнить не мог. Диван как диван. Хороший диван. Удобный. Только странная действительность на нем снится.

Теперь хорошо было бы вернуться домой и заняться всеми этими диванными делами вплотную. Поэкспериментировать с книгой-перевертышем, поговорить с котом Василием начистоту и посмотреть, нет ли в избе на куриных ногах еще чего-нибудь интересного. Но дома меня ждал мой «Москвич» и необходимость делать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всего-навсего Ежедневный Уход, всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением, каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как Техническое Обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках и постепенно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и себе на физиономию. Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи... Короче говоря, мне не очень хотелось домой.

Глава четвертая

Кто позволил себе эту дьявольскую шутку? Схватить его и сорвать с него маску, чтобы мы знали, кого нам поутру повесить на крепостной стене!

Э. По

Я купил позавчерашнюю «Правду», выпил газированной воды и устроился на скамье в садике, в тени доски Почета. Было одиннадцать часов. Я внимательно просмотрел газету. На это ушло семь минут. Тогда я про-

читал статью о гидропонии, фельетон о хапугах из Канска и большое письмо рабочих химического завода в редакцию. Это заняло всего-навсего двадцать две минуты. «Не сходить ли в кино»,— подумал я. Но «Козару» я уже видел — один раз в кино и один раз по телевизору. Тогда я решил попить воды, сложил газету и встал. Из всей старухиной меди в кармане у меня остался всего один пятак. Пропью, решил я, выпил воды с сиропом, получил копейку сдачи и купил в соседнем ларьке коробок спичек. Больше делать мне в центре города было решительно нечего. И я пошел куда глаза глядят — в неширокую улицу между магазином № 2 и столовой № 11.

Прохожих на улице почти не было. Меня обогнал большой пыльный грузовик с грохочущим трейлером. Шофер, высунув в окно локоть и голову, устало смотрел на булыжную мостовую. Улица, понижаясь, круто заворачивала направо, у поворота рядом с тротуаром торчал из земли ствол старинной чугунной пушки, дуло ее было забито землей и окурками. Вскоре улица кончилась обрывом к реке. Я посидел на краю обрыва и полюбовался пейзажем, затем перешел на другую сторону и побрел обратно.

«Интересно, куда девался тот грузовик?»— подумал вдруг я. Спуска с обрыва не было. Я стал оглядываться, ища ворота по сторонам улицы, и тут обнаружил небольшой, но очень странный дом, стиснутый между двумя угрюмыми кирпичными лабазами. Окна нижнего этажа его были забраны железными прутьями и до половины замазаны мелом. Дверей же в доме вообще не было. Я заметил это сразу потому, что вывеска, которую обычно помещают рядом с воротами или рядом с подъездом, висела здесь прямо между двумя окнами. На вывеске было написано: «АН СССР НИИЧАВО». Я отошел на середину улицы: да, два этажа по десяти окон и ни одной двери. А справа и слева, вплотную, лабазы «НИИЧАВО,— подумал я.— Научно-исследовательский институт... Чаво? В смысле — чего? Чрезвычайно Автоматизированной Вооруженной Охраны? Черных Ассоциаций Восточной Океании? Изба на курногах,— подумал я,— музей этого самого НИИЧАВО. Мои попутчики, наверное, тоже отсюда. И те, в чайной, тоже...» С крыши здания поднялась стая ворон и с карканьем закружилась над улицей. Я повернулся и пошел назад, на площадь.

Все мы наивные материалисты, думал я. И все мы рационалисты. Мы хотим, чтобы все было немедленно объяснено рационалистически, то есть сведено к горсточке уже известных фактов. И ни у кого из нас ни на грош диалектики. Никому в голову не приходит, что между известными фактами и каким-то новым явлением может лежать море неизвестного, и тогда мы объявляем новое явление сверхъестественным и, следовательно, невозможным. Вот, например, как бы метр Монтескье принял сообщение об оживлении мертвеца через сорок пять минут после зарегистрированной остановки сердца? В штыки бы, наверное, принял. Так сказать, в багинеты. Объявил бы это обскурантизмом и поповщиной. Если бы вообще не отмахнулся от такого сообщения. А если бы это случилось у него на глазах, то он оказался бы в необычайно затруднительном положении. Как я сейчас, только я привычнее. А ему пришлось бы либо счесть это воскрешение жульничеством, либо отречься от собственных ощущений, либо даже отречься от материализма. Скорее всего, он счел бы воскрешение жульничеством. Но до конца жизни воспоминание об этом ловком фокусе раздражало бы его мысль, подобно соринке в глазу... Но мы-то дети другого века. Мы всякое повидали: и живую голову собаки, пришитую к спине другой живой собаки; и искусственную почку величиной со шкаф; и мертвую железную руку, управляемую живыми нервами; и людей, которые могут небрежно заметить: «Это было уже после того, как я скончался в первый

раз...» Да, в наше время у Монтескье было бы немного шансов остаться материалистом. А мы вот остаемся, и ничего! Правда, иногда бывает трудно — когда случайный ветер вдруг доносит до нас через океан неизвестного странные лепестки с необозримых материков непознанного. И особенно часто так бывает, когда находишь не то, что ищешь. Вот скоро в зоологических музеях появятся удивительные животные, первые животные с Марса или Венеры. Да, конечно, мы будем глазеть на них и хлопать себя по бедрам, но ведь мы давно уже ждем этих животных, мы отлично подготовлены к их появлению. Гораздо более мы были бы поражены и разочарованы, если бы этих животных не оказалось или они оказались бы похожими на наших кошек и собак. Как правило, наука, в которую мы верим (и зачастую слепо), заранее и задолго готовит нас к грядущим чудесам, и психологический шок возникает у нас только тогда, когда мы сталкиваемся с непредсказанным,— какая-нибудь дыра в четвертое измерение, или биологическая радиосвязь или живая планета... Или, скажем, изба на куриных ногах... А ведь прав был горбоносый Роман: здесь у них очень, очень и очень интересно...

Я вышел на площадь и остановился перед киоском с газированной водой. Я точно помнил, что мелочи у меня нет, и знал, что придется разменивать бумажку, и уже готовил заискивающую улыбку, потому что продавщицы газированной воды терпеть не могут менять бумажные деньги, как вдруг обнаружил в кармане джинсов пятак. Я удивился и обрадовался, но обрадовался больше. Я выпил газированной воды с сиропом, получил мокрую копейку сдачи и поговорил с продавщицей о погоде. Потом я решительно направился домой, чтобы скорее покончить с ЕУ и ТО и заняться рационалдиалектическими объяснениями. Копейку я сунул в карман и остановился, обнаружив, что в том же кармане имеется еще один пятак. Я вынул его и осмотрел. Пятак был слегка влажный, но на нем было написано «5 копеек 1961», и цифра «6» была замята неглубокой выщерблинкой. Может быть, я даже тогда не обратил бы внимания на это маленькое происшествие, если бы не то самое мгновенное ощущение, уже знакомое мне, будто я одновременно стою на проспекте Мира и сижу на диване, тупо разглядывая вешалку. И так же, как раньше, когда я тряхнул головой, ощущение исчезло.

Некоторое время я еще медленно шел, рассеянно подбрасывая и ловя пятак (он падал на ладонь все время «решкой»), и пытался сосредоточиться. Потом я увидел гастроном, в котором утром спасался от мальчишек, и вошел туда. Держа пятак двумя пальцами, я направился прямо к прилавку, где торговали соками и водой, и без всякого удовольствия выпил стакан без сиропа. Затем, зажав сдачу в кулаке, я отошел в сторонку и проверил карман.

Это был тот самый случай, когда психологического шока не происходит. Скорее, я удивился бы, если бы пятака в кармане не оказалось. Но он был там — влажный, 1961 года, с выщерблинкой на цифре «6». Меня подтолкнули и спросили, не сплю ли я. Оказывается, я стоял в очереди в кассу. Я сказал, что не сплю, и выбил чек на три коробка спичек. Встав в очередь за спичками я обнаружил, что пятак находится в кармане. Я был совершенно спокоен. Получив три коробка, я вышел из магазина, вернулся на площадь и принялся экспериментировать.

Эксперимент занял у меня около часа. За этот час я десять раз обошел площадь кругом, разбух от воды, спичечных коробков и газет, перезнакомился со всеми продавцами и продавщицами и пришел к ряду интересных выводов. Пятак возвращается, если им платить. Если его просто бросить,

обронить, потерять, он останется там, где упал. Пятак возвращается в карман в тот момент, когда сдача из рук продавца переходит в руки покупателя. Если при этом держать руку в одном кармане, пятак появляется в другом. В кармане, застегнутом на «молнию», он не появляется никогда. Если держать руки в обоих карманах и принимать сдачу локтем, то пятак может появиться где угодно на теле (в моем случае он обнаружился в ботинке). Исчезновение пятака из тарелки с медью на прилавке заметить не удается: среди прочей меди пятак сейчас же теряется, и никакого движения в тарелочке в момент перехода пятака в карман не происходит.

Итак, мы имели дело с так называемым неразменным пятаком в процессе его функционирования. Сам по себе факт неразменности не очень заинтересовал меня. Воображение мое было потрясено прежде всего возможностью внепространственного перемещения материального тела. Мне было совершенно ясно, что таинственный переход пятака от продавца к покупателю представляет собой не что иное, как частный случай пресловутой нуль-транспортировки, хорошо известной любителям научной фантастики также под псевдонимами: гиперпереход, репагулярный скачок, феномен Тарантоги... Открывающиеся перспективы были ослепительны.

У меня не было никаких приборов. Обыкновенный лабораторный минимальный термометр мог бы дать очень много, но у меня не было даже его. Я был вынужден ограничиваться чисто визуальными субъективными наблюдениями. Свой последний круг по площади я начал, поставив перед собой следующую задачу: «Кладя пятак рядом с тарелочкой для мелочи и по возможности препятствуя продавцу смешать его с остальными деньгами до вручения сдачи, проследить визуально процесс перемещения пятака в пространстве, одновременно пытаясь хотя бы качественно определить изменение температуры воздуха вблизи предполагаемой траектории перехода». Однако эксперимент был прерван в самом начале.

Когда я приблизился к продавщице Мане, меня уже ждал тот самый молоденький милиционер в чине сержанта.

— Так,— сказал он профессиональным голосом.

Я искательно посмотрел на него, предчувствуя недоброе.

— Попрошу документики, гражданин,— сказал милиционер, отдавая честь и глядя мимо меня.

— А в чем дело?— спросил я, доставая паспорт.

— И пятак попрошу,— сказал милиционер, принимая паспорт.

Я молча отдал ему пятак. Маня смотрела на меня сердитыми глазами. Милиционер оглядел пятак и, произнеся с удовлетворением: «Ага...», раскрыл паспорт. Паспорт он изучал, как библиофил изучает редкую инкунабулу. Я томительно ждал. Вокруг медленно росла толпа. В толпе высказывались разные мнения на мой счет.

— Придется пройти,— сказал, наконец, милиционер.

Мы прошли. Пока мы проходили, в толпе сопровождающих было создано несколько вариантов моей нелегкой биографии и был сформулирован ряд причин, вызвавших начинающееся у всех на глазах следствие.

В отделении сержант передал пятак и паспорт дежурному лейтенанту. Тот осмотрел пятак и предложил мне сесть. Я сел. Лейтенант небрежно произнес: «Сдайте мелочь» — и тоже углубился в изучение паспорта. Я выгреб из кармана медяки. «Пересчитай, Ковалев»,— сказал лейтенант и, отложив паспорт, стал смотреть мне в глаза.

— Много накупили?— спросил он.

— Много,— ответил я.

— Тоже сдайте,— сказал лейтенант.

Я выложил перед ним на стол четыре номера позавчерашней «Правды», три номера местной газеты «Рыбак», два номера «Литературной газеты», восемь коробков спичек, шесть штук ирисок «Золотой ключик» и уцененный ершик для чистки примуса.

— Воду сдать не могу,— сказал я сухо.— Пять стаканов с сиропом и четыре без сиропа.

Я начинал понимать, в чем дело, и мне было чрезвычайно неловко и муторно при мысли, что придется оправдываться.

— Семьдесят четыре копейки, товарищ лейтенант,— доложил юный Ковалев.

Лейтенант задумчиво созерцал кучу газет и спичечных коробков.

— Развлекались или как?— спросил он меня.

— Или как,— сказал я мрачно.

— Неосторожно,— сказал лейтенант.— Неосторожно, гражданин. Расскажите.

Я рассказал. В конце рассказа я убедительно попросил лейтенанта не рассматривать мои действия как попытку скопить денег на «Запорожец». Уши мои горели. Лейтенант усмехнулся.

— А почему бы и не рассматривать?— осведомился он.— Были случаи, когда накапливали.

Я пожал плечами.

— Уверяю вас, такая мысль не могла бы прийти мне в голову... То есть что я говорю — не могла бы, она действительно не приходила!..

Лейтенант долго молчал. Юный Ковалев взял мой паспорт и снова принялся его рассматривать.

— Даже как-то странно предположить...— сказал я растерянно.— Совершенно бредовая затея... Копить по копейке...— Я снова пожал плечами.— Тогда уж лучше, как говорится, на паперти стоять...

— С ниществом мы боремся,— значительно сказал лейтенант.

— Ну правильно, ну естественно... Я только не понимаю, при чем тут я, и...— Я поймал себя на том, что очень много пожимаю плечами, и дал себе слово впредь этого не делать.

Лейтенант снова изнуряюще долго молчал, разглядывая пятак.

— Придется составить протокол,— сказал он наконец.

Я пожал плечами.

— Пожалуйста, конечно... хотя...— Я не знал, что, собственно, «хотя».

Некоторое время лейтенант смотрел на меня, ожидая продолжения. Но я как раз соображал, под какую статью уголовного кодекса подходят мои действия, и тогда он придвинул к себе лист бумаги и принялся писать.

Юный Ковалев вернулся на свой пост. Лейтенант скрипел пером и часто со стуком макал его в чернильницу. Я сидел, тупо рассматривал плакаты, развешанные на стенах, и вяло размышлял о том, что на моем месте Ломоносов, скажем, схватил бы паспорт и выскочил в окно. «В чем, собственно, суть?— думал я.— Суть в том, чтобы человек сам не считал себя виновным. В этом смысле я не виновен. Но виновность, кажется, бывает объективная и субъективная. И факт остается фактом: вся эта медь в количестве семидесяти четырех копеек юридически является результатом хищения, произведенного с помощью технических средств, в качестве каковых выступает неразменный пятак».

— Прочтите и подпишите,— сказал лейтенант.

Я прочел. Из протокола явствовало, что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., неизвестным мне способом вступил в обладание действующей моделью неразменного пятака образца ГОСТ 718-62 и злоупотребил ею; что я, нижеподписавшийся Привалов А. И., утверждаю, будто действия

свои производил с целью научного эксперимента, без каких-либо корыстных намерений; что я готов возместить причиненные государству убытки в размере одного рубля пятидесяти пяти копеек; что я, наконец, в соответствии с постановлением Соловецкого горсовета от 22 марта 1959 года, передал указанную действующую модель неразменного пятака дежурному по отделению лейтенанту Сергиенко У. У. и получил взамен пять копеек в монетных знаках, имеющих хождение на территории Советского Союза. Я подписался.

Лейтенант сверил мою подпись с подписью в паспорте, еще раз тщательно пересчитал медяки, позвонил куда-то с целью уточнить стоимость ирисок и примусного ершика, выписал квитанцию и отдал ее мне вместе с пятью копейками в монетных знаках, имеющих хождение. Возвращая газеты, спички, конфеты и ершик, он сказал:

— А воду вы, по собственному вашему признанию, выпили. Итого, с вас восемьдесят одна копейка.

С гигантским облегчением я рассчитался. Лейтенант, еще раз внимательно пролистав, вернул мне паспорт.

— Можете идти, гражданин Привалов,— сказал он.— И впредь будьте осторожнее. Вы надолго в Соловец?

— Завтра уеду,— сказал я.

— Вот до завтра и будьте осторожнее.

— Ох, постараюсь,— сказал я, пряча паспорт. Затем, повинуясь импульсу, спросил, понизив голос:— А скажите мне, товарищ лейтенант, вам здесь, в Соловце, не странно?

Лейтенант уже смотрел в какие-то бумаги.

— Я здесь давно,— сказал он рассеянно.— Привык.

Глава пятая

— А вы сами-то верите в привидения?— спросил лектора один из слушателей.

— Конечно, нет,— ответил лектор и медленно растаял в воздухе.

Правдивая история

До самого вечера я старался быть весьма осторожным. Прямо из отделения я направился домой на Лукоморье и там сразу же залез под машину. Было очень жарко. С запада медленно ползла грозовая черная туча. Пока я лежал под машиной и обливался маслом, старуха Наина Киевна, ставшая вдруг очень ласковой и любезной, дважды подъезжала ко мне с тем, чтобы я отвез ее на Лысую Гору. «Говорят, батюшка, машине вредно стоять,— скрипуче ворковала она, заглядывая под передний бампер.— Говорят, ей ездить полезно. А уж я бы заплатила, не сомневайся...» Ехать на Лысую Гору мне не хотелось. Во-первых, в любую минуту могли прибыть ребята. Во-вторых, старуха в своей воркующей модификации была мне еще неприятнее, нежели в сварливой. Далее, как выяснилось, до Лысой Горы было девяносто верст в одну сторону, а когда я спросил бабку насчет качества дороги, она радостно заявила, чтобы я не беспокоился,— до-

рога гладкая, а в случае чего, она, бабка, будет сама машину выталкивать. («Ты не смотри, батюшка, что я старая, я еще очень даже крепкая».)После первой неудачной атаки старуха временно отступилась и ушла в избу. Тогда ко мне под машину зашел кот Василий. С минуту он внимательно следил за моими руками, а потом произнес вполголоса, но явственно: «Не советую, гражданин... мнэ-э... не советую. Съедят», после чего сразу удалился, подрагивая хвостом. Мне хотелось быть очень осторожным, и поэтому, когда бабка вторично пошла на приступ, я, чтобы разом со всем покончить, запросил с нее пятьдесят рублей. Она тут же отстала, посмотрев на меня с уважением.

Я сделал ЕУ и ТО, с величайшей осторожностью съездил заправиться к бензоколонке, пообедал в столовой № 11 и еще раз подвергся проверке документов со стороны бдительного Ковалева. Для очистки совести я спросил у него, какова дорога до Лысой Горы. Юный сержант посмотрел на меня с большим недоверием и сказал: «Дорога? Что это вы говорите, гражданин? Какая же там дорога? Нет там никакой дороги». Домой я вернулся уже под проливным дождиком.

Старуха отбыла. Кот Василий исчез. В колодце кто-то пел на два голоса, и это было жутко и тоскливо. Вскоре ливень сменился скучным мелким дождем. Стало темно.

Я забрался в свою комнату и попытался экспериментировать с книгой-перевертышем. Однако в ней что-то застопорило. Может быть, я делал что-нибудь не так или влияла погода, но она как была, так и оставалась «Практическими занятиями по синтаксису и пунктуации» Ф. Ф. Кузьмина, сколько я ни ухищрялся. Читать такую книгу было совершенно невозможно, и я попытал счастья с зеркалом. Но зеркало отражало все, что угодно, и молчало. Тогда я лег на диван и стал лежать.

От скуки и шума дождя я уже начал было дремать, когда вдруг зазвонил телефон. Я вышел в прихожую и взял трубку.

— Алло...

В трубке молчало и потрескивало.

— Алло,— сказал я и подул в трубку.— Нажмите кнопку.

Ответа не было.

— Постучите по аппарату,— посоветовал я. Трубка молчала. Я еще раз подул, подергал шнур и сказал:— Перезвоните с другого автомата.

Тогда в трубке грубо осведомились:

— Это Александр?

— Да.— Я был удивлен.

— Ты почему не отвечаешь?

— Я отвечаю. Кто это?

— Это Петровский тебя беспокоит. Сходи в засольный цех и скажи мастеру, чтобы мне позвонил.

— Какому мастеру?

— Ну, кто там сегодня у тебя?

— Не знаю...

— Что значит — не знаю? Это Александр?

— Слушайте, гражданин,— сказал я.— По какому номеру вы звоните?

— По семьдесят второму... Это семьдесят второй?

Я не знал.

— По-видимому нет,— сказал я.

— Что же вы говорите, что вы Александр?

— Я в самом деле Александр!

— Тьфу!.. Это комбинат?

— Нет,— сказал я.— Это музей.

— А... Тогда извиняюсь. Мастера, значит, позвать не можете...

Я повесил трубку. Некоторое время я стоял, оглядывая прихожую. В прихожей было пять дверей: в мою комнату, во двор, в бабкину комнату, в туалет, и еще одна, обитая железом, с громадным висячим замком. Скучно, подумал я. Одиноко. И лампочка тусклая, пыльная... Волоча ноги, я вернулся в свою комнату и остановился на пороге.

Дивана не было.

Все остальное было совершенно по-прежнему: стол, и печь, и зеркало, и вешалка, и табуретка. И книга лежала на подоконнике точно там, где я ее оставил. А на полу, где раньше был диван, остался только очень пыльный, замусоренный прямоугольник. Потом я увидел постельное белье, аккуратно сложенное под вешалкой.

— Только что здесь был диван,— вслух сказал я.— Я на нем лежал.

Что-то изменилось в доме. Комната наполнилась невнятным шумом. Кто-то разговаривал, слышалась музыка, где-то смеялись, кашляли, шаркали ногами. Смутная тень на мгновение заслонила свет лампочки, громко скрипнули половицы. Потом вдруг запахло аптекой, и в лицо мне пахнуло холодом. Я попятился. И тотчас же кто-то резко и отчетливо постучал в наружную дверь. Шумы мгновенно утихли. Оглядываясь на то место, где раньше был диван, я вновь вышел в сени и открыл дверь.

Передо мной под мелким дождем стоял невысокий изящный человек в коротком кремовом плаще идеальной чистоты, с поднятым воротником. Он снял шляпу и с достоинством произнес:

— Прошу прощения, Александр Иванович. Не могли бы вы уделить мне пять минут для разговора?

— Конечно,— сказал я растерянно.— Заходите...

Этого человека я видел впервые в жизни, и у меня мелькнула мысль, не связан ли он с местной милицией. Незнакомец шагнул в прихожую и сделал движение пройти прямо в мою комнату. Я заступил ему дорогу. Не знаю, зачем я это сделал,— наверное, потому, что мне не хотелось расспросов насчет пыли и мусора на полу.

— Извините,— пролепетал я,— может быть, здесь... А то у меня беспорядок. И сесть негде...

Незнакомец резко вскинул голову.

— Как негде?— сказал он негромко.— А диван?

С минуту мы молча смотрели друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван?— спросил я почему-то шепотом.

Незнакомец опустил веки.

— Ах, вот как?— медленно произнес он.— Понимаю. Жаль. Ну что ж, извините.

Он вежливо кивнул, надел шляпу и решительно направился к дверям туалета.

— Куда вы?— закричал я.— Вы не туда!

Незнакомец, не оборачиваясь, пробормотал: «Ах, это безразлично» — и скрылся за дверью. Я машинально зажег ему свет, постоял немного, прислушиваясь, затем рванул дверь. В туалете никого не было. Я осторожно вытащил сигарету и закурил. Диван, подумал я. При чем здесь диван? Никогда не слыхал никаких сказок о диванах. Был ковер-самолет. Была скатерть-самобранка. Были: шапка-невидимка, сапоги-скороходы, гусли-самогуды. Было чудо-зеркальце. А чудо-дивана не было. На диванах сидят или лежат, диван — это нечто прочное, очень обыкновенное... В самом деле, какая фантазия могла бы вдохновиться диваном?..

Вернувшись в комнату, я сразу увидел Маленького Человечка. Он сидел на печке под потолком, скорчившись в очень неудобной позе. У него было сморщенное небритое лицо и серые волосатые уши.

— Здравствуйте,— сказал я утомленно.

Маленький Человечек страдальчески скривил длинные губы.

— Добрый вечер,— сказал он.— Извините, пожалуйста, занесло меня сюда — сам не понимаю как... Я насчет дивана.

— Насчет дивана вы опоздали,— сказал я, садясь к столу.

— Вижу,— тихо сказал Человечек и неуклюже заворочался. Посыпалась известка.

Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький Человечек неуверенно заглядывал вниз.

— Вам помочь?— спросил я, делая движение.

— Нет, спасибо,— сказал Человечек уныло.— Я лучше сам...

Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня екнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо.

— Совсем старик стал,— сообщил он хрипло.— Лет сто назад или, скажем, при Гонзасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович.

— А что вы кончали?— осведомился я.

Он не слушал меня, присев на табурет напротив, он продолжал горестно:

— Раньше я левитировал, как Зекс. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно... Но если нет таланта? Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, а таланта нет! У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жиан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Симеонович... Никаких следов растительности!— Он торжествующе посмотрел на меня.— Ни-ка-ких! Гладкая кожа, изящество, стройность...

— Позвольте,— сказал я.— Вы сказали — Джузеппе Бальзамо... Но это то же самое, что граф Калиостро! А по Толстому, граф был жирен и очень неприятен на вид...

Маленький Человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся.

— Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович,— сказал он.— Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это... как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... Побыстрее, посмешнее — тяп-ляп, и так сойдет... Да-с... Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко.

Мне стало неловко.

— Да,— сказал я.— Я, конечно, не специалист. Но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?

Маленький Человечек вздрогнул.

— Непростительная самонадеянность,— сказал он громко и поднялся.— Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты... А тут еще наглые мальчишки...— Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки.— Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил... Еще раз решительно извиняюсь

и немедленно вас покидаю.— Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх.— Старый я, Александр Иванович,— сказал он, тяжело вздохнув.— Старенький...

— А может быть, вам было бы удобнее... через... э-э... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.

— И-и, батенька, так это же был Кристобаль Хунта! Что ему просочиться через канализацию на десяток лье...— Маленький Человечек горестно махнул рукой.— Мы попроще... Диван он с собой взял или трансгрессировал?

— Н-не знаю,— сказал я.— Дело-то в том, что он тоже опоздал.

Маленький Человечек ошеломленно поципал шерсть на правом ухе.

— Опоздал? Он? Невероятно... Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите великодушно.

Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее — какая-то драма. Может быть, даже драма идей. А ведь, пожалуй, придут еще... опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник?

Веник стоял рядом с кадкой под телефоном. Я принялся подметать пыль и мусор, и вдруг что-то тяжело зацепило за веник и выкатилось на середину комнаты. Я взглянул. Это был блестящий продолговатый цилиндрик величиной с указательный палец. Я потрогал его веником. Цилиндрик качнулся, что-то сухо затрещало, и в комнате запахло озоном. Я бросил веник и поднял цилиндр. Он был гладкий, отлично отполированный и теплый на ощупь. Я пощелкал по нему ногтем, и он снова затрещал. Я повернул его, чтобы осмотреть с торца, и в ту же секунду почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Все перевернулось перед глазами. Я пребольно ударился обо что-то пятками, потом плечом и макушкой, выронил цилиндр и упал. Я был здорово ошарашен и не сразу понял, что лежу в узкой щели между печью и стеной. Лампочка над головой раскачивалась, и, подняв глаза, я с изумлением обнаружил на потолке рубчатые следы своих ботинок. Кряхтя, я выбрался из щели и осмотрел подошвы. На подошвах был мел.

— Однако,— подумал я вслух.— Не просочиться бы в канализацию!..

Я поискал глазами цилиндрик. Он стоял, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Я осторожно приблизился и опустился возле него на корточки. Цилиндрик тихо потрескивал и раскачивался. Я долго смотрел на него, вытянув шею, потом подул на него. Цилиндрик качнулся сильнее, наклонился, и тут за моей спиной раздался хриплый клекот и пахнуло ветром. Я оглянулся и сел на пол. На печке аккуратно складывал крылья исполинский гриф с голой шеей и зловещим загнутым клювом.

— Здравствуйте,— сказал я. Я был убежден, что гриф говорящий.

Гриф, склонив голову, посмотрел на меня одним глазом и сразу стал похож на курицу. Я приветственно помахал рукой. Гриф открыл было клюв, но разговаривать не стал. Он поднял крыло и стал искаться у себя под мышкой, щелкая клювом. Цилиндрик все покачивался и трещал. Гриф перестал искаться, втянул голову в плечи и прикрыл глаза желтой пленкой. Стараясь не поворачиваться к нему спиной, я закончил уборку и выбросил мусор в дождливую тьму за дверью. Потом я вернулся в комнату.

Гриф спал, пахло озоном. Я посмотрел на часы: было двадцать минут первого. Я немного постоял над цилиндриком, размышляя над законом сохранения энергии, а заодно и вещества. Вряд ли грифы конденсируются

из ничего. Если данный гриф возник здесь, в Соловце, значит, какой-то гриф (не обязательно данный) исчез на Кавказе или где они там водятся. Я прикинул энергию переноса и опасливо посмотрел на цилиндрик. Лучше его не трогать, подумал я. Лучше его чем-нибудь прикрыть, и пусть стоит. Я принес из прихожей ковшик, старательно прицелился и, не дыша, накрыл им цилиндрик. Затем я сел на табурет, закурил и стал ждать еще чего-нибудь. Гриф отчетливо сопел. В свете лампы его перья отливали медью, огромные когти впились в известку. От него медленно распространялся запах гнили.

— Напрасно вы это сделали, Александр Иванович,— сказал приятный мужской голос.

— Что именно?— спросил я, оглянувшись на зеркало.

— Я имею в виду умклайдет...

Говорило не зеркало. Говорил кто-то другой.

— Не понимаю, о чем речь,— сказал я. В комнате никого не было, и я чувствовал раздражение.

— Я говорю про умклайдет,— произнес голос.— Вы совершенно напрасно накрыли его железным ковшом. Умклайдет, или, как вы его называете, волшебная палочка, требует чрезвычайно осторожного обращения.

— Потому я и накрыл... Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Благодарю вас,— сказал голос.

Прямо передо мной неторопливо сконденсировался бледный, весьма корректный человек в превосходно сидящем сером костюме. Несколько склонив голову набок, он осведомился с изысканнейшей вежливостью:

— Смею ли надеяться, что не слишком обеспокоил вас?

— Отнюдь,— сказал я, поднимаясь.— Прошу вас, садитесь и будьте как дома. Угодно чайку?

— Благодарю вас,— сказал незнакомец и сел напротив меня, изящным жестом поддернув штанины.— Что же касается чаю, то прошу извинения, Александр Иванович, я только что отужинал.

Некоторое время он, светски улыбаясь, глядел мне в глаза. Я тоже улыбался.

— Вы, вероятно, насчет дивана?— сказал я.— Дивана, увы, нет. Мне очень жаль, и я даже не знаю...

Незнакомец всплеснул руками.

— Какие пустяки!— сказал он.— Как много шума из-за какого-то, простите, вздора, в который никто к тому же по-настоящему не верит... Посудите сами, Александр Иванович, устраивать склоки, безобразные кинопогони, беспокоить людей из-за мифического — я не боюсь этого слова,— именно мифического Белого Тезиса... Каждый трезво мыслящий человек рассматривает диван как универсальный транслятор, несколько громоздкий, но весьма добротный и устойчивый в работе. И тем более смешны старые невежды, болтающие о Белом Тезисе... Нет, я и говорить не желаю...

— Как вам будет благоугодно,— сказал я, сосредоточив в этой фразе всю свою светскость.— Поговорим о чем-нибудь другом.

— Суеверия... Предрассудки...— рассеянно проговорил незнакомец.— Леность ума и зависть, зависть, поросшая волосами зависть...— Он прервал самого себя.— Простите, Александр Иванович, но я бы осмелился все-таки просить вашего разрешения убрать этот ковш. К сожалению, железо практически не прозрачно для гиперполя, а возрастание напряженности гиперполя в малом объеме...

Я поднял руки.

— Ради бога, все, что вам угодно! Убирайте ковшик... Убирайте даже этот самый... ум... ум... эту волшебную палочку...— Тут я остановился, с изумлением обнаружив, что ковшика больше нет. Цилиндрик стоял в луже жидкости похожей на окрашенную ртуть. Жидкость быстро испарялась.

— Так будет лучше, уверяю вас,— сказал незнакомец.— Что же касается вашего великодушного предложения убрать умклайдет, то я, к сожалению, не могу им воспользоваться. Это уже вопрос морали и этики, вопрос чести, если угодно... Условности так сильны! Я позволю себе посоветовать вам больше не прикасаться к умклайдету. Я вижу, вы ушиблись, и этот орел... Я думаю, вы чувствуете... э-э... некоторое амбре.

— Да,— сказал я с чувством.— Воняет гадостно. Как в обезьяннике.

Мы посмотрели на орла. Гриф, нахохлившись, дремал.

— Искусство управлять умклайдетом,— сказал незнакомец,— это сложное и тонкое искусство. Вы ни в коем случае не должны огорчаться или упрекать себя. Курс управления умклайдетом занимает восемь семестров и требует основательного знания квантовой алхимии. Как программист вы, вероятно, без особого труда освоили бы умклайдет электронного уровня, так называемый УЭУ-17... Но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова — Лавуазье...— Он виновато развел руками.

— О чем разговор!— поспешно сказал я.— Я ведь и не претендую... Конечно же, я абсолютно не подготовлен.

Тут я спохватился и предложил ему закурить.

— Благодарю вас,— сказал незнакомец.— Не употребляю, к великому моему сожалению.

Тогда, пошевелив от вежливости пальцами, я осведомился — не спросил, а именно осведомился:

— Не позволено ли мне будет узнать, чему я обязан приятностию нашей встречи?

Незнакомец опустил глаза.

— Боюсь показаться нескромным,— сказал он,— но, увы, я должен признаться, что уже довольно давно нахожусь здесь. Мне не хотелось бы называть имена, но, я думаю, даже вам, как вы ни далеки от всего этого, Александр Иванович, ясно, что вокруг дивана возникла некоторая нездоровая суета, назревает скандал, атмосфера накаляется, напряженность растет. В такой обстановке неизбежны ошибки, чрезвычайно нежелательные случайности... Не будем далеко ходить за примерами. Некто — повторяю, мне не хотелось бы называть имена, тем более что это сотрудник, достойный всяческого уважения, а говоря об уважении, я имею в виду если не манеры, то большой талант и самоотверженность,— так вот, некто, спеша и нервничая, теряет здесь умклайдет, и умклайдет становится центром сферы событий, в которые оказывается вовлеченным человек, совершенно к оным не причастный...— Он поклонился в мою сторону.— А в таких случаях совершенно необходимо воздействие, как-то нейтрализующее вредные влияния...— Он значительно посмотрел на отпечатки ботинок на потолке. Затем улыбнулся мне.— Но я не хотел бы показаться абстрактным альтруистом. Конечно, все эти события меня весьма интересуют как специалиста и как администратора... Впрочем, я не намерен более мешать вам, и, поскольку вы сообщили мне уверенность в том, что больше не будете экспериментировать с умклайдетом, я попрошу у вас разрешения откланяться.

Он поднялся.

— Ну что вы!— вскричал я.— Не уходите! Мне так приятно беседовать с вами, у меня к вам тысяча вопросов!..

— Я чрезвычайно ценю вашу деликатность, Александр Иванович, но вы утомлены, вам необходимо отдохнуть...

— Нисколько!— горячо возразил я.— Наоборот!

— Александр Иванович,— произнес незнакомец, ласково улыбаясь и пристально глядя мне в глаза.— Но ведь вы д е й с т в и т е л ь н о у т о м л е н ы. И вы д е й с т в и т е л ь н о хотите отдохнуть.

И тут я почувствовал, что действительно засыпаю. Глаза мои слипались. Говорить больше не хотелось. Ничего больше не хотелось. Страшно хотелось спать.

— Было исключительно приятно познакомиться с вами,— сказал незнакомец негромко.

Я видел, как он начал бледнеть, бледнеть и медленно растворился в воздухе, оставив после себя легкий запах дорогого одеколона. Я кое-как расстелил матрас на полу, ткнулся лицом в подушку и моментально заснул.

Разбудило меня хлопанье крыльев и неприятный клекот. В комнате стоял странный голубоватый полумрак. Орел на печке шуршал, гнусно орал и стучал крыльями по потолку. Я сел и огляделся. На середине комнаты парил в воздухе здоровенный детина в тренировочных брюках и в полосатой гавайке навыпуск. Он парил над цилиндриком и, не прикасаясь к нему, плавно помахал огромными костистыми лапами.

— В чем дело?— спросил я.

Детина мельком взглянул на меня из-под плеча и отвернулся.

— Не слышу ответа,— сказал я зло. Мне все еще очень хотелось спать.

— Тихо, ты, смертный,— сипло произнес детина. Он прекратил свои пассы и взял цилиндрик с пола. Голос его показался мне знакомым.

— Эй приятель!— сказал я угрожающе.— Положи эту штуку на место и очисти помещение.

Детина смотрел на меня, выпячивая челюсть. Я откинул простыню и встал.

— А ну положи умклайдет!— сказал я в полный голос.

Детина опустился на пол и, прочно упершись ногами, принял стойку. В комнате стало гораздо светлее, хотя лампочка не горела.

— Детка,— сказал детина,— ночью надо спать. Лучше ляг сам.

Парень был явно не дурак подраться. Я, впрочем, тоже.

— Может, выйдем во двор?— деловито предложил я, подтягивая трусы.

Кто-то вдруг произнес с выражением:

— «Устремив свои мысли на высшее Я, свободный от вожделения и себялюбия, исцелившись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!»

Я вздрогнул. Парень тоже вздрогнул.

— «Бхагават — Гита»!— сказал голос.— Песнь третья, стих тридцатый.

— Это зеркало,— сказал я машинально.

— Сам знаю,— проворчал детина.

— Положи умклайдет,— потребовал я.

— Чего ты орешь, как больной слон?— сказал парень.— Твой он, что ли?

— А может быть, твой?

— Да, мой!

Тут меня осенило.

— Значит, диван тоже ты уволок?

— Не суйся не в свои дела,— посоветовал парень.

— Отдай диван,— сказал я.— На него расписка написана.

— Пошел к черту!— сказал детина, озираясь.

И тут в комнате появились еще двое: Тощий и Толстый, оба в полосатых пижамах, похожие на узников Синг-Синга.

— Корнеев!— завопил Толстый.— Так это вы воруете диван?! Какое безобразие!

— Идите вы все...— сказал детина.

— Вы грубиян!— закричал Толстый.— Вас гнать надо! Я на вас докладную подам!

— Ну и подавайте,— мрачно сказал Корнеев.— Займитесь любимым делом.

— Не смейте разговаривать со мной в таком тоне! Вы мальчишка! Вы дерзец! Вы забыли здесь умклайдет! Молодой человек мог пострадать!

— Я уже пострадал,— вмешался я.— Дивана нет, сплю как собака, каждую ночь разговоры... Орел этот вонючий...

Толстый немедленно повернулся ко мне.

— Неслыханное нарушение дисциплины,— заявил он.— Вы должны жаловаться... А вам должно быть стыдно!— Он снова повернулся к Корнееву.

Корнеев угрюмо запихивал умклайдет за щеку. Тощий вдруг спросил тихо и угрожающе:

— Вы сняли Тезис, Корнеев?

Детина мрачно ухмыльнулся.

— Да нет там никакого Тезиса,— сказал он.— Что вы все сепетите? Не хотите, чтобы мы диван воровали — дайте нам другой транслятор...

— Вы читали приказ о неизъятии предметов из запасника? — грозно осведомился Тощий.

Корнеев сунул руки в карманы и стал смотреть в потолок.

— Вам известно постановление Ученого совета?— осведомился Тощий.

— Мне, товарищ Демин, известно, что понедельник начинается в субботу,— угрюмо сказал Корнеев.

— Не разводите демагогию,— сказал Тощий.— Немедленно верните диван и не смейте сюда больше возвращаться.

— Не верну я диван,— сказал Корнеев.— Эксперимент закончим — вернем.

Толстый устроил безобразную сцену. «Самоуправство!..— визжал он.— Хулиганство!..» Гриф опять взволнованно заорал. Корнеев, не вынимая рук из карманов, повернулся спиной и шагнул сквозь стену. Толстяк устремился за ним с криком: «Нет, вы вернете диван!» Тощий сказал мне:

— Это недоразумение. Мы примем меры, чтобы оно не повторилось.

Он кивнул и тоже двинулся к стене.

— Погодите!— вскричал я.— Орла! Орла заберите! Вместе с запахом!

Тощий, уже наполовину войдя в стену, обернулся и поманил орла пальцем. Гриф шумно сорвался с печки и втянулся ему под ноготь. Тощий исчез. Голубой свет медленно померк, стало темно, в окно снова забарабанил дождь. Я включил свет и оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, только на печке зияли глубокие царапины от когтей грифа да на потолке дико и нелепо темнели рубчатые следы моих ботинок.

— Прозрачное масло, находящееся в корове,— с идиотским глубокомыслием произнесло зеркало,— не способствует ее питанию, но оно снабжает наилучшим питанием, будучи обработано надлежащим способом.

Я выключил свет и улегся. На полу было жестко, тянуло холодом. «Будет мне завтра от старухи»,— подумал я.

Глава шестая

— Нет,— произнес он в ответ настойчивому вопросу моих глаз,— я не член клуба, я — призрак.

— Хорошо, но это не дает вам права расхаживать по клубу.

Г. Дж. Уэллс

Утром оказалось, что диван стоит на месте. Я не удивился. Я только подумал, что так или иначе старуха добилась своего: диван стоит в одном углу, а я лежу в другом. Собирая постель и делая зарядку, я размышлял о том, что существует, вероятно, некоторый предел способности к удивлению. По-видимому, я далеко шагнул за этот предел. Я даже испытывал некоторое утомление. Я пытался представить себе что-нибудь такое, что могло бы меня сейчас поразить, но фантазии у меня не хватало. Это мне очень не нравилось, потому что я терпеть не могу людей, неспособных удивляться. Правда, я был далек от психологии «подумаешь эка невидаль», скорее, мое состояние напоминало состояние Алисы в Стране Чудес: я был словно во сне и принимал и готов был принять любое чудо за должное, требующее более развернутой реакции, нежели простое разевание рта и хлопанье глазами.

Я еще делал зарядку, когда в прихожей хлопнула дверь, зашаркали и застучали каблуки, кто-то закашлял, что-то загремело и упало, и начальственный голос позвал: «Товарищ Горыныч!» Старуха не отозвалась, и в прихожей начали разговаривать: «Что это за дверь?.. А, понятно... А это?»—«Тут вход в музей».—«А здесь?.. Что это — все заперто, замки...»—«Весьма хозяйственная женщина, Янус Полуэктович. А это телефон».—«А где же знаменитый диван? В музее?»— «Нет. Тут должен быть запасник».

— Это здесь,— сказал знакомый угрюмый голос.

Дверь моей комнаты распахнулась, и на пороге появился высокий худощавый старик с великолепной снежно-белой сединой, чернобровый и черноусый, с глубокими черными глазами. Увидев меня (я стоял в одних трусах, руки в стороны, ноги на ширине плеч), он приостановился и звучным голосом произнес:

— Так.

Справа и слева от него заглядывали в комнату еще какие-то лица. Я сказал: «Прошу прощения» — и побежал к своим джинсам. Впрочем, на меня не обратили внимания. В комнату вошли четверо и столпились вокруг дивана. Двоих я знал: угрюмого Корнеева, небритого, с красными глазами, все в той же легкомысленной гавайке, и смуглого, горбоносого Романа, который подмигнул мне, сделал непонятный знак рукой и сейчас же отвернулся. Седовласого я не знал. Не знал я и полного, рослого мужчину в черном, лоснящемся со спины костюме и с широкими хозяйскими движениями.

— Вот этот диван?— спросил лоснящийся мужчина.

— Это не диван,— угрюмо сказал Корнеев.— Это транслятор.

— Для меня это диван,— заявил лоснящийся, глядя в записную книжку.— Диван мягкий, полуторный, инвентарный номер одиннадцать двадцать три.— Он наклонился и пощупал.— Вот он у вас влажный, Корнеев, таскали под дождем. Теперь считайте: пружины проржавели, обшивка сгнила.

— Ценность данного предмета,— как мне показалось, издевательски произнес горбоносый Роман,— заключается отнюдь не в обшивке и даже не в пружинах, которых нет.

— Вы это прекратите, Роман Петрович,— предложил лоснящийся с достоинством.— Вы мне вашего Корнеева не выгораживайте. Диван проходит у меня по музею и должен там находиться...

— Это прибор,— сказал Корнеев безнадежно.— С ним работают...

— Этого я не знаю,— заявил лоснящийся.— Я не знаю, что это за работа с диваном.

— А мы вот знаем,— тихонько сказал Роман.

— Вы это прекратите,— сказал лоснящийся, поворачиваясь к нему.— Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении. Что вы, собственно, имеете в виду?

— Я имею в виду, что это не есть диван,— сказал Роман.— Или, в доступной для вас форме, это есть не совсем диван. Это есть прибор, имеющий внешность дивана.

— Я попросил бы прекратить эти намеки,— решительно сказал лоснящийся.— Насчет доступной формы и все такое. Давайте каждый делать свое дело. Мое дело — прекратить разбазаривание, и я его прекращаю.

— Так,— звучно сказал седовласый. Сразу стало тихо.— Я беседовал с Кристобалем Хозевичем и с Федором Симеоновичем. Они полагают, что этот диван-транслятор представляет лишь музейную ценность. В свое время он принадлежал королю Рудольфу Второму, так что историческая ценность его неоспорима. Кроме того, года два назад, если память мне не изменяет, мы уже выписывали серийный транслятор... Кто его выписывал, вы не помните, Модест Матвеевич?

— Одну минутку,— сказал лоснящийся Модест Матвеевич и стал быстро листать записную книжку.— Одну минуточку... Транслятор двухходовой ТДХ-80Е Китежградского завода... По заявке товарища Бальзамо.

— Бальзамо работает на нем круглосуточно,— сказал Роман.

— И барахло этот ТДХ,— добавил Корнеев.— Избирательность на молекулярном уровне.

— Да-да,— сказал седовласый.— Я припоминаю. Был доклад об исследовании ТДХ. Действительно, кривая солективности не гладкая... Да. А этот... э... диван?

— Ручной труд,— быстро сказал Роман.— Безотказен. Конструкции Льва бен Бецалеля. Бен Бецалель собирал и отлаживал его триста лет...

— Вот!— сказал лоснящийся Модест Матвеевич.— Вот как надо работать! Старик, а все делал сам.

Зеркало вдруг прокашлялось и сказало:

— Все оне помолодели, пробыв час в воде, и вышли из нее такими же красными, розовыми, молодыми и здоровыми, сильными и жизнерадостными, какими были в двадцать лет.

— Вот именно,— сказал Модест Матвеевич. Зеркало говорило голосом седовласого.

Седовласый досадливо поморщился.

— Не будем решать этот вопрос сейчас,— произнес он.

— А когда?— спросил грубый Корнеев.

— В пятницу на Ученом совете.

— Мы не можем разбазаривать реликвии,— вставил Модест Матвеевич.

— А мы что будем делать?— спросил грубый Корнеев.

Зеркало забубнило угрожающим замогильным голосом:

Видел я сам, как, подобравши черные платья,
Шла босая Канидия, простоволосая, с воем,
С ней и Сагана, постарше годами, и бледные обе.
Страшны были на вид. Тут начали землю ногтями
Обе рыть и черного рвать зубами ягненка...

Седовласый, весь сморщившись, подошел к зеркалу, запустил в него руку по плечо и чем-то щелкнул. Зеркало замолчало.

— Так,— сказал седовласый.— Вопрос о вашей группе мы тоже решим на совете. А вы...— По лицу его было видно, что он забыл имя-отчество Корнеева,— вы пока воздержись... э... от посещения музея.

С этими словами он вышел из комнаты. Через дверь.

— Добились своего,— сказал Корнеев сквозь зубы, глядя на Модеста Матвеевича.

— Разбазаривать не дам,— коротко ответил тот, засовывая во внутренний карман записную книжку.

— Разбазаривать!— сказал Корнеев.— Плевать вам на все это. Вас отчетность беспокоит. Лишнюю графу вводить неохота.

— Вы это прекратите,— сказал непреклонный Модест Матвеевич.— Мы еще назначим комиссию и посмотрим, не повреждена ли реликвия...

— Инвентарный номер одиннадцать двацать три,— вполголоса добавил Роман.

— В таком вот аксепте,— величественно произнес Модест Матвеевич, повернулся и увидел меня.— А вы что здесь делаете?— осведомился он.— Почему это вы здесь спите?

— Я...— начал я.

— Вы спали на диване,— провозгласил ледяным тоном Модест, сверля меня взглядом контрразведчика.— Вам известно, что это прибор?

— Нет,— сказал я.— То есть теперь известно, конечно.

— Модест Матвеевич!— воскликнул горбоносый Роман.— Это же наш новый программист, Саша Привалов!

— А почему он здесь спит? Почему не в общежитии?

— Он еще не зачислен,— сказал Роман, обнимая меня за талию.

— Тем более!

— Значит, пусть спит на улице?— злобно спросил Корнеев.

— Вы это прекратите,— сказал Модест.— Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей, госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда?

— Из Ленинграда,— сказал я мрачно.

— Вот если я приеду в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

— Пожалуйста,— сказал я, пожимая плечами.

Роман все держал меня за талию.

— Модест Матвеевич, вы совершенно правы, непорядок, но сегодня он будет ночевать у меня.

— Это другое дело. Это пожалуйста,— великодушно разрешил Модест. Он хозяйским взглядом окинул комнату, увидел отпечатки на потолке и сразу же посмотрел на мои ноги. К счастью, я был босиком.— В таком вот аксепте,— сказал он, поправил рухлядь на вешалке и вышел.

— Д-дубина,— выдавил из себя Корнеев.— Пень.— Он сел на диван и взялся за голову.— Ну их всех к черту. Сегодня же ночью опять утащу.

— Спокойно,— ласково сказал Роман.— Ничего страшного. Нам просто немножко не повезло. Ты заметил, какой это Янус?

— Ну?— сказал Корнеев безнадежно.

— Это же А-Янус.

Корнеев поднял голову.

— И какая разница?

— Огромная,— сказал Роман и подмигнул.— Потому что У-Янус улетел в Москву. И в частности — по поводу этого дивана. Понял, расхититель музейных ценностей?

— Слушай, ты меня спасаешь,— сказал Корнеев, и я впервые увидел, как он улыбается.

— Дело в том, Саша,— сказал Роман, обращаясь ко мне,— что у нас идеальный директор. Он один в двух лицах. Есть А-Янус Полуэктович и У-Янус Полуэктович. У-Янус — это крупный ученый международного класса. Что же касается А-Януса, то это довольно обыкновенный администратор.

— Близнецы?— осторожно спросил я.

— Да нет, это один и тот же человек. Только он один в двух лицах.

— Ясно,— сказал я и стал надевать ботинки.

— Ничего, Саша, скоро все узнаешь,— сказал Роман ободряюще.

Я поднял голову.

— То есть?

— Нам нужен программист,— проникновенно сказал Роман.

— Мне очень нужен программист,— сказал Корнеев, оживляясь.

— Всем нужен программист,— сказал я, возвращаясь к ботинкам.— И прошу без гипноза и прочих заколдованных мест.

— Он уже догадывается,— сказал Роман.

Корнеев хотел что-то сказать, но за окном грянули крики.

— Это не наш пятак!— кричал Модест.

— А чей же это пятак?

— Я не знаю, чей это пятак! Это не мое дело! Это ваше дело — ловить фальшивомонетчиков, сержант!..

— Пятак изъят у некого Привалова, каковой проживает здесь у вас, в Изнакурноже!..

— Ах, у Привалова? Я сразу подумал, что он ворюга.

Укоризненный голос А-Януса произнес:

— Ну-ну, Модест Матвеевич!

— Нет, извините, Янус Полуэктович! Этого нельзя так оставить! Товарищ сержант, пройдемте!.. Он в доме... Янус Полуэктович, встаньте у окна, чтобы он не выскочил! Я докажу! Я не позволю бросать тень на товарища Горыныч!..

У меня нехорошо похолодело внутри. Но Роман уже оценил положение. Он схватил с вешалки засаленный картуз и нахлобучил мне на уши.

Я исчез.

Это было очень странное ощущение. Все осталось на месте, все, кроме меня. Но Роман не дал мне насытиться новыми переживаниями.

— Это кепка-невидимка,— прошипел он.— Отойди в сторонку и помалкивай.

Я на цыпочках отбежал в угол и сел под зеркало. В ту же секунду в комнату ворвался возбужденный Модест, волоча за рукав юного сержанта Ковалева.

— Где он?— завопил Модест, озираясь.

— Вот,— сказал Роман, показывая на диван.

— Не беспокойтесь, стоит на месте,— добавил Корнеев.

— Я спрашиваю, где этот ваш... программист?

— Какой программист? — удивился Роман.

— Вы это прекратите,— сказал Модест.— Здесь был программист. Он стоял в брюках и без ботинок.

— Ах, вот что вы имеете в виду,— сказал Роман.— Но мы же пошутили, Модест Матвеевич. Не было здесь никакого программиста. Это было просто...— Он сделал какое-то движение руками, и посередине комнаты возник человек в майке и в джинсах. Я видел его со спины и ничего о нем сказать не могу, но юный Ковалев покачал головой и сказал:

— Нет, это не он.

Модест обошел призрак кругом, бормоча:

— Майка... штаны... без ботинок... Он! Это он.

Призрак исчез.

— Да нет же, это не тот,— сказал сержант Ковалев.— Тот был молодой, без бороды...

— Без бороды?— переспросил Модест. Он был сильно сконфужен.

— Без бороды,— подтвердил Ковалев.

— М-да...— сказал Модест.— А по-моему, у него была борода...

Так я вручаю вам повестку,— сказал юный Ковалев и протянул Модесту листок бумаги казенного вида.— А вы уж сами разбирайтесь со своим Приваловым и со своей Горыныч...

— А я вам говорю, что это не наш пятак!— заорал Модест.— Я про Привалова ничего не говорю, может быть, Привалова и вообще нет как такового... Но товарищ Горыныч наша сотрудница!..

Юный Ковалев, прижимая руки к груди, пытался что-то сказать.

— Я требую разобрться немедленно!— орал Модест.— Вы мне это прекратите, товарищи милиция! Данная повестка бросает тень на весь коллектив! Я требую, чтобы вы убедились?

— У меня приказ...— начал было Ковалев, но Модест с криком: «Вы это прекратите! Я настаиваю!»— бросился на него и поволок из комнаты.

— В музей повлек,— сказал Роман.— Саша, где ты? Снимай кепку, пойдем посмотрим...

— Может, лучше не снимать?— сказал я.

— Снимай, снимай,— сказал Роман.— Ты теперь фантом. В тебя теперь никто не верит — ни администрация, ни милиция...

Корнеев сказал:

— Ну, я пошел спать. Саша, ты приходи после обеда. Посмотришь наш парк машин и вообще...

Я снял кепку.

— Вы это прекратите,— сказал я.— Я в отпуске.

— Пойдем, пойдем,— сказал Роман.

В прихожей Модест, вцепившись одной рукой в сержанта, другой отпирал мощный висячий замок. «Сейчас я вам покажу наш пятак!— кричал он.— Все заприходовано... Все на месте».— «Да я ничего не говорю,— слабо защищался Ковалев.— Я только говорю, что пятаков может быть не один...» Модест распахнул дверь, и мы все вошли в обширное помещение.

Это был вполне приличный музей — со стендами, диаграммами, витринами, макетами и муляжами. Общий вид более всего напоминал музей криминалистики: много фотографий и неаппетитных экспонатов. Модест сразу уволок сержанта куда-то за стенды, и там они вдвоем загудели как в бочку: «Вот наш пятак...»— «А я ничего и не говорю...»— «Товарищ Горыныч...»— «А у меня приказ!..»— «Вы мне это прекратите!..»

— Полюбопытствуй, полюбопытствуй, Саша,— сказал Роман, сделал широкий жест и сел в кресло у входа.

Я пошел вдоль стены. Я ничему не удивлялся. Мне было просто очень интересно. «Вода живая. Эффективность 52%. Допустимый осадок 0,3» (старинная прямоугольная бутыль с водой, пробка залита цветным воском). «Схема промышленного добывания живой воды». «Макет живоводоперегонного куба». «Зелье приворотное Вешковского-Траубенбаха» (аптекарская баночка с ядовито-желтой мазью). «Кровь порченая обыкновенная» (запаянная ампула с черной жидкостью)... Над всем этим стендом висела табличка: «Активные химические средства. XII—XVIII вв.». Тут было еще много бутылочек, баночек, реторт, ампул, пробирок, действующих и недействующих моделей установок для возгонки, перегонки и сгущения, но я пошел дальше.

«Меч-кладенец» (очень ржавый двуручный меч с волнистым лезвием, прикован цепью к железной стойке, витрина тщательно опечатана). «Правый глазной (рабочий) зуб графа Дракулы Задунайского» (я не Кювье, но, судя по этому зубу, граф Дракула Задунайский был человеком весьма странным и неопрятным). «След обыкновенный и след вынутый. Гипсовые отливки» (следы, по-моему, не отличались друг от друга, но одна отливка была с трещиной). «Ступа на стартовой площадке. IX век» (мощное сооружение из серого пористого чугуна)... «Змей Горыныч, скелет, 1/25 нат. вел.» (похоже на скелет диплодока с тремя шеями)... «Схема работы огнедышащей железы средней головы»... «Сапоги-скороходы гравигенные, действующая модель» (очень большие резиновые сапоги)... «Ковер-самолет гравизащитный. Действующая модель» (ковер примерно полтора на полтора, с черкесом, обнимающим младую черкешенку на фоне соплеменных гор)...

Я дошел до стенда «Развитие идеи философского камня», когда в зале вновь появились сержант Ковалев и Модест Матвеевич. Судя по всему, им так и не удалось сдвинуться с мертвой точки. «Вы это прекратите»,— вяло говорил Модест. «У меня приказ»,— так же вяло ответствовал Ковалев. «Наш пятак на месте...» — «Вот пусть старуха явится и даст показания...» — «Что же мы, по-вашему, фальшивомонетчики?..» — «А я этого и не говорил...» — «Тень на весь коллектив...» — «Разберемся...» Ковалев меня не заметил, а Модест остановился, мутно осмотрел с головы до ног, а затем поднял глаза, вяло прочитал вслух: «Го-мункулус лабораторный, общий вид»,— и пошел дальше.

Я двинулся за ним, предчувствуя нехорошее. Роман ждал нас у дверей.

— Ну как?— спросил он.

— Безобразие,— вяло сказал Модест.— Бюрократы.

— У меня приказ,— упрямо повторил сержант Ковалев уже из прихожей.

— Ну, выходите, Роман Петрович, выходите,— сказал Модест, позвякивая ключами.

Роман вышел. Я сунулся было за ним, но Модест остановил меня.

— Я извиняюсь,— сказал он.— А вы куда?

— Как куда?— сказал я упавшим голосом.

— На место, на место идите.

— На какое место?

— Ну, где вы там стоите? Вы, извиняюсь, это... хаммункулус? Ну и стойте, где положено.

Я понял, что погиб. И я бы наверное погиб, потому что Роман, по-видимому, тоже растерялся, но в эту минуту в прихожую с топотом и стуком ввалилась Наина Киевна, ведя на веревке здоровенного черного козла.

При виде сержанта милиции козел взмемекнул дурным голосом и рванулся прочь. Наина Киевна упала. Модест кинулся в прихожую, и поднялся невообразимый шум. С грохотом покатилась пустая кадушка. Роман схватил меня за руку и, прошептав: «Ходу, ходу!..», бросился в мою комнату. Мы захлопнули за собой дверь и навалились на нее, тяжело дыша. В прихожей кричали:

— Предъявите документы!

— Батюшки, да что же это!

— Почему козел?! Почему в помещении козел?!

— Мэ-э-э-э-э...

— Вы это прекратите, здесь не пивная!

— Не знаю я ваших пятаков и не ведаю!

— Мэ-э-э!..

— Гражданка, уберите козла!

— Прекратите, козел заприходован!

— Как заприходован?!

— Это не козел! Это наш сотрудник!

— Тогда пусть предъявит!..

— Через окно — и в машину!— приказал Роман.

Я схватил куртку и выпрыгнул в окно. Из-под ног моих с мявом шарахнулся кот Василий. Пригибаясь, я подбежал к машине, распахнул дверцу и вскочил за руль. Роман уже откатывал воротину. Мотор не заводился. Терзая стартер, я увидел, как дверь избы распахнулась, из прихожей вылетел черный козел и гигантскими прыжками помчался прочь куда-то за угол. Мотор взревел. Я развернул машину и вылетел на улицу. Дубовая воротина с треском захлопнулась. Роман вынырнул из калитки и с размаху сел рядом со мной.

— Ходу!— сказал он бодро.— В центр!

Когда мы поворачивали на проспект Мира, он спросил:

— Ну, как тебе у нас?

— Нравится,— сказал я.— Только очень шумно.

— У Наины всегда шумно,— сказал Роман.— Вздорная старуха. Она тебя не обижала?

— Нет,— сказал я.— Мы почти и не общались.

— Подожди-ка,— сказал Роман.— Протормози.

— А что?

— А вон Володька идет. Помнишь Володю?

Я затормозил. Бородатый Володя влез на заднее сиденье и, радостно улыбаясь, пожал нам руки.

— Вот здорово!— сказал он.— А я как раз к вам иду!

— Только тебя там и не хватало,— сказал Роман.

— А чем все кончилось?

— Ничем,— сказал Роман.

— А куда вы теперь едете?

— В институт,— сказал Роман.

— Зачем?— спросил я.

— Работать,— сказал Роман.

— Я в отпуске.

— Это неважно.— сказал Роман.— Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнется в июле!

— Меня ребята ждут,— сказал я умоляюще.

— Это мы берем на себя,— сказал Роман.— Ребята абсолютно ничего не заметят.

— С ума сойти,— сказал я.

Мы проехали между магазином № 2 и столовой № 11.

— Он уже знает, куда ехать,— заметил Володя.

— Отличный парень,— сказал Роман.— Гигант!

— Он мне сразу понравился,— сказал Володя.

— Видимо, вам позарез нужен программист,— сказал я.

— Нам нужен далеко не всякий программист,— возразил Роман.

Я затормозил возле странного здания с вывеской «НИИЧАВО» между окнами.

— Что это означает?— спросил я.— Могу я по крайней мере узнать, где меня вынуждают работать?

— Можешь,— сказал Роман.— Ты теперь все можешь. Это Научно-Исследовательский Институт Чародейства и Волшебства... Ну, что же ты стал? Загоняй машину!

— Куда?— спросил я.

— Ну неужели ты не видишь?

И я увидел.

Но это уже совсем другая история.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

СУЕТА СУЕТ

Глава первая

Среди героев рассказа выделяются один-два главных героя, все остальные рассматриваются как второстепенные.

«Методика преподавания литературы»

Около двух часов дня, когда в «Алдане» снова перегорел предохранитель вводного устройства, раздался телефонный звонок. Звонил заместитель директора по административно-хозяйственной части Модест Матвеевич Камноедов.

— Привалов,— сурово сказал он,— почему вы опять не на месте?

— Как это не на месте?— обиделся я. День сегодня выдался хлопотливый, и я все позабыл.

— Вы это прекратите,— сказал Модест Матвеевич.— Вам уже пять минут назад надлежало явиться ко мне на инструктаж.

— Елки-палки,— сказал я и повесил трубку.

Я выключил машину, снял халат и велел девочкам не забыть вырубить ток. В большом коридоре было пусто, за полузамерзшими окнами мела пурга. Надевая на ходу куртку, я побежал в хозяйственный отдел.

Модест Матвеевич в лоснящемся костюме, величественно ждал меня в собственной приемной. За его спиной маленький гном с волосатыми ушами уныло и старательно возил пальцами по обширной ведомости.

— Вы, Привалов, как какой-нибудь этот... хам-мункулс,— произнес Модест.— Никогда вас нет на месте.

С Модестом Матвеевичем все старались поддерживать только хорошие отношения, поскольку человек он был могучий, непреклонный и фантастически невежественный. Поэтому я рявкнул: «Слушаюсь!» — и щелкнул каблуками.

— Все должны быть на своих местах,— продолжал Модест Матвеевич.— Всегда. У вас вот высшее образование, и очки, и бороду вот отрастили, а понять такой простой теоремы не можете.

— Больше не повторится!— сказал я, выкатив глаза.

— Вы это прекратите,— сказал Модест Матвеевич, смягчаясь. Он извлек из кармана лист бумаги и некоторое время глядел в него.— Так вот, Привалов,— сказал он наконец,— сегодня вы заступаете дежурным. Дежурство по учреждению во время праздников — занятие ответственное. Это вам не кнопки нажимать. Во-первых — противопожарная безопасность. Это первое. Не допускать самовозгорания. Следить за обесточенностью вверенных вам производственных площадей. И следить лично, без этих ваших фокусов с раздваиваниями и растраиваниями. Без этих ваших дубелей. При обнаружении фактора горения немедленно звонить по телефону 01 и приступать к принятию мер. На этот случай получите сигнальную дудку для вызова авральной команды...— Он вручил мне платиновый свисток с инвентарным номером.— А также никого не пускать. Вот это список лиц, которым разрешено пользование лабораториями в ночной период, но их все равно тоже не пускать, потому что праздник. Во всем институте чтобы ни одной живой души. Демонов на входе и выходе заговорить. Понимаете обстановку? Живые души не должны входить, а все прочие не должны выходить. Потому что уже был прен-цен-дент, сбежал черт и украл луну. Широко известный прецендент, даже в кино отражен.— Он значительно на меня посмотрел и вдруг спросил документы.

Я повиновался. Он внимательно исследовал мой пропуск, вернул его и произнес:

— Все верно. А то было у меня подозрение, что вы все-таки дубель. Вот так. Значит, в пятнадцать ноль-ноль в соответствии с трудовым законодательством рабочий день закончится, и все сдадут вам ключи от своих производственных помещений. После чего вы лично осмотрите территорию. В дальнейшем производите обходы каждые три часа на предмет самовозгорания. Не менее двух раз за период дежурства посетите виварий. Если надзиратель пьет чай — прекратите. Были сигналы: не чай он там пьет. В таком вот аксепте. Пост ваш в приемной у директора. На диване можете отдыхать. Завтра в шестнадцать ноль-ноль вас сменит Почкин Владимир из лаборатории товарища Ойры-Ойры. Доступно?

— Вполне,— сказал я.

— Я буду звонить вам ночью и завтра днем. Лично. Возможен контроль и со стороны товарища завкадрами.

— Вас понял,— сказал я и проглядел список.

Первым в списке значился директор института Янус Полуэктович Невструев с карандашной пометкой «два экз.». Вторым шел лично Модест Матвеевич, третьим — товарищ завкадрами гражданин Демин Кербер Псоевич. А дальше шли фамилии, которых я никогда и нигде не встречал.

— Что нибудь недоступно?— осведомился Модест Матвеевич, ревниво за мной следивший.

— Вот тут,— сказал я веско, тыча пальцем в список,— наличествуют товарищи в количестве... м-м-м.. двадцати одного экземпляра, лично мне не известные. Эти фамилии я хотел бы с вами лично провентилировать.—

Я посмотрел ему прямо в глаза и добавил твердо: — Во избежание.

Модест Матвеевич взял список и оглядел его на расстоянии вытянутой руки.

— Все верно,— сказал он снисходительно.— Просто вы, Привалов, не в курсе. Лица, поименованные с номера четвертого по номер двадцать пятый, и последний, включительно, занесены в списки лиц, допущенных к ночным работам посмертно. В порядке признания их заслуг в прошлом. Теперь вам доступно?

Я слегка обалдел, потому что привыкнуть ко всему этому было все-таки очень трудно.

— Занимайте свой пост,— величественно сказал Модест Матвеевич.— Я со своей стороны и от имени администрации поздравляю вас, товарищ Привалов, с наступающим Новым годом и желаю вам в новом году соответствующих успехов как в работе, так и в личной жизни.

Я тоже пожелал ему соответствующих успехов и вышел в коридор.

Узнавши вчера о том, что меня назначили дежурным, я обрадовался: я намеревался закончить один расчет для Романа Ойры-Ойры. Однако теперь я чувствовал, что дело обстоит не так просто. Перспектива провести ночь в институте представилась мне вдруг в совершенно новом свете. Я и раньше задерживался на работе допоздна, когда дежурные из экономии уже гасили четыре лампы из пяти в каждом коридоре, и приходилось пробираться к выходу мимо каких-то шарахающихся мохнатых теней. Первое время это производило на меня сильнейшее впечатление, потом я привык, а потом снова отвык, когда возвращаясь однажды по большому коридору, услышал сзади мерное цок-цок-цок когтей по паркету и, оглянувшись, обнаружил некое фосфоресцирующее животное, бегущее явно по моим следам. Правда, когда меня сняли с карниза, выяснилось, что это была обыкновенная живая собачка одного из сотрудников. Сотрудник приходил извиняться. Ойра-Ойра прочел мне издевательскую лекцию о вреде суеверий, но какой-то осадок у меня в душе все-таки остался. «Первым делом заговорю демонов»,— подумал я.

У входа в приемную директора мне повстречался мрачный Витька Корнеев. Он хмуро кивнул и хотел пройти мимо, но я поймал его за рукав.

— Ну?— сказал грубый Корнеев, останавливаясь.

— Я сегодня дежурю,— сообщил я.

— Ну и дурак,— сказал Корнеев.

— Грубый ты все-таки, Витька,— сказал я.— Не буду я с тобой больше общаться.

Витька оттянул пальцем воротник свитера и с интересом посмотрел на меня.

— А что же ты будешь?— спросил он.

— Да уж найду что,— сказал я, несколько растерявшись.

Витька вдруг оживился.

— Постой-ка,— сказал он.— Ты что, в первый раз дежуришь?

— Да.

— Ага,— сказал Витька.— И как ты намерен действовать?

— Согласно инструкции,— ответил я.— Заговорю демонов и лягу спать. На предмет самовозгорания. А ты куда денешься?

— Да собирается там одна компания,— неопределенно сказал Витька.— У Верочки... А это у тебя что?— Он взял у меня список.— А, мертвые души...

— Никого не пущу,— сказал я.— Ни живых, ни мертвых.

— Правильное решение,— сказал Витька.— Архиверное. Только присмотри у меня в лаборатории. Там у меня будет работать дубль.

— Чей дубль?

— Мой дубль, естественно. Кто мне своего отдаст? Я его там запер, вот, возьми ключ, раз ты дежурный.

Я взял ключ.

— Слушай, Витька, часов до десяти пусть он поработает, но потом я все обесточу. В соответствии с законодательством.

— Ладно, там видно будет. Ты Эдика не встречал?

— Не встречал,— сказал я.— И не забивай мне баки. В десять часов я все обесточу.

— А я разве против? Обесточивай, пожалуйста. Хоть весь город.

Тут дверь приемной отворилась, и в коридор вышел Янус Полуэктович.

— Так,— произнес он, увидев нас.

Я почтительно поклонился. По лицу Януса Полуэктовича было видно, что он забыл, как меня зовут.

— Прошу,— сказал он, подавая мне ключи.— Вы ведь дежурный, если я не ошибаюсь... Кстати...— он поколебался.— Я с вами не беседовал вчера?

— Да,— сказал я,— вы заходили в электронный зал.

Он покивал.

— Да-да, действительно... Мы говорили о практикантах...

— Нет,— возразил я почтительно,— не совсем так. Это насчет нашего письма в Центракадемснаб. Про электронную приставку.

— Ах, вот как,— сказал он.— Ну хорошо, желаю вам спокойного дежурства... Виктор Павлович, можно вас на минутку?

Он взял Витьку под руку и увел по коридору, а я вошел в приемную. В приемной второй Янус Полуэктович запирал сейфы. Увидев меня, он сказал: «Так» — и снова принялся позвякивать ключами. Это был А-Янус, я уже немножко научился различать их. А-Янус выглядел несколько моложе, был неприветлив, всегда корректен и малоразговорчив. Рассказывали, что он много работает, и люди, знавшие его давно, утверждали, что этот посредственный администратор медленно, но верно превращается в выдающегося ученого. У-Янус, напротив, был всегда ласков, очень внимателен и обладал странной привычкой спрашивать: «Я с вами не беседовал вчера?» Поговаривали, что он сильно сдал в последнее время, хотя и оставался ученым с мировым именем. И все-таки А-Янус и У-Янус были одним и тем же человеком. Вот это у меня никак не укладывалось в голове. Была в этом какая-то условность. А-Янус замкнул последний замок, вручил мне часть ключей и, холодно попрощавшись, ушел. Я уселся за стол референта, положил перед собой список и позвонил к себе в электронный зал. Никто не отозвался — видимо, девочки уже разошлись. Было четырнадцать часов тридцать минут.

В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном опричники Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче — царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче — царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князь-кесарю Ромодановскому, попал в каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и кро-

кодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом.

— П-приветствую вас!— пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий.— Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-лупости, я сам п-подежурю...

Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову и он страшно ею загорелся.

— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-никогда не п-помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...

— Что вы, Федор Симеонович, спасибо!— вскричал я.— Не надо! Я тут как раз поработать собрался!

— Ах,п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-черт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старье, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив...

Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки, одну вручил мне, а от второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть.

— П-проклятье, опять ч-червивое сделал... У вас как, х-хорошее? Эт' хорошо... Я к в-вам, Саша, п-позже еще загляну, а то я н-не совсем п-понимаю все-таки систему к-команд... В-водки только выпью и з-зайду... Д-двадцать д-девятая к-команда у вас там в м-машине... Т-то ли машина врет, то ли я н-не понимаю... Д-детективчик вам п-принесу, Г-гарднера. В-вы ведь читаете по-аглицки? Х-хорошо, шельма, пишет, з-здорово! П-перри Мейсон у него там, з-зверюга-адвокат, з-знаете?.. А п-потом еще что-нибудь д-дам, с-сайнс-фикшн к-какую-нибудь... А-азимова дам или Б-брэдбери...

Он подошел к окну и сказал восхищенно:

— П-пурга, черт возьми, л-люблю!..

Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Кристобаль Хозевич Хунта. Федор Симеонович обернулся.

— А, К-кристо!— воскликнул он.— П-полюбуйся, Камноедов этот, д-д-урак, засадил м-молодого п-парня дежурить н-на Новый год. Д-давай отпустим его, вдвоем останемся, в-вспомним старину, в-выпьем, а? Ч-что он тут будет мучиться?.. Ему п-плясать надо, с д-девушками...

Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно:

— Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий...

— Н-ну еще бы!— загремел Федор Симеонович.— М-много крови, много п-песней за п-прелестных льется дам... К-как это там у вас?.. Только тот д-достигнет цели, кто не знает с-слова «страх»...

— Именно,— сказал Хунта.— И потом — я не терплю благотворительности.

— Б-благотворительности он не терпит! А кто у меня выпросил Одихмантьева? П-переманил, п-понимаешь, такого лаборанта... Ставь теперь б-бутылку шампанского, н-не меньше... С-слушай, не надо шампанского Амонтильядо! У т-тебя еще осталось от т-толедских запасов?

— Нас ждут, Теодор,— напомнил Хунта.

— Д-да, верно... Надо еще г-галстук найти... и валенки, такси же не д-достанешь... Мы пошли, Саша, н-не скучайте тут.

— В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают,— негромко сказал Хунта.— Особенно новички.

Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Симеоновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Она вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо.

Кристобаль Хозевич Хунта, заведующий отделом Смысла Жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был Великим Инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались — на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича,— тоже. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше — всегда и во всем. Не чужд ему был и некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат: «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек.

Ровно в три часа, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амвросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей.

— Эта...— сказал он, приближаясь.— У меня там, может, сегодня кто вылупится. В лаборатории, значить. Надо бы, эта, присмотреть. Я ему там запасов наложил, эта, хлебца, значить, буханок пять, ну там отрубей пареных, два ведра обрату. Ну, а как все, эта, поест, кидаться начнет, значить. Так ты мне, мон шер, того, брякни, милый.

Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено.

— Куда брякнуть-та?— спросил я.

Очень я его не любил. Был он циник, и был он дурак. Работу, которой он занимался за триста пятьдесят рублей в месяц, можно было бы смело назвать евгеникой, но никто ее так не называл — боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды, эта, от неудовольствия проистекают, и ежели, значить, дать человеку все — хлебца, значить, отрубей пареных,— то и будет не человек, а ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время Ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действуя строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения и никогда не забывая о режиме экономии, увеличении оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью. Выбегалло заложил три экспериментальные модели: модель

Человека, неудовлетворенного полностью, модель Человека, неудовлетворенного желудочно, модель Человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым — он вывелся две недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серией нечленораздельных жалоб и издохло. Выбегалло торжествовал. Теперь можно было считать доказанным, что ежели человека не кормить, не поить и не лечить, то он, эта, будет,значить, несчастлив и даже, может, помрет. Как вот этот помер. Ученый совет ужаснулся. Затея Выбегаллы оборачивалась какой-то жуткой стороной. Была создана комиссия для проверки работы Выбегаллы. Но тот, не растерявшись, представил две справки, из коих следовало, во-первых, что трое лаборантов его лаборатории ежегодно выезжают работать в предшефный совхоз, и во-вторых, что он, Выбегалло, некогда был узником царизма, а теперь регулярно читает популярные лекции в городском лектории и на периферии. И пока ошеломленная комиссия пыталась разобраться в логике происходящего, он неторопливо вывез с подшефного рыбозавода (в порядке связи с производством) четыре грузовика селедочных голов для созревающего антропоида, неудовлетворенного желудочно. Комиссия писала ответ, а институт в страхе ждал дальнейших событий. Соседи Выбегаллы по этажу брали отпуска за свой счет.

— Куда брякнуть-та?— спросил я.

— Брякнуть-та? А домой, куда же еще в Новый год-та. Мораль должна быть, милый. Новый год дома встречать надо. Так это выходит по-нашему, нас па? [1]

— Я знаю, что домой. По какому телефону?

— А ты, эта, в книжку посмотри. Грамотный? Вот и посмотри, значить, в книжку. У нас секретов нет, не то что у иных прочих. Ан масс.[2]

— Хорошо,— сказал я.— Брякну.

— Брякни, мон шер, брякни. А кусаться он начнет, так ты его по сусалам, не стесняйся. Се ля ви.[3]

Я набрался храбрости и буркнул:

— А ведь мы с вами на брудершафт не пили.

— Пардон?

— Ничего, это я так,— сказал я.

Некоторое время он смотрел на меня своими прозрачными глазами, в которых ничегошеньки не выражалось, потом проговорил:

— А ничего, так и хорошо, что ничего. С праздником тебя с наступающим. Бывай здоров. Аривуар[4], значить.

Он напялил ушанку и удалился. Я торопливо открыл форточку. Влетел Роман Ойра-Ойра в зеленом пальто с барашковым воротником, пошевелил горбатым носом и осведомился:

— Выбегалло забегалло?

— Забегалло,— сказал я.

---

[1] Не так ли? *(франц.)*

Выбегалло обожает вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на себя труд обеспечить перевод. *(Примеч. автора.)*

[2] В массе, у большинства.

[3] Такова жизнь.

[4] До свидания.

— Н-да,— сказал он.— Это селедка. Держи ключи. Знаешь, куда он один грузовик свалил? Под окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под кабинетом. Новогодний подарочек. Выкурю-ка я у тебя здесь сигарету.

Он упал в огромное кожаное кресло, закурил.

— А ну-ка займись,— сказал он.— Дано: запах селедочного рассола, интенсивность шестнадцать микротопоров, кубатура...— Он оглядел комнату.— Ну, сам сообразишь, год на переломе, Сатурн в созвездии Весов... Удаляй!

Я почесал за ухом.

— Сатурн... Что ты мне про Сатурн... А вектор магистатум какой?

— Ну, брат,— сказал Ойра-Ойра,— это ты сам должен...

Я почесал за другим ухом, прикинул в уме вектор и произвел, запинаясь, акустическое воздействие (произнес заклинание). Ойра-Ойра зажал нос. Я выдрал из брови два волоска (ужасно больно и глупо) и поляризовал вектор. Запах опять усилился.

— Плохо,— с упреком сказал Ойра-Ойра.— Что ты делаешь, ученик чародея? Ты что, не видишь, что форточка открыта?

— А,— сказал я,— верно.— Я учел дивергенцию и ротор, попытался решить уравнение Стокса в уме, запутался, вырвал, дыша через рот, еще два волоска, принюхался, пробормотал заклинание Ауэрса и совсем собрался было вырвать еще волосок, но тут обнаружилось, что приемная проветрилась естественным путем, и Роман посоветовал мне экономить брови и закрыть форточку.

— Посредственно,— сказал он.— Займемся материализацией.

Некоторое время мы занимались материализацией. Я творил груши, а Роман требовал, чтобы я их ел. Я отказывался есть, и тогда он заставлял меня творить снова. «Будешь работать, пока не получится что-нибудь съедобное,— говорил он.— А это отдашь Модесту. Он у нас Камноедов». В конце концов я сотворил настоящую грушу — большую, желтую, мягкую, как масло, и горькую, как хина. Я ее съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.

Тут принес ключи бакалавр черной магии Магнус Федорович Редькин, толстый, как всегда озабоченный и разобиженный. Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось. Однако главным образом Магнус Федорович работал над диссертацией, тема которой звучала так: «Материализация и линейная натурализация Белого Тезиса, как аргумента достаточно произвольной функции не вполне представимого человеческого счастья».

Тут он достиг значительных и важных результатов, из коих следовало, что человечество буквально купалось бы в не вполне представимом счастье, если бы только удалось найти сам Белый Тезис, а главное — понять, что это такое и где его искать.

Упоминание о Белом Тезисе встречалось только в дневниках Бен Бецалеля. Бен Бецалель якобы выделил Белый Тезис как побочный продукт какой-то алхимической реакции и, не имея времени заниматься такой ме-

38 Зак. № 71388

лочью, вмонтировал его в качестве подсобного элемента в какой-то свой прибор. В одном из последних мемуаров, написанных уже в темнице, Бен Бецалель сообщал: «И можете вы себе представить? Тот Белый Тезис не оправдал-таки моих надежд, не оправдал. И когда я сообразил, какая от него могла быть польза — я говорю о счастье для всех людей, сколько их есть,— я уже забыл, куда же я его вмонтировал». За институтом числилось семь приборов, принадлежавших некогда Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин разобрал до винтика и ничего особенного не нашел. Седьмым прибором был диван-транслятор. Но на диван наложил руку Витька Корнеев, и в простую душу Редькина закрались самые черные подозрения. Он стал следить за Витькой. Витька немедленно озверел. Они поссорились и стали заклятыми врагами, и оставались ими по сей день. Ко мне, как к представителю точных наук, Магнус Федорович относился благожелательно, хотя и осуждал мою дружбу с «этим плагиатором». В обшем-то Редькин был неплохим человеком, очень трудолюбивым, очень упорным, начисто лишенным корыстолюбия. Он проделал громадную работу, собравши гигантскую коллекцию разнообразнейших определений счастья. Там были простейшие негативные определения («Не в деньгах счастье»), простейшие позитивные определения («Высшее удовлетворение, полное довольство, успех, удача»), определения казуистические («Счастье есть отсутствие несчастья») и парадоксальные («Счастливее всех шуты, дураки, сущеглупые и нерадивые, ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются»).

Магнус Федорович положил на стол коробочку с ключом и, недоверчиво глядя на нас исподлобья, сказал:

— Я еще одно определение нашел.

— Какое?— спросил я.

— Что-то вроде стихов. Только там нет рифмы. Хотите?

— Конечно, хотим,— сказал Роман.

Магнус Федорович вынул записную книжку и, запинаясь, прочел:

Вы спрашиваете:
Что считаю
Я наивысшим счастьем на земле?
Две вещи:
Менять вот так же состоянье духа,
Как пенни выменял бы я на шиллинг,
И
Юной девушки
Услышать пенье
Вне моего пути, но вслед за тем,
Как у меня дорогу разузнала.

— Ничего не понял,— сказал Роман.— Дайте я прочту глазами.

Редькин отдал ему записную книжку и пояснил:

— Это Кристофер Лог. С английского.

— Отличные стихи,— сказал Роман.

Магнус Федорович вздохнул.

— Одни одно говорят, другие — другое.

— Тяжело,— сказал я сочувственно.

— Правда ведь? Ну как тут все увяжешь? Девушки услышать пенье... И ведь не всякое пенье какое-нибудь, а чтобы девушка была юная, находилась вне его пути, да еще только после того, как у него про дорогу спросит... Разве же так можно? Разве такие вещи алгоритмизируются?

— Вряд ли,— сказал я.— Я бы не взялся.

— Вот видите!— подхватил Магнус Федорович.— А вы у нас заведующий вычислительным центром! Кому же тогда?

— А может, его вообще нет?— сказал Роман голосом кинопровокатора.

— Чего?

— Счастья.

Магнус Федорович сразу обиделся.

— Как же его нет,— с достоинством сказал он,— когда я сам его неоднократно испытывал?

— Выменяв пенни на шиллинг?— спросил Роман.

Магнус Федорович обиделся еще больше и вырвал у него записную книжку.

— Вы еще молодой...— начал он.

Но тут раздался грохот, треск, сверкнуло пламя и запахло серой. Посередине приемной возник Мерлин. Магнус Федорович, шарахнувшийся от неожиданности к окну, сказал: «Тьфу на вас!»— и выбежал вон.

— Good God!— сказал Ойра-Ойра, протирая запорошенные глаза.— Canst thou not come in by usual way as decent people do? Sir[1] — добавил он.

— Beg thy pardon[2],— сказал Мерлин самодовольно и с удовлетворением посмотрел на меня. Наверное, я был бледен, потому что очень испугался самовозгорания.

Мерлин оправил на себе побитую молью мантию, швырнул на стол связку ключей и произнес:

— Вы заметили, сэры, какие стоят погоды?

— Предсказанные,— сказал Роман.

— Именно, сэр Ойра-Ойра! Именно предсказанные!

— Полезная вещь — радио,— сказал Роман.

— Я радио не слушаю,— сказал Мерлин.— У меня свои методы.

Он потряс подолом мантии и поднялся на метр от пола.

— Люстра,— сказал я,— осторожнее.

Мерлин посмотрел на люстру и ни с того ни с сего начал:

— Не могу не вспомнить, дорогие сэры, как в прошлом году мы с сэром председателем райсовета товарищем Переяславльским...

Ойра-Ойра душераздирающе зевнул, мне тоже стало тоскливо. Мерлин был бы, вероятно, еще хуже, чем Выбегалло, если бы не был столь архаичен и самонадеян. По чьей-то рассеянности ему удалось продвинуться в заведующие отделом Предсказаний и Пророчеств, потому что во всех анкетах он писал о своей непримиримой борьбе против империализма янки еще в раннем средневековье, прилагая к анкетам нотариально заверенные машинописные копии соответствующих страниц из Марка Твена. Впоследствии он был вновь переведен на свое место заведующего бюро погоды и теперь, как и тысячу лет назад, занимался предсказаниями атмосферных явлений — и с помощью магических средств, и на основании поведения тарантулов, усиления ревматических болей и стремления соловецких свиней залечь в грязь или выйти из оной. Впрочем, основным поставщиком его прогнозов был самый вульгарный радиоперехват, осуществлявшийся детекторным приемником, по слухам похищенным еще в двадцатые годы с соловецкой выставки юных техников. Он был в большой дружбе с Наиной Киевной Горыныч и вместе с нею занимался коллекционированием и распространением слухов о появлении в лесах гигантской волосатой

---

[1] Ужель обычный путь тебе заказан, путь достойного человека? Сэр... *(англ.)*.

[2] Прошу прощения *(англ.)*.

женщины и о пленении одной студентки снежным человеком с Эльбруса. Говорили также, что время от времени он принимает участие в ночных бдениях на Лысой Горе с Ха Эм Вием, Хомой Брутом и другими хулиганами.

Мы с Романом молчали и ждали, когда он исчезнет. Но он, упаковавшись в мантию, удобно расположился под люстрой и затянул длинный, всем давно уже осточертевший рассказ о том, как он, Мерлин, и председатель Соловецкого райсовета товарищ Переяславльский совершали инспекторский вояж по району. Вся эта история была чистейшим враньем, бездарным и конъюнктурным переложением Марка Твена. О себе он говорил в третьем лице, а председателя иногда, сбиваясь, называл королем Артуром.

— Итак, председатель райсовета и Мерлин отправились в путь и приехали к пасечнику Герою Труда сэру Отшельниченко, который был добрым рыцарем и знатным медосборцем. И сэр Отшельниченко доложил о своих трудовых успехах и полечил сэра Артура от радикулита пчелиным ядом. И сэр председатель прожил там три дня, и радикулит его успокоился, и они двинулись в путь, и в пути сэр Ар... председатель сказал: «У меня нет меча».— «Не беда,— сказал ему Мерлин,— я добуду тебе меч». И они доехали до большого озера, и видит Артур: из озера поднялась рука...

Тут раздался телефонный звонок, и я с радостью схватил трубку.

— Алло,— сказал я.— Алло, вас слушают.

В трубке что-то бормотали, и гнусаво тянул Мерлин: «И возле Лежнева они встретили сэра Пеллинора, однако Мерлин сделал так, что Пеллинор не заметил председателя...»

— Сэр гражданин Мерлин,— сказал я.— Нельзя ли чуть потише? Я ничего не слышу.

Мерлин замолчал с видом человека, готового продолжать в любой момент.

— Алло,— снова сказал я в трубку.

— Кто у аппарата?

— А вам кого нужно?— сказал я по старой привычке.

— Вы мне это прекратите. Вы не в балагане, Привалов.

— Виноват, Модест Матвеевич. Дежурный Привалов слушает.

— Вот так. Докладывайте.

— Что докладывать?

— Слушайте, Привалов. Вы опять ведете себя, как я не знаю кто. С кем вы там разговаривали? Почему на посту посторонние? Почему в институте после окончания рабочего дня находятся люди?

— Это Мерлин,— сказал я.

— Гоните его в шею!

— С удовольствием,— сказал я. (Мерлин, несомненно подслушивавший, покрылся пятнами, сказал: «Гр-рубиян!» — и растаял в воздухе).

— С удовольствием или без удовольствия — это меня не касается. А вот тут поступил сигнал, что вверенные вам ключи вы сваливаете кучей на столе, вместо того чтобы запирать их в ящик.

«Выбегалло донес»,— подумал я.

— Вы почему молчите?

— Будет исполнено.

— В таком вот аксепте,— сказал Модест Матвеевич.— Бдительность должна быть на высоте. Доступно?

— Доступно.

Модест Матвеевич сказал: «У меня все» — и дал отбой.

— Ну ладно,— сказал Ойра-Ойра, застегивая зеленое пальто.— Пойду вскрывать консервы и откупоривать бутылки. Будь здоров, Саша, я еще забегу попозже.

Глава вторая

Я шел, спускаясь в темные коридоры и потом опять поднимаясь наверх. Я был один: я кричал, мне не отвечали; я был один в этом обширном, в запутанном, как лабиринт, доме.

Ги де Мопассан

Свалив ключи в карман пиджака, я отправился в первый обход. По парадной лестнице, которой на моей памяти пользовались всего один раз, когда институт посетило августейшее лицо из Африки, я спустился в необозримый вестибюль, украшенный многовековыми наслоениями архитектурных излишеств, и заглянул в окошечко швейцарской. Там в фосфоресцирующем тумане маячили два макродемона Максвелла. Демоны играли в самую стохастическую из игр — в орлянку. Они занимались этим все свободное время, огромные, вялые, неописуемо нелепые, более всего похожие на колонии вируса полиомиелита под электронным микроскопом, одетые в поношенные ливреи. Как и полагается демонам Максвелла, всю свою жизнь они занимались открыванием и закрыванием дверей. Это были опытные, хорошо выдрессированные экземпляры, но один из них, тот, что ведал выходом, достиг уже пенсионного возраста, сравнимого с возрастом Галактики, и время от времени впадал в детство и начинал барахлить. Тогда кто-нибудь из отдела Технического Обслуживания надевал скафандр, забирался в швейцарскую, наполненную сжатым аргоном, и приводил старика в чувство.

Следуя инструкции, я заговорил обоих, то есть перекрыл каналы информации и замкнул на себя вводно-выводные устройства. Демоны не отреагировали, им было не до того. Один выигрывал, а другой, соответственно, проигрывал, и это их беспокоило, потому что нарушало статистическое равновесие. Я закрыл окошечко щитом и обошел вестибюль. В вестибюле было сыро, сумрачно и гулко. Здание института было вообще довольно древнее, но строиться оно начало, по-видимому, с вестибюля. В заплесневелых углах белесо мерцали кости прикованных скелетов, где-то мерно капала вода, в нишах между колоннами в неестественных позах торчали статуи в ржавых латах, справа от входа у стены громоздились обломки древних идолов, наверху этой кучи торчали гипсовые ноги в сапогах. С почерневших портретов под потолком строго взирали маститые старцы, в их лицах усматривались знакомые черты Федора Симеоновича, товарища Жиана Жиакомо и других мастеров. Весь этот архаический хлам надлежало давным-давно выбросить, прорубить в стенах окна и установить трубки дневного света, но все было заприходовано, заинвентаризовано и лично Модестом Матвеевичем к разбазариванию запрещено.

На капителях колонн и в лабиринтах исполинской люстры, свисающей с почерневшего потолка, шуршали нетопыри и летучие собаки. С ними

Модест Матвеевич боролся. Он поливал их скипидаром и креозотом, опылял дустом, опрыскивал гексахлораном, они гибли тысячами, но возрождались десятками тысяч. Они мутировали, среди них появлялись поющие и разговаривающие штаммы , потомки наиболее древних родов питались теперь исключительно пиретрумом, смешанным с хлорофосом, а институтский киномеханик Саня Дрозд клялся, что своими глазами видел здесь однажды нетопыря, как две капли воды похожего на товарища завкадрами.

В глубокой нише, из которой тянуло ледяным смрадом, кто-то застонал и загремел цепями. «Вы это прекратите,— строго сказал я.— Что еще за мистика! Как не стыдно!..» В нише затихли. Я хозяйственно поправил сбившийся ковер и поднялся по лестнице.

Как известно, снаружи институт выглядел двухэтажным. На самом деле в нем было не менее двенадцати этажей. Выше двенадцатого я просто никогда не поднимался, потому что лифт постоянно чинили, а летать я еще не умел. Фасад с десятью окнами, как и большинство фасадов, тоже был обманом зрения. Вправо и влево от вестибюля институт простирался по крайней мере на километр, и тем не менее решительно все окна выходили на ту же кривоватую улицу и на тот же самый лабаз. Это поражало меня необычайно. Первое время я приставал к Ойре-Ойре, чтобы он мне объяснил, как это совмещается с классическими или хотя бы с релятивистскими представлениями о свойствах пространства. Из объяснений я ничего не понял, но постепенно привык и перестал удивляться. Я совершенно убежден, что через десять — пятнадцать лет любой школьник будет лучше разбираться в общей теории относительности, чем современный специалист. Для этого вовсе не нужно понимать, как происходит искривление пространства-времени, нужно только, чтобы такое представление с детства вошло в быт и стало привычным.

Весь первый этаж был занят отделом Линейного Счастья. Здесь было царство Федора Симеоновича, здесь пахло яблоками и хвойными лесами, здесь работали самые хорошенькие девушки и самые славные ребята. Здесь не было мрачных изуверов, знатоков и адептов черной магии, здесь никто не рвал, шипя и кривясь от боли, из себя волос, никто не бормотал заклинаний, похожих на неприличные скороговорки, не варил заживо жаб и ворон в полночь, в полнолуние, на Ивана Купалу, по несчастливым числам. Здесь работали на оптимизм. Здесь делали все возможное в рамках белой, субмолекулярной и инфранейронной магии, чтобы повысить душевный тонус каждого отдельного человека и целых человеческих коллективов. Здесь конденсировали и распространяли по всему свету веселый, беззлобный смех; разрабатывали, испытывали и внедряли модели поведений и отношений, укрепляющих дружбу и разрушающих рознь; возгоняли и сублимировали экстракты гореутолителей, не содержащих ни единой молекулы алкоголя и иных наркотиков. Сейчас здесь готовили к полевым испытаниям портативный универсальный злободробитель и разрабатывали новые марки редчайших сплавов ума и доброты.

Я отомкнул дверь центрального зала и, стоя на пороге, полюбовался, как работает гигантский дистиллятор Детского Смеха, похожий чем-то на генератор Ван де Граафа. Только в отличие от генератора он работал совершенно бесшумно и около него хорошо пахло. По инструкции я должен был повернуть два больших белых рубильника на пульте, чтобы погасло золотое сияние в зале, чтобы стало темно, холодно и неподвижно,— короче говоря, инструкция требовала, чтобы я обесточил данное производственное помещение. Но я даже колебаться не стал, попятился в коридор и запер

за собою дверь. Обесточивать что бы то ни было в лабораториях Федора Симеоновича представлялось мне просто кощунством.

Я медленно пошел по коридору, разглядывая забавные картинки на дверях лабораторий, и на углу встретил домового Тихона, который рисовал и еженощно менял эти картинки. Мы обменялись рукопожатием. Тихон был славный серенький домовик из Рязанской области, сосланный Вием в Соловец за какую-то провинность: с кем-то он там не так поздоровался или отказался есть гадюку вареную... Федор Симеонович приветил его, умыл, вылечил от застарелого алкоголизма, и он так и прижился здесь, на первом этаже. Рисовал он превосходно, в стиле Бидструпа, и славился среди местных домовых рассудительностью и трезвым поведением.

Я хотел уже подняться на второй этаж, но вспомнил о виварии и направился в подвал. Надзиратель вивария, пожилой вольноотпущенный вурдалак Альфред, пил чай. При виде меня он попытался спрятать чайник под стол, разбил стакан, покраснел и потупился. Мне стало его жалко.

— С наступающим,— сказал я, сделав вид, что ничего не заметил.

Он прокашлялся, прикрыл рот ладонью и сипло ответил:

— Благодарствуйте. И вас тоже.

— Все в порядке?— спросил я, оглядывая ряды клеток и стойл.

— Бриарей палец сломал,— сказал Альфред.

— Как так?

— Да так уж. На восемнадцатой правой руке. В носе ковырял, повернулся неловко — они ж неуклюжие, гекатонхейры,— и сломал.

— Так ветеринара надо,— сказал я.

— Обойдется! Что ему, впервые, что ли...

— Нет, так нельзя,— сказал я.— Пойдем посмотрим.

Мы прошли в глубь вивария мимо вольера с гарпиями, проводившими нас мутными со сна глазами, мимо клетки с Лернейской гидрой, угрюмой и неразговорчивой в это время года... Гекатонхейры, сторукие и пятидесятиголовые братцы-близнецы, первенцы Неба и Земли, помещались в обширной бетонированной пещере, забранной толстыми железными прутьями. Гиес и Котт спали, свернувшись в узлы, из которых торчали синие бритые головы с закрытыми глазами и волосатые расслабленные руки. Бриарей маялся. Он сидел на корточках, прижавшись к решетке и выставив в проход руку с больным пальцем, придерживал ее семью другими руками. Остальными девяносто двумя руками он держался за прутья и подпирал головы. Некоторые из голов спали.

— Что?— сказал я жалостливо.— Болит?

Бодрствующие головы залопотали по-эллински и разбудили одну голову, которая знала русский язык.

— Страсть как болит,— сказала она.

Остальные притихли и, раскрыв рты, уставились на меня.

Я осмотрел палец. Палец был грязный и распухший, и он совсем не был сломан. Он был просто вывихнут. У нас в спортзале такие травмы вылечивались без всякого врача. Я вцепился в палец и рванул его на себя что было силы. Бриарей взревел всеми пятьюдесятью глотками и повалился на спину.

— Ну-ну-ну,— сказал я, вытирая руки носовым платком.— Все уже, все...

Бриарей, хлюпая носами, принялся рассматривать палец. Задние головы жадно тянули шеи и нетерпеливо покусывали за уши передние, чтобы те не застили. Альфред ухмылялся.

— Кровь бы ему пустить полезно,— сказал он с давно забытым выражением, потом вздохнул и добавил:— Да только какая в нем кровь — видимость одна. Одно слово — нежить.

Бриарей поднялся. Все пятьдесят голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджиа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги, перед огромным пюпитром и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения: не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик при общении со Змеем Горынычем. (Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взревывания спросонок). Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кощея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении: смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл...

Тут меня схватили за штанину, и пропитой голос произнес:

— А ну, урки, с кем на троих?

Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в двести вольт.

— Руку отдавил, дылда очкастая!— сказал один.

— А ты не хватай,— сказал я.— Осины захотел?

Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами.

Я сказал Альфреду:

— Ну хорошо. По-моему, все в порядке. Пойду дальше.

— Путь добрый,— отвечал Альфред с готовностью.

Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает.

Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное Колесо Фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнении радиуса кривизны Колеса Фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до десяти мегапарсеков, Ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности.

Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у колеса — вскакивали на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите,— сказал я,— это вам не балаган». Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда жеваной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж.

Здесь было тихо, темно и пыльно. У низенькой полуоткрытой двери дремал, опираясь на длинное кремневое ружье, старый, дряхлый солдат в мундире Преображенского полка и треуголке. Здесь размещался отдел Оборонной Магии, среди сотрудников которого давно уже не было ни одной живой души. Все наши старики, за исключением, может быть, Федора Симеоновича, в свое время отдали дань увлечению этим разделом магии. Бен Бецалель успешно использовал Голема при дворцовых переворотах: глиняное чудовище, равнодушное к подкупу и неуязвимое для ядов, охраняло лаборатории, а заодно и императорскую сокровищницу. Джузеппе Бальзамо создал первый в истории самолетный эскадрон на помелах, хорошо показавший себя на полях сражений Столетней войны. Но эскадрон довольно быстро распался: часть ведьм повыходила замуж, а остальные увязались за рейтарскими полками в качестве маркитанок. Царь Соломон отловил и зачаровал дюжину дюжин ифритов и сколотил из них отдельный истребительно-противослоновый огнеметный батальон. Молодой Кристобаль Хунта привел в дружину Карлу Великому китайского, натасканного на мавров дракона, но, узнав, что император собирается воевать не с маврами, а с соплеменными басками, рассвирепел и дезертировал. На протяжении многовековой истории войн разные маги предлагали применять в бою вампиров (для ночной разведки боем), василисков (для поражения противника ужасом до полной окаменелости), ковры-самолеты (для сбрасывания нечистот на неприятельские города), мечи-кладенцы различных достоинств (для компенсации малочисленности) и многое другое. Однако уже после первой мировой войны, после Длинной Берты, танков, иприта и хлора оборонная магия начала хиреть. Из отдела началось повальное бегство сотрудников. Дальше всех задержался там некий Питирим Шварц, бывший монах и изобретатель подпорки для мушкета, беззаветно трудившийся над проектом джинн-бомбардировок. Суть проекта состояла в сбрасывании на города противника бутылок с джиннами, выдержанными в заточении не менее трех тысяч лет. Хорошо известно, что джинны в свободном состоянии способны только либо разрушать города, либо строить дворцы. Основательно выдержанный джинн (рассуждал Питирим Шварц), освободившись из бутылки, не станет строить дворцов, и противнику придется туго. Некоторым препятствием к осуществлению этого замысла являлось недостаточное количество бутылок с джиннами, но Шварц рассчитывал пополнить запасы глубоким тралением Красного и Средиземного морей. Рассказывают, что, узнав о водородной бомбе и бактериологической войне, старик Питирим потерял душевное равновесие, роздал имевшихся у него джиннов по отделам и ушел исследовать смысл жизни к Кристобалю Хунте. Больше его никто никогда не видел.

Когда я остановился на пороге, солдат посмотрел на меня одним глазом, прохрипел: «Не велено, проходи дальше...»— и снова задремал. Я оглядел пустую захламленную комнату с обломками диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей, пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со смазанным грифом «Совершенно секретно. Перед прочтением сжечь» и пошел прочь. Обесточивать здесь было нечего,

а что касается самовозгорания, то все, что могло самовозгореться, самовозгорелось здесь много лет назад.

На этом же этаже располагалось книгохранилище. Это было мрачноватое пыльное помещение под стать вестибюлю, но значительно более обширное. По поводу его размеров рассказывали, что в глубине, в полукилометре от входа, идет вдоль стеллажей неплохое шоссе, оснащенное верстовыми столбами. Ойра-Ойра доходил до отметки «19», а настырный Витька Корнеев в поисках технической документации на диван-транслятор раздобыл семимильные сапоги и добежал до отметки «124». Он продвинулся бы и дальше, но дорогу ему преградила бригада данаид в ватниках и с отбойными молотками. Под присмотром толстомордого Каина они взламывали асфальт и прокладывали какие-то трубы. Ученый совет неоднократно поднимал вопрос о постройке вдоль шоссе высоковольтной линии для передачи абонентов хранилища по проводам, однако все позитивные предложения наталкивались на недостаток фондов.

Хранилище было битком набито интереснейшими книгами на всех языках мира и истории, от языка атлантов до пиджининглиш включительно. Но меня там больше всего заинтересовало многотомное издание Книги Судеб. Книга Судеб печаталась петитом на тончайшей рисовой бумаге и содержала в хронологическом порядке более или менее полные данные о 73 619 024 511 людях разумных. Первый том начинался питекантропом Аыуыхх. («Род. 2 авг. 965 543 г. до н. э., ум. 13 янв. 965 522 г. до н. э. Родители рамапитеки. Жена рамапитек. Дети: самец Ад-Амм, самка Э-Уа. Кочевал с трибой рамапитеков по Араратск. долин. Ел, пил, спал в свое удовольств. Провертел первую дыру в камне. Сожран пещерн. медвед. во время охоты».) Последним в последнем томе регулярного издания, вышедшем в прошлом году, числился Франсиско-Каэтано-Августин-Лусия-и-Мануэль-и-Хосефа-и-Мигель-Лука-Карлос-Педро Тринидад. («Род. 16 июля 1491 г. н. э., ум. 17 июля 1491 г. н. э. Родители: Педро-Карлос-Лука-Мигель-и-Хосефа-и-Мануэль-и-Лусия-Августин-Каэтано-Франсиско Тринидад и Мария Тринидат (см.) Португалец, Анацефал. Кавалер Ордена Святого Духа, полковник гвардии».)

Из выходных данных явствовало, что Книга Судеб выходит тиражом в 1 (один) экземпляр и этот последний том подписан в печать еще во время полетов братьев Монгольфье. Видимо, для того, чтобы как-то удовлетворить потребности современников, издательство предприняло публикацию срочных нерегулярных выпусков, в которых значились только годы рождения и годы смерти. В одном из таких выпусков я нашел и свое имя. Однако из-за спешки в эти выпуски вкралась масса опечаток, и я с изумлением узнал, что умру в 1611 году. В восьмитомнике же замеченных опечаток до моей фамилии еще не добрались.

Консультировала издание Книги Судеб специальная группа в отделе Предсказаний и Пророчеств. Отдел был захудалый, запущенный, он никак не мог оправиться после кратковременного владычества сэра гражданина Мерлина, и институт неоднократно объявлял конкурс на замещение вакантной должности заведующего отделом, и каждый раз на конкурс подавал заявление один-единственный человек — сам Мерлин.

Ученый совет добросовестно рассматривал заявление и благополучно проваливал его — сорока тремя голосами «против» при одном «за». (Мерлин по традиции тоже был членом Ученого совета.)

Отдел Предсказаний и Пророчеств занимал весь третий этаж. Я прошелся вдоль дверей с табличками «Группа кофейной гущи», «Группа авгуров», «Группа пифий», «Синоптическая группа», «Группа пасьянсов», «Соловецкий Оракул». Обесточивать мне ничего не пришлось, поскольку отдел работал при свечах. На дверях синоптической группы уже появи-

лась свежая надпись мелом: «Темна вода во облацех». Каждое утро Мерлин, проклиная интриги завистников, стирал эту надпись мокрой тряпкой, и каждую ночь она возобновлялась. Вообще на чем держался авторитет отдела, мне было совершенно непонятно. Время от времени сотрудники делали доклады на странные темы, вроде: «Относительно выражения глаз авгура» или «Предикторские свойства гущи из-под кофе мокко урожая 1926 года». Иногда группе пифий удавалось что-нибудь правильно предсказать, но каждый раз пифии казались такими удивленными и напуганными своим успехом, что весь эффект пропадал даром. У-Янус, человек деликатнейший, не мог, как было неоднократно отмечено, сдержать неопределенной улыбки каждый раз, когда присутствовал на заседаниях семинара пифий и авгуров.

На четвертом этаже мне, наконец, нашлась работа: я погасил свет в кельях отдела Вечной Молодости. Молодежи в отделе не было, и эти старики, страдающие тысячелетним склерозом, постоянно забывали гасить за собой свет. Впрочем, я подозреваю, что дело здесь было не только в склерозе. Многие из них до сих пор боялись, что их ударит током. Они все еще называли электричку чугункой.

В лаборатории сублимации между длинных столов бродила, зевая,— руки в карманы — унылая модель вечно молодого юнца. Ее седая двухметровая борода волочилась по полу и цеплялась за ножки стульев. На всякий случай я убрал в шкаф стоявшую на табуретке бутыль с царской водкой и отправился к себе в электронный зал.

Здесь стоял мой «Алдан». Я немножко полюбовался на него, какой он компактный, красивый, таинственно поблескивающий. В институте к нам относились по-разному. Бухгалтерия, например, встретила меня с распростертыми объятиями, и главный бухгалтер, скупо улыбаясь, сейчас же завалил меня томительными расчетами заработной платы и рентабельности. Жиан Жиакомо, заведующий отделом Универсальных Превращений, вначале тоже обрадовался, но, убедившись, что «Алдан» не способен рассчитать даже элементарную трансформацию кубика свинца в кубик золота, охладел к моей электронике и удостаивал нас только редкими случайными заданиями. Зато от его подчиненного и любимого ученика Витьки Корнеева спасу не было. И Ойра-Ойра постоянно сидел у меня на шее со своими зубодробительными задачами из области иррациональной математики. Кристобаль Хунта, любивший во всем быть первым, взял за правило подключать по ночам машину к своей центральной нервной системе, так что на другой день у него в голове все время что-то явственно жужжало и щелкало, а сбитый с толку «Алдан», вместо того чтобы считать в двоичной системе, непонятным мне образом переходил на древнюю шестидесятеричную, да еще менял логику, начисто отрицая принцип исключенного третьего. Федор же Симеонович Киврин забавлялся с машиной, как ребенок с игрушкой. Он мог часами играть с нею в чет-нечет, обучил ее японским шахматам, а чтобы было интереснее, вселил в машину чью-то бессмертную душу — впрочем, довольно жизнерадостную и работящую. Янус Полуэктович (не помню уже, А или У) воспользовался машиной только один раз. Он принес с собой небольшую полупрозрачную коробочку, которую подсоединил к «Алдану». Примерно через десять секунд работы с этой приставкой в машине полетели все предохранители, после чего Янус Полуэктович извинился, забрал свою коробочку и ушел.

Но, несмотря на все маленькие помехи и неприятности, несмотря на то, что одушевленный теперь «Алдан» иногда печатал на выходе: «Думаю. Прошу не мешать», несмотря на недостаток запасных блоков и на чувство беспомощности, которое охватывало меня, когда требовалось произвести логический анализ «неконгруэнтной трансгрессии и в пси-поле инкуб-пре-

образования»,— несмотря на все это, работать здесь было необычайно интересно, и я гордился своей очевидной нужностью. Я провел все расчеты в работе Ойры-Ойры о механизме наследственности биполярных гомункулусов. Я составил для Витьки Корнеева таблицы напряженности М-поля дивана-транслятора в девятимерном магопространстве. Я вел рабочую калькуляцию для подшефного рыбозавода. Я рассчитал схему для наиболее экономного транспортирования эликсира Детского Смеха. Я даже сосчитал вероятности решения пасьянсов «Большой слон», «Государственная дума» и «Могила Наполеона» для забавников из группы пасьянсов и проделал все квадратуры численного метода Кристобаля Хозевича, за что тот научил меня впадать в нирвану. Я был доволен, дней мне не хватало, и жизнь моя была полна смысла.

Было еще рано — всего седьмой час. Я включил «Алдан» и немножко поработал. В девять часов вечера я опомнился, с сожалением обесточил электронный зал и отправился на пятый этаж. Пурга все не унималась. Это была настоящая новогодняя пурга. Она выла и визжала в старых заброшенных дымоходах, она наметала сугробы под окнами, бешено дергала и раскачивала редкие уличные фонари.

Я миновал территорию административно-хозяйственного отдела. Вход в приемную Модеста Матвеевича был заложен крест-накрест двутавровыми железными балками, а по сторонам, сабли наголо, стояли два здоровенных ифрита в тюрбанах и в полном боевом снаряжении. Нос каждого, красный и распухший от насморка, был прободен массивным золотым кольцом с жестяным инвентарным номерком. Вокруг пахло серой, паленой шерстью и стрептоцидовой мазью. Я задержался на некоторое время, рассматривая их, потому что ифриты в наших широтах существа редкие. Но тот, что стоял справа, небритый и с черной повязкой на глазу, стал есть меня глазом. О нем ходила дурная слава, будто он бывший людоед, и я поспешно пошел дальше. Мне было слышно, как он с хлюпаньем тянет носом и причмокивает за моей спиной.

В помещениях отдела Абсолютного Знания были открыты все форточки, потому что сюда просачивался запах селедочных голов профессора Выбегаллы. На подоконниках намело, под батареями парового отопления темнели лужи. Я закрыл форточки и прошелся между девственно чистыми столами работников отдела. На столах красовались новенькие чернильные приборы, не знавшие чернил, из чернильниц торчали окурки. Странный это был отдел. Лозунг у них был такой: «Познание бесконечности требует бесконечного времени». С этим я не спорил, но они делали из этого неожиданный вывод: «А потому работай не работай — все едино». И в интересах неувеличения энтропии Вселенной они не работали. По крайней мере большинство из них. «Ан масс», как сказал бы Выбегалло. По сути, задача их сводилась к анализу кривой относительного познания в области ее асимптотического приближения к абсолютной истине. Поэтому одни сотрудники все время занимались делением нуля на нуль на настольных «мерседесах», а другие отпрашивались в командировки на бесконечность. Из командировок они возвращались бодрые, отъевшиеся и сразу брали отпуск по состоянию здоровья. В промежутках между командировками они ходили из отдела в отдел, присаживались с дымящимися сигаретками на рабочие столы и рассказывали анекдоты о раскрытии неопределенностей методом Лопиталя. Их легко узнавали по пустому взору и по исцарапанным от непрерывного бритья ушам. За полгода моего пребывания в институте они дали «Алдану» всего одну задачу, которая сводилась все к тому же делению нуля на нуль и не содержала никакой абсолютной истины. Может быть, кто-нибудь из них и занимался настоящим делом, но я об этом ничего не знал.

В половине одиннадцатого я вступил на этаж Амвросия Амбруазовича Выбегаллы. Прикрывая лицо носовым платком и стараясь дышать через рот, я направился прямо в лабораторию, известную среди сотрудников как «Родильный Дом». Здесь, по утверждению профессора Выбегаллы, рождались в колбах модели идеального человека. Вылуплялись, значить. Компрене ву?[1]

В лаборатории было душно и темно. Я включил свет. Озарились серые гладкие стены, украшенные портретами Эскулапа, Парацельса и самого Амвросия Амбруазовича. Амвросий Амбруазович был изображен в черной шапочке на благородных кудрях, и на его груди неразборчиво сияла какая-то медаль.

В центре лаборатории стоял автоклав, в углу — другой, побольше. Около центрального автоклава прямо на полу лежали буханки хлеба, стояли оцинкованные ведра с синеватым обратом и огромный чан с паренымы отрубями. Судя по запаху, где-то поблизости находились и селедочные головы, но я так и не смог понять где.

В лаборатории царила тишина, из недр автоклава доносились ритмичные щелкающие звуки.

Почему-то на цыпочках, я приблизился к центральному автоклаву и заглянул в смотровой иллюминатор. Меня и так мутило от запаха, а тут стало совсем плохо, хотя ничего особенного я не увидел: нечто белое и бесформенное медленно колыхалось в зеленоватой полутьме. Я выключил свет, вышел и старательно запер дверь. «По сусалам его»,— вспомнил я. Меня беспокоили смутные предчувствия. Только теперь я заметил, что вокруг порога проведена толстая магическая черта, расписанная корявыми кабалистическими знаками. Присмотревшись, я понял, что это было заклинание против гаки — голодного демона ада.

С некоторым облегчением я покинул владения Выбегаллы и стал подниматься на шестой этаж, где Жиан Жиакомо и его сотрудники занимались теорией и практикой Универсальных Превращений. На лестничной площадке висел красочный стихотворный плакат, призывающий к созданию общественной библиотеки. Идея принадлежала месткому, стихи были мои:

Раскопай своих подвалов
И шкафов перетряси,
Разных книжек и журналов
По возможности неси.

Я покраснел и пошел дальше. Вступив на шестой этаж, я сразу увидел, что дверь Витькиной лаборатории приоткрыта, и услышал сиплое пение. Я крадучись подобрался к двери.

Глава третья

Хочу тебя прославить.
Тебя, пробивающегося сквозь
метель зимним вечером.
Твое сильное дыхание и мерное
биение твоего сердца...

У. Уитмен

Давеча Витька сказал, что идет в одну компанию, а в лаборатории оставляет работать дубля. Дубль — это очень интересная штука. Как пра-

[1] Понимаете? *(франц.)*.

вило, это довольно точная копия своего творца. Не хватает, скажем, человеку рук — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что паять контакты, или таскать тяжести, или писать под диктовку, но зато уж умеющего это делать хорошо. Или нужна человеку модель-антропоид для какого-нибудь эксперимента — он создает себе дубля, безмозглого, безответного, только и умеющего, что ходить по потолку или принимать телепатемы, но зато уж умеющего хорошо. Или самый простой случай. Собирается, скажем,человек получить зарплату, а времени терять ему не хочется, и он посылает вместо себя своего дубля, только и умеющего, что никого без очереди не пропускать, расписываться в ведомости и сосчитать деньги, не отходя от кассы. Конечно, творить дублей умеют не все. Я, например, еще не умел. То, что у меня пока получалось, ничего не умело — даже ходить. И вот стоишь, бывало,в очереди, вроде бы тут и Витька, и Роман, и Володя Почкин, а поговорить не с кем. Стоят как каменные, не мигают, не дышат, с ноги на ногу не переминаются, и сигарету спросить не у кого.

Настоящие мастера могут создавать очень сложных, многопрограммных, самообучающихся дублей. Такого вот супера Роман отправил летом вместо меня на машине. И никто из моих ребят не догадался, что это был не я. Дубль великолепно вел мой «Москвич», ругался, когда его кусали комары, и с удовольствием пел хором. Вернувшись в Ленинград, он развез всех по домам, самостоятельно сдал прокатный автомобиль, расплатился и тут же исчез.

Одно время я думал, что А-Янус и У-Янус — это дубль и оригинал. Однако это было совсем не так. Прежде всего оба директора имели паспорта, дипломы, пропуска и другие необходимые документы. Самые же сложные дубли не могли иметь никаких удостоверений личности. При виде казенной печати на своей фотографии они приходили в ярость и немедленно рвали документы в клочки. Этим загадочным свойством дублей долго занимался Магнус Редькин, но задача оказалась ему явно не по силам.

Далее Янусы были белковыми существами. По поводу же дублей до сих пор еще не прекратился спор между философами и кибернетиками: считать их живыми или нет. Большинство дублей представляли собою кремнийорганические структуры, были дубли и на германиевой основе, а последнее время вошли в моду дубли на алюмополимерах.

И наконец, самое главное — ни А-Януса, ни У-Януса никто никогда не создавал искусственно. Они не были копией и оригиналом, не были они и братьями-близнецами, они были одним человеком — Янусом Полуэктовичем Невструевым. Никто в институте этого не понимал, но все знали это настолько твердо, что понимать и не пытались.

Витькин дубль стоял, упершись ладонями в лабораторный стол, и остановившимся взглядом следил за работой небольшого гомеостата Эшби. При этом он мурлыкал песенку на популярный некогда мотив:

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,
Для нас наука — темный лес
Чудес.
А мы нормальные астрономы — да!
Хватаем звездочки с небес...

Я никогда раньше не слыхал, чтобы дубли пели. Но от Витькиного дубля можно было ожидать всего. Я помню одного Витькиного дубля, который осмеливался препираться по поводу неумеренного расхода психоэнергии с самим Модестом Матвеевичем. А ведь Модеста Матвеевича даже

сотворенные мною чучела без рук, без ног боялись до судорог, по-видимому инстинктивно.

Справа от дубля, в углу, стоял под брезентовым чехлом двухходовой транслятор ТДХ-80Е, убыточное изделие Китежградского завода маготехники. Рядом с лабораторным столом, в свете трех рефлекторов, блестел штопаной кожей мой старый знакомец — диван. На диван была водружена детская ванна с водой, в ванне брюхом вверх плавал дохлый окунь. Еще в лаборатории были стеллажи, заставленные приборами, а у самой двери стояла большая, зеленого стекла четвертная бутыль, покрытая пылью. В бутыли находился опечатанный джинн, можно было видеть, как он там шевелится, посверкивая глазками.

Витькин дубль перестал рассматривать гомеостат, сел на диван рядом с ванной и, уставясь тем же окаменелым взглядом на дохлую рыбу, пропел следующий куплет:

В целях природы обуздания,
В целях рассеять неученья
Тьму
Берем картину мироздания — да!
И тупо смотрим, что к чему...

Окунь пребывал без изменений. Тогда дубль засунул руку глубоко в диван и принялся, сопя, что-то там с трудом проворачивать.

Диван был транслятором. Он создавал вокруг себя М-поле, преобразующее, говоря просто, реальную действительность в действительность сказочную. Я испытал это на себе в памятную ночь на хлебах у Наины Киевны, и спасло меня тогда только то, что диван работал в четверть силы, иначе я проснулся бы каким-нибудь мальчиком с пальчик в сапогах. Для Магнуса Редькина диван был возможным вместилищем искомого Белого Тезиса. Для Модеста Матвеевича — музейным экспонатом инвентарный номер 1123, к разбазариванию запрещенным. Для Витьки это был инструмент номер один. Поэтому Витька крал диван каждую ночь, Магнус Федорович из ревности доносил об этом завкадрами товарищу Демину, а деятельность Модеста Матвеевича сводилась к тому, чтобы все это прекратить. Витька крал диван до тех пор, пока не вмешался Янус Полуэктович, которому в тесном взаимодействии с Федором Симеоновичем и при активной поддержке Жиана Жиакомо, опираясь на официальное письмо Президиума Академии наук за личными подписями четырех академиков, удалось-таки полностью нейтрализовать Редькина и слегка потеснить с занимаемых позиций Модеста Матвеевича. Модест Матвеевич объявил, что он, как лицо материально ответственное, не желает ни о чем слышать и что желает он, чтобы диван инвентарный номер 1123 находился в специально отведенном для него, дивана, помещении. А ежели этого не будет, сказал Модест Матвеевич грозно, то пусть все, до академиков включительно, пеняют на себя. Янус Полуэктович согласился пенять на себя, Федор Симеонович тоже, и Витька быстренько перетащил диван в свою лабораторию.

Витька был серьезный работник, не то что шалопаи из отдела Абсолютного Знания, и намеревался превратить всю морскую и океанскую воду нашей планеты в живую воду. Пока он, правда, находился в стадии эксперимента.

Окунь в ванне зашевелился и перевернулся брюхом вниз. Дубль убрал руку из дивана. Окунь апатично пошевелил плавниками, зевнул, завалился на бок.

— С-скотина,— сказал дубль с выражением.

Я сразу насторожился. Это было сказано эмоционально. Никакой лабораторный дубль не мог бы так сказать. Дубль засунул руки в карманы, медленно поднялся и увидел меня. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я ехидно осведомился:

— Работаем?

Дубль тупо глядел на меня.

— Ну брось, брось,— сказал я.— Все ясно.

Дубль молчал. Он стоял как каменный и не мигал.

— Ну, вот что,— сказал я.— Сейчас пол-одиннадцатого. Даю тебе десять минут. Все прибери, выброси эту дохлятину и беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Дубль вытянул губы дудкой и начал пятиться. Он пятился очень осторожно, обогнул диван и встал так, чтобы между нами был лабораторный стол. Я демонстративно посмотрел на часы. Дубль пробормотал заклинание, на столе появился «мерседес», авторучка и стопка чистой бумаги. Дубль, согнув колени, повис в воздухе и стал что-то писать, время от времени опасливо на меня поглядывая. Это было очень похоже, и я даже засомневался. Впрочем, у меня было верное средство выяснить правду. Дубли, как правило, совершенно нечувствительны к боли. Пошарив в кармане, я извлек маленькие острые клещи и, выразительно пощелкивая ими, стал приближаться к дублю. Дубль перестал писать. Пристально поглядев ему в глаза, я скусил клещами шляпку гвоздя, торчащую из стола, и сказал:

— Н-н-ну?

— Чего ты ко мне пристал?— осведомился Витька.— Видишь ведь, что человек работает.

— Ты же дубль,— сказал я.— Не смей со мной разговаривать.

— Убери клещи,— сказал он.

— А ты не валяй дурака,— сказал я.— Тоже мне дубль.

Витька сел на край стола и устало потер уши.

— Ничего у меня сегодня не получается,— сообщил он.— Дурак я сегодня. Дубля сотворил — получился какой-то уже совершенно безмозглый. Все понял, на умклайдет сел, животное... Треснул я его по шее, руку отбил... И окунь дохнет систематически.

Я подошел к дивану и заглянул в ванну.

— А что с ним?

— А я откуда знаю?..

— Где ты его взял?

— На рынке.

Я поднял окуня за хвост.

— А чего ты хочешь? Обыкновенная снулая рыбка.

— Дубина,— сказал Витька.— Вода-то живая...

— А-а,— сказал я и стал соображать, что бы ему посоветовать. Механизм действия живой воды я представлял себе крайне смутно. В основном по сказке об Иване-царевиче и Сером Волке.

Джинн в бутыли двигался и время от времени принимался протирать ладошкой стекло, запыленное снаружи.

— Протер бы бутыль,— сказал я, ничего не придумав.

— Что?

— Пыль с бутылки сотри. Скучно же ему там.

— Черт с ним, пусть скучает,— рассеянно сказал Витька.

Он снова засунул руку в диван и снова провернул там что-то. Окунь ожил.

— Видал?— сказал Витька.— Когда даю максимальное напряжение — все в порядке.

— Экземпляр неудачный,— сказал я наугад.

Витька вынул руку из дивана и уставился на меня.

— Экземпляр...— сказал он.— Неудачный...— Глаза его стали как у дубля.— Экземпляр экземпляру люпус эст...[1]

— Потом, он, наверное, мороженый,— сказал я.

Витька меня не слушал.

— Где бы рыбу взять?— сказал он, озираясь и хлопая себя по карманам.— Рыбочку бы...

— Зачем?— спросил я.

— Верно,— сказал Витька.— Зачем? Раз нет другой рыбы,— рассудительно произнес он,— почему бы не взять другую воду? Верно?

— Э, нет,— возразил я.— Так не пойдет.

— А как?— жадно спросил Витька.

— Выметайся отсюда,— сказал я.— Покинь помещение.

— Куда?

— Куда хочешь.

Он перелез через диван и сгреб меня за грудки.

— Ты меня слушай, понял?— сказал он угрожающе.— На свете нет ничего одинакового. Все распределяется по гауссиане. Вода воде рознь... Этот старый дурак не сообразил, что существует дисперсия свойств...

— Эй, милый,— позвал я его.— Новый год скоро! Не увлекайся так.

Он отпустил меня и засуетился:

— Куда же я его дел?.. Вот лапоть!.. Куда я его сунул?.. А, вот он...

Он бросился к стулу, на котором торчком стоял умклайдет. Тот самый. Я отскочил к двери и сказал умоляюще:

— Опомнись! Двенадцатый же час! Тебя же ждут! Верочка ждет!

— Не,— отвечал он.— Я им туда дубля послал. Хороший дубль, развесистый... Дурак дураком. Анекдоты, стойку делает, танцует, как вол...

Он крутил в руках умклайдет, что-то прикидывая, примериваясь, прищуря один глаз.

— Выметайся, говорят тебе!— заорал я в отчаянии.

Витька коротко глянул на меня, и я присел. Шутки кончились.

Витька находился в том состоянии, когда увлеченные работой маги превращают окружающих в пауков, мокриц, ящериц и других тихих животных. Я сел на корточки рядом с джинном и стал смотреть.

Витька замер в классической позе для материального заклинания (позиция «мартихор»), над столом поднялся розовый пар, вверх-вниз запрыгали тени, похожие на летучих мышей, исчез «мерседес», исчезла бумага, и вдруг вся поверхность стола покрылась сосудами с прозрачными растворами. Витька, не глядя, сунул умклайдет на стул, схватил один из сосудов и стал его внимательно рассматривать. Было ясно, что теперь от отсюда никуда и никогда не уйдет. Он живо убрал с дивана ванну, одним прыжком подскочил к стеллажам и поволок к столу громоздкий медный аквавитометр. Я устроился было поудобнее и протер джинну окошечко для обозрения, но тут из коридора донеслись голоса, топот ног и хлопанье дверей. Я вскочил и кинулся вон из лаборатории.

Ощущение ночной пустоты и темного покоя огромного здания исчезло бесследно. В коридоре горели яркие лампы. Кто-то сломя голову мчался по

---

[1] Перифраз латинской поговорки «человек человеку — волк».

лестнице, кто-то кричал: «Валька! Напряжение упало! Сбегай в аккумуляторную!», кто-то вытряхивал на лестничной площадке шубу, и мокрый снег летел во все стороны. Навстречу мне с задумчивым лицом быстро шел изящно изогнутый Жиан Жиакомо, за ним с его огромным портфелем под мышкой и с его тростью в зубах семенил гном. Мы раскланялись. От великого престидижитатора пахло хорошим вином и французскими благовониями. Остановить его я не посмел, и он прошел сквозь запертую дверь в свой кабинет. Гном просунул ему вслед портфель и трость, а сам нырнул в батарею парового отопления.

Какого дьявола?— вскричал я и побежал на лестницу.

Институт был битком набит сотрудниками. Казалось, их было даже больше, чем в будний день. В кабинетах и лабораториях вовсю горели огни, двери были распахнуты настежь. В институте стоял обычный деловой гул: треск разрядов, монотонные голоса, диктующие цифры и произносящие заклинания, дробный стук «мерседесов» и «рейнметаллов». И над всем этим раскатистый и победительный рык Федора Симеоновича: «Эт' хорошо, эт' здо-о-рово! Вы молодец, голубчик! Но к-какой дурак выключил г-генератор?» Меня саданули в спину твердым углом, и я ухватился за перила. Я рассвирепел. Это были Володя Почкин и Эдик Амперян, они тащили на свой этаж координатно-измерительную машину весом в полтонны.

— А, Саша?— приветливо сказал Эдик.— Здравствуй, Саша.

— Сашка, посторонись с дороги!— крикнул Володя Почкин, пятясь задом.— Заноси, заноси!..

Я схватил его за ворот:

— Ты почему в институте? Ты как сюда попал?

— Через дверь, через дверь, пусти...— сказал Володя.— Эдька, еще правее! Ты видишь, что не проходит?

Я отпустил его и бросился в вестибюль. Я был охвачен административным негодованием. «Я вам покажу,— бормотал я, прыгая через четыре ступеньки.— Я вам покажу бездельничать. Я вам покажу всех пускать без разбору!..» Макродемоны Вход и Выход, вместо того чтобы заниматься делом, дрожа от азарта и лихорадочно фосфоресцируя, резались в рулетку. На моих глазах забывший свои обязанности Вход сорвал банк примерно в семьдесят миллиардов молекул у забывшего свои обязанности Выхода. Рулетку я узнал сразу. Это была моя рулетка. Я сам смастерил ее для одной вечеринки и держал ее за шкафом в электронном зале, и знал об этом один только Витька Корнеев. Заговор, решил я. Всех разнесу. А через вестибюль все шли и шли покрытые снегом краснолицые веселые сотрудники.

— Ну и метет! Все уши забило...

— А ты тоже ушел?

— Да ну, скукотища... Напились все. Дай, думаю, пойду лучше поработаю. Оставил им дубля и ушел...

— Ты знаешь, танцую я с ней и чувствую, что обрастаю шерстью. Хватил водки — не помогает...

— А если пучок электронов? Масса большая? Ну тогда фотонов...

— Алексей, у тебя лазер свободный есть? Ну, давай хоть газовый...

— Галка, как же это ты мужа оставила?

— Я еще час назад вышел, если хочешь знать. В сугроб, понимаешь, провалился, чуть не занесло меня...

Я понял, что не оправдал. Не было уже смысла отбирать рулетку у демонов, оставалось пойти и вдребезги разругаться с провокатором Витькой, а там будь что будет. Я погрозил демонам кулаком и побрел вверх по

лестнице, пытаясь представить себе, что было бы, если бы в институт сейчас заглянул Модест Матвеевич.

По дороге в приемную директора я остановился в стендовом зале. Здесь усмиряли выпущенного из бутылки джинна. Джинн, огромный, синий от злости, метался в вольере, огороженном щитами Джян бен Джяна и закрытом сверху мощным магнитным полем. Джинна стегали высоковольтными разрядами, он выл, ругался на нескольких мертвых языках, скакал, отрыгивал языки огня, в запальчивости начинал строить и тут же разрушал дворцы, потом, наконец, сдался, сел на пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно завыл:

— Ну хватит, ну отстаньте, ну я больше не буду... Ой-йой-йой... Ну я уже совсем тихий...

У пульта разрядника стояли спокойные немигающие молодые люди, сплошь дубли. Оригиналы же, столпившись около вибростенда, поглядывали на часы и откупоривали бутылки.

Я подошел к ним.

— А, Сашка!

— Сашенция, ты, говорят, дежурный сегодня... Я к тебе потом забегу в зал.

— Эй, кто-нибудь сотворите ему стакан, у меня руки заняты...

Я был ошеломлен и не заметил, как в руке у меня очутился стакан. Пробки грянули в щиты Джян бен Джяна, шипя полилось ледяное шампанское. Разряды смолкли, джинн перестал скулить и начал принюхиваться. Часы принялись бить двенадцать.

— Ребята! Да здравствует понедельник!

Стаканы сдвинулись. Потом кто-то сказал, осматривая бутылку:

— Кто творил вино?

— Я.

— Не забудь завтра заплатить.

— Ну что, еще бутылочку?

— Хватит, простудимся.

— Хороший джинн попался... Нервный немножко.

— Дареному коню...

— Ничего, полетит как миленький. Сорок витков продержится, а там пусть катится со своими нервами.

— Ребята,— робко сказал я,— ночь на дворе... и праздник. Шли бы вы по домам...

На меня посмотрели, меня похлопали по плечу, мне сказали: «Ничего, это пройдет» — и гурьбой двинулись к вольеру... Дубли откатили один из щитов, а оригиналы деловито окружили джинна, крепко взяли его за руки и за ноги и поволокли к вибростенду. Джинн трусливо причитал и неуверенно сулил всем сокровища царей земных. Я одиноко стоял в сторонке и смотрел, как они пристегивают его ремнями и прикрепляют к разным частям его тела микродатчики. Потом я потрогал щит. Он был огромный, тяжелый, изрытый вмятинами от ударов шаровых молний, местами обуглившийся. Щиты Джян бен Джяна были сделаны из семи драконьих шкур, склеенных желчью отцеубийцы, и рассчитаны на прямое попадание молнии. К каждому щиту были обойными гвоздиками прибиты жестяные инвентарные номера. Теоретически на лицевой стороне щитов должны были быть изображения всех знаменитых битв прошлого, а на внутренней — век великих битв грядущего. Практически же на лицевой стороне щита, перед которым я стоял, виднелось что-то вроде реактивного самолета, штурмующего автоколонну, а внутренняя сторона была покрыта странными разводами и напоминала абстрактную картину.

Джинна стали трясти на вибростенде. Он хихикал и взвизгивал: «Ой, щекотно!.. Ой, не могу!..» Я вернулся в коридор. В коридоре пахло бенгальскими огнями. Под потолком крутились шутихи, стуча о стены и оставляя за собой струи цветного дыма, проносились ракеты. Я повстречал дубля Володи Почкина, волочившего гигантскую инкунабулу с медными застежками, двух дублей Романа Ойры-Ойры, изнемогавших под тяжеленным швеллером, потом самого Романа с кучей ярко-синих папок из архива отдела Недоступных Проблем, а затем свирепого лаборанта из отдела Смысла Жизни, конвоирующего на допрос к Хунте стадо ругающихся привидений в плащах крестоносцев... Все были заняты и деловиты.

Трудовое законодательство нарушалось злостно, и я почувствовал, что у меня исчезло всякое желание бороться с этими нарушениями, потому что сюда в двенадцать часов новогодней ночи, прорвавшись через пургу, пришли люди, которым было интереснее доводить до конца или начинать сызнова какое-нибудь полезное дело, чем глушить себя водкою, бессмысленно дрыгать ногами, играть в фанты и заниматься флиртом разных степеней легкости. Сюда пришли люди, которым было приятнее быть друг с другом, чем порознь, которые терпеть не могли всякого рода воскресений, потому что в воскресенье им было скучно. Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было — «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешне. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращают человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну.

В жизни мы не всегда замечаем это. Бездельник и тунеядец, разгильдяй и карьерист продолжают ходить на задних конечностях, разговаривать вполне членораздельно (хотя круг тем у них сужается до предела). Что касается узких брюк и увлечения джазом, по которым одно время пытались определять степень обезьяноподобия, то довольно быстро выяснилось, что они свойственны даже лучшим из магов.

В институте же регресс скрыть было невозможно. Институт предствлял неограниченные возможности для превращения человека в мага. Но он был беспощаден к отступникам и метил их без промаха. Стоило сотруднику предаться хотя бы на час эгоистическим и инстинктивным действиям (а иногда даже просто мыслям), как он со страхом замечал, что пушок на его ушах становится гуще. Это было предупреждение. Так милицейский свисток предупреждает о возможном штрафе, так боль предупреждает о возможной травме. Теперь все зависело от себя. Человек сплошь и рядом не может бороться со своими кислыми мыслями, на то он и человек — переходная ступень от неандертальца к магу. Но он может поступать вопреки этим мыслям, и тогда у него сохраняются шансы. А может и уступить, махнуть на все рукой («Живем один раз», «Надо брать от жизни все», «Все

человеческое мне не чуждо»), и тогда ему остается одно: как можно скорее уходить из института. Там, снаружи, он еще может оставаться по крайней мере добропорядочным мещанином, честно, но вяло отрабатывающим свою зарплату. Но трудно решиться на уход. В институте тепло, уютно, работа чистая, уважаемая, платят неплохо, люди прекрасные, а стыд глаза не выест. Вот и слоняются, провожаемые сочувственными и неодобрительными взглядами, по коридорам и лабораториям, с ушами, покрытыми жесткой серой шерстью, бестолковые, теряющие связность речи, глупеющие на глазах. Но этих еще можно пожалеть, можно пытаться помочь им, можно еще надеяться вернуть им человеческий облик...

Есть другие. С пустыми глазами. Достоверно знающие, с какой стороны у бутерброда масло. По-своему очень даже неглупые. По-своему немалые знатоки человеческой природы. Расчетливые и беспринципные, познавшие всю силу человеческих слабостей, умеющие любое зло обратить себе в добро и в этом неутомимые. Они тщательно выбривают свои уши и зачастую изобретают удивительные средства для уничтожения волосяного покрова. И как часто они достигают значительных высот и крупных успехов в своем основном деле — в строительстве светлого будущего в одной отдельно взятой квартире и на одном отдельно взятом приусадебном участке, отгороженном от остального человечества колючей проволокой...

Я вернулся на свой пост в приемную директора, свалил бесполезные ключи в ящик и прочел несколько страниц из классического труда Я. П. Невструева «Уравнения математической магии». Эта книга читалась, как приключенческий роман, потому что была битком набита поставленными и нерешенными проблемами. Мне жгуче захотелось работать, и я совсем было уже решил начхать на дежурство и уйти к своему «Алдану», как позвонил Модест Матвеевич.

С хрустом жуя, он сердито осведомился.

— Где вы ходите, Привалов? Третий раз звоню, безобразие!

— С Новым годом, Модест Матвеевич,— сказал я.

Некоторое время он молча жевал, потом ответил тоном ниже:

— Соответственно. Как дежурство?

— Только что обошел помещения,— сказал я.— Все нормально.

— Самовозгораний не было?

— Никак нет.

— Везде обесточено?

— Бриарей палец сломал,— сказал я.

Он встревожился.

— Бриарей? Постойте... Ага, инвентарный номер 1489... Почему?

Я объяснил.

— Что вы предприняли?

Я рассказал.

— Правильное решение,— сказал Модест Матвеевич.— Продолжайте дежурить. У меня все.

Сразу после Модеста позвонил Эдик Амерян из отдела Линейного Счастья и вежливо попросил посчитать оптимальные коэффициенты беззаботности для ответственных работников. Я согласился, и мы договорились встретиться в электронном зале через два часа. Потом зашел дубль Ойры-Ойры и бесцветным голосом попросил ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Я отказал. Он стал настаивать. Я выгнал его вон.

Через минуту примчался сам Роман.

— Давай ключи.

Я помотал головой.

— Не дам.
— Давай ключи!
— Иди ты в баню. Я лицо материально ответственное.
— Сашка, я сейф унесу!
Я ухмыльнулся и сказал:
— Прошу.
Роман уставился на сейф и весь напрягся, но сейф был либо заговорен, либо привинчен к полу.
— А что тебе там нужно?— спросил я.
— Документация на РУ-16,— сказал Роман.— Ну дай ключи!
Я засмеялся и протянул руку к ящику с ключами. И в то же мгновение пронзительный вопль донесся откуда-то сверху. Я вскочил.

Глава четвертая

Горе! Малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем...

А. С. Пушкин

— Вылупился,— спокойно сказал Роман, глядя в потолок.
— Кто?— Мне было не по себе: крик был женский.
— Выбегаллов упырь,— сказал Роман.— Точнее, кадавр.
— А почему женщина кричала?
— А вот увидишь,— сказал Роман.
Он взял меня за руку, подпрыгнул, и мы понеслись через этажи. Пронизывая потолки, мы врезались в перекрытия, как нож в замерзшее масло, затем с чмокающим звуком выскакивали в воздух и снова врезались в перекрытия. Между перекрытиями было темно, и маленькие гномы вперемежку с мышами с испуганными писками шарахались от нас, а в лабораториях и кабинетах, через которые мы пролетали, сотрудники с озадаченными лицами смотрели вверх.
В «Родильном Доме» мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегалло. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб, на котором пламенел действующий вулканический прыщ. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате.
Профессор Выбегалло кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная паренными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. При этом он хрустел, чмокал, хрюкал, всхрапывал, склонял голову набок и жмурился, словно от огромного наслаждения. Время от времени, не переставая глотать и давиться, он приходил в волнение, хватал за края чан с отрубями и ведра с обратом, стоявшие рядом с ним на полу, и каждый раз придвигал их к себе все ближе и ближе. На другом конце стола молоденькая ведьма-

практикантка Стелла, с чистыми розовыми ушками, бледная и заплаканная, с дрожащими губками, нарезала хлебные буханки огромными скибками и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках. Центральный автоклав был раскрыт, опрокинут, и вокруг него растеклась обширная зеленоватая лужа.

Выбегалло вдруг произнес неразборчиво:

— Эй, девка... эта... молока давай! Лей, значить, прямо сюда, в отрубя... Силь ву пле, значить...

Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обрат.

— Эх!— воскликнул профессор Выбегалло.— Посуда мала, значить! Ты, девка, как тебя, эта, прямо в чан лей. Будем, значить, из чана кушать...

Стелла стала опрокидывать ведра в чан с отрубями, а профессор, ухвативши кювету, как ложку, принялся черпать отруби и отправлять в пасть.

— Да позвоните же ему!— жалобно закричала Стелла.— Он же сейчас все доест!

— Звонили уже,— сказали в толпе.— Ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.

— Ну, он придет? Придет?

— Сказал, что выходит. Галоши, значить, надевает и выходит. Отойди от него, тебе говорят.

Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель человека, неудовлетворенного желудочно. И слава богу, а то я уж подумал, что профессора хватил мозговой паралич. Как следствие напряженных занятий.

Стелла осторожненько отошла. Ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. В лаборатории, полной народа, стояла потрясенная тишина, и было слышно только, как он сопит и хрустит, словно лошадь, и скребет кюветой по стенкам чана. Мы смотрели. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вывели в коридор. Потом ясный голос Эдика Амперяна произнес:

— Хорошо. Будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб. А потом?

В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском:

— Еще селедочные головы есть...

— Много?

— Две тонны.

— М-да,— сказал Эдик.— И где же они?

— Они должны подаваться по конвейеру,— сказала Стелла.— Но я попробовала, а конвейер сломан...

— Между прочим,— сказал Роман громко,— уже в течение двух минут я пытаюсь его пассивизировать, и совершенно безрезультатно...

— Я тоже,— сказал Эдик.

— Поэтому,— сказал Роман,— было бы очень хорошо, если бы кто-нибудь из особо брезгливых занялся починкой конвейера. Как паллиатив. Есть тут кто-нибудь еще из магистров? Эдика я вижу. Еще кто-нибудь есть? Корнеев! Виктор Павлович, ты здесь?

— Нет его. Может быть, за Федором Симеоновичем сбегать?

— Я думаю, пока не стоит беспокоить. Справимся как-нибудь. Эдик, давай-ка вместе, сосредоточенно.

— В каком режиме?

— В режиме торможения. Вплоть до тетануса. Ребята, помогайте все, кто умеет.

— Одну минутку,— сказал Эдик.— А если мы его повредим?

— Да-да-да — сказал я.— Вы уж лучше не надо. Пусть уж он лучше меня сожрет.

— Не беспокойся, не беспокойся. Мы будем осторожны. Эдик, давай на прикосновениях. В одно касание.

— Начали,— сказал Эдик.

Стало еще тише. Кадавр ворочался в чане, а за стеной переговаривались и постукивали добровольцы, возившиеся с конвейером. Прошла минута. Кадавр вылез из чана, утер бороду, сонно посмотрел на нас и вдруг ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он рокочуще отрыгнулся и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался. Он был несомненно счастлив, как бывает счастлив предельно уставший человек, добравшийся, наконец, до желанной постели.

— Подействовало, кажется,— с облегченным вздохом сказал кто-то в толпе.

Роман с сомнением поджал губы.

— У меня нет такого впечатления,— вежливо сказал Эдик.

— Может быть, у него завод кончился?— сказал я с надеждой.

Стелла жалобно сообщила:

— Это просто релаксация... Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется.

— Слабаки вы, магистры,— сказал мужественный голос.— Пустите-ка меня, пойду Федора Симеоныча позову.

Все переглядывались, неуверенно улыбаясь. Роман задумчиво играл умклайдетом, катая его на ладони. Стелла дрожала, шепча: «Что ж это будет? Саша, я боюсь!» Что касается меня, то я выпячивал грудь, хмурил брови и боролся со страстным желанием позвонить Модесту Матвеевичу. Мне ужасно хотелось снять с себя ответственность. Эта была слабость, и я был бессилен перед ней. Модест Матвеевич представлялся мне сейчас совсем в особом свете. Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!»— как упырь немедленно бы прекратил.

— Роман,— сказал я небрежно,— я думаю, что в крайнем случае ты способен его дематериализовать?

Роман засмеялся и похлопал меня по плечу.

— Не трусь,— сказал он.— Это все игрушки. С Выбегаллой только связываться неохота... Этого ты не бойся, ты вон того бойся!— Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу.

Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне. Глаза кадавра раскрылись. Сначала он нагнулся и заглянул в чан. Потом погремел пустыми ведрами. Потом замер и некоторое время сидел неподвижно. Выражение довольства на его лице сменилось выражением горькой обиды. Он приподнялся, быстро обнюхал, шевеля ноздрями, стол и, вытянув длинный красный язык, слизнул крошки.

— Ну, держись, ребята...— прошептали в толпе.

Кадавр сунул руку в чан, вытащил кювету, осмотрел ее со всех сторон и осторожно откусил край. Брови его страдальчески поднялись. Он откусил еще кусок и захрустел. Лицо его посинело, словно от сильного раздражения, глаза увлажнились, но он кусал раз за разом, пока не сжевал всю

кювету. С минуту он сидел в задумчивости, пробуя пальцами зубы, затем медленно прошелся взглядом по замершей толпе. Нехороший у него был взгляд — оценивающий, выбирающий какой-то. Володя Почкин непроизвольно произнес: «Но-но, тихо, ты...» И тут пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль, тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора четырьмя этажами ниже. Я содрогнулся. Кадавра это тоже смутило: он опустил глаза и нервно забарабанил пальцами по столу.

В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло. Настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.

— Милай!— закричал он.— Что же это, а? Кель сетуасьен![1] Стелла, что же ты, эта, смотришь!.. Где селедка? У него же потребности!.. У него же они растут!.. Мои труды читать надо!

Он приблизился к кадавру, и кадавр сейчас же принялся жадно его обнюхивать. Выбегалло отдал ему зипун.

— Потребности надо удовлетворять!— говорил он, торопливо щелкая переключателями на пульте конвейера.— Почему сразу не дала? Ох уж эти ле фам, ле фам![2] Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе, а заговорен. Чтоб, значить, не всяк мог пользоваться, потому что, эта, потребности у всех, а селедка — для модели...

В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выбегалло, стоя рядом, хлопал в ладоши, радостно вскрикивал и время от времени, переполняясь чувствами, принимался чесать кадавра за ухом.

Толпа облегченно вздыхала и шевелилась. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой двух корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомые — Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались по науке, Г. Проницательный был прославлен фразой: «Оорт первый взглянул на звездное небо и заметил, что Галактика вращается». Ему же принадлежали: литературная запись повествования Мерлина о путешествии с председателем райсовета и интервью, взятое (по неграмотности) у дубля Ойры-Ойры. Интервью имело название «Человек с большой буквы» и начиналось словами: «Как всякий истинный ученый, он был немногословен...» Б. Питомник паразитировал на Выбегалле. Его боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающе-самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов.

Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства и он задремал, подоспевшие лаборанты Выбегаллы, с корнем выдранные из-за новогодних столов и потому очень неприветливые, торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать.

---

[1] Ну и дела! *(франц.)*

[2] Женщины, женщины! *(франц.)*.

— Главное — что?— с готовностью провозгласил Выбегалло.— Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках: счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, все, что хочет, а хочет все, что может. Нес па, товарищи? Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Но эта модель, товарищи, хочет, и это уже хорошо. Так сказать, экселент, ексви, шармант [1]. И еще, товарищи, вы сами видите, что она может. И это еще лучше, потому что раз так, то она... он, значить, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может удивлять; потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся. Вот оно сейчас просыпается... Оно хочет. И потому оно пока несчастно. Но оно может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во, во!.. Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный!.. Во, во! Вот как оно может! Минут десять — пятнадцать оно может... Вы, товарищ Питомник, там свой фотоаппаратик отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Вот так. Теперь оно смогло и диалектически переходит к счастью. К довольству то есть. Видите, оно глаза закрыло. Наслаждается. Ему хорошо. Я вам научно утверждаю, что готов был бы с ним поменяться. В данный, конечно, момент... Вы, товарищ Проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю... Вот теперь оно дремлет, но это еще не все. Потребности должны идти у нас как вглубь, так и вширь. Это, значить, будет единственно верный процесс. Он ди ке [2], Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур [3]. Что мы, применительно к данному случаю, переведем так: голодной куме все хлеб на уме...

— Наоборот,— сказал Ойра-Ойра.

Некоторое время Выбегалло пусто смотрел на него, затем сказал:

— Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметим с негодованием. Как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного — от практики. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету... Мы, товарищи, не забываем, что ко всему этому надо иметь способности, в то время как удовлетворение матпотребностей особенных способностей не требует, они всегда есть, ибо природа следует материализму. Пока насчет духовных способностей данной модели мы сказать ничего не можем, поскольку ее рациональное зерно есть желудочная неудовлетворенность. Но эти духспособности мы сейчас у нее вычленим.

Угрюмые лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Кадавр окинул

---

[1] Чудесно, превосходно, прелестно *(франц.)*

[2] Говорят, что... *(франц.)*

[3] Сытое брюхо к учению глухо *(лат.)*.

инструменты культуры равнодушным взором и попробовал на вкус магнитофонную ленту. Стало ясно, что духспособности модели спонтанно не проявятся. Тогда Выбегалло приказал начать, как он выразился, насильственное внедрение культурных навыков. Магнитофон сладко запел: «Мы с милым расставалися, клялись в любви своей...» Радиоприемник засвистел и заулюлюкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать вслух...

Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий Выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана (из радиоприемника) и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Это подрагивание привело его в восторг.

— Ногу!— закричал он, хватаясь за рукав Б. Питомника.— Снимайте ногу! Крупным планом! Ля вибрасьен са моле гош этюн гранд синь![1] Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают! Уи сан дот [2], человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом, а я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно — только одной потребности и, называя вещи своими именами, прямо, по-нашему, без всех этих вуалей,— модель потребности желудочной. Потому у нее такое ограничение и в духпотребностях. А мы утверждаем, что только разнообразие матпотребностей может обеспечить разнообразие духпотребностей. Поясняю для прессы на доступном ей примере. Ежели бы, скажем, была у него ярко выраженная потребность в данном магнитофоне «Астра-7» за сто сорок рублей, каковая потребность должна пониматься нами как материальная, и оно бы этот магнитофон заимело, то оно бы данный магнитофон и крутило бы, потому что, сами понимаете, что еще с магнитофоном делать? А раз крутило бы, то с музыкой, а раз музыка — надо ее слушать или там танцевать... А что, товарищи, есть слушанье музыки с танцами или без них? Это есть удовлетворение духпотребностей. Копране ву?

Я уже давно заметил, что поведение кадавра существенно переменилось. То ли в нем что-то разладилось, то ли так и должно было быть, но время релаксаций у него все сокращалось и сокращалось, так что к концу речи Выбегаллы он уже не отходил от конвейера. Впрочем, возможно, ему просто стало трудно передвигаться.

— Разрешите вопрос,— вежливо сказал Эдик.— Чем вы объясняете прекращение пароксизмов довольства?

Выбегалло замолк и посмотрел на кадавра. Кадавр жрал. Выбегалло посмотрел на Эдика.

— Отвечаю,— самодовольно сказал он.— Вопрос, товарищи, верный. И, я бы даже сказал, умный вопрос, товарищи. Мы имеем перед собою конкретную модель непрерывно возрастающих материальных потребностей. И только поверхностному наблюдателю может казаться, что пароксизмы довольства якобы прекратились. На самом деле они диалектически перешли в новое качество. Они, товарищи, распространились на сам процесс удовлетворения потребностей. Теперь ему мало быть сытым. Теперь по-

---

[1] Дрожание его левой икры есть великий признак *(фран.)*.

[2] Разумеется *(франц.)*.

требности возросли, теперь ему надо все время кушать, теперь он самообучился и знает, что жевать — это тоже прекрасно. Понятно, товарищ Амперян?

Я посмотрел на Эдика. Эдик вежливо улыбался. Рядом с ним стояли рука об руку дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича. Головы их, с широко расставленными ушами, медленно поворачивались вокруг оси, как аэродромные радиолокаторы.

— Еще вопрос можно?— сказал Роман.

— Прошу,— сказал Выбегалло с устало-снисходительным видом.

— Амвросий Амбруазович,— сказал Роман,— а что будет, когда оно все потребит?

Взгляд Выбегалло стал гневным.

— Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизмом, экзистенцио...оа...нализмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что же хотите сказать этим вопросом, товарищ Ойра-Ойра? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ Ойра-Ойра! Не подумали вы! А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.

Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный,скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос:

— Я, конечно, не специалист. Но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно. Но очень уж активно она потребляет.

Выбегалло горько усмехнулся.

— Вот видите, товарищ Ойра-Ойра,— сказал он.— Так вот и возникают нездоровые сенсации. Вы, не подумав, задали вопрос. И вот уже рядовой товарищ неверно сориентирован. Не на тот идеал смотрит. Не на тот идеал смотрите, товарищ Проницательный!— обратился он прямо к корреспонденту.— Данная модель есть уже пройденный этап! Вот идеал, на который нужно смотреть!— Он подошел ко второму автоклаву и положил рыжеволосую руку на его полированный бок. Борода его задралась.— Вот наш идеал!— провозгласил он.— Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить. С помощью нашей науки, разумеется. Поясняю для прессы. Модель универсального потребителя, заключенная в этом автоклаве, или, говоря по-нашему, в самозапиральнике, хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею. Потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья, то есть для удовлетворенности. Материально-магические силы сами извлекут из окружающей природы все ей необходимое. Счастье данной модели будет неописуемым. Она не будет знать ни голода, ни жажды, ни зубной боли, ни личных неприятностей. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.

— Простите,— вежливо сказал Эдик,— и все ее потребности будут материальными?

— Ну разумеется!— вскричал Выбегалло.— Духовные потребности разовьются в соответствии! Я уже отмечал, что чем больше материальных

потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей!

Я оглядел присутствующих. Многие были ошарашены. Корреспонденты отчаянно писали. Некоторые, как я заметил, со странным выражением переводили взгляд с автоклава на непрерывно глотающего кадавра и обратно. Стелла, припав лбом к моему плечу, всхлипывала и шептала: «Уйду я отсюда, не могу, уйду...» Я, кажется, тоже начинал понимать, чего опасался Ойра-Ойра. Мне представилась громадная отверстая пасть, в которую, брошенные магической силой, сыплются животные, люди, города, континенты, планеты и солнца...

Б. Питомник снова обратился к Выбегалле:

— А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?

— Ответ,— сказал Выбегалло.— Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно.

— Но это будет в ближайшие дни?

— Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать.

Тут дубли Федора Симеоновича и Кристобаля Хозевича, словно по команде, повернулись и вышли. Ойра-Ойра сказал:

— Вам не кажется, Амвросий Амбруазович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города опасно?

— Нам опасаться нечего,— веско сказал Выбегалло.— Пусть наши враги, эта, опасаются.

— Помните, я говорил вам, что возможна...

— Вы, товарищ Ойра-Ойра, недостаточно, значить, подкованы. Отличать надо, товарищ Ойра-Ойра, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще...

— Все-таки, может быть, на полигоне...

— Я испытываю не бомбу,— высокомерно сказал Выбегалло.— Я испытываю модель идеального человека. Какие будут еще вопросы?

Какой-то умник из отдела Абсолютного Знания принялся расспрашивать о режиме работы автоклава. Выбегалло с охотой пустился в объяснения. Угрюмые лаборанты собирали свою технику удовлетворения духпотребностей. Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Ойра-Ойра изучающе глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:

— Есть предложение. Всем лично не заинтересованным немедленно покинуть помещение.

Все обернулись к нему.

— Сейчас здесь будет очень грязно,— пояснил он.— До невозможности грязно.

— Это провокация,— с достоинством сказал Выбегалло.

Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили, Выбегалле — нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты, а мы столпились в коридоре.

— В чем дело?— спрашивали Романа.— Что будет? Почему грязно?

— Сейчас он рванет,— отвечал Роман, не сводя глаз с двери.

— Кто рванет? Выбегалло?

— Корреспондентов жалко,— сказал Эдик.— Слушай, Саша, душ у нас сегодня работает?

Дверь лаборатории отворилась, и оттуда вышли два лаборанта, волоча чан с пустыми ведрами. Третий лаборант, опасливо оглядываясь, суетился вокруг и бормотал: «Давайте, ребята, давайте, я помогу, тяжело ведь...»

— Двери закройте,— посоветовал Роман.

Суетящийся лаборант поспешно захлопнул дверь и подошел к нам, вытаскивая сигареты. Глаза у него были круглые и бегали.

— Ну, сейчас будет...— сказал он.— Проницательный — дурак, я ему подмигивал... Как он жрет!... С ума сойти, как он жрет...

— Сейчас двадцать пять минут третьего...— начал Роман.

И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла. Дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесло фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись, Стелла опять взвизгнула.

— Спокойно,— сказал Роман.— Уже все. Одним потребителем на земле стало меньше.

Лаборант, белый, как халат, непрерывно затягиваясь, курил сигарету. Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Я нерешительно промямлил:

— Надо посмотреть, что ли.

Никто не отозвался. Все сочувственно смотрели на меня. Стелла тихо плакала и держала меня за куртку. Кто-то кому-то объяснял шепотом: «Он дежурный сегодня, понял?.. Надо же кому-то идти выгребать...»

Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям, но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и Выбегалло.

Господи, в каком они были виде!..

Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул.

Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда домовых-ассенизаторов.

Глава пятая

Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете.

Ф. Рабле

Больше всего меня поразило то, что Выбегалло нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами и умащивая благовониями, он вещал фальцетом:

— Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались. Что, мол, будет, да как, мол, его остановить... Есть, есть в вас, товарищи, этакий нездоровый, значить, скептицизм. Я бы сказал, этакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие? Лопнуло! Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы...

Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов.

Г. Проницательного била крупная дрожь.

Б. Питомник мотал головой и непроизвольно облизывался.

Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла

в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало: кучка пуговиц с надписью «фор джентльмен»[1], рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гигантопитека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегалло осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне,— сказал он.— Прочим предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия» и информационной заметки «Профессор Выбегалло рассказывает».

Зрители разошлись. Ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Полуэктовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую Выбегалло отказывался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты. Ушел Эдик, окруженный толпою теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше восьми утра.

Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак Выбегалло или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умел создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию и закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали и с точки зрения науки представляли не больший интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотание. Можно было, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липли к Выбегалле, как мухи к помойке. Потому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутные ощущения каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенным возможности (да и желания) разобраться в сути вопроса. Если не считать двух-трех изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой: это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование.

Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо-непонятными. Люди далекие от науки в наше время ждут от нее чуда и только чуда и практически не способны отличить настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальтомортале. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие, и это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую

[1] «Мужские» *(англ.)*.

частную проблемку, известную под названием Великой проблемы Ауэрса! Ее решил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегаллу. («Как, вы работаете в НИИЧАВО? Ну как там Выбегалло? Что он еще новенького сотворил?») Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего двести—триста человек на всем земном шаре, и среди этих двух-трех сотен довольно много членов-корреспондентов и — увы!— нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б. Питомника изрядный шум. (Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости.)

Время было позднее. Я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть: многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегалло, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собою мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру.

«Брысь!» — заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу. Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал из небытия это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом «Уравнений математической магии», открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. «Вот так возникают нездоровые сенсации»,— подумал я.

Было шесть часов утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось и хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз восемнадцать часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля.

Вообще я пока еще очень слабый маг. Неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть, а заодно немного попрактиковаться. В «Уравнениях матмагии» я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, и он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по шести пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к З. Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе Колеса Фортуны — не знаю, не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак.

Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, что бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе.Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеянностью я вообразил себя богом-творцом

и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом — сливочным, из хрустальной масленки — и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая. С кофе я решил пока подождать. Когда я осторожно разжмурился, на докторском халате лежал большой кусок горного хрусталя, внутри которого что-то темнело. Я поднял этот кристалл, за кристаллом потянулся халат, необъяснимо к нему приросший, а внутри кристалла я различал вожделенный бутерброд, очень похожий на настоящий. Я застонал и попробовал мысленно расколоть кристалл. Он покрылся густой сетью трещин, так что бутерброд почти исчез из виду. «Тупица,— сказал я себе,— ты съел тысячи бутербродов, и ты не способен сколько-нибудь отчетливо вообразить их. Не волнуйся, никого нет, никто тебя не видит. Это не зачет, не контрольная и не экзамен. Попробуй еще раз». И я попробовал. Лучше бы и не пробовал. Воображение мое почему-то разыгралось, в мозгу вспыхивали и гасли самые неожиданные ассоциации, и, по мере того как я пробовал, приемная наполнялась странными предметами. Многие из них вышли, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов. Они имели конечности и непрерывно двигались, они издавали отвратительные звуки, они были неприличны, они были агрессивны и все время дрались. Я затравленно озирался. Все это живо напоминало мне старинные гравюры, изображающие сцены искушения святого Антония. Особенно неприятным было овальное блюдо на паучьих лапах, покрытое по краям жесткой редкой шерстью. Не знаю, что ему от меня было нужно, но оно отходило в дальний угол комнаты, разгонялось и со всего маху поддавало мне под коленки, пока я не прижал его креслом к стене. Часть предметов в конце концов мне удалось уничтожить, остальные разбрелись по углам и попрятались. Остались: блюдо, халат с кристаллом и кружка с черной жидкостью, разросшаяся до размеров кувшина. Я поднял ее обеими руками и понюхал. По-моему, это были черные чернила для авторучки. Блюдо за креслом шевелилось, царапая лапами цветной линолеум, и мерзко шипело. Мне было очень неуютно.

В коридоре послышались шаги и голоса, дверь распахнулась, на пороге появился Янус Полуэктович и, как всегда, произнес: «Так». Я заметался. Янус Полуэктович прошел к себе в кабинет, на ходу небрежно, одним универсальным движением брови ликвидировав всю сотворенную мною кунсткамеру. За ним проследовал Федор Симеонович, Кристобаль Хунта с толстой черной сигаретой в углу рта, насупленный Выбегалло и решительный Роман Ойра-Ойра. Все они были озабочены, очень спешили и не обратили на меня никакого внимания. Дверь в кабинет осталась открытой. Я с облегченным вздохом уселся на прежнее место и тут обнаружил, что меня поджидает большая фарфоровая кружка с дымящимся кофе и тарелка с бутербродами. Кто-то из титанов обо мне все-таки позаботился, уж

не знаю кто. Я принялся завтракать, прислушиваясь к голосам, доносящимся из кабинета.

— Начнем с того,— с холодным презрением говорил Кристобаль Хозевич,— что ваш, простите «Родильный Дом» находится в точности под моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение десяти минут был вынужден ждать, пока в моем кабинете вставят вылетевшие стекла. Я сильно подозреваю, что аргументы более общего характера вы во внимание не примете, и потому исхожу из чисто эгоистических соображений...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь,— отвечал Выбегалло фальцетом.— Я до вашего этажа не касаюсь, хотя вот у вас в последнее время бесперечь течет живая вода. Она у меня весь потолок замочила, и клопы от нее заводятся. Но я вашего этажа не касаюсь, а вы не касайтесь моего.

— Г-голубчик,— пророкотал Федор Симеонович,— Амвросий Амбруазович! Н-надо же принять во в-внимание в-возможные осложнения... Ведь никто же не занимается, скажем, д-драконом в здании, х-хотя есть и огнеупоры, и...

— У меня не дракон, у меня счастливый человек! Исполин духа! Както странно вы рассуждаете, товарищ Киврин, странные у вас аналогии, чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовый огнедышащий дракон!..

— Г-голубчик, да дело же не в том, ч-что он внеклассовый, а в том, что он п-пожар может устроить...

— Вот, опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о д-драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович! Вы всячески замазываете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между городом и деревней... между мужчиной и женщиной, наконец... Но замазывать пропасть мы вам не позволим, Федор Симеонович!

— К-какую пропасть? Что за ч-чертовщина, Р-роман, в конце концов?.. Вы же ему при мне об-объясняли! Я г-говорю, Амвросий Амб-бруазович, что ваш эксперимент оп-пасен, понимаете?.. Г-город можно повредить, п-понимаете?

— Я-то все понимаю. Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру!

— Амвросий Амбруазович,— сказал Роман,— я могу еще раз повторить свою аргументацию. Эксперимент опасен потому...

— Вот я, Роман Петрович, давно на вас смотрю и никак не могу понять, как вы можете применять такие выражения к человеку-идеалу. Идеальный человек ему, видите ли, опасен!

Тут Роман, видимо по молодости лет, потерял терпение.

— Да не идеальный человек!— заорал он.— А ваш гений-потребитель!

Воцарилось зловещее молчание.

— Как вы сказали?— страшным голосом осведомился Выбегалло.— Повторите. Как вы назвали идеального человека?

— Й-янус Полуэктович,— сказал Федор Симеонович,— так, друг мой, нельзя все-таки...

— Нельзя!— воскликнул Выбегалло.— Правильно, товарищ Киврин, нельзя! Мы имеем эксперимент международно-научного звучания! Исполин духа должен появиться здесь, в стенах нашего института! Это симво-

лично! Товарищ Ойра-Ойра с его прагматическим уклоном делячески, товарищи, относится к проблеме! И товарищ Хунта тоже смотрит узколобо! Не смотрите на меня, товарищ Хунта; царские жандармы меня не запугали, и вы меня тоже не запугаете! Разве в нашем, товарищи, духе бояться эксперимента? Конечно, товарищу Хунте, как бывшему иностранцу и работнику церкви, позволительно временами заблуждаться, но вы-то, товарищ Ойра-Ойра, и вы, Федор Симеонович, вы же простые русские люди!

— П-прекратите д-демагогию!— взорвался, наконец, и Федор Симеонович.— К-как вам не с-совестно нести такую чушь? К-какой я вам п-простой человек? И что это за слово такое — п-простой? Это д-дубли у нас простые!..

— Я могу сказать только одно,— равнодушно сообщил Кристобаль Хозевич.— Я простой бывший Великий Инквизитор, и я закрою доступ к вашему автоклаву до тех пор, пока не получу гарантии, что эксперимент будет производиться на полигоне.

— Н-не ближе пяти к-километров от г-города,— добавил Федор Симеонович.— Или д-даже десяти.

По-видимому, Выбегалле ужасно не хотелось тащить свою аппаратуру и тащиться самому на полигон, где была вьюга и не было достаточного освещения для кинохроники.

— Так,— сказал он,— понятно. Отгораживаете нашу науку от народа. Тогда уж, может быть, не на десять километров, а прямо уж на десять тысяч километров, Федор Симеонович? Где-нибудь по ту сторону? Где-нибудь на Аляске, Кристобаль Хозевич, или откуда вы там? Так прямо и скажите. А мы запишем.

Снова воцарилось молчание, и было слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— Лет триста назад,— холодно произнес Хунта,— за такие слова я пригласил бы вас на прогулку за город, где отряхнул бы вам пыль с ушей и проткнул насквозь.

— Ничего, ничего,— сказал Выбегалло.— Это вам не Португалия. Критики не любите. Лет триста назад я бы с тобой тоже не особенно церемонился, кафолик недорезанный.

Меня скрутило от ненависти. Почему молчит Янус? Сколько же можно? В тишине раздались шаги, в приемную вышел бледный, оскаленный Романи, щелкнув пальцами, создал дубль Выбегаллы. Затем он с наслаждением взял дубля за грудь, мелко потряс, взялся за бороду, сладострастно рванул несколько раз, успокоился, уничтожил дубля и вернулся в кабинет.

— А ведь в-вас гнать надо, В-выбегалло,— неожиданно спокойным голосом произнес Федор Симеонович.— Вы, оказывается, н-неприятная фигура.

— Критики, критики не любите,— отвечал, отдуваясь, Выбегалло.

И вот тут, наконец, заговорил Янус Полуэктович. Голос у него был мощный, ровный как у джек-лондоновских капитанов.

— Эксперимент, согласно просьбе Амвросия Амбруазовича, будет произведен сегодня в десять ноль-ноль. Ввиду того, что эксперимент будет сопровождаться значительными разрушениями, которые едва не повлекут за собой человеческие жертвы, местом эксперимента назначаю дальний сектор полигона в пятнадцати километрах от городской черты. Пользуюсь случаем заранее поблагодарить Романа Петровича за его находчивость и мужество.

Некоторое время, по-видимому, все переваривали это решение. Во всяком случае, я переваривал. У Януса Полуэктовича была все-таки, не-

сомненно, странная манера выражать свои мысли. Впрочем, все охотно верили, что ему виднее. Были уже прецеденты.

— Я пойду вызову машину,— сказал вдруг Роман и, вероятно, прошел сквозь стену, потому что в приемной не появился.

Федор Симеонович и Хунта, наверное, согласно кивали головами, а оправившийся Выбегалло вскричал:

— Правильное решение, Янус Полуэктович! Вовремя вы нам напомнили о потерянной бдительности. Подальше, подальше от посторонних глаз. Только вот грузчики мне понадобятся. Автоклав у меня тяжелый, значить, пять тонн все-таки...

— Конечно,— сказал Янус.— Распорядитесь.

В кабинете задвигали креслами, и я торопливо допил кофе.

В течение последующего часа я вместе с теми, кто еще оставался в институте, торчал у подъезда и наблюдал, как грузят автоклав, стереотрубы, бронещиты и зипуны на всякий случай. Буран утих, утро стояло морозное и ясное.

Роман пригнал грузовик на гусеничном ходу. Вурдалак Альфред привел грузчиков-гекатонхейров. Котт и Гиес шли охотно, оживленно галдя в сотню глоток и на ходу засучивая многочисленные рукава, а Бриарей тащился следом, выставив вперед корявый палец, и ныл, что ему больно, что у него несколько голов кружатся, что он ночь не спал. Котт взял автоклав, Гиес — все остальное. Тогда Бриарей, увидев, что ему ничего не досталось, принялся распоряжаться, давать указания и помогать советами. Он забегал вперед, открывал и держал двери, то и дело присаживался на корточки и, заглядывая снизу, кричал: «Пошло! Пошло!» или «Правее бери! Зацепляешься!» В конце концов ему наступили на руку, а самого защемили между автоклавом и стеной. Он разрыдался, и Альфред отвел его обратно в виварий.

В грузовик набилось порядочно народу. Выбегалло залез в кабину водителя. Он был очень недоволен и у всех спрашивал, который час. Грузовик уехал было, но через пять минут вернулся, потому что выяснилось, что забыли корреспондентов. Пока их искали, Котт и Гиес затеяли играть в снежки, чтобы согреться, и выбили два стекла. Потом Гиес сцепился с каким-то ранним пьяным, который кричал: «Все на одного, да?» Гиеса оттащили и затолкали обратно в кузов. Он вращал глазами и грозно ругался по-эллински. Появились дрожащие со сна Г. Проницательный и В. Питомник.

Институт опустел. Было половина девятого. Весь город спал. Мне очень хотелось отправиться вместе со всеми на полигон, но делать было нечего, я вздохнул и пустился во второй обход.

Я, зевая, шел по коридорам и гасил везде свет, пока не добрался до лаборатории Витьки Корнеева. Витька Выбегалловыми экспериментами не интересовался. Он говорил, что таких, как Выбегалло, нужно беспощадно передавать Хунте в качестве подопытных животных на предмет выяснения, не являются ли они летальными мутантами. Поэтому Витька никуда не поехал, а сидел на диване-трансляторе, курил сигарету и лениво беседовал с Эдиком Амперяном, Эдик лежал рядом и, задумчиво глядя в потолок, сосал леденец. На столе в ванне с водой бодро плавал окунь.

— С Новым годом,— сказал я.

— С Новым годом,— приветливо отозвался Эдик.

— Вот пусть Сашка скажет,— предложил Корнеев.— Саша, бывает небелковая жизнь?

— Не знаю,— сказал я.— Не видел. А что?

— Что значит — не видел? М-поле ты тоже никогда не видел, а напряженность его рассчитываешь.

— Ну и что?— сказал я. Я смотрел на окуня в ванне. Окунь плавал кругами, лихо поворачиваясь на виражах, и тогда было видно, что он выпотрошен.— Витька,— сказал я,— получилось все-таки?

— Саша не хочет говорить про небелковую жизнь,— сказал Эдик.— И он прав.

— Без белка жить можно,— сказал я,— а вот как он живет без потрохов?

— А вот товарищ Амперян говорит, что без белка жить нельзя,— сказал Витька, заставляя струю табачного дыма сворачиваться в смерч и ходить по комнате, огибая предметы.

— Я говорю, что жизнь — это белок,— возразил Эдик.

— Не ощущаю разницы,— сказал Витька.— Ты говоришь, что если нет белка, то нет и жизни.

— Да.

— Ну, а это что?— спросил Витька. Он слабо помахал рукой.

На столе рядом с ванной появилось отвратительное существо, похожее на ежа и на паука одновременно. Эдик приподнялся и заглянул на стол.

— Ах,— сказал он и снова лег.— Это не жизнь. Это нежить. Разве Кощей Бессмертный — это небелковое существо?

— А что тебе надо?— спросил Корнеев.— Двигается? Двигается. Питается? Питается. И размножаться может. Хочешь, он сейчас размножится?

Эдик вторично приподнялся и заглягул на стол. Еж-паук неуклюже топтался на месте. Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно.

— Нежить не есть жизнь,— сказал Эдик.— Нежить существует лишь постольку, поскольку существует разумная жизнь. Можно даже сказать точнее: поскольку существуют маги. Нежить есть отход деятельности магов.

— Хорошо,— сказал Витька.

Еж-паук исчез. Вместо него на столе появился маленький Витька Корнеев, точная копия настоящего, но величиной с руку. Он щелкнул маленькими пальчиками и создал микродубля еще меньшего размера. Тот тоже щелкнул пальцами. Появился дубль величиной с авторучку. Потом величиной со спичечный коробок. Потом — с наперсток.

— Хватит?— спросил Витька.— Каждый из них маг. Ни в одном нет и молекулы белка.

— Неудачный пример,— сказал Эдик с сожалением.— Во-первых, они ничем принципиально не отличаются от станка с программным управлением. Во-вторых, они являются не продуктом развития, а продуктом твоего белкового мастерства. Вряд ли стоит спорить, способна ли дать эволюция саморазмножающиеся станки с программным управлением.

— Много ты знаешь об эволюции,— сказал грубый Корнеев.— Тоже мне Дарвин! Какая разница, химический процесс или сознательная деятельность. У тебя тоже не все предки белковые. Прапрапраматерь твоя была, готов признать, достаточно сложной, но вовсе не белковой молекулой. И может быть, наша так называемая сознательная деятельность есть тоже некая разновидность эволюции. Откуда мы знаем, что цель природы — создать товарища Амперяна? Может быть, цель природы — это создание нежити руками товарища Амперяна. Может быть...

— Понятно, понятно. Сначала протовирус, потом белок, потом товарищ Амперян, а потом вся планета заселяется нежитью.

— Именно,— сказал Витька.

— А мы все за ненадобностью вымерли.

— А почему бы и нет?— сказал Витька.

— У меня есть один знакомый,— сказал Эдик.— Он утверждает, будто человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона.

— А почему бы в конце концов и нет?

— А потому, что мне не хочется,— сказал Эдик.— У природы свои цели, а у меня свои.

— Антропоцентрист,— сказал Витька с отвращением.

— Да,— гордо сказал Эдик.

— С антропоцентристами дискутировать не желаю,— сказал грубый Корнеев.

— Тогда давай рассказывать анекдоты,— спокойно предложил Эдик и сунул в рот еще один леденец.

Витькины дубли на столе продолжали работать. Самый маленький дубль был уже ростом с муравья. Пока я слушал спор антропоцентриста с космоцентристом, мне пришла в голову одна мысль.

— Ребятишечки,— сказал я с искусственным оживлением.— Что же это вы не пошли на полигон?

— А зачем?— спросил Эдик.

— Ну, все-таки интересно...

— Я никогда не хожу в цирк,— сказал Эдик.— Кроме того: уби нил валес, иби нил велис [1].

— Это ты о себе?— спросил Витька.

— Нет. Это я о Выбегалле.

— Ребятишечки,— сказал *я*,— я ужасно люблю цирк. Не все ли вам равно, где рассказывать анекдоты?

— То есть?— сказал Витька.

— Подежурьте за меня, а я сбегаю на полигон.

— Холодно,— напомнил Витька.— Мороз. Выбегалло.

— Очень хочется,— сказал я.— Очень все это таинственно.

— Отпустим ребенка?— спросил Витька у Эдика.

Эдик покивал.

— Идите, Привалов,— сказал Витька.— Это будет вам стоить четыре часа машинного времени.

— Два,— сказал я быстро. Я ждал чего-нибудь подобного.

— Пять,— нахально сказал Витька.

— Ну три,— сказал я.— Я и так все время на тебя работаю.

— Шесть,— хладнокровно сказал Витька.

— Витя,— сказал Эдик,— у тебя на ушах отрастет шерсть.

— Рыжая,— сказал я злорадно.— Может быть, даже с прозеленью.

— Ладно уж,— сказал Витька.— Иди даром. Два часа меня устроят.

Мы вместе прошли в приемную. По дороге магистры затеяли невнятный спор о какой-то циклотации, и мне пришлось их прервать, чтобы они трансгрессировали меня на полигон. Я им уже надоел, и, спеша от меня отделаться, они провели трансгрессию с такой энергией, что я не успел одеться и влетел в толпу зрителей спиной вперед.

На полигоне все было готово. Публика пряталась за бронещиты. Выбегалло торчал из свежевырытой траншеи и молодецки смотрел в большую стереотрубу. Федор Симеонович и Кристобаль Хунта с сорокакратными биноктарами в руках тихо переговаривались по-латыни. Янус По-

[1] Где ты ни на что не способен, там ты не должен ничего хотеть *(лат.)*.

луэктович в большой шубе равнодушно стоял в стороне и ковырял тростью снег. Б. Питомник сидел на корточках возле траншеи с раскрытой книжечкой и авторучкой наготове. А. Г. Проницательный, увешанный фото- и киноаппаратами, тер замерзшие щеки, крякал и стучал ногой об ногу за его спиной.

Небо было ясное, полная луна склонялась к западу. Мутные стрелы полярного сияния появлялись, дрожа, среди звезд и исчезали вновь. Блестел снег на равнине, и большой округлый цилиндр автоклава был отчетливо виден в сотне метров от нас.

Выбегалло оторвался от стереотрубы, прокашлялся и сказал:

— Товарищи! То-ва-ри-щи! Что мы наблюдаем в эту стереотрубу? В эту стереотрубу, товарищи, мы, обуреваемые сложными чувствами, замирая от ожидания, наблюдаем, как защитный колпак начинает автоматически отвинчиваться... Пишите, пишите,— сказал он Б. Питомнику.— И поточнее пишите... Автоматически, значить, отвинчиваться. Через несколько минут мы будем иметь появление среди нас идеального человека — шевалье, значить, сан пёр э сан-репрош..!

Я и простым глазом видел, как отвинтилась крышка автоклава и беззвучно упала в снег. Из автоклава ударила длинная, до самых звезд, струя пара.

— Даю пояснение для прессы...— начал было Выбегалло, но тут раздался страшный рев.

Земля поплыла и зашевелилась. Взвилась огромная снежная туча. Все повалились друг на друга, и меня тоже опрокинуло и покатило. Рев все усиливался и, когда я с трудом, цепляясь за гусеницы грузовика, поднялся на ноги, я увидел, как жутко, гигантской чашей в мертвом свете луны ползет, заворачиваясь внутрь, край горизонта, как угрожающе раскачиваются бронещиты, как бегут врассыпную, падают и снова вскакивают вывалянные в снегу зрители. Я увидел, как Федор Симеонович и Кристобаль Хунта, накрытые радужными колпаками защитного поля, пятятся под натиском урагана, как они, подняв руки, силятся растянуть защиту на всех остальных, но вихрь рвет защиту в клочья, и эти клочья несутся над равниной подобно огромным мыльным пузырям и лопаются в звездном небе. Я увидел поднявшего воротник Януса Полуэктовича, который стоял, повернувшись спиной к ветру, прочно упершись тростью в обнажившуюся землю, и смотрел на часы. А там, где был автоклав, крутилось освещенное изнутри красным тугое облако пара, и горизонт стремительно загибался все круче и круче, и казалось, что все мы находимся на дне колоссального кувшина. А потом совсем рядом с эпицентром этого космического безобразия появился вдруг Роман в своем зеленом пальто, рвущемся с плеч. Он широко размахнулся, швырнул в ревущий пар что-то большое, блеснувшее бутылочным блеском, и сейчас же упал ничком, закрыв голову руками. Из облака вынырнула безобразная, искаженная бешенством физиономия джинна, глаза его крутились от ярости. Разевая пасть в беззвучном хохоте, он взмахнул просторными волосатыми ушами, пахнуло гарью, над метелью взметнулись призрачные стены великолепного дворца, затряслись и опали, а джинн, превратившись в длинный язык оранжевого пламени, исчез в небе. Несколько секунд было тихо. Затем горизонт с тяжелым грохотом осел. Меня подбросило высоко вверх, и, придя в себя, я обнаружил, что сижу, упираясь руками в землю, неподалеку от грузовика. Снег пропал. Все поле вокруг было черным. Там, где минуту назад сто-

---

[1] Рыцарь без страха и упрека *(франц.)*.

ял автоклав, зияла большая воронка. Из нее поднимался белый дымок, и пахло паленым.

Зрители начали подниматься на ноги. Лица у всех были испачканы и перекошены. Многие потеряли голос, кашляли, отплевывались и тихо постанывали. Начали чиститься, и тут обнаружилось, что некоторые раздеты до белья. Послышался ропот, затем крики: «Где брюки? Почему я без брюк? Я же был в брюках!», «Товарищи! Никто не видел моих часов?», «И моих!», «И у меня тоже пропали!», «Зуба нет, платинового! Летом только вставил...», «Ой, а у меня колечко пропало... И браслет», «Где Выбегалло? Что за безобразие? Что все это значит?», «Да черт с ними, с часами и зубами! Люди-то все целы? Сколько нас было?..», «А что, собственно, произошло? Какой-то взрыв... Джинн... А где же исполин духа?», «Где потребитель?», «Где Выбегалло, наконец?», «А горизонт видел? Знаешь, на что это похоже?», «На свертку пространства, я эти штуки знаю...», «Холодно в майке, дайте что-нибудь...», «Г-где же этот Вы-выбегалло? Где этот д-дурак?».

Земля зашевелилась, и из траншеи вылез Выбегалло. Он был без валенок.

— Поясняю для прессы,— сипло сказал он.

Но ему не дали пояснить. Магнус Федорович Редькин, пришедший специально, чтобы узнать наконец, что же такое настоящее счастье, подскочил к нему, тряся сжатыми кулаками, и завопил:

— Это шарлатанство! Вы за это ответите! Балаган! Где моя шапка? Где моя шуба? Я буду на вас жаловаться! Где моя шапка, я спрашиваю?

— В полном соответствии с программой...— бормотал Выбегалло, озираясь.— Наш дорогой исполин...

На него надвинулся Федор Симеонович.

— Вы, м-милейший, за-зарываете свой талант в землю. В-вами надо отдел Об-боронной Магии у-усилить. В-ваших идеальных людей н-на неприятельские б-базы сбрасывать надо. Н-на страх а-агрессору.

Выбегалло попятился, заслоняясь рукавом зипуна. К нему подошел Кристобаль Хозевич, молча, меряя его взглядом, швырнул ему под ноги испачканные перчатки и удалился. Жиан Жиакомо, наспех создавая себе видимость элегантного костюма, прокричал издали:

— Это же феноменально, сеньоры. Я всегда питал к нему некоторую антипатию, но ничего подобного я представить себе не мог...

Тут, наконец, разобрались в ситуации Г. Проницательный и Б. Питомник. До сих пор, неуверенно улыбаясь, они глядели каждому в рот, надеясь что-нибудь понять. Затем они сообразили, что все идет далеко не в полном соответствии. Г. Проницательный твердыми шагами приблизился к Выбегалле и, тронув его за плечо, сказал железным голосом:

— Товарищ профессор, где я могу получить назад мои аппараты? Три фотоаппарата и один киноаппарат.

— И мое обручальное кольцо,— добавил Б. Питомник.

— Пардон,— сказал Выбегалло с достоинством.— Он ву демандера канд он ура безуан де ву [1]. Подождите объяснений.

Корреспонденты оробели. Выбегалло повернулся и пошел к воронке. Над воронкой уже стоял Роман.

— Чего здесь только нет...— сказал он еще издали.

Исполина-потребителя в воронке не оказалось. Зато там было все остальное и еще много сверх того. Там были фото- и киноаппараты, бумажники, шубы, кольца, ожерелья, брюки и платиновый зуб. Там были

[1] Когда будет нужно, вас позовут *(франц.)*.

валенки Выбегаллы и шапка Магнуса Федоровича. Там оказался мой платиновый свисток для вызова авральной команды. Кроме того, мы обнаружили там два автомобиля «Москвич», три автомобиля «Волга», железный сейф с печатями местной сберкассы, большой кусок жареного мяса, два ящика водки, ящик жигулевского пива и железную кровать с никелированными шарами.

Натянув валенки, Выбегалло, снисходительно улыбаясь, заявил, что теперь можно начать дискуссию. «Задавайте вопросы»,— сказал он. Но дискуссии не получилось. Взбешенный Магнус Федорович вызвал милицию. Примчался на «газике» юный сержант Ковалев. Всем нам пришлось записаться в свидетели. Сержант Ковалев ходил вокруг воронки, пытаясь обнаружить следы преступника. Он нашел огромную вставную челюсть и глубоко задумался над нею. Корреспонденты, получившие свою аппаратуру и увидевшие все в новом свете, внимательно слушали Выбегаллу, который опять понес демагогическую ахинею насчет неограниченных и разнообразных потребностей. Становилось скучно, я мерз.

— Пошли домой,— сказал Роман.

— Пошли,— сказал я.— Откуда ты взял джинна?

— Выписал вчера со склада. Совсем для других целей.

— А что все-таки произошло? Он опять обожрался?

— Нет, просто Выбегалло дурак,— сказал Роман.

— Это понятно,— сказал я.— Но откуда катаклизм?

— Все отсюда же,— сказал Роман.— Я говорил ему тысячу раз: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время». А Выбегалло никак не может взять в толк, что истинный исполин духа не столько потребляет, сколько думает и чувствует.

— Это все зола,— продолжал он, когда мы подлетели к институту.— Это всем ясно. Ты лучше скажи мне, откуда У-Янус узнал, что все получится именно так, а не иначе? Он же все это предвидел. И огромные разрушения, и то, что я соображу, как прикончить исполина в зародыше.

— Действительно,— сказал я.— Он даже благодарность тебе вынес. Авансом.

— Странно, верно?— сказал Роман.— Надо бы все это тщательно продумать.

И мы стали тщательно продумывать. Это заняло у нас много времени. Только весной и только случайно нам удалось во всем разобраться.

Но это уже совсем другая история.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

ВСЯЧЕСКАЯ СУЕТА

Глава первая

Когда бог создавал время,— говорят ирландцы,— он создал его достаточно.

Г. Бёль

Восемьдесят три процента всех дней в году начинаются одинаково: звенит будильник. Этот звон вливается в последние сны то судорожным стрекотанием итогового перфоратора, то гневными раскатами баса Федора Симеоновича, то скрежетом когтей василиска, играющего в термостате.

В то утро мне снился Модест Матвеевич Камноедов. Будто он стал заведующим вычислительным центром и учит меня работать на «Алдане». «Модест Матвеевич,— говорил я ему,— ведь все, что вы мне советуете,— это какой-то болезненный бред». А он орал: «Вы мне это пр-р-рекратите! У вас тут все др-р-ребедень! Бели-бер-р-рда!» Тогда я сообразил, что это не Модест Матвеевич, а мой будильник «Дружба» на одиннадцати камнях, с изображением слоника с подъятым хоботом, забормотал: «Слышу, слышу» — и забил ладонью по столу вокруг будильника.

Окно было раскрыто настежь, и я увидел ярко-синее весеннее небо и почувствовал острый весенний холодок. По карнизу, постукивая, бродили голуби. Вокруг стеклянного плафона под потолком обессиленно мотались три мухи — должно быть, первые мухи в этом году. Время от времени они вдруг принимались остервенело кидаться из стороны в сторону, и спросонок мне пришла в голову гениальная идея, что мухи, наверное, стараются выскочить из плоскости, через них проходящей, и я посочувствовал этому безнадежному занятию. Две мухи сели на плафон, а третья исчезла, и тогда я окончательно проснулся.

Прежде всего я отбросил одеяло и попытался воспарить над кроватью. Как всегда, без зарядки, без душа и завтрака это привело лишь к тому, что реактивный момент с силой вдавил меня в диван-кровать и где-то подо мной соскочили и жалобно задребезжали пружины. Потом я вспомнил вчерашний вечер, и мне стало очень обидно, потому что сегодня я весь день буду без работы.

Вчера в одиннадцать часов вечера в электронный зал пришел Кристобаль Хозевич и, как всегда, подсоединился к «Алдану», чтобы вместе с ним разрешить очередную проблему смысла жизни, и через пять минут «Алдан» загорелся. Не знаю, что там могло гореть, но «Алдан» вышел из строя надолго, и поэтому сегодня я, вместо того чтобы работать, должен буду подобно всем волосатоухим тунеядцам, бесцельно бродить из отдела в отдел, жаловаться на судьбу и рассказывать анекдоты.

Я сморщился, сел на постели и для начала набрал полную грудь праны, смешанной с холодным утренним воздухом. Некоторое время я ждал, пока прана усвоится, и в соответствии с рекомендацией думал о светлом

и радостном. Затем я выдохнул холодный утренний воздух и принялся выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики. Мне рассказывали, что старая школа предписывала гимнастику йогов, но йога-комплекс, так же как почти ныне забытый майя-комплекс, отнимал пятнадцать — двадцать часов в сутки, и с назначением на пост нового президента АН СССР старой школе пришлось уступить. Молодежь НИИЧАВО с удовольствием ломала старые традиции.

На сто пятнадцатом прыжке в комнату впорхнул мой сожитель Витька Корнеев. Как всегда с утра, он был бодр, энергичен и даже благодушен. Он хлестнул меня по голой спине мокрым полотенцем и принялся летать по комнате, делая руками и ногами движения, как будто плывет брассом. При этом он рассказывал свои сны и тут же толковал их по Фрейду, Мерлину и по девице Ленорман. Я сходил умылся, мы прибрались и отправились в столовую.

В столовой мы заняли свой любимый столик под большим, уже выцветшим плакатом: «Смелее, товарищи! Щелкайте челюстями! Г. Флобер», откупорили бутылки с кефиром и стали есть, слушая местные новости и сплетни.

Вчерашней ночью на Лысой Горе состоялся традиционный весенний слет. Участники вели себя крайне безобразно. Вий с Хомой Брутом в обнимку пошли шляться по улицам ночного города, пьяные, приставали к прохожим, сквернословили, потом Вий наступил себе на левое веко и совсем озверел. Они с Хомой подрались, повалили газетный ларек и попали в милицию, где каждому дали за хулиганство по пятнадцать суток.

Кот Василий взял весенний отпуск — жениться. Скоро в Соловце опять объявятся говорящие котята с наследственно-склеротической памятью. Луи Седловой из отдела Абсолютного Знания изобрел какую-то машину времени и сегодня будет докладывать об этом.

В институте снова появился Выбегалло. Везде ходит и хвастается, что осенен титанической идеей. Речь многих обезьян, видите ли, напоминает человеческую, записанную, значить, на магнитофонную пленку и пущенную задом наперед с большой скоростью. Так он, эта, записал в Сухумском заповеднике разговоры павианов и прослушал их, пустив задом наперед на малой скорости.

Получилось, как он заявляет, нечто феноменальное, но что именно — не говорит.

В вычислительном центре опять сгорел «Алдан», но Сашка Привалов не виноват, виноват Хунта, который последнее время из принципа интересуется только такими задачами, для которых доказано отсутствие решения.

Престарелый колдун Перун Маркович Неунывай-Дубино из отдела Атеизма взял отпуск для очередного перевоплощения.

В отделе Вечной Молодости после долгой и продолжительной болезни скончалась модель бессмертного человека.

Академия наук выделила институту энную сумму на благоустройство территории. На эту сумму Модест Матвеевич собирается обнести институт узорной чугунной решеткой с аллегорическими изображениями и с цветочными горшками на столбах, а на заднем дворе, между трансформаторной будкой и бензохранилищем, организовать фонтан с девятиметровой струей. Спортбюро просило у него денег на теннисный корт — отказал, объявив, что фонтан необходим для научных размышлений, а теннис есть дрыгоножество и рукомашество...

После завтрака все разошлись по лабораториям. Я тоже заглянул к себе и горестно побродил около «Алдана» с распахнутыми внутренностями,

в которых копались неприветливые инженеры из отдела Технического Обслуживания. Разговаривать со мной они не хотели и только угрюмо рекомендовали пойти куда-нибудь и заняться своим делом. Я побрел по знакомым.

Витька Корнеев меня выгнал, потому что я мешал ему сосредоточиться. Роман читал лекцию практикантам. Володя Почкин беседовал с корреспондентом. Увидев меня, он нехорошо обрадовался и закричал: «А-а, вот он! Познакомьтесь, это наш заведующий вычислительным центром, он вам расскажет, как...» Но я очень ловко притворился собственным дублем и, сильно напугав корреспондента, сбежал. У Эдика Амперяна меня угостили свежими огурцами, и совсем было завязалась оживленная беседа о преимуществах гастрономического взгляда на жизнь, но тут у них лопнул перегонный куб и про меня сразу забыли.

В совершенном отчаянии я вышел в коридор и столкнулся с У-Янусом, который сказал: «Так» — и, помедлив, осведомился, не беседовали ли мы вчера.

«Нет,— сказал я,— к сожалению, не беседовали». Он пошел дальше, и я услышал, как в конце коридора он задает все тот же стандартный вопрос Жиану Жиакомо.

В конце концов меня занесло к абсолютникам. Я попал перед самым началом семинара. Сотрудники, позевывая и осторожно поглаживая уши, рассаживались в малом конференц-зале. На председательском месте, покойно сплетя пальцы, восседал завотделом магистр-академик, всея Белыя, Черныя и Серыя магии многознатец Морис-Иоганн-Лаврентий Пупков-Задний и благосклонно взирал на суетящегося докладчика, который с двумя неумело выполненными волосатоухими дублями устанавливал на экспозиционном стенде некую машину с седлом и педалями, похожую на тренажер для страдающих ожирением. Я присел в уголке подальше от остальных, вытащил блокнот и авторучку и принял заинтересованный вид.

— Нуте-с,— произнес магистр-академик,— у вас готово?

— Да, Морис Иоганнович,— отозвался Л. Седловой.— Готово, Морис Иоганнович.

— Тогда, может быть, приступим? Что-то я не вижу Смогулия...

— Он в командировке, Иоганн Лаврентьевич,— сказали из зала.

— Ах, да, припоминаю. Экспоненциальные исследования? Ага, ага... Ну хорошо. Сегодня у нас Луи Иванович сделает небольшое сообщение относительно некоторых возможных типов машин времени... Я правильно говорю, Луи Иванович?

— Э... Собственно... Собственно, я бы назвал свой доклад таким образом, что...

— А, ну вот и хорошо. Вот вы и назовите.

— Благодарю вас. Э... Назвал бы так: «Осуществимость машины времени для передвижения во временных пространствах, сконструированных искусственно».

— Очень интересно,— подал голос магистр-академик.— Однако мне помнится, что уже был случай, когда наш сотрудник...

— Простите, я как раз с этого хотел начать.

— Ах, вот как... Тогда прошу, прошу.

Сначала я слушал довольно внимательно. Я даже увлекся. Оказывается, некоторые из этих ребят занимались прелюбопытными вещами. Оказывается, некоторые из них и по сей день бились над проблемой передвижения по физическому времени, правда, безрезультатно. Но зато кто-то, я забыл фамилию, кто-то из старых, знаменитых, доказал, что можно про-

изводить переброску материальных тел в идеальные миры, то есть в миры, созданные человеческим воображением. Оказывается, кроме нашего привычного мира с метрикой Римана, принципом неопределенности, физическим вакуумом и пьяницей Брутом, существуют и другие миры, обладающие ярко выраженной реальностью. Это миры, созданные творческим воображением за всю историю человечества. Например, существуют: мир космологических представлений человечества; мир, созданный живописцами, и даже полуабстрактный мир, нечувствительно сконструированный поколениями композиторов.

Несколько лет назад, оказывается, ученик того самого, знаменитого, собрал машину, на которой отправился путешествовать в мир космологических представлений. В течение некоторого времени с ним поддерживалась односторонняя телепатическая связь, и он успел передать, что находится на краю плоской Земли, видит внизу извивающийся хобот одного из трех слонов-атлантов и собирается спуститься вниз, к черепахе. Больше сведений от него не поступало.

Докладчик, Луи Иванович Седловой, неплохой, по-видимому, ученый, магистр, сильно страдающий, однако, от пережитков палеолита в сознании и потому вынужденный регулярно брить уши, сконструировал машину для путешествий по описываемому времени. По его словам, реально существует мир, в котором живут и действуют Анна Каренина, Дон-Кихот, Шерлок Холмс, Григорий Мелехов и даже капитан Немо. Этот мир обладает своими весьма любопытными свойствами и закономерностями, и люди, населяющие его, тем более ярки, реальны и индивидуальны, чем более талантливо, страстно и правдиво описали их авторы соответствующих произведений.

Все это меня очень заинтересовало, потому что Седловой, увлекшись, говорил живо и образно. Но потом он спохватился, что получается как-то ненаучно, понавешал на сцене схемы и графики и стал нудно, чрезвычайно специализированным языком излагать про конические декрементные шестерни, полиходовые темпоральные передачи и про какой-то проницающий руль. Я очень скоро потерял нить рассуждений и принялся рассматривать присутствующих.

Магистр-академик величественно спал, изредка, чисто рефлекторно, поднимая правую бровь, как бы в знак некоторого сомнения в словах докладчика. В задних рядах резались в функциональный морской бой в банаховом пространстве. Двое лаборантов-заочников старательно записывали все подряд — на лицах их застыло безнадежное отчаяние и совершенная покорность судьбе. Кто-то украдкой закурил, пуская дым между колен под стол. В переднем ряду магистры и бакалавры с привычной внимательностью слушали, готовя вопросы и замечания. Одни саркастически улыбались, у других на лицах выражалось недоумение. Научный руководитель Седлового после каждой фразы докладчика одобрительно кивал. Я стал смотреть в окно, но там был все тот же осточертевший лабаз да изредка пробегали мальчишки с удочками.

Я очнулся, когда докладчик заявил, что вводную часть он закончил и теперь хотел бы продемонстрировать машину в действии.

— Интересно, интересно,— сказал проснувшийся магистр-академик.— Нуте-ка? Сами отправитесь?

— Видите ли,— сказал Седловой,— я хотел бы остаться здесь, чтобы давать пояснения по ходу путешествия. Может быть, кто-нибудь из присутствующих?..

Присутствующие начали жаться. Очевидно, все вспомнили загадочную судьбу путешественника на край плоской Земли. Кто-то из магистров

предложил отправить дубля. Седловой ответил, что это будет неинтересно, потому что дубли маловосприимчивы к внешним раздражениям и потому будут плохими передатчиками информации. Из задних рядов спросили, какого рода могут быть внешние раздражения. Седловой ответил, что обычные: зрительные, обонятельные, осязательные, акустические. Тогда из задних рядов опять спросили, какого рода о с я з а т е л ь н ы е раздражения будут превалировать. Седловой развел руками и сказал, что это зависит от поведения путешественника в тех местах, куда он попадет. В задних рядах произнесли: «Ага...» — и больше вопросов не задавали. Докладчик беспомощно озирался. В зале смотрели кто куда и все в сторону. Магистр-академик добродушно приговаривал: «Ну? Ну что же? Молодежь! Ну? Кто?» Тогда я встал и молча пошел к машине. Терпеть не могу, когда докладчик агонизирует: стыдное, жалкое и мучительное зрелище.

Из задних рядов крикнули: «Сашка, ты куда? Опомнись!» Глаза Седлового засверкали.

— Разрешите мне,— сказал я.

— Пожалуйста, пожалуйста, конечно!— забормотал Седловой, хватая меня за палец и подтаскивая к машине.

— Одну минуточку,— сказал я, деликатно вырываясь.— Это надолго?

— Да как вам будет угодно!— вскричал Седловой.— Как вы мне скажите, так я и сделаю... Да вы же сами будете управлять! Тут все очень просто.— Он снова схватил меня и снова потащил к машине.— Вот это руль. Вот это педаль сцепления с реальностью. Это тормоз. А это газ. Вы автомобиль водите? Ну и прекрасно! Вот клавиша... Вы куда хотите — в будущее или в прошлое?

— В будущее,— сказал я.

— А,— произнес он, как мне показалось, разочарованно.— В описываемое будущее... Это, значит, всякие там фантастические романы и утопии. Конечно, тоже интересно. Только учтите, это будущее, наверное, дискретно, там должны быть огромные провалы времени, никакими авторами не заполненные. Впрочем, все равно... Так вот, эту клавишу вы нажмете два раза. Один раз сейчас, при старте, а второй раз — когда захотите вернуться. Понимаете?

— Понимаю,— сказал я.— А если в ней что-нибудь сломается?

— Абсолютно безопасно!— Он замахал руками.— Как только в ней что-нибудь испортится, хоть одна пылинка попадет между контактами, вы мгновенно вернетесь сюда.

— Дерзайте, молодой человек,— сказал магистр-академик.— Расскажите нам, что же там, в будущем, ха-ха-ха...

Я взгромоздился в седло, стараясь ни на кого не глядеть и чувствуя себя очень глупо.

— Нажимайте, нажимайте...— страстно шептал докладчик.

Я надавил на клавишу. Это было, очевидно, что-то вроде стартера. Машина дернулась, захрюкала и стала равномерно дрожать.

— Вал погнут,— шептал с досадой Седловой.— Ну ничего, ничего... Включайте скорость. Вот так. А теперь газу, газу...

Я дал газу, одновременно плавно выжимая сцепление. Мир стал меркнуть. Последнее, что я услышал в зале, был благодушный вопрос магистра-академика: «И каким же образом мы будем за ним наблюдать?..» И зал исчез.

Глава вторая

Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется вдоль него.

Г. Дж. Уэллс

Сначала машина двигалась скачками, и я был озабочен тем, чтобы удержаться в седле, обвившись ногами вокруг рамы и изо всех сил цепляясь за рулевую дугу. Краем глаза я смутно видел вокруг какие-то роскошные призрачные строения, мутно-зеленые равнины и холодное, негреющее светило, в сером тумане неподалеку от зенита. Потом я сообразил, что тряска и скачки происходят оттого, что я убрал ногу с акселератора, мощности двигателя (совсем как это бывает на автомобиле) не хватает, и машина, двигаясь неравномерно, то и дело натыкается на развалины античных и средневековых утопий. Я подбавил газу, движение сразу стало плавным, и я смог, наконец, устроиться поудобнее и оглядеться.

Меня окружал призрачный мир. Огромные постройки из разноцветного мрамора, украшенные колоннадами, возвышались среди маленьких домиков сельского вида. Вокруг в полном безветрии колыхались хлеба. Тучные прозрачные стада паслись на травке, на пригорках сидели благообразные седые пастухи. Все, как один, они читали книги и старинные рукописи. Потом рядом со мной возникли два прозрачных человека, встали в позы и начали говорить. Оба они были босы, увенчаны венками и закутаны в складчатые хитоны. Один держал в правой руке лопату, а в левой сжимал свиток пергамента. Другой опирался на киркомотыгу и рассеянно играл огромной медной чернильницей, подвешенной к поясу. Говорили они строго по очереди и, как мне сначала показалось, друг с другом. Но очень скоро я понял, что обращаются они ко мне, хотя ни один из них даже не взглянул в мою сторону. Я прислушался. Тот, что был с лопатой, длинно и монотонно излагал основы политического устройства прекрасной страны, гражданином коей он являлся. Устройство было необычайно демократичным, ни о каком принуждении граждан не могло быть и речи (он несколько раз с особым ударением это подчеркнул), все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов. Когда он останавливался, чтобы передохнуть и облизать губы, вступал тот, что с чернильницей. Он хвастался, будто только что отработал свои три часа перевозчиком на реке, не взял ни с кого ни копейки, потому что не знает, что такое деньги, а сейчас направляется под сень струй предаться стихосложению.

Говорили они долго — судя по спидометру, в течение нескольких лет,— а потом вдруг сразу исчезли, и стало пусто. Сквозь призрачные здания просвечивало неподвижное солнце. Неожиданно невысоко над землей медленно проплыли тяжелые летательные аппараты с перепончатыми, как у птеродактилей, крыльями. В первый момент мне показалось, что все они горят, но затем я заметил, что дым у них идет из больших конических труб. Грузно размахивая крыльями, они летели надо мной, посыпалась зола, и кто-то уронил на меня сверху суковатое полено.

В роскошных зданиях вокруг меня начали происходить какие-то изменения. Колонн у них не убавилось, и архитектура осталась по-прежнему

роскошной и нелепой, но появились новые расцветки, и мрамор, по-моему, сменился каким-то более современным материалом, а вместо слепых статуй и бюстов на крышах возникли поблескивающие устройства, похожие на антенны радиотелескопов. Людей на улицах стало больше, появилось огромное количество машин. Исчезли стада с читающими пастухами, однако хлеба все колыхались. Я нажал на тормоз и остановился.

Оглядевшись, я понял, что стою с машиной на ленте движущегося тротуара. Народ вокруг так и кишел — самый разнообразный народ. В большинстве своем, правда, эти люди были какие-то нереальные, гораздо менее реальные, чем могучие, сложные, почти бесшумные механизмы. Так что, когда такой механизм случайно наезжал на человека, столкновения не происходило. Машины мало меня заинтересовали, наверное, потому, что на лобовой броне у каждой сидел вдохновенный до полупрозрачности изобретатель, пространно объяснявший устройство и назначение своего детища. Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, ни к кому в особенности и не обращались.

На людей смотреть было интереснее. Я увидел здоровенных ребят в комбинезонах, ходивших в обнимку, чертыхавшихся и оравших немелодичные песни на плохие стихи. То и дело попадались какие-то люди, одетые только частично: скажем, в зеленой шляпе и красном пиджаке на голое тело (больше ничего); или в желтых ботинках и цветастом галстуке (ни штанов, ни рубашки, ни даже белья); или в изящных туфельках на босу ногу. Окружающие относились к ним спокойно, а я смущался до тех пор, пока не вспомнил, что некоторые авторы имеют обыкновение писать что-нибудь вроде «дверь отворилась, и на пороге появился стройный мускулистый человек в мохнатой кепке и темных очках». Попадались и люди нормально одетые, правда в костюмах странного покроя, и то тут, то там проталкивался сквозь толпу загорелый бородатый мужчина в незапятнанно-белой хламиде с кетменем или каким-нибудь хомутом в одной руке и с мольбертом или пеналом в другой. У носителей хламид вид был растерянный, они шарахались от многочисленных механизмов и затравленно озирались.

Если не считать бормотания изобретателей, было довольно тихо. Большинство людей помалкивало. На углу двое юношей возились с каким-то механическим устройством. Один убежденно говорил: «Конструкторская мысль не может стоять на месте. Это закон развития общества. Мы изобретем его. Обязательно изобретем. Вопреки бюрократам вроде Чинушина и консерваторам вроде Твердолобова». Другой юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед.

Тротуар вынес меня на огромную площадь, забитую людьми и уставленную космическими кораблями самых разнообразных конструкций. Я сошел с тротуара и стащил машину. Сначала я не понимал, что происходит. Играла музыка, произносились речи, тут и там, возвышаясь над толпой, кудрявые румяные юноши, с трудом управляясь с непокорными прядями волос, непрерывно падающими на лоб, проникновенно читали стихи. Стихи были либо знакомые, либо скверные, но из глаз многочисленных слушателей обильно капали скупые мужские, горькие женские и светлые детские слезы. Суровые мужчины крепко обнимали друг друга и, шевеля желваками на скулах, хлопали друг друга по спинам. Поскольку многие были не одеты, хлопание это напоминало аплодисменты. Два

подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета. Несколько мальчишек с томиками Шекспира, воровато озираясь, подкрадывались к дюзам ближайшего астроплана. Толпа их не замечала.

Скоро я понял, что одна половина толпы расставалась с другой половиной. Это было что-то вроде тотальной мобилизации. Из речей и разговоров мне стало ясно, что мужчины отправлялись в космос — кто на Венеру, кто на Марс, а некоторые, с совсем уже отрешенными лицами, собирались к другим звездам и даже в центр Галактики. Женщины оставались их ждать. Многие занимали очередь в огромное уродливое здание, которое одни называли Пантеоном, а другие — Рефрижератором. Я подумал, что поспел вовремя. Опоздай я на час, и в городе остались бы только замороженные на тысячи лет женщины. Потом мое внимание привлекла высокая серая стена, отгораживающая площадь с запада. Из-за стены поднимались клубы черного дыма.

— Что это там?— спросил я красивую женщину в косынке, понуро бредущую к Пантеону-Рефрижератору.

— Железная Стена,— ответила она, не останавливаясь.

С каждой минутой мне становилось все скучнее и скучнее. Все вокруг плакали, ораторы уже охрипли. Рядом со мной юноша в голубом комбинезоне прощался с девушкой в розовом платье. Девушка монотонно говорила: «Я хотела бы стать астральной пылью, я бы космическим облаком обняла твой корабль...» Юноша внимал. Потом над толпой грянули сводные оркестры, нервы мои не выдержали, я прыгнул в седло и дал газ. Я еще успел заметить, как над городом с ревом взлетели звездолеты, планетолеты, астропланы, ионолеты, фотонолеты и астроматы, а затем все, кроме серой стены, заволоклось фосфоресцирующим туманом.

После двухтысячного года начались провалы во времени. Я летел через время, лишенное материи. В таких местах было темно, и только изредка за серой стеной вспыхивали взрывы и разгорались зарева. Время от времени город вновь обступал меня, и с каждым разом здания его становились выше, сферические купола становились все прозрачнее, а звездолетов на площади становилось все меньше. Из-за стены непрерывно поднимался дым.

Я остановился вторично, когда с площади исчез последний астромат. Тротуары двигались. Шумных парней в комбинезонах не было. Никто не чертыхался. По улицам по двое и по трое скромно прогуливались какие-то бесцветные личности, одетые либо странно, либо скудно. Насколько я понял, все говорили о науке. Кого-то намеревались оживлять, и профессор медицины, атлетически сложенный интеллигент, очень непривычно выглядевший в своей одинокой жилетке, растолковывал процедуру оживления верзиле биофизику, которого представлял всем встречным как автора, инициатора и главного исполнителя этой затеи. Где-то собирались провертеть дыру сквозь землю. Проект обсуждался прямо на улице при большом скоплении народа, чертежи рисовали мелком на стенах и на тротуаре. Я стал было слушать, но это оказалась такая скучища, да еще пересыпанная выпадами в адрес незнакомого мне консерватора, что я взвалил машину на плечи и пошел прочь. Меня не удивило, что обсуждение проекта сейчас же прекратилось и все занялись делом. Но зато, едва я остановился, начал разглагольствовать какой-то гражданин неопределенной профессии. Ни к селу ни к городу он повел речь о музыке. Сразу понабежали слушатели. Они смотрели ему в рот и задавали вопросы, свидетельствующие

о дремучем невежестве. Вдруг по улице с криком побежал человек. За ним гнался паукообразный механизм. Судя по крикам преследуемого, это был «самопрограммирующийся кибернетический робот на тригенных куаторах с обратной связью, которые разладились и... Ой-ой, он меня сейчас расчленит!..» Странно, никто даже бровью не повел. Видимо, никто не верил в бунт машин.

Из переулка выскочили еще две паукообразные металлические машины, ростом поменьше и не такие свирепые на вид. Не успел я ахнуть, как одна из них быстро почистила мне ботинки, а другая выстирала и выгладила носовой платок. Подъехала большая белая цистерна на гусеницах и, мигая многочисленными лампочками, опрыскала меня духами. Я совсем было собрался уезжать, но тут раздался громовой треск и с неба на площадь свалилась громадная ржавая ракета. В толпе сразу заговорили:

— Это «Звезда Мечты»!

— Да, это она!

— Ну конечно, это она! Это она стартовала двести восемнадцать лет тому назад, о ней уже все забыли, но благодаря эйнштейновскому сокращению времени, происходящему от движения на субсветовых скоростях, экипаж постарел всего на два года!

— Благодаря чему? Ах, Эйнштейн... Да-да, помню.

Из ржавой ракеты с трудом выбрался одноглазый человек без левой руки и правой ноги.

— Это Земля?— раздраженно спросил он.

— Земля! Земля!— откликнулись в толпе. На лицах начали расцветать улыбки.

— Слава богу,— сказал человек, и все переглянулись. То ли не поняли его, то ли сделали вид, что не понимают.

Увечный астролетчик стал в позу и разразился речью, в которой призывал все человечество поголовно лететь на планету Хош-ни-Хош системы звезды Эоэллы в Малом Магеллановом Облаке освобождать братьев по разуму, стенающих (он так и сказал: стенающих) под властью свирепого кибернетического диктатора. Рев дюз заглушил его слова. На площадь спускались еще две ракеты, тоже ржавые. Из Пантеона-Рефрижератора побежали заиндевевшие женщины. Началась давка. Я понял, что попал в эпоху возвращений, и торопливо нажал на педаль.

Город исчез и долго не появлялся. Осталась стена, за которой с удручающим однообразием полыхали пожары и вспыхивали зарницы. Странное это было зрелище: совершенная пустота и только стена на западе. Но вот, наконец, разгорелся яркий свет, и я сейчас же остановился.

Вокруг расстилалась безлюдная цветущая страна. Колыхались хлеба. Бродили тучные стада, но культурных пастухов видно не было. На горизонте серебрились знакомые прозрачные купола, виадуки и спиральные спуски. Совсем рядом с запада по-прежнему возвышалась стена.

Кто-то тронул меня за колено, и я вздрогнул. Возле меня стоял маленький мальчик с глубоко посаженными горящими глазами.

— Тебе что, малыш?— спросил я.

— Твой аппарат поврежден?— осведомился он мелодичным голосом.

— Взрослым надо говорить «вы»,— сказал я наставительно.

Он очень удивился, потом лицо его просветлело.

— Ах да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в Эпоху Принудительной Вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением.

Я не нашелся что ответить, и тогда он присел на корточки перед маши-

ной, потрогал ее в разных местах и произнес несколько слов, которых я совершенно не понял. Славный это был мальчуган, очень чистенький, очень здоровый и ухоженный, но он показался мне слишком уж серьезным для своих лет.

За стеной оглушительно затрещало, и мы оба обернулись. Я увидел, как жуткая чешуйчатая лапа о восьми пальцах ухватилась за гребень стены, напряглась, разжалась и исчезла.

— Слушай, малыш,— сказал я,— что это за стена?

Он обратил на меня серьезный застенчивый взгляд.

— Это так называемая Железная Стена,— ответил он.— К сожалению, мне неизвестна этимология обоих этих слов, но я знаю, что она разделяет два мира — Мир Гуманного Воображения и Мир Страха перед Будущим. Он помолчал и добавил: — Этимология слова «страх» мне тоже неизвестна.

— Любопытно,— сказал я.— А нельзя ли посмотреть? Что это за Мир Страха?

— Конечно, можно. Вот коммуникационная амбразура. Удовлетвори свое любопытство.

Коммуникационная амбразура имела вид низенькой арки, закрытой броневой дверцей. Я подошел и нерешительно взялся за щеколду. Мальчик сказал мне вслед:

— Не могу не предупредить. Если там с тобой что-нибудь случится, тебе придется предстать перед Объединенным Советом Ста Сорока Миров.

Я приоткрыл дверцу. Тррах! Бах! Уау! Аи-и-и-и! Ду-ду-ду-ду-ду! Все пять моих чувств были травмированы одновременно. Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой меж лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий рев чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову. Воздух показался мне сладким, а мир — прекрасным. Мальчик исчез. Некоторое время я приходил в себя, а потом вдруг испугался, что этот паршивец, чего доброго, побежал жаловаться в свой Объединенный Совет, и бросился к машине.

Снова сумерки беспространственного времени сомкнулись вокруг меня. Но я не отрывал глаз от Железной Стены, меня разбирало любопытство. Чтобы не терять времени даром, я прыгнул вперед сразу на миллион лет. Над стеной вырастали заросли атомных грибов, и я обрадовался, когда по мою сторону стены снова забрезжил свет. Я затормозил и застонал от разочарования.

Невдалеке высился громадный Пантеон-Рефрижератор. С неба спускался ржавый звездолет в виде шара. Вокруг было безлюдно, колыхались хлеба. Шар приземлился, из него вышел давешний пилот в голубом, а на пороге Пантеона появилась, вся в красных пятнах пролежней, девица в розовом. Они устремились друг к другу и взялись за руки. Я отвел глаза — мне стало неловко. Голубой пилот и розовая девушка затянули речь.

Чтобы размять ноги, я сошел с машины и только тут заметил, что небо над стеной непривычно чистое. Ни грохота взрывов, ни треска выстрелов слышно не было. Я осмелел и направился к коммуникационной амбразуре.

По ту сторону стены простиралось совершенно ровное поле, рассечен-

ное до самого горизонта глубоким рвом. Слева от рва не было видно ни одной живой души, поле там было покрыто низкими металлическими куполами, похожими на крышки канализационных люков. Справа от рва у самого горизонта гарцевали какие-то всадники. Потом я заметил, что на краю рва сидит, свесив ноги, коренастый темнолицый человек в металлических доспехах. На груди у него на длинном ремне висело что-то вроде автомата с очень толстым стволом. Человек медленно жевал, поминутно сплевывая, и глядел на меня без особенного интереса. Я, придерживая дверцу, тоже смотрел на него, не решаясь заговорить. Слишком уж у него был странный вид. Непривычный какой-то. Дикий. Кто его знает, что за человек.

Насмотревшись на меня, он достал из-под доспехов плоскую бутылку, вытащил зубами пробку, пососал из горлышка, снова сплюнул в ров и сказал хрипливым голосом:

— Хэлло! Ю фром зэт сайд? [1]

— Да,— ответил я.— То есть йес [2].

— Энд хау из ит гоуинг он аут зэа? [3]

— Со-со,— сказал я, прикрывая дверь.— Энд, хау из ит гоуинг он хиа? [4]

— Итс о кэй [5],— сказал он флегматично и замолчал.

Подождав некоторое время, я спросил, что он здесь делает. Сначала он отвечал неохотно,но потом разговорился. Оказалось, что слева от рва человечество доживает последние дни под пятой свирепых роботов. Роботы там сделались умнее людей, захватили власть, пользуются всеми благами жизни, а людей загнали под землю и поставили к конвейерам. Справа от рва, на территории, которую он охраняет, людей поработили пришельцы из соседствующей вселенной. Они тоже захватили власть, установили феодальные порядки и вовсю пользуются правом первой ночи. Живут эти пришельцы — дай бог всякому, но тем, кто у них в милости, тоже кое-что перепадает. А милях в двадцати отсюда, если идти вдоль рва, находится область, где людей поработили пришельцы с Альтаира, разумные вирусы, которые поселяются в теле человека и заставляют его делать, что им угодно. Еще дальше к западу находится большая колония Галактической Федерации. Люди там тоже порабощены, но живут не так уж плохо, потому что его превосходительство наместник кормит их на убой и вербует из них личную гвардию Его Величества Галактического Императора А-у 3562-го. Есть еще области, порабощенные разумными паразитами, разумными растениями и разумными минералами. И наконец, за горами есть области, порабощенные еще кем-то, но о них рассказывают разные сказки, которым серьезный человек верить не станет...

Тут наша беседа была прервана. Над равниной низко прошло несколько тарелкообразных летательных аппаратов. Из них, крутясь и кувыркаясь, посыпались бомбы. «Опять началось»,— проворчал человек, лег ногами к взрывам, поднял автомат и открыл огонь по всадникам, гарцующим на горизонте. Я выскочил вон, захлопнул дверцу и, прислонившись к ней спиной, некоторое время слушал, как визжат, ревут и грохочут бомбы. Пилот в голубом и девица в розовом на ступеньках Пантеона все никак не могли покончить со своим диалогом. Я еще раз осторожно заглянул в дверцу: над равниной медленно вспухали огненные шары разрывов. Ме-

[1] — Привет! Вы с той стороны? *(агнл.)*.

[2] — Да.

[3] — Ну и как там?

[4] — Ничего. А здесь?

[5] — Порядок... *(англ.)*

таллические колпаки откидывались один за другим, из-под них лезли бледные, оборванные люди с бородатыми свирепыми лицами и с железными ломами наперевес. Моего недавнего собеседника наскакавшие всадники в латах рубили в капусту длинными мечами, он орал и отмахивался автоматом...

Я закрыл дверцу и тщательно задвинул засов.

Я вернулся к машине и сел в седло. Мне хотелось слетать еще на миллионы лет вперед и посмотреть умирающую Землю, описанную Уэллсом. Но тут в машине впервые что-то застопорило: не выжималось сцепление. Я нажал раз, нажал другой, потом пнул педаль изо всех сил, что-то треснуло, зазвенело, колыхающиеся хлеба встали дыбом, и я словно проснулся. Я сидел на демонстрационном стенде в малом конференцзале нашего института, и все с благоговением смотрели на меня.

— Что со сцеплением?— спросил я, озираясь в поисках машины. Машины не было. Я вернулся один.

— Это неважно!— закричал Луи Седловой.— Огромное вам спасибо! Вы меня просто выручили... А как было интересно, верно, товарищи?

Аудитория загудела в том смысле, что да, интересно.

— Но я все это где-то читал,— сказал с сомнением один из магистров в первом ряду.

— Ну, а как же! А как же!— вскричал Л. Седловой.— Ведь он же был в о п и с ы в а е м о м будущем!

— Приключений маловато,— сказали в задних рядах игроки в функциональный морской бой.— Все разговоры, разговоры...

— Ну, уж тут я ни при чем,— сказал Седловой решительно.

— Ничего себе — разговоры,— сказал я, слезая со стенда. Я вспомнил, как рубили моего темнолицего собеседника, и мне стало нехорошо.

— Нет, отчего же,— сказал какой-то бакалавр.— Попадаются любопытные места. Вот эта вот машина... Помните? На тригенных куаторах... Это, знаете ли, да...

— Нуте-с?— сказал Пупков-Задний.— У нас уже, кажется, началось обсуждение. А может быть, у кого-нибудь есть вопросы к докладчику?

Дотошный бакалавр немедленно задал вопрос о полиходовой темпоральной передаче (его, видите ли, заинтересовал коэффициент объемного расширения), и я потихонечку удалился.

У меня было странное ощущение. Все вокруг казалось таким материальным, прочным, вещественным. Проходили люди, и я слышал, как скрипят у них башмаки, и чувствовал ветерок от их движений. Все были очень немногословны, все работали, все думали, никто не болтал, не читал стихов, не произносил пафосных речей. Все знали, что лаборатория — это одно, а трибуна профсоюзного собрания — это совсем другое, а праздничный митинг — это совсем третье. И когда мне навстречу, шаркая подбитыми кожей валенками, прошел Выбегалло, я испытал к нему даже нечто вроде симпатии, потому что у него была своеобычная пшенная каша в бороде, потому что он ковырял в зубах длинным тонким гвоздем и, проходя мимо, не поздоровался. Он был живой, весомый и зримый хам, он не помавал руками и не принимал академических поз.

Я заглянул к Роману, потому что мне очень хотелось рассказать кому-нибудь о своем приключении. Роман, ухватившись за подбородок, стоял над лабораторным столом и смотрел на маленького зеленого попугая, лежащего в чашке Петри. Маленький зеленый попугай был дохлый, с глазами, затянутыми мертвой белесой пленкой.

— Что это с ним?— спросил я.

— Не знаю,— сказал Роман.— Издох, как видишь.

— Откуда у тебя попугай?

— Сам поражаюсь,— сказал Роман.

— Может быть, он искусственный?— предположил я.

— Да нет, попугай как попугай.

— Опять, наверное, Витька на умклайдет сел.

Мы наклонились над попугаем и стали его внимательно рассматривать. На черной поджатой лапке у него было колечко.

— «Фотон»,— прочитал Роман.— И еще какие-то цифры... Девятнадцать ноль пять семьдесят три».

— Так,— сказал сзади знакомый голос.

Мы обернулись и подтянулись.

— Здравствуйте,— сказал У-Янус, подходя к столу. Он вышел из дверей своей лаборатории в глубине комнаты, и вид у него был какой-то усталый и очень печальный.

— Здравствуйте, Янус Полуэктович,— сказали мы хором со всей возможной почтительностью.

Янус увидел попугая и еще раз сказал: «Так». Он взял птичку в руки, очень бережно и нежно, погладил ее ярко-красный хохолок и тихо проговорил:

— Что же это ты, Фотончик?..

Он хотел сказать еще что-то, но взглянул на нас и промолчал. Мы стояли рядом и смотрели, как он по-стариковски медленно прошел в дальний угол лаборатории, откинул дверцу электрической печи и опустил туда зеленый трупик.

— Роман Петрович,— сказал он.— Будьте любезны, включите, пожалуйста, рубильник.

Роман повиновался. У него был такой вид, словно его осенила необычайная идея. У-Янус, понурив голову, постоял немного над печью, старательно выскреб горячий пепел и, открыв форточку, высыпал его на ветер.

— Странно,— сказал Роман, глядя ему вслед.

— Что странно?— спросил я.

— Все странно,— сказал Роман.

Мне тоже казалось странным и появление этого мертвого зеленого попугая, по-видимому так хорошо известного Янусу Полуэктовичу, и какая-то слишком уж необычная церемония огненного погребения с развеванием пепла по ветру, но мне не терпелось рассказать про путешествие в описываемое будущее, и я стал рассказывать. Роман слушал крайне рассеянно, смотрел на меня отрешенным взглядом, невпопад кивал, а потом вдруг, сказавши: «Продолжай, продолжай, я слушаю», полез под стол, вытащил оттуда корзинку для мусора и принялся копаться в мятой бумаге и обрывках магнитофонной ленты. Когда я кончил рассказывать, он спросил:

— А этот Седловой не пытался путешествовать в описываемое н а с т о я щ е е? По-моему, это было бы гораздо забавнее...

Пока я обдумывал это предложение и радовался Романову остроумию, он перевернул корзинку и высыпал содержимое на пол.

— В чем дело?— спросил я.— Диссертацию потерял?

— Ты понимаешь, Сашка,— сказал он, глядя на меня невидящими глазами — удивительная история. Вчера я чистил печку и нашел в ней обгорелое зеленое перо. Я выбросил его в корзинку, а сегодня его здесь нет.

— Чье перо?— спросил я.

— Ты понимаешь, зеленые птичьи перья в наших широтах попадаются крайне редко. А попугай, которого только что сожгли, был зеленым.

— Что за ерунда,— сказал я.— Ты же нашел перо вчера.

— В том-то и дело,— сказал Роман, собирая мусор обратно в корзинку.

Глава третья

Стихи ненатуральны, никто не говорит стихами, кроме бидля, когда он приходит со святочным подарком, или объявления о вакссе, или какого-нибудь там простачка. Никогда не опускайтесь до поэзии, мой мальчик.

Ч. Диккенс

«Алдан» чинили всю ночь. Когда я следующим утром явился в электронный зал, невыспавшиеся злые инженеры сидели на полу и неостроумно поносили Кристобаля Хозевича. Они называли его скифом, варваром и гунном, дарвавшимся до кибернетики. Отчаяние их было так велико, что некоторое время они даже прислушивались к моим советам и пытались им следовать. Но потом пришел их главный — Саваоф Баалович Один,— и меня сразу отодвинули от машины. Я отошел в сторонку, сел за свой стол и стал наблюдать, как Саваоф Баалович вникает в суть разрушений.

Был он очень стар, но крепок и жилист, загорелый, с блестящей лысиной, с гладко выбритыми щеками, в ослепительно белом чесучовом костюме. К этому человеку все относились с большим пиететом. Я сам однажды видел, как он вполголоса выговаривал за что-то Модесту Матвеевичу, а грозный Модест стоял, льстиво склонившись перед ним, и приговаривал: «Слушаюсь... Виноват. Больше не повторится...» От Саваофа Бааловича исходила чудовищная энергия. Было замечено, что в его присутствии часы начинают спешить и распрямляются треки элементарных частиц, искривленные магнитным полем. И в то же время он не был магом. Во всяком случае, практикующим магом. Он не ходил сквозь стены, никогда никого не трансгрессировал и никогда не создавал своих дублей, хотя работал необычайно много. Он был главой отдела Технического Обслуживания, знал до тонкостей всю технику института и числился консультантом Китежградского завода маготехники. Кроме того, он занимался самыми неожиданными и далекими от его профессии делами.

Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С. Б. Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину стал всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения Высшего Совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел возможность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова — Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третьи — их совсем немного — могут, скажем, останавливать время, но

только в римановом пространстве и ненадолго. Саваоф Баалович был всемогущ. Он мог все. И он ничего не мог. Потому что граничным условием уравнения Совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причиняло никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части Вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С. Б. Один навсегда оставил магию и стал заведующим отделом Технического Обслуживания НИИЧАВО...

С его приходом дела инженеров живо пошли на лад. Движения их стали осмысленны, злобные остроты прекратились. Я достал папку с очередными делами и принялся было за работу, но тут пришла Стеллочка, очень милая курносая и сероглазая ведьмочка, практикантка Выбегаллы, и позвала меня делать очередную стенгазету.

Мы со Стеллой состояли в редколлегии, где писали сатирические стихи, басни и подписи под рисунками. Кроме того, я искусно рисовал почтовый ящик для заметок, к которому со всех сторон слетаются письма с крылышками. Вообще-то художником газеты был мой тезка Александр Иванович Дрозд, киномеханик, каким-то образом пробравшийся в институт. Но он был специалистом по заголовкам. Главным редактором газеты был Роман Ойра-Ойра, а его помощником — Володя Почкин.

— Саша,— сказала Стеллочка, глядя на меня честными серыми глазами.— Пойдем.

— Куда?— сказал я. Я знал куда.

— Газету делать.

— Зачем?

— Роман очень просит, потому что Кербер лается. Говорит, осталось два дня, а ничего не готово.

Кербер Псоевич Демин, товарищ завкадрами, был куратором нашей газеты, главным подгонялой и цензором.

— Слушай,— сказал я,— давай завтра, а?

— Завтра я не смогу,— сказала Стеллочка.— Завтра я улетаю в Сухуми. Павианов записывать. Выбегалло говорит, что надо вожака записать, как самого ответственного... Сам он к вожаку подходить боится, потому что вожак ревнует. Пойдем, Саша, а?

Я вздохнул, сложил дела и пошел за Стеллочкой, потому что один я стихи сочинять не могу. Мне нужна Стеллочка. Она всегда дает первую строчку и основную идею, а в поэзии это, по-моему, самое главное.

— Где будем делать?— спросил я по дороге.— В месткоме?

— В месткоме занято, там прорабатывают Альфреда. За чай. А нас пустил к себе Роман.

— А о чем писать надо? Опять про баню?

— Про баню тоже есть. Про баню, про Лысую Гору. Хому Брута надо заклеймить.

— Хома наш Брут — ужасный плут,— сказал я.

— И ты, Брут,— сказала Стелла.

— Это идея,— сказал я.— Это надо развить.

В лаборатории Романа на столе была разложена газета — огромный девственно чистый лист ватмана. Рядом с нею среди баночек с гуашью, пульверизаторов и заметок лежал живописец и киномеханик Александр Дрозд с сигаретой на губе. Рубашечка у него, как всегда, была расстегнута, и виднелся выпуклый волосатый животик.

— Здоро́во,— сказал я.

— Привет,— сказал Саня.

Гремела музыка — Саня крутил портативный приемник.

— Ну что тут у вас?— сказал я, сгребая заметки.

Заметок было немного. Была передовая «Навстречу празднику». Была заметка Кербера Псоевича «Результаты обследования состояния выполнения распоряжения дирекции о трудовой дисциплине за период конец первого — начала второго квартала». Была статья профессора Выбегаллы «Наш долг — это долг перед подшефными городскими и районными хозяйствами». Была статья Володи Почкина «О всесоюзном совещании по электронной магии». Была заметка какого-то домового «Когда же продуют паровое отопление на четвертом этаже». Была статья председателя столового комитета «Ни рыбы, ни мяса» — шесть машинописных страниц через один интервал. Начиналась она словами: «Фосфор нужен человеку как воздух». Была заметка Романа о работах отдела Недоступных Проблем. Для рубрики «Наши ветераны» была статья Кристобаля Хунты «От Севильи до Гренады. 1547 г.» Было еще несколько маленьких заметок, в которых критиковалось: отсутствие надлежащего порядка в кассе взаимопомощи; наличие безалаберности в организации работы добровольной пожарной дружины; допущение азартных игр в виварии. Было несколько карикатур. На одной изображался Хома Брут, расхлюстанный и с лиловым носом. На другой высмеивалась баня — был нарисован голый синий человек, застывающий под ледяным душем.

— Ну и скучища!— сказал я.— А может, не надо стихов?

— Надо,— сказала Стеллочка со вздохом.— Я уже заметки и так и сяк раскладывала, все равно остается свободное место.

— А пусть Саня там чего-нибудь нарисует. Колосья какие-нибудь, расцветающие анютины глазки... А, Санька?

— Работайте, работайте,— сказал Дрозд.— Мне заголовок писать.

— Подумаешь,— сказал я.— Три слова написать.

— На фоне звездной ночи,— сказал Дрозд внушительно.— И ракету. И еще заголовки к статьям. А я не обедал еще. И не завтракал.

— Так сходи поешь,— сказал я.

— А мне не на что,— сказал он раздраженно.— Я магнитофон купил. В комиссионном. Вот вы тут ерундой занимаетесь, а лучше бы сделали мне пару бутербродов. С маслом и вареньем. Или, лучше, десятку сотворите.

Я вынул рубль и показал ему издали.

— Вот заголовок напишешь — получишь.

— Насовсем?— живо сказал Саня.

— Нет. В долг.

— Ну, это все равно,— сказал он.— Только учти, что я сейчас умру. У меня уже начались спазмы.

— Врет он все,— сказала Стелла.— Саша, давай вон за тот столик сядем и все стихи сейчас напишем.

Мы сели за отдельный столик и разложили перед собой карикатуры. Некоторое время мы смотрели на них в надежде, что нас осенит. Потом Стелла произнесла:

— Таких людей, как этот Брут, поберегись — они сопрут!

— Что сопрут?— спросил я.— Он разве что-нибудь спер?

— Нет,— сказала Стелла.— Он хулиганил и дрался. Это я для рифмы.

Мы снова подождали. Ничего, кроме «поберегись — они сопрут», в голову мне не лезло.

— Давай рассуждать логически,— сказал я.— Имеется Хома Брут. Он напился пьяный. Дрался. Что он еще делал?

— К девушкам приставал,— сказала Стелла.— Стекло разбил.

— Хорошо,— сказал я.— Еще?

— Выражался...

— Вот странно,— подал голос Саня Дрозд.— Я с этим Брутом работал в кинобудке. Парень как парень. Нормальный...

— Ну?— сказал я.

— Ну и все.

— Ты рифму можешь дать на «Брут» спросил я.

— Прут.

— Уже было,— сказал я.— Сопрут.

— Да нет. Прут. Палка такая, которой секут.

Стелла сказала с выражением:

— Товарищ, пред тобою Брут. Возьмите прут, каким секут, секите Брута там и тут.

— Не годится,— сказал Дрозд.— Пропаганда телесных наказаний.

— Помрут,— сказал я.— Или просто — мрут.

— Товарищ, пред тобою Брут,— сказала Стелла.— От слов его все мухи мрут.

— Это от ваших стихов все мухи мрут,— сказал Дрозд.

— Ты заголовок написал?— спросил я.

— Нет,— сказал Дрозд кокетливо.

— Вот и займись.

— Позорят славный институт,— сказала Стелла,— такие пьяницы, как Брут.

— Это хорошо — сказал я.— Это мы дадим в конец. Запиши. Это будет мораль, свежая и оригинальная.

— Чего же в ней оригинального? — спросил Дрозд.

Я не стал с ним разговаривать.

— Теперь надо описать,— сказал я,— как он хулиганил. Скажем, так. Напился пьян, как павиан, за словом не полез в карман, был человек, стал хулиган.

— Ужасно,— сказала Стелла с отвращением.

Я подпер голову руками и стал смотреть на карикатуру. Дрозд, оттопырив зад, водил кисточкой по ватману. Ноги его в предельно узких джинсах были выгнуты другой. Меня осенило.

— Коленками назад!— сказал я.— Песенка!

— «Сидел кузнечик маленький коленками назад»,— сказала Стелла.

— Точно,— сказал Дрозд, не оборачиваясь.— И я ее знаю. «Все гости расползалися коленками назад»,— пропел он.

— Подожди, подожди,— сказал я. Я чувствовал вдохновение.— Дерется и бранится он, и вот вам результат: влекут его в милицию коленками назад.

— Это ничего,— сказала Стелла.

— Понимаешь?— сказал я.— Еще пару строф, и чтобы везде был рефрен «коленками назад». Упился сверх кондиции... Погнался за девицею... Что-нибудь вроде этого.

— Отчаянно напился он,— сказал Стелла.— Сам черт ему не брат. В чужую дверь вломился он коленками назад.

— Блеск!— сказал я.— Записывай. А он вламывался?

— Вламывался, вламывался.

— Отлично!— сказал я.— Ну, еще одну строфу.

— Погнался за девицею коленками назад,— сказала Стелла задумчиво.— Первую строчку нужно...

— Амуниция,— сказал я.— Полиция. Амбиция. Юстиция.

— Ютится он,— сказал Стелла.— Стремится он. Не бриться и не мыться...

— Он,— добавил Дрозд.— Это верно. Это у вас получилась художественная правда. Сроду он не брился и не мылся.

— Может, вторую строчку придумаем?— предложила Стелла.— Назад — аппарат — автомат...

— Гад,— сказал я.— Рад.

— Мат,— сказал Дрозд.— Шах, мол, и мат.

Мы опять долго молчали, бессмысленно глядя друг на друга и шевеля губами. Дрозд постукивал кисточкой о края чашки с водой.

— Играет и резвится он,— сказал я наконец,— ругаясь, как пират. Погнался за девицею коленками назад.

— Пират — как-то...— сказала Стелла.

— Тогда: сам черт ему не брат.

— Это уже было.

— Где?.. Ах да, действительно было.

— Как тигра полосат,— предложил Дрозд.

Тут послышалось легкое царапанье, и мы обернулись. Дверь в лабораторию Януса Полуэктовича медленно отворялась.

— Смотри-ка!— изумленно воскликнул Дрозд, застывая с кисточкой в руке.

В щель вполз маленький зеленый попугай с ярким красным хохолком на макушке.

— Попугайчик!— воскликнул Дрозд.— Попугай! Цып-цып-цып-цып...

Он стал делать пальцами движения, как будто крошил хлеб на пол. Попугай глядел на нас одним глазом. Затем он разинул горбатый, как нос у Романа, черный клюв и хрипло выкрикнул:

— Р-реактор! Р-реактор! Надо выдер-ржать!

— Какой сла-авный!— воскликнула Стелла.— Саня, поймай его...

Дрозд двинулся было к попугаю, но остановился.

— Он же, наверное, кусается,— опасливо произнес он.— Вон клюв какой.

Попугай оттолкнулся от пола, взмахнул крыльями и как-то неловко запорхал по комнате. Я следил за ним с удивлением. Он был очень похож на того, вчерашнего. Родной единокровный брат-близнец. Полным-полно попугаев, подумал я.

Дрозд отмахнулся кисточкой.

— Еще долбанет, пожалуй,— сказал он.

Попугай сел на коромысло лабораторных весов, подергался, уравновешиваясь, и разборчиво крикнул:

— Пр-роксима Центавр-р-ра! Р-рубидий! Р-рубидий!

Потом он нахохлился, втянул голову и закрыл глаза пленкой. По-моему, он дрожал. Стелла быстро сотворила кусок хлеба с повидлом, отщипнула корочку и поднесла ему под клюв. Попугай не реагировал. Его явно лихорадило, и чашки весов, мелко трясясь, позвякивали о подставку.

— По-моему, он больной,— сказал Дрозд. Он рассеянно взял из рук Стеллы бутерброд и стал есть.

— Ребята,— сказал я,— кто-нибудь раньше видел в институте попугаев?

Стелла помотала головой. Дрозд пожал плечами.

— Что-то слишком много попугаев за последнее время,— сказал я.— И вчера вот тоже...

— Наверное, Янус экспериментирует с попугаями,— сказала Стелла.— Антигравитация или еще что-нибудь в этом роде...

Дверь в коридор отворилась, и толпой вошли Роман Ойра-Ойра, Витька Корнеев, Эдик Амперян и Володя Почкин. В комнате стало шумно. Корнеев, хорошо выспавшийся и очень бодрый, принялся листать заметки и громко издеваться над стилем. Могучий Володя Почкин, как замредактора исполняющий в основном полицейские обязанности, схватил Дрозда за толстый загривок, согнул его пополам и принялся тыкать носом в газету, приговаривая: «Заголовок где? Где заголовок, Дроздилло?» Роман потребовал от нас готовых стихов. А Эдик, не имевший к газете никакого отношения, прошел к шкафу и принялся с грохотом передвигать в нем разные приборы. Вдруг попугай заорал: «Овер-рсан! Овер-рсан!» — и все замерли.

Роман уставился на попугая. На лице его появилось давешнее выражение, словно его только что осенила необычайная идея. Володя Почкин отпустил Дрозда и сказал: «Вот так штука, попугай!» Грубый Корнеев немедленно протянул руку, чтобы схватить попугая поперек туловища, но попугай вырвался, и Корнеев схватил его за хвост.

— Оставь, Витька!— закричала Стелла сердито.— Что за манера — мучить животное?

Попугай заорал. Все столпились вокруг него. Корнеев держал его, как голубя, Стелла гладила по хохолку, а Дрозд нежно перебирал перья в хвосте. Роман посмотрел на меня.

— Любопытно,— сказал он.— Правда?

— Откуда он здесь взялся, Саша?— вежливо спросил Эдик.

Я мотнул головой в сторону лаборатории Януса.

— Зачем Янусу попугай?— осведомился Эдик.

— Ты это меня спрашиваешь?— сказал я.

— Нет, это вопрос риторический,— серьезно сказал Эдик.

— Зачем Янусу два попугая?— сказал я.

— Или три,— тихонько добавил Роман.

Корнеев обернулся к нам.

— А где еще?— спросил он, с интересом озираясь. Попугай в его руке слабо трепыхался, пытаясь ущипнуть его за палец.

— Отпусти ты его,— сказал я.— Видишь, ему нездоровится.

Корнеев отпихнул Дрозда и снова посадил попугая на весы. Попугай взъерошился и растопырил крылья.

— Бог с ним,— сказал Роман.— Потом разберемся. Где стихи?

Стелла быстро протараторила все, что мы успели сочинить. Роман почесал подбородок, Володя Почкин неестественно заржал, а Корнеев скомандовал:

— Расстрелять. Из крупнокалиберного пулемета. Вы когда-нибудь научитесь писать стихи?

— Пиши сам,— сказал я сердито.

— Я писать стихи не могу,— сказал Корнеев.— По натуре я не Пушкин. Я по натуре Белинский.

— Ты по натуре кадавр,— сказала Стелла.

— Пардон!— потребовал Витька.— Я желаю, чтобы в газете был отдел литературной критики. Я хочу писать критические статьи. Я вас всех раздолбаю! Я вам еще припомню ваше творение про дачи.

— Какое?— спросил Эдик.

Корнеев немедленно процитировал:

— «Я хочу построить дачу. Где? Вот главная задача! Только местный комитет не дает пока ответ». Было? Признавайтесь!

— Мало ли что,— сказал я.— У Пушкина тоже были неудачные стихи. Их даже в школьных хрестоматиях не полностью публикуют.

— А я знаю,— сказал Дрозд.

Роман повернулся к нему.

— У нас будет сегодня заголовок или нет?

— Будет,— сказал Дрозд.— Я уже букву «К» нарисовал.

— Какую «К»! При чем здесь «К»?

— А что, не надо было?

— Я сейчас умру,— сказал Роман.— Газета называется «За передовую магию». Покажи мне там хоть одну букву «К»!

Дрозд, уставясь в стенку, пошевелил губами.

— Как же так?— сказал он наконец.— Откуда же я взял букву «К»? Была же буква «К»!

Роман рассвирепел и приказал Почкину разогнать всех по местам. Меня со Стеллой отдали под команду Корнеева. Дрозд лихорадочно принялся переделывать букву «К» в стилизованную букву «З». Эдик Амперян пытался улизнуть с психоэлектрометром, но был схвачен, скручен и брошен на починку пульверизатора, необходимого для создания звездного неба. Потом пришла очередь самого Почкина. Роман приказал ему перепечатывать заметки на машинке с одновременной правкой стиля и орфографии. Сам Роман принялся расхаживать по лаборатории.

Некоторое время работа кипела. Мы успели сочинить и забраковать ряд вариантов на банную тему: «В нашей бане завсегда льет холодная вода», «Кто до чистоты голодный, не удовлетворится водой холодной», «В институте двести душ, все хотят горячий душ» и так далее. Корнеев безобразно ругался, как настоящий литературный критик. «Учитесь у Пушкина!— втолковывал он нам.— Или хотя бы у Почкина. Рядом с вами сидит гений, а вы не способны даже подражать ему... «Вот по дороге едет ЗИМ, и им я буду задавим...» Какая физическая сила заключена в этих строках! Какая ясность чувства!» Мы неумело отругивались. Саня Дрозд дошел до буквы «И» в слове «передовую». Эдик починил пульверизатор и опробовал его на Романовых конспектах. Володя Почкин, изрыгая проклятья, искал на машинке букву «Ц». Все шло нормально. Потом Роман вдруг сказал:

— Саша, глянь-ка сюда.

Я посмотрел. Попугай с поджатыми лапками лежал под весами, и глаза его были затянуты белесоватой пленкой, а хохолок обвис.

— Помер,— сказал Дрозд жалостливо.

Мы снова столпились около попугая. У меня не было никаких особенных мыслей в голове, а если и были, то где-то в подсознании, но я протянул руку, взял попугая и осмотрел его лапы. И сейчас же Роман спросил меня:

— Есть?

— Есть,— сказал я.

На черной поджатой лапке было колечко из белого металла, и на колечке было выгравировано: «Фотон»,— и стояли цифры: «190 573». Я растерянно поглядел на Романа. Наверное, у нас с ним был необычный вид, потому что Витька Корнеев сказал:

— А ну, рассказывайте, что вам известно.

— Расскажем?— спросил Роман.

— Бред какой-то,— сказал я.— Фокусы, наверное. Это какие-нибудь дубли.

Роман снова внимательно осмотрел трупик.

— Да нет,— сказал он.— В том-то все и дело. Это не дубль. Это самый что ни на есть оригинальнай оригинал.

— Дай посмотреть,— сказал Корнеев.

Втроем с Володей Почкиным и с Эдиком они тщательнейшим образом исследовали попугая и единогласно объявили, что это не дубль и что они не понимают, почему это нас так трогает. «Возьмем, скажем, меня,— предложил Корнеев.— Я вот тоже не дубль. Почему это вас не поражает?»

Тогда Роман оглядел сгорающую от любопытства Стеллу, открывшего рот Володю Почкина, издевательски улыбающегося Витьку и рассказал им про все — про то, как позавчера он нашел в электрической печи зеленое перо и бросил его в корзину для мусора; и про то, как вчера этого пера в корзине не оказалось, но зато на столе (на этом самом столе)объявился мертвый попугай, точная копия вот этого, и тоже не дубль; и про то, что Янус попугая узнал, пожалел и сжег в упомянутой выше электрической печи, а пепел зачем-то выбросил в форточку.

Некоторое время никто ничего не говорил. Дрозд, рассказом Романа заинтересовавшийся слабо, пожимал плечами. На лице его было явственно видно, что он не понимает, из-за чего горит сыр-бор, и что, по его мнению, в этом учреждении случаются штучки и похлеще. Стеллочка тоже оказалась разочарованной. Но тройка магистров поняла все очень хорошо, и на лицах их читался протест. Корнеев решительно сказал:

— Врете. Причем неумело.

— Это все-таки не тот попугай,— сказал вежливый Эдик.— Вы, наверное, ошиблись.

— Да тот,— сказал я.— Зеленый, с колечком.

— Фотон?— спросил Володя Почкин прокурорским голосом.

— Фотон. Янус его Фотончиком называл.

— А цифры?— спросил Володя.

— И цифры.

— Цифры те же?— спросил Корнеев грозно.

— По-моему, те же,— ответил я нерешительно.

— А точнее?— потребовал Корнеев. Он прикрыл красной лапой попугая.— Повтори, какие тут цифры?

— Девятнадцать...— сказал я.— Э-э... ноль два, что ли? Шестьдесят три.

Корнеев заглянул под ладонь.

— Врешь,— сказал он.— Ты?— обратился он к Роману.

— Не помню,— сказал Роман спокойно.— Кажется, не ноль три, а ноль пять.

— Нет,— сказал я.— Все-таки ноль шесть. Я помню, там такая закорючка была.

— Закорючка,— сказал Почкин презрительно.— Ше Холмсы! Нэ Пинкертоны! Закон причинности им надоел...

Корнеев засунул руки в карманы.

— Это другое дело,— сказал он.— Я даже не настаиваю на том, что вы врете. Просто вы перепутали. Попугаи все зеленые, многие из них окольцованы, эта пара была из серии «Фотон». А память у вас дырявая. Как у всех стихоплетов и редакторов плохих стенгазет.

— Дырявая?— осведомился Роман.

— Как терка.

— Какая терка?— повторил Роман, странно усмехаясь.

— Как старая терка,— пояснил Корнеев.— Ржавая. Как сеть. Крупноячеистая.

Тогда Роман, продолжая странно улыбаться, вытащил из нагрудного кармана записную книжку и перелистал страницы.

— Итак,— сказал он,— крупноячеистая и ржавая. Посмотрим... Девятнадцать ноль пять семьдесят три,— прочитал он.

Магистры рванулись к попугаю и с сухим треском столкнулись лбами.

— Девятнадцать ноль пять семьдесят три,— упавшим голосом прочитал на кольце Корнеев.

Это было очень эффектно. Стелла немедленно завизжала от удовольствия.

— Подумаешь,— сказал Дрозд, не отрываясь от заголовка.— У меня однажды совпал номер на лотерейном билете, и я побежал в сберкассу получать автомобиль. А потом оказалось...

— Почему это ты записал номер?— сказал Корнеев, прищурившись на Романа.— Это у тебя привычка? Ты все номера записываешь? Может быть, у тебя и номер твоих часиков записан?

— Блестяще!— сказал Почкин.— Витька, ты молодец. Ты попал в самую точку. Роман, какой позор! Зачем ты отравил попугая? Как жестоко!

— Идиоты!— сказал Роман.— Что я вам — Выбегалло?

Корнеев подскочил к нему и осмотрел его уши.

— Иди к дьяволу!— сказал Роман.— Саша, ты только полюбуйся на них!

— Ребята,— сказал я укоризненно,— да кто же так шутит? За кого вы нас принимаете?

— А что остается делать?— сказал Корнеев.— Кто-то врет. Либо вы, либо законы природы. Я верю в законы природы. Все остальное меняется.

Впрочем, он быстро скис, сел в сторонке и стал думать. Саня Дрозд спокойно рисовал заголовок. Стелла глядела на всех по очереди испуганными глазами. Володя Почкин быстро писал и зачеркивал какие-то формулы. Первым заговорил Эдик.

— Если даже никакие законы не нарушаются,— рассудительно сказал он,— все равно остается странным неожиданное появление большого количества попугаев в одной и той же комнате и подозрительная смертность среди них. Но я не очень удивлен, потому что не забываю, что имею дело с Янусом Полуэктовичем. Вам не кажется, что Янус Полуэктович сам по себе прелюбопытнейшая личность?

— Кажется,— сказал я.

— И мне тоже кажется,— сказал Эдик.— Чем он, собственно, занимается, Роман?

— Смотря какой Янус. У-Янус занимается связью с параллельными пространствами.

— Гм,— сказал Эдик.— Это нам вряд ли поможет.

— К сожалению,— сказал Роман.— Я вот тоже все время думаю, как связать попугаев с Янусом, и ничего не могу придумать.

— Но ведь он странный человек?— спросил Эдик.

— Да, несомненно. Начать с того, что их двое и он один. Мы к этому так привыкли, что не думаем об этом...

— Вот об этом я и хотел сказать. Мы редко говорим о Янусе, мы слишком уважаем его. А ведь наверняка каждый из нас замечал за ним хоть одну какую-нибудь странность.

— Сранность номер один,— сказал я.— Любовь к умирающим попугаям.

— Пусть так,— сказал Эдик.— Еще?

— Сплетники,— сказал Дрозд с достоинством.— Вот я у него однажды просил в долг.

— Да?— сказал Эдик.

— И он мне дал,— сказал Дрозд.— А я забыл, сколько он мне дал. И теперь не знаю, что делать.

Он замолчал. Эдик некоторое время ждал продолжения, потом сказал:

— Известно ли вам, например, что каждый раз, когда мне приходилось работать с ним по ночам, ровно в полночь он куда-то уходил и через пять минут возвращался, и каждый раз у меня создавалось впечатление, что он так или иначе старается узнать у меня, чем мы тут с ним занимались до его ухода.

— Истинно так,— сказал Роман.— Я это знаю отлично. Я уже давно заметил, что именно в полночь у него начисто отшибает память. И он об этом своем дефекте прекрасно осведомлен. Он несколько раз извинялся и говорил, что это у него рефлекторное, связанное с последствиями сильной контузии.

— Память у него никуда не годится,— сказал Володя Почкин. Он смял листок с вычислениями и швырнул его под стол.— Он все время пристает, виделся ты с ним вчера или не виделся.

— И о чем беседовал, если виделся,— добавил я.

— Память, память,— пробормотал Корнеев нетерпеливо.— При чем здесь память? Мало ли у кого плохая память... Не в этом дело. Что там у него с параллельными пространствами?..

— Сначала надо собрать факты,— сказал Эдик.

— Попугаи, попугаи, попугаи,— продолжал Витька.— Неужели это все-таки дубли?

— Нет,— сказал Володя Почкин.— Я просчитал. Это по всем категориям не дубль.

— Каждую полночь,— сказал Роман,— он идет вот в эту свою лабораторию и буквально на несколько минут запирается там. Один раз он вбежал туда так поспешно, что не успел закрыть дверь...

— И что?— спросила Стелла замирающим голосом.

— Ничего. Сел в кресло, посидел немножко и вернулся обратно. И сразу спросил, не беседовал ли я с ним о чем-нибудь важном.

— Я пошел,— сказал Корнеев, поднимаясь.

— И я,— сказал Эдик.— У нас сейчас семинар.

— И я,— сказал Володя Почкин.

— Нет,— сказал Роман.— Ты сиди и печатай. Назначаю тебя главным. Ты, Стеллочка, возьми Сашу и пиши стихи. А вот я пойду. Вернусь вечером, и чтобы газета была готова.

Они ушли, а мы остались делать газету. Сначала мы пытались что-нибудь придумать, но быстро утомились и поняли, что не можем. Тогда мы написали небольшую поэму об умирающем попугае.

Когда Роман вернулся, газета была готова, Дрозд лежал на столе и поглощал бутерброды, а Почкин объяснял нам со Стеллой, почему происшествие с попугаем совершенно невозможно.

— Молодцы,— сказал Роман.— Отличная газета. А какой заголовок! Какое бездонное звездное небо! И как мало опечаток!.. А где попугай?

Попугай лежал в чашке Петри, в той самой чашке и на том самом месте, где мы с Романом видели его вчера. У меня даже дух захватило.

— Кто его сюда положил?— осведомился Роман.

— Я,— сказал Дрозд.— А что?

— Нет, ничего,— сказал Роман.— Пусть лежит. Правда, Саша?

Я кивнул.

— Посмотрим, что с ним будет завтра,— сказал Роман.

Глава четвертая

Эта бедная, старая невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит.

Р. Стивенсон

Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. «Алдан» был починен и готов к бою, и, когда я пришел после завтрака в электронный зал, у дверей уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Кристобаля Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. (Почерк у Кристобаля Хозевича был действительно неудобочитаем: Хунта писал по-русски готическими буквами). Дубль Федора Симеоновича принес программу, составленную лично Федором Симеоновичем. Это была первая программа, которую составил сам Федор Симеонович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она грамотно, экономно и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбозавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его.

— Да неудобно как-то,— бормотал он, опасливо косясь на дублей.— Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, это не товарищи,— успокоил я его.

— Ну граждане...

— И не граждане.

Бухгалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом:

— То-то же я смотрю — не мигают оне... А вот этот в синем — он, по-моему, и не дышит...

Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман.

— Саша?

— Да.

— А попугая-то нет.

— Как так нет?

— А вот так.

— Уборщица выбросила?

— Спрашивал. Не только не выбрасывала, но и не видела.

— Может быть, домовые хамят?

— Это в лаборатории-то директора? Вряд ли.

— Н-да,— сказал я.— А может быть, сам Янус?

— Янус еще не приходил. И вообще, кажется, не вернулся из Москвы.

— Так как же это все понимать?— спросил я.

— Не знаю. Посмотрим.

Мы помолчали.

— Ты меня позовешь?— спросил я.— Если что-нибудь интересное...

— Ну конечно. Обязательно. Пока, дружище.

Я заставил себя не думать об этом попугае, до которого мне в конце концов не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне.

Эту задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но потом посоветовался с Хунтой, который в таких вещах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал, а вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и, блаженствуя, откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от злости Хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. Это чрезвычайно напоминает ему саботаж, сообщил он.

Я с умилением смотрел на него.

— Кристобаль Хозевич,— сказал я.— Я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным.

Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал:

— Позвольте посмотреть.

Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением просмаковали два изящнейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам.

— У нас с вами неплохие головы, Алехандро,— сказал, наконец, Хунта.— В нас есть артистичность мышления. Как вы находите?

— По-моему, мы молодцы,— сказал я искренне.

— Я тоже так думаю,— сказал он.— Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюки-невидимки.

Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу Хунты, и очень скоро он сказал, что и раньше иногда считал себя п о б р е к и т о, а в том, что я математически невежествен, убедился при первой же встрече. Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо в три шеи гнать из института грузить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит пустить на удобрения, а меня на километр не подпускать к лесоразработкам, где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим, а назначить учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках. Мы сидели, подперев головы, и предавались самоуничижению, когда в зал заглянул Федор Симеонович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе.

— Программа!— желчно усмехнувшись, произнес Хунта.— Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим...— Он с отвращением подал двумя пальцами Федору Симеоновичу листок со своей задачей.— Полюбуйся, вот образец убожества и ничтожества.

— Г-голубчики,— сказал Федор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках.— Это же п-проблема Бен Б-бецалеля. К-калиостро же доказал, что она н-не имеет р-решения.

— Мы сами знаем, что она не имеет решения,— сказал Хунта, немедленно ощетинившись.— Мы хотим знать, как ее решать.

— К-как-то ты странно рассуждаешь, К-кристо... К-как же искать решение, к-когда его нет? Б-бессмыслица какая-то...

— Извини, Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица — искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которая решения не имеет. Это глубоко принципиальный во-

прос, который, как я вижу, тебе,прикладнику, к сожалению, не доступен. По-видимому, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему.

Тон Кристобаля Хозевича был необычайно оскорбителен, и Федор Симеонович рассердился.

— В-вот что, г-голубчик,— сказал он.— Я не-не могу дискутировать с т-тобой в этом тоне п-при молодом человеке. Т-ты меня удивляешь. Это н-неп-педагогично. Если тебе угодно п-продолжать, изволь выйти со мной в к-коридор.

— Изволь,— отвечал Хунта, распрямляясь как пружина и судорожно хватая у бедра несуществующий эфес.

Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив руками голову, над оставленным листком и некоторое время краем уха слушал, как в коридоре могуче рокочет бас Федора Симеоновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Кристобаля Хозевича. Потом Федор Симеонович взревел: «Извольте пройти в мой кабинет!» — «Извольте!» — проскрежетал Хунта. Они уже были на «вы». И голоса удалились. «Дуэль! Дуэль!» — защебетали девочки. О Хунте ходила лихая слава бретёра и забияки. Говорили, что он приводит противника в свою лабораторию, предлагает на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимается а-ля Жан Маре скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Федора Симеоновича можно было быть спокойным. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будет мрачно молчать через стол, потом Федор Симеонович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиром Блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Симеонович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию: «Свежих огурчиков!»

В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх.

В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера, на коромысле весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал. Бледный Эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице, словно его глодала мигрень. А Витька, верхом на стуле, раскачивался, как мальчик, играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал, лихорадочно тараща глаза.

— Тот самый?— спросил я вполголоса.

— Тот самый,— сказал Роман.

— Фотон?— Я тоже почувствовал себя неважно.

— Фотон.

— И номер совпадает?

Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом:

— Если бы мы знали, сколько у попугаев перьев в хвосте, мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера.

— Хотите, я за Бремом сбегаю?— предложил я.

— Где покойник?— спросил Роман.— Вот с чего нужно начинать! Слушайте, детективы, где труп?

— Тр-руп!— рявкнул попугай.— Цер-ремония! Тр-руп за бор-рт! Р-рубидий!

— Черт знает что он говорит,— сказал Роман с сердцем.

— Труп за борт — это типично пиратское выражение,— пояснил Эдик.

— А рубидий?

— Р-рубидий! Резер-рв! Огр-ромен!— сказал попугай.

— Резервы рубидия огромны,— перевел Эдик.— Интересно, где?

Я наклонился и стал разглядывать колечко.

— А может быть, это все-таки не тот?

— А где тот?— спросил Роман.

— Ну, это другой вопрос,— сказал я.— Все-таки это проще объяснить.

— Объясни,— предложил Роман.

— Подожди,— сказал я.— Давай сначала решим вопрос: тот или не тот?

— По-моему, тот,— сказал Эдик.

— А по-моему, не тот,— сказал я.— Вот здесь на колечке царапина, где тройка...

— Тр-ройка!— произнес попугай.— Тр-ройка!

Витька вдруг встрепенулся.

— Есть идея,— сказал он.

— Какая?

— Ассоциативный допрос.

— Как это?

— Погодите. Сядьте все, молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон?

— Есть диктофон.

— Давай сюда. Только все молчите. Я его сейчас расколю, прохвоста. Он у меня все скажет.

Витька подтащил стул, сел с диктофоном в руке напротив попугая, нахохлился, посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул:

— Р-рубидий!

Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался:

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

Мы переглянулись.

— Р-резерв!— гаркнул Витька.

— Огр-ромен! Гр-руды! Гр-руды! Р-ричи пр-рав! Р-ричи пр-рав! Р-роботы! Р-роботы!

— Роботы!

— Кр-рах! Гор-рят! Атмосфер-ра гор-рит! Пр-рочь! Др-рамба, пр-рочь!

— Драмба!

— Р-рубидий! Р-резерв!

— Рубидий!

— Р-резерв! Кр-ратер Р-ричи!

— Замыкание,— сказал Роман.— Круг.

— Погоди, погоди,— бормотал Витька.— Сейчас...

— Попробуй что-нибудь из другой области,— посоветовал Эдик.

— Янус!— сказал Витька.

Попугай открыл клюв и чихнул.

— Я-нус,— повторил Витька строго.

Попугай задумчиво смотрел в окно.

— Буквы «р» нет,— сказал я.

— Пожалуй,— сказал Витька.— А ну-ка... Невстр-руев!

— Пер-рехожу на пр-рием!— сказал попугай.— Чар-родей! Чар-родей! Говор-рит Кр-рыло, говор-рит Кр-рыло!

— Это не пиратский попугай,— сказал Эдик.

— Спроси его про труп,— попросил я.

— Труп,— неохотно сказал Витька.

— Цер-ремония погр-ребения! Вр-ремя огр-раничено! Р-речь! Р-речь! Тр-епотня! Р-работать! Р-работать!

— Любопытные у него были хозяева,— сказал Роман.— Что же нам делать?

— Витя,— сказал Эдик.— У него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное.

— Водородная бомба,— сказал Витька.

Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв.

— Паровоз!— сказал Витька.

Попугай промолчал.

— Да, не получается,— сказал Роман.

— Вот дьявол,— сказал Витька.— Ничего не могу придумать обыденного с буквой «р». Стул, стол, потолок... Диван... О! Тр-ранслятор!

Попугай поглядел на Витьку одним глазом.

— Кор-рнеев, пр-рошу!

— Что?— спросил Витька.

Впервые в жизни я видел, как Витька растерялся.

— Кор-рнеев гр-руб! Гр-руб! Пр-рекрасный р-работник! Дур-рак р-редкий! Пр-релесть!

Мы захихикали. Витька посмотрел на нас и мстительно сказал:

— Ойр-ра-Ойр-ра!

— Стар-р, стар-р!— с готовностью откликнулся попугай.— Р-рад! Дор-рвался!

— Это что-то не то,— сказал Роман.

— Почему же не то?— сказал Витька.— Очень даже то... Пр-ривалов!

— Пр-ростодушный пр-роект! Пр-римитив! Тр-рудяга!

— Ребята, он нас всех знает,— сказал Эдик.

— Р-ребята,— отозвался попугай.— Зер-рнышко пер-рцу! Зер-ро! Зер-ро! Гр-равитация!

— Амперян,— торопливо сказал Витька.

— Кр-рематорий! Безвр-ременно обор-рвалась!— сказал попугай, подумал и добавил:— Ампер-рметр!

— Бессвязица какая-то,— сказал Эдик.

— Бессвязиц не бывает,— задумчиво сказал Роман.

Витька, щелкнув замочком, открыл диктофон.

— Лента кончилась,— сказал он.— Жаль.

— Знаете что,— сказал я,— по-моему, проще всего спросить у Януса. Что за попугай, откуда он, и вообще...

— А кто будет спрашивать?— осведомился Роман.

Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и мы согласились. Все это звучало очень странно. При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда реплики вроде: «Др-рамба игнор-рирует урран», «Пр-равильно» и «Кор-рнеев гр-руб». Когда запись кончилась, Эдик сказал:

— В принципе можно было бы составить лексический словарь и проанализировать его на машине. Но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает. Это уже удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает про роботов. И про рубидий. Кстати, где употребляется рубидий?

— У нас в институте,— сказал Роман,— он, во всяком случае, нигде не употребляется.

— Это что-то вроде натрия,— сказал Корнеев.

— Рубидий — ладно,— сказал я.— Откуда он знает про лунные кратеры?

— Почему именно про лунные?

— А разве на Земле горы называют кратерами?

— Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а во-вторых, кратер — это не гора, а, скорее, дыра.

— Дыр-ра вр-ремени,— сообщил попугай.

— У него любопытнейшая терминология,— сказал Эдик.— Я никак не могу назвать ее общеупотребительной.

— Да,— согласился Витька.— Если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами.

— Стр-ранный ор-рбитальный пер-реход,— сказал попугай.

— Янус не занимается космосом,— сказал Роман.— Я бы знал.

— Может быть, раньше занимался?

— И раньше не занимался.

— Роботы какие-то,— с тоской сказал Витька.— Кратеры... При чем здесь кратеры?

— Может быть, Янус читает фантастику?— предположил я.

— Вслух? Попугаю?

— Н-да...

— Венера,— сказал Витька, обращаясь к попугаю.

— Р-роковая стр-расть,— сказал попугай. Он задумался и пояснил:— Р-разбился. Зр-ря.

Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег щекой на стол и закрыл глаза.

— А как он здесь появился?— спросил я.

— Как вчера,— сказал Роман.— Из лаборатории Януса.

— Вы это сами видели?

— Угу.

— Я одного не понимаю,— сказал я.— Он умирал или не умирал?

— А мы откуда знаем?— сказал Роман.— Я не ветеринар. А Витька не орнитолог. И вообще это, может быть, не попугай.

— А что?

— А я откуда знаю?

— Это, может быть, сложная наведенная галлюцинация,— сказал Эдик, не открывая глаз.

— Кем наведенная?

— Вот об этом я сейчас и думаю,— сказал Эдик.

Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился.

— Он раздваивается,— сказал я.— Это не галлюцинация.

— Я сказал: сложная галлюцинация,— напомнил Эдик.

Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп.

— Вот что,— сказал Корнеев.— Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один — всё это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись!

— Не пойду,— сказал Эдик.— У меня есть еще одна идея.

— Какая?

— Не скажу.

— Почему?

— Побьете.

— Мы тебя и так побьем.

— Бейте.

— Нет у тебя никакой идеи,— сказал Витька.— Это все тебе кажется. Айда к психиатру.

Дверь скрипнула, и в лабораторию из коридора вошел Янус Полуэктович.

— Так,— сказал он.— Здравствуйте.

Мы встали. Он обошел нас и пожал руку.

— Фотончик,— сказал он, увидя попугая.— Он вам не мешает, Роман Петрович?

— Мешает? — сказал Роман.— Мне? Почему он мешает? Он не мешает. Наоборот...

— Ну, все-таки каждый день...— начал Янус Полуэктович и вдруг осекся.— О чем это мы с вами вчера беседовали?— спросил он, потирая лоб.

— Вчера вы были в Москве,— сказал Роман с покорностью в голосе.

— Ах... да-да. Ну хорошо. Фотончик! Иди сюда!

Попугай, вспорхнув, сел Янусу на плечо и сказал ему на ухо:

— Пр-росо, пр-росо! Сахар-рок!

Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга.

— Пошли отсюда,— сказал Роман.

— К психиатру! К психиатру!— зловеще бормотал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван.— В кратер Ричи. Др-рамба! Сахар-рок!

Глава пятая

Фактов всегда достаточно — не хватает фантазии.

Д. Блохинцев

Витька составил на пол контейнеры с живой водой, мы повалились на диван-транслятор и закурили. Через некоторое время Роман спросил:

— Витька, а ты диван выключил?

— Да.

— Что-то мне в голову ерунда какая-то лезет.

— Выключил и заблокировал,— сказал Витька.

— Нет, ребята,— сказал Эдик,— а почему все-таки не галлюцинация?

— Кто говорит, что не галлюцинация?— спросил Витька.— Я же предлагаю — к психиатру.

— Когда я ухаживал за Майкой,— сказал Эдик,— я наводил такие галлюцинации, что самому страшно становилось.

— Зачем?— спросил Витька.

Эдик подумал.

— Не знаю,— сказал он.— Наверное, от восторга.

— Я спрашиваю: зачем кому-то наводить на нас галлюцинации?— сказал Витька.— И потом, мы не Майка. Мы, слава богу, магистры. Кто

нас может одолеть? Ну, Янус. Ну, Киврин, Хунта. Может быть, Жиакомо еще.

— Вот Саша у нас слабоват,— извиняющимся тоном сказал Эдик.

— Ну и что?— спросил я.— Мне, что ли, одному мерещится?

— Вообще-то это можно было бы проверить,— задумчиво сказал Витька.— Если Сашку... того... этого...

— Но-но,— сказал я.— Вы мне это прекратите. Других способов нет, что ли? Надавите на глаз. Или дайте диктофон постороннему человеку. Пусть прослушает и скажет, есть там запись или нет.

Магистры жалостливо улыбнулись.

— Хороший ты программист, Саша,— сказал Эдик.

— Салака,— сказал Корнеев.— Личинка.

— Да, Сашенька,— вздохнул Роман.— Ты даже представить себе не можешь, я вижу, что такое настоящая, подробная, тщательно наведенная галлюцинация.

На лицах магистров появилось мечтательное выражение — видимо, их осенили сладкие воспоминания. Я смотрел на них с завистью. Они улыбались. Они жмурились. Потом Эдик вдруг сказал:

— Всю зиму у нее цвели орхидеи. Они пахли самым лучшим запахом, какой я только мог выдумать.

Витька очнулся.

— Берклеанцы,— сказал он.— Солипсисты немытые. «Как ужасно мое представленье!»

— Да,— сказал Роман.— Галлюцинации — это не предмет для обсуждения. Слишком простодушно. Мы не дети и не бабки. Не хочу быть агностиком. Какая там у тебя была идея, Эдик?

— У меня?.. Ах да, была. Тоже в общем-то примитив. Матрикаты.

— Гм,— сказал Роман с сомнением.

— А как это?— спросил я.

Эдик неохотно объяснил, что, кроме известных мне дублей, существуют еще матрикаты — точные, абсолютные копии предметов или существ. В отличие от дублей матрикат совпадает с оригиналом с точностью до структуры. Различить их обычными методами невозможно. Нужны специальные установки, и вообще это очень сложная и трудоемкая работа. В свое время Бальзамо получил магистра-академика за доказательство матрикатной природы Филиппа Бурбона, известного в народе под прозвищем «Железная Маска». Этот матрикат Людовика Четырнадцатого был создан в тайных лабораториях иезуитов с целью захватить французский престол. В наше время матрикаты изготавливаются методом биостереографии а-ля Ришар Сэгюр.

Я не знал тогда, кто такой Ришар Сэгюр, но я сразу сказал, что идея о матрикатах может объяснить только необычайное сходство попугаев. И все. Например, остается по-прежнему непонятным, куда исчез вчерашний дохлый попугай.

— Да, это так,— сказал Эдик.— Я и не настаиваю. Тем более, что Янус не имеет никакого отношения к биостереографии.

— Вот именно,— сказал я смелее.— Тогда уж лучше предположить путешествие в описываемое будущее. Знаете? Как Луи Седловой.

— Ну?— сказал Корнеев без особого интереса.

— Просто Янус летает в какой-нибудь фантастический роман, забирает оттуда попугая и привозит сюда. Попугай сдохнет, он снова летит на ту же страницу и опять... Тогда понятно, почему попугаи похожи. Это один и тот же попугай, и понятно, почему у него такой научно-фантастический лексикон. И вообще,— продолжал я, чувствуя, что все получается не так

уж глупо,— можно даже попытаться объяснить, почему Янус все время задает вопросы: он каждый раз боится, что вернулся не в тот день, в который следует... По-моему, я все здорово объяснил, а?

— А что, есть такой фантастический роман?— с любопытством спросил Эдик.— С попугаем?..

— Не знаю,— сказал я честно.— Но у них там в звездолетах всякие животные бывают. И кошки, и обезьяны, и дети... Опять же на Западе существует обширнейшая фантастика, все не перечитаешь...

— Ну... во-первых, попугай из западной фантастики вряд ли станет говорить по-русски,— сказал Роман.— А главное, совершенно непонятно, откуда эти космические попугаи — пусть даже из советской фантастики — могут знать Корнеева, Привалова и Ойру-Ойру...

— Я уже не говорю о том,— лениво сказал Витька,— что перебрасывать материальное тело в идеальный мир — это одно, а идеальное тело в материальный мир — это уже другое. Сомневаюсь я, чтобы нашелся писатель, создавший образ попугая, пригодный для самостоятельного существования в реальном мире.

Я вспомнил полупрозрачных изобретателей и не нашелся что возразить.

— Впрочем,— благосклонно продолжал Витька,— наш Сашенция подает определенные надежды. В его идее ощущается некое благородное безумие.

— Не стал бы Янус сжигать идеального попугая,— убежденно сказал Эдик.— Ведь идеальный попугай даже протухнуть не может.

— А почему?— сказал вдруг Роман.— Почему мы так непоследовательны? Почему Седловой? С какой стати Янус будет повторять Л. Седлового? У Януса есть тема. У Януса есть своя проблематика. Янус занимается параллельными пространствами. Давайте исходить из этого!

— Давайте,— сказал я.

— Ты думаешь, что Янусу удалось связаться с каким-нибудь параллельным пространством?— спросил Эдик.

— Связь он наладил уже давно. Почему не предположить, что он пошел дальше? Почему не предположить, что он налаживает переброску материальных тел? Эдик прав, это матрикаты, это и должны быть матрикаты, потому что необходима гарантия полной идентичности перебрасываемого предмета. Режим переброски они подбирают, исходя из эксперимента. Первые две переброски были неудачны: попугаи дохли. Сегодня эксперимент, кажется, удался...

— Почему они говорят по-русски?— спросил Эдик.— И почему все-таки у попугаев такой лексикон?

— Значит, и там есть Россия,— сказал Роман.— Но там уже добывают рубидий в кратере Ричи.

— Сплошные натяжки,— сказал Витька.— Почему именно попугаи? Почему не собаки и не морские свинки? Почему не просто магнитофоны, наконец? И опять же, откуда эти попугаи знают, что Ойра-Ойра стар, а Корнеев — прекрасный работник?

— Грубый,— подсказал я.

— Грубый, но прекрасный. И куда все-таки девался дохлый попугай.

— Вот что,— сказал Эдик.— Так нельзя. Мы работаем, как дилетанты. Как авторы любительских писем: «Дорогие ученые. У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит». Система нужна. Где у тебя бумага, Витя? Сейчас мы все распишем...

И мы расписали все красивым Эдиковым почерком.

Во-первых, мы приняли постулат, что происходящее не является галлюцинацией, иначе было бы просто неинтересно. Потом мы сформулировали вопросы, на которые искомая гипотеза должна была дать ответ. Эти вопросы мы разделили на две группы: группа «Попугай» и группа «Янус». Группа «Янус» была введена по настоянию Романа и Эдика, которые заявили, что всем нутром чуют связь между странностями Януса и странностями попугаев. Они не смогли ответить на вопрос Корнеева, каков физический смысл понятий «нутро» и «чуять», но подчеркнули, что Янус сам по себе представляет любопытнейший обьект для исследования и что яблочко от яблони далеко не падает. Поскольку я своего мнения не имел, они оказались в большинстве, и окончательный список вопросов выглядел так.

Почему попугаи за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, похожи друг на друга до такой степени, что были приняты нами сначала за одного и того же? Почему Янус сжег первого попугая, а также, вероятно, и того, который был перед первым (нулевого) и от которого осталось только перо? Куда девалось перо? Куда девался второй (издохший) попугай? Как объяснить странный лексикон второго и третьего попугаев? Как объяснить, что третий попугай знает всех нас, в то время как мы видим его впервые? («Почему и от чего издохли попугаи?» — добавил было я, но Корнеев проворчал: «Почему и от чего первым признаком отравления является посинение трупа?— и мой вопрос не записали.) Что объединяет Януса и попугаев? Почему Янус никогда не помнит, с кем и о чем он беседовал вчера? Что происходит с Янусом в полночь? Почему У-Янус имеет странную манеру говорить в будущем времени, в то время как за А-Янусом ничего подобного не замечалось? Почему их вообще двое, и откуда, собственно, пошла легенда, что Янус Полуэктович един в двух лицах?

После этого мы некоторое время старательно думали, поминутно заглядывая в листок. Я все надеялся, что меня вновь осенит благородное безумие, но мысли мои рассеивались, и я чем дальше, тем больше начинал склоняться к точке зрения Сани Дрозда: что в этом институте и не такие штучки вытворяются. Я понимал, что этот дешевый скептицизм есть попросту следствие моего невежества и непривычки мыслить категориями измененного мира, но это уже от меня не зависело. Все происходящее, рассуждал я, по-настоящему удивительно только, если считать, что эти три или четыре попугая — один и тот же попугай. Они действительно так похожи друг на друга, что вначале я был введен в заблуждение. Это естественно. Я математик, я уважаю числа, и совпадение номеров — в особенности шестизначных — для меня автоматически ассоциируется с совпадением пронумерованных предметов. Однако ясно, что это не может быть один и тот же попугай. Тогда нарушается закон причинно-следственной связи, закон, от которого я совершенно не собирался отказываться из-за каких-то паршивых попугаев, да еще дохлых вдобавок. А если это не один и тот же попугай, то вся проблема мельчает. Ну, совпадают номера. Ну, кто-то незаметно от нас выбросил попугая. Ну, что там еще? Лексикон? Подумаешь, лексикон... Наверняка этому есть какое-нибудь очень простое объяснение. Я собрался было уже произнести по этому поводу речь, как вдруг Витька сказал:

— Ребята, кажется, я догадываюсь.

Мы не сказали ни слова. Мы только повернулись к нему — одновременно и с шумом. Витька встал.

— Это просто, как блин,— сказал он.— Это тривиально. Это плоско и банально. Это даже неинтересно рассказывать.

Мы медленно поднимались. У меня было такое ощущение, будто я читаю последние страницы захватывающего детектива. Весь мой скептицизм как-то сразу испарился.

— Контрамоция! — изрек Витька.

Эдик лег.

— Хорошо!— сказал он.— Молодец!

— Контрамоция?— сказал Роман.— Что ж... Ага...— Он завертел пальцами. Так... Угу... А если так?.. Да, тогда понятно, почему он нас всех знает...— Роман сделал широкий приглашающий жест.— Идут, значит, оттуда...

— И поэтому он спрашивает, о чем беседовал вчера,— подхватил Витька.— И фантастическая терминология...

— Да подождите вы!— завопил я. Последняя страница детектива была написана по-арабски.— Подождите! Какая контрамоция?

— Нет,— сказал Роман с сожалением, и сейчас же по лицу Витьки стало ясно, что он тоже понял, что контрамоция не пойдет.— Не получается,— сказал Роман.— Это как кино... Представь себе кино...

— Какое кино?!— закричал я.— Помогите!!!

— Кино наоборот,— пояснил Роман.— Понимаешь? Контрамоция.

— Дрянь собачья,— расстроенно сказал Витька и лег на диван носом в сложенные руки.

— Да, не получается,— сказал Эдик тоже с сожалением.— Саша, ты не волнуйся: все равно не получается. Контрамоция — это, по определению, движение по времени в обратную сторону. Как нейтрино. Но вся беда в том, что, если бы попугай был контрамотом, он летал бы задом наперед и не умирал бы на наших глазах, а оживал бы... А вообще-то идея хорошая. Попугай-контрамот действительно мог бы знать кое-что о космосе. Он же живет из будущего в прошлое. А контрамот-Янус действительно не мог бы знать, что происходило в нашем «вчера». Потому что наше «вчера» было бы для него «завтра».

— В том-то и дело,— сказал Витька.— Я так и подумал: почему попугай говорил про Ойру-Ойру «стар»? И почему Янус иногда так ловко и в деталях предсказывает, что будет завтра? Помнишь случай на полигоне, Роман? Напрашивалось, что они из будущего...

— А разве это возможно — контрамоция?— сказал я.

— Теоретически возможно,— сказал Эдик.— Ведь половина вещества во Вселенной движется в обратную сторону по времени. Практически же этим никто не занимался.

— Кому это нужно и кто это выдержит?— сказал Витька мрачно.

— Положим, это был бы замечательный эксперимент,— заметил Роман.

— Не эксперимент, а самопожертвование,— проворчал Витька.— Как хотите, а есть в этом что-то от контрамоции... Нутром чую.

— Ах, нутром!..— сказал Роман, и все замолчали.

Пока они молчали, я лихорадочно суммировал, что же мы имеем на практике. Если контрамоция теоретически возможна, значит теоретически возможно нарушение причинно-следственного закона. Собственно, даже не нарушение, потому что закон этот остается справедлив в отдельности и для нормального мира и для мира контрамота... А значит, можно все-таки предположить, что попугаев не три и не четыре, а всего один, один и тот же. Что получается? Десятого с утра он лежит дохлый в чашке Петри. Затем его сжигают, превращают в пепел и развеивают по ветру. Тем не менее утром одиннадцатого он жив опять. Не только не испепелен, но цел и невредим. Правда, к середине дня он издыхает и снова оказывается в чашке

Петри. Это чертовски важно! Я чувствовал, что это чертовски важно — чашка Петри... Единство места!.. Двенадцатого попугай опять жив и просит сахарок... Это не контрамоция, это не фильм, пущенный наоборот, но что-то от контрамоции здесь все-таки есть... Витька прав... Для контрамота ход событий таков: попугай жив, попугай умирает, попугая сжигают. С нашей точки зрения, если отвлечься от деталей, получается как раз наоборот: попугая сжигают, попугай умирает, попугай жив... Словно фильм разрезали на три куска и показывают сначала третий кусок, потом второй, а потом уже первый... Какие-то разрывы непрерывности... Разрывы непрерывности... Точки разрыва...

— Ребята,— сказал я замирающим голосом,— а контрамоция обязательно должна быть непрерывной?

Некоторое время они не реагировали. Эдик курил, пуская дым в потолок, Витька неподвижно лежал на животе, а Роман бессмысленно смотрел на меня. Потом глаза его расширились.

— Полночь!— сказал он страшным шепотом.

Все вскочили.

Было так, точно я на кубковом матче забил решающий гол. Они бросались на меня, они слюнявили мои щеки, они били меня по спине и по шее, они повалили меня на диван и повалились сами. «Умница!» — вопил Эдик. «Голова!»— ревел Роман. «А я-то думал, что ты у нас дурак!»— приговаривал грубый Корнеев. Затем они успокоились, и дальше все пошло как по маслу.

Сначала Роман ни с того ни с сего заявил, что теперь он знает тайну Тунгусского метеорита. Он пожелал сообщить ее нам немедленно, и мы с радостью согласились, как ни парадоксально это звучит. Мы не торопились приступить к тому, что интересовало нас больше всего. Нет, мы совсем не торопились! Мы чувствовали себя гурманами. Мы не накидывались на яства. Мы вдыхали ароматы, мы закатывали глаза и чмокали, ходя вокруг, мы предвкушали...

— Давайте, наконец, внесем ясность,— вкрадчивым голосом начал Роман,— в запутанную проблему Тунгусского дива. До нас этой проблемой занимались люди, абсолютно лишенные фантазии. Все эти кометы, метеориты из антивещества, самовзрывающиеся атомные корабли, всякие там космические облака и квантовые генераторы — все это слишком банально, а значит, далеко от истины. Для меня Тунгусский метеорит всегда был кораблем пришельцев, и я всегда полагал, что корабль не могут найти на месте взрыва просто потому, что его там давно уже нет. До сегодняшнего дня я думал, что падение Тунгусского метеорита есть не посадка корабля, а его взлет. И уже эта черновая гипотеза многое объясняла. Идеи дискретной контрамоции позволяют покончить с этой проблемой раз и навсегда. Что же произошло тридцатого и ю н я тысяча девятьсот восьмого года в районе Подкаменной Тунгуски? Примерно в середине июля того же года в околосолнечное пространство вторгся корабль пришельцев. Но это не были простые, безыскусные пришельцы фантастических романов. Это были контрамоты, товарищи! Люди, прибывшие в наш мир из другой вселенной, где время течет навстречу нашему. В результате взаимодействия противоположных потоков времени они из обыкновенных контрамотов, воспринимающих нашу вселенную как фильм, пущенный наоборот, превратились в контрамотов дискретного типа. Природа этой дискретности нас пока не интересует. Важно другое. Важно то, что жизнь их в нашей вселенной стала подчинена определенному ритмическому циклу. Если предположить для простоты, что единичный цикл был у них равен земным суткам, то существование их, с нашей точки зрения, выглядело бы так.

В течение, скажем, первого июля они живут, работают и питаются совершенно как мы. Однако ровно, скажем, в полночь они вместе со всем своим оборудованием переходят не во второе июля, как это делаем мы, простые смертные, а в самое начало тридцатого июня, то есть не на мгновение вперед, а на двое суток назад, если рассуждать с нашей точки зрения. Точно так же в конце тридцатого июня они переходят не в первое июля, а в самое начало двадцать девятого июня. И так далее. Оказавшись в непосредственной близости от Земли, наши контрамоты с изумлением обнаружили, если не обнаружили этого еще раньше, что Земля совершает на своей орбите весьма странные скачки — скачки, чрезвычайно затрудняющие астронавигацию. Кроме того, находясь над Землею первого июля в нашем счете времени, они обнаружили в самом центре гигантского Евразийского материка мощный пожар, дым которого они наблюдали в могучие телескопы и раньше — второго, третьего и так далее июля в нашем счете времени. Катаклизм и сам по себе заинтересовал их, однако научное их любопытство было окончательно распалено, когда утром тридцатого июня — в нашем счете времени — они заметили, что никакого пожара нет и в помине, а под кораблем расстилается спокойное зеленое море тайги. Заинтригованный капитан приказал посадку в том самом месте, где он вчера — в его счете времени — своими глазами наблюдал эпицентр огненной катастрофы. Дальше пошло как полагается. Защелкали тумблеры, замерцали экраны, загремели планетарные двигатели, в которых взрывался кагамма-плазмоин...

— Как-как?— спросил Витька.

— Ка-гамма-плазмоин. Или, скажем, мю-дельта-ионопласт. Корабль, окутанный пламенем, рухнул в тайгу и, естественно, зажег ее. Именно эту картину и наблюдали крестьяне села Карелинского и другие люди, вошедшие впоследствии в историю как очевидцы. Пожар был ужасен. Контрамоты выглянули было наружу, затрепетали и решили переждать за тугоплавкими и жаростойкими стенами корабля. До полуночи они с трепетом прислушивались к свирепому реву и треску пламени, а ровно в полночь все вдруг стихло. И не удивительно. Контрамоты вступили в свой новый день — двадцать девятое июня по нашему времяисчислению. И когда отважный капитан с огромными предосторожностями решился около двух часов ночи высунуться наружу, он увидел в свете мощных прожекторов спокойно качающиеся сосны и тут же подвергся нападению тучи мелких кровососущих насекомых, известных под названием гнуса или мошки в нашей терминологии.

Роман перевел дух и оглядел нас. Нам очень нравилось. Мы предвкушали, как точно так же разделаем под орех тайну попугая.

— Дальнейшая судьба пришельцев-контрамотов,— продолжал Роман,— не должна нас интересовать. Может быть, числа пятнадцатого июня они тихо и бесшумно, используя на этот раз ничего не воспламеняющую альфа-бетта-гамма-антигравитацию, снялись со странной планеты и вернулись домой. Может быть, они все до одного погибли, отравленные комариной слюной, а их космический корабль еще долго торчал на нашей планете, погружаясь в пучину времени, и на дне силурийского моря по нему ползали трилобиты. Не исключено также, что где-нибудь в девятьсот шестом или, скажем, в девятьсот первом году набрел на него таежный охотник и долго потом рассказывал об этом приятелям, которые,как и следует быть, ни на грош ему не верили. Заканчивая свое выступление, я позволю себе выразить сочувствие славным исследователям, которые тщетно пытались обнаружить что-нибудь в районе Подкаменной Тунгуски. Завороженные очевидностью, они интересовались только тем, что происходило

в тайге после взрыва, и никто из них не попытался узнать, что там было до Дикси[1]. Роман откашлялся и выпил кружку живой воды.

— У кого есть вопросы к докладчику?— осведомился Эдик.— Нет вопросов? Превосходно. Вернемся к нашим попугаям. Кто просит слова?

Слова просили все. И все заговорили. Даже Роман, который слегка охрип. Мы рвали друг у друга листочек со списком вопросов и вычеркивали вопросы один за другим, и через какие-нибудь полчаса была составлена исчерпывающе ясная и детально разработанная картина наблюдаемого явления.

В тысяча восемьсот сорок первом году в семье небогатого помещика и отставного армейского прапорщика Полуэкта Хрисанфовича Невструева родился сын. Назвали его Янусом в честь дальнего родственника Януса Полуэктовича Невструева, точно предсказавшего пол, а также день и даже час рождения младенца. Родственник этот, тихий, скромный старичок, переехал в поместье отставного прапорщика вскоре после наполеоновского нашествия, жил во флигеле и предавался ученым занятиям. Был он чудаковат, как и полагается ученым людям, со многими странностями, однако привязался к своему крестнику всей душой и не отходил от него ни на шаг, настойчиво внедряя в него познания из математики, химии и других наук. Можно сказать, что в жизни младшего Януса не было ни одного дня без Януса-старшего, и, верно, потому он не замечал того, чему дивились другие: старик не только не дряхлел, но, напротив, становился будто бы даже сильнее и бодрее. К концу столетия старый Янус посвятил младшего в окончательные тайны аналитической, релятивистской и обобщенной магии. Они продолжали жить и трудиться бок о бок, участвуя во всех войнах и революциях, претерпевая более или менее мужественно все превратности истории, пока не попали, наконец, в Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства...

Откровенно говоря, вся эта вводная часть являлась сплошной литературой. О прошлом Янусов мы достоверно знали только тот факт, что родился Я. П. Невструев седьмого марта тысяча восемьсот сорок первого года. Каким образом и когда Я. П. Невструев стал директором института, нам было совершенно неизвестно. Мы не знали, даже, кто первый догадался и проговорился о том, что У-Янус и А-Янус — один человек в двух лицах. Я узнал об этом у Ойры-Ойры и поверил, потому что понять не мог. Ойра-Ойра узнал от Жиакомо и тоже поверил, потому что был молод и восхищен. Корнееву рассказала об этом уборщица, и Корнеев тогда решил, что сам факт настолько тривиален, что о нем не стоит размышлять. А Эдик слышал, как об этом разговаривали Саваоф Баалович и Федор Симеонович. Эдик был тогда младшим препаратором и верил вообще во все, кроме бога.

Итак, прошлое Янусов представлялось нам весьма приблизительно. Зато будущее мы знали совершенно точно. А-Янус, который сейчас занят больше институтом, чем наукой, в недалеком будущем чрезвычайно увлечется идеей практической контрамоции. Он посвятит ей всю жизнь. Он заведет себе друга — маленького зеленого попугая по имени Фотон, которого подарят ему знаменитые русские космолетчики. Это случится девятнадцатого мая не то тысяча девятьсот семьдесят третьего, не то две тысячи семьдесят третьего года — именно так хитроумный Эдик расшифровал таинственный номер 190 573 на кольце. Вероятно, вскорости после этого А-Янус добьется, наконец, решительного успеха и превратит в контрамота и самого себя и попугая Фотона, который в момент эксперимента будет,

---

[1] Dixi — я сказал *(лат.)*.

конечно, сидеть у него на плече и просить сахарок. Именно в этот момент, если мы хоть что-нибудь понимаем в контрамоции, человеческое будущее лишится Януса Полуэктовича Невструева, но зато человеческое прошлое обретет сразу двух Янусов, ибо А-Янус превратится в У-Януса, и заскользит назад по оси времени. Они будут встречаться каждый день, но ни разу в жизни А-Янусу не придет в голову что-либо заподозрить, потому что ласковое морщинистое лицо У-Януса, своего дальнего родственника и учителя, он привык видеть с колыбели. И каждую полночь, ровно в ноль часов ноль-ноль минут ноль-ноль секунд ноль-ноль терций по местному времени А-Янус будет, как и все мы, переходить из сегодняшней ночи в завтрашнее утро, тогда как У-Янус и его попугай в тот самый момент, за мгновение, равное одному микрокванту времени, перейдет из нашей сегодняшней ночи в наше вчерашнее утро.

Вот почему попугаи за номером один, два и три, наблюдавшиеся соответственно десятого, одиннадцатого и двенадцатого, были так похожи друг на друга: они были просто одним и тем же попугаем. Бедный старый Фотон! Может быть, его одолела старость, а может быть, его прохватил сквозняк, но он заболел и прилетел умирать на любимые весы в лаборатории Романа. Он умер, и его огорченный хозяин устроил ему огненное погребение и развеял его пепел, и сделал это потому, что не знал, как ведут себя мертвые контрамоты. А может быть, именно потому, что знал. Мы, естественно, наблюдали весь этот процесс, как кино с переставленными частями. Девятого Роман находит в печке уцелевшее перо Фотона. Трупа Фотона уже нет, он сожжен завтра. Завтра, десятого, Роман находит его в чашке Петри. У-Янус находит покойника тогда же и там же и сжигает его в печи. Сохранившееся перо остается в печи до конца суток и в полночь перескакивает в девятое. Одиннадцатого с утра Фотон жив, хотя уже болен. Он издыхает на наших глазах под весами (на которых он будет так любить сидеть теперь), и простодушный Саня Дрозд кладет его в чашку Петри, где покойник пролежит до полуночи, перескочит в утро десятого, будет найден там У-Янусом, сожжен, развеян по ветру, но перо его останется, пролежит до полуночи, перескочит в утро девятого, и там его найдет Роман. Двенадцатого с утра Фотон жив и бодр, он дает Корнееву интервью и просит сахарок, а в полночь перескочит в утро одиннадцатого, заболеет, умрет, будет положен в чашку Петри, в полночь перескочит в утро десятого, будет сожжен и развеян, но останется перо, которое в полночь перескочит в утро девятого, будет найдено Романом и брошено в мусорную корзину. Тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и так далее Фотон, на радость всем нам, будет весел, разговорчив, и мы будем баловать его, кормить сахарком и зернышками перца, а У-Янус будет приходить и спрашивать, не мешает ли он нам работать. Применяя ассоциативный допрос, мы сможем узнать от него много любопытного относительно космической экспансии человечества и, несомненно, кое-что о нашем собственном, личном будущем.

Когда мы дошли до этого пункта рассуждений, Эдик вдруг помрачнел и заявил, что ему не нравятся намеки Фотона на его, Амперяна, безвременную смерть. Чуждый душевного такта Корнеев заметил на это, что любая смерть мага всегда безвременна и что, тем не менее, мы все там будем. И вообще, сказал Роман, может быть, он будет тебя любить сильнее всех нас и только твою смерть запомнит. Эдик понял, что у него еще есть шансы умереть позже нас, и настроение его улучшилось.

Однако разговор о смерти направил наши мысли в меланхолическое русло. Мы все, кроме Корнеева, конечно, вдруг начали жалеть У-Януса. Действительно, если подумать, положение его было ужасно. Во-первых, он

являл собою образец гигантского научного бескорыстия, потому что практически был лишен возможности пользоваться плодами своих идей. Далее, у него не было никакого светлого будущего. Мы шли в мир разума и братства, он же с каждым днем уходил навстречу Николаю Кровавому, крепостному праву, расстрелу на Сенатской площади и — кто знает?— может быть, навстречу аракчеевщине, бироновщине, опричнине. И где-то в глубине времен, на вощеном паркете Санкт-Петербургской де Сиянс Академии его встретит в один скверный день коллега в напудренном парике — коллега, который вот уже неделю как-то странно к нему приглядывается — ахнет, всплеснет руками и с ужасом в глазах пробормочет: «Герр Нефструефф!.. Как ше это?.. Федь фчера ф «Федомостях» определенно писали, што фы скончались от удар...» И ему придется говорить что-то о брате-близнеце или о фальшивых слухах, зная и прекрасно понимая, что означает этот разговор...

— Бросьте,— сказал Корнеев.— Распустили слюни. Зато он знает будущее. Он уже побывал там, куда нам еще идти и идти. И он, может быть, прекрасно знает, когда мы все помрем.

— Это совсем другое дело,— сказал грустно Эдик.

— Старику тяжело,— сказал Роман.— Извольте относиться к нему поласковее и потеплее. Особенно ты, Витька. Вечно ты ему хамишь.

— А что он ко мне пристает?— огрызнулся Витька.— О чем беседовали да где виделись...

— Вот теперь ты знаешь, чего он к тебе пристает, и веди себя прилично.

Витька насупился и стал демонстративно рассматривать листок со списком вопросов.

— Надо объяснять ему все поподробнее,— сказал я.— Все, что сами знаем. Надо постоянно предсказывать ему его ближайшее будущее.

— Да, черт возьми,— сказал Роман.— Он этой зимой ногу сломал. На гололеде.

— Надо предотвратить,— решительно сказал я.

— Что?— спросил Роман.— Ты понимаешь, что ты говоришь? Она у него уже давно срослась...

— Но она у него еще не сломана,— возразил Эдик.

Несколько минут мы пытались все сообразить. Витька вдруг сказал:

— Постойте-ка! А это что такое? Один вопрос у нас, ребята, не вычеркнут...

— Какой?

— Куда девалось перо?

— Ну как куда?— сказал Роман.— Перенеслось в восьмое. А восьмого я как раз печку включал, расплав делал...

— Ну и что из этого?

— Да, ведь я же его бросил в корзинку... Восьмого, седьмого, шестого я его не видел... Гм... Куда же оно делось?

— Уборщица выбросила,— предположил я.

— Вообще об этом интересно подумать,— сказал Эдик.— Предположим, что его никто не сжег. Как оно должно выглядеть в веках?

— Есть вещи поинтереснее,— сказал Витька.— Например, что происходит с ботинками Януса, когда он доносит их до дня их изготовления на фабрике «Скороход?» И что бывает с пищей, которую он съедает за ужином? И вообще...

Но мы были уже слишком утомлены. Мы еще немного поспорили, потом пришел Саня Дрозд, вытеснил нас, спорящих, с дивана, включил свою «Спидолу» и стал просить два рубля. «Ну дайте»,— ныл он. «Да нет

у нас»,— отвечали мы ему. «Ну, может, последние есть... Дали бы!..» Спорить стало невозможно, и мы решили идти обедать.

— В конце концов,— сказал Эдик,— наша гипотеза не так уж фантастична. Может быть, судьба У-Януса гораздо удивительнее.

Очень может быть, подумали мы и пошли в столовую.

Я забежал на минутку в электронный зал сообщить, что ухожу обедать. В коридоре я налетел на У-Януса, который внимательно на меня посмотрел, улыбнулся почему-то и спросил, не виделись ли мы с ним вчера.

— Нет, Янус Полуэктович,— сказал я.— Вчера мы с вами не виделись. Вчера вас в институте не было. Вы вчера, Янус Полуэктович, прямо с утра улетели в Москву.

— Ах да,— сказал он.— Я запамятовал.

Он так ласково улыбался мне, что я решился. Это было немножко нагло, конечно, но я твердо знал, что последнее время Янус Полуэктович относился ко мне хорошо, а значит, никакого особенного инцидента у нас с ним сейчас произойти не могло. И я спросил вполголоса, осторожно оглядевшись:

— Янус Полуэктович, разрешите, я вам задам один вопрос?

Подняв брови, он некоторое время внимательно смотрел на меня, а потом, видимо вспомнив что-то, сказал:

— Пожалуйста, прошу вас. Только один?

Я понял, что он прав. Все это никак не влезало в один вопрос. Случится ли война? Выйдет ли из меня толк? Найдут ли рецепт всеобщего счастья? Умрет ли когда-нибудь последний дурак?.. Я сказал:

— Можно, я зайду к вам завтра с утра?

Он покачал головой и, как мне показалось, с некоторым злорадством ответил:

— Нет. Это никак невозможно. Завтра с утра вас, Александр Иванович, вызовет Китежградский завод, и мне придется дать вам командировку.

Я почувствовал себя глупо. Было что-то унизительное в этом детерминизме, обрекавшем меня, самостоятельного человека со свободой воли, на совершенно определенные, не зависящие теперь от меня дела и поступки. И речь шла совсем не о том, хотелось мне ехать в Китежград или не хотелось. Речь шла о неизбежности. Теперь я не мог ни умереть, ни заболеть, ни закапризничать («вплоть до увольнения!»), я был обречен, и впервые я понял ужасный смысл этого слова. Я всегда знал, что плохо быть обреченным, например, на казнь или слепоту. Но быть обреченным даже на любовь самой славной девушки в мире, на интереснейшее кругосветное путешествие и на поездку в Китежград (куда я, кстати, рвался уже три месяца) тоже, оказывается, может быть крайне неприятно. Знание будущего представилось мне совсем в новом свете...

— Плохо читать хорошую книгу с конца, не правда ли?— сказал Янус Полуэктович, откровенно за мною наблюдавший.— А что касается ваших вопросов, Александр Иванович, то... Постарайтесь понять, Александр Иванович, что не существует единственного для всех будущего. Их много, и каждый ваш поступок творит какое-нибудь из них. Вы это поймете,— сказал он убедительно.— Вы это обязательно поймете.

Позже я действительно это понял.

Но это уже совсем-совсем другая история.

ПОСЛЕСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ

Краткое послесловие и комментарий
и. о. заведующего вычислительной лабораторией
НИИЧАВО
младшего научного сотрудника
А. И. Привалова

Предлагаемые очерки из жизни Научно-исследовательского института Чародейства и Волшебства не являются, на мой взгляд, реалистическими в строгом смысле этого слова. Однако они обладают достоинствами, которые выгодно отличают их от аналогичных по теме опусов Г. Проницательного и Б. Питомника и позволяют рекомендовать их широкому кругу читателей.

Прежде всего следует отметить, что авторы сумели разобраться в ситуации и отделить прогрессивное в работе института от консервативного. Очерки не вызывают того раздражения, которое испытываешь, читая восхищенные статьи о конъюнктурных фокусах Выбегаллы или восторженные переложения безответственных прогнозов сотрудников из отдела Абсолютного Знания. Далее, приятно отметить верное отношение авторов к магу, как к человеку. Маг для них — не объект опасливого восхищения и преклонения, но и не раздражающий кинодурак, личность не от мира сего, которая постоянно теряет очки, не способна дать по морде хулигану и читает влюбленной девушке избранные места из «Курса дифференциального и интегрального исчисления». Все это означает, что авторы взяли верный тон. К достоинствам очерков можно отнести и то, что авторы дали институтские пейзажи с точки зрения новичка, а также не просмотрели весьма глубокого соотношения между законами административными и законами магическими. Что же касается недостатков очерков, то подавляющее большинство из них определяется изначальной гуманитарной направленностью авторов. Будучи профессиональными литераторами, авторы сплошь и рядом предпочитают так называемую художественную правду так называемой правде факта. И будучи профессиональными литераторами, авторы, как и большинство литераторов, назойливо эмоциональны и прискорбно невежественны в вопросах современной магии. Никак не возражая против опубликования данных очерков, я тем не менее считаю необходимым указать на некоторые конкретные погрешности и ошибки.

1. Название очерков, как мне кажется, не вполне соответствует содержанию. Используя эту действительно распространенную у нас поговорку, авторы, видимо, хотели сказать, что маги работают непрерывно, даже когда отдыхают. Это в самом деле почти так и есть. Но в очерках этого не видно. Авторы излишне увлеклись нашей экзотикой и не сумели избежать соблазна дать побольше завлекательных приключений и эффектных эпизодов. Приключения духа, которые составляют суть жизни любого мага, почти не нашли отражения в очерках. Я, конечно, не считаю последней гла-

вы третьей части, где авторы хотя и попытались показать работу мысли, но сделали это на неблагодарном материале довольно элементарной дилетантской логической задачи. (Кстати, я излагал авторам свою точку зрения по этому вопросу, но они пожали плечами и несколько обиженно сказали, что я отношусь к очеркам слишком серьезно).

2. Упомянутое уже невежество в вопросах магии как науки играет с авторами злые шутки на протяжении всей книги.

Так, например, формулируя диссертационную тему М. Ф. Редькина, они допустили четырнадцать (!) фактических ошибок. Солидный термин «гиперполе», который им, очевидно, очень понравился, они вставляют в текст сплошь и рядом неуместно. Им, по-видимому, невдомек, что диван-транслятор является излучателем не М-поля, а мю-поля; что термин «живая вода» вышел из употребления в позапрошлом веке; что таинственного прибора под названием аквавитометр и электронной машины под названием «Алдан» в природе не существует; что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ — для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно: на совести авторов остаются дикие термины «вектор-магистатум» и «заклинание Ауэрса»; уравнение Стокса не имеет к материализации никакого отношения, а Сатурн в описываемый момент никак не мог находиться в созвездии Весов. (Этот последний ляпсус тем более непростителен, что, насколько я понял, один из авторов является астрономом-профессионалом.) Список такого рода погрешностей и нелепостей можно было бы без труда продолжить, однако я не делаю этого, потому что авторы наотрез отказались что-либо исправлять. Выбросить непонятную им терминологию они тоже отказались: один заявил, что терминология необходима для антуража, а другой — что она создает колорит. Впрочем, я был вынужден согласиться с их соображением о том, что подавляющее большинство читателей вряд ли окажется способным отличить правильную терминологию от ошибочной и что какая бы терминология ни наличествовала, все равно ни один разумный читатель ей не поверит.

3. Стремление к упомянутой выше художественной правде (по выражению одного из авторов) и к типизации (по выражению другого) привело к значительному искажению образов реальных людей, участвующих в повествовании Авторы вообще склонны к нивелировке героев, и потому более или менее правдоподобен у них разве что Выбегалло и в какой-то степени Кристобаль Хозевич Хунта (я не считаю эпизодического образа вурдалака Альфреда, который получился лучше, чем кто-нибудь другой). Например, авторы твердят, что Корнеев груб, и воображают, будто читатель сможет составить себе правильное представление об этой грубости. Да, Корнеев действительно груб. Но именно поэтому описанный Корнеев выглядит «полупрозрачным изобретателем» (в терминологии самих авторов) по сравнению с Корнеевым реальным. То же относится и к пресловутой вежливости Э. Амперяна. Р. П. Ойра-Ойра в очерках совершенно бесплотен, хотя именно в описываемый период он разводился со второй женой и собирался жениться в третий раз. Приведенных примеров, вероятно, достаточно для того, чтобы читатель не придавал слишком много веры моему собственному образу в очерках.

Авторы попросили меня объяснить некоторые непонятные термины и малознакомые имена, встречающиеся в книге. Выполняя эту просьбу, я встретился с определенными затруднениями. Естественно, объяснять терминологию, выдуманную авторами («аквавитометр», «темпоральная

передача» и т. п.), я не собираюсь. Но я не думаю, что большую пользу принесло бы объяснение даже реально существующих терминов, требующее основательных специальных знаний. Невозможно, например, объяснить термин «гиперполе» человеку, плохо разбирающемуся в теории физического вакуума. Термин «трансгрессия» еще более емок, и вдобавок разные школы употребляют его в разных смыслах. Короче говоря, я ограничился комментарием к некоторым именам, терминам и понятиям, достаточно широко распространенным, с одной стороны, и достаточно специфичным в нашей работе — с другой. Кроме того, я откомментировал несколько слов, не имеющих прямого отношения к магии, но могущих вызвать, на мой взгляд, недоумение читателя.

А в г у р ы — В древнем Риме жрецы, предсказывавшие будущее по полету птиц и по их поведению. Подавляющее большинство из них было сознательными жуликами. В значительной степени это относится и к институтским авгурам, хотя теперь у них разработаны новые методы.

А н а ц е ф а́ л — урод, лишенный головного мозга и черепной коробки. Обыкновенно анацефалы умирают при рождении или несколько часов спустя.

Б е ц а л е́ л ь, Л е в Б е н — известный средневековый маг, придворный алхимик императора Рудольфа II.

В а м п и́ р — см. в у р д а л а к.

В а с и л и́ с к.— В сказках — чудовище с телом петуха и хвостом змеи, убивающее взглядом. На самом деле — ныне почти вымерший древний ящер, покрытый перьями, предшественник первоптицы археоптерикса. Способен гипнотизировать. В виварии института содержатся два экземпляра.

В е р в о́ л ь ф — см. о б о р о т е н ь.

В у р д а л а́ к — см. у п ы́ р ь.

Г а́ р п и и — В греческой мифологии — богини вихря, а в действительности — разновидность нежити, побочный продукт экспериментов ранних магов в области селекции. Имеют вид больших рыжих птиц со старушечьими головами, очень неопрятны, прожорливы и сварливы.

Г и́ д р а.— У древних греков — фантастическая многоголовая водяная змея. У нас в институте — реально существующая многоголовая рептилия, дочь З. Горыныча и плезиозаврихи из озера Лох-Несс.

Г н о м.— В западноевропейских сказаниях — безобразный карлик, охраняющий подземные сокровища. Я разговаривал с некоторыми из гномов. Они действительно безобразны и действительно карлики, но ни о каких сокровищах они понятия не имеют. Большинство гномов — это забытые и сильно усохшие дубли.

Г о л е́ м — один из первых кибернетических роботов, сделан из глины Львом Бен Бецалелем. (См., например, чехословацкую кинокомедию «Пекарь императора». Тамошний Голем очень похож на настоящего.)

Г о м у́ н к у л у с — В представлении неграмотных средневековых алхимиков — человекоподобное существо, созданное искусственно в колбе. На самом деле в колбе искусственное существо создать нельзя. Гомункулусов синтезируют в специальных автоклавах и используют для биомеханического моделирования.

Д а н а и́ д ы.— В греческой мифологии — преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насильно. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили.

Д е м о н М а к с в е́ л л а — важный элемент мысленного эксперимента крупного английского физика Максвелла. Предназначался для нападения на второй принцип термодинамики. В мысленном эксперименте Максвелла демон располагается рядом с отверстием в переборке, разделяющей сосуд, наполненный движущимися молекулами. Работа демона состоит в том, чтобы выпускать из одной половины сосуда в другую быстрые молекулы и закрывать отверстие перед носом медленных. Идеальный демон способен таким образом без затраты труда создать очень высокую температуру в одной половине сосуда и очень низкую — в другой, осуществляя вечный двигатель второго рода. Однако только сравнительно недавно и только в нашем институте удалось найти и приспособить к работе таких демонов.

Д ж и н н — злой дух арабских и персидских мифов. Почти все джинны являются дублями царя Соломона и современных ему магов. Использовались в военных и политико-хулиганских целях. Отличаются отвратительным характером, наглостью и полным отсутствием чувства благодарности. Невежественность и агрессивность их таковы, что почти все они находятся в заключении. В современной магии широко используются в качестве подопытных существ. В частности, Э. Амперян на метериале тринадцати джиннов определял количество зла, которое может причинить обществу злобный невежественный дурак.

Д ж я н Б е н Д ж я н — либо древний изобретатель, либо древний воитель. Имя его всегда связано с понятием щита и отдельно не встречается. (Упоминается, например, в «Искушении святого Антония» Г. Флобера.)

Д о м о в о й.— В представлении суеверных людей — некое сверхъестественное существо, обитающее в каждом обжитом доме. Ничего сверхъестественного в домовых нет. Это либо вконец опустившиеся маги, не поддающиеся перевоспитанию, либо помеси гномов с некоторыми домашними животными. В институте находятся под началом М. М. Камноедова и используются для подсобных работ, не требующих квалификации.

Д р а́ к у л а, граф — знаменитый венгерский вурдалак XVII—XIX вв. Графом никогда не был. Совершил массу преступлений против человечности. Был изловлен гусарами и торжественно проткнут осиновым колом при большом скоплении народа. Отличался необычайной жизнеспособностью: вскрытие обнаружило в нем полтора килограмма серебряных пуль.

З в е з д а С о л о м о́ н о в а.— В мировой литературе — магический знак в виде шестиконечной звезды, обладающий волшебными свойствами. В настоящее время, как и подавляющее большинство других геометрических заклинаний, потерял всякую силу и годен исключительно для запугивания невежественных людей.

И н к у́ б — разновидность оживших мертвецов, имеет обыкновение вступать в браки с живыми. Не бывает. В теоретической магии термин «инкуб» употребляется в совершенно другом смысле: мера отрицательной энергии живого организма.

И н к у н а́ б у л а.— Так называют первые печатные книги. Некоторые из инкунабул отличаются поистине гигантскими размерами.

И ф р и́ т — разновидность д ж и н н а. Как правило, ифриты — это хорошо сохранившиеся дубли крупнейших арабских военачальников. В институте используются М. М. Камноедовым в качестве вооруженной охраны, так как отличаются от прочих д ж и н н о в высокой дисциплинированностью. Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-нибудь изучен досконально, потому что никому не нужен.

К а д а́ в р — вообще говоря, оживленный неодушевленный предмет: портрет, статуя, идол, чучело. (См., например, А. Н. Толстой, «Граф Калиостро».) Одним из первых в истории кадавров была небезызвестная Галатея работы скульптора Пигмалиона. В современной магии кадавры не используются. Как правило, они феноменально глупы, капризны, истеричны и почти не поддаются дрессировке. В институте кадаврами иногда иронически называют неудавшихся дублей и дублеподобных сотрудников.

Л е в и т а́ ц и я — способность летать без каких бы то ни было технических приспособлений. Широко известна левитация птиц, летучих мышей и насекомых.

«М о л о т в е д ь м» — старинное руководство по допросу третьей степени. Составлено и применялось церковниками специально в целях выявления ведьм. В новейшие времена отменено как устаревшее.

О б о р о т е н ь — человек, способный превращаться в некоторых животных: в волка (в е р в о́ л ь ф), в лисицу (к и ц у н э́) и т. д. У суеверных людей вызывает ужас, непонятно почему. В. П. Корнеев, например, когда у него разболелся зуб мудрости, обернулся петухом, и ему сразу полегчало.

О р а́ к у л — по представлениям древних, средство общения богов с людьми: полет птицы (у авгуров), шелест деревьев, бред прорицателя и т. д. Оракулом называлось также и место, где давались предсказания. «Соловецкий Оракул» — это небольшая темная комната, где уже много лет проектируется установить мощную электронно-счетную машину для мелких прорицаний.

П и́ ф и я — жрица-прорицательница в Древней Греции. Вещала, надышавшись ядовитых испарений. У нас в институте пифии не практикуют. Очень много курят и занимаются общей теорией предсказаний.

Р а м а п и́ т е к — по современным представлениям, непосредственный предшественник питекантропа на эволюционной лестнице.

С э г ю́ р Р и ш а́ р — герой фантастической повести «Загадка Ришара Сэгюра», открывший способ объемной фотографии.

Т а к с и д е р м и́ с т — чучельник, набивщик чучел. Я порекомендовал авторам это редкое слово, потому что К. Х. Хунта приходит в ярость, когда его называют просто чучельником.

Т е́ р ц и я — одна шестидесятая часть секунды.

Т р и́ б а — здесь: племя. Решительно не понимаю, зачем издателям Книги Судеб понадобилось называть племя рамапитеков трибой.

«У п а н и ш а́ д ы» — древнеиндийские комментарии к четырем священным книгам.

У п ы́ р ь — кровососущий мертвец народных сказок. Не бывает. В действительности упыри (в у р д а л а к и, в а м п и р ы) — это маги, вставшие по тем или иным причинам на путь абстрактного зла. Исконное средство против них — осиновый кол и пули, отлитые из самородного серебра. В тексте слово «упырь» употребляется в переносном смысле.

Ф а́ н т о м — призрак, привидение. По современным представлениям — сгусток некробиотической информации. Фантомы вызывают суеверный ужас, хотя совершенно безобидны. В институте их используют для уточнения исторической правды, хотя юридически считаться очевидцами они не могут.

А. Привалов

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пусть не покажется читателю странным, но послесловие к этому тому я начну с небольшого предисловия. Мы часто забываем безусловную истину: каждый писатель — писатель только по отношению к тому, что он делает сам. По отношению же к любой работе любого из коллег — он только и только читатель, как и все прочие. И его точка зрения (в данном случае моя) на то или иное произведение, шире — литературное направление — прежде всего законно субъективна и равноправна с любой другой читательской точкой зрения, даже если они категорически разнятся. Я говорю это не только и не столько для того, чтобы констатировать понятный в общем-то факт, а для того, чтобы пояснить, почему я не стал бы писать предисловие к этому сборнику. Предлагать свою точку зрения читателю на то, что он еще не прочел, пояснять ему то, что он спокойно поймет и без меня, высказывать суждения, которые самим фактом предварения обретают указующий смысл — другими словами, навязывать свою точку зрения, да еще заранее, было бы просто несправедливо.

Картина резко меняется в случае, когда речь идет о послесловии. Книга вами прочитана, у вас сложилось впечатление и отношение, вы вольны их высказать, вольны выслушать и согласиться или не согласиться с точкой зрения, впечатлением и отношением другого читателя — в данном случае с моими. Я же вправе, как и любой читатель, высказать свою точку зрения, не претендуя на безоговорочное ее принятие, поскольку, в отличие от предисловия, разговор идет на равных.

Итак, перед нами сборник фантастики 60-х годов. Некоторая условность такой характеристики очевидна: литературный процесс — явление непрерывное, и попытка расчленить его на какие-то хронологически выделенные отрезки чаще всего неразумна из-за присущего ей произвола. Однако в нашем случае хронологические границы при всей их условности не только удачны, но и справедливы, ибо это не формально отсеченный отрезок литературного процесса, а важный его этап, пришедшийся на эти годы,— этап, имеющий начало и продолжение, и, может быть, этап не просто важный, а значительнейший. Читатель, знакомый с историей развития советской фантастики, надеюсь, согласится со мной. Но тем не менее взглянуть на состояние этого жанра с высоты 80-х годов необходимо, ибо только так можно понять корни и успехов, и неуспехов нашей фантастики, увидеть всю сложность этого явления, которое еще, увы, совсем недавно (и не без оснований) считалось литературой второго сорта.

Если вы попытаетесь перечислить всех писателей, работающих сегодня в жанре фантастики, вряд ли вам это удастся. Но если вы попробуете сделать то же самое, взяв период в четыре десятилетия, предшествовавшие «времени» сборника, то сделать это будет проще простого. Давайте попробуем: Богданов — 20-е годы, Алексей Толстой — примерно тогда же, Грин — то же. Дальше — Беляев, Казанцев, Томан, Немцов... Можно вспомнить еще несколько имен, но это уж если очень постараться.

Книги Алексея Толстого и Александра Грина вошли в сокровищницу советской литературы, не только фантастики. Однако эти книги (как это ни печально) сыграли и совершенно неожиданную роль: в те суровые, напряженные годы и «Аэлита», и, конечно, любая повесть Грина воспринимались не только как фантазия, а как фантазия беспочвенная, оторванная от действительности, где-то совсем близкая к развлекательной литературе, которая в свою очередь чаще всего ассоциировалась просто с бульварной. Следствия были весьма печальны — такое восприятие, однажды возобладав, превратилось в стойкое отношение к жанру...

Мы сейчас много говорим о потоке «серой» литературы, заполонившей в минувшие десятилетия книжные полки и прилавки. Факт крайне беспокойный, ибо его следствие — снижение читательских критериев и, в конечном счете, безусловный ущерб культуре человека и народа. Тот же процесс захватил и разряд литературы, который до недавнего времени и жанром считался весьма неохотно — фантастическая и приключенческая литература. К 60-м годам поток псевдофантастики не только сформировался, но и приобрел популярность, объяснение которой — на безрыбье и рак — рыба.

Главные признаки сочинений, составлявших почти стопроцентно этот поток: минимум фантастики, крайняя примитивность и ходульность героев, сюжетов, мотивов и умение мгновенно откликаться и использовать конъюнктуру. Один только пример, возможно, знакомый читателям постарше — роман «Семь цветов радуги». Столь многозначительное название принадлежало сочинению об... искусственном орошении в колхозах! «Смелость научного предвидения» автора станет особенно впечатляющей, если сказать, что к этому времени искусственное орошение в нашем сельском хозяйстве уже применялось...

Все это не было случайным. Отношение к жанру, возникшее еще в предвоенные годы, сформировало, повторяю, превратное представление о фантастике как о литературе второго сорта. Это имело два следствия: резкое снижение требовательности к сочинениям фантастико-приключенческой тематики и моментальный отклик на это обстоятельство поставщиков штампованной халтуры, обряженной в фантастико-приключенческие одежки. Возник заколдованный круг: литературные поделки укрепляли представление о второсортности жанра, снижали до минимума художественные критерии и тем самым создавали поле для поточного производства все новых и новых поделок.

Не хотелось бы, чтобы у читателя сложилось впечатление, что я начисто отрицаю существование в тот период фантастической литературы в серьезном понимании этого определения. Нет, конечно. Но фактом остается, что на протяжении десятилетий работы Александра Грина были читателю просто неизвестны. Повести и рассказы Александра Беляева или, скажем, Григория Адамова были адресованы прежде всего подросткам — пусть и многочисленной, но тем не менее не всей читательской массе. Рассказы и повести Ивана Ефремова, будучи фантастико-приключенческими по форме, в основном имели задачей популяризацию научных знаний, пробуждение интереса к тайнам науки. Романы Александра

Казанцева, написанные в приключенческом ключе, опять же были адресованы юношеству. Но в любом случае произведения научно-фантастического и приключенческого жанра, находившиеся в пределах литературы, составляли мизерное меньшинство.

И вот наступил 1957 год. В истории человечества этот год навечно будет значиться как год начала космической эры. Весь мир потрясенно вслушивался в нехитрые сигналы первого искусственного спутника Земли, еще не сознавая, что эти самые «бип-бип» — первые такты великой симфонии освоения космоса человеком. Частное же значение этого великого факта не менее эпохально: и много столетий назад, и еще вчера прорыв в космос был предметом размышлений и мечтаний, а 4 октября 1957 года он стал фактом реальным, фактом нашей повседневности при всей его вчерашней невероятности. Духовно человечество готовилось к исполнению тысячелетней мечты издавна — она отразилась и в античных мифах, и в лунном путешествии Сирано де Бержерака, и — уже совсем близко — в книгах Жюля Верна, Герберта Уэллса, Алексея Толстого. Не оставила ее без внимания и та самая «научная фантастика», о которой мы уже говорили. Но одно дело мечта, а другое — ее исполнение. Таково уж свойство мечты и мечтателей: самая безудержная фантазия относит осуществление своих прогнозов в далекое будущее — когда они либо исполнятся, либо с автора будет спрашивать поздно. Конкретный срок — угроза разрушения мечты. Но иногда это опасение приводит к совершенно неожиданному результату: мечта отстает от реальности. У меня сохранилась вырезка из газеты за 11 апреля 1961 года. Автор статьи, посвященной возможному полету человека в космос, заверял со сдержанным оптимизмом, что такой полет наверняка состоится в ближайшие десять-пятнадцать лет... Гагарин полетел на следующий день!

Но вернемся в 1957 год. Трудно усмотреть какую-то закономерность, это, конечно, только совпадение, но совпадение символическое: за несколько месяцев до наступления космической эры, начатой первым искусственным спутником Земли, состоялся старт к Туманности Андромеды. Значимость этой книги, первоначально опубликованной в журнале «Техника — молодежи», переоценить невозможно — ее в прямом смысле эпохальное значение для судеб советской фантастики стало ясным сразу. Я думаю, что если бы И. А. Ефремов не написал больше ни строчки ни до, ни после, его имя все равно было бы вписано в историю советской фантастики как основоположника. Сегодня, когда этот жанр стал полноправным разрядом литературы, представленным и громкими именами, и широко известными произведениями, мы можем с новой высоты оценить «Туманность Андромеды», увидеть ее слабости (это понятно: литературный процесс неостановим, совершенствование приемов, расширение диапазона идей, чисто техническое мастерство — это неизбежный признак развития любого жанра). Но с какой бы высоты ни оглядывались на пройденный путь, мы не можем не понимать, что первый шаг на эту высоту был сделан И. А. Ефремовым. Если прибегнуть к космической аналогии — никакие успехи в штурме Вселенной не могут затмить значение маленького шарика, рассыпавшего над нашей планетой звонкие сигналы «бип-бип» 4 октября 1957 года.

Однако, даже будучи уверенным, что моя точка зрения разделяется читателем, знакомым со всей историей развития советской фантастики, я все же должен пояснить, что дает мне основание считать роман Ефремова событием эпохальным. Если сказать коротко: были разорваны путы ремесленничества, разрушен примитивный, ходульный стандарт. Из тусклого мира, населенного безликими персонажами, жанр был поднят на

орбиту литературы. Сегодня бесспорно: объект рассмотрения в фантастической, как и во всей литературе,— человек. Пусть поставленный в экстремальные обстоятельства, но человек с его духовным миром, борениями, страстями, заботами, мечтами и разочарованиями. Как справедливо заметил в одной из статей известный советский писатель-фантаст Александр Шалимов, «Туманность Андромеды» — гимн безграничным возможностям человеческого разума, красоте человеческих отношений в объединенном мире Земли, освобожденной от гнета, страха, корыстных устремлений, недоверия, вражды. Эта книга не только принесла автору мировую известность, она словно бы пробила брешь в некоей плотине, раскрепостила фантазию новых авторов, властно вовлекла их в русло фантастики иной, чем прежде, показав безграничность возможностей моделирования будущего не только в области техники и науки, но и в категориях этики, эстетики, воспитания, долга, морали, социологии и психологии».

Сказанного было бы достаточно, чтобы принципиальное значение работы Ефремова стало безусловно ясным. Однако это не все, вернее, неполно, если не повторить: впервые и теперь уже навсегда фантастика вошла в русло литературы, ибо предметом ее исследования стал человек.

В наш сборник включен другой роман Ефремова — «Час Быка». Если бы в мою задачу входил анализ творчества писателя, то эта работа могла бы послужить объектом специального разговора, поскольку в творчестве Ефремова она, как и другие его работы, является этапом. Но это не входит в мою задачу, и я могу только со всей определенностью сказать: «Туманность Андромеды» раскрепостила фантазию не только новых авторов, но и самого И. А. Ефремова. У «Часа Быка» была сложная судьба. Опубликованный в журнале «Молодая гвардия», он долго не издавался отдельной книгой. За этим стоит многозначительный факт — фантастический роман разделил судьбу многих крупных литературных произведений, встретивших серьезные препятствия на пути к читателю в те годы, которые мы сейчас называем застойными...

Итак, 60-е годы. Сложный и неоднозначный период и в жизни всего нашего общества, и в литературной жизни тоже. К этому времени относится и появление в фантастике новых имен, точнее,— новых работ, в том числе Ольги Ларионовой, братьев Стругацких, Ариадны Громовой, Анатолия Днепрова, которые включены в настоящий сборник. Разумеется, этими именами никак не исчерпываются литературные силы, пришедшие в фантастику. Но сейчас я хотел бы обратить внимание читателя не на какие-то отдельные работы или имена, а на тот климат, что сложился в фантастике и вокруг нее в эти годы. Ситуация была сложной по многим параметрам. Если еще недавно поставщики псевдофантастических сочинений чувствовали себя вполне привольно, конкурируя разве что между собой, то теперь положение изменилось. Это во-первых. Во-вторых, советский читатель получил возможность все более широкого знакомства с зарубежной фантастикой, с ее наиболее значительными достижениями. В конечном счете эти обстоятельства привели к резкой поляризации двух пластов нашей фантастики. Ремесленническая литература моментально сориентировалась на новые образцы, и во множестве сочинений, весьма схожих примитивностью сюжетов, появились Томы и Джоны, вооруженные бластерами и разъезжающие на глайдерах, позаимствованных из арсенала средств доступной, но пока еще экзотической зарубежной фантастики. Конечно, такой поворот, такой вариант приспособленчества серой литературы радовать не может, но радует другое: ремесленная фантастика не просто была вынуждена потесниться, она закономер-

но сдвинулась на второй план, на задворки литературы, уступая место мощному натиску литературы настоящей.

Подражательность и самобытность — вот два полярных признака, которые стали лакмусовой бумагой для определения литературного качества в фантастике. В самом простейшем варианте можно поставить такой эксперимент: если заменить в некоем рассказе упомянутых Джона и Тома на Ивана и Фому — надуманность и убогость этого сочинения (и подобных ему) моментально станет очевидной (по поводу этого явления И. А. Ефремов заметил резко и справедливо: «Здесь нет ничего нового, а всего лишь эпигонствующее подражание западным авторам»). Но если поступить наоборот и, сохранив Джона и Тома, заменить фамилию автора Сидоров (условно) на, скажем, Сайдерс — вы получите плохой перевод плохого рассказа, коими, кстати, зарубежная фантастика отнюдь не бедна. Но попробуйте сделать то же самое с любой работой Стругацких — не получится. Даже читатель, не знающий этих имен, прочитав «Понедельник начинается в субботу», если вы скажете ему, что этот роман написали братья Джонсоны, либо подивится тому, что наши писатели носят иногда непривычные фамилии, либо решит, что это псевдонимы.

Но результат и смысл нашего маленького эксперимента куда шире простой констатации, ибо он четко подтверждает: литература не может существовать вне мира сего, никак от него не завися, не питаясь и не вдохновляясь им. И термин «советская фантастика» имеет вовсе не географический характер, а означает прежде всего мировоззрение, мировидение и отношение к миру и человеку, лежащие в основе всей советской литературы.

В настоящий сборник включены работы авторов, широко известных именно в качестве писателей-фантастов. И в их ряду несколько особняком, на первый взгляд, стоит один из крупнейших советских прозаиков — Всеволод Иванов. В последние годы в антологиях стал применяться несколько странный термин для обозначения одного из разделов — «нефантасты в фантастике». В его основе лежит формальное разделение по формальному признаку. Неточность и ненужность его можно увидеть путем простой перестановки слов: «фантасты в нефантастике». Здесь, мне представляется, проявляется рецидив отношения к жанру и попытка «обелить» его аргументом: в фантастике иногда работают и серьезные писатели. Если следовать этому аргументу, то всю литературу потребовалось бы разбить на множество разделов и подразделов, накрепко зафиксировав того или иного литератора в ограниченных и заданных пределах. Попытка такой формализации жанров бессмысленна, но тем не менее мы нередко так поступаем (как в помянутом случае), забывая, что писатель для воплощения своего замысла избирает ту единственно возможную форму, которая отвечает задаче. Более того, качественным признаком любого художественного произведения, каким бы реалистическим оно ни было, является художественный вымысел. Так что деление писателей на такие резко ограниченные категории возможно только по внешнему признаку, по атрибутике, но никак не по художественным достоинствам или идейному смыслу.

В огромном литературном наследии Всеволода Иванова есть так называемый «фантастический цикл» — рассказы, написанные в середине 40-х годов, но опубликованные в 60-х. При всей фантастичности сюжетов и ситуаций эти работы являются продолжением и этапом разработки писателем той вечной темы, которая является генеральной идеей всех его творческих интересов: человек, нравственность, свобода. Реализованные на этот раз с помощью тех средств, которые в данном конкретном

случае единственно возможны. Из «фантастического цикла» взят «Сизиф, сын Эола». Внимательное, вдумчивое прочтение этого рассказа — не развлекательное занятие, а прикосновение к вечным основам нравственности и духовности человеческого бытия.

Другими словами, мне хотелось бы еще раз настоятельно подтвердить, что объектом литературы, к какому бы жанру ни тяготело то или иное произведение, является человек и его неисчерпаемый духовный мир. И именно в 60-е годы произошел тот качественный прорыв фантастики в русло Литературы и стала возможной такая характеристика творчества писателя-фантаста : «Ларионову привлекает тема больших и глубоких чувств, любви и человечности в различных ситуациях будущего и в разнообразном техническом окружении. Поиски прекрасного, доброго, ответственность личности перед другими, забота общества об индивиде».

Сегодня даже беглый обзор подтвердит, что понятие «научная фантастика» аналогично понятию «литература», ибо включает в себя все неисчерпаемое разнообразие жанров, приемов и вариантов исследования. Иначе говоря, научная фантастика сегодня — это мощное средство выполнения тех задач, что испокон веков стоят перед литературой. Огромный, принципиально революционный шаг на этом пути был сделан именно в 60-е годы. И одно из свидетельств этапности этого периода — сборник, только что прочитанный вами. Никоим образом не претендуя на полноту отражения, он тем не менее — та капля, в которой отразилось не только тогдашнее состояние литературы, но и истоки ее будущего — те ростки, которые сегодня уже плодоносят.

Юрий ГРЕКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

Вс. ИВАНОВ. Сизиф, сын Эола 7
А. ДНЕПРОВ. Глиняный бог 21
А. ГРОМОВА. В круге света 75
О. ЛАРИОНОВА. Леопард с вершины Килиманджаро 159
И. ЕФРЕМОВ. Час Быка 265
А. СТРУГАЦКИЙ, Б. СТРУГАЦКИЙ. Понедельник начинается в субботу 545
Послесловие *Ю. Грекова* 680

В КРУГЕ СВЕТА

В 11 Сб. науч.-фантаст. произведений /Сост. А. И. Степин; Худож. М. Ю. Шевелькин.— Кишинев: «Штиинца», 1989.— 688 с. Сер. науч. фантастики «Икар».

ISBN 5—376—00430—9

Представлены роман, повести, рассказы советских писателей. Содержание произведений, созданных в 60-е гг., охватывает фантастику прошлого, настоящего и будущего.

4702010000—3

В————————Без объявл.

М755(10)—89

ББК 84Р7-44

ISBN 5—376—00430—9

Оформление серии «Икар»
Ю. Пивченко

СЕРИЯ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ «ИКАР»

В КРУГЕ СВЕТА

СБОРНИК НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Ответственный за выпуск П. М. Андриеш
Художественный редактор В. М. Шишко
Технический редактор Л. И. Жукова
Корректоры Е. В. Жмурова, Л. С. Стецкая

ИБ № 3688

Сдано в набор 10.07.87.
Подписано к печати 06.05.88.
Формат $60\times90^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная № 2.
Школьная гарнитура.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 43,0.
Усл. кр.-отт. 44,13.
Уч.-изд. л. 60,38.

Тираж 200 000 (4-ый завод 140001—200000)
Заказ 71388.
Цена 3 р. 90 к.

Издательство «Штиинца».
277028, Кишинев, ул. Академика Я. С. Гросула, 3.

Полиграфкомбинат
Государственного комитета Молдавской ССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
г. Кишинев, ул. Берзарина, 35.

3 р. 90 к.

Кишинев «Штиинца» 1989